This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

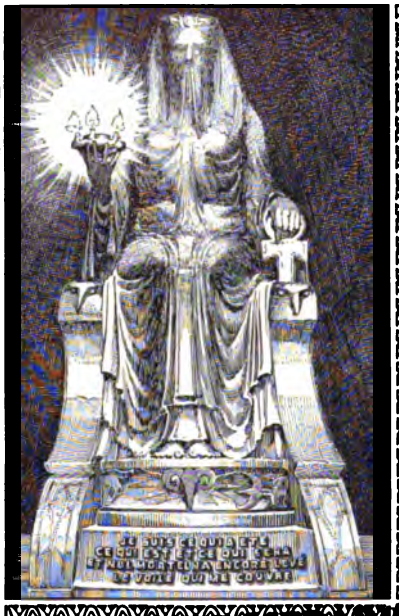
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`



STANFORD LIBRARIES

THE HOOVER LIBRARY
ON
WAR, REVOLUTION, AND PEACE

Digitized by Google

Cubs.
Music.
-1913

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Музыка, музыка, горе с тобою! Хотелось бы
любить тебя, не должен ненавидеть, потому
что ты меня не любишь, меня вы не любите
все, что я люблю. Пока, впрочем, я лишь бы
помириться с музыкой, если б одно — хоть что-
нибудь похоже на чувство. Это сведет меня
с ума. Я теперь понял источник всех моих
страданий, всех еще зол моей жизни, уз-
нал, отчего я так часто и так низко подвер-
гался и буду падать. Это от ложного удов-
летворения истинной потребности. Пока не
будет дан мне хоть сколько-нибудь ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ истинного, хоть сре-
днего удовлетворения этой стороны —
[illegible] для меня чувства духа. Можно
только заключить, что не должно ограни-
чивать своей жизни ничем внешним — до
[illegible] сколько угодно, хоть разбей голову, и я
[illegible] [illegible] законы общины, и общие
явления все надо установить индивидуаль-
ностью надо влезть в свою шкуру, чтобы
узнать чего мне нужно. Только по [illegible]
предоставлено, решительно участь внешнего выки-
нуть себя, а нашему брату и то хорошо,
коли удастся начать путь.

Уведомь меня, скоро ли ты приедешь — буду
считать часы и минуты. Сколько новостей!
.... Комедии из воба
[illegible] братец, [illegible] лучше меня,
на чем свет стоит: комический народ, у
которого не было искусства, который не
понимает искусства. Кокова И. Н. со [illegible]
на-днях станет лучше. К. .. ов — [illegible]
[illegible], но я все-же лучше. К К. ... ну [illegible]
[illegible] письмо. Прощай. Твой ВБ.

Belinskiĭ, V. G.

СОЧИНЕНІЯ

В. Г. БѢЛИНСКАГО.

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ.

Съ портретомъ и собраніемъ писемъ автора, гравюрой съ картины Наумова и статьей А. М. Скабичевскаго.

Второе изданіе Ф. Павленкова.

Vol. 2

ТОМЪ ВТОРОЙ

1840–1842.

...ена офицерского ...
5го
...ляндск...

Цѣна второго тома 1 руб.

2

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Товарищества «Общественная Польза». Б. Подъяч., № 39.
1900.

HOOVER LIBRARY

THE HOOVER LIBRARY Digitized by Google

PG 3321
B43A4
ed. 2a
v. 2

30759

Digitized by Google

ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРОГО ТОМА.

I. КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

	Стр.
Двѣ статьи о Лермонтовѣ.	
I. Герой нашего времени	1
II. Стихотворенія М. Лермонтова	81
Русская литература въ 1840 году	139
Дѣянія Петра Великаго. Голикова.—Исторія Петра Великаго. Бергмана.—О Россіи въ царствованіе Алексѣя Михаиловича. Кошихина	181
Сто русскихъ литераторовъ. Томъ II.	233
Римскія элегіи Гёте. Переводъ Струговщикова	266
Русская народная поэзія	295
Раздѣленіе поэзіи на роды и виды	477
Идея искусства	543
Общее значеніе слова литература	561
Общій взглядъ на народную поэзію и ея значеніе	599
Труды Императорской Россійской Академіи.	605
Русская литература въ 1841 году	619
Стихотворенія Аполлона Майкова	693
Кузьма Петровичъ Мирошевъ	713
Поэзія Полежаева	739
Рѣчь о критикѣ. А. Никитенко	757

II. БИБЛІОГРАФІЯ.

	Стр.
Очерки русской литературы. Н. Полевого	825
Секретарь въ сундукѣ. М. Р. Три оригинальныхъ водевиля Н. А. Коровкина	845
Призваніе женщины	847
Репертуаръ русскаго театра. 1840. Пантеонъ русскаго и всѣхъ европейскихъ театровъ, ч. I-я, 1840	848
Повѣсти Марьи Жуковой	853
Мечты и звуки. Н. Н.	857
Басни Ивана Крылова	858
Новые досуги. Ѳедора Слѣпушкина	864
Повѣсти и преданія народовъ славянскаго племени, изданныя И. Боричевскимъ	867
Пантеонъ русскаго и всѣхъ иностранныхъ театровъ, № 3, 1840	869
Введеніе въ философію. А. Карпова	871
Стихотворенія М. Лермонтова	875
Собраніе сочиненій М. В. Ломоносова	880
Путеводитель въ пустынѣ, или озеро-море. Ф. Купера	882
Собраніе стихотвореній Ивана Козлова	884
Аббадонна. Н. Полевого	890
На сонъ грядущій. В. А. Соллогуба	894
Душенька. И. Богдановича	899
Бернардъ Мопратъ, или перевоспитанный дикарь. Жоржъ Занда	902
Ластовка. Е. Гребенки.—Сватанье. Основьяненка	903
Фритіофъ, скандинавскій богатырь. Поэма Тегнера	906
Герой нашего времени. М. Лермонтова	913
Стихотворенія графини Е. Растопчиной	917
Русская исторія для первоначальнаго чтенія. Н. Полевого	920
Упырь. Красногорскаго	922
Непостижимая. В. Филимонова	923

III. ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

	Стр.
Сѣверная Пчела и Навроцкій	925
Ѳ. Н. Глинка	926
Педантъ. (Литературный типъ)	928
Объясненіе на объясненіе по поводу поэмы Гоголя «Мертвыя Души»	935
Журнальныя и литературныя замѣтки	956

IV. ТЕАТРЪ.

	Стр.
Русскій театръ въ Петербургѣ	961
Александръ Македонскій. Историческое представленіе М. М.	966
Братья враги, или Мессинская невѣста, трагедія Шиллера	970
Князь Даніилъ Дмитріевичъ Холмскій. Драма Н. В. Кукольника	—
Елена Глинская. Драма Н. Полевого	979
Христина, королева шведская. Царь Василій Іоанновичъ Шуйскій. Двѣ драмы П. Г. Ободовскаго	986
Святославъ. Драма	990
Ифигенія въ Авлидѣ. Трагедія Расина	993
Школа женщинъ и Критика на Школу женщинъ. Двѣ комедіи Мольера	994

Digitized by Google

Digitized by Google

I. КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

ДВѢ СТАТЬИ О ЛЕРМОНТОВѢ.

I.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. Соч. Лермонтова. Спб. 1840. Двѣ части.

Отличительный характеръ нашей литературы состоитъ въ рѣзкой противоположности ея явленій. Возьмите любую европейскую литературу, и вы увидите, что ни въ одной изъ нихъ нѣтъ скачковъ отъ величайшихъ созданій до самыхъ пошлыхъ: тѣ и другія связаны лѣстницею со множествомъ ступеней, въ нисходящемъ или восходящемъ порядкѣ, смотря потому, съ котораго конца будете смотрѣть. Подлѣ геніальнаго художественнаго созданія вы увидите множество созданій, принадлежащихъ сильнымъ художническимъ талантамъ; за ними безконечный рядъ превосходныхъ, примѣчательныхъ, порядочныхъ и т. д. беллетрическихъ произведеній, такъ что доходите до порожденій дюжинной посредственности не вдругъ, а постепенно и незамѣтно. Самыя посредственныя произведенія иностранной беллетристики носятъ на себѣ отпечатокъ бо́льшей или меньшей образованности, знанія общества, или по крайней мѣрѣ грамотности авторовъ. И потому-то всѣ европейскія литературы такъ плодовиты и богаты, что ни на мигъ не оставляютъ своихъ читателей безъ достаточнаго запаса умственнаго наслажденія. Самая французская литература, бѣдная и ничтожная художественными созданіями, едва ли еще не богаче другихъ беллетрическими произведеніями, благодаря которымъ она и удерживаетъ свое исключительное владычество надъ европейскою читающею публикою. Напротивъ того, наша молодая литература по справедливости можетъ гордиться значительнымъ числомъ великихъ художественныхъ созданій, и до нищеты бѣдна хорошими беллетрическими произведеніями, которыя естественно должны бы далеко превосходить первыя въ количествѣ. Въ вѣкъ Екатерины литература наша имѣла Державина—и никого, кто бы хотя нѣсколько приближался къ нему; полузабытый нынѣ Фонвизинъ и забытые Хемницеръ и Богдановичъ были единственными примѣчательными беллетристами того времени. Крыловъ, Жуковскій и Батюшковъ были поэтическими корифеями вѣка Александра I; Капнистъ, Карамзинъ (говоримъ о немъ не какъ объ историкѣ), Дмитріевъ, Озеровъ и еще немногіе блестящимъ образомъ поддерживали беллетристику того времени. Съ двадцатыхъ до тридцатыхъ годовъ настоящаго вѣка литература наша оживилась: еще далеко не кончили своего поэтическаго поприща Крыловъ и Жуковскій, какъ явился Пушкинъ, первый великій народный русскій поэтъ, вполнѣ художникъ, сопровождаемый и окруженный толпою болѣе или менѣе примѣчательныхъ талантовъ, которыхъ неоспоримымъ достоинствамъ мѣшаетъ только невыгода быть современниками Пушкина. Но зато пушкинскій періодъ необыкновенно (сравнительно съ предшествовавшими и послѣдующимъ) былъ богатъ блестящими беллетрическими талантами, изъ которыхъ нѣкоторые въ своихъ произведеніяхъ возвышались до поэзіи, и хотя другіе теперь уже и не читаются, но въ свое время пользовались большимъ вниманіемъ публики и сильно

Digitized by Google

занимали ее своими произведеніями, большею частью мелкими, помѣщавшимися въ журналахъ и альманахахъ. Начало четвертаго десятилѣтія ознаменовалось романическимъ и драматическимъ движеніемъ и—несбывшимися яркими надеждами: «Юрій Милославскій» подалъ большія надежды, «Торквато Тассо» тоже подалъ большія надежды... и многіе подавали большія надежды, только теперь оказались совершенно безнадежными... Но и въ этомъ періодѣ надеждъ и безнадежностей блеститъ яркая звѣзда великаго творческаго таланта,—мы говоримъ о Гоголѣ, который, къ сожалѣнію, послѣ смерти Пушкина ничего не печатаетъ, и котораго послѣднія произведенія русская публика прочла въ «Современникѣ» за 1836 годъ, хотя слухи о новыхъ его произведеніяхъ и не умолкаютъ... Тридцатый годъ былъ роковымъ для нашей литературы: журналы начали прекращаться одинъ за другимъ, альманахи наскучили публикѣ и прекратились, и въ 1834 году «Библіотека для Чтенія» соединила въ себѣ труды почти всѣхъ извѣстныхъ и неизвѣстныхъ поэтовъ и литераторовъ, какъ бы нарочно для того, чтобы показать ограниченность ихъ дѣятельности и бѣдность русской литературы... Но обо всемъ этомъ мы скоро поговоримъ въ особой статьѣ; на этотъ разъ прямо выскажемъ нашу главную мысль, что отличительный характеръ русской литературы—внезапные проблески сильныхъ и даже великихъ художническихъ талантовъ и, за немногими исключеніями, вѣчная поговорка читателей: «книгъ много, а читать нечего»... Къ числу такихъ сильныхъ художественныхъ талантовъ, неожиданно являющихся среди окружающей ихъ пустоты, принадлежитъ талантъ Лермонтова.

Въ «Библіотекѣ для Чтенія» на 1835 годъ напечатано было нѣсколько (очень немного) стихотвореній Пушкина и Жуковскаго; послѣ того русская поэзія нашла свое убѣжище въ «Современникѣ», гдѣ, кромѣ стихотвореній самого издателя, появлялись нерѣдко и стихотворенія Жуковскаго и немногихъ другихъ, и гдѣ помѣщены: «Капитанская дочка» Пушкина, «Носъ», «Коляска» и «Утро дѣлового человѣка», сцена изъ комедіи, Гоголя, не говоря уже о нѣсколькихъ замѣчательныхъ беллетрическихъ произведеніяхъ и критическихъ статьяхъ. Хотя этотъ полу-журналъ и полу-альманахъ только годъ издавался Пушкинымъ, но какъ въ немъ долго печатались посмертныя произведенія его основателя, то «Современникъ» и долго еще былъ единственнымъ убѣжищемъ поэзіи, скрывшейся изъ періодическихъ изданій съ началомъ «Библіотеки для Чтенія». Въ 1835 году вышла маленькая книжка стихотвореній Кольцова, послѣ того постоянно печатающаго свои лирическія произведенія въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ до сего времени. Кольцовъ обратилъ на себя общее вниманіе, но не столько достоинствомъ и сущностью своихъ созданій, сколько своимъ качествомъ поэта-самоучки, поэта-прасола. Онъ и доселѣ не понятъ, не оцѣненъ, какъ поэтъ, внѣ его личныхъ обстоятельствъ, и только немногіе сознаютъ всю глубину, обширность и богатырскую мощь его таланта, и видятъ въ немъ не эфемерное, хотя и примѣчательное явленіе періодической литературы, а истиннаго жреца высокаго искусства. Почти въ одно время съ изданіемъ первыхъ стихотвореній Кольцова явился съ своими стихотвореніями и Бенедиктовъ. Но его муза гораздо больше произвела въ публикѣ толковъ и восклицаній, нежели обогатила нашу литературу. Стихотворенія Бенедиктова—явленіе примѣчательное, интересное и глубоко поучительное: они отрицательно поясняютъ тайну искусства и въ то же время подтверждаютъ собою ту истину, что всякій внѣшній талантъ, ослѣпляющій глаза внѣшнею стороною искусства и выходящій не изъ вдохновенія, а изъ легко воспламеняющейся натуры, такъ же тихо и незамѣтно сходитъ съ арены, какъ шумно и блистательно является на нее. Благодаря странной случайности, вслѣдствіе которой въ «Библіотеку для Чтенія» попали стихи Красова и явились въ ней съ именемъ Бернета, Красовъ, до того времени печатавшій свои произведенія только въ московскихъ изданіяхъ, получилъ общую извѣстность. Въ самомъ дѣлѣ, его лирическія произведенія часто отличаются пламеннымъ, хотя и неглубокимъ чувствомъ, а иногда и художественною формою. Послѣ Красова заслуживаютъ вниманіе стихотворенія подъ фирмою—о—; они отличаются чувствомъ скорбнымъ, страдальческимъ, болѣзненнымъ, какою-то однообразною оригинальностью, нерѣдко счастливыми оборотами постоянно господствующей въ нихъ идеи раскаянія и примиренія, иногда плѣнительными поэтическими образами. Знакомые съ состояніемъ духа, которое въ нихъ выражается, никогда не пройдутъ мимо ихъ безъ душевнаго участія; находящіеся въ томъ же самомъ состояніи духа естественно преувеличатъ ихъ достоинства; люди же, или незнакомые съ такимъ страданіемъ, или слишкомъ нормальные духомъ, могутъ не отдать имъ должной справедливости: таково вліяніе и такова участь поэтовъ, въ созданіяхъ которыхъ общее слишкомъ заслонено ихъ индивидуальностью. Во всякомъ случаѣ стихотворенія—о—принадлежатъ къ примѣчательнымъ явленіямъ современной имъ литературы, и ихъ истори-

Digitized by Google

ческое значеніе не подвержено никакому сомнѣнію.

Можетъ быть многимъ покажется странно, что мы ничего не говоримъ о Кукольникѣ, поэтѣ, столь превознесенномъ «Библіотекою для Чтенія». Мы вполнѣ признаемъ его достоинства, которыя неподвержены никакому сомнѣнію, но о которыхъ новаго нечего сказать. Поэтическія мѣста не выкупаютъ ничтожности цѣлаго созданія, точно такъ же, какъ два, три счастливые монолога не составляютъ драмы. Пусть въ драмѣ, состоящей изъ 3000 стиховъ, наберется до тридцати или, если хотите, и до пятидесяти хорошихъ лирическихъ стиховъ, но драма оттого не менѣе скучна и утомительна, если въ ней нѣтъ ни дѣйствія, ни характеровъ, ни истины. Многочисленность написанныхъ кѣмъ-либо драмъ также не составляетъ еще достоинства и заслуги, особенно, если всѣ драмы похожи одна на другую, какъ двѣ капли воды. О талантѣ ни слова, пусть онъ будетъ; но степень таланта—вотъ вопросъ! Если талантъ не имѣетъ въ себѣ достаточной силы стать въ уровень съ своими стремленіями и предпріятіями, онъ производитъ только пустоцвѣтъ, когда вы ждете отъ него плодовъ.—Чтобы насъ не подозрѣвали въ пристрастіи, мы, пожалуй, упомянемъ еще и о Бернетѣ, во многихъ стихотвореніяхъ котораго иногда проблескивали яркія искорки поэзіи; но ни одно изъ нихъ, какъ изъ большихъ, такъ и изъ маленькихъ, не представляло собою ничего цѣлаго и оконченнаго. Къ тому же талантъ Бернета идетъ сверху внизъ, и послѣднія его стихотворенія послѣдовательно слабѣе первыхъ, такъ что теперь уже перестаютъ говорить и о первыхъ. Можетъ быть мы пропустили еще нѣсколько стихотворцевъ съ проблескомъ таланта; но стоитъ ли останавливаться надъ однолѣтними растеніями, которыя такъ не рѣдки, такъ обыкновенны, и цвѣтутъ одно мгновеніе! стоитъ ли останавливаться надъ ними, хоть они и цвѣты, а не сухая трава? Нѣтъ!

Спящій въ гробѣ мирно спи,
Жизнью пользуйся живущій!

И потому обратимся къ живымъ. Но изъ нихъ только одинъ Кольцовъ обѣщаетъ жизнь, которая не боится смерти, ибо его поэзія есть не современно-важное, но безотносительно примѣчательное явленіе. Никого изъ явившихся вмѣстѣ съ нимъ и послѣ него нельзя поставить съ нимъ наряду, и долго стоялъ онъ въ просторномъ отдаленіи отъ всѣхъ другихъ, какъ вдругъ на горизонтѣ нашей поэзіи взошло новое яркое свѣтило и тотчасъ оказалось звѣздою первой величины. Мы говоримъ о Лермонтовѣ, который, безъ имени, явился въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду» 1838 года съ поэмою «Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», а съ 1839 года постоянно продолжаетъ являться въ «Отечественныхъ Запискахъ». Поэма его, не смотря на ея великое художественное достоинство, совершенную оригинальность и самобытность, не обратила на себя особеннаго вниманія всей публики и была замѣчена только немногими; но каждое изъ его мелкихъ произведеній возбуждало общій и сильный восторгъ. Всѣ видѣли въ нихъ что-то совершенно новое, самобытное; всѣхъ поражало могущество вдохновенія, глубина и сила чувства, роскошь фантазіи, полнота жизни и рѣзко ощутительное присутствіе мысли въ художественной формѣ. Пока, оставляя въ сторонѣ сравненія, мы замѣтимъ теперь только то, что, при всей глубинѣ мыслей, энергіи выраженія, разнообразіи содержанія, по которымъ Кольцову едва ли можно бояться чьего либо соперничества, форма его стихотвореній, не смотря на свою художественность, всегда однообразна, всегда одинаково безъискусственна. Кольцовъ не есть только народный поэтъ: нѣтъ, онъ стоитъ выше, ибо если его пѣсни понятны всякому простолюдину, то его думы недоступны никому; но въ то же время онъ не можетъ назваться и поэтомъ національнымъ, ибо его могучій талантъ не можетъ выйти изъ магическаго круга народной непосредственности. Это геніальный простолюдинъ, въ душѣ котораго возникаютъ вопросы, свойственные только людямъ, развитымъ наукою и образованіемъ, и который высказываетъ эти глубокіе вопросы въ формѣ народной поэзіи. Поэтому онъ непереводимъ ни на какой языкъ и понятенъ только у себя дома, только своимъ соотечественникамъ. «Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» показываетъ, что Лермонтовъ умѣетъ явленія непосредственной русской жизни воспроизводить въ народно-поэтической формѣ, единственно свойственной имъ, тогда какъ прочія его произведенія, проникнутыя русскимъ духомъ, являются въ той обще-міровой формѣ, которая свойственна поэзіи, перешедшей изъ естественной въ художественную, и которая, не переставая быть національною, доступна для всякаго вѣка и всякой страны.

Въ то время какъ какія-нибудь два стихотворенія, помѣщенныя въ первыхъ двухъ книжкахъ «Отечественныхъ Записокъ» 1839 года, возбудили къ Лермонтову столько интереса со стороны публики, утвердили за нимъ имя поэта съ большими надеждами, Лермонтовъ вдругъ является съ повѣстью «Бэла», написанною въ прозѣ. Это тѣмъ пріятнѣе удивило всѣхъ, что еще болѣе об-

Digitized by Google

наружило силу молодого таланта и показало его разнообразіе и многосторонность. Въ повѣсти Лермонтовъ явился такимъ же творцомъ, какъ и въ своихъ стихотвореніяхъ. Съ перваго раза можно было замѣтить, что эта повѣсть вышла не изъ желанія заинтересовать публику исключительно любимымъ ею родомъ литературы, не изъ слѣпого подражанія дѣлать то, что всѣ дѣлаютъ, но изъ того же источника, изъ котораго вышли его стихотворенія—изъ глубокой творческой натуры, чуждой всякихъ побужденій, кромѣ вдохновенія. Лирическая поэзія и повѣсть современной жизни соединились въ одномъ талантѣ. Такое соединеніе повидимому столь противоположныхъ родовъ поэзіи не рѣдкость въ наше время. Шиллеръ и Гёте были лириками, романистами и драматургами, хотя лирическій элементъ всегда оставался въ нихъ господствующимъ и преобладающимъ. Самъ «Фаустъ» есть лирическое произведеніе въ драматической формѣ. Поэзія нашего времени по преимуществу—романъ и драма; но лиризмъ все-таки остается общимъ элементомъ поэзіи, потому что онъ есть общій элементъ человѣческаго духа. Съ лиризма начинаетъ почти каждый поэтъ, такъ же, какъ съ него начинаетъ каждый народъ. Самъ Вальтеръ Скоттъ перешелъ къ роману отъ лирическихъ поэмъ. Только литература Сѣверо-американскихъ штатовъ началась романомъ Купера, и это явленіе такъ же странно, какъ и общество, въ которомъ оно произошло. Можетъ быть это оттого, что сѣверо-американская литература есть продолженіе англійской. Наша литература представляетъ тоже совершенно особенное явленіе; мы вдругъ переживаемъ всѣ моменты европейской жизни, которые на Западѣ развивались послѣдовательно. Только до Пушкина наша поэзія была по преимуществу лирическою. Пушкинъ недолго ограничивался лиризмомъ и скоро перешелъ къ поэмѣ, а отъ нея—къ драмѣ. Какъ полный представитель духа своего времени, онъ также покушался на романъ: въ «Современникѣ» 1837 года помѣщено шесть главъ (съ началомъ седьмой) изъ неоконченнаго романа его подъ названіемъ «Арапъ Петра Великаго», изъ которыхъ четвертая глава была первоначально помѣщена въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» 1829 года. Повѣсти Пушкинъ началъ писать уже въ послѣдніе годы своей недоконченной жизни. Однакожъ очевидно, что настоящимъ его родомъ былъ лиризмъ, стихотворная повѣсть (поэма) и драма, ибо его прозаическіе опыты далеко не равны стихотворнымъ. Самая лучшая его повѣсть, «Капитанская Дочка», при всѣхъ ея огромныхъ достоинствахъ, не можетъ идти ни въ какое сравненіе съ его поэмами и драмами. Это не больше, какъ превосходное беллетрическое произведеніе съ поэтическими и даже художественными частностями. Другія его повѣсти, особенно «Повѣсти Бѣлкина», принадлежатъ исключительно къ области беллетристики. Можетъ быть въ этомъ заключается причина того, что и романъ, такъ давно начатый, не былъ конченъ. Лермонтовъ и въ прозѣ является равнымъ себѣ, какъ и въ стихахъ, и мы увѣрены, что съ бо́льшимъ развитіемъ его художнической дѣятельности онъ непремѣнно дойдетъ до драмы. Наше предположеніе не произвольно: оно основывается сколько на полнотѣ драматическаго движенія, замѣтнаго въ повѣстяхъ Лермонтова, столько же и на духѣ настоящаго времени, особенно благопріятнаго соединенію въ одномъ лицѣ всѣхъ формъ поэзіи. Послѣднее обстоятельство очень важно, ибо и у искусства всякаго народа есть свое историческое развитіе, вслѣдствіе котораго опредѣляется характеръ и родъ дѣятельности поэта. Можетъ быть и Пушкинъ былъ бы такимъ же великимъ романистомъ, какъ лирикомъ и драматургомъ, еслибы явился позже и имѣлъ подобнаго себѣ предшественника.

«Бэла», заключая въ себѣ интересъ отдѣльной и оконченной повѣсти, въ то же время была только отрывкомъ изъ большого сочиненія, равно какъ и «Фаталистъ», и «Тамань», впослѣдствіи напечатанные въ «Отечественныхъ же Запискахъ». Теперь они являются вмѣстѣ съ другими, съ «Максимомъ Максимычемъ», «Предисловіемъ къ журналу Печорина» и «Княжной Мери», подъ однимъ общимъ заглавіемъ «Героя нашего времени». Это общее названіе—не прихоть автора; равнымъ образомъ по названію не должно заключать, чтобы содержащіяся въ этихъ двухъ книжкахъ повѣсти были разсказами какого-нибудь лица, на котораго авторъ навязалъ роль разсказчика. Во всѣхъ повѣстяхъ одна мысль, и эта мысль выражена въ одномъ лицѣ, которое есть герой всѣхъ разсказовъ. Въ «Бэлѣ» онъ является какимъ-то таинственнымъ лицомъ. Героиня этой повѣсти вся передъ вами, но герой какъ будто бы показывается подъ вымышленнымъ именемъ, чтобы его не узнали. Изъ-за отношеній его къ Бэлѣ вы невольно догадываетесь о какой-то другой повѣсти, заманчивой, таинственной и мрачной. И вотъ авторъ тотчасъ показываетъ вамъ его при свиданіи съ Максимомъ Максимычемъ, который разсказалъ ему повѣсть о Бэлѣ. Но ваше любопытство не удовлетворено, а только еще болѣе раздражено, и повѣсть о Бэлѣ все еще остается для васъ загадочною. Наконецъ, въ рукахъ автора журналъ Печорина, въ предисловіи къ которому ав-

Digitized by Google

торъ дѣлаетъ намекъ на идею романа, но намекъ, который только болѣе возбуждаетъ ваше нетерпѣніе познакомиться съ героями романа. Въ высшей степени поэтическомъ разсказѣ «Тамань» герой романа является автобіографомъ, но загадка отъ этого становится только заманчивѣе, и отгадка еще не тутъ. Наконецъ, вы переходите къ «Княжнѣ Мери», и туманъ разсѣвается, загадка разгадывается, основная идея романа, какъ горькое чувство, мгновенно овладѣвшее всѣмъ существомъ вашимъ, пристаетъ къ вамъ и преслѣдуетъ васъ. Вы читаете наконецъ «Фаталиста», и хотя въ этомъ разсказѣ Печоринъ является не героемъ, а только разсказчикомъ случая, котораго онъ былъ свидѣтелемъ; хотя въ немъ вы не находите ни одной новой черты, которая дополнила бы вамъ портретъ «Героя нашего времени», но—странное дѣло!—вы еще болѣе понимаете его, болѣе думаете о немъ, и ваше чувство еще грустнѣе... Эта полнота впечатлѣнія, въ которомъ всѣ разнообразныя чувства, волновавшія васъ при чтеніи романа, сливаются въ единое общее чувство, въ которомъ всѣ лица, каждое столько интересное само по себѣ, такъ полно образованное, становятся вокругъ одного лица, составляютъ съ нимъ группу, которой средоточіе есть это одно лицо,—вмѣстѣ съ вами смотрятъ на него, кто съ любовью, кто съ ненавистью—какая причина этой полноты впечатлѣнія? Она заключается въ единствѣ мысли, которая выразилась въ романѣ, и отъ которой произошла эта гармоническая соотвѣтственность частей съ цѣлымъ, это строго соразмѣрное распредѣленіе ролей для всѣхъ лицъ, наконецъ, эта оконченность, полнота и замкнутость цѣлаго.

Сущность всякаго художественнаго произведенія состоитъ въ органическомъ процессѣ его явленія изъ возможности бытія въ дѣйствительность бытія. Какъ невидимое зерно, западаетъ въ душу художника мысль и изъ этой благодатной и плодородной почвы развертывается и развивается въ опредѣленную форму, въ образы, полные красоты и жизни, и, наконецъ, является совершенно особымъ, цѣльнымъ и замкнутымъ въ самомъ себѣ міромъ, въ которомъ всѣ части соразмѣрны цѣлому, и каждая, существуя сама по себѣ и сама собою, составляя замкнутый въ самомъ себѣ образъ, въ то же время существуетъ для цѣлаго, какъ его необходимая часть, и способствуетъ впечатлѣнію цѣлаго. Такъ точно живой человѣкъ представляетъ собой также особный и замкнутый въ самомъ себѣ міръ: его организмъ сложенъ изъ безчисленнаго множества органовъ, и каждый изъ этихъ органовъ, представляя собою удивительную цѣлость, оконченность и особность, есть живая часть живого организма, и всѣ органы образуютъ единый организмъ, единое недѣлимое существо—индивидуумъ. Какъ во всякомъ произведеніи природы, отъ ея низшей организаціи—минерала, до ея высшей организаціи—человѣка, нѣтъ ничего ни недостаточнаго, ни лишняго; но всякій органъ, всякая жилка, даже недоступная невооруженному глазу, необходима и находится на своемъ мѣстѣ: такъ и въ созданіяхъ искусства не должно быть ничего ни недоконченнаго, ни недостающаго, ни излишняго, но всякая черта, всякій образъ и необходимъ, и на своемъ мѣстѣ. Въ природѣ есть произведенія неполныя, уродливыя, вслѣдствіе несовершенства организаціи; если они, не смотря на то, живутъ—значитъ, что получившіе ненормальное образованіе органы не составляютъ важнѣйшихъ частей организма, или что ненормальность ихъ не важна для цѣлаго организма. Такъ и въ художественныхъ созданіяхъ могутъ быть недостатки, причина которыхъ заключается не въ совершенно правильномъ ходѣ процесса ихъ явленія, т. е. въ большемъ или меньшемъ участіи личной воли и разсудка художника, или въ томъ, что онъ недостаточно выносилъ въ своей душѣ идею созданія, не далъ ей вполнѣ сформироваться въ опредѣленные и окончательные образы. И такія произведенія не лишаются чрезъ подобные недостатки своей художественной сущности и цѣнности. Но, какъ въ произведеніяхъ природы слишкомъ неправильное развитіе органовъ производитъ уродовъ, которые, родясь, тотчасъ и умираютъ, такъ и въ сферѣ искусства есть произведенія, непереживающія минуты своего рожденія. Вотъ такія-то произведенія искусства могутъ быть и передѣлываемы, и приноравляемы къ случаю и къ обстоятельствамъ, и о такихъ-то произведеніяхъ говорится, что въ нихъ есть и красоты, и недостатки. Но истинно-художественныя произведенія не имѣютъ ни красотъ, ни недостатковъ: для кого доступна ихъ цѣлость, тому видится одна красота. Только близорукость эстетическаго чувства и вкуса, неспособная обнять цѣлое художественнаго произведенія и теряющаяся въ его частяхъ, можетъ въ немъ видѣть красоты и недостатки, приписывая ему собственную свою ограниченность.

Все, что ни есть въ дѣйствительности, есть обособленіе общаго духа жизни въ частномъ явленіи. Всякая организація есть свидѣтельство присутствія духа: гдѣ организація, тамъ и жизнь, а гдѣ жизнь, тамъ и духъ. И потому, какъ всякое произведеніе природы, отъ минерала и былинки до человѣка, есть обособленіе общаго духа жизни

Digitized by Google

въ частномъ жизни, такъ и всякое созданіе искусства есть обособленіе общей міровой идеи въ частный образъ, въ самомъ себѣ замкнутый. Организація есть сущность того процесса, чрезъ который является все живое и нерукотворное, слѣдовательно и всѣ произведенія природы и искусства. И потому-то тѣ и другія такъ цѣлостны, такъ полны, оконченны,—словомъ, замкнуты въ самихъ себѣ.

Но что же такое эта «замкнутость»? спросятъ насъ наконецъ. Отвѣчаемъ: это вещь столько же простая, сколько и мудреная,—и удовлетворительно отвѣтить на этотъ вопросъ столько же легко, сколько и трудно. Что такое духъ? Что такое истина? Что такое жизнь? Какъ часто предлагаются такіе вопросы, и какъ часто дѣлаются на нихъ отвѣты! Вся жизнь человѣческая есть не что иное, какъ подобные вопросы, стремящіеся къ разрѣшенію. И что же?—для многихъ ли рѣшена загадка и найдено слово? Отчего же такъ? Да оттого, что всѣ вопросы и предлагаются, и рѣшаются словомъ, а слово есть или мыслъ, или пустой звукъ; кто въ самой натурѣ своей, внутри самого себя, въ таинственномъ святилищѣ духа своего носитъ возможность рѣшенія такихъ вопросовъ,—возможность, которая называется предощущеніемъ, предчувствіемъ, чувствомъ, внутреннимъ созерцаніемъ, внутреннимъ ясновидѣніемъ истины, врожденными идеями, и проч.,—для того слово есть мысль, и, услышавъ его, онъ принимаетъ въ себя значеніе, заключенное въ этомъ словѣ. Причина такой понятливости заключается въ сродствѣ или, лучше сказать, въ тождествѣ познающаго съ познаваемымъ. Но и самое это тождество требуетъ большого развитія: иначе понятливость тупѣетъ, и вопросы остаются безотвѣтны. Но у кого нѣтъ этого тождества съ предметами его познанія, для того слово—пустой звукъ: ухо его услышитъ слово, но разумъ останется глухъ для него. Вотъ почему вопросы, о которыхъ мы говоримъ, столько же просты, сколько и мудрены, и отвѣчать на нихъ столько же легко, сколько и трудно. Однакожъ мы попытаемся здѣсь навести читателей на идею того, что мы называемъ, въ природѣ и искусствѣ, замкнутостью. Посмотрите на цвѣтущее растеніе: вы видите, что оно имѣетъ свою опредѣленную форму, которою отличается оно не только отъ существъ въ другихъ царствахъ природы, но даже и отъ растеній разнаго съ нимъ рода и вида; его листики расположены такъ симметрически, такъ пропорціонально, каждый изъ нихъ такъ тщательно, съ такою заботливостью, съ такимъ безконечнымъ совершенствомъ отдѣланъ и изукрашенъ до малѣйшихъ подробностей... Какъ роскошно прекрасенъ его цвѣтокъ, сколько на немъ жилочекъ, оттѣнковъ; какая нѣжная и яркая пыль... И какое наконецъ упоительное благоуханіе!... Но все ли тутъ? О, нѣтъ! Это только внѣшняя форма, выраженіе внутренняго: эти чудныя краски вышли изнутри растенія, этотъ обаятельный ароматъ есть его бальзамическое дыханіе... Тамъ, внутри его ствола, цѣлый новый міръ: тамъ самодѣятельная лабораторія жизненности, тамъ, по тончайшимъ сосудцамъ дивно правильной отдѣлки, течетъ влага жизни, струится невидимый эѳиръ духа... Гдѣ же начало и причина этого явленія? Въ немъ самомъ: оно было уже, когда еще не было растенія, когда было только зерно. Уже въ этомъ зернѣ заключался и корень, и стволъ, и красивые листочки, и пышный ароматическій цвѣтъ! Видите ли, въ этомъ цвѣткѣ все, что ему нужно: и жизнь, и источникъ жизни, и явленіе, и причина явленія, и растительность, и всѣ орудія, органы и сосуды растительности; а между тѣмъ гдѣ вы усмотрите начало или конецъ всего этого? Вы видите, что это растеніе полно и совершенно само въ себѣ, не имѣетъ ничего недостающаго ему и ничего лишняго, что оно живо и индивидуально; но гдѣ же пружина его жизни, исходный пунктъ его индивидуальности? гдѣ? Они замкнуты въ немъ, и потому оно есть совершенно-цѣлое, оконченное—словомъ, замкнутое въ самомъ себѣ органическое существо. Но растеніе связано съ землею, въ которой первоначально развивается и изъ которой получаетъ питаніе, дающее ему матеріалы для развитія и поддержанія его бытія; посмотрите на животное: оно одарено способностью произвольнаго движенія, оно всегда носитъ себя съ самимъ собою: оно есть и растеніе, которое растетъ изъ почвы и на почвѣ, оно есть и почва, изъ которой и на которой растетъ. Смотря на него извнѣ, мы видимъ явленіе; вскрывъ его организмъ, мы видимъ источникъ явленія: тамъ кости связаны сухими жилками, сгибы членовъ смазаны пасокою, которая заготовляется въ особыхъ железахъ, мускулы протканы нервами... Но и тутъ вы еще не все видите; возьмите микроскопъ, увеличивающій въ милліонъ разъ,—и васъ поразитъ благоговѣйнымъ изумленіемъ эта безконечность организаціи: вы увидите, что и тысячи вашихъ жизней недостаточно, чтобы только перечислить эти тончайшія нити, полныя первосущныхъ силъ природы,—и каждая ниточка, каждая фибра необходима для цѣлаго, и не можетъ быть ни исключена, ни замѣнена безъ искаженія цѣлой формы; между малѣйшими органами нѣтъ и такого пустого пространства, гдѣ бы могъ улечься

Digitized by Google

невидимый для простого глаза атомъ; все внутреннее такъ тѣсно и неразрывно слито внѣшнею формою, что одно замыкаетъ въ себѣ другое, а цѣлое есть замкнутое въ самомъ себѣ существо... Человѣкъ представляетъ въ этомъ отношеніи несравненно высшее и поразительнѣйшее зрѣлище: сообщенный и слитый со всею природою и тайною жизни природы,—онъ во всемъ, внѣ себя, видитъ осуществившіеся законы собственнаго разума, и великое *все* нашло въ немъ свой органъ, отдѣлившись въ немъ отъ самого себя, чтобы взглянуть на себя и сознать себя. Общее и безразличное стало въ немъ частнымъ и особымъ, чтобы чрезъ эту частность и особность снова возвратиться къ своей общности, сознавъ ее. Законъ обособленія и замкнутости въ частномъ явленіи общаго есть основной законъ міровой жизни!... И въ искусствѣ онъ открывается съ такимъ же полновластіемъ, какъ и въ природѣ: въ уразумѣніи тайны закона обособленія заключается разгадка тайны искусства. Творческая мысль, запавъ въ душу художника, организируется въ полное, цѣлостное, оконченное, особное и замкнутое въ себѣ художественное произведеніе. Обратите все ваше вниманіе на слово «организируется»: только органическое развивается изъ самого себя, только развивающееся изъ самого себя является цѣлостнымъ и особнымъ, съ частями пропорціонально и живо сочлененными и подчиненными одному общему. Вотъ почему напр. романъ Вальтеръ Скотта, наполненный такимъ множествомъ дѣйствующихъ лицъ, нисколько непохожихъ одно на другое, представляющій такое сцѣпленіе разнообразныхъ происшествій, столкновеній и случаевъ, поражаетъ васъ однимъ общимъ впечатлѣніемъ, даетъ вамъ созерцаніе чего-то единаго—вмѣсто того чтобы спутать и сбить васъ этимъ калейдоскопическимъ множествомъ характеровъ и событій. По той же причинѣ и каждое лицо въ романѣ существуетъ для васъ само по себѣ; вы видите его передъ собою во весь ростъ, во всей его характеристической особности и никогда уже не забудете его, а если и забудете, то, перечитывая романъ вновь, хотя бы черезъ двадцать лѣтъ, тотчасъ увидите, что это лицо вамъ знакомо, что вы гдѣ-то уже видѣли его. Но цѣлое романа — его колоритъ, его индивидуальная особенность, его «нѣчто», для выраженія котораго нѣтъ слова,—еще памятнѣе вамъ, нежели каждое слово въ особенности: уже и лица всѣхъ романовъ, и содержаніе ихъ изгладилось изъ вашей памяти, но съ словами: «Ламмермурская невѣста», «Ивангое», «Шотландскіе Пуритане» и пр., никогда не перестанутъ для васъ соединяться совершенно различныя понятія... Какъ какое-то неясное видѣніе, какъ аккордъ, внезапно въ вышинѣ раздавшійся, какъ благоуханіе, мимо васъ мгновенно пронесшееся, будетъ вамъ, какъ въ туманѣ, представляться индивидуальная общность каждаго романа...

Все сказанное нами очень нетрудно приложить къ роману Лермонтова. Для этого мы должны прослѣдить въ его содержаніи, уже хорошо извѣстномъ читателямъ, развитіе основной мысли. Романъ начинается описаніемъ переѣзда автора изъ Тифлиса чрезъ Кайшаурскую долину. Не утомляя скучными подробностями, знакомитъ онъ насъ съ мѣстностью. Очерки его столько же кратки, сколько и рѣзки, а главное—они набросаны какъ будто бы мимоходомъ. Въ то время, какъ его телѣжку тащили въ гору шесть быковъ и нѣсколько осетинъ, онъ замѣтилъ, что за его телѣжкою двигалась другая, которую тащили четыре быка, а за нею шелъ ея хозяинъ, куря изъ маленькой трубочки. Это былъ офицеръ, лѣтъ пятидесяти, съ смуглымъ лицомъ и преждевременно посѣдѣвшими усами, которые не соотвѣтствовали его твердой походкѣ и бодрому виду. Авторъ подошелъ къ нему и поклонился; тотъ молча отвѣтилъ на его поклонъ, пустивъ огромный клубъ дыма.

«— Мы съ вами попутчики, кажется?

Онъ молча опять поклонился.

— Вы вѣрно ѣдете въ Ставрополь?

— Такъ-съ точно... съ казенными вещами.

— Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую телѣжку четыре быка тащатъ шутя, а мою пустую шесть скотовъ едва подвигаютъ съ помощью этихъ осетинъ?

Онъ лукаво улыбнулся и значительно взглянулъ на меня.

— Вы вѣрно недавно на Кавказѣ?

— Съ годъ,—отвѣчалъ я.

Онъ улыбнулся вторично.

— А что жъ?

— Да такъ-съ! ужасные бестіи эти азіяты! Вы думаете, они помогаютъ, что кричатъ? А чортъ ихъ знаетъ, что они кричатъ? Быки-то ихъ понимаютъ; запрягите хоть двадцать, такъ коли они крикнутъ по своему, быки все ни съ мѣста... Ужасные, плуты! А что жъ съ нихъ возьмешь?... Любятъ деньги драть съ проѣзжающихъ... Избаловали мошенниковъ! увидите, они еще съ васъ возьмутъ на водку. Ужъ я ихъ знаю, меня не проведутъ.»

Такимъ образомъ завязалось у автора знакомство съ однимъ изъ интереснѣйшихъ лицъ его романа—съ Максимомъ Максимычемъ, съ этимъ типомъ стараго кавказскаго служаки, закаленнаго въ опасностяхъ, трудахъ и битвахъ, котораго лицо такъ же загорѣло и сурово, какъ манеры простоваты и грубы, но у котораго чудесная душа, золотое сердце. Это типъ чисто русскій, который художественнымъ достоинствомъ созданія напоминаетъ оригинальнѣйшіе изъ характе-

Digitized by Google

ровъ въ романахъ Вальтеръ Скотта и Купера, но который, по своей новости, самобытности и чисто русскому духу, не походитъ ни на одинъ изъ нихъ. Искусство поэта должно состоять въ томъ, чтобы развить на дѣлѣ задачу, какъ данный природою характеръ долженъ образоваться при обстоятельствахъ, въ которыя поставитъ его судьба. Максимъ Максимычъ получилъ отъ природы человѣческую душу, человѣческое сердце, но эта душа и это сердце отлились въ особую форму, которая такъ и говоритъ намъ о многихъ годахъ тяжелой и трудной службы, о кровавыхъ битвахъ, о затворнической и однообразной жизни въ недоступныхъ горныхъ крѣпостяхъ, гдѣ нѣтъ другихъ человѣческихъ лицъ, кромѣ подчиненныхъ солдатъ да заходящихъ для мѣны черкесовъ. И все это высказывается въ немъ не въ грубыхъ поговоркахъ, вродѣ «чортъ возьми», и не въ военныхъ восклицаніяхъ, вродѣ «тысяча бомбъ», безпрестанно повторяемыхъ, не въ попойкахъ и не въ куреніи табака,—а во взглядѣ на вещи, пріобрѣтенномъ навыкомъ и родомъ жизни, и въ этой манерѣ поступковъ и выраженія, которые должны быть необходимымъ результатомъ взгляда на вещи и привычки. Умственный кругозоръ Максима Максимыча очень ограниченъ; но причина этой ограниченности не въ его натурѣ, а въ его развитіи. Для него «жить»—значитъ «служить», и служить на Кавказѣ; «азіяты»—его природные враги; онъ знаетъ по опыту, что всѣ они большіе плуты, и что самая ихъ храбрость есть отчаянная удаль разбойничья, подстрекаемая надеждою грабежа; онъ не дается имъ въ обманъ, и ему смертельно досадно, если они обманутъ новичка и еще выманятъ у него на водку. И это совсѣмъ не потому, чтобы онъ былъ скупъ,—о нѣтъ! онъ только бѣденъ, а не скупъ, и сверхъ того, кажется, и не подозрѣваетъ цѣны деньгамъ; но онъ не можетъ видѣть равнодушно, какъ плуты «азіяты» обманываютъ честныхъ людей. Вотъ чуть ли не все, что онъ видитъ въ жизни, или по крайней мѣрѣ о чемъ чаще всего говоритъ. Но не спѣшите вашимъ заключеніемъ о его характерѣ: познакомьтесь съ нимъ получше,—и вы увидите, какое теплое, благородное, даже нѣжное сердце бьется въ желѣзной груди этого повидимому очерствѣвшаго человѣка; вы увидите, какъ онъ, какимъ-то инстинктомъ, понимаетъ все человѣческое и принимаетъ въ немъ горячее участіе; какъ, вопреки собственному сознанію, душа его жаждетъ любви и сочувствія,—и вы отъ души полюбите простого, добраго, грубаго въ своихъ манерахъ, лаконическаго въ словахъ Максима Максимыча.

Опытный штабсъ-капитанъ не ошибся: осетинцы обступили неопытнаго офицера и громко требовали на водку. Но Максимъ Максимычъ грозно прикрикнулъ на нихъ и заставилъ разбѣжаться. «Вѣдь этакой народъ», сказалъ онъ: «и хлѣба порусски назвать не умѣетъ, а выучилъ: «офицеръ, дай на водку!».. Ужъ татары по мнѣ лучше: тѣ хоть непьющіе...»

Вотъ наконецъ путешественники наши добрались до станціи и вошли въ саклю, переднее отдѣленіе которой было наполнено коровами и овцами, а другое—людьми, сидѣвшими возлѣ огня, разложеннаго на землѣ. По полу разстилался дымъ, обратно выталкиваемый вѣтромъ изъ отверстія въ потолкѣ. Наши путники закурили трубки, внимая привѣтливому шипѣнію чайника.

«— Жалкіе люди!—сказалъ я штабсъ-капитану, указывая на нашихъ грязныхъ хозяевъ, которые молча на насъ смотрѣли въ какомъ-то остолбенѣніи. — Преглупый народъ! отвѣчалъ онъ Повѣрите ли, ничего не умѣютъ, неспособны ни къ какому образованію! Ужъ по крайней мѣрѣ наши кабардинцы или чеченцы, хотя разбойники, голыши, зато отчаянныя башки, а у этихъ и къ оружію никакой охоты нѣтъ: порядочнаго ни на комъ и не увидишь. *Ужъ подлинно осетины!*

— А вы долго были въ Чечнѣ?

— Да, я лѣтъ десятокъ стоялъ тамъ въ крѣпости съ ротою, у Каменнаго Брода, знаете?

— Слыхалъ.

— Вотъ, батюшка, надоѣли намъ эти головорѣзы; нынче, слава Богу, смирнѣе, а бывало, на сто шаговъ отойдешь за валы, ужъ гдѣ-нибудь косматый дьяволъ сидитъ и караулитъ: чуть зазѣвался, того и гляди—либо арканъ на шеѣ, либо пуля въ затылкѣ. *А молодцы!*...

— А, чай, много съ вами бывало приключеній? сказалъ я, подстрекаемый любопытствомъ.

— Какъ не бывать! бывало...

Тутъ онъ началъ щипать лѣвый усъ, повѣсилъ голову и призадумался.»

И вотъ, Максимъ Максимычъ весь передъ вами, съ своимъ взглядомъ на вещи, съ своимъ оригинальнымъ способомъ выраженія! Вы еще такъ мало видѣли его, такъ мало познакомились съ нимъ, а уже передъ вами не призракъ, волею или неволею принужденный авторомъ служить связью или вертѣть колесо его разсказа, а типическое лицо, оригинальный характеръ, живой человѣкъ! Такъ осуществляютъ свои идеалы истинные художники: двѣ, три черты—и передъ вами, какъ живая, словно на-яву, стоитъ такая характеристическая фигура, которой вы уже никогда не забудете... «Тутъ онъ началъ щипать лѣвый усъ, повѣсилъ голову и призадумался»: какъ много сказано въ этихъ немногихъ, простыхъ словахъ, какую рѣзкую черту проводятъ они по физіономіи Максима Максимыча, какъ много обѣщаютъ, какъ сильно разманиваютъ любопытство читателя!... Принявъ поданный ему стаканъ чая, Максимъ Максимычъ отхлебнулъ и сказалъ какъ будто про себя: «да, бываетъ!»

Digitized by Google

Но мы еще должны нѣсколько поговорить словами самого автора:

«— Не хотите ли подбавить рома?—сказалъ я моему собесѣднику,—у меня есть бѣлый изъ Тифлиса: теперь холодно.

— Нѣтъ-съ, благодарствуйте, не пью.

— Что такъ?

— Да такъ. Я далъ себѣ заклятіе. Когда былъ еще подпоручикомъ, разъ, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сдѣлалась тревога; вотъ мы и вышли передъ фронтомъ на-веселѣ, да ужъ и досталось намъ, когда Алексѣй Петровичъ узналъ: не дай Господи какъ онъ разсердился! Чуть-чуть не отдалъ подъ судъ. Оно и точно: другой разъ цѣлый годъ живешь, никого не видишь, да какъ тутъ еще водка—пропадшій человѣкъ!

Услышавъ это, я почти потерялъ надежду.

— Да вотъ хоть черкесы,— продолжалъ онъ, какъ напьются бузы на свадьбѣ или на похоронахъ, такъ и пошла рубка. Я разъ на-силу ноги унесъ, а еще у мирнóва князя былъ въ гостяхъ.

— Какъ же это случилось?»

Вотъ начало поэтической исторіи «Бэлы». Максимъ Максимычъ разсказывалъ ее по своему, своимъ языкомъ; но отъ этого она не только ничего не потеряла, но безконечно много выиграла. Добрый Максимъ Максимычъ, самъ того не зная, сдѣлался поэтомъ, такъ что въ каждомъ его словѣ, въ каждомъ выраженіи заключается безконечный міръ поэзіи. Не знаемъ, чему здѣсь болѣе удивляться: тому ли, что поэтъ, заставивъ Максима Максимыча быть только свидѣтелемъ разсказываемаго имъ событія, такъ тѣсно слилъ его личность съ этимъ событіемъ, какъ будто бы самъ Максимъ Максимычъ былъ его героемъ; или тому, что онъ съумѣлъ такъ поэтически, такъ глубоко взглянуть на событіе глазами Максима Максимыча и разсказать это событіе языкомъ простымъ, грубымъ, но всегда живописнымъ, всегда трогательнымъ и потрясающимъ даже въ самомъ комизмѣ своемъ?...

Когда Максимъ Максимычъ стоялъ въ крѣпости за Терекомъ, къ нему вдругъ явился офицеръ, прикомандированный къ его крѣпости.

«— Его звали... Григорьемъ Александровичемъ Печориным; славный былъ малый, смѣю васъ увѣрить; только немножко страненъ. Вѣдь, напримѣръ, въ дождикъ, въ холодъ, цѣлый день на охотѣ; всѣ иззябнутъ, устанутъ, а ему ничего. А другой разъ сидитъ у себя въ комнатѣ: вѣтеръ пахнетъ—увѣряетъ, что простудился; ставнемъ стукнетъ, онъ вздрагиваетъ и поблѣднѣетъ; а при мнѣ ходилъ на кабана одинъ на одинъ; бывало, по цѣлымъ часамъ слова не добьешься, зато ужъ иногда, какъ начнетъ разсказывать, такъ животики надорвешь со смѣха. Да-съ, съ большими странностями, и, должно быть, богатый человѣкъ; сколько у него было разныхъ дорогихъ вещицъ!...

— А долго ли онъ съ вами жилъ?—спросилъ я опять.

— Да съ годъ. Ну, да ужъ зато памятенъ мнѣ этотъ годъ; надѣлалъ онъ много хлопотъ; не тѣмъ будь помянутъ! Вѣдь есть, право, такіе люди, у которыхъ на роду написано, что съ ними должны случаться разныя необыкновенныя вещи.

— Необыкновенныя!—воскликнулъ я, съ видомъ любопытства, подливая ему чая.

— А вотъ я вамъ разскажу.»

Недалеко отъ крѣпости жилъ мирнóй князь, сынъ котораго, мальчикъ лѣтъ пятнадцати, повадился ѣздить въ крѣпость. Печоринъ и Максимъ Максимычъ любили и баловали его. Это былъ прототипъ черкеса, безъ преувеличенія и безъ искаженія. Головорѣзъ, *проворный на все*, по словамъ Максима Максимыча: онъ поднималъ шапку на всемъ скаку, мастерски стрѣлялъ изъ ружья и былъ ужасно падокъ на деньги. Если его дразнили, глаза его наливались кровью, а рука хваталась за кинжалъ. «Эй, Азаматъ,— говорилъ ему Максимъ Максимычъ,—не сносить тебѣ головы: яманъ будетъ твоя башка!» Однажды старый князь пріѣхалъ въ крѣпость и позвалъ Максима Максимыча и Печорина на свадьбу своей дочери. Когда они пріѣхали въ аулъ, прятавшіяся отъ нихъ женщины не показались красавицами Печориину. «Погодите, сказалъ я, усмѣхаясь (говорилъ Максимъ Максимычъ). У меня было свое на умѣ».

Изъ этого мѣста разсказа Максима Максимыча можно получить самое вѣрное понятіе о нравахъ и обыкновеніяхъ дикихъ черкесовъ, хотя для ихъ описанія онъ и не дѣлаетъ отступленій. Какъ къ почетному гостю, къ Печорину подошла меньшая дочь хозяина, прекрасная дѣвушка лѣтъ шестнадцати, и пропѣла ему...

«— Какъ бы сказать?... въ родѣ комплимента.

— А что-жъ такое она пропѣла, не помните ли?

— Да, кажется, вотъ такъ: стройны, *дескать*, наши молодые джигиты, и кафтаны на нихъ серебромъ выложены, а молодой русскій офицеръ стройнѣе ихъ и галуны на немъ золотые. Онъ какъ тополь между ними; только не расти, не цвѣсти ему въ нашемъ саду.»

Печоринъ всталъ, приложилъ руку ко лбу и сердцу, а Максимъ Максимычъ перевелъ ей его отвѣтъ, ибо онъ хорошо зналъ по ихнему. «Какова!» шепнулъ онъ Печорину.— «Прелесть! А какъ ее зовутъ?»—«Бэлою.»

«И точно (говорилъ Максимъ Максимычъ), она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, какъ у горной серны, такъ и заглядывали вамъ въ душу». Печоринъ въ задумчивости не сводилъ съ нея глазъ, но не одинъ онъ смотрѣлъ на нее. Въ числѣ гостей былъ черкесъ Казбичъ. Онъ былъ и мирнымъ, и немирнымъ, смотря по обстоятельствамъ; подозрѣній было на него множество, хоть онъ не былъ замѣченъ ни въ какой шалости. Но мы почитаемъ необходимымъ вполнѣ обрисовать это лицо, и именно словами Максима Максимыча. «Говорили про него, что онъ любитъ таскаться за Кубань съ абреками, и, правду сказать, рожа у него

Digitized by Google

была самая разбойничья: маленькій, сухой, широкоплечій... А ужъ ловокъ-то, ловокъ-то былъ, какъ бѣсъ! Бешметъ всегда изорванный, въ заплаткахъ, а оружіе въ серебрѣ. А лошадь его славилась въ цѣлой Кабардѣ, — и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаромъ ему завидовали всѣ наѣздники, и не разъ пытались ее украсть, только не удавалось. Какъ теперь гляжу на эту лошадь: вороная, какъ смоль, ноги—струнки, глаза не хуже, чѣмъ у Бэлы, а какая сила! скачи хоть на 50 верстъ; а ужъ выѣзжена — какъ собака бѣгаетъ за хозяиномъ; голосъ даже его знала! Бывало, онъ ее никогда и не привязываетъ. Ужъ такая разбойническая лошадь!...»

Въ этотъ вечеръ Казбичъ былъ угрюмѣе обыкновеннаго, и Максимъ Максимычъ, замѣтивъ, что у него подъ бешметомъ надѣта кольчуга, тотчасъ подумалъ, что это не даромъ. Такъ какъ въ саклѣ было душно, онъ вышелъ освѣжиться и вздумалъ кстати провѣдать лошадей. Тутъ за заборомъ онъ подслушалъ разговоръ: Азаматъ похваливалъ лошадь Казбича, на которую давно зарился; а Казбичъ, подстрекнутый этимъ, разсказывалъ о ея достоинствахъ и услугахъ, которыя она ему оказала, не разъ спасая его отъ вѣрной смерти. Это мѣсто повѣсти вполнѣ знакомитъ читателя съ черкесами, какъ съ племенемъ, и въ немъ могучею художническою кистію обрисованы характеры Азамата и Казбича, этихъ двухъ рѣзкихъ типовъ черкесской народности. «Еслибъ у меня былъ табунъ въ тысячу кобылъ, то отдалъ бы весь за твоего Карагёза», сказалъ Азаматъ. — «*Іокъ*, не хочу,»—равнодушно отвѣчалъ Казбичъ. Азаматъ льститъ ему, обѣщаетъ украсть у отца лучшую винтовку или шашку, которая, только приложи руку къ лезвію, сама впивается въ тѣло, кольчугу... Въ его словахъ такъ и дышетъ знойная, мучительная страсть дикаря и разбойника по рожденію, для котораго нѣтъ ничего въ мірѣ дороже оружія или лошади, и для котораго желаніе — медленная пытка на маломъ огнѣ, а для удовлетворенія жизнь собственная, жизнь отца, матери, брата — ничто. Онъ говорилъ, что съ тѣхъ поръ, какъ въ первый разъ увидѣлъ Карагёза, когда онъ кружился и прыгалъ подъ Казбичемъ, раздувая ноздри, и кремни брызгами летѣли изъ-подъ копытъ его, что съ тѣхъ поръ въ его душѣ сдѣлалось что-то непонятное, все ему опостылѣло... Можно подумать, что онъ разсказывалъ о любви или ревности, — чувствахъ, которыхъ дѣйствіе часто бываетъ такъ страшно и въ людяхъ образованныхъ, а тѣмъ страшнѣе въ дикаряхъ. «На лучшихъ скакуновъ моего отца смотрѣлъ я съ презрѣніемъ (говорилъ Азаматъ), стыдно было мнѣ на нихъ показаться, и тоска овладѣла мной; и тоскуя, просиживалъ я на утесѣ цѣлые дни, и ежеминутно мыслямъ моимъ является вороной скакунъ твой съ своей стройной поступью, съ своимъ гладкимъ, прямымъ, какъ стрѣла, хребтомъ; онъ смотрѣлъ мнѣ въ глаза своими бойкими глазами, какъ-будто хотѣлъ слово вымолвить. Я умру, Казбичъ, если ты мнѣ не продашь его!» Проговоривъ это дрожащимъ голосомъ, онъ заплакалъ. Такъ по крайней мѣрѣ показалось Максиму Максимычу, который зналъ Азамата, какъ преупрямаго мальчишку, у котораго ничѣмъ нельзя было вышибить слезъ, когда онъ былъ и моложе. Но въ отвѣтъ на слезы Азамата послышалось что-то вродѣ смѣха. «Послушай! — сказалъ твердымъ голосомъ Азаматъ,—видишь, я на все рѣшаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Какъ она пляшетъ! какъ поетъ! а вышиваетъ золотомъ—чудо! не бывало такой жены и у турецкаго падишаха... Неужели не стоитъ Бэла твоего скакуна?...»

Казбичъ долго молчалъ и наконецъ, вмѣсто отвѣта, затянулъ вполголоса старинную пѣсню, въ которой коротко и ясно выражена вся философія черкеса:

«Много красавицъ въ аулахъ у насъ,
Звѣзды сіяютъ во мракѣ ихъ глазъ,
Сладко любить ихъ, завидная доля;
Но веселѣй молодецкая воля.
Золото купитъ четыре жены,
Конь же лихой не имѣетъ цѣны:
Онъ и отъ вихря въ степи не отстанетъ,
Онъ не измѣнитъ, онъ не обманетъ.»

Напрасно Азаматъ упрашивалъ, плакалъ, льстилъ ему. «Поди прочь, безумный мальчишка! Гдѣ тебѣ ѣздить на моемъ конѣ! На первыхъ трехъ шагахъ онъ тебя сброситъ, и ты разобьешь себѣ затылокъ о камни!» «Меня!» крикнулъ Азаматъ въ бѣшенствѣ, и желѣзо дѣтскаго кинжала зазвенѣло о кольчугу. Казбичъ оттолкнулъ его такъ, что онъ упалъ и ударился головою о плетень. «Будетъ потѣха!» подумалъ Максимъ Максимычъ, взнуздалъ коней и вывелъ ихъ на задній дворъ. Между тѣмъ Азаматъ вбѣжалъ въ саклю въ разорванномъ бешметѣ, говоря, что Казбичъ хотѣлъ его зарѣзать. Поднялся гвалтъ, раздались выстрѣлы, но Казбичъ уже вертѣлся на своемъ конѣ среди улицы, и ускользнулъ.

«— Никогда себѣ не прощу одного: чортъ меня дернулъ, пріѣхавъ въ крѣпость, пересказать Григорію Александровичу все, что я слышалъ, сидя за заборомъ; онъ посмѣялся — такой хитрый! а самъ задумалъ кое-что.

— А что такое? разскажите, пожалуйста.

— Ну, ужъ нечего дѣлать, началъ разсказывать, такъ надо продолжать.»

Дня черезъ четыре пріѣхалъ въ крѣпость Азаматъ. Печоринъ началъ ему расхвали-

Digitized by Google

вать лошадь Казбича. У татарченка засверкали глаза, а Печоринъ будто не замѣчаетъ; Максимъ Максимычъ заговоритъ о другомъ, а Печоринъ сведетъ разговоръ на лошадь. Это продолжалось недѣли три; Азаматъ видимо блѣднѣлъ и чахнулъ. Короче: Печоринъ предложилъ ему чужого коня за его родную сестру; Азаматъ задумался: не жалость къ сестрѣ, а мысль о мщеніи отца потревожила его, но Печоринъ кольнулъ его самолюбіе, назвавъ ребенкомъ (названіе, которымъ всѣ дѣти очень оскорбляются!), а Карагёзъ такая чудная лошадь!... И вотъ однажды Казбичъ пріѣхалъ въ крѣпость и спрашиваетъ, не надо ли барановъ и меда; Максимъ Максимычъ велѣлъ привезти на другой день. «Азаматъ!—сказалъ Печоринъ,—завтра Карагёзъ въ моихъ рукахъ; если нынче ночью Бэла не будетъ здѣсь, не видать тебѣ коня». «Хорошо!» сказалъ Азаматъ, поскакалъ въ аулъ, и въ тотъ же вечеръ Печоринъ возвратился въ крѣпость вмѣстѣ съ Азаматомъ, у котораго, поперекъ сѣдла (какъ видѣлъ часовой), лежала женщина съ связанными ногами и руками, съ головою, опутанною чадрой. На другой день Казбичъ явился въ крѣпости съ своимъ товаромъ; Максимъ Максимычъ попотчивалъ его чаемъ, потому что (говорилъ онъ), хотя разбойникъ онъ, «а все-таки былъ моимъ кунакомъ». Вдругъ Казбичъ посмотрѣлъ въ окно, вздрогнулъ, поблѣднѣлъ, и съ крикомъ: «моя лошадь! лошадь!» выбѣжалъ вонъ, перескочивъ черезъ ружье, которымъ часовой хотѣлъ загородить ему дорогу. Вдали скакалъ Азаматъ; Казбичъ выхватилъ изъ чехла ружье, выстрѣлилъ и, увѣрившись, что далъ промахъ, завизжалъ, въ дребезги разбилъ ружье о камень, повалился на землю и зарыдалъ какъ ребенокъ. Такъ пролежалъ онъ до поздней ночи и цѣлую ночь, не дотрогиваясь до денегъ, которыя велѣлъ положить подлѣ него Максимъ Максимычъ за барановъ. На другой день, узнавши отъ часового, что похититель былъ Азаматъ, онъ засверкалъ глазами и отправился отыскивать его. Отца Бэлы въ это время не было дома, а возвратившись, онъ не нашелъ ни дочери, ни сына...

Какъ только Максимъ Максимычъ узналъ, что черкешенка у Печорина, онъ надѣлъ эполеты, шпагу и пошелъ къ нему.

«— Г. прапорщикъ, вы сдѣлали проступокъ, за который и я могу отвѣчать...

— И, полноте! что жъ за бѣда? Вѣдь у насъ давно все пополамъ.

— Что за шутки! пожалуйте вашу шпагу!

— Митька, шпагу!

Митька принесъ шпагу. Исполнивъ долгъ свой, сѣлъ я къ нему на кровать и сказалъ:— Послушай, Григорій Александровичъ; признайся, что не хорошо?

— Что не хорошо?

— Да то, что ты увезъ Бэлу... Ужъ эта мнѣ бестія Азаматъ!... Ну, признайся сказалъ я ему.

— Да когда она мнѣ нравится?

Ну, что прикажете отвѣчать на это? Я сталъ въ тупикъ. Однакожъ, послѣ нѣкотораго молчанія, я ему сказалъ, что если отецъ станетъ требовать, надо будетъ ее отдать.

— Вовсе не надо.

— Да онъ узнаетъ, что она здѣсь.

— А какъ онъ узнаетъ?

Я опять сталъ въ тупикъ.

— Послушайте, Максимъ Максимычъ,—сказалъ Печоринъ, приподнявшись,—вѣдь вы добрый человѣкъ, а если отдадимъ дочь этому дикарю, онъ ее зарѣжетъ или продастъ. Дѣло сдѣлано, не надо только охотою портить; оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...

— Да покажите мнѣ ее,—сказалъ я.

— Она за этою дверью; только я самъ нынче напрасно хотѣлъ ее видѣть: сидитъ въ углу, закутавшись въ покрывало, не говоритъ и не смотритъ: пуглива, какъ дикая серна. Я нанялъ нашу духанщицу, она знаетъ потатарски, будетъ ходить за нею и пріучитъ ее къ мысли, что она моя, потому что она никому не будетъ принадлежать, кромѣ меня,—прибавилъ онъ, ударивъ кулакомъ по столу.—Я и въ этомъ согласился... Что же прикажете дѣлать! Есть люди, съ которыми непремѣнно должно согласиться.»

Нѣтъ ничего тяжеле и непріятнѣе, какъ излагать содержаніе художественнаго произведенія. Цѣль этого изложенія не состоитъ въ томъ, чтобы показать лучшія мѣста: какъ бы ни было хорошо мѣсто сочиненія, оно хорошо по отношенію къ цѣлому, слѣдовательно изложеніе содержанія должно имѣть цѣлью — прослѣдить идею цѣлаго созданія, чтобы показать, какъ вѣрно она осуществлена поэтомъ. А какъ это сдѣлать? цѣлаго сочиненія переписать нельзя; но каково же выбирать мѣста изъ превосходнаго цѣлаго, пропускать иныя, чтобы выписки не перешли должныхъ границъ? И потомъ, каково связывать выписанныя мѣста своимъ прозаическимъ разсказомъ, оставляя въ книгѣ тѣни и краски, жизнь и душу и держась одного мертваго скелета? Теперь мы особенно чувствуемъ всю тяжесть и неудобоисполнимость взятой нами на себя обязанности. Мы и до сего мѣста терялись во множествѣ прекрасныхъ частностей, а теперь, когда начинается важнѣйшая часть повѣсти, теперь намъ такъ и хотѣлось бы выписать отъ слова до слова весь разсказъ автора, въ которомъ каждое слово такъ безконечно-значительно, такъ глубоко-знаменательно, дышетъ такою поэтическою жизнью, блеститъ такимъ роскошнымъ богатствомъ красокъ; а между тѣмъ мы попрежнему принуждены пересказывать по своему, сколько возможно держась выраженій подлинника и выписывая мѣста.

Холодно смотрѣла Бэла на подарки, которые каждый день приносилъ ей Печоринъ, и гордо отталкивая ихъ. Долго безуспѣшно ухаживалъ онъ за нею. Между тѣмъ онъ

Digitized by Google

учился потатарски, а она начинала понимать порусски. Она стала изрѣдка и посматривать на него, но все изъ подлобья, искоса, и все грустила, напѣвала свои пѣсни вполголоса, «такъ что (говорилъ Максимъ Максимычъ), бывало, и мнѣ становилось грустно, когда слушалъ ее изъ сосѣдней комнаты». Уговаривая ее полюбить себя, Печоринъ спросилъ ее, не любитъ ли она какого-нибудь чеченца, и прибавилъ, что въ такомъ случаѣ онъ сейчасъ отпуститъ ее домой. Она вздрогнула едва примѣтно и покачала головой... «Или я тебѣ совершенно ненавистенъ?» Она вздохнула. «Или твоя вѣра запрещаетъ полюбить меня?» она поблѣднѣла и молчала. Потомъ онъ ей сказалъ, что Аллахъ одинъ для всѣхъ племенъ, и что если онъ ему позволилъ полюбить ее, то почему же запретитъ ей полюбить его. Этотъ доводъ, казалось, поразилъ ее, и въ ея глазахъ выразилось желаніе убѣдиться. «Если ты будешь грустить, говорилъ онъ ей, я умру. Скажи, ты будешь веселѣй?» Она призадумалась, не спуская съ него черныхъ глазъ своихъ, потомъ улыбнулась и кивнула головой въ знакъ согласія. Онъ взялъ ея руку и сталъ ее уговаривать, чтобы она его поцѣловала; она слабо защищалась и только повторяла: «*поджалуста, поджалуста, не нада, не нада!*» Какая граціозная и въ то же время какая вѣрная натурѣ черта характера! Природа нигдѣ не противорѣчитъ себѣ, и глубокость чувства, достоинство и граціозность непосредственности такъ же иногда поражаютъ и въ дикой черкешенкѣ, какъ и въ образованной женщинѣ высшаго тона. Есть манеры столь граціозныя, есть слова столь благоухающія, что одного или одной изъ нихъ достаточно, чтобы обрисовать всего человѣка, выказать наружу все, что̀ кроется внутри его. Не правда ли: слыша это милое, простодушное «поджалуйста, поджалуйста, не нада, не нада!» вы видите передъ собою эту очаровательную черноокую Бэлу, полудикую дочь вольныхъ ущелій, и васъ такъ обаятельно поражаетъ въ ней эта гармонія, эта особенность женственности, которая составляетъ всю прелесть, все очарованіе женщины?... Онъ сталъ настаивать, она задрожала и заплакала. «Я твоя плѣнница, твоя раба,—говорила она,—конечно ты можешь меня принудить» — и опять слезы. «Дьяволъ, а не женщина!—сказалъ онъ Максиму Максимычу; — только я даю вамъ честное слово, что она будетъ моя»...

Однажды онъ вошелъ къ ней одѣтый по-черкесски и вооруженный и сказалъ ей, что онъ виноватъ передъ нею, что онъ оставляетъ ее хозяйкой всего, что̀ имѣетъ, даетъ ей волю, и самъ идетъ, куда глаза глядятъ, можетъ быть подъ пулю...

«Онъ отвернулся и протянулъ ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только, стоя за дверью, я могъ въ щель разсмотрѣть ея лицо; и мнѣ стало жаль, такая смертельная блѣдность покрыла это милое личико! Не слыша отвѣта, Печоринъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ двери, онъ дрожалъ, и сказать-ли вамъ? я думаю, онъ въ состояніи былъ исполнить въ самомъ дѣлѣ то, о чемъ говорилъ шутя. Таковъ ужъ былъ человѣкъ, Богъ его знаетъ! Только онъ едва коснулся двери, какъ она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Повѣрите ли? я, стоя за дверью, также заплакалъ, то-есть, знаете, не то, чтобы заплакалъ, а такъ, глупость!...

Штабсъ-капитанъ замолчалъ.

— Да, признаюсь, сказалъ онъ потомъ, теребя усы, мнѣ стало досадно, что никогда ни одна женщина меня такъ не любила.»

Скоро узналъ счастливый Печоринъ, что Бэла полюбила его съ перваго взгляда. Да, это была одна изъ тѣхъ глубокихъ женскихъ натуръ, которыя полюбятъ мужчину тотчасъ, какъ увидятъ его, но признаются ему въ любви не тотчасъ, отдадутся не скоро, а отдавшись, уже не могутъ больше принадлежать ни другому, ни самимъ себѣ... Поэтъ не говоритъ объ этомъ ни слова, но потому-то онъ и поэтъ, что, не говоря иного, даетъ знать все... Они были счастливы, но не завидуйте имъ, читатель: кто смѣетъ надѣяться на прочное счастье въ жизни?... Минута ваша, ловите же ее, не надѣясь на будущее... Не долго продолжалось и твое блаженство, бѣдная, милая Бэла!...

Вскорѣ Печоринъ и Максимъ Максимычъ узнали, что отецъ Бэлы былъ убитъ Казбичемъ, подозрѣвавшимъ его въ участіи въ похищеніи Карагёза. Отъ Бэлы долго скрывали это, пока она не привыкла къ своему положенію; когда же ей сказали, она два дня плакала, а потомъ забыла. Четыре мѣсяца все шло хорошо. Печоринъ такъ любилъ Бэлу, что забылъ для нея охоту и не выходилъ за крѣпостной валъ. Но вдругъ сталъ онъ задумываться, ходить по комнатѣ, заложивъ руки на спину. Однажды, никому не сказавшись, отправился на охоту и пропадалъ цѣлое утро, потомъ опять, и все чаще и чаще. «Нехорошо (подумалъ Максимъ Максимычъ): вѣрно между ними пробѣжала черная кошка!» Въ одно утро онъ зашелъ къ нимъ и увидѣлъ Бэлу такою блѣденькою, такою печальною, что испугался. Онъ сталъ ее утѣшать. Сообщая ему свои страхи и опасенія, она сказала ему:

«— А нынче мнѣ уже кажется, что онъ меня не любитъ.

— Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать! Она заплакала, потомъ съ гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:

— Если онъ меня не любитъ, то кто ему мѣшаетъ отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это такъ будетъ продолжаться, то я сама уйду: я не раба его, а княжеская дочь!...»

Digitized by Google

Утѣшая ее, Максимъ Максимычъ замѣтилъ ей, что если она будетъ грустить, то скорѣе наскучитъ Печорину.

«— Правда, правда, — отвѣчала она: я буду весела! И съ хохотомъ схватила свой бубенъ, начала пѣть, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно, она упала на постель и закрыла лицо руками.

— Что было мнѣ съ нею дѣлать? Я, знаете, никогда съ женщинами не обращался: думалъ, думалъ, чѣмъ ее утѣшить, и ничего не придумалъ; нѣсколько времени мы оба молчали... Пренепріятное положеніе-съ.»

Вышедши съ нею прогуляться за крѣпость, Максимъ Максимычъ увидѣлъ черкеса, который вдругъ выѣхалъ изъ лѣса и, саженяхъ во ста отъ нихъ, началъ какъ бѣшеный кружиться: Бэла узнала въ немъ Казбича.

Наконецъ Максимъ Максимычъ объяснился съ Печоринымъ насчетъ его охлажденія къ Бэлѣ, и Печоринъ сознался въ этомъ. Итакъ, Печоринъ охладѣлъ къ бѣдной Бэлѣ, которая любила его еще больше. Онъ не знаетъ самъ причины своего охлажденія, хотя и силится найти ее. Да, нѣтъ ничего труднѣе, какъ разбирать языкъ собственныхъ чувствъ, какъ знать самого себя! И объясненія автора для насъ такъ же неудовлетворительны, какъ и для Максима Максимыча, которому онъ ихъ сообщилъ. Можетъ быть и тутъ та-же причина, и въ отношеніи къ автору, и въ отношеніи къ намъ: нѣтъ ничего труднѣе, какъ знать и понимать самихъ себя!... Но тѣмъ не менѣе мы предложимъ и наше рѣшеніе, или, лучше сказать, и наше гаданіе объ этомъ, столько же общемъ, сколько и грустномъ феноменѣ человѣческаго сердца, который особенно частъ и поразителенъ въ современномъ обществѣ. Въ числѣ причинъ скораго охлажденія Печорина къ Бэлѣ не было ли причиною его и то, что для безсознательнаго, чисто естественнаго, хотя и глубокаго чувства черкешенки Печоринъ былъ полнымъ удовлетвореніемъ, далеко превосходящимъ самыя дерзкія ея требованія, тогда какъ духъ Печорина не могъ найти своего удовлетворенія въ естественной любви полудикаго существа? Къ тому же вѣдь одно наслажденіе далеко еще не составляетъ всѣхъ потребностей любви, а что могла дать Печорину любовь, кромѣ наслажденія? О чемъ могъ онъ говорить съ нею? что оставалось для него въ ней неразгаданнаго? Для любви нужно разумное содержаніе, какъ масло для поддержки огня: любовь есть гармоническое сліяніе двухъ родственныхъ натуръ въ чувство безконечнаго. Въ любви Бэлы была сила, но не могло быть безконечности: сидѣть съ глаза на глазъ съ возлюбленнымъ, ласкаться къ нему, принимать его ласки, предугадывать и ловить его желанія, млѣть отъ его лобзаній, замирать въ его объятіяхъ—вотъ все, чего требовала душа Бэлы; при такой жизни и вѣчность показалась бы для нея мгновеніемъ. Но Печорина такая жизнь могла увлечь не больше, какъ на четыре мѣсяца, и еще надо удивляться силѣ его любви къ Бэлѣ, если она была такъ продолжительна. Сильная потребность любви часто принимается за самую любовь, если представится предметъ, на который она можетъ устремиться; препятствія превращаютъ ее въ страсть, а удовлетвореніе уничтожаетъ. Любовь Бэлы была для Печорина полнымъ бокаломъ сладкаго напитка, который онъ и выпилъ заразъ, не оставивъ въ немъ ни капли; а душа его требовала не бокала, а океана, изъ котораго можно ежеминутно черпать, не уменьшая его...

Однажды Печоринъ отправился съ Максимомъ Максимычемъ на охоту за кабаномъ. Съ ранняго утра, часовъ съ десяти, напрасно искали они его; Максимъ Максимычъ уговаривалъ своего товарища воротиться, не тутъ-то было: не смотря ни на зной, ни на усталость, тотъ не хотѣлъ воротиться безъ добычи. «Таковъ ужъ былъ человѣкъ: что задумаетъ, подавай; видно въ дѣтствѣ былъ маленькій избалованъ». Однакожъ послѣ полудня они безъ ничего подъѣзжали къ крѣпости. Вдругъ выстрѣлъ: оба они взглянули другъ на друга и опрометью поскакали на выстрѣлъ. Солдаты въ кучку собрались на валу и указывали въ поле, а тамъ летитъ стремглавъ всадникъ и держитъ что-то бѣлое на сѣдлѣ. Это былъ Казбичъ, похитившій неосторожную Бэлу, которая вышла за крѣпость къ рѣкѣ. Печорину удалось ранить въ ногу его коня. Казбичъ занесъ руку надъ Бэлою, Максимъ Максимычъ выстрѣлилъ и, кажется, ранилъ его въ плечо; дымъ разсѣялся—на землѣ лежала раненая лошадь и возлѣ нея Бэла, а Казбичъ, какъ кошка, карабкался на утесъ и скоро скрылся. Они къ Бэлѣ—она была ранена, и кровь лилась изъ раны ручьями...

«— И Бэла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы ужъ съ нею измучились порядкомъ. Около десяти часовъ вечера она пришла въ себя; мы сидѣли у постели; только что она открыла глаза, начала звать Печорина. — Я здѣсь, подлѣ тебя, моя джанечка (то-есть, по нашему, душенька), отвѣчалъ онъ, взявъ ее за руку. — Я умру! сказала она. — Мы начали ее утѣшать, говорили, что лѣкарь обѣщалъ ее вылѣчить непремѣнно,— она покачала головой и отвернулась къ стѣнѣ: ей не хотѣлось умирать!...

— Ночью она начала бредить; голова ея горѣла, по всему тѣлу иногда пробѣгала дрожь лихорадки; она говорила несвязныя рѣчи объ отцѣ, братѣ: ей хотѣлось въ горы, домой... По-

Digitized by Google

томъ она также говорила о Печоринѣ, давая ему разныя названія, или упрекала его въ томъ, что онъ разлюбилъ свою джанечку.

— Онъ слушалъ ее молча, опустивъ голову на руки; но только я во все время не замѣтилъ ни одной слезы на рѣсницахъ его; въ самомъ ли дѣлѣ онъ не могъ плакать, или владѣлъ собою—не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видывалъ».

Передъ смертью хриплымъ голосомъ закричала она: «воды! воды!»

«*Онъ* сдѣлался блѣденъ какъ полотно, схватилъ стаканъ, налилъ и подалъ ей. Я закрылъ глаза руками и сталъ читать молитву, не помню какую... Да, батюшка, видалъ я много, какъ люди умираютъ въ госпиталяхъ и на полѣ сраженія; только все это не то, совсѣмъ не то!... Еще, признаться, меня вотъ что печалитъ: она передъ смертью ни разу не вспомнила обо мнѣ: кажется, я ее любилъ какъ отецъ... Ну, да Богъ ее проститъ... И въ правду молвить: что же я такое, чтобъ обо мнѣ вспоминать передъ смертью?...

— Только-что она испила воды, какъ ей стало легче, а минуты черезъ три она скончалась. Приложили зеркало къ губамъ—гладко!... Я вывелъ Печорина вонъ изъ комнаты, и мы пошли на крѣпостной валъ; долго мы ходили взадъ и впередъ рядомъ, не говоря ни слова, загнувъ руки на спину; его лицо ничего не выражало особеннаго, и мнѣ стало досадно! Я бы на его мѣстѣ умеръ съ горя. Наконецъ онъ сѣлъ на землѣ, въ тѣни, и началъ что-то чертить палочкой на пескѣ. Я, знаете, больше для приличія, хотѣлъ утѣшить его, началъ говорить; онъ поднялъ голову и засмѣялся... У меня морозъ пробѣжалъ по кожѣ отъ этого смѣха. Я пошелъ заказывать гробъ...

— На другой день, рано утромъ, мы ее похоронили за крѣпостью, у вала, гдѣ она въ послѣдній разъ сидѣла; кругомъ ея могилы разрослись кусты бѣлой акаціи и бузины. Я хотѣлъ, было, поставить крестъ, да, знаете, не ловко: все-таки она была не христіанка...»

Просимъ извиненія за множество выписокъ и у автора, и у тѣхъ изъ читателей, которые прочтутъ нашу статью прежде романа: заманчивость перваго чтенія, сила и прелесть перваго впечатлѣнія будутъ для нихъ навсегда потеряны. Впрочемъ едва ли кто и не читалъ «Бэлы»; она напечатана въ «Отечественныхъ Запискахъ» еще въ прошедшемъ году, да и самый романъ давно уже вышелъ въ свѣтъ. Что же касается до тѣхъ, которые прочтутъ нашу статью уже послѣ романа, у нихъ черезъ это почти ничего не отнимается; напротивъ, если мы только хорошо сдѣлали наше дѣло, они вновь перечувствуютъ уже испытанное наслажденіе, и еще съ бо́льшею силою. Во всякомъ случаѣ, намъ не было никакой возможности избѣжать этихъ выписокъ. Мы хотѣли, чтобы въ нашемъ изложеніи содержанія романа видны были и характеры дѣйствующихъ лицъ, и сохранена была внутренняя жизненность разсказа, равно какъ и его колоритъ; а этого невозможно было сдѣлать, показавъ одинъ скелетъ содержанія или его отвлеченную мысль. Да и въ чемъ содержаніе повѣсти? Русскій офицеръ похитилъ черкешенку, сперва сильно любилъ ее, но скоро охладѣлъ къ ней; потомъ черкесъ увезъ-было ее, но, видя себя почти пойманнымъ, бросилъ ее, нанесши ей рану, отъ которой она умерла! вотъ и все тутъ. Не говоря о томъ, что тутъ очень немного, тутъ еще нѣтъ и ничего ни поэтическаго, ни особеннаго, ни занимательнаго, и все обыкновенно до пошлости, истерто. Но что же необыкновеннаго или поэтическаго напримѣръ и въ содержаніи Шекспирова «Отелло»? Мавръ убилъ страстно любимую имъ жену изъ ревности, которую съ умысломъ возбудилъ въ немъ хитрый злодѣй: развѣ и это тоже не истерто и не обыкновенно до пошлости? Развѣ не было написано тысячи повѣстей, романовъ, драмъ, содержаніе которыхъ — мужъ или любовникъ, убивающій изъ ревности невинную жену или любовницу? Но изъ всей этой тысячи только одного «Отелло» знаетъ міръ и одному ему удивляется. Значитъ: содержаніе не во внѣшней формѣ, не въ сцѣпленіи случайностей, а въ замыслѣ художника, въ тѣхъ образахъ, въ тѣхъ тѣняхъ и переливахъ красокъ, которыя представлялись ему еще прежде, нежели онъ взялся за перо—словомъ, въ творческой концепціи. Художественное созданіе должно быть вполнѣ готово въ душѣ художника прежде, нежели онъ возьмется за перо: написать для него—уже второстепенный трудъ. Онъ долженъ сперва видѣть передъ собою лица, изъ взаимныхъ отношеній которыхъ образуется его драма или повѣсть. Онъ не обдумываетъ, не расчисляетъ, не теряется въ соображеніяхъ: все выходитъ у него само собою, и выходитъ такъ, какъ должно. Событіе развертывается изъ идеи, какъ растеніе изъ зерна. Потому-то и читатели видятъ въ его лицахъ живые образы, а не призраки, радуются ихъ радостями, страдаютъ ихъ страданіями, думаютъ, разсуждаютъ и спорятъ между собою о ихъ значеніи, ихъ судьбѣ, какъ будто дѣло идетъ о людяхъ, дѣйствительно существовавшихъ и знакомыхъ имъ. Этого нельзя сдѣлать, сперва придумавши отвлеченное содержаніе, т. е. какую-нибудь завязку и развязку, а потомъ уже придумавши лица и волею или неволею заставивши ихъ играть сообразныя съ сочиненною цѣлью роли. Вотъ почему изложеніе содержанія такъ затруднительно для критика, и безъ выписокъ нельзя ему обойтись: надо сдѣлать его кратко и заставить говорить само за себя разбираемое твореніе.

Глубокое впечатлѣніе оставляетъ послѣ себя «Бэла»: вамъ грустно, но грусть ваша легка, свѣтла и сладостна; вы летите мечтою на могилу прекрасной, но эта могила не страшна: ее освѣщаетъ солнце, омываетъ

Digitized by Google

быстрый ручей, котораго ропотъ, вмѣстѣ съ шелестомъ вѣтра въ листахъ бузины и бѣлой акаціи, говоритъ вамъ о чемъ-то таинственномъ и безконечномъ, и надъ нею, въ свѣтлой вышинѣ, летаетъ и носится какое-то прекрасное видѣніе, съ блѣдными ланитами, съ выраженіемъ укора и прощенія въ черныхъ очахъ, съ грустною улыбкою... Смерть черкешенки не возмущаетъ васъ безотраднымъ и тяжелымъ чувствомъ, ибо она явилась не страшнымъ скелетомъ по произволу автора, но вслѣдствіе разумной необходимости, которую вы предчувствовали уже, и явилась свѣтлымъ ангеломъ примиренія. Диссонансъ разрѣшился въ гармоническій аккордъ, и вы съ умиленіемъ повторяете простыя и трогательныя слова добраго Максима Максимыча: «Нѣтъ, она хорошо сдѣлала, что умерла! ну, что бы съ ней сталось, еслибъ Григорій Александровичъ ее покинулъ? А это бы случилось рано или поздно!»...

И съ какимъ безконечнымъ искусствомъ обрисованъ граціозный образъ плѣнительной черкешенки! Она говоритъ и дѣйствуетъ такъ мало, а вы живо видите ее передъ глазами во всей опредѣленности живого существа, читаете въ ея сердцѣ, проникаете всѣ изгибы его... А Максимъ Максимычъ, этотъ добрый простакъ, который и не подозрѣваетъ, какъ глубока и богата его натура, какъ высокъ и благороденъ онъ? Онъ, грубый солдатъ, любуется Бэлою, какъ прекраснымъ дитятею, любитъ ее, какъ милую дочь,—и за что?—спросите его, такъ онъ отвѣтитъ вамъ: «не то, чтобы любилъ, а такъ—глупость!» Ему досадно, что его ни одна женщина не любила такъ, какъ Бэла Печорина; ему грустно, что она не вспомнила о немъ передъ смертью, хоть онъ и самъ сознается, что это съ его стороны не совсѣмъ справедливое требованіе... Останавливаться ли на этихъ чертахъ, столь полныхъ безконечностью? Нѣтъ, онѣ говорятъ сами за себя; а тѣ, для кого онѣ нѣмы, тѣ не стоятъ, чтобъ тратить съ ними слова и время. Простая красота, которая есть одна истинная красота, не для всѣхъ доступна: у бо́льшей части людей глаза такъ грубы, что на нихъ дѣйствуетъ только пестрота, узорочность и красная краска, густо и ярко намазанная... Характеры Азамата и Казбича—это такіе типы, которые будутъ равно понятны и англичанину, и нѣмцу, и французу, какъ понятны они русскому. Вотъ что называется рисовать фигуру во весь ростъ, съ національною физіономіею и въ національномъ костюмѣ!...

Обратите еще вниманіе на эту естественность разсказа, такъ свободно развивающагося, безъ всякихъ натяжекъ, такъ плавно текущаго собственною силою, безъ помощи автора. Офицеръ, возвращающійся изъ Тифлиса въ Россію, встрѣчается въ горахъ съ другимъ офицеромъ; одинокость дорожнаго положенія даетъ одному право начать разговоръ съ другимъ и такъ естественно доводитъ ихъ до знакомства. Одинъ предлагаетъ чай съ ромомъ—тотъ отказывается, говоря, что по одному случаю онъ зарекся пить. Очень естественно, что, сидя въ дымной и гадкой саклѣ, путешественникъ заводитъ съ товарищемъ разговоръ объ обитателяхъ сакли: товарищъ этотъ—пожилой офицеръ, много лѣтъ проведшій на Кавказѣ, естественно, очень охотно разговорился объ этомъ предметѣ. Вопросъ молодого офицера: «А что, много съ вами бывало приключеній?» такъ же естественъ, какъ и отвѣтъ пожилого: «Какъ не бывать! бывало...» Но это не приступъ къ повѣсти, а только еще, какъ и должно, слабая надежда услышать повѣсть: авторъ не погоняетъ обстоятельствъ, какъ лошадей, но даетъ имъ самимъ развиться. Онъ предлагаетъ Максиму Максимычу чай съ ромомъ: тотъ отказывается отъ рома, говоря, что зарекся пить. Вопросъ: «почему?» молодого офицера такъ же не можетъ быть сочтенъ натяжкою, какъ откликъ человѣка, когда его зовутъ. Отвѣтъ Максима Максимыча, въ которомъ онъ говоритъ о случаѣ, заставившемъ его заречься пить вино, уже ожидается самимъ читателемъ. Случай этотъ чисто кавказскій: офицеры пировали, какъ вдругъ сдѣлалась тревога. Но разсужденіе Максима Максимыча, что иногда годъ живи—тревоги нѣтъ, «да какъ тутъ еще водка—пропадшій человѣкъ», отнимаетъ всякую надежду на повѣсть; какъ вдругъ онъ обращается къ черкесамъ, которые, если напьются бузы, такъ и начнутъ рубиться, и очень естественно вспоминаетъ одинъ случай. Онъ и расположенъ его разсказать, но какъ бы не хочетъ навязываться съ разсказами. Молодой офицеръ, котораго любопытство давно уже сильно возбуждено, но который умѣетъ умѣрить его приличіемъ, съ притворнымъ равнодушіемъ спрашиваетъ: «какъ же это случилось?»—«Вотъ изволите видѣть»—и повѣсть началась. Исходный пунктъ ея—страстное желаніе мальчика-черкеса имѣть лихого коня, и вы помните эту дивную сцену изъ драмы между Азаматомъ и Казбичемъ. Печоринъ—человѣкъ рѣшительный, алчущій тревогъ и бурь, готовый рискнуть на все для выполненія даже прихоти своей,—а здѣсь дѣло шло о чемъ-то гораздо большемъ, чѣмъ прихоть. И такъ все вышло изъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ, по законамъ строжайшей необходимости, а не по произволу автора. Но еще

Digitized by Google

повѣсть была простымъ анекдотомъ, и новые знакомые уже пустились въ разсужденія по поводу его, какъ вдругъ Максимъ Максимычъ, у котораго воспоминаніе ожило и потребность сообщить его другому возбудилась, какъ бы говоря съ самимъ собою, прибавилъ: «Никогда себѣ не прощу одного: чортъ дернулъ меня, пріѣхавъ въ крѣпость, пересказать Григорію Александровичу все, что я слышалъ, сидя за заборомъ; онъ посмѣялся,—такой хитрый!—а самъ задумалъ кое-что». Что можетъ быть естественнѣе, проще всего этого? Такая естественность и простота никогда не могутъ быть дѣломъ разсчета и соображенія: онѣ—плодъ вдохновенія.

Итакъ, исторія Бэлы кончилась; но романъ еще только начался, и мы прочли одно вступленіе, которое впрочемъ и само по себѣ, отдѣльно взятое, есть художественное произведеніе, хотя и составляетъ только часть цѣлаго. Но пойдемъ далѣе. Во Владикавказѣ авторъ опять съѣхался съ Максимомъ Максимычемъ. Когда они обѣдали, на дворъ въѣхала щегольская коляска, за которою шелъ человѣкъ. Не смотря на грубость этого человѣка, «баловаинаго слуги лѣниваго барина», Максимъ Максимычъ допросился у него, что коляска принадлежитъ Печорину. «Что ты? Что ты? Печоринъ?... Ахъ, Боже мой!... Да не служилъ-ли онъ на Кавказѣ?» Въ глазахъ Максима Максимыча сверкала радость. «Служилъ, кажется, да я у нихъ недавно», отвѣчалъ слуга. «Ну, такъ!.. такъ!... Григорій Александровичъ? Такъ вѣдь его зовутъ? Мы съ твоимъ бариномъ были пріятели», прибавилъ Максимъ Максимычъ, ударивъ дружески по плечу лакея, такъ что заставилъ его пошатнуться... — «Позвольте, сударь; вы мнѣ мѣшаете» — сказалъ тотъ, нахмурившись. «Экой ты, братецъ!... Да знаешь ли? Мы съ твоимъ бариномъ были друзья закадычные, жили вмѣстѣ... Да гдѣ жъ онъ самъ остался?» Слуга объявилъ, что Печоринъ остался ужинать и ночевать у полковника Н***. «Да не зайдетъ ли онъ вечеромъ сюда?» сказалъ Максимъ Максимычъ; «или ты, любезный, не пойдешь ли къ нему за чѣмъ-нибудь?... Коли пойдешь, такъ скажи, что здѣсь Максимъ Максимычъ; такъ и скажи... ужъ онъ знаетъ... Я дамъ тебѣ восьмигривенный на водку...» Лакей сдѣлалъ презрительную мину, слыша такое скромное обѣщаніе, однако увѣрилъ Максима Максимыча, что исполнитъ его порученіе. «Вѣдь сейчасъ прибѣжитъ!...» сказалъ мнѣ Максимъ Максимычъ съ торжествующимъ видомъ, «пойду за ворота дожидаться.... Эхъ жалко, что я не знакомъ съ Н***!».

Итакъ, Максимъ Максимычъ ждетъ за воротами. Онъ отказался отъ чашки чая и, наскоро выпивъ одну, по вторичному приглашенію, опять выбѣжалъ за ворота. Въ немъ замѣтно было живѣйшее безпокойство, и явно было, что его огорчало равнодушіе Печорина. Новый его знакомый, отворивъ окно, звалъ его спать; онъ что-то пробормоталъ, а на вторичное приглашеніе ничего не отвѣтилъ. Уже поздно ночью вошелъ онъ въ комнату, бросилъ трубку на столъ, сталъ ходить, ковырять въ печи, наконецъ легъ, но долго кашлялъ, плевалъ, ворочался... «Не клопы ли васъ кусаютъ?» спросилъ его новый пріятель. — «Да, клопы...» отвѣчалъ онъ, тяжело вздохнувъ.

На другой день утромъ сидѣлъ онъ за воротами. «Мнѣ надо сходить къ коменданту,—сказалъ онъ,—такъ пожалуйста, если Печоринъ придетъ, пришлите за мной». Но лишь ушелъ онъ, какъ предметъ его безпокойства явился. Съ любопытствомъ смотрѣлъ на него нашъ авторъ, и результатомъ его внимательнаго наблюденія былъ подробный портретъ, къ которому мы возвратимся, когда будемъ говорить о Печоринѣ, а теперь займемся исключительно Максимомъ Максимычемъ. Надо сказать, что когда Печоринъ пришелъ, лакей доложилъ ему, что сейчасъ будутъ закладывать лошадей. Здѣсь мы снова должны прибѣгнуть къ длинной выпискѣ.

«Лошади были уже заложены; колокольчикъ по временамъ звенѣлъ подъ дугою, и лакей уже два раза подходилъ къ Печорину съ докладомъ, что все готово, а Максимъ Максимычъ еще не являлся. Къ счастью, Печоринъ былъ погруженъ въ задумчивость, глядя на синіе зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился въ дорогу. Я подошелъ къ нему: «если вы захотите еще немного подождать», сказалъ я, «то будете имѣть удовольствіе увидѣться съ старымъ пріятелемъ».

— Ахъ, точно! быстро отвѣчалъ онъ: мнѣ вчера говорили, но гдѣ же онъ? — Я обернулся къ площади и увидѣлъ Максима Максимыча, бѣгущаго что было мочи... Черезъ нѣсколько минутъ онъ былъ уже возлѣ насъ; онъ едва могъ дышать; потъ градомъ катился съ лица его; мокрые клочки сѣдыхъ волосъ вырвались изъ-подъ шапки, приклеились ко лбу его; колѣни его дрожали... онъ хотѣлъ кинуться на шею Печорина, но тотъ довольно холодно, хотя съ привѣтливой улыбкой протянулъ ему руку. Штабсъ-капитанъ на минуту остолбенѣлъ, но потомъ жадно схватилъ его руку обѣими руками; онъ еще не могъ говорить.

— Какъ я радъ, дорогой Максимъ Максимычъ! Ну, какъ вы поживаете? сказалъ Печоринъ.

— А ты... а вы?... пробормоталъ со слезами на глазахъ старикъ:—сколько лѣтъ... сколько дней... да куда это?...

— Ѣду въ Персію—и дальше.

— Неужто сейчасъ?... Да подождите, дражайшій!... Неужто сейчасъ разстанемся?... Сколько времени не видались...

— Мнѣ пора, Максимъ Максимычъ, — былъ отвѣтъ.

— Боже мой, Боже мой! да куда это такъ спѣшите?... Мнѣ столько бы хотѣлось вамъ ска-

Digitized by Google

зать... столько разспросить... Ну, что? въ отставкѣ? какъ?... что подѣлывали?

— Скучалъ!—отвѣчалъ Печоринъ, улыбаясь...

— А помните наше житье-бытье въ крѣпости?... Славная страна для охотниковъ!.. Вѣдь вы были страстный охотникъ стрѣлять... А Бэла!..

Печоринъ чуть-чуть поблѣднѣлъ и отвернулся..

— Да, помню!—сказалъ онъ почти тотчасъ, принужденно зѣвнувъ. Максимъ Максимычъ сталъ его упрашивать остаться съ нимъ еще часа два.

— Мы славно пообѣдаемъ, говорилъ онъ, у меня есть два фазана, а кахетинское здѣсь прекрасное... разумѣется, не то, что въ Грузіи, однако лучшаго сорта... Мы поговоримъ... вы мнѣ разскажете про свое житье въ Петербургѣ... А?..

— Право, мнѣ нечего разсказывать, дорогой Максимъ Максимычъ... Однако прощайте, мнѣ пора... я спѣшу... Благодарю, что не забыли... прибавилъ онъ, взявъ его за руку.

Старикъ нахмурилъ брови... Онъ былъ печаленъ и сердитъ, хотя старался скрыть это.— Забыть!— проворчалъ онъ,—я-то не забылъ ничего... Ну, да Богъ съ вами!... Не такъ я думалъ съ вами встрѣтиться...

— Ну, полно, полно!—сказалъ Печоринъ, обнявъ его дружески;—неужели я не тотъ же?... что дѣлать?... Всякому своя дорога... Удастся ли еще встрѣтиться—Богъ знаетъ!.. Говоря это, онъ уже сидѣлъ въ коляскѣ, и ямщикъ уже началъ подбирать возжи.

— Постой!—постой!—закричалъ вдругъ Максимъ Максимычъ, ухватясь за дверцы коляски,—совсѣмъ-было забылъ... У меня остались ваши бумаги, Григорій Александровичъ... я ихъ таскаю съ собою... думалъ найти васъ въ Грузіи, а вотъ гдѣ Богъ далъ свидѣться... что мнѣ съ ними дѣлать?..

— Что хотите! — отвѣчалъ Печоринъ. — Прощайте!

— Такъ вы въ Персію?... а когда вернетесь?... кричалъ вслѣдъ Максимъ Максимычъ...

Коляска была уже далеко... Давно уже не слышно было ни звонка колокольчика, ни стука колесъ по кремнистой дорогѣ,—а бѣдный старикъ еще стоялъ на томъ же мѣстѣ въ глубокой задумчивости...»

Довольно! не будемъ выписывать длиннаго и безсвязнаго монолога, который говорилъ огорченный старикъ, стараясь принять равнодушный видъ, хотя слеза досады по временамъ и сверкала на его рѣсницахъ. Довольно: Максимъ Максимычъ и такъ ужъ весь передъ вами... Еслибы вы нашли его, познакомились съ нимъ, двадцать лѣтъ прожили съ нимъ въ одной крѣпости, и тогда бы не знали лучше. Но мы больше уже не увидимся съ нимъ, а онъ такъ интересенъ, такъ прекрасенъ, что грустно такъ скоро разстаться съ нимъ, и потому взглянемъ на него еще разъ, уже послѣдній...

«— Максимъ Максимычъ,—сказалъ я, подошедши къ нему,—а что это за бумаги оставилъ вамъ Печоринъ?

— А Богъ его знаетъ! какія-то записки.

— Что вы изъ нихъ сдѣлаете?

— Что? я велю надѣлать патроновъ.

— Отдайте ихъ лучше мнѣ.

Онъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ, проворчалъ что-то сквозь зубы и началъ рыться въ чемоданѣ; вотъ онъ вынулъ одну тетрадку и бросилъ ее съ презрѣніемъ на землю; потомъ другая, третья и десятая имѣли ту же участь: въ его досадѣ было что-то дѣтское; мнѣ стало смѣшно и жалко.

— Вотъ онѣ всѣ,—сказалъ онъ,— поздравляю васъ съ находкою..

— И я могу дѣлать съ ними все, что хочу?

— Хоть въ газетахъ печатайте. Какое мнѣ дѣло?... Что я, развѣ другъ его какой, или родственникъ?... Правда, мы жили долго подъ одной кровлей... Да мало-ли съ кѣмъ я не жилъ?...»

Схватя и унеся поскорѣе бумаги изъ опасенія, чтобы Максимъ Максимычъ не раскаялся, нашъ авторъ собрался въ дорогу; онъ уже надѣлъ шапку, какъ штабсъ-капитанъ вошелъ. Но нѣтъ, воля наша! а ужъ надо проститься съ Максимомъ Максимычемъ какъ слѣдуетъ, то есть не прежде, какъ выслушавъ его послѣднее слово... Что дѣлать? есть такіе люди, съ которыми, разъ познакомившись, вѣкъ бы не разстался...

«— А вы, Максимъ Максимычъ, развѣ не ѣдете?

— Нѣтъ-съ.

— А что такъ?

— Да я еще коменданта не видалъ, а мнѣ надо сдать кой-какія казенныя вещи.

— Да вѣдь вы же были у него?

— Былъ, конечно,—сказалъ онъ заминаясь,—да его дома не было... а я не дождался...

Я понялъ его: бѣдный старикъ въ первый разъ отъ роду можетъ быть бросилъ дѣла службы для *собственной надобности*, говоря языкомъ бумажнымъ,—и какъ же онъ былъ награжденъ!

— Очень жаль,—сказалъ я ему,—очень жаль, Максимъ Максимычъ, что намъ до срока надо разстаться.

— Гдѣ намъ, необразованнымъ старикамъ, за вами гоняться!... вы молодежь свѣтская, гордая; еще покамѣсть подъ черкесскими пулями, такъ вы туда-сюда... а послѣ встрѣтитесь, такъ стыдитесь и руку протянуть нашему брату.

— Я не заслужилъ этихъ упрековъ, Максимъ Максимычъ.

— Да я, знаете, такъ, къ слову говорю; а впрочемъ желаю вамъ всякаго счастія и веселой дороги.»

За симъ они довольно сухо разстались; но вы, любезный читатель, вѣрно не сухо разстались съ этимъ старымъ младенцемъ, столь добрымъ, столь милымъ, столь человѣчнымъ и столь неопытнымъ во всемъ, что́ выходило за тѣсный кругозоръ его понятій и опытности? Не правда ли, вы такъ свыклись съ нимъ, такъ полюбили его, что никогда уже не забудете его, и если встрѣтите подъ грубой наружностью, подъ корою зачерствѣлости отъ трудной и скудной жизни —горячее сердце, подъ простою, мѣщанскою рѣчью—теплоту души, то вѣрно скажете: «это Максимъ Максимычъ»?... И дай Богъ вамъ поболѣе встрѣтить на пути вашей жизни Максимъ Максимычей!...

И вотъ, мы разсмотрѣли двѣ части романа—«Бэлу» и «Максима Максимыча»: каждая изъ нихъ имѣетъ свою особность и замкнутость, почему каждая и оставляетъ въ душѣ читателя такое полное, цѣлостное и глубокое впечатлѣніе. Героевъ той и другой повѣсти мы видѣли въ торжествен-

Digitized by Google

нѣйшихъ положеніяхъ ихъ жизни и коротко ихъ знаемъ. Пѣрвая—повѣсть; вторая—эскизъ характера, и каждая равно полна и удовлетворительна, ибо въ каждой поэтъ умѣлъ исчерпать всѐ ея содержаніе и въ типическихъ чертахъ вывести во внѣ все внутреннее, крывшееся въ ней какъ возможность. Что намъ за нужда, что во второй нѣтъ романическаго содержанія, что она представляетъ собою не жизнь, а отрывокъ изъ жизни человѣка? Но если въ этомъ отрывкѣ—весь человѣкъ, то чего же больше. Поэтъ хотѣлъ изобразить характеръ и превосходно успѣлъ въ этомъ: его Максимъ Максимычъ можетъ употребляться не какъ собственное, но какъ нарицательное имя, наравнѣ съ Онѣгиными, Ленскими, Загорѣцкими, Иванами Ивановичами, Иванами Никифоровичами, Афанасіями Ивановичами, Чацкими, Фамусовыми, и пр. Мы познакомились съ нимъ еще въ «Бэлѣ» и больше уже не увидимся. Но въ обѣихъ этихъ повѣстяхъ мы видѣли еще одно лицо, съ которымъ однакожъ незнакомы. Это таинственное лицо не есть герой этихъ повѣстей, но безъ него не было бы этихъ повѣстей: онъ—герой романа, котораго эти двѣ повѣсти только части. Теперь пора намъ съ нимъ познакомиться, и уже не чрезъ посредство другихъ лицъ, какъ прежде: они его не понимаютъ, какъ мы уже видѣли; равнымъ образомъ и не чрезъ поэта, который хоть и одинъ виноватъ въ немъ, но умываетъ въ немъ руки; а чрезъ него же самого: мы готовимся читать его записки. Поэтъ написалъ отъ себя предисловіе только къ запискамъ Печорина. Это предисловіе составляетъ родъ главы романа, какъ его существеннѣйшая часть, но, не смотря на то, мы возвратимся къ нему послѣ, когда будемъ говорить о характерѣ Печорина, а теперь прямо приступимъ къ «запискамъ».

Первое отдѣленіе называется «Тамань» и, подобно первымъ двумъ, есть отдѣльная повѣсть. Хотя оно и представляетъ собою эпизодъ изъ жизни героя романа, но герой попрежнему остается для насъ лицомъ таинственнымъ. Содержаніе этого эпизода слѣдующее: Печоринъ въ Тамани остановился въ скверной хатѣ, на берегу моря, въ которой онъ нашелъ только слѣпого мальчика лѣтъ 14-ти и потомъ таинственную дѣвушку. Случай открываетъ ему, что эти люди—контрабандисты. Онъ ухаживаетъ за дѣвушкою и въ шутку грозитъ ей, что донесетъ на нихъ. Вечеромъ въ тотъ же день она приходитъ къ нему, какъ сирена, обольщаетъ его предложеніемъ своей любви и назначаетъ ему ночное свиданіе на морскомъ берегу. Разумѣется, онъ является, но какъ странность и какая-то таинственность во всѣхъ словахъ и поступкахъ дѣвушки давно уже возбудили въ немъ подозрѣніе, то онъ и запасся пистолетомъ. Таинственная дѣвушка пригласила его сѣсть въ лодку—онъ было поколебался, но отступать было уже не время. Лодка помчалась, а дѣвушка обвилась вокругъ его шеи, и что-то тяжелое упало въ воду... Онъ хвать за пистолетъ, но его уже не было... Тогда завязалась между ними страшная борьба: наконецъ мужчина побѣдилъ; посредствомъ осколка весла онъ добрался кое-какъ до берега и, при лунномъ свѣтѣ, увидѣлъ таинственную ундину, которая, спасшись отъ смерти, отряхалась. Черезъ нѣсколько времени она удалилась съ Янко, какъ видно, съ своимъ любовникомъ и однимъ изъ главныхъ дѣйствователей контрабанды: такъ какъ посторонній узналъ ихъ тайну, имъ опасно было оставаться болѣе въ этомъ мѣстѣ. Слѣпой тоже пропалъ, укравъ у Печорина шкатулку, шашку съ серебряной оправой и дагестанскій кинжалъ.

Мы не рѣшились дѣлать выписокъ изъ этой повѣсти, потому что она рѣшительно не допускаетъ ихъ; это словно какое-то лирическое стихотвореніе, вся прелесть котораго уничтожается однимъ выпущеннымъ или измѣненнымъ не рукою самого поэта стихомъ; она вся въ формѣ; если выписывать, то должно бы ее выписать всю отъ слова до слова; пересказываніе ея содержанія дастъ о ней такое же понятіе, какъ разсказъ, хотя бы и восторженный, о красотѣ женщины, которой вы сами не видѣли. Повѣсть эта отличается какимъ-то особеннымъ колоритомъ: не смотря на прозаическую дѣйствительность ея содержанія, все въ ней таинственно, лица—какія-то фантастическія тѣни, мелькающія въ вечернемъ сумракѣ, при свѣтѣ зари или мѣсяца. Особенно очаровательна дѣвушка: это какая-то дикая, сверкающая красота, обольстительная, какъ сирена, неуловимая, какъ ундина, страшная, какъ русалка, быстрая, какъ прелестная тѣнь или волна, гибкая, какъ тростникъ. Ее нельзя любить, нельзя и ненавидѣть, но ее можно только и любить, и ненавидѣть вмѣстѣ. Какъ чудно-хороша она, когда, на крышѣ своей кровли, съ распущенными волосами, защитивъ глаза ладонью, пристально всматривается вдаль, и то смѣется и разсуждаетъ сама съ собою, то запѣваетъ полную раздолья и отваги удалую пѣсню.

Что касается до героя романа—онъ и тутъ является тѣмъ же таинственнымъ лицомъ, какъ и въ первыхъ повѣстяхъ. Вы видите человѣка съ сильною волею, отважнаго, не блѣднѣющаго никакой опасности, напрашивающагося на бури и тревоги, чтобы занять себя чѣмъ-нибудь и наполнить

Digitized by Google

бездонную пустоту своего духа, хотя бы и дѣятельностью безъ всякой цѣли.

Наконецъ, вотъ и «Княжна Мери». Предисловіе нами прочитано, теперь начинается для насъ романъ. Эта повѣсть разнообразнѣе и богаче всѣхъ другихъ своимъ содержаніемъ, но зато далеко уступаетъ имъ въ художественности формы. Характеры ея или очерки, или силуэты, и только развѣ одинъ—портретъ. Но что составляетъ ея недостатокъ, то же самое есть и ея достоинство, и наоборотъ. Подробное разсмотрѣніе ея объяснитъ нашу мысль.

Начинаемъ съ седьмой страницы. Печоринъ въ Пятигорскѣ, у Елисаветинскаго источника, сходится съ своимъ знакомымъ—юнкеромъ Грушницкимъ. По художественному выполненію, это лицо стоитъ Максима Максимыча; подобно ему, это типъ, представитель цѣлаго разряда людей, имя нарицательное. Грушницкій—идеальный молодой человѣкъ, который щеголяетъ своей идеальностью, какъ записные франты щеголяютъ модными платьемъ, а «львы»—ослиною глупостью. Онъ носитъ солдатскую шинель изъ толстаго сукна; у него георгіевскій солдатскій крестикъ. Ему очень хочется, чтобы его считали не юнкеромъ, а разжалованнымъ изъ офицеровъ: онъ находитъ это очень эффектнымъ и интереснымъ. Вообще «производить эффектъ»—его страсть. Онъ говоритъ вычурными фразами,—словомъ, это одинъ изъ тѣхъ людей, которые особенно плѣняютъ чувствительныхъ, романическихъ и романтическихъ провинціальныхъ барышень, одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ, по прекрасному выраженію автора записокъ, «не трогаетъ просто-прекрасное, и которые важно драпируются въ необыкновенныя чувства, возвышенныя страсти и исключительныя страданія». «Въ ихъ душѣ,—прибавляетъ онъ,—часто много добрыхъ свойствъ, но ни на грошъ поэзіи». Но вотъ самая лучшая и полная характеристика такихъ людей, сдѣланная авторомъ же журнала:« подъ старость они дѣлаются либо мирными помѣщиками, либо пьяницами,—иногда тѣмъ и другимъ». Мы къ этому очерку прибавимъ отъ себя только то, что они страхъ какъ любятъ сочиненія Марлинскаго, и чуть зайдетъ рѣчь о предметахъ сколько-нибудь не житейскихъ, стараются говорить фразами изъ его повѣстей. Теперь вы вполнѣ знакомы съ Грушницкимъ. Онъ очень не долюбливаетъ Печорина за то, что тотъ его понялъ. Печоринъ тоже не любитъ Грушницкаго и чувствуетъ, что когда-нибудь они столкнутся, и одному изъ нихъ не сдобровать.

Они встрѣтились какъ знакомые, и у нихъ начался разговоръ. Грушницкій напалъ на общество, съѣхавшееся въ этотъ годъ на воды. «Нынѣшній годъ,—говорилъ онъ,—изъ Москвы только одна княгиня Лиговская съ дочерью; но я съ ними незнакомъ; моя солдатская шинель какъ печать отверженія. Участіе, которое она возбуждаетъ, тяжело, какъ милостыня». Въ это время прошли мимо ихъ къ колодцу двѣ дамы, и Грушницкій сказалъ, что то княгиня Лиговская съ дочерью Мери. Онъ съ ними незнакомъ, потому что «этой гордой знати нѣтъ дѣла, есть ли умъ подъ нумерованной фуражкой и сердце подъ толстою шинелью!» Звонкою фразою, громко сказанною по-французски, онъ обратилъ на себя вниманіе княгини. Печоринъ сказалъ ему: «эта княгиня Мери прехорошенькая. У нея такіе бархатные глаза,—именно бархатные: я тебѣ совѣтую присвоить это выраженіе, говоря о ея глазахъ;—нижнія и верхнія рѣсницы такъ длинны, что лучи солнца не отражаются въ ея зрачкахъ. Я люблю эти глаза—безъ блеска: они такъ мягки, они будто бы тебя гладятъ... Впрочемъ, кажется, въ ея лицѣ только и есть хорошаго... а что у нея зубы бѣлы? Это очень важно! жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу!»—«Ты говоришь о хорошей женщинѣ, какъ объ англійской лошади», сказалъ Грушницкій съ негодованіемъ. Они разошлись.

Возвращаясь мимо того мѣста, Печоринъ, невидимый, былъ свидѣтелемъ слѣдующей сцены. Грушницкій былъ раненъ, или хотѣлъ казаться раненымъ, и потому хромалъ на одну ногу. Уронивъ стаканъ на песокъ, онъ напрасно усиливался поднять его. Легче птички подлетѣла къ нему княжна и, поднявъ стаканъ, подала ему его съ тѣлодвиженіемъ, исполненнымъ невыразимой прелести. Изъ этого выходитъ цѣлый рядъ смѣшныхъ сценъ, худо кончившихся для Грушницкаго. Онъ идеальничаетъ—Печоринъ надъ нимъ тѣшится. Онъ хочетъ ему показать, что въ поступкѣ княжны не видитъ для Грушницкаго никакой причины къ восторгу или даже просто къ удовольствію. Печоринъ приписываетъ это своей страсти къ противорѣчію, говоря, что присутствіе энтузіазма обдаетъ его крещенскимъ холодомъ, а частыя сношенія съ флегматикомъ могутъ сдѣлать его страстнымъ мечтателемъ. Напрасное обвиненіе! Такое чувство противорѣчія понятно во всякомъ человѣкѣ съ глубокою душою. Дѣтская, а тѣмъ болѣе фальшивая идеальность оскорбляетъ чувство до того, что пріятно увѣрить себя на ту минуту, что совсѣмъ не имѣешь чувства. Въ самомъ дѣлѣ, лучше быть совсѣмъ безъ чувства, нежели съ такимъ чувствомъ. Напротивъ, совершенное отсутствіе жизни въ человѣкѣ возбуждаетъ въ насъ невольное желаніе увѣриться въ собственныхъ глазахъ, что мы

Digitized by Google

*

непохожи на него, что въ насъ много жизни, и сообщаетъ намъ какую-то восторженность. Указываемъ на эту черту ложнаго самообвиненія въ характерѣ Печорина, какъ на доказательство его противорѣчія съ самимъ собою вслѣдствіе непониманія самого себя, причины котораго мы объяснимъ ниже.

Теперь выходитъ на сцену новое лицо—медикъ Вернеръ. Въ беллетрическомъ смыслѣ, это лицо превосходно, но въ художественномъ довольно блѣдно. Мы больше видимъ, что̀ хотѣлъ сдѣлать изъ него поэтъ, нежели что̀ онъ сдѣлалъ изъ него въ самомъ дѣлѣ.

Жалѣемъ, что предѣлы статьи не позволяютъ намъ выписать разговора Печорина съ Вернеромъ: это образецъ граціозной шутливости и вмѣстѣ полнаго мысли остроумія (стр. 28—37). Вернеръ сообщаетъ ему свѣдѣнія о пріѣхавшихъ на воды, а главное—о Лиговскихъ. «Что вамъ сказала княгиня Лиговская обо мнѣ?»—спросилъ Печоринъ.—«Вы очень увѣрены, что это княгиня... а не княжна?»—«Совершенно убѣжденъ.»—«Почему?»—«Потому что княжна спрашивала о Грушницкомъ.»—«У васъ большой даръ соображенія«,—отвѣчалъ Вернеръ. Затѣмъ онъ сообщилъ, что княжна почитаетъ Грушницкаго разжалованнымъ въ солдаты за дуэль. «Надѣюсь, вы ее оставили въ этомъ пріятномъ заблужденіи?»—«Разумѣется».—«Завязка есть!—закричалъ Печоринъ въ восторгѣ,—объ развязкѣ этой комедіи мы похлопочемъ. Явно судьба заботится о томъ, чтобы мнѣ не было скучно.» Далѣе Вернеръ сообщилъ Печорину, что княгиня его знаетъ, потому что встрѣчала въ Петербургѣ, гдѣ его исторія (какая—этого не объясняется въ романѣ) надѣлала много шума. Говоря о ней, княгиня къ свѣтскимъ сплетнямъ приплетала и свои, а дочка слушала со вниманіемъ;—въ ея воображеніи Печоринъ (по словамъ Вернера) сдѣлался героемъ романа въ новомъ вкусѣ. Вернеръ вызывается представить его княгинѣ. Печоринъ отвѣчаетъ, что героевъ не представляютъ, и что они не иначе знакомятся, какъ спасая отъ вѣрной смерти свою любезную. Въ шуткахъ его проглядываетъ намѣреніе. Мы скоро узнаемъ о немъ: оно началось отъ нечего дѣлать, а кончилось... но объ этомъ послѣ. Вернеръ сказалъ о княжнѣ, что она любитъ разсуждать о чувствахъ, о страстяхъ, и пр. Потомъ, на вопросъ Печорина, не видѣлъли онъ кого-нибудь у нихъ, онъ говоритъ, что видѣлъ женщину—блондинку, съ чахоточнымъ видомъ лица, съ черною родинкою на правой щекѣ. Примѣты эти видимо взволновали Печорина, и онъ долженъ былъ признаться, что нѣкогда любилъ эту женщину. Затѣмъ онъ проситъ Вернера не говорить ей о немъ, а если она спроситъ—отнестись о немъ дурно. «Пожалуй!» отвѣчалъ Вернеръ, пожавъ плечами, и ушелъ.

Оставшись наединѣ, Печоринъ думаетъ о предстоящей встрѣчѣ, которая безпокоитъ его. Ясно, что его равнодушіе и иронія—больше свѣтская привычка, нежели черта характера. «Нѣтъ въ мірѣ человѣка (говоритъ онъ), надъ которымъ бы прошедшее пріобрѣтало такую власть, какъ надо мною. Всякое напоминаніе о минувшей печали или радости болѣзненно ударяетъ въ мою душу и извлекаетъ изъ нея все тѣ же звуки... Я глупо созданъ! ничего не забываю—ничего!»

Вечеромъ онъ вышелъ на бульваръ. Сошедшись съ двумя знакомыми, онъ началъ имъ разсказывать что-то смѣшное; они такъ громко хохотали, что любопытство перемануло на его сторону нѣкоторыхъ изъ окружавшихъ княжну. Онъ, какъ выражается самъ, продолжалъ увлекать публику до захожденія солнца. Княжна нѣсколько разъ проходила мимо него съ матерью,—и ея взглядъ, стараясь выразить равнодушіе, выражалъ одну досаду. Съ этого времени у нихъ началась открытая война: въ глаза и за глаза язвили они другъ друга насмѣшками, злыми намеками. Верхъ всегда былъ на сторонѣ Печорина, ибо онъ велъ войну съ должнымъ присутствіемъ духа, безъ всякой запальчивости. Его равнодушіе бѣсило княжну и, на зло ей самой, только дѣлало его интереснѣе въ ея глазахъ. Грушницкій слѣдилъ за нею, какъ звѣрь, и лишь только Печоринъ предрекъ скорое знакомство его съ Лиговскими, какъ онъ въ самомъ дѣлѣ нашелъ случай заговорить съ княгиней и сказать какой-то комплиментъ княжнѣ. Вслѣдствіе этого онъ началъ докучать Печорину, почему онъ не познакомится съ этимъ домомъ, лучшимъ на водахъ? Печоринъ увѣряетъ идеальнаго шута, что княжна его любитъ; Грушницкій конфузится, говоритъ: «какой вздоръ!» и самодовольно улыбается. «Другъ мой, Печоринъ,—говорилъ онъ,—я тебя не поздравляю; ты у нея на дурномъ замѣчаніи... А, право, жаль! потому что Мери очень мила!...»—«Да, она недурна!—сказалъ съ важностью Печоринъ,—только берегитесь, Грушницкій!»—Тутъ онъ сталъ ему давать совѣты и дѣлать предсказанія съ ученымъ видомъ знатока. Смыслъ ихъ былъ тотъ, что княжна изъ тѣхъ женщинъ, которыя любятъ, чтобы ихъ забавляли; что если съ Грушницкимъ будетъ ей скучно двѣ минуты сряду—онъ погибъ; что, накокетничавшись съ нимъ, она выйдетъ за какого-нибудь урода, изъ покорности къ маменькѣ, а послѣ и станетъ увѣрять себя, что она несчастна, что она одного только человѣка и любила, то-есть Грушницкаго, но что не-

Digitized by Google

бо не хотѣло соединить ее съ нимъ, потому что на немъ была солдатская шинель, хотя подъ этой толстой сѣрой шинелью билось сердце страстное и благородное... Грушницкій ударилъ по столу кулакомъ и сталъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. «Я внутренно хохоталъ (слова Печорина) и даже раза два улыбнулся, но онъ, къ счастью, этого не замѣтилъ. Явно, что онъ влюбленъ, потому что еще довѣрчивѣе прежняго; у него даже появилось серебряное кольцо съ чернью, здѣшней работы... Я сталъ его разсматривать, и что же?... мелкими буквами имя Мери было вырѣзано на внутренней сторонѣ, и рядомъ—число того дня, когда она подняла знаменитый стаканъ. Я утаилъ свое открытіе; я не хочу вынуждать у него признаній; я хочу, чтобы онъ самъ выбралъ меня въ свои повѣренные,—и тутъ-то я буду наслаждаться!»

На другой день, гуляя по виноградной аллеѣ и думая о женщинѣ съ родинкой, онъ въ гротѣ встрѣтился съ нею самою. Но здѣсь мы должны выпискою дать понятіе о ихъ отношеніяхъ.

«— Вѣра! вскрикнулъ я невольно.

Она вздрогнула и поблѣднѣла.—Я знала, что вы здѣсь, — сказала она. Я сѣлъ возлѣ нея и взялъ ее за руку. Давно забытый трепетъ пробѣжалъ по моимъ жиламъ при звукѣ этого милаго голоса; она посмотрѣла мнѣ въ глаза своими глубокими и спокойными глазами, — въ нихъ выражалась недовѣрчивость и что-то похожее на упрекъ.

— Мы давно не видались,—сказалъ я.

— Давно, и перемѣнились оба во многомъ!

— Стало-быть, ужъ ты меня не любишь?..

— Я за мужемъ!.. сказала она.

— Опять? Однако нѣсколько лѣтъ тому назадъ эта причина также существовала, но между тѣмъ...

Она выдернула свою руку изъ моей, и щеки ея запылали.

— Можетъ быть, ты любишь своего второго мужа?

Она не отвѣчала и отвернулась.

— Или онъ очень ревнивъ?

Молчаніе.

— Что жъ! онъ молодъ, хорошъ, особенно вѣрно богатъ, и ты боишься... Я взглянулъ на нее и испугался: ея лицо выражало глубокое отчаяніе, на глазахъ сверкали слезы.

— Скажи мнѣ наконецъ,—прошептала она,— тебѣ очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидѣть. Съ тѣхъ поръ, какъ мы знаемъ другъ друга, ты ничего мнѣ не далъ кромѣ страданій!... Ея голосъ задрожалъ, она склонилась ко мнѣ и опустила голову на грудь мою.

— Можетъ быть,—подумалъ я,—ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда!..»

Вѣра никакъ не хотѣла, чтобы Печоринъ познакомился съ ея мужемъ; но такъ какъ онъ дальній родственникъ Лиговской, и какъ потому Вѣра часто бываетъ у ней, то она и взяла съ него слово познакомиться съ княгинею.

Такъ какъ «Записки» Печорина есть его автобіографія, то и невозможно дать полнаго понятія о немъ, не прибѣгая къ выпискамъ, а выписокъ нельзя дѣлать, не переписавши большей части повѣсти. Посему мы принуждены пропускать множество подробностей самыхъ характеристическихъ и слѣдить только за развитіемъ дѣйствія.

Однажды, гуляя верхомъ, въ черкесскомъ платьѣ, между Пятигорскомъ и Желѣзноводскомъ, Печоринъ спустился въ оврагъ, закрытый кустарникомъ, чтобы напоить коня. Вдругъ онъ видитъ—приближается кавалькада: впереди ѣхалъ Грушницкій съ княжной Мери. Онъ былъ довольно смѣшонъ въ своей сѣрой солдатской шинели, сверхъ которой у него надѣта была шашка и пара пистолетовъ. Причина такого вооруженія та (говоритъ Печоринъ), что дамы на водахъ еще вѣрятъ нападенію черкесовъ.

«— И вы цѣлую жизнь хотите остаться на Кавказѣ?—говорила княжна.

— Что для меня Россія? отвѣчалъ ея кавалеръ,—страна, гдѣ тысячи людей, потому что они богаче меня, будутъ смотрѣть на меня съ презрѣніемъ, тогда какъ здѣсь,—здѣсь эта толстая шинель не помѣшала моему знакомству съ вами..

— Напротивъ... сказала княжна, покраснѣвъ...

Въ это время они поравнялись со мной; я ударилъ плетью по лошади и выѣхалъ изъ-за куста.

— Mon Dieu, un Circassien!... — вскрикнула княжна въ ужасѣ.

Чтобы ее совершенно разувѣрить, я отвѣчалъ по-французски, слегка поклонясь:

— Ne craignez rien, madame, je ne suis plus dangereux que votre cavalier.»

Княжна смутилась отъ этого отвѣта. Вечеромъ того же дня Печоринъ встрѣтился съ Грушницкимъ на бульварѣ.

«— Откуда?—Отъ княгини Лиговской,—сказалъ онъ очень важно.—Какъ Мери поетъ!— Знаешь ли что?—сказалъ я ему, я пари держу, что она не знаетъ, что ты юнкеръ; она думаетъ, что ты разжалованный.

— Быть можетъ! Какое мнѣ дѣло!... сказалъ онъ разсѣянно.

— Нѣтъ, я только такъ это говорю...

— А знаешь ли, что ты нынче ужасно ее разсердилъ! Она нашла, что это неслыханная дерзость; я насилу могъ ее увѣрить, что ты не могъ имѣть намѣренія ее оскорбить; она говоритъ, что у тебя наглый взглядъ, что ты вѣрно о себѣ самомъ высокаго мнѣнія.

— Она не ошибается... А ты не хочешь ли за нее вступиться?

— Мнѣ жаль, что я не имѣю еще этого права...

Ого! думалъ я, у него видно есть уже надежда...

— Впрочемъ для тебя же хуже,—продолжалъ Грушницкій,—теперь тебѣ трудно познакомиться съ ними, а жаль! это одинъ изъ самыхъ пріятныхъ домовъ, какіе я только знаю...

Я внутренно улыбнулся. — Самый пріятный домъ для меня теперь мой, сказалъ я, зѣвая, и всталъ, чтобы идти.

— Однако признайся, ты раскаиваешься?

— Какой вздоръ! если я захочу, то завтра же вечеромъ буду у княгини...

— Посмотримъ.

— Даже, чтобъ тебѣ сдѣлать удовольствіе, стану волочиться за княжной.»

Digitized by Google

На балѣ, въ ресторацiи, Печоринъ услышалъ, какъ одна толстая дама, толкнутая княжною, бранила ее за гордость и изъявляла желаніе, чтобы ее проучили, и какъ одинъ услужливый драгунскій капитанъ, кавалеръ толстой дамы, сказалъ ей, что «за этимъ дѣло не станетъ». Печоринъ попросилъ княжну на вальсъ, — и княжна едва могла подавить на устахъ своихъ улыбку торжества. Сдѣлавши съ нею нѣсколько туровъ, онъ завелъ съ нею разговоръ въ тонѣ кающагося преступника. Хохотъ и шушуканье прервали этотъ разговоръ, — Печоринъ обернулся: въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него стояла группа мужчинъ, и среди нихъ драгунскій капитанъ потиралъ отъ удовольствія руки. Вдругъ выходитъ на середину пьяная фигура съ усами и красной рожей, невѣрными шагами подходитъ къ княжнѣ и, заложивъ руки на спину, уставила на смущенную дѣвушку мутно-сѣрые глаза, и говоритъ ей хриплымъ дискантомъ: «Пермете... ну, да что тутъ!... просто ангажирую васъ на мазурку...» Матери княжны не было вблизи; положеніе княжны было ужасно, она готова была упасть въ обморокъ. Печоринъ подошелъ къ пьяному господину и попросилъ его удалиться, говоря, что княжна дала уже ему слово танцовать съ нимъ мазурку. Разумѣется, слѣдствіемъ этой исторіи было формальное знакомство Печорина съ Лиговскими. Впродолженіе мазурки Печоринъ говорилъ съ княжною и нашелъ, что она очень мило шутила, что разговоръ ея былъ остеръ, безъ притязанія на остроту, живъ и свободенъ; ея замѣчанія иногда глубоки.

Этотъ разговоръ былъ программою той продолжительной интриги, въ которой Печоринъ игралъ роль соблазнителя отъ нечего дѣлать; княжна, какъ птичка, билась, въ сѣтяхъ, разставленныхъ искусною рукою, а Грушницкій попрежнему продолжалъ свою шутовскую роль. Чѣмъ скучнѣе и несноснѣе становился онъ для княжны, тѣмъ смѣлѣе становились его надежды. Вѣра безпокоилась и страдала, замѣчая новыя отношенія Печорина къ Мери; но при малѣйшемъ укорѣ или намекѣ должна была умолкать, покоряясь его обаятельной власти, которую онъ такъ тиранически употреблялъ надъ нею. Но что же Печоринъ? неужели онъ полюбилъ княжну?—нѣтъ. Стало-быть, онъ хочетъ обольстить ее? — нѣтъ. Можетъ быть, жениться?—нѣтъ. Вотъ что онъ самъ говоритъ объ этомъ: «Я часто себя спрашиваю, зачѣмъ я такъ упорно добиваюсь любви молоденькой дѣвочки, которую обольстить я совсѣмъ не хочу, и на которой никогда не женюсь? Къ чему это женское кокетство? Вѣра меня любитъ больше, чѣмъ княжна Мери будетъ любить когда-нибудь; еслибъ она мнѣ казалась непобѣдимой красавицей, то, можетъ быть, я бы завлекся трудностью предпріятія... Изъ чего же я хлопочу? изъ зависти къ Грушницкому? Бѣдняжка! онъ вовсе ея не заслуживаетъ. Или это слѣдствіе того сквернаго, но непобѣдимаго чувства, которое заставляетъ насъ умножать сладкія заблужденія ближняго, чтобы имѣть мелкое удовольствіе сказать ему, когда онъ въ отчаяніи будетъ спрашивать, чему онъ долженъ вѣрить: Мой другъ, со мной было то же самое, и ты видишь однако, я обѣдаю, ужинаю и сплю преспокойно, и надѣюсь, съумѣю умереть безъ крика и слезъ!»

Потомъ онъ продолжаетъ, — и тутъ особенно раскрывается его характеръ:

«А вѣдь есть необъятное наслажденіе въ обладаніи молодой, едва распустившейся душой! Она какъ цвѣтокъ, котораго лучшій ароматъ испаряется навстрѣчу первому лучу солнца; его надо сорвать въ ту минуту и, подышавъ имъ досыта, бросить на дорогѣ: авось кто-нибудь подниметъ! Я чувствую въ себѣ ненасытную жадность, поглощающую все, что встрѣчаю на своемъ пути, я смотрю на страданія и радости другихъ только въ отношеніи къ себѣ какъ на пищу, поддерживающую мои душевныя силы. Самъ я больше не способенъ безумствовать подъ вліяніемъ страсти; честолюбіе у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось въ другомъ видѣ, ибо честолюбіе есть не что иное, какъ жажда власти, а первое мое удовольствіе подчинять моей волѣ все, что меня окружаетъ; возбуждать къ себѣ чувство любви, преданности и страха, не есть ли первый признакъ и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданій и радости, не имѣя на то никакого положительнаго права, не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастіе? насыщенная гордость. Еслибъ я почиталъ себя лучше, могущественнѣе всѣхъ на свѣтѣ, я былъ бы счастливъ; еслибъ всѣ меня любили, я въ себѣ нашелъ бы безконечные источники любви. Зло порождаетъ зло; первое страданіе даетъ понятіе объ удовольствіи мучить другого; идея зла не можетъ войти въ голову человѣка безъ того, чтобы онъ не захотѣлъ приложить ее къ дѣйствительности; идеи — созданія органическія, — сказалъ кто-то, ихъ рожденіе даетъ уже имъ форму, и эта форма есть дѣйствіе; тотъ, въ чьей головѣ родилось больше идей, тотъ больше другихъ дѣйствуетъ; отъ этого геній, прикованный къ чиновническому столу, долженъ умереть или сойти съ ума, точно такъ же, какъ человѣкъ съ могучимъ тѣлосложеніемъ, при сидячей жизни и скромномъ поведеніи, умираетъ отъ апоплексическаго удара.»

Такъ вотъ причины, за которыя бѣдная Мери такъ дорого должна поплатиться!... Какой страшный человѣкъ этотъ Печоринъ! Потому что его безпокойный духъ требуетъ движенія, дѣятельность ищетъ пищи, сердце жаждетъ интересовъ жизни, потому должна страдать бѣдная дѣвушка? «Эгоистъ, злодѣй, извергъ, безнравственный человѣкъ!»... хоромъ закричатъ, можетъ быть, строгіе моралисты. Ваша правда, господа; но вы-то изъ

Digitized by Google

чего хлопочете? за что̀ сердитесь? Право, намъ кажется, вы пришли не въ свое мѣсто, сѣли за столъ, за которымъ вамъ не поставлено прибора... Не подходите слишкомъ близко къ этому человѣку, не нападайте на него съ такою запальчивою храбростью: онъ на васъ взглянетъ, улыбнется, и вы будете осуждены, и на смущенныхъ лицахъ вашихъ всѣ прочтутъ судъ вашъ. Вы предаете его анаѳемѣ не за пороки, — въ васъ ихъ больше, и въ васъ они чернѣе и позорнѣе,— но за ту смѣлую свободу, за ту жолчную откровенность, съ которою онъ говоритъ о нихъ. Вы позволяете человѣку дѣлать все, что ему угодно, быть всѣмъ, чѣмъ онъ хочетъ, вы охотно прощаете ему и безуміе, и низость, и развратъ; но, какъ пошлину за право торговли, требуете отъ него моральныхъ сентенцій о томъ, какъ долженъ человѣкъ думать и дѣйствовать, и какъ онъ въ самомъ-то дѣлѣ и не думаетъ, и не дѣйствуетъ... И за то ваше инквизиторское аутода-фѐ готово для всякаго, кто имѣетъ благородную привычку смотрѣть дѣйствительности прямо въ глаза, не опуская своихъ глазъ, называть вещи настоящими ихъ именами и показывать другимъ себя не въ бальномъ костюмѣ, не въ мундирѣ, а въ халатѣ, въ своей комнатѣ, въ уединенной бесѣдѣ съ самимъ собою, въ домашнемъ разсчетѣ съ своею совѣстью... И вы правы: покажитесь передъ людьми хоть разъ въ своемъ позорномъ неглиже, въ своихъ засаленныхъ ночныхъ колпакахъ, въ своихъ оборванныхъ халатахъ, люди съ отвращеніемъ отвернутся отъ васъ и общество извергнетъ васъ изъ себя. Но этому человѣку нечего бояться: въ немъ есть тайное сознаніе, что онъ не то, чѣмъ самому себѣ кажется, и что онъ есть только въ настоящую минуту. Да, въ этомъ человѣкѣ есть сила духа и могущество воли, которыхъ въ васъ нѣтъ; въ самыхъ порокахъ его проблескиваетъ что-то великое, какъ молнія въ черныхъ тучахъ, и онъ прекрасенъ, полонъ поэзіи даже и въ тѣ минуты, когда человѣческое чувство возстаетъ на него... Ему другое назначеніе, другой путь, чѣмъ вамъ. Его страсти — бури, очищающія сферу духа; его заблужденія, какъ ни страшны они, острыя болѣзни въ молодомъ тѣлѣ, укрѣпляющія его на долгую и здоровую жизнь. Это лихорадки и горячки, а не подагра, не ревматизмъ и геморрой, которыми вы, бѣдные, такъ безплодно страдаете... Пусть онъ клевещетъ на вѣчные законы разума, поставляя высшее счастье въ насыщенной гордости; пусть онъ клевещетъ на человѣческую природу, видя въ ней одинъ эгоизмъ; пусть клевещетъ на самого себя, принимая моменты своего духа за его полное развитіе и смѣшивая юность съ возмужалостью,—пусть... Настанетъ торжественная минута, и противорѣчіе разрѣшится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются въ одинъ гармоническій аккордъ!... Даже и теперь онъ проговаривается и противорѣчитъ себѣ, уничтожая одною страницею всѣ предыдущія: такъ глубока его натура, такъ врожденна ему разумность, такъ силенъ у него инстинктъ истины! Послушайте, что̀ говоритъ онъ тотчасъ послѣ того мѣста, которое вѣроятно такъ возмущаетъ моралистовъ:

«Страсти не что иное, какъ идеи при первомъ своемъ развитіи: онѣ принадлежность юности сердца, и глупецъ тотъ, кто думаетъ ими цѣлую жизнь любоваться: многія спокойныя рѣки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачетъ и не пѣнится до самаго моря. *Но это спокойствіе часто признакъ великой, хотя и скрытой силы; полнота и глубина чувствъ и мыслей не допускаетъ бѣшеныхъ порывовъ:* душа, страдая и наслаждаясь, даетъ во всемъ себѣ строгій отчетъ и убѣждается въ томъ, что такъ должно; она знаетъ, что безъ грозъ постоянный зной солнца ее изсушитъ, она проникается своей собственной жизнью, лелѣетъ и наказываетъ себя, какъ любимаго ребенка. *Только въ этомъ высшемъ состояніи самопознанія человѣкъ можетъ оцѣнить правосудіе Божіе.*»

Но пока (прибавимъ мы отъ себя), пока человѣкъ не дошелъ до этого высшаго состоянія самопознанія — если ему назначено дойти до него,—онъ долженъ страдать отъ другихъ и заставлять страдать другихъ, возставать и падать, падать и возставать, отъ заблужденія переходить къ заблужденію и отъ истины къ истинѣ. Всѣ эти отступленія суть необходимые маневры въ сферѣ сознанія; чтобы дойти до мѣста, часто надо дать большой крюкъ, совершить длинный обходъ, ворочаться съ дороги назадъ. Царство истины есть обѣтованная земля, и путь къ ней— аравійская пустыня. Но, скажете вы, за что же другіе должны гибнуть отъ такихъ страстей и ошибокъ? А развѣ мы сами не гибнемъ иногда какъ отъ собственныхъ, такъ и отъ чужихъ? Кто вышелъ изъ горнила испытаній чистъ и свѣтелъ какъ золото, натура того — благородный металлъ; кто сгорѣлъ или не очистился, натура того—дерево или желѣзо. И если многія благородныя натуры погибаютъ жертвами случайности, разрѣшеніе на этотъ вопросъ даетъ религія. Для насъ ясно и положительно одно: безъ бурь нѣтъ плодородія, и природа изнываетъ; безъ страстей и противорѣчій нѣтъ жизни, нѣтъ поэзіи. Лишь бы только въ этихъ страстяхъ и противорѣчіяхъ была разумность и человѣчность, и ихъ результаты вели бы человѣка къ его цѣли, — а судъ принадлежитъ не намъ: для каждаго человѣка судъ въ его дѣлахъ и ихъ слѣдствіяхъ! Мы должны требовать отъ искусства, чтобы оно показывало намъ дѣйствительность, какъ она есть,

Digitized by Google

ибо, какова бы она ни была, эта дѣйствительность, она больше скажетъ намъ, больше научитъ насъ, чѣмъ всѣ выдумки и поученія моралистовъ...

Но, скажутъ, можетъ быть, резонеры,— зачѣмъ рисовать картины возмутительныхъ страстей, вмѣсто того чтобы плѣнять воображеніе изображеніемъ кроткихъ чувствованій природы и любви, и трогать сердце и поучать умъ?—Старая пѣсня, господа, такъ же старая, какъ и «Выйду ль я на рѣченьку, посмотрю на быструю!»... Литература восемнадцатаго вѣка была по преимуществу моральною и разсуждающею, въ ней не было другихъ повѣстей, какъ contes moraux и contes philosophiques; однакожъ эти нравственныя и философскія книги никого не исправили, и вѣкъ всетаки былъ по преимуществу безнравственнымъ и развратнымъ. И это противорѣчіе очень понятно. Законы нравственности въ натурѣ человѣка, въ его чувствѣ, и потому они не противорѣчатъ его дѣламъ; а кто чувствуетъ и поступаетъ сообразно съ своимъ чувствомъ, тотъ мало говоритъ. Разумъ не сочиняетъ, не выдумываетъ законовъ нравственности, но только сознаетъ ихъ, принимая ихъ отъ чувства какъ данныя, какъ факты. И потому чувство и разумъ суть не противорѣчащіе, не враждебные другъ другу, но родственные или, лучше сказать, тождественные элементы духа человѣческаго. Но когда человѣку или отказано природою въ нравственномъ чувствѣ, или оно испорчено дурнымъ воспитаніемъ, безпорядочною жизнью, — тогда его разсудокъ изобрѣтаетъ свои законы нравственности. Говоримъ: разсудокъ, а не разумъ, ибо разумъ есть сознавшее себя чувство, которое даетъ ему въ себѣ предметъ и содержаніе для мышленія; а разсудокъ, лишенный дѣйствительнаго содержанія, по необходимости прибѣгаетъ къ произвольнымъ построеніямъ. Вотъ происхожденіе морали, и вотъ причина противорѣчія между словами и поступками записныхъ моралистовъ. Для нихъ дѣйствительность ничего не значитъ: они не обращаютъ никакого вниманія на то, что есть, и не предчувствуютъ его необходимости; они хлопочутъ только о томъ, что и какъ должно быть. Это ложное философское начало породило и ложное искусство еще задолго до XVIII вѣка,—искусство, которое изображало какую-то небывалую дѣйствительность, создавало какихъ-то небывалыхъ людей. Въ самомъ дѣлѣ, неужели мѣсто дѣйствія Корнелевскихъ и Расиновскихъ трагедій—земля, а не воздухъ, ихъ дѣйствующія лица—люди, а не маріонетки? Принадлежатъ ли эти рыцари, герои, наперсники и вѣтники какому-нибудь вѣку, какой-нибудь странѣ? говорилъ ли кто нибудь отъ созданія міра языкомъ, похожимъ на ихъ языкъ?... Восемнадцатый вѣкъ довелъ это разсудочное искусство до послѣднихъ предѣловъ нелѣпости; онъ только о томъ и хлопоталъ, чтобы искусство шло навыворотъ дѣйствительности, и сдѣлалъ изъ нея мечту, которая и въ нѣкоторыхъ добрыхъ старичкахъ нашего времени еще находитъ своихъ магическихъ витязей. Тогда думали быть поэтами, воспѣвая Хлой, Филидъ, Дорисъ въ фижмахъ и мушкахъ, и Меналковъ, Даметовъ, Титировъ, Миконовъ, Миртилисовъ и Мелибеевъ въ шитыхъ кафтанахъ; восхваляли мирную жизнь подъ соломенною кровлею, у свѣтлаго ручейка Ладона, съ милою подругою, невинною пастушкою, въ то время какъ сами жили въ раззолоченныхъ палатахъ, гуляли въ стриженныхъ аллеяхъ, вмѣсто одной пастушки имѣли по тысячѣ овечекъ, и для доставленія себѣ оныхъ благъ готовы были на всяческая...

Нашъ вѣкъ гнушается этимъ лицемѣрствомъ. Онъ громко говоритъ о своихъ грѣхахъ, но не гордится ими; обнажаетъ свои кровавыя раны, а не прячетъ ихъ подъ нищенскими лохмотьями притворства. Онъ понялъ, что сознаніе своей грѣховности есть первый шагъ къ спасенію. Онъ знаетъ, что дѣйствительное страданіе лучше мнимой радости... Для него польза и нравственность только въ одной истинѣ, а истина — въ сущемъ, т. е. въ томъ, что есть. Потому и искусство нашего вѣка есть воспроизведеніе разумной дѣйствительности. Задача нашего искусства — не представить событія въ повѣсти, романѣ или драмѣ, сообразно съ предположенною заранѣе цѣлью, но развить ихъ сообразно съ законами разумной необходимости. И въ такомъ случаѣ, каково бы ни было содержаніе поэтическаго произведенія, его впечатлѣніе на душу читателя будетъ благодатно, и слѣдовательно нравственная цѣль достигнется сама собою. Намъ скажутъ, что безнравственно представлять ненаказаннымъ и торжествующимъ порокъ: мы противъ этого и не споримъ. Но и въ дѣйствительности порокъ торжествуетъ только внѣшнимъ образомъ: онъ въ самомъ себѣ носитъ свое наказаніе и гордою улыбкою только подавляетъ внутреннее терзаніе. Такъ точно и новѣйшее искусство: оно показываетъ, что судъ человѣка — въ дѣлахъ его; оно, какъ необходимость, допускаетъ въ себѣ диссонансы, производимые въ гармоніи нравственнаго духа, но для того, чтобы показать, какъ изъ диссонанса снова возникаетъ гармонія,—черезъ то ли, что раззвучная струна снова настроивается, или разрывается вслѣдствіе ея своевольнаго разлада. Это міровой законъ жизни, а слѣдовательно и искусства. Вотъ другое дѣло,

Digitized by Google

если поэтъ захочетъ въ своемъ произведеніи доказать, что результаты добра и зла одинаковы для людей, — оно будетъ безнравственно, но тогда уже оно и не будетъ произведеніемъ искусства,—и какъ крайности сходятся, то оно, вмѣстѣ съ моральными произведеніями, составитъ одинъ общій разрядъ непоэтическихъ произведеній, писанныхъ съ опредѣленною цѣлью. Далѣе мы изъ самаго разбираемаго нами сочиненія докажемъ, что оно не принадлежитъ ни къ тѣмъ, ни къ другимъ, и въ основаніи своемъ глубоконравственно. Но пора намъ обратиться къ нему.

На отлогости Машука, въ верстѣ отъ Пятигорска, есть провалъ. Въ одинъ день тамъ назначено было гулянье и родъ бала подъ открытымъ небомъ. Печоринъ спросилъ Грушницкаго, произведеннаго въ офицеры, идетъ ли онъ къ провалу, и тотъ отвѣчалъ, что ни за что въ свѣтѣ не явится передъ княжною прежде, нежели будетъ готовъ его мундиръ, и просилъ его не предувѣдомлять ея о его производствѣ.

«— Скажи мнѣ однако, какъ твои дѣла съ нею?...

Онъ смутился и задумался: ему хотѣлось похвастаться, солгать и было совѣстно, а вмѣстѣ съ этимъ было стыдно признаться въ истинѣ.

— Какъ ты думаешь, любитъ ли она тебя?...

— Любитъ-ли? Помилуй, Печоринъ, какія у тебя понятія? какъ можно такъ скоро? Да если даже она и любитъ, то порядочная женщина этого не скажетъ.

— Хорошо! и вѣроятно по твоему порядочный человѣкъ долженъ тоже молчать о своей страсти?...

— Эхъ, братецъ! На все есть манера; многое не говорится, а отгадывается.

— Это правда... Только любовь, которую мы читаемъ въ глазахъ, ни къ чему женщину не обязываетъ, тогда какъ слова... Берегись, Грушницкій, она тебя надуваетъ..

— Она... отвѣчалъ онъ, поднявъ глаза къ небу и самодовольно улыбнувшись,—мнѣ жаль тебя, Печоринъ!»

Многочисленное общество отправилось вечеромъ къ провалу. Взбираясь на гору, Печоринъ подалъ руку княжнѣ, и она не покидала ея впродолженіе всей прогулки. Разговоръ ихъ начался злословіемъ. Желчь Печорина взволновалась—и, начавши шутя, онъ кончилъ искреннею злостью. Сперва это забавляло княжну, а потомъ испугало. Она сказала ему, что лучше желала бы попасться подъ ножъ убійцы, чѣмъ ему на язычекъ. Онъ на минуту задумался, а потомъ, принявъ на себя глубоко-тронутый видъ, началъ жаловаться на свою участь, которая, по его словамъ, такъ жалка съ самаго его дѣтства:

«Всѣ читали на моемъ лицѣ признаки дурныхъ свойствъ, которыхъ не было, но ихъ предполагали—и они родились. Я былъ скроменъ — меня обвиняли въ лукавствѣ: я сталъ скрытенъ. Я глубоко чувствовалъ добро и зло; никто меня не ласкалъ, всѣ оскорбляли—я сталъ злопамятенъ; я былъ угрюмъ — другія дѣти были веселы и болтливы; я чувствовалъ себя выше ихъ — меня ставили ниже: я сдѣлался завистливъ. Я былъ готовъ любить весь міръ,—меня никто не понялъ, и я выучился ненавидѣть. Моя безцвѣтная молодость протекла въ борьбѣ съ собой и свѣтомъ; лучшія мои чувства, боясь насмѣшки, я хоронилъ въ глубинѣ сердца; они тамъ и умерли. Я говорилъ правду—мнѣ не вѣрили: я началъ обманывать; узнавъ хорошо свѣтъ и пружины общества, я сталъ искусенъ въ наукѣ жизни и видѣлъ, какъ другіе безъ искусства счастливы, пользуясь даромъ тѣми выгодами, которыхъ я такъ неутомимо добивался. И тогда въ груди моей родилось отчаяніе,—не то отчаяніе, которое лѣчатъ дуломъ пистолета,—но холодное, безсильное отчаяніе, прикрытое любезностью и добродушною улыбкой; я сдѣлался нравственнымъ калѣкой: одна половина души моей не существовала, она высохла, умерла, я ее отрѣзалъ и бросилъ, тогда какъ другая шевелилась и жила къ услугамъ каждаго, и этого никто не замѣтилъ, потому что никто не зналъ о существованіи погибшей ея половины; но вы теперь во мнѣ разбудили воспоминаніе о ней, и я вамъ прочелъ ея эпитафію. Многимъ всѣ вообще эпитафіи кажутся смѣшными, но мнѣ нѣтъ, особенно когда вспомню, что подъ ними покоится. Впрочемъ я не прошу васъ раздѣлять мое мнѣніе: если моя выходка вамъ кажется смѣшна—пожалуйста, смѣйтесь — предупреждаю васъ, что это меня не огорчитъ ни мало.»

Отъ души ли говорилъ это Печоринъ, или притворялся?—Трудно рѣшить опредѣлительно: кажется, что тутъ было и то, и другое. Люди, которые вѣчно находятся въ борьбѣ съ внѣшнимъ міромъ и съ самимъ собою, всегда недовольны, всегда огорчены и желчны. Огорченіе есть постоянная форма ихъ бытія, и что бы ни попалось имъ на глаза, все служитъ имъ содержаніемъ для этой формы. Мало того, что они хорошо помнятъ свои истинныя страданія, — они еще неистощимы въ выдумываніи небывалыхъ. Вздумайте ихъ утѣшать — они разсердятся; покажите имъ причины ихъ горестей въ настоящемъ ихъ свѣтѣ — они оскорбятся. Помогите имъ бранить самихъ себя, взведите на нихъ небывалыя обиды жизни, отыщите небывалые недостатки и пороки въ ихъ характерѣ — вы польстите имъ и выиграете ихъ расположеніе. Если вы попадете на человѣка недостаточно глубокаго и сильнаго, — будьте осторожны: вы можете или оскорбить его самолюбіе такъ, что возбудите къ себѣ его ненависть, или убить въ немъ всякую увѣренность въ себя и возродить отчаяніе,—и тогда вамъ предстоитъ горькая и мучительно скучная роль утѣшителя и повѣреннаго однѣхъ и тѣхъ же жалобъ. Если же это человѣкъ глубокій и сильный,—не бойтесь слишкомъ далеко зайти въ нападкахъ на него и на жизнь: у него есть лазеечка изъ этой западни: «я дуренъ, но вѣдь и всѣ таковы». А вы знаете, что, по пословицѣ, при людяхъ и смерть не

Digitized by Google

страшна,—и какъ бы вы ни представлялись себѣ дурнымъ, но если и лучшій изъ людей не лучше васъ,—ваше самолюбіе спасено. И вотъ почему такіе люди такъ неистощимы въ самообвиненіи: оно обращается имъ въ привычку. Обманывая другихъ, они прежде всего обманываютъ себя. Истинная или ложная причина ихъ жалобъ, — имъ все равно, и желчная горесть ихъ равно искренна и непритворна. Мало того: начиная лгать съ сознаніемъ или начиная шутить — они продолжаютъ и оканчиваютъ искренно. Они сами не знаютъ, когда лгутъ и когда говорятъ правду, когда слова ихъ—вопль души или когда они — фразы. Это дѣлается у нихъ вмѣстѣ и болѣзнью души, и привычкою, и безумствомъ, и кокетничаньемъ. Во всей выходкѣ Печорина вы замѣчаете, что у него страждетъ самолюбіе; отчего родилось у него отчаяніе?—Видите ли: онъ узналъ хорошо свѣтъ и пружины общества, сталъ искусенъ въ наукѣ жизни и видѣлъ, какъ другіе безъ искусства счастливы, пользуясь даромъ тѣми выгодами, которыхъ онъ такъ неутомимо добивался. Какое мелкое самолюбіе! восклицаете вы. Но не торопитесь вашимъ приговоромъ: онъ клевещетъ на себя; повѣрьте мнѣ, онъ и даромъ бы не взялъ того счастья, которому завидовалъ у этихъ *другихъ* и котораго добивался. Но княжнѣ отъ этого не легче: она все приняла за наличную монету. Печоринъ не ошибся, сказавъ, что въ немъ два человѣка: въ то время, какъ одинъ такъ горько жаловался ни на что, другой наблюдалъ и за нимъ, и за княжной, и вотъ что замѣтилъ за послѣднею:

«Въ эту минуту я встрѣтилъ ея глаза: въ нихъ бѣгали слезы; рука ея, опираясь на мою, дрожала, щеки пылали: ей было жаль меня!—Состраданіе, чувство, которому покоряются такъ легко всѣ женщины, впустило свои когти въ ея неопытное сердце. Во все время прогулки она была разсѣяна, ни съ кѣмъ не кокетничала,—а это великій признакъ...»

Бѣдная Мери! Какъ систематически, съ какою разсчитанною точностью ведетъ ее злой духъ по пути погибели! Подошедши къ провалу, всѣ дамы оставили своихъ кавалеровъ, но она не оставляла руку Печорина; остроты тамошнихъ денди не смѣшили ея; крутизна обрыва, у котораго она стояла, не пугала ее, тогда какъ другія барышни пищали и закрывали глаза. На возвратномъ пути она была разсѣянна, грустна. «Любили ли вы?» спросилъ ее Печоринъ; она пристально на него посмотрѣла, покачала головой и снова задумалась... Казалось, что-то хотѣлось сказать, но она не знала, съ чего начать; грудь ея волновалась. — «Не правда ли, я была сегодня очень любезна?»—сказала она, при разставаньи, съ принужденною улыбкою. Печоринъ, вмѣсто ея, отвѣтилъ самому себѣ: «Она недовольна собой, она себя обвиняетъ въ холодности... о, это первое, главное торжество! Завтра она захочетъ вознаградить меня. Я все это ужъ знаю наизусть—вотъ что скучно!»—Бѣдная Мери!...

Между тѣмъ Вѣра мучилась ревностью и мучила ею Печорина. Она взяла съ него слово уѣхать въ Кисловодскъ и нанять себѣ квартиру возлѣ того дома, верхъ котораго она займетъ съ мужемъ, а низъ—княгиня Лиговская, которая сбирается туда еще черезъ недѣлю. Вечеръ того же дня Печоринъ провелъ у Лиговскихъ и веселился, замѣчая успѣхи чувства въ княжнѣ. Вѣра все это видѣла и страдала. Чтобы утѣшить ее, онъ разсказалъ вслухъ исторію своей любви съ нею, разумѣется, прикрывъ все вымышленными именами. «Я,—говоритъ онъ,—такъ живо изобразилъ мою нѣжность, мои безпокойства, восторги; я въ такомъ выгодномъ свѣтѣ выставилъ ея поступки, характеръ, что она поневолѣ должна была простить мнѣ мое кокетство съ княжною».

На другой день—балъ въ ресторацiи. За полчаса до бала къ Печорину явился Грушницкій въ полномъ сіяніи армейскаго мундира.—«Ты, говорятъ, эти дни ужасно волочился за моею княжною?»—сказалъ онъ довольно небрежно и не глядя на Печорина. «Гдѣ намъ дуракамъ чай пить!» отвѣчалъ тотъ. Затѣмъ Грушницкій спросилъ у него духовъ; не смотря на замѣчанія Печорина, что отъ него и такъ несетъ розовою помадой, налилъ полстклянки за галстухъ, въ носовой платокъ и на рукава и заключилъ опасеніемъ, что ему прійдется начинать съ княжною мазурку, тогда какъ онъ не знаетъ почти ни одной фигуры. На вопросъ Печорина: «А ты звалъ ее на мазурку?» онъ отвѣчалъ, что нѣтъ, и поспѣшилъ дожидаться ее у подъѣзда. Разумѣется, на балу бѣдный Грушницкій разыгралъ, благодаря Печорину, очень смѣшную роль. Княжна очень разсѣянно его слушала и отвѣчала насмѣшками на его трагикомическія выходки. «Нѣтъ,—говорилъ онъ,—лучше бы мнѣ вѣкъ остаться въ этой презрѣнной солдатской шинели, которой, можетъ быть, я былъ обязанъ вашимъ вниманіемъ»... — «Въ самомъ дѣлѣ, вамъ шинель гораздо болѣе къ лицу»,—отвѣчала княжна и, замѣтивъ подошедшаго къ нимъ Печорина, обратилась къ нему съ вопросомъ о его мнѣніи объ этомъ предметѣ. «Я съ вами несогласенъ,—отвѣчалъ Печоринъ,—въ мундирѣ онъ еще моложавѣе». Этотъ злой намекъ на лѣта мальчика, который хотѣлъ бы, чтобы на его лицѣ читали слѣды сильныхъ страстей, взбѣсилъ Грушницкаго: онъ топнулъ ногою и отошелъ. Все остальное время онъ преслѣдовалъ княжну: танцовалъ или съ нею, или

Digitized by Google

vis à vis, вздыхалъ и надоѣдалъ ей мольбами и упреками. Послѣ третьей кадрили она ужъ его ненавидѣла.

«— Я этого не ожидалъ отъ тебя,—сказалъ онъ, подойдя ко мнѣ и взявъ меня за руку.

— Чего?

— Ты съ нею танцуешь мазурку?—спросилъ онъ торжественнымъ голосомъ.—Она мнѣ призналась..

— Ну, такъ что жъ? а развѣ это секретъ?

— Разумѣется... Я долженъ былъ этого ожидать отъ дѣвчонки... отъ кокетки... Ужъ я отомщу!

— Пеняй на свою шинель или на свои эполеты, а зачѣмъ-же обвинять ее? Чѣмъ она виновата, что ты ей больше не нравишься?...

— Зачѣмъ же подавать надежды?

— Зачѣмъ же ты надѣялся?»

Печоринъ достигъ своей цѣли: Грушницкій отошелъ отъ него съ чѣмъ-то вродѣ угрозы. Это его радовало и забавляло, но что же за радость бѣсить добраго, пустого малаго, и для этого играть обдуманную роль, дѣйствовать по обдуманному плану? Что это: слѣдствіе праздности ума, или мелкости души? Вотъ что думалъ объ этомъ онъ самъ, сбираясь на балъ:

«Я шелъ медленно; мнѣ было грустно... Неужели.—думалъ я,—мое единственное назначеніе— разрушать чужія надежды? Съ тѣхъ поръ, какъ я живу и дѣйствую, судьба какъ-то всегда приводила меня къ развязкѣ чужихъ драмъ, какъ будто безъ меня никто не могъ бы ни умереть, ни прійти въ отчаяніе! Я былъ необходимое лицо пятаго акта; невольно я разыгрывалъ роль палача или предателя. Какую цѣль имѣла на это судьба?... Ужъ не назначенъ ли я ею въ сочинители мѣщанскихъ трагедій и семейныхъ романовъ, или въ сотрудники поставщику повѣстей напримѣръ для «Библіотеки для Чтенія»?.. Почему знать?... Мало ли людей, начиная жизнь, думаютъ кончить ее, какъ Александръ Великій или лордъ Байронъ, а между тѣмъ цѣлый вѣкъ остаются титулярными совѣтниками.»

Мы нарочно выписали это мѣсто, какъ одну изъ самыхъ характеристическихъ чертъ двойственности Печорина. Въ самомъ дѣлѣ, въ немъ два человѣка: первый дѣйствуетъ, второй смотритъ на дѣйствіе перваго и разсуждаетъ о нихъ или, лучше сказать, осуждаетъ ихъ, потому что они дѣйствительно достойны осужденія. Причины этого раздвоенія, этой ссоры съ самимъ собою, очень глубоки, и въ нихъ же заключается противорѣчіе между глубокостью натуры и жалкостью дѣйствій одного и того же человѣка. Ниже мы коснемся этихъ причинъ, а пока замѣтимъ только, что Печоринъ, ошибочно дѣйствуя, еще ошибочнѣе судитъ себя. Онъ смотритъ на себя, какъ на человѣка, вполнѣ развившагося и опредѣлившагося: удивительно ли, что и его взглядъ на человѣка вообще мраченъ, жолченъ и ложенъ?... Онъ какъ будто не знаетъ, что есть эпоха въ жизни человѣка, когда ему досадно, зачѣмъ дуракъ глупъ, подлецъ низокъ, зачѣмъ толпа пóшла, зачѣмъ на сотню пустыхъ людей едва встрѣтишь одного порядочнаго человѣка... Онъ какъ будто не знаетъ, что есть такія пылкія и сильныя души, которыя въ эту эпоху своей жизни находятъ неизъяснимое наслажденіе въ сознаніи своего превосходства, мстятъ посредственности за ея ничтожность, вмѣшиваются въ ея разсчеты и дѣла, чтобы мѣшать ей, разрушая ихъ... Но еще болѣе, онъ какъ будто бы не знаетъ, что для нихъ приходитъ другая эпоха жизни—результатъ первой, когда они или равнодушно на все смотрятъ, не сочувствуя добру, не оскорбляясь зломъ, или увѣряются, что въ жизни и зло необходимо, какъ и добро, что въ арміи общества человѣческаго рядовыхъ всегда должно быть больше, чѣмъ офицеровъ, что глупость должна быть глупа, потому что она глупость, а подлость подла, потому что она подлость, и они оставляютъ ихъ идти своею дорогою, если не видятъ отъ нихъ зла, или не видятъ возможности помѣшать ему, и повторяютъ про себя то съ радостью, то съ грустною улыбкою: «и все то благо, все добро!» Увы, какъ дорого достается уразумѣніе самыхъ простыхъ истинъ!... Печоринъ еще не знаетъ этого, и именно потому, что думаетъ, что все знаетъ.

Позабавившись надъ Грушницкимъ, онъ позабавился и надъ княжною, хотя совсѣмъ другимъ образомъ.

«Я два раза пожалъ ея руку... во второй разъ она ее выдернула, не говоря ни слова.

— Я дурно буду спать эту ночь,— сказала она мнѣ, когда мазурка кончилась.

— Этому виноватъ Грушницкій.

— О, нѣтъ!—И лицо ея стало такъ задумчиво, такъ грустно, что я далъ себѣ слово въ этотъ вечеръ непремѣнно поцѣловать ея руку.

Стали разъѣзжаться. Сажая княжну въ карету, я быстро прижалъ ея маленькую ручку къ губамъ своимъ. Было темно, и никто не могъ этого видѣть.

Я возвратился въ залу очень довольный собою.»

Съ этого времени исторія круто поворотилась, и изъ комической начала переходить въ трагическую. Доселѣ Печоринъ сѣялъ— теперь настаетъ время пожинать ему плоды посѣяннаго. Мы думаемъ, что въ этомъ и должна заключаться истинная нравственность поэтическаго произведенія, а не въ пошлыхъ сентенціяхъ.

Грушницкій наконецъ понялъ, что онъ одураченъ, но вмѣсто того, чтобы въ самомъ себѣ увидѣть причину своего позора, онъ увидѣлъ ее въ Печоринѣ. Къ нему присталъ драгунскій капитанъ и всѣ другіе, которыхъ оскорбляло превосходство Печорина —и противъ Печорина начала составляться враждебная партія; но онъ не испугался, а обрадовался этому, увидѣвъ новую пищу для своей праздной дѣятельности... «Очень радъ;

Digitized by Google

я люблю враговъ, хотя не по-христіански. Они меня забавляютъ, волнуютъ мнѣ кровь. Быть всегда на стражѣ, ловить каждый взглядъ, значеніе каждаго слова, угадывать намѣреніе, притворяться обманутымъ, и вдругъ однимъ толчкомъ опрокинуть все огромное и многотрудное зданіе ихъ хитростей и замысловъ — вотъ что я называю жизнью!»—Ошибочное названіе!—восклицаете вы,—и мы согласны съ вами; но сила всегда останется силою, и всегда будетъ полна поэзіи, всегда будетъ восхищать и удивлять васъ, хотя бы она дѣйствовала и деревяннымъ мечомъ, вмѣсто булатнаго... Есть люди, въ рукахъ которыхъ и простая палка опаснѣе, чѣмъ у иныхъ шпага: Печоринъ изъ такихъ людей...

На другой день Вѣра уѣхала съ мужемъ въ Кисловодскъ. Печоринъ винитъ ее самое въ причинѣ ея жалобъ на него: она отказываетъ ему въ свиданіи наединѣ. «Авось—говоритъ онъ—ревность сдѣлаетъ то, чего не могли мои просьбы». Вечеромъ онъ заходилъ къ Лиговскимъ и не видалъ княжны—она больна. Возвратясь домой, онъ замѣтилъ, что ему чего-то не достаетъ. «Я не видалъ ея! Она больна! Ужъ не влюбился ли я въ самомъ дѣлѣ?... Какой вздоръ!»—Видите ли: какъ увлекательна эта игра въ увлеченіе, какъ легко, увлекая другихъ, увлечься и самому?... Какъ ни старается Печоринъ выставить себя холоднымъ обольстителемъ безъ всякой цѣли, отъ нечего дѣлать, однако для насъ его холодность очень подозрительна. Конечно это еще не любовь, но вѣдь трудно разбирать и различать свои ощущенія: собственное сердце всякаго есть самый извилистый, самый темный лабиринтъ... На другой день онъ засталъ *ее* одну. Она была блѣдна и задумчива. «Вы на меня сердитесь?» Она заплакала и закрыла лицо руками. «Что съ вами?»—«Вы меня не уважаете!...» отвѣчала она. Онъ ей сказалъ что-то вродѣ извиненія и тщеславной загадки на счетъ своего характера—и вышелъ; но, уходя, слышалъ, какъ она плакала. Бѣдная дѣвушка! стрѣла такъ глубоко вошла въ ея сердце, что дѣло не можетъ кончиться хорошо!... Въ тотъ же день Печоринъ узналъ отъ Вернера, что ходятъ слухи, будто онъ женится на княжнѣ...

Наконецъ дѣйствіе переносится въ Кисловодскъ. Однажды многочисленная кавалькада отправилась смотрѣть Кольцо—скалу, образующую ворота, верстахъ въ трехъ отъ Кисловодска. Когда, на возвратномъ пути, переѣзжали черезъ Подкумокъ, у княжны закружилась голова, оттого что она смотрѣла въ воду.—«Мнѣ дурно!»—проговорила она слабымъ голосомъ. Печоринъ обвилъ рукою ея гибкій станъ, щека ея почти касалась его щеки, отъ нея вѣяло пламенемъ... «Что вы со мной дѣлаете? Боже мой!...» говорила она; но онъ не обращалъ вниманія на ея слова—и губы его коснулись ея щеки... Выѣхавъ на берегъ, всѣ пустились рысью, княжна пріостановила свою лошадь, и они опять поѣхали позади всѣхъ. Послѣ долгаго молчанія, умышленнаго со стороны Печорина, она наконецъ сказала голосомъ, въ которомъ были слезы:

«Или вы меня презираете, или очень любите! Можетъ быть, вы хотите посмѣяться надо мною, возмутить мою душу и потомъ оставить... Это было бы такъ подло, такъ низко, что одно предположеніе... О, нѣтъ! не правда-ли, — прибавила она голосомъ нѣжной довѣренности:—не правда ли, во мнѣ нѣтъ ничего такого, что бы исключало уваженіе? Вашъ дерзкій поступокъ... я должна вамъ его простить, потому что позволила... Отвѣчайте, говорите же; я хочу слышать вашъ голосъ!

Въ послѣднихъ словахъ было такое женское нетерпѣніе, что я невольно улыбнулся: къ счастью начинало смеркаться... Я ничего не отвѣчалъ.

— Вы молчите? — продолжала она:—вы, можетъ быть, хотите, чтобы я первая сказала вамъ, что я васъ люблю?..

Я молчалъ.

— Хотите-ли этого? — продолжала она, быстро обратясь ко мнѣ... Въ рѣшительности ея взора и голоса было что-то страшное...

— Зачѣмъ?—отвѣчалъ я, пожавъ плечами.

Она ударила хлыстомъ свою лошадь и пустилась во весь духъ по узкой, опасной дорогѣ; это произошло такъ скоро, что я едва могъ ее догнать, и то, когда ужъ она присоединилась къ остальному обществу. До самаго дома она говорила и смѣялась поминутно; въ ея движеніяхъ было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. Всѣ замѣтили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренно радовалась, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервическій припадокъ: она проведетъ ночь безъ сна и будетъ плакать. *Эта мысль мнѣ доставляетъ необъятное наслажденіе: есть минуты, когда я понимаю Вампира!.. а еще слыву добрымъ малымъ и добиваюсь этого названія.*»

Что такое вся эта сцена? Мы понимаемъ ее только какъ свидѣтельство, до какой степени ожесточенія и безнравственности можетъ довести человѣка вѣчное противорѣчіе съ самимъ собою, вѣчно неудовлетворяемая жажда истинной жизни, истиннаго блаженства; но послѣдней черты ея мы рѣшительно не понимаемъ... Она кажется намъ преувеличеніемъ, умышленною клеветою на самого себя, чертою изысканною и натянутою, — словомъ, намъ кажется, что здѣсь Печоринъ впалъ въ Грушницкаго, хотя и болѣе страшнаго, чѣмъ смѣшного... И, если мы не ошибаемся въ своемъ заключеніи, это очень понятно: состояніе противорѣчія съ самимъ собою необходимо условливаетъ бо́льшую или меньшую изысканность и натянутость въ положеніяхъ...

Возвращаясь домой слободкою, Печоринъ услышалъ изъ одного дома нестройный говоръ и шумные крики. Онъ слѣзъ съ коня и сталъ подслушивать. Говорили о немъ.

Digitized by Google

Драгунскій капитанъ кричалъ, что его надо проучить, что эти петербургскіе слетки зазнаются, пока нхъ не ударишь по носу; что Печоринъ думаетъ, что онъ только одинъ и жилъ въ свѣтѣ, оттого что носитъ всегда чистыя перчатки и вычищенные сапоги, и что онъ долженъ быть трусъ. Грушницкій подтвердилъ достовѣрность послѣдняго предположенія, выдумавъ какое-то происшествіе, въ которомъ будто бы Печоринъ сыгралъ передъ нимъ не слишкомъ выгодную для своей чести роль. Почтенная компанія поджигаетъ Грушницкаго—имя княжны упоминается. Впрочемъ драгунскій капитанъ хочетъ только позабавиться надъ Печоринымъ, заставить его обнаружить свою трусость. Онъ предлагаетъ Грушницкому вызвать его на дуэль, а себѣ предоставляетъ поставить ихъ въ шести шагахъ и въ пистолеты не положить пуль.

«Я съ трепетомъ ждалъ отвѣта Грушницкаго; холодная злость овладѣла мною при мысли, что еслибъ не случай, то я могъ бы сдѣлаться посмѣшищемъ этихъ дураковъ. Еслибъ Грушницкій не согласился, я бросился бы ему на шею. Но послѣ нѣкотораго молчанія онъ всталъ съ своего мѣста, протянулъ руку капитану и сказалъ очень важно:—хорошо, я согласенъ.»

По утру Печоринъ встрѣтилъ княжну у колодца. Это свиданіе было страшною развязкою пустой и ничтожной драмы, которая предшествовала другой драмѣ, не менѣе пустой и ничтожной въ сущности, но еще съ болѣе страшною развязкою.

«— Вы больны?— сказала она, пристально посмотрѣвъ на меня.

— Я не спалъ ночь.

— И я также... я васъ обвиняла... можетъ быть напрасно?—Но объяснитесь, я могу вамъ простить все...

— Все-ли?

— Все... только говорите правду... только скорѣе... Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведеніе: можетъ быть, вы боитесь препятствій со стороны моихъ родныхъ... это ничего: когда они узнаютъ... (ея голосъ задрожалъ) я ихъ упрошу. Или ваше собственное положеніе... но знайте, что я всѣмъ могу пожертвовать для того, котораго люблю... О, отвѣчайте скорѣе, сжальтесь: вы меня не презираете; не правда ли?

Она схватила меня за руку.

Княгиня шла впереди насъ съ мужемъ Вѣры, и ничего не видала, но насъ могли видѣть гуляющіе больные, самые любопытные сплетники изъ всѣхъ любопытныхъ, и я быстро освободилъ свою руку отъ ея страстнаго пожатія.

— Я вамъ скажу всю истину, — отвѣчалъ я княжнѣ: не буду оправдываться, ни объяснять своихъ поступковъ: *я васъ не люблю.*

Ея губы слегка поблѣднѣли...—Оставьте меня! сказала она едва внятно... Я пожалъ плечами, повернулся и ушелъ.»

На этотъ разъ Печоринъ снисходительнѣе къ намъ: онъ приподнялъ таинственное покрывало, которымъ облекъ свое сатанинское величіе, очень просто, хотя и прекрасною прозою, объяснилъ причину этой сцены, какъ бы желая оправдаться въ ней. Онъ говоритъ, что какъ бы страстно ни любилъ онъ женщину, но какъ скоро она дастъ ему почувствовать, что онъ долженъ на ней жениться—прости любовь!... Этотъ страхъ лишиться постылой и ни для чего не нужной ему свободы онъ приписываетъ предсказанію старушки, которая, когда еще онъ былъ ребенкомъ, гадала про него его матери и предрекла ему смерть отъ злой жены... Нѣтъ, это все не то!... Печоринъ не любилъ княжны: онъ оскорбилъ бы самого себя, если бы назвалъ любовью легонькое чувство, возбужденное его собственнымъ кокетствомъ и самолюбіемъ. Потомъ: бракъ есть дѣйствительность любви. Любить истинно можетъ только вполнѣ созрѣвшая душа, и въ такомъ случаѣ любовь видитъ въ бракѣ свою высочайшую награду и, при блескѣ вѣнца, не блекнетъ, а пышнѣе распускаетъ свой ароматный цвѣтъ, какъ при лучахъ солнца... Всякое чувство дѣйствительно въ отношеніи къ самому себѣ, какъ выраженіе моментальнаго состоянія духа: и первая любовь едва проснувшейся для жизни души отрока имѣетъ свою поэзію и свою истину; но, будучи дѣйствительна по своей сущности, она совершенно призрачна по своей формѣ, и въ сравненіи съ любовью возмужалаго человѣка есть то же, что первое безсвязное лепетаніе младенца въ сравненіи съ разумною рѣчью мужа. Это больше потребность любви, чѣмъ самая любовь, и потому она обращается на первый предметъ, способный поразить юную фантазію истиннымъ или мнимымъ сходствомъ съ ея идеаломъ, и такъ же скоро погасаетъ, какъ и вспыхиваетъ. Такая любовь можетъ много разъ повториться въ жизни человѣка; она или ненавидитъ бракъ и отвращается его, какъ идеи, профанирующей ея идеальность, или представляетъ его высочайшимъ блаженствомъ и стремится къ нему только до тѣхъ поръ, пока онъ не предстанетъ къ ней съ своимъ строго-испытующимъ, недовѣрчиво-суровымъ взоромъ: тогда бѣдная любовь потупляетъ передъ нимъ свои глаза, какъ ребенокъ, застигнутый въ шалости строгимъ гувернеромъ... Да, бракъ есть гибель такой любви, и вотъ почему такъ много бываетъ «несчастныхъ браковъ по любви»... Только дѣйствительное чувство не боится своего осуществленія, не трепещетъ своей повѣрки; только дѣйствительность смѣло смотритъ въ глаза дѣйствительности, не потупляя своихъ глазъ... И неужели Печоринъ, этотъ человѣкъ, столь глубокій и могучій, могъ почесть свое чувство къ княжнѣ дѣйствительнымъ и удивиться, что ея намекъ о бракѣ такъ же легко уничтожилъ

Digitized by Google

его чувство, какъ видъ лозы уничтожаетъ рѣзвость ребенка?... Нѣтъ, изъ всего этого опять-таки видно только одно, что Печоринъ еще рано почелъ себя допившимъ до дна чашу жизни, тогда какъ онъ еще не сдулъ порядочно кипящей пѣны... Повторяемъ: онъ еще не знаетъ самого себя, и если не должно ему вѣрить, когда онъ оправдываетъ себя или приписываетъ себѣ разныя нечеловѣческія свойства и пороки, то винить ли его за это?—Вините, если въ глазахъ вашихъ юноша виноватъ тѣмъ, что онъ молодъ, а старецъ тѣмъ, что онъ старъ! Есть люди, въ которыхъ потребность жизни такъ сильна, что составляетъ ихъ мученіе до тѣхъ поръ, пока не удовлетворится,—и есть люди, которые долго живутъ и умираютъ неудовлетворенные, ибо дѣйствительны только потребности, а удовлетвореніе всегда зависитъ отъ случая, который такъ же можетъ сбыться, какъ и можетъ не сбыться. И вотъ когда такіе люди бросаются всюду, ища удовлетворенія, и не находятъ его,—ихъ отчаяніе порождаетъ клеветы на вѣчные законы разумной дѣйствительности; но они правы предъ самими собою въ этихъ клеветахъ, хотя и неправы передъ дѣйствительностью. Можно ли винить ихъ за несчастіе? Можно ли винить ихъ за то, что они съ такою жадностью бросаются на все, что волнуетъ душу призраками блаженства? Не всѣ же родятся съ этимъ апатическимъ благоразумiемъ, источникъ котораго—гнилая и мертвая натура...

Въ Кисловодскъ пріѣхалъ фокусникъ. Разумѣется, на водахъ нельзя презирать никакимъ родомъ развлеченія,—и на первое представленіе всѣ бросились. Сама княгиня Лиговская, не смотря на то, что дочь ея была больна, взяла билетъ. Печоринъ получилъ отъ Вѣры записку, которою она назначала ему свиданіе въ 9 часовъ вечера, извѣщая его, что мужъ ея уѣхалъ въ Пятигорскъ до утра слѣдующаго дня, а людямъ, какъ своимъ, такъ и Лиговскихъ, она раздала билеты. Повертѣвшись на представленіи и замѣтивъ въ заднихъ рядахъ лакеевъ и горничныхъ Вѣры и княгини, Печоринъ отправился на свиданіе.

На дворѣ было темно. Вдругъ Печорину показалось, что кто-то идетъ за нимъ. Изъ предосторожности, онъ обошелъ вокругъ дома, будто гуляя. Проходя мимо оконъ княжны, онъ снова услышалъ за собою шаги,—и человѣкъ, завернутый въ шинель, пробѣжалъ мимо него. Печоринъ бросился на темную лѣстницу—дверь отворилась, и маленькая ручка охватила его руку...

Около двухъ часовъ по полуночи Печоринъ спустился изъ окна, съ верхняго балкона на нижній, посредствомъ двухъ связанныхъ шалей. У княжны горѣлъ огонь, и что-то толкнуло Печорина къ окну. Благодаря не совсѣмъ задернутому занавѣсу, вотъ что увидѣлъ онъ: «Мери сидѣла на своей постели, скрестивъ на колѣняхъ руки; ея густые волосы были собраны подъ ночнымъ чепчикомъ, обшитымъ кружевами; большой пунцовый платокъ покрывалъ ея бѣлыя плечики, и маленькая ножка пряталась въ пестрыхъ персидскихъ туфляхъ. Она сидѣла неподвижно, опустивъ голову на грудь; передъ нею на столикѣ была открыта книга, но глаза ея, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, въ сотый разъ пробѣгали одну и ту же страницу, тогда какъ мысли ея были далеко...»

Какъ много говорятъ эти немногія и простыя строки! Какую длинную и мучительную повѣсть оскорбленнаго женскаго достоинства, оскорбленной женской любви, затаенныхъ страданій и холодно-жгучаго отчаянія разсказываютъ онѣ!... Бѣдная Мери!...

Въ эту минуту кто-то шевельнулся за кустомъ; Печоринъ спрыгнулъ съ балкона на землю, и невидимая рука схватила его за плечо. «А-га!—сказалъ грубый голосъ:—попался!... Будешь у меня къ княжнамъ ходить ночью!...»—«Держи его крѣпче!»—закричалъ другой голосъ,—и Печоринъ узналъ Грушницкаго и драгунскаго капитана. Сильнымъ ударомъ по головѣ сшибъ онъ послѣдняго и бросился въ кусты. «Воры! караулъ!» кричали преслѣдователи; раздался ружейный выстрѣлъ и дымящійся пыжъ упалъ почти къ ногамъ Печорина. Черезъ минуту онъ былъ уже дома и лежалъ, раздѣтый, въ своей постели. Едва человѣкъ его успѣлъ запереть на замокъ дверь, какъ драгунскій капитанъ и Грушницкій начали стучаться, крича: «Печоринъ! вы спите? здѣсь вы?»—«Сплю»—отвѣчалъ онъ имъ сердито. —«Вставайте!—воры... Черкесы...»—«У меня насморкъ, боюсь простудиться.»

Они ушли. Между тѣмъ сдѣлалась тревога. Изъ крѣпости прискакалъ казакъ. Все зашевелилось, начали искать черкесовъ, и на другой день всѣ были убѣждены въ ночномъ нападеніи черкесовъ. На другой день утромъ Печоринъ встрѣтился у колодца съ мужемъ Вѣры, съ которымъ и пошелъ въ ресторацію завтракать. Добрый старикъ разсказывалъ ему о страхахъ жены своей въ прошлую ночь. «Надобно-жъ, чтобъ это случилось именно тогда, какъ я въ отсутствіи!» говорилъ онъ. Они усѣлись завтракать у двери, ведущей въ угловую комнату, гдѣ находилось человѣкъ десять молодежи, въ числѣ которой былъ и Грушницкій. Итакъ, судьба снова доставила Печорину случай подслушать Грушницкаго. Этотъ послѣдній за тайну открывалъ обществу, что причи-

Digitized by Google

ною ночной тревоги были не черкесы, а одинъ человѣкъ, имя котораго онъ долженъ утаить, и который былъ у княжны. «Какова княжна?—заключилъ онъ,—а? Ну, ужъ признаюсь, московскія барышни! послѣ этого чему же можно вѣрить? Мы хотѣли его схватить! только онъ вырвался, и какъ заяцъ бросился въ кусты; тутъ я по немъ выстрѣлилъ». Замѣтивъ, что ему никто не вѣрилъ, онъ сталъ увѣрять честнымъ словомъ въ справедливости разсказаннаго имъ и наконецъ даже изъявилъ готовность назвать виновника исторіи.

«— Скажи, скажи, кто жъ онъ! раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Печоринъ,—отвѣчалъ Грушницкій.

Въ эту минуту онъ поднялъ глаза—я стоялъ въ дверяхъ противъ него; онъ ужасно покраснѣлъ. Я подошелъ къ нему и сказалъ медленно и внятно:

— Мнѣ очень жаль, что я вошелъ послѣ того, какъ вы уже дали честное слово въ подтвержденіе самой отвратительной клеветы. Мое присутствіе избавило бы васъ отъ лишней подлости.»

Грушницкій вскочилъ съ своего мѣста и хотѣлъ разгорячиться. Печоринъ, разумѣется, сталъ требовать отъ него, чтобы онъ отказался отъ своихъ словъ. Грушницкій стоялъ передъ нимъ, потупивъ глаза, въ сильномъ волненіи; но борьба совѣсти съ самолюбіемъ была непродолжительна, тѣмъ болѣе, что драгунскій капитанъ толкнулъ его локтемъ: не подымая глазъ на Печорина, снова подтвердилъ онъ ему истину своего обвиненія. Печоринъ отвелъ капитана и переговорилъ съ нимъ. На крыльцѣ ресторація мужъ Вѣры схватилъ его за руку съ чувствомъ, похожимъ на восторгъ, называлъ его благороднѣйшимъ человѣкомъ, а Грушницкаго подлецомъ, и изъявлялъ свою радость, что у него нѣтъ дочерей... Бѣдный мужъ!...

Оттуда Печоринъ пошелъ къ Вернеру, разсказалъ ему все и попросилъ въ свои секунданты. Черезъ часъ Вернеръ пришелъ къ нему, уже переговоривши съ драгунскимъ капитаномъ. «Противъ васъ точно есть заговоръ», сказалъ онъ ему. Пока Вернеръ снималъ въ передней калоши, онъ былъ свидѣтелемъ жаркаго спора капитана съ Грушницкимъ, изъ котораго понялъ, что Грушницкій не соглашался дурачить Печорина, но требовалъ, какъ обиженный, рѣшительной дуэли. Переговоры Вернера съ капитаномъ порѣшились на томъ, чтобы мѣстомъ дуэли было глухое ущелье, верстахъ въ пяти отъ Кисловодска, и чтобы стрѣляться на другой день, въ четыре часа утра, въ шести шагахъ, а убитаго—на счетъ черкесовъ. Затѣмъ Вернеръ сообщилъ свое подозрѣніе, что капитанъ намѣренъ положить пулю только въ пистолетъ. Грушницкаго, и спросилъ Печорина, должно ли имъ показать, что они догадались, на что послѣдній рѣшительно не согласился, говоря, что онъ и безъ того разстроитъ ихъ планы.

Вечеромъ къ Печорину приходилъ лакей съ приглашеніемъ отъ княгини, но онъ сказался больнымъ. Всю ночь онъ не спалъ, въ головѣ его пробѣгали мысли за мыслями. Отъ угрозъ Грушницкому, котораго онъ почиталъ вѣрною жертвою своею, онъ перешелъ къ мысли о непостоянствѣ счастья, которое доселѣ неизмѣнно служило ему. «Что-жъ,—думалъ онъ,—умереть, такъ умереть! потеря для міра небольшая; да и мнѣ самому порядочно ужъ скучно. Я—какъ человѣкъ, зѣвающій на балѣ, который не ѣдетъ спать только потому, что еще нѣтъ его кареты. Но карета готова... Прощайте!...» Затѣмъ онъ обращается на всю жизнь свою, и ему невольно приходитъ въ голову вопросъ о цѣли его жизни. «Зачѣмъ я жилъ? для какой цѣли я родился? А вѣрно она существовала, и вѣрно было мнѣ назначеніе высокое, потому что я чувствую въ душѣ моей силы необъятныя... Но я не угадалъ этого назначенія, я увлекся приманками страстей пустыхъ и неблагодарныхъ; изъ горнила ихъ я вышелъ твердъ и холоденъ какъ желѣзо, но утратилъ навѣки пылъ благородныхъ стремленій—лучшій цвѣтъ жизни!...»

Поучительна нѣмая бесѣда съ самимъ собою человѣка, который завтра готовится быть или убитымъ, или убійцею?... Мысль невольно обращается на себя, и сквозь мглу предразсужденій и умышленныхъ софизмовъ блеститъ лучъ ужасной истины... Но рѣшеніе принято, шагъ сдѣланъ, и возврата нѣтъ: само общество, которое смотритъ на кровавыя сдѣлки, какъ на безнравственность, само общество, противорѣча себѣ, запрещаетъ этотъ возвратъ своимъ насмѣшливо-презрительнымъ взглядомъ, своимъ недвижно-остановившимся на жертвѣ перстомъ... Кровавая развязка дѣла доставляетъ ему средства читать себѣ для другихъ нравоученія, произнести ближнему приговоръ и надавать ему позднихъ совѣтовъ; отступленіе лишаетъ его занимательнаго анекдота, прекраснаго случая къ развлеченію на чужой счетъ. Что жъ тутъ дѣлать? разумѣется, идти впередъ, а чтобы вниканіе въ себя и въ сущность дѣла не лишило смѣлости, закрыть глаза на истину, и обѣими руками ухватиться за первый представившійся софизмъ, котораго ложность самому очевидна. Печоринъ такъ и сдѣлалъ; онъ рѣшилъ, что не стоитъ труда жить, и онъ правъ передъ собою, или по крайней мѣрѣ не виноватъ передъ тѣми строгими судьями чужихъ поступковъ, которые сами не участвуютъ въ жизни, но на живущихъ смотрятъ, какъ

Digitized by Google

зрители на актеровъ, то апплодируя, то шикая...

Не смотря на тайное безпокойство, мучившее Печорина, онъ не только имѣлъ силы заставить себя взяться за романъ Вальтеръ-Скотта «Шотландскіе Пуритане», но еще и увлечься волшебнымъ вымысломъ.

Когда разсвѣло, онъ посмотрѣлся въ зеркало: тусклая блѣдность покрывала лицо его, хранившее слѣды мучительной безсонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тѣнью, блистали гордо и неумолимо. «Я, говорилъ онъ, остался доволенъ собою». Купанье въ Нарзанѣ сдѣлало его совершенно свѣжимъ и бодрымъ. Возвратясь съ купанья, онъ нашелъ у себя Вернера. Они сѣли на лошадей и поѣхали. Тутъ слѣдуетъ мимоходомъ краткое, полное поэзіи описаніе прекраснаго кавказскаго утра.

Они ѣхали молча.

«— Написали ли вы свое завѣщаніе?—вдругъ спросилъ Вернеръ.

— Нѣтъ.

— А если будете убиты?

— Наслѣдники отыщутся сами.

— Неужели у васъ нѣтъ друзей, которымъ бы вы хотѣли послать послѣднее прости?...

Я покачалъ головой.

— Неужели нѣтъ женщины, которой вы хотѣли бы оставить что-нибудь на память?...

— Хотите ли, докторъ,—отвѣчалъ я ему,—чтобъ я раскрылъ вамъ мою душу?... Видите ли: я выжилъ изъ тѣхъ лѣтъ, когда умираютъ, произнося имя своей любезной и завѣщая другу клочекъ напомаженныхъ или ненапомаженныхъ волосъ. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю объ одномъ себѣ; иные не дѣлаютъ и этого. Друзья, которые завтра меня забудутъ или, хуже, взведутъ на мой счетъ Богъ знаетъ какія небылицы; женщины, которыя, обнимая другого, будутъ смѣяться надо мною, чтобъ не возбудить въ немъ ревности къ усопшему,—Богъ съ ними! Изъ жизненной бури я вынесъ только нѣсколько идей и ни одного чувства. Я давно ужъ живу не сердцемъ, а головою. Я взвѣшиваю, разбираю свои собственныя страсти и поступки съ строгимъ любопытствомъ, но безъ участія. Во мнѣ два человѣка: одинъ живетъ въ полномъ смыслѣ этого слова, другой мыслитъ и судитъ его; первый, можетъ быть, чрезъ часъ простится съ вами и міромъ на вѣки, а второй... второй?...»

Это признаніе обнаруживаетъ всего Печорина. Въ немъ нѣтъ фразъ, и каждое слово искренно. Безсознательно, но вѣрно выговорилъ Печоринъ всего себя. Этотъ человѣкъ не пылкій юноша, который гоняется за впечатлѣніями и всего себя отдаетъ первому изъ нихъ, пока оно не изгладится, и душа не запроситъ новаго. Нѣтъ, онъ вполнѣ пережилъ юношескій возрастъ, этотъ періодъ романтическаго взгляда на жизнь: онъ уже не мечтаетъ умереть за свою возлюбленную, произнося ея имя и завѣщевая другу локонъ волосъ, не принимаетъ слова за дѣло, порывъ чувства, хотя бы самаго возвышеннаго и благороднаго, за дѣйствительное состояніе души человѣка. Онъ много перечувствовалъ, много любилъ и по опыту знаетъ, какъ непродолжительны всѣ чувства, всѣ привязанности; онъ много думалъ о жизни, и по опыту знаетъ, какъ ненадежны всѣ заключенія и выводы для тѣхъ, кто прямо и смѣло смотритъ на истину, не тѣшитъ и не обманываетъ себя убѣжденіями, которымъ уже самъ не вѣритъ... Духъ его созрѣлъ для новыхъ чувствъ и новыхъ думъ, сердце требуетъ новой привязанности: *дѣйствительность*—вотъ сущность и характеръ всего этого новаго. Онъ готовъ для него; но судьба еще не даетъ ему новыхъ опытовъ, и, презирая старые, онъ всетаки по нимъ же судитъ о жизни. Отсюда это безвѣріе въ дѣйствительность чувства и мысли, это охлажденіе къ жизни, въ которой ему видится то оптическій обманъ, то безсмысленное мельканіе китайскихъ тѣней. Это—переходное состояніе духа, въ которомъ для человѣка все старое разрушено, а новаго еще нѣтъ, и въ которомъ человѣкъ есть только возможность чего-то дѣйствительнаго въ будущемъ и совершенный призракъ въ настоящемъ. Тутъ-то возникаетъ въ немъ то, что на простомъ языкѣ называется и «хандрою», и «ипохондріею», и «мнительностью», и «сомнѣніемъ», и другими словами, далеко не выражающими сущности явленія, и что на языкѣ философскомъ называется *рефлексіею*. Мы не будемъ объяснять ни этимологическаго, ни философскаго значенія этого слова, а скажемъ коротко, что въ состояніи рефлексіи человѣкъ распадается на два человѣка, изъ которыхъ одинъ живетъ, а другой наблюдаетъ за нимъ и судитъ о немъ. Тутъ нѣтъ полноты ни въ какомъ чувствѣ, ни въ какой мысли, ни въ какомъ дѣйствіи: какъ только зародится въ человѣкѣ чувство, намѣреніе, дѣйствіе, тотчасъ какой-то скрытый въ немъ самомъ врагъ уже подсматриваетъ зародышъ, анализируетъ его, изслѣдуетъ, вѣрна ли, истинна ли эта мысль, дѣйствительно ли чувство, законно ли намѣреніе, и какая ихъ цѣль, и къ чему они ведутъ,—и благоуханный цвѣтъ чувства блекнетъ, не распустившись, мысль дробится въ безконечность, какъ солнечный лучъ въ граненомъ хрусталѣ; рука, подъятая для дѣйствія, какъ внезапно окаменѣлая, останавливается на взмахѣ и не ударяетъ...

Такъ робкими всегда творитъ насъ совѣсть,
Такъ яркій въ насъ рѣшимости румянецъ
Подъ тѣнію тускнѣетъ размышленья,
И замысловъ отважные порывы,
Отъ сей препоны уклоняя бѣгъ свой,
Именъ дѣяній не стяжаютъ..

говоритъ Шекспировъ Гамлетъ, этотъ поэтическій апотеозъ рефлексіи. Ужасное со-

Digitized by Google

стояніе! Даже въ объятіяхъ любви, среди блаженнѣйшаго упоенія и полноты жизни, возстаетъ этотъ враждебный внутренній голосъ, чтобы заставить человѣка думать, и вырвавъ изъ его рукъ очаровательный образъ, замѣнить его отвратительнымъ скелетомъ...

. . . . въ такое время,
Когда не думаетъ никто.

Но это состояніе сколько ужасно, столько же необходимо. Это одинъ изъ величайшихъ моментовъ духа. Полнота жизни въ чувствѣ, но чувство не есть еще послѣдняя степень духа, дальше которой онъ не можетъ развиваться. При одномъ чувствѣ человѣкъ есть рабъ собственныхъ ощущеній, какъ животное есть рабъ собственнаго инстинкта. Достоинство безсмертнаго духа человѣческаго заключается въ его разумности, а послѣдній, высшій актъ разумности есть мысль. Въ мысли независимость и свобода человѣка отъ собственныхъ страстей и темныхъ ощущеній. Когда человѣкъ поднимаетъ въ гнѣвѣ руку на врага своего—онъ слѣдуетъ чувству, его одушевляющему; но только разумная мысль о своемъ человѣческомъ достоинствѣ и о своемъ человѣческомъ братствѣ со врагомъ можетъ удержать порывъ гнѣва и обезоружить поднятую для убійства руку. Но переходъ изъ непосредственности въ разумное сознаніе необходимо совершается черезъ рефлексію, болѣе или менѣе болѣзненную, смотря по свойству индивидуума. Если человѣкъ чувствуетъ хоть сколько-нибудь свое родство съ человѣчествомъ и хоть сколько-нибудь сознаетъ себя духомъ въ духѣ,—онъ не можетъ быть чуждъ рефлексіи. Исключенія остаются только или за натурами чисто-практическими, или за людьми мелкими и ничтожными, которые чужды интересовъ духа, и которыхъ жизнь—апатическая дремота. И нашъ вѣкъ есть по преимуществу вѣкъ рефлексій, почему отъ нея не освобождены ни тѣ мирныя и счастливыя натуры, которыя съ глубокостью соединяютъ тихость и невозмущаемое спокойствіе, ни самыя практическія натуры, если онѣ не лишены глубокости. Отсюда значеніе цѣлой германской литературы: въ основаніи почти каждаго изъ ея произведеній лежитъ нравственный, религіозный или философскій вопросъ. «Фаустъ» Гёте есть поэтическій апотеозъ рефлексій нашего вѣка. Естественно, что такое состояніе человѣчества нашло свой отзывъ и у насъ; но оно отразилось въ нашей жизни особеннымъ образомъ, вслѣдствіе неопредѣленности, въ которую поставлено наше общество насильственнымъ выходомъ изъ своей непосредственности, черезъ великую реформу Петра. Дивно-художественная «Сцена Фауста» Пушкина представляетъ собою высокій образъ рефлексіи, какъ болѣзни многихъ индивидуумовъ нашего общества. Ея характеръ — апатическое охлажденіе къ благамъ жизни, вслѣдствіе невозможности предаваться имъ со всею полнотою. Отсюда: томительная бездѣйственность въ дѣйствіяхъ, отвращеніе ко всякому дѣлу, отсутствіе всякихъ интересовъ въ душѣ, неопредѣленность желаній и стремленій, безотчетная тоска, мечтательность при избыткѣ внутренней жизни. Это противорѣчіе превосходно выражено авторомъ разбираемаго нами романа въ его чудно-поэтической «Думѣ», исполненной благороднаго негодованія, могучей жизни и поразительной вѣрности идей. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно припомнить изъ нея слѣдующіе четыре стиха, въ которыхъ сказано больше, чѣмъ въ двѣнадцати томахъ иного «господина-сочинителя»:

И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви,
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,
Когда огонь кипитъ въ крови!...

Печоринъ есть одинъ изъ тѣхъ, къ кому особенно должно относиться это энергическое воззваніе благороднаго поэта, котораго это самое и заставило назвать героя романа героемъ нашего времени. Отсюда происходитъ и недостатокъ опредѣленности, недостатокъ художественной рельефности въ изображеніи этого лица, но отсюда же выходитъ и его высочайшій поэтическій интересъ для всѣхъ, кто принадлежитъ къ *нашему времени* не по одному году и числу мѣсяца, въ которые родился, и то сильное неотразимо-грустное впечатлѣніе, которое онъ на насъ производитъ. Но мы еще возвратимся къ этому предмету, когда кончимъ изложеніе содержанія романа.

Подробности свиданія противниковъ на мѣстѣ роковой раздѣлки переданы авторомъ съ ужасающею истиною и поэзіею. Чтобы разстроить безчестныя намѣренія своихъ враговъ, возбудивъ трусость въ Грушницкомъ, Печоринъ предложилъ ему стрѣляться на узенькой площадкѣ отвѣсной скалы, сажень въ тридцать вышины, и съ острыми камнями внизу. «Каждый изъ насъ (говоритъ онъ Грушницкому) станетъ на самомъ краю площадки; такимъ образомъ даже легкая рана будетъ смертельна: это должно быть согласно съ вашимъ желаніемъ, потому что вы сами назначали шесть шаговъ. Тотъ, кто будетъ раненъ, полетитъ непремѣнно внизъ, разобьется въ дребезги: пулю докторъ вынетъ. И тогда можно будетъ очень, очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачнымъ прыжкомъ. Мы бросимъ жребій, кому первому стрѣлять. Объясняю

Digitized by Google

вамъ въ заключеніе, что иначе я не буду драться...» Грушницкій былъ поставленъ въ затрудненіе — лицо его ежеминутно мѣнялось. Теперь ему нельзя было отдѣлаться легкою раною, нанесенною противнику или полученною имъ самимъ. Съ другой стороны, ему пришлось бы или выстрѣлить на воздухъ, или сдѣлаться убійцею, или отказаться отъ своего подлаго замысла. Капитанъ отвѣчалъ на вызовъ Печорина: «пожалуй!», и Грушницкій принужденъ былъ кивнуть головою въ знакъ согласія. Однако онъ отвелъ капитана въ сторону и сталъ говорить съ нимъ съ большимъ жаромъ. Печоринъ видѣлъ, какъ дрожали его посинѣлыя губы, и слышалъ, какъ капитанъ, отвернувшись съ презрѣніемъ, отвѣчалъ ему довольно громко: «ты дуракъ! ничего не понимаешь!»

Взошли на площадку, изображавшую почти треугольникъ. Условились, чтобы тотъ, которому первому достанется встрѣтить выстрѣлъ, сталъ на углу площадки, спиною къ пропасти; если же онъ не будетъ убитъ, противники должны были помѣняться мѣстами. Бросили жребій — Грушницкому досталось стрѣлять первому. Когда стали на мѣста, Печоринъ сказалъ Грушницкому, что если онъ промахнется, то не долженъ надѣяться промаха съ его стороны. Грушницкій покраснѣлъ: мысль убить человѣка безоружнаго, казалось, боролась въ немъ со стыдомъ признаться въ подломъ умыслѣ. Докторъ снова сталъ совѣтовать Печорину обнаружить ихъ умыселъ, и самъ-было хотѣлъ это сдѣлать. «Ни за что на свѣтѣ, докторъ!...—отвѣчалъ Печоринъ, удерживая его за руку,—вы все испортите, вы мнѣ дали слово не мѣшать... какое вамъ дѣло? Можетъ быть, я хочу быть убитымъ...» — «О! это другое!... только на меня на томъ свѣтѣ не жалуйтесь...» — отвѣчалъ Вернеръ, посмотрѣвъ на него съ удивленіемъ.

Капитанъ зарядилъ пистолеты и подалъ одинъ Грушницкому, шепнувъ ему что-то, а другой — Печорину. Печоринъ выдался впередъ, опершись рукою о колѣно, чтобы, въ случаѣ легкой раны, не полетѣть въ бездну; Грушницкій съ блѣднымъ лицомъ, дрожащими колѣнями, сталъ наводить пистолетъ, мѣтя въ лобъ; но тутъ совершилось то, что́ необходимо должно было совершиться вслѣдствіе слабости характера Грушницкаго, неспособнаго ни къ положительному добру, ни къ положительному злу: пистолетъ опустился, и блѣдный какъ смерть, обратившись къ своему секунданту, Грушницкій сказалъ глухимъ голосомъ: «не могу!»— «Трусъ!» отвѣчалъ капитанъ, — выстрѣлъ раздался—пуля легко оцарапала колѣно Печорина, который невольно сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ, чтобы поскорѣе отдѣлиться отъ края. Какая вѣрная черта человѣческой натуры, въ которой ни порывы самолюбія, ни жизненная сила воли не могутъ заглушить инстинкта самосохраненія!...

Теперь настала очередь Печорина. Капитанъ сыгралъ сцену прощанія съ Грушницкимъ, едва удерживаясь отъ смѣха. Можно себѣ представить, какія чувства волновали Печорина при видѣ соперника, который теперь съ спокойною дерзостью смотрѣлъ на него и, кажется, удерживалъ улыбку, а за минуту хотѣлъ убить его какъ собаку... Какъ бы для очистки своей совѣсти, онъ предложилъ ему попросить у него прощенія, но, услышавъ гордый отказъ, произнесъ слѣдующія слова съ разстановкою, громко и внятно, какъ произносятъ смертный приговоръ: «Докторъ, эти господа, вѣроятно второпяхъ, забыли положить пулю въ мой пистолетъ: прошу васъ зарядить его снова,— и хорошенько!» Капитанъ старался казаться обиженнымъ и утверждалъ, что это неправда; но Печоринъ заставилъ его замолчать, сказавъ, что если это такъ, то онъ и съ нимъ будетъ стрѣляться на тѣхъ же условіяхъ. Грушницкій подалъ рѣшительный голосъ въ пользу переряженія пистолета. «Дуракъ же ты, братецъ», — сказалъ капитанъ, плюнувъ и топнувъ ногою,—«пошлый дуракъ!... Ужъ положился на меня, такъ слушайся во всемъ... подѣломъ же тебѣ! околѣвай себѣ какъ муха!...» Печоринъ снова предложилъ Грушницкому — признаться въ своей клеветѣ, обѣщаясь этимъ и кончить дѣло, и даже напоминалъ ему о ихъ прежней дружбѣ. Здѣсь предстоялъ автору прекрасный случай изобразить трогательную сцену примиренія враговъ и обращенія на путь истины заблудшаго человѣка, и тѣмъ премного утѣшить моралистовъ и любителей пряничныхъ эффектовъ; но глубоко-художническій инстинктъ истины, безсознательно открывающій поэту самыя сокровенныя таинства человѣческой природы, заставилъ его написать сцену совсѣмъ въ другомъ родѣ,—сцену, которая поражаетъ своею ужасною, безпощадною истинностью и своею потрясающею эффектностью, при высочайшей простотѣ и естественности... Лицо Грушницкаго вспыхнуло, глаза засверкали. «Стрѣляйте!»—отвѣчалъ онъ,—«я себя презираю, а васъ ненавижу. Если вы меня не убьете, я васъ зарѣжу ночью изъ-за угла. Намъ на землѣ вдвоемъ нѣтъ мѣста...»

Да, это геніальная черта, смѣлый и мощный взмахъ художнической кисти!... Не забудьте, что у Грушницкаго нѣтъ только характера, но что натура его не чужда была нѣкоторыхъ добрыхъ сторонъ: онъ неспособенъ былъ ни къ дѣйствительному добру, ни къ дѣйствительному злу; но торжествен-

Digitized by Google

ное трагическое положеніе, въ которомъ самолюбіе его играло бы напропалую, необходимо должно было возбудить въ немъ мгновенный и смѣлый порывъ страсти. Самолюбіе увѣрило его въ небывалой любви къ княжнѣ и въ любви княжны къ нему; самолюбіе заставило его видѣть въ Печоринѣ своего соперника и врага; самолюбіе рѣшило его на заговоръ противъ чести Печорина; самолюбіе не допустило его послушаться голоса своей совѣсти и увлечься своимъ добрымъ началомъ, чтобы признаться въ заговорѣ; самолюбіе заставило его выстрѣлить въ безоружнаго человѣка; то же самое самолюбіе и сосредоточило всю силу его души въ такую рѣшительную минуту и заставило предпочесть вѣрную смерть вѣрному спасенію чрезъ признаніе. Этотъ человѣкъ — апотеозъ мелочного самолюбія и слабости характера: отсюда всѣ его поступки, — и, не смотря на кажущуюся силу его послѣдняго поступка, онъ вышелъ прямо изъ слабости его характера. Самолюбіе — великій рычагъ въ душѣ человѣка; оно родитъ чудеса! Бываютъ на свѣтѣ люди, которые, не блѣднѣя, какъ передъ чашкою чая, стоятъ передъ дуломъ своего противника, и которые прячутся подъ фуры во время сраженія...

Спускаясь по тропинкѣ внизъ, Печоринъ замѣтилъ между разсѣлинами скалъ окровавленный трупъ Грушницкаго,—и невольно закрылъ глаза. Возвращаясь въ Кисловодскъ, онъ опустилъ поводья и далъ волю коню. Солнце уже садилось, когда, измученный на измученной лошади, пріѣхалъ онъ домой. Тамъ засталъ онъ двѣ записки— одну отъ доктора, другую отъ Вѣры.

Докторъ увѣдомлялъ его, что тѣло уже перевезено, но что, благодаря ихъ мѣрамъ, заранѣе взятымъ, подозрѣній нѣтъ никакихъ, и что онъ можетъ спать спокойно... если можетъ...

Долго не рѣшался онъ открыть вторую записку; тяжелое предчувствіе мучило его— и оно не обмануло его. Письмо Вѣры начинается прощаніемъ навсегда. Мужъ разсказалъ ей о ссорѣ Печорина съ Грушницкимъ,—и это такъ поразило и взволновало ее, что она не понимала, что̀ отвѣчала ему, и только догадывалась, что то̀ было признаніе въ своей тайной любви, потому что мужъ оскорбилъ ее ужаснымъ словомъ и, вышедъ изъ комнаты, велѣлъ закладывать карету. Мысль о вѣчной разлукѣ увлекла ее къ объясненію своихъ отношеній къ Печорину, — и вотъ примѣчательнѣйшее мѣсто письма:

«Мы разстаемся навѣки; однакожъ ты можешь быть увѣренъ, что я никогда не буду любить другого: моя душа истощила на тебѣ всѣ свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая разъ тебя не можетъ смотрѣть безъ нѣкотораго презрѣнія на прочихъ мужчинъ, не потому, чтобы ты былъ лучше ихъ, о нѣтъ! но въ твоей природѣ есть что-то особенное, тебѣ одному свойственное, что-но гордое и таинственное; въ твоемъ голосѣ, что̀ бы ты ни говорилъ, есть власть непобѣдимая; никто не умѣетъ такъ постоянно хотѣть быть любимымъ; ни въ комъ зло не бываетъ такъ привлекательно; ни чей взоръ не обѣщаетъ столько блаженства; никто не умѣетъ лучше пользоваться своими преимуществами, и никто не можетъ быть такъ истинно несчастливъ, какъ ты, потому что никто столько не старается увѣрить себя въ противномъ.»

Письмо заключается изъявленіемъ сомнительной увѣренности, что онъ не любитъ Мери и не женится на ней. «Послушай, ты долженъ мнѣ принести эту жертву: я для тебя потеряла все на свѣтѣ...»

Велѣвъ осѣдлать измученнаго коня, какъ безумный помчался Печоринъ въ Пятигорскъ. При возможности потерять Вѣру она стала для него дороже всего на свѣтѣ — жизни, чести, счастія! Натискъ судьбы взволновалъ могучую натуру, изнемогавшую въ спокойствіи и мирѣ, и возбудилъ ея дремавшее чувство... Здѣсь невольно приходятъ на умъ эти стихи Пушкина:

О люди! всѣ похожи вы
На прародительницу Эву:
Что вамъ дано, то не влечетъ;
Васъ безпрестанно змій зоветъ
Къ себѣ, къ таинственному древу:
Запретный плодъ вамъ подавай,
А безъ того вамъ рай не въ рай.

Стремглавъ скача и погоняя безпощадно, онъ сталъ замѣчать, что конь его тяжело дышетъ и спотыкается. Оставалось пять верстъ до Есентуковъ, казачьей станицы, гдѣ бы могъ онъ пересѣсть на другую лошадь. Еще бы только десять минутъ, но конь рухнулся и издохъ... Печоринъ хотѣлъ идти пѣшкомъ, но, изнуренный тревогами дня и безсонницею, онъ упалъ на мокрую траву и какъ ребенокъ заплакалъ... Напряженная гордость, холодная твердость — плодъ сухого отчаянія, софизмы свѣтской философіи—все исчезло и умолкло; уже не стало человѣка, волнуемаго страстями, потрясаемаго борьбою внутреннихъ противорѣчій,— передъ вами бѣдное, безсильное дитя, слезами омывающее грѣхи свои, чуждое, на эту минуту, ложнаго стыда и не жалующееся ни на судьбу, ни на людей, ни на самого себя...

«И долго лежалъ я неподвижно, и плакалъ горько, не стараясь удержать слезъ и рыданій; я думалъ, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровіе исчезли какъ дымъ, душа обезсилѣла, разсудокъ замолкъ; и если бъ въ эту минуту кто-нибудь меня увидѣлъ, онъ бы съ презрѣніемъ отвернулся.»

Когда ночная роса и горный вѣтеръ освѣжили его горящую голову, онъ разсудилъ, что горькій прощальный поцѣлуй немного

Digitized by Google

бы прибавилъ къ его воспоминаніямъ, а разлука послѣ него была бы тяжеле, — и возвратился въ Кисловодскъ въ пять часовъ утра, бросился въ постель и проспалъ мертвымъ сномъ до вечера. Тутъ пришелъ къ нему Вернеръ и извѣстилъ его, что княжна Лиговская больна разслабленіемъ нервъ; что начальство догадывается объ истинныхъ причинахъ смерти Грушницкаго, и что ему должно взять свои мѣры. Въ самомъ дѣлѣ, на другой день утромъ онъ получилъ приказаніе отъ высшаго начальства отправиться въ крѣпость N, гдѣ судьба и свела его съ Максимомъ Максимычемъ.

Передъ отъѣздомъ, онъ зашелъ къ княгинѣ Лиговской проститься. Она встрѣтила его, какъ человѣка, навѣрное явившагося къ ней, какъ къ матери, съ предложеніемъ насчетъ руки дочери. Тутъ слѣдуетъ превосходная комическая сцена, гдѣ княгиня, намекая Печорину, что ей извѣстны его отношенія къ Мери, даетъ ему знать, что не будетъ противиться ихъ соединенію, и охотно прощаетъ ему странность его поведенія въ отношеніи къ ея дочери. Нѣсколько разъ прерывала она свой большой монологъ пыхтѣніемъ и вздохами, и наконецъ заплакала. Печоринъ попросилъ у нея позволенія наединѣ переговорить съ ея дочерью, на что княгиня принуждена была согласиться.

«Прошло пять минутъ; сердце мое билось, но мысли были спокойны, голова холодна; какъ я ни искалъ въ груди моей хоть искры любви къ милой Мери, старанія мои были напрасны.

Вотъ дверь отворилась, и вошла она. Боже! какъ перемѣнилась съ тѣхъ поръ, какъ я не видалъ ея,—а давно ли? Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочилъ, подалъ ей руку и довелъ ее до креселъ.

Я стоялъ противъ нея. Мы долго молчали; ея большіе глаза, наполненные неизъяснимой грустью, казалось, искали въ моихъ что-нибудь похожее на надежду; ея блѣдныя губы напрасно старались улыбнуться; ея нѣжныя руки, сложенныя на колѣняхъ, были такъ худы и прозрачны, что мнѣ стало жаль ея.

— Княжна,—сказалъ я,—вы знаете, что я надъ вами смѣялся!... Вы должны презирать меня.

На ея щекахъ показался болѣзненный румянецъ.

Я продолжалъ:—слѣдственно вы меня любить не можете.

Она отвернулась, облокотилась на столъ, закрыла глаза рукою, и мнѣ показалось, что въ нихъ блеснули слезы.

— Боже мой!—произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо; еще минута, и я бы упалъ къ ногамъ ея.

— Итакъ, вы сами видите,—сказалъ я сколько могъ твердымъ голосомъ и съ принужденною усмѣшкою,—вы сами видите, что я не могу на васъ жениться. Еслибъ вы даже этого теперь хотѣли, то скоро бы раскаялись; мой разговоръ съ вашей матушкой принудилъ меня объясниться съ вами такъ откровенно и такъ грубо; я надѣюсь, что она въ заблужденіи: вамъ ее легко разувѣрить. Вы видите, я играю въ вашихъ глазахъ самую жалкую и гадкую роль, и даже въ этомъ признаюсь; вотъ все, что могу для васъ сдѣлать. Какое бы вы дурное мнѣніе обо мнѣ ни имѣли, я ему покоряюсь... Видите ли, я передъ вами низокъ?... Не правда-ли, если даже вы меня и любили, то съ этой минуты презираете?...

Она обернулась ко мнѣ блѣдная, какъ мраморъ, только глаза ея чудно сверкали.—Я васъ ненавижу!... сказала она.

Я поблагодарилъ, поклонился почтительно и вышелъ.»

Нужно ли что-нибудь говорить объ этой сценѣ, гдѣ бѣдная Мери является въ такомъ безконечно поэтическомъ апотеозѣ страданія отъ обманутаго чувства и оскорбленнаго самолюбія и достоинства женщины, и гдѣ каждое ея движеніе, каждый звукъ ея голоса запечатлѣны такою неотразимою прелестью и истиною, а положеніе такъ трогательно и возбуждаетъ такое сильное и горестное участіе?... Нѣтъ, кому эта сцена не скажетъ всего, тому наши слова ничего не пояснятъ...

Черезъ часъ скакалъ онъ на тройкѣ курьерскихъ изъ Кисловодска, и на дорогѣ увидѣлъ своего коня: сѣдло было снято и, вмѣсто него, два ворона сидѣли у него на спинѣ... Онъ вздохнулъ и отвернулся...

«И теперь, здѣсь, въ этой скучной крѣпости, и часто, пробѣгая мыслью прошедшее, спрашиваю себя, отчего я не хотѣлъ ступить на этотъ путь, открытый мнѣ судьбою, гдѣ меня ожидали тихія радости и спокойствіе душевное?... Нѣтъ, я бы не ужился съ этою долею! Я какъ матросъ, рожденный и выросшій на палубѣ разбойничьяго брига: его душа слилась съ бурями и битвами, и, выброшенный на берегъ, онъ скучаетъ и томится, какъ ни мани его тѣнистая роща, какъ ни свѣти ему мирное солнце; онъ ходитъ себѣ цѣлый день по прибрежному песку, прислушивается къ однообразному ропоту набѣгающихъ волнъ и всматривается въ туманную даль: не мелькнетъ ли тамъ, на блѣдной чертѣ, отдѣляющей синюю пучину отъ сѣрыхъ тучекъ, желанный парусъ, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-по-малу отдѣляющійся отъ пѣны валуновъ и ровнымъ бѣгомъ приближающійся къ пустынной пристани...»

Такою лирическою выходкою, полною безконечной поэзіи и обнаруживающею всю глубину и мощь этого человѣка, заканчивается журналъ Печорина. Теперь это таинственное лицо, такъ сильно волновавшее наше любопытство и въ исторіи Бэлы, и при свиданіи съ Максимъ Максимычемъ, и въ разсказѣ о собственномъ приключеніи въ Таманы,—теперь оно все передъ нами во весь ростъ свой. Черезъ него самого познакомились мы со всѣми изгибами его сердца, со всѣми событіями его жизни, и теперь уже самъ онъ ничего новаго не въ состояніи сказать намъ о самомъ себѣ. Но между тѣмъ, прочтя «Княжну Мери», мы все еще не разстались съ нимъ, и еще разъ встрѣчаемся съ нимъ, какъ съ разсказчикомъ необыкновеннаго случая, котораго онъ былъ свидѣтелемъ. Мы не будетъ ни подробно излагать содержанія этого разсказа, ни дѣлать изъ

Digitized by Google

него выписокъ. Въ обществѣ офицеровъ зашелъ споръ о восточномъ фатализмѣ, и молодой офицеръ Вуличъ предложилъ пари противъ предопредѣленія, схватилъ со стѣны первый попавшійся ему изъ множества висѣвшихъ на стѣнѣ пистолетовъ, насыпалъ на полку пороха, приставилъ пистолетъ ко лбу, спустилъ курокъ—осѣчка!... Захотѣли узнать, точно ли пистолетъ былъ заряженъ, выстрѣлили въ фуражку, — и когда дымъ разсѣялся, всѣ увидѣли, что фуражка была прострѣлена. Еще до выстрѣла Печорину въ лицѣ и голосѣ Вулича показалось что-то такое странное и таинственное, что онъ невольно убѣдился въ близкой смерти этого человѣка, и предрекъ ему смерть. Въ самомъ дѣлѣ, выходя изъ общества, Вуличъ былъ убитъ на улицѣ станицы пьянымъ казакомъ... Да здравствуетъ фатализмъ!... Все, что́ мы пересказали въ нѣсколькихъ строкахъ, составляетъ въ романѣ порядочный отрывокъ съ превосходно изложенными подробностями, увлекательный по разсказу. Особенно хорошо обрисованъ характеръ героя—такъ и видите его передъ собою, тѣмъ болѣе, что онъ очень похожъ на Печорина. Самъ Печоринъ является тутъ дѣйствующимъ лицомъ, и едва ли еще не болѣе на первомъ планѣ, чѣмъ самъ герой разсказа. Свойство его участія въ ходѣ повѣсти, равно какъ и его отчаянная, фаталическая смѣлость при взятіи взбѣсившагося казака если не прибавляютъ ничего новаго къ даннымъ о его характерѣ, то всетаки добавляютъ уже извѣстное намъ, и тѣмъ самымъ усугубляютъ единство мрачнаго и терзающаго душу впечатлѣнія цѣлаго романа, который есть біографія одного лица.—Это усиленіе впечатлѣнія особенно заключается въ основной идеѣ разсказа, которая есть фатализмъ, вѣра въ предопредѣленіе, одно изъ самыхъ мрачныхъ заблужденій человѣческаго разсудка, которое лишаетъ человѣка нравственной свободы, изъ слѣпого случая дѣлая необходимость. Предразсудокъ—явно выходящій изъ положенія Печорина, который не знаетъ, чему вѣрить, на чемъ опереться, и съ особеннымъ увлеченіемъ хватается за самыя мрачныя убѣжденія, лишь бы только давали они поэзію его отчаянію и оправдывали его въ собственныхъ глазахъ.

Что же за человѣкъ этотъ Печоринъ?—Здѣсь мы должны обратиться къ «Предисловію», написанному авторомъ романа къ журналу Печорина.

«Теперь я долженъ нѣсколько объяснить причины, побудившія меня передать публикѣ сердечныя тайны человѣка, котораго я никогда не зналъ. Добро бы я былъ еще его другомъ: коварная нескромность истиннаго друга понятна каждому, но я видѣлъ его только разъ въ моей жизни на большой дорогѣ; слѣдовательно, не могу питать къ нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь подъ личиною дружбы, ожидаетъ только смерти или несчастія любимаго предмета, чтобъ разразиться надъ головою громомъ упрековъ, совѣтовъ и сожалѣній.»

Не смотря на всю софистическую ложность этой горькой выходки, — самая же жолчность свидѣтельствуетъ уже, что въ ней есть своя истинная сторона. Въ самомъ дѣлѣ, и дружба, подобно любви, есть роза съ роскошнымъ цвѣтомъ, упоительнымъ ароматомъ, но и съ колючими шипами. Каждая индивидуальность, какъ бы по природѣ своей, враждебна другой, и силится пересоздать ее по своему, и въ самомъ дѣлѣ, когда сходятся двѣ субъективности, онѣ, такъ сказать, чрезъ взаимное треніе другъ объ друга сглаживаются и измѣняются, заимствуя одна отъ другой то, чего имъ не достаетъ. Отсюда это взаимное цензорство въ дружбѣ, эта страсть разражаться надъ головою друга градомъ упрековъ, насмѣшекъ и сожалѣній. Самолюбіе тутъ играетъ свою роль; но если дружба основана не на дѣтской привязанности, или какой-нибудь внѣшней связи, — истинная привязанность, внутреннее человѣческое чувство всегда играетъ тутъ свою роль. Авторъ видитъ въ дружбѣ одни шипы — и его ошибка не въ ложности, а въ односторонности взгляда. Онъ видимо находится въ томъ состояніи духа, когда въ нашемъ разумѣніи всякая мысль распадается на свои же собственные моменты, до тѣхъ поръ, пока духъ нашъ не созрѣетъ для великаго процесса разумнаго примиренія противоположностей въ одномъ и томъ же предметѣ. Вообще, хотя авторъ и выдаетъ себя за человѣка, совершенно чуждаго Печорину, но онъ сильно симпатизируетъ съ нимъ, и въ ихъ взглядѣ на вещи— удивительное сходство. Слѣдующее мѣсто изъ «Предисловія» еще болѣе подтверждаетъ нашу мысль:

«Можетъ быть, нѣкоторые читатели захотятъ узнать мое мнѣніе о характерѣ Печорина. Мой отвѣтъ—заглавіе этой книги.—Да это злая иронія! скажутъ они.—Не знаю.»

И такъ, «Герой нашего времени» — вотъ основная мысль романа. Въ самомъ дѣлѣ, послѣ этого весь романъ можетъ почесться злою ироніею, потому что большая часть читателей навѣрное воскликнетъ: «Хорошъ же герой!» — А чѣмъ же онъ дуренъ?—смѣемъ васъ спросить.

Зачѣмъ же такъ неблагосклонно
Вы отзываетесь о немъ?
За то-ль, что мы неугомонно
Хлопочемъ, судимъ обо всемъ,
Что пылкихъ думъ неосторожность
Себялюбивую ничтожность
Иль оскорбляетъ, иль смѣшитъ,
Что умъ, любя просторъ, тѣснитъ,

Digitized by Google

Что слишкомъ часто разговоры
Принять мы рады за дѣла,
Что глупость вѣтрена и зла,
Что важнымъ людямъ важны вздоры,
И что посредственность одна
Намъ по плечу и нестрашна?

Вы говорите противъ него, что въ немъ нѣтъ вѣры. Прекрасно! но вѣдь это то же самое, что обвинять нищаго за то, что у него нѣтъ золота: онъ бы и радъ имѣть его, да не дается оно ему. И притомъ развѣ Печоринъ радъ своему безвѣрію? развѣ онъ гордится имъ? развѣ онъ не страдалъ отъ него? развѣ онъ не готовъ цѣною жизни и счастья купить эту вѣру, для которой еще не насталъ часъ его?... Вы говорите, что онъ эгоистъ?—Но развѣ онъ не презираетъ и не ненавидитъ себя за это? развѣ сердце его не жаждетъ любви чистой и безкорыстной? Нѣтъ, это не эгоизмъ: эгоизмъ не страдаетъ, не обвиняетъ себя, но доволенъ собою, радъ себѣ. Эгоизмъ не знаетъ мученія; страданіе есть удѣлъ одной любви. Душа Печорина не каменная почва, но засохшая отъ зноя пламенной жизни земля: пусть взрыхлитъ ее страданіе и ороситъ благодатный дождь,—и она произраститъ изъ себя пышные, роскошные цвѣты небесной любви... Этому человѣку стало больно и грустно, что всѣ его не любятъ,—и кто же эти «всѣ»?—пустые, ничтожные люди, которые не могутъ простить ему его превосходства надъ ними. А его готовность задушить въ себѣ ложный стыдъ, голосъ свѣтской чести и оскорбленнаго самолюбія, когда онъ за признаніе въ клеветѣ готовъ былъ простить Грушницкому,—человѣку, сейчасъ только выстрѣлившему въ него пулею и безстыдно ожидавшему отъ него холостого выстрѣла? А его слезы и рыданія въ пустынной степи, у тѣла издохшаго коня?—нѣтъ, все это не эгоизмъ! Но его—скажете вы—холодная разсчетливость, систематическая разсчитанность, съ которою онъ обольщаетъ бѣдную дѣвушку, не любя ея, и только для того, чтобы посмѣяться надъ нею и чѣмъ-нибудь занять свою праздность?—Такъ, но мы и не думаемъ оправдывать его въ такихъ поступкахъ, ни выставлять его образцомъ, высокимъ идеаломъ чистѣйшей нравственности; мы только хотимъ сказать, что въ человѣкѣ должно видѣть человѣка, и что идеалы нравственности существуютъ въ однихъ классическихъ трагедіяхъ и моральносантиментальныхъ романахъ прошлаго вѣка. Судя о человѣкѣ, должно брать въ разсмотрѣніе обстоятельства его развитія и сферу жизни, въ которую онъ поставленъ судьбою. Въ идеяхъ Печорина много ложнаго, въ ощущеніяхъ его есть искаженіе; но все это выкупается его богатою натурою. Его, во многихъ отношеніяхъ, дурное настоящее обѣщаетъ прекрасное будущее. Вы восхищаетесь быстрымъ движеніемъ парохода, видите въ немъ великое торжество духа надъ природою—и хотите потомъ отрицать въ немъ всякое достоинство, когда онъ сокрушаетъ, какъ зерно жерновъ, неосторожныхъ, попавшихъ подъ его колеса: не значитъ ли это противорѣчить самимъ себѣ? опасность отъ парохода есть результатъ его чрезмѣрной быстроты; слѣдовательно, порокъ его выходитъ изъ его достоинства. Бываютъ люди, которые отвратительны при всей безукоризненности своего поведенія, потому что она въ нихъ есть слѣдствіе безжизненности и слабости духа. Порокъ возмутителенъ и въ великихъ людяхъ; но наказанный, онъ приводитъ въ умиленіе вашу душу. Это наказаніе только тогда есть торжество нравственнаго духа, когда оно является не извнѣ, но есть результатъ самаго порока, отрицаніе собственной личности индивидуума въ оправданіе вѣчныхъ законовъ оскорбленной нравственности. Авторъ разбираемаго нами романа, описывая наружность Печорина, когда онъ съ нимъ встрѣтился на большой дорогѣ, вотъ что́ говоритъ о его глазахъ: «Они не смѣялись, когда онъ смѣялся... Вамъ не случалось замѣчать такой странности у нѣкоторыхъ людей? Это признакъ или злого нрава, или глубокой, постоянной грусти. Изъ-за полуопущенныхъ рѣсницъ они сіяли какимъ-то фосфорическимъ блескомъ, если можно такъ выразиться. То не было отраженіе жара душевнаго или играющаго воображенія: то было блескъ, подобный блеску гладкой стали, ослѣпительный, но холодный; взглядъ его—непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлялъ по себѣ непріятное впечатлѣніе нескромнаго вопроса, и могъ казаться дерзкимъ, еслибъ не былъ столь равнодушно спокоенъ».—Согласитесь, что какъ эти глаза, такъ и вся сцена свиданія Печорина съ Максимъ Максимычемъ показываютъ, что если это порокъ, то совсѣмъ не торжествующій, и надо быть рожденнымъ для добра, чтобъ такъ жестоко быть наказану за зло?... Торжество нравственнаго духа гораздо поразительнѣе совершается надъ благородными натурами, чѣмъ надъ злодѣями...

А между тѣмъ этотъ романъ совсѣмъ не злая иронія, хотя и очень легко можетъ быть принятъ за иронію; это одинъ изъ тѣхъ романовъ,

Въ которомъ отразился вѣкъ,
И современный человѣкъ
Изображенъ довольно вѣрно
Съ его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмѣрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящемъ въ дѣйствіи пустомъ.

Digitized by Google

«Хорошъ же современный человѣкъ!» воскликнулъ одинъ нравоописательный «сочинитель», разбирая или, лучше сказать, ругая седьмую главу «Евгенія Онѣгина». Здѣсь мы почитаемъ кстати замѣтить, что всякій современный человѣкъ, въ смыслѣ представителя своего вѣка, какъ бы онъ ни былъ дуренъ, не можетъ быть дуренъ, потому что нѣтъ дурныхъ вѣковъ, и ни одинъ вѣкъ не хуже и не лучше другого, потому что онъ есть необходимый моментъ въ развитіи человѣчества или общества.

Пушкинъ спрашивалъ самого себя о своемъ Онѣгинѣ:

Чудакъ печальный и опасный,
Созданье ада иль небесъ,
Сей ангелъ, сей надменный бѣсъ,
Что-жъ онъ? Ужели подражанье,
Ничтожный призракъ, иль еще
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ,—
Ужъ не пародія ли онъ?

И этимъ самымъ вопросомъ онъ разрѣшилъ загадку и нашелъ слово. Онѣгинъ не подражаніе, а отраженіе, но сдѣлавшееся не въ фантазіи поэта, а въ современномъ обществѣ, которое онъ изобразилъ въ лицѣ героя своего поэтическаго романа. Сближеніе съ Европою должно было особеннымъ образомъ отразиться въ нашемъ обществѣ,— и Пушкинъ геніальнымъ инстинктомъ великаго художника уловилъ это отраженіе въ лицѣ Онѣгина. Но Онѣгинъ для насъ уже прошедшее, и прошедшее невозвратное.

Еслибы онъ явился въ наше время, вы имѣли бы право спросить вмѣстѣ съ поэтомъ:

Все тотъ-же ль онъ, иль усмирился?
Иль корчитъ такъ же чудака?
Скажите, чѣмъ онъ возвратился?
Что намъ представитъ онъ пока?
Чѣмъ нынѣ явится?—Мельмотомъ,
Космополитомъ, патріотомъ,
Гарольдомъ, квакеромъ, ханжой,
Иль маской щегольнетъ иной?
Иль просто будетъ добрый малый,
Какъ ты да я, какъ цѣлый свѣтъ?

Печоринъ Лермонтова есть лучшій отвѣтъ на всѣ эти вопросы. Это Онѣгинъ нашего времени, герой нашего времени. Несходство ихъ между собою гораздо меньше разстоянія между Онѣгою и Печорою. Иногда въ самомъ имени, которое истинный поэтъ даетъ своему герою, есть разумная необходимость, хотя, можетъ быть, и невидимая самимъ поэтомъ.

Со стороны художественнаго выполненія нечего и сравнивать Онѣгина съ Печоринымъ. Но какъ выше Онѣгинъ Печорина въ художественномъ отношеніи, такъ Печоринъ выше Онѣгина по идеѣ. Впрочемъ это преимущество принадлежитъ нашему времени, а не Лермонтову.

Что такое Онѣгинъ? — Лучшею характеристикою и истолкованіемъ этого лица можетъ служить французскій эпиграфъ къ поэмѣ: «Petri de vanitè il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avouer avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions, suite d'un sentiment de supèriorité, peut-être imaginaire». Мы думаемъ, что это превосходство въ Онѣгинѣ нисколько не было воображаемымъ, потому что онъ «вчужѣ чувства уважалъ» и что въ «его сердцѣ была и гордость, и прямая честь». Онъ является въ романѣ человѣкомъ, котораго убили воспитаніе и свѣтская жизнь, которому все приглядѣлось, все пріѣлось, все прилюбилось, и котораго вся жизнь состояла въ томъ:

Что онъ равно зѣвалъ
Средь модныхъ и старинныхъ залъ.

Не таковъ Печоринъ. Этотъ человѣкъ не равнодушно, не апатически несетъ свое страданіе: бѣшено гоняется онъ за жизнью, ища ее повсюду; горько обвиняетъ онъ себя въ своихъ заблужденіяхъ. Въ немъ неумолчно раздаются внутренніе вопросы, тревожатъ его, мучатъ, и онъ въ рефлексіи ищетъ ихъ разрѣшенія: подсматриваетъ каждое движеніе своего сердца, разсматриваетъ каждую мысль свою. Онъ сдѣлалъ изъ себя самый любопытный предметъ своихъ наблюденій и, стараясь быть какъ можно искреннѣе въ своей исповѣди, не только откровенно признается въ своихъ истинныхъ недостаткахъ, но еще и выдумываетъ небывалые, или ложно истолковываетъ самыя естественныя свои движенія. Какъ въ характеристикѣ современнаго человѣка, сдѣланной Пушкинымъ, выражается весь Онѣгинъ, такъ Печоринъ весь въ этихъ стихахъ Лермонтова:

И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви,
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,
Когда огонь кипитъ въ крови.

«Герой нашего времени» — это грустная дума о нашемъ времени, какъ и та, которою такъ благородно, такъ энергически возобновилъ поэтъ свое поэтическое поприще, и изъ которой мы взяли эти четыре стиха...

Но со стороны формы изображеніе Печорина несовсѣмъ художественно. Однако причина этого не въ недостаткѣ таланта автора, а въ томъ, что изображаемый имъ характеръ, какъ мы уже слегка и намекнули, такъ близокъ къ нему, что онъ не въ силахъ былъ отдѣлиться отъ него и объектировать его. Мы убѣждены, что никто не можетъ видѣть въ словахъ нашихъ желаніе выставить романъ Лермонтова автобіографіею. Субъективное изображеніе лица не есть автобіографія. Шиллеръ не былъ

Digitized by Google

разбойникомъ, хотя въ Карлѣ Моорѣ и выразилъ свой идеалъ человѣка. Прекрасно выразился Фарнгагенъ, сказавъ, что на Онѣгина и Ленскаго можно бы смотрѣть, какъ на братьевъ Вульта и Вальта у Жана-Поля Рихтера, т. е. какъ на разложеніе самой природы поэта, и что онъ, можетъ быть, воплотилъ двойство своего внутренняго существа въ этихъ двухъ живыхъ созданіяхъ. Мысль вѣрная, а между тѣмъ было бы очень нелѣпо искать сходныхъ чертъ въ жизни этихъ лицъ съ жизнью самого поэта.

Вотъ причина неопредѣленности Печорина и тѣхъ противорѣчій, которыми такъ часто опутывается изображеніе этого характера. Чтобы изобразить вѣрно данный характеръ, надо совершенно отдѣлиться отъ него, стать выше его, смотрѣть на него какъ на нѣчто оконченное. Но этого, повторяемъ, не видно въ созданіи Печорина. Онъ скрывается отъ насъ такимъ же неполнымъ и неразгаданнымъ существомъ, какъ и является намъ въ началѣ романа. Оттого и самый романъ, поражая удивительнымъ единствомъ ощущенія, нисколько не поражаетъ единствомъ мысли, и оставляетъ насъ безъ всякой перспективы, которая невольно возникаетъ въ фантазіи читателя по прочтеніи художественнаго произведенія, и въ которую невольно погружается очарованный взоръ его. Въ этомъ романѣ удивительная замкнутость созданія, но не та высшая, художественная, которая сообщается созданію чрезъ единство поэтической идеи, а происходящая отъ единства поэтическаго ощущенія, которымъ онъ такъ глубоко поражаетъ душу читателя. Въ немъ есть что-то неразгаданное, какъ бы недоговоренное, какъ въ «Вертерѣ» Гёте, и потому есть что-то тяжелое въ его впечатлѣніи. Но этотъ недостатокъ есть въ то же время и достоинство романа Лермонтова: таковы бываютъ всѣ современные общественные вопросы, высказываемые въ поэтическихъ произведеніяхъ: это вопль страданія, но вопль, который облегчаетъ страданіе,..

Это же единство ощущенія, а не идеи, связываетъ и весь романъ. Въ «Онѣгинѣ» всѣ части органически сочленены, ибо въ избранной рамкѣ романа своего Пушкинъ исчерпалъ всю свою идею, и потому въ немъ ни одной части нельзя ни измѣнить, ни замѣнить. «Герой нашего времени» представляетъ собою нѣсколько рамокъ, вложенныхъ въ одну большую раму, которая состоитъ въ названіи романа и единствѣ героя. Части этого романа расположены сообразно съ внутреннею необходимостью; но такъ какъ онѣ только отдѣльные случаи изъ жизни хотя и одного и того же человѣка, то и могли бы быть замѣнены другими, ибо, вмѣсто приключенія въ крѣпости съ Бэлою или въ Тамани, могли бъ быть подобныя же и въ другихъ мѣстахъ, и съ другими лицами, хотя при одномъ и томъ же героѣ. Но тѣмъ не менѣе основная мысль автора даетъ имъ единство, и общность ихъ впечатлѣнія поразительна, не говоря уже о томъ, что «Бэла», «Максимъ Максимычъ» и «Тамань», отдѣльно взятыя, суть въ высшей степени художественныя произведенія. И какія типическія, какія дивно-художественныя лица—Бэлы, Азамата, Казбича, Максима Максимыча, дѣвушки въ Тамани! Какія поэтическія подробности, какой на всемъ поэтическій колоритъ!

Но «Княжна Мери», и какъ отдѣльно взятая повѣсть, менѣе всѣхъ другихъ художественна. Изъ лицъ, одинъ Грушницкій есть истинно-художественное созданіе. Драгунскій капитанъ безподобенъ, хотя и является въ тѣни, какъ лицо меньшей важности. Но всѣхъ слабѣе обрисованы лица женскія, потому что на нихъ-то особенно отразилась субъективность взгляда автора. Лицо Вѣры особенно неуловимо и неопредѣленно. Это скорѣе сатира на женщину, чѣмъ женщина. Только-что начинаете вы ею заинтересовываться и очаровываться, какъ авторъ тотчасъ-же и разрушаетъ ваше участіе и очарованіе какою-нибудь совершенно произвольною выходкою. Отношенія ея къ Печорину похожи на загадку. То она кажется вамъ женщиною глубокою, способною къ безграничной любви и преданности, къ геройскому самоотверженію; то видите въ ней одну слабость и больше ничего. Особенно ощутителенъ въ ней недостатокъ женственной гордости и чувства своего женственнаго достоинства, которыя не мѣшаютъ женщинѣ любить горячо и беззавѣтно, но которыя едва ли когда допустятъ истинно глубокую женщину сносить тиранство любви. Она любитъ Печорина, а въ другой разъ выходитъ замужъ, и еще за старика, слѣдовательно по разсчету, по какому бы то ни было; измѣнивъ для Печорина одному мужу, измѣняетъ и другому, и скорѣе по слабости, чѣмъ по увлеченію чувства. Она обожаетъ въ Печоринѣ его высшую природу, и въ ея обожаніи есть что-то рабское. Вслѣдствіе всего этого она не возбуждаетъ къ себѣ сильнаго участія со стороны автора и, подобно тѣни, проскользаетъ въ его воображеніи. Княжна Мери изображена удачнѣе. Это дѣвушка неглупая, но и не пустая. Ея направленіе нѣсколько идеально, въ дѣтскомъ смыслѣ этого слова: ей мало любить человѣка, къ которому влекло бы ее чувство, непремѣнно надо, чтобы онъ былъ несчастенъ и ходилъ въ толстой и сѣрой солдатской шинели. Печорину очень

Digitized by Google

легко было обольстить ее: стóило только казаться непонятнымъ и таинственнымъ, и быть дерзкимъ. Въ ея направленіи есть нѣчто общее съ Грушницкимъ, хотя она и несравненно выше его. Она допустила обмануть себя; но когда увидѣла себя обманутою, она, какъ женщина, глубоко почувствовала свое оскорбленіе и пала его жертвою, безотвѣтною, безмолвно страдающею, но безъ униженія,—и сцена ея послѣдняго свиданія съ Печоринымъ возбуждаетъ къ ней сильное участіе и обливаетъ ея образъ блескомъ поэзіи. Но, не смотря на это, и въ ней есть что-то какъ будто-бы недосказанное, чему опять причиною то, что ея тяжбу съ Печоринымъ судило не третье лицо, какимъ бы долженъ былъ явиться авторъ.

Однако, при всемъ этомъ недостаткѣ художественности, вся повѣсть насквозь проникнута поэзіею, исполнена высочайшаго интереса. Каждое слово въ ней такъ глубоко знаменательно, самые парадоксы такъ поучительны, каждое положеніе такъ интересно, такъ живо обрисовано! Слогъ повѣсти — то блескъ молніи, то ударъ меча, то разсыпающійся по бархату жемчугъ! Основная идея такъ близка сердцу всякаго, кто мыслитъ и чувствуетъ, что всякій изъ такихъ, какъ бы ни противоположно было его положеніе положеніямъ, въ ней представленнымъ, увидитъ въ ней исповѣдь собственнаго сердца.

Въ «Предисловіи» къ журналу Печорина авторъ между прочимъ говоритъ:

«Я помѣстилъ въ этой книгѣ только то, что относилось къ пребыванію Печорина на Кавказѣ. Въ моихъ рукахъ осталась еще толстая тетрадь, гдѣ онъ разсказываетъ всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на судъ свѣта, но теперь я не могу взять на себя эту отвѣтственность.»

Благодаримъ автора за пріятное обѣщаніе, но сомнѣваемся, чтобъ онъ его выполнилъ: мы крѣпко убѣждены, что онъ навсегда разстался съ своимъ Печоринымъ. Въ этомъ убѣжденіи утверждаетъ насъ признаніе Гёте, который говоритъ въ своихъ запискахъ, что, написавъ «Вертера», бывшаго плодомъ тяжелаго состоянія его духа, онъ освободился отъ него, и былъ такъ далекъ отъ героя своего романа, что ему смѣшно было видѣть, какъ сходила отъ него съ ума пылкая молодежь... Такова благодарная природа поэта: собственною силою своею вырывается онъ изъ всякаго момента ограниченности и летитъ къ новымъ, живымъ явленіямъ міра, въ полное славы творенье... Объектируя собственное страданіе, онъ освобождается отъ него; переводя на поэтическіе звуки диссонансы духа своего, онъ снова входитъ въ родную ему сферу вѣчной гармоніи... Если же Лермонтовъ и выполнитъ свое обѣщаніе, то мы увѣрены, что онъ представитъ уже не стараго и знакомаго намъ, о которомъ онъ уже все сказалъ, а совершенно новаго Печорина, о которомъ еще можно много сказать. Можетъ быть, онъ покажетъ его намъ исправившимся, признавшимъ законы нравственности, но вѣрно ужъ не въ утѣшеніе, а въ пущее огорченіе моралистовъ; можетъ быть, онъ заставитъ его признать разумность и блаженство жизни, но для того чтобы увѣриться, что это не для него, что онъ много утратилъ силъ въ ужасной борьбѣ, ожесточился въ ней, и не можетъ сдѣлать эту разумность и блаженство своимъ достояніемъ... А можетъ быть и то: онъ сдѣлаетъ его и причастникомъ радостей жизни, торжествующимъ побѣдителемъ надъ злымъ геніемъ жизни... Но то или другое, а во всякомъ случаѣ искупленіе будетъ совершено черезъ одну изъ тѣхъ женщинъ, существованію которыхъ Печоринъ такъ упрямо не хотѣлъ вѣрить, основываясь не на своемъ внутреннемъ созерцаніи, а на бѣдныхъ опытахъ своей жизни... Такъ сдѣлалъ и Пушкинъ съ своимъ Онѣгинымъ: отвергнутая имъ женщина воскресила его изъ смертнаго усыпленія для прекрасной жизни, но не для того, чтобы дать ему счастье, а для того, чтобы наказать его за невѣріе въ таинство любви и жизни, въ достоинство женщины...

II.

СТИХОТВОРЕНІЯ М. ЛЕРМОНТОВА. Санктпетербургъ, 1840.

Теперь гонись за жизнью дивной,
И каждый мигъ въ ней воскрешай,
На каждый звукъ ея призывный
Отзывной пѣснью отвѣчай!

Веневитиновъ.

Всѣ говорятъ о поэзіи; всѣ требуютъ поэзіи. Повидимому это слово для всѣхъ имѣетъ такое ясное и опредѣленное значеніе, какъ напримѣръ слово «хлѣбъ», или еще болѣе—слово «деньги». Но когда только двое начнутъ объяснять одинъ другому, что̀ каждый

Digitized by Google

изъ нихъ разумѣетъ подъ словомъ «поэзія», то и выходитъ на повѣрку, что одинъ называетъ поэзіею воду, другой—огонь. Что жъ, еслибы всѣ-то такъ называемые любители поэзіи заговорили о предметѣ своей любви? Это была бы настоящая картина вавилонскаго смѣшенія языковъ! И очень естественно: если трудно опредѣлить поэзію ученымъ образомъ, то еще труднѣе намекнуть на ея значеніе повседневнымъ языкомъ общества, всѣмъ и каждому равно понятнымъ. Еслибъ вамъ и удалось это, вы все-таки удовлетворите только людей, которые съ вами симпатизируютъ, которые одинаково съ вами настроены. Въ самомъ дѣлѣ, если я подъ словомъ «поэзія» разумѣю размѣренныя и зарифмованныя строчки, заключающія въ себѣ правила добронравія и добродѣтели, то какъ вы убѣдите меня, что поэзія есть воспроизведеніе, живопись явленій жизни?— Если я подъ словомъ «идеализированіе» разумѣю представленіе дѣйствительности совсѣмъ не такъ, какъ она есть,—ходули мыслей, дыбы чувства, то какъ увѣрите вы меня, что «идеализированіе» дѣйствительности есть только подчиненіе взятыхъ изъ нея матеріаловъ извѣстной цѣли, извлеченіе изъ нея, такъ сказать, ея сущности, и сочлененіе въ живое и органическое цѣлое разнородныхъ повидимому частей?—Если я подъ словомъ «вдохновеніе» разумѣю нравственное опьяненіе, какъ бы отъ пріема опіума или дѣйствія виннаго хмеля, изступленіе чувствъ, горячку страсти, которыя заставляютъ непризваннаго поэта изображать предметы въ какомъ-то безумномъ круженіи, выражаться дикими, натянутыми фразами, неестественными оборотами рѣчи, придавать обыкновеннымъ словамъ насильственное значеніе,—то какъ вразумите вы меня, что «вдохновеніе» есть состояніе духовнаго ясновидѣнія, кроткаго, но глубокаго созерцанія таинства жизни, что оно какъ бы магическимъ жезломъ вызываетъ изъ недоступной чувствамъ области мысли свѣтлые образы, полные жизни и глубокаго значенія, и окружающую насъ дѣйствительность, нерѣдко мрачную и нестройную, являетъ просвѣтленною и гармоническою?... Поэзія и наука тождественны, если подъ наукою должно разумѣть не однѣ схемы знанія, но сознаніе кроющейся въ нихъ мысли. Поэзія и наука тождественны, какъ постигаемыя не одною какою-нибудь изъ способностей нашей души, но всею полнотою нашего духовнаго существа, выражаемою словомъ «разумъ». Въ этомъ отношеніи онѣ рѣзкою чертою отдѣляются отъ такъ называемыхъ «точныхъ» наукъ, не требующихъ ничего, кромѣ разсудка, и развѣ еще воображенія. Можно быть очень умнымъ человѣкомъ и не понимать поэзіи, считать ее за вздоръ, за побрякушку риѳмъ, которою забавляются праздные и слабоумные люди; но нельзя быть умнымъ человѣкомъ и не сознавать въ себѣ возможности постичь значеніе напр. математики и не сдѣлать въ ней, при усиленномъ трудѣ, бо́льшіе или меньшіе успѣхи. Можно быть умнымъ, даже очень умнымъ человѣкомъ, и не понимать, что̀ хорошаго въ «Иліадѣ», «Макбетѣ», или лирическомъ стихотвореніи Пушкина; но нельзя быть умнымъ человѣкомъ и не понимать, что два, умноженные на два, составляютъ четыре, или что двѣ параллельныя линіи никогда не сойдутся, хотя бы продолжены были въ безконечность. Ясно, что подъ словомъ «точныхъ» истинъ разумѣются тѣ истины, которыхъ очевидности и непреложности не можетъ не признать ни одинъ человѣкъ въ мірѣ, нелишенный здраваго смысла, прежде всего отличающаго людей отъ животныхъ. Въ этомъ отношеніи наука, въ высшемъ ея значеніи, т. е. философія и поэзія—повторяемъ—тождественны: та и другая равно далеки отъ того, что̀ имѣетъ хотя видъ «точности». Но въ хаотической борьбѣ и противоположности понятій, убѣжденій и вкусовъ насчетъ произведеній искусства внимательный взоръ открываетъ, какъ и во всѣхъ великихъ явленіяхъ жизни, торжество единства, которое тѣмъ выше и поразительнѣе торжества «точности», чѣмъ повидимому неопредѣленнѣе и неуловимѣе для разсудка сущность искусства. Океанъ времени, смывшій съ лица земли греческія республики, вынесъ имена: Гомера, Гезіода, Эсхила, Софокла, Пиндара, Анакреона,—и теперь всѣ, считающіе себя причастниками даровъ вдохновенія, охотно или по неволѣ, все-таки дивятся этимъ именамъ. Удачно сдѣланная копія съ Аполлона Бельведерскаго возбуждаетъ всеобщій восторгъ, а оригиналамъ, состоящимъ изъ двухъ кусковъ мрамора, нѣтъ цѣны. Невѣжды, зѣвающіе отъ драмъ Шекспира и втайнѣ предпочитающіе имъ мыльные пузыри водевилей, вслухъ хвалятъ Шекспира и оскорбляются, если съ нимъ сравниваютъ кого бы то ни было. Но это работа времени: въ пестротѣ современности торжество единства мнѣнія еще поразительнѣе, ибо оно есть вмѣстѣ и торжество разумности надъ близорукою ограниченностью, надъ борьбою мелкихъ страстей. Пушкинъ явился у насъ во времена классической неподвижности, и потому какъ благосклонно и привѣтливо встрѣтило его молодое поколѣніе, такъ непріязненно и сурово приняло его старое поколѣніе, и въ особенности записные поэты, литераторы и словесники того времени. Но истина взяла свое,—и, несмотря на смѣшанные крики и ожесточенные споры, общее

Digitized by Google

мнѣніе тотчасъ же превознесло имя молодого поэта превыше всѣхъ поэтическихъ лауреатовъ, прежде его и при немъ бывшихъ.

Но это торжество единства надъ разнообразіемъ и противорѣчіемъ во мнѣніяхъ о такомъ неопредѣленномъ и неточномъ предметѣ, каково искусство, выходитъ не изъ множества, не изъ толпы, но отъ немногихъ и избранныхъ переходитъ въ толпу. Не всѣ могутъ и не всѣ должны понимать изящное; его понимаютъ только немногіе, избранные. Кто, по натурѣ своей, есть духъ отъ духа,—тотъ по праву рожденія причастенъ всѣхъ даровъ духа, недоступныхъ плоти и ея душѣ—разсудку. Разсудокъ становитъ человѣка выше всѣхъ животныхъ; но только разумъ дѣлаетъ его человѣкомъ по превосходству. Разсудокъ не шагаетъ далѣе «точныхъ» наукъ и не понимаетъ ничего, выходящаго изъ тѣснаго круга «полезнаго» и «насущнаго»; разумъ же объемлетъ безконечную сферу сверхъ-опытнаго и сверхъ-чувственнаго, дѣлаетъ яснымъ непостижимое, очевиднымъ—неопредѣленное, опредѣленнымъ—«неточное». Искусство принадлежитъ къ этой сферѣ бытія, доступной только разуму—и потому понимать поэзію нельзя выучиться такъ же, какъ нельзя выучиться писать стихи. Воспріемлемость впечатлѣній изящнаго есть своего рода талантъ: она не пріобрѣтается ни наукою, ни образованіемъ, ни упражненіемъ, но дается природою. Постиженіе поэзіи есть откровеніе духа, а таинство откровенія сокрывается въ натурѣ человѣка; между тѣмъ извѣстно, что натуры людей разнообразны до безконечности и представляютъ собою безконечную лѣстницу съ безконечными ступенями—снизу вверхъ и сверху внизъ, смотря по тому, съ котораго конца будете смотрѣть на нее. Поэзія первоначально воспринимается сердцемъ, и уже имъ передается головѣ. Потому, чье сердце жестоко и черство отъ природы для воспринятія впечатлѣній изящнаго,—окружите его съ малолѣтства произведеніями искусства, толкуйте ему цѣлую жизнь о поэзіи,—онъ пріобрѣтетъ только навыкъ къ ея формамъ и пріучится судить о ихъ внѣшней отдѣлкѣ; но сущность творчества навсегда останется для него тайною, которой онъ и подозрѣвать не будетъ. И такихъ людей, чуждыхъ поэзіи по натурѣ своей, несравненно больше, чѣмъ людей, одаренныхъ инстинктомъ изящнаго. Почему же это?—Потому же, почему число художниковъ относится къ толпѣ, какъ единица къ милліону.—А почему же существуетъ это отношеніе? На такой вопросъ даетъ превосходный отвѣтъ Моцартъ Пушкина, говоря Сальери:

Когда бы всѣ такъ чувствовали силу
Гармоніи! Но нѣтъ: тогда-бъ не могъ
И міръ существовать; никто бъ не сталъ
Заботиться о нуждахъ низкой жизни;
Всѣ предались-бы вольному искусству.
Насъ мало избранныхъ—счастливцевъ праздныхъ,
Пренебрегающихъ презрѣнной пользой,
Единаго прекраснаго жрецовъ.

Обыкновенно толпа такъ же холодна и равнодушна къ искусству, какъ привержена и предана пользѣ;—и поэтъ имѣетъ полное право, въ порывѣ благороднаго негодованія, отвѣчать на ея безсмысленные крики:

Молчи, безсмысленный народъ,
Поденщикъ, рабъ нужды, заботъ!
Несносенъ мнѣ твой ропотъ дерзкій.
Ты червь земли, не сынъ небесъ;
Тебѣ бы пользы все—на вѣсъ
Кумиръ ты цѣнишь Бельведерскій.
Ты пользы, пользы въ немъ не зришь.
Но мраморъ сей вѣдь богъ!... Такъ что-же!
Печной горшокъ тебѣ дороже:
Ты пищу въ немъ себѣ варишь...

Но чѣмъ равнодушнѣе и холоднѣе толпа къ дѣлу искусства, тѣмъ выше и поразительнѣе торжество искусства надъ толпою: невольно подчиняясь вліянію избранниковъ природы, она признаетъ его автономію *), несмотря на его «неточность», и тѣмъ самымъ дѣлаетъ яснымъ единодержавіе разума. И поэтъ, существо, называющее пользу—этотъ идолъ толпы—презрѣнною, поэтъ возбуждаетъ къ себѣ суевѣрное удивленіе толпы, сбираетъ дань ея рукоплесканій, возбуждаетъ въ ней восторгъ своимъ появленіемъ. Это такое явленіе, передъ которымъ поневолѣ задумается самый жаркій поклонникъ «полезнаго», постигшій всю глубину точной премудрости.

И такъ, оставимъ въ сторонѣ всѣхъ враговъ изящнаго; забудемъ о равнодушіи толпы къ дѣлу искусства и не будемъ бояться, что одни насъ не поймутъ, другіе съ нами не согласятся, а третьи будутъ надъ нами смѣяться—и возвратимся къ вопросу, которымъ мы начали статью: что такое поэзія? Только во дни кипучей и неискушенной опытами жизни юности человѣку сродно питать благородное, но несбыточное желаніе—увѣрить весь свѣтъ въ истинѣ своихъ убѣжденій, одинаковымъ языкомъ и съ одинаковымъ жаромъ говорить со всѣми о томъ, что доступно только нѣкоторымъ, и огорчаться, что нѣкоторые не понимаютъ того, чего и не дано, и не нужно имъ понимать... Будемъ говорить для всѣхъ и всѣмъ, но будемъ надѣяться только на

*) *Автономія* есть право предмета, основанное не на внѣшнихъ уваженіяхъ, какъ-то пользѣ, преданіи (traditio), или постороннемъ авторитетѣ, но на сущности самаго предмета.

Digitized by Google

отзывъ немногихъ... И что жъ—развѣ не великое счастіе—пробудить полетъ къ высокому въ иной дремлющей душѣ? развѣ не великое счастье—родить къ себѣ сочувствіе въ сердцѣ, котораго мы никогда не знали и не узнаемъ, которое живетъ, можетъ быть, въ далекомъ отъ насъ уголку этого міра, но которое отъ нашихъ строкъ забьется въ ладъ съ нашимъ сердцемъ и, въ общемъ человѣческомъ интересѣ, сознаетъ свое родство съ нами по духу, въ ознаменованіе торжества духа надъ условіями пространства и времени!...

Что́ же такое поэзія?—спрашиваете вы, желая услышать рѣшеніе интереснаго для васъ вопроса, или, можетъ быть, лукаво желая привести насъ въ смущеніе отъ сознанія нашего безсилія рѣшить столь важный и трудный вопросъ... То или другое—все равно; но прежде, чѣмъ мы вамъ отвѣтимъ, сдѣлаемъ вопросъ и вамъ, въ свою очередь. Скажите: какъ назвать то, чѣмъ отличается лицо человѣка отъ восковой фигуры, которая чѣмъ съ бо́льшимъ искусствомъ сдѣлана, чѣмъ похожѣе на лицо живого человѣка,—тѣмъ большее возбуждаетъ въ насъ отвращеніе? Скажите: чѣмъ отличается лицо живого человѣка отъ лица покойника?—Вѣдь форма одинаково правильна въ томъ и другомъ, тѣ же части и та же соотвѣтственность и стройность въ частяхъ? Отчего эти глаза такъ свѣтлы, такъ полны смысла и разумности, что вы читаете въ нихъ какую-то мысль, что они какъ будто хотятъ сказать вамъ что-то задушевное и любовное; а тѣ—такъ тусклы, стеклянны!... Дѣло ясное: въ первыхъ есть жизнь, а во вторыхъ ея нѣтъ. Но что́ же такое эта «жизнь»? Мы знаемъ процессы человѣческаго тѣла, знаемъ, что жизнь человѣка въ его организмѣ, что она продолжается вмѣстѣ съ обращеніемъ крови въ его жилахъ и прекращается вмѣстѣ съ прекращеніемъ кровообращенія; но мы знаемъ также, что нашъ организмъ не машина, которая заводится или останавливается, подобно часамъ, чрезъ извѣстное колесо или извѣстный органъ. И чѣмъ дальше углубимся мы въ таинство организма, чѣмъ повидимому ближе будемъ къ тайнѣ жизни,—тѣмъ на самомъ дѣлѣ будемъ дальше отъ нея, тѣмъ неуловимѣе будетъ она для насъ. Но мертвые бываютъ и между живыми, такъ же, какъ и живые между мертвыми, ибо что жизнь для животнаго, то смерть для человѣка; что жизнь для ирокеза, то смерть для европейца; что жизнь для раба житейскихъ нуждъ и пользы, который ничего не видитъ дальше удовлетворенія потребностямъ голода и кармана или мелкаго тщеславія,—то смерть для человѣка мыслящаго и чувствующаго. И что существуетъ въ идеѣ, то выражается въ формахъ: посмотрите, какое животное лицо у этого человѣка, съ сонными и мутными глазами, съ апатическимъ выраженіемъ,—толстаго, одержимаго одышкою, сейчасъ только плотно покушавшаго,—и посмотрите, какимъ огнемъ сверкаютъ черные глаза этого худощаваго, блѣднолицаго человѣка, какая подвижность въ его физіономіи, сколько страсти въ его голосѣ! Не правда ли, первый—мертвецъ; другой—полонъ жизни? Но жизнь безконечно разнообразна въ своихъ проявленіяхъ. Тигръ полонъ жизни въ сравненіи съ черепахою, но жизнь его все-таки чисто органическая, животная; ея источникъ—горячая кровь, обильные электричествомъ нервы. Такъ и въ иномъ человѣкѣ много жизни, но эта жизнь не покоряетъ васъ себѣ неотразимымъ обаяніемъ, и вы готовы сказать ей:

> Въ *ней* признака небесъ напрасно не ищи:
> То кровь кипитъ, то силъ избытокъ!
> Скорѣе жизнь свою въ заботахъ истощи,
> Разлей отравленный напитокъ!

Безконечное разстояніе раздѣляетъ человѣка страсти отъ человѣка чувства; но еще большее разстояніе раздѣляетъ человѣка, оставшагося при одномъ непосредственномъ чувствѣ, отъ человѣка, въ которомъ рабскій инстинктъ, хотя бы даже и благородныхъ наклонностей, перешелъ въ свободное сознаніе, котораго чувство просвѣтлено мыслью. Нигдѣ жизнь не является столько жизнью, какъ въ сферѣ духовныхъ интересовъ и разумнаго сознанія, которые движутъ волею человѣка и поддерживаютъ ея неистощимую дѣятельность: это самый пышный цвѣтъ жизни, ея высшее развитіе, ея высшая ступень, это жизнь по превосходству; въ сравненіи съ нею всякая другая, низшая степень жизни есть настоящая смерть. Но жизнь всегда жизнь, въ чемъ бы ни проявлялась она, на какой бы степени развитія ни стояла. Неизмѣримо разстояніе, раздѣляющее духовную жизнь генія отъ безсознательныхъ явленій природы, но и въ природѣ, даже на самыхъ низшихъ ступеняхъ ея развитія, жизнь является святымъ и великимъ таинствомъ. Духъ человѣческій съ безграничнымъ упоеніемъ прислушивается къ прозябанію дольней лозы, къ подводному ходу морского гада, къ шелесту листьевъ, колеблемыхъ въ знойный полдень лѣтнимъ вѣткомъ: онъ сознаетъ съ ними свое родство; онъ чуетъ въ нихъ вѣяніе того же безсмертнаго духа жизни, который, подобно огню Прометееву, живитъ и его собственное существованіе. Для живого человѣка природа всюду является одушевленною: онъ слышитъ ея голосъ и въ безмолв-

Digitized by Google

номъ образованіи металловъ, въ таинственной лабораторіи нѣдръ земныхъ, и въ завываніи вѣтра,—тамъ, у полюсовъ, въ царствѣ вѣчной зимы и смерти, на звонкихъ льдахъ воздымающаго пушистыя вьюги; въ приливѣ и отливѣ водъ онъ видитъ какъ-бы тяжелое, напряженное дыханіе исполинской груди сѣдого старца океана... Полонъ таинственной думы для души нашей чернѣющійся вдали лѣсъ, и когда подходимъ мы къ нему, нами невольно овладѣваетъ какая-то дѣтская робость, какой-то мистическій, но полный обаянія ужасъ,—и мы повторяемъ съ поэтомъ:

О чемъ шумитъ сосновый лѣсъ?
Какія въ немъ сокрыты думы?
Ужель въ его холодномъ царствѣ
Затаена живая мысль?
. . . . . .
Порой, во тьмѣ пустынной ночи,
Былыхъ вѣковъ живыя тѣни
Изъ глубины его выходятъ,
И на людей наводятъ страхъ.
Съ приходомъ дня уходятъ тѣни.
Слѣдовъ ихъ нѣтъ; лишь на вершинахъ
Одинъ туманъ, да, въ темной грусти,
Ночь безразсвѣтная лежитъ...
Какая-жъ тайна въ дикомъ лѣсѣ
Такъ безотчетно насъ влечетъ,
Въ забвенье погружаетъ чувство
И тайны новыя рождаетъ въ немъ?...
Ужели въ насъ духъ вѣчной жизни
Такъ безсознательно живетъ,
Что въ царствѣ безотрадной смерти
Свое величье сознаетъ...

Нѣтъ, не безсознательность, но чувство своего сродства, своей общности, своего тождества со всѣмъ великимъ царствомъ жизни заставляетъ нашъ духъ видѣть свое отраженіе въ таинственныхъ явленіяхъ природы!... Повидимому отторгнутый отъ общаго своею индивидуальностью, ставши въ человѣкѣ личностью — духъ нашъ тѣмъ живѣе и глубже чувствуетъ свое таинственное единство съ безсознательною природою, которая не чувствуетъ своего единства съ нимъ... Въ природѣ нѣтъ нашего духа, но въ насъ есть духъ природы, ибо законъ бытія таковъ, что высшее необходимо заключаетъ въ себѣ низшее. Да, у духа нашего есть общее съ природою,—и это общее есть жизнь, и потому-то она говоритъ ему такимъ понятнымъ и родственнымъ языкомъ, и все въ ней влечетъ его къ себѣ, все—

И блескъ, и жизнь, и шумъ листовъ,
Стозвучный говоръ голосовъ,
Дыханье тысячи растеній,
И полдня сладострастный зной,
И ароматною росой
Всегда увлаженныя ночи,
И звѣзды яркія, какъ очи
Грузинки жарко-молодой...

Неисчислимы и разнообразны предметы міра, но въ нихъ есть единство, и всѣ они—частныя явленія общаго. Вотъ почему философія говоритъ, что существуетъ одно общее. Вздохи дышащей груди жизни—ея частныя явленія—рождаются и умираютъ, приходятъ и преходятъ, а жизнь никогда не умираетъ, никогда не преходитъ: такъ въ океанѣ рождаются волны, и волна гонитъ волну, волна смѣняетъ волну, — а океанъ все такъ же великъ и глубокъ, такъ же живетъ и движется на своемъ бездонномъ, необъятномъ ложѣ; а въ его кристаллѣ все такъ же торжественно отражается лучезарное солнце, и все такъ же колышется и трепещетъ ночное небо, усыпанное міріадами звѣздъ. Каждый человѣкъ есть отдѣльный и особенный міръ страстей, чувства, желаній, сознанія; но эти страсти, это чувство, это желаніе, это сознаніе принадлежатъ не одному какому-нибудь человѣку, но составляютъ достояніе человѣческой природы, общее всѣхъ людей. И потому, въ комъ больше общаго, тотъ больше и живетъ; въ комъ нѣтъ общаго—тотъ живой мертвецъ. Чѣмъ же выражается причастность человѣку общему?—Въ доступности всему, что сродно человѣческой натурѣ, что составляетъ ея сущность и характеръ; въ правѣ сказать о себѣ: «я человѣкъ — и ничто человѣческое не чуждо мнѣ». Кто причастенъ общему, для того личныя выгоды и потребности житейскія—интересы второстепенные, а природа и человѣчество—главнѣйшіе интересы. Чья личность есть выраженіе общаго, тотъ жаждетъ сочувствія ближнихъ, трепетнаго упоенія любви, кроткаго счастья дружбы, жаждетъ волненій чувства, бурь и непогодъ жизни, борьбы съ препятствіями; тотъ все понимаетъ, на все откликается: и въ раззолоченныхъ палатахъ, среди богатства и роскоши, онъ слышитъ стоны нищеты и бѣдствія, и сердце его содрогается, но не отвращается отъ ихъ пронзительныхъ диссонансовъ; окруженный всѣмъ, что горячо любитъ онъ, что зоветъ роднымъ и милымъ,—онъ откликается на вопль и слезы вѣчной разлуки и невозвратимой утраты и плачетъ о чужомъ горѣ, котораго самъ не испыталъ; пылкій юноша — онъ умѣряетъ рѣзкость своихъ движеній, смягчаетъ силу своихъ порывовъ и благоговѣйно, стыдливо, дѣвственно опускаетъ пламенные взоры въ присутствіи старца, на лицѣ котораго сіяетъ кроткій свѣтъ чувства, дрожащій голосъ котораго льется свѣтлою волною любви; согбенный лѣтами старецъ — онъ съ умиленіемъ смотритъ на рѣзвое дитя, которое по зеленому лугу гонится за пестрою бабочкою, онъ радуется его дѣтской радости, принимаетъ участіе въ его младенческой печали; онъ прощаетъ заблужденіе пламенной юности, снисходителенъ къ кипѣнію ея порывистыхъ

Digitized by Google

страстей, онъ понимаетъ мгновенный пламень и внезапную блѣдность на ланитахъ молодой дѣвушки, ея тоскующій взоръ и нѣмую горесть, волненіе ея молодой груди, и печаль безъ горя, и страхъ безъ бѣды, и радость безъ причины... Съ благословеніемъ на устахъ, съ умиленіемъ во взорѣ, смотритъ онъ на пылкую юность, которая кружится въ вихрѣ жизни и, полная надеждъ и отваги, гордая сознаніемъ своей силы, спѣшитъ безъ оглядки навстрѣчу будущему, обольщаемая его заманчивою далью, не зная и не желая знать его предательскихъ обмановъ,—и передъ нимъ воскресаетъ прошедшее его собственной жизни, возстаютъ милые призраки и знакомые образы невозвратимо протекшихъ лѣтъ, и вмѣсто резонерскихъ поученій и докучнаго ворчанія, онъ повторяетъ про себя съ грустно-радостною улыбкой:

. . . . Такъ было прежде
Во время оно и со мной!

Да, жить не значитъ столько-то лѣтъ ѣсть и пить, биться изъ чиновъ и денегъ, а въ свободное время бить хлопушкою мухъ, зѣвать и играть въ карты: такая жизнь хуже всякой смерти, и такой человѣкъ ниже всякаго животнаго, ибо животное, повинуясь своему инстинкту, вполнѣ пользуется всѣми средствами, данными ему отъ природы для жизни, и неуклонно выполняетъ свое назначеніе. Жить значитъ—чувствовать и мыслить, страдать и блаженствовать; всякая другая жизнь—смерть. И чѣмъ больше содержанія объемлетъ собою наше чувство и мысль, чѣмъ сильнѣе и глубже наша способность страдать и блаженствовать, тѣмъ мы больше живемъ: мгновеніе *такой* жизни существеннѣе ста лѣтъ, проведенныхъ въ апатической дремотѣ, въ мелкихъ дѣйствіяхъ и ничтожныхъ цѣляхъ. Способность страданія условливаетъ въ насъ способность блаженства, и незнающіе страданія не знаютъ и блаженства, не плакавшіе не возрадуются. Когда Мефистофель предлагаетъ Фаусту всѣ блага, всѣ наслажденія, столь высоко-цѣнимыя толпою, Фаустъ отвѣчаетъ ему:

Не думалъ я о наслажденьяхъ.
Я кинусь въ бурный чадъ страстей,
Упьюсь восторгами мученій;
Я ненависть любви, отраду огорченій
Сыщу въ печальной жизни сей.
Святая истина отъ глазъ моихъ сокрыта.
Высокой мудрости ему не суждено.
Всѣмъ горестямъ отнынѣ грудь открыта,
И всѣмъ, что̀ человѣчеству дано,
Въ самомъ себѣ хочу я насладиться
И въ адъ, и въ небо погрузиться,
И грусть людей, и радость ихъ испить,
Съ ихъ бытіемъ свое совокупить
И съ ними наконецъ въ уничтоженьи слиться.

Да, все постичь духомъ, все обнять чувствомъ, всѣмъ возобладать и ничему исключительно не покориться—вотъ жизнь! Но эта жизнь есть достояніе тѣхъ немногихъ, которые стоятъ во главѣ человѣчества, играютъ роль его представителей. Вотъ одинъ изъ нихъ:

Все духъ въ немъ питало: труды мудрецовъ,
Искусствъ вдохновенныхъ созданья,
Преданья, завѣты минувшихъ вѣковъ,
Цвѣтущихъ временъ упованья.
Мечтою по волѣ проникнуть онъ могъ
И въ нищую хату, и въ царскій чертогъ.
Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
Ручья разумѣлъ лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье;
Была ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.

Въ этихъ двѣнадцати стихахъ Баратынскаго о Гёте заключается высшій идеалъ человѣческой жизни и все, что можно сказать о жизни внутренняго человѣка.

Но, кромѣ природы и личнаго человѣка, есть еще общество и человѣчество. Какъ бы ни была богата и роскошна внутренняя жизнь человѣка, какимъ бы горячимъ ключемъ ни била она во внѣ и какими бы волнами ни лилась черезъ край,—она неполна, если не усвоитъ въ свое содержаніе интересовъ внѣшняго ей міра, общества и человѣчества. Въ полной и здоровой натурѣ тяжело лежатъ на сердцѣ судьбы родины; всякая благородная личность глубоко сознаетъ своё кровное родство, свои кровныя связи съ отечествомъ. Общество, какъ всякая индивидуальность, есть нѣчто живое и органическое, которое имѣетъ свои эпохи возрастанія, свои эпохи здоровья и болѣзней, свои эпохи страданія и радости, свои роковые кризисы и переломы къ выздоровленію и смерти. Живой человѣкъ носитъ въ своемъ духѣ, въ своемъ сердцѣ, въ своей крови жизнь общества: онъ болѣетъ его недугами, мучится его страданіями, цвѣтетъ его здоровьемъ, блаженствуетъ его счастіемъ, внѣ своихъ собственныхъ, своихъ личныхъ обстоятельствъ. Разумѣется, въ этомъ случаѣ общество только беретъ съ него свою дань, отторгая его отъ него самого въ извѣстные моменты его жизни, но не покоряя его себѣ совершенно и исключительно. Гражданинъ не долженъ уничтожать человѣка, ни человѣкъ гражданина: въ томъ и другомъ случаѣ выходитъ крайность, а всякая крайность есть родная сестра ограниченности. Любовь къ отечеству должна выходить изъ любви къ человѣчеству, какъ частное изъ общаго. Любить свою родину значитъ—пламенно желать видѣть въ ней осуществленіе идеала человѣчества и по мѣрѣ силъ своихъ споспѣшествовать этому. Въ противномъ случаѣ, патріотизмъ будетъ китаиз-

Digitized by Google

момъ, который любитъ свое только за то, что оно свое, и ненавидитъ все чужое за то только, что оно чужое, и не нарадуется собственнымъ безобразіемъ и уродствомъ. Романъ англичанина Морьера «Хаджи-Баба» есть превосходная и вѣрная картина подобнаго квасного (по счастливому выраженію князя Вяземскаго) патріотизма. Человѣческой натурѣ сродно любить все близкое къ ней, свое родное и кровное: но эта любовь есть и въ животныхъ, слѣдовательно любовь человѣка должна быть выше. Это превосходство любви человѣческой передъ животною состоитъ въ разумности, которая тѣлесное и чувственное просвѣтляетъ духомъ, а этотъ духъ есть общее. Примѣръ Петра Великаго, говорившаго о родномъ сынѣ, что лучше чужой, да хорошій, чѣмъ свой, да негодный,—лучше всего поясняетъ и оправдываетъ нашу мысль. Конечно изъ частнаго нельзя дѣлать правило для общаго, но можно черезъ сравненіе объяснить частнымъ общее. Можно не любить и родного брата, если онъ дурной человѣкъ, но нельзя не любить отечества, какое бы оно ни было; только надобно, чтобы эта любовь была не мертвымъ довольствомъ тѣмъ, что̀ есть, но живымъ желаніемъ усовершенствованія; словомъ—любовь къ отечеству должна быть вмѣстѣ и любовью къ человѣчеству.

И вотъ мы сказали о жизни все, что̀ хотѣли сказать о ней, и хотя повидимому отдалились черезъ это отъ нашего вопроса, но въ сущности только приблизились къ его рѣшенію.

Поэзія есть выраженіе жизни или, лучше сказать, сама жизнь. Мало этого: въ поэзіи жизнь болѣе является жизнью, нежели въ самой дѣйствительности. Отсюда вытекаетъ новый вопросъ, рѣшеніе котораго и будетъ рѣшеніемъ вопроса о поэзіи,—вопросъ: если сама жизнь заключаетъ въ себѣ столько поэзіи, такъ, что въ сущности своей жизнь и поэзія тождественны,—то зачѣмъ же еще другая поэзія, и какую необходимость можетъ носить въ себѣ искусство, и какое самостоятельное значеніе можетъ имѣть оно?

Много прекраснаго въ живой дѣйствительности или, лучше сказать, все прекрасное заключается только въ живой дѣйствительности; но чтобъ насладиться этою дѣйствительностью, мы сперва должны овладѣть ею въ нашемъ разумѣніи, а это возможно только при двухъ условіяхъ: мы должны обнимать ее въ цѣлости и притомъ предметно, такъ, чтобъ наша личность, наши отношенія не заслоняли ее отъ насъ. И мы этимъ пользуемся, но только въ рѣдкія минуты восторга; въ нежданныя мгновенія какого-то внезапнаго внутренняго откровенія; по большей части мы теряемся во множествѣ частностей и, не видя за ними цѣлаго, ничего въ нихъ не понимаемъ. Даже собственныя наши чувства только тогда бываютъ предметомъ нашего наслажденія, когда мы освобождаемся отъ ихъ томящей тяжести или отъ ихъ трепетнаго волненія, въ которомъ занимается дыханіе, теряется сознаніе, и когда мы возобновляемъ ихъ въ воспоминаніи. Настоящее никогда не наше, ибо оно поглощаетъ насъ собою, и самая радость въ настоящемъ тяжела для насъ, какъ и горе, ибо не мы ею, но она нами преобладаетъ. Чтобъ насладиться ею, мы должны отойти отъ нея на извѣстное разстояніе, какъ отъ картины, по требованіямъ освѣщенія,—должны взглянуть на нее, свободные отъ нея, какъ на нѣчто внѣ насъ находящееся, *предметное*. Вотъ отчего мы облегчаемся отъ томительной тяжести горя, какъ скоро сообщимъ его другому или изольемъ его на бумагѣ для самихъ же себя: мы видимъ его отдѣленнымъ отъ нашей личности, наша личность не заслоняетъ его отъ насъ,—и тогда намъ мило наше горе, мы любимъ вспоминать о немъ, любимъ говорить о немъ, какъ воинъ о своихъ походахъ и опасностяхъ, которымъ онъ подвергался. Все прошедшее получаетъ для насъ новый колоритъ, является какъ-бы преображеннымъ: счастіе кажется лучшимъ, нежели тогда, какъ мы имъ наслаждались; въ самомъ несчастіи видимъ мы одну поэтическую сторону. Причина этому та, что отдаленность скрадываетъ отъ нашихъ глазъ всѣ неровности, случайности, нечистыя пятна, которыя вблизи первыя бросаются въ глаза. Въ дѣйствительности все покорно законамъ пространства и времени, естественнымъ требованіямъ: и герои ѣдятъ, пьютъ, чувствуютъ холодъ и голодъ, какъ и обыкновенные люди. Вы видите въ природѣ прекрасный ландшафтъ, но какъ?—непремѣнно вдалекѣ, и притомъ съ извѣстной точки зрѣнія: отдаленность придаетъ ему живописную прелесть, точка зрѣнія придаетъ ему цѣлость. Сдѣлайте шагъ, перемѣните точку зрѣнія—и ландшафтъ исчезъ: передъ вами что-то нестройное, разбросанное, безъ начала, безъ конца и середины, безъ всякой общности, безъ всякой физіономіи. Подойдите вблизь къ очаровавшему васъ ландшафту—и вы очутитесь у какой-нибудь негодной избушки, дрянной мельницы, ничтожнаго ручья, обыкновенной рощи, гдѣ на каждомъ шагу спотыкаетесь отъ неровностей или попадаете въ лужу. А издалека все было такъ чисто, опрятно, красиво, цѣлостно, обрамлено,—настоящая картина! И такъ, картина лучше дѣйствительности?

Digitized by Google

Да, ландшафтъ, созданный на полотнѣ талантливымъ живописцемъ, лучше всякихъ живописныхъ видовъ въ природѣ. Отчего же?—Оттого, что въ немъ нѣтъ ничего случайнаго и лишняго, всѣ части подчинены цѣлому, все направлено къ одной цѣли, все образуетъ собою одно прекрасное, цѣлостное и индивидуальное. Дѣйствительность прекрасна сама по себѣ, но прекрасна по своей сущности, по своимъ элементамъ, по своему содержанію, а не по формѣ. Въ этомъ отношеніи дѣйствительность есть чистое золото, но неочищенное, въ кучѣ руды и земли: наука и искусство очищаютъ золото дѣйствительности, перетопляютъ его въ изящныя формы. Слѣдовательно наука и искусство не выдумываютъ новой и небывалой дѣйствительности, но у той, которая была, есть и будетъ, берутъ готовые матеріалы, готовые элементы, словомъ—готовое содержаніе; даютъ имъ приличную форму, съ соразмѣрными частями и доступнымъ для нашего взора объемомъ со всѣхъ сторонъ. Что Петръ Великій создалъ въ Россіи армію и флотъ—это фактъ исторической дѣйствительности; но исторія, излагая это дѣло, беретъ изъ него только главныя характеристическія черты, выпуская подробности: не ея дѣло описывать, какъ набирали солдатъ и матросовъ, какъ учили каждаго изъ нихъ, и прочее. Шекспиръ въ ограниченномъ объемѣ драмы сосредоточиваетъ всю жизнь историческаго лица, напримѣръ какого-нибудь Ричарда II, или важнѣйшее событіе изъ жизни героя, которое въ дѣйствительности могло совершиться только въ нѣсколько лѣтъ. Онъ включаетъ въ свою драму только тѣ черты изъ жизни ея героя, только тѣ факты изъ событія, избраннаго для драматической картины, которые имѣютъ прямое отношеніе къ идеѣ его созданія, а все прочее, хотя бы само по себѣ и интересное, но не относящееся къ основной идеѣ его произведенія, онъ исключаетъ, какъ ненужное. Хотя рамы романа и несравненно обширнѣе стѣсненныхъ рамъ драмы, хотя романистъ пользуется и несравненно большею противъ драматурга свободою, но любой романъ Вальтеръ Скотта или Купера не отниметъ у насъ больше дня безпрерывнаго чтенія, а подробное описаніе, вродѣ мемуаровъ, года жизни каждаго человѣка наполнило бы собою вдесятеро большее число томовъ, нежели цѣлая жизнь героя или важнѣйшее событіе изъ нея въ романѣ, состоящемъ изъ четырехъ небольшихъ книжекъ. Поэтъ не обязанъ описывать, какъ герой его романа обѣдалъ каждый разъ; но поэтъ можетъ изобразить одинъ изъ его обѣдовъ, если этотъ обѣдъ имѣлъ вліяніе на его жизнь, или если въ этомъ обѣдѣ можно представить характеристическія черты обѣдовъ извѣстнаго народа въ извѣстную эпоху. Если герой романа рыцарь, то поэту не для чего описывать всѣ его поединки и сраженія, которыя у каждаго рыцаря были такъ часты и обыкновенны, какъ у русскаго купца питье чая; но поэтъ можетъ описать важнѣйшіе поединки и сраженія своего героя, или даже и одинъ поединокъ, если только въ немъ духъ рыцарства выразился столь характеристически, что новое описаніе въ этомъ родѣ ничего не дополнитъ, или если характеръ героя въ немъ обозначился такъ полно и рѣзко, что мы по одному его поединку знаемъ уже, какъ бы онъ сталъ сражаться въ тысячѣ другихъ. Для поэта не существуютъ дробныя и случайныя явленія, но только одни идеалы или типическіе образы, которые относятся къ явленіямъ дѣйствительности, какъ роды къ видамъ, и которые, при всей своей индивидуальности и особности, заключаютъ въ себѣ всѣ общія, родовыя примѣты цѣлаго рода явленій въ возможности, выражающихъ собою одну извѣстную идею. И потому каждое лицо въ художественномъ произведеніи есть представитель безчисленнаго множества лицъ одного рода, и потому-то мы говоримъ: этотъ человѣкъ—настоящій Отелло, эта дѣвушка—совершенная Офелія. Такія имена, какъ Онѣгинъ, Ленскій, Татьяна, Ольга, Загорѣцкій, Фамусовъ, Скалозубъ, Молчалинъ, Репетиловъ, Хлестова, Сквозникъ-Дмухановскій, Бобчинскій, Добчинскій, Держиморда и прочіе,—суть какъ бы не собственныя, а нарицательныя имена, общія характеристическія названія извѣстныхъ явленій дѣйствительности. И потому-то въ наукѣ и искусствѣ дѣйствительность больше похожа на дѣйствительность, чѣмъ въ самой дѣйствительности,—и художественное произведеніе, основанное на вымыслѣ, выше всякой были, а историческій романъ Вальтеръ Скотта, въ отношеніи къ нравамъ, обычаямъ, колориту и духу извѣстной страны въ извѣстную эпоху, достовѣрнѣе всякой исторіи. Наука отвлекаетъ отъ фактовъ дѣйствительности ихъ сущность—идею; а искусство, заимствуя у дѣйствительности матеріалы, возводитъ ихъ до общаго, родового, типическаго значенія, создаетъ изъ нихъ стройное цѣлое. Какъ повидимому ни нелѣпа мысль французскихъ эстетиковъ прошлаго вѣка, что искусство должно украшать природу, но въ ней есть своя часть истины; только они не поняли самихъ себя и по разсудочному противорѣчію, отрицая простое списываніе съ природы, приняли подражаніе природѣ, хотя и украшенной. И если ихъ подражанія были манерны, искусственны и мертвы, то не дальше ихъ ушли и эти quasi-романтическія

Digitized by Google

списыванія съ натуры, въ которыхъ красуются мужицкія побранки и поговорки во всей ихъ неопрятной естественности. Можно очень натурально изобразить пытку, казнь, несчастную смерть человѣка, упавшаго въ нетрезвомъ видѣ въ помойную яму, но всѣ эти изображенія будутъ возмутительны для души, неизящны и безсмысленны, ибо въ нихъ не будетъ никакой разумной мысли, никакой разумной цѣли. Но когда живописецъ представитъ вамъ естественно истязаніе человѣка за истину, и въ лицѣ его выразитъ побѣду душевной твердости надъ физическимъ страданіемъ,—то чѣмъ больше въ картинѣ будетъ естественности, тѣмъ картина будетъ изящнѣе и художественнѣе, ибо въ ней будетъ видна разумная цѣль и разумная мысль. Что̀ дѣйствительно, то разумно, и что̀ разумно, то и дѣйствительно: это великая истина; но не все то дѣйствительно, что̀ есть въ дѣйствительности, а для художника должна существовать только разумная дѣйствительность. Но и въ отношеніи къ ней онъ не рабъ ея, а творецъ, и не она водитъ его рукою, но онъ вноситъ въ нее свои идеалы и по нимъ преображаетъ ее.

Итакъ, поэзія есть жизнь по преимуществу, есть сущность, такъ сказать, тончайшій эѳиръ, тройль-экстрактъ, квинтъ-эссенція жизни. Поэзія не описываетъ розы, которая такъ пышно цвѣтетъ въ саду, но, отбросивъ грубое вещество, изъ котораго она составлена, беретъ отъ нея только ея ароматическій запахъ, нѣжные переливы ея цвѣта и создаетъ изъ нихъ свою розу, которая еще лучше и пышнѣе. Поэзія—это невинная улыбка младенца, его ясный взоръ, его звонкій смѣхъ и живая радость. Поэзія—это стыдливый румянецъ на ланитахъ прекрасной дѣвушки, кроткій блескъ ея глубокихъ, какъ море, какъ небеса, голубыхъ очей, или яркій огонь ея черныхъ глазъ, волны кудрей, разбѣжавшихся по ея мраморнымъ плечамъ, волненіе ея нѣжной груди, гармонія ея серебрянаго голоса, музыка ея чарующихъ рѣчей, стройность ея стана, художественная рельефность и роскошь ея живыхъ формъ, граціозность и нѣга ея плѣнительныхъ движеній... Поэзія — это огненный взоръ юноши, кипящаго избыткомъ силъ; это его отвага и дерзость, его жажда желаній, неудержимые порывы его стремленія — сжать въ пламенныхъ объятіяхъ и небо, и землю, разомъ осушить до дна неистощимую чашу жизни... Поэзія—это сосредоточенная, овладѣвшая собою сила мужа, вполнѣ созрѣвшаго для жизни, искушеннаго ея опытами, съ уравновѣшенными силами духа, съ просвѣтленнымъ взоромъ, готоваго на битву и на подвигъ... Поэзія — это тихій блескъ безцвѣтныхъ глазъ старца, кроткое, какъ ласка, глубокое, какъ дума, выраженіе сіяющаго блескомъ нездѣшней жизни морщиноватаго лица его, спокойный и полный души звукъ его дрожащаго и прерывающагося голоса, его тихая и важная рѣчь, любящая и величавая улыбка его мудрыхъ устъ... Поэзія — это свѣтлое торжество бытія, это блаженство жизни, нежданно посѣщающія насъ въ рѣдкія минуты; это упоеніе, трепетъ, млѣніе, нѣга страсти, волненіе и буря чувствъ, полнота любви, восторгъ наслажденія, сладость грусти, блаженство страданія, ненасытимая жажда слезъ; это страстное, томительное, тоскливое порываніе куда-то, въ какую-то всегда обольстительную и никогда недостигаемую сторону, — это вѣчная и никогда неудовлетворимая жажда все обнять и со всѣмъ слиться; это тотъ божественный паѳосъ, въ которомъ сердце наше бьется въ одинъ ладъ со вселенною, передъ упоеннымъ взоромъ летаютъ безъ покрова безплотныя видѣнія высшаго бытія, а очарованному слуху слышится гармонія сферъ и міровъ,— тотъ божественный паѳосъ, въ которомъ земное сіяетъ небеснымъ, а небесное сочетавается съ земнымъ, и вся природа является въ брачномъ блескѣ, разгаданнымъ іероглифомъ помирившагося съ нею духа... Весь міръ, всѣ цвѣты, краски и звуки, всѣ формы природы и жизни могутъ быть явленіемъ поэзіи; но сущность ея—то, что̀ скрывается въ этихъ явленіяхъ, живитъ ихъ бытіе, очаровываетъ въ нихъ игрою жизни. Поэзію—это біеніе пульса міровой жизни, это ея кровь, ея огонь, ея свѣтъ и солнце.

Поэтъ—благороднѣйшій сосудъ духа, избранный любимецъ небесъ, тайникъ природы, золова арфа чувствъ и ощущеній, органъ міровой жизни. Еще дитя, онъ уже сильнѣе другихъ сознаетъ свое родство со вселенной, свою кровную связь съ нею; юноша — онъ уже переводитъ на понятный языкъ ея нѣмую рѣчь, ея таинственный лепетъ... Но послушаемъ лучше самого поэта: свидѣтельство, которому нельзя не повѣрить. Онъ говоритъ:

Все волновало нѣжный умъ:
Цвѣтущій лугъ, луны блистанье,
Въ часовнѣ ветхой бури шумъ,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демонъ обладалъ
Моими играми, досугомъ;
За мной повсюду онъ леталъ,
Мнѣ звуки дивные шепталъ,
И тяжкимъ пламеннымъ недугомъ
Была полна моя глава;
Въ ней грезы чудныя рождались,
Въ размѣры стройные стекались
Мои послушныя слова,
И звонкой риѳмой замыкались.
Въ гармоніи соперникъ мой
Былъ шумъ лѣсовъ, иль вихорь буйный,

Digitized by Google

Иль иволги напѣвъ живой,
Иль ночью моря гулъ глухой,
Иль шопотъ рѣчки тихоструйной.

Еще есть другіе стихи Пушкина, болѣе чудные, болѣе глубокіе, и по тому самому незнаемые толпою и извѣстные только немногимъ истиннымъ поклонникамъ и жрецамъ изящнаго; въ этихъ стихахъ заключается полнѣйшая характеристика поэта и высочайшая апоѳеоза художника. Поэтъ обращается къ эху:

Реветъ ли звѣрь въ лѣсу глухомъ,
Трубитъ ли рогъ, гремитъ ли громъ,
Поетъ ли дѣва за холмомъ—
На всякій звукъ
Свой откликъ въ воздухѣ пустомъ
Родишь ты вдругъ.
Ты внемлешь грохоту громовъ,
И гласу бури и валовъ,
И крику сельскихъ пастуховъ—
И шлешь отвѣтъ;
Тебѣ жъ нѣтъ отзыва... Таковъ
И ты, поэтъ!

Да, все, чѣмъ живетъ міръ и что̀ живетъ въ мірѣ,—находитъ отзывъ во всеобъемлющей груди поэта; и ни одно существо на землѣ не имѣетъ бо̀льшаго права примѣнить къ себѣ слова Фауста:

Всевышній духъ! Ты все, ты все мнѣ далъ,
О чемъ тебя я умолялъ;
Не даромъ зрѣлся мнѣ
Твой ликъ сіяющій въ огнѣ.
Ты далъ природу мнѣ, какъ царство, во владѣнье,
Ты далъ душѣ моей
Даръ чувствовать ее, далъ силу наслаждаться.
Иной едва скользитъ по ней
Холоднымъ взглядомъ удивленья;
Но я могу въ ея таинственную грудь,
Какъ въ сердце друга, заглянуть.

Но кто же онъ, самъ поэтъ, въ отношеніи къ прочимъ людямъ?—Это организація воспріимчивая, раздражительная, всегда дѣятельная, которая, при малѣйшемъ прикосновеніи, даетъ отъ себя искры электричества, которая болѣзненнѣе другихъ страдаетъ, живѣе наслаждается, пламеннѣе любитъ, сильнѣе ненавидитъ: словомъ,—глубже чувствуетъ; натура, въ которой развиты въ высшей степени обѣ стороны духа—и пассивная, и дѣятельная. Уже по самому устройству своего организма, поэтъ больше, чѣмъ кто-нибудь, способенъ вдаваться въ крайности, и, возносясь превыше всѣхъ къ небу, можетъ-быть, ниже всѣхъ падаетъ въ грязь жизни. Но и самое паденіе его не то, что̀ у другихъ людей: оно слѣдствіе ненасытимой жажды жизни, а не животной алчбы денегъ, власти и отличій. Эта жажда жизни въ немъ такъ велика, что за одну минуту упоенія страсти, за одинъ мигъ полноты чувства онъ готовъ жертвовать всѣмъ своимъ будущимъ, всѣми надеждами, всей остальной жизнью. У него—по выраженію Гезіода—«пѣснь всегда на умѣ, а въ груди сердце беззаботное». Когда онъ чувствуетъ приближеніе бога и обдумываетъ зарождающееся новое созданіе, тогда—

Пройдя безъ шума близъ него,
Не нарушай холоднымъ словомъ
Его священныхъ, тихихъ сновъ!
Взгляни съ слезой благоговѣнья,
И молви: это сынъ боговъ,
Питомецъ музъ и вдохновенья.

Когда онъ творитъ—онъ царь, онъ властелинъ вселенной, повѣренный тайнъ природы, прозирающій въ таинства неба и земли, природы и духа человѣческаго, только ему одному открытыя; но когда онъ находится въ обыкновенномъ земномъ расположеніи—онъ *человѣкъ*, но человѣкъ, который можетъ быть ничтожнымъ, и никогда не можетъ быть низкимъ, который чаще другихъ можетъ падать, но который такъ же быстро возстаетъ, какъ падаетъ,—который всегда готовъ отозваться на голосъ, несущійся къ нему отъ его родины—неба. Но послушаемъ его собственной исповѣди:

Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ заботахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ;
Молчитъ его святая лира;
Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ.
Но лишь божественный глаголъ
До слуха чуткаго коснется,
Душа поэта встрепенется
Какъ пробудившійся орелъ.
Тоскуетъ онъ въ забавахъ міра,
Людской чуждается молвы,
Къ ногамъ народнаго кумира
Не клонитъ гордой головы,
Бѣжитъ онъ, дикій и суровый,
И звуковъ, и смятенья полнъ,
На берега пустынныхъ волнъ,
Въ широкошумныя дубровы..

Какая цѣль поэзіи? — вопросъ, который для людей, обдѣленныхъ отъ природы эстетическимъ чувствомъ, кажется такъ важенъ и неудоборѣшимъ. Поэзія не имѣетъ никакой цѣли внѣ себя, но сама себѣ есть цѣль, такъ же, какъ истина въ знаніи, какъ благо въ дѣйствіи. Не все ли намъ равно—знать или не знать, что̀ не относится къ нашей жизни или нашимъ выгодамъ, что̀ и высоко, и далеко отъ насъ, какъ это небо, котораго и безконечно малой частицы никогда не придвинемъ мы къ себѣ всѣми телескопами? Однакожъ астрономъ посвящаетъ всю жизнь свою этому небу,—и открытіе новой звѣзды, которая не прибавитъ ни полтины къ его годовому доходу, дѣлаетъ его счастливымъ и блаженнымъ. Развѣ потому должны мы любить добро, что насъ за него хвалятъ или награждаютъ? Развѣ мы должны отрекаться отъ него и сворачивать на широкую дорогу зла, какъ скоро увидимъ, что добро не только не приноситъ намъ никакихъ процентовъ, но еще подвергаетъ насъ гоненіямъ

Digitized by Google

и несчастіямъ? Подобно истинѣ и благу, красота есть сама себѣ цѣль и по праву царствуетъ надъ вселенной только властью своего имени, неотразимымъ обаяніемъ своего дѣйствія на душу людей. Вотъ въ ярко освѣщенную, великолѣпную залу входитъ красавица,—и трепещетъ пылкая юность, разглаживаются морщины на челѣ старости, улыбка радости проясняетъ сонныя отъ пустоты и скуки лица; кажется, царства мало за одинъ взглядъ ея; лавровый вѣнокъ героя, лучезарный ореолъ поэта готовы пасть къ ногамъ ея, лишь бы только захотѣла она замѣтить ихъ... А между тѣмъ вы въ лицѣ ея тщетно отыскиваете выраженія какой-нибудь опредѣленной идеи, оттѣнка какого-нибудь опредѣленнаго чувства: ничего, ничего, кромѣ безбрежнаго моря красоты и граціи, въ которомъ тонутъ ваши очарованные взоры, исчезаетъ все существо ваше... Объясните мнѣ: для чего такая красота, какая цѣль ея,—и я объясню вамъ со всевозможною ясностью и даже «точностью», для чего существуетъ поэзія, какая цѣль ея... И еслибы нашлись люди, надъ которыми красота не имѣетъ никакой власти, не будемъ спорить съ ними! Хладные скопцы (по выраженію Пушкина), лишенные огня Прометеева,—стóятъ ли они словъ, и имъ ли можно растолковать, почему диллетантъ такъ благоговѣйно и цѣломудренно любуется обнаженною красотою Венеры Медичейской, и за обломокъ древней капители, барельефа или камею готовъ жертвовать всѣмъ достояніемъ своимъ, съ безумной горячностью любовника, которому и жизни не жаль за одну улыбку возлюбленной?...

Вотъ какъ понималъ красоту «божественный Платонъ», и какъ во всѣ вѣка будутъ понимать ее умы благородные и возвышенные:

«Наслажденіе красотою въ этомъ земномъ мірѣ возможно въ человѣкѣ только по воспоминанію той единой, истинной и совершенной красоты, которую душа припоминаетъ себѣ въ первоначальной ея родинѣ. Вотъ почему зрѣлище прекраснаго на землѣ, какъ воспоминаніе о красотѣ горней, способствуетъ тому, чтобъ окрылять душу къ небесному и возвращать ее къ божественному источнику всякой красоты.

Красота была свѣтлаго вида въ то время, когда мы, счастливымъ хоромъ, слѣдовали за Діемъ, въ блаженномъ видѣніи и созерцаніи, другіе же за другими богами; мы зрѣли и совершали блаженнѣйшее изъ всѣхъ таинствъ, пріобщались ему всецѣлые, не причастные бѣдствіямъ, которыя въ позднее время пасъ посѣтили; погружались въ видѣнія совершенныя, простыя, не страшныя, но радостныя, и созерцали ихъ въ свѣтѣ чистомъ, сами будучи чисты и не запятнаны тѣмъ, что мы нынѣ, влача съ собою, называемъ тѣломъ, мы, заключенные въ него, какъ въ раковину.

Красота одна получила здѣсь этотъ жребій: быть пресвѣтлою и достойною любви. Не вполнѣ посвященный, развратный стремится къ самой красотѣ, не взирая на то, что носитъ ея имя; онъ не благоговѣетъ передъ нею, а, подобно четвероногому, ищетъ одного чувственнаго наслажденія, хочетъ слить прекрасное съ своимъ тѣломъ... Напротивъ того, вновь посвященный, увидѣвъ богамъ подобное лицо, изображающее красоту, сначала трепещетъ; его объемлетъ страхъ; потомъ, созерцая прекрасное, какъ бога, онъ обожаетъ, и если-бы не боялся, что назовутъ его безумнымъ, онъ принесъ бы жертву предмету любимому...»

Какъ красота, такъ и поэзія—выразительница и жрица красоты—сама себѣ цѣль, и внѣ себя не имѣетъ никакой цѣли. Если она возвышаетъ душу человѣка къ небесному, настраиваетъ ее къ благимъ дѣйствіямъ и чистымъ помысламъ—это уже не цѣль ея, а прямое дѣйствіе, свойство ея сущности; это дѣлается само собою, безъ всякаго предначертанія со стороны поэта. Поэтъ есть живописецъ, а не философъ. Всегдашній предметъ его картинъ и изображеній есть «полное славы творенье»—міръ со всей безконечностью и разнообразіемъ его явленій. Поэзія говоритъ душѣ образами,—и ея образы суть выраженіе той вѣчной красоты, первообразъ которой блещетъ въ мірозданіи и во всѣхъ частныхъ явленіяхъ и формахъ природы. Поэзія не терпитъ отвлеченныхъ идей въ ихъ безтѣлесной наготѣ, но самыя отвлеченныя понятія воплощаетъ въ живые и прекрасные образы, въ которыхъ мысль сквозитъ, какъ свѣтъ въ граненомъ хрусталѣ. Поэтъ видитъ во всемъ формы, краски и всему даетъ форму и цвѣтъ, овеществляетъ невещественное, дѣлаетъ земнымъ небесное—да свѣтитъ земное небеснымъ свѣтомъ! Для поэта всѣ явленія въ мірѣ существуютъ сами по себѣ; онъ переселяется въ нихъ, живетъ ихъ жизнью и съ любовью лелѣетъ ихъ на своей груди, такъ какъ они есть, не измѣняя по своему произволу ихъ сущности. Это не значитъ, чтобъ поэтъ не могъ отрываться отъ созерцанія міра, взятаго въ самомъ себѣ, и вносить въ него свой идеалъ, чтобъ лиру пѣснопѣнія, кинжалъ трагедіи и трубу эпопеи не могъ онъ мѣнять на громы благороднаго негодованія и даже на свистокъ сатиры; молитву оставлять для проповѣди и прошедшее, міровое и вѣчное, забывать на минуту для современности и общества; но смѣшно требовать, чтобъ въ этомъ онъ увидѣлъ цѣль своей жизни и за долгъ себѣ поставилъ подчинить свое свободное вдохновеніе разнымъ «текущимъ потребностямъ». Свободный, какъ вѣтеръ, онъ повинуется только внутреннему своему призванію, таинственному голосу движущаго имъ бога, а на крики туной черни, которая бы стала приставать къ нему, въ своей дикой слѣпотѣ:

Digitized by Google

Иль иволги напѣвъ живой,
Иль ночью моря гулъ глухой,
Иль шопотъ рѣчки тихоструйной.

Еще есть другіе стихи Пушкина, болѣе чудные, болѣе глубокіе, и по тому самому незнаемые толпою и извѣстные только немногимъ истиннымъ поклонникамъ и жрецамъ изящнаго; въ этихъ стихахъ заключается полнѣйшая характеристика поэта и высочайшая апоѳеоза художника. Поэтъ обращается къ эху:

Реветъ ли звѣрь въ лѣсу глухомъ,
Трубитъ ли рогъ, гремитъ ли громъ,
Поетъ ли дѣва за холмомъ—
На всякій звукъ
Свой откликъ въ воздухѣ пустомъ
Родишь ты вдругъ.
Ты внемлешь грохоту громовъ,
И гласу бури и валовъ,
И крику сельскихъ пастуховъ—
И шлешь отвѣтъ;
Тебѣ жъ нѣтъ отзыва... Таковъ
И ты, поэтъ!

Да, все, чѣмъ живетъ міръ и что̀ живетъ въ мірѣ,—находитъ отзывъ во всеобъемлющей груди поэта; и ни одно существо на землѣ не имѣетъ бо̀льшаго права примѣнить къ себѣ слова Фауста:

Всевышній духъ! Ты все, ты все мнѣ далъ,
О чемъ тебя я умолялъ;
Не даромъ зрѣлся мнѣ
Твой ликъ сіяющій въ огнѣ.
Ты далъ природу мнѣ, какъ царство, во владѣнье,
Ты далъ душѣ моей
Даръ чувствовать ее, далъ силу наслаждаться.
Иной едва скользитъ по ней
Холоднымъ взглядомъ удивленья;
Но я могу въ ея таинственную грудь,
Какъ въ сердце друга, заглянуть.

Но кто же онъ, самъ поэтъ, въ отношеніи къ прочимъ людямъ?—Это организація воспріимчивая, раздражительная, всегда дѣятельная, которая, при малѣйшемъ прикосновеніи, даетъ отъ себя искры электричества, которая болѣзненнѣе другихъ страдаетъ, живѣе наслаждается, пламеннѣе любитъ, сильнѣе ненавидитъ: словомъ,—глубже чувствуетъ; натура, въ которой развиты въ высшей степени обѣ стороны духа—и пассивная, и дѣятельная. Уже по самому устройству своего организма, поэтъ больше, чѣмъ кто-нибудь, способенъ вдаваться въ крайности, и, возносясь превыше всѣхъ къ небу, можетъ-быть, ниже всѣхъ падаетъ въ грязь жизни. Но и самое паденіе его не то, что̀ у другихъ людей: оно слѣдствіе ненасытимой жажды жизни, а не животной алчбы денегъ, власти и отличій. Эта жажда жизни въ немъ такъ велика, что за одну минуту упоенія страсти, за одинъ мигъ полноты чувства онъ готовъ жертвовать всѣмъ своимъ будущимъ, всѣми надеждами, всей остальной жизнью. У него—по выраженію Гезіода—«пѣснь всегда на умѣ, а въ груди сердце беззаботное». Когда онъ чувствуетъ приближеніе бога и обдумываетъ зарождающееся новое созданіе, тогда—

Пройдя безъ шума близъ него,
Не нарушай холоднымъ словомъ
Его священныхъ, тихихъ сновъ!
Взгляни съ слезой благоговѣнья,
И молви: это сынъ боговъ,
Питомецъ музъ и вдохновенья.

Когда онъ творитъ—онъ царь, онъ властелинъ вселенной, повѣренный тайнъ природы, прозирающій въ таинства неба и земли, природы и духа человѣческаго, только ему одному открытыя; но когда онъ находится въ обыкновенномъ земномъ расположеніи—онъ *человѣкъ*, но человѣкъ, который можетъ быть ничтожнымъ, и никогда не можетъ быть низкимъ, который чаще другихъ можетъ падать, но который такъ же быстро возстаетъ, какъ падаетъ,—который всегда готовъ отозваться на голосъ, несущійся къ нему отъ его родины—неба. Но послушаемъ его собственной исповѣди:

Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ заботахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ;
Молчитъ его святая лира;
Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ.
Но лишь божественный глаголъ
До слуха чуткаго коснется,
Душа поэта встрепенется
Какъ пробудившійся орелъ.
Тоскуетъ онъ въ забавахъ міра,
Людской чуждается молвы,
Къ ногамъ народнаго кумира
Не клонитъ гордой головы,
Бѣжитъ онъ, дикій и суровый,
И звуковъ, и смятенья полнъ,
На берега пустынныхъ волнъ,
Въ широкошумныя дубровы..

Какая цѣль поэзіи? — вопросъ, который для людей, обдѣленныхъ отъ природы эстетическимъ чувствомъ, кажется такъ важенъ и неудоборѣшимъ. Поэзія не имѣетъ никакой цѣли внѣ себя, но сама себѣ есть цѣль, такъ же, какъ истина въ знаніи, какъ благо въ дѣйствіи. Не все ли намъ равно—знать или не знать, что̀ не относится къ нашей жизни или нашимъ выгодамъ, что̀ и высоко, и далеко отъ насъ, какъ это небо, котораго и безконечно малой частицы никогда не придвинемъ мы къ себѣ всѣми телескопами? Однакожъ астрономъ посвящаетъ всю жизнь свою этому небу,—и открытіе новой звѣзды, которая не прибавитъ ни полтины къ его годовому доходу, дѣлаетъ его счастливымъ и блаженнымъ. Развѣ потому должны мы любить добро, что насъ за него хвалятъ или награждаютъ? Развѣ мы должны отрекаться отъ него и сворачивать на широкую дорогу зла, какъ скоро увидимъ, что добро не только не приноситъ намъ никакихъ процентовъ, но еще подвергаетъ насъ гоненіямъ

Digitized by Google

и несчастіямъ? Подобно истинѣ и благу, красота есть сама себѣ цѣль и по праву царствуетъ надъ вселенной только властью своего имени, неотразимымъ обаяніемъ своего дѣйствія на душу людей. Вотъ въ ярко освѣщенную, великолѣпную залу входитъ красавица,—и трепещетъ пылкая юность, разглаживаются морщины на челѣ старости, улыбка радости проясняетъ сонныя отъ пустоты и скуки лица; кажется, царства мало за одинъ взглядъ ея; лавровый вѣнокъ героя, лучезарный ореолъ поэта готовы пасть къ ногамъ ея, лишь бы только захотѣла она замѣтить ихъ... А между тѣмъ вы въ лицѣ ея тщетно отыскиваете выраженія какой-нибудь опредѣленной идеи, оттѣнка какого-нибудь опредѣленнаго чувства: ничего, ничего, кромѣ безбрежнаго моря красоты и граціи, въ которомъ тонутъ ваши очарованные взоры, исчезаетъ все существо ваше... Объясните мнѣ: для чего такая красота, какая цѣль ея,—и я объясню вамъ со всевозможною ясностью и даже «точностью», для чего существуетъ поэзія, какая цѣль ея... И еслибы нашлись люди, надъ которыми красота не имѣетъ никакой власти, не будемъ спорить съ ними! Хладные скопцы (по выраженію Пушкина), лишенные огня Прометеева,—стóятъ ли они словъ, и имъ ли можно растолковать, почему диллетантъ такъ благоговѣйно и цѣломудренно любуется обнаженною красотою Венеры Медичейской, и за обломокъ древней капители, барельефа или камею готовъ жертвовать всѣмъ достояніемъ своимъ, съ безумной горячностью любовника, которому и жизни не жаль за одну улыбку возлюбленной?...

Вотъ какъ понималъ красоту «божественный Платонъ», и какъ во всѣ вѣка будутъ понимать ее умы благородные и возвышенные:

«Наслажденіе красотою въ этомъ земномъ мірѣ возможно въ человѣкѣ только по воспоминанію той единой, истинной и совершенной красоты, которую душа припоминаетъ себѣ въ первоначальной ея родинѣ. Вотъ почему зрѣлище прекраснаго на землѣ, какъ воспоминаніе о красотѣ горней, способствуетъ тому, чтобъ окрилять душу къ небесному и возвращать ее къ божественному источнику всякой красоты.

Красота была свѣтлаго вида въ то время, когда мы, счастливымъ хоромъ, слѣдовали за Діемъ, въ блаженномъ видѣніи и созерцаніи, другіе же за другими богами; мы зрѣли и совершали блаженнѣйшее изъ всѣхъ таинствъ, пріобщались ему всецѣлые, не причастные бѣдствіямъ, которыя въ позднее время насъ посѣтили; погружались въ видѣнія совершенныя, простыя, не страшныя, но радостныя, и созерцали ихъ въ свѣтѣ чистомъ, сами будучи чисты и не запятнаны тѣмъ, что мы нынѣ, влача съ собою, называемъ тѣломъ, мы, заключенные въ него, какъ въ раковину.

Красота одна получила здѣсь этотъ жребій: быть пресвѣтлою и достойною любви. Не вполнѣ посвященный, развратный стремится къ самой красотѣ, не взирая на то, что носитъ ея имя; онъ не благоговѣетъ передъ нею, а, подобно четвероногому, ищетъ одного чувственнаго наслажденія, хочетъ слить прекрасное съ своимъ тѣломъ... Напротивъ того, вновь посвященный, увидѣвъ богамъ подобное лицо, изображающее красоту, сначала трепещетъ; его объемлетъ страхъ; потомъ, созерцая прекрасное, какъ бога, онъ обожаетъ, и если-бы не боялся, что назовутъ его безумнымъ, онъ принесъ бы жертву предмету любимому...»

Какъ красота, такъ и поэзія—выразительница и жрица красоты—сама себѣ цѣль, и внѣ себя не имѣетъ никакой цѣли. Если она возвышаетъ душу человѣка къ небесному, настраиваетъ ее къ благимъ дѣйствіямъ и чистымъ помысламъ—это уже не цѣль ея, а прямое дѣйствіе, свойство ея сущности; это дѣлается само собою, безъ всякаго предначертанія со стороны поэта. Поэтъ есть живописецъ, а не философъ. Всегдашній предметъ его картинъ и изображеній есть «полное славы творенье»—міръ со всей безконечностью и разнообразіемъ его явленій. Поэзія говоритъ душѣ образами,—и ея образы суть выраженіе той вѣчной красоты, первообразъ которой блещетъ въ мірозданіи и во всѣхъ частныхъ явленіяхъ и формахъ природы. Поэзія не терпитъ отвлеченныхъ идей въ ихъ безтѣлесной наготѣ, но самыя отвлеченныя понятія воплощаетъ въ живые и прекрасные образы, въ которыхъ мысль сквозитъ, какъ свѣтъ въ граненомъ хрусталѣ. Поэтъ видитъ во всемъ формы, краски и всему даетъ форму и цвѣтъ, овеществляетъ невещественное, дѣлаетъ земнымъ небесное—да свѣтитъ земное небеснымъ свѣтомъ! Для поэта всѣ явленія въ мірѣ существуютъ сами по себѣ; онъ переселяется въ нихъ, живетъ ихъ жизнью и съ любовью лелѣетъ ихъ на своей груди, такъ какъ они есть, не измѣняя по своему произволу ихъ сущности. Это не значитъ, чтобъ поэтъ не могъ отрываться отъ созерцанія міра, взятаго въ самомъ себѣ, и вносить въ него свой идеалъ, чтобъ лиру пѣснопѣнія, кинжалъ трагедіи и трубу эпопеи не могъ онъ мѣнять на громы благороднаго негодованія и даже на свистокъ сатиры; молитву оставлять для проповѣди и прошедшее, міровое и вѣчное, забывать на минуту для современности и общества; но смѣшно требовать, чтобъ въ этомъ онъ увидѣлъ цѣль своей жизни и за долгъ себѣ поставилъ подчинить свое свободное вдохновеніе разнымъ «текущимъ потребностямъ». Свободный, какъ вѣтеръ, онъ повинуется только внутреннему своему призванію, таинственному голосу движущаго имъ бога, а на крики тупой черни, которая бы стала приставать къ нему, въ своей дикой слѣпотѣ:

Digitized by Google

Нѣтъ, если ты небесъ избранникъ,
Свой даръ, божественный посланникъ,
Во благо намъ употребляй:
Сердца собратьевъ исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Безстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцемъ хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнѣздятся клубомъ въ насъ пороки:
Ты можешь, ближняго любя,
Давать намъ смѣлые уроки,
А мы послушаемъ тебя,—

онъ можетъ и долженъ отвѣчать, если только стоитъ она отвѣта:

Подите прочь какое дѣло
Поэту мирному до васъ!
Въ развратѣ каменѣйте смѣло:
Не оживитъ васъ лиры гласъ!
Душѣ противны вы какъ гробы,
Для вашей глупости и злобы
Имѣли вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры;
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!
Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ
Сметаютъ соръ—полезный трудъ!
Но, позабывъ свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы-ль у васъ метлу берутъ?
Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ:
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ!

Поэтъ не подражаетъ природѣ, но соперничествуетъ съ нею,—и его созданія исходятъ изъ того же источника и тѣмъ же самымъ процессомъ, какъ и всѣ явленія природы, съ той только разницей, что на сторонѣ процесса его творчества есть еще и сознаніе, котораго лишена природа и ея дѣятельность. Вся природа со всѣми ея явленіями есть плодъ вдохновеннаго порыва духа—изъ идеальной области возможнаго перейти въ реальную область дѣйствительнаго, стать фактомъ, чтобъ потомъ въ разумнѣйшемъ своемъ явленіи—человѣкѣ—взглянуть на себя, какъ на нѣчто особое, сознать себя. И всякое произведеніе искусства есть плодъ вдохновеннаго усилія художника — вывести наружу, осуществить во внѣ внутренній міръ своихъ безплотныхъ идеаловъ. И такъ, вдохновеніе есть источникъ всякаго творчества; но искусство выше природы на столько, на сколько всякое сознательное и свободное дѣйствіе выше безсознательнаго и невольнаго. Но сознаніе при актѣ творчества есть не дѣятель, а только какъ-бы свидѣтель, дабы творчество было художнику въ наслажденіе и награду. Конечно всякое дѣйствіе есть уже необходимо и сознаніе; но подъ сознаніемъ въ творчествѣ не должно разумѣть дѣятельность разсудка, трудъ соображенія, разсчета и механическую работу: вдохновеніе, которое Платонъ называетъ маніей, — вотъ единственный дѣятель творчества, а разсудокъ враждебенъ творчеству и мертвитъ его. «Кто—говоритъ Платонъ—безъ маніи, внушаемой музами, приходитъ къ вратамъ поэзіи, убѣжденный въ томъ, что искусствомъ (ἐχτέχνης) сдѣлается изъ него хорошій поэтъ, тотъ никогда не будетъ совершеннымъ, и поэзія его, какъ поэзія благоразумнаго, будетъ отличаться отъ поэзіи безумствующихъ».

Вообще понятіе Платона о вдохновеніи такъ глубоко вѣрно и такъ поэтически, вдохновенно выражено, что, сообщивъ его, мы скажемъ о вдохновеніи все, что только можно сказать:

«...Не искусствомъ (*техникой*), но энтузіазмомъ и вдохновеніемъ, великіе эпическіе поэты сочиняютъ свои прекрасныя произведенія. Славные лирики также, подобно людямъ, волнуемымъ безуміемъ корибантовъ, пляшущихъ внѣ себя, не остаются въ умѣ своемъ, когда творятъ изящныя пѣснопѣнія: какъ скоро вошли они въ ладъ гармоніи и ритма, то преисполняются безуміемъ, объемлются восторгомъ, подобнымъ восторгу вакханокъ, которыя въ минуту упоенія черпаютъ въ рѣкахъ млеко и медъ, чего не бываетъ съ ними во время покоя. Въ душѣ поэтовъ лирическихъ на самомъ дѣлѣ совершается то, чѣмъ они хвалятся. Они говорятъ намъ, что черпаютъ въ медовыхъ источникахъ, что, подобно пчеламъ, летаютъ они по садамъ и долинамъ музъ и въ нихъ собираютъ пѣсни, которыя поютъ намъ. Они говорятъ правду. Поэтъ въ самомъ дѣлѣ есть существо легкое, крылатое и святое; онъ можетъ творить тогда только, когда восторгъ его объемлетъ, когда онъ выйдетъ изъ себя, и разсудокъ покинетъ его. Но покамѣстъ онъ съ нимъ, человѣкъ неспособенъ творить все и произносить пророчества.

Итакъ, если не искусствомъ, а божественнымъ вдохновеніемъ творятъ поэты,—то каждый изъ нихъ, по жребію Божію, успѣваетъ только въ томъ родѣ, къ которому муза его призываетъ. Одинъ превосходенъ въ дифирамбѣ, другой въ похвальной одѣ, — третій въ плясовой пѣснѣ, четвертый—въ эпосѣ, пятый—въ ямбахъ, и всѣ будутъ слабы во всякомъ другомъ родѣ, потому что не искусство, а сила божественная внушаетъ ихъ. Еслибы искусствомъ они умѣли творить, то могли бы успѣть въ разныхъ родахъ. А конецъ, на какой Богъ, отъемля у нихъ смыслъ, употребляетъ ихъ какъ служителей своихъ наравнѣ съ пророками и гадателями, есть тотъ, чтобъ мы, внимая имъ, познавали, что не сами собою они говорятъ намъ вещи дивныя, ибо они внѣ своего разума, но что самъ Богъ чрезъ нихъ къ намъ глаголетъ.»

Этотъ взглядъ на вдохновеніе, такъ простодушно, въ духѣ младенческой древности выраженный, удивителенъ по своей глубокости. Ясно, что Платонъ «благоразуміемъ» называетъ разсудочное, обыкновенное, будничное, такъ сказать, состояніе нашего духа; а подъ «безуміемъ» разумѣетъ тотъ божественный паѳосъ, то состояніе вдохновеннаго ясновидѣнія, когда разумъ человѣка созерцаетъ таинство высшаго міра, а воля его движетъ горами. Въ самомъ дѣлѣ, восторгъ наслажденія, изступленіе радости, упоеніе страданія, тоска разлуки, трепетъ свиданія, обаяніе любви, отвага самаго жер-

Digitized by Google

твованія, готовность пострадать за правое дѣло и истину, сладострастіе вдохновенія—что̀ все это, если не безуміе?... Но это безуміе разумное, безуміе божественное, которое возноситъ человѣка превыше премудрыхъ міра сего и равняетъ его съ богами,.. А мертвое равнодушіе, затянутое въ формы приличія, разсчеты мелкаго самолюбія и эгоизма, размѣренные шаги къ ничтожной цѣли, отреченіе отъ истиннаго назначенія человѣческаго для достиженія ея—что̀ все это, если не благоразуміе?... Но не будемъ говорить о благоразуміи: оно врагъ поэзіи, а предметъ нашей статьи—поэзія...

Все, сказанное нами о поэзіи вообще, легко приложить къ поэзіи Лермонтова. Гдѣ вдохновеніе неподдѣльно, тамъ есть и поэзія, и чьей натурѣ сродно вдохновеніе, тотъ поэтъ; но и вдохновеніе имѣетъ свои степени и въ каждомъ поэтѣ отличается особеннымъ характеромъ: въ одномъ оно искрится и шипитъ пѣною, какъ шампанское, и подобно шампанскому тотчасъ же оживляетъ легкимъ, но и скоропреходящимъ похмельемъ; въ другомъ оно льется свѣтлой, прозрачной рѣчкой, съ смѣющимися зелеными берегами; въ третьемъ оно бьетъ и стремится бурными волнами, съ громомъ, пѣною и брызгами, подобно Ніагарскому водопаду; въ четвертомъ оно подобно океану безъ береговъ и дна, отражающему въ себѣ и небесный куполъ съ его солнцемъ, луною и міріадами звѣздъ, и страшныя тучи, съ ихъ мракомъ и молніями,—океану, который равно величественъ и торжественъ и въ тишину, и въ бурю, который иоситъ на своихъ могучихъ волнахъ и утлый челнокъ рыбаря, и огромные флоты, и который въ необъятныхъ таинственныхъ нѣдрахъ своихъ заключаетъ цѣлые міры живыхъ существъ, и великихъ, и малыхъ, и горы раковинъ, и лѣса коралловъ... Жизнь одна и та же во всѣхъ своихъ явленіяхъ, но одно изъ нихъ объемлетъ собою только извѣстную часть ея, другое же заключаетъ въ себѣ безконечно великое содержаніе жизни. Таково же и отношеніе между поэтами: въ отношеніи къ акту творчества, къ процессу вдохновенія пѣсня Беранже совершенно равна любой драмѣ Шекспира, но въ отношеніи къ содержанію жизни, которое объемлетъ собою то и другое изъ упомянутыхъ произведеній, между ними безконечная разница въ важности, цѣнности и достоинствѣ. И эта разница существуетъ не только въ пьесахъ различнаго рода, какъ напримѣръ застольная пѣсенка и высокая драма: она можетъ существовать и между двумя застольными пѣснями, написанными на одинъ и тотъ же предметъ, но только разными поэтами. И вотъ здѣсь-то можно видѣть превосходство одного поэта передъ другимъ: пѣсня одного читается съ наслажденіемъ, но рѣдко вспоминается и скоро забывается; другого—чѣмъ больше читается, тѣмъ больше наслажденія доставляетъ, и даже прочитанная разъ, навсегда остается въ памяти — если не словами своими, то своимъ колоритомъ, тѣмъ «нѣчто», для выраженія котораго нѣтъ словъ на языкѣ человѣческомъ. Сравните «Поэта» Языкова съ «Поэтомъ» Пушкина, котораго мы выписали выше, въ нашей статьѣ, и съ его же стихотвореніемъ «Поэту»: сначала вамъ можетъ показаться, что пьеса Языкова выше обѣихъ Пушкинскихъ; но вы скоро, если въ васъ есть эстетическое чувство, замѣтите въ первой, при всемъ ея блескѣ, нѣкоторую напряженность, съ какой она составлена,—и благородную простоту, естественность, неизмѣримую глубину двухъ послѣднихъ и ихъ безконечное превосходство надъ первой... Причина этой разности есть разность сколько въ талантѣ, столько и въ натурахъ обоихъ поэтовъ: одинъ смотритъ на природу вещей извнѣ, видитъ только ея наружность; другой проникъ въ ея сущность и обратилъ ее въ свое достояніе, по праву законнаго властелина...

Немного поэтовъ, къ разбору произведеній которыхъ было бы не странно приступать съ такимъ длиннымъ предисловіемъ, съ предварительнымъ взглядомъ на сущность поэзіи: Лермонтовъ принадлежитъ къ числу этихъ немногихъ... Подробное разсмотрѣніе небольшой книжки его стихотвореній покажетъ, что въ ней кроются всѣ стихіи поэзіи, что она заключаетъ въ себѣ возможность въ будущемъ нѣсколькихъ и притомъ большихъ книгъ... Мы увидимъ, что свѣжесть благоуханія, художественная роскошь формъ, поэтическая прелесть и благородная простота образовъ, энергія, могучесть языка, алмазная крѣпость и металлическая звучность стиха, полнота чувства, глубокость и разнообразіе идей, необъятность содержанія—суть родовыя характеристическія примѣты поэзіи Лермонтова и залогъ ея будущаго великаго развитія.

Чѣмъ выше поэтъ, тѣмъ больше принадлежитъ онъ обществу, среди котораго родился, тѣмъ тѣснѣе связано развитіе, направленіе и даже характеръ его таланта съ историческимъ развитіемъ общества. Пушкинъ началъ свое поэтическое поприще «Русланомъ и Людмилою» — сочиненіемъ, котораго идея отзывается слишкомъ ранней молодостью, но которое кипитъ чувствомъ, блещетъ всѣми красками, благоухаетъ всѣми цвѣтами природы, сознаніемъ неистощимо веселымъ, игривымъ... Это была шалость генія послѣ первой опорожненной имъ чаши на свѣтломъ пиру жизни... Лермон-

Digitized by Google

Иль иволги напѣвъ живой,
Иль ночью моря гулъ глухой,
Иль шопотъ рѣчки тихоструйной.

Еще есть другіе стихи Пушкина, болѣе чудные, болѣе глубокіе, и по тому самому незнаемые толпою и извѣстные только немногимъ истиннымъ поклонникамъ и жрецамъ изящнаго; въ этихъ стихахъ заключается полнѣйшая характеристика поэта и высочайшая апоѳеоза художника. Поэтъ обращается къ эху:

Реветъ ли звѣрь въ лѣсу глухомъ,
Трубитъ ли рогъ, гремитъ ли громъ,
Поетъ ли дѣва за холмомъ—
На всякій звукъ
Свой откликъ въ воздухѣ пустомъ
Родишь ты вдругъ.
Ты внемлешь грохоту громовъ,
И гласу бури и валовъ,
И крику сельскихъ пастуховъ—
И шлешь отвѣтъ;
Тебѣ жъ нѣтъ отзыва... Таковъ
И ты, поэтъ!

Да, все, чѣмъ живетъ міръ и что живетъ въ мірѣ,—находитъ отзывъ во всеобъемлющей груди поэта; и ни одно существо на землѣ не имѣетъ бо́льшаго права примѣнить къ себѣ слова Фауста:

Всевышній духъ! Ты все, ты все мнѣ далъ,
О чемъ тебя я умолялъ;
Не даромъ зрѣлся мнѣ
Твой ликъ сіяющій въ огнѣ.
Ты далъ природу мнѣ, какъ царство, во владѣнье,
Ты далъ душѣ моей
Даръ чувствовать ее, далъ силу наслаждаться.
Иной едва скользитъ по ней
Холоднымъ взглядомъ удивленья;
Но я могу въ ея таинственную грудь,
Какъ въ сердце друга, заглянуть.

Но кто же онъ, самъ поэтъ, въ отношеніи къ прочимъ людямъ?—Это организація воспріимчивая, раздражительная, всегда дѣятельная, которая, при малѣйшемъ прикосновеніи, даетъ отъ себя искры электричества, которая болѣзненнѣе другихъ страдаетъ, живѣе наслаждается, пламеннѣе любитъ, сильнѣе ненавидитъ: словомъ,—глубже чувствуетъ; натура, въ которой развиты въ высшей степени обѣ стороны духа—и пассивная, и дѣятельная. Уже по самому устройству своего организма, поэтъ больше, чѣмъ кто-нибудь, способенъ вдаваться въ крайности, и, возносясь превыше всѣхъ къ небу, можетъ-быть, ниже всѣхъ падаетъ въ грязь жизни. Но и самое паденіе его не то, что у другихъ людей: оно слѣдствіе ненасытимой жажды жизни, а не животной алчбы денегъ, власти и отличій. Эта жажда жизни въ немъ такъ велика, что за одну минуту упоенія страсти, за одинъ мигъ полноты чувства онъ готовъ жертвовать всѣмъ своимъ будущимъ, всѣми надеждами, всей остальной жизнью. У него—по выраженію Гезіода—«пѣснь всегда на умѣ, а въ груди сердце беззаботное». Когда онъ чувствуетъ приближеніе бога и обдумываетъ зарождающееся новое созданіе, тогда—

Пройдя безъ шума близъ него,
Не нарушай холоднымъ словомъ
Его священныхъ, тихихъ сновъ!
Взгляни съ слезой благоговѣнья,
И молви: это сынъ боговъ,
Питомецъ музъ и вдохновенья.

Когда онъ творитъ—онъ царь, онъ властелинъ вселенной, повѣренный тайнъ природы, прозирающій въ таинства неба и земли, природы и духа человѣческаго, только ему одному открытыя; но когда онъ находится въ обыкновенномъ земномъ расположеніи—онъ *человѣкъ*, но человѣкъ, который можетъ быть ничтожнымъ, и никогда не можетъ быть низкимъ, который чаще другихъ можетъ падать, но который такъ же быстро возстаетъ, какъ падаетъ,—который всегда готовъ отозваться на голосъ, несущійся къ нему отъ его родины—неба. Но послушаемъ его собственной исповѣди:

Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ заботахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ;
Молчитъ его святая лира;
Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ.
Но лишь божественный глаголъ
До слуха чуткаго коснется,
Душа поэта встрепенется
Какъ пробудившійся орелъ.
Тоскуетъ онъ въ забавахъ міра,
Людской чуждается молвы,
Къ ногамъ народнаго кумира
Не клонитъ гордой головы,
Бѣжитъ онъ, дикій и суровый,
И звуковъ, и смятенья полнъ,
На берега пустынныхъ волнъ,
Въ широкошумныя дубровы..

Какая цѣль поэзіи? — вопросъ, который для людей, обдѣленныхъ отъ природы эстетическимъ чувствомъ, кажется такъ важенъ и неудоборѣшимъ. Поэзія не имѣетъ никакой цѣли внѣ себя, но сама себѣ есть цѣль, такъ же, какъ истина въ знаніи, какъ благо въ дѣйствіи. Не все ли намъ равно—знать или не знать, что не относится къ нашей жизни или нашимъ выгодамъ, что и высоко, и далеко отъ насъ, какъ это небо, котораго и безконечно малой частицы никогда не придвинемъ мы къ себѣ всѣми телескопами? Однакожъ астрономъ посвящаетъ всю жизнь свою этому небу,—и открытіе новой звѣзды, которая не прибавитъ ни полтины къ его годовому доходу, дѣлаетъ его счастливымъ и блаженнымъ. Развѣ потому должны мы любить добро, что насъ за него хвалятъ или награждаютъ? Развѣ мы должны отрекаться отъ него и сворачивать на широкую дорогу зла, какъ скоро увидимъ, что добро не только не приноситъ намъ никакихъ процентовъ, но еще подвергаетъ насъ гоненіямъ

Digitized by Google

и несчастіямъ? Подобно истинѣ и благу, красота есть сама себѣ цѣль и по праву царствуетъ надъ вселенной только властью своего имени, неотразимымъ обаяніемъ своего дѣйствія на душу людей. Вотъ въ ярко освѣщенную, великолѣпную залу входитъ красавица,—и трепещетъ пылкая юность, разглаживаются морщины на челѣ старости, улыбка радости проясняетъ сонныя отъ пустоты и скуки лица; кажется, царства мало за одинъ взглядъ ея; лавровый вѣнокъ героя, лучезарный ореолъ поэта готовы пасть къ ногамъ ея, лишь бы только захотѣла она замѣтить ихъ... А между тѣмъ вы въ лицѣ ея тщетно отыскиваете выраженія какой-нибудь опредѣленной идеи, оттѣнка какого-нибудь опредѣленнаго чувства: ничего, ничего, кромѣ безбрежнаго моря красоты и граціи, въ которомъ тонутъ ваши очарованные взоры, исчезаетъ все существо ваше... Объясните мнѣ: для чего такая красота, какая цѣль ея,—и я объясню вамъ со всевозможною ясностью и даже «точностью», для чего существуетъ поэзія, какая цѣль ея... И еслибы нашлись люди, надъ которыми красота не имѣетъ никакой власти, не будемъ спорить съ ними! Хладные скопцы (по выраженію Пушкина), лишенные огня Прометеева,—стóятъ ли они словъ, и имъ ли можно растолковать, почему диллетантъ такъ благоговѣйно и цѣломудренно любуется обнаженною красотою Венеры Медичейской, и за обломокъ древней капители, барельефа или камею готовъ жертвовать всѣмъ достояніемъ своимъ, съ безумной горячностью любовника, которому и жизни не жаль за одну улыбку возлюбленной?...

Вотъ какъ понималъ красоту «божественный Платонъ», и какъ во всѣ вѣка будутъ понимать ее умы благородные и возвышенные:

«Наслажденіе красотою въ этомъ земномъ мірѣ возможно въ человѣкѣ только по воспоминанію той единой, истинной и совершенной красоты, которую душа припоминаетъ себѣ въ первоначальной ея родинѣ. Вотъ почему зрѣлище прекраснаго на землѣ, какъ воспоминаніе о красотѣ горней, способствуетъ тому, чтобъ окрилять душу къ небесному и возвращать ее къ божественному источнику всякой красоты.

Красота была свѣтлаго вида въ то время, когда мы, счастливымъ хоромъ, слѣдовали за Діемъ, въ блаженномъ видѣніи и созерцаніи, другіе же за другими богами; мы зрѣли и совершали блаженнѣйшее изъ всѣхъ таинствъ, пріобщались ему всецѣлые, не причастные бѣдствіямъ, которыя въ позднее время насъ посѣтили; погружались въ видѣнія совершенныя, простыя, не страшныя, но радостныя, и созерцали ихъ въ свѣтѣ чистомъ, сами будучи чисты и не запятнаны тѣмъ, что мы нынѣ, влача съ собою, называемъ тѣломъ, мы, заключенные въ него, какъ въ раковину.

Красота одна получила здѣсь этотъ жребій: быть пресвѣтлою и достойною любви. Не вполнѣ посвященный, развратный стремится къ самой красотѣ, не взирая на то, что носитъ ея имя; онъ не благоговѣетъ передъ нею, а, подобно четвероногому, ищетъ одного чувственнаго наслажденія, хочетъ слить прекрасное съ своимъ тѣломъ... Напротивъ того, вновь посвященный, увидѣвъ богамъ подобное лицо, изображающее красоту, сначала трепещетъ; его объемлетъ страхъ; потомъ, созерцая прекрасное, какъ бога, онъ обожаетъ, и если-бы не боялся, что назовутъ его безумнымъ, онъ принесъ бы жертву предмету любимому...»

Какъ красота, такъ и поэзія—выразительница и жрица красоты—сама себѣ цѣль, и внѣ себя не имѣетъ никакой цѣли. Если она возвышаетъ душу человѣка къ небесному, настраиваетъ ее къ благимъ дѣйствіямъ и чистымъ помысламъ—это уже не цѣль ея, а прямое дѣйствіе, свойство ея сущности; это дѣлается само собою, безъ всякаго предначертанія со стороны поэта. Поэтъ есть живописецъ, а не философъ. Всегдашній предметъ его картинъ и изображеній есть «полное славы творенье»—міръ со всей безконечностью и разнообразіемъ его явленій. Поэзія говоритъ душѣ образами,—и ея образы суть выраженіе той вѣчной красоты, первообразъ которой блещетъ въ мірозданіи и во всѣхъ частныхъ явленіяхъ и формахъ природы. Поэзія не терпитъ отвлеченныхъ идей въ ихъ безтѣлесной наготѣ, но самыя отвлеченныя понятія воплощаетъ въ живые и прекрасные образы, въ которыхъ мысль сквозитъ, какъ свѣтъ въ граненомъ хрусталѣ. Поэтъ видитъ во всемъ формы, краски и всему даетъ форму и цвѣтъ, овеществляетъ невещественное, дѣлаетъ земнымъ небесное—да свѣтитъ земное небеснымъ свѣтомъ! Для поэта всѣ явленія въ мірѣ существуютъ сами по себѣ; онъ переселяется въ нихъ, живетъ ихъ жизнью и съ любовью лелѣетъ ихъ на своей груди, такъ какъ они есть, не измѣняя по своему произволу ихъ сущности. Это не значитъ, чтобъ поэтъ не могъ отрываться отъ созерцанія міра, взятаго въ самомъ себѣ, и вносить въ него свой идеалъ, чтобъ лиру пѣснопѣнія, кинжалъ трагедіи и трубу эпопеи не могъ онъ мѣнять на громы благороднаго негодованія и даже на свистокъ сатиры; молитву оставлять для проповѣди и прошедшее, міровое и вѣчное, забывать на минуту для современности и общества; но смѣшно требовать, чтобъ въ этомъ онъ увидѣлъ цѣль своей жизни и за долгъ себѣ поставилъ подчинить свое свободное вдохновеніе разнымъ «текущимъ потребностямъ». Свободный, какъ вѣтеръ, онъ повинуется только внутреннему своему призванію, таинственному голосу движущаго имъ бога, а на крики тупой черни, которая бы стала приставать къ нему, въ своей дикой слѣпотѣ:

Digitized by Google

Нѣтъ, если ты небесъ избранникъ,
Свой даръ, божественный посланникъ,
Во благо намъ употребляй:
Сердца собратьевъ исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Безстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцемъ хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнѣздятся клубомъ въ насъ пороки:
Ты можешь, ближняго любя,
Давать намъ смѣлые уроки,
А мы послушаемъ тебя,—

онъ можетъ и долженъ отвѣчать, если только стоитъ она отвѣта:

Подите прочь - какое дѣло
Поэту мирному до васъ!
Въ развратѣ каменѣйте смѣло:
Не оживитъ васъ лиры гласъ!
Душѣ противны вы какъ гробы,
Для вашей глупости и злобы
Имѣли вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры;
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!
Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ
Сметаютъ соръ—полезный трудъ!
Но, позабывъ свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы-ль у васъ метлу берутъ?
Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ:
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ!

Поэтъ не подражаетъ природѣ, но соперничествуетъ съ нею,—и его созданія исходятъ изъ того же источника и тѣмъ же самымъ процессомъ, какъ и всѣ явленія природы, съ той только разницей, что на сторонѣ процесса его творчества есть еще и сознаніе, котораго лишена природа и ея дѣятельность. Вся природа со всѣми ея явленіями есть плодъ вдохновеннаго порыва духа—изъ идеальной области возможнаго перейти въ реальную область дѣйствительнаго, стать фактомъ, чтобъ потомъ въ разумнѣйшемъ своемъ явленіи—человѣкѣ—взглянуть на себя, какъ на нѣчто особое, сознать себя. И всякое произведеніе искусства есть плодъ вдохновеннаго усилія художника — вывести наружу, осуществить во внѣ внутренній міръ своихъ безплотныхъ идеаловъ. И такъ, вдохновеніе есть источникъ всякаго творчества; но искусство выше природы на столько, на сколько всякое сознательное и свободное дѣйствіе выше безсознательнаго и невольнаго. Но сознаніе при актѣ творчества есть не дѣятель, а только какъ-бы свидѣтель, дабы творчество было художнику въ наслажденіе и награду. Конечно всякое дѣйствіе есть уже необходимо и сознаніе; но подъ сознаніемъ въ творчествѣ не должно разумѣть дѣятельность разсудка, трудъ соображенія, разсчета и механическую работу: вдохновеніе, которое Платонъ называетъ маніей, — вотъ единственный дѣятель творчества, а разсудокъ враждебенъ творчеству и мертвитъ его. «Кто—говоритъ Платонъ—безъ маніи, внушаемой музами, приходитъ къ вратамъ поэзіи, убѣжденный въ томъ, что искусствомъ (ἐχτέχνης) сдѣлается изъ него хорошій поэтъ, тотъ никогда не будетъ совершеннымъ, и поэзія его, какъ поэзія благоразумнаго, будетъ отличаться отъ поэзіи безумствующихъ».

Вообще понятіе Платона о вдохновеніи такъ глубоко вѣрно и такъ поэтически, вдохновенно выражено, что, сообщивъ его, мы скажемъ о вдохновеніи все, что только можно сказать:

«...Не искусствомъ (*техникой*), но энтузіазмомъ и вдохновеніемъ, великіе эпическіе поэты сочиняютъ свои прекрасныя произведенія. Славные лирики также, подобно людямъ, волнуемымъ безуміемъ корибантовъ, пляшущихъ внѣ себя, не остаются въ умѣ своемъ, когда творятъ изящныя пѣснопѣнія: какъ скоро вошли они въ ладъ гармоніи и ритма, то преисполняются безуміемъ, объемлются восторгомъ, подобнымъ восторгу вакханокъ, которыя въ минуту упоенія черпаютъ въ рѣкахъ млеко и медъ, чего не бываетъ съ ними во время покоя. Въ душѣ поэтовъ лирическихъ на самомъ дѣлѣ совершается то, чѣмъ они хвалятся. Они говорятъ намъ, что черпаютъ въ медовыхъ источникахъ, что, подобно пчеламъ, летаютъ они по садамъ и долинамъ музъ и въ нихъ собираютъ пѣсни, которыя поютъ намъ. Они говорятъ правду. Поэтъ въ самомъ дѣлѣ есть существо легкое, крылатое и святое; онъ можетъ творить тогда только, когда восторгъ его объемлетъ, когда онъ выйдетъ изъ себя, и разсудокъ покинетъ его. Но покамѣстъ онъ съ нимъ, человѣкъ неспособенъ творить все и произносить пророчества.

Итакъ, если не искусствомъ, а божественнымъ вдохновеніемъ творятъ поэты,—то каждый изъ нихъ, по жребію Божію, успѣваетъ только въ томъ родѣ, къ которому муза его призываетъ. Одинъ превосходенъ въ дивирамбѣ, другой въ похвальной одѣ, — третій въ плясовой пѣснѣ, четвертый—въ эпосѣ, пятый—въ ямбахъ, и всѣ будутъ слабы во всякомъ другомъ родѣ, потому что не искусство, а сила божественная внушаетъ ихъ. Еслибы искусствомъ они умѣли творить, то могли бы успѣть въ разныхъ родахъ. А конецъ, на какой Богъ, отъемля у нихъ смыслъ, употребляетъ ихъ какъ служителей своихъ наравнѣ съ пророками и гадателями, есть тотъ, чтобъ мы, внимая имъ, познавали, что не сами собою они говорятъ намъ вещи дивныя, ибо они внѣ своего разума, но что самъ Богъ чрезъ нихъ къ намъ глаголетъ.»

Этотъ взглядъ на вдохновеніе, такъ простодушно, въ духѣ младенческой древности выраженный, удивителенъ по своей глубокости. Ясно, что Платонъ «благоразуміемъ» называетъ разсудочное, обыкновенное, будничное, такъ сказать, состояніе нашего духа; а подъ «безуміемъ» разумѣетъ тотъ божественный паѳосъ, то состояніе вдохновеннаго ясновидѣнія, когда разумъ человѣка созерцаетъ таинство высшаго міра, а воля его движетъ горами. Въ самомъ дѣлѣ, восторгъ наслажденія, изступленіе радости, упоеніе страданія, тоска разлуки, трепетъ свиданія, обаяніе любви, отвага самаго жер-

Digitized by Google

твованія, готовность пострадать за правое дѣло и истину, сладострастіе вдохновенія—что̀ все это, если не безуміе?... Но это безуміе разумное, безуміе божественное, которое возноситъ человѣка превыше премудрыхъ міра сего и равняетъ его съ богами,.. А мертвое равнодушіе, затянутое въ формы приличія, разсчеты мелкаго самолюбія и эгоизма, размѣренные шаги къ ничтожной цѣли, отреченіе отъ истиннаго назначенія человѣческаго для достиженія ея—что̀ все это, если не благоразуміе?... Но не будемъ говорить о благоразуміи: оно врагъ поэзіи, а предметъ нашей статьи—поэзія...

Все, сказанное нами о поэзіи вообще, легко приложить къ поэзіи Лермонтова. Гдѣ вдохновеніе неподдѣльно, тамъ есть и поэзія, и чьей натурѣ сродно вдохновеніе, тотъ поэтъ; но и вдохновеніе имѣетъ свои степени и въ каждомъ поэтѣ отличается особеннымъ характеромъ: въ одномъ оно искрится и шипитъ пѣною, какъ шампанское, и подобно шампанскому тотчасъ же оживляетъ легкимъ, но и скоропреходящимъ похмельемъ; въ другомъ оно льется свѣтлой, прозрачной рѣчкой, съ смѣющимися зелеными берегами; въ третьемъ оно бьетъ и стремится бурными волнами, съ громомъ, пѣною и брызгами, подобно Ніагарскому водопаду; въ четвертомъ оно подобно океану безъ береговъ и дна, отражающему въ себѣ и небесный куполъ съ его солнцемъ, луною и міріадами звѣздъ, и страшныя тучи, съ ихъ мракомъ и молніями,—океану, который равно величественъ и торжественъ и въ тишину, и въ бурю, который носитъ на своихъ могучихъ волнахъ и утлый челнокъ рыбаря, и огромные флоты, и который въ необъятныхъ таинственныхъ нѣдрахъ своихъ заключаетъ цѣлые міры живыхъ существъ, и великихъ, и малыхъ, и горы раковинъ, и лѣса коралловъ... Жизнь одна и та же во всѣхъ своихъ явленіяхъ, но одно изъ нихъ объемлетъ собою только извѣстную часть ея, другое же заключаетъ въ себѣ безконечно великое содержаніе жизни. Таково же и отношеніе между поэтами: въ отношеніи къ акту творчества, къ процессу вдохновенія пѣсня Беранже совершенно равна любой драмѣ Шекспира, но въ отношеніи къ содержанію жизни, которое объемлетъ собою то и другое изъ упомянутыхъ произведеній, между ними безконечная разница въ важности, цѣнности и достоинствѣ. И эта разница существуетъ не только въ пьесахъ различнаго рода, какъ напримѣръ застольная пѣсенка и высокая драма: она можетъ существовать и между двумя застольными пѣснями, написанными на одинъ и тотъ же предметъ, но только разными поэтами. И вотъ здѣсь-то можно видѣть превосходство одного поэта передъ другимъ: пѣсня одного читается съ наслажденіемъ, но рѣдко вспоминается и скоро забывается; другого—чѣмъ больше читается, тѣмъ больше наслажденія доставляетъ, и даже прочитанная разъ, навсегда остается въ памяти — если не словами своими, то своимъ колоритомъ, тѣмъ «нѣчто», для выраженія котораго нѣтъ словъ на языкѣ человѣческомъ. Сравните «Поэта» Языкова съ «Поэтомъ» Пушкина, котораго мы выписали выше, въ нашей статьѣ, и съ его же стихотвореніемъ «Поэту»: сначала вамъ можетъ показаться, что пьеса Языкова выше обѣихъ Пушкинскихъ; но вы скоро, если въ васъ есть эстетическое чувство, замѣтите въ первой, при всемъ ея блескѣ, нѣкоторую напряженность, съ какой она составлена,—и благородную простоту, естественность, неизмѣримую глубину двухъ послѣднихъ и ихъ безконечное превосходство надъ первой... Причина этой разности есть разность сколько въ талантѣ, столько и въ натурахъ обоихъ поэтовъ: одинъ смотритъ на природу вещей извнѣ, видитъ только ея наружность; другой проникъ въ ея сущность и обратилъ ее въ свое достояніе, по праву законнаго властелина...

Немного поэтовъ, къ разбору произведеній которыхъ было бы не странно приступать съ такимъ длиннымъ предисловіемъ, съ предварительнымъ взглядомъ на сущность поэзіи: Лермонтовъ принадлежитъ къ числу этихъ немногихъ... Подробное разсмотрѣніе небольшой книжки его стихотвореній покажетъ, что въ ней кроются всѣ стихіи поэзіи, что она заключаетъ въ себѣ возможность въ будущемъ нѣсколькихъ и притомъ большихъ книгъ... Мы увидимъ, что свѣжесть благоуханія, художественная роскошь формъ, поэтическая прелесть и благородная простота образовъ, энергія, могучесть языка, алмазная крѣпость и металлическая звучность стиха, полнота чувства, глубокость и разнообразіе идей, необъятность содержанія—суть родовыя характеристическія примѣты поэзіи Лермонтова и залогъ ея будущаго великаго развитія.

Чѣмъ выше поэтъ, тѣмъ больше принадлежитъ онъ обществу, среди котораго родился, тѣмъ тѣснѣе связано развитіе, направленіе и даже характеръ его таланта съ историческимъ развитіемъ общества. Пушкинъ началъ свое поэтическое поприще «Русланомъ и Людмилою» — сочиненіемъ, котораго идея отзывается слишкомъ ранней молодостью, но которое кипитъ чувствомъ, блещетъ всѣми красками, благоухаетъ всѣми цвѣтами природы, сознаніемъ неистощимо веселымъ, игривымъ... Это была шалость генія послѣ первой опорожненной имъ чаши на свѣтломъ пиру жизни... Лермон-

Digitized by Google

товъ началъ исторической поэмой, мрачной по содержанію, суровой и важной по формѣ... Въ первыхъ своихъ лирическихъ произведеніяхъ, Пушкинъ явился провозвѣстникомъ человѣчности, пророкомъ высокихъ идей общественныхъ; но эти лирическія стихотворенія были столько же полны свѣтлыхъ надеждъ, предчувствія торжества, сколько силы и энергіи. Въ первыхъ лирическихъ произведеніяхъ Лермонтова, разумѣется, тѣхъ, въ которыхъ онъ особенно является русскимъ и современнымъ поэтомъ, также виденъ избытокъ несокрушимой силы духа и богатырской силы въ выраженіи; но въ нихъ уже нѣтъ надежды, они поражаютъ душу читателя безотрадностью, безвѣріемъ въ жизнь и чувства человѣческія, при жаждѣ жизни и избыткѣ чувства... Нигдѣ нѣтъ Пушкинскаго разгула на пиру жизни; но вездѣ вопросы, которые мрачатъ душу, леденятъ сердце... Да, очевидно, что Лермонтовъ поэтъ совсѣмъ другой эпохи, и что его поэзія—совсѣмъ новое звено въ цѣпи историческаго развитія нашего общества *).

Первая пьеса Лермонтова, напечатана была въ «Современникѣ» 1837 года, уже послѣ смерти, Пушкина. Она называется «Бородино». Поэтъ представляетъ молодого солдата, который спрашиваетъ стараго служаку:

Скажи-ка, дядя, вѣдь не даромъ
Москва, спаленная пожаромъ,
Французу отдана?
Вѣдь были жъ схватки боевыя?
Да, говорятъ, еще какія!
Не даромъ помнитъ вся Россія
Про день Бородина.

Вся основная идея стихотворенія выражена во второмъ куплетѣ, которымъ начинается отвѣтъ стараго солдата, состоящій изъ тринадцати куплетовъ:

— Да, были люди въ наше время,
Не то, что нынѣшнее племя:
Богатыри—не вы!
Плохая имъ досталась доля:
Немногіе вернулись съ поля...
Не будь на то Господня воля,
Не отдали бъ Москвы!

Эта мысль — жалоба на настоящее поколѣніе, дремлющее въ бездѣйствіи, зависть къ великому прошедшему, столь полному славы и великихъ дѣлъ. Дальше мы увидимъ, что эта «тоска по жизни» внушила нашему поэту не одно стихотвореніе, полное энергіи и благороднаго негодованія. Что же до «Бородина»,—это стихотвореніе отличается простотою, безъискусственностью: въ каждомъ словѣ слышите солдата, языкъ котораго, не переставая быть грубо-простодушнымъ, въ то же время благороденъ, силенъ и полонъ поэзіи. Ровность и выдержанность тона дѣлаютъ осязаемо-ощутительной основную мысль поэта. Впрочемъ, какъ ни прекрасно это стихотвореніе, оно не могло еще показать, чего отъ его автора должна была ожидать наша поэзія. Въ 1838 г. въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» къ «Русскому Инвалиду» была напечатана его поэма «Пѣсня про Царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»; это произведеніе сдѣлало извѣстнымъ имя автора, хотя оно явилось и безъ подписи этого имени. Спрашивали: кто такой безыменный поэтъ? кто такой Лермонтовъ? писалъ ли онъ что-нибудь кромѣ этой поэмы? Но, не смотря на то, эта поэма все-таки еще не оцѣнена, толпа и не подозрѣваетъ ея высокаго достоинства. Здѣсь поэтъ отъ настоящаго міра неудовлетворяющей его русской жизни перенесся въ ея историческое прошедшее, подслушалъ біеніе его пульса, проникъ въ сокровеннѣйшіе и глубочайшіе тайники его духа, сроднился и слился съ нимъ всѣмъ существомъ своимъ, обвѣялся его звуками, усвоилъ себѣ складъ его старинной рѣчи, простодушную суровость его нравовъ, богатырскую силу и широкій размѣтъ его чувства и, какъ будто современникъ этой эпохи, принялъ условія ея грубой и дикой общественности, со всѣми ихъ оттѣнками, какъ будто бы никогда и не зналъ о другихъ,—и вынесъ изъ нея вымышленную быль, которая достовѣрнѣе всякой дѣйствительности, несомнѣннѣе всякой исторіи. И подлинно, этой пѣсни можно заслушаться, и все нельзя ея довольно наслушаться: какъ маніемъ волшебнаго скипетра воскрешаетъ она прошедшее—и мы не можемъ насмотрѣться на него, забываемъ для него свое настоящее, ни на минуту не сводимъ съ него взоровъ, боясь, чтобъ оно не исчезло отъ насъ. На первомъ планѣ видимъ мы Іоанна Грознаго, котораго память такъ кровава и страшна, котораго колоссальный обликъ живъ еще въ преданіи и въ фантазіи народа... Что за явленіе въ нашей исторіи былъ этотъ «мужъ кровей», какъ называетъ его Курбскій? Былъ ли онъ Лудовикомъ XI нашей исторіи, какъ говоритъ Карамзинъ?... Не время и не мѣсто распространяться здѣсь о его историческомъ значеніи; замѣтимъ только, что это была сильная натура, которая требовала себѣ великаго развитія для великаго подвига; но какъ условія тогдашняго полуазіатскаго быта и внѣшнія обстоятельства отказали ей даже въ какомъ-нибудь развитіи, оставивъ ее при естественной силѣ и грубой мощи, и лишили ее всякой возможности пересоздать дѣйствительность,—то эта сильная натура, этотъ великій духъ поневолѣ исказились и

*) Замѣтимъ для большей ясности и точности, что, говоря объ «обществѣ», мы разумѣемъ только чувствующихъ и мыслящихъ людей новаго поколѣнія.

Digitized by Google

нашли свой выходъ, свою отраду только въ безумномъ мщеніи этой ненавистной и враждебной имъ дѣйствительности... Тиранія Іоанна Грознаго имѣетъ глубокое значеніе, и потому она возбуждаетъ къ нему скорѣе сожалѣніе, какъ къ падшему духу неба, чѣмъ ненависть и отвращеніе, какъ къ мучителю... Можетъ быть, это былъ своего рода великій человѣкъ, но только не во время, слишкомъ рано явившійся Россіи,—пришедшій въ міръ въ призваніемъ на великое дѣло и увидѣвшій, что ему нѣтъ дѣла въ мірѣ: можетъ быть, въ немъ безсознательно кипѣли всѣ силы для измѣненія ужасной дѣйствительности, среди которой онъ такъ безвременно явился, которая не побѣдила, но разбила его, и которой онъ такъ страшно мстилъ всю жизнь свою, разрушая и ее, и себя самого въ болѣзненной и безсознательной ярости... Вотъ почему изъ всѣхъ жертвъ его свирѣпства онъ самъ наиболѣе заслуживаетъ соболѣзнованія; вотъ почему его колоссальная фигура, съ блѣднымъ лицомъ и впалыми, сверкающими очами, съ головы до ногъ облита такимъ страшнымъ величіемъ, нестерпимымъ блескомъ такой ужасающей поэзіи... И такимъ точно является онъ въ поэмѣ Лермонтова: взглядъ очей его—молнія, звукъ рѣчей его—громъ небесный, порывъ гнѣва его—смерть и пытка; но сквозь все это, какъ молнія сквозь тучи, проблескиваетъ величіе падшаго, униженнаго, искаженнаго, но сильнаго и благороднаго по своей природѣ духа...

Поэма начинается картиной царскаго пира: въ золотомъ вѣнцѣ своемъ сидитъ грозный царь, окруженный стольниками, боярами, князьями и опричниками.

И пируетъ царь во славу Божію,
Въ удовольствіе свое и веселіе.

Онъ велитъ наполнить золотой ковшъ заморскимъ виномъ, обнести пирующихъ—«И всѣ пили, царя славили». Лишь только одинъ изъ опричниковъ «въ золотомъ ковшѣ не мочилъ усовъ» и сидѣлъ съ крѣпкою думою на сердцѣ. Гнѣвно взглянулъ на него царь, словно ястребъ съ высоты небесъ на молодого голубя сизокрылаго,—«да не поднялъ глазъ молодой боецъ».

Царь стукнулъ объ полъ своею палкою, съ желѣзнымъ наконечникомъ; палка на четверть вонзилась въ дубовый полъ, но и тутъ не дрогнулъ добрый молодецъ;

Вотъ промолвилъ царь слово грозное,
И очнулся тогда добрый молодецъ.
«Гей ты, вѣрный нашъ слуга Кирибѣевичъ,
Аль ты думу затаилъ нечестивую?
Али славѣ нашей завидуешь?
Али служба тебѣ честная прискучила?
Когда всходитъ мѣсяцъ—звѣзды радуются,
Что свѣтлѣй имъ гулять по поднебесью;
А которая въ тучку прячется,
Та стремглавъ на землю падаетъ...
Не прилично же тебѣ, Кирибѣевичъ,
Царской радостью гнушатися;
А изъ роду ты вѣдь Скуратовыхъ
И семьею ты вскормленъ Малютиной!...»

Низко кланяясь, опричникъ проситъ у царя извиненія, говоря:

«Сердца жаркаго не залить виномъ,
Душу черную—не запотчивать!
А прогнѣвалъ я тебя—воля царская:
Прикажи казнить, рубить голову;
Тяготитъ она плечи богатырскія,
И сама къ сырой землѣ она клонится.»

Царь разспрашиваетъ о причинѣ печали, и его вопросы—перлы народной нашей поэзіи, полнѣйшее выраженіе духа и формъ русской жизни того времени. Таковъ же и отвѣтъ или, лучше сказать, отвѣты опричника, потому что, по духу русской національной поэзіи, онъ отвѣчаетъ почти стихомъ на стихъ. Боясь длинноты, не выписываемъ этого мѣста; но вторая половина рѣчи Кирибѣевича дышетъ такой полнотой чувства, блещетъ такими самоцвѣтными камнями народной поэзіи, что мы не можемъ удержаться, чтобы не перечесть его вмѣстѣ съ нашими читателями. Вина печали удалого бойца—молодушка, которая закрывается фатою, когда на нее любуются красныя дѣвушки:

«На святой Руси, нашей матушкѣ,
Не найти, не сыскать такой красавицы:
Ходитъ плавно—будто лебедушка,
Смотритъ сладко—какъ голубушка,
Молвитъ слово—соловей поетъ;
Горятъ щеки ея румяныя,
Какъ заря на небѣ Божіемъ;
Косы русыя, золотистыя,
Въ ленты яркія заплетенныя,
По плечамъ бѣгутъ, извиваются,
Съ грудью бѣлою цѣлуются.
Во семьѣ родилась она купеческой,
Прозывается Аленой Дмитревной.
Какъ увижу ее, я и самъ не свой:
Опускаются руки смѣлыя,
Помрачаются очи бойкія;
Скучно, грустно мнѣ, православный царь,
Одному по свѣту маяться.
Опостыли мнѣ кони легкіе,
Опостыли наряды парчевые
И не надо мнѣ золотой казны:
Съ кѣмъ казною своей подѣлюсь теперь?
Передъ кѣмъ покажу удальство свое?
Передъ кѣмъ я нарядомъ похвастаюсь?
Отпусти меня въ степи приволжскія,
На житье на вольное, на казацкое.
Ужъ сложу я тамъ буйную головушку
И сложу на копье бусурманское;
И раздѣлятъ по себѣ злы татаровья
Коня добраго, саблю острую
И сѣдельце бранное черкасское.
Мои очи слезныя коршунъ выклюетъ,
Мои кости сирыя дождикъ вымоетъ,
И безъ похоронъ горемычный прахъ
На четыре стороны развѣется.»

Какая сильная, могучая натура! Ея страсть—лава, ея горесть тяжела и трудна; это удалое, разгульное отчаяніе, которое въ молодечествѣ, въ подвигѣ крови и смерти ищетъ своего утоленія! Сколько поэзіи въ сло-

Digitized by Google

вахъ этого опричника, какая глубокая грусть дышетъ въ нихъ,—это грусть, которая разрываетъ сильную душу, но не убиваетъ ея, это грусть, которая составляетъ основный элементъ, родную стихію, главный мотивъ нашей національной поэзіи!

Со смѣхомъ отвѣчаетъ царь своему любимому слугѣ, что его горю-бѣдѣ не мудрено помочь, предлагаетъ ему яхонтовый перстень и жемчужное ожерелье; велитъ сперва поклониться «смышленой» свахѣ, а потомъ послать къ своей Алёнѣ Дмитріевнѣ дары драгоцѣнные:

«Какъ полюбишься—празднуй свадебку,
Не полюбишься—не прогнѣвайся».
— Охъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ!
Обманулъ тебя твой лукавый рабъ,
Не сказалъ тебѣ правды истинной,
Не повѣдалъ тебѣ, что красавица
Въ церкви божіей перевѣнчана,
Перевѣнчана съ молодымъ купцомъ
По закону нашему христіанскому...»

Какъ ударъ грома, какъ приговоръ смерти, поражаетъ душу читателя этотъ отвѣтъ опричника,—и тщетно испуганный слухъ ждетъ, что̀ скажетъ на это грозный царь: поэтъ опускаетъ занавѣсъ на эту его трагически недоконченную картину, такъ страшно прерванную сцену; передъ вами нѣтъ героевъ поэмы, и вы съ трудомъ вѣрите, что видѣли все это на яву, что все это—только разсказъ пѣсенниковъ...

Ай, ребята, пойте—только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте—дѣло разумѣйте!
Ужъ потѣшьте вы добраго боярина
И боярыню его бѣлолицую!

Но этотъ удалой припѣвъ, эти затѣйливыя прибаутки народнаго остроумія не веселятъ васъ; сердце ваше сжимается болѣзненной тоской: оно чуетъ горе, предвидитъ бѣду; повѣсть превращается для васъ въ мрачную драму, съ трагической катастрофой, и завязка уже готова, дѣйствіе уже зародилось. Вы видите, что любовь Кирибѣевича—не шуточное дѣло, не простое волокитство, но страсть натуры сильной, души могучей. Вы понимаете, что для этого человѣка нѣтъ середины: или получить, или погибнуть! Онъ вышелъ изъ-подъ опеки естественной нравственности своего общества, а другой, болѣе высшей, болѣе человѣческой, не пріобрѣлъ: такой развратъ, такая безнравственность въ человѣкѣ съ сильной натурой и дикими страстями опасны и страшны. И при всемъ этомъ онъ имѣетъ опору въ грозномъ царѣ, который никого не пожалѣетъ и не пощадитъ, даже за обиду, не только за гибель своего любимца, хотя-бы этотъ былъ рѣшительно виноватъ.

Занавѣсъ поднятъ—и передъ нами новая картина: молодой купецъ, статный молодецъ, Степанъ Парамоновичъ, по прозванію Калашниковъ, за прилавкою,

Шелковые товары раскладываетъ,
Рѣчью ласковой гостей онъ заманиваетъ,
Злато-серебро пересчитываетъ.

Это другая сторона русскаго быта того времени; на сценѣ является представитель другого класса общества. Первое его появленіе на сцену располагаетъ васъ въ его пользу: почему-то вы чувствуете, что это одинъ изъ тѣхъ упругихъ и тяжелыхъ характеровъ, которые тихи и кротки только до тѣхъ поръ, пока обстоятельства не расколыхаютъ ихъ,—одна изъ тѣхъ желѣзныхъ натуръ, которыя и обиды не стерпятъ, и сдачи дадутъ. Сильнѣе и сильнѣе щемитъ ваше сердце—чуетъ оно недоброе, тѣмъ больше, что «молодому купцу, статному молодцу» задался не добрый день:

Ходятъ мимо бояре богатые,
Въ его лавочку не заглядываютъ...
Отзвонили вечерни во святыхъ церквахъ;
За Кремлемъ горитъ заря туманная,
Набѣгаютъ тучки на небо,—
Гонитъ ихъ метелица распѣваючи;
Опустѣлъ широкій гостиный дворъ.

Калашниковъ запираетъ свою лавочку дубовою дверью, «да нѣмецкимъ замкомъ со пружиною», привязываетъ на желѣзную цѣпь зубастаго пса,

И пошелъ онъ домой, *призадумавшись*,
Къ молодой хозяйкѣ за Москву-рѣку.

Отчего же онъ призадумался?—Или душа человѣка чуетъ шелестъ шаговъ незримо-слѣдующей по пятамъ его судьбы, которая обрекла его въ свои жертвы?...

Пришедъ въ свой «высокій» домъ, Степанъ Парамоновичъ дивится, что его не встрѣчаютъ ни молода жена, ни малыя дѣтушки, что дубовый столъ не покрытъ бѣлою скатертью и свѣчка передъ образомъ еле-теплится. Кличетъ онъ старуху Еремѣевну и спрашиваетъ, куда въ такой поздній часъ «дѣвалась, затаилася» Алёна Дмитріевна, и не заиграли ли его любезныя дѣти, что такъ рано уложились спать? И слышитъ въ отвѣтъ:

«... Къ вечернѣ пошла Алёна Дмитревна;
Вотъ ужъ попъ прошелъ съ молодой попадьей,
Засвѣтили свѣчу, сѣли ужинать,—
А по сю пору твоя хозяюшка
Изъ приходской церкви не вернулася.
А что дѣтки твои малыя
Почивать не легли, не играть пошли—
Плачемъ плачутъ все, не унимаются.»

Въ этихъ стихахъ полная картина домашняго быта и простыхъ, малосложныхъ, простодушныхъ семейственныхъ отношеній у нашихъ предковъ.

Смутился Степанъ Парамоновичъ крѣпкою думою.

Digitized by Google

И онъ сталъ къ окну, глядитъ на улицу—
А на улицѣ ночь темнехонька;
Валитъ бѣлый снѣгъ, разстилается,
Заметаетъ слѣдъ человѣческій.
Вотъ онъ слышитъ, въ сѣняхъ дверью хлопнули,
Потомъ слышитъ шаги торопливые;
Обернулся, глядь—сила крестная!
Передъ нимъ стоитъ молода жена,
Сама блѣдная, простоволосая,
Косы русыя расплетеныя
Снѣгомъ-иневемъ пересыпаны;
Смотрятъ очи мутныя, какъ безумныя,
Уста шепчутъ рѣчи непонятныя.

Онъ спрашиваетъ ее, гдѣ она шаталася: ужъ не гуляла ли, не пировала ли съ дѣтьми боярскими, что волосы ея такъ растрепаны и одежда изорвана.

«Не на то передъ святыми иконами
Мы съ тобою, жена, обручалися,
Золотыми кольцами мѣнялися!»

Онъ грозитъ запереть ее за дубовую дверь окованную, за желѣзный замокъ, чтобъ она и свѣту Божьяго не видѣла, его имени честнаго не порочила.

Какъ осиновый листъ затряслася Алёна Дмитріевна, упала мужу въ ноги, прося его выслушать ее и говоря, что она «не боится смерти лютыя, а боится его немилости»: въ двѣнадцати стихахъ полная картина супружескихъ отношеній варварскаго времени! Жена разсказываетъ мужу, что, шедши отъ вечерни домой, услышала за собою чьи-то шаги, «оглянулася — человѣкъ бѣжитъ»; этотъ человѣкъ схватилъ ее за руки, говоря ей, что онъ слуга царя грознаго, прозывается Кирибѣевичемъ, а изъ славныя семьи изъ Малютиной...

«Испугалась я пуще прежняго;
Закружилась моя бѣдная головушка.
И онъ сталъ меня цѣловать-ласкать,
А цѣлуя, все приговаривалъ:
— «Отвѣчай мнѣ, чего тебѣ надобно,
Моя милая, драгоцѣнная!
Хочешь золота, али жемчугу?
Хочешь яркихъ камней, аль цвѣтной парчи?
Какъ царицу я наряжу тебя,
Станутъ всѣ тебѣ завидовать,
Лишь не дай мнѣ умереть смертью грѣшною:
Полюби меня, обними меня
Хоть единый разъ на прощаніе!»
И ласкалъ онъ меня, цѣловалъ меня:
На щекахъ моихъ и теперь горятъ,
Живымъ пламенемъ разливаются
Поцѣлуи его окаянные...
А смотрѣли въ калитку сосѣдушки,
Смѣючись, на насъ пальцемъ показывали...»

Рванувшись изъ рукъ его, она оставила у него свою фату бухарскую и узорный платокъ,—подарочекъ мужа. Заключеніе ея разсказа состоитъ въ жалобахъ на свой позоръ и въ просьбахъ мужу—не дать ее, свою вѣрную жену, въ поруганіе злымъ охульникамъ. Тогда Степанъ Парамоновичъ посылаетъ за своими двумя меньшими братьями и разсказываетъ объ обидѣ, нанесенной ему злымъ опричникомъ царскимъ,

«А такой обиды не стерпѣть душѣ,
Да не вынести сердцу молодецкому!»

говоритъ имъ о своемъ намѣреніи—биться насмерть съ опричникомъ на кулачномъ бою, который будетъ завтра на Москвѣ-рѣкѣ, при самомъ царѣ, и проситъ ихъ постоять за правду, если самъ будетъ побитъ.

И въ отвѣтъ ему братья молвили:
«Куда вѣтеръ дуетъ въ поднебесьи,
Туда мчатся тучки послушныя;
Когда сизый орелъ зоветъ голосомъ
На кровавую долину побоища,
Зоветъ пиръ пировать, мертвецовъ убирать,
Къ нему малые орлята слетаются:
Ты нашъ старшій братъ, намъ второй отецъ;
Дѣлай самъ, какъ знаешь, какъ вѣдаешь,
А ужъ мы тебя, родимаго, не выдадимъ.»

Изъ этого отвѣта видно, что семья Калашниковыхъ хоть и не славилась столько, какъ Малютиныхъ, но состояла изъ сизаго орла съ орлятами... Превосходно очеркнулъ поэтъ въ этомъ отвѣтѣ, будто мимоходомъ, и простоту родственныхъ отношеній нашихъ предковъ, гдѣ право первородства было и правомъ власти, гдѣ старшій братъ заступалъ мѣсто отца для младшихъ. И это сдѣлано имъ не въ описаніи, а въ живой картинѣ, въ самомъ разгарѣ въ высшей степени драматическаго дѣйствія. Этой сценой семейнаго совѣщанія оканчивается вторая часть драматической поэмы: дѣйствующія лица и завязка дѣйствія уже рѣзко обозначились,—и сердце наше замираетъ отъ предчувствія горестной развязки...

Надъ Москвой великой, златоглавою,
Надъ стѣной кремлевской бѣлокаменной,
Изъ-за дальнихъ лѣсовъ, изъ-за синихъ горъ,
По тесовымъ кровелькамъ играючи,
Тучки сѣрыя разгоняючи,
Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистыя,
Умывается снѣгами разсыпчатыми,
Въ небо чистое смотритъ улыбается.
Ужъ зачѣмъ ты, алая заря, просыпалася?
На какой ты радости разыгралася!

На Москву-рѣку сходилися удалые молодцы «разгуляться для праздника, потѣшиться». Самъ царь пріѣхалъ со дружиною, боярами и опричниками и велѣлъ оцѣпить серебряною цѣпью мѣсто въ 25 саженъ «для охотницкаго бою одиночнаго». Потомъ царь велѣлъ вызвать охотниковъ:

Кто побьетъ кого, того царь наградитъ,
А кто будетъ побитъ, тому Богъ проститъ!

Выходитъ Кирибѣевичъ и съ похвальбою вызываетъ супротивниковъ, обѣщаясь «лишь потѣшить царя-батюшку, но для праздника отпустить живого». Вдругъ раздалась толпа —и выходитъ Степанъ Парамоновичъ.

Поклонился прежде царю грозному,
Послѣ бѣлому Кремлю да святымъ церквамъ,
А потомъ всему народу русскому.

Digitized by Google

Горятъ его очи соколиныя,
На опричника смотрятъ пристально.
Супротивъ него онъ становится,
Боевыя рукавицы натягиваетъ,
Могутныя плечи распрямливаетъ
Да кудряву бороду поглаживаетъ.

Кирибѣевичъ, не выходя изъ тона своей удалой, молодецкой похвальбы, спрашиваетъ Калашникова о родѣ-племени и имени, «чтобъ знать, по комъ панихиду служить, чтобъ было чѣмъ и похвастаться».

Отвѣчаетъ Степанъ Парамоновичъ:
«А зовутъ меня Степаномъ Калашниковымъ,
А родился я отъ честнова отца,
И жилъ я по закону Господнему:
Не позорилъ я чужой жены,
Не разбойничалъ ночью темною,
Не таился отъ свѣта небеснаго...
И промолвилъ ты правду истинную:
По одномъ изъ насъ будутъ панихиду пѣть,
И не позже, какъ завтра въ часъ полуденный;
И одинъ изъ насъ будетъ хвастаться,
Съ удалыми друзьями пируючи...
Не шутку шутить, не людей смѣшить
Къ тебѣ вышелъ я теперь, бусурманскій сынъ,
Вышелъ я на страшный бой, на послѣдній бой!»
И услышавъ то, Кирибѣевичъ
Поблѣднѣлъ въ лицѣ, какъ осенній снѣгъ;
Бойки очи его затуманились,
Между сильныхъ плечъ пробѣжалъ морозъ,
На раскрытыхъ устахъ слово замерло...

Вотъ оно—ужасное торжество совѣсти въ глубокой натурѣ, которая никогда не отрѣшится отъ совѣсти, какъ бы ни была искажена развратомъ, какъ бы ни страшно погрязла въ порокѣ!... Всегда надъ нею грозная длань нравственнаго закона, грозный голосъ суда Божія, потому что она сама—свой нравственный законъ и свой неумолимый судъ!...

Начался бой (мы пропускаемъ его подробности); правая сторона побѣдила.

И опричникъ молодой застоналъ слегка,
Закачался, упалъ за-мертво,
Повалился онъ на холодный снѣгъ,
На холодный снѣгъ, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыромъ бору
Подъ смолистый подъ корень подрубленная.

Не правда ли: вамъ жаль удалого, хотя и преступнаго бойца? съ невыразимой тоской повторите вы за поэтомъ жалобную мелодію, которой выразилъ онъ его паденіе?... А между тѣмъ вы же сами желали побѣды благородному купцу и гибели его преступному оскорбителю?... Таково обаяніе великихъ натуръ; какъ бы ни было велико ихъ преступленіе, но, наказанныя, онѣ привлекаютъ все удивленіе и всю любовь нашу:—мы видимъ въ нихъ жертвы неотразимой судьбы, и братскимъ поцѣлуемъ прощанія и прощенія въ холодныя, посинѣлыя уста ихъ запечатлѣваемъ торжество возстановленной смертью гармоніи общаго, которую нарушили было онѣ своей виной...

Грозный царь воспалился гнѣвомъ и спрашиваетъ Калашникова: вольною волею или нехотя убилъ онъ его вѣрнаго слугу и лучшаго бойца? Вѣроятно Калашниковъ могъ бы еще спасти себя ложью, но для этой благородной души, дважды такъ страшно потрясенной — и позоромъ жены, разрушившимъ его семейное блаженство, и кровавой местью врагу, невозвратившей ему прежняго блаженства,—для этой благородной души жизнь уже не представляла ничего обольстительнаго, а смерть казалась необходимой для уврачеванія ея неисцѣлимыхъ ранъ... Есть души, которыя довольствуются коечѣмъ—даже остатками бывшаго счастья; но есть души, лозунгъ которыхъ—все или ничего, которыя не хотятъ запятнаннаго блаженства разъ потемненной славы: такова была и душа удалого купца, статнаго молодца, Степана Парамоновича Калашникова! Онъ сказалъ царю всю правду, скрывъ однако причину своего мщенія:

«А за что, про что—не скажу тебѣ!
Скажу только Богу единому!»

Какая дивная черта глубокаго знанія сердца человѣческаго и древнихъ нравовъ! Какая высокая трагическая черта! Онъ охотно идетъ на казнь и лишь проситъ царя «не оставить своей милостью малыхъ дѣтушекъ, молодой жены да двухъ братьевъ его». Въ отвѣтѣ царя рѣзко, во всемъ страшномъ величіи выказывается колоссальный образъ Грознаго:

«Хорошо тебѣ, дѣтинушка,
Удалой боецъ, сынъ купеческій,
Что отвѣтъ держалъ ты по совѣсти.
Молодую жену и сиротъ твоихъ
Изъ казны моей я пожалую,
Твоимъ братьямъ велю отъ сего же дня
По всему царству русскому широкому
Торговать безданно, безпошлинно,
А ты самъ ступай, дѣтинушка,
На высокое мѣсто лобное,
Сложи свою буйную головушку.
Я топоръ велю наточить-навострить,
Палача велю одѣть-нарядить,
Чтобы знали всѣ люди московскіе,
Что и ты не оставленъ моей милостью...»

Какая жестокая иронія, какой ужасный сарказмъ! и мертвый содрогнулся бы отъ него во гробѣ! А между тѣмъ въ согласіи на милость женѣ, покровительствѣ дѣтямъ и братьямъ осужденнаго проблескиваетъ лучъ благородства и величія царственной натуры и какъ-бы невольное признаніе достоинства человѣка, который обреченъ судьбою безвременной и насильственной смерти!... Какая страшная трагедія! сама судьба, въ лицѣ Грознаго, присутствуетъ предъ нами и управляетъ ея ходомъ!... И едва ли во всей исторіи человѣчества можно найти другой характеръ, который могъ бы съ бо́льшимъ правомъ представлять лицо судьбы, какъ Іоаннъ Грозный!...

Digitized by Google

На площади собирается народъ; гудитъ-воетъ заунывный колоколъ; по высокому лобному мѣсту весело похаживаетъ палачъ, руки голыя потираючи:

Удалова бойца дожидается;
А лихой боецъ, молодой купецъ,—
Съ родными братьями прощается.

Онъ велитъ имъ поклониться отъ него Алёнѣ Дмитріевнѣ да заказать ей меньше печалиться, а дѣтушкамъ про него не велитъ сказывать...

И казнили Степана Калашникова
Смертью лютою, позорною;
И головушка безталанная
Во крови на плаху покатилася.
Схоронили его за Москвой-рѣкой,
На чистомъ полѣ, промежъ трехъ дорогъ:
Промежъ Тульской, Рязанской, Владимірской,
И бугоръ земли сырой тутъ насыпали,
И кленовый крестъ тутъ поставили.
И гуляютъ-шумятъ вѣтры буйные
Надъ его безыменной могилою.

И вотъ, занавѣсъ опустился, трагедія кончилась, колоссальные образы ея героевъ исчезли изъ глазъ нашихъ, прошедшее стало опять прошедшимъ—

И чтожъ осталось
Отъ сильныхъ, гордыхъ сихъ мужей,
Столь полныхъ волею страстей?

Что?—могила, жилище тлѣнія и смерти; но надъ этой могилой вѣетъ жизнь, царитъ воспоминаніе, нѣмой рѣчью говоритъ преданіе:

И проходятъ мимо люди добрые:
Пройдетъ старъ человѣкъ—перекрестится,
Пройдетъ молодецъ—пріосанится,
Пройдетъ дѣвица—пригорюнится,
А пройдутъ гусляры—споютъ пѣсенку.

Какія роскошныя дани, какія богатыя жертвы приносятся этой могилѣ живыми! И она стоитъ ихъ, ибо не живые въ ней, мертвой,—но она, мертвая, рождаетъ жизнь въ живыхъ, заставляетъ ихъ и креститься, и пріосаниваться, и пригорюниваться, и пѣть пѣсни!... Васъ огорчаетъ, заставляетъ страдать горестная и страшная участь благороднаго Калашникова; вы жалѣете даже и о преступномъ опричникѣ:—понятное, человѣческое чувство! Но безъ этой трагической развязки, которая такъ печалитъ ваше сердце, не было бы и этой могилы, столь краснорѣчивой, столь живой, столь полной глубокаго значенія, и не было бы великаго подвига, который такъ возвысилъ вашу душу, и не было бы чудной пѣсни поэта, которая такъ очаровала васъ... И потому да перемѣнится печаль ваша на радость, и да будетъ эта радость свѣтлымъ торжествомъ побѣды безсмертнаго надъ смертнымъ, общаго надъ частнымъ! Благословимъ непреложные законы бытія и міродержавныхъ судебъ и повторимъ за поэтомъ музыкальный финалъ, которымъ, по старинному и достохвальному русскому обычаю, заставляетъ онъ гусляровъ заключить свою поэтическую пѣсню:

Гей вы, ребята удалые,
Гусляры молодые,
Голоса заливные!
Красно начинали—красно и кончайте,
Каждому правдою и честію воздайте.
Тароватому боярину слава!
И красавицѣ боярынѣ слава!
И всему народу христіанскому слава!

Излагая содержаніе этой поэмы, уже извѣстной публикѣ, мы имѣли въ виду намекнуть на богатство ея содержанія, на полноту жизни и глубокость идеи, которыми она запечатлѣна; что же до поэзіи образовъ, роскоши красокъ, прелести стиха, избытка чувства, охватывающаго душу огненными волнами, свѣжести колорита, силы выраженія, трепетнаго, полнаго страсти одушевленія, — эти вещи не толкуются и не объясняются... Мы выписали цѣлую часть поэмы — пусть читаютъ и судятъ сами: кто не увидитъ въ этихъ стихахъ того, что мы видимъ, для тѣхъ нѣтъ у насъ очковъ, и едва ли какой оптикъ въ мірѣ поможетъ имъ...

Содержаніе поэмы, въ смыслѣ разсказа происшествія, само по себѣ полно поэзіи; еслибы оно было историческимъ фактомъ, въ немъ жизнь являлась бы поэзіей, а поэзія жизнью. Но тѣмъ не менѣе онъ не существовалъ бы для насъ, нашли бы мы его въ простодушной хроникѣ старыхъ временъ, или, по какому-нибудь чуду, сами были его свидѣтелемъ—оно было бы для насъ мертвымъ матеріаломъ, въ который только поэтъ могъ бы вдохнуть душу живу, отдѣливъ отъ него все случайное, произвольное, и представивъ его въ гармоническомъ цѣломъ, поставленномъ и освѣщенномъ сообразно съ требованіями точки зрѣнія и свѣта. И въ этомъ отношеніи нельзя довольно надивиться поэту: онъ является здѣсь опытнымъ, геніальнымъ архитекторомъ, который умѣетъ такъ согласить между собою части зданія, что ни одна подробность въ украшеніяхъ не кажется лишней, но представляется необходимой и равно важной съ самыми существенными частями зданія, хотя вы и понимаете, что архитекторъ могъ бы легко, вмѣсто нея, сдѣлать и другую. Какъ ни пристально будете вы вглядываться въ поэму Лермонтова, не найдете ни одного лишняго или недостающаго слова, черты, стиха, образа, ни одного слабаго мѣста: все въ ней необходимо, полно, сильно! Въ этомъ отношеніи ея никакъ нельзя сравнить съ народными легендами, носящими на себѣ имя ихъ собирателя—Кирши Данилова: то дѣтскій лепетъ, часто поэтическій, но часто

Digitized by Google

и прозаическій, нерѣдко образный, но чаще символическій, уродливый въ цѣломъ, полный ненужныхъ повтореній одного и того же; поэма Лермонтова—созданіе мужественное, зрѣлое и столько же художественное, сколько и народное. Безыменные творцы этихъ безъискусственныхъ и простодушныхъ произведеній составляли одно съ вѣющимъ въ нихъ духомъ народности: они не могли отъ нея отдѣлиться, она заслоняла въ нихъ саму же себя; но нашъ поэтъ вошелъ въ царство народности, какъ ея полный властелинъ, и, проникнувшись ея духомъ, слившись съ нею, онъ показалъ только свое родство съ нею, а не тождество: даже въ минуту творчества онъ видѣлъ ее предъ собою, какъ предметъ, и такъ же по волѣ своей вышелъ изъ нея въ другія сферы, какъ и вошелъ въ нее. Онъ показалъ этимъ только богатство элементовъ своей поэзіи, кровное родство своего духа съ духомъ народности своего отечества; показалъ, что и прошедшее его родины такъ-же присущно его натурѣ, какъ и ея настоящее; и потому онъ въ этой поэмѣ является не безъискусственнымъ пѣвцомъ народности, но истиннымъ художникомъ,—и если его поэма не можетъ быть переведена ни на какой языкъ, ибо колоритъ ея весь въ русско-народномъ языкѣ, то тѣмъ не менѣе она—художественное произведеніе, во всей полнотѣ, во всемъ блескѣ жизни, воскресившее одинъ изъ моментовъ русскаго быта, одного изъ представителей древней Руси. Въ этомъ отношеніи послѣ Бориса Годунова больше всѣхъ посчастливилось Іоанну Грозному: въ поэмѣ Лермонтова колоссальный образъ его является изваяннымъ изъ мѣди или мрамора...

По внутреннему плану нашей статьи мы должны были сперва говорить о тѣхъ стихотвореніяхъ Лермонтова, въ которыхъ онъ является не безусловнымъ художникомъ, но внутреннимъ человѣкомъ, и по которымъ однимъ можно увидѣть богатство элементовъ его духа и отношенія его къ обществу. Мы такъ и начали, такъ и продолжаемъ: взглядъ на чисто-художественныя стихотворенія его заключитъ нашу статью. И если мы остановились на «Пѣсни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», которую сами признаемъ художественной, то потому, что во-первыхъ, самая ея художественность болѣе или менѣе условна, ибо въ этой «Пѣснѣ» онъ поддѣлывается подъ ладъ старинный и заставляетъ гусляровъ пѣть ее; во-вторыхъ, эта «Пѣсня» представляетъ собою фактъ о кровномъ родствѣ духа поэта съ народнымъ духомъ и свидѣтельствуетъ объ одномъ изъ богатѣйшихъ элементовъ его поэзіи, намекающемъ на великость его таланта. Самый выборъ этого предмета свидѣтельствуетъ о состояніи духа поэта, недовольнаго современной дѣйствительностью и перенесшагося отъ нея въ далекое прошедшее, чтобъ тамъ искать жизни, которой онъ не видитъ въ настоящемъ. Но это прошедшее не могло долго занимать такого поэта: онъ скоро долженъ былъ почувствовать всю бѣдность и все однообразіе его содержанія и возвратиться къ настоящему, которое жило въ каждой каплѣ его крови, трепетало съ каждымъ біеніемъ его пульса, съ каждымъ вздохомъ его груди. Не отдѣлиться ему отъ него! Оно внѣдрилось въ него, обвилось вокругъ него, оно сосетъ кровь изъ его сердца, оно требуетъ всей жизни его, всей дѣятельности! Оно ждетъ отъ него своего просвѣтлѣнія, уврачеванія своихъ язвъ и недуговъ. Онъ, только онъ можетъ совершить это, какъ полный представитель настоящаго, другой властитель нашихъ думъ! Въ созданіяхъ поэта, выражающихъ скорби и недуги общества, общество находитъ облегченіе отъ своихъ скорбей и недуговъ: тайна этого цѣлительнаго дѣйствія—сознаніе причины болѣзни чрезъ представленіе болѣзни, какъ мы говорили объ этомъ выше въ нашей статьѣ. Великую истину заключаютъ въ себѣ эти простодушныя слова изъ «Гимна Музамъ» древняго старца Гезіода: «Если кто чувствуетъ скорбь, свѣжую рану сердца, и сидитъ съ своей горькой думой, а пѣвецъ, служитель музъ, запоетъ о славѣ первыхъ человѣковъ и блаженныхъ боговъ, на Олимпѣ живущихъ, — въ тотъ же мигъ забываетъ несчастный горе и не помнитъ ни одной заботы: такъ скоро даръ боговъ измѣнилъ его». Но это сила поэзіи вообще, сила всякой поэзіи; дѣйствіе же поэзіи, воспроизводящей наши собственныя страданія, еще чуднѣе оказывается на нашихъ же собственныхъ страданіяхъ; увидѣвъ ихъ внѣ насъ самихъ, очищенными и просвѣтленными общимъ значеніемъ скрывающагося въ нихъ таинственнаго смысла, мы тотчасъ же чувствуемъ себя облегченными отъ нихъ...

Нашъ вѣкъ — вѣкъ по преимуществу историческій. Всѣ думы, всѣ вопросы наши и отвѣты на нихъ, вся наша дѣятельность вырастаетъ изъ исторической почвы и на исторической почвѣ. Человѣчество давно уже пережило вѣкъ полноты своихъ вѣрованій; можетъ-быть, для него наступитъ эпоха еще высшей полноты, нежели какой когда-либо прежде наслаждалось оно; но нашъ вѣкъ есть вѣкъ сознанія, философствующаго духа, размышленій, «рефлексіи». Вопросъ—вотъ альфа и омега нашего времени. Ощутимъ ли мы въ себѣ чувство любви

Digitized by Google

къ женщинѣ,—вмѣсто того, чтобъ роскошно упиваться его полнотой, мы прежде всего спрашиваемъ себя, что̀ такое любовь, въ самомъ ли дѣлѣ мы любимъ? и пр. Стремясь къ предмету съ ненасытной жаждой желанія, съ тяжелой тоской, со всѣмъ безумствомъ страсти, мы часто удивляемся холодности, съ какой видимъ исполненіе самыхъ пламенныхъ желаній нашего сердца,— и многіе изъ людей нашего времени могутъ примѣнить къ себѣ сцену между Мефистофелемъ и Фаустомъ, у Пушкина:

Когда красавица твоя
Была въ восторгѣ, въ упоеньѣ,
Ты безпокойною душой
Ужъ погружался въ размышленье
(А доказали мы съ тобой,
Что̀ размышленье—скуки сѣмя).
И знаешь ли, философъ мой,
Что думалъ ты въ такое время,
Когда не думаетъ никто?
Сказать ли?

Фаустъ.

Говори. Ну, что?

Мефистофель.

Ты думалъ: агнецъ мой послушный!
Какъ жадно я тебя желалъ!
Какъ хитро въ дѣвѣ простодушной
Я грезы сердца возмущалъ!
Любви невольной, безкорыстной
Невинно предалась она...
Что жъ грудь теперь моя полна
Тоской и скукой ненавистной?...
На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьемъ,
Съ неодолимымъ отвращеньемъ.
Такъ безразсчетный дуралей,
Вотще рѣшась на злое дѣло,
Зарѣзавъ нищаго въ лѣсу,
Бранитъ ободранное тѣло;
Такъ на продажную красу,
Насытясь ею торопливо,
Развратъ косится боязливо...

Ужасно!... Но это не смерть и даже не старость міра, какъ думаетъ старое поколѣніе, которое въ своей молодости такъ беззаботно пило и ѣло, такъ весело плясало, такъ безсознательно наслаждалось жизнью. Нѣтъ, это не смерть и не старость: люди нашего времени также или еще больше полны жаждой желаній, сокрушительной тоской порываній и стремленій. Это только болѣзненный кризисъ, за которымъ должно послѣдовать здоровое состояніе, лучше и выше прежняго. Та же рефлексія, то же размышленіе, которое теперь отравляетъ полноту всякой нашей радости, должно быть впослѣдствіи источникомъ высшаго чѣмъ когда-либо блаженства, высшей полноты жизни. Но горе тѣмъ, кто является въ эпоху общественнаго недуга! Общество живетъ не годами — вѣками, а человѣку данъ мигъ жизни: общество выздоровѣетъ, а тѣ люди, въ которыхъ выразился кризисъ его болѣзни — благороднѣйшіе сосуды духа, навсегда могутъ остаться въ разрушающемъ элементѣ жизни!...

Какъ бы то ни было, но нашъ вѣкъ есть вѣкъ размышленія. Поэтому рефлексія (размышленіе) есть законный элементъ поэзіи нашего времени, и почти всѣ великіе поэты нашего времени заплатили ему полную дань: Байронъ въ «Манфредѣ», «Каинѣ» и другихъ произведеніяхъ; Гёте особенно въ «Фаустѣ»; вся поэзія Шиллера по преимуществу рефлектирующая, размышляющая. Въ наше время едва ли возможна поэзія въ смыслѣ древнихъ поэтовъ, созерцающая явленіе жизни безъ всякаго отношенія къ личности поэта (поэзія объективная), и въ наше время тотъ не поэтъ и особенно не художникъ, у котораго въ основаніи таланта не лежитъ созерцательность древнихъ и способность воспроизводить явленіе жизни безъ отношеній къ своей личности; но въ наше время отсутствіе въ поэтѣ внутренняго (субъективнаго) элемента есть недостатокъ.

Въ самомъ Гёте не безъ основанія порицаютъ отсутствіе историческихъ и общественныхъ элементовъ, спокойное довольство дѣйствительностью, какъ она есть. Это и было причиной, почему менѣе Гётевской художественная, но болѣе человѣчественная, гуманная поэзія Шиллера нашла себѣ больше отзыва въ человѣчествѣ, чѣмъ поэзія Гёте.

Преобладаніе внутренняго (субъективнаго) элемента въ поэтахъ обыкновенныхъ есть признакъ ограниченности таланта. У нихъ субъективность означаетъ выраженіе личности, которая всегда ограничена, если является отдѣльно отъ общаго. Они обыкновенно говорятъ о своихъ нравственныхъ недугахъ, и всегда одно и то же; читая ихъ, невольно вспоминаешь эти стихи Лермонтова:

Какое дѣло намъ, страдалъ ты или нѣтъ,
На что намъ знать твои сомнѣнья,
Надежды глупыя первоначальныхъ лѣтъ,
Разсудка злыя сожалѣнья?
Взгляни: передъ тобою играючи идетъ
Толпа дорогою привычной.
На лицахъ праздничныхъ чуть виденъ слѣдъ заботъ,
Слезы не встрѣтишь неприличной,—
А между тѣмъ изъ нихъ едва ли есть одинъ
Тяжелой пыткой не измятый,
До преждевременныхъ добравшійся морщинъ
Безъ преступленья, иль утраты!...
Повѣрь: для нихъ смѣшонъ твой плачъ и твой укоръ,
Съ своимъ напѣвомъ заученнымъ,
Какъ разрумяненный трагическій актеръ,
Махающій мечемъ картоннымъ...

Въ талантѣ великомъ избытокъ внутренняго, субъективнаго элемента есть признакъ гуманности. Не бойтесь этого направленія: оно не обманетъ васъ, не введетъ васъ въ заблужденіе. Великій поэтъ, говоря о себѣ самомъ, о своемъ *я*, говоритъ объ общемъ— о человѣчествѣ, ибо въ его натурѣ лежитъ все, чѣмъ живетъ человѣчество. И потому

Digitized by Google

въ его грусти всякій узнаетъ свою грусть, въ его душѣ всякій узнаетъ свою, и видитъ въ немъ не только поэта, но и человѣка, брата своего по человѣчеству. Признавая его существомъ несравненно высшимъ себя, всякій въ то же время сознаетъ свое родство съ нимъ.

Вотъ что̀ заставило насъ обратить особенное вниманіе на субъективныя стихотворенія Лермонтова и даже порадоваться, что ихъ больше, чѣмъ чисто-художественныхъ. По этому признаку мы узнаемъ въ немъ поэта русскаго, народнаго, въ высшемъ и благороднѣйшемъ значеніи этого слова, — поэта, въ которомъ выразился историческій моментъ русскаго общества. И всѣ такія его стихотворенія глубоки и многозначительны; въ нихъ выражается богатая дарами духа природа, благородная человѣчественная личность.

Черезъ годъ послѣ напечатанія «Пѣсни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» Лермонтовъ снова вышелъ на арену литературы съ стихотвореніемъ «Дума», изумившимъ всѣхъ алмазной крѣпостью стиха, громовой силой бурнаго одушевленія, исполинскою энергіею благороднаго негодованія и глубокой грусти. Съ тѣхъ поръ стихотворенія Лермонтова стали являться одни за другими безъ перемежки, и съ его именемъ.

Поэтъ говоритъ о новомъ поколѣніи, что онъ смотритъ на него съ печалью, что его будущее «иль пусто, иль темно», что оно должно состарѣться подъ бременемъ познанья и сомнѣнья; укоряетъ его, что оно изсушило умъ безплодной наукой. Въ этомъ нельзя согласиться съ поэтомъ: сомнѣнье—такъ; но излишества познанія и науки, хотя бы и «безплодной», мы не видимъ: напротивъ, недостатокъ познанія и науки принадлежитъ къ болѣзнямъ нашего поколѣнія:

Мы всѣ учились понемногу
Чему-нибудь и какъ-нибудь!

Хорошо бы еще, еслибъ, въ замѣнъ утраченной жизни, мы насладились хоть знаніемъ: былъ бы хоть какой-нибудь выигрышъ! Но сильное движеніе общественности сдѣлало насъ обладателями знанія безъ труда и ученія—и этотъ плодъ безъ корня, надо признаться, пришелся намъ горекъ: онъ только пресытилъ насъ, а не напиталъ, притупилъ нашъ вкусъ, но не усладилъ его. Это обыкновенное и необходимое явленіе во всѣхъ обществахъ, вдругъ вступающихъ изъ естественной непосредственности въ сознательную жизнь, не въ нѣдрахъ ихъ возросшую и созрѣвшую, а пересаженную отъ развившихся народовъ. Мы въ этомъ отношеніи—безъ вины виноваты!

Богаты мы, едва изъ колыбели,
Ошибками отцовъ и позднимъ ихъ умомъ,
И жизнь ужъ насъ томитъ, какъ ровный путь безъ цѣли,
Какъ пиръ на праздникѣ чужомъ!

Какая вѣрная картина! Какая точность и оригинальность въ выраженіи! Да, умъ отцовъ нашихъ для насъ—поздній умъ: великая истина!

И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви,
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,
Когда огонь кипитъ въ крови!
И предковъ скучны намъ роскошныя забавы,
Ихъ легкомысленный, ребяческій развратъ;
И къ гробу мы спѣшимъ безъ счастья и безъ славы,
Глядя насмѣшливо назадъ.
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой,
Ни геніемъ начатаго труда.
И прахъ нашъ, съ строгостью судьи и гражданина,
Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ,
Насмѣшкой горькою обманутаго сына
Надъ промотавшимся отцомъ!

Эти стихи писаны кровью; они вышли изъ глубины оскорбленнаго духа: это вопль, это стонъ человѣка, для котораго отсутствіе внутренней жизни есть зло, въ тысячу разъ ужаснѣйшее физической смерти!... И кто же изъ людей новаго поколѣнія не найдетъ въ немъ разгадки собственнаго унынія, душевной апатіи, пустоты внутренней и не откликнется на него своимъ воплемъ, своимъ стономъ?... Если подъ «сатирою» должно разумѣть не невинное зубоскальство веселенькихъ остроумцевъ, а громы негодованія, грозу духа, оскорбленнаго позоромъ общества,—то «Дума» Лермонтова есть сатира, и сатира есть законный родъ поэзіи. Если сатиры Ювенала дышатъ такой же бурей чувства, такимъ же могуществомъ огненнаго слова, то Ювеналъ дѣйствительно великій поэтъ!..

Другая сторона того же вопроса выражена въ стихотвореніи «Поэтъ». Обдѣланный въ золото галантерейной игрушкой кинжалъ наводитъ поэта на мысль о роли, которую это орудіе смерти и мщенія играло прежде... А теперь?... Увы!

Никто привычною, заботливой рукой
Его не чиститъ, не ласкаетъ.
И надписи его, молясь передъ зарей,
Никто съ усердьемъ не читаетъ...
Въ нашъ вѣкъ изнѣженный не такъ ли ты, поэтъ,
Свое утратилъ назначенье,
На злато промѣнявъ ту власть, которой свѣтъ
Внималъ въ нѣмомъ благоговѣньи?
Бывало, мѣрный звукъ твоихъ могучихъ словъ
Воспламенялъ бойца для битвы;
Онъ нуженъ былъ толпѣ, какъ чаша для пировъ,
Какъ виміамъ въ часы молитвы!
Твой стихъ какъ Божій духъ носился надъ толпой,

Digitized by Google

И отзывъ мыслей благородныхъ
Звучалъ какъ колоколъ на башнѣ вѣчевой
Во дни торжествъ и бѣдъ народныхъ.
Но скученъ намъ простой и гордый твой языкъ,
Насъ тѣшутъ блестки и обманы;
Какъ ветхая краса, нашъ ветхій міръ привыкъ
Морщины прятать подъ румяны!...
Проснешься ль ты опять, осмѣянный пророкъ?
Иль никогда, на голосъ мщенья,
Изъ золотыхъ ноженъ не вырвешь свой клинокъ,
Покрытый ржавчиной презрѣнья?...

Вотъ оно, то бурное одушевленіе, та трепещущая, изнемогающая отъ полноты своей страсть, которую Гегель называетъ въ Шиллерѣ паѳосомъ!... Нѣтъ, хвалить такіе стихи можно только стихами, и притомъ такими же... А мысль?... Мы не должны здѣсь искать статистической точности фактовъ; но должны видѣть выраженіе поэта,—и кто не признаетъ, что то, чего онъ требуетъ отъ поэта, составляетъ одну изъ обязанностей его служенія и призванія? Но есть ли это характеристика поэта—характеристика благороднаго Шиллера?...

«Не вѣрь себѣ» есть стихотвореніе, составляющее тріумвиратъ съ двумя предшествовавшими. Въ немъ поэтъ рѣшаетъ тайну истиннаго вдохновенія, открывая источникъ ложнаго. Есть поэты, пишущіе въ стихахъ и въ прозѣ, и кажется, удивительно какъ сильно и громко, но чтеніе которыхъ дѣйствуетъ на душу какъ угаръ или тяжелый хмель, и ихъ произведенія, особенно увлекающія молодость, какъ-то скоро испаряются изъ головы. У этихъ людей нельзя отнять дарованія и даже вдохновенія, но

Въ немъ признака небесъ напрасно не ищи:
То кровь кипитъ, то силъ избытокъ!...

Со времени появленія Пушкина въ нашей литературѣ показались какія-то неслыханныя прежде жалобы на жизнь, пошло въ оборотъ новое слово «разочарованіе», которое теперь уже успѣло сдѣлаться и старымъ, и приторнымъ. Элегія смѣнила оду и стала господствующимъ родомъ поэзіи. За поэтами даже и плохіе стихотворцы начали воспѣвать

Погибшій жизни цвѣтъ
Безъ малаго въ восьмнадцать лѣтъ.

Ясно, что это была эпоха пробужденія нашего общества къ жизни: литература въ первый разъ еще начала быть выраженіемъ общества. Это новое направленіе литературы вполнѣ выразилось въ дивномъ созданіи Пушкина—«Демонъ». Это демонъ сомнѣнія, это духъ размышленія, рефлексіи, разрушающей всякую полноту жизни, отравляющей всякую радость. Странное дѣло: пробудилась жизнь, и съ нею объ руку пошло сомнѣніе—врагъ жизни! «Демонъ» Пушкина съ тѣхъ поръ остался у насъ вѣчнымъ гостемъ и съ злой, насмѣшливой улыбкой показывается то тутъ, то тамъ... Мало этого: онъ привезъ другого демона, еще болѣе страшнаго, болѣе неразгаданнаго, высказавшагося въ стихотвореніи Лермонтова:

И скучно, и грустно, и некому руку подать
Въ минуту душевной невзгоды...
Желанья!...Что пользы напрасно и вѣчно желать?..
А годы проходятъ—всѣ лучшіе годы:
Любить...но кого же?..На время—не стоитъ труда,
А вѣчно любить невозможно.
Въ себя ли заглянешь?—тамъ прошлаго нѣтъ и слѣда:
И радость, и муки, и все тамъ ничтожно!...
Что страсти?—вѣдь рано иль поздно ихъ сладкій недугъ
Исчезнетъ при словѣ разсудка,
И жизнь—какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ—
Такая пустая и глупая шутка...

Страшенъ этотъ глухой могильный голосъ подземнаго страданія, нездѣшней муки, этотъ потрясающій душу реквіемъ всѣхъ надеждъ, всѣхъ чувствъ человѣческихъ, всѣхъ обаяній жизни! Отъ него содрогается человѣческая природа, стынетъ кровь въ жилахъ, и прежній свѣтлый образъ жизни представляется отвратительнымъ скелетомъ, который душитъ насъ въ своихъ костяныхъ объятіяхъ, улыбается своими костянымн челюстями и прижимается къ устамъ нашимъ! Это не минута духовной дисгармоніи, сердечнаго отчаянія: это—похоронная пѣсня всей жизни! Кому не знакомо по опыту состояніе духа, выраженное въ ней, въ чьей натурѣ не скрывается возможность ея страшныхъ диссонансовъ, — тѣ конечно увидятъ въ ней не больше, какъ маленькую пьеску грустнаго содержанія, и будутъ правы; но тотъ, кто не разъ слышалъ внутри себя ея могильный напѣвъ, а въ ней увидѣлъ только художественное выраженіе давно знакомаго ужаснаго чувства, тотъ припишетъ ей слишкомъ глубокое значеніе, слишкомъ высокую цѣну; дастъ ей почетное мѣсто между величайшими созданіями поэзіи, которыя когда-либо, подобно свѣточамъ Эвменидъ, освѣщали бездонныя пропасти человѣческаго духа... И какая простота въ выраженіи, какая естественность, свобода въ стихѣ! такъ и чувствуешь, что вся пьеса мгновенно излилась на бумагу сама собою, какъ потокъ слезъ, давно уже накипѣвшихъ, какъ струя горячей крови изъ раны, съ которой вдругъ сорвана перевязка...

Вспомните «Героя Нашего Времени», вспомните Печорина—этого страннаго человѣка, который, съ одной стороны, томится жизнью, презираетъ и ее, и самого себя, не вѣритъ ни въ нее, ни въ самого себя, носитъ въ себѣ какую-то бездонную пропасть желаній и страстей, ничѣмъ ненасытимыхъ, а съ другой—гонится за жизнью, жадно ловитъ ея впечатлѣнія, безумно упивается ея обаяніями: вспомните его любовь къ Бэлѣ,

Digitized by Google

къ Вѣрѣ, къ княжнѣ Мери, и потомъ поймите эти стихи:

Любить... но кого же?... на время не стоитъ труда:
А вѣчно любить невозможно!

Да, невозможно! Но зачѣмъ же эта безумная жажда любви, къ чему эти гордые идеалы вѣчной любви, которыми мы встрѣчаемъ нашу юность, эта гордая вѣра въ неизмѣняемость чувства и его дѣйствительность?... Мы знаемъ одну пьесу, которой содержаніе высказываетъ тайный недугъ нашего времени, и которая за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ казалась бы даже безсмысленной, а теперь для многихъ слишкомъ много-знаменательна. Вотъ она:

Я не люблю тебя: мнѣ суждено судьбою
Не полюбивши разлюбить;
Я не люблю тебя; больной моей душою
Я никого не буду здѣсь любить.
О, не кляни меня! Я обманулъ природу,
Тебя, себя, когда, въ волшебный мигъ,
Я сердце праздное и бѣдную свободу
Повергъ въ слезахъ у милыхъ ногъ твоихъ.
Я не люблю тебя, но, полюбя другую,
Я презиралъ бы горько самъ себя;
И, какъ безумный, я и плачу, и тоскую,
И все о томъ, что не люблю тебя!...

Неужели прежде этого не бывало? Или, можетъ быть, прежде этому не придавали большой важности: пока любилось—любили; разлюбилось—не тужили; даже соединяясь какъ бы по страсти тѣми узами, которыя навсегда рѣшаютъ участь двухъ существъ, и потомъ увидѣвъ, что ошиблись въ своемъ чувствѣ, что не созданы одинъ для другого, вмѣсто того, чтобъ приходить въ отчаяніе отъ страшныхъ цѣпей, предавались лѣнивой привычкѣ, свыкались и равнодушно изъ сферы гордыхъ идеаловъ, полноты чувства переходили въ мирное и почтенное состояніе пошлой жизни?... Вѣдь у всякой эпохи свой характеръ!... Можетъ быть, люди нашего времени слишкомъ многаго требуютъ отъ жизни, слишкомъ необузданно предаются обаяніямъ фантазіи, такъ что послѣ ихъ роскошныхъ мечтаній дѣйствительность кажется имъ уже слишкомъ безцвѣтной, блѣдной, холодной и пустой?... Можетъ быть, люди нашего времени слишкомъ серьезно смотрятъ на жизнь, даютъ слишкомъ большое значеніе чувству?... Можетъ быть, жизнь представляется имъ какимъ-то высокимъ служеніемъ, священнымъ таинствомъ, и они лучше хотятъ совсѣмъ не жить, нежели жить какъ живется?... Можетъ быть, они слишкомъ прямо смотрятъ на вещи, слишкомъ добросовѣстны и точны въ названіи вещей, слишкомъ откровенны насчетъ самихъ себя: протяжно зѣвая, не хотятъ называть себя энтузіастами, и ни другихъ, ни самихъ себя не хотятъ обманывать ложными чувствами и становиться на ходули?... Можетъ быть, они слишкомъ совѣстливы и честны въ отношеніи къ участи другихъ людей и, обѣщавъ другому существу любовь и блаженство, думаютъ, что непремѣнно должны дать ему и то, и другое, а не видя возможности исполнить это; предаются тоскѣ и отчаянію?... Или, можетъ быть, лишенные сочувствія съ обществомъ, сжатые его холодными условіями, они видятъ, что не въ пользу имъ щедрые дары богатой природы, глубокаго духа, и представляютъ собою младенца въ англійской болѣзни?... Можетъ быть—чего не можетъ быть!...

«И скучно, и грустно» изъ всѣхъ пьесъ Лермонтова обратила на себя особую непріязнь стараго поколѣнія. Странные люди! имъ все кажется, что поэзія должна выдумывать, а не быть жрицею истины, тѣшить побрякушками, а не гремѣть правдою? Имъ все кажется, что люди—дѣти, которыхъ можно заговорить прибаутками или утѣшать сказочками! Они не хотятъ понять, что если кто кое-что знаетъ, тотъ смѣется надъ увѣреніями и поэта, и моралиста, зная, что они сами имъ не вѣрятъ. Такія правдивыя представленія того, что̀ есть, кажутся нашимъ чудакамъ безнравственными. Питомцы Бульи и Жанлисъ, они думаютъ, что истина сама по себѣ не есть высочайшая нравственность... Но вотъ самое лучшее доказательство ихъ дѣтскаго заблужденія: изъ того же самаго духа поэта, изъ котораго вышли такіе безотрадные, леденящіе сердце человѣческое звуки, изъ того же самаго духа вышло и стихотвореніе «Въ минуту жизни трудную»—эта молитвенная, елейная мелодія надежды, примиренія и блаженства въ жизни жизнію.

Другую сторону духа нашего поэта представляетъ его превосходное стихотвореніе «Памяти А. И. О—го»: это сладостная мелодія какихъ-то глубокихъ, но тихихъ думъ, чувства сильнаго, но цѣломудреннаго, замкнутаго въ самомъ себѣ... Есть въ этомъ стихотвореніи что-то кроткое, задушевное, отрадно-успокоивающее душу... И какою грандіозною, гармонирующею съ тономъ цѣлаго картиною заключается это стихотвореніе: вотъ истинно безконечное и въ мысли, и въ выраженіи; вотъ то, что̀ въ эстетикѣ должно разумѣть подъ именемъ высокаго (sublime)...

Не выписываемъ чудной «Молитвы» (стр. 43), въ которой поэтъ поручаетъ Матери Божіей, «теплой заступницѣ холоднаго міра», невинную дѣву. Кто бы ни была эта дѣва—возлюбленная ли сердца, или милая сестра—не въ томъ дѣло; но сколько кроткой задушевности въ тонѣ этого стихотворенія, сколько нѣжности безъ всякой приторности; какое благоуханное, теплое, женственное чувство! Все это трогаетъ въ голубиной натурѣ человѣка; но въ духѣ мощ-

Digitized by Google

номъ и гордомъ, въ натурѣ львиной—все это больше, чѣмъ умилительно... Изъ какихъ богатыхъ элементовъ составлена поэзія этого человѣка, какими разнообразными мотивами и звуками гремятъ и льются ея гармоніи и мелодіи! Вотъ пьеса, означенная рубрикою «1-е Января»; читая ее, мы опять входимъ въ совершенно новый міръ, хотя и застаемъ въ ней все ту же думу, то же сердце, словомъ—ту же личность, какъ и въ прежнихъ. Поэтъ говоритъ, какъ часто, при шумѣ пестрой толпы, среди мелькающихъ вокругъ него бездушныхъ лицъ—«стянутыхъ приличьемъ масокъ», когда холодныхъ рукъ его съ небрежной смѣлостью касаются «давно безтрепетныя» руки молодыхъ красавицъ, какъ часто воскресаютъ въ немъ старинныя мечты, святые звуки погибшихъ лѣтъ...

И вижу я себя ребенкомъ; и кругомъ
Родныя все мѣста: высокій барскій домъ
И садъ съ разрушенной теплицей;
Зеленой сѣтью травъ подернутъ спящій прудъ,
А за прудомъ село дымится—и встаютъ
Вдали туманы надъ полями.
Въ аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядитъ вечерній лучъ, и желтые листы
Шумятъ подъ робкими шагами.

Только у Пушкина можно найти такія картины въ этомъ родѣ! Когда же, говоритъ онъ, шумъ людской толпы «спугнетъ мою мечту»—

О, какъ мнѣ хочется смутить веселость ихъ,
И дерзко бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ,
Облитый горечью и злостью!...

Еслибы не всѣ стихотворенія Лермонтова были одинаково л у ч ш і я, то это мы назвали бы однимъ изъ лучшихъ.

«Журналистъ, Читатель и Писатель» напоминаетъ и идеей, и формой, и художественнымъ достоинствомъ «Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ» Пушкина. Разговорный языкъ этой пьесы—верхъ совершенства; рѣзкость сужденій, тонкая и ѣдкая насмѣшка, оригинальность и поразительная вѣрность взглядовъ и замѣчаній — изумительны. Исповѣдь поэта, которой оканчивается пьеса, блеститъ слезами, горитъ чувствомъ. Личность поэта является въ этой исповѣди въ высшей степени благородной.

«Ребенку»—это маленькое лирическое стихотвореніе заключаетъ въ себѣ цѣлую повѣсть, высказанную намеками, но тѣмъ не менѣе понятную. О, какъ глубоко поучительна эта повѣсть, какъ сильно потрясаетъ она душу!... Въ ней глухія рыданія обманутой любви, стоны исходящаго кровью сердца, жестокія проклятія, а потомъ, можетъ быть, и благословеніе смирѣннаго испытаніемъ сердца женщины... Какъ я люблю тебя, прекрасное дитя! Говорятъ, ты похожъ на нее, и хоть страданія измѣнили ее прежде времени, но ея образъ въ моемъ сердцѣ...

...А ты, ты любишь ли меня?
Не скучны ли тебѣ непрошенныя ласки?
Не слишкомъ часто ль я твои цѣлую глазки?
Слеза моя ланитъ твоихъ не обожгла ль?
Смотри жъ, не говори ни про мою печаль,
Ни вовсе обо мнѣ. Къ чему? Ее, быть можетъ,
Ребяческій разсказъ разсердитъ иль встревожитъ.
Но мнѣ ты все повѣрь. Когда въ вечерній часъ,
Предъ образомъ съ тобой заботливо склонясь,
Молитву дѣтскую она тебѣ шептала
И въ знаменье креста персты твои сжимала,
И всѣ знакомыя, родныя имена
Ты повторялъ за ней,—скажи: тебя она
Ни за кого еще молиться не учила?
Блѣднѣя, можетъ быть, она произносила
Названіе, теперь забытое тобой...
Не вспоминай его... Что имя?—Звукъ пустой!
Дай Богъ, чтобъ для тебя оно осталось тайной.
Но если какъ-нибудь, когда-нибудь, случайно
Узнаешь ты его,—ребяческіе дни
Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни!

Отчего же тутъ нѣтъ раскаянія?—спросятъ моралисты. Надѣньте очки, господа, и вы увидите, что герой пьесы спрашиваетъ дитя—не учила ли о н а его молиться еще за кого-то, не произносила ли, блѣднѣя, теперь забытаго имъ имени?... Онъ проситъ ребенка не проклинать этого имени, если узнаетъ о немъ. Вотъ истинное торжество нравственности!

Поэтическая мысль можетъ иногда родиться и вслѣдствіе какого-нибудь изъ тѣхъ обстоятельствъ, изъ которыхъ слагается наша жизнь; но чаще всего и почти всегда она есть не что иное, какъ случай дѣйствительности въ возможности, и потому въ поэзіи не имѣетъ никакого мѣста вопросъ: «было ли это?» но она всегда должна положительно отвѣчать на вопросъ: «возможно ли это, можетъ ли это быть въ дѣйствительности?» Самое обстоятельство можетъ только, такъ сказать, натолкнуть поэта на поэтическую идею и, будучи выражено имъ въ стихотвореніи, является уже совсѣмъ другимъ, новымъ и небывалымъ, но могущимъ быть. Потому, чѣмъ выше талантъ поэта, тѣмъ больше находимъ мы въ его произведеніяхъ примѣненій и къ собственной нашей жизни, и къ жизни другихъ людей. Мало этого: въ неиспытанныхъ нами обстоятельствахъ мы узнаемъ какъ будто коротко знакомое намъ по опыту,—и тогда понимаемъ, почему поэзія, выражая частное, есть выраженіе общаго. Прочтете «Сосѣда» Лермонтова—и хотя бы вы никогда не были въ подобномъ обстоятельствѣ, но вамъ покажется, что вы когда-то были въ заключеніи, любили незримаго сосѣда, отдѣленнаго отъ васъ стѣной, прислушивались и къ мѣрному звуку шаговъ его, и къ унылой пѣснѣ его, и говорили къ нему про себя:

Я слушаю—и въ мрачной тишинѣ
Твои напѣвы раздаются...

Digitized by Google

О чемъ они—не знаю, но тоской
Исполнены, и звуки чередой,
Какъ слезы, тихо льются, льются...
И лучшихъ лѣтъ надежды и любовь—
Въ груди моей все оживаетъ вновь,
И мысли далеко несутся,
И полонъ умъ желаній и страстей,
И кровь кипитъ, и слезы изъ очей,
Какъ звуки, другъ за другомъ льются...

Эта тихая, кроткая грусть души сильной и крѣпкой; эти унылые, мелодическіе звуки, льющіеся другъ за другомъ, какъ слеза за слезой; эти слезы, льющіяся одна за другой, какъ звукъ за звукомъ,—сколько въ нихъ таинственнаго, невыговариваемаго, но такъ ясно понятнаго сердцу! Здѣсь поэзія становится музыкой; здѣсь обстоятельство является, какъ въ оперѣ, только поводомъ къ звукамъ, намекомъ на ихъ таинственное значеніе; здѣсь отъ случая жизни отнята вся его матеріальная, внѣшняя сторона, и извлеченъ изъ него одинъ чистый эѳиръ, солнечный лучъ свѣта, въ возможности скрывавшіеся въ немъ... Выраженное въ этой пьесѣ обстоятельство можетъ быть фактомъ, но сама пьеса относится къ этому факту, какъ относится къ натуральной розѣ поэтическая роза, въ которой нѣтъ грубаго вещества, составляющаго натуральную розу, но въ которой только нѣжный румянецъ и кроткое ароматическое дыханіе натуральной розы...

Гармонически и благоуханно высказывается дума поэта въ пьесахъ: «Когда волнуется желтѣющая нива», «Разстались мы, но твой портретъ», и «Отчего»,—и грустно, болѣзненно въ пьесѣ «Благодарность». Не можемъ не остановиться на двухъ послѣднихъ. Онѣ коротки, повидимому лишены общаго значенія и не заключаютъ въ себѣ никакой идеи; но, Боже мой! какую длинную и грустную повѣсть содержитъ въ себѣ каждое изъ нихъ! какъ онѣ глубоко знаменательны, какъ полны мыслью!

Мнѣ грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цвѣтущую твою
Не пощадитъ молвы коварное гоненье.
За каждый свѣтлый день, иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбѣ.
Мнѣ грустно... потому что весело тебѣ.

Это вздохъ музыки, это мелодія грусти, это кроткое страданіе любви, послѣдняя дань нѣжно и глубоко любимому предмету отъ растерзаннаго и смирѣннаго бурей судьбы сердца!... И какая удивительная простота въ стихѣ! Здѣсь говоритъ одно чувство, которое такъ полно, что не требуетъ поэтическихъ образовъ для своего выраженія; ему не нужно убранства, не нужно украшеній, оно говоритъ само за себя, оно вполнѣ высказалось бы и прозою...

За все, за все тебя благодарю я:
За тайныя мученія страстей,
За горечь слезъ, отраву поцѣлуя;
За месть враговъ и клевету друзей;
За жаръ души, растраченный въ пустынѣ,—
За все, чѣмъ я обманутъ въ жизни былъ...
Устрой лишь такъ, чтобы тебя отнынѣ
Недолго я еще благодарилъ...

Какая мысль скрывается въ этой грустной «благодарности», въ этомъ сарказмѣ обманутаго чувствомъ и жизнью сердца? Все хорошо: и тайныя мученія страстей, и горечь слезъ, и всѣ обманы жизни; но еще лучше, когда ихъ нѣтъ, хотя безъ нихъ и нѣтъ ничего, что̀ проситъ душа, чѣмъ живетъ она, что̀ нужно ей, какъ масло для лампады!... Это утомленіе чувствомъ; сердце проситъ покоя и отдыха, хотя и не можетъ жить безъ волненія и движенія... Въ pendant къ этой пьесѣ можетъ идти новое стихотвореніе Лермонтова «Завѣщаніе»: это похоронная пѣсня жизни и всѣмъ ея обольщеніямъ, тѣмъ болѣе ужасная, что ея голосъ не глухой и не громкій, а холодно спокойный; выраженіе не горитъ и не сверкаетъ образами, но небрежно и прозаично... Мысль этой пьесы: и худое, и хорошее—все равно; сдѣлать лучше не въ нашей волѣ, и потому пусть идетъ себѣ, какъ оно хочетъ... Это ужъ даже и не сарказмъ, не иронія, и не жалоба: не на что сердиться, не на что жаловаться, — все равно! Отца и мать жаль огорчить . . . Возлѣ нихъ есть сосѣдка — она не спроситъ о немъ, но нечего жалѣть пустого сердца — пусть поплачетъ: вѣдь это ей нипочемъ! Страшно!... Но поэзія есть сама дѣйствительность, и потому она должна быть неумолима и безпощадна, гдѣ дѣло идетъ о томъ, что̀ есть или что̀ бываетъ... А человѣку необходимо должно перейти и черезъ это состояніе духа. Въ музыкѣ гармонія условливается диссонансомъ, въ духѣ — блаженство условливается страданіемъ, избытокъ чувства—сухостью чувства, любовь—ненавистью, сильная жизненность—отсутствіемъ жизни: это такія крайности, которыя всегда живутъ вмѣстѣ, въ одномъ сердцѣ. Кто не печалился и не плакалъ, тотъ и не возрадуется, кто не болѣлъ, тотъ и не выздоровѣетъ, кто не умиралъ за-живо, тотъ и не возстанетъ... Жалѣйте поэта или, лучше, самихъ себя: ибо, показавъ вамъ раны своей души, онъ показалъ вамъ ваши собственныя раны; но не отчаявайтесь ни за поэта, ни за человѣка: въ томъ и другомъ бурю смѣняетъ вёдро, безотрадность — надежда...

Два перевода изъ Байрона,—«Еврейская Мелодія» и «Въ Альбомъ», тоже выражаютъ внутренній міръ души поэта. Это боль сердца, тяжкіе вздохи груди; это надгробныя надписи на памятникахъ погибшихъ радостей...

«Вѣтка Палестины» и «Тучи» составляютъ переходъ отъ субъективныхъ стихотвореній

Digitized by Google

нашего поэта къ чисто-художественнымъ. Въ обѣихъ пьесахъ видна еще личность поэта, но въ то же время виденъ уже и выходъ его изъ внутренняго міра своей души въ созерцаніе «полнаго славы творенія». Первая изъ нихъ дышитъ благодатнымъ спокойствіемъ сердца, теплотой молитвы, кроткимъ вѣяніемъ святыни. О самой этой пьесѣ можно сказать то же, что говорится въ ней о вѣткѣ Палестины:

Заботой тайною хранима,
Передъ иконой золотой,
Стоишь ты, вѣтвь Іерусалима,
Святыни вѣрный часовой!
Прозрачный сумракъ, лучъ лампады,
Кивотъ и крестъ, символъ святой...
Все полно мира и отрады
Вокругъ тебя и надъ тобой...

Вторая пьеса «Тучи» полна какого-то отраднаго чувства выздоровленія и надежды и плѣняетъ роскошью поэтическихъ образовъ, какимъ-то избыткомъ умиленнаго чувства.

«Русалкой» начнемъ мы рядъ чисто-художественныхъ стихотвореній Лермонтова, въ которыхъ личность поэта исчезаетъ за роскошными видѣніями явленій жизни. Эта пьеса покрыта фантастическимъ колоритомъ и, по роскоши картинъ, богатству поэтическихъ образовъ, художественности отдѣлки, составляетъ собою одинъ изъ драгоцѣннѣйшихъ перловъ русской поэзіи. «Три Пальмы» дышатъ знойной природой Востока, переносятъ насъ на песчаныя пустыни Аравіи, на ея цвѣтущіе оазисы. Мысль поэта ярко выдается,—и онъ поступилъ съ нею какъ истинный поэтъ, не заключивъ своей пьесы нравственной сентенціей. Самая эта мысль могла быть опоэтизирована только своимъ восточнымъ колоритомъ и оправдана названіемъ «Восточное сказаніе»; иначе она была бы дѣтской мыслью. Пластицизмъ и рельефность образовъ, выпуклость формъ и яркій блескъ восточныхъ красокъ сливаютъ въ этой пьесѣ поэзію съ живописью: это картина Брюлова, смотря на которую, хочешь еще и осязать ее.

«Дары Терека» есть поэтическая апоѳеоза Кавказа. Только роскошная, живая фантазія грековъ умѣла такъ олицетворять природу, давать образъ и личность ея нѣмымъ и разбросаннымъ явленіямъ. Нѣтъ возможности выписывать стиховъ изъ этой дивно-художественной пьесы, этого роскошнаго видѣнія богатой, радужной, исполинской фантазіи; иначе пришлось бы переписать все стихотвореніе. Терекъ и Каспій олицетворяютъ собою Кавказъ, какъ самыя характеристическія его явленія. Терекъ сулитъ Каспію дорогой подарокъ; но сладострастно-лѣнивый сибаритъ моря, покоясь въ мягкихъ берегахъ, не внемлетъ ему, не обольщаясь ни стадомъ валуновъ, ни трупомъ удалого кабардинца; но когда Терекъ сулитъ ему сокровенный даръ—безцѣннѣе всѣхъ даровъ вселенной, и когда

...Надъ нимъ, какъ снѣгъ бѣла,
Голова съ косой размытой,
Колыхаяся, всплыла,—
И старикъ во блескѣ власти
Всталъ могучій какъ гроза,
И одѣлись влагой страсти
Темносиніе глаза.
Онъ взыгралъ, веселья полный—
И въ объятія свои
Набѣгающія волны
Принялъ съ ропотомъ любви...

Мы не назовемъ Лермонтова ни Байрономъ, ни Гёте, ни Пушкинымъ; но не думаемъ сдѣлать ему гиперболической похвалы, сказавъ, что такія стихотворенія, какъ «Русалка», «Три Пальмы» и «Дары Терека» можно находить только у такихъ поэтовъ, какъ Байронъ, Гёте и Пушкинъ...

Не менѣе превосходна «Казачья колыбельная пѣсня». Ея идея—мать; но поэтъ умѣлъ дать индивидуальное значеніе этой общей идеѣ: его мать — казачка, и потому содержаніе ея колыбельной пѣсни выражаетъ собою особенности и оттѣнки казачьяго быта. Это стихотвореніе есть художественная апоѳеоза матери: все, что есть святого, беззавѣтнаго въ любви матери, весь трепетъ, вся нѣга, вся страсть, вся безконечность кроткой нѣжности, безграничность безкорыстной преданности, какой дышитъ любовь матери—все это воспроизведено поэтомъ во всей полнотѣ. Гдѣ, откуда взялъ поэтъ эти простодушныя слова, эту умилительную нѣжность тона, эти кроткіе и задушевные звуки, эту женственность и прелесть выраженія? Онъ видѣлъ Кавказъ,—и намъ понятна вѣрность его картинъ Кавказа; онъ не видалъ Аравіи, и ничего, что могло бы дать ему понятіе объ этой странѣ палящаго солнца, песчаныхъ степей, зеленыхъ пальмъ и прохладныхъ источниковъ, но онъ читалъ ихъ описанія: какъ же онъ такъ глубоко могъ проникнуть въ тайны женскаго и материнскаго чувства?

«Воздушный Корабль» не есть собственно переводъ изъ Зейдлица: Лермонтовъ взялъ у нѣмецкаго поэта только идею, но обработалъ ее по своему. Эта пьеса, по своей художественности, достойна великой тѣни, которой колоссальный обликъ такъ грандіозно представленъ въ ней.—Какое тихое успокоительное чувство ночи послѣ знойнаго дня вѣетъ въ стихотвореніи «Горныя вершины», въ этой маленькой пьесѣ Гёте, такъ граціозно переданной нашимъ поэтомъ.

Теперь намъ остается разобрать поэму Лермонтова «Мцыри». Плѣнный мальчикъ черкесъ воспитанъ былъ въ грузинскомъ монастырѣ; выросши, онъ хочетъ сдѣлаться,

Digitized by Google

или его хотятъ сдѣлать монахомъ. Разъ была страшная буря, во время которой черкесъ скрылся. Три дня пропадалъ онъ, а на четвертый былъ найденъ въ степи, близъ обители, слабый, больной, и умирающій перенесенъ снова въ монастырь. Почти вся поэма состоитъ изъ исповѣди о томъ, что́ было съ нимъ эти три дня. Давно манилъ его къ себѣ призракъ родины, темно носившійся въ душѣ его, какъ воспоминаніе дѣтства. Онъ захотѣлъ видѣть Божій міръ—и ушелъ.

Давнымъ-давно задумалъ я
Взглянуть на дальнія поля,
Узнать, прекрасна ли земля,—
И въ часъ ночной, ужасный часъ,
Когда гроза пугала васъ,
Когда, столпясь при алтарѣ,
Вы ницъ лежали на землѣ,
Я убѣжалъ. О! я, какъ братъ,
Обняться съ бурей былъ бы радъ!
Глазами тучи я слѣдилъ,
Рукою молнію ловилъ...
Скажи мнѣ, что́ средь этихъ стѣнъ
Могли бы дать вы мнѣ взамѣнъ
Той дружбы краткой, но живой
Межъ бурнымъ сердцемъ и грозой?...

Уже изъ этихъ словъ вы видите, что за огненная душа, что за могучій духъ, что за исполинская натура у этого мцыри! Это любимый идеалъ нашего поэта, это отраженіе въ поэзіи тѣни его собственной личности. Во всемъ, что ни говоритъ мцыри, вѣетъ его собственнымъ духомъ, поражаетъ его собственной мощью. Это произведеніе субъективное.

Мысль поэмы отзывается юношеской незрѣлостью, и если она дала возможность поэту разсыпать передъ вашими глазами такое богатство самоцвѣтныхъ камней поэзіи,—то не сама собою, а точно какъ странное содержаніе иного посредственнаго либретто даетъ геніальному композитору возможность создать превосходную оперу. Недавно кто-то, резонерствуя въ газетной статьѣ о стихотвореніяхъ Лермонтова, назвалъ его «Пѣсню про царя Ивана Васильевича, удалого опричника и молодого купца Калашникова» произведеніемъ дѣтскимъ, а «Мцыри»—произведеніемъ зрѣлымъ; глубокомысленный критиканъ, разсчитывая по пальцамъ время появленія той и другой поэмы, очень остроумно сообразилъ, что авторъ былъ тремя годами старше, когда написалъ «Мцыри», и изъ этого казуса весьма основательно вывелъ заключеніе: ergo «Мцыри» зрѣлѣе. Это очень понятно: у кого нѣтъ эстетическаго чувства, кому не говоритъ само за себя поэтическое произведеніе, тому остается гадать о немъ по пальцамъ или соображаться съ метрическими книгами...

Но, несмотря на незрѣлость идеи и нѣкоторую натянутость въ содержаніи «Мцыри»,—подробности и изложеніе этой поэмы изумляютъ своимъ исполненіемъ. Можно сказать безъ преувеличенія, что поэтъ бралъ цвѣты у радуги, лучи у солнца, блескъ у молніи, грохотъ у громовъ, гулъ у вѣтровъ,—что вся природа сама несла и подавала ему матеріалы, когда писалъ онъ эту поэму... Кажется, будто поэтъ до того былъ отягощенъ обременительной полнотой внутренняго чувства, жизни и поэтическихъ образовъ, что готовъ былъ воспользоваться первой мелькнувшей мыслью, чтобъ только освободиться отъ нихъ, — и они хлынули изъ души его, какъ горящая лава изъ огнедышащей горы, какъ море дождя изъ тучи, мгновенно объявшей собою распаленный горизонтъ, какъ внезапно прорвавшійся яростный потокъ, поглощающій окрестность на далекое разстояніе своими сокрушительными волнами.. Этотъ четырехстопный ямбъ съ одними мужескими окончаніями, какъ въ «Шильйонскомъ Узникѣ», звучитъ и отрывисто падаетъ, какъ ударъ меча, поражающаго свою жертву. Упругость, энергія и звучное, однообразное паденіе его удивительно гармонируютъ съ сосредоточеннымъ чувствомъ, несокрушимой силой могучей натуры и трагическимъ положеніемъ героя поэмы. А между тѣмъ какое разнообразіе картинъ, образовъ и чувствъ! тутъ и бури духа, и умиленіе сердца, и вопли отчаянія, и тихія жалобы, и гордое ожесточеніе, и кроткая грусть, и мракъ ночи, и торжественное величіе утра, и блескъ полудня, и таинственное обаяніе вечера!... Многія положенія изумляютъ своей вѣрностью: таково мѣсто, гдѣ мцыри описываетъ свое замираніе подлѣ монастыря, когда грудь его пылала предсмертнымъ огнемъ, когда надъ усталой головой уже вѣяли успокоительные сны смерти, и носились ея фантастическія видѣнія. Картины природы обличаютъ кисть великаго мастера: онѣ дышатъ грандіозностью и роскошнымъ блескомъ фантастическаго Кавказа. Кавказъ взялъ полную дань съ музы нашего поэта... Странное дѣло! Кавказу какъ будто суждено быть колыбелью нашихъ поэтическихъ талантовъ, вдохновителемъ и пѣстуномъ ихъ музы, поэтической ихъ родиной! Пушкинъ посвятилъ Кавказу одну изъ первыхъ своихъ поэмъ—«Кавказскаго Плѣнника», и одна изъ послѣднихъ его поэмъ — «Галубъ» тоже посвящена Кавказу; нѣсколько превосходныхъ лирическихъ стихотвореній его также относятся къ Кавказу. Грибоѣдовъ создалъ на Кавказѣ свое «Горе отъ ума»: дикая и величавая природа этой страны, кипучая жизнь и суровая поэзія ея сыновъ вдохновила его оскорбленное человѣческое чувство на изображеніе апатическаго, ничтож-

Digitized by Google

наго круга Фамусовыхъ, Скалозубовъ, Загорѣцкихъ, Хлестовыхъ, Тугоуховскихъ, Репетиловыхъ, Молчалиныхъ — этихъ карикатуръ на природу человѣческую... И вотъ является новый великій талантъ — и Кавказъ дѣлается его поэтической родиной, пламенно-любимой имъ; на недоступныхъ вершинахъ Кавказа, вѣнчанныхъ вѣчнымъ снѣгомъ, находитъ онъ свой Парнассъ; въ его свирѣпомъ Терекѣ, въ его горныхъ потокахъ, въ его цѣлебныхъ источникахъ, находитъ онъ свой Кастальскій ключъ, свою Ипокрену... Какъ жаль, что не напечатана другая поэма Лермонтова, дѣйствіе которой совершается также на Кавказѣ, и которая въ рукописи ходитъ въ публикѣ, какъ нѣкогда ходило «Горе отъ Ума»: мы говоримъ о «Демонѣ». Мысль этой поэмы глубже и несравненно зрѣлѣе, чѣмъ мысль «Мцыри», и хотя исполненіе ея отзывается нѣкоторой незрѣлостью, но роскошь картинъ, богатство поэтическаго одушевленія, превосходные стихи, высокость мыслей, обаятельная прелесть образовъ ставитъ ее несравненно выше «Мцыри» и превосходитъ все, что можно сказать въ ея похвалу. Это не художественное созданіе, въ строгомъ смыслѣ искусства; но оно обнаруживаетъ всю мощь таланта поэта и обѣщаетъ въ будущемъ великія художественныя созданія.

Говоря вообще о поэзіи Лермонтова, мы должны замѣтить въ ней одинъ недостатокъ: это иногда неясность образовъ и неточность въ выраженіи. Такъ напримѣръ, въ «Дарахъ Терека», гдѣ «сердитый потокъ» описываетъ Каспію красоту убитой казачки, очень неопредѣленно намекнуто и на причину ея смерти, и на ея отношенія къ гребенскому казаку:

По красоткѣ-молодицѣ
Не тоскуетъ надъ рѣкой
Лишь одинъ во всей станицѣ
Казачина гребенской.
Осѣдлалъ онъ вороного,
И въ горахъ, въ ночномъ бою,
На кинжалъ чеченца злого
Сложитъ голову свою.

Здѣсь на догадку читателя оставляется три случая, равно возможные: или что чеченецъ убилъ казачку, а казакъ обрекъ себя мщенью за смерть своей любезной; или что самъ казакъ убилъ ее изъ ревности и ищетъ себѣ смерти, или что онъ еще не знаетъ о погибели своей возлюбленной и потому не тужитъ о ней, готовясь въ бой. Такая неопредѣленность вредитъ художественности, которая именно въ томъ и состоитъ, что говоритъ образами опредѣленными, выпуклыми, рельефными, вполнѣ выражающими заключенную въ нихъ мысль. Можно найти въ книжкѣ Лермонтова пятьшесть неточныхъ выраженій, подобныхъ тому, которыми оканчивается его превосходная пьеса «Поэтъ»:

Проснешься ль ты опять, осмѣянный пророкъ?
Иль никогда, на голосъ мщенья,
Изъ золотыхъ ноженъ не вырвешь свой клинокъ,
Покрытый ржавчиной презрѣнья.

«Ржавчина презрѣнья» — выраженіе неточное и слишкомъ сбивающееся на аллегорію. Каждое слово въ поэтическомъ произведеніи должно до того исчерпывать все значеніе требуемаго мыслью цѣлаго произведенія, чтобъ видно было, что нѣтъ въ языкѣ другого слова, которое тутъ могло бы замѣнить его. Пушкинъ и въ этомъ отношеніи величайшій образецъ: во всѣхъ томахъ его произведеній едва ли можно найти хоть одно сколько-нибудь неточное или изысканное выраженіе, даже слово... Но мы говоримъ не больше, какъ о пяти или шести пятнышкахъ въ книгѣ Лермонтова: все остальное въ ней удивляетъ силой и тонкостью художественнаго такта, полновластнымъ обладаніемъ совершенно покореннаго языка, истинно Пушкинской точностью выраженія.

Бросая общій взглядъ на стихотворенія Лермонтова, мы видимъ въ нихъ всѣ силы, всѣ элементы, изъ которыхъ слагаются жизнь и поэзія. Въ этой глубокой натурѣ, въ этомъ мощномъ духѣ все живетъ; имъ все доступно, все понятно; они на все откликаются. Онъ всевластный обладатель царства явленій жизни, онъ воспроизводитъ ихъ какъ истинный художникъ; онъ поэтъ русскій въ душѣ—въ немъ живетъ прошедшее и настоящее русской жизни; онъ глубоко знакомъ и съ внутреннимъ міромъ души. Несокрушимая сила и мощь духа, смиреніе жалобъ, елейное благоуханіе молитвы, пламенное, бурное одушевленіе, тихая грусть, кроткая задумчивость, вопли гордаго страданія, стоны отчаянія, таинственная нѣжность чувства, неукротимые порывы дерзкихъ желаній, цѣломудренная чистота, недуги современнаго общества, картины міровой жизни, хмельныя обаянія жизни, укоры совѣсти, умилительное раскаяніе, рыданія страсти и тихія слезы, какъ звукъ за звукомъ, льющіяся въ полнотѣ умирѣннаго бурей жизни сердца, упоеніе любви, трепетъ разлуки, радость свиданія, чувство матери, презрѣніе къ прозѣ жизни, безумная жажда восторговъ, полнота упивающагося роскошью бытія духа, пламенная вѣра, мука душевной пустоты, стонъ отвращающагося самого себя чувства замершей жизни, ядъ отрицанія, холодъ сомнѣнія, борьба полноты чувства съ разрушающей силой рефлексіи, падшій духъ неба, гордый демонъ и невинный младенецъ, буйная вакханка и чистая дѣва—все, все въ поэзіи

Digitized by Google

Лермонтова: и небо и земля, и рай и адъ... По глубинѣ мысли, роскоши поэтическихъ образовъ, увлекательной, неотразимой силѣ поэтическаго обаянія, полнотѣ жизни и типической оригинальности, по избытку силы, бьющей огненнымъ фонтаномъ, его созданія напоминаютъ собою созданія великихъ поэтовъ. Его поприще еще только начато, и уже какъ много имъ сдѣлано, какое неистощимое богатство элементовъ обнаружено имъ: чего же должно ожидать отъ него въ будущемъ?... Пока еще не назовемъ мы его ни Байрономъ, ни Гёте, ни Пушкинымъ, и не скажемъ, чтобъ изъ него современемъ вышелъ Байронъ, Гёте или Пушкинъ; ибо мы убѣждены, что изъ него выйдетъ ни тотъ, ни другой, ни третій, а выйдетъ—Лермонтовъ... Знаемъ, что наши похвалы покажутся большинству публики преувеличенными; но мы уже обрекли себя тяжелой роли говорить рѣзко и опредѣленно то, чему сначала никто не вѣритъ, но въ чемъ скоро всѣ убѣждаются, забывая того, кто первый выговорилъ сознаніе общества и на кого оно за это смотрѣло съ насмѣшкой и неудовольствіемъ... Для толпы нѣмо и безмолвно свидѣтельство духа, которымъ запечатлѣны созданія вновь явившагося таланта: она составляетъ свое сужденіе не по самымъ этимъ созданіямъ, а по тому, что о нихъ говорятъ сперва люди почтенные, литераторы заслуженные, а потомъ, что говорятъ о нихъ всѣ. Даже, восхищаясь произведеніями молодого поэта, толпа косо смотритъ, когда его сравниваютъ съ именами, которыхъ значенія она не понимаетъ, но къ которымъ она прислушалась, которыхъ привыкла уважать на слово... Для толпы не существуютъ убѣжденія истины: она вѣритъ только авторитетамъ, а не собственному чувству и разуму—и хорошо дѣлаетъ... Чтобъ преклониться передъ поэтомъ, ей надо сперва прислушаться къ его имени, привыкнуть къ нему и забыть множество ничтожныхъ именъ, которыя на минуту похищали ея безсмысленное удивленіе. Procul profani...

Какъ бы то ни было, но и въ толпѣ есть люди, которые высятся надъ нею: они поймутъ насъ. Они отличатъ Лермонтова отъ какого-нибудь фразёра, который занимается стукотней звучныхъ словъ и богатыхъ риѳмъ, который вздумаетъ почитать себя представителемъ національнаго духа потому только, что кричитъ о славѣ Россіи (нисколько не нуждающейся въ этомъ) и вандальски смѣется надъ издыхающей, будто бы, Европой, дѣлая изъ героевъ ея исторіи что-то похожее на нѣмецкихъ студентовъ... Мы увѣрены, что и наше сужденіе о Лермонтовѣ отличатъ они отъ тѣхъ производствъ въ «лучшіе писатели нашего времени, надъ сочиненіями которыхъ (будто бы) примирились всѣ вкусы и даже всѣ литературныя партіи», такихъ писателей, которые дѣйствительно обнаруживаютъ замѣчательное дарованіе, но лучшими могутъ казаться только для малаго кружка читателей того журнала, въ каждой книжкѣ котораго печатаютъ они по одной и даже по двѣ повѣсти... Мы увѣрены, что они поймутъ какъ должно и ропотъ стараго поколѣнія, которое, оставшись при вкусахъ и убѣжденіяхъ цвѣтущаго времени своей жизни, упорно принимаетъ неспособность свою сочувствовать новому и понимать его—за ничтожность всего новаго...

И мы видимъ уже начало истиннаго (не шуточнаго) примиренія всѣхъ вкусовъ и всѣхъ литературныхъ партій надъ сочиненіями Лермонтова, — и уже недалеко то время, когда имя его въ литературѣ сдѣлается народнымъ именемъ, и гармоническіе звуки его поэзіи будутъ слышимы въ повседневномъ разговорѣ толпы, между толками ея о житейскихъ заботахъ...

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ 1840 ГОДУ.

Дай оглянусь!
Пушкинъ.

Толпой угрюмою и скоро позабытой,
Надъ міромъ мы пройдемъ, безъ шума и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой,
Ни геніемъ начатаго труда;
И прахъ нашъ, съ строгостью судьи и гражданина,
Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ,—
Насмѣшкой горькою обманутаго сына
Надъ промотавшимся отцомъ!
Лермонтовъ.

Лѣтъ десять тому назадъ, когда были въ большомъ ходу альманахи, безпрестанно появлялись такъ называвшіяся тогда «обозрѣнія литературы». Частенько являлись они и въ журналахъ. Отъ этихъ «обозрѣній» сыры-боры загорались, поднимались

Digitized by Google

страшныя чернильныя войны; «обозрѣнія» давали жизнь литературѣ—въ нихъ принимала жаркое участіе даже и публика, не только сами литераторы. Что же за причина была этому наводненію отъ «обозрѣній», этой страсти «обозрѣвать»? Или много литературныхъ сокровищъ было, такъ что боялись потерять имъ счетъ? Или такъ мало было этихъ сокровищъ, что хотѣли знать навѣрное, чѣмъ именно владѣютъ и даже владѣютъ ли чѣмъ-нибудь?... Совершенно противоположныя причины рождаютъ иногда одинаковое слѣдствіе. Если тогда не были дѣйствительно богаты, то считали себя богатыми: назади было свѣтлое торжество рѣшительной побѣды юнаго романтизма (какъ выражались тогда) надъ дряхлымъ и чахлымъ классицизмомъ; въ настоящемъ было если не дѣйствительное достоинство, то разнообразная яркая пестрота все новыхъ и новыхъ явленій литературы; а въ будущемъ... о, какъ полно блестящихъ надеждъ было это будущее!... И въ самомъ дѣлѣ, если тогда и слишкомъ обольщались своимъ богатствомъ, то все-таки потому, что преувеличивали его, а не потому, чтобъ не было богатства. Нѣтъ, оно было: одинъ Пушкинъ могъ бы своей поэтической дѣятельностью наполнить цѣлый періодъ любой европейской литературы. Если ошибка заключалась въ томъ, что тогда думали имѣть не одного, а нѣсколькихъ Пушкиныхъ,—то все-же предполагали это въ людяхъ, которые, хотя далеко не были Пушкиными, однакожъ сами по себѣ имѣли и теперь имѣютъ свое значеніе, свое неотъемлемое достоинство. Если тогда надежды въ будущемъ основывались частью на томъ, что всѣ журналы и альманахи наполнялись отрывками изъ большихъ, но еще не конченныхъ поэмъ, драмъ, повѣстей, романовъ, и даже появились первые томы «исторіи», которымъ никогда не суждено было окончиться, хотя и суждено было собрать обильную жатву заблаговременной подписки,—то не забудьте, что это было время, когда о смерти Пушкина никто и не думалъ, когда Жуковскій часто напоминалъ о себѣ превосходными произведеніями. При жизни Грибоѣдова, чего не могли ожидать отъ творца «Горя отъ Ума?» Какой роскошной зарей занялся разсвѣтъ таланта Веневитинова, какой пышный полдень, какой обильный вечеръ предсказывало прекрасное утро его поэтической дѣятельности! А впослѣдствіи, чего не почитали себя вправѣ ожидать отъ талантовъ, произведшихъ, не говоримъ «Новика», «Кощея Безсмертнаго», «Юрія Милославскаго», но даже и «Киргизъ-Кайсака»?... Конечно эти надежды поддержаны и оправданы только первымъ, и отчасти вторымъ; но, повторяемъ, въ то время естественно было ожидать чего-то великаго и отъ послѣднихъ двухъ. Если тогда иные выходили, какъ говорится, «въ люди» и пріобрѣтали громкое титло поэтовъ только за гладкіе стихи, то развѣ теперь не повторяется подобное явленіе, съ той разницей, что даже и не за гладкія, а за шаршавыя вирши, но только наполненныя дикими, изысканными и безвкусными вычурами въ оборотѣ мыслей и фразъ?... Какъ бы то ни было, но тогда имѣли слишкомъ достаточныя причины «обозрѣвать».

Нужны ли теперь «обозрѣнія»? Есть ли теперь что обозрѣвать?... Мы уже сказали, что иногда совершенно противуположныя причины производятъ одинакія слѣдствія,—и потому утвердительно отвѣчаемъ, что теперь снова настаетъ время «обозрѣній». Еслибъ у насъ не было ничего, достойнаго обозрѣнія, то мы еще болѣе должны были бы обозрѣвать, потому что мы будемъ въ выигрышѣ даже и тогда, когда окончательно узнаемъ, что у насъ нѣтъ ничего: самое горькое сознаніе въ бѣдности лучше смѣшного хвастовства воображаемымъ богатствомъ. Если намъ кажется нѣсколько забавнымъ прошлое время, когда обольщались «отрывками неконченныхъ сочиненій», то не подадимъ ли мы будущему времени болѣе основательныхъ причинъ смѣяться надъ нами, гордящимися—ничѣмъ?... Впрочемъ, кажется, еще нечего бояться итога, состоящаго изъ однихъ нулей: если мы взглянемъ попристальнѣе на современную литературу, то въ небольшомъ количествѣ ея стразъ и большомъ количествѣ булыжниковъ найдемъ нѣсколько и брилліантовъ.—Всему свое время: мы уже пережили періодъ самообольщенія, младенческихъ и юношескихъ восторговъ; намъ уже нужны не мечты, а дѣйствительность; для насъ уже мѣдный грошъ дороже милліоновъ рублей, вычеканенныхъ изъ воздуха; словомъ, для насъ настало время сознанія. Поэтому «обозрѣнія» нашего времени должны быть основательнѣе, солиднѣе, такъ сказать: ибо ихъ цѣль не похвалы людямъ своего прихода и брань на другихъ прихожанъ, не лирическія излія̀нія чувства, гордящагося мгновеннымъ успѣхомъ; но приведеніе въ ясность существеннаго вопроса, сознаніе факта.

Вслѣдствіе этого мы и за дѣло должны приниматься не попрежнему. Разсуждая о чемъ-нибудь, мы прежде должны привести себѣ въ ясность, о чемъ мы разсуждаемъ. Мы должны болѣе всего избѣгать словъ, которыхъ значеніе утверждено не мыслью, а общественнымъ употребленіемъ, временемъ и навыкомъ, и подъ которыми поэтому всякій разумѣетъ, что ему угодно, ни мало не безпокоясь о томъ, что разумѣютъ

Digitized by Google

подъ ними другіе. Къ такимъ-то неопредѣленнымъ и произвольнымъ словамъ принадлежитъ и слово «литература».

За всякимъ очарованіемъ неизбѣжно слѣдуетъ разочарованіе—таковъ законъ жизни. Эпоха перехода изъ юношества въ мужество обыкновенно сопровождается разочарованіемъ. Обогащенный опытами жизни, извѣдавшій ея противорѣчія, переходящій въ мужество человѣкъ уже не бросается въ крайности, не презираетъ стараго потому только, что оно старое, не обольщается новымъ потому только, что оно новое. Мало этого: часто случается, что онъ обращается къ старому и, въ досаду всему новому, только въ прошедшемъ видитъ хорошее, а въ новомъ упрямо не хочетъ ничего видѣть. Настоящій моментъ русской литературы ознаменованъ именно этимъ направленіемъ. Повсюду слышатся жалобы на настоящее, похвалы прошедшему. Конечно тутъ играетъ важную роль и разочарованное самолюбіе, и другія личныя причины, но въ основаніи всего этого есть и часть истины; главная же причина—досада на себя за прошлое очарованіе, которое оказалось ложнымъ. Съ тѣхъ поръ, какъ на Руси печатаются книги, до настоящаго мгновенія, всѣ повторяютъ: «литература! литература! русская литература!», не давъ себѣ отчета въ значеніи вообще слова «литература», а слѣдовательно и въ значеніи словъ «русская литература». Обольщенные и ослѣпленные нѣсколькими дѣйствительно великими проявленіями творческой силы въ русскомъ духѣ, мы не позаботились опредѣлить ихъ отношенія къ такъ называемой русской литературѣ и потому никакъ не могли догадаться, что произведенія нашихъ великихъ поэтовъ—сами по себѣ, а русская литература—сама по себѣ, что между ними нѣтъ ничего общаго, и ни одно изъ нихъ не доказываетъ существованія другого. Эта мысль не новая: она давно уже затаилась въ нѣкоторыхъ умахъ и временами пробивалась наружу, возбуждая удивленіе даже въ тѣхъ самихъ, которые ее выговаривали: Лѣтъ шесть тому назадъ вдругъ раздался рѣзко и громко вопросъ: есть-ли у насъ литература? Такъ какъ этотъ вопросъ выговоренъ былъ среди общаго очарованія, когда публика въ «Библіотекѣ для Чтенія» думала найти пышный и роскошный цвѣтъ русской литературы, и такъ какъ этотъ вопросъ былъ совершенно неожиданъ — то тѣмъ сильнѣе и разнообразнѣе было произведенное имъ впечатлѣніе на всѣхъ и каждаго. Одни приняли его за странность, имѣющую впрочемъ прелесть новости; другіе почли его за нелѣпый парадоксъ, за пошлую шутку надъ здравымъ смысломъ; третьи увидѣли въ немъ непреложную истину; четвертые приняли его за оскорбленіе чувства народной гордости. Кто былъ правъ, кто виноватъ?—Кажется, всѣ были и правы, и виноваты, кромѣ послѣднихъ, которые рѣшительно неправы, ибо истина выше всякихъ чувствъ—и частныхъ и народныхъ, и смиренныхъ и гордыхъ, а сомнѣніе есть первый шагъ и единственный путь къ истинѣ. Что же касается до вопроса о существованіи русской литературы,—много можно было бы сказать даже и въ пользу существованія ея; но мы хотимъ взглянуть поближе на отрицательную сторону вопроса и изслѣдовать основательнѣе. Для этого надобно прежде всего опредѣлить предметъ вопроса—значеніе слова «литература». Запутанность споровъ, дѣлающая невозможнымъ примиреніе спорящихъ сторонъ, происходитъ чаще всего отъ несоблюденія этого правила: обыкновенно начинаютъ спорить, не сказавъ другъ другу, о чемъ хотятъ спорить, и потому всѣ споры бываютъ большей частью за слова, а не за идеи.

Но прежде, нежели приступимъ къ опредѣленію вопроснаго пункта,—намъ должно поговорить о предметѣ, который собственно чуждъ всякой внутренней связи съ нимъ, но который, по причинѣ общественнаго нашего образованія, долженъ составлять приступъ ко всякому разсужденію. Конечно, говоря о немъ, мы будемъ имѣть въ виду совсѣмъ не тѣхъ людей, которые знаютъ, что во всякой истинѣ главное дѣло—сама же истина, а не повтореніе пошлыхъ общихъ мѣстъ, которыя всѣ повторяютъ по привычкѣ, не вѣря имъ.

Нѣтъ ничего смѣшнѣе и нелѣпѣе, какъ находить дерзкимъ и даже преступнымъ сомнѣніе въ существованіи нашей литературы. Истина есть высочайшая дѣйствительность и высочайшее благо; только одна она даетъ дѣйствительное, а не воображаемое счастье. Самая горькая истина лучше самаго пріятнаго заблужденія. О, вы, чувствительныя существа, такъ крѣпко держащіяся за свои бѣдныя убѣжденьица, предпочитающія самое грубое, но пріятное для вашихъ конфектныхъ сердецъ заблужденіе горькой истинѣ,—къ вамъ въ особенности обращаемъ мы рѣчь свою. Вы приходите въ домъ умалишенныхъ и видите человѣка, который, надѣвъ сверхъ своего вязанаго колпака бумажную корону, почитаетъ себя властелиномъ: вѣдь онъ счастливъ своимъ убѣжденіемъ, такъ счастливъ, что вамъ, знающимъ всю тягость жизни, должно-бы было отъ всей души завидовать его счастью—не правда ли?... Но отчего же вы смотрите на него съ невольнымъ сожалѣніемъ и не можете безъ содраганія подумать о возможности для васъ самихъ подобнаго блаженства?... Видите ли, самая ужасная истина лучше самаго

Digitized by Google

лестнаго заблужденія... А между тѣмъ какъ много на свѣтѣ такихъ бумажныхъ властелиновъ и не въ одномъ домѣ умалишенныхъ, а въ своихъ собственныхъ и притомъ иногда очень богатыхъ домахъ, между людьми, которые пользуются извѣстностью отлично умныхъ головъ!... Геніальный Сервантесъ, въ своемъ «Донъ-Кихотѣ», творчески воспроизвелъ идею этихъ бумажныхъ рыцарей, для которыхъ пріятный обманъ дороже горькой истины... Какъ рады они своему несчастью, какъ горды своимъ позоромъ!... Неужели же имъ должно завидовать? Нѣтъ, вы смотрите на нихъ съ тѣмъ насмѣшливымъ состраданіемъ, которое уничижительнѣе, обиднѣе полнаго, презрительнаго невниманія!... И потому, еслибы результатомъ вопроса о существованіи нашей литературы было горькое убѣжденіе въ ея несуществованіи, и тогда мы были бы въ выигрышѣ, а не проигрышѣ, и обязаны были бы благодарностью и тому, кто сдѣлалъ этотъ вопросъ, и тому, кто рѣшилъ его. Лучше благородная, сознательная нищета въ дѣйствительности, нежели мишурное, шутовское богатство въ воображеніи. Изъ всѣхъ родовъ нищихъ, самые жалкіе — испанскіе нищіе, потому что они просятъ у васъ не копѣйки Христа ради, а ста тысячъ піастровъ взаймы, и, получивъ отъ васъ копѣйку, гордо увѣряютъ васъ, что скоро возвратятъ вамъ съ благодарностью ваши сто тысячъ піастровъ...

Но намъ нечего бояться вопроса о существованіи нашей литературы и по другой причинѣ: безпристрастное рѣшеніе этого вопроса не сдѣлаетъ насъ нищими, а только оставитъ насъ при небольшомъ, но цѣнномъ сокровищѣ и пооблегчитъ наши карманы отъ мѣди и мусора, въ кучѣ которыхъ зарыто наше чистое золото. Пусть даже останется и мѣдь, но только чтобъ мы отличали свое золото отъ мѣди и не принимали мѣдь за золото! Вотъ результатъ, которымъ будемъ мы обязаны вопросу о существованіи нашей литературы, — результатъ прекрасный! Но кромѣ того и самъ по себѣ этотъ вопросъ долженъ радовать насъ: съ него начинается новая эпоха нашей литературы и нашего общественнаго образованія, потому что онъ есть живое свидѣтельство потребности сознанія и мысли. Пушкинъ не разъ изъявлялъ свое негодованіе на духъ неуваженія къ историческому преданію и заслуженнымъ авторитетамъ отечественной литературы, — неуваженія, которымъ обозначилось новѣйшее критическое движеніе; мы понимаемъ это оскорбленіе великаго поэта, но не раздѣляемъ его. Этотъ духъ неуваженія не случайность, и причина его заключается не въ буйствѣ, не въ невѣжествѣ, но въ разумной необходимости. Дѣйствительна одна истина, и только въ одной истинѣ благо и счастье; но истина сурова, неумолима и жестока до тѣхъ поръ, пока человѣкъ только спустится къ ней и еще не овладѣлъ ею. Первый шагъ къ ней, какъ мы уже сказали,—сомнѣніе и отрицаніе. Истина есть единство противоположностей, и пока человѣкъ переживаетъ ея моменты, онъ бросается изъ одной крайности въ другую, безпрестанно впадаетъ въ преувеличеніе, исключительность и односторонность; но какъ скоро процессъ совершился, и различія разрѣшились въ гармоническое единство, то всѣ ограниченныя частности улетучиваются въ общее, ложь остается за временемъ, а истина за разумомъ. Слѣдовательно, нечего бояться истины, и лучше смотрѣть ей прямо въ глаза, нежели зажмуриваться самимъ и ложные фантастическіе цвѣта принимать за дѣйствительные. Только робкіе и слабые умы страшатся сомнѣнія и изслѣдованія. Кто вѣруетъ въ разумъ и истину, тотъ не испугается никакого отрицанія. Мы видимъ въ Пушкинѣ великаго мірового поэта; другіе видятъ въ немъ только великаго русскаго поэта (отрицая тѣмъ мировое значеніе Россіи), а иные находятъ въ немъ только отличнаго версификатора. Кто правъ, кто виноватъ? кого казнить, кого миловать?... Никого, милостивые государи! Въ свободномъ царствѣ мысли не должно быть казней и ауто-дафе. Пусть всякій свободно выговариваетъ свое убѣжденіе, если только оно свободно, т. е. чуждо личностей и меркантильнаго духа. О Пушкинѣ говорятъ и спорятъ: одно это уже показываетъ, что предметъ важенъ. Ложное мнѣніе и ошибочныя понятія о Пушкинѣ не повредятъ ему въ потомствѣ, но только скорѣе рѣшатъ вопросъ о немъ. Пушкинъ явится ни больше, ни меньше, какъ тѣмъ, что онъ есть въ самомъ дѣлѣ, и изъ всѣхъ различныхъ и противоположныхъ мнѣній о немъ утвердится только одно—именно то, которое истинно. Конечно отвратительно видѣть осла, который, помня когти и страшное рыканіе льва, нѣкогда приводившее его въ трепетъ, лягаетъ могилу этого «геральдическаго льва» своимъ «демократическимъ копытомъ» (по выраженію самого Пушкина), — однакожъ должно радоваться даже самымъ ложнымъ, но только независимымъ мыслямъ о великомъ поэтѣ: онѣ показываютъ потребность разумнаго сознанія, которое всегда начинается отрицаніемъ непосредственнаго знанія, т. е. знанія по привычкѣ или по преданію. Вотъ точка, съ которой должно смотрѣть на такъ называемый духъ неуваженія въ современной литературѣ. Этотъ духъ неуваженія—предвѣстникъ, свѣтлая заря скораго и истиннаго духа уваженія, который

Digitized by Google

будетъ состоять не въ минералогическихъ характеристикахъ поэзіи и не въ пустозвонныхъ фразахъ о потомкахъ Багрима,—фразахъ, подъ которыми, какъ подъ скорлупой гнилого орѣха, кроется пустота, и которыя тѣшатъ своими побрякушками дѣтское самолюбіе; но духа, который будетъ состоять въ вѣрной критической оцѣнкѣ каждаго писателя по его заслугѣ и достоинству,—оцѣнкѣ, произнесенной на основаніи науки объ изящномъ и перешедшей въ общественное сознаніе.

Мы сказали, что въ первый разъ сомнѣніе въ существованіи русской литературы было высказано лѣтъ шесть тому назадъ. Это было, помнится, въ концѣ перваго года существованія «Библіотеки для Чтенія», слѣдовательно, случилось въ самое время, въ самую пору. Поразительно и грустно было видѣть, какъ мало представилъ такой плотный журналъ, соединившій въ себѣ дѣятельность почти всѣхъ извѣстныхъ, полуизвѣстныхъ и неизвѣстныхъ русскихъ литераторовъ. Кто не помнитъ этого времени?... Но здѣсь мы должны обратиться нѣсколько назадъ, желая быть понятными равно для всѣхъ читателей.

Недавно мы говорили объ ошибочномъ употребленіи словъ «словесность» и «литература», которыя безсознательно смѣшивались и употреблялись одно за другое, какъ будто бы они были не синонимы, а два разныя слова для выраженія совершенно одной и той же идеи. Вслѣдствіе этой ошибки у насъ существовала литература еще до Рюрика и благополучно процвѣтала до эпохи Петра Великаго, и отсюда начала новое существованіе, благодаря великому таланту Кантемира. Да, была словесность, которая есть вездѣ, гдѣ есть слово, языкъ, но которая состоитъ изъ произведеній случайныхъ, ничѣмъ между собою не связанныхъ, и для которой поэтому нѣтъ еще исторіи, а можетъ быть только каталогъ. Въ литературѣ совершается развитіе духа народа; литература—важная сторона исторіи народа. Въ произведеніяхъ словесности мы можемъ прослѣдить только развитіе языка, а не духа народнаго, который является въ ней въ неподвижности своего непосредственнаго, такъ сказать, безъискусственнаго явленія. Но въ нашей словесности нельзя слѣдить даже и за развитіемъ языка, потому что она выражалась не живымъ народнымъ словомъ, а какимъ-то книжнымъ нарѣчіемъ, неподвижнымъ и мертвымъ. Однакожъ лишь только данъ былъ толчокъ непосредственности народа, какъ въ самомъ книжномъ языкѣ оказалось движеніе,—и сатиры Кантемира въ самомъ дѣлѣ какъ будто открываютъ собою начало литературы. Но что это за литература! Кантемиръ былъ первый русскій поэтъ, и писалъ — с а т и р ы! Поэзія всякаго народа начинается или эпопеей, какъ впервые пробудившимся въ народѣ поэтическимъ сознаніемъ его прошедшей жизни, или лирикой, какъ голосомъ непосредственнаго чувства, впервые пробудившагося. Явленіе же с а т и р ы относится скорѣе къ исторіи общества, а не искусства, не поэзіи; оно скорѣе—результатъ созрѣвшей гражданственности, а не пѣснь молодого народа, и тѣмъ болѣе — не первый цвѣтъ молодого искусства. Очевидно, что сатиры Кантемира—явленіе чисто случайное; что духъ народный въ нихъ не участвовалъ; что онѣ вышли не изъ этого духа, не его выразили и не къ нему возвратились. Одно уже иностранное происхожденіе ихъ автора показываетъ, что онѣ не имѣли въ самихъ себѣ никакой необходимости, могли и быть, и не быть, а потому самому и были-то онѣ словно не были. Книга приняла ихъ въ себя, въ книгѣ и остались онѣ; ихъ знаютъ школы, а не общество, но и школамъ извѣстны онѣ какъ мертвый историческій фактъ, а не какъ живое явленіе, по законамъ внутренней необходимости возникшее изъ предшествовавшаго ему явленія и оставившее послѣ себя какіе-нибудь результаты, которые въ свою очередь породили какія-нибудь явленія. Да и кто составлялъ публику сатиръ Кантемира? — Самъ авторъ ихъ. Онѣ не разсердили даже тѣхъ, на кого были писаны, потому что жертвы остроумія Кантемира, за неумѣніемъ грамоты, не могли читать ихъ. Хороша литература, для которой нѣтъ публики!... Явился Василій Кирилловичъ Тредіаковскій, «профессоръ элоквенціи, а паче хитростей піитическихъ», апотеозъ школьной бездарности, — и всѣ заслуги его языку состояли развѣ въ введеніи двухъ-трехъ новыхъ словъ (какъ напр. слова «предметъ»), и еще въ томъ, что онъ искажалъ языкъ своей варварской фразеологіей; а заслуги поэзіи только въ томъ, что онъ опрофанировалъ ее. Между тѣмъ этотъ человѣкъ занимаетъ свое мѣсто въ исторіи русской литературы; о немъ говорятъ и судятъ, и даже въ наше время нашлись люди, которые очень осердились на Лажечникова за то, что онъ въ своемъ «Ледяномъ Домѣ» вывелъ шута шутомъ, а не человѣкомъ, достойнымъ уваженія! — Ломоносовъ положилъ начало первому періоду русской литературы,—и школы утвердили за нимъ титло ея отца. Въ самомъ дѣлѣ, онъ для поэзіи сдѣлалъ гораздо больше, чѣмъ для прозы собственно. Онъ первый установилъ фактуру стиха, ввелъ въ русское стихосложеніе

Digitized by Google

метры, свойственные духу языка; языкъ его стихотвореній, несмотря на свою напыщенность и изобиліе поэтическихъ вольностей, естественнѣе, лучше языка его прозы; сквозь ихъ риторическую одежду изрѣдка блещутъ искры поэзіи, а среди звучныхъ и великолѣпныхъ фразъ иногда попадаются поэтическіе образы. Что же до его прозы—трудно рѣшить, больше вреда или больше пользы оказалъ онъ русскому языку, заковавъ его въ чуждое ему построеніе латинскихъ и нѣмецкихъ періодовъ. Въ томъ и другомъ онъ былъ законодателемъ и имѣлъ сильное вліяніе, какъ основатель какой-то школьной, схоластической литературы, мало имѣвшей (если не совсѣмъ неимѣвшей) отношенія къ обществу, но высоко уважаемой въ школахъ. Отсутствіе народныхъ элементовъ, рабская подражательность ложнымъ образцамъ, слѣпое уваженіе къ единожды признаннымъ авторитетамъ и схоластическія формы—вотъ характеръ всѣхъ его литературныхъ произведеній—и тяжелыхъ трагедій, и «Петріады», и высокопарныхъ рѣчей, и даже лирическихъ пьесъ *).—Сумароковъ имѣлъ большое вліяніе на распространеніе въ полуграмотномъ обществѣ охоты къ чтенію, и его столь же справедливо называютъ отцомъ русскаго театра, какъ Ломоносова—отцомъ русской литературы. Сумароковъ, по положительной бездарности своей, оказалъ больше вреда, чѣмъ пользы зарождавшейся литературѣ, но нельзя отрицать, чтобъ онъ не оказалъ нѣкоторыхъ услугъ общественной образованности. Дѣятельность его была разнообразнѣе дѣятельности Ломоносова: онъ писалъ во всѣхъ родахъ, и еслибы имѣлъ поменьше претензій на геніальность и побольше—не говоримъ таланта, а—способности, не возносился-бы въ недоступную для его ограниченности превыспренность, а писалъ бы въ легкомъ родѣ — комедіи, фарсы, сатиры, журнальныя статьи,—онъ былъ бы замѣчательнымъ для своего времени литераторомъ; и хотя его творенія также были бы забыты, но вліяніе ихъ на свое время было бы дѣйствительнѣе и полезнѣе.—Херасковъ, также человѣкъ безъ всякаго поэтическаго призванія, еще больше утвердилъ направленіе, данное Ломоносовымъ литературѣ. Современники называли его россійскимъ Гомеромъ и Виргиліемъ; Державинъ не смѣлъ думать даже о равенствѣ съ нимъ, не только о превосходствѣ надъ нимъ. — Надутый и холодный Петровъ былъ торжествомъ схоластической литературы. Самъ Державинъ, поэтъ по своей натурѣ и призванію, талантъ несравненно высшій Ломоносова, покорился этому схоластическому направленію, замѣтному даже въ лучшихъ его созданіяхъ... И такъ, что же мы видимъ въ этомъ періодѣ русской литературы?—пустое и безплодное подражаніе, схоластическое, враждебное обществу и жизни направленіе, и случайные проблески дарованій—не больше. Видимъ словесность, но не видимъ литературы.

Ломоносовскій періодъ русской литературы былъ смѣненъ Карамзинскимъ. Вмѣсто подражанія римлянамъ и нѣмцамъ XVII-го вѣка и первой половины XVIII-го вѣка, мы стали подражать французамъ. Языкъ сверглъ съ себя латинско-германскія вериги и вмѣсто ихъ облекся въ шитый французскій кафтанъ прошлаго вѣка. Это было шагомъ впередъ: языкъ приблизился къ языку живому, общественному; литература изъ надуто-германской сдѣлалась сантиментально-общественной и современной. «Бѣдная Лиза» убила «Кадма и Гармонію»; стихи къ Лилетамъ и Нинамъ сбавили цѣны съ громкихъ одъ. Трагедіи Озерова начали извлекать у зрителей слезы умиленія, вмѣсто того, чтобъ только возводить ихъ души на дыбу мишурныхъ фразъ. Между тѣмъ, независимо отъ Карамзина, является поэтическій юноша, даетъ новый толчокъ языку и вводитъ въ русскую литературу туманы Альбіона и нѣмецкую мечтательность; а самостоятельная художническая муза Батюшкова борется съ ложнымъ французскимъ направленіемъ—и то побѣждаетъ его, то побѣждается имъ. Вотъ, въ краткомъ очеркѣ, два періода русской литературы—Ломоносовскій и Карамзинскій, за которыми послѣдовалъ Пушкинскій... Теперь взглянемъ на значеніе слова «литература».

Слово «литература» по-русски можетъ быть переведено словомъ «письменность». Отсюда ясно, что литература есть совокупность словесныхъ произведеній, хранящихся не въ памяти и устахъ народа, но въ книгѣ, и развившихся въ послѣдовательномъ порядкѣ и зависимости другъ отъ друга. Словесность есть кладъ, зарытый въ землѣ и немногими знаемый; литература есть общее достояніе. Занятіе словесностью есть родъ элевзинскихъ таинствъ; — литературою—открытое дѣло, имѣющее прямое и опредѣленное значеніе. Произведенія словесности—тѣни, являющіяся на заклинаніе магика; произведенія литературы — живыя, всѣмъ извѣстныя и для всѣхъ равно доступныя лица, съ опредѣленными именами. Арена словесности—келья монаха, кабинетъ мудреца, зала пиршествъ, темный лѣсъ, зеленыя дубровы и широкія поля; оттуда выхо-

*) Просимъ замѣтить, что здѣсь говорится о Ломоносовѣ только какъ о поэтѣ-литераторѣ, а не какъ объ ученомъ. Ученыя заслуги его безсмертны и еще не оцѣнены надлежащимъ образомъ.

Digitized by Google

дили всѣ произведенія ея—хроники, лѣтописи, легенды, пѣсни, сказки и проч. Арена литературы имѣетъ опредѣленное мѣсто: это родъ сцены, на которой разыгрывается драма передъ лицомъ многочисленнаго собранія, изъявляющаго рукоплесканіями и кликами участіе свое и восторгъ. Письмо спасло произведенія словесности отъ забвенія и изъ хранилища памяти перевело ихъ въ хранилище рукописи; книга родила и упрочила возможность литературы и произведенія самой словесности сдѣлала принадлежностью литературы. Словесность существовала у всѣхъ народовъ, пока слово было достояніемъ цѣлаго народа, а не избранныхъ изъ среды лицъ, составляющихъ народъ; оттого-то и неизвѣстны творцы этихъ наивныхъ и могущественныхъ въ своей цѣломудренной простотѣ народныхъ пѣсенъ, легендъ и сказокъ. Если сохранились имена лѣтописцевъ,—этимъ они обязаны искусству писанія, а не сокровищницѣ народной памяти, удерживавшей въ себѣ только пословицы и пѣсни, какъ произведенія отдѣльныхъ лицъ, которыя превосходили всѣ прочія глубокостью своихъ натуръ, силой талантовъ, но не образованіемъ. И потому лѣтописи, требовавшія людей, которые бы превосходили современниковъ своимъ образованіемъ, уже представляютъ собою какъ бы начало литературы. Всѣ европейскія литературы начались въ среднихъ вѣкахъ богословскими сочиненіями, и преимущественно богословской полемикой; но только книгопечатаніе могло дать этой полемикѣ и обширнѣйшій кругъ дѣйствія, и бо́льшую энергію, и большее вліяніе, и бо́льшій интересъ: ибо только книгопечатаніе могло дать этой великой драмѣ приличную для нея сцену, съ которой всѣмъ равно были видны ея ходъ и развитіе. Отдѣльность, изолированность и сепаратность произведеній ума—характеристическая принадлежность словесности; общность, взаимная связь, зависимость и соотносительность—характеристическая принадлежность литературы.

Но все это только описаніе, признаки, а не опредѣленіе литературы, изъ котораго единственно можетъ быть видна сущность вопроса. Литература есть сознаніе народа: въ ней, какъ въ зеркалѣ, отражаются его духъ и жизнь; въ ней, какъ въ фактѣ, видно назначеніе народа, мѣсто, занимаемое имъ въ великомъ семействѣ человѣческаго рода, моментъ всемірно-историческаго развитія человѣческаго духа, который онъ выражаетъ своимъ существованіемъ. Источникомъ литературы народа можетъ быть не какое-нибудь внѣшнее побужденіе или внѣшній толчокъ, но только міросозерцаніе народа. Міросозерцаніе всякаго народа есть зерно, сущность (субстанція) его духа, тотъ инстинктивный внутренній взглядъ на міръ, съ которымъ онъ родится, какъ съ непосредственнымъ откровеніемъ истины, и который есть его сила, жизнь и значеніе,—та призма съ однимъ или нѣсколькими первосущными цвѣтами радуги, сквозь которую онъ созерцаетъ тайну бытія всего сущаго. Міросозерцаніе есть источникъ и основа литературы. Это фонъ, на которомъ рисуются ея картины, канва, по которой вышиваются ея узоры. Чтобы объяснить это примѣромъ, мы должны указать на литературы важнѣйшихъ въ развитіи человѣчества народовъ. Разумѣется, это будутъ не характеристики, а только легкіе намеки; опредѣлить міросозерцаніе народа — задача великая, трудъ гигантскій, достойный усилій величайшихъ геніевъ, представителей современнаго философскаго знанія: это значитъ исчерпать всю жизнь народа, о которомъ идетъ рѣчь... Однакожъ попытаемся сдѣлать хоть легкій очеркъ.

Оставляя въ сторонѣ санскритскую поэзію, въ исполинскихъ и чудовищныхъ образахъ которой ярко свѣтится пантеистическое міросозерцаніе, которое поняло Бога въ его воплощеніи въ природѣ и ея великихъ процессахъ,—обратимся къ другому народу древности, болѣе близкому къ намъ, считающимъ себя европейцами, — къ грекамъ.

Для выраженія нашей мысли достаточно будетъ одной легкой черты изъ «Иліады»— этого вѣчно-живого слова, субстанціальнаго источника жизни грековъ, изъ котораго истекли вся дальнѣйшая ихъ литература и знаніе, и въ отношеніи къ которому и трагики, и лирики ихъ, и самъ философъ Платонъ — только его развитіе и дополненіе. Помните ли вы то мѣсто въ XVIII пѣснѣ «Иліады», гдѣ Гефестъ-хромоногій приготовляется къ принятію посѣтившей его обитель Ѳетиды, среброногой матери Ахиллеса, пришедшей молить его, да сдѣлаетъ по замысламъ творческимъ божественный художникъ новые доспѣхи ея любезному сыну:

Рекъ, и отъ наковальни великанъ закоптѣлый поднялся,
И, *хромоногій, медлительно голени слабыя двигалъ*:
Снялъ отъ горна мѣха, и снаряды, какими работалъ,
Собралъ всѣ, и вложилъ ихъ въ красивый ларецъ среброкованный;
Губкою влажною вытеръ лицо и могучія руки,
Выю дебелую, жилистый тылъ и косматыя перси;
Ризой одѣлся, и толстымъ жезломъ подпираяся, въ двери
Вышелъ хромая; прислужницы, подъ руки взявши владыку,
Шли . . . . . .
Съ боку владыки онѣ поспѣшили, *а онъ, колыхаясь,*
Къ мѣсту прибрѣлъ, гдѣ Ѳетида сидѣла на тронѣ блестящемъ...

Digitized by Google

или то мѣсто, въ XX пѣснѣ, гдѣ боги, получившіе соизволеніе отъ Зевса сражаться за ту сторону, за которую кто хочетъ, спѣшатъ съ многохолмнаго Олимпа, кто къ рати ахейцевъ, кто къ рати данаевъ:

Съ ними къ судамъ и Гефестъ огромный и пышущій силой,
Шелъ хромая; съ трудомъ волочилъ онъ увѣчныя ноги.

Какая превосходная, дивно-прекрасная картина—чего же?—не красоты, а безобразія!... Какое поэтически-прекрасное безобразіе!.. Такую черту можно подмѣтить только у народа, который на все смотрѣлъ и все понималъ сквозь призму красоты; котораго даже повседневная жизнь до того была проникнута чувствомъ красоты, что женщины, являвшіяся публично съ неубранными волосами, подвергались взысканію по закону. Да, только народъ-художникъ, поклонникъ и служитель красоты, могъ изъ тѣлеснаго недостатка, изъ безобразія и уродства создать типъ такой оригинальной, такой обаятельной красоты!...

Теперь укажемъ на три современныя намъ великія націи — представительницы современнаго человѣчества. Германія и Франція представляютъ собою два противоположные полюса, двѣ противоположныя крайнія стороны духа человѣческаго: первая — вся мысль, вся идея, вся созерцаніе; вторая— вся дѣло, вся жизнь. Германія понимаетъ (созерцаетъ) жизнь, какъ сознаніе,—и отсюда мыслительно-созерцательный, субъективно-идеальный характеръ ея искусства и науки; отъ этого и само искусство ея не что иное, какъ параллель философіи, какъ особенная форма созерцательнаго мышленія, и отсюда же абсолютный, мірообъемлющій и вѣчно-юный характеръ произведеній ея литературы вообще—и науки, и поэзіи. Франція, напротивъ, понимаетъ (созерцаетъ) жизнь, какъ развитіе общественности, какъ приложеніе къ обществу всѣхъ успѣховъ науки и искусства, и отсюда положительный характеръ ея науки и общественный (соціальный) характеръ ея искусства. Для нѣмца наука и искусство—сами себѣ цѣль и высшая жизнь, абсолютное бытіе; для француза наука и искусство—средства для общественнаго развитія, для отрѣшенія личности человѣческой отъ тяготящихъ и унижающихъ ее оковъ преданія, моментальнаго опредѣленія и временныхъ (а не вѣчныхъ) общественныхъ отношеній. И вотъ причина, почему литература французская имѣетъ такое огромное вліяніе на всѣ образованные народы; вотъ почему ея летучія произведенія пользуются такой всеобщностью, такой извѣстностью; вотъ почему они такъ и недолговѣчны, такъ эфемерны. Ихъ содержаніе—интересы и вопросы настоящей минуты: съ нею они возрождаются, съ нею и проходятъ, ибо въ этой кипящей жизнью землѣ завтра уже не интересуетъ то, что интересовало вчера. Что такое Корнель и Расинъ, какъ не поэты придворнаго этикета, придворной утонченности жизни? И что герои и героини ихъ такъ называемыхъ трагедій, эти пудреные греки и римляне, эти гречанки и римлянки, съ фижмами и мушками, какъ не представители выродившейся рыцарственности, любезные кавалеры и дамы блестящаго двора Людовика XIV?... Отцвѣла французская монархія, съ своими маркизами, контами и виконтами, съ своими париками и фижмами,—и геніальныя трагедіи плѣняютъ только людей, чуждыхъ эстетическаго вкуса. Теперь насталъ другой вѣкъ: Вольтеръ и Руссо забыты, энциклопедисты уже не почитаются извергами человѣческаго рода, хотя—надо сказать правду—за покойниками и много водилось грѣшковъ. Такъ называемая романтическая школа: Гюго, Сю, Жаненъ, Бальзакъ, Дюма, Жоржъ Зандъ и другіе возникли и преходятъ на нашихъ глазахъ и готовятся къ смѣнѣ; но какъ еще недавно ярка была ихъ слава, какъ велико было ихъ вліяніе! И что же они? что такое «Послѣдній день осужденнаго къ смерти», «Мертвый оселъ и гильотинированная женщина»? что такое кровавыя нелѣпости Александра Дюма?—протестъ человѣка противъ общества, апелляція человѣческой личности на общество, поданная ею этому же самому обществу. Что такое восторженныя бредни Жоржъ Занда?—profession de foi сенсимонизма въ формѣ повѣстей, драмъ и романовъ. Что такое «Notre Dame de Paris» и всѣ драмы Гюго?—усиліе доказать, что и въ самыхъ искаженныхъ человѣческихъ натурахъ есть прекрасныя стороны; что чудовище Квазимодо можетъ нѣжно любить женщину, что развратная Маріонъ де-Лормъ можетъ возстать отъ униженія и возвратить свое утраченное женственное достоинство чрезъ чувство любви, развратный шутъ Трибюле можетъ нѣжно любить свою дочь, а гнусное чудовище Лукреція Борджіа можетъ обнаруживать глубокое материнское чувство, и т. п. Повторяемъ: вотъ причина, почему эфемерныя явленія французской литературы всегда имѣли и будутъ имѣть сильнѣйшее вліяніе на большинство публики всѣхъ образованныхъ народовъ и пользоваться большей извѣстностью, чѣмъ произведенія величайшихъ художниковъ. Тѣ, которые на нихъ нападаютъ, смотря на нихъ съ точки зрѣнія искусства, ищутъ въ нихъ не того, чего въ нихъ должно искать,—и потому ошибаются, отрицая даровитость и достоинство

Digitized by Google

въ людяхъ, обращающихъ на себя вниманіе цѣлаго міра. Короче: изъ міросозерцанія французскаго народа можно вывести и хорошія, и дурныя стороны его литературы: и искренность пламеннаго чувства, живую симпатію къ интересамъ человѣчества, увлекательную, общедоступную форму, въ которую съ такой легкостью облекаетъ онъ нерѣдко самыя отвлеченныя юношескія,—не скажу мысли, но мечты,—и крайности, нелѣпости, фразистость, любовь къ эффектамъ, риторическую шумиху, явленіе жалкихъ талантовъ, подобныхъ Ламартину, и проч.

Англичане представляютъ собою какъ-бы примиреніе Германіи съ Франціей. Страна по преимуществу общественная, практическая, Англія уважаетъ преданіе и борется съ нимъ, и побѣждаетъ его на законномъ основаніи, съ соблюденіемъ формъ, разсчитаннымъ и размѣреннымъ шагомъ, медленно, осторожно, прочно и вѣрно. Чуждая французской отвлеченности и юношеской способности увлекаться мечтами и идеями, Англія глубоко понимаетъ жизнь; отчизна Шекспира, она владѣетъ литературой, представляющей изъ себя существенныя (субстанціальныя) произведенія искусства, которыя германская мыслительность торжественно признаетъ абсолютными и вѣчными; но практическая и положительная Англія чужда всякой отвлеченности въ мышленіи, и всѣ ея попытки въ философіи всегда были ничтожны сами по себѣ и нисколько недостойны ея великихъ успѣховъ въ поэзіи.

Характеръ германскаго мышленія и поэзіи—превыспренность и идеальность. Остроуміе есть орудіе французовъ во всемъ, даже въ возвышенной поэзіи, чему самымъ разительнымъ примѣромъ служатъ игривыя и шипучія, подобно національному ихъ напитку, созданія Беранже. Юморъ лежитъ въ основаніи британскаго міросозерцанія.

Теперь, въ чемъ же состоитъ наше русское міросозерцаніе? Наука еще не сдѣлала у насъ никакого успѣха, и потому не въ ней должно искать нашего міросозерцанія (ибо міросозерцаніе выражается не въ математикѣ и другихъ положительныхъ наукахъ, а въ исторіи и философіи, которыхъ, какъ наукъ, у насъ еще нѣтъ). Станемъ же искать его въ поэзіи. Развернемъ наши народныя пѣсни и легенды: что́ найдемъ въ нихъ? Духъ силы, какого-то удальства, которому море по колѣно, какого-то широкаго размета души, незнающаго мѣры ни въ горѣ, ни въ радости. Но сила эта пока еще чисто матеріальная: она проявляется въ богатыряхъ, которымъ палица въ триста пудъ—что тросточка, которые кладутъ въ ротъ по ковригѣ и запиваютъ ушатомъ. Удальство и широкій разметъ души опять-таки показываютъ сильную, свѣжую и здоровую натуру народа, но въ нихъ еще не видно никакого міросозерцанія. Правда, глубокая грусть, при этой исполинской силѣ, намекаетъ на какое-то темное *) сознаніе противорѣчія судьбы народа съ его значеніемъ; но все это относится собственно къ его индивидуальности, а міросозерцаніе есть непосредственное разумѣніе общаго, вѣчнаго, непреходящаго. Но еслибы и можно было отыскать въ нашей естественной (народной) поэзіи слѣды какого-нибудь міросозерцанія,—оно не могло ни развиться, ни произвести какія-либо слѣдствія, потому что Россія жила изолированной отъ человѣчества жизнью, чуждая интересовъ человѣчества, и до Петра Великаго была, подобно восточнымъ монархіямъ—не государствомъ, а народомъ-семействомъ. Слѣдовательно, тутъ нѣтъ и слова о литературѣ. Теперь, откуда же могла взяться литература послѣ Петра?... И ея естественно не было, потому что не могло быть. Намъ скажутъ, что Россія, пріобщившись жизни европейской, пріобщилась и ея интересамъ. Прекрасно; но эти интересы нельзя было перевезти съ товарами изъ-за границы; ихъ надо было развить изъ своей жизни, а Россіи было не до того: она хлопотала, какъ и слѣдовало, объ усвоеніи себѣ не содержанія, а пока только формъ европейской жизни. Поэтому удивительно ли, что въ поэзіи Ломоносова нѣтъ никакой поэзіи, потому что нѣтъ никакого обще-человѣческаго (въ народной формѣ) содержанія? удивительно ли, что народъ остался къ ней равнодушенъ и доселѣ не знаетъ о ея существованіи? А между тѣмъ въ Ломоносовѣ нельзя отрицать ни замѣчательнаго поэтическаго таланта, ни великаго ума, ни великой души.—Потомъ Державинъ. Какое міросозерцаніе лежитъ въ основѣ его творчества?—Оно все высказалось въ его-дивно-прекрасной одѣ «на смерть Мещерскаго», этомъ величайшемъ его созданіи, и особенно въ этихъ стихахъ:

Ликъ роскоши, прохладъ и нѣгъ,
Куда, Мещерскій! ты сокрылся?
Оставилъ ты сей жизни брегъ,
Къ брегамъ ты мертвыхъ удалился.
Здѣсь персть твоя, и духа нѣтъ.
Гдѣ-жъ онъ?—онъ тамъ!—Гдѣ тамъ?—не знаемъ,
Мы только плачемъ и взываемъ:
«О, горе вамъ, рожденнымъ въ свѣтъ!»

Эта мысль о преходимости жизни, неизвѣстности за гробомъ, какъ громъ среди пиршества, прохладъ и нѣгъ, приводила въ оцѣпенѣніе игравшихъ жизнію дѣтей русскаго XVIII вѣка,—и въ одной этой мысли заключается все міросозерцаніе Держа-

*) Здѣсь разумѣется исторія народа отъ ея начала до временъ Петра Великаго,—времени, когда кончилась собственно-народная поэзія а народу было указано его истинное, великое назначеніе.

Digitized by Google

вина. Вы ее увидите и въ другомъ великомъ его произведеніи «Водопадъ». Даже въ послѣднихъ его стихахъ, написанныхъ уже хладѣющими отъ смерти перстами, выразилась все она же, все эта же мысль. Но откуда вышло это міросозерцаніе столь исключительное и одностороннее? Изъ народной ли жизни?—нѣтъ! оно было чуждо народа, чуждо даже среднихъ сословій его: оно перешло изъ Европы въ изношенномъ видѣ къ вельможеству того времени—единственному слою тогдашняго общества, который прежде всѣхъ пробудился къ жизни и пріобщился, хотя и внѣшнимъ образомъ, къ интересамъ европейскаго существованія. Но вѣкъ тотъ прошелъ, а въ царствованіе Александра Благословеннаго пробудилось къ жизни среднее дворянство, уже незаставшее этого вѣка. Удивительно ли послѣ этого, что наше общество доселѣ такъ упорно равнодушно къ Державину и не хочетъ его читать, хоть и признаетъ въ немъ великій талантъ?—Велики заслуги Карамзина русскому обществу, русскому образованію, русской литературѣ; безсмертно и велико имя его; но онъ сынъ своего времени, дѣйствователь своей эпохи,—и не содержаніе русской жизни развивалъ онъ въ своихъ сочиненіяхъ, а знакомилъ русскихъ съ содержаніемъ европейской жизни.—Мы сказали о значеніи Корнеля и Расина, какъ поэтовъ и трагиковъ; но, право, не умѣемъ сказать значенія Озерова: онъ былъ человѣкъ не безъ таланта и подражалъ французскимъ трагикамъ,—вотъ все.—Не менѣе Карамзина велика заслуга русскому обществу, образованію, литературѣ и со стороны Жуковскаго; но это опять знакомство Россіи съ Европой, а не Европы съ Россіей.—Не ищите также русскаго содержанія и въ художественной поэзіи Батюшкова; она чистый космополитизмъ: она понемногу и французская, и англійская, и древне-греческая, и никакая, а главное—нисколько не русская.

Гдѣ жъ тутъ литература, какъ сознаніе народа, какъ выраженіе его міросозерцанія? Гдѣ ея историческое развитіе? Скажите, въ какомъ отношеніи между собою находятся эти поэты — Ломоносовъ, Державинъ, Карамзинъ, Жуковскій, Батюшковъ? Докажите, что Жуковскій непремѣнно долженъ былъ явиться послѣ Карамзина, а не прежде; Озеровъ и Батюшковъ—не прежде ихъ обоихъ!... Нѣтъ, каждый изъ нихъ дѣйствовалъ самъ по себѣ и отъ себя, независимо отъ прошедшаго, не спрашиваясь у настоящаго. Это герои, великія или замѣчательныя личности; но въ ихъ лицѣ не замѣтно историческихъ судебъ народа: герои сами по себѣ, народъ самъ по себѣ. Только одинъ изъ нихъ требуетъ исключенія: это Крыловъ,—и онъ всего лучше доказываетъ вѣрность нашего взгляда на этотъ предметъ. Его басни вышли изъ народнаго русскаго ума, изъ русскаго разсудочнаго созерцанія жизни. За то, въ лицѣ Крылова, басня русская достигла своего высшаго развитія, — и народъ знаетъ Крылова: вѣдь кто-нибудь да раскупилъ же сорокъ тысячъ экземпляровъ его басенъ!...

Только съ Пушкина начинается русская литература, ибо въ его поэзіи бьется пульсъ русской жизни. Это уже не знакомство Россіи съ Европой, но Европы съ Россіей. Этотъ вопросъ однакожъ требуетъ изслѣдованія. Для насъ величайшее созданіе Пушкина—его «Каменный Гость». Но какое содержаніе этого произведенія? Оно родилось въ Испаніи и взлелѣяно ею; его воспроизводилъ великій Моцартъ въ музыкѣ, великій Байронъ въ поэзіи. Русскій поэтъ воспроизвелъ его чуть ли еще не полнѣе и не глубже Байрона; но его великое созданіе—какое оно?—европейское. Будь Анахарсисъ великимъ поэтомъ, какъ Эсхилъ,—онъ создалъ бы «Прометея», миѳъ греческій, плодъ греческаго міросозерцанія, но твореніе было бы обще-человѣческое, и его оцѣнили бы греки, а скиѳы даже и не узнали бы о его существованіи. Съ этой же точки смотримъ мы на «Бахчисарайскій Фонтанъ», «Цыганъ», «Скупого Рыцаря», «Моцарта и Сальери», «Египетскія ночи» и проч.: все это созданія великія, міровыя и чисто-европейскія; но какому народу, какому вѣку принадлежатъ они? — Человѣчеству и вѣчности!... Что такое напримѣръ Байронъ и Шиллеръ? Первый выразилъ собою переходъ отъ одного вѣка къ другому, другой былъ провозвѣстникомъ новаго вѣка. Тотъ и другой занимаютъ извѣстное и опредѣленное мѣсто во всемірно-историческомъ развитіи человѣчества, и ни тотъ, ни другой не могъ бы явиться въ другое время, а еслибъ и явился, то его поэзія носила бы на себѣ другой характеръ, выразила бы другую мысль, другое содержаніе. Поэзія Байрона — это вопль страданія, это жалоба, но жалоба гордая, которая скорѣе даетъ, чѣмъ проситъ, скорѣе снисходитъ, чѣмъ умоляетъ; это Прометей, прикованный къ Кавказу; это личность человѣческая, возмутившаяся противъ общаго и, въ гордомъ возстаніи своемъ, опершаяся на самое себя. Отсюда эта исполинская сила, эта непреклонная гордыня, этотъ могучій стоицизмъ, когда дѣло касается до общаго—и эта грустная любовь, эта кроткая задушевность, эта нѣжность и мягкость при обращеніи къ несправедливо отягощенной страданіемъ личности. Шиллеръ — адвокатъ человѣчества, но полный любви и довѣренности къ общему, провоз-

Digitized by Google

вѣстникъ высокихъ истинъ, голосъ, сзывающій братьевъ по человѣчеству отъ земли къ небу, органъ неистощимой любви къ человѣчеству; подобно Байрону, онъ весь въ созерцаніи правъ личнаго человѣка, индивидуума, противъ эгоизма общества, предразсудковъ и темныхъ, непросвѣтленныхъ разумнымъ сознаніемъ вѣрованій; но онъ полонъ любви и очарованія, полонъ надеждъ; его поэзія—явно моментъ, предшествующій поэзіи Байрона, и онъ выразилъ его въ духѣ своей націи. Оба они стоятъ на прагѣ, раздѣляющемъ XVIII вѣкъ отъ XIX-го, и для обоихъ нѣтъ другого мѣста, другого момента времени. Поэзія того и другого—страница изъ исторіи человѣчества; вырвите ее—и цѣлость исторіи исчезла: останется пробѣлъ, ничѣмъ незамѣнимый. Гдѣ же мѣсто Пушкина? какую страницу исторіи заняла его поэзія?... Не менѣе Байрона и Шиллера великій, онъ тѣмъ не менѣе могъ не быть, какъ и былъ,—и въ исторіи человѣчества отъ этого не сдѣлалось бы ни малѣйшаго пробѣла. Явленіе міровое и великое по своей творческой силѣ, онъ—человѣкъ, пріобщившійся, по праву человѣческой природы, а не по историческому праву, человѣческихъ интересовъ, усвоившій ихъ себѣ и вполнѣ воспользовавшійся ими, какъ готовымъ содержаніемъ для своего исполинскаго генія... Здѣсь опять еще не видно собственно русской литературы...

Но Пушкинъ былъ въ то же время и поэтъ русскій по преимуществу, однакожъ не въ «Полтавѣ» и не въ «Борисѣ Годуновѣ», въ которыхъ сама исторія дала ему готовое содержаніе и готовое міросозерцаніе, а въ «Евгеніи Онѣгинѣ». Здѣсь онъ исчерпалъ до дна современную русскую жизнь, но—Боже мой!—какое это грустное произведеніе!... Въ немъ жизнь является въ противорѣчіи съ самой собою, лишенной всякой субстанціальной силы. Герой поэмы—Онѣгинъ, человѣкъ, чувствующій свое превосходство надъ толпою, рожденный съ большими силами души, но въ тридцать лѣтъ уже безжизненный, отцвѣтшій, чуждый всякихъ интересовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ неспособный войти въ общую колею пошлой жизни, равно зѣвающій «средь модныхъ и старинныхъ залъ»... Въ концѣ романа онъ воскресаетъ къ жизни, ибо въ немъ воскресаетъ желаніе, но потому только, что оно невыполнимо,—и романъ оканчивается ничѣмъ. Героиня его Татьяна и второстепенное лицо Ленскій—чудные, прекрасные человѣческіе образы, благороднѣйшія натуры; но уже по этому самому они чужды всего остального міра окружающихъ ихъ людей, связаны съ ними только внѣшними узами; между своими—они какъ будто между врагами, у себя дома—какъ будто въ непріятельскомъ станѣ; они—явленія отдѣльныя, исключительныя и какъ-бы случайныя, какъ великіе таланты въ русской литературѣ... Окружающая ихъ дѣйствительность ужасна—и они гибнутъ ея жертвой, и тѣмъ скорѣе, что не понимаютъ, подобно Онѣгину, ея значенія, и довѣрчивы къ ней... Весь этотъ романъ—поэма несбывающихся надеждъ, недостигающихъ стремленій,—и будь въ ней то, что́ люди, непонимающіе дѣла, называютъ планомъ, полнотой и оконченностью,—она не была бы великимъ созданіемъ великаго поэта, и Русь не заучила бы ея наизусть... Это приводитъ намъ на память другое русское созданіе—«Невскій Проспектъ» Гоголя, въ которомъ художникъ Пискаревъ погибъ жертвой своего перваго столкновенія съ дѣйствительностью, а подпоручикъ Пироговъ, поѣвши въ кондитерской сладкихъ пирожковъ и почитавши «Пчелки», забылъ о мщеніи за кровную обиду...

Вотъ гдѣ видно начало русской литературы, но еще не русская литература. Она только что начинается, но ея еще нѣтъ,—и начинается она съ Пушкина, а до него рѣшительно не было русской литературы; вмѣсто ея была словесность—рядъ отдѣльныхъ, ничѣмъ не связанныхъ между собою явленій, вышедшихъ не изъ родной почвы русскаго духа, а изъ подражанія чужимъ образцамъ...

Не знаемъ, какъ покажется читателямъ нашъ взглядъ на русскую литературу; но что касается до насъ собственно—по пословицѣ: «что у кого болитъ, тотъ о томъ и говоритъ»—мы и тому рады, что постарались рѣшить вопросъ ко взаимному удовольствію обѣихъ сторонъ—и той, которая не признаетъ существованія русской литературы, и той, которая держится за нее обѣими руками. Да, мы такъ этому рады, что продолжимъ наши доказательства, но теперь уже чисто практическими фактами, чтобъ всякій, имѣющій глаза, могъ видѣть.

Литература не можетъ существовать безъ публики, какъ и публика безъ литературы: это фактъ столь же неоспоримый, какъ и почтенная истина, что дважды-два—четыре. А есть ли у насъ публика?... Прежде, чѣмъ рѣшимъ этотъ вопросъ, опредѣлимъ сперва, что́ такое публика. Если подъ этимъ словомъ разумѣется извѣстное число людей, читающихъ и покупающихъ книги, то, конечно, и у насъ есть публика, хоть и небольшая относительно всей массы народонаселенія, точно такъ же, какъ если подъ «литературой» должно разумѣть извѣстное количество печатныхъ книгъ, то у насъ есть литература, хотя и небольшая. Жители про-

Digitized by Google

винцій,—и это, право, почтенные люди,—пріѣзжая по дѣламъ въ Петербургъ или Москву, между другими, болѣе важными вещами, гостинцами для женъ, дочерей и сыновей, покупаютъ и книги; на Макарьевской ярмаркѣ, дѣлая годовыя закупки чая, кофе, сахара и прочаго домашняго обихода, они запасаются и книгами. Журналы наши находятъ себѣ подписчиковъ, и даже очень много: у одного журнала, говорятъ, было ихъ нѣкогда—давно ужъ—около пяти тысячъ. И такъ, у насъ есть публика!... Но нѣкоторые подъ «публикой» разумѣютъ другую сторону одного и того же народа, сознающаго себя въ литературѣ,—сторону, которая въ созданіяхъ пишущей стороны находитъ свой же собственный духъ, свою же собственную жизнь. По этому мнѣнію, котораго и мы придерживаемся, публика находится въ живомъ соотношеніи съ своими писателями: тѣ—производители, она—потребитель; тѣ—актёры, она—зрители, награждающіе актеровъ своимъ сочувствіемъ, своими восторгами. Литература есть ея сокровище, ея добро: она судитъ о ея произведеніяхъ, назначаетъ имъ цѣну, не даетъ возвышаться жалкой посредственности, ни глохнуть въ забвеніи истинному таланту. Для публики занятіе литературой не есть отдохновеніе отъ заботъ жизни, не сладкая дремота въ эластическихъ креслахъ послѣ жирнаго обѣда, за чашкой кофе;—нѣтъ, занятіе литературой для нея res publica, дѣло общественное, великое, важное, источникъ высокаго нравственнаго наслажденія, живыхъ восторговъ. Несмотря на безконечное множество лицъ, составляющихъ публику, она сама есть нѣчто единое, единичная живая личность, исторически развивавшаяся, съ извѣстнымъ направленіемъ, вкусомъ, взглядомъ на вещи. Поэтому публика видитъ въ литературѣ с в о е, плоть отъ плоти своей, кость отъ костей своихъ, а не что-нибудь чуждое, случайно наполнившее собою извѣстное число книгъ и журналовъ. Гдѣ есть публика, тамъ писатели выговариваютъ народное содержаніе, вытекающее изъ народнаго міросозерцанія, а публика своимъ участіемъ, выраженіемъ своего восторга или неудовольствія показываетъ, до какой степени тотъ или другой писатель достигъ въ своемъ твореніи этой высокой цѣли. Гдѣ есть публика, тамъ есть и общественное мнѣніе, опредѣленно произнесенное, есть родъ непосредственной критики, которая отдѣляетъ пшеницу отъ плевелъ, награждаетъ истинное достоинство, наказываетъ жалкую бездарность или дерзкое шарлатанство. Публика есть высшее судилище, высшій трибуналъ для литературы. Мы не будемъ говорить, есть ли у насъ публика, или до какой степени она есть у насъ, но представимъ нѣсколько фактовъ, и старыхъ и новыхъ, по которымъ пусть всякій дѣлаетъ какое ему угодно заключеніе. У насъ былъ журналъ *), старавшійся знакомить насъ съ современной Европой, распространявшій мысль о движеніи мысли по закону смѣненія стараго новымъ, объ отсталости и устарѣлости всего, что̀ не слѣдитъ за успѣхами ума человѣческаго во времени. Вѣрный своему направленію, этотъ журналъ много пустилъ въ оборотъ дѣльныхъ понятій, много уничтожилъ незаслуженныхъ авторитетовъ, еще больше уничтожилъ заплесневѣлыхъ убѣжденій, литературныхъ предразсудковъ, убилъ на-повалъ вліяніе на нашу литературу французскаго псевдо-классицизма. Большое дѣло было имъ сдѣлано! Правда, его заслуга была отрицательная: онъ много уничтожилъ дурного и ничего не утвердилъ хорошаго; его призваніе было—разрушать, а не созидать, но если вы на мѣстѣ стараго, безобразнаго дома хотите выстроить новый и красивый—вамъ нельзя будетъ сдѣлать этого, если не сломаете стараго, а это трудъ немалый! И вотъ журналъ, о которомъ мы говоримъ, кончилъ свое дѣло вполнѣ, такъ что ужъ сталъ повторять самого себя; не говоря ничего новаго, началъ становиться самъ въ ряды отсталыхъ, благодаря быстрому ходу и движенію всего новаго. Наконецъ онъ прекратился. Надо сказать, что публика наша оцѣнила его, отличивъ его отъ другихъ: онъ былъ исключительнымъ ея любимцемъ, и у него доходило иногда, какъ говорятъ, до 1500, и никогда не бывало меньше 1200 подписчиковъ въ то время, какъ его собратіи довольствовались и тремя-стами, а при шестистахъ подписчикахъ считали себя богачами и счастливцами... Вдругъ на его мѣсто является другой журналъ **) и, благодаря ловкой программѣ, оборотливости книгопродавца и содѣйствію пріятельской газеты, пріобрѣтаетъ вдругъ около 5000 подписчиковъ. Что̀ же?—всѣ думаютъ, что это будетъ журналъ съ мнѣніемъ, направленіемъ, что онъ пойдетъ дальше своего предшественника, будетъ высказывать что-нибудь положительное, будетъ зрѣлѣе, основательнѣе, глубже, словомъ,—начнетъ съ того, на чемъ остановился его предшественникъ... Ничего не бывало! новый журналъ дебютировалъ слѣдующими глубоко философскими идеями: «изящное не существуетъ само по себѣ, какъ абсолютная сущность, но есть понятіе относительное, которое основывается на личномъ ощущеніи всѣхъ и каждаго,

*) «Телеграфъ».
**) «Библіотека для Чтенія».

Digitized by Google

и выражается формулой: это хорошо, потому что мнѣ нравится, и это дурно, потому что мнѣ не нравится». Вотъ что называется идти съ вѣкомъ наравнѣ! Вотъ истинный шагъ впередъ!... Но этимъ проказа не кончилась: журналъ простеръ несравненно далѣе свое «изволятъ потѣшаться надъ публикой». Онъ вдругъ провозгласилъ, что прогрессъ человѣчества — вздоръ; что слѣдовательно исторія тоже — вздоръ; что разумъ просто надуваетъ человѣчество; что знаніе невозможно, наука и ученье ни къ чему не ведутъ; что историческіе романы Вальтеръ Скотта—плодъ незаконнаго совокупленія исторіи съ поэзіей, и пр., и пр. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ мудрыхъ правилъ этотъ журналъ поставилъ на одну доску великаго Гёте съ Кукольникомъ, упалъ передъ обоими ними на колѣни и, закрывъ глаза, въ восторгѣ началъ кричать: «Великій Гёте! Великій Кукольникъ!» Это было сдѣлано имъ при разборѣ «Торквато Тассо», произведенія Кукольника, отличающагося нѣсколькими довольно удачными стихами и теперь совершенно забытаго. Вмѣстѣ съ произведеніями Пушкина, Жуковскаго, князя Одоевскаго этотъ журналъ началъ печатать повѣстцы извѣстнаго рода в е с е л а г о содержанія и стишки разныхъ господъ, неумѣвшихъ даже нанизывать риѳмы. Не довольствуясь этимъ, онъ постоянно, съ какой-то систематической разсчетливостью, сталъ преслѣдовать все, въ чемъ есть хоть сколько-нибудь таланта, и покровительствовать всему, что̀ отличалось бездарностью или посредственностью. И что же? публика тотчасъ увидѣла, что надъ нею «изволятъ потѣшаться», что ее «надуваютъ» за ея же деньги и—перестала подписываться на этотъ журналъ?... Какъ бы не такъ! Несмотря на то, что съ обертки этого журнала на другой же годъ его существованія слетѣли всѣ блестящія имена, заманившія публику, несмотря на то, что всѣ литературныя знаменитости печатно отказались отъ участія въ изданіи,—публика россійская продолжала восхищаться имъ около пяти лѣтъ, до тѣхъ поръ, пока не заучила наизусть его милыхъ остротъ, и пока онъ не началъ, истощивъ весь запасъ своего остроумія, повторять самого себя и потчивать ее «раздирательными» остротами, за неимѣніемъ лучшихъ... Вотъ вамъ и публика!.. Публика прочла Державина, Крылова, Батюшкова, Жуковскаго, заучила наизусть всего Пушкина, не говоря уже о Баратынскомъ, Козловѣ, Веневитиновѣ, Полежаевѣ, Языковѣ, Подолинскомъ и многихъ другихъ; надо было ожидать, что ея вниманіе можетъ обратить на себя только что-нибудь необыкновенное, а возбудить восторгъ только что нибудь великое... И что же? она не только пришла въ восторгъ отъ умныхъ, но чуждыхъ вдохновенія и поэтической жизни драмъ довольно извѣстнаго въ журнальномъ мірѣ драматиста, но даже повѣрила кому-то, сказавшему ей, что г. NN. — великій поэтъ, выше и Жуковскаго, и Пушкина!... Конечно въ стихотвореніяхъ г. NN. проблескивали иногда искорки дарованія, но, во-первыхъ, дарованія чисто внѣшняго, ограниченнаго, а во-вторыхъ, поэтическія искры его свѣтились сквозь глыбы дикихъ, изысканныхъ и безвкусныхъ фразъ и образовъ,—и этимъ ли талантомъ было восхищаться при Пушкинѣ!... Вотъ, едва прошло пять лѣтъ,—и стихи г. NN. не только не хвалятъ, даже и не бранятъ...

Дѣти мы, дѣти! намъ надо еще не изящныхъ созданій Рафаэля, а игрушекъ, съ яркими красными цвѣтами, съ блестящей позолотой!...

Тамъ, гдѣ есть публика, слова «литераторъ» и «критикъ» имѣютъ опредѣленное значеніе, и не присвоиваются себѣ всякимъ, кто только захочетъ, но приписываются только заслугѣ и достоинству. Тамъ нельзя провозгласить себя знаменитымъ писателемъ, опекуномъ языка и любимцемъ публики за нѣсколько жалкихъ сочиненій, въ которыхъ видны рутина и бездарность, и еще за постоянное двадцатипятилѣтнее маранье писчей и корректурной бумаги. Тамъ освистали бы за громкое титло «критика», самовольно присвоиваемое человѣкомъ, который признается печатно, что не только не понимаетъ, почему Гёте называютъ великимъ геніемъ, но даже почему почитаютъ его и просто поэтомъ, а не безталаннымъ писакой;—или который называетъ печатно плохимъ романомъ «Патфайндера» Купера, это геніальное произведеніе, какимъ только ознаменовалась, послѣ Шекспира, творческая дѣятельность; — или который утверждаетъ, что «Каменный Гость», это высшее, художественнѣйшее созданіе Пушкина, замѣчательно только гладкими стихами;—или который силится увѣрить весь свѣтъ, что вся заслуга Пушкина, какъ поэта, состоитъ въ усовершенствованіи версификаціи и легкой, игривой формы, способной увлекать только легкомысленныхъ людей; — или который кричитъ, что Гоголь — забавный писатель, вѣрно списывающій съ натуры, что его «Ревизоръ» рядъ смѣшныхъ карикатуръ, а не комедія, проникнутая глубокимъ юморомъ и ужасающая своей вѣрностью дѣйствительности; — или который объявляетъ во всеуслышаніе, что «Горе отъ Ума», это благороднѣйшее созданіе геніальнаго человѣка, ниже «Недовольныхъ», плохой комедіи Загоскина;—или ко-

Digitized by Google

торый клянется, что Лермонтовъ пишетъ плохіе стихи; — или который утверждаетъ, что стихи годны только для сбыта вздорныхъ и нелѣпыхъ мыслей, которыя уважаются читателями только за риѳму, и что дѣльныя мысли должно беречь для прозы... За подобный образъ мыслей, печатно выражаемый, всѣхъ этихъ quasi-критиковъ или, лучше сказать, критикановъ публика — только будь она — отвергла бы. Гдѣ есть публика, тамъ не будутъ вѣрить человѣку, который собственными сочиненіями всего лучше показалъ и доказалъ, что его душа чужда поэзіи, что въ его натурѣ не лежитъ никакого созерцанія поэзіи, какъ въ натурѣ глухого не лежитъ никакого созерцанія музыки, а въ натурѣ слѣпого — никакого созерцанія живописи. Еще менѣе станутъ вѣрить человѣку, который въ одно и то же время, въ одной и той же газетѣ, въ одной и той же книгѣ пишетъ, объ одномъ и томъ же авторѣ — и pro, и contra, который напримѣръ въ одномъ нумерѣ своего листка кричитъ, что драма его пріятеля — геніальное созданіе, достойное Шиллера, а черезъ два дня въ той же газетѣ объявляетъ, чтобы касательно той драмы этого сочинителя ему не вѣрили, ибо-де онъ написалъ объ ея достоинствахъ, увлекаясь кумовствомъ и «camaraderie». Словомъ, гдѣ есть публика — тамъ уже нѣтъ мѣста господамъ Выбойкинымъ, Пройдохинымъ, Тряпичкинымъ, Задаринымъ.

«Вотъ прекрасно!» воскликнетъ иной подмѣчатель чужихъ недомолвокъ, обмолвокъ и промаховъ — «вотъ прекрасно! Стало-быть, у насъ нѣтъ совсѣмъ публики, а только одна толпа?» Погодите, милостивые государи; умныхъ людей вездѣ меньше дюжинныхъ, но тѣмъ не менѣе умные люди есть вездѣ: такъ имъ ли не быть въ Россіи, этой землѣ юной и мощной, кипящей умами и талантами? Но въ томъ-то и состоитъ отличіе нашего теперешняго образованія, что у насъ все разсѣяно, все особно, все врозь, все въ смѣси. Вотъ юноша, изучающій Гегеля,—сынъ отца, незнающаго грамотѣ; вотъ профессоръ, который дальше схоластическихъ риторикъ не пускался въ бездну премудрости, а его молодой товарищъ даже ужъ и не смѣется надъ риториками, но краснорѣчиво умалчиваетъ о ихъ существованіи, и т. д. Посмотрите на наше общество: какая калейдоскопическая пестрота! На иномъ вечерѣ увидишь и модный фракъ, и венгерку, и архалукъ, и длиннополый сюртукъ съ рыжей бородкой—

Какая смѣсь одеждъ и лицъ,
Племенъ, нарѣчій, состояній!

У насъ есть люди и умные отъ природы, и европейски-образованные, и притомъ въ такомъ количествѣ, что могли бы составить собою «публику»; да то бѣда, что они разсѣяны по безконечному пространству необъятной Россіи, и потому они одиноки во множествѣ, потеряны въ толпѣ; благородные голоса ихъ заглушаются нестройнымъ крикомъ и жужжаніемъ толпы, и не могутъ составить общаго, гармоническаго хора, который бы надъ всѣмъ владычествовалъ и всему давалъ тонъ. Они одиноки среди поглотившей ихъ толпы, какъ великіе таланты среди «литераторовъ и сочинителей». Но справедливость велитъ замѣтить, что и тутъ не безъ исключенія изъ общаго правила. Если у насъ еще и доселѣ существуютъ люди, которые благоговѣютъ передъ именами Сумароковыхъ, Херасковыхъ и Петровыхъ, то еще гораздо больше людей, которые послѣ Жуковскаго, Батюшкова и Пушкина утратили способность восхищаться даже Державинымъ и Озеровымъ... Если толпа расхватала романы Булгарина, Греча, Зотова, это не помѣшало же таланту Лажечникова быть оцѣненнымъ по достоинству, хотя Лажечниковъ и не издавалъ газеты, въ которой могъ бы хвалить самого себя... Если чуть-чуть не раскупили всего изданія сочиненій Марлинскаго, зато теперь трудно найти въ какой угодно книжной лавкѣ «Вечера на Хуторѣ» второго изданія, «Арабески», «Миргородъ» и «Ревизора» Гоголя. А успѣхъ Пушкина, котораго каждый ненапечатанный стихъ принимался какъ ассигнація или вексель и котораго творенія—богатое наслѣдство для его семейства?... А «Горе отъ Ума», еще въ рукописи выученное наизусть нѣсколькими поколѣніями?... А между тѣмъ... но что бы мы ни сказали за или противъ этого пункта, все само собою приведется къ одному общему знаменателю: у насъ есть возможность публики, и со временъ Пушкина даже замѣтно начало, зародышъ литературной публики; но у насъ еще литературной публики въ собственномъ и обширномъ значеніи этого слова нѣтъ. Перейдите отъ публики снова къ литературѣ и увидите то же самое зрѣлище. Вопросъ о публикѣ рѣшаетъ вопросъ о литературѣ, и наоборотъ.

Сказаннаго нами достаточно, чтобъ вопросъ: «есть ли у насъ литература?» не казался страннымъ. По крайней мѣрѣ отнынѣ всѣ возгласы о богатствѣ нашей литературы, о ея равенствѣ со всѣми европейскими литературами, даже о превосходствѣ надъ ними должны считаться или болтовней, или бредомъ тщеславія, помѣшавшагося на своемъ мнимомъ достоинствѣ. Извѣстное и даже значительное число превосходныхъ художественныхъ произведеній

Digitized by Google

не можетъ составить литературы: литература есть нѣчто цѣлое, индивидуальное; части ея сочленены между собою органически; самыя разнообразныя явленія ея находятся во взаимномъ другъ съ другомъ соотношеніи. Несмотря на всю неизмѣримость пространства, отдѣляющаго Вальтеръ Скотта отъ какого-нибудь Диккенса или Марріета, вы видите въ нихъ нѣчто общее, и это общее есть — британская національность. Между Вальтеръ Скоттомъ съ одной стороны и Диккенсомъ и Марріетомъ съ другой — сколько примѣчательныхъ талантовъ, большей частью совершенно неизвѣстныхъ у насъ на поприщѣ романистики! Подлѣ громаднаго генія Байрона блестятъ могучіе и роскошные таланты Томаса Мура, Уордсуорта, Соути, Коупера и многихъ другихъ. И у насъ, назадъ тому двадцать лѣтъ, вышелъ-было могучій атлетъ съ дружиной замѣчательныхъ, хотя и ставшихъ отъ него на неизмѣримомъ разстояніи, талантовъ; но теперь, кажется, литературной дѣятельности суждено проявляться въ отдѣльныхъ лицахъ, одиноко дѣйствующихъ и съ остальнымъ пишущимъ міромъ не имѣющихъ никакого соотношенія, ничего общаго. Съ 1832 по 1836 годъ писалъ Гоголь, и есть ли у насъ до сихъ поръ хоть что-нибудь, что̀, напоминая его, отличалось бы примѣчательнымъ талантомъ? Теперь Лермонтовъ и... никто, совершенно никто, если исключить два-три таланта, гораздо прежде его явившіеся и продолжающіе развиваться въ своей собственной и уже опредѣлившейся сферѣ. И посмотрите, какъ сонно тянется, а не развивается, то немногое, совокупность чего называется у насъ литературой! Умеръ Пушкинъ — и мы до сихъ поръ еще не имѣемъ полнаго собранія его сочиненій, изъ которыхъ нѣкоторыя еще нигдѣ и не были напечатаны!... Въ 1832 году Гоголь издалъ свои «Вечера на Хуторѣ», въ 1835 — свои «Арабески» и «Миргородъ», въ 1836 — «Ревизора»; потомъ напечаталъ въ «Современникѣ» сцену изъ комедіи, «Коляску» и «Носъ», — да съ тѣхъ поръ — ни слова... Лермонтовъ еще напечаталъ только одинъ романъ и небольшую книжку стихотвореній. Такъ ли проявлялась первая дѣятельность у европейскихъ писателей? Изъ нашихъ лучшихъ писателей Пушкинъ написалъ едва ли не больше всѣхъ; но все написанное имъ, собранное въ одну книгу, едва ли сравнится (разумѣется величиной книги) только съ поэмами Вальтеръ Скотта, собранными въ одну книгу, — съ поэмами, которыя составляютъ его второе, не столь важное, какъ романы, право на славу и которыя, несмотря на все высокое поэтическое свое достоинство, принадлежатъ къ второстепеннымъ или третьестепеннымъ сокровищамъ музея національной поэзіи; эти поэмы представляютъ собою ужъ роскошь, избытокъ необъятно-богатой литературы... Но если Пушкинъ дѣлалъ слишкомъ мало, въ сравненіи съ неистощимыми средствами своего плодовитаго генія, — нѣтъ сомнѣнія, что онъ чрезвычайно много сдѣлалъ бы, еслибъ преждевременная смерть вмѣстѣ съ жизнью не прекратила и его дѣятельности; оставшіяся послѣ смерти его произведенія показываютъ, что его геній еще только вступалъ въ апогею своей дѣятельности, и что дѣйствуй онъ еще хоть десять лѣтъ — компактное изданіе его сочиненій не уступило бы въ объемѣ этимъ огромнымъ, тяжелымъ книгамъ, въ два столбца мелкой печати, въ которыя собраны творенія Шекспира, Байрона, Гёте и Шиллера. Но другіе?... Воля ваша, у насъ авторство — какая-то тяжелая, медленная и напряженная работа! Вотъ напримѣръ Лажечниковъ: какой богатый талантъ, какая страстная натура, какое горячее сердце, какая благородная, возвышенная душа отпечатлѣвается въ его романахъ! Сколько пользы русскому обществу могутъ приносить они, внося въ его жизнь идеальные элементы, побѣждая гуманическимъ началомъ прозаическую черствость его нравовъ! И что же? — въ десять лѣтъ только три романа!... И добро бы еще это было вслѣдствіе неуспѣха, холоднаго пріема со стороны публики первыхъ романовъ Лажечникова: нѣтъ, первыя изданія «Новика» и «Ледяного Дома» были не раскуплены, а расхватаны, и скоро потребовались вторыя изданія обоихъ романовъ. Что̀ ни напиши теперь Лажечниковъ, — все будетъ имѣть большой успѣхъ... Между молодыми людьми нѣкоторые обнаружили или обнаруживаютъ въ большей или меньшей степени значительные таланты въ повѣствовательномъ родѣ, и что же? — Написавъ повѣсть и ожививъ ею на мѣсяцъ нашу мертвую литературу, или издавъ двѣ-три повѣсти отдѣльной книжкой, каждый изъ нихъ уже и самъ не знаетъ, когда онъ напишетъ еще повѣсть или издастъ еще книжку... Одна изъ тѣхъ повѣстей, которыя у каждаго англійскаго, нѣмецкаго и особенно французскаго нувеллиста являются вдругъ десятками, наполняютъ собою и журналы, и альманахи, и отдѣльно издаваемыя книги, — у насъ геркулесовскій подвигъ, великое дѣло, — и наконецъ мы дошли до того, что журналъ, который не хочетъ пятнать своихъ чистыхъ страницъ дюжинными произведеніями посредственности, видитъ невозможность представлять своимъ читателямъ въ каждой изъ двѣнадцати книжекъ своихъ по двѣ или даже по одной оригинальной повѣсти... тогда

Digitized by Google

какъ французскіе журналы и даже газеты набиты оригинальными повѣстями...

Но если мы взглянемъ на другую сторону предмета, то увидимъ, что и самая посредственность у насъ безплодна,—посредственность, которая, приходясь по плечу толпѣ, успѣвала иногда пріобрѣтать успѣхи, свойственные только таланту и генію. Иной «сочинитель» пріобрѣлъ себѣ своими суздальскими картинами нравовъ, выдаваемыми имъ за романы, и извѣстность, и «денегъ малую толику»; что же?—вы думаете, увидѣвъ выгодную для себя отрасль промышленности въ романо-печеніи, онъ напекъ цѣлые десятки и сотни романовъ, которые ему такъ легко печь, благодаря обилію мусорныхъ матеріаловъ и топорной обдѣлкѣ?—нѣтъ, онъ напекъ ихъ всего на всего какой-нибудь пятокъ впродолженіе цѣлыхъ пятнадцати лѣтъ... Другой всего на все только пару... Передъ всѣми ими посчастливилось одному «Милорду Англинскому», который вотъ ужъ лѣтъ шестьдесятъ каждый годъ выходитъ новымъ изданіемъ, къ несказанному утѣшенію своихъ читателей и почитателей... Иной съ плеча отмахиваетъ драмы и водевили; всѣ дивятся легкости, съ какой онъ ихъ стряпаетъ; а повѣрьте—дѣло выйдетъ, что онъ въ три года настряпалъ не больше двухъ десятковъ... чего же? — такихъ тощихъ и такихъ бездарныхъ вещицъ, которыя ниже всякой возможной посредственности, и которыхъ цѣлую сотню легко наготовить въ одинъ мѣсяцъ... О, литература!...

Заведите съ кѣмъ угодно споръ о причинахъ этой безплодности,—вы всегда услышите одно и то же: производители обвиняютъ потребителей, а публика—авторовъ и сочинителей. Та и другая сторона совершенно справедливы въ своихъ доказательствахъ, равно какъ совершенно справедливъ и тотъ, кто сказалъ бы, что некому и не на кого жаловаться, потому что и то, и другое, т. е. и наши авторы, и наша литературная публика,—существованія проблематическія, а не положительныя, что-то такое, о чемъ нельзя сказать ни того, чтобъ его совершенно не было, ни того, чтобъ оно и было дѣйствительно. Слѣдовательно, причина не въ авторахъ и не въ публикѣ, потому что они сами только результаты другой, болѣе общей причины. Многіе обвиняли нашу литературу въ томъ, что она не сближается съ обществомъ, а рисуетъ какіе-то, нигдѣ не существующіе образы, выдавая ихъ за портреты общества.

Съ кого они портреты пишутъ?
Гдѣ разговоры эти слышутъ?
А если и случилось имъ,
Такъ мы ихъ слышать не хотимъ,—

сказалъ поэтъ, и сказалъ великую правду, хотя и не разрѣшилъ этимъ вопроса. Въ XI-й книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» прошлаго года напечатана статья почтеннаго титулярнаго совѣтника въ отставкѣ Плакуна Горюнова: «Записки для моего праправнука о русской литературѣ». Въ ней авторъ очень основательно, оригинально и сильно обвиняетъ нашу литературу въ ея постоянной стрѣльбѣ мимо цѣли, когда она берется за изображеніе общества, особенно высшаго; но въ то же время прибавляетъ, что наши гостиныя — родъ Китая, царство апатіи. Это напоминаетъ великое слово Пушкина, что «сущность гостиной состоитъ въ томъ, что въ ней всѣ стараются быть ничтожными съ приличіемъ и достоинствомъ». Гдѣ же вина литературы, если она не находитъ для своихъ портретовъ оригинальныхъ лицъ, съ отпечаткомъ внутренней жизни? Литература должна быть выраженіемъ жизни общества, и общество ей, а не она обществу даетъ жизнь. Нападая на нее, не надо быть и несправедливымъ къ ней: посмотрите, какъ иногда крѣпко впивается она въ общество, словно дитя всасывается въ грудь своей матери,—и ея ли вина, если съ перваго слабаго усилія она высасываетъ все молоко изъ этой безплодной груди... Недостатокъ внутренней жизни, недостатокъ жизненнаго содержанія, отсутствіе міросозерцанія—вотъ причина... Гдѣ нѣтъ внутреннихъ, духовныхъ интересовъ, внутренней, сокровенной игры и переливовъ жизни, гдѣ все поглощено внѣшней, матеріальной жизнью—тамъ нѣтъ почвы для литературы, нѣтъ соковъ для питанія; тамъ остается только, какъ дѣлывали Ломоносовъ, Петровъ, Херасковъ и Державинъ, писать громкія оды или, какъ это было лѣтъ десять назадъ, писать только элегіи—эти жалобные вопли разочарованія, эти грустные звуки жажды жизни, которая не находитъ себѣ ни удовлетворенія, ни исхода и томится среди окружающей ее внутренней безжизненности.

Кончивъ съ литературой, обратимся опять къ публикѣ. Какое это неопредѣленное слово—«публика»! Что это такое? Собраніе людей, которые съ сентября до марта каждаго года покупаютъ книги и подписываются на журналы, а въ остальное время года, на досугѣ, читаютъ купленное? Говорятъ, наша публика больше всего требуетъ отъ журналовъ критики. Справедливо ли это? Да,—отчасти, потому что больше всего любитъ она сказочки легкаго и веселаго содержанія, да стишки, не слишкомъ хорошіе, не слишкомъ плохіе, такъ, чтобъ была середка на половинѣ, а послѣ ихъ—и критику. Но что разумѣютъ у насъ подъ словомъ «критика»?—Статью, въ которой «славно отдѣлали» того или другого,—статью, въ которой авторъ мно-

Digitized by Google

го наговорилъ, ничего не сказавъ, и если наговорилъ плавно, легко и такъ гладко, что нельзя споткнуться на мысли, не надъ чѣмъ задуматься и подумать, то критика хоть куда! Появляется въ журналѣ статья—плодъ глубокаго убѣжденія, горячаго чувства, выраженіе тѣхъ внутреннихъ духовныхъ интересовъ, которые занимаютъ все существо человѣка на яву, тревожатъ его сонъ, отрываютъ его отъ выгодъ внѣшней жизни, отъ заботъ о своемъ житейскомъ благосостояніи, заставляютъ приносить въ жертву свою жизнь, всѣ удобства въ настоящемъ, всѣ надежды въ будущемъ; въ статьѣ—новые взгляды, невысказанныя прежде идеи, — и что же?—на нее смотрятъ холодно, противъ нея кричатъ; одинъ недоволенъ тѣмъ, что она длинна (потому что ему некогда читать длинныхъ статей); другой сердитъ на то, что она заставляетъ думать (а онъ любитъ читать послѣ обѣда, для забавы и споспѣшествованія пищеваренію); третій кричитъ, что авторъ началъ изъ далека и о главномъ предметѣ сказалъ меньше, чѣмъ о побочныхъ, относящихся къ нему предметахъ. Положимъ, что нѣкоторыя изъ этихъ обвиненій и справедливы, что въ статьѣ есть недостатки, и даже очень важные; но развѣ горячее чувство, живое изложеніе, дѣльность и новость мыслей не въ состояніи выкупить этихъ недостатковъ? Развѣ такихъ статей такъ много, что вы можете выбирать только лучшее изъ хорошаго?—Ничего не бывало! въ слухѣ вашемъ еще въ первый разъ раздается свѣжій голосъ: въ первый разъ слышите вы человѣка, который высказываетъ вамъ то, о чемъ онъ много думалъ, что горячо любилъ, чему пламенно вѣрилъ, чѣмъ исключительно жилъ... Да если иная статья и понравится всѣмъ безусловно, то не собственнымъ достоинствомъ, которое бы всѣ поняли и оцѣнили, а такъ какъ-то, случайно: потому что обругай ее какой-нибудь литературный торгашъ — всѣ ему повѣрятъ; а если авторъ статьи отвѣтитъ торгашу, опять всѣ повѣрятъ автору — до новаго ругательства со стороны торгаша... Тутъ не берется въ разсчетъ ни талантъ, ни личность, ни безукоризненность дѣятельности и жизни, ни убѣжденіе, ни чувство, ни умъ: мнѣніе всегда въ пользу того, кто въ полемической перепалкѣ послѣдній остался на аренѣ, т. е. чья статья осталась безъ отвѣта.

И чего ожидать отъ толпы, если и отъ людей образованныхъ и благонамѣренныхъ слышатся иногда такіе упреки литераторамъ и такіе упреки критикѣ, что вполнѣ понимаешь тщету и ничтожество всякой извѣстности, пустоту всякой дѣятельности, и изъ глубины души восклицаешь: «не изъ чего хлопотать, не для чего тратить время и силы!» Такъ напримѣръ, намъ случалось слышать упреки «Отечественнымъ Запискамъ» именно отъ образованныхъ и благонамѣренныхъ людей, впрочемъ высоко цѣнящихъ это изданіе—за что бы вы думали?—за то, что «Отечественныя Записки» Пушкина называютъ міровымъ поэтомъ, въ произведеніяхъ Гоголя видятъ геніальную, творческую дѣятельность, а въ его «Ревизорѣ» великое художественное созданіе... Что же оскорбляетъ этихъ впрочемъ умныхъ и благородныхъ людей въ нашихъ похвалахъ?—ихъ, говорятъ они, преувеличенность. Прекрасно! Но, милостивые государи, не противорѣчите ли вы сами себѣ, если, отнимая у журнала право самостоятельнаго взгляда на предметы, тѣмъ не менѣе хотите пользоваться сами этимъ правомъ? Почему вы должны имѣть свой образъ мыслей, а журналъ не долженъ имѣть его? Неужели, произнося о чемъ-нибудь свое сужденіе, журналъ долженъ соображаться съ мнѣніемъ г. А., г. В., г. С., и т. д., или бѣгать къ тому и другому, спрашивать ихъ: «какъ прикажете написать вотъ о томъ, или этомъ?» Вѣдь вы сами согласны въ искренности, въ неподкупности нашихъ отзывовъ о помянутыхъ писателяхъ: почему же могутъ васъ оскорблять эти отзывы? Вы находите ихъ произвольными? но вамъ представляются причины, на которыхъ они основаны, доказательства, которыми они подтверждаются. Но эти причины и доказательства, можетъ-быть, кажутся вамъ не довольно основательными и достаточными? Въ такомъ случаѣ вы имѣете полное право не согласиться съ ними, но ни въ какомъ случаѣ не имѣете права запрещать журналу имѣть свой взглядъ на предметы, свое убѣжденіе, и во всякомъ случаѣ должны уважать журналъ съ независимымъ мнѣніемъ и самобытной мыслью, хотя бы и противоположными вашимъ, и отличить его отъ журналовъ, въ которыхъ нѣтъ ни мнѣнія, ни мысли... Нѣкоторые называютъ похвалы «Отечественныхъ Записокъ» Пушкину и Гоголю пристрастными. Что отвѣчать на это? Если это пристрастіе къ лицамъ—оно не извинительно, предосудительно,— и какъ же «Отечественнымъ Запискамъ» оправдаться въ немъ передъ такими людьми, для которыхъ ничего не говоритъ за себя само дѣло, для которыхъ нѣмо свидѣтельство горячаго чувства, благороднаго одушевленія? Пусть подумаютъ они хоть о томъ, что Пушкина давно уже нѣтъ на свѣтѣ, и что онъ поэтому не можетъ быть ни вреденъ, ни полезенъ журналу; и что сочиненій Гоголя они не встрѣчали еще въ «Отечественныхъ Запискахъ». Если же это пристрастіе къ сочиненіямъ, то уважьте его, ибо если это пристрастіе, то пристрастіе благородное и, къ несчастью,

Digitized by Google

столь рѣдкое въ нашемъ холодномъ обществѣ, пристрастномъ только къ выгодамъ внѣшней, матеріальной жизни, деньгамъ,— и въ нашей журналистикѣ, пристрастной только къ подписчикамъ и выгодному сбыту своихъ издѣлій... А говорить ли о защитникахъ *своей* литературы и *своихъ* «сочинителей», которые какъ будто лично оскорблены отзывами «Отечественныхъ Записокъ» о Марлинскомъ... Попробуйте растолковать имъ, что еслибъ журналъ былъ и неправъ въ мнѣніи объ этомъ сочинителѣ, то за нимъ все-таки остается право свободнаго и самобытнаго взгляда на всевозможныхъ сочинителей; что журналъ не обязанъ льстить толпѣ, повторяя ея устарѣлыя мнѣнія, и что amicus Plato, sed magis amica veritas... Смѣшно и досадно, что у насъ еще надо толковать о такихъ простыхъ и обыкновеиныхъ понятіяхъ, о которыхъ уже не толкуютъ ни въ одной литературѣ... Да, мы начали съ конца, а не съ начала: мы вздумали «критиковать», не объяснивъ сперва, что̀ такое «критика» и чѣмъ она отличается отъ полемики, отъ журнальныхъ перебранокъ, отъ журнальнаго пересыпанья изъ пустого въ порожнее. Мы начали издавать книги, не позаботившись растолковать сперва, что̀ такое книга и чѣмъ она отличается отъ колоды картъ...

Хорошо также напримѣръ обвиненіе противъ «Отечественныхъ Записокъ» за употребленіе непонятныхъ словъ, именно: «безконечное, конечное, абсолютное, субъективное, объективное, индивидуумъ, индивидуальное». Право, мы не шутимъ! Иной, пожалуй, скажетъ, что эти слова употреблялись еще въ «Вѣстникѣ Европы», въ «Мнемозинѣ», въ «Московскомъ Вѣстникѣ», въ «Атенеѣ», въ «Телеграфѣ» и пр., были всѣ понятны назадъ тому двадцать лѣтъ и не возбуждали ничьего ни удивленія, ни негодованія... Увы! что̀ дѣлать! до сихъ поръ мы жарко вѣрили прогрессу, какъ ходу впередъ, а теперь приходится намъ повѣрить прогрессу, какъ попятному движенію назадъ... Да, теперь уже многаго не понимаютъ изъ того, что̀ еще недавно очень хорошо понимали!.. А все благодаря журналамъ съ «раздирательными» остротами и «уморительно-смѣшными повѣстями»!.. Сверхъ упомянутыхъ словъ, «Отечественныя Записки» употребляютъ еще слѣдующія, до нихъ никѣмъ не употреблявшіяся (въ томъ значеніи, въ какомъ онѣ принимаютъ ихъ) и неслыханныя слова: «непосредственный, непосредственность, имманентный, особный, обособленіе, замкнутый въ самомъ себѣ, замкнутость, созерцаніе, моментъ, опредѣленіе, отрицаніе, абстрактный, абстрактность, рефлексія, конкретный, конкретность», и пр. Въ Германіи напримѣръ эти слова употребляются даже въ разговорахъ между образованными людьми, и новое слово, выражающее новую мысль, почитается пріобрѣтеніемъ, успѣхомъ, шагомъ впередъ. У насъ но это смотрятъ навыворотъ, т. е. задомъ напередъ,—и всего грустнѣе причина этого: у насъ хотятъ читать для забавы, а не для умственнаго наслажденія, глазами — а не умомъ; требуютъ чего-нибудь легкаго и пустого, а не такого, что̀ вызывало бы на размышленіе, погружало въ созерцаніе высшей, идеальной жизни. И какъ же иначе? подумать лѣнь и некогда, а если не подумать— непонятно; непонятное же оскорбляетъ всякое мелкое самолюбіе. Слово отражаетъ мысль: непонятна мысль—непонятно и слово, а мыслей у насъ боятся больше всего, потому что онѣ требуютъ слишкомъ тяжелой и непривычной для многихъ работы— размышленія. И можно ли ожидать, чтобъ всѣ наши читатели понимали всѣ эти хитрости, если тѣ, которые снабжаютъ его умственной пищей, съ удивительнымъ добродушіемъ сознаются въ своемъ невѣдѣніи?... Найдите въ Германіи хоть одного ученика изъ среднихъ учебныхъ заведеній, который не понималъ бы, что̀ такое «вещь по себѣ» (Ding an sich) и «вещь для себя» (Ding für sich); а у насъ эти слова становятъ втупикъ многихъ «опекуновъ языка» и возбуждаютъ смѣхъ во многихъ «любимцахъ публики»; они даже не умѣютъ и переписать ихъ, ибо вмѣсто für sich пишутъ zu sich, подобно русскимъ солдатамъ, которые генерала Блюхера называли генераломъ Брюховымъ.

Впрочемъ нерасположеніе къ «Отечественнымъ Запискамъ» литературнаго люда имѣетъ еще и другую не менѣе важную причину: эти господа чувствуютъ, что истина рано или поздно беретъ свое—и успѣхъ «Отечественныхъ Записокъ» служитъ имъ слишкомъ жестокимъ доказательствомъ этой истины. Эти господа, браня «Отечественныя Записки» и стараясь выказывать имъ всевозможное негодованіе свое, тѣмъ съ неменьшимъ вниманіемъ и постоянствомъ прочитываютъ каждую книжку страшнаго и ненавистнаго имъ журнала, и прочитываютъ ее, какъ говорится, отъ доски до доски: отчего же иначе имъ такъ твердо помнить всѣ опечатки въ «Отечественныхъ Запискахъ»? Откуда же бы иначе могли они узнавать о существованіи неслыханныхъ ими ученыхъ словъ и новыхъ идей объ изящномъ и литературѣ,—идей, которыя сами собою никакъ не могли бы забрести въ ихъ почтенныя головы: вѣдь идеи ходятъ не съ закрытыми глазами и не заходятъ куда попало?... Нѣкоторые изъ гос-

Digitized by Google

подъ, ратующихъ противъ «Отечественныхъ Записокъ» и явно, и тайно, и литературно, и не литературно, даже невольно подчиняются ихъ духу, и смѣшно видѣть, какъ они мало-по-малу начинаютъ употреблять тѣ самыя непонятныя слова, которыя имъ столь ненавистны въ «Отечественныхъ Запискахъ», и еще смѣшнѣе видѣть, какъ они, вооружаясь противъ нихъ гусинымъ оружіемъ, повторяютъ ихъ мысли, стараясь увѣрить и «почтеннѣйшую публику», и самихъ себя, что это — ихъ собственныя мысли!... Разумѣется, что они первые видятъ всю тщету своихъ усилій, и тѣмъ болѣе сердятся на «Отечественныя Записки». Въ самомъ дѣлѣ, презатруднительное положеніе: хотятъ потчивать публику своимъ — своего нѣтъ ничего, потому что все уже было сказано и пересказано лѣтъ двадцать пять назадъ тому; хотятъ поддѣлаться подъ современность и потчивать публику чужимъ, подслушаннымъ, — не то выходитъ, вмѣсто Блюхера является Брюховъ... Иной «любимецъ публики», лѣтъ тридцать читая свое имя на оберткѣ и внутри издаваемыхъ имъ книжонокъ и литературныхъ сплетней, вмѣсто журналовъ и газеты, и другихъ успѣлъ въ это время увѣрить, что онъ литераторъ, и самъ отъ полноты сердца повѣрилъ этому—и вдругъ... о ужасъ! ему доказываютъ, ясно и неопровержимо, что его литературная извѣстность составлена имъ на кредитъ, что онъ ничего не знаетъ, ничему не учился, что всѣ его сочиненія сшиты изъ чужихъ лоскутьевъ, что въ нихъ видны только терпѣніе и рутина, но ни искры свѣтлаго ума, ни тѣни таланта!... Каково ему?.. По неволѣ придется употреблять противъ страшнаго врага всевозможныя средства... Такія продѣлки смѣшны конечно, но и простительны: вѣдь у страха глаза велики, а смерть на носу придаетъ храбрость и зайцу; по крайней мѣрѣ это фактъ, что баранъ, встрѣтившись съ волкомъ, прехрабро бьетъ о землю передними копытами...

Мы не безъ умысла распространились объ «Отечественныхъ Запискахъ». Статья наша должна быть обозрѣніемъ литературы русской за прошлый 1840 годъ; въ литературѣ же журналистика играетъ у насъ первую роль, а въ области журналистики «Отечественныя Записки» играютъ роль какого-то центра, куда направляются удары всѣхъ прочихъ повременныхъ изданій, и откуда новыя слова и новыя мысли переходятъ, хотя и въ искаженномъ видѣ, въ прочія повременныя изданія. Кромѣ того «Отечественныя Записки» были центромъ современной журналистики еще и потому, что только въ нихъ слышанъ былъ свѣтскій голосъ живой современности, а не повтореніе стараго и всѣмъ давно наскучившаго; только въ нихъ принимали дѣятельное участіе и люди, уже давно стяжавшіе себѣ славныя имена, и люди молодыхъ поколѣній, еще только выходящіе на поприще литературы. Мы не думаемъ сказать о себѣ слишкомъ много, сказавъ, что исторія современной журналистики и частью современной литературы русской есть исторія «Отечественныхъ Записокъ»: вѣдь журналъ есть не одно то, что̀ издается по подпискѣ и выходитъ книжками въ опредѣленное время; но и то, въ чемъ, при этихъ условіяхъ, есть жизнь, движеніе, новость, разнообразіе, свѣжесть, извѣстное направленіе, извѣстный взглядъ на вещи, словомъ — характеръ и духъ. А гдѣ же всѣ эти условія выполнены, если не въ «Отечественныхъ Запискахъ»? — по крайней мѣрѣ самые ожесточенные враги ихъ печатно сознаются въ томъ, что за нихъ можно заступаться и на нихъ можно нападать, какъ на нѣчто опредѣленно и дѣйствительно существующее... Боже мой! какихъ средствъ не было перепробовано противъ нихъ! Не только тайно посылались въ провинціи, но и въ самомъ Петербургѣ сколько разъ распространялись слухи, что «Отечественныя Записки» прекратятся то на третьей, то на пятой, то на седьмой книжкѣ; а онѣ шли себѣ да шли, съ вѣрностью хронометра являясь каждое пятнадцатое число мѣсяца, увѣсистыя и плотныя отъ богатства матеріаловъ и—ужъ тоже не отъ бѣдности въ матеріальныхъ средствахъ... Вотъ вамъ и басня Крылова о «Слонѣ и Моськѣ» въ лицахъ...

Что же дѣлали въ это время другіе журналы?.. Какіе другіе журналы? Что̀ такое журналъ?—изданіе, не выдающее въ срокъ обѣщанныхъ книжекъ? — Ну, если такъ, то они дѣлали свое дѣло очень исправно, кромѣ впрочемъ «Пчелы», которая всегда выходила въ срокъ съ извѣстіями, уже напечатанными въ другихъ газетахъ. Вообще она съ прежнимъ успѣхомъ занималась своимъ дѣломъ и, какъ всегда, при началѣ подписки была въ большихъ хлопотахъ. Нѣкоторые изъ старыхъ толстыхъ журналовъ, отставая книжками, «раздирательно» острили, и этотъ новый родъ остроумія уже никого не забавлялъ: sic transit gloria mundi! «Галатея», послѣ неудачнаго дебюта, безъ вѣсти пропала, въ то самое время какъ ее вздумалъ было оживлять въ Москвѣ какой-то досужій «любимецъ публики». Спасибо «Галатеѣ» хоть за то, что о ней есть что сказать, благодаря ея salto mortale... Въ «Библіотекѣ для Чтенія» печатались преимущественно стихотворенія Кукольника и Губера. Первый напечаталъ въ ней двѣ драмы историческія и двѣ какія-то историче-

Digitized by Google

скія же повѣсти: первыя очень хороши, но сухи и скучны, а вторыя—просто анекдоты, довольно неудачно разсказанные на нѣсколькихъ страницахъ. Въ «Сынѣ Отечества» было напечатано три стихотворенія Пушкина, изъ которыхъ два интересны, какъ произведенія его дѣтской музы. Въ «Современникѣ», какъ и прежде, было много интересныхъ оригинальныхъ статей, изъ которыхъ особенно замѣчательны статьи о Финляндіи Грота. Талантливый Основьяненко напечаталъ въ «Современникѣ» нѣсколько интересныхъ повѣстей и живую, остроумную журнальную статью «Званые Гости». Въ стихотворномъ отдѣленіи «Современника» были прекрасныя стихотворенія гр—ни Р—ной; изъ нихъ особенно замѣчательно по теплотѣ чувствѣ и прелести выраженія называющееся «Въ Москву!».

Съ именемъ «Отечественныхъ Записокъ» неразрывно соединяется мысль о большей части замѣчательнѣйшихъ новостей по изящной литературѣ, потому что все новое и интересное или напечатано, или разсмотрѣно въ нихъ, въ отдѣленіи критики и библіографіи...

Въ прошломъ году началъ издаваться драматическій альманахъ-журналъ «Пантеонъ Русскаго и всѣхъ Европейскихъ Театровъ». Успѣхъ этого повременнаго изданія, при существованіи «Репертуара», показалъ, что и у насъ драма становится тѣмъ, чѣмъ недавно былъ романъ,—исключительно любимымъ родомъ поэзіи. Въ то время, какъ «Репертуаръ» потчивалъ свою публику невинными водевилями, частью переведенными, частью передѣланными съ французскаго, и чувствительными драмами домашняго печенія, «Пантеонъ» подарилъ своихъ читателей «Бурей» и «Цимбелиномъ» Шекспира и нѣсколькими болѣе или менѣе примѣчательными драмами, переведенными съ нѣмецкаго, англійскаго и французскаго; изъ нихъ особенно примѣчательны: «Двадцать-четвертое февраля», драма Вернера, превосходно переведенная съ подлинника Струговщиковымъ, и «Норманъ, морской капитанъ», драма Больвера, переведенная съ англійскаго прозой; а изъ оригинальныхъ—«Торжество Добродѣтели», драматическій очеркъ канцелярской жизни, Менщикова, «Благородные Люди», комедія въ двухъ дѣйствіяхъ его же, Менщикова, и «Петербургскія Квартиры», комедія-водевиль Кони, примѣчательная въ цѣломъ, какъ веселая и оригинальная шутка и превосходная своимъ четвертымъ актомъ, составляющимъ какъ бы особую комедію въ комедіи. Если справедливы слухи, то на будущій годъ «Пантеонъ» подаритъ русскую публику драмой Шекспира «Ромео и Юлія», которая превосходно переведена съ подлинника стихами. «Пантеонъ» возбудилъ соревнованіе и въ «Репертуарѣ», который подарилъ публику очень хорошимъ переводомъ въ прозѣ «Антонія и Клеопатры», выдавъ эту драму Шекспира въ видѣ особаго приложенія къ одной изъ своихъ книжекъ.

Въ концѣ прошлаго года журнальное движеніе проявилось еще сильнѣе. Возобновляется старый журналъ «Русскій Вѣстникъ», издававшійся извѣстнымъ литературнымъ ветераномъ и патріотомъ, С. Н. Глинкою, который будетъ имѣть сотрудниками цѣлыхъ три дѣйствующихъ лица: Гречъ, бывшій нѣкогда владѣльцемъ и редакторомъ «Сына Отечества» и издавшій въ прошломъ году, вмѣсто обѣщанныхъ 12 книжекъ, только одну книжку «Дѣтскаго Собесѣдника», — Полевой, бывшій редакторъ «Сына Отечества» и не докончившій его,—Кукольникъ, бывшій редакторъ «Художественной Газеты», не издавшій ни одного нумера ея въ 1839 году. Странное явленіе—журналъ съ четырьмя редакторами! Дай Богъ, чтобы на немъ не сбылась пословица: «у семи нянекъ дитя безъ глазу!»... Какое будетъ его направленіе, что скажетъ онъ намъ новаго'— можно предвидѣть по именамъ редакторовъ, которые еще такъ недавно и съ такимъ блескомъ выказали свои журнальныя способности. Булгаринъ, не участвующій въ «Русскомъ Вѣстникѣ», нынѣшній годъ дѣлается редакторомъ хозяйственнаго журнала «Экономъ», который издается Песоцкимъ, издателемъ «Репертуара».

Итакъ, журналовъ стало у насъ больше прежняго; но это только видимый выигрышъ со стороны литературы, а въ сущности дѣло остается все тѣмъ же, чѣмъ и было: имя не составляетъ вещи, и если одинъ и тотъ же человѣкъ издаетъ хоть десять журналовъ—эти десять равны единицѣ, раздѣленной на десять частей и въ десять разъ раздѣлившей силы и дѣятельность редактора. Одно и то же направленіе, одинъ и тотъ же образъ мыслей и взглядъ на вещи только надоѣдаютъ, если повторяются въ нѣсколькихъ изданіяхъ. И потому къ помянутымъ нами новымъ журналамъ очень идетъ этотъ старый стихъ:

Ничто не ново подъ луною!

До 1831 года въ одной Москвѣ было больше журналовъ въ сущности, чѣмъ теперь въ обѣихъ столицахъ по числу. Не говоря уже о «Телеграфѣ», котораго важная заслуга единодушно признана теперь и друзьями, и недругами покойника; не говоря о «Московскомъ Вѣстникѣ», знакомившемъ нашу публику съ германской литературой и германскимъ воззрѣніемъ на жизнь, науку

Digitized by Google

и искусство, — самый «Вѣстникъ Европы», доживавшій тогда свои послѣдніе годы, былъ явленіемъ примѣчательнымъ и интереснымъ. Это была—умирающая мысль, отстаивающая себя въ отчаянной схваткѣ противъ враждебной новизны... Какое характеристическое изданіе было въ началѣ и въ концѣ своемъ «Телескопъ»! Да, тогда имя было вмѣстѣ и дѣломъ, а теперь — только новыя имена журналовъ, а сущность остается все та же, все старая же...

Кстати о московскихъ журналахъ съ направленіемъ и характеромъ: въ Москвѣ издается съ нынѣшняго года новый журналъ «Москвитянинъ»... Главный редакторъ его—Погодинъ, главный сотрудникъ—Шевыревъ. Не беремся пророчить о судьбѣ новаго изданія, но смѣло можемъ поручиться, что оно есть предпріятіе честное, добросовѣстное, благонамѣренное, чисто литературное и нисколько не меркантильное; что у него будетъ своя мысль, свое мнѣніе, съ которыми можно будетъ соглашаться и не соглашаться, но которыхъ нельзя будетъ не уважать, — противъ которыхъ можно будетъ спорить, но съ которыми нельзя будетъ браниться.

Отъ журналистики обратимся собственно къ литературѣ 1840 года и посмотримъ, чѣмъ-то обогатила она насъ. Нельзя сказать, чтобъ по изящной литературѣ въ прошломъ году не вышло нѣсколькихъ примѣчательныхъ книгъ. «Римскія Элегіи» Гёте, переведенныя, размѣромъ подлинника, Струговщиковымъ, «Котъ Мурръ», романъ Гоффмана, и «Путеводитель въ Пустынѣ» Купера — суть важныя пріобрѣтенія или, лучше сказать, усвоенія нашей литературы изъ сокровищницы литературъ нѣмецкой и англійской, особенно первое, какъ переведенное стихами, достойными стиховъ подлинника. Къ числу этихъ пріобрѣтеній должно отнести и «Подарокъ на Новый Годъ», двѣ сказки Гоффмана («Неизвѣстное Дитя» и «Человѣкъ Щелкушка»), очень хорошо переведенныя, тогда какъ первый переводъ ихъ (въ «Серапіоновыхъ Братьяхъ») очень дуренъ. Кстати о переводахъ вообще, т. е. и отдѣльно вышедшихъ, и помѣщенныхъ въ журналахъ, и даже нигдѣ не напечатанныхъ: наша литература принялась за Шекспира, несмотря на то, что публика еще не думаетъ серьезно приняться за него. Мы уже упоминали о «Бурѣ», «Цимбелинѣ», помѣщенныхъ въ «Пантеонѣ», и «Антоніи и Клеопатрѣ», вышедшей при «Репертуарѣ» особенной книжкой; теперь упомянемъ о другомъ (въ стихахъ) переводѣ «Бури» — Сатина, только-что вышедшемъ въ Москвѣ; сверхъ того, какъ слышно, печатаются два перевода «Сна въ Лѣтнюю Ночь» — Вельтмана и Сатина; приготовлены къ печати (хотя и неизвѣстно навѣрное, будутъ ли напечатаны): «Король Іоаннъ», «Ричардъ II» и «Генрихъ IV», переведенные въ прозѣ съ подлинника Кетчеромъ; «Ричардъ II», «Двѣнадцатая Ночь или Что̀ угодно» и «Гамлетъ», переведенные съ подлинника стихами Кронебергомъ; «Ромео и Юлія», переведенная съ подлинника, стихами, Катковымъ. Кромѣ того, говорятъ, переведены: «Коріоланъ», «Много шума изъ пустяковъ» и пр. Мы слышали даже, что одинъ молодой человѣкъ, посвятившій себя изученію Шекспира и собственно для него изучившій англійскій языкъ, перевелъ стихами — страшно вымолвить!—всего Шекспира. Итакъ, важность вопроса о Шекспирѣ теперь состоитъ не въ томъ, какъ и кому переводить его, а въ томъ — для кого, а слѣдовательно какъ и кому печатать его... Воля ваша, а странна наша литература!...

Оригинальныхъ изящныхъ произведеній въ прошломъ году вышло немного; но «Герой нашего Времени» и «Стихотворенія Лермонтова»—эти двѣ книжки, которыя одинокими пирамидами высятся въ песчаной пустынѣ современной имъ литературы, — дѣлаютъ 1840 годъ однимъ изъ плодороднѣйшихъ въ литературномъ отношеніи и даютъ ему цѣну хорошаго десятилѣтія. Къ этимъ же двумъ книжкамъ мы присоединили бы и сочиненія графини Сарры Толстой, еслибы первая часть ихъ вышла въ прошломъ, а не въ 1839 году. Въ прошломъ же году вышли новыя повѣсти Жуковой, впрочемъ уже извѣстныя публикѣ изъ журналовъ; «Панъ Халявскій» Основьяненка—эта превосходная сатира, написанная рукой отличнаго мастера; три повѣсти Александрова (Дуровой)—«Ярчукъ», «Уголь» и «Кладъ»; новый романъ Вельтмана «Генералъ Каломеросъ». Ко всему этому должно отнести «Одесскій Альманахъ», которымъ почти начался прошлый годъ: онъ примѣчателенъ многими прекрасными пьесами. Въ концѣ года появилась «Утренняя Заря», которая уже принадлежитъ библіографіи наступившаго новаго года. Важнымъ пріобрѣтеніемъ для русской литературы считаемъ маленькую книжечку, изданную Сухановымъ, подъ названіемъ: «Древнія Русскія Стихотворенія, служащія дополненіемъ къ «Киршѣ Данилову». Примѣчательна книжка Боричевскаго: «Повѣсти и Преданія Народовъ Славянскаго Племени». Изъ старыхъ вышли вновь: роскошное изданіе «Басенъ Крылова» и «Полное собраніе сочиненій Дениса Давыдова».

Вотъ исчисленіе примѣчательныхъ явленій по части ученой литературы прошлаго

Digitized by Google

года: «Путевыя Записки, веденныя во время пребыванія на Іоническихъ островахъ, въ Греціи, Малой Азіи и Турціи, въ 1835 году, Владиміромъ Давыдовымъ», съ великолѣпнымъ атласомъ in-folio; «Путешествіе по Египту и Нубіи въ 1834—1835 гг. А. Норова»; «Путешествіе Маршала Мармона въ Венгрію, Трансильванію, южную Россію, по Крыму и берегамъ Азовскаго моря, въ Константинополь, нѣкоторыя части Малой Азіи, Сирію, Палестину и Египетъ»; «Записки Александры Фуксъ о Чувашахъ и Черемисахъ»; «Очерки Россіи», изд. В. Пассекомъ; «Описаніе посольства, отправленнаго въ 1659 г. отъ царя Алексѣя Михайловича къ Фердинанду II-му, великому герцогу тосканскому»; «Записки Желябужскаго»; «Сборникъ князя Оболенскаго»; «Влахо-Болгарскія грамоты, собранныя Ю. Венелинымъ»; «Оборона Лѣтописи русской Несторовой, Буткова»; «Кіевлянинъ, Максимовича»; «Руководство къ познанію Древней исторіи, С. Смарагдова»; «Изображеніе переворотовъ въ политической системѣ Европейскихъ государствъ, соч. Ансильона» (т. II., дурно переведенный); «Первые четыре вѣка христіанства»; «Первобытная исторія христіанской церкви у Славянъ, Маунеёвскаго»; «Естественная исторія Оренбургскаго Края, соч. Эверсмана»; «Первобытный міръ Россіи, соч. Эйхвальда»; «Основанія Чистой Химіи, Гесса», изд. пятое; «Гальванопластика, Якоби»; «Исторія философіи архимандрита Гавріила», изд. второе; «Исторія философіи Древнихъ временъ, Риттера»; «Введеніе въ философію, Карпова»; «Система логики, Бахмана»; «О мѣрѣ наказаній, С. Баршева». — Продолжались изданія «Дѣяній Петра Великаго, Голикова», доведенныя до XIII т. включительно; «Живописнаго Путешествія по Азіи, соч. Эйріе», доведеннаго до конца; «Очерковъ съ произведеній Живописи», изд. Тромонинымъ; «Записокъ Герцогини Абрантесъ» (т. XV). — Вышло четвертымъ изданіемъ «Путешествіе къ Святымъ Мѣстамъ» и третьимъ—«Путешествіе къ Святымъ Мѣстамъ Русскимъ». — Язвинскій и Ольдекопъ издали нѣсколько руководствъ къ языкоученію. Кромѣ всѣхъ этихъ книгъ, можетъ-быть, мы не упомянули и еще около десятка болѣе или менѣе примѣчательныхъ сочиненій, особенно по части математики, медицины и сельскаго хозяйства. Число же всѣхъ книгъ, вышедшихъ въ прошломъ году въ Россіи, на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, беллетрическихъ и ученыхъ, превосходныхъ, хорошихъ и дурныхъ—не составляетъ и пятисотъ нумеровъ, если не включать сюда журнальныя статьи, отпечатанныя особыми брошюрами, азбуки, молитвенники и проч... Да, немного!

Прошедшее нашей литературы неблестяще, настоящее тускло; но за будущее намъ нисколько не должно отчаяваться.

Дѣянія Петра Великаго, мудраго преобразователя Россіи,

собранныя изъ достовѣрныхъ источниковъ и расположенныя по годамъ. Соч. И. И. Голикова, Изд. второе. Москва. 1837—1840. Томы I—XIII.

Исторія Петра Великаго.

Соч. Веніамина Бергмана. Пер. съ нѣмецкаго Егоръ Аладьинъ. Второе, сжатое (компактное) изданіе, исправленное и умноженное. Спб. 1840. Три тома.

О Россіи въ царствованіе Алексія Михаиловича.

Современное сочиненіе Григорья Кошихина. Спб. 1840.

> Все *народное* ничто передъ *человѣческимъ*. Главное дѣло быть *людьми*, а не *славянами*. Что хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для русскихъ; и что англичане или нѣмцы изобрѣли для пользы, выгоды человѣка, то *мое*, ибо я человѣкъ!
>
> КАРАМЗИНЪ.

I.

Мы, русскіе, безпрестанно упрекаемъ самихъ себя въ холодности ко всему родному, въ равнодушіи ко всему отечественному, русскому. Справедливо ли это?—И справедливо, и нѣтъ! Справедливо, потому что это фактъ; несправедливо, потому что въ уразумѣніи этого факта принимаютъ слѣдствіе явленія за самое явленіе. Что такое любовь къ своему безъ любви къ общему? Что такое любовь къ родному и отечественному безъ

Digitized by Google

любви къ обще-человѣческому? Развѣ русскіе сами по себѣ, а человѣчество само по себѣ? Сохрани Богъ!... Только какіе-нибудь китайцы особны и самостоятельны въ отношеніи къ человѣчеству; но потому-то они и представляютъ собой карикатуру, пародію на человѣчество, и человѣчество отвращается отъ братства съ ними. Но и китайцы еще не примѣръ въ этомъ вопросѣ, потому что было время, когда и китайцы были связаны съ человѣчествомъ, выразивъ собою первый моментъ его сознанія въ формѣ гражданскаго общества; этому и обязаны они своимъ дивнымъ государственнымъ устройствомъ, въ которомъ все опредѣлено и ничего не оставлено безъ сознанія, и которое теперь потому только смѣшно, что, лишенное движенія, представляетъ собой какъ-бы окаменѣвшее прошедшее или египетскую мумію довременнаго общества. Нѣтъ, здѣсь въ примѣръ идутъ развѣ какіе-нибудь якуты, буряты, камчадалы, калмыки, черкесы, негры, которые дѣйствительно ничего общаго съ человѣчествомъ не имѣли, которыхъ человѣчество не признаетъ живой, кровной частью самого себя, и для которыхъ, можетъ-быть, есть только будущее... И такъ, развѣ Петръ Великій—только потому великъ, что онъ былъ русскій, а не потому, что онъ былъ также человѣкъ, и что онъ болѣе нежели кто-нибудь имѣлъ право сказать о самомъ себѣ: «я человѣкъ— и ничто человѣческое не чуждо мнѣ!» Развѣ мы можемъ сказать о себѣ, что любимъ Петра и гордимся имъ, если мы не любимъ Александра Македонскаго, Юлія Цезаря, Наполеона, Густава-Адольфа, Фридриха Великаго и другихъ представителей человѣчества? Что онъ къ намъ ближе всѣхъ другихъ, что мы связаны съ нимъ болѣе родственными, болѣе, такъ сказать, кровными узами—объ этомъ нѣтъ и спора, это истина святая, несомнѣнная; но все-таки мы любимъ и боготворимъ въ Петрѣ не то, что̀ должно или можетъ принадлежать только собственно русскому, но то общее, что̀ можетъ и должно принадлежать всякому человѣку, не по праву народному, а по праву природы человѣческой. Геній, въ смыслѣ превосходныхъ способностей и силъ духа, можетъ явиться вездѣ, даже у дикихъ племенъ, живущихъ внѣ человѣчества; но великій человѣкъ можетъ явиться только или у народа, уже принадлежащаго къ семейству человѣчества, въ историческомъ значеніи этого слова, или у такого народа, который міродержавными судьбами предназначено ему, какъ напримѣръ Петру, ввести въ родственную связь съ человѣчествомъ. И потому-то есть разница между великими людьми человѣчества и геніями племенъ и, такъ сказать, заштатныхъ народовъ; есть великая разница между Александромъ Македонскимъ, Юліемъ Цезаремъ, Карломъ Великимъ, Петромъ Великимъ, Наполеономъ—и между Атиллою, Чингисомъ, Тамерланомъ: первые должны называться великими людьми, вторые—les grands Kalmuks...

Да! Мы холодны ко всему, равнодушны къ родному, но не потому, чтобъ холодность и равнодушіе лежали въ нашей натурѣ, не потому, чтобъ они были какимъ-нибудь нашимъ недугомъ, а потому что мы еще холодны и равнодушны къ общему, къ міровому, которое заслонено отъ насъ личнымъ. Слово «интересъ» мы еще принимаемъ въ смыслѣ «выгоды», а не живого и страстнаго сочувствія ко всему человѣческому, въ высшемъ и благороднѣйшемъ значеніи этого слова. Мы еще только начинаемъ соглашаться, что не худо иногда передъ вистомъ, въ ожиданіи, пока подойдетъ четвертый, долженствующій дополнить партію — поговорить и объ искусствѣ, и объ исторіи, и о Наполеонѣ, и о Шекспирѣ, словомъ — о «Байронѣ и матерьяхъ важныхъ»... Петръ Великій есть величайшее явленіе не нашей только исторіи, но исторіи всего человѣчества; онъ — божество, воззвавшее насъ къ жизни, вдунувшее душу живую въ колоссальное, но поверженное въ смертную дремоту тѣло древней Россіи: и что̀ же? чѣмъ показали мы свое неравнодушіе къ такому великому для насъ явленію? Ничѣмъ, потому что громкія фразы, великолѣпныя риторическія восклицанія еще меньше, чѣмъ ничто. Любовь проявляется въ дѣлѣ: слѣдовательно вопросъ въ томъ, что̀ мы сдѣлали для того, чтобъ понять Петра Великаго, какъ великое историческое явленіе. Собрали ли мы матеріалы для его исторіи? Нѣтъ!— Свѣрили-ль, сличили-ль между собою, повѣрили-ль исторической критикой хотя извѣстные намъ факты? — Нѣтъ! Есть ли у насъ хоть какія-нибудь, сколько-нибудь заслуживающія вниманія попытки изобразить въ стройной исторической картинѣ жизнь и дѣянія Великаго?—Доселѣ еще—нѣтъ! Правда, былъ у насъ одинъ, который могъ бы алмазнымъ перомъ своимъ, какъ на мѣди или мраморѣ, нетлѣнными чертами передать вѣчности дѣла и образъ Великаго; но преждевременная смерть вырвала волшебное перо изъ творческихъ рукъ и надолго лишила Россію надежды имѣть ученo-художественную исторію творца ея будущаго величія и счастія... Изъ прежнихъ попытокъ сдѣлать что-нибудь для исторіи Петра Великаго достоинъ величайшаго уваженія только безкорыстный и простодушный трудъ Голикова. Прекрасное, отрадное явленіе въ русской жизни этотъ Голиковъ! Полуграмотный

Digitized by Google

курскій купецъ, выучившійся на желѣзные гроши читать и писать, чувствуетъ сильную потребность во что бы то ни стало узнать исторію Петра Великаго. Недостатокъ въ средствахъ лишаетъ его возможности собирать матеріалы; однако онъ дѣлаетъ для этого всевозможныя пожертвованія, урывками отъ коммерческихъ занятій и житейскихъ заботъ, читаетъ онъ все, что̀ попадается ему подъ руку о Петрѣ, дѣлаетъ выписки и такимъ образомъ полагаетъ начало своему труду, огромности котораго и самъ не предчувствуетъ. Вдругъ подпадаетъ онъ уголовному суду, лишается свободы и чести; но черезъ два съ половиною года освобождается изъ заключенія вслѣдствіе милостиваго манифеста по случаю открытія въ Петербургѣ монумента Петру Великому. Изъ тюрьмы спѣшитъ онъ въ церковь, оттуда на Петровскую площадь, и, въ священномъ изступленіи, упавъ на колѣни предъ статуей Великаго, громко и всенародно клянется достойно отблагодарить его за благодѣяніе. Съ тѣхъ поръ каждая минута жизни его посвящена на совершеніе высокаго подвига. Тринадцать томовъ остались памятникомъ его благороднаго рвенія, и въ безъискусственномъ, безпорядочномъ его разсказѣ нерѣдко замѣтно одушевленіе, достойное предмета, его возбудившаго; въ основѣ лежитъ безсознательное, но тѣмъ не менѣе вѣрное созерцаніе идеи, выраженной явленіемъ Петра Великаго. Явись Голиковъ у англичанъ, французовъ, нѣмцевъ—не было бы конца толкамъ о немъ, не было бы счета его біографіямъ; гипсовыя изображенія его продавались бы вмѣстѣ съ статуйками Наполеона, Вольтера, Руссо, Франклина; портреты выставлялись бы въ окнахъ эстампныхъ магазиновъ, виднѣлись бы на площадяхъ и перекресткахъ.

И такъ, трудъ Голикова есть почти все, что̀ сдѣлано нашей литературой для исторіи Петра Великаго. Карамзинъ еще далеко не дошелъ до нея, Пушкинъ смертью застигнутъ въ приготовительныхъ работахъ къ ней. Записные наши историческіе критики заняты вопросомъ, «откуда пошла Русь» — отъ Балтійскаго или отъ Чернаго моря. Имъ какъ будто и нужды нѣтъ, что рѣшеніе этого вопроса не дѣлаетъ ни яснѣе, ни занимательнѣе баснословнаго періода нашей исторіи. Норманы ли за-балтійскіе, или татары за-понтійскіе — все равно: ибо если первые не внесли въ русскую жи́знь европейскаго элемента, плодотворнаго зерна всемірно-историческаго развитія, не оставили по себѣ никакихъ слѣдовъ ни въ языкѣ, ни въ обычаяхъ, ни въ общественномъ устройствѣ, то стоитъ ли хлопотать о томъ, что норманы, а не калмыки пришли княжити надъ словены; если же это были татары, то развѣ намъ легче будетъ, если мы узнаемъ, что они пришли къ намъ изъ-за Урала, а не изъ-за Дона, и вступили въ словенскую землю правой, а не лѣвой ногой?... Ломать голову надъ подобными вопросами, лишенными всякой существенной важности, которая дается факту только мыслью — все равно, что пускаться въ археологическія изысканія и писать цѣлые томы о томъ, какого цвѣта были доспѣхи Святослава, и на которой щекѣ была родинка у Игоря. А между тѣмъ этотъ первый и безплодный періодъ русской исторіи поглощаетъ или по крайней мѣрѣ поглощалъ всю дѣятельность большей части нашихъ ученыхъ изслѣдователей, которые и знать не хотятъ того, что имена Рюриковъ, Олеговъ, Игорей и подобныхъ имъ героевъ наводятъ скуку и грусть на мыслящую часть публики, и что русская исторія начинается съ возвышенія Москвы и централизаціи около нея удѣльныхъ княжествъ, т. е. съ Іоанна Калиты и Симеона Гордаго. Все, что̀ было до нихъ, должно составить коротенькій разсказъ на нѣсколькихъ страничкахъ, вродѣ введенія, разсказъ съ выраженіями вродѣ слѣдующихъ: «лѣтописи говорятъ, но думать должно; вѣроятно; можетъ быть; могло быть», и т. д. Подобное введеніе должно быть коротко, ибо что̀ интереснаго въ подробномъ повѣствованіи о колыбельномъ существованіи хотя бы и великаго человѣка? И малые, и великіе люди въ колыбели равно малы: спятъ, кричатъ, ѣдятъ, пьютъ. Даже и собственно исторія Московскаго Царства есть только введеніе, разумѣется, несравненно важнѣе перваго, — введеніе въ исторію Государства Русскаго, которое началось съ Петра. Въ этомъ введеніи встрѣчаются интересныя лица, сильные и могучіе характеры, даже драматическія положенія цѣлаго народа; но все это имѣетъ чисто-человѣческій, а не историческій интересъ; все это такъ же интересно въ русской исторіи, какъ и въ исторіи всякаго другого народа во всѣхъ пяти частяхъ свѣта. Исторія есть фактическое жизненное развитіе общей (абсолютной) идеи въ формѣ политическихъ обществъ. Сущность исторіи составляетъ только одно разумно-необходимое, которое связано съ прошедшимъ и въ настоящемъ заключаетъ свое будущее. Содержаніе исторіи есть общее: судьбы человѣчества. Какъ исторія народа не есть исторія милліоновъ отдѣльныхъ лицъ, его составляющихъ, но только исторія нѣкотораго числа лицъ, въ которыхъ выразились духъ и судьбы народа,—точно такъ же и человѣчество не есть собраніе народовъ всего земного шара, но только нѣсколькихъ народовъ, выражающихъ собою идею человѣчества. Мы уже

Digitized by Google

намекнули, что и самый Китай имѣлъ всемірно-историческое значеніе, выразивъ собою первый моментъ общественности; но хотя китайцы и теперь существуютъ, да еще въ числѣ, какъ говорятъ, чуть ли не ста милліоновъ головъ, однако они столько же принадлежатъ къ человѣчеству, сколько и милліоны рогатыхъ головъ ихъ многочисленныхъ стадъ. Индійцы, египтяне и особенно племена семитическія, греки и римляне, — каждый изъ этихъ народовъ былъ звеномъ въ цѣпи развитія человѣчества,—былъ, но теперь уже не есть; ибо индійцы и египтяне теперь нѣчто вродѣ окаменѣлостей, а греки и римляне исчезли совсѣмъ съ лица земли, уступивъ родную почву другимъ племенамъ. Магометанскій востокъ раскинулся пышнымъ, хотя и мгновеннымъ цвѣтомъ; но и этому онъ обязанъ былъ той односторонней истинѣ, которую выразилъ въ многосторонней лжи своей. Аравитяне имѣли вліяніе на самую Европу и тѣмъ придали магометанству характеръ исторической необходимости и спасли его отъ забвенія. Но когда односторонняя истина его содержанія сшиблась съ общей, міровой истиной христіанскаго европеизма,—онъ уступилъ, потомъ палъ, и теперь одряхлѣвшій и безжизненный трупъ Турціи держится только милостью европейскихъ державъ. Умершій Римъ завѣщалъ богатое наслѣдство своей жизни разрушившимъ его варварамъ: онъ далъ имъ христіанство, цивилизацію и законы. Съ тѣхъ поръ человѣчество явилось въ лицѣ тевтонскаго племени, широкимъ потокомъ разлившагося въ Европѣ; все же остальное представляло собою явленія случайныя, которыя возникали, Богъ знаетъ, откуда и какъ, и исчезали, Богъ знаетъ, гдѣ и какъ, подобно вѣтру въ степяхъ Аравіи... Атиллы и Тамерланы основывали огромныя монархіи и грозили всему міру и Европѣ; но міръ и Европа остались, а грозные воители исчезли вмалѣ; вмѣстѣ съ ними исчезли и ихъ эфемерныя монархіи, возникшія и развившіяся не изнутри, подобно явленіямъ растительнаго и животнаго царствъ природы, а снаружи, черезъ налипаніе, подобно минераламъ, не органически, а химически и механически. Случайно было ихъ явленіе, случайно было и ихъ паденіе: могущество отдѣльной отъ человѣчества личности воззвало ихъ къ бытію, а смерть этой личности возвратила ихъ въ прежнее ничтожество. Между тѣмъ Европа росла, крѣпла и развивалась, выдержала ужасные напоры случайныхъ силъ и въ существенныхъ стихіяхъ собственной жизни нашла разрѣшеніе противорѣчій этой жизни, а въ борьбѣ разумной необходимости съ случайностью открыла неисчерпаемый источникъ, богатое содержаніе неизживаемой жизни,—и только простодушное невѣжество или жалкое суевѣріе и фанатизмъ могутъ видѣть послѣдніе дни и смертное томленіе Европы въ успѣхахъ ея цивилизаціи, въ торжествѣ человѣческаго разума. Въ какомъ смутномъ броженіи, въ какой свирѣпой борьбѣ элементовъ и силъ является исторія Европы среднихъ вѣковъ! Но въ этомъ хаосѣ немолчно раздается всемогущій глаголъ жизни, творческое «да будетъ!»; духъ Божій носится во мракѣ надъ ярящимися волнами безпредѣльныхъ водъ... и вотъ почему, при всей пестротѣ, при всей яркости цвѣтовъ, при всемъ разнообразіи и смѣшеніи борющихся между собою элементовъ, исторія Европы представляетъ стройную и величественную картину разумныхъ и великихъ событій; взоръ мыслителя усматриваетъ въ формѣ этой многосложной картины единство діалектически развивающейся мысли.

Чтобъ лучше показать, какая разница между интереснымъ характеромъ народа, нежившаго жизнью человѣчества, и интереснымъ характеромъ всемірно-историческаго народа, сравнимъ Іоанна Грознаго и Людовика XI. Оба они—характеры сильные и могучіе, оба ужасны своими дѣлами; но Іоаннъ Грозный — важное лицо только для частной исторіи Россіи: онъ довершилъ уничтоженіе удѣловъ, окончательно рѣшилъ мѣстный вопросъ, многозначительный только для Россіи,—между тѣмъ какъ тиранія Людовика XI имѣла великое значеніе для Франціи, и слѣдовательно для Европы: Людовикъ нанесъ ужасный ударъ феодализму, сколько можно было сосредоточилъ государство, поднялъ среднее сословіе, установилъ почты, хитрой и коварной своей политикой отстоялъ Францію отъ Карла Смѣлаго и другихъ опасныхъ враговъ, и пр. Въ характерѣ и дѣйствіяхъ Людовика XI выразился духъ эпохи, конецъ среднихъ вѣковъ и начало нынѣшней исторіи Европы. Іоаннъ интересенъ, какъ человѣкъ въ извѣстномъ положеніи, даже какъ частно-историческое лицо; Людовикъ XI—какъ лицо всемірно-историческое. Іоаннъ палъ жертвой условій жизни народа, на которомъ вымѣщалъ свою погибель; Людовикъ, чувствуя на себѣ вліяніе времени, былъ въ то же время не только рабомъ его, но и господиномъ, ибо давалъ ему направленіе и управлялъ его ходомъ.

Исторія Россіи отъ временъ Калиты и особенно отъ Іоанна III до Петра Великаго безъ всякаго сомнѣнія несравненно интереснѣе, чѣмъ въ періодъ удѣловъ и первой половины татарскаго ига; но чѣмъ интереснѣе становится она, тѣмъ менѣе обращаетъ на себя вниманіе и трудолюбіе ученыхъ дѣятелей. По крайней мѣрѣ въ послѣднее время издано много историческихъ памятниковъ,

Digitized by Google

относящихся къ этому періоду, чѣмъ обязаны мы болѣе просвѣщенному содѣйствію правительства, нежели ревности частныхъ лицъ. Что же до самой интереснѣйшей эпохи нашей исторіи—царствованія Петра Великаго, ея какъ будто и не существуетъ въ глазахъ нашихъ ученыхъ, поглощенныхъ общими мѣстами о происхожденіи Руси. А между тѣмъ каждый, если случится ему написать имя Петра, почитаетъ за долгъ выйти изъ себя, накричать множество громкихъ фразъ, зная, что бумага все терпитъ. Иные изъ писавшихъ о Петрѣ, впрочемъ люди благонамѣренные, впадаютъ въ странныя противорѣчія, какъ будто влекомые по двумъ разнымъ, противуположнымъ направленіямъ: благоговѣя передъ его именемъ и дѣлами, они на одной страницѣ весьма основательно говорятъ, что на что́ ни взглянемъ мы, на себѣ и кругомъ себя—вездѣ и во всемъ видимъ Петра; а на слѣдующей страницѣ утверждаютъ, что европеизмъ—вздоръ, гибель для души и тѣла, что желѣзныя дороги ведутъ прямо въ адъ, что Европа чахнетъ, умираетъ, и что мы должны бѣжать отъ Европы чуть-чуть не въ степи киргизскія...

Мы очень рады, что появленіе второго изданія Голикова, исторіи Бергмана и сочиненія Кошихина даетъ намъ случай и возможность сказать нѣсколько словъ о величайшемъ явленіи русской исторіи и объ одномъ изъ величайшихъ явленій всемірной исторіи—о Петрѣ Великомъ. Просимъ нашихъ читателей не быть слишкомъ взыскательными, не выпускать изъ вида великости предмета и незначительности средствъ къ его уразумѣнію, не забывать также, что въ журнальной статьѣ нельзя высказать всего такъ, какъ бы хотѣлось. Мы почтемъ себя вполнѣ достигшими цѣли, если статья наша займетъ не одни глаза читателя, но и душу и разумъ его, и наведетъ его на мысли и думы, которыхъ еще не возбуждали въ немъ историческіе возгласы о Петрѣ Великомъ.

Собраніе фактовъ, касающихся до исторіи Петра Великаго, критическое разсмотрѣніе и повѣрка матеріаловъ ея—вотъ что прежде всего ожидаетъ дѣятелей. Прагматическое изложеніе этихъ фактовъ—второе великое дѣло, пока еще тщетно ожидающее для себя труда и таланта. Но ни то, ни другое не можетъ обойтись безъ опредѣленія настоящей точки зрѣнія на Петра Великаго, какъ на историческаго дѣйствователя. Пусть всякій дѣлаетъ свое: мы постараемся изложить свою мысль или, если угодно, свое мнѣніе о дѣлѣ Петра, подкрѣпляя его, гдѣ будетъ нужно, живымъ свидѣтельствомъ историческихъ фактовъ.

Въ чемъ заключается дѣло Петра Великаго? въ преобразованіи Россіи, въ сближеніи ея съ Европою. Но развѣ Россія и безъ того находилась не въ Европѣ, а въ Азіи?—Въ географическомъ отношеніи она всегда была державой европейской; но одного географическаго положенія мало для европеизма страны. Что́ же такое Европа и что́ такое Азія? Вотъ вопросъ, изъ рѣшенія котораго только можно опредѣлить значеніе, важность и великость дѣла Петра.

Азія—страна такъ называемой естественной непосредственности, Европа—страна сознанія; Азія—страна созерцанія, Европа—воли и разсудка. Вотъ главное и существенное различіе Востока и Запада, причина и исходный пунктъ исторіи того и другого. Азія была колыбелью человѣческаго рода и до сихъ поръ осталась его колыбелью: дитя выросло, но все еще лежитъ въ колыбели, окрѣпло, но все еще ходитъ на помочахъ. Въ жизни, дѣйствіяхъ и самомъ сознаніи азіатца видна только первобытная естественность—и больше ничего. Азіатца нельзя назвать животнымъ, ибо онъ одаренъ смысломъ и словомъ; но онъ животное въ томъ смыслѣ, въ какомъ можно назвать животнымъ младенца. Младенецъ есть возможность человѣка въ будущемъ, но въ настоящемъ—что́ такое жизнь его?—растительность и животность. Воплемъ и слезами изъявляетъ онъ страданіе и горесть; крикомъ и смѣхомъ—радость и удовольствіе. Источникъ его радостей и страданій—его организмъ: здоровъ онъ и сытъ—онъ доволенъ; можетъ лакомиться—онъ счастливъ; боленъ и голоденъ—онъ страдаетъ; есть у него пища, но нѣтъ лакомствъ—онъ спокоенъ, но унылъ, страсти его молчатъ, живость ощущеній притупляется; увидитъ лакомства—онъ испускаетъ вопли радости, глаза его сверкаютъ огнемъ и странной живостью. Таковъ и азіатецъ. Основа его общественности есть обычай, освященный древностью, давностью и привычкой. «Такъ жили отцы наши и дѣды»—вотъ основное правило и высшее разумное оправданіе азіатца въ его бытѣ и образѣ жизни. Прекрасное правило, все оправдывающая причина! Это альфа и омега всякой мудрости, это послѣдній отвѣтъ на всѣ вопросы разума! И къ тому же оно такъ легко для уразумѣнія, такъ коротко! Спросите черкеса, зачѣмъ онъ свято соблюдаетъ права гостепріимства въ своей саклѣ и грабитъ, рѣжетъ своего гостя на дорогѣ, подстрѣливаетъ его изъ-подъ куста, какъ дикую птицу, или хватаетъ на арканъ, заковываетъ въ желѣзо и заставляетъ всю жизнь пасти стада,—онъ отвѣтитъ вамъ: «такъ дѣлали отцы и дѣды наши». Хорошо ли это, дурно ли, разумно или безсмысленно,—подобные вопросы не приходятъ ему въ голову; это слишкомъ тяжелая, слишкомъ

Digitized by Google

неудобоваримая пища для его головы. Такъ-же точно нисколько не думаетъ азіатецъ о своей человѣческой личности—о значеніи ея и правахъ. Сегодня богатъ онъ, завтра нищъ; сегодня онъ неограниченный повелитель милліоновъ, завтра рабъ презрѣнный и безгласный; сегодня движеніе руки его, маніе бровей его изрекаютъ войну и миръ, жизнь и смерть, завтра подносятъ ему шелковый снурокъ, который онъ самъ надѣваетъ себѣ на шею. Почему все это такъ, а не иначе, и должно ли все это быть такъ, а не иначе,—онъ объ этомъ никогда не спрашивалъ ни себя, ни другихъ. Такъ было задолго до него, такъ бываетъ не съ однимъ нимъ, а со всѣми, слѣдовательно такова воля Аллаха! И потому онъ такъ-же хладнокровно распоряжается счастьемъ или несчастьемъ, жизнью или смертью ближнихъ, какъ хладнокровно самъ подчиняется велѣніямъ судьбы. Вслѣдствіе этого цѣнность человѣческой крови для него нисколько не выше цѣнности крови домашнихъ животныхъ. Отсюда неограниченный деспотизмъ и безусловное рабство. Отсюда же совершенный произволъ съ одной стороны и совершенное отсутствіе чувства законной приверженности и непоколебимой вѣрности съ другой. Турокъ не рощетъ, если дурное расположеніе духа властелина сажаетъ его на колъ или вѣшаетъ на петлѣ; но турокъ же не задумается ни на минуту пристать къ смѣлому мятежнику противъ законнаго властителя, къ сыну противъ родного отца. Вотъ непрочность однѣхъ естественныхъ связей, несознанныхъ посредствомъ разсудка! Семейственность есть общая форма азіатскаго быта; самое государство на Востокѣ—семейство въ огромномъ размѣрѣ. Но посмотрите, какъ ничтожны тамъ узы родства! У дѣтей нѣтъ матери, потому что мать ихъ не человѣкъ, не женщина, а самка и матка; но у дѣтей нѣтъ и отца, ибо и отецъ ихъ только самецъ, владѣющій извѣстнымъ числомъ самокъ, и притомъ господинъ и повелитель и своихъ самокъ и своихъ дѣтенышей, неограниченный властелинъ, при которомъ они, какъ рабы, должны безмолвно стоять, потупивъ глаза въ землю, приложивъ руку къ груди. И потому кровавыя сцены въ семействѣ на Востокѣ—обыкновенныя событія и далеко не возбуждаютъ такого мистическаго ужаса, какъ въ безнравственной и безбожной (по мнѣнію китайскихъ мандариновъ пятой степени) Европѣ. Въ нѣкоторыхъ мусульманскихъ земляхъ повелитель, восходя на тронъ отца своего, умерщвляетъ всѣхъ своихъ братьевъ, а въ нѣкоторыхъ только велитъ имъ выкалывать глаза. Разумѣется, подобное право не простирается на частныхъ людей; но что освящено употребленіемъ и обычаемъ, то не можетъ казаться особеннымъ преступленіемъ, не можетъ внушать особеннаго ужаса. Вотъ что значатъ естественныя права крови, неосвященныя любовью и духомъ, несознанныя разумѣніемъ! Кажется, никто такъ не близокъ къ природѣ, какъ животныя, и слѣдовательно ни у кого узы крови не должны быть такъ крѣпки и нерушимы, какъ у животныхъ; но у нихъ-то и нѣтъ совсѣмъ никакихъ узъ родственныхъ: тигръ пожираетъ дѣтей въ голодѣ, и вообще самка какого бы то ни было животнаго только до тѣхъ поръ мать своимъ дѣтямъ, пока кормитъ ихъ грудью, а ея порожденія только до тѣхъ поръ ея дѣти, пока сосутъ ее; послѣ же этого термина взаимныя отношенія дѣтей къ матери и матери къ дѣтямъ какъ-то странно измѣняются...

Почти все это можно видѣть и между людьми на Востокѣ: торговля дѣтьми (особенно дочерьми)—одинъ изъ главнѣйшихъ промысловъ у нѣкоторыхъ азіатскихъ племенъ. Гдѣ нѣтъ любви, тамъ нѣтъ и взаимной довѣренности, а узы родства тамъ только увеличиваютъ взаимную недовѣрчивость, ибо личные интересы родныхъ чаще всего сталкиваются враждебно. Сила личнаго самохраненія не можетъ ослабѣвать или усыпляться отъ родства, если любовь не освобождаетъ отъ подозрѣнія и страха. Въ Европѣ власть родительская основана на правѣ любви сознательной и разумной, вышедшей изъ любви естественной; и потому въ Европѣ право родства утрачиваетъ всю силу свою, какъ скоро перестаетъ опираться на правѣ любви. Объ исключеніяхъ говорить нечего; но можно почитать общимъ правиломъ, что отецъ не имѣетъ права жаловаться на дурныхъ дѣтей, потому что только у дурныхъ родителей могутъ быть дурныя дѣти. А такъ какъ отношенія столь близкихъ между собою людей, какъ родные, не могутъ быть предметомъ вѣрнаго и непогрѣшительнаго суда постороннихъ, то эти отношенія и приведены въ общія законныя формы. Законъ смотритъ только на внѣшнее, на форму, на приличіе, не позволяя себѣ проникать во внутреннее, которое передаетъ въ высшую инстанцію—въ судилище совѣсти. И потому гражданскій законъ въ Европѣ требуетъ отъ дѣтей только внѣшняго уваженія къ родителямъ, но не любви, для которой нѣтъ гражданскихъ законовъ. Съ другой стороны, права родителей надъ дѣтьми ограничены общественнымъ мнѣніемъ; въ извѣстныя лѣта дѣти становятся полными господами своей участи и своихъ поступковъ. И потому въ Европѣ можно видѣть примѣры, какъ дѣти судятся съ своими родителями, или родители съ дѣть-

Digitized by Google

ми; но только въ Азіи можно видѣть примѣры дѣтоубійства и отцеубійства; въ Европѣ тѣ и другія — чудовищныя и рѣдкія исключенія.

Сознаніе азіатца спитъ, ибо заключено въ магическомъ кругу младенческой естественности, непосредственности. Мысль его преимущественно проявляется въ религіозной сферѣ; но и тутъ далѣе естественнаго пантеизма она не восходила. Исключеніе остается за одними евреями, которымъ высшая воля поручила храненіе сокровища, цѣны котораго они сами не умѣли цѣнить. Поэтому и христіанство могло развиться только въ Европѣ. Но въ исламизмѣ Азія увидѣла полное выраженіе своего духа. «Ни о чемъ не думай, ибо за тебя думаетъ святая книга; наслаждайся чувственными удовольствіями и властью, если предопредѣленіе дастъ тебѣ ихъ; погибай безъ ропота, ибо такъ написано на дскахъ предопредѣленія; губи безъ смущенія, ибо такъ написано на дскахъ предопредѣленія твоей жертвы»— вотъ основаніе исламизма. Коранъ предписываетъ любовь къ ближнему, гостепріимство; высшимъ блаженствомъ называетъ онъ созерцаніе безконечныхъ совершенствъ Аллаха; но эта любовь къ ближнему уничтожается понятіемъ о предопредѣленіи и простирается только на правовѣрныхъ, а не на поганыхъ джяуровъ, которыхъ истинный мусульманинъ долженъ фанатически ненавидѣть; но это созерцаніе божескихъ совершенствъ переходитъ въ дремоту души, утомленной чувственностью, и въ безсмысленную формалистику, которая предписываетъ извѣстное число повтореній «нѣтъ Бога, кромѣ Бога» и пр., намазы, и т. п.

Основаніе всѣхъ религій, возникшихъ въ Азіи (кромѣ одной—единой, безусловной и божественной), есть физическій пантеизмъ (всебожіе) или обожествленіе субстанціальныхъ силъ природы. Какъ скоро этотъ пантеизмъ истощаетъ все свое содержаніе и отъ природы долженъ возвыситься до духа,—онъ тотчасъ же и уничтожается, впадая въ отвлеченныя случайности и мертвый формализмъ. Онъ движется, но въ ограниченной сферѣ самого себя, или, лучше сказать, кружится на одномъ мѣстѣ, а не движется отъ исходнаго пункта своего вдаль по прямой линіи. По крайней мѣрѣ въ индійскомъ пантеизмѣ были видоизмѣненія, была борьба сектъ, были свои секты, тогда какъ исламизмъ явился чѣмъ-то опредѣленнымъ, безъ всякой возможности даже кругженія, не только развитія,—въ стоячей и мертвенной неподвижности. Отвергши повидимому всякій формализмъ служенія, всякое чувственное представленіе божества и чрезъ то повидимому ставъ исповѣданіемъ въ духѣ, — онъ въ существѣ своемъ тотъ же индійскій пантеизмъ, то же робкое обожествленіе природы, а не духа, только болѣе ограниченное и уже совершенно непосредственное и безсознательное. Это самыя крѣпкія оковы для ума человѣческаго; это самый мягкій и роскошный диванъ для его лѣни и усыпленія. Исламизмъ нисколько не допускаетъ въ себя элемента свободнаго и разумнаго мышленія; отъ этого дикій фанатизмъ и ожесточенное невѣжество есть его опора, сила и характеръ. Поэтому же самому неподвижность есть условіе исламизма; онъ сгніетъ и разрушится дѣйствіемъ собственнаго гніенія, но не измѣнится, не обновится, не приметъ въ себя новыхъ элементовъ. Онъ предлагаетъ свои догматы и законы какъ повелѣнія, а не какъ истины на основаніи какихъ бы то ни было доказательствъ. Послѣ этого удивительно ли, что христіанство не могло укорениться на Востокѣ: оно убѣждаетъ, а не порабощаетъ, оно отвергло матерію и поставило надъ нею Духа Святого, который есть любовь и разумъ...

Та же неподвижность и въ общественномъ бытѣ азіатцевъ. Условія его немногосложны и просты, какъ условія стадъ и табуновъ: соединенныя родственнымъ инстинктомъ, животныя въ нихъ спокойно пасутся, не мѣшая другъ другу, а когда разыграются страсти, то рѣшаютъ дѣйствительность правъ своихъ превосходствомъ силы и крѣпости роговъ и копытъ. Право возмездія—древнѣйшее изъ всѣхъ правъ, потому что оно самое «естественное право». Христіанство отвергло его съ особенною энергіей; но это потому, что христіанство было освобожденіемъ человѣчества отъ оковъ грубой естественности. Для азіатца право личности не въ законѣ, а въ кинжалѣ; его обидѣли, кровь закипѣла—и кинжалъ въ груди оскорбителя; убійца не всегда даже и хлопочетъ о спасеніи: если на дскахъ предопредѣленія не написано умереть ему отъ казни, его не казнятъ, а написано—ничѣмъ не спастись. Судилищъ и судейской процедуры азіатецъ не терпитъ: судъ совершается въ домѣ судьи, рѣшеніе зависитъ не отъ силы и разума закона, а отъ мудрости судьи. Тутъ же и благодѣтельная фалака, а если нужно и висѣлица — дѣло только въ петлѣ, висѣлицей же можетъ служить первое попавшееся на глаза окно мирнаго гражданина. Азіатецъ лучше хочетъ быть невинно битъ по пятамъ палками, повѣшенъ, посаженъ на колъ, только чтобъ сію же минуту, безъ проволочки, — чѣмъ подвергаться судебному слѣдствію, которое лишило бы его возможности сидѣть поджавъ ноги, дѣлать кейфъ или творить намазъ. Турокъ отъ искренняго сердца ди-

Digitized by Google

вится глупости невѣрныхъ франковъ, проклятыхъ джяуровъ, которые, попавшись подъ судъ, хотятъ, чтобы ихъ судили, и не требуютъ того, чтобъ ихъ поскорѣе околотили по пятамъ или посадили на колъ...

Однообразна частная жизнь азіатцевъ. Это—или дикія оргіи грубой чувственности, или молчаливая бесѣда гостей, прерываемая изрѣдка вѣжливымъ вопросомъ: «каково состояніе вашего мозга?», и не менѣе деликатнымъ отвѣтомъ: «оно сладко, какъ сахаръ». Наскучивъ наконецъ сидѣть поджавъ подъ себя ноги и курить завѣтный кальянъ или прокурившись до послѣдней крайности,—мусульманинъ, бывало, снималъ со стѣны свою дамасскую саблю и съ дикимъ бѣшенствомъ вторгался въ предѣлы франковъ, грабилъ Сербію, Венгрію, Польшу, полуденную Россію, а насытившись боевой тревогой и разжившись военнымъ грабежомъ, снова садился подъ тѣнь спокойствія на коверъ наслажденія и погружался въ созерцаніе божества, повторяя: «нѣтъ Бога, кромѣ Бога, и Магометъ пророкъ его»,—и развѣ только для невиннаго разсѣянія рубилъ головы рабамъ своимъ и бросалъ въ море мѣшки съ своими женами. Прекрасная жизнь! Она вся въ чувствѣ—мятежный разумъ не смѣетъ и издалека подойти къ ней, чтобъ смутить ея животное блаженство!...

Неподвижность и окаменѣлость слиты съ Азіею, какъ душа съ тѣломъ. Какова она была за нѣсколько тысячелѣтій до Рождества Христова, такова и теперь, такъ пребудетъ всегда, если Европа не подломитъ основаній ея непосредственнаго состоянія и не преобразуетъ ея христіанствомъ. Въ Азіи нѣтъ ни науки, ни искусства, а есть, вмѣсто ихъ, преданіе и обычай. Нигдѣ не льется столько крови, какъ въ Азіи, нигдѣ люди не рѣжутся такъ много, какъ въ Азіи,—и все-таки тамъ нѣтъ военнаго искусства! Побѣду даетъ случай, слѣпой случай, а не умъ, не искусство, и не всегда даже превосходство въ силѣ. Въ самомъ дѣлѣ, если не случайность, то тутъ часто участвуетъ вдохновеніе, власть минуты. Въ Европѣ храбрость храбростью, одушевленіе одушевленіемъ, а математическій, прозаическій разсчетъ своимъ чередомъ. Европеецъ умѣетъ помирить вдохновеніе съ разсудкомъ. Азіатецъ весь въ распоряженіи минутнаго расположенія духа, которое и въ массахъ, какъ и въ человѣкѣ, часто зависитъ отъ одной случайности. Правда, Китай служитъ какъ-бы исключеніемъ изъ этого правила; но это только кажется такъ: иначе отчего же бы всѣ его изобрѣтенія стали на полдорогѣ, всѣ учрежденія окаменѣли при возникновеніи своемъ, и онъ самъ — трехмѣсячный ребенокъ съ сѣдыми волосами, желтой, морщиноватой, какъ печеное яблоко, кожей, съ сгорбленнымъ станомъ?.. Скажутъ, что сами китайцы всѣми мѣрами поддерживаютъ самое безусловное statu quo въ своемъ государствѣ, понявъ, что оно только этимъ и можетъ существовать? Глубокъ же источникъ жизни въ томъ государствѣ, которое при отступленіи отъ условій стариннаго своего быта, пріемля новыя открытія и обычаи, должно разрушиться, какъ набальзамированный и хорошо сбереженный трупъ въ свинцовомъ гробѣ разрушается отъ прикосновенія къ нему воздуха!...

И вотъ Азія! Знаемъ, что мы тутъ ничего новаго о ней не сказали; но не та была и цѣль наша: намъ нужно было только напомнить читателю уже извѣстное всѣмъ объ Азіи, чтобы онъ, при чтеніи этой статьи, не выпустилъ изъ вида, что такое для человѣка, народа и человѣчества пребываніе въ такъ называемой естественной непосредственности сознанія.

Еще менѣе можемъ сказать мы новаго о Европѣ касательно ея противоположности съ Азіею; но и это не цѣль наша; намъ опять нужно только привести для соображенія читателю двѣ-три самыя рѣзкія черты; собственная его проницательность дополнитъ остальное.

Еще во время язычества, въ древнемъ мірѣ, характеръ Европы былъ противоположенъ характеру Азіи. Противоположность эта состояла въ нравственной движимости и измѣняемости Европы, которыхъ причина заключалась въ вѣчномъ усиліи европейскихъ народовъ силой сознанія посредствовать съ собою всѣ отношенія свои къ міру и жизни. Воспользовавшись чувствомъ и вдохновеніемъ, какъ моментомъ развитія, какъ необходимымъ элементомъ жизни, европеецъ издревле далъ полную волю своей мыслящей способности, судительной и анализирующей силѣ своего ума, привелъ въ движеніе свой разсудокъ, разрывающій полноту всякой непосредственности. Созерцаніе помирилъ онъ дѣйствіемъ, и въ созерцаніи своей дѣятельности нашелъ свое высочайшее блаженство,—и дѣятельность его состояла въ томъ, чтобъ безпрестанно вносить въ жизнь свои идеалы и осуществлять ихъ въ этой жизни. Для грека жить—значило мыслить: другой жизни не понималъ онъ. Его вѣрованіе было тотъ же пантеизмъ, но не отвлеченный и неподвижный, а распавшійся на множество живыхъ и прекрасныхъ божественныхъ личностей. Грекъ всегда предчувствовалъ больше, чѣмъ понималъ: доказательство—воздвигнутый имъ въ аѳинскомъ храмѣ алтарь Богу невѣдомому. Грекъ діалектически перешелъ свое *вѣрованіе*, дошелъ до точки, гдѣ оно стало *знаніемъ*. Онъ перепробовалъ

Digitized by Google

всѣ формы жизни общественной и гражданской; онъ принадлежалъ и семейству, но жилъ на площади, въ храмахъ, въ мастерскихъ художниковъ, въ садахъ академій и лицеевъ, слушая ораторовъ и философовъ; конецъ его внутренней жизни былъ концомъ и его политическаго существованія. Суровый римлянинъ развилъ своимъ политическимъ существованіемъ идею права, основаннаго на авторитетѣ чистаго мышленія, отвлеченнаго разсудка. Для римлянина легче было увидѣть себя ложно обвиненнымъ и несправедливо осужденнымъ, нежели оправданнымъ не по формѣ суда, не на основаніи закона, а по произволу судящихъ. Законъ для него былъ не преданіемъ и не обычаемъ, но сознаніемъ,—и вмѣстѣ съ развитіемъ его сознанія развивалось и его право, такъ что, не зная исторіи Рима при какихъ-нибудь Гораціяхъ и Куріаціяхъ, нельзя знать, откуда и какъ явилось то или другое узаконеніе при томъ или другомъ императорѣ до Юстиніана. Развивъ вполнѣ отвлеченное понятіе положительнаго права, Римъ совершилъ свое назначеніе, изжилъ всю свою жизнь,—и его исторія отъ эпохи собранія законовъ въ кодексы до паденія отъ мечей варваровъ есть журналъ смертельной болѣзни, который врачъ ведетъ, наблюдая своего паціента до послѣдней его минуты. Христіанство возродило Европу и дало ей неизживаемый запасъ жизни. Не будемъ говорить о рыцарствѣ, объ обожаніи женщины, о возникновеніи городовъ и средняго сословія, словомъ—о всѣхъ этихъ измѣненіяхъ, вслѣдствіе которыхъ варварскій Сѣверъ сталъ въ главѣ человѣчества и постыдилъ своимъ духовнымъ развитіемъ образованный Югъ. Что общаго между полудикимъ норманскимъ рыцаремъ, съ ногъ до головы закованнымъ въ желѣзо, ломающимъ копье въ честь своей дамы, и Наполеономъ въ сѣромъ сюртукѣ съ маленькой шпагой? Что общаго между презираемымъ мѣщаниномъ среднихъ вѣковъ, который еще не забылъ боли отъ ошейника, и между могучимъ банкиромъ Ротшильдомъ? Что общаго между монахомъ среднихъ вѣковъ, въ тишинѣ кельи, при свѣтѣ лампы писавшимъ свои простодушныя хроники, и профессоромъ нашего времени, съ каѳедры критически разсматривающимъ наивную лѣтопись монаха? Что общаго между алхимикомъ среднихъ вѣковъ, таинственно, съ опасностью подвергнуться пыткѣ и сожженію за колдовство, отыскивавшимъ философскій камень, и Кювье, Жоффруа Сентъ-Илеромъ, Гумбольдтомъ, открыто, передъ всѣмъ человѣчествомъ, совлекающими съ природы таинственные ея покровы? Что общаго между бродячимъ трубадуромъ среднихъ вѣковъ, украшавшимъ своими пѣснями пиры царей, и между поэтомъ новѣйшей Европы, или гонимымъ отъ общества, или носившимъ ливрею знатныхъ баръ, и наконецъ—между Байронами, Гёте, Шиллерами, Вальтеръ-Скоттами — этими гордыми властелинами нашего времени?— Что общаго? — Ничего! Однакожъ всѣ эти противоположности — не иное что, какъ крайнія звенья одной и той же великой цѣпи духовнаго развитія и цивилизаціи. Самое непостоянство модъ въ платьѣ и мебели выходитъ въ Европѣ изъ глубокаго начала движущейся и развивающейся жизни и имѣетъ великое значеніе. Годъ для Европы — вѣкъ для Азіи; вѣкъ для Европы — вѣчность для Азіи. Все великое, благородное, человѣческое, духовное взошло, выросло, расцвѣло пышнымъ цвѣтомъ и принесло роскошные плоды на европейской почвѣ. Разнообразіе жизни, благородныя отношенія половъ, утонченность нравовъ, искусство, наука, порабощеніе безсознательныхъ силъ природы, побѣда надъ матеріей, торжество духа, уваженіе къ человѣческой личности, святость человѣческаго права, словомъ все, во имя чего гордится человѣкъ своимъ человѣческимъ достоинствомъ, черезъ что считаетъ онъ себя владыкой всего міра, возлюбленнымъ сыномъ и причастникомъ благости Божіей, — все это есть результатъ развитія европейской жизни. Все человѣческое есть европейское, и все европейское—человѣческое...

Россія не принадлежала и не могла, по основнымъ элементамъ своей жизни, принадлежать къ Азіи: она составляла какое-то уединенное, отдѣльное явленіе; татары повидимому должны были сроднить ее съ Азіей; они и успѣли механическими внѣшними узлами связать ее съ нею на нѣкоторое время, но духовно не могли, потому что Россія — держава христіанская. Итакъ, Петръ дѣйствовалъ совершенно въ духѣ народномъ, сближая свое отечество съ Европой и искореняя то, что внесли въ него татары временно-азіатскаго.

Обратимся теперь къ твореніямъ, подавшимъ намъ поводъ къ этимъ мыслямъ. Вотъ книга Кошихина «О Россіи въ царствованіе Алексія Михайловича». Но сперва намъ слѣдуетъ дать читателямъ свѣдѣніе объ авторѣ этой книги.

Соловьевъ, профессоръ Александровскаго университета, во время своего путешествія по Швеціи въ 1837 г. узналъ, что въ Стокгольмскомъ государственномъ архивѣ хранится рукопись, которая содержитъ въ себѣ описаніе Россіи при царѣ Алексіѣ Михайловичѣ, и которая есть переводъ съ оригинальнаго русскаго сочиненія, принадлежащаго подъячему посольскаго приказа Ко-

Digitized by Google

шихину. Въ скоромъ времени Соловьеву удалось отыскать и самый подлинникъ, хранившійся въ библіотекѣ Упсальскаго университета. Къ заглавію этой рукописи есть приписка: «Григорья Карпова Кошихина, посольскаго приказа подъячаго, а потомъ Иваномъ Александровичемъ Селицкимъ зовимаго, работы въ Стокхольмѣ 1666 и 1667». Въ предисловіи къ шведскому переводу рукописи Кошихина находятся нѣкоторыя извѣстія о жизни ея автора. Кошихинъ служилъ въ посольскомъ приказѣ, былъ неоднократно употребляемъ для письмоводства при дипломатическихъ сношеніяхъ съ иностранными дворами и ѣздилъ гонцомъ въ Стокгольмъ. Князь Ю. А. Долгорукій, смѣнившій прежнихъ начальниковъ Кошихина, князей Черкасскаго и Прозоровскаго, потребовалъ отъ Кошихина, чтобъ онъ сдѣлалъ ложный доносъ на своихъ бывшихъ начальниковъ. Благородный подъячій, не чувствуя себя въ состояніи выполнить такое дѣло, и вмѣстѣ съ тѣмъ ожидая всего отъ мести, бѣжалъ въ Польшу (около 1664 года), гдѣ скрывался подъ именемъ Селицкаго, потомъ странствовалъ въ Пруссіи и былъ въ Любекѣ, послѣ чего, пробравшись въ Лифляндію, предался покровительству Рижскаго генералъ-губернатора Гельмфельдта, который исходатайствовалъ ему дозволеніе на свободное пребываніе въ Швеціи. Прибывъ въ Швецію въ 1666 году, Кошихинъ, по требованію государственнаго канцлера графа Магнуса Делагарди, окончилъ свое сочиненіе «О Россіи», начатое имъ вскорѣ по побѣгѣ изъ-подъ Смоленска. Кошихинъ былъ казненъ въ Стокгольмѣ за убіеніе своего хозяина Анастасіуса, совершенное въ нетрезвомъ видѣ, въ ссорѣ по подозрѣнію въ любовной связи съ его (?) женою.

Рукопись Кошихина издана Археографической Коммиссіей, подъ редакціей почетнаго члена ея Бередникова.

Слѣдующія выписки изъ книги Кошихина дадутъ читателямъ лучшее понятіе о самой книгѣ.

Вотъ какъ вступали въ бракъ русскіе цари:

«... А вшедъ въ церковь, царь и царевна станутъ среди церкви, близко олтаря, и постелютъ подъ нихъ, на чомъ стояти, обьяри золотой сколько доведется, и съ одну сторону царя держитъ подъ руку дружка, а царевну *сваха*; и протопопъ, устрояся въ одѣяніе церковное, начнетъ ихъ вѣнчати по чину, и въ то время царевну открываютъ; и возлагаетъ на нихъ протопопъ вѣнцы церковные, а по вѣнчаніи подноситъ имъ изъ единаго сосуда пити вина французскаго краснаго, и снимаетъ съ нихъ церковные вѣнцы, и валожитъ на царя корону. И потомъ протопопъ поучаетъ ихъ, какъ имъ жити: женѣ у мужа быти въ послушествѣ и другъ на друга не гнѣватися, развѣ нѣкія ради вины мужу поучити ея слегка жезломъ, занеже мужъ женѣ яко глава на церквѣ, и жили бы въ чистотѣ и въ богобоязни, недѣлю и среду и пятокъ и всѣ посты постили, и Господскія праздники и въ которые дни прилучится праздновати апостоломъ и евангелистомъ инымъ нарочитымъ святымъ грѣха не сотворили, и къ церквѣ Божіей приходили и подяніе давали, и со отцомъ духовнымъ спрашивались по часту, той бо на вся блага научитъ. А соверша протопопъ поученіе, царицу возьметъ за руку и вдастъ ю мужеви, и велитъ имъ межъ себя учинити цѣлованіе, и по цѣлованіи царицу покроютъ, и потомъ протопопъ и свадебный чинъ царя и царицу поздравляютъ вѣнчався...

«А какъ начнетъ царь съ царицею опочивать, въ то время конюшей ѣздитъ около той полаты на конѣ, вымя мечъ наголо, и близко къ тому мѣсту никто не приходитъ; и ѣздитъ конюшей во всю ночь до свѣта. И испустя часъ боевой, отецъ и мать, и тысяцкой посылаютъ къ царю и къ царицѣ спрашивати о здоровьѣ. И какъ дружка приходя спрашиваетъ о здоровьѣ, и въ то время царь отвѣчаетъ, что въ добромъ здоровьѣ, будетъ доброе между ними совершилось; а ежели не совершилось, и царь приказываетъ приходить въ другой рядъ, или въ третей, а дружка потомужь приходитъ и спрашиваетъ. И будетъ доброе межъ ними учинилось, скажетъ царь, что въ добромъ здоровьѣ, и велитъ къ себѣ быти всему свадебному чину и отцамъ и матерямъ, а протопопъ не бываетъ; а когда добраго ничего не учинится, тогда всѣ бояре и свадебный чинъ разъѣдутся въ печали, не бывъ у царя. А какъ свадебный чинъ приходитъ къ царю, и отцы и матери и весь чинъ, царя и царицу поздравляютъ сочетався законнымъ бракомъ, и царь жалуетъ подаетъ имъ кубками и ковшами питья, и потомъ и царица подаетъ же; и потомъ царь велитъ принесть себѣ и царицѣ ѣсть легкое, потому что тотъ день весь постили, и ѣдятъ съ царицею вмѣстѣ. А какъ откушаютъ, и въ то время сказываетъ царь свадебному чину, чтобъ они ѣхали къ себѣ, и наутрѣе были къ обѣду, и съѣзжались бы всѣ прежъ обѣда; а самъ съ царицею начнетъ по прежнему опочивать. И наутрѣе того дни царю и царицѣ готовятъ мылни, разные, и ходитъ царь въ мылню, а съ нимъ дружка и постельничей, а какъ царь выходитъ изъ мылни, и въ то время возлагаютъ на него срачицу и порты и платье иное, а прежнюю срачицу велятъ сохранити постельничему; и послѣ того слушаетъ царь заутреню, доколѣ царица въ мылни; и какъ ее въ одѣяніе нарядятъ, и въ тожь время и бояре съѣзжаются къ царю. А какъ царица пойдетъ въ мылню и съ нею мать и иныя ближнія жены и сваха, и осматриваютъ ея сорочки, а осмотря сорочки покажутъ царской матери, и инымъ сродственнымъ женамъ немногимъ, для того, что ея дѣвство въ цѣлости совершилось, и тѣ сорочки, царскую и царицыну, и простыни, собравъ вмѣстѣ сохранятъ въ тайное мѣсто, доколѣ веселіе минется; и потомъ изъ мылни выходитъ въ свои палаты.

«А какъ царю о томъ вѣдомо учинится, что ужъ изъ мылни вышла и по чину изготовились, и въ то время царь со всѣмъ своимъ поѣздомъ ходитъ къ царицѣ; а царица въ то время бываетъ во всемъ своемъ одѣяніи и въ вѣнцѣ царскомъ; и чиновные люди царя и царицу поздравляютъ; а потомъ царица подноситъ мылные дары царю, и боярамъ, и всему свадебному чину, сорочки и порты, а бываютъ тѣ сорочки и порты тафтяные и полотняные, шиты золотомъ и серебромъ. И потомъ царь съ поѣзжаны ходитъ къ патріарху, и патріархъ его благословляетъ; и отъ патріарха ходитъ царь по церквамъ своимъ молебствуетъ, а по молебствованіи прикладывается къ образамъ (стр. 8—10).»

Digitized by Google

Затѣмъ начинается рядъ пировъ, обѣдовъ, раздача подарковъ, милостей, вкладовъ въ церкви, въ монастыри, въ богадѣльни, подачи хлѣбнымъ и деньгами низшему церковному клиру.

«А по всей его царской радости, жалуетъ царь по царицѣ своей отца её, а своего тестя, и родъ ихъ, съ низкіе степени возведетъ на высокую, и кто чѣмъ не достанетъ, сподобляетъ своею царскою казною, а иныхъ разсылаетъ для прокормленія по воеводствамъ въ городы, и на Москвѣ въ приказы, и даетъ помѣстья и вотчины; и они тѣми помѣстьями и вотчинами, и воеводствами, и приказнымъ сидѣньемъ побогатѣютъ (стр. 12).»

Вотъ подробная картина семейнаго быта царскаго:

«У царя и царицы покои свои особые; и видаютъ царицу бояре и ближніе люди времянемъ, а простые люди мало когда видаютъ. И на праздники государскіе, и въ воскресные дни, и въ посты, царь и царица опочиваютъ въ своихъ покояхъ порознь; а когда случится быти опочивать имъ вмѣстѣ, и въ то время царь по царицу посылаетъ, велитъ быть къ себѣ спать или самъ къ ней похочетъ быть. А которую нощь опочиваетъ вмѣстѣ, и на утрѣе ходятъ въ мыльню порознь, или водою измываются; а не бывъ въ мылнѣ, или не измывая водою, въ церковь и ко кресту не приходятъ, понеже поставлено то въ нечистоту и въ грѣхъ; и не токмо царю и царицѣ, но и простымъ людямъ запрещено.

Сестры же царскіе, или и дщери, царевны, имѣяй свои особые жъ покои разные, и живуще яко пустынницы, мало зряху людей, и ихъ люди; но всегда въ молитвѣ и въ постѣ пребываху и лица свои слезами омываху, понеже удовольство имѣяй царственное, не имѣяй бо себѣ удовольства такого, какъ отъ всемогущаго Бога вдано человѣкомъ совокупитися и плодъ творити. А государства своего за князей и за бояръ замужъ выдавати ихъ не повелось, потому что князи и бояри ихъ есть холопи и въ челобитьѣ своемъ пишутся холопьями, и то поставлено въ вѣчный позоръ, ежели за раба выдать госпожу; и иныхъ государствъ за королевичей и за князей давати не повелось, для того что не одной вѣры и вѣры своей отмѣнити не учинятъ, ставятъ своей вѣрѣ въ поруганіе, да и для того, что иныхъ государствъ языка и политики не знаютъ, и отъ того бъ имъ было въ стыдъ (стр. 12).»

При рожденіи царевича бываютъ великіе пиры и богатые раздаются вклады, подарки и милостыни. При рожденіи царевны эти расходы бываютъ вполовину меньше. Если кормилица царевича или царевны дворянскаго рода, мужу ея дается воеводство или вотчина, а если низшаго званія, то повышаютъ чинами и награждаютъ большимъ жалованьемъ. «А какъ приспѣетъ время учити царевича грамотѣ, и въ учители выбираютъ учительныхъ людей, *тихихъ и небражниковъ;* а писать и учить выбираютъ изъ посольскихъ подъячихъ; а инымъ языкомъ, латинскому, греческаго, нѣмецкого, и нѣкоторыхъ, кромѣ русскаго поученія, въ Россійскомъ государствѣ не бываетъ». До 15-лѣтняго возраста, кромѣ близкихъ людей, царевича никто не видитъ; послѣ же этого срока онъ ходитъ съ отцомъ своимъ въ церковь и на потѣхи, «а какъ увѣдаютъ люди, что ужъ его объявили, и изъ многихъ городовъ люди на дивовище ѣздятъ смотрити его нарочно». Когда же царевны и молодые царевичи ходятъ въ церковь, то, чтобы никто не могъ ихъ видѣть, около нихъ несутъ суконныя полы, и въ церкви завѣшиваютъ тафтою. Экипажи завѣшивались тафтою во время поѣздокъ по монастырямъ. Когда царь умираетъ,—подобно тому, какъ и при женитьбѣ его, преступники освобождаются изъ тюремъ.

«Горе тогда людямъ, будучимъ при погребеніи, потому что погребеніе бываетъ въ ночи, а народу бываетъ многое множество, московскихъ и пріѣзжихъ изъ городовъ и изъ уѣздовъ; а московскихъ людей натура не богобоязливая, съ мужеска пола и женска по улицамъ грабятъ платье и убиваютъ до смерти; и сыщется того дни, какъ бываетъ царю погребеніе, мертвыхъ людей убитыхъ и зарѣзаныхъ *больши ста человѣкъ*... И изойдется на царское погребеніе денегъ на Москвѣ и городѣхъ, близко того, что на годъ придетъ съ государства казны (стр. 17).»

Свадьбы бояръ совершались почти такъ же, какъ и царскія: разница — въ отношеніяхъ царя къ подданнымъ, и наоборотъ. Сватовство производилось всегда не самимъ женихомъ, а кѣмъ-нибудь изъ его родственниковъ или изъ друзей; и только въ церкви, подъ вѣнцомъ, могъ женихъ увидѣть подругу всей своей жизни. Вѣнчанью предшествовалъ формальный контрактъ, или записи, въ которыхъ отецъ невѣсты выставлялъ ея приданое, а женихъ обязывался жениться въ такой-то срокъ времени. Когда новобрачныхъ отведутъ спать, гости, по наивному выраженію Кошихина, «учнутъ ѣсть и пить по прежнему». *Спустя часъ боевой*, посылаютъ къ новобрачнымъ справляться о здоровьѣ: въ случаѣ удовлетворительнаго отвѣта боярыни идутъ въ спальню, поздравляютъ и пьютъ заздравныя чаши; потомъ оставляютъ новобрачныхъ и разъѣзжаются, вмѣстѣ съ гостями мужескаго пола, домой, «а женихъ съ невѣстою учнетъ по прежнему опочивать». На другой день, послѣ бани, женихъ бьетъ челомъ родителямъ молодой, что соблюли ее въ цѣлости; въ противномъ случаѣ пѣняетъ имъ потиху, однако такъ, что объ этомъ всѣ узнаютъ, и царь не принимаетъ его къ себѣ съ челобитьемъ. Если узнаютъ, что новобрачные въ родствѣ или кумовствѣ, ихъ разводятъ, съ правомъ искать — ему другой жены, а ей другого мужа, а попа отставляютъ, взыскавъ съ него большую пеню.

Такимъ образомъ бываютъ свадьбы и у прочихъ дворянъ, «какъ кто можетъ по силѣ своей славну и честну свадбу учинити, кромѣ того что ѣздятъ къ царю челомъ ударить только думные люди и спальники». «Также и межь торговыхъ людей и крестьянъ сва-

Digitized by Google

дебные сговоры и чинъ бываетъ противъ того жь обычая, во всемъ; но толко въ поступкахъ ихъ и въ платѣ съ дворянскимъ чиномъ рознится, сколко кого станетъ».

«А будетъ у котораго отца, или матери, есть двѣ или три дочери дѣвицы, и первая дочь увѣчна очми, или рукою, или ногою, или глуха и нѣма, а другія сестры ростомъ и красотою и рѣчью исполнены и во всемъ здоровы; и будетъ кто учнетъ свататься у того человѣка на дочери его, и посылаетъ смотрети мать свою или сестру и кому вѣритъ, и тѣ люди вмѣсто тоѣ своея увѣчныя дочери, назвавъ именемъ тоѣ дочери, за которую не вѣдаючи учнутъ свататься, показываетъ другую или третьюю дочерь, и та присланная смотря дѣвицы тоѣ излюбитъ и скажетъ жениху, что она добра и женитися ему на ней мочно; и какъ женихъ по тѣмъ словамъ полюбитъ и о свадьбѣ у нихъ съ отцомъ и съ матерью учинится сговоръ, что ему на той именемъ дѣвицѣ жениться на срокъ, а тому человѣку тое свою дѣвицу за него выдать на тотъ же уставленный срокъ, и напишутъ въ письмѣ своемъ заряды великіе, что платить виноватому не мочно; а какъ будетъ свадба, и въ то время за того жениха по сговору выдаютъ они замужъ увѣчную или худую свою дочерь, которыя имя въ записяхъ напишутъ, а не тое, которую сперва смотрилщицѣ показывали, и тотъ человѣкъ, женяся на ней, того дни въ лицо ее не усмотритъ, что она слѣпа или крива, или что иное худое, или въ словахъ не услышитъ, что она нѣма или глуха, потому что въ тое свадбу бываетъ закрыта и не говоритъ ничего, также ежели хрома и руками увѣчна и того потому жъ не узнаетъ, потому что въ то время ее водятъ свахи подъ руки, а какъ отъ вѣнчанія и отъ обѣда пойдетъ съ нею спать, и тогда при свѣчѣ ее увидитъ, что добрѣ добра, вѣкъ съ нею жить, а всегда плакать и мучиться—и потому умыслитъ надъ нею учинить, чтобъ она постриглась; а будетъ по доброй его воли не учинить, не пострижется, *и онъ ее бьетъ и мучитъ всячески, и вмѣстѣ съ нею не спитъ*, до тѣхъ мѣстъ что она похочетъ постричися сама... А который человѣкъ, видя свою жену увѣчную, или несовѣстливую, отступя отъ нее самъ пострижется; *а иные мужья или жены, много того чинятъ, велятъ отравами отравляти*.. Также у котораго одна дочь дѣвица, а увѣчна будетъ чѣмъ ни буди худымъ, и вмѣсто ею на обманство показываютъ нарочно служащую дѣвку или вдову, назвавъ имянемъ инымъ и нарядя въ платье въ иное. А будетъ которая дѣвица ростомъ не велика, и подъ нее подставливаютъ стулы, потому что видится доброродна, а на чемъ стоитъ, того не видѣть.

Благоразумный читателю! не удивляйся сему; истинная есть тому правда, что во всемъ свѣтѣ нигдѣ такого на дѣвки обманства нѣтъ, яко въ Московскомъ Государствѣ; а такого у нихъ обычая не повелось, какъ въ иныхъ государствахъ, смотрити и уговариватися временемъ съ невѣствою самому (стр. 126–127).»

Прочія описанія частной жизни бояръ у Кошихина также любопытны. Кушанья готовились безъ приправъ, и всякій клалъ въ нихъ уксуса, соли и перца уже на столѣ. Число яствъ за обѣдомъ простиралось до 50 и до 100.

«Обычай же таковый есть: предъ обѣдомъ велятъ выходити къ гостемъ человомъ ударить женамъ своимъ. И какъ тѣ ихъ жены къ гостемъ придутъ, и станутъ въ полатѣ, или въ избѣ, гдѣ гостемъ обѣдать, въ большомъ мѣстѣ, а гости станутъ у дверей, и кланяются жены ихъ гостемъ малымъ обычаемъ, а гости женамъ ихъ кланяются всѣ въ землю; и потомъ господинъ дому бьетъ челомъ гостямъ и кланяется въ землю жъ, чтобъ гости жену его изволили цѣловать, и напередъ по прошенію гостей цѣлуетъ свою жену господинъ, потомъ гости единъ по единому кланяются женамъ ихъ въ землю жъ, и пришедъ цѣлуютъ, и поцѣловавъ отшедъ, потому жъ кланяются въ землю, а та кого цѣлуютъ, кланяется гостемъ малымъ обычаемъ; и потомъ того господина жена учнетъ подносити гостемъ по чаркѣ вина двойного, или тройного съ зельи, величиною та чарка бываетъ въ четвертую долю квартаря, или малымъ болши; и тотъ господинъ учнетъ бити челомъ гостемъ и кланяется въ землю жъ, сколько тѣхъ гостей ни будетъ, всякому по поклону, чтобы они изволили у жены его пити вино; и по прошенію тѣхъ гостей, господинъ прикажетъ пити напередъ вино женѣ своей, потомъ пьетъ самъ, и подносятъ гостемъ, и гости передъ питьемъ вина и выпивъ отдавъ чарку назадъ кланяются въ землю жъ; а кто вина не пьетъ, и ему вмѣсто вина романѣи, или ренскаго, или иного питья по кубку; и по томъ питіи того господина жена поклонясь гостемъ пойдетъ въ свои покои, къ гостемъ же, къ боярынямъ тѣхъ гостей къ женамъ. А жена того господина, и тѣхъ гостей жены, съ мужскимъ поломъ, кромѣ свадебъ, не обѣдаютъ никогда, развѣ которые гости бываютъ кому самые сродственные, а чужихъ людей не бываетъ, и тогда обѣдаютъ вмѣстѣ. Такимъ же обычаемъ, и въ обѣдъ, за всякою ѣствою господинъ и гости пьютъ вина по чаркѣ, и романѣю, и ренское, и пива поддѣльные и простые, меды розные. И въ обѣдъ же, какъ приносятъ на столъ ѣствы круглые пироги, и передъ тѣми пирогами выходятъ того господина сыновни жены, или дочери замужніе, или кого сродственныхъ людей жены, и тѣ гости вставъ и вышедъ изъ-за стола къ дверямъ тѣмъ женамъ кланяются, и мужья тѣхъ женъ потому жъ кланяются и бьютъ челомъ, чтобъ гости женъ ихъ цѣловали и вино у нихъ пили, и гости цѣловавъ тѣхъ женъ и пивъ вино садятся за столъ, а тѣ жены пойдутъ по прежнему, гдѣ сперва были. А дочерей они своихъ дѣвицъ къ гостямъ не выводятъ и не указываютъ ни кому, а живутъ тѣ дочери въ особыхъ дальнихъ покояхъ. А какъ столъ отойдетъ, и по обѣдѣ господинъ и гости потому жъ веселятся и пьютъ другъ про друга за здоровья, разъѣдутся по домамъ. Такимъ же обычаемъ и боярыни обѣдаютъ и *пьютъ* межъ себя, *по достоинству*, въ своихъ особыхъ покояхъ; а мужскаго полу, кромѣ женъ и дѣвицъ, у нихъ не бываетъ никого (стр. 118—119).»

Вотъ какъ Кошихинъ представляетъ наше боярство. Когда въ посольство назначались люди, равные породой и родомъ, но неравные заслугами отцовъ, изъ которыхъ одни никогда не бывали въ должностяхъ такого рода, — то потомки дѣдовъ, бывавшихъ въ посольствахъ, отказываются ѣхать съ другими, а эти бьютъ челомъ царю на нихъ въ безчестіи. Царь приказываетъ справиться въ разрядныхъ книгахъ, и если оказывается, что тѣмъ и другимъ «ѣхати мочно», велитъ ѣхать; а если «не мочно», назначаетъ другихъ. Въ случаѣ непослушанія послѣ справки, царь выдаетъ виноватаго головой оскорбленному. Фраза «вы-

Digitized by Google

дать головою» не разъ подавала у насъ поводъ къ ложнымъ толкамъ; вотъ въ чемъ состоялъ и вотъ какъ производился дѣйствительно процессъ «выдачи головою».

«И котораго дни прикажетъ царь кого боярина, или околничаго, или столника, за безчестье отослать головою къ боярину, или думнаго человѣка и столника къ околничему, и того дни тотъ бояринъ, или околничей, у царя не бываетъ, а посылаютъ къ нему съ вѣстью, которые люди съ нимъ быть не хотѣли пришлютъ къ нему головою; и онъ того ожидаетъ. А посылаютъ къ нимъ такихъ людей съ дьякомъ, или съ подьячимъ, и взявъ тѣхъ людей за руки, ведутъ до боярскаго двора приставы, а на лошади садитися не даютъ; а какъ приведутъ его на дворъ къ тому, съ кѣмъ онъ быти не хотѣлъ, поставятъ его на нижнемъ крыльцѣ, а дьякъ, или подьячей, велитъ тому боярину о своемъ приходѣ сказать, что привелъ къ нему того человѣка, который съ нимъ быти не хотѣлъ, и его безчеститъ, и боярин къ дьяку, или подьячему, выдетъ на крыльцо; и дьякъ и подьячей учнетъ говорить рѣчь, что великій государь указалъ и бояре приговорили того человѣка, который съ нимъ быти не хотѣлъ, за его боярское безчестье, отвесть къ нему боярину головою; и тотъ бояринъ на царскомъ жалованьѣ бьетъ челомъ, а того кого приведутъ велитъ отпустить его къ себѣ домовь, и отпустя его домовь на дворѣ у себя на лошади ему садитися и лошади водити на дворъ не велитъ. И тотъ, кого посылаютъ къ кому головою, отъ царскаго двора идучи до боярскаго двора и у него на дворѣ, *лаетъ его и безчеститъ всякою бранью*; а тотъ ему за его злорѣчивыя слова ничего ни чинитъ, и не смѣетъ, потому что того человѣка отсылаетъ царь къ тому человѣку за его безчестье, любячи его, а не для чего иного, чтобъ тотъ человѣкъ учинилъ надъ нимъ убойство, или увѣчье; а кто бъ что надъ такимъ отсыланнымъ человѣкомъ что учинилъ, какого злого безчестья и увѣчья, и тому бъ человѣку самому указъ былъ противъ того вдвое, потому что онъ обезчеститъ не того, кого къ нему отошлютъ, истинно будто самого царя. А кто такихъ людей отводитъ дьякъ, или подьячей, и тотъ бояринъ, къ которому отводятъ, даритъ ихъ подарками не малыми. И на завтрѣе того дни ѣздитъ тотъ бояринъ къ царю, а пріѣхавъ бьетъ челомъ царю на его жалованьѣ, что онъ къ нему велѣлъ за безчестье противника его отослать головою. И послѣ того царь велитъ съ тѣмъ бояриномъ, или околничимъ, быти иному человѣку, кому мочно, а прежняго оставя; и бываетъ царь на того человѣка гнѣвенъ, и очей его царскихъ не видитъ многое время.

«А которые не думного чину люди не похотятъ быть, по указу царскому и по сыску, съ тѣми людми, съ кѣмъ имъ быть велѣно, и тѣмъ бываетъ за ослушаніе и за безчестье наказаніе въ тюрму, по царскому разсмотрѣнію; а инымъ за такое ихъ ослушаніе и за безчестье того, съ кѣмъ быти не хотятъ, учинятъ наказаніе, бьютъ батоги въ приказѣхъ и въ верху передъ царскими полатами; а на иныхъ за безчестья правятъ деньги, противъ жалованья, и отдаютъ тому, кого они безчестятъ; а у иныхъ за такія ослушанья бываетъ наказаніе, отоймутъ честь и помѣстья и вотчины, и бивъ кнутомъ или батоги, ссылаютъ въ ссылку на вѣчное житье въ Сибирь въ казаки.

«Такъ какъ у царя бываетъ столъ на властей и на бояръ, и власти у царя садятся за столомъ, по правой сторонѣ, въ другомъ столѣ. И какъ тѣ бояре учнутъ садиться за столъ, по чину своему, бояринъ подъ бояриномъ, околничей подъ околничимъ и подъ боярами, думный человѣкъ подъ думнымъ человѣкомъ, подъ околничими и подъ боярами, а иные изъ нихъ вѣдая съ кѣмъ въ породѣ своей ровность подъ тѣми людми садитися за столомъ не учнутъ, поѣдутъ по домамъ, или у царя того дни отпрашиваются куды въ кому въ гости, и такихъ царь отпущаетъ. А будетъ царь увѣдаетъ, что они у него учнутъ проситися въ гости на обманство, не хотя подъ которымъ человѣкомъ сидѣть, или не прошався у царя поѣдетъ къ себѣ домовь: и такимъ велитъ быть и за столомъ сидѣть, подъ кѣмъ доведется. И они садитись не учнутъ, а учнутъ бити челомъ, что ему ниже того боярина, или околничего, или думного человѣка, сидѣти не мочно, потому что онъ родомъ съ нимъ ровенъ, или и честняя, и на службѣ и за столомъ прежъ того родъ ихъ съ тѣмъ родомъ, подъ которымъ велятъ сидѣть, не бывалъ: и такого царь велитъ посадити сильно; и онъ посадити себя на даетъ, *и того боярина безчеститъ и лаетъ*. А какъ его посадятъ силно, и онъ подъ нимъ не сидитъ и выбивается изъ-за стола вонъ, и его не пущаютъ и разговариваютъ, чтобъ онъ царя не приводилъ на гнѣвъ и былъ послушенъ; и онъ кричитъ: «хотя де царь ему велитъ голову отсѣчь, а ему подъ тѣмъ не сидѣть» и спустится подъ столъ; и царь укажетъ его вывесть вонъ и послать въ тюрму, или до указу къ себѣ на очи пущати не велитъ. А послѣ того, за то ослушаніе отнимается у нихъ честь, боярство, или околничество и думное дворянство—и потомъ тѣ люди старые своей службы дослуживаются вновь.

«А кому за такія вины бываютъ наказанія, (ажаютъ въ тюрму, и отсылаютъ головою, и сьютъ батоги и кнутомъ: и то записываютъ въ книги, имянно, впредь для вѣдомости и спору кстр. 34—36)».

Выписываемъ слова Кошихина объ администраціи.

«И кто что въ посольствѣ своемъ говорилъ какіе рѣчи, сверхъ наказу, или которые рѣчи не исполнятъ противъ наказу: и тѣ всѣ рѣчи, которые говорены, и которые не говорены, пишутъ они въ статейныхъ своихъ спискахъ не противъ того, какъ говорено, прекрасно и разумно, выславляючи свой разумъ на обманство, чрезъ чтобъ достать у царя себѣ честь и жалованье большое; и не срамляются того творити, понеже царю о томъ кто на нихъ можетъ о такомъ дѣлѣ объявить.

Вопросъ. Для чего такъ творятъ?

Отвѣтъ. Для того: Россійского государства люди породою своею спесивы и необычайные ко всякому дѣлу, понеже въ государствѣ своемъ поученія никакого добраго не имѣютъ и не пріемлютъ, кромѣ спесивства и безстыдства и ненависти и неправды: и не наученіемъ своимъ говорятъ многіе рѣчи къ противности, или скоростію своею въ подвижности, а потомъ въ тѣхъ своихъ словахъ времянемъ запрутся и превращаютъ на иные мысли; а что они говоря какихъ словъ запираются, и тое вину возлагаютъ на переводчиковъ, будто измѣною толмачатъ... Благоразумный читателю! чтучи сего писанія не удивляйся. Правда есть тому всему; понеже для науки и обычая въ иные государства дѣтей своихъ не посылаютъ, страшась того: узнавъ тамошнихъ государствъ вѣру и обычаи, начали бъ свою вѣру отмѣнять и приставать къ инымъ, и о возвращеніи къ домамъ своимъ и къ сродичамъ никакого бы попеченія не имѣли и не мыслили. И о поѣздѣ московскихъ людей кромѣ тѣхъ, которые посылаются по указу царскому и для торговли съ проѣзжими, ни для какихъ дѣлъ ѣхати никому не позволено. А хотя торговые люди

ѣздятъ для торговли въ иные государства, и по нихъ по знатныхъ нарочитыхъ людей собираютъ поручныя записи, за крѣпкими поруками, что имъ съ товарами своими и съ животами въ иныхъ государствахъ не остатися, а возвратитися назадъ совсѣмъ. А который бы человѣкъ, князь или бояринъ, или кто нибудь, самъ или сына, или брата своего, послалъ для какого нибудь дѣла въ иное государство безъ вѣдомости, не бивъ челомъ государю, и такому бъ человѣку за такое дѣло поставлено было въ измѣну, и вотчины и помѣстья и животы взяты бъ были на царя, и ежели бъ кто самъ поѣхалъ, а послѣ его остался сродственники, и ихъ пытали, не вѣдали ли они мысли сродственника своего; илибъ кто послалъ сына, или брата, или племянника, и его потомужь пытали бъ, для чего онъ послалъ въ иное государство, не напровожаючи ль какихъ воинскихъ людей на московское государство, хотя государствомъ завладѣти, или для кого иного воровского умышленія по чьему наученію и пытавъ того такимъ же обычаемъ (стр. 41).»

Это сужденіе Кошихина очень замѣчательно; оно доказываетъ, что еще до Петра Великаго умные люди сѣтовали на невѣжество высшаго класса.

Замѣчательно у Кошихина описаніе извѣстнаго бунта черни, по поводу введенія мѣдныхъ денегъ, въ царствованіе Алексія Михайловича. Царь въ то время былъ въ селѣ Коломенскомъ и стоялъ въ церкви, изъ которой, увидѣвъ толпы народа, вышелъ къ нимъ. Чернь начала требовать выдачи бояръ, «и царь ихъ уговаривалъ тихимъ обычаемъ, чтобъ они возвратилися и шли назадъ, къ Москвѣ, а онъ, царь, койчасъ отслушаетъ обѣдни, будетъ въ Москвѣ, и въ томъ дѣлѣ учинитъ сыскъ и указъ; и тѣ люди говорили царю и держали его за платье, за пуговицы: «чему-де вѣрить?» и царь обѣщался имъ Богомъ и далъ имъ на своемъ словѣ руку, и *одинъ человѣкъ изъ тѣхъ людей съ царемъ билъ по рукамъ*, и пошли къ Москвѣ всѣ».

« . . . почали у царя просить для убійства бояръ, и царь отговаривался, что онъ для сыску того дѣла ѣдетъ къ Москвѣ самъ; *и они учали царю говорить сердито и невѣжливо, съ грозами*: «будетъ онъ добромъ имъ тѣхъ бояръ не отдастъ, и они у него учнутъ имать сами, по своему обычаю». Царь, видя ихъ злой умыслъ, *что пришли не добро и говорятъ невѣжливо*, съ грозами, и провѣдавъ, что стрѣльцы къ нему на помочь въ село пришли, закричалъ и велѣлъ стольникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ, и жильцомъ, и стрѣльцомъ и людемъ боярскимъ, которые при немъ были, тѣхъ людей бити и рубити до смерти и живыхъ ловити. И какъ ихъ почали бить и сѣчь и ловить, и имъ было противитися не умѣть, потому что въ рукахъ у нихъ не было ничего, ни у кого, почали бѣгать и топитися въ Москву-рѣку—и потопилося ихъ въ рѣкѣ болши 100 человѣкъ, а пересѣчено и переловлено болши 700 человѣкъ, а иные розбѣжались. И тогожь дни около того села повѣсили со 150 человѣкъ, а досталнымъ всѣмъ былъ указъ, пытали и жгли, и по сыску за вину отсѣкали руки и ноги и у рукъ и у ногъ пальцы, а иныхъ бивъ кнутьемъ, и клали на цѣли на правой сторонѣ признаки, разжегши желѣзо на красно, а поставлено на томъ желѣзѣ «буки», т. е. бунтовщикъ, чтобъ былъ до вѣку признатенъ; и чиня имъ наказанія, розослали всѣхъ въ далніе городы, въ Казань и въ Астрахань, и на Терки, и въ Сибирь, на вѣчное житье, и послѣ ихъ, по сказкамъ ихъ, гдѣ кто жилъ и чей кто ни былъ, и женъ ихъ и дѣтей потому жъ за ними разослали; а инымъ, пущимъ воромъ того жъ дни, въ ночи, учиненъ указъ, завязавъ руки назадъ, посадя въ большіе суды, потопили въ Москвѣ-рѣкѣ. А которые люди пришли въ то село для челобитья дѣлъ своихъ, до того смутного времяни; и люди ихъ знали, и челобитные ихъ сыскались: и такихъ уволнили. А всѣ тѣ, которые казнены и потоплены и розосланы, не всѣ были воры, а прямыхъ воровъ болши не было, что съ 200 человѣкъ; и тѣ невинные люди пошли за тѣми ворами смотрѣть, что они будучи у царя въ своемъ дѣлѣ учинятъ, а воромъ на такое множество людей надежно было говорить и чинить что хотѣли, и отъ того всѣ погинули, виноватой и правой. А были въ томъ смятеніи люди торговые, и ихъ дѣти, и рейтары, и хлѣбники, и мясники, и пирожники, и деревенскіе, и гуляющіе, и боярскіе люди; а Поляковъ и иныхъ иноземцевъ хотя на Москвѣ множество живетъ, не сыскано въ томъ дѣлѣ ни единаго человѣка, кромѣ Русскихъ. И на другой день пріѣхалъ царь къ Москвѣ, и тѣхъ воровъ, которые грабили домы, велѣлъ повѣсить по всей Москвѣ у воротъ человѣкъ по 5 и по 4; а досталнымъ былъ указъ таковъ же, что и инымъ (стр. 81—82).»

Многія уголовныя дѣла предавались суду патріарха, а не свѣтской власти. «А будетъ учинятъ (бояре и дворяне) надъ подданными своими, крестьянскими женами и дочерьми, какія блудныя дѣла, или у жонки выбьютъ робенка, или мученая и битая съ робенкомъ умретъ, и будетъ на такихъ злочинцевъ челобитье: и по ихъ челобитью отсылаютъ такія дѣла, и истцовъ, и отвѣтчиковъ, на Москвѣ къ Патріарху, а въ городѣхъ митрополитамъ и къ архіепископамъ и къ епископу, и судятъ такія дѣла и указъ по нимъ чинятъ, до чего доведется, у нихъ на дворѣхъ, а въ царскомъ судѣ до того дѣла нѣтъ» (стр. 114).

Перейдемъ теперь къ судопроизводству, преимущественно уголовному. Кошихинъ говоритъ, что судьи въ старину были страшные взяточники. «Однакожъ хотя на такое дѣло положено наказаніе и чинятъ о тѣхъ посулахъ крестное цѣлованіе съ жестокимъ проклинательствомъ, что посуловъ не имати и дѣлати въ правду, по царскому указу и уложенію: ни во что ихъ вѣра и заклинательство, и наказанія не страшатся, отъ прелести очей своихъ и мысли содержати не могутъ и руки свои ко взятію скоро допущаютъ, хотя не сами собою, однако по задней лѣстницѣ чрезъ жену, или дочерь, или чрезъ сына и брата, и человѣка, и не ставятъ того себѣ во взятые посулы, будто про то и не вѣдаютъ» (стр. 93).

Главнѣйшее орудіе уголовныхъ процессовъ была пытка.

«А на которыхъ они (*разбойники*) людей скажутъ и станы свои укажутъ, и тѣхъ людей сыскавъ всѣхъ поставятъ съ очей на очи и тѣхъ

Digitized by Google

воровъ пытаютъ на крѣпко впрямъ ли тѣ люди, на которыхъ они говорятъ, съ ними въ томъ воровствѣ товарищами или становщиками и оберегальщиками были, и не напрасно ль на нихъ говорятъ, по насердкѣ; и будетъ съ пытокъ скажутъ, что впрямъ ли тѣ люди ихъ товарищи и становщики или оберегальщики и тѣхъ всѣхъ потому же начнутъ пытать. (А устроены для всякихъ воровъ пытки: сымутъ съ вора рубашку и руки его назади завяжутъ, подлѣ кисти, веревкою, обшита та веревка войлокомъ, и подымутъ его къ верху, учинено мѣсто что и висѣлица, а ноги его свяжутъ ремнемъ: и одинъ человѣкъ палачъ вступитъ ему въ ноги на ремень своею ногою, и тѣмъ его оттягиваетъ, и у того вора руки станутъ прямо противъ головы его, а изъ суставовъ выдутъ вонъ; и потомъ сзади палачъ начнетъ бить по спинѣ кнутомъ изрѣдка, въ часъ боевой ударовъ бываетъ тридцать или сорокъ; и какъ ударитъ по которому мѣсту по спинѣ, и на спинѣ станетъ такъ слово въ слово будто большой ремень вырѣзанъ ножемъ, мало не до костей. А учиненъ тотъ кнутъ ременный, плетеной, толстой, на концѣ ввязанъ ремень толстой шириною на палецъ, а длиною будетъ въ 5 локтей.) И пытавъ его начнутъ пытать другихъ потому жь, и будетъ съ первыхъ пытокъ не винятся; и ихъ спустя недѣлю времени пытаютъ въ другорядь и въ третіе, и жгутъ огнемъ, свяжутъ руки и ноги, и вложатъ межь рукъ и межь ногъ бревно, и подымутъ на огнь, а инымъ разжегши желѣзныя клещи накрасно ломаютъ ребра; и будетъ и съ тѣхъ пытокъ не повинятся, и такихъ сажаютъ въ тюрму, доколѣ по нихъ поруки будутъ, что имъ впредь за худымъ дѣломъ не ходити и впередъ худого ничего не мыслити никому... А бываютъ мужеску полу смертные и всякіе казни: головы отсѣкаютъ топоромъ за убійства смертные и за иныя злыя дѣла; вѣшаютъ за убійства жъ и за иныя злыя дѣла; *живого четвертаютъ, а потомъ голову отсѣкутъ* за измѣну кто городъ сдастъ непріятелю, или съ непріятелями держитъ дружбу листами, или иные злыя измѣнныя и противныя статьи объявятся; *жгутъ живого* за богохульство, за церковную татьбу, за содомское дѣло, *за волховство, за чернокнижество, за книжное преложеніе, кто учинитъ вновь толковать* воровски *противъ апостоловъ и пророковъ и святыхъ отцовъ съ похуленіемъ, оловомъ и свинцомъ заливаютъ горло* за денежное дѣло, кто воровски дѣлаетъ, серебренникомъ и золотаремъ, которые воровски прибавляютъ въ золото и въ серебро мѣдь и олово и свинецъ, а инымъ *за малыя такія вины отсѣкаютъ руки и ноги, или у рукъ и у ногъ пальцы; ноги жъ и руки и пальцы отсѣкаютъ* за конфедератство, или за смутку, которые въ томъ дѣлѣ бываютъ маловинны, а иныхъ казнятъ смертію; также кто на царскомъ дворѣ или гдѣ нибудь выметъ на кого саблю, или ножъ, и ранитъ или не ранитъ, также и за церковную за малую вину, и кто чѣмъ замахивается на отца бить и матерь, а не билъ, таковы жъ казни: за царское безчестье, кто говоритъ противъ него за очи безчестныя или иныя какія поносныя слова, бивъ кнутомъ, вырѣзываютъ языкъ. Женскому полу бываютъ пытки противъ того же, что и мужскому полу, окромѣ того что на огнѣ жгутъ и ребра ломаютъ. А смертныя казни женскому полу бываютъ: за богохульство и за церковную татьбу, за содомское дѣло *жгутъ живыхъ*; за *чаровство* и за убойство отсѣкаютъ головы: за погубленіе дѣтей и за иныя такія жъ злыя дѣла *живыхъ закопываютъ въ землю по титки, съ руками вмѣстѣ потаптываютъ ногами*, и отъ того умираютъ тогожь дни или на другой и на третій день; а за царское безчестье указъ бываетъ таковъ же, что мужскому полу. А которые люди воруютъ съ чужими женами и съ дѣвками, и какъ ихъ изымаютъ, и тогожь дни или на иной день обоихъ мужика и жонку, кто бъ таковъ ни былъ, водя по торгамъ и по улицамъ вмѣстѣ нагихъ, бьютъ кнутомъ (стр. 91—92).»

Теперь оставимъ Кошихина и обратимся къ другому очевидцу и свидѣтелю времени, непосредственно послѣдовавшаго за тѣмъ, которое описано Кошихинымъ. Мы разумѣемъ здѣсь Желябужскаго, любопытныя записки котораго объемлютъ собою періодъ времени отъ смерти царя Ѳеодора Алексіевича до 1709 года. Здѣсь намъ кстати и даже необходимо опять напомнить читателямъ объ этой книгѣ, чтобъ дополнить картину внутренняго быта прежнихъ временъ Россіи, изъ которыхъ исторгла ее могучая воля Петра Великаго.

« . . . Въ томъ же году учинено наказаніе Петру Васильеву сыну Кикину: битъ кнутомъ передъ стрѣлецкимъ приказомъ за то, что онъ дѣвку растлилъ. Да и прежъ сего онъ Петръ пытанъ былъ на Вяткѣ за то, что подписался было подъ руку думнаго дьяка Емельяна Украинцева.—Въ 193 году Ѳедосей Филиповъ сынъ Хвощинскій пытанъ изъ стрѣлецкаго приказу въ воровствѣ, и за то его воровство на площадѣ учинено ему наказанье: битъ кнутомъ за то, что онъ своровалъ: на порожнемъ столбцѣ составилъ было запись.—Князю Петру Кропоткину чинено наказанье передъ московскимъ суднымъ приказомъ: битъ кнутомъ за то, что онъ въ дѣлѣ своровалъ, выскребъ и приписалъ своею рукою.—Степану Коробьину учинено наказанье: битъ кнутомъ за то, что дѣвку растлилъ (стр. 15). Биты батоги передъ холопьимъ приказомъ, Микита Михайловъ, сынъ Кутузовъ, да Марышкинъ за то, что они ручались по Касимовскомъ царевичѣ въ человѣкѣ.—Въ томъ же году *князь* Яковъ Ивановъ, сынъ Лобановъ-Ростовскій, да Иванъ Андрѣевъ, сынъ Микулинъ, ѣздили на разбой по Троицкой дорогѣ, къ красной соснѣ, разбивъ государевыхъ мужиковъ съ ихъ великихъ государей казною, и тѣхъ мужиковъ они разбили, и казну взяли себѣ, и двухъ человѣкъ мужиковъ убили до смерти. И про то ихъ воровство розыскивано, и по розыску онъ князь Яковъ Лобановъ взятъ со двора и привезенъ былъ къ красному крыльцу въ простыхъ санишкахъ, и за то воровство учинено ему князь Якову наказанье: битъ кнутомъ въ желѣзномъ подклѣтѣ по упросу верховой боярыни и мамы княгини Анны Никифоровны Лобановой-Ростовской. Да у него жъ князь Якова отнято за то его воровство безповоротно четыреста дворовъ крестьянскихъ. А человѣка его калмыка, да казначея за то воровство повѣсили. А Ивану Микулину за то учинено наказанье: битъ кнутомъ на площади нещадно и отняты у него помѣстья и вотчины безповоротно, и розданы въ роздачу, и сосланъ былъ въ ссылку въ Сибирь, въ городъ Томегъ.—Въ томъ же году чинено наказанье Дмитрію Артемьеву, сыну Камынину, битъ кнутомъ передъ помѣстнымъ приказомъ за то, что выскребъ въ помѣстномъ приказѣ, въ тяжбѣ съ патріархомъ.—Въ томъ же году Богданъ Засѣцкой и съ сыномъ кладены на плаху, и снемъ съ плахи, биты кнутомъ нещадно, а помѣстья и вотчины розданы были въ роздачу безповоротно. Дѣло у него было съ Петромъ Безтужевымъ.—Въ томъ же году въ земскомъ приказѣ пытанъ Иванъ Петровъ сынъ Булаковъ, по челобитью боярина князь Василья Васильевича Голицына

Digitized by Google

для того, что вымалъ у него слѣдъ. Съ пытки онъ Иванъ не винился, сказалъ: «землю для того де въ платокъ взялъ и завязалъ, что ухватилъ его утинъ, и прежде сего то бывало, гдѣ его ухватитъ, тутъ де землю онъ и беретъ» (стр. 18—22).— Въ 201 году князю Александру Борисову сыну Крупскому чинено наказанье: битъ кнутомъ за то, что онъ жену убилъ.—Въ томъ же году пытанъ черкасскій полковникъ Михайло Гадицкой въ государственномъ дѣлѣ. Съ пытки онъ ни въ чемъ не винился, *очистился* кровью и сосланъ въ ссылку. А который чернецъ на него доводилъ, казненъ въ Черкасскомъ городѣ Батуринѣ.—Въ 202 пытанъ въ стрѣлецкомъ приказѣ Леонтій Кривцовъ за то, что выскребъ въ дѣлѣ, да и въ иныхъ разбойныхъ дѣлѣхъ, и сосланъ въ ссылку.—Въ томъ же году пытанъ и сосланъ въ ссылку Ѳедоръ Борисовъ сынъ Перхуровъ за то, что онъ подъячаго убилъ.—Въ томъ же году въ приказѣ сыскныхъ дѣлъ пытанъ дьякъ Иванъ Шапкинъ: съ подъячимъ своровали въ дѣлѣ въ приказѣ ходопья суда.—Въ томъ же году битъ батогою въ стрѣлецкомъ приказѣ Григорей Павловъ сынъ Языкова за то, что своровалъ съ площаднымъ подъячимъ съ Яковомъ Алексѣевымъ: въ записи написали задними числами за пятьнадцать лѣтъ. А подъячему вмѣсто кнута учинено наказаніе, битъ батоги на Ивановской площади, и отъ площади отставленъ.—Въ томъ же году, въ Семеновскомъ, битъ кнутомъ дьякъ Иванъ Харламовъ.— Въ томъ же году въ стрѣлецкомъ приказѣ пытанъ Володимеръ Ѳедоровъ сынъ Замыцкой, въ подговорѣ дѣвокъ, по язычной молвкѣ Филиппа Давыдова.—Земского приказу дьякъ Петръ Вязьмитинъ передъ Московскимъ суднымъ приказомъ подыманъ съ козелъ и, вмѣсто кнута, битъ батоги нещадно: своровалъ въ дѣлѣ, на правежъ ставилъ своего человѣка вмѣсто отвѣтчика (стр. 26—27). — Дворянинъ Семенъ Кулешевъ битъ кнутомъ за разныя лживыя сказки.—Генваря въ... день въ стрѣлецкомъ приказѣ пытаны коширяне дѣти боярскіе: Михайло Баженовъ, Петръ да Ѳеодоръ Ерлоковы, за воровство.—Генваря въ 24 день, на Потѣшномъ дворцѣ пытанъ бояринъ Петръ Аврамовичъ Лопухинъ прозвище Лапки, въ государственномъ въ великомъ дѣлѣ, и Генваря въ 25 день въ ночи умеръ.

Въ тѣхъ же числѣхъ явились въ воровствѣ, по язычной молвкѣ, стольники Володимеръ, да братъ его Василей Шереметевъ. Князь Иванъ Ухтомскій пытанъ. Левъ да Григорей Игнатьевы дѣти Ползиковы, и они въ томъ дѣлѣ пытаны. Также явились и иные многіе. А языки на нихъ съ пытки говорили: Ивашко Звѣревъ съ товарищи, что на Москвѣ они пріѣзжали середи бѣла дня къ посадскимъ мужикамъ, и домы ихъ грабили, и смертное убійство чинили и назывались большими. И Шереметевы свобождены на поруки съ записьми и даны для бережи боярину Петру Васильевичу Шереметеву. И послѣ того языки ихъ казнены Ивашко Звѣревъ съ товарищи (стр. 42). И тогожъ 203 года измѣнилъ изъ Московскаго государства Ѳедоръ Яковлевъ сынъ Дашковъ, и поѣхалъ было служить къ польскому королю, и пойманъ на рубежѣ, и приведенъ въ Смоленскъ и роспрашиванъ. А въ роспросѣ онъ передъ стольникомъ и воеводою передъ княземъ Борисомъ Ѳедоровичемъ Долгорукимъ, въ томъ своемъ отъѣздѣ повинился. А изъ Смоленска присланъ окованъ къ Москвѣ въ посольской приказъ, а изъ посольскаго приказу освобожденъ *для того, что онъ далъ Емельяну Украинцову двѣсти золотыхъ*.—Дьячей сынъ Константинъ Литвиновъ въ стрѣлецкомъ приказѣ битъ батоги за то, что онъ обманулъ было на польскомъ дворѣ грека: принесъ сто рублевъ мѣдныхъ денегъ въ мѣсто серебренныхъ, и съ тѣмъ былъ приведенъ въ срѣлецкій приказъ.— Изъ того же приказу вожены въ застѣнокъ люди Тимоѳея Кирилова сына Кутузова два человѣка въ томъ, что они били великихъ государей слесаря и пару пистолей у него отняли. И въ застѣнкѣ тѣ люди повѣшены на виску, да третей человѣкъ подымалъ же Петра Безтужева, и на пыткѣ онъ винился, что того слесаря они били по приказу Тимоѳея Кутузова, и самъ онъ Тимоѳей билъ и пару пистолей отнялъ (стр. 50—52).»

Представивъ бытъ Россіи въ томъ видѣ, въ какомъ изображаютъ его намъ очевидцы, перейдемъ теперь къ тому свѣтлому, благодатному моменту въ исторіи нашего отечества, когда Петръ своимъ мощнымъ «да будетъ» разогналъ тьмы хаоса, отдѣлилъ свѣтъ отъ тьмы и воззвалъ страну великую къ бытію великому, назначенію всемірному.

II.

Россія тьмой была покрыта много лѣтъ;
Богъ рекъ: да будетъ Петръ—и бысть въ Россіи свѣтъ!

Старинное двустишіе.

«Борода принадлежитъ къ состоянію дикаго человѣка: не брить ее то же, что не стричь ногтей. Она закрываетъ отъ холоду только малую часть лица: сколько же неудобности лѣтомъ, въ сильный жаръ! сколько неудобности и зимою носить на лицѣ иней, снѣгъ и сосульки! Не лучше ли имѣть муфту, которая грѣетъ не одну бороду, но все лицо? Избирать во всемъ лучшее, есть дѣйствіе ума просвѣщеннаго; а Петръ Великій хотѣлъ просвѣтить умъ во всѣхъ отношеніяхъ. Монархъ объявилъ войну нашимъ старинным обыкновеніямъ во-первыхъ для того, что они были грубы, недостойны своего вѣка; во-вторыхъ и для того, что они препятствовали введенію другихъ, еще важнѣйшихъ и полезнѣйшихъ иностранныхъ новостей. Надлежало, такъ сказать, свернуть голову закоренѣлому русскому упрямству, чтобы насъ сдѣлать гибкими, способными учиться и перенимать...

Всѣ жалкія *іереміады* объ измѣненіи русскаго характера, о потерѣ русской нравственной физіономіи или не что иное, какъ штука, или происходятъ отъ недостатка въ размышленіи. Мы не таковы, какъ брадатые предки наши: тѣмъ лучше! Грубость наружная и внутренняя, невѣжество, праздность, скука были ихъ долею и въ самомъ высшемъ состояніи: для насъ открыты всѣ пути къ утонченію разума и къ благороднымъ душевнымъ удовольствіямъ.»

Карамзинъ.

Для Россіи наступаетъ время сознанія. Несмотря на холодность и равнодушіе, въ которыхъ мы, русскіе, не безъ причины упрекаемъ себя, у насъ уже недовольствуются общими мѣстами и истертыми понятіями, но хотятъ лучше ложно и ошибочно судить, нежели повторять готовыя и на вѣру, или по лѣности и апатіи принятыя сужденія. Такъ напримѣръ, многіе, не слыша новыхъ сужденій о Пушкинѣ и сомнѣваясь въ справедливости давно высказанныхъ и устарѣвшихъ, сомнѣваются и въ поэтическомъ ве-

личіи Пушкина. И это явленіе отрадно: оно выражаетъ потребность самостоятельной мыслительности, потребность истины, которая прежде и выше всего, даже самого Пушкина. Amicus Plato, sed magis amica veritas—премудрое изреченіе! Что̀ истинно велико, то всегда устоитъ противъ сомнѣнія и не падетъ, не умалится и не затмится, но еще болѣе укрѣпится, возвеличится и просвѣтится отъ сомнѣнія и отрицанія, которыя суть первый шагъ ко всякой истинѣ, исходный пунктъ всякой мудрости. Сомнѣнія и отрицанія боится одна ложь, какъ боятся воды поддѣльные цвѣты и неблагородные металлы. Мы не разъ уже повторяли эту истину, говоря о людяхъ, отрицающихъ великость Пушкина, какъ поэта. Мы думаемъ діаметрально противоположно съ такими людьми; но если ихъ мнѣніе выходитъ не изъ какихъ-нибудь внѣшнихъ и предосудительныхъ причинъ, мы готовы съ ними спорить ради истины, и увѣрены, что только черезъ такіе споры явится истина и войдетъ въ общее сознаніе—сдѣлается общимъ убѣжденіемъ. Тѣмъ болѣе мы далеки отъ того, чтобъ смотрѣть на такихъ людей, какъ на раскольниковъ, на исказителей истины, оскорбляющихъ память великаго поэта и чувство національной гордости. Скажемъ болѣе: мы понимаемъ, что могутъ быть и такіе отрицатели генія Пушкина, которые въ тысячу разъ достойнѣе уваженія многихъ безусловныхъ почитателей славы великаго поэта, повторяющихъ чужія слова. Явленіе такихъ отрицателей обнаруживаетъ не холодность общества къ истинѣ, но скорѣе рождающуюся любовь къ ней; ибо безусловное признаніе чего-нибудь безъ разсужденія, безъ повѣрки разумомъ, скорѣе, чѣмъ сомнѣніе и отрицаніе, есть признакъ апатическаго равнодушія общества къ дѣлу истины. Нѣтъ, явленіе такихъ отрицателей въ молодомъ обществѣ есть признакъ рождающейся мыслительной жизни. Въ безусловномъ уваженіи къ авторитетамъ и именамъ иногда дѣйствительно выражается и любовь, и жизнь, но любовь и жизнь безсознательная, простодушная, дѣтская. Смѣшно же требовать или желать, чтобъ общество неподвижно оставалось въ состояніи дѣтства, когда этого не требуютъ и не желаютъ отъ человѣка; а если онъ, вопреки законамъ развитія, останется навѣкъ ребенкомъ, то презираютъ его, какъ идіота. Говорятъ, что сомнѣніе подрываетъ истину: ложная, нелѣпая мысль! Если истина такъ слаба и безсильна, что можетъ держаться не сама собою, но охранительными кордонами и карантинами противъ сомнѣнія, то почему же она истина, и чѣмъ же она лучше и выше лжи, и кто же станетъ ей вѣрить? Говорятъ: отрицаніе убиваетъ вѣрованіе. Нѣтъ, не убиваетъ, а очищаетъ его. Правда, сомнѣніе и отрицаніе бываютъ вѣрными признаками нравственной смерти цѣлыхъ народовъ; но какихъ народовъ?—устарѣвшихъ, изжившихъ всю жизнь свою, существующихъ только механически, какъ живые трупы, подобно византійцамъ или китайцамъ. И можетъ ли это относиться къ русскому народу, столь юному, свѣжему и дѣвственному, столь могучему родовыми, первосущными стихіями своей жизни,—народу, который съ небольшимъ во сто лѣтъ своей новой жизни, воззванный къ ней творящимъ глаголомъ царя-исполина, проявилъ себя и въ великихъ властителяхъ, и въ великихъ полководцахъ, и въ великихъ государственныхъ людяхъ, и въ великихъ ученыхъ, и въ великихъ поэтахъ;—народъ, который во сто лѣтъ своей новой жизни уже составилъ себѣ великое прошедшее, «полный гордаго довѣрія покой» въ настоящемъ, по выраженію поэта, и котораго ожидаетъ еще болѣе великое, болѣе славное будущее? Нѣтъ, мы унизили бы свое національное достоинство, еслибъ стали бояться духовной гимнастики, которая во вредъ только хилымъ членамъ одряхлѣвшаго общества, но которая въ крѣпость и силу молодому обществу, полному здоровья и рвенія! Жизнь проявляется въ сознаніи, а безъ сомнѣнія нѣтъ сознанія такъ же, какъ для тѣла безъ движенія невозможно отправленіе органическихъ процессовъ и жизненнаго развитія. У души, какъ и у тѣла, есть своя гимнастика, безъ которой душа чахнетъ, впадая въ апатію бездѣйствія.

Въ предыдущей статьѣ мы говорили о томъ, какъ мало сдѣлано у насъ для исторіи Петра Великаго, и какъ много наговорено о немъ. Въ самомъ дѣлѣ, ему писали похвальныя слова, его прославляли и въ стихахъ, и въ прозѣ. Ломоносовъ сдѣлалъ его даже героемъ эпической поэмы, на манеръ «Энеиды». Въ подражаніе достохвальному и почтенному по цѣли своей труду Ломоносова, другіе поэты — съ неменьшимъ успѣхомъ—воспѣли Петра въ лиро-эпическихъ поэмахъ. Но все это, и хорошее, и посредственное, какъ-то не шевелило души. Съ почтенными авторами всѣ соглашались безусловно въ похвалахъ Великому, но читали ихъ мало или совсѣмъ не читали. Причиной тому было—что всѣ они и писали, и пѣли какъ-то на одинъ манеръ и на одинъ голосъ, и въ формѣ ихъ фразъ замѣтно было какое-то утомительное однообразіе, свидѣтельствовавшее объ отсутствіи содержанія, т. е. мысли. Самыя жаркія похвалы, самыя восторженныя изліянія удивленія къ Великому отличались какимъ-то оффиціальнымъ характеромъ. Такъ продолжалось до

Digitized by Google

временъ Пушкина, который одинъ, какъ великій поэтъ и выразитель народнаго сознанія, умѣлъ говорить о Петрѣ языкомъ, достойнымъ Петра. Но въ сочиненіяхъ ученаго содержанія говорилось все по старому, съ той только разницей противъ прежняго времени, что возбуждало уже не холодное согласіе, а скорѣе досаду. Наконецъ, нѣсколько лѣтъ назадъ, начали появляться какія-то темныя сомнѣнія въ безусловной непогрѣшительности главнаго дѣла Петра—преобразованія Россіи. Говорили, что зданіе этого преобразованія было построено безъ фундамента, ибо начато было сверху, а не снизу, что оно состояло въ однѣхъ внѣшнихъ формахъ и, не прививъ къ намъ истиннаго европеизма, только исказило нашу народность и обрѣзало крылья національному генію. Далѣе, въ нашей статьѣ, мы коснемся этихъ возраженій, какъ ни поверхностны и ни пусты они въ своей сущности; но теперь скажемъ только, что въ минуту ихъ появленія въ печати они многимъ полюбились и обратили на себя общее вниманіе. Одни какъ будто увидѣли въ нихъ собственное мнѣніе, дотолѣ бывшее для нихъ самихъ неяснымъ; другіе, не соглашаясь съ ними, все-таки принимали ихъ не за общія фразы и надутые возгласы, а за самостоятельное и притомъ новое мнѣніе, а нѣкоторые даже удостоили ихъ энергическихъ, хотя и косвенно сдѣланныхъ возраженій. И такъ, сомнѣніе, вмѣсто того, чтобъ охладить привязанность къ Петру, только усилило общій интересъ къ нему, какъ великому историческому явленію, заставило всѣхъ больше и думать, и говорить, и писать о немъ. Но время скоро рѣшило вопросъ и неосновательность сомнѣній: теперь только люди, живущіе заднимъ числомъ, могутъ не шутя говорить, зачѣмъ начато преобразованіе сверху, а не снизу, съ вельможъ, а не съ мужиковъ, зачѣмъ придавали большую важность формамъ — одеждѣ, брадобритію и проч., зачѣмъ построили Петербургъ, и т. п. И такъ, сомнѣніе не принесло никакого вреда, а только принесло пользу, ибо, проявившись, уничтожило себя самимъ же собою и повело къ другому сомнѣнію, которое въ свою очередь минетъ и уступитъ мѣсто если еще не истинѣ, то третьему сомнѣнію, которое приведетъ уже къ истинѣ. Теперь вопросъ о Петрѣ перешелъ въ ясное противорѣчіе; многіе, почитая преобразованія, совершенныя Петромъ, столько же необходимыми, сколько и великими, благоговѣя передъ памятью преобразователя, въ то же время отрицаютъ европеизмъ, и, усиливаясь не только отстоять и оправдать такъ называемое нѣкоторыми историческое развитіе и народность, уничтоженныя Петромъ, но и противопоставить, даже возвеличить ихъ предъ европеизмомъ. Какъ ни странно это противорѣчіе, но оно есть уже шагъ впередъ и выше прежняго утвердительнаго сомнѣнія, хотя и вышло прямо изъ него: лучше явно противорѣчить себѣ, и тѣмъ какъ бы невольно признавать власть истины, нежели, ради любимаго и односторонняго убѣжденія, отвергать и прямо закрывать глаза на фактическую достовѣрность противорѣчащихъ доказательствъ.

Противорѣчіе, о которомъ мы говоримъ, чрезвычайно важно: въ его примиреніи заключается истинное понятіе о Петрѣ Великомъ. Одно уже это указываетъ на разумность этого противорѣчія. Рѣшеніе задачи состоитъ въ томъ, чтобъ показать и доказать: 1) что хотя народность и тѣсно соединена съ историческимъ развитіемъ и общественными формами народа, но что то и другое совсѣмъ не одно и то же; 2) что и преобразованіе Петра Великаго, и введенный имъ европеизмъ нисколько не измѣнили и не могли измѣнить нашей народности, но только оживили ее духомъ новой и богатѣйшей жизни и дали ей необъятную сферу для проявленія и дѣятельности.

Изъ ничего не бываетъ ничего, и великій человѣкъ не творитъ своего, но только даетъ дѣйствительное существованіе тому, что́ прежде его существовало въ возможности. Что всѣ усилія Петра были направлены противъ русской старины—это ясно, какъ день Божій; но чтобъ онъ стремился уничтожить нашъ субстанціальный духъ, нашу національность—подобная мысль болѣе, чѣмъ не основательна: она просто нелѣпа! Правда, если бываютъ народы съ великими субстанціями, то бываютъ народы и съ ничтожными субстанціями, и если первыя неизмѣнимы, то вторыя могутъ уничтожаться даже отъ случайностей, даже сами собою, не только волею генія. Но зато изъ этихъ вторыхъ никакой геній ничего и сдѣлать не можетъ: лучшее, что́ можно сдѣлать изъ свекловицы,—голову сахару; но только изъ гранита, мрамора и бронзы можно создать вѣковѣчный памятникъ. Еслибы русскій народъ не заключалъ въ духѣ своемъ зерна богатой жизни,—реформа Петра только убила бы его на смерть и обезсилила, а не оживила и не укрѣпила бы новой жизнью и новыми силами. Мы уже не говоримъ о томъ, что изъ ничтожнаго духомъ народа и не могъ бы выйти такой исполинъ, какъ Петръ: только въ такомъ народѣ могъ явиться такой царь, и только такой царь могъ преобразовать такой народъ. Еслибы у насъ и не было ни одного великаго человѣка, кромѣ Петра, и тогда бы мы имѣли право смотрѣть на себя съ уваже-

Digitized by Google

ніемъ и гордостью, не стыдиться нашего прошедшаго и смѣло, съ надеждой, смотрѣть на наше будущее...

Отчего у одного народа такая субстанція, у другого иная, — это почти также же невозможно рѣшить, какъ еслибъ дѣло шло и объ отдѣльномъ человѣкѣ. Если принять гипотезу, что народы образовались изъ семействъ, — то первой причиной ихъ субстанціи должно положить кровь и породу (расе). Внѣшнія обстоятельства, историческое развитіе также имѣютъ вліяніе на субстанцію народа, хотя въ свою очередь и сами зависятъ отъ нея. Но нѣтъ ни одной причины, на которую бы такъ смѣло можно было указать, какъ на климатъ и географическое положеніе страны, занимаемой народомъ. Всѣ южные народы рѣзко отличаются отъ сѣверныхъ: умъ первыхъ живѣе, легче, яснѣе, чувство воспріимчивѣе, страсти воспламеняемѣе; умъ вторыхъ медленнѣе, но основательнѣе, чувство спокойнѣе, но глубже, страсти воспламеняются труднѣе, но дѣйствуютъ тяжелѣе. Въ южныхъ народахъ преобладаетъ непосредственное чувство, въ сѣверныхъ — дума и размышленіе; въ первыхъ больше движимости, во вторыхъ больше дѣятельности. Во послѣднее время сѣверъ далеко оставилъ за собою югъ въ успѣхахъ искусства, науки и цивилизаціи.— Есть большое различіе между народами горными и народами долинными; между народами приморскими, или островитянами, и между народами, отдаленными отъ моря. И это различіе не внѣшнее, но внутреннее, оно замѣчается въ самомъ духѣ, а не въ однѣхъ формахъ. Взглянемъ въ этомъ отношеніи на Россію. Колыбель ея была не въ Кіевѣ, но въ Новѣгородѣ, изъ котораго черезъ Владиміръ перешла она въ Москву. Суровое небо увидѣли ея младенческія очи, разгульныя вьюги пѣли ей колыбельныя пѣсни и жестокіе морозы закалили ея тѣло и здоровьемъ, и крѣпостью. Когда вы ѣдете зимой на лихой тройкѣ, и снѣгъ трещитъ подъ полозьями вашихъ саней, морозное небо усѣяно міріадами звѣздъ, и взоръ вашъ съ тоской теряется на необъятной снѣжной равнинѣ, осеребренной уединеннымъ скитальцемъ-мѣсяцемъ и мѣстами прерываемой покрытыми инеемъ деревьями,—какъ понятна покажется вамъ протяжная, заунывная пѣсня вашего ямщика, и какъ будетъ гармонировать съ нею однообразный звонъ колокольчика, «надрывающій сердце», по выраженію Пушкина! Грусть есть общій мотивъ нашей поэзіи—и народной, и художественной. Русскій человѣкъ встарину не умѣлъ шутить забавно и весело: онъ шутилъ или плоско, или саркастически, и лучшія народныя пѣсни наши—грустнаго содержанія, протяжнаго и заунывнаго напѣва. Нигдѣ Пушкинъ не дѣйствуетъ на русскую душу съ такой неотразимой силой, какъ тамъ, гдѣ поэзія его проникается грустью, и нигдѣ онъ столько не національненъ, какъ въ грустныхъ звукахъ своей поэзіи. Вотъ что говоритъ онъ самъ о грусти, какъ основномъ элементѣ русской поэзіи:

Фигурно, иль буквально: всей семьей,
Отъ ямщика до перваго поэта,
Мы всѣ поемъ уныло. Грустный вой
Пѣснь русская. Извѣстная примѣта:
Начавъ за здравіе, за упокой
Сведемъ какъ-разъ. Печалію согрѣта
Гармонія и нашихъ музъ, и дѣвъ,
Но нравится ихъ жалобный напѣвъ.

Но эта грусть—не болѣзнь слабой души, не дряблость немощнаго духа: нѣтъ, эта грусть могучая, безконечная грусть натуры великой, благородной. Русскій человѣкъ упивается грустью, онъ не падаетъ подъ ея бременемъ, и никому не свойственны до такой степени быстрые переходы отъ самой томительной, надрывающей душу грусти къ самой бѣшеной, изступленной веселости. Въ этомъ случаѣ поэзія Пушкина также великій фактъ: нельзя довольно надивиться ея быстрымъ переходамъ въ «Онѣгинѣ» отъ этой глубокой грусти, которой источникъ— безконечное духа, къ этой бодрой и могучей веселости, источникъ которой — крѣпость и здоровость духа.

И такъ, вотъ ужъ мы и нашли общее, которое связываетъ нашу простонародную поэзію съ нашей художественной, національной поэзіей. Слѣдовательно, родовое, субстанціальное начало въ насъ не подавлено реформой Петра, но только получило чрезъ нее высшее развитіе и высшую форму. И въ самомъ дѣлѣ, развѣ со временъ Петра пространство Россіи съузилось, а не расширилось, развѣ степи наши не такъ-же просторны и раздольны, снѣга, ихъ покрывающіе, не такъ-же бѣлы, и не такъ-же серебритъ ихъ унылый свѣтъ мѣсяца?... Какія хорошія свойства русскаго человѣка, отличающія его не только отъ иноплеменниковъ, но и отъ другихъ славянскихъ племенъ, даже находящихся съ нимъ подъ однимъ скипетромъ? Бодрость, смѣлость, находчивость, сметливость, переимчивость, — на обухѣ рожь молотить, зерна не обронить, нуждою учиться калачи ѣсть,—молодечество, разгулъ, удальство,—и въ горѣ, и въ радости море по колѣно! Но развѣ европеизмъ можетъ изгладить эти коренныя, субстанціальныя свойства русскаго народа? Развѣ образованный русскій человѣкъ теперь не такъ же, какъ и прежде, размашистъ и въ горѣ, и въ радости, и не родной братъ тому, который нѣкогда, приложивъ руку къ уху, пѣвалъ богатырскимъ голосомъ на весь Божій міръ:

Digitized by Google

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота ли, глубота океанъ-море,
Широко раздолье по всей землѣ,
Глубоки омуты днѣпровскіе.

Смѣшно думать, что европеизмъ есть какой-то уровень, все сравнивающій, сглаживающій, подводящій подъ одинъ цвѣтъ! Англичанинъ, французъ, нѣмецъ, голландецъ, швейцарецъ, — всѣ они равно европейцы, во всѣхъ ихъ есть много общаго, но національныя различія ихъ непримиримо рѣзки и никогда не изгладятся: для этого нужно было бы сперва уничтожить ихъ исторію, измѣнить природу ихъ странъ, переродить самую кровь ихъ.

Національность нельзя характеризовать и въ цѣлой книгѣ, не только въ журнальной статьѣ, особенно національность народа, который недавно началъ жить и еще весь погруженъ въ своемъ настоящемъ. Нѣкоторые имѣютъ привычку указывать на англичанъ, которые любятъ отпускать національные фарсы, варварскіе и нелѣпые, и до сихъ поръ оставляютъ существовать нѣкоторые обычаи дикой и невѣжественной старины, отъ набитаго шерстью мѣшка, на которомъ сидятъ члены парламента, до права продавать на рынкѣ жену свою. Эти господа любятъ подобными ссылками дѣлать упреки равнодушію, съ которымъ мы, русскіе, разстаемся съ преданіями нашей старины, и готовности, съ которой мы принимаемъ и усвоиваемъ себѣ все новое. Что до насъ,—каемся въ грѣхѣ: мы видимъ въ этомъ хорошую черту нашей національности, залогъ нашего будущаго величія и ужъ, разумѣется, не униженія, а превосходства надъ англичанами, которые впрочемъ во всемъ другомъ великая нація, но только въ этомъ не могутъ и не должны быть для насъ примѣромъ, а сдѣлали бы лучше, еслибъ намъ подражали. Да, это великая черта рускаго народа: она показываетъ, что мы имѣемъ способность и желаніе безусловно отрѣшаться отъ всего дурного; что же до хорошаго, которое составляетъ основу и сущность нашего національнаго духа, — оно вѣчно, непреходяще, и мы не могли бы отъ него отрѣшиться, еслибъ и захотѣли. Но мы болѣе, нежели кто-либо другой, имѣемъ возможность и право не стыдиться нашихъ національныхъ недостатковъ и пороковъ и громко говорить о нихъ. Національные пороки бываютъ двухъ родовъ: одни выходятъ изъ субстанціальнаго духа,—какъ напримѣръ политическое своекорыстіе и эгоизмъ англичанъ; религіозный фанатизмъ и изувѣрство испанцевъ; мстительность и склонный къ хитрости и коварству характеръ итальянцевъ,—другіе бываютъ слѣдствіемъ несчастнаго историческаго развитія и разныхъ внѣшнихъ и случайныхъ обстоятельствъ, какъ напримѣръ политическое ничтожество итальянскихъ народовъ. И потому одни національные пороки можно назвать субстанціальными, другіе—прививными. Мы никакъ не думаемъ, чтобъ наша національность была верхъ совершенства: подъ солнцемъ нѣтъ ничего совершеннаго; всякое достоинство условливаетъ собою и какой-нибудь недостатокъ. Всякая индивидуальность уже потому самому есть ограниченіе, что она индивидуальность; всякій же народъ—индивидуальность, подобная отдѣльному человѣку. Съ насъ довольно и того, что наши національные недостатки не могутъ насъ унизить передъ благороднѣйшими націями въ человѣчествѣ. Что же до прививныхъ,—чѣмъ громче будемъ мы о нихъ говорить, тѣмъ больше покажемъ уваженія къ своему достоинству; чѣмъ съ большей энергіей будемъ ихъ преслѣдовать, тѣмъ больше будемъ способствовать всякому преуспѣянію въ благѣ и истинѣ. Внутренній порокъ—болѣзнь, съ которой родится нація, — болѣзнь, отверженіе которой иногда можетъ стоить жизни; прививной порокъ—наростъ, который, будучи срѣзанъ, хотя бы и не безъ боли, искусной рукой оператора, ничего не отнимаетъ у тѣла, а только освобождаетъ его отъ безобразія и страданія. Недостатки нашей народности вышли не изъ духа и крови націи, но изъ неблагопріятнаго историческаго развитія. Варварскія тевтонскія племена, нахлынувъ на Европу бурнымъ потокомъ, имѣли счастье столкнуться лицомъ къ лицу съ классическимъ геніемъ Греціи и Рима—съ этими благородными почвами, на которыхъ выросло широколиственное, величественное древо европеизма. Дряхлый, изнеможенный Римъ, передавъ имъ истинную вѣру, впослѣдствіи времени передалъ имъ и свое гражданское право; познакомивъ ихъ съ Виргиліемъ, Горацiемъ и Тацитомъ, онъ познакомилъ ихъ съ Гомеромъ, и съ трагиками, и съ Плутархомъ, и съ Аристотелемъ. Раздѣляясь на множество племенъ, они какъ будто столпились на пространствѣ, недостаточномъ для ихъ многолюдства, и безпрестанно, такъ сказать, ударяясь другъ о друга, какъ сталь о кремень, чтобъ извлекать изъ себя искры высшей жизни. Жизнь Россіи, напротивъ, началась изолированно, въ пустынѣ, чуждой общаго человѣческаго развитія. Первоначальныя племена, изъ которыхъ впослѣдствіи сложилась масса ея народонаселенія, занимая одинаково долинныя страны, похожія на однообразныя степи, не заключали въ себѣ никакихъ рѣзкихъ различій и не могли дѣйствовать другъ на друга въ пользу разви-

Digitized by Google

тія гражданственности. Богемія и Польша могли ввести Россію въ соотношенія съ Европою и сами по себѣ быть полезны ей, какъ племена характерныя; но ихъ навсегда раздѣлила съ Россіей враждебная разность вѣроисповѣданій. Слѣдовательно, отъ Запада Россія была отрѣзана въ самомъ началѣ бытія своего. Княжества враждовали между собою, но и въ этой враждѣ не было разумнаго начала, и потому изъ нея не вышло никакихъ важныхъ результатовъ. Удивительно ли послѣ того, что исторія удѣльныхъ междоусобій такъ безсмысленна и скучна, что ей не могло придать никакого интереса даже и краснорѣчивое повѣствованіе Карамзина?... Нахлынули татары и спаяли разрозненные члены Россіи ея кровью. вью. Въ этомъ состояла великая польза татарскаго двухъ-вѣкового ига; но сколько же сдѣлало оно и зла Россіи, сколько привило ей пороковъ! Затворничество женщинъ, привычка зарывать въ землю деньги и ходить въ лохмотьяхъ отъ боязни обнаружить свое богатство, лихоимство, азіатизмъ въ образѣ жизни, лѣнь ума, невѣжество, презрѣніе къ себѣ, — словомъ, все то, что̀ искоренялъ Петръ Великій, что̀ было въ Россіи прямо противоположно европеизму,—все это было не наше родное, но привитое къ намъ татарами. Самая нетерпимость русскихъ къ иностранцамъ вообще была слѣдствіемъ татарскаго ига; татаринъ сдѣлалъ отвратительнымъ въ понятіи русскихъ всякаго, кто не былъ русскимъ,—и слово *басурманъ* отъ татаръ перешло и на другихъ. Что самые важнѣйшіе недостатки нашей народности не наши существенные, кровные, но прививные, — лучшее доказательство въ томъ, что мы имѣемъ полную возможность освободиться отъ нихъ, и уже отъ многихъ освободились и освобождаемся. Обратите вниманіе напримѣръ на лихоимство. Благодаря преобразованіямъ Петра, у насъ не замедлило явиться противоборство этому общему злу. Къ чести нашей литературы,—въ ней въ первой возникла эта благородная, благодѣтельная оппозиція. Муза Сумарокова объявила непримиримую войну подъячимъ и клеймила лихоимство и казнокрадство печатью позора и отверженія. Замѣтимъ мимоходомъ, что въ этомъ отношеніи литературное направленіе Сумарокова было, такъ сказать, жизненнѣе чисто риторическаго направленія Ломоносова,—и вотъ причина, почему бездарный Сумароковъ былъ любимѣе, а даровитый Ломоносовъ— только уважаемѣе публикой своего времени. «Ябеда» Капниста была сильнымъ ударомъ ябедѣ. Нахимовъ составилъ себѣ громкое имя въ литературѣ своего времени постояннымъ вдохновеніемъ противъ кривосудія.

Хотя остроуміе Фонвизина было устремлено преимущественно противъ невѣжества, но мимоходомъ доставалось отъ него порядкомъ и сутяжничеству. Въ наше время «Ревизоръ» Гоголя явился истиннымъ бичомъ этого порока, который, благодаря успѣхамъ просвѣщенія и благотворнымъ усиліямъ правительства, уже прячется въ норы... Говоря о заслугахъ литературы святому дѣлу преслѣдованія лихоимства бичомъ сатиры, нельзя не упомянуть и о Грибоѣдовѣ: хотя его безсмертная комедія устремлена и не прямо противъ этой гидры стоглавой, но горящія клейма наложилъ онъ на ея безстыдные лбы стихами, подобными слѣдующимъ:

Какъ будешь представлять къ крестишку иль мѣстечку—
Ну, какъ не порадѣть родному человѣчку?

И благородныя усилія литературы не остались тщетными: общество отозвалось на нихъ. Замѣчательно, что даже посредственныя сочиненія въ этомъ духѣ и направленіи всегда принимались нашей публикой съ особеннымъ восторгомъ, вмѣсто того чтобъ оскорблять ее. Наконецъ стали появляться люди, которые, уже не боясь прослыть за людей *безпокойныхъ* и не стыдясь названія глупцовъ, гордецовъ, выскочекъ и мечтателей, говорятъ вслухъ, что скорѣе готовы умереть съ голоду, нежели богатѣть воровствомъ, — и съ голоду не умираютъ, а если и богатѣютъ, то честными средствами. Хотя такіе являются не тысячами, но все-таки число ихъ умножается со дня на день. До временъ же Петра Великаго ихъ не было. Слѣдовательно, общество наше идетъ впередъ, и не теряя своей національности, только разстается съ дурными привычками. И уже близко то время, когда не останется и слѣдовъ ихъ. И это дѣйствительно привычки — не болѣе, ибо съ чѣмъ можно разстаться, отъ чего можно отрѣшиться, — то не въ крови, не въ духѣ: то просто дурныя привычки, пріобрѣтенныя въ дурномъ обществѣ, при дурномъ воспитаніи. Только тѣ пороки дѣлаютъ безчестіе націи, которые неистребимы, неисправимы.

Вообще всѣ недостатки и пороки нашей общественности выходили изъ невѣжества и непросвѣщенія: и потому свѣтъ знанія и образованности разгоняетъ ихъ, какъ восходъ солнца ночные туманы. Пороки китайца и персіянина слиты съ ихъ духомъ: просвѣщеніе сдѣлало бы ихъ только утонченнѣе, коварнѣе и развратнѣе, но не благороднѣе. Просвѣщеніе дѣйствуетъ благодѣтельно только въ такомъ народѣ, въ которомъ есть зерно жизни. Мы уже представляли самый разительный фактъ, какъ неопровержимое доказательство, что въ русскомъ обществѣ есть здоровое и плодотвор-

Digitized by Google

ное зерно жизни. Прибавимъ къ этому, что многаго можно надѣяться отъ народа, который, послѣ Нарвскаго сраженія, далъ Полтавскую и Бородинскую битвы, потрясъ Турецкую имперію и, какъ сказалъ его великій поэтъ, «повалилъ въ бездну кумиръ, тяготѣющій надъ царствами, и кровью своею искупилъ свободу, честь, спокойствіе Европы...» Едва пробудившись къ жизни, онъ громомъ побѣдъ возвѣстилъ Европѣ о своемъ пробужденіи; едва примкнувшись къ Европѣ, онъ уже рѣшилъ ея великое дѣло, далъ отвѣтъ на мудрый вопросъ...

Духъ народный всегда былъ великъ и могущъ: это доказываетъ и быстрая централизація московскаго царства, и Мамаевское побоище, и сверженіе татарскаго ига, и завоеваніе темнаго Казанскаго царства, и возрожденіе Россіи, подобно фениксу, изъ собственнаго пепла въ годину междуцарствія, когда, подобно восходящему солнцу, прогоняющему призраки ночи и предразсвѣтную мглу, на престолъ, по единодушному избранію народа, взошелъ благословенный домъ Романовыхъ, даровавшій Россіи Петра Великаго и цѣлый рядъ знаменитыхъ и славныхъ властителей, возвеличившихъ и облагодѣтельствовавшихъ ввѣренный Богомъ попеченію ихъ народъ. Это же доказываетъ и обиліе въ такихъ характерахъ и умахъ государственныхъ и ратныхъ, каковы были — Александръ Невскій, Іоаннъ Калита, Симеонъ Гордый, Дмитрій Донской, Іоаннъ III, Іоаннъ Грозный, Андрей Курбскій, Воротынскій, Шеинъ, Годуновъ, Басмановъ, Скопинъ-Шуйскій, князь Дмитрій Пожарскій, мѣщанинъ Мининъ, святители Алексій, Филиппъ, Гермогенъ, келарь Авраамій Палицынъ... Это же доказываютъ и произведенія народной поэзіи, запечатлѣнной богатствомъ фантазіи, силой выраженія, безконечностью чувства, то бѣшено-веселаго, размашистаго, то грустнаго, заунывнаго, но всегда крѣпкаго, могучаго, которому тѣсно и на улицѣ, и на площади, которое проситъ для разгула дремучаго лѣса, раздолья Волги-матушки, широкаго поля... Но такова участь даже и великаго народа, если враждебная судьба или неблагопріятное историческое развитіе лишаютъ его потребной ему сферы, и для необъятной силы его духа не даютъ приличнаго ей содержанія: въ минуты испытанія, когда малые духомъ народы падаютъ, онъ просыпается, какъ левъ, окруженный ловцами, грозно сотрясаетъ свою гриву и ужаснымъ рыканіемъ оледеняетъ сердца своихъ враговъ. Прошла буря—и онъ опять погружается въ свою дремоту, не извлекая изъ потрясенія благопріятныхъ результатовъ для своей цивилизаціи. Въ самомъ дѣлѣ, всѣ великіе перевороты и испытанія судьбы только обнаружили великій характеръ русскаго народа; роковой 1812 годъ, пронесшійся надъ Россіей грозной тучей, напрягавшій всѣ ея силы, не только не ослабилъ ея, но еще и укрѣпилъ, и былъ прямой причиной ея новаго, высшаго благоденствія, ибо открылъ новые источники народнаго богатства, усилилъ промышленность, торговлю, просвѣщеніе. Вотъ какая разница между однимъ и тѣмъ же народомъ, въ его непосредственномъ, естественномъ и патріархальномъ состояніи, и въ разумномъ движеніи его историческаго развитія! Въ первомъ состояніи и великое событіе у народа рождается какъ бы безъ причины и оканчивается безъ результатовъ, — и потому его исторія лишена всякаго общаго интереса; во второмъ состояніи даже всякое событіе имѣетъ разумную причину и разумное слѣдствіе и составляетъ шагъ впередъ,—и его исторія полна драматическаго интереса, движенія, разнообразія, поэтически-интересна, философски-поучительна, политически-важна. Но народъ одинъ и тотъ же, и Петръ не пересоздалъ его (такого дѣла, кромѣ Бога, никто бы не могъ совершить), а только вывелъ его изъ кривыхъ, избитыхъ тропинокъ на столбовую дорогу всемірно-исторической жизни. Шереметевъ, Меншиковъ, Репнинъ, Долгорукій, Апраксинъ, Шафировъ, Голицынъ (Михаилъ), Головинъ, Головкинъ,—всѣ эти люди, одаренные такими блестящими талантами, «сіи птенцы гнѣзда Петрова», по выраженію Пушкина, были природные русскіе и родились въ царствованіе Алексія Михаиловича—въ Кошихинскія времена Россіи. И такъ, Петръ отрицалъ и уничтожалъ въ народѣ не существенное и кровное, но наросшее и привившееся, и тѣмъ отверзъ новые пути въ духѣ народа, до того времени остававшіеся затворенными, для принятій новыхъ идей и новыхъ дѣлъ. Обвиняющимъ его въ попраніи и уничтоженіи народнаго духа Петръ имѣлъ бы полное право отвѣтить: «не думайте, что пришелъ нарушить законъ или пророковъ: я не нарушить пришелъ, но исполнить...»

Читатели наши могли видѣть вѣрную картину общественнаго и семейнаго быта Россіи — въ выпискахъ, сдѣланныхъ нами въ предыдущей статьѣ изъ книги Кошихина, изданной нашимъ просвѣщеннымъ правительствомъ. Они могли видѣть, что въ Россіи до Петра Великаго не было ни торговли, ни промышленности, ни полиціи, ни гражданской безопасности, ни разнообразія нуждъ и потребностей, ни военнаго устройства, ибо все это было слабо и ничтожно, потому что было не закономъ, а обычаемъ. А нравы? Сколько тутъ азіатскаго, татарскаго! Сколько простонароднаго и грубаго въ пирахъ!

Digitized by Google

Сравните эти тяжелыя ядѣнья, это невѣроятное питье, эти губныя цѣлованія, эти частыя стуканья лбомъ объ полъ, эти китайскія церемоніи, — сравните съ турнирами среднихъ вѣковъ, съ европейскими пиршествами XVII столѣтія... Вспомните, каковы были наши брадатые рыцари и кавалеры! каковы были наши бойкія дамы, потягивавшія «горькое»!.. Все это нисколько не нравственно и не эстетично... Но все это опять-таки нисколько не относится къ униженію народа ни въ нравственномъ, ни въ философскомъ отношеніи: ибо все это было слѣдствіемъ изолированнаго отъ Европы историческаго развитія и слѣдствіемъ вліянія татарщины. Лишь только отворилъ Петръ двери своему народу на свѣтъ Божій, мало-по-малу тьма невѣжества разсѣялась: народъ не выродился, не уступилъ своей родной почвы другому племени, но уже сталъ не тотъ и не такой, какъ былъ прежде... Да, господа защитники старины, воля ваша, а Петру Великому мало конной статуи на Исаакіевской площади: алтари должно воздвигнуть ему на всѣхъ площадяхъ и улицахъ великаго царства русскаго!... Защитники нашей патріархальной старины обыкновенно говорятъ, что и въ Европѣ, во времена варварства, было не лучше, чѣмъ у насъ. Но у насъ въ XVIII вѣкѣ (до царствованія Екатерины Великой) было то, что въ Европѣ было въ VI и V вѣкахъ,—были пытки, изувѣрство, суевѣріе и проч. Но, что всего важнѣе,—въ Европѣ было развитіе жизни, движеніе идеи; подлѣ яда тамъ росло и противоядіе—за ложнымъ или недостаточнымъ опредѣленіемъ общества тотчасъ же слѣдовало и отрицаніе этого опредѣленія другимъ, болѣе соотвѣтствующимъ требованію времени опредѣленіемъ.

Нѣкоторые думаютъ, что Россія могла бы сблизиться съ Европой безъ насильственной реформы, безъ отторженія, хотя бы и временнаго, отъ старины, но собственнымъ развитіемъ, собственнымъ геніемъ. Это мнѣніе имѣетъ всю внѣшность истины, и потому блестяще и обольстительно; но внутри пусто: его опровергаетъ самый опытъ,—факты исторіи. Никогда Россія не сталкивалась съ Европой такъ близко, такъ лицомъ къ лицу, какъ въ эпоху междуцарствія. Есть фактъ еще больше поразительный: это — Новгородъ. Прекрасно русское выраженіе «новгородская вольница», и странно мнѣніе многихъ ученыхъ, которые отъ чистаго сердца, т. е. не шутя, видѣли въ Новгородѣ живой членъ ганзеатическаго союза. Правда, новгородцы были друзья «нѣмцамъ», безпрестанно обращались съ ними; но нѣмецкія идеи и не коснулись ихъ. Это была «вольница»; порабощеніе Новгорода Іоанномъ III и Іоанномъ Грознымъ было дѣломъ, оправдывающимся не только политикой, но и нравственностью. Отъ созданія міра, не было болѣе безтолковой и каррикатурной республики! Она возникла, какъ возникаетъ дерзость раба, который видитъ, что его господинъ боленъ изнурительной лихорадкой и уже не въ силахъ справиться съ нимъ какъ должно; она исчезла, какъ исчезаетъ дерзость этого раба, когда его господинъ выздоравливаетъ. Оба Іоанны понимали это: они не завоевывали, но усмиряли Новгородъ, какъ свою взбунтовавшуюся отчину. Усмиреніе это не стоило имъ никакихъ особенныхъ усилій; завоеваніе Казани было въ тысячу разъ труднѣе для Грознаго... Нѣтъ! была стѣна, отдѣлявшая Россію отъ Европы: стѣну эту могъ разбить только какой-нибудь Самсонъ, который и явился Руси въ лицѣ ея Петра. Наша исторія шла иначе, чѣмъ исторія Европы, и наше очеловѣченіе должно было совершиться также иначе. Нецивилизованные народы образуются безусловнымъ подражаніемъ цивилизованнымъ. Сама Европа доказываетъ это: Италія называла остальную Европу варварами, и эти варвары безусловно подражали ей во всемъ—даже въ порокахъ. Могла ли Россія начинать съ начала, когда передъ ея глазами былъ уже конецъ? Неужели ей нужно было начать напримѣръ военное искусство съ той точки, съ которой оно началось въ Европѣ во времена феодализма, когда въ нее стрѣляли изъ пушекъ и мортиръ, а нестройную толпу ея могли поражать стройные ряды, вооруженные штыками, повертывавшіеся по командѣ одного человѣка? Смѣшная мысль! Если же Россія должна была изучать военное искусство въ томъ состояніи, въ какомъ оно было въ Европѣ XVII вѣка, то должна была учиться математикѣ, и фортификаціи, и артиллерійскому, и инженерному искусству, и навигаціи; слѣдовательно, могла ли она приниматься за геометрію не прежде, какъ ариѳметика и алгебра уже укоренятся въ ней и ихъ изученіе окажетъ полные и равные успѣхи во всѣхъ сословіяхъ народа? Однообразіе въ одеждѣ для солдатъ не прихоть, а необходимость. Русская одежда не годилась для солдатской униформы, слѣдовательно, необходимо должно было принять европейскую; а какъ же можно было сдѣлать это съ одними солдатами, не побѣдивъ отвращенія къ иностранной одеждѣ въ цѣломъ народѣ? И что бы за отдѣльную націю въ народѣ представляли собою солдаты, еслибъ всѣ прочіе ходили съ бородами, въ балахонахъ и безобразныхъ сапожищахъ? Чтобъ одѣть солдатъ, нужны были фабрики (а ихъ не было): неужели же для этого надобно было ожидать свободнаго и естествен-

Digitized by Google

наго развитія промышленности? При солдатахъ нужны офицеры, а офицеры должны быть изъ сословія высшаго, нежели то, изъ котораго набирались солдаты, и на ихъ мундиры нужно было сукно потоньше солдатскаго; такъ неужели же это сукно слѣдовало покупать у иностранцевъ, платя за него русскими деньгами, или дожидаться, пока (лѣтъ въ 50) фабрики солдатскаго сукна придутъ въ совершенство и изъ нихъ развовьются тонко-суконныя фабрики? Что за нелѣпости! Нѣтъ, въ Россіи надо было начинать все вдругъ, и высшее предпочитать низшему: фабрики солдатскаго сукна—фабрикамъ мужицко-сермяжнаго сукна, академію—уѣзднымъ училищамъ, корабли—баркамъ. Мало основать уѣздныя училища: надо было дать имъ учителей, которыхъ всего лучше могла образовать академія; надо было составить учебныя руководства, что опять могла сдѣлать только академія. Что ни говорите о бѣдности нашей литературы и ничтожности нашей книжной торговли, однако иныя книги у насъ раскупаются же и иные книгопродавцы одними періодическими изданіями имѣли же въ ежегодномъ оборотѣ по 250,000 рублей! А отчего это произошло? — Оттого, что наша великая императрица Екатерина II заботилась о созданіи литературы и публики, заставила читать дворъ, отъ котораго, мало-по-малу, охота къ чтенію перешла, черезъ высшее дворянство, къ среднему, отъ него къ чиновническому люду, а теперь уже начинаетъ переходить и къ купечеству.

Да, у насъ все должно было начинать сверху внизъ, а не снизу вверхъ, ибо въ то время, какъ мы почувствовали необходимость сдвинуться съ мѣста, на которомъ дремали столько вѣковъ, мы уже увидѣли себя на высотѣ, которую другіе взяли приступомъ. Разумѣется, на этой высотѣ увидѣлъ себя не народъ (въ такомъ случаѣ ему не для чего было бы и подыматься), а правительство, и то въ лицѣ только одного человѣка—царя своего. Петру некогда было медлить: ибо дѣло шло уже не о будущемъ величіи Россіи, а о спасеніи ея въ настоящемъ. Петръ явился во-время: опоздай онъ четвертью вѣка, и тогда—спасай или спасайся кто можетъ!... Провидѣніе знаетъ, когда послать на землю человѣка. Вспомните, въ какомъ тогда состояніи были европейскія государства въ отношеніи къ общественной, промышленной, административной и военной силѣ, и въ какомъ состояніи была тогда Россія во всѣхъ отношеніяхъ! Мы избалованы нашимъ могуществомъ, оглушены громомъ нашихъ побѣдъ, привыкли видѣть стройныя громады войскъ, и забываемъ, что всему этому только 132 года (считая отъ побѣды подъ Лѣснымъ— первой великой побѣды, одержанной русскими регулярными войсками надъ шведами). Мы какъ будто все думаемъ, что это было у насъ искони вѣковъ, а не съ Петра Великаго. Мы уже забыли и то, что при Петрѣ Великомъ у Россіи явился опасный сосѣдъ—Карлъ XII, которому нужны были и люди, и деньги, и который умѣлъ бы распорядиться и тѣмъ, и другимъ, слѣдуя русской пословицѣ: «даровому коню въ зубы не смотрятъ». Любовь къ отечеству, могущество народнаго духа и богатство въ матеріальныхъ средствахъ—дѣйствительно сильныя орудія. Но воскресите героевъ Термопилъ, Марѳона, Платеи, воиновъ Лакедемона, фаланги македонянъ, когорты Рима, составьте изъ всѣхъ нихъ одно войско, сдѣлайте Мильтіада, Ѳемистокла, Кимона, Аристида, Перикла, Фабія, Камилла, Сципіона, Марія начальниками отрядовъ, а въ главнокомандующіе дайте имъ Александра Македонскаго и Юлія Цезаря: это ужасное войско исполиновъ не устоитъ противъ пяти полковъ нашего времени подъ командою не Наполеона, а хоть кого-нибудь изъ его генераловъ. «Сила солому ломитъ», говоритъ пословица, а умъ, вооруженный наукой, искусствомъ и вѣковымъ развитіемъ жизни, ломитъ и силу, прибавили бы мы. Нѣтъ, безъ Петра Великаго для Россіи не было никакой возможности естественнаго сближенія съ Европою. Повторяемъ: Петру некогда было медлить и выжидать. Какъ прозорливый кормчій, онъ во время тишины предузналъ ужасную бурю и велѣлъ своему экипажу не щадить ни трудовъ, ни здоровья, ни жизни, чтобъ приготовиться къ напору волнъ, порывамъ вѣтра, — и всѣ изготовились хоть и нехотя,—и настала буря, но хорошо приготовленный корабль легко выдержалъ ея неистовую силу, — и нашлись недальновидные, которые стали роптать на кормчаго, что онъ напрасно такъ безпокоилъ ихъ! Нельзя ему было сѣять и спокойно ожидать, когда прозябнетъ, взойдетъ и созрѣетъ брошенное сѣмя: одной рукой бросая сѣмена, другой хотѣлъ онъ тутъ же и пожинать плоды ихъ, нарушая обычные законы природы и возможности,—и природа отступила для него отъ своихъ вѣчныхъ законовъ, и возможность стала для него волшебствомъ. Новый Навинъ, онъ останавливалъ солнце въ пути его, онъ у моря отторгалъ его довременныя владѣнія, онъ изъ болота вывелъ чудный городъ. Онъ понялъ, что полумѣры никуда не годятся и только портятъ дѣло; онъ понялъ, что коренные перевороты въ томъ, что сдѣлано вѣками, не могутъ производиться вполовину, что надо дѣлать или больше, чѣмъ можно сдѣлать, или ничего не дѣлать, и понялъ, что на первое станетъ его силъ.

Digitized by Google

Передъ битвой подъ Лѣснымъ онъ позади своихъ войскъ поставилъ казаковъ съ строгимъ приказаніемъ убивать безъ милосердія всякаго, кто побѣжитъ вспять, даже и его самого, если онъ это сдѣлаетъ *). Такъ точно поступилъ онъ и въ войнѣ съ невѣжествомъ: выстроивъ противъ него весь народъ свой, онъ отрѣзалъ ему всякій путь къ отступленію и бѣгству. Будь полезенъ государству, учись—или умирай: вотъ что было написано кровью на знамени его борьбы съ варварствомъ. И потому все старое безусловно должно было уступить мѣсто новому, и обычаи, и нравы, и дома, и улицы, и служба. Говорятъ, дѣло въ дѣлѣ, а не въ бородѣ, но что жъ дѣлать, если борода мѣшала дѣлу? Такъ вонъ же ее, если сама не хочетъ валиться...

Построеніе Петербурга тоже ставится многими въ упрекъ его великому основателю. Говорятъ: на краю огромнаго государства, на болотахъ, въ ужасномъ климатѣ, много стоило жертвъ, и пр.; но вопросъ въ томъ: было ли это необходимо, можно ли было поступить иначе? Петръ долженъ былъ оставить Москву — тамъ шипѣли противъ него бороды; ему нужно было отвести безопасный пріютъ европеизму, сдѣлать этого гостя семейнымъ, своимъ человѣкомъ, чтобъ незамѣтно и тихо могъ онъ дѣйствовать на Россію и быть громовымъ отводомъ для невѣжества и изувѣрства. Для такого пріюта ему нужна была почва совершенно новая, безъ преданій, гдѣ бы его русскіе очутились совершенно въ новой сферѣ и не могли бы сами собою не измѣниться въ обычаяхъ и привычкахъ жизни. Ему нужно было свести ихъ съ иностранцами и связать съ ними и службой, и торговлей, и согражданствомъ, поставить ихъ съ ними въ безпрестанное соприкосновеніе. Для этого была необходима завоеванная земля, необходимо, чтобъ она могла быть отечествомъ и для иностранцевъ, которыхъ невозможно было въ большомъ числѣ переманить въ Москву, и для русскихъ, которые только вначалѣ не охотно селились тамъ, но потомъ, увидѣвъ тамъ центръ правительства, тянулись туда, какъ желѣзо къ магниту. А гдѣ же могло быть лучшее для этого мѣсто, какъ не въ «отбитомъ у шведа краѣ»? А великая идея создать флотъ и положить начало за-граничной торговлѣ не чрезъ посредство иностранцевъ, какъ въ Архангельскѣ, а прямо, собственной дѣятельностью, и не съ одними англичанами, но со всѣмъ земнымъ шаромъ? — Гдѣ же лучшее для этого мѣсто, какъ не при четверномъ устьѣ Невы? Стоитъ только обратить вниманіе на важность Кронштадта для Петербурга, чтобъ увидѣть, какъ геніальны и непогрѣшительны были соображенія Петра Великаго. Почему бы ему было не перенести столицу на берега Чернаго или Азовскаго моря? Потому что ему, кромѣ флота и за-граничной торговли, морѣ нужно было и для успѣховъ европеизма отъ сосѣдства съ европейскимъ народомъ. Азовское или Черное море сблизило бы насъ съ татарами, калмыками, черкесами и турками, а не съ европейцами. Для Одессы важно сосѣдство Турціи, въ которую она отпускаетъ огромное количество пшеницы; но оно не было важно для Петербурга, ибо Одесса только портовый и торговый городъ, а Петербургъ сверхъ того и столица. И мысль Петра оправдалась дѣломъ: Москва безспорно имѣетъ свое значеніе для Россіи, но Петербургъ — истинно европейская столица Россіи: Петербургъ для Россіи — биржа европеизма, изъ которой европеизмъ разносится по Россіи. Всякое удобство, всякій шагъ въ цивилизаціи дѣлается у насъ черезъ Петербургъ. Онъ— окно и дверь въ Европу.

Что касается до жертвъ, съ какими построенъ Петербургъ — онѣ искупаются необходимостью и результатомъ. Петръ своими дѣлами писалъ исторію, а не романъ; онъ дѣйствовалъ какъ царь, а не какъ семьянинъ. Реформа была тяжкимъ испытаніемъ для народа, годиной трудной и грозной. Но когда же и гдѣ же великіе перевороты совершались тихо и безъ отягощенія современниковъ?... Развѣ легокъ былъ для Россіи славный двѣнадцатый годъ? но неужели поэтому мы должны порицать его, а не гордиться имъ?... Спокойныхъ государствъ только два въ мірѣ—Китай и Японія; но лучшее, что производитъ первый, это чай, а вторая, кажется,—лакъ: больше о нихъ нечего сказать. Осина ломится и сокрушается вѣтромъ; дубъ мужаетъ и крѣпнетъ въ буряхъ.

... Россія молодая,
Въ бореньяхъ силы напрягая,
Мужала геніемъ Петра.
Суровый былъ въ наукѣ славы
Ей данъ учитель: не одинъ
Урокъ нежданный и кровавый
Задалъ ей шведскій паладинъ.
Но въ искушеньяхъ долгой кары,
Перетерпѣвъ судебъ удары,
Окрѣпла Русь. Такъ тяжкій млатъ,
Дробя стекло, куетъ булатъ.

Да, тяжело было народу съ печей и палатей своихъ выйти на такую работу и борьбу, Онъ не виноватъ былъ, что выросъ не учась, и взрослому, ему не подъ силу показалось садиться за указку. Но самое худшее въ его положеніи было то, что онъ не могъ понять ни смысла, ни цѣли, ни пользы пере-

*) Голиковъ. *Т. III, стр. 20 стараго изданія.*

Digitized by Google

мѣнъ, которымъ подвергла его желѣзная, несокрушимая воля царя-исполина. Здѣсь мы почитаемъ приличнымъ выписать или, лучше сказать, украсить нашу статью выпиской краснорѣчивыхъ строкъ о Петрѣ Великомъ одного изъ русскихъ ученыхъ *):

«Чего жъ не доставало русскому народу? *Преобразованія*. Его не доставало для XVII вѣка! Явился царь съ горячей мыслью въ очахъ, съ отважной думой на челѣ и съ громоноснымъ словомъ власти! Онъ страшный кинулъ взоръ на царствующій градъ, сурово посмотрѣлъ на даль прошедшаго, и двинулъ царство отъ него. Что жъ не пойравилось ему въ наслѣдіи предковъ? Что возмутило Петра въ твореніи его отцовъ? Но это тайна души великой, глубокой, тайна генія! Мы видѣли только внѣшнее этого духа, который, какъ грозовое облако, прошелъ надъ русской землей. Мы видѣли, какъ онъ сочувствовалъ Іоанну Грозному, какъ благоговѣлъ предъ кардиналомъ Ришельё, какъ не терпѣлъ византійскаго двора, его роскошества и лѣни, его ханжей и лицемѣровъ. Такое грозное соединеніе стихій въ душѣ смертнаго, рожденнаго повелѣвать и царствовать! И къ этому огненному началу нравственной его жизни присоединилось глубочайшее сознаніе собственныхъ силъ. Посланникъ неба, самодержавный смертный, рѣшительно рожденный для преобразованій! Въ какомъ бы онъ вѣкѣ ни родился, въ какомъ бы народѣ ни воспитался, онъ всегда и вездѣ былъ бы преобразователемъ. Это его природа. Еслибъ онъ былъ современнымъ древнему Язону, его постигла бы участь божественнаго Иракла. Онъ былъ бы слишкомъ тяжелъ для легкой греческой армады. Но Провидѣніе знало, гдѣ произвести на свѣтъ необычайнаго смертнаго. Только русскій корабль могъ сдержать такого страшнаго пассажира! Только русское море могло носить на хребтѣ своемъ столь отважнаго мореходца! Только Россія могла не треснуть отъ этого духа, который напрягалъ ее, чтобъ уравнять ея силы съ своей исполинской мощью! Дивное явленіе! Отъ сложенія міра не бывало такого государя! Говорятъ, что крутость его ума и воли происходила оттого, что онъ не получилъ надлежащаго воспитанія; но, Боже мой, какая наука могла огранить эту адамантовую душу, какое воспитаніе могло смягчить эти несокрушимые нервы ума, эти желѣзныя мышцы воли? Если природа должна была уступить ему, то что-жъ могла сдѣлать изъ него наука? Какой нѣмецъ могъ быть его дѣтоводцемъ, какой французъ—учителемъ? И природа, и наука отступились, когда этотъ великій духъ помчалъ русскую жизнь по открытому морю всемірной исторіи! Петръ Великій не вѣрилъ слабостямъ человѣческой природы, только на смертномъ одрѣ почувствовалъ, что и онъ смертный: *‹Изъ меня можно познать, сколь бѣдное твореніе есть человѣкъ›*, произнесъ онъ въ смертныхъ страданіяхъ! Таковъ былъ Петръ Великій! Ему нужно было совершить преобразованіе. И какое преобразованіе! Отъ конечностей дѣла до послѣдняго убѣжища человѣческой мысли! Онъ бритвой брѣетъ бороды и топоромъ рубитъ невѣжество. Тысячи стрѣлецкихъ головъ падаютъ на Преображенскомъ Полѣ! Ни даже крестный ходъ царствующаго града не могъ смягчить его правосудія (стр. 60—61)... Преобразователь втеченіе всей своей жизни хранилъ въ себѣ тайное сознаніе, что не одно рожденіе возвело его на престолъ, но сила высшая призвала его царствовать надъ народами! Онъ чувствовалъ, что не кровь, а духъ долженъ ему предшествовать. Онъ отвергъ сына и возжелалъ оставить по себѣ *достойнѣйшаго*. Но великій человѣкъ не пріобщился нашимъ слабостямъ! Онъ не зналъ, что мы и кровь, и плоть. Онъ былъ великъ и силенъ, а мы родились и *малы, и худы*, намъ нужны были общіе уставы человѣчества! Петру Великому не нравилось наше древнее государственное устройство. Государева боярская дума должна была уступить мѣсто Сенату; областные приказы—ландратамъ и ландгерихтамъ. Ему не нравились и наши цѣловальники, наши дьяки и подъячіе. Онъ желалъ бы посадить на ихъ мѣсто плѣнныхъ шведовъ, секретарей и шрейберовъ цесарской службы. Ему не нравилось прошедшее Россіи. Но всѣ эти перемѣны ничто въ сравненіи съ преобразованіемъ государственной службы. Самъ, начавъ съ солдата гвардіи, онъ прошелъ медленно по лѣстницѣ подчиненія, и завѣщалъ ее своимъ подданнымъ. А что кормленіе прежнее, что царскій хлѣбъ и соль? Въ потѣ лица ѣли ихъ слуги Петра Великаго. Нигдѣ онъ не былъ такъ грозенъ своимъ правосудіемъ какъ противъ дармоѣдовъ, мірскихъ ѣдухъ и. казнокрадовъ. Не уважая частной собственности, когда думалъ объ отечествѣ, за каждую копѣйку, излишне взятую сборщикомъ податей, или переданную коммисіонеромъ торгашу, онъ былъ неумолимъ для виновнаго» (стр. 61—62).

Да, тутъ народу было отчего призадуматься, было отчего вспомнить съ умиленіемъ о простодушной старинѣ и поэтизировать ее въ элегическихъ обращеніяхъ къ новому и старому времени, вродѣ слѣдующаго, которымъ начинается одна сказка, вѣроятно сложенная въ ту эпоху:

«Соизволите выслушать, люди добрые, слово вѣстное, приголубьте рѣчью лебединою словеса немудрыя, какъ и въ стары годы, прежніе, жили люди старые. А и то-то, родимые, были вѣки мудрые, вѣки мудрые, народъ все православный, живали старики не по нашему, не по нашему, по заморскому, а по своему православному. А житье-то, а житье-то было все привольное, да раздольное. Вставали ранымъ-ранехонько, съ утренней зарей, умывшись ключевой водой, со бѣлой росой, кланялись всѣмъ роднымъ отъ востока до запада, выходили на красенъ крылецъ со рѣшеточкой, созывали слугъ вѣрныхъ на добры дѣла. Старики судъ рядили, молодые слушали; старики придумывали крѣпкія думушки, молодые бывали во посылушкахъ. Молодыя молодицы правили домкомъ, красныя дѣвицы завивали вѣнки на Семикъ-день, старыя старушки судили, рядили и сказки сказывали. Бывали радости великія на великъ день, бывали бѣды со кручинами на велико сиротство. *А что было, то былью поросло, а что будетъ, то будетъ не по старому, а по новому!*›

И хорошо, что поросло! Какъ красно ни разсказывайте, какъ сладко ни пойте, а, право, не соблазните насъ этимъ привольнымъ и раздольнымъ житьемъ. Гулянья, театры, балы и маскарады мы будемъ предпочитать завиванію вѣнковъ на Семикъ-день. Что до ранняго вставанья—дѣло не въ томъ, чтобы раньше встать, а чтобъ не даромъ встать: кому нечего дѣлать, тотъ хорошо сдѣлаетъ, если подольше поспитъ. Мы не только не кланяемся роднымъ заочно на всѣ четыре стороны, но и встрѣтившись съ ними, если наше родство съ ними заклю-

*) Ѳ. Л. Морошкина, изъ рѣчи его «Объ Уложеніи и послѣдующемъ его развитіи».

Digitized by Google

чается только въ крови, а не въ любви и духѣ. Молодые люди бываютъ и у насъ «во посылочкахъ» у старыхъ, но зато и старые бываютъ «во посылочкахъ» у молодыхъ: ибо право начальства принадлежитъ у насъ не старѣйшему, но достойнѣйшему, а достоинство мы измѣряемъ не сѣдиною, а умомъ, талантомъ и заслугою. На посылкахъ у Суворова бывали не одни молодые офицеры, и генералы, гораздо старше его лѣтами и породою. Да, мы не можемъ безъ улыбки сожалѣнія слушать эти жалобныя похвалы доброму старому времени; но мы понимаемъ, что простодушный народъ тогдашній по своему былъ правъ. Скажемъ же ему отъ всего сердца: «вѣчная память и царство небесное!» Своими страданіями и тяжкимъ терпѣніемъ искупилъ онъ наше счастье и наше величіе. Надъ гробами историческаго кладбища не должно быть ни проклятій, ни нестройнаго смѣха, ни ненависти, ни кощунства, но любовь и грустная, благоговѣйная дума...

Но такова сила истины, таково непосредственное вліяніе генія: еще въ разгаръ и самое тяжелое время реформы Петръ имѣлъ почитателей не только въ приверженныхъ къ себѣ людяхъ, но и въ тѣхъ, которые косо смотрѣли на его преобразованіе. Казалось, всѣ, вопреки своему сознанію, признавали необходимость коренной реформы. И не могло быть иначе. Петръ явился во-время. Потребность преобразованія сильно обнаружилась еще въ царствованіе Алексія Михайловича, и уничтоженіе мѣстничества при царѣ Ѳеодорѣ Алексіевичѣ было тоже слѣдствіемъ этой потребности. Но все дѣло ограничивалось полумѣрами, не имѣвшими важныхъ послѣдствій. Нужна была полная, коренная реформа—«отъ оконечностей тѣла до послѣдняго убѣжища человѣческой мысли»; а для произведенія такой реформы нуженъ былъ исполинскій геній, какимъ явился Петръ. Полтавская битва не могла не имѣть сильнаго нравственнаго вліянія на народъ: многіе изъ самыхъ ожесточенныхъ приверженцевъ старины должны были увидѣть въ этой битвѣ оправданіе реформы. Правосудіе и справедливость царя, свободный доступъ къ нему всѣхъ и каждаго, эта готовность прощать личныхъ враговъ и злодѣевъ при видѣ ихъ раскаянія, эта готовность даже возвышать ихъ, если при раскаяніи видны были въ нихъ и способности, это божественное самоотреченіе отъ своей личности въ пользу вѣчной правды, это высокое самоуничтоженіе въ идеѣ своего народа и своего отечества,—все это покорило Петру сердца и души подданныхъ еще задолго до его кончины. Но когда онъ умеръ, не оставивъ послѣ себя никого подобнаго себѣ, — Русь оцѣпенѣла, словно ударъ грома оглушилъ ее. Лучшая часть народа, принесшая великія и невольныя жертвы преобразованію, трепетала уже за участь преобразованія и боялась возвращенія прежняго варварства. Русь какъ будто предугадывала эту темную годину, когда ей надо будетъ влачиться по колеѣ, проложенной Петромъ, не двигаясь впередъ; она какъ будто чувствовала, что надолго закатилось ея лучезарное солнце, вновь взошедшее на ея небосклонъ съ Екатериной Великой, чтобы ужъ болѣе не оставлять его *).

СТО РУССКИХЪ ЛИТЕРАТОРОВЪ.

Изданіе книгопродавца А. Смирдина. Томъ второй. Булгаринъ. Вельтманъ. Веревкинъ. Загоскинъ. Каменскій. Крыловъ. Масальскій. Надеждинъ, Панаевъ. Шишковъ. Спб. 1841.

Наконецъ, послѣ долгихъ ожиданій, изъ темной и таинственной области великихъ замысловъ и предпріятій, появился на свѣтъ Божій второй томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ»!... Важное и торжественное событіе для русской литературы!... Среди микроскопическихъ явленій книжнаго міра, въ настоящее время, когда романы, вмѣсто прежнихъ завѣтныхъ четырехъ частей, обыкновенно являются въ двухъ тоненькихъ книжечкахъ, разгонисто напечатанныхъ, или, отчаявшись найти себѣ читателей, растягиваются на страницахъ пяти, шести книжекъ иного объемистаго журнала,—теперь книга «Сто Русскихъ Литераторовъ»—это настоящій слонъ, тяжело и величаво шагающій между кротами и кузнечиками въ пустынѣ русской литературы, поросшей глухой травой. Второй томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ»—явленіе великое по толщинѣ, и не менѣе великое по своему значенію: оно отмѣчено перстомъ судьбы и предназначено къ рѣшенію великой задачи. Это особенно доказывается его несвоевременнымъ, столь позднимъ появленіемъ въ свѣтъ. Явись онъ въ свое время, когда былъ обѣщанъ публикѣ издателемъ, т. е. съ небольшимъ годъ назадъ, — и его значеніе, его смыслъ навсегда были бы утрачены для публики: публика послѣ неудачныхъ попытокъ дочесть— не говоримъ эту толстую книгу, но хоть что-

*) Предполагавшагося продолженія статей ъ «Дѣяніяхъ Петра Великаго», по независящимо отъ редакціи причинамъ, не было.

Digitized by Google

нибудь въ ней,—выронила бы ее изъ рукъ. Но теперь другое дѣло: теперь эта книга явилась въ самую пору, чтобъ окончательно рѣшить самый современный, самый свѣжій вопросъ—вопросъ о существованіи русской литературы... Для тѣхъ, кому слова наши показались бы загадочными, мы должны замѣтить мимоходомъ, что въ послѣднее время снова возникли сомнѣнія въ существованіи русской литературы. Скептицизмъ такъ далеко зашелъ, что нѣкоторые дерзкіе умы признаютъ истинными и великими талантами только Пушкина да еще трехъ-четырехъ человѣкъ, изъ которыхъ одинъ явился за долго до Пушкина, другой при началѣ, третій при концѣ, а четвертый послѣ его жизни; все же прочее считаютъ болѣе или менѣе удачными стремленіями и порываніями къ поэзіи,—но по большей части пустоцвѣтами словеснаго міра. Но и подобное мнѣніе, какъ ни отважно оно, куда бы еще ни шло; хуже всего то, что и на таланты, которые они сами признаютъ за истинные и великіе, эти раскольники смотрятъ какъ на явленія общечеловѣческія... Хоть мы съ ними и нисколько не согласны, но, признаемся, ихъ возраженія не разъ приводили насъ въ смущеніе и заставляли задумываться. «Посмотрите, говорили они намъ, посмотрите на эти петербургскіе сады и острова: вѣдь это деревья, и еще съ листьями, а это розы, и еще въ полномъ цвѣту, но все-таки они отнюдь не доказываютъ, чтобъ теперь въ Петербургѣ была весна или лѣто». Такъ какъ, читатели, мы рѣшительно не вѣримъ существованію не только весны или лѣта, но даже и зимы въ Петербургѣ, а круглый годъ видимъ въ немъ продолжительную, большей частью мрачную, холодную, сырую, грязную и нездоровую осень,—то это доказательство скептиковъ, противъ воли нашей, имѣло для насъ свою сторону очевидности. Въ самомъ дѣлѣ, если деревья, безъ весны и лѣта, почти въ осеннюю слякоть могутъ одѣваться зеленью, и розы распускаться пышнымъ цвѣтомъ,—то почему же иному языку не гордиться нѣсколькими великими созданіями поэзіи, и въ то же время совсѣмъ не имѣть литературы?... Конечно сравненіе не всегда доказательство, и все это можетъ быть только парадоксъ,—но парадоксъ, надо сознаться, очень ловкій, такъ что его легко принять и за истину. Впрочемъ теперь вопросъ этотъ рѣшится просто и удовлетворительно: второй томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ» неоспоримо убѣдитъ всякаго въ существованіи русскихъ типографій... русской литературы, хотѣли мы сказать...

Въ самомъ дѣлѣ, подумайте объ этомъ предметѣ посерьезнѣе, поосновательнѣе, и вашъ скептицизмъ исчезнетъ передъ толстой книжицей «Ста», какъ исчезаетъ туманъ передъ восходомъ солнечнымъ. Сто литераторовъ, сто современныхъ, еще живыхъ (т. е. здравствующихъ) литераторовъ,—шутка ли это!... Двадцать изъ нихъ уже предстали предъ россійскую публику, каждый съ повѣстью или какимъ-нибудь разсказомъ, а при нихъ съ картинкой, собственнымъ портретомъ и еще съ факсимилемъ, такъ что, по остроумному выраженію одного изъ двадцати, публика можетъ видѣть и голову «сочинителя», и то, что̀ есть лучшаго въ ней, т. е. «мозги», какъ остроумно выражается тотъ же «одинъ изъ двадцати». Говорятъ, по почерку можно заключить о характерѣ человѣка: слѣдовательно, въ отношеніи къ писателямъ, публика и съ этой стороны удовлетворена толстымъ альманахомъ Смирдина; по собственноручной подписи знаменитыхъ именъ Зотова, Масальскаго и Веревкина она можетъ судить и о личныхъ характерахъ этихъ знатныхъ «сочинителей». И такъ, посмотрите, какая богатая литература: вотъ уже, ничего не видя, двадцать литераторовъ услаждаютъ нашъ вкусъ и зрѣніе своими произведеніями, своими портретами, и мы готовимся увидѣться еще съ восемьюдесятью лицами въ этомъ родѣ! Правда, изъ двадцати, представленныхъ публикѣ добродушнымъ усердіемъ Смирдина, шестерыхъ уже нѣтъ на свѣтѣ, а нѣкоторые изъ умершихъ и изъ живыхъ совершенно неизвѣстны публикѣ своими литературными заслугами; но что̀ до первыхъ, они умерли недавно, и изъ нихъ только Пушкинъ не дождался радости увидѣть себя рядомъ съ Рафаиломъ Михайловичемъ Зотовымъ; а что̀ касается до вторыхъ,—если они не написали до сихъ поръ ничего порядочнаго и заслуживающаго хоть какого-нибудь вниманія со стороны публики къ ихъ портретамъ и факсимилямъ, то они еще напишутъ; слѣдовательно, это не важное обстоятельство... Разумѣется, тѣ изъ нихъ, которые умерли, не успѣвъ написать ничего такого, что̀ могло бы дать имъ право на званіе литераторовъ и сдѣлать интересными ихъ портреты, какъ напримѣръ Веревкинъ,—ужъ ничего и не напишутъ; но въ этомъ виноваты не они, а ранняя смерть ихъ, не давшая времени развернуться ихъ талантамъ, которыхъ существованіе, вѣроятно не безъ основанія, предполагалось издателемъ — старинным знатокомъ и цѣнителемъ талантовъ. И такъ, двадцать уже представлены, а восемьдесятъ литераторовъ въ непродолжительномъ времени имѣютъ быть представлены россійской публикѣ — самой доброй, самой расположенной ко всему печатному (особенно съ картинками) изъ

Digitized by Google

всѣхъ бывшихъ, существующихъ и будущихъ публикъ. И это все живые съ небольшимъ только числомъ, и то недавно, такъ сказать, на дняхъ умершихъ литераторовъ; но тутъ нѣтъ и не будетъ ни Ломоносова, ни Сумарокова, ни Державина, ни Хераскова, ни Петрова, ни даже Батюшкова, Грибоѣдова, Веневитинова и другихъ, умершихъ ранѣе 1837 года. Такимъ образомъ, не считая ихъ, вотъ вамъ сто литераторовъ, нашихъ современниковъ, литераторовъ настоящаго времени, настоящаго мгновенія: какое богатство, какое обиліе! Это хоть бы Англіи, хоть бы Франціи, хоть бы Германіи!... «Да откуда же ихъ набралось столько? откуда возьмутъ другихъ?» восклицаетъ пораженная недоумѣніемъ и радостью публика. Какъ откуда?—Вольно-жъ вамъ не знать русской литературы, не слѣдить за ея ходомъ, развитіемъ, успѣхами, не затвердить именъ ея неутомимыхъ дѣятелей, благородныхъ представителей... «Но, говорите вы, Пушкинъ уже былъ, Крыловъ тоже явился; слѣдовательно, остаются только Жуковскій, Вяземскій, Одоевскій, Лажечниковъ, Гоголь, Лермонтовъ, да развѣ еще двое — трое, и всѣ тутъ». Во-первыхъ, изъ всѣхъ этихъ, можетъ быть, вы ни одного и не увидите; мы не утверждаемъ этого навѣрное, но предполагаемъ не безъ основанія; во-вторыхъ, эти *всѣ* отнюдь не *всѣ*, и, кромѣ ихъ, можно легко набрать не только сто, но съ маленькой натяжкой и двѣсти. Вотъ нѣсколько знаменитыхъ именъ на выдержку, для примѣра: Воскресенскій, авторъ многихъ превосходныхъ романовъ, московскій Зотовъ; — Славинъ, что̀ прежде былъ г. Протопоповъ и г. Пртрпрпррвъ — московскій Тальма, Кинъ, актёръ и сочинитель; — Межевичъ, нашъ русскій Жюль-Жаненъ; — Ленскій и Коровкинъ—достойные соперники Скриба;—Марковъ, удачный подражатель самой занимательной части романовъ Поль-де-Кока; — Ѳедотъ Кузмичевъ, извѣстный и знаменитый «авторъ природы», какъ онъ самъ называетъ себя; — Навроцкій, извѣстный соперникъ Фонвизина и кандидатъ въ геніи, какъ онъ самъ провозгласилъ себя; — Бахтуринъ, извѣстный лирикъ и драматургъ, второй въ Россіи послѣ Полевого; — Струйскій, онъ же и Трилунный, прославившій себя пьесами въ восточномъ духѣ, каковы: «Смертаилъ», «Одинилъ», стихоплетоилъ и другіе «илы»; — Б. Ф(Ѳ)едоровъ, авторъ разныхъ азбукъ и нравоучительныхъ книжекъ для дѣтей, поэтъ съ сильнымъ воображеніемъ, хотя и съ полубогатыми виршами, прозаикъ образцовый, и прочіе, и прочіе, и прочіе—всѣхъ не перечтешь на десяти страницахъ. А сколько издателей такихъ изданій, которыя хотя и наполняются только моральными статьями и бранью противъ толстыхъ журналовъ, въ чаяніи вызвать ихъ на неприличный бой съ собой и тѣмъ обратить на себя вниманіе публики, но которыхъ тѣмъ не менѣе все-таки никто не знаетъ и не читаетъ! Сколько сотрудниковъ въ этихъ неизвѣстныхъ изданіяхъ и полуизданіяхъ, которые съ большимъ талантомъ и краснорѣчіемъ пишутъ объ упадкѣ общественной нравственности и вкуса публики, основывая свое мнѣніе на томъ, что общество и публика не хочетъ читать ихъ нравственныхъ сочиненій, а восхищается Пушкинымъ и Лермонтовымъ! Нѣтъ, лишь стало бы охоты у Смирдина продолжать полезное предпріятіе и у публики читать его изданіе, — а то наберется и тысяча русскихъ литераторовъ, явятся имена; никогда не слыханныя и, кромѣ своихъ владѣльцевъ, никому неизвѣстныя... И такъ, не опасайтесь, чтобъ дѣло кончилось только Зотовымъ, Масальскимъ, Веревкинымъ: много найдется на святой Руси подобныхъ имъ талантовъ. И потому будемъ надѣяться на Аполлона—да исполнитъ онъ ожиданія наши! А чтобъ онъ не томилъ насъ долгимъ ожиданіемъ, воспоемъ ему громкій пеанъ, да ужъ за одно попросимъ его, чтобы въ третьемъ томѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ» не увидѣть Жуковскаго среди исчисленныхъ нами знаменитостей, какъ увидѣли мы Пушкина между Зотовымъ и другими, и Крылова между Масальскимъ, Каменскимъ, Веревкинымъ и пр.

Въ ожиданіи же слѣдующихъ томовъ «Ста Русскихъ Литераторовъ», разсмотримъ второй. Одиннадцать произведеній десяти авторовъ, съ десятью портретами и факсимилями и десятью картинками; книга въ большую осьмушку, почти въ семьсотъ страницъ, — и послѣ этого будто еще могутъ оставаться сомнѣнія не только въ существованіи русской литературы, но и въ ея неисчерпаемомъ обиліи, богатствѣ и роскоши? Не можетъ быть!... Для бо̀льшаго удостовѣренія, совѣтуемъ нашимъ читателямъ не забывать, что альманахи—роскошь литературы и плодъ ея избытковъ, которыхъ такъ много, что ихъ некуда дѣвать, кромѣ альманаховъ; что, слѣдовательно, альманахи собираются легко, свободно, безъ натяжекъ и усилій, и что наконецъ они свидѣтельствуютъ о необычномъ количествѣ и качествѣ капитальныхъ и большихъ произведеній искусства и беллетристики, о необычайномъ числѣ и достоинствѣ журналовъ всѣхъ родовъ... И такъ, честь и слава русской литературѣ, достойнымъ представителемъ которой такъ кстати явился альманахъ Смирдина!... Взглянемъ же попристальнѣе на эту драгоцѣнную книгу....

Digitized by Google

Она начинается статьей покойнаго А. С. Шишкова: «Воспоминанія о моемъ пріятелѣ». Эта статья — нѣчто вродѣ анекдотовъ, такъ бѣдныхъ содержаніемъ и такъ неловко разсказанныхъ, что рѣшительно нѣтъ никакой возможности понять—въ чемъ тутъ дѣло и о чемъ рѣчь. По всему замѣтно, что статья писана сочинителемъ въ глубокой старости, и притомъ по внѣшнему, а не по внутреннему побужденію. Причина послѣдняго обстоятельства очевидна: издатель допускаетъ въ свой альманахъ только повѣсти и разсказы, и потому, еслибы туда хотѣлъ попасть литераторъ, вѣкъ свой писавшій объ исторіи, математикѣ или корнесловіи, то непремѣнно долженъ былъ бы что-нибудь разсказать, хоть свой сонъ, — нужды нѣтъ, еслибы въ этомъ снѣ не было и никакого значенія. Къ статьѣ Шишкова приложена картинка, сдѣланная Брюловымъ,—лучшая картинка во всемъ альманахѣ. Что до самой статьи, о ней можно сказать только, что въ ней авторъ остался вѣренъ самому себѣ и употребилъ только одно иностранное слово, и то въ скобкахъ, именно «попугай», котораго онъ по-русски нарекъ «переклиткою». Удивительное постоянство! Весь міръ перемѣнился съ тѣхъ поръ, какъ А. С. Шишковъ издалъ свое знаменитое «Разсужденіе о Старомъ и Новомъ Слогѣ Россійскаго языка»; самъ «россійскій» языкъ прошелъ сквозь горнило талантовъ Карамзина, Крылова, Жуковскаго, Батюшкова, Пушкина, Грибоѣдова и другихъ; сталъ совсѣмъ иной,—а Шишковъ остался одинъ и тотъ же, какъ египетская пирамида, безмолвный и холодный свидѣтель тысячелѣтій, пролетѣвшихъ мимо его... Имя Шишкова имѣетъ полное право на свое, хотя небольшое, мѣстечко въ исторіи русской литературы, если только дѣйствительно существуетъ на свѣтѣ вещь, называемая русской литературой. Было время, когда весь пишущій и читающій людъ на Руси раздѣлялся на двѣ партіи: Шишковистовъ и Карамзинистовъ, такъ, какъ впослѣдствіи онъ раздѣлился на классиковъ и романтиковъ. Борьба была отчаянная: дрались не на животъ, а на смерть. Разумѣется, та и другая сторона была и права, и виновата вмѣстѣ; но охранительная котерія довела свою односторонность до nec plus ultra, а свое одушевленіе до неистоваго фанатизма, — и проиграла дѣло. Тутъ нѣтъ ничего мудренаго: она опиралась на мертвую ученость, неоживленную идеей, на преданія старины и на авторитеты писателей безъ вкуса и таланта, но зато старинныхъ и заплѣсневѣлыхъ, тогда какъ на сторонѣ партіи движенія былъ духъ времени, жизненное развитіе и таланты. Шишковъ боролся съ Карамзинымъ: борьба неравная! Карамзина съ жадностью читало въ Россіи все, что только занималось чтеніемъ; Шишкова читали одни старики. Карамзинъ ссылался на авторитеты французской литературы; Шишковъ ссылался на авторитеты даже не Державина, не Фонвизина, не Крылова, не Озерова, а Симеона Полоцкаго, Кантемира, Поповскаго, Сумарокова, Ломоносова, Крашенинникова, Козицкаго, Хераскова и т. д. На сторонѣ Шишкова, изъ пишущихъ, не было почти никого; на сторонѣ Карамзина было все молодое и пишущее, и между многими Макаровъ, человѣкъ умный, образованный, хорошій переводчикъ, хорошій прозаикъ, ловкій журналистъ. Правда, котерія движенія доходила до крайности, вводя въ русскій языкъ новыя, большей частью иностранныя слова и иностранные обороты; но какой же переворотъ совершался безъ крайностей, и не смѣшно ли не начинать благого дѣла, боясь какой-нибудь незначительной обмолвки? На что же были бы и врачи, еслибъ они не лечили больныхъ, боясь сдѣлать имъ лекарствами еще хуже. Подмѣтить ошибку въ дѣлѣ еще не значитъ—доказать неправость самаго дѣла. Работаютъ люди, но совершаетъ время. Конечно теперь смѣшны слова: «викторія, сенсаціи, ондировать» (волноваться) и тому подобныя; смѣшно писать «аддиція» вмѣсто «сложеніе», «субстракція» вмѣсто «вычитаніе», «мултипликація» вмѣсто «умноженіе», «дивизія» вмѣсто «дѣленіе», но вѣдь эти слова начали употребляться вмѣстѣ съ словами—«геній, энтузіазмъ, фанатизмъ, фантазія, поэзія, ода, лирика, эпопея, фигура, фраза, капитель, фронтонъ, линія, пунктъ, монотонія, меланхолія», и съ безчисленнымъ множествомъ другихъ иностранныхъ словъ, теперь получившихъ въ русскомъ языкѣ полное право гражданства, и потому ни мало не смѣшныхъ, не странныхъ, не непонятныхъ. Люди безъ разбора вводили новыя слова, а время рѣшило—которымъ словамъ остаться въ употребленіи и укорениться въ языкѣ и которымъ исчезнуть; нововводители же не знали и не могли знать этого. Шишковъ не понималъ, что, кромѣ духа и постоянныхъ правилъ, у языка есть еще и прихоти, которымъ смѣшно противиться; онъ не понималъ, что употребленіе имѣетъ права совершенно равныя съ грамматикой и нерѣдко побѣждаетъ ее вопреки всякой разумной очевидности. У насъ есть слово «торговля», вполнѣ выражающее свою идею; но найдите хоть одного торговца, который бы не зналъ и не употреблялъ слово «коммерція», хотя это слово по всей очевидности совершенно лишнее. Такимъ же точно образомъ можно найти много коренныхъ русскихъ словъ, прекрасно выражающихъ свою

Digitized by Google

идею, но совершенно забытыхъ и дикихъ для употребленія. Напримѣръ, что̀ можетъ быть лучше слова «иже»—оно и коротко, и выразительно, а между тѣмъ мы замѣнили его длиннымъ и неуклюжимъ словомъ «который». Почему такъ?—Нѣтъ отвѣта на этотъ вопросъ! Почему можно сказать: «говоря рѣчь, дѣлая вещь», а неловко сказать «вія шнурокъ, пія» или «пья воду, тяня веревку»? Первоначальная причина введенія новыхъ словъ, взятыхъ изъ своего или чужого языка, есть всегда знакомство съ новыми понятіями; а разумѣется, что нѣтъ понятія—нѣтъ и слова для его выраженія; явилось понятіе — нужно и слово, въ которомъ бы оно выразилось. Намъ скажутъ, что явленіе идеи и слова современны, ибо ни слово безъ идеи, ни идея безъ слова родиться не могутъ. Оно такъ и бываетъ: но что̀ же дѣлать, если писатель познакомился съ идеей черезъ иностранное слово? — Пріискать въ своемъ языкѣ или составить соотвѣтствующее слово? — Такъ многіе и пытались дѣлать, но немногіе успѣвали въ этомъ. Слово «кругъ» вошло и въ геометрію, какъ терминъ, но для «квадрата» не нашлось русскаго слова, ибо хотя каждый квадратъ есть четвероугольникъ, но не всякій четвероугольникъ есть квадратъ; а замѣнить «хорду» «веревкою» никому, кажется, и въ голову не входило. Слово «мокроступы» очень хорошо могло бы выразить понятіе, выражаемое совершенно безсмысленнымъ для насъ словомъ «галоши»; но не насильно же заставить цѣлый народъ вмѣсто галоши говорить мокроступы, если онъ этого не хочетъ! Для русскаго мужика слово «кучеръ»—прерусское слово; а «возница» такое же иностранное, какъ и «автомедонъ». Для идеи «солдата», «квартиры» и «квитанціи» даже и у мужиковъ нѣтъ болѣе понятныхъ и болѣе русскихъ словъ, какъ солдатъ, квартира и квитанція. Что̀ съ этимъ дѣлать? Да и слѣдуетъ ли жалѣть объ этомъ? Какое бы ни было слово, свое или чужое, лишь бы выражало заключенную въ немъ мысль,—и если чужое лучше выражаетъ ее, чѣмъ свое, давайте чужое, а свое несите въ кладовую стараго хлама. У насъ не было поэзіи, какъ понятія, существующаго не только непосредственно, но и въ сознаніи народа—и потому, когда это понятіе должно было ввести въ сознаніе народа, то должно было ввести въ русскій языкъ и греческое слово «поэзія»; но какъ живопись существовала у насъ, если не непосредственно, то въ сознаніи народа, имѣвшаго въ ней нужду для изображенія религіозныхъ предметовъ, то въ нашъ языкъ и не вошло иностраннаго слова для этого искусства, но осталось свое, даже съ нѣкоторыми терминами, какъ-то: черта, чертить, образъ, изображеніе, кисть, краски, тѣнь, и пр. Хотя по-гречески «ода» значитъ и пѣснь, но тѣмъ не менѣе между одою и пѣснью есть разница, и потому слово «ода» необходимо должно было войти въ нашъ языкъ.

Каждый народъ, занимая страну, болѣе или менѣе особную отъ другихъ и, слѣдовательно, непохожую на другія, выражаетъ своимъ существованіемъ свою идею, которой не выражаетъ уже никакой другой народъ. Вслѣдствіе этого каждый народъ дѣлаетъ свои, только ему принадлежащія завоеванія и пріобрѣтенія въ области духа и знанія, и создаетъ языкъ и терминологію для своихъ духовныхъ стяжаній. Вотъ почему каждый народъ, въ смыслѣ «націи» (ибо не всякій народъ есть нація, но только тотъ, котораго исторія есть развивающая идея), владѣетъ извѣстнымъ количествомъ словъ, терминовъ, даже оборотовъ, которыхъ нѣтъ и не можетъ быть ни у какого другого народа. Но какъ всѣ народы суть члены одного великаго семейства—человѣчества, и какъ, слѣдовательно, все частное каждаго народа есть общее человѣчества, то и необходимъ между народами размѣнъ понятій, а слѣдовательно и словъ. Вотъ почему греческія слова: «поэзія, поэтъ, фантазія, эпосъ, лира, драма, трагедія, комедія, сатира, ода, элегія, метафора, тропъ, логика, риторика, идея, философія, исторія, геометрія, физика, математика, герой, аристократія, демократія, олигархія, анархія», и безчисленное множество другихъ словъ вошло во всѣ европейскіе языки, точно такъ же, какъ арабскія—«алгебра, альманахъ», и вообще восточныя, означающія названія драгоцѣнныхъ камней; латинскія: «республика, юриспруденція, штатъ (status), цивилизація, армія, корпусъ, легіонъ, рота, императоръ, диктаторъ, цензоръ, цензура, консулъ, префектъ, префектура», и вообще всѣ термины науки права и судопроизводства. Поэтому же самому и русское слово «степь», означающее ровное, безводное и пустое пространство земли, вошло въ европейскіе языки. Мысль Шишкова была та, что если ужъ нельзя обойтись безъ новаго слова (а онъ питалъ сильную антипатію къ новымъ словамъ), то должно не брать его изъ чужого языка, но составить свое сообразно съ духомъ языка, или отыскать старинное, обветшалое, близкое по значенію къ тому иностранному, въ которомъ предстоитъ нужда. Мысль прекрасная, но рѣшительно невыполнимая и потому никуда негодная! Правда, иныя слова удобно переводятся или замѣняются своими, какъ то было и у насъ; но большей частью переведенныя или составленныя слова уступаютъ мѣсто ори-

Digitized by Google

гинальнымъ, какъ «землемѣріе» уступило мѣсто «геометріи», «любомудріе»—«философіи»; или остаются вмѣстѣ съ оригинальными, какъ слова: «стихосложеніе» и «версификація», «мореплаваніе» и «навигація», «лѣтосчисленіе» и «хронологія»; или, удерживаясь вмѣстѣ съ оригинальными, заключаютъ нѣкоторый оттѣнокъ въ выраженіи при одинаковомъ значеніи, какъ слова: «народность» и «національность», «личность» и «индивидуальность», «природа» и «натура» *), «нравъ» и «характеръ» и пр. Вообще идеѣ какъ-то просторнѣе въ томъ словѣ, въ которомъ она родилась, въ которомъ она сказалась въ первый разъ; она какъ-то сливается и срастается съ нимъ, и потому выразившее ее слово дѣлается слитнымъ, сросшимся (конкретнымъ, говоря философскимъ терминомъ) и становится непереводимымъ. Переведите слово «катехизисъ»—«оглашеніемъ», «монополію»—«единоторжіемъ», «фигуру»—«извитіемъ», «періодъ» — «кругомъ», «акцію» — «дѣйствіемъ»—и выйдетъ нелѣпость. Кромѣ того, какъ мы уже говорили, тутъ большую роль играетъ упрямство, капризъ употребленія. Выраженіе: «имѣть на что́ или на кого нибудь вліяніе», составлено явно противъ духа и всѣхъ правилъ языка; а между тѣмъ оно вполнѣ выражаетъ свою идею, и замѣнить его «наитіемъ» — значило бы понятное для каждаго русскаго выраженіе замѣнить непонятнымъ и безсмысленнымъ.

Нельзя безъ улыбки состраданія, а иногда и просто безъ смѣху, читать нападки почтеннаго защитника старины на Карамзина. Долго было бы выписывать разборъ Шишкова статьи Карамзина «Отчего въ Россіи мало авторскихъ талантовъ?» Мысль Карамзина, что намъ нуженъ языкъ, которымъ могло бы объясняться образованное общество и дамы,—эта мысль казалась для Шишкова чуть не богохульствомъ. Чтобъ понять фанатизмъ старовѣрства, всю его нелѣпость и безплодность, надобно видѣть, какъ глумится нашъ рыцарь старопечатныхъ книгъ надъ фразой Карамзина: «Когда путешествіе сдѣлалось потребностью души моей!» Онъ находитъ ее противною духу языка, грамматикѣ и логикѣ, и отъ чистаго сердца утверждаетъ, что ее можно замѣнить фразою: «Когда я любилъ путешествовать», думая, что она выражаетъ точь-въ-точь то же самое, только лучше и болѣе по-русски. Удивительно ли послѣ этого, что Шишковъ, при всѣхъ своихъ усиліяхъ, не могъ произвести никакой реакціи реформѣ Карамзина, и что всѣ его усилія погибли втунѣ, не принесши плода? А между тѣмъ онъ могъ бы оказать большую пользу русской стилистикѣ и лексикографіи, ибо нельзя не удивляться его начитанности въ церковныхъ книгахъ и знанію силы и значѣнія коренныхъ русскихъ словъ. Но для этого ему слѣдовало бы, во-первыхъ, ограничиться только стилистикой и словопроизводствомъ, не пускаясь въ толки о краснорѣчіи и поэзіи, которыхъ онъ рѣшительно не понималъ; а во-вторыхъ, ему не слѣдовало бы доводить свою любовь къ старинѣ и ненависть къ новизнѣ до фанатизма, который былъ причиной, что его никто не слушалъ и не слушался, но всѣ только смѣялись надъ тѣми даже замѣчаніями, которыя были дѣльны. Поставь онъ себѣ цѣлью не остановить реформу, но дать ей прочныя основанія чрезъ знаніе духа и историческаго развитія славяно-церковнаго языка, ввести ее въ должные предѣлы,—повторяемъ, его труды не пропали бы вотще, но принесли бы большую пользу языку и молодымъ писателямъ его времени. Но онъ вышелъ изъ своей роли и часто бросалъ то оружіе, которое въ его рукахъ могло быть и остро, и крѣпко, и брался за то, которымъ не дано ему было владѣть. Главная его ошибка состояла въ томъ, что онъ заботился о литературѣ вообще, тогда какъ ему должно было заботиться только о языкѣ, какъ матеріалѣ литературы. Онъ не понималъ, что славянскія и вообще старинныя книги могутъ быть предметомъ изученія, но отнюдь не наслажденія, что ими могутъ заниматься только ученые, а не общество. Онъ думалъ, что дамы—не люди, и что для нихъ не нужно своей литературы. Ломоносовъ былъ для него высшій идеалъ поэта и оратора, стихотворца и прозаика; Кантемиръ и Сумароковъ—истинные поэты. О послѣднемъ онъ такъ отзывался: «хотя изъ многихъ мѣстъ можно бы было показать, что Сумароковъ не довольно упражнялся въ чтеніи славянскихъ книгъ, и потому не могъ быть силенъ въ языкѣ, однакожъ онъ, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, есть одинъ изъ превосходнѣйшихъ стихотворцевъ и трагиковъ, каковыхъ и во Франціи не много было» («Соч. А. Шишкова», т. II, стр. 124). Въ одномъ мѣстѣ онъ утверждаетъ, что, «дабы имѣть право поправлять въ языкѣ Ломоносова, надлежитъ напередъ сочиненіями своими показать, что я столько же силенъ въ немъ, сколько и онъ былъ, иначе сбудется пословица: «яицы курицу учатъ» (т. II, стр. 377); а въ другомъ мѣстѣ находитъ трагедіи Ломоносова высокопарными и отдаетъ передъ ними преимущество трагедіямъ Су-

*) Хотя *природа* и *натура* значатъ и одно и то же, но въ употребленіи иногда не могутъ замѣнять другъ друга; можно сказать: *это очень натурально*, но нельзя сказать: *это очень природно*; нельзя сказать: *такова природа этого человѣка*, но говорится: *такова натура этого человѣка*.

Digitized by Google

марокова. Это такъ забавно, что нельзя не выписать. Вотъ монологъ какой-то татарской царевны изъ трагедіи Ломоносова:

Насталъ ужасный день, и солнце, на восходѣ
Кровавы пропустивъ сквозь паръ густой лучи,
Даетъ печальный знакъ къ военной непогодѣ;
Любезна тишина минула въ сей ночи.
Отецъ мой воинства готовится къ отпору,
И на стѣнахъ стоять уже вчера велѣлъ.
Селимъ полки свои возвелъ на ближню гору,
Чтобъ прямо устремить на городъ тучу стрѣлъ.
На гору какъ орелъ всходя онъ возносился,
Который съ высоты на агнца хочетъ пасть;
И быстрый конь подъ нимъ какъ бурный вихрь крутился:
Селимово казалъ проворство тѣмъ и власть.

Шишковъ восклицаетъ, выписавъ этотъ удивительный монологъ:

«Стихи сіи гладки, чисты, громки; но свойственны ли они устамъ любовницы? Слыша ее звучащу такимъ величавымъ слогомъ, не паче ли она воображается намъ Гомеромъ или Демосѳеномъ, нежели молодою, страстною царевною?»

Затѣмъ нашъ критикъ выписываетъ, для сравненія, монологи изъ Сумарокова. Мы ограничимся послѣднимъ; Хоревъ глаголетъ своей полюбовницѣ, Оснельдѣ:

Когда я въ бѣдственныхъ лютѣйшихъ дня часахъ
Кажуся тигромъ быть въ возлюбленныхъ очахъ,
Такъ вѣдай, что во градъ меня съ кровава бою
Внесутъ и мертваго положатъ предъ тобою:
Не извлеку меча, хотя иду на брань,
И раздѣлю животъ тебѣ (!) и долгу въ дань.

«Читая сіи стихи (восклицаетъ критикъ), сердце мое наполняется состраданіемъ и жалостію къ состоянію сего любовника. Я не научусь у него ни громкости слога, ни высокости мыслей; но научусь любить и чувствовать.» (*Т. II, стр. 124—127.*)

Вотъ истинно тонкая критика! Да, съ такимъ взглядомъ на искусство и литературу трудно или, лучше сказать, безплодно было противоборствовать реформѣ Карамзина: бой былъ слишкомъ неравный! Очень забавно видѣть, какъ нашъ критикъ восхищается плоскими и грубыми эклогами и притчами Сумарокова; какъ онъ приводитъ, въ образецъ красоты, вирши Симеона Полоцкаго. Чтобъ показать, какова, по мнѣнію Шишкова, должна быть изящная проза, выпишемъ нѣсколько строкъ изъ его перевода «Освобожденнаго Іерусалима» Тасса:

«Тамъ въ несмѣтномъ числѣ представляются взорамъ смердящія гарпіи и центавры, и сфинксы, и блѣдныя горгоны; тамъ тьмами устъ лаютъ прожорливыя скилы, и свистятъ гидры, и шипятъ пифоны; тамъ химеры, черный пламень рыгающія, и Полифемы и Геріоны ужасныя и новыя, нигдѣ невиданныя и неслыханныя чудовища, изъ разныхъ видовъ въ единъ смѣшанныя и сліянныя...»

И Шишковъ умеръ съ мыслью, что славянскій языкъ краше паче всѣхъ языковъ; что иностранныя слова сгубили красоту россійскаго слога; что Сумароковъ былъ великій піита и что онъ самъ былъ хранителемъ и стражемъ россійскаго языка и словесности, хотя и тотъ, и другая шли своимъ путемъ мимо своего хранителя и стража, даже и не зная о его существованіи...

И между тѣмъ изъ 17 огромныхъ томовъ сочиненій Шишкова можно извлечь больше 17 страницъ дѣльныхъ и полезныхъ мыслей о словопроизводствѣ, корнесловіи, силѣ и значеніи многихъ словъ въ русскомъ языкѣ. Это былъ бы огромный, тяжелый, но не безполезный трудъ...

За статьей покойнаго Шишкова слѣдуетъ басня Крылова «Кукушка и Пѣтухъ». Говорить о заслугахъ и значеніи Крылова въ русской поэзіи и литературѣ почитаемъ излишнимъ, тѣмъ болѣе, что наше мнѣніе о великомъ русскомъ баснописцѣ извѣстно. Что до новой басни — пусть судятъ о ней сами читатели. Къ баснѣ Крылова приложена хорошенькая картинка Дезарнó; на ней изображены три человѣческія фигуры въ библіотекѣ: одна—съ головою пѣтуха, другая—съ головою кукушки, третья—съ головою воробья; двѣ изъ нихъ тоненькія и съ очками на носу; а третья толстая и безъ очковъ, ротъ ея разинутъ по-пѣтушьи и, кажется, слышно, какъ деретъ она свое пѣтушье горло.

За басней Крылова слѣдуютъ повѣсти Загоскина и Булгарина. Намъ кажется, что не случай, а сама судьба помѣстила рядомъ повѣсти этихъ знаменитыхъ романистовъ,— и въ этомъ распоряженіи мы видимъ глубокое и таинственное значеніе. Постараемся раскрыть его.

Мы не безъ намѣренія распространились о литературномъ поприщѣ покойнаго Шишкова: мы смотримъ на книгу «Сто Литераторовъ», какъ на вывѣску русской литературы, заключающую въ себѣ статьи и портреты т о л ь к о представителей русской литературы. Слѣдовательно, цѣль и обязанность нашей статьи состоитъ въ томъ, чтобы показать, почему Смирдинъ почитаетъ того или другого писателя представителемъ русской литературы. Литературная смѣтливость и критическій тактъ издателя такъ тонки и вѣрны, что мы разборомъ его книги смѣло надѣемся сдѣлать нашу статью занимательной. Поэтому бросимъ взглядъ на литературное поприще Загоскина и Булгарина.

Не безъ основанія сказали мы, что Загоскинъ и Булгаринъ явились рядышкомъ, и что это случилось не по произволу Смирдина, но по многознаменательному преднамѣренію судьбы; Смирдинъ сдѣлался здѣсь, впрочемъ совершенно безсознательно, истолкователемъ таинственной и непреложной воли судьбы. Объяснимся.

Въ литературной судьбѣ Загоскина и Булгарина очень много общаго. Просимъ не за-

Digitized by Google

бывать, что мы это сходство видимъ только въ литературномъ поприщѣ обоихъ этихъ писателей, а не въ чемъ-нибудь другомъ, и подъ «литературой» разумѣемъ только книгу, а не то, для чего и какъ сочинена или пущена она въ свѣтъ. Во всемъ нелитературномъ мы не видимъ ни малѣйшаго сходства между Загоскинымъ и Булгаринымъ, какъ между бѣлымъ и чернымъ, майскимъ днемъ и октябрской ночью. Но зато въ направленіи и дѣятельности ихъ талантовъ какое сходство! Во-первыхъ, литературное направленіе Загоскина чисто моральное и нравственно-сатирическое; Загоскинъ никогда не забывалъ благородной обязанности писателя—забавлять поучая, поучать забавляя, наставлять осмѣивая пороки и осмѣивать пороки наставляя. Литературное поприще Булгарина тоже чисто-исправительное и эпитетъ «нравственно-сатирическій» столько же сросся съ именемъ Булгарина, сколько «божественный» съ именемъ Гомера и титулъ «царь поэтовъ» съ именемъ Шекспира.—Правда, первые труды Загоскина были комедіи, а не нравственно-сатирическія статейки, какъ у Булгарина; но, во-первыхъ, здѣсь разница только въ формѣ, а не въ дѣлѣ, не въ цѣли, не въ талантѣ и не въ достоинствѣ; во-вторыхъ, нѣсколько нравоучительныхъ статеекъ было напечатано и Загоскинымъ.—Булгаринъ прославилъ Архипа Ѳадѣича и Выжигина; Загоскинъ прославилъ Богатонова и Добраго Малаго.—Не оставляя нравоописательныхъ и нравственно-сатирическихъ статеекъ, Булгаринъ принялся за романъ и, послѣ Нарѣжнаго, дѣйствительно первый написалъ русскій, хоть по названію и по именамъ дѣйствующихъ лицъ, романъ. Не оставляя комедіи, Загоскинъ написалъ первый русскій историческій романъ. «Иванъ Выжигинъ» и «Юрій Милославскій» возбудили въ публикѣ, какъ говорится, фуроръ и подняли своихъ авторовъ на вершину извѣстности, славы и даже доставили имъ большія вещественныя выгоды. Обстоятельство очень сходное! Пріятели Булгарина превознесли его романъ до седьмого неба; непріятели ставили его ниже извѣстнаго романа «Похожденія Совѣстдрала Большого Носа»; пріятели Загоскина объявили его романъ геніальнымъ созданіемъ; зато Булгаринъ въ «Сѣверной Пчелѣ» поставилъ его ниже даже своихъ собственныхъ романовъ. Опять сходство! Разница состояла только въ томъ, что при равномъ художественномъ достоинствѣ романъ Булгарина отличался отсутствіемъ вѣроятности, естественности, теплоты, былъ холодно-исправителенъ, ледяно-безпощаденъ къ своимъ героямъ, которые всѣ окончили свои похожденія—кто въ собачьей канурѣ, кто на висѣлицѣ, кто въ ссылкѣ; романъ же Загоскина, при отсутствіи идеи, при поверхностности взгляда на жизнь, отличался какой-то задушевной теплотой, какимъ-то добродушіемъ, которыя сначала приняты были публикой за силу, глубокость и обширность таланта. Разница, очевидно происходившая не отъ литературныхъ причинъ, почему мы ихъ и оставляемъ безъ объясненія. Впрочемъ Загоскинъ и въ «Юріи Милославскомъ», лучшемъ своемъ произведеніи, остался вѣренъ своему моральному направленію, почему теперь его съ большой пользой могутъ читать дѣти. Кстати, опять разница: «Юрій Милославскій» пережилъ «Ивана Выжигина»; онъ до сихъ-поръ еще годится для дѣтей и простого народа, тогда какъ «Выжигинъ» ужъ ни для кого не годится, и не читается даже простымъ народомъ, хотя и дешево продается на Апраксинскомъ дворѣ вмѣстѣ съ «Россіей» того же автора. «Дмитрій Самозванецъ» Булгарина былъ неудачной попыткой выйти изъ нравственно-сатирической и нраво-описательной сферы; сначала романъ возбудилъ своимъ заглавіемъ вниманіе публики, но по прочтеніи былъ тотчасъ же забытъ ею. Родился онъ довольно шумливо, благодаря журнальнымъ пріятелямъ и непріятелямъ Булгарина, но скончался вмалѣ, и житія его было безъ малаго годъ. Въ сочиненіяхъ Загоскина не находимъ параллели съ «Дмитріемъ Самозванцемъ» Булгарина; но прерванное этимъ романомъ сходство тотчасъ же возстановляется «Рославлевымъ», который дѣлаетъ собою параллель «Петру Выжигину», ибо «Рославлевъ» точно такъ же относится къ «Юрію Милославскому», какъ «Петръ Выжигинъ» относится къ «Ивану Выжигину»: «Петръ Выжигинъ» есть повтореніе «Ивана Выжигина», «Рославлевъ» есть повтореніе «Юрія Милославскаго». О томъ и другомъ романѣ обоихъ романистовъ можно сказать: старыя погудки на новый ладъ! Сходство между ними увеличивается и содержаніемъ: великая война 1812 г. съ равнымъ успѣхомъ представлена въ каррикатурѣ обоими сочинителями. Но въ судьбѣ романовъ есть разница; въ томъ и другомъ романѣ трудно рѣшить, кто забавнѣе, смѣшнѣе и ничтожнѣе: герой или Наполеонъ. «Петръ Выжигинъ» былъ уже третьимъ романомъ Булгарина, котораго романическая слава была уже подорвана вторымъ его романомъ «Дмитрій Самозванецъ», жестоко обманувшимъ блестящія надежды публики; а «Рославлевъ» былъ вторымъ романомъ, слѣдовательно «Дмитріемъ Самозванцемъ» Загоскина; подавъ великія надежды до своего появленія, онъ уничтожилъ ихъ своимъ появленіемъ. Отсюда сходство литературной

Digitized by Google

участи обоихъ романистовъ нѣсколько нарушается: Булгаринъ написалъ четвертый романъ «Мазепу», который былъ слабѣе и ничтожнѣе первыхъ трехъ; но въ это время Булгарина поддержала «Библіотека для Чтенія», въ свою очередь обязанная своимъ успѣхомъ краснорѣчивымъ объявленіямъ Булгарина въ «Сѣверной Пчелѣ». Статья «Библіотеки для Чтенія» была ловка: съ ожесточеніемъ нападая на неистовство юной французской литературы, рецензентъ дѣлаетъ намеки, что и «Мазепа» Булгарина очень нечуждъ этого недостатка, для чего и выписываетъ изъ него описаніе пытки. Цѣль пріятельской статейки была вполнѣ достигнута: если романъ никѣмъ не былъ похваленъ, зато многими былъ купленъ. — Загоскинъ издалъ третій свой романъ «Аскольдову Могилу», котораго даже и пріятели автора не хвалили, и враги не бранили, и публика не читала. Въ это время для обоихъ романистовъ явился опасный соперникъ — Гречъ, котораго «Черная Женщина», благодаря еще болѣе ловкой статьѣ «Библіотеки для Чтенія», пошла шибко, какъ выражаются наши книгопродавцы. Сверхъ того романическая слава Булгарина еще прежде была сильно поколеблена болѣе опаснымъ, чѣмъ Гречъ, соперникомъ: мы разумѣемъ покойнаго А. А. Орлова, до безконечности размножившаго поколѣніе Выжигиныхъ. Булгаринъ уже сознавалъ свое паденіе, и «Записки Чухина» были его послѣдней попыткой на романъ; онѣ тихо и незамѣтно прошли на Апраксинъ дворъ и въ мѣшки букинистовъ — иначе ходебщиковъ или воряговъ. Тогда Булгаринъ, подобно Вальтеръ-Скотту, принялся за исторію. Всѣмъ извѣстенъ блестящій успѣхъ его «Россіи»; если же кто не знаетъ о немъ, тому совѣтуемъ справиться на Щукиномъ дворѣ. Но истинный геній всегда найдется; обманываясь большую половину жизни въ своемъ призваніи, онъ сознаетъ его хоть въ старости; Булгаринъ теперь понялъ, что нашъ вѣкъ не поэтическій и не романическій, а гастрономическій, и что онъ, Булгаринъ, не поэтъ, не романистъ, не историкъ даже, а экономъ—понялъ, и принялся за изданіе поваренаго листка, который, говорятъ, «пошелъ шибко», по крайней мѣрѣ шибче всѣхъ нашихъ моральныхъ журналовъ, начиная отъ того, который утверждаетъ, что желѣзныя дороги ведутъ прямо въ адъ, до того, который провозгласилъ Пушкина и Лермонтова искусителями и врагами человѣческаго рода. — Загоскинъ остался вѣренъ своему романическому призванію, и только разъ измѣнилъ ему, написавъ комедію «Недовольные», въ которой съ большимъ успѣхомъ изобразилъ нравы русскаго общества временъ «Богатоновыхъ» и «Добрыхъ малыхъ» и въ которой очень зло осмѣялъ глупое обыкновеніе пользоваться водами, заставивъ героиню комедіи сказать о водопійцахъ: «Ну, батюшки, пошли на водопой!» Комедія имѣла блестящій успѣхъ, хотя дана всего два раза: сперва въ бенефисъ артиста, а послѣ для повторенія (кажется, такъ?). Потомъ или, можетъ-быть, немного прежде Загоскинъ передѣлалъ свой неудавшійся романъ «Аскольдову Могилу» въ либретто оперы, на которое Верстовскій написалъ музыку, особенно любимую московскимъ простонародьемъ. Затѣмъ послѣдовали два романа: «Искуситель» и «Тоска по Родинѣ»; изъ нихъ послѣдній опять передѣланъ Загоскинымъ въ либретто, на которое Верстовскій опять написалъ музыку, не понравившуюся ни порядочному обществу въ Москвѣ, ни простонародью, хотя герой оперы и свой братъ простонародью, и «откалываетъ такія штуки, что уморушка, да и только». О самыхъ романахъ мы не говоримъ: de mortuis aut bene, aut nihil. Что же касается до вѣрности параллели, которую проводимъ мы между обоими романистами со стороны литературной ихъ участи,—она очевидна: «Искуситель» и «Тоска по Родинѣ» были для Загоскина «Записками Чухина», т. е. девятымъ валомъ для его славы, какъ романиста. Но сходство и этимъ не оканчивается: Булгаринъ прежде сочинялъ свои романы все въ четырехъ частяхъ, а послѣ «Петра Выжигина» сталъ сочинять уже только въ двухъ частяхъ, и его двухчастные романы стали походить на повѣсти, впрочемъ довольно плотно сбитыя. Загоскинъ издалъ первый романъ свой въ трехъ частяхъ, хотя и маленькихъ; второй составилъ въ четырехъ побольше; третій — опять въ трехъ, но уже бо́льшихъ частяхъ, которыя въ чтеніи могутъ показаться за двѣнадцать; послѣ же «Аскольдовой Могилы» онъ сталъ сочинять романы уже только въ двухъ частяхъ, и его двухчастные романы стали походить на повѣсти, разгонисто, съ большими пробѣлами напечатанныя. И это было не даромъ: оба романиста, поддаваясь духу времени, очевидно начали сбиваться на повѣсть. И въ самомъ дѣлѣ, въ журналахъ и альманахахъ начали появляться ихъ повѣсти, какъ-то: «Похожденія Квартальнаго Надзирателя», «Кузьма Рощинъ», «Три жениха» и пр. Наконецъ оба они явились съ повѣстями въ толстомъ альманахѣ Смирдина, словно Ока и Кама, слившіяся въ Волгѣ.

Но прежде, нежели будемъ говорить объ этихъ двухъ повѣстяхъ, должно дополнить нашу параллель, и вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ требуетъ добросовѣстность, показать и несходства, чтобъ параллель не вышла натя-

Digitized by Google

нутой. Говоря объ «Иванѣ Выжигинѣ» и «Юріи Милославскомъ», мы только слегка упомянули о похвалахъ и порицаніяхъ, которыми былъ встрѣченъ тотъ и другой романъ,—а это преинтересная исторія, особенно въ отношеніи къ «Ивану Выжигину». Что касается до «Юрія Милославскаго», онъ былъ принятъ съ общими и безусловными похвалами, которыя были преувеличены, но которыхъ частью романъ былъ и достоинъ, ибо въ немъ есть оригинальность, свѣжесть, теплота и даже нѣкоторая степень таланта. Брань встрѣтилъ «Юрій Милославскій» только въ «Сѣверной Пчелѣ»; но это потому, что въ «Сѣверной Пчелѣ» постоянно преслѣдовались всѣ романы, не Булгаринымъ и Гречемъ сочиненные, исключеніе оставалось только за плохонькими, неопасными для романической монополіи, и еще за «Фантастическими Путешествіями» барона Брамбеуса, который былъ самъ акціонеромъ въ монополіи. Что же касается до «Выжигина», то едва ли какая-нибудь книга удостоивалась такихъ похвалъ отъ «Сѣверной Пчелы», и такихъ нападокъ со стороны всѣхъ другихъ изданій. Особенно примѣчательно, что «Выжигина» съ ожесточеніемъ преслѣдовали даже тѣ изданія и люди, которые потомъ съ восторгомъ превозносили его, какъ-то: «Московскій Телеграфъ», расхваливавшій его по заключеніи мира съ «Пчелою», передъ выходомъ перваго тома доселѣ еще неоконченной «Исторіи Русскаго народа»; Сомовъ, имѣвшій странное обыкновеніе передаваться отъ одной литературной партіи къ другой,— и наконецъ въ наши дни одинъ фельетонистъ, нѣкто Л. Л., писавшій противъ Булгарина въ четырехъ изданіяхъ —въ «Телескопѣ», «Молвѣ», «Галатеѣ» и еще недавно въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду», — а теперь прославляющій Булгарина, сдѣлавшись фельетонистомъ «Пчелы». Но Булгаринъ, какъ истинный талантъ, имѣлъ и имѣетъ такихъ враговъ, которые неизмѣнны отъ колыбели до гроба въ своей къ нему зависти. Вотъ какъ одинъ изъ нихъ характеризовалъ нѣкогда его «Ивана Выжигина».

«Менѣе таланта, но болѣе литературной опытности, языкъ болѣе гладкій, хотя безцвѣтный и вялый, находимъ мы въ «Выжигинѣ», нравственно-сатирическомъ романѣ Булгарина. Пустота, безвкусіе, бездушность; нравственныя сентенціи, выбранныя изъ дѣтскихъ прописей, невѣрность описаній, приторность шутокъ, вотъ качества этого сочиненія,—качества, которыя составляютъ его достоинство, ибо они дѣлаютъ его по плечу простому народу и той части нашей публики, которая отъ азбуки приступаетъ къ повѣстямъ и путешествіямъ. Что есть люди, которые читаютъ Выжигина съ удовольствіемъ и слѣдовательно съ пользою, это доказывается тѣмъ, что Выжигинъ расходится. Но гдѣ же эти люди? спросятъ меня. Мы не видимъ ихъ, точно такъ же, какъ и тѣхъ, которые наслаждаются *сонникомъ* и книгою *о клопахъ*; но они есть, ибо и *сонникъ*, и *Выжигинъ*, и *о клопахъ* раскупаются во всѣхъ лавкахъ.» («Денница», изд. М. Максимовичемъ, 1830 года, «Обозрѣніе Русской Словесности» 1829 года, стр. LXXIII, LXXIV.)

Мы, съ своей стороны, не скажемъ, чтобъ были совершенно согласны съ такимъ жестокимъ приговоромъ, явно внушеннымъ завистью къ великому таланту сочинителя «Выжигина». Правда, дѣйствующія лица въ этомъ романѣ, если читатели не забыли его, не суть живые образы или дѣйствительные характеры, но аллегорическія олицетворенія пороковъ, слабостей и мнимыхъ добродѣтелей; моральныя мысли довольно обыкновенны и похожи на потертую ходячую монету, которой не принимаютъ за настоящую цѣну, или и вовсе не берутъ по сомнительной ея цѣнности; но слогъ, хотя лишенъ движенія, жизни и цвѣта, однакожъ гладокъ, грамматически правиленъ. Это важное обстоятельство, потому что въ тѣ времена (увы! уже давно прошедшія), какъ и теперь, русскіе писатели, даже пользовавшіеся извѣстностью, не отличались въ родномъ языкѣ такой чистотой и правильностью, какъ Булгаринъ въ языкѣ ему чуждомъ. Сверхъ того, кому бы ни нравился тогда романъ Булгарина, но онъ пріучалъ къ грамотѣ и возбуждалъ охоту къ чтенію въ такой части общества, которая безъ него еще, можетъ-быть, долго бы пробавлялась «Милордомъ Англинекимъ», «Похожденіями Совѣстдрала Большого Носа», «Гуакомъ или Непоколебимой Вѣрностью» и тому подобными произведеніями фризовой фантазіи. Слѣдовательно, заслуга «Ивана Выжигина» Булгарина несомнѣнна, и намъ тѣмъ пріятнѣе признать ее публично и печатно, что почтенный этотъ сочинитель не разъ обвинялъ насъ въ зависти къ его таланту. Достоинство произведенія Булгарина доказывается еще и необыкновеннымъ успѣхомъ, а всякій успѣхъ есть доказательство какого-нибудь, даже хоть отрицательнаго, достоинства. Толпа увлекается или чѣмъ-нибудь истинно великимъ, что никогда не теряетъ своей цѣны, что неизмѣримо выше ея, или чѣмъ-нибудь такимъ, что совершенно по плечу ей, что вполнѣ удовлетворяетъ ея незатѣйливыя потребности. Въ первомъ случаѣ она увлекается мнѣніемъ людей, которые выше ея цѣлой головой, которые, безъ ея и даже безъ собственнаго вѣдома и сознанія, непосредственно управляютъ ею силой своего превосходства; такъ увлеклась она Пушкинымъ и съ жадностью раскупала его созданія. Во второмъ случаѣ толпа руководствуется сама собою, ибо и она тоже претендуетъ на самостоятельность и крѣпко отстаиваетъ свои права отъ умныхъ людей, невольно увлекаясь превосходствомъ

Digitized by Google

надъ нею тѣхъ сочинителей, которые удовлетворяютъ ея вкусу и потребностямъ. Тогда-то видите вы, какъ расходится тысячами экземпляровъ иное довольно дюжинное произведеніе. Но есть разница въ обоихъ этихъ случаяхъ: успѣхъ перваго рода бываетъ проченъ и всегда продолжителенъ, если не всегда вѣченъ; успѣхъ второго рода всегда бываетъ минутный, эфемерный и, начинаясь магазиномъ Смирдина, оканчивается Апраксинымъ дворомъ.

И такъ, «Иванъ Выжигинъ», получивъ успѣхъ равный съ «Юріемъ Милославскимъ», испыталъ нѣсколько различную отъ «Юрія Милославскаго» судьбу въ отзывахъ журналистовъ; но конецъ ихъ одинъ и тотъ же: они мирно встрѣтились и дружелюбно сошлись тамъ, гдѣ книги оставляютъ свою аристократическую гордость и продаются, промѣниваются вмѣстѣ съ плебеями литературнаго міра. Sic transit gloria mundi! Примѣръ грустно-поучительный!...

Но есть еще сходство между Булгаринымъ и Загоскинымъ, какъ писателями. Оба они отличаются однимъ достохвальнымъ направленіемъ, оба имѣютъ одну почтенную цѣль—исправлять пороки и недостатки общества сатирой и моралью. Каждое произведеніе этихъ авторовъ есть не что иное, какъ развитіе какой-нибудь моральной сентенціи—у Булгарина въ формѣ юмористической статейки, повѣсти и романа, у Загоскина—въ формѣ комедіи, діалога и также повѣсти и романа. Сверхъ того оба они равно пламенные патріоты, оба любятъ до безумія все русское. Но любовь ихъ различна. У Булгарина она выражается преимущественно въ увѣреніяхъ въ любви, въ анафемахъ противъ равнодушныхъ ко всему русскому, въ громкихъ, хотя не совсѣмъ увлекательныхъ провозглашеніяхъ о его драгомъ отечествѣ (т. е. Россіи). Притомъ Булгаринъ часто противорѣчитъ себѣ въ своей любви ко всему русскому, ибо зло критикуетъ въ «своей литературѣ» почти все русское: злодѣевъ и чудаковъ представляетъ — черезъ-чуръ увлекаясь чувствомъ благороднаго негодованія—такими гнусными и такъ непохожими на дѣйствительно-возможныхъ, что читать нельзя; а добродѣтельныхъ — такими холодными и безцвѣтными, такъ неправдоподобно, что ихъ нисколько не любишь и существованію ихъ нисколько не вѣришь.—Загоскинъ, напротивъ, искреннѣе въ своей любви ко всему русскому, которое онъ часто смѣшиваетъ съ простонароднымъ. Злодѣи Загоскина всегда неестественны и гадки, по причинѣ излишней густоты красокъ, происходящей отъ энергическаго негодованія противъ всего злодѣйскаго; добродѣтельные и здравомыслящіе его — тоже довольно ничтожны, безцвѣтны и скучны; но чудаки у Загоскина почти всегда милы, оригинальны, потому что онъ рисуетъ ихъ съ особенной любовью, и нельзя не подивиться энергическому одушевленію, съ какимъ онъ отстаиваетъ ихъ превосходство надъ чужеземными героями и умниками. Вотъ истинная любовь къ отечеству! Хотя Кирша—дикарь, получеловѣкъ и полузвѣрь, но онъ его невольно любитъ и предпочитаетъ всякому паладину западной Европы; хотя Зарядьевъ — человѣкъ ограниченный, педантъ и пѣшка въ военной службѣ, но въ романѣ Загоскина онъ заслоняетъ собою самого Наполеона. Русскіе купцы, мѣщане и извозчики въ «Рославлѣ» нисколько не заставляютъ жалѣть, что они носятъ бороды, не знаютъ грамоты и не имѣютъ ничего общаго съ Европой. Что касается до русскаго простонародья—Загоскинъ истинный Гомеръ его. Правда, его изображенія иного лакея, явившагося къ барину съ разбитой харей, или мечтающаго въ Испаніи о кислой капустѣ, соленыхъ огурцахъ и сивухѣ, — въ иномъ, слишкомъ опрятномъ читателѣ могутъ возбудить не совсѣмъ пріятное чувство, но и причина этого—достоинство, а не порокъ: излишняя вѣрность природѣ. Въ повѣстяхъ Булгарина и Загоскина то же сходство, какъ и въ романахъ; главная разница въ томъ, что мѣсто дѣйствія у Булгарина почти всегда Петербургъ, а у Загоскина почти всегда провинція. Это происходитъ оттого, что Булгаринъ не знаетъ ни Москвы, ни провинціи русской (исключая Литовскихъ и Остъ-Зейскихъ губерній), а Загоскинъ, по любви своей къ Москвѣ, можетъ назваться ея рыцаремъ, и отъ всего сердца, отъ всей души знаетъ и любитъ провинцію, особенно низовый край, заключающій въ себѣ самыя хлѣбородныя губерніи. Все это хорошо: пусть всякій сочинитель описываетъ извѣстную ему сферу жизни и не берется за незнакомыя сферы, то есть пусть Булгаринъ не берется за Москву и коренныя русскія губерніи, а Загоскинъ—за Петербургъ, Бѣлоруссію и Лифляндію.

Разсматривая повѣсти Булгарина и Загоскина, помѣщенныя во второмъ томѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ», мы, по долгу критической добросовѣстности, обязаны отдать преимущество повѣсти Булгарина. Повѣсть Загоскина называется «Оффиціальный обѣдъ», а Булгарина—«Побѣда отъ Обѣда»; видите ли, и въ названіи повѣстей есть сходство: обѣ основаны на обѣдѣ!

Въ городѣ Бобковѣ ждутъ ревизора, Максима Петровича Зорина. Городничій не слишкомъ хлопочетъ о его пріемѣ: городничій человѣкъ честный—ему нечего бояться. Онъ,

Digitized by Google

изволите видѣть, былъ безсребренникъ и, занимая мѣсто градоначальника въ богатомъ и торговомъ городѣ, покупалъ на чистыя деньги все,—все безъ исключенія, даже чай и сахаръ, даже пѣнное вино, которое пилъ передъ обѣдомъ, вмѣсто сладкой водки». Главнымъ доказательствомъ «безсребренности» Костоломова (фамилія городничаго) сочинитель полагаетъ его храбрость въ сраженіи: онъ съ боя взялъ георгіевскій крестъ, вскочилъ первый на непріятельскую батарею. «Воля ваша (восклицаетъ почтенный сочинитель), взяточникъ на пушку не полѣзетъ!» Мысль моральная, но согласиться съ нею никакъ невозможно. Дѣйствительность любитъ противорѣчить самой себѣ: въ ней иногда безсребренникъ бываетъ плохимъ воиномъ, а иногда и просто трусомъ, а отъявленный взяточникъ и грабитель — образцомъ храбрости; «безсребренность» городничаго очень подозрѣвается однимъ обстоятельствомъ: сочинитель не говоритъ, чтобъ у него были деревня или капиталъ въ Банкѣ, а между тѣмъ заставляетъ его жить, какъ будто бы онъ получалъ губернаторское жалованье. Но это не важное обстоятельство: сочинителю нуженъ былъ городничій безсребренникъ,— и, по сочинительскому праву, онъ приказалъ ему быть такимъ;—вотъ и все. Главное же заключается въ томъ, что жена городничаго вертѣла имъ какъ хотѣла, пользуясь слабостью своихъ нервовъ и частыми обмороками. Дочь ихъ любитъ прелестнаго, но бѣднаго молодого человѣка Холмина, а имъ хочется выдать ее за Кочьку—богатаго скрягу и негодяя. Между тѣмъ пріѣзжаетъ ревизоръ и останавливается не у князя Чухолова, своего родственника, а у Холмина; чиновничество хочетъ дать обѣдъ ревизору— городничихѣ хочется, чтобъ это было въ ея домѣ, но Кочька перебиваетъ у нея эту честь. Однако Кочькѣ дорого обошлась его «интрига»: онъ лишился невѣсты, а обѣдъ все-таки былъ у городничихи. Ревизоръ берется быть сватомъ у Холмина; влюбленная чета соединяется, и повѣсти конецъ. Вотъ содержаніе новаго произведенія Загоскина. Оно немножко избито и рѣшительно не въ нравахъ нашего общества: мы хотимъ сказать, что все это можетъ быть въ повѣсти, но ничего этого, и притомъ такимъ образомъ, не бываетъ въ дѣйствительности. Правда, мы опустили множество подробностей,—но вѣдь нельзя же было все пересказывать! Если читатели прочтутъ до конца повѣсть Загоскина—мы увѣрены, они сами увидятъ, что она есть не что иное, какъ сто первое повтореніе всѣхъ комедій, повѣстей и романовъ Загоскина, что въ ней все старо, все уже извѣстно публикѣ—и лица, и характеры, и провинціальныя оригинальности, и злодѣи, и резонёры, и чудаки. Съ первой страницы тотчасъ же видите, въ чемъ дѣло, что будетъ дальше, и чѣмъ все кончится. А согласитесь, вѣдь главный интересъ повѣсти въ томъ и состоитъ, что, читая ее, вы видите, что все въ ней естественно, правдоподобно, а между тѣмъ вы никакъ не можете угадать, что будетъ впередъ и чѣмъ все кончится. Впрочемъ къ повѣсти Загоскина приложена хорошенькая картинка Тима. Оно—видите ли, не то, чтобъ въ ней все было хорошо: напротивъ, въ ней нехорошъ городничій, потому что похожъ не на пожилого служаку, а на молодого водевильнаго любовника; супруга же его похожа не на разбитную и пожилую бабу-бой, а на хорошенькую и молоденькую дѣвочку; зато предводитель дворянства, толстый, глупый обжора, сладострастно пожирающій глазами и ртомъ поданнаго ему на завтракъ фаршированнаго поросенка—очень недуренъ; а стоящій подлѣ его стола частный приставъ въ мундирѣ, руки по швамъ, съ оффиціальной физіономіей, съ благоговѣніемъ, какъ на таинство, взирающій на обжорство высокой персоны,—просто превосходенъ.

Повѣсть Булгарина—повѣсть историческая, изъ «временъ Очаковскихъ и покоренья Крыма». Она изображаетъ бюрократію той эпохи, которая впрочемъ очень мало измѣнилась въ своемъ духѣ съ того времени. Бѣдные, но честные и талантливые чиновники живутъ дружно между собой. Не имѣя никакой надежды выйти въ люди, не протекціей и не подлостью, а заслугой, одинъ изъ нихъ дѣлается съ горя пьяницей—всегдашняя исторія многихъ чиновниковъ; другой остается твердъ въ добродѣтели: и неудивительно, онъ изъ нѣмцевъ, по крайней мѣрѣ мать его была швейцарка, и ей обязанъ онъ былъ человѣческимъ воспитаніемъ и человѣческимъ образомъ мыслей. Искринъ (фамилія этого чиновника) любитъ дочь Карла Ѳедоровича Циттербейна, экзекутора канцеляріи князя Камышенскаго. Этотъ Циттербейнъ — злодѣй, скряга, низкопоклонникъ, канцелярская гадина. Чины и деньги—его богъ, а честь обѣдать за столомъ «свѣтлѣйшаго» — идеалъ высочайшаго блаженства. Онъ достаетъ за огромные проценты деньги своему начальнику (т. е. даетъ свои) и потому дѣлается для него необходимымъ человѣкомъ, пользуется его милостью и покровительствомъ. Разумѣется, экзекутору и въ голову не входитъ мысль, чтобъ бѣдный чиновникъ осмѣлился имѣть виды на его дочь, и потому онъ позволяетъ ему видѣться съ нею; но когда узнаетъ о тайнѣ любовниковъ, то приходитъ въ ярость, и прогоняетъ Искрина. Искринъ рѣшается, во что бы то ни стало, добиться чести—объ-

Digitized by Google

дать у «свѣтлѣйшаго». Онъ кропаетъ плохіе стишонки — торжественную оду «свѣтлѣйшему», которая начинается такъ:

Возстани, муза! пѣть достоитъ
Вождя возлюбленна тебѣ,
Кой тысячамъ блаженства строитъ,
Живъ поздну роду, не себѣ.

Искринъ отправляется къ Попову, который опредѣлилъ его на службу, и проситъ его превосходительство «быть ему отцомъ, благодѣтелемъ, заступникомъ» — представить оду «свѣтлѣйшему». Ода представлена — и поэтъ награжденъ сотней рублей... Но Искринъ отказывается, прося въ награду чести быть приглашеннымъ къ обѣду его свѣтлости. Къ счастью, во время разговора Искрина съ Поповымъ подошла къ нимъ графиня Уральская, пріятельница Потемкина; ей понравилась наружность молодого человѣка—и на другой день онъ получилъ вожделѣнное приглашеніе. Доставъ, при помощи пріятеля, денегъ отъ одного ростовщика, который не могъ отказать человѣку, приглашенному къ обѣду «свѣтлѣйшаго»,—Искринъ покупаетъ себѣ приличное платье. За обѣдомъ «свѣтлѣйшій» ничего не ѣлъ и изъявилъ желаніе отвѣдать севрюжины. Искринъ вызвался сейчасъ же достать ее, побѣжалъ въ трактиръ и принесъ *). Свѣтлѣйшему понравились его смѣлость и проворство; онъ спросилъ о немъ—ему сказали, что это тотъ поэтъ, который поднесъ оду. Послѣ обѣда явился къ Потемкину съ пакетомъ отъ князя Камышенскаго Циттербейнъ; Потемкинъ велѣлъ ему распечатать пакетъ и прочесть; но Циттербейнъ, увидѣвъ Искрина въ числѣ гостей, до того сробѣлъ, что уронилъ и разбилъ свои очки. «Свѣтлѣйшій» велѣлъ читать Искрину. Окончаніе повѣсти не трудно понять: Искринъ женился на своей возлюбленной, сдѣлался знатнымъ бариномъ, владѣльцемъ капитала больше, чѣмъ въ милліонъ, вывелъ въ люди всѣхъ своихъ пріятелей, изъ которыхъ Глазовъ, какъ водится въ моральныхъ повѣстяхъ, исправился и изъ пьяницы сдѣлался трезвымъ человѣкомъ.

Повѣстца, какъ можете видѣть сами изъ этого изложенія, очень незавидная, впрочемъ не въ ущербъ книгѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ», въ отношеніи къ которой она «по Сенькѣ шапка», какъ говоритъ пословица. Содержаніе этой повѣсти избито и старо, какъ мудрая истина, что добродѣтель награждается, а порокъ наказуется; пружины ея не стальныя, а мочальныя — и тѣ истертыя и истрепанныя. Въ самомъ дѣлѣ, что это такое: любовникъ, молодой идеальный человѣкъ, безъ роду и племени, безъ денегъ въ карманѣ, но съ возможными добродѣтелями въ душѣ; любовница, идеальная дѣвица, прекрасная и добродѣтельная, но дочь отца столь скареднаго, что ему предоставлена скучная роль разлучника; счастливый случай, всегда готовый къ услугамъ плохой повѣсти, дѣлаетъ вожделѣнную развязку, и къ концу — герои совокупляются законнымъ бракомъ, злодѣи исправляются, пьяницы просыпаются и—всѣ счастливы... Повторяемъ, что это такое, какъ не повѣсть вродѣ Загоскина?... Но тѣмъ не менѣе повѣсть Булгарина все-таки неизмѣримо выше повѣсти Загоскина. Всякое сочиненіе должно быть результатомъ какой-нибудь причины, такъ же точно, какъ всякое намѣреніе должно имѣть какую-нибудь цѣль. Разумѣется, причина или цѣль сочиненія можетъ быть и внѣшняя, и внутренняя; первой критика не должна брать въ разсчетъ: критика беретъ въ уваженіе только внутреннія причины или цѣли, которыя могутъ состоять только въ мысли. Пусть мысль будетъ выполнена неудачно, но все-таки пріятнѣе прочесть даже и посредственное произведеніе, написанное съ мыслью, чѣмъ такое же посредственное произведеніе, написанное безъ всякой мысли, но такъ—чтобы только подъ чѣмъ-нибудь подписать свое сочинительское имя. У Булгарина явно была предметомъ мысль — изобразить бытъ временъ Екатерины Великой, — и это, несмотря на топорную отдѣлку его повѣсти, придало ей интересъ. Побасенками забавляютъ дѣтей; людей мыслящихъ можно занимать только мыслью, — иначе они могутъ оскорбиться претензіей сочинителя на ихъ вниманіе. Булгаринъ не можетъ опасаться, чтобъ читатели его оскорбились: его повѣсть можетъ ихъ не удовлетворить, но цѣль ея всегда будетъ достойною ихъ вниманія. Правда, тутъ много мыслей или разсужденій, какъ напр. о дворянствѣ, будто бы облагораживающемъ человѣкѣ, о Вольтерѣ и энциклопедистахъ, какъ врагахъ человѣческаго рода, и тому подобныя, которыя ужъ слишкомъ напоминаютъ лучшія, самыя блестящія страницы этого рода въ сочиненіяхъ Р. М. Зотова. Но тутъ есть мысли и взгляды по истинѣ дѣльные, въ доказательство чего довольно выписать слѣдующее мѣсто:

«Звѣзды носили тогда не только на кафтанахъ и на сюртукахъ, но и на плащахъ, на шубахъ, а весьма многіе носили даже на халатахъ. Это

*) Забавная пародія на дѣйствительный анекдотъ о Потемкинѣ, котораго разъ угощалъ какой-то вельможа, и который на просьбы хозяина покушать отвѣчалъ, что ему хотѣлось бы соленой севрюжины; когда же севрюжина была привезена изъ-за-сорока верстъ и изготовлена, пока еще столъ продолжался, то Потемкинъ не сталъ ее ѣсть, говоря: «я потому только спросилъ ее, что не думалъ, что ее можно было достать».

Digitized by Google

тому, по мѣрѣ возможности, не желающаго противорѣчить закоренѣлымъ предубѣжденіямъ докторовъ. По этой уважительной причинѣ Надеждинъ вооружился противъ Пушкина всѣми аргументами своей учености, всѣмъ остроуміемъ своихъ «надоумочныхъ» или—какъ говорили тогда его противники—«недоумочныхъ» статей. Время и мѣсто не позволяютъ намъ распространиться о его подвигахъ въ ратованіи противъ Пушкина, ибо эта дивная и притомъ забавная и занимательная исторія, которую мы предоставляемъ себѣ разсказать въ другое время, какъ скоро представится удобный случай. Теперь же скажемъ только, что, сдѣлавшись докторомъ и получивъ каѳедру, Надеждинъ сдѣлался журналистомъ—и совершенно измѣнилъ свои литературные взгляды и даже орѳографію: вмѣсто «эсѳетическій» и «энѳузіазмъ» сталъ писать «эстетическій» и «энтузіазмъ»; разбирая «Бориса Годунова», заговорилъ о Пушкинѣ уже другимъ тономъ, хотя и осторожно, чтобъ не слишкомъ рѣзко противорѣчить своимъ «надоумочнымъ» и «эсѳетическимъ» статьямъ. Во всякомъ случаѣ, Надеждинъ — примѣчательное лицо въ нашей литературѣ и заслуживаетъ подробной и основательной оцѣнки, которую мы и предоставляемъ себѣ сдѣлать при случаѣ.

Но тѣмъ не менѣе повѣсть совсѣмъ не дѣло Надеждина. «Сила Воли» разсказана умно, но холодно и безцвѣтно, тогда какъ, по ея содержанію, почерпнутому изъ кипучей жизни католической Италіи,—фантазіи и чувству было бы гдѣ разгуляться.

Далѣе слѣдуетъ повѣсть Каменскаго «Іаковъ Моле». Она особенно замѣчательна цвѣтистымъ и театральнымъ разсказомъ и картинкой, которая къ ней приложена: не знаешь, чему дивиться — тому ли, что повѣсть удивительно выражаетъ картинку, или тому, что картинка удивительно выражаетъ повѣсть; не знаешь, чему отдать преимущество—повѣсти или картинкѣ. Мы думаемъ, что и то, и другое хорошо. Каменскій извѣстенъ, какъ авторъ сатирическаго романа «Искатель Сильныхъ Ощущеній», нѣсколькихъ повѣстей и драмы «Розы и Маска».

Панаевъ (В. И.), извѣстный нашъ идиллистъ, написалъ для альманаха Смирдина не повѣсть, а разсказъ объ истинномъ происшествіи, который и названъ имъ просто «Происшествіе 1812 года». Разсказъ отличается занимательностью содержанія, правильнымъ, гладкимъ и пріятнымъ слогомъ.

«Любовь Петербургской барышни», предсмертный разсказъ Веревкина, или Рахманаго, заключаетъ собой второй томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ». Въ этомъ предсмертномъ разсказѣ нѣтъ никакого разсказа, потому что нѣтъ никакого содержанія. Это просто—дурно набросанная на бумагу болтовня о томъ, какъ одна петербургская барышня сперва «влюбилась» въ одного господина офицера, а потомъ, когда ей представилась выгодная партія, разлюбила его. Интереснѣе всего въ этомъ разсказѣ литературныя признанія неизвѣстнаго въ русской литературѣ сочинителя, — признанія вродѣ «Confessions» Руссо или Жаненовыхъ признаній. Послушайте:

«Около того же времени въ первый разъ выступилъ я на литературное поле. Есть на Руси таинственный человѣкъ, которому всѣ невольно удивляются, хотя многіе и злословятъ его. Не зная этого человѣка лично, я былъ влюбленъ въ него, быть-можетъ, столько же, какъ въ Ольгу; но я одинъ изъ нашего молодого поколѣнія питалъ и питаю къ нему эту романическую привязанность. По моимъ понятіямъ, такая сила дарованія должна была опираться въ немъ на душу теплую и благородную, и я не ошибся. Точно такъ же, какъ *невинная* Ольга довѣрчиво вручила свою судьбу мнѣ, почти незнакомому себѣ (*ей*?) человѣку, я вручилъ ему свою, безпредѣльно, неограниченно (*вручить судьбу безпредѣльно, неограниченно*—какъ это хорошо сказано!). *Любовное письмо*, которое я написалъ къ нему, исторглось у меня также изъ глубины души: онъ такъ и понялъ его, и съ тѣхъ поръ его участіе, совѣтъ, руководство, содѣйствіе, помощь, дружба не оставляли меня. Радость и весьма основательная гордость моя, по поводу пріобрѣтенія такого друга, служила нѣкоторымъ *противовѣсіемъ* горести, которую начинала причинять любовь. Дѣло въ томъ, что въ то самое время, какъ пріобрѣталъ друга, я очевидно терялъ любовницу: отвѣтъ, объясненіе не являлись..

«Благодаря содѣйствію этого достойнаго друга, маленькіе *довольно-блестящіе* успѣхи начали загромождать путь мой къ будущей *литературной славѣ (вотъ какъ!...)*, которая съ тѣхъ поръ и самому мнѣ показалась возможной къ достиженію при дальнѣйшихъ усиліяхъ и болѣе важныхъ начинаніяхъ (?). *Мое имя было произнесено въ гостиныхъ*. Литературные интриганты стали штурмовать меня письмами, стараясь привлечь новое перо мое въ журналы своихъ безсильныхъ партій. Эти бездарные шакалы мигомъ чуютъ поживу за семь-сотъ-семьдесятъ-семь верстъ, и ихъ мелочные происки, внушая мнѣ отвращеніе, очень польстили моему самолюбію: они заставляли меня вѣрить въ мой собственный талантъ, и я уже нѣкоторымъ образомъ начиналъ разыгрывать роль «писателя». Предчувствія, предсказанія Ольги сбывались. Эти первые *лучи славы* были безспорно твореніе рукъ ея. Съ какимъ восторгомъ украсилъ бы я ими прелестную ея головку...»

Вотъ геній-то, такъ ужъ геній! Онъ не дожидается суда современниковъ и потомковъ, но, написавъ двѣ-три посредственныя повѣстцы для пріятельскаго журнала, самъ провозглашаетъ себя геніемъ и, собираясь въ дальній путь, смѣло сочиняетъ апотеозъ своей небывалой славѣ, выдумываетъ себѣ почитателей и враговъ, увѣряетъ, что его на перебой звали къ себѣ въ журналисты, крича: «къ намъ, Иванъ Александро-

Digitized by Google

вичъ, пожалуйте къ намъ управлять департаментомъ...» Впрочемъ все это такъ смѣло и странно, что надо помочь недоразумѣнію читателей—сказать имъ, кто такой этотъ Веревкинъ, или Рахманный, т. е., что такое сдѣлалъ и чѣмъ прославилъ онъ себя въ русской литературѣ. Онъ написалъ въ «Библіотекѣ для Чтенія» одну или двѣ изъ тѣхъ повѣстей, которыя кажутся столь остроумными извѣстному кругу провинціальной публики. Вотъ и всѣ его права на литературную славу, которой онъ почиталъ себя достигшимъ. Что же до таинственнаго человѣка, которому будто бы удивляется вся Россія, его не трудно угадать по слогу повѣсти Веревкина, которая начинается фразой: «есть разнаго рода любви»; далѣе можно въ ней найти слова «враждъ», «мечтъ» и т. п.

И вотъ передъ вами весь второй томъ «Ста Русскихъ Литераторовъ»! Плохъ былъ и первый, но передъ вторымъ онъ, какъ солнце передъ гнилушкой. Лучшей статьей въ этомъ второмъ томѣ можетъ почесться повѣсть Булгарина: этого довольно для оцѣнки книги. Вотъ что значитъ терпѣніе и долголѣтняя служба—

То старшихъ выключатъ иныхъ,
Другіе, смотришь, перебиты –
Ваканціи какъ разъ открыты,

какъ говоритъ одно изъ почтеннѣйшихъ лицъ комедіи Грибоѣдова. А вѣдь правда: еще лѣтъ пять-десять, и если наша литература пойдетъ все такъ же, какъ теперь, то Булгаринъ будетъ играть въ ней первую роль и сдѣлается ея истиннымъ и достойнымъ представителемъ. Дай-то Богъ!...

РИМСКІЯ ЭЛЕГІИ.

Соч. Гёте. Переводъ Струговщикова. Спб. 1840.

При выходѣ въ свѣтъ «Римскихъ Элегій» Гёте, переведенныхъ Струговщиковымъ, мы ничего не сказали ни о самомъ этомъ произведеніи германскаго поэта, ни о его переводѣ, и ограничились обѣщаніемъ полнаго разбора. Хотя этому прошло уже болѣе года, мы тѣмъ не менѣе увѣрены, что никто изъ читателей не назоветъ предлагаемой статьи запоздалой и неумѣстной. Отчетъ о произведеніи легкомъ, ничтожномъ, эфемерномъ, имѣющемъ достоинства и интересъ относительные, временные, долженъ немедленно слѣдовать за появленіемъ этого произведенія: запоздай онъ нѣсколькими днями, —интересъ и самое значеніе статьи уже потеряны. Вотъ почему мы поспѣшили разборомъ второго тома «Ста Русскихъ Литераторовъ». Но литература состоитъ не изъ однихъ случайныхъ и обыкновенныхъ явленій: въ ней бываютъ произведенія основныя, безотносительно важныя, безусловно прекрасныя,—капитальныя. Такія произведенія не проигрываютъ, но выигрываютъ отъ времени и, часто непонимаемыя и незамѣчаемыя толпой и современностью, въ новой красотѣ воскресаютъ для потомства. Иногда бываетъ о нихъ рано говорить, но никогда не поздно о нихъ говорить: они всегда новы, всегда свѣжи, всегда юны, всегда современны. Иногда случается, что критика даже обязана говорить о нихъ какъ можно позже — чтобъ дать имъ время предварительно завладѣть вниманіемъ общества, возбудить въ немъ интересъ собою. Еслибы «Римскія Элегіи» и не были вѣчно юнымъ, никогда не старѣющимся произведеніемъ искусства, еслибы даже ихъ художественное достоинство было подозрѣваемо, и онѣ проигрывали отъ времени въ общемъ мнѣніи,— и тогда онѣ все-таки останутся навсегда интереснымъ и поучительнымъ фактомъ литературы. Люди, подобные Гёте, не производятъ ничего, что не было бы достойно величайшаго вниманія, въ какомъ бы то ни было отношеніи; самыя ошибки ихъ глубоко знаменательны и поучительны.

«Римскія Элегіи», сверхъ высокаго поэтическаго своего достоинства, важны для насъ еще и какъ особенный родъ поэзіи, опредѣленіе котораго можетъ составить любопытную главу эстетики. Главная цѣль предлагаемой статьи состоитъ въ томъ, чтобъ взглянуть не только на «Римскія Элегіи» Гёте, какъ на типическія произведенія особеннаго рода поэзіи, но и на тѣ собственно русскія произведенія, которыя относятся къ этому роду поэзіи. Другими словами: главный предметъ нашей статьи не столько «Римскія Элегіи», сколько родъ поэзіи, къ которому принадлежатъ онѣ.

Было время, когда наши критики и сами поэты хлопотали о какой-то такъ называемой легкой поэзіи. Одинъ изъ даровитѣйшихъ и знаменитѣйшихъ представителей литературы того времени — Батюшковъ— написалъ даже особую статью «О вліяніи легкой поэзіи на языкъ». Вся эта статья — не что иное, какъ апологія легкой поэзіи. Что же такое эта «легкая поэзія»? Въ то время понятія объ искусствѣ были довольно темны и сбивчивы: съ поэзіей смѣшивали все, что писалось размѣренными строчками съ

Digitized by Google

риемами; чувствительная пѣсенка и свѣтскій комплиментъ дамѣ, втиснутый въ четверостишіе, съ названіемъ: «къ Клименѣ» или «къ Темирѣ»,—все это считалось поэзіей, и по преимуществу «легкой», хотя этому явно противорѣчила тяжесть дубоватой версификаціи. Такъ и Батюшковъ не совсѣмъ отчетливо понималъ то, что̀ называлъ «легкой поэзіей». Онъ говорилъ, что на Руси Ломоносовъ изобрѣлъ ее, и высоко ставилъ заслуги въ «легкой поэзіи» Сумарокова, Богдановича, Державина, Дмитріева, Хемницера, Карамзина, Капниста, Нелединскаго, Мерзлякова, Муравьева, Долгорукаго, Воейкова, В. Пушкина и другихъ. Вообще можно замѣтить, что подъ словомъ «легкая поэзія» онъ разумѣлъ мелкіе роды лирической поэзіи—пѣсню, сонетъ, элегію, эпиграмму, мадригалъ, тріолетъ и т. п. Но ближайшее къ истинному воззрѣнію на предметъ видимъ мы въ его указаніи на Симонида, Ѳеокрита, Сафо, Катулла, Тибулла и Овидія, какъ представителей у древнихъ того, что̀ онъ называлъ «легкой поэзіей». Очевидно, у Батюшкова была мысль, но до того неопредѣленная, что онъ еще не отыскалъ слова для ея выраженія. Ниже увидимъ, по его превосходнымъ переводамъ изъ Антологіи, что онъ на дѣлѣ гораздо лучше понималъ и рѣшалъ вопросъ, нежели въ теоріи.

Слово: «легкая поэзія» далеко не вполнѣ выражаетъ предполагаемое имъ значеніе, хотя легкость и есть одно изъ главнѣйшихъ и существеннѣйшихъ качествъ той поэзіи, которую разумѣли подъ именемъ «легкой». Мы думаемъ, что ей приличнѣе названіе «античной», потому что она родилась и развилась у грековъ; у новѣйшихъ же поэтовъ она—только плодъ проникновенія классическимъ духомъ: у эллинской поэзіи заимствуетъ она и краски, и тѣни, и звуки, и образы, и формы, даже иногда самое содержаніе. Впрочемъ ее отнюдь не должно почитать подражаніемъ: всякое преднамѣренное и сознательное подражаніе — мертво и скучно. Когда поэтъ проникается духомъ какого-нибудь чуждаго ему народа, чуждой страны, чуждаго вѣка, — онъ безъ всякаго усилія, легко и свободно творитъ въ духѣ того народа, той страны или того вѣка. Эта возможность проникновенія чуждымъ духомъ основывается на живомъ, органическомъ единствѣ идеи человѣчества. Несмотря на множество и различіе существовавшихъ и существующихъ народовъ, всѣ они образуютъ собой единое семейство, имѣющее однихъ и тѣхъ же предковъ, одну и ту же исторію: это семейство называется человѣчествомъ. Человѣчество выше всякаго народа, отдѣльно взятаго, такъ же, какъ всякій народъ выше всякаго человѣка, взятаго отдѣльно. И потому, какъ всякая личность живетъ въ народѣ и народомъ, но не во всякой личности живетъ народъ, а только въ избранныхъ своихъ представителяхъ,—такъ точно и всѣ народы живутъ въ человѣчествѣ, но не во всякомъ народѣ является человѣчество, а только въ избранныхъ, и въ одномъ больше, въ другомъ меньше. Сущность идеи человѣчества состоитъ въ ея общности, въ ея отчужденіи отъ всего случайнаго, временнаго, преходящаго, частнаго; ея содержаніе — истина, а истина есть общее, необходимое, вѣчное. Очевидно, что чѣмъ одностороннѣе, исключительнѣе, ограниченнѣе идея, выражаемая жизнью народа, чѣмъ больше въ ней условнаго, частнаго, такъ сказать, своего домашняго, чисто народнаго,—тѣмъ менѣе можетъ такой народъ назваться представителемъ человѣчества. Исторія такихъ народовъ мало интересна и мало понятна для науки; а народность ихъ почти недоступна для людей, принадлежащихъ другому племени. Напротивъ, чѣмъ многосторонпѣе, всеобъемлющее, глубже, общѣе содержаніе народной жизни, чѣмъ больше въ ней истиннаго, разумнаго, дѣйствительнаго, — тѣмъ человѣчественнѣе такой народъ, тѣмъ онъ болѣе бываетъ представителемъ человѣчества. Исторія такихъ народовъ полна интереса даже въ самыхъ мелочныхъ подробностяхъ; національность ихъ совершенно доступна всякому образованному человѣку, хотя бы онъ былъ отдѣленъ отъ нея и своей собственной народностью и цѣлыми вѣками. Почти всѣ народы древности разрабатывали своей жизнью ниву развитія человѣческаго духа,—разумѣется, одинъ больше, другой меньше, и потому исторія, поэзія и цивилизація каждаго изъ нихъ имѣетъ свою относительную важность; но всѣ они какъ бы уничтожаются передъ Греціей и Римомъ. Особенно первой назначена была высокая роль въ человѣчествѣ судьбами міродержавными. Въ племенахъ семитическихъ, въ ассиріянахъ, вавилонянахъ, персахъ, финикіянахъ, египтянахъ, человѣчество только какъ-будто силилось проявиться; но въ грекахъ его усилія уже увѣнчались совершеннымъ успѣхомъ: греки явились полными и единственными представителями человѣчества и по праву называли варварами всѣ народы, которые не были греческаго происхожденія. Еслибъ можно было представить океанъ, образовавшійся отъ стеченія ручьевъ и рѣкъ: это было бы лучшимъ риторическимъ подобіемъ для уясненія отношеній всѣхъ народовъ древности къ Греціи—и Греціи ко всѣмъ народамъ древности, исключая римлянъ. Превосходство грековъ надъ всѣми другими народами древ-

Digitized by Google

ности состоитъ въ томъ, что у нихъ все свое, все народное, частное, семейное, домашнее, было ознаменовано печатью необходимости и разумности, отличалось характеромъ обще-человѣческимъ. Удивительно ли послѣ этого, что мы имена Тезеевъ, Солоновъ, Кодровъ, Леонидовъ, Мильтіадовъ, Ѳемистокловъ, Аристидовъ, Кимоновъ, Перикловъ, Алкивіадовъ, Тимолеоновъ, Сократовъ, Платоновъ узнаемъ въ нашемъ дѣтствѣ, прежде, нежели имена героевъ отечественной исторіи; что всѣ образованные народы считаютъ Грецію какъ бы своимъ общимъ отечествомъ? Какъ ни отдѣлены мы отъ грековъ и нравами, и условіями жизни, и образомъ воззрѣнія на міръ, и вѣками, словомъ, какъ ни противоположна наша жизнь греческой, мы все понимаемъ въ исторіи Греціи такъ же ясно, какъ и въ исторіи своего отечества, — и каждый образованный человѣкъ нашего времени легко можетъ представить себя въ своей фантазіи подъ небомъ Эллады слушающаго на площади ораторовъ, или внимающаго въ садахъ академіи мудрымъ урокамъ божественнаго Платона. Да, для насъ при небольшомъ изученіи грекъ понятенъ, будто нашъ современникъ, и на площади, и на полѣ брани, и въ совѣтѣ, и въ портикѣ, и на пиру, съ вѣнкомъ на головѣ возлежащій за столомъ, среди благовонныхъ куреній, и въ домашней жизни, жалующійся на прозу брачныхъ узъ и житейскихъ заботъ. Но прошу васъ вообразить себя живо древнимъ персомъ, который сегодня пресмыкается рабомъ послѣдняго раба своего владыки, а завтра дерзко садится на тронъ властелина и хладнокровно душитъ родныхъ и казнитъ чужихъ; для котораго вся поэзія жизни — власть и богатство, а назначеніе жизни — быть палачомъ или жертвой!... Еще труднѣе вообразить себя австралійскимъ дикаремъ, для котораго верхъ блаженства — дикая, животная воля, кусокъ человѣческаго мяса, осколокъ зеркала, цвѣтной лоскутъ матеріи, какая-нибудь побрякушка; котораго вся жизнь—или остервенѣлая рѣзня съ врагами, или побѣдная пляска вокругъ костра, гдѣ жарятся тѣла плѣнниковъ. Чѣмъ жизнь ниже, тѣмъ менѣе понятна она; чѣмъ выше, тѣмъ понятнѣе. Со всѣмъ тѣмъ, какъ бы ни была тѣсна и ограничена сфера жизни, но если въ ней есть хоть что-нибудь человѣческаго,—это малое человѣческаго намъ понятно. И у дикарей есть чувство любви, хотя въ грубыхъ, животныхъ формахъ; и для дикаря существуютъ и радость, и горе; сердце его весело бьется въ присутствіи милаго ему человѣка, слезами и рыданіями изъявляетъ онъ печаль при невозвратной утратѣ. И когда радость его или страданіе, отрѣшаясь отъ минуты и случая, которыми порождены онѣ, переливаются въ звуки и выражаются общечеловѣческимъ языкомъ поэзіи,—мы понимаемъ простые и наивные звуки этой поэзіи, сочувствуемъ ей, потому что находимъ въ ней с в о е, намъ самимъ принадлежащее, родное, словомъ— человѣческое. Я—человѣкъ и ничто человѣческое не чуждо мнѣ: вотъ законъ, на основаніи котораго мы выучиваемся чужимъ языкамъ, понимаемъ чужіе нравы, интересуемся чужой исторіей, наслаждаемся чужой поэзіей, становимся гражданами уже несуществующихъ народовъ и протекшихъ вѣковъ, дѣлаемся властелинами прошедшаго, настоящаго и будущаго, царствуемъ надъ міромъ и вѣчностью... Бѣденъ и нищъ, кто, нося на себѣ образъ человѣческій, чуждъ всему человѣческому, — бѣденъ и нищъ, хотя бы онъ былъ богаче Креза, могущественнѣе Чингисъ-Хана! Богатъ и могущъ, кто все понимаетъ, всему сочувствуетъ, — богатъ и могущъ, хотя бы онъ былъ и бѣднѣе Ира и назывался владѣльцемъ только собственной души своей!...

Но эта царственная область мірообладанія, это живое чувство родственности со всѣми формами, въ какихъ когда-либо проявлялась жизнь человѣчества,—по преимуществу достояніе поэта. Никому такъ не легко перенестись въ прошедшіе вѣка, воскресить почившіе народы, населить опустошенные города, подсмотрѣть ихъ обычаи и нравы, подслушать ихъ рѣчь, подстеречь и уловить сокровенную думу цѣлаго ихъ существованія! Подобно Кювье, который по одной, вырытой изъ земли, кости безошибочно опредѣлялъ родъ, видъ, величину и наружную форму животнаго,—поэтъ по немногимъ фактамъ, часто нѣмымъ для ученаго и всегда мертвымъ для толпы, возстановляетъ цѣлое племя существъ, нѣкогда юныхъ, сильныхъ, полныхъ жизни и красоты; изъ мрака забвенія поднимаетъ чудную исторію, полную страстей, движенія, интереса; волшебнымъ заклинаніемъ поэзіи вызываетъ тѣни изъ гробовъ и заставляетъ ихъ снова и любить, и ненавидѣть, и желать, и стремиться, и страдать, и блаженствовать, словомъ — снова переживать передъ нашими глазами всю жизнь свою. Въ глупо разсказанной сказкѣ «О томъ, какъ хитро датскій король Амлетъ отмстилъ за смерть отца своего Горденвилла, убитаго своимъ братомъ Фенгономъ, и прочихъ похожденіяхъ его жизни» — въ этой нелѣпой сказкѣ онъ проводитъ великую драму и изъ ея скудныхъ матеріаловъ создаетъ «Гамлета». Въ лѣтописи Плутарха, представляющей только внѣшнюю сторону происшествій, онъ видитъ всѣ тайныя пру-

Digitized by Google

ріемами; чувствительная пѣсенка и свѣтскій комплиментъ дамѣ, втиснутый въ четверостишіе, съ названіемъ: «къ Клименѣ» или «къ Темирѣ»,—все это считалось поэзіей, и по преимуществу «легкой», хотя этому явно противорѣчила тяжесть дубоватой версификаціи. Такъ и Батюшковъ не совсѣмъ отчетливо понималъ то, что̀ называлъ «легкой поэзіей». Онъ говорилъ, что на Руси Ломоносовъ изобрѣлъ ее, и высоко ставилъ заслуги въ «легкой поэзіи» Сумарокова, Богдановича, Державина, Дмитріева, Хемницера, Карамзина, Капниста, Нелединскаго, Мерзлякова, Муравьева, Долгорукаго, Воейкова, В. Пушкина и другихъ. Вообще можно замѣтить, что подъ словомъ «легкая поэзія» онъ разумѣлъ мелкіе роды лирической поэзіи—пѣсню, сонетъ, элегію, эпиграмму, мадригалъ, тріолетъ и т. п. Но ближайшее къ истинному воззрѣнію на предметъ видимъ мы въ его указаніи на Симонида, Ѳеокрита, Сафо, Катулла, Тибулла и Овидія, какъ представителей у древнихъ того, что̀ онъ называлъ «легкой поэзіей». Очевидно, у Батюшкова была мысль, но до того неопредѣленная, что онъ еще не отыскалъ слова для ея выраженія. Ниже увидимъ, по его превосходнымъ переводамъ изъ Антологіи, что онъ на дѣлѣ гораздо лучше понималъ и рѣшалъ вопросъ, нежели въ теоріи.

Слово: «легкая поэзія» далеко не вполнѣ выражаетъ предполагаемое имъ значеніе, хотя легкость и есть одно изъ главнѣйшихъ и существеннѣйшихъ качествъ той поэзіи, которую разумѣли подъ именемъ «легкой». Мы думаемъ, что ей приличнѣе названіе «античной», потому что она родилась и развилась у грековъ; у новѣйшихъ же поэтовъ она—только плодъ проникновенія классическимъ духомъ: у эллинской поэзіи заимствуетъ она и краски, и тѣни, и звуки, и образы, и формы, даже иногда самое содержаніе. Впрочемъ ее отнюдь не должно почитать подражаніемъ: всякое преднамѣренное и сознательное подражаніе — мертво и скучно. Когда поэтъ проникается духомъ какого-нибудь чуждаго ему народа, чуждой страны, чуждаго вѣка, — онъ безъ всякаго усилія, легко и свободно творитъ въ духѣ того народа, той страны или того вѣка. Эта возможность проникновенія чуждымъ духомъ основывается на живомъ, органическомъ единствѣ идеи человѣчества. Несмотря на множество и различіе существовавшихъ и существующихъ народовъ, всѣ они образуютъ собой единое семейство, имѣющее однихъ и тѣхъ же предковъ, одну и ту же исторію: это семейство называется человѣчествомъ. Человѣчество выше всякаго народа, отдѣльно взятаго, такъ же, какъ всякій народъ выше всякаго человѣка, взятаго отдѣльно. И потому, какъ всякая личность живетъ въ народѣ и народомъ, но не во всякой личности живетъ народъ, а только въ избранныхъ своихъ представителяхъ,—такъ точно и всѣ народы живутъ въ человѣчествѣ, но не во всякомъ народѣ является человѣчество, а только въ избранныхъ, и въ одномъ больше, въ другомъ меньше. Сущность идеи человѣчества состоитъ въ ея общности, въ ея отчужденіи отъ всего случайнаго, временнаго, преходящаго, частнаго; ея содержаніе — истина, а истина есть общее, необходимое, вѣчное. Очевидно, что чѣмъ одностороннѣе, исключительнѣе, ограниченнѣе идея, выражаемая жизнью народа, чѣмъ больше въ ней условнаго, частнаго, такъ сказать, своего домашняго, чисто народнаго,—тѣмъ менѣе можетъ такой народъ назваться представителемъ человѣчества. Исторія такихъ народовъ мало интересна и мало понятна для науки; а народность ихъ почти недоступна для людей, принадлежащихъ другому племени. Напротивъ, чѣмъ многостороннѣе, всеобъемлющее, глубже, общѣе содержаніе народной жизни, чѣмъ больше въ ней истиннаго, разумнаго, дѣйствительнаго, — тѣмъ человѣчественнѣе такой народъ, тѣмъ онъ болѣе бываетъ представителемъ человѣчества. Исторія такихъ народовъ полна интереса даже въ самыхъ мелочныхъ подробностяхъ; національность ихъ совершенно доступна всякому образованному человѣку, хотя бы онъ былъ отдѣленъ отъ нея и своей собственной народностью и цѣлыми вѣками. Почти всѣ народы древности разрабатывали своей жизнью ниву развитія человѣческаго духа,—разумѣется, одинъ больше, другой меньше, и потому исторія, поэзія и цивилизація каждаго изъ нихъ имѣетъ свою относительную важность; но всѣ они какъ бы уничтожаются передъ Греціей и Римомъ. Особенно первой назначена была высокая роль въ человѣчествѣ судьбами міродержавными. Въ племенахъ семитическихъ, въ ассиріянахъ, вавилонянахъ, персахъ, финикіянахъ, египтянахъ, человѣчество только какъ-будто силилось проявиться; но въ грекахъ его усилія уже увѣнчались совершеннымъ успѣхомъ: греки явились полными и единственными представителями человѣчества и по праву называли варварами всѣ народы, которые не были греческаго происхожденія. Еслибъ можно было представить океанъ, образовавшійся отъ стеченія ручьевъ и рѣкъ: это было бы лучшимъ риторическимъ подобіемъ для уясненія отношеній всѣхъ народовъ древности къ Греціи—и Греціи ко всѣмъ народамъ древности, исключая римлянъ. Превосходство грековъ надъ всѣми другими народами древ-

Digitized by Google

ности состоитъ въ томъ, что у нихъ все свое, все народное, частное, семейное, домашнее, было ознаменовано печатью необходимости и разумности, отличалось характеромъ обще-человѣческимъ. Удивительно ли послѣ этого, что мы имена Тезеевъ, Солоновъ, Кодровъ, Леонидовъ, Мильтіадовъ, Ѳемистокловъ, Аристидовъ, Кимоновъ, Перикловъ, Алкивіадовъ, Тимолеоновъ, Сократовъ, Платоновъ узнаемъ въ нашемъ дѣтствѣ, прежде, нежели имена героевъ отечественной исторіи; что всѣ образованные народы считаютъ Грецію какъ бы своимъ общимъ отечествомъ? Какъ ни отдѣлены мы отъ грековъ и нравами, и условіями жизни, и образомъ воззрѣнія на міръ, и вѣками, словомъ, какъ ни противоположна наша жизнь греческой, мы все понимаемъ въ исторіи Греціи такъ же ясно, какъ и въ исторіи своего отечества, — и каждый образованный человѣкъ нашего времени легко можетъ представить себя въ своей фантазіи подъ небомъ Эллады слушающаго на площади ораторовъ, или внимающаго въ садахъ академіи мудрымъ урокамъ божественнаго Платона. Да, для насъ при небольшомъ изученіи грекъ понятенъ, будто нашъ современникъ, и на площади, и на полѣ брани, и въ совѣтѣ, и въ портикѣ, и на пиру, съ вѣнкомъ на головѣ возлежащій за столомъ, среди благовонныхъ куреній, и въ домашней жизни, жалующійся на прозу брачныхъ узъ и житейскихъ заботъ. Но прошу васъ вообразить себя живо древнимъ персомъ, который сегодня пресмыкается рабомъ послѣдняго раба своего владыки, а завтра дерзко садится на тронъ властелина и хладнокровно душитъ родныхъ и казнитъ чужихъ; для котораго вся поэзія жизни — власть и богатство, а назначеніе жизни — быть палачомъ или жертвой!... Еще труднѣе вообразить себя австралійскимъ дикаремъ, для котораго верхъ блаженства — дикая, животная воля, кусокъ человѣческаго мяса, осколокъ зеркала, цвѣтной лоскутъ матеріи, какая-нибудь побрякушка; котораго вся жизнь—или остервенѣлая рѣзня съ врагами, или побѣдная пляска вокругъ костра, гдѣ жарятся тѣла плѣнниковъ. Чѣмъ жизнь ниже, тѣмъ менѣе понятна она; чѣмъ выше, тѣмъ понятнѣе. Со всѣмъ тѣмъ, какъ бы ни была тѣсна и ограничена сфера жизни, но если въ ней есть хоть что-нибудь человѣческаго,—это малое человѣческаго намъ понятно. И у дикарей есть чувство любви, хотя въ трубыхъ, животныхъ формахъ; и для дикаря существуютъ и радость, и горе; сердце его весело бьется въ присутствіи милаго ему человѣка, слезами и рыданіями изъявляетъ онъ печаль при невозвратной утратѣ. И когда радость его или страданіе, отрѣшаясь отъ минуты и случая, которыми порождены онѣ, переливаются въ звуки и выражаются общечеловѣческимъ языкомъ поэзіи,—мы понимаемъ простые и наивные звуки этой поэзіи, сочувствуемъ ей, потому что находимъ въ ней с в о е, намъ самимъ принадлежащее, родное, словомъ— человѣческое. Я—человѣкъ и ничто человѣческое не чуждо мнѣ: вотъ законъ, на основаніи котораго мы выучиваемся чужимъ языкамъ, понимаемъ чужіе нравы, интересуемся чужой исторіей, наслаждаемся чужой поэзіей, становимся гражданами уже несуществующихъ народовъ и протекшихъ вѣковъ, дѣлаемся властелинами прошедшаго, настоящаго и будущаго, царствуемъ надъ міромъ и вѣчностью... Бѣденъ и нищъ, кто, нося на себѣ образъ человѣческій, чуждъ всему человѣческому, — бѣденъ и нищъ, хотя бы онъ былъ богаче Креза, могущественнѣе Чингисъ-Хана! Богатъ и могущъ, кто все понимаетъ, всему сочувствуетъ, — богатъ и могущъ, хотя бы онъ былъ и бѣднѣе Ира и назывался владѣльцемъ только собственной души своей!...

Но эта царственная область мірообладанія, это живое чувство родственности со всѣми формами, въ какихъ когда-либо проявлялась жизнь человѣчества,—по преимуществу достояніе поэта. Никому такъ не легко перенестись въ прошедшіе вѣка, воскресить почившіе народы, населить опустошенные города, подсмотрѣть ихъ обычаи и нравы, подслушать ихъ рѣчь, подстеречь и уловить сокровенную думу цѣлаго ихъ существованія! Подобно Кювье, который по одной, вырытой изъ земли, кости безошибочно опредѣлялъ родъ, видъ, величину и наружную форму животнаго,—поэтъ по немногимъ фактамъ, часто нѣмымъ для ученаго и всегда мертвымъ для толпы, возстановляетъ цѣлое племя существъ, нѣкогда юныхъ, сильныхъ, полныхъ жизни и красоты; изъ мрака забвенія поднимаетъ чудную исторію, полную страстей, движенія, интереса; волшебнымъ заклинаніемъ поэзіи вызываетъ тѣни изъ гробовъ и заставляетъ ихъ снова и любить, и ненавидѣть, и желать, и стремиться, и страдать, и блаженствовать, словомъ — снова переживать передъ нашими глазами всю жизнь свою. Въ глупо разсказанной сказкѣ «О томъ, какъ хитро датскій король Амлетъ отмстилъ за смерть отца своего Горденвилла, убитаго своимъ братомъ Фенгономъ, и прочихъ похожденіяхъ его жизни» — въ этой нелѣпой сказкѣ онъ проводитъ великую драму и изъ ея скудныхъ матеріаловъ создаетъ «Гамлета». Въ лѣтописи Плутарха, представляющей только внѣшнюю сторону происшествій, онъ видитъ всѣ тайныя пру-

Digitized by Google

жины, которыя давали ходъ событіямъ и которыя были невидимы для самого великаго жизнеописателя,—и творческой силой фантазіи вызываетъ изъ гробовъ гигантскія тѣни Коріолана, Брутовъ, Цезаря, Антонія, Августа, милые, граціозные образы цѣломудренной Лукреціи и обольстительной Клеопатры, одѣваетъ ихъ тѣломъ, вливаетъ въ ихъ жилы теплую кровь, зажигаетъ ихъ глаза блескомъ жизни и страстей, и мы слышимъ ихъ рѣчь, видимъ ихъ дѣла, знаемъ ихъ сокровенные помыслы,—присутствуемъ жизни, давно кончившейся, созерцаемъ краски, давно поблекшія, формы, давно исчезнувшія, дѣлаемся современными свидѣтелями событій, отъ которыхъ отдѣляютъ насъ тысячелѣтія и вѣка!... Задача историка — сказать, что̀ было; задача поэта—показать, какъ было: историкъ, зная, что̀ было, не знаетъ, какъ было; поэту нужно только узнать, что̀ было, и онъ уже видитъ самъ и можетъ показать другимъ, какъ оно было. И потому, если наука оказываетъ поэзіи услуги, сказывая ей о томъ, что̀ было, то и поэзія, въ свою очередь, расширяетъ предѣлы науки, показывая, какъ было. Мы недавно видѣли доказательство этого въ Вальтеръ-Скоттѣ, который своимъ романомъ «Иванго» обнаружилъ тайныя пружины англійской исторіи, нашедъ ихъ въ борьбѣ саксонскаго племени съ норманскимъ, и тѣмъ далъ толчокъ и направленіе историческимъ изысканіямъ новѣйшаго времени. Всѣмъ извѣстенъ былъ темный слухъ о смерти Моцарта, будто бы отравленнаго Сальери изъ зависти; но только Пушкинъ могъ провидѣть въ этомъ преданіи психологическое явленіе и общую идею таланта, мучимаго завистью къ генію,—и онъ показалъ не то, какъ дѣйствительно случилась эта исторія, но какъ бы могла она случиться и прежде, и нынче, и всегда. А между тѣмъ ужасающая вѣрность, съ какой поэтъ представилъ положеніе Сальери къ Моцарту, доказываетъ отнюдь не то, чтобъ подобное положеніе было извѣстно ему самому по горестному опыту, а только то, что чѣмъ глубже духъ художника, тѣмъ доступнѣе его непосредственному сознанію всѣ, и свѣтлыя, и мрачныя, стороны человѣческой природы. Отъ этой-то доступности всему, что̀ свойственно природѣ человѣческой, проистекаетъ способность поэта переноситься во всякое положеніе, во всякую страну, во всякій возрастъ, во всякое чувство, внѣ опыта собственной жизни. Тотъ не поэтъ, кто не могъ бы вѣрно выразить чувство отеческое, потому что самъ не былъ отцомъ. Если допустить, что неиспытаннаго собственнымъ опытомъ поэтъ не можетъ изображать, то ужъ нечего и говорить, что поэтъ, если онъ мужчина, не можетъ изобразить ни дѣвушки, ни матери. Такимъ точно образомъ поэту отнюдь не должно быть персіяниномъ, чтобъ, начитавшись Гафиза, писать въ духѣ персидской поэзіи. Въ поэзіи всякаго народа отражается природа (мѣстность) и духъ (національность) страны. Обаяніе персидской поэзіи не только можетъ быть доступно для жителя сѣверныхъ странъ, но еще, по закону противоположности, сильнѣе дѣйствовать на него, чѣмъ на природнаго персіянина. Нѣга и роскошь непосредственнаго бытія на лонѣ матери-природы также не могутъ не быть доступны европейцу, хотя и прямо противорѣчатъ условіямъ его жизни. Чувственная жизнь есть первый моментъ жизни каждаго человѣка въ періодъ его безсознательнаго младенчества; эта же чувственная жизнь была первымъ моментомъ и жизни человѣчества на его родномъ и роскошномъ Востокѣ: слѣдовательно то, что̀ теперь составляетъ поэзію персидской жизни,—не что-нибудь случайное, но необходимый (а потому и разумный) моментъ историческаго развитія. Если намъ кажется унизительной для человѣческаго достоинства такая нравственная дремота чувственнаго бытія, — это потому, что она несвоевременна, и что народъ, погруженный въ нее, представляетъ изъ себя посѣдѣлаго и дряхлаго младенца; сверхъ того въ персидской, какъ и во всякой восточной, поэзіи основный элементъ—пантеистическое міросозерцаніе, которое для современнаго человѣчества — анахронизмъ, но въ свое время было великимъ моментомъ всемірно-историческаго развитія. Пылкость южной фантазіи, любящая выражаться преувеличенными образами, яркими и пестрыми формами, странными и часто изысканными оборотами, также имѣетъ для насъ свой интересъ, хотя и внѣшній, предметный, и понятна намъ, такъ сказать, вчужѣ. Слѣдовательно, все, что̀ составляетъ элементы жизни и поэзіи Персіи, не есть что-нибудь чуждое духу человѣческому, но все родственное и присущное ему, хотя и подъ условіемъ прошедшаго историческаго момента. Тѣмъ болѣе возможности для поэта погружаться въ прекрасный міръ Греціи и выносить изъ него чудныя видѣнія, созданныя въ ея духѣ и формѣ. Говорятъ, нѣмцу нельзя быть грекомъ. Справедливо: нѣмецъ не можетъ быть грекомъ до того, чтобъ не быть нѣмцемъ; но нѣмецъ, созерцая міръ греческой жизни и до упоенія проникаясь ея духомъ, можетъ смотрѣть на нее глазами грека и на то время становится грекомъ, не переставая быть нѣмцемъ. Я—человѣкъ, и ничто человѣческое не чуждо мнѣ, а Греція была по преимуществу страною человѣчественности (Humanität).

Digitized by Google

Духъ человѣческій всегда одинъ и тотъ же, въ какихъ бы формахъ ни являлся онъ; форма есть явленіе идеи, а идея всегда едина и вѣчна; слѣдовательно, только случайныя формы, лишенныя жизни, чуждыя идеѣ, могутъ быть непонятны. Развитіе человѣчества есть безпрерывное движеніе впередъ, безъ возврата назадъ. Если мы видимъ теперь просвѣщеннѣйшія страны древняго міра погруженными во мракъ невѣжества и варварства, а мѣста невѣжества и варварства въ древности—просвѣщеннѣйшими странами въ мірѣ, изъ этого совсѣмъ не слѣдуетъ, чтобъ движеніе человѣчества состояло въ какомъ-то кругѣ, гдѣ крайняя точка впадаетъ въ точку исхода. Человѣчество дѣйствительно движется кругомъ (т. е. идя впередъ, безпрестанно возвращается назадъ), но кругомъ не простымъ, а спиральнымъ, и въ своемъ ходѣ образуетъ множество круговъ, изъ которыхъ послѣдующій всегда обширнѣе предшествующаго. Человѣчество въ своемъ ходѣ подобно путнику, который, за отсутствіемъ прямой дороги, дѣлаетъ обходы мимо лѣсовъ и болотъ, — который въ иной день далеко уйдетъ впередъ, а въ иной возвратится назадъ, но у котораго, въ суммѣ пройденнаго пространства, каждый день является нѣсколько процентовъ, приближающихъ, а не отдаляющихъ его отъ цѣли. Если свѣтъ просвѣщенія погасъ въ Вавилонѣ, Египтѣ, Греціи и Италіи, — это было проигрышемъ для тѣхъ странъ, а не для человѣчества. Греція и Римъ погибли для себя, но сохранились для человѣчества: ихъ приняла въ себя варварская тевтонская Европа съ тѣмъ, чтобъ, обогативъ ими собственную жизнь, возвратить ихъ потомъ имъ же самимъ. Законъ развитія человѣчества таковъ, что все пережитое человѣчествомъ, не возвращаясь назадъ, тѣмъ не менѣе и не исчезаетъ безъ слѣдовъ въ пучинѣ времени. Исчезнувшее въ дѣйствительности — живетъ въ сознаніи. Такъ старецъ съ умиленіемъ и восторгомъ вспоминаетъ не только о лѣтахъ своего зрѣлаго мужества, но и пылкой юности, и о свѣтломъ, безмятежномъ младенчествѣ, и потому самому не перестаетъ сочувствовать ни мужу, ни юношѣ, ни младенцу. Человѣку нельзя на всю жизнь оставаться младенцемъ, но онъ долженъ перейти черезъ всѣ возрасты — отъ колыбели до могилы. Послѣдующій возрастъ выше предшествующаго; однако изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ предшествующій, будучи ступенью и средствомъ, не былъ, въ то же время, и самъ по себѣ цѣлью, а слѣдовательно, не заключалъ въ себѣ разумности и поэзіи. Дѣтскій возрастъ безуменъ, но не глупъ. Мы смѣемся, глядя на ребенка въ гусарскомъ мундирѣ и верхомъ на палочкѣ; но смѣемся въ этомъ случаѣ только легкости, а не глупости его взгляда на жизнь, и смѣясь, завидуемъ этой легкости, со вздохомъ вспоминая о лѣтахъ своего дѣтства. Дитя, сидя верхомъ на палочкѣ, воображаетъ себя всадникомъ, скачущимъ на борзомъ конѣ:—это глупость, но глупость, такъ сказать, разумная, ибо выраженіе лица этого ребенка, полные огня глаза его обнаруживаютъ не только умъ, но часто и остроуміе, и своего рода хитрость, при невинности и простодушіи,—тогда какъ лицо взрослаго человѣка, который тѣшится ѣздой на палкѣ, непремѣнно должно выражать глупость и идіотство. То же бываетъ и съ человѣчествомъ. Герои нашего времени не пасутъ своихъ стадъ, не рѣжутъ своими руками барановъ и не пекутъ ихъ на огнѣ, подобно Агамемнону и Ахиллу, а героини не ходятъ къ свѣтлымъ ключамъ мыть платья своихъ мужей, отцовъ и братій, подобно дщерямъ царственнаго старца Пріама; но это не мѣшаетъ намъ, людямъ новѣйшаго времени, понимать и любить поэзію пасторально-героической Греціи, восхищаться неправильными боями, грубыми пиршествами, цѣломудренно чувственной и наивно-нагой любовью, и патріархально семейственными отношеніями этихъ людей-полубоговъ, этихъ героевъ-дѣтей, такъ божественно воспѣтыхъ безсмертнымъ, вѣчно юнымъ старцемъ Гомеромъ. Да, ни одинъ изъ прожитыхъ человѣчествомъ моментовъ не теряется ни для жизни, ни для сознанія человѣчества. Только дикіе невѣжды, грубыя натуры, чуждыя божественной поэзіи, могутъ думать, что «Иліада», «Одиссея» и греческіе лирики и трагики уже не существуютъ для насъ, не могутъ услаждать нашего эстетическаго чувства. Эти жалкіе крикуны, которые во всемъ видятъ одну внѣшность и со внѣ скрываютъ однѣ верхушки, не проникая внутрь, въ таинственное святилище животворной идеи,—эти сухіе резонёры опираются на измѣнчивость формъ и условій жизни. Но они забываютъ, что въ формахъ и временныхъ условіяхъ выражается вѣчная, неумирающая идея, и что поэзія по тому самому и есть высокое, вдохновенное искусство, а не ремесло, что она въ создаваемыя ею формы и образы уловляетъ идею, и чрезъ формы и образы овеществляетъ идею, а черезъ идею дѣлаетъ вѣчно-юными и живыми формы и образы. Въ наше время уже невозможны крестовые походы; но кто же, кромѣ невѣждъ, не будетъ видѣть въ крестовыхъ походахъ среднихъ вѣковъ — этой эпохѣ юности человѣчества— великаго событія, или станетъ надъ ними смѣяться, какъ надъ пустымъ и нелѣпымъ предпріятіемъ?... Манчскій витязь, благород-

Digitized by Google

ный донъ Кихотъ, дѣйствительно смѣшонъ именно потому, что онъ—анахронизмъ; явись же онъ въ свое время — онъ былъ бы великъ, возбуждалъ бы удивленіе, а не смѣхъ. Въ этомъ смыслѣ смѣшна и «Энеида», которая во время упадка римской доблести, во время разврата, вздумала прикинуться простодушнымъ эпосомъ пасторально-героическихъ временъ и объявить незаконныя притязанія на родство съ божественной «Иліадой».

Подражать поэзіи извѣстнаго народа или какого-нибудь поэта — совсѣмъ не то, что̀ писать въ духѣ той или другой поэзіи, того или другого поэта. Всякимъ подражаніемъ необходимо предполагается сознательное преднамѣреніе и усиліе воли; проникновеніе же въ духъ какой-либо поэзіи есть дѣйствіе свободное, непосредственное. Отъ подражанія происходитъ только мертвый списокъ, рабская копія, которые лишь по наружности сходны съ своимъ образцомъ, но въ сущности не имѣютъ ничего съ нимъ общаго. Трагедіи Корнеля, Расина и Вольтера могутъ еще имѣть какое-нибудь значеніе и какую-нибудь цѣну, какъ отголосокъ современныхъ идей, какъ отраженіе современнаго общества, хотя и въ неестественной формѣ; но какъ подражанія трагедіямъ Софокла и Эврипида, какъ изображенія греческихъ характеровъ и греческой жизни, — онѣ смѣшны, нелѣпы, карикатурны, лишены даже всякаго призрака здраваго смысла, не только поэзіи. Творчество въ духѣ извѣстной поэзіи, жизнью которой проникнулся поэтъ, есть уже не списокъ, не копія, но свободное воспроизведеніе (reproduction), соперничество съ образцомъ. Для доказательства достаточно указать на «Торжество Побѣдителей» и «Жалобы Цереры» — пьесы Шиллера, такъ превосходно переданныя по-русски Жуковскимъ. Эллинская рѣчь исполнена въ нихъ эллинскаго духа; пластическіе образы классической поэзіи дышатъ глубокостью и простодушіемъ древней мысли; въ окончательныхъ стихахъ первой пьесы заключается весь кодексъ вѣрованій, вся мудрость и философія жизни грековъ:

Смертный, силѣ, насъ гнетущей,
Покоряйся и терпи!
Мертвый мирно въ гробѣ спи,
Жизнью пользуйся живущій!

Искусство грековъ — высочайшее искусство, норма и первообразъ всякаго искусства. Чуждое всѣхъ другихъ элементовъ, покорное только самому себѣ, оно является въ первобытной, типической самостоятельности, чистое, безпримѣсное, исключительно дѣйствующее собственнымъ орудіемъ—формами и образами. Въ прекрасной наготѣ своей оно дышетъ цѣломудріемъ и какой-то святостью и чистотой мысли. Давно уже всѣ согласились, что нагія статуи древнихъ успокаиваютъ и умиряютъ волненія страсти, а не возбуждаютъ ихъ,—что и оскверненный отходитъ отъ нихъ очищеннымъ. Исключеніе остается за людьми, чуждыми эстетическаго чувства, непонимающими красоты. Красота— не истина, не нравственность; но красота—родная сестра истинѣ и нравственности. Красота не служитъ чувственности, но освобождаетъ насъ отъ чувственности, возвращая духу нашему права его надъ плотію. Животное не требуетъ отъ своей самки красоты, но требуетъ только, чтобъ она была самкой. Грустно думать, что требованія многихъ людей въ этомъ отношеніи нисколько не разнятся отъ такихъ требованій; но еще грустнѣе думать, что на многихъ людей-самцовъ и людей-самокъ красота производитъ дѣйствіе возбудительнаго настоя. Кто же виноватъ въ этомъ—красота или люди? Конечно послѣдніе, потому что человѣкъ долженъ быть м у ж ч и н о й, а не самцомъ, ж е н щ и н о й, а не самкой. Варваръ-турокъ покупаетъ на базарѣ женщину, и чѣмъ прекраснѣе она, тѣмъ болѣе готовъ онъ купить ее; въ средніе же вѣка не рѣдкость были рыцари, подобные Тогенбургу, воспѣтому Шиллеромъ,—рыцари, которые, не встрѣтивъ отвѣта на свое чувство, сражались на отдаленномъ Востокѣ за Святой Гробъ и остатокъ жизни проводили въ шалашѣ, не спуская взора съ окна жестокой красавицы... Торжество духа (ибо красота есть явленіе духа) особенно поразительно въ благородныхъ натурахъ при взаимной любви. Гордая сила мужчины робко смиряется при кроткомъ и ясномъ взорѣ слабой красоты. Забывая обаянія наслажденія, онъ ищетъ блаженства въ одномъ присутствіи красоты, которое вѣетъ миромъ и прохладой на бурю чувствъ его. Чувство его полно религіознаго благоговѣнія: любовь его похожа на обожаніе; самое наслажденіе кротко, цѣломудренно и чисто. Не правда-ли, что здѣсь красота производитъ повидимому обратное и неестественное дѣйствіе?—Нѣтъ; только такое дѣйствіе красоты истинно и естественно... Здѣсь мы не можемъ не вспомнить этихъ словъ божественнаго Платона, полныхъ такой глубокой мудрости въ смыслѣ и такой силы и поэзіи въ выраженіи: «Красота одна получила здѣсь жребій — быть пресвѣтлой и достойной любви. Не вполнѣ посвященный, р а з в р а т н ы й, стремится къ самой красотѣ, не смотря на то, что̀ носитъ ея имя; онъ не благоговѣетъ передъ ней, а подобно четвероногому ищетъ одного чувственнаго наслажденія, хочетъ слить прекрасное съ своимъ тѣломъ... Напротивъ, вновь посвященный, увидѣвъ богамъ подоб-

Digitized by Google

ное лицо, изображающее красоту, сначала трепещетъ; его объемлетъ страхъ; потомъ, созерцая прекрасное, какъ Бога, онъ обожаетъ, и еслибы не боялся, что назовутъ его безумнымъ, онъ принесъ бы жертву предмету любимому...» *).

Конечно понятія грековъ и понятія рыцарскія о красотѣ — не одно и то же, хотя тѣ и другія выходятъ изъ одного источника. Разница заключается въ возрастѣ человѣчества, выраженномъ Греціей и западной Европой среднихъ вѣковъ: первая выразила, такъ сказать, младенчество одухотвореннаго человѣчества **), а вторая—юношескій періодъ его жизни. Грекъ боготворилъ природу, прозрѣвая вѣяніе духа въ ея прекрасныхъ формахъ; средніе вѣка были царствомъ духа, объявившаго войну природѣ. Кромѣ климатическихъ причинъ, строгость въ одеждѣ была въ средніе вѣка первымъ условіемъ цѣломудрія: нагота оскорбляла его. Грекъ въ наготѣ видѣлъ только изящную природу, а идея красоты уже сама собой отстраняла въ его глазахъ идею о низкомъ и постыдномъ. Въ этомъ виденъ взглядъ младенца: дѣти не стыдятся наготы, и по тому самому уже невинны въ ней. Но въ извѣстный возрастъ и въ нихъ пробуждается чувство безсознательной стыдливости. Грекъ боготворилъ эту стыдливость, какъ грацію; она была въ его глазахъ необходимой спутницей красоты,—и его прекрасныя статуи какъ-бы стыдятся своей собственной наготы. Понятія грека объ отношеніяхъ обоихъ половъ выходили изъ понятія о красотѣ, созданной для наслажденія, но наслажденія цѣломудреннаго. Стыдливость подруги возвышала для него прелесть и цѣну наслажденія. Тайна жизни грека заключалась въ естественности, просвѣтленной эстетическимъ чувствомъ, живымъ созерцаніемъ красоты. И потому онъ съ дѣтскимъ простодушіемъ называлъ всѣ вещи, всѣ предметы ихъ настоящимъ именемъ. Батюшковъ называетъ это грубостью, но справедливо замѣчаетъ, что «эта грубость можетъ даже соединиться съ нѣкоторымъ простодушіемъ, совершенно противнымъ нашему искусству выражать все полусловами и развращать сердце, не оскорбляя слуха и вкуса». Вотъ отчего Гомеръ могъ рисовать такія картины, на которыя художникъ нашего времени никогда не осмѣлится; вотъ почему эти картины не только не безнравственны, но даже въ высшей степени нравственны,—и тѣ ошибаются, которые думаютъ, что онѣ могутъ имѣть вредное вліяніе на фантазію и чувство юноши, недавно вышедшаго изъ отрочества, или молодой дѣвушки. Грѣхъ состоитъ въ сознаніи грѣха: дитя можетъ очень невинно говорить о самыхъ виновныхъ предметахъ; а взрослый человѣкъ съ испорченной нравственностью и о самыхъ невинныхъ предметахъ можетъ говорить очень виновно. Грѣхъ состоитъ не въ томъ, чтобъ знать, но въ томъ, чтобъ ложно, криво, дурно знать. Для людей молодыхъ нѣтъ ничего вреднѣе знанія, тайкомъ пріобрѣтеннаго. Это своего рода контрабанда. Въ извѣстныя лѣта сама природа непосредственно открываетъ людямъ тайны, которыхъ они и не подозрѣвали въ своемъ дѣтствѣ. Въ это время не только не должно скрывать отъ молодыхъ людей извѣстныя тайны природы; но, напротивъ, открывать ихъ: это единственное средство спасти ихъ отъ сѣтей пагубной чувственности. Только это должно дѣлать умѣючи, и тайны природы просвѣтлять чувствомъ красоты и цѣломудрія, передавать ихъ не какъ смѣшные предметы, годные только для кощунства, но какъ великое таинство творящаго духа. У насъ обыкновенно думаютъ, что дѣвственная чистота состоитъ въ младенческомъ невѣдѣніи: ложная мысль! Если добродѣтель есть невѣдѣніе, то всѣ животныя—предобродѣтельныя особы. Добродѣтель дѣвушки не въ томъ, чтобъ она младенчески не знала, но въ томъ, чтобъ она младенчески знала и, въ знаніи, оставалась чистой и дѣвственной. Поэтому чтеніе Гомера не только не вредно, но положительно полезно молодымъ людямъ обоего пола. Только надобно, чтобъ этому чтенію не придавалось никакой тайны, чтобъ оно было законно, явно и не прерывалось при входѣ посторонняго человѣка. Что же касается въ особенности до юношей — Гомеръ преимущественно долженъ быть предметомъ ихъ школьныхъ изученій, классныхъ занятій.

Что можетъ быть прекраснѣе, граціознѣе и невиннѣе картины изъ «Иліады», какъ волоокая Гера, желая отвратить вниманіе Зевеса отъ боя троянъ и грековъ, чтобъ онъ не вздумалъ подать помощь ненавистнымъ ахеянамъ, обаяетъ его чарами любви и наслажденія; хотя предметъ этотъ самъ по себѣ, или изображенный не эстетически, могъ быть и не совсѣмъ невиненъ.

Еслибъ эта картина, вмѣсто глубокаго,

*) Эти слова Платона, какъ и всѣ приведенныя въ статьѣ о стихотвореніяхъ Лермонтова, выписаны изъ «Теоріи поэзіи въ ист. разв. у древн. и нов. народовъ». С. Шевырева,—книги, весьма примѣчательной своими выписками изъ Геродота, Платона, Аристотеля, Лессинга, Шиллера, Гёте, Шлегелей и другихъ.

**) Младенчество человѣчества въ естественномъ состояніи выражено азіатскими народами и египтянами; въ Греціи человѣчество является уже вышедшимъ изъ пеленъ природы и оковъ естественнаго закона.

Digitized by Google

но спокойнаго восторга, тихаго и свѣтлаго созерцанія, произвела въ комъ-нибудь нечистое и буйное упоеніе,—повторяемъ: въ этомъ былъ бы виноватъ не Гомеръ. Пьяный мужикъ будетъ плясать и подъ «Requiem» Моцарта, подъ симфонію Бетховена, которымъ посвященные внимаютъ съ благоговѣйнымъ восторгомъ. Поэтому мы думаемъ, что строгіе моралисты, указывающіе на подобныя мѣста въ поэзіи съ воплями на безнравственность, этимъ самымъ обнаруживаютъ только грубую, животно-чувственную натуру, на которую всякая нагота дѣйствуетъ раздражительно. И потому, понимая какъ слѣдуетъ понимать этихъ почтенныхъ господъ, оставимъ ихъ въ покоѣ ворчать на опаснаго для нихъ демона соблазна,—а сами, подъ эгидой мудрой русской поговорки: «къ чистому нечистое не пристанетъ», воскликнемъ вмѣстѣ съ великимъ Гёте, къ которому намъ уже давно бы пора обратиться:

Любящимъ намъ подобаетъ смиреніе; каждому богу
Мы въ тишинѣ поклоняемся, свято всегда исполняя
Заповѣдь римскихъ владыкъ. Намъ доступны кумиры
Всѣхъ народовъ, хотя съ изъ базальта грубо и рѣзко
Ихъ изваялъ египтянинъ, или грекъ утонченный изящно,
Мягко и нѣжно изъ бѣлаго мрамора создалъ; обители
Наши отверсты всегда и для всѣхъ. Одну лишь особенно
Чувствуемъ, любимъ, одной предпочтительно служимъ богинѣ:
Ей наши завѣтныя жертвы, нашъ ладонъ и мирро!
Съ нею что встрѣча—то праздникъ, гдѣ гости—веселье и шалость!

Послѣ всего сказаннаго надѣемся, никто не удивится, что мы не видимъ ничего страннаго въ мысли молодого нѣмецкаго поэта записывать свои мимолетныя ощущенія гекзаметрами, на манеръ древнихъ, прикидываться въ своихъ элегіяхъ какимъ-то грекомъ. Всякому возрасту свои радости и свои горести, свои наслажденія и свои лишенія: это законъ хранительнаго и любящаго Промысла. Отвратителенъ молодящійся старичекъ, но не лучше его и юноша, который корчитъ изъ себя старца: всему свое время и свое мѣсто; все благо, и велико, и разумно—въ свое время и на своемъ мѣстѣ.

Все чередой идетъ опредѣленной,
Всему пора, всему свой мигъ;
Смѣшонъ и вѣтреный старикъ,
Смѣшонъ и юноша степенный.
Пока живется намъ, живи;
Гуляй въ мое воспоминанье;
Усердствуй Вакху и любви,
И черни презирай роптанье;
Она не вѣдаетъ, что дружно можно жить
Съ Киферой, съ портикомъ, и съ книгой, и съ бокаломъ;
Что умъ высокій можно скрыть [валомъ.
Безумной шалости подъ легкимъ покры-

Рыцарская платоническая любовь можетъ вспыхнуть и въ душѣ двѣнадцатилѣтняго отрока; и это чувство будетъ въ немъ прекрасно, хотя и не дѣйствительно. Пусть онъ пламенѣетъ священнымъ огнемъ и вздыхаетъ тайкомъ про себя: со временемъ онъ самъ будетъ смѣяться надъ своимъ чувствомъ, но оно все-таки спасетъ его отъ многаго дурного и разовьетъ въ его душѣ много благихъ сѣмянъ. Но какъ ни прекрасно такое чувство, оно въ богатой натурѣ не погаситъ потребности другого, болѣе соотвѣтствующаго возрасту чувства. Въ лѣта юности крайности легко сходятся, и молодое сердце нерѣдко въ одно и то же мгновеніе питаетъ противоположныя стремленія: пламенная вѣра идетъ объ руку съ холоднымъ сомнѣніемъ, идеальные порывы смѣняются увлеченіемъ земныхъ страстей. Въ первой молодости человѣку всего сроднѣе та любовь, которая, не пуская въ сердце глубокихъ корней, любитъ перелетать отъ предмету къ предмету, которая вспыхиваетъ отъ каприза, разгорается отъ препятствія и погасаетъ отъ удовлетворенія. Много жизни, много радостей въ золотомъ бокалѣ юности,—и благо тому, кто не осушалъ его до самаго дна, кто не вѣдалъ тоски пресыщенія! Много счастья, много восторговъ въ любви безумной юности, — и лишь бы ея бурныя упоенія, ея младыя шалости не были животны и грубы, но умѣрялись, облагораживались и просвѣтлялись эстетическимъ чувствомъ, напутствовались Харитами,—они будутъ и безгрѣшны, и нравственны. Такая любовь въ натурѣ глубокой, въ душѣ благодатной, не можетъ быть утѣхой цѣлой жизни, но всегда бываетъ необходимой данью возрасту, и—у одного раньше, у другого позже—уступаетъ мѣсто чувству болѣе духовному, болѣе высокому. Но этотъ возрастъ соотвѣтствуетъ греческому періоду жизни человѣчества и есть необходимый, великій моментъ развитія, хотя онъ и долженъ уступить мѣсто еще высшему моменту. Юность выше младенчества, возмужалость выше юности; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ человѣкъ не жилъ, а только прозябалъ до возмужалости. И младенчество, и юность суть великіе моменты развитія; каждый изъ нихъ—самъ себѣ цѣль и полонъ разумности и поэзіи. Какъ въ эллинской жизни отношенія половъ облагораживались и освѣщались идеею красоты и граціи, такъ и въ юности человѣка самое мимолетное чувство и всѣ наслажденія любви должны быть эстетичны, чтобъ не быть безнравственными. Развратъ состоитъ въ животной чувственности, въ которой уже

Digitized by Google

не можетъ быть никакой поэзіи, потому что въ поэзію могутъ входить только разумные элементы жизни, а въ томъ нѣтъ разумности, что́ унижаетъ человѣка до животнаго.

Любовь первой юности, любовь эллинская, артистическая — основной элементъ «Римскихъ Элегій» Гёте. Молодой поэтъ посѣтилъ классическую почву Рима; душа его вольно раскинулась подъ яхонтовымъ небомъ юга, въ тѣни оливъ и лавровъ, среди памятниковъ древняго искусства. Тамъ люди похожи на изящныя статуи, тамъ женщины напоминаютъ черты Венеры Медичейской. Лѣнивая, сладострастная, созерцательная жизнь, проникнутая чувствомъ изящнаго, тамъ вполнѣ соотвѣтствуетъ идеалу художника. Гёте бросился въ эту жизнь со всѣмъ забвеніемъ, со всѣмъ упоеніемъ поэта; дня свои посвящалъ онъ ученію, ночи — любви, какъ онъ самъ говоритъ въ этой прекрасной элегіи:

Весело, славно живу я здѣсь, на классической почвѣ;
Утро проходитъ въ занятьяхъ: читая творенія древнихъ,
Умъ постигаетъ яснѣй вѣкъ и людей современныхъ;
Ночь посвящаю богу любви: пусть вполовину
Буду я только ученъ,—да за это блаженъ я трикраты!
Впрочемъ учиться могу я и тутъ, какъ вездѣ, созерцая
Формы живыя лучшаго въ мірѣ созданья: въ ту пору
Глазомъ смотрю осязающимъ, зрящей рукой осязаю
Тайну искусства, мраморъ и краски вполнѣ изучая.

Кто не раздѣлитъ этого пламеннаго одушевленія, этого артистическаго восторга художника, съ какимъ онъ видитъ себя на родной ему почвѣ классической страны!

О, какъ мнѣ весело въ Римѣ, если я вспомню, когда
Бремя туманнаго, сѣраго неба на мнѣ тяготѣло,
Вспомню то время, когда пасмурный сѣверный день
Душу томилъ, предо мною блѣдный покровъ разстилая;
Бѣденъ, голъ и безцвѣтенъ міръ мнѣ казался,—и я,
Вѣчно ничѣмъ недовольный, самъ о себѣ размышляя,
Грустно въ путь безотрадный взоры мои устремлялъ.
Нынѣ счастливца главу окружаетъ эоиръ животворный!
Феба велѣньемъ послушны мнѣ формы и краски; съ небесъ
Нѣгою вѣетъ, и тихо въ ночи свѣтозарной льются
Мягкія, сладкія пѣсни. Лучъ италійской луны
Свѣтитъ мнѣ ярче полярнаго солнца—и бѣдному смертному,
Мнѣ, жребій достался чудесный!...

Да, обвѣянный геніемъ классической древности, гдѣ и природа, и люди, и памятники искусствъ,—все говорило ему о богахъ Греціи, о ея роскошно поэтической жизни,— Гёте долженъ былъ сдѣлаться на то время если не грекомъ, то умнымъ скиѳомъ Анахарсисомъ, въ чужой землѣ обрѣтшимъ свою родину. Періодъ жизни, который онъ переживалъ, артистическая настроенность духа, — все соотвѣтствовало въ немъ духу эллинской жизни. И какъ идетъ гекзаметръ къ его элегіямъ, дышащимъ юностью, спокойствіемъ, наивностью и граціей! Сколько пластицизма въ его стихѣ, какая рельефность и выпуклость въ его образахъ! Забываете, что онъ—нѣмецъ и почти современникъ вашъ, забываете, какъ и онъ забылъ это, принявши капитолійскую гору за Олимпъ и думая видѣть себя приведеннымъ Гебою въ чертоги Зевеса.

Подобно антологическимъ стихотвореніямъ древнихъ, каждая элегія Гёте захватываетъ какое-нибудь мимолетное ощущеніе, идею, случай, и замыкаетъ ихъ въ образъ, полный граціи, плѣняющій неожиданнымъ, остроумнымъ и въ то же время простодушнымъ оборотомъ мысли. Вотъ напримѣръ:

Другъ, когда говоришь, что въ дѣтствѣ ты людямъ не нравилась,
Или, что мать не любила тебя, что тихо, одна
Ты выростала, и поздно сама развилась — охотно
Вѣрю тебѣ; пріятно, сладко подумать, что ты
Малымъ ребенкомъ еще отъ другихъ отличалась. Подруга!
Участь твоя, что́ цвѣтокъ виноградный: чужды ему
Нѣжныя формы и яркія краски; но грозды созрѣли—
Боги и люди мгновенно ими вѣнчаютъ себя.

«Римскія Элегіи» Гёте явно есть то, что́ у насъ въ прошломъ вѣкѣ называлось легкой поэзіей, а теперь получило названіе антологической поэзіи. Названіе это произошло отъ сборника мелкихъ произведеній греческой поэзіи или эпиграммъ. Вотъ какъ характеризуетъ Батюшковъ древнюю эпиграмму:

«Мы называемъ *эпиграммой* краткіе стихи сатирическаго содержанія, кончающіеся острымъ словомъ, укоризной или шуткой. Древніе давали этому слову другое значеніе. У нихъ каждая небольшая пьеса, размѣромъ элегическимъ писанная (т. е. гекзаметромъ и пентаметромъ), называлась эпиграммой. Ей все служитъ предметомъ; она то поучаетъ, то шутитъ, и почти всегда дышитъ любовью. Часто она не что́ иное, какъ мгновенная мысль или быстрое чувство, рожденное красотами природы или памятниками художества. Иногда греческая эпиграмма полна и совершенна; иногда небрежна и неокончена—какъ звукъ, вдали исчезающій. Она почти никогда не заключается разительной, острой мыслью, и чѣмъ древнѣе, тѣмъ проще. Этотъ родъ поэзіи украшалъ и пиры, и гробницы.—Напоминая о ничтожности мимоидущей жизни, эпиграмма твердила: «Смертный, лови

Digitized by Google

мигъ улетающій!» рѣзвилась съ Лаисой и, улыбаясь кротко и незлобно, слегка уязвляла невѣжество и глупость. Истинный Протей, она принимаетъ всѣ виды; и когда мы къ ея плѣнительной живости прибавимъ неизъяснимую прелесть совершеннѣйшаго языка въ мірѣ,—языка, обработаннаго превосходнѣйшими писателями: тогда только можемъ имѣть понятіе ясное и точное, съ какимъ восхищеніемъ, съ какой радостью любитель древности перечитываетъ греческую антологію.»

Очевидно, что подъ антологическими стихотвореніями древнихъ должно разумѣть то, что̀ мы называемъ м е л к и м и л и р и ч е с к и м и пьесами. Поэзія древнихъ во всѣхъ родахъ — и въ лирикѣ, и въ драмѣ, отличается эпическимъ характеромъ; гимны Гезіода, оды Пиндара похожи на эпическія поэмы даже по своему объему: почти всѣ они очень велики для лирическихъ пьесъ. Слѣдовательно, эпиграммы древнихъ соотвѣтствуютъ тому, что̀ мы называемъ «пѣснію, элегіей, сонетомъ, канцоной, стансами, надписями, эпитафіями» и т. п. Оды Анакреона и Сафо тоже—эпиграммы. Отличительный характеръ эпиграммы—краткость, единство ощущенія или мысли, спокойствіе, наивность выраженія, пластицизмъ и мраморная рельефность формы. Вотъ для образца одна изъ такихъ эпиграммъ, художественно переведенныхъ пластическимъ Батюшковымъ:

Смотрите, виноградъ кругомъ меня какъ вьется!
Какъ любитъ мой полуистлѣвшій пень!
Я нѣкогда ему давалъ отрадну тѣнь:
Завялъ; но виноградъ со мной не разстается.
Зевеса умоли,
Прохожій, если ты для дружества способенъ,
Чтобъ другъ твой моему былъ нѣкогда подобенъ,
И пепелъ твой любилъ, оставшись на земли.

Новѣйшіе поэты европейскихъ литературъ давно уже обратили свое вниманіе на греческую антологію, и то переводили изъ нея, то писали сами въ ея духѣ,—въ обоихъ случаяхъ соперничествуя съ классическимъ геніемъ древности. Этимъ они внесли новый элементъ въ поэзію своего языка—элементъ пластическій, и имъ возвысили ее: ибо идеалъ новѣйшей поэзіи—классическій пластицизмъ формы при романтической эѳирности, летучести и богатствѣ философскаго содержанія. Гёте, поэтъ пластическій по натурѣ своей, еще болѣе усвоилъ себѣ эту пластическую форму черезъ знакомство съ древними. Пламенный, энергическій Шиллеръ, поэтъ по преимуществу романтическій, любилъ отдыхать и забываться душой въ свѣтломъ мірѣ греческой жизни. Онъ такъ поэтически оплакалъ паденіе прекрасныхъ боговъ Греціи; онъ такъ поэтически воспѣлъ въ «Четырехъ Вѣкахъ» золотой вѣкъ Сатурна! Много вынесъ онъ изъ древняго міра свѣтлыхъ и дивныхъ явленій. Правда, онъ въ греческое содержаніе внесъ какой-то оттѣнокъ новѣйшаго міросозерцанія; но это еще болѣе возвышаетъ цѣну его произведеній въ древнемъ родѣ. Мы уже упоминали о «Торжествѣ Побѣдителей» и «Жалобахъ Цереры», такъ прекрасно переданныхъ по-русски нашимъ Жуковскимъ; но есть у него много пьесъ и въ чисто-антологическомъ родѣ,

По сродству съ классическимъ геніемъ древности, италіанскіе поэты должны часто напоминать древнихъ вообще, а слѣдовательно и ихъ антологическую поэзію. Вотъ въ этомъ родѣ пьеса Тасса, вольно переведенная Батюшковымъ:

Дѣвица юная подобна розѣ нѣжной,
Взлелѣянной весной подъ сѣнію надежной:
Ни стадо алчное, ни взоры пастуховъ
Не знаютъ тайнаго сокровища луговъ;
Но вѣтеръ сладостный, но рощи благовонны,
Земля и небеса прекрасной благосклонны.

Хотя геній французскаго языка и французской литературы, отличающихся характеромъ какого-то прозаизма, и діаметрально противоположенъ генію языка и поэзіи греческой, — однакожъ и у французовъ есть поэтъ, котораго муза родственна музѣ древнихъ и котораго многія пьесы напоминаютъ древнія антологическія стихотворенія. Мы говоримъ объ Андреѣ Шенье, котораго нашъ Пушкинъ такъ много любилъ, что и переводилъ изъ него, и подражалъ ему, и даже создалъ поэтическую апоѳеозу всей его славной жизни и славной смерти. Вотъ двѣ пьесы Андрея Шенье, изъ которыхъ первая переведена Пушкинымъ, а вторая—Козловымъ:

Близъ мѣстъ, гдѣ царствуетъ Венеція златая,
Одинъ ночной гребецъ, гондолой управляя,
При свѣтѣ Веспера по взморію плыветъ,
Ринальда, Годфреда, Эрминію поетъ.
Онъ любитъ пѣснь свою, поетъ онъ для забавы,
Везъ дальнихъ умысловъ, не вѣдаетъ ни славы,
Ни страха, ни надеждъ, и тихой музы полнъ,
Умѣетъ услаждать свой путь надъ бездной волнъ.
На морѣ жизненномъ, гдѣ бури такъ жестоко
Преслѣдуютъ во мглѣ мой парусъ одинокой,
Какъ онъ, безъ отзыва утѣшно я пою
И тайные стихи обдумывать люблю.

Стремятся не ко мнѣ съ любовью и хвалами,
И много отъ сестры отстала я годами.
Душистый ли цвѣтокъ мнѣ юноша даритъ—
Онъ мнѣ его даетъ, а на сестру глядитъ;
Любуется-ль моей младенческой красою,
Всегда примолвитъ онъ: какъ я сходна съ сестрою.
Увы! двѣнадцать разъ лишь мнѣ весна цвѣла!
Мнѣ въ пѣсняхъ не поютъ, что я сердцамъ мила,
Что я плѣненныхъ мной измѣной убиваю!
Но что же—подождемъ: мою красу я знаю!
Я знаю: у меня, во блескѣ молодомъ,
Есть алыя уста съ ихъ ровнымъ жемчугомъ,
И розы на щекахъ, и кудри золотыя,
Рѣсницы черныя и очи голубыя!

Батюшковъ говоритъ, что у насъ первые начали писать въ антологическомъ родѣ Ломоносовъ и Сумароковъ. Что касается до

Digitized by Google

послѣдняго—мы, не желая говорить о пустякахъ, умолчимъ о его антологическихъ стихотвореніяхъ. Ломоносовъ написалъ въ антологическомъ родѣ пьесу «Мокрый Амуръ», которая несказанно восхищала его современниковъ; но мы не видимъ въ ней ни вкуса, ни таланта, ни поэзіи; антологическаго же въ ней еще меньше. Антологическая поэзія требуетъ большого таланта, ибо требуетъ въ высшей степени художественной формы, недостатка которой не можетъ искупить ни пламенное чувство, ни богатство содержанія. Батюшковъ упоминаетъ еще объ удачныхъ подражаніяхъ антологической поэзіи Вольтера, будто бы мастерски переведенныхъ по-русски Дмитріевымъ. Чтобъ не завлечься далеко сличеніями, не скажемъ, до какой степени удачны его подражанія антологіи Вольтера; но можемъ сказать утвердительно, что въ мастерскихъ переводахъ Дмитріева рѣшительно нѣтъ ничего мастерского—нѣтъ ни призрака пластичности, ни искры поэзіи или таланта. Это проза въ стихахъ, которые въ свое время дѣйствительно были хороши, а теперь стали очень плохи. Дмитріевъ былъ человѣкъ необыкновенно умный, острый; онъ оказалъ большія услуги русскому языку и литературѣ; но его поэзія—поэзія головы и разсудка, а не сердца и фантазіи; въ его духѣ не было ничего родственнаго съ духомъ эллинизма; стихъ его прозаиченъ, образы вялы и отвлеченны. Первый началъ у насъ писать въ антологическомъ родѣ Державинъ. Въ своихъ такъ называемыхъ а н а к р е о н т и ч е с к и х ъ стихотвореніяхъ онъ является тѣмъ же, чѣмъ и въ одѣ,—человѣкомъ, одареннымъ большими поэтическими силами, но неумѣвшимъ управляться съ ними по недостатку вкуса и художественнаго такта. Въ цѣломъ, всѣ произведенія Державина — какія-то безобразныя массы грубаго вещества, блещущія драгоцѣнными камнями въ подробностяхъ. Но цѣлаго у него никогда не ищите; превосходнѣйшіе стихи перемѣшаны у него съ самыми прозаическими, плѣнительнѣйшіе образы — съ самыми грубыми и уродливыми. Потому-то Державина теперь никто не читаетъ, хотя и всѣ справедливо признаютъ въ немъ огромный талантъ. Напрасно думаютъ многіе, что дурной языкъ и некрасивые стихи ничего не значатъ и могутъ искупаться полнотой чувства, богатствомъ фантазіи и глубокими идеями: сущность поэзіи—красота, и безобразіе въ нѣй не какой-нибудь частный и простительный недостатокъ, но смертоносный элементъ, убивающій въ созданіи поэта даже истинно прекрасныя мѣста. Одинъ дурной стихъ, одно прозаическое выраженіе, одно неточное слово иногда уничтожаетъ достоинство цѣлой и притомъ прекрасной пьесы. Пушкинъ потому и великій художникъ, что каждая его пьеса выдержана отъ начала до конца, ровна въ тонѣ и въ малѣйшихъ подробностяхъ соотвѣтствуетъ своему цѣлому. Для доказательства справедливости нашихъ словъ, нарочно выписываемъ здѣсь большую, поэтическую по мысли и отличающуюся необыкновенными красотами анакреонтическую оду Державина—«Рожденіе Красоты». Чтобъ быть понятными для всѣхъ безъ лишнихъ словъ, — слабыя мѣста, безвкусныя выраженія, дурные стихи, неточныя слова мы означимъ курсивомъ:

Сотворя Зевесъ вселенну,
Звалъ боговъ всѣхъ на обѣдъ.
Вкругъ нектара чашу пѣнну
Разносилъ имъ Ганимедъ.
Медъ, амброзія блистала
Въ ихъ устахъ, по лицамъ огнь,
Благовоній мгла летала,
И Олимпъ былъ свѣта полнъ.
Раздавались пѣсенъ хоры,
И звучалъ весельемъ пиръ;
Но внезапно какъ-то взоры
Опустилъ Зевесъ на міръ—
И, увидя царства, грады,
Что погибли отъ боевъ;
Что богини мечутъ взгляды
На бѣднѣйшихъ пастуховъ,—
Распалился столько гнѣвомъ,
Что курчавой головой
Покачавъ, шатнулъ всѣмъ небомъ,
Адомъ, моремъ и землей *).
Вмигъ сокрылся *блескъ лазуря;*
Тьма съ бровей, огонь съ очесъ,
Вихорь съ ризъ его, и буря
Возшумѣла отъ небесъ;
Разразились всюду громы,
Мракъ во пламени горѣлъ,
Яры волны будто холмы,
Понтъ стремился и ревѣлъ;
Въ растворенны безднъ утробы
Тартаръ искры извергалъ,
Въ тучи Фебъ, какъ въ чорны гробы,
Погруженный трепеталъ;
И средь страшной сей тревоги
Коль еще бы грянулъ громъ,
Міръ, Олимпъ, чертогъ и боги
Повернулся бы вверхъ дномъ **).
Но Зевесъ вдругъ умилился:
Стало, знать, красавицъ жаль;
А какъ съ ними не смирился,
Новую тотчасъ создалъ:
Ввилъ въ власы пески златые,
Пламя—въ очи и уста,
Небо въ очи голубыя,
Пѣну въ грудь—и красота
Вмигъ изъ волнъ морскихъ родилась;
А взглянула лишь она,
Тотчасъ буря укротилась,
И настала тишина.
Сизы, юные дельфины,
Облелѣя табуномъ,

*) По нашему мнѣнію, эти четыре стиха—торжество Державинской поэзіи,—и не смотря на ихъ какъ бы шуточный тонъ, они исполнены антологической граціи и вмѣстѣ классическаго величія.

**) Какая трескотня надутыхъ риторическихъ фразъ! какое безвкусіе въ образѣ выраженія!

Digitized by Google

На свои ее взявъ спины,
Мчали по пучинѣ волнъ.
Бѣлы голуби станицей,
Гдѣ откуда ни взялись,
Подъ жемчужной колесницей
Съ ней на воздухъ поднялись;
И летя подъ облаками,
Вознесли на звѣздный холмъ;
Зевсъ обнялъ ее лучами
Съ улыбнувшимся лицомъ *);
Боги молча удивлялись
На красу, *разиня ротъ*,
И согласно въ томъ признались:
Миръ и брани—отъ *красотъ*.

Вотъ уже подлинно глыба грубой руды съ яркими блестками чистаго, самороднаго золота! И таковы то всѣ анакреонтическія стихотворенія Державина: они больше, нежели все прочее, служатъ ручательствомъ его громаднаго таланта, а вмѣстѣ съ тѣмъ и того, что онъ былъ только поэтъ, а отнюдь не художникъ, т. е., обладая великими силами поэзіи, не умѣлъ владѣть ими. Ни одна пьеса его не чужда риторики, слабыхъ, растянутыхъ и вялыхъ стиховъ, вставочныхъ мѣстъ, и потому всѣ онѣ лишены индивидуальной цѣлостности, общности впечатлѣнія, лишены этой виртуозности, которую придаетъ произведенію окончательная отдѣлка художническаго рѣзца поэта.

Тѣмъ не менѣе Державину первому принадлежитъ честь ознакомить русскихъ съ антологической поэзіей,—и его анакреонтическія пьесы, недостаточныя въ цѣломъ, блещутъ неподражаемыми красотами въ частностяхъ, хотя и нужно имѣть слишкомъ много самоотверженія, свойственнаго пламеннымъ диллетантамъ, чтобъ усмотрѣть въ нихъ красоты, несмотря на восторгъ, безпрестанно охлаждаемый дурными стихами.

Державинъ только началъ; но дѣйствительно познакомили насъ съ духомъ древней классической литературы и переводами, и оригинальными произведеніями два поэта—Гнѣдичъ и Батюшковъ **): первый,—своимъ переводомъ «Иліады»—этимъ гигантскимъ подвигомъ великаго таланта и великаго труда, переводомъ идилліи Теокрита «Сиракузянки», собственной идилліей «Рыбаки» и другими произведеніями. Муза Батюшкова была сродни древней музѣ. Жаль только, что духъ времени и французская эстетика лишили этого поэта свободнаго и самобытнаго развитія. До Пушкина не было у насъ ни одного поэта съ такимъ классическимъ тактомъ, съ такой пластичной образностью въ выраженіи, съ такой скульптурной музыкальностью, если можно такъ выразиться, какъ Батюшковъ. Мы уже приводили въ примѣръ его истинно образцовые, истинно артистическіе переводы изъ Антологіи: самъ Пушкинъ не отрекся бы назвать ихъ своими—такъ хороши нѣкоторые изъ нихъ. И между тѣмъ всѣ, зная «Умирающаго Тасса» и другія большія произведенія Батюшкова, какъ будто и не хотятъ знать о его переводахъ изъ Антологіи—лучшемъ произведеніи его музы. И это понятно: произведенія въ древнемъ родѣ, подобно камнямъ и обломкамъ барельефовъ, находимымъ въ Помпеѣ, могутъ услаждать вкусъ только глубокихъ цѣнителей искусства, приводить въ восторгъ только тонкихъ знатоковъ изящнаго; для толпы они недоступны. Толпа обыкновенно зѣваетъ на кумиръ, котораго глубокое значеніе извѣстно одному жрецу. Сколько грусти, задушевности, сладострастнаго упоенія, нѣжнаго чувства и роскоши образовъ въ этомъ антологическомъ стихотвореніи:

Въ Лаисѣ нравится улыбка на устахъ,
Ея плѣнительны для сердца разговоры;
Но мнѣ милѣй ея потупленные взоры
И слезы горести внезапной на очахъ.
Я въ сумерки, вчера, одушевленный страстью,
У ногъ ея любви всѣ клятвы повторялъ,
И съ поцѣлуемъ къ сладострастью
На ложе роскоши тихонько увлекалъ...
Я таялъ, и Лаиса млѣла...
Но вдругъ уныла, поблѣднѣла,—
И слезы градомъ изъ очей!
Смущенный, я прижалъ ее къ груди моей;
Что сдѣлалось, скажи, что сдѣлалось съ тобой?—
Спокойся, ничего, безсмертными клянусь,
Я мыслію была встревожена одною:
Вы всѣ обманчивы, и я—тебя страшусь...

Сколько роскоши и вакханальнаго упоенія въ этомъ апотеозѣ сладострастія:

Тебѣ-ль оплакивать утрату юныхъ дней?
Ты въ красотѣ не измѣнилась,
И для любви моей
Отъ времени еще прелестнѣе явилась.
Твой другъ не дорожитъ неопытной красой,
Незрѣлой въ таинствахъ любовнаго искусства,
Безъ жизни взоръ ея стыдливый и нѣмой,
И робкій поцѣлуй безъ чувства.
Но ты, владычица любви,
Ты страсть вдохнешь и въ мертвый камень;
И въ осень дней твоихъ не погасаетъ пламень,
Текущій съ жизнію въ крови.

Какая пластическая образность, умѣряющая внутреннее клокотаніе страсти и просвѣтляющая его до идеальнаго чувства, въ этой послѣдней антологической элегіи Батюшкова перевода:

Изнемогаетъ жизнь въ груди моей остылой;
Конецъ боренію; увы, всему конецъ!
Киприда и Эротъ, мучители сердецъ!
Услышьте голосъ мой послѣдній и унылой.
Я вяну, и еще мученія терплю;
Полмертвый, но сгараю.
Я вяну, но еще такъ пламенно люблю,

*) Какіе превосходные два стиха, полные гомерическаго величія и граціи.

**) Имя Мерзлякова также заслуживаетъ упоминанія въ дѣлѣ знакомства нашей литературы съ древней поэзіей: нѣкоторые его переводы изъ древнихъ весьма примѣчательны; переведенная имъ элегія «Сафо къ Венерѣ» особенно интересна и сама по себѣ, и въ сравненіи съ этой самой пьесой Державина.

Digitized by Google

И безъ надежды умираю!
Такъ, жертву обхвативъ кругомъ,
На алтарѣ огонь блѣднѣетъ, умираетъ,
И, вспыхнувъ ярче предъ концомъ.
На пеплѣ погасаетъ!

Пушкинъ, котораго поэтическій геній носилъ въ себѣ всѣ элементы жизни, которому доступны и родственны были всѣ сферы духа, всѣ моменты всемірно-историческаго развитія человѣчества, который былъ столько же поэтъ классическій, сколько поэтъ романтическій и поэтъ новѣйшаго времени,— Пушкинъ съ особенной любовью обращалъ свое вниманіе на обаятельный міръ древняго искусства. Его неистощимая и многосторонняя художническая дѣятельность обогатила нашу литературу множествомъ превосходнѣйшихъ произведеній въ антологическомъ родѣ, въ которыхъ дивная гармонія его стиха сочеталась съ самымъ роскошнымъ пластицизмомъ образовъ: это мраморныя изваянія, которыя дышатъ музыкой... Мы не имѣемъ нужды въ большихъ выпискахъ для доказательства нашей мысли: всѣ стихотворенія Пушкина извѣстны наизусть каждому сколько-нибудь образованному человѣку на всемъ пространствѣ великой Руси. Потому приведемъ въ примѣръ только три небольшія пьесы — и то не въ оправданіе нашего взгляда на ихъ художественное достоинство, а для того, чтобъ яснѣе и очевиднѣе показать, что̀ такое антологическая поэзія, и какъ высказывается эллинскій духъ въ «божественной эллинской рѣчи»—какъ назвалъ ее самъ Пушкинъ.

Среди зеленыхъ волнъ, лобзающихъ Тавриду,
На утренней зарѣ я видѣлъ Нереиду,
Сокрытый межь деревъ, едва я смѣлъ дохнуть:
Надъ ясной влагою полубогиня грудь
Младую, бѣлую, какъ лебедь, воздымала
И пѣну изъ власовъ струею выжимала.

Чистый лоснится полъ; стеклянныя чаши блистаютъ;
Всѣ ужъ увѣнчаны гости; иной обоняетъ, зажмурясь,
Ладана сладостный дымъ; другой открываетъ амфору,
Запахъ веселый вина разливая далече; сосуды
Свѣтлой, студеной воды, золотистые хлѣбы, янтарный
Медъ и сыръ молодой: все готово; весь убранъ цвѣтами
Жертвенникъ. Хоры поютъ. Но въ началѣ трапезы, о други,
Должно творить возліянье, вѣщать благовѣщія рѣчи,
Должно безсмертныхъ молить, да сподобятъ насъ чистой душою
Правду блюсти: вѣдь оно же и легче. Теперь мы приступимъ:
Каждый въ мѣру свою напивайся. Бѣда не велика
Въ ночь, возвращаясь домой, на раба опираться; но слава
Гостю, который за чашей бесѣдуетъ мудро и тихо!

Юношу, горько рыдая, ревнивая дѣва бранила;
Къ ней на плечо преклонясь, юноша вдругъ задремалъ.
Дѣва тотчасъ умолкла, сонъ его легкій лелѣя,
И улыбалась ему, тихія слезы лія.

Эти три пьесы могутъ служить высочайшимъ идеаломъ антологической поэзіи. Вотъ перечень другихъ: «Доридѣ», «Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда», «Дорида», «Муза», «Діонея», «Дѣва», «Примѣты», «Земля и Море», «Красавица передъ Зеркаломъ», «Ночь», «Ты вянешь и молчишь», «Сафо», «Буря», «Отвѣтъ Θ. Т.», «Соловей», «Кобылица молодая», «Городъ пышный, городъ бѣдный», «Птичка», «Къ портрету Жуковскаго», «Лилѣ», «Имянины», «Веселый пиръ», «Не плѣняйся бранной славой», «Поѣдемъ, я готовъ», «Риѳма», «Трудъ», «Каковъ я прежде былъ», «Сѣтованіе», «Художнику», «Три ключа», «LVII ода Анакреона», «Богъ веселый винограда», «Мальчику», «Изъ Анакреона», «Добрый совѣтъ», «Счастливъ, кто избралъ своенравно», «Подражаніе арабскому», «Леила», «Послѣдніе Цвѣты», «Лукъ звенитъ, стрѣла трепещетъ» и пр. Многимъ можетъ быть покажется странно, что мы относимъ къ числу антологическихъ не только такія стихотворенія, которыхъ содержаніе принадлежитъ скорѣе новѣйшему міру, нежели древнему, но даже и подражаніе арабской пьесѣ, тогда какъ аравійская поэзія не имѣетъ ничего общаго съ греческой. На это мы отвѣтимъ, что сущность антологическихъ стихотвореній состоитъ не столько въ содержаніи, сколько въ формѣ и манерѣ. Простота и единство мысли, способной выразиться въ небольшомъ объемѣ, простодушіе и возвышенность въ тонѣ, пластичность и грація формы — вотъ отличительные признаки антологическаго стихотворенія. Тутъ обыкновенно, въ краткой рѣчи, молніеносномъ и неожиданномъ оборотѣ, въ простыхъ и немногосложныхъ образахъ, схватывается одно изъ тѣхъ ощущеній сердца, одна изъ тѣхъ картинъ жизни, для которыхъ нѣтъ слова на вседневномъ языкѣ человѣческомъ, и которыя находятъ свое выраженіе только на языкѣ боговъ въ поэзіи, въ опроверженіе ложнаго мнѣнія людей добрыхъ, почтенныхъ, но ничего не разумѣющихъ въ дѣлѣ искусства, которые утверждаютъ, въ простотѣ ума и сердца, что слово недостаточно для мысли, какъ-будто слово не есть явленіе мысли... Вотъ напримѣръ антологическое стихотво-

Digitized by Google

реніе одного неизвѣстнаго, но даровитаго поэта, въ которомъ выражено обаяніе сна; лучше сказать, усыпленія послѣ прогулки фантастическимъ вечеромъ мая: прочтите его, — и вы сами поймете лучше всякихъ объясненій, что поэзія есть выраженіе невыражаемаго, разоблаченіе таинственнаго— ясный и опредѣлительный языкъ чувства нѣмотствующаго и теряющагося въ своей неопредѣленности:

Когда ложится тѣнь прозрачными клубами
На нивы спѣлыя, покрытыя скирдами,
На синіе лѣса, на влажный злакъ луговъ,
Когда надъ озеромъ бѣлѣетъ столпъ паровъ,
И въ рѣдкомъ тростникѣ, медлительно качаясь,
Сномъ чуткимъ лебедь спитъ, на влагѣ отражаясь,
Иду я подъ родной соломенный мой кровъ,
Раскинутый въ тѣни акацій и дубовъ,
И тамъ, съ улыбкой на устахъ своихъ привѣтныхъ,
Въ вѣнцѣ изъ яркихъ звѣздъ и маковъ темноцвѣтныхъ,
И съ грудью бѣлою подъ черной кисеей,
Богиня мирная, являясь предо мной,
Сіяньемъ палевымъ главу мнѣ обливаетъ
И очи тихою рукою закрываетъ,
И, кудри подобравъ, главой склонясь ко мнѣ,
Лобзаетъ мнѣ уста и очи въ тишинѣ.

Что̀ это такое? — Вздохъ музыки, палевый лучъ луны, играющій на поверхности спящаго пруда, поэтическая апоѳеоза простого дѣйствія природы въ фантастическомъ образѣ легкой феи, успокоительной царицы сна?—Что̀ бы ни было — вы его понимаете, оно вамъ знакомо, вы не разъ испытывали его, это *что-то*, которому поэтъ далъ и образъ, и имя... Это — ощущеніе всѣмъ знакомое и всѣмъ общее въ жизни. А вотъ и картина: вспомните Пушкина: «Юношу, горько рыдая, ревнивая дѣва бранила». Глубокъ смыслъ этой прелестной картины: она—одно изъ обычныхъ явленій молодой любви, она выражаетъ общій характеръ любящаго женскаго сердца, которое изливается въ упрекахъ и ненависти отъ полноты оскорбленной любви, и—все отъ той же любви—сторожа̀ покой милаго ему оскорбителя, изливается тихими слезами, готовыми уступить мѣсто и тихой радости, и бурнымъ восторгамъ...

Содержаніе антологическихъ стихотвореній можетъ браться изъ всѣхъ сферъ жизни, а не изъ одной греческой: только тонъ и форма ихъ должны быть запечатлѣны эллинскимъ духомъ. Изъ приведенныхъ нами примѣровъ ясно можно видѣть, въ чемъ состоитъ эллинизмъ формы. Почему къ антологическимъ же стихотвореніямъ Пушкина должно причислить и пьесу: «Въ крови горитъ огонь желанья», хотя она взята и совершенно изъ другого міра поэзіи.

Мало этого: поэтъ можетъ вносить въ антологическую поэзію содержаніе совершенно новаго и слѣдовательно чуждаго классицизму міра, лишь бы только могъ выразить его въ рельефномъ и замкнутомъ образѣ, этими волнистыми, какъ струи мрамора, стихами, съ этой печатью виртуозности, которая была принадлежностью только древняго рѣзца. Къ такимъ пьесамъ причисляемъ мы Пушкина: «Простишь ли мнѣ ревнивыя мечты», «Ненастный день потухъ», «Я васъ любилъ» и «Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье». Но «Воспоминаніе» и «Подъ небомъ голубымъ страны своей родной» уже не могутъ быть отнесены къ разряду антологическихъ стихотвореній, сколько по содержанію, слишкомъ полному думы и вниканія, и притомъ такъ грустныхъ и печальныхъ,—столько и по формѣ поэтической, но не пластической. Антологическая поэзія допускаетъ въ себя и элементъ грусти, но грусти легкой и свѣтлой, какъ таинственный сумракъ жилища тѣней, какъ тихое безмолвіе сада, уставленнаго урнами съ пепломъ почившихъ. Грусть въ антологической поэзіи—это улыбка красавицы сквозь слезы.

Что же касается до пластицизма антологической поэзіи,—этотъ пластицизмъ отнюдь не долженъ быть какимъ-нибудь внѣшнимъ нарядомъ, искусственной отдѣлкой или извѣстной манерой, но выраженіемъ внутренняго и сокровеннаго духа жизни, которымъ дышетъ всякое художественное произведеніе — творческой, живоначальной идеи. Переводчикъ «Римскихъ Элегій» Гёте говоритъ о нихъ въ своемъ краткомъ предисловіи такъ: «Способность великаго создателя «Фауста» подчинять самые пылкіе порывы одушевленія законамъ изящнаго дала этимъ отрывкамъ всю прелесть художественной отдѣлки, накинула на обольстительные образы завѣсу граціи и вкуса; причуды геніальнаго воображенія, игривыя движенія души поэта не оскорбляютъ ни чувства, ни теоріи». Мысль не совсѣмъ вѣрная или по крайней мѣрѣ не совсѣмъ вѣрно выраженная! Ея значеніе таково, какъ будто Гёте подкрасилъ само по себѣ не совсѣмъ красивое, соблазнительное сдѣлалъ только обольстительнымъ, тогда какъ онъ въ самомъ дѣлѣ прекрасное по идеѣ и сущности выразилъ въ прекрасной формѣ. Художественна только та форма, которая рождается изъ идеи, есть откровеніе духа жизни, свѣжо и здорово вѣющаго. Въ противномъ случаѣ,— она поддѣльна, вродѣ вставныхъ зубовъ, румянъ и бѣлилъ, и принадлежитъ не къ сферѣ искусства, а къ сферѣ магазиновъ съ галантерейными вещами. Есть большая разница между пластической художественностью Гомера и пластической художественностью Виргилія: первая—выраженіе внут-

Digitized by Google

ренней жизненности, и потому—изящество; вторая—внѣшнее украшеніе, и потому щегольство. Гомеръ — изящный художникъ; Виргилій—ловкій, нарядный щеголь. Мало того, чтобъ хорошо владѣть гекзаметромъ и часто употреблять выраженія въ древнемъ духѣ: надо, чтобъ этотъ гекзаметръ и эти выраженія въ древнемъ духѣ были плодомъ вдохновенія, проявленіемъ внутренней жизненности идеи стихотворенія. Въ дополненіе къ сказанному, присовокупимъ нѣсколько словъ о размѣрѣ, свойственномъ антологическимъ стихотвореніямъ. Въ наше время смѣшно и нелѣпо указывать поэту, какой именно и непремѣнно размѣръ долженъ онъ употреблять въ томъ или другомъ родѣ поэзіи; но тѣмъ не менѣе общее согласіе мастеровъ поэзіи, руководимыхъ своимъ художническимъ инстинктомъ, установило на это что-то вродѣ постоянныхъ правилъ, хотя и допускающихъ исключенія. Такъ напримѣръ, для новѣйшей драмы преимущественно употребляется пятистопный ямбъ безъ риѳмъ; въ мелкихъ поэмахъ и лирическихъ произведеніяхъ — четырехстопный ямбъ, и т. д. Для антологическихъ стихотвореній преимущественно употребляются гекзаметръ и шестистопный ямбъ. О гекзаметрѣ нечего говорить: онъ—сынъ эллинскаго генія. Но удивительно хорошо идетъ къ антологическимъ стихотвореніямъ шестистопный ямбъ: онъ былъ такъ опрозаенъ прежними стихотворцами и піитами, что его считали уже ни на что негоднымъ, кромѣ эпическихъ піимъ вродѣ «Россіады» и надутыхъ трагедій вродѣ «Димитрія Донского». Пушкинъ освятилъ его своей музой, возродилъ, пересоздалъ, предалъ ему какую-то особенную гармонію, непостижимую прелесть и грацію. Для значительно бо́льшаго произведенія шестистопный ямбъ былъ бы монотоненъ, но къ антологическимъ стихотвореніямъ онъ идетъ не меньше гекзаметра: его плавно-перекатывающіяся, мягко-переливающіяся полустишія такъ отзываются какой-то живой, упругой выпуклостью и дѣлаютъ его такъ способнымъ задвинуть и замкнуть пьесу, сообщивъ ей характеръ полноты и цѣлости.

Для истиннаго поэта всѣ размѣры одинаково хороши, и онъ каждый изъ нихъ умѣетъ сдѣлать приличнымъ для избраннаго имъ рода стихотвореній. Говоря о гекзаметрѣ и шестистопномъ ямбѣ какъ о приличнѣйшихъ размѣрахъ для антологической поэзіи, мы только замѣтили фактъ, существующій въ нашей литературѣ. Послѣ гекзаметра и шестистопнаго ямба съ особеннымъ эффектомъ употребляется и четырехстопный хорей.

Изъ новѣйшихъ языковъ только нѣмецкій и русскій могутъ имѣть гекзаметръ, и уже по одному этому болѣе другихъ способны къ передачѣ древнихъ произведеній и къ оригинальному созданію въ ихъ духѣ. Гёте избралъ гекзаметръ для своихъ «Римскихъ Элегій», — нашъ переводчикъ передалъ ихъ также гекзаметромъ. Несмотря на неотъемлемое достоинство стиховъ Струговщикова, все же нельзя не замѣтить, что бороться съ гекзаметромъ Гёте могъ бы только развѣ Пушкинъ. Желаніе вѣрнѣе передавать подлинникъ не рѣдко отвлекало переводчика отъ заботливой отдѣлки гекзаметра,—размѣра, по преимуществу гармоническаго и пластическаго,—и потому у него иногда попадаются стихи, подобные слѣдующему:

Гаснетъ лампада. О други! *и тутъ, несказанно добрая,* и проч.

Но это только недостатокъ отдѣлки, который переводчику всегда легко исправить. Гораздо бо́льшаго упрека заслуживаетъ онъ за выпуски и измѣненія противъ подлинника. Такъ, въ концѣ второй элегіи переводчикъ выпустилъ самыя характеристическія подробности объ отношеніяхъ героя элегій къ его прекрасной. Но особенно непріятное впечатлѣніе производитъ передѣлка V-й элегіи, которая и у самого Гёте болѣе другихъ дышетъ всей роскошью пластической красоты. Это уже не только не переводъ, но даже и не подражаніе. Впрочемъ это единственная элегія, совершенно передѣланная переводчикомъ; во всѣхъ прочихъ встрѣчаются только частныя измѣненія и отступленія. Такъ, въ III-й элегіи Эндиміонъ названъ сыномъ Юпитера, и вообще мысль оригинала передана темно.

Впрочемъ, что́ касается до мелкихъ недостатковъ перевода Струговщикова, они много выкупаются вѣрностью вѣющаго въ немъ Гётева духа. Конечно переводъ Струговщикова далеко не замѣняетъ подлинника, но даетъ о немъ понятіе не словами, а колоритомъ и благоуханіемъ,—словомъ, болѣе или менѣе удачно схваченной въ немъ жизнью... Незнающіе нѣмецкаго языка обязаны Струговщикову знакомствомъ съ «Римскими Элегіями» Гёте; выучившись языку подлинника, они найдутъ въ нихъ не что-нибудь незнакомое, но сердце ихъ радостно и весело забьется отъ того чистаго, первоначальнаго звука, котораго самое эхо такъ очаровывало ихъ и заставляло съ такимъ упоеніемъ прислушиваться. Это можетъ дѣлать только истинный талантъ: ибо духъ открывается и дается только духу, не повинуясь мертвому знанію буквы и умѣнью или навыку передавать ее хотя бы и въ гладкихъ, звучныхъ стихахъ. Недостатки перево-

Digitized by Google

да Струговщикова, послѣ трудности бороться съ такимъ исполиномъ поэзіи, какъ Гёте, происходятъ даже едва-ли и отъ поспѣшности и недостатка труда, а скорѣе отъ ложнаго взгляда на искусство переводить. Впрочемъ многія элегіи, особенно VII и VIII, переданы столько же близко и вѣрно, сколько и поэтически. Пятую элегію Струговщикову надо перевести вновь; недостатки въ прочихъ исправить: его таланта на это станетъ! Во всякомъ случаѣ его переводъ «Римскихъ элегій» Гёте былъ бы подвигомъ, достойнымъ хвалы и удивленія, даже и не при настоящемъ положеніи нашей литературы, представляющей изъ себя зрѣлище мелкихъ, ничтожныхъ явленій и торговыхъ спекуляцій. Честь же и слава человѣку, который гордо сохраняетъ чистую и возвышенную любовь къ истинному искусству и, не гоняясь за эфемерными успѣхами и не обращая вниманія на толпу, жадную только до литературныхъ мелочей, съ замѣчательнымъ успѣхомъ посвящаетъ данный ему Богомъ талантъ на усвоеніе родному языку великихъ созданій великаго поэта Германіи!..

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПОЭЗІЯ.

Древнія россійскія стихотворенія, собр. Киршею Даниловымъ и вторично изданныя. Москва. 1818. **Древнія русскія стихотворенія,** служащія дополненіемъ къ Киршѣ Данилову. Собр. М. Сухановымъ. Спб. 1840. **Сказанія русскаго народа,** собр. И. Сахаровымъ. Т. I. Кн. 1, 2, 3 и 4. Изданіе третіе. Спб. 1841. **Русскія народныя сказки.** Часть 1. Спб. 1841 *).

I.

«Народность есть альфа и омега эстетики нашего времени, какъ «украшенное подражаніе природѣ» было альфой и омегой эстетики прошлаго вѣка. Высочайшая похвала, какой только можетъ въ наши дни удостоиться поэтъ, самый громкій титулъ, какимъ только могутъ теперь почтить его современники или потомки, состоитъ въ словѣ «народный поэтъ». Выраженія: «народная поэма», «народное произведеніе», часто употребляются теперь вмѣсто словъ: «превосходное, великое, вѣковое произведеніе». Волшебное слово, таинственный символъ, священный іероглифъ какой-то глубоко-знаменательной, неизмѣримо-обширной идеи,— «народность» замѣняла собою и творчество, и вдохновеніе, и художественность, и классицизмъ, и романтизмъ, заключила въ одной себѣ и эстетику, и критику. Короче: «народность» сдѣлалась высшимъ критеріумомъ, пробнымъ камнемъ достоинства всякаго поэтическаго произведенія и прочности всякой поэтической славы. Но всѣ ли, говоря о народности, говорятъ объ одномъ и томъ же предметѣ? не злоупотребляютъ ли это слово? понимаютъ ли его истинное значеніе? Увы, съ «народностью» сдѣлалось то же, что̀ нѣкогда произошло съ «романтизмомъ» и со многими другими словами, которыя потому именно и утратили всякое значеніе, что слишкомъ расширились въ значеніи, — которыя сдѣлались непонятны ни для кого потому именно, что казались всѣмъ понятными! Чтобъ уяснить значеніе слова «народность», мы должны изъяснить процессъ историческаго развитія идеи, заключающейся въ этомъ словѣ, должны показать, когда начали думать о «народности», что̀ разумѣли подъ ней прежде и что̀ должно разумѣть подъ ней въ наше время.

Было время, когда всѣ литературы только изъ того и бились, чтобъ не быть народными, но быть подражательными. Подражательность въ литературѣ рождена римлянами. Народъ практическій, народъ меча и закона, римляне были обдѣлены отъ природы эстетическимъ чувствомъ. Республика по справедливости должна гордиться своимъ энергическимъ и благороднымъ краснорѣчіемъ, которое родилось, выросло и расцвѣло на республиканской почвѣ вмѣстѣ съ гражданственностью и которое съ монархіей переродилось въ риторику; но республика не имѣла поэзіи, какъ искусства; вся ея поэзія заключалась въ гражданской доб-

*) Статья эта, напечатанная по рукописи, мѣстами измѣненной и пополненной самимъ Бѣлинскимъ, должна была войти въ «Критическую исторію русской литературы», которую, не задолго до смерти, онъ началъ составлять изъ прежнихъ статей своихъ.

Digitized by Google

лести, въ великихъ дѣлахъ и подвигахъ свободнаго и могучаго народа. О поэзіи, какъ искусствѣ, римляне узнали отъ грековъ, которые, умерши въ настоящемъ, жили своимъ великимъ прошедшимъ, въ настоящемъ безславін утѣшались прошедшей славой и, за неимѣніемъ всякаго другого дѣла, изучали въ школахъ памятники поэзіи цвѣтущаго времени своей исторіи, которое навсегда прошло для нихъ. Завоевавъ трупъ нѣкогда столь прекрасной Эллады, варваръ-римлянинъ впервые, такъ сказать, столкнулся съ геніемъ ея давняго искусства и обошелся съ нимъ истинно по-варварски: извѣстно, что консулъ Муммій, сжегши и разграбивъ великолѣпный Коринѳъ, отправляя въ Римъ статуи и картины, сдѣлалъ съ перевозчикомъ условіе, по которому тотъ, въ случаѣ утраты статуи или картины, обязывался представить въ замѣнъ такую же, а попорченную исправить на свой счетъ. Однакожъ, несмотря на ненависть Марка Катона къ греческой философіи и учености, вкусъ къ ней сталъ быстро распространяться въ Римѣ. Знаменитые люди Рима этой эпохи воспитываются греческими выходцами; изученіе греческой литературы дѣлается необходимостью для образованнаго римлянина. Но римская поэзія началась не прежде, какъ когда Августъ затворилъ храмъ Януса и мертвымъ, обманчивымъ покоемъ замѣнилъ кровавыя волненія республики. Отпущенный холопъ Горацій назвалъ себя подражателемъ Пиндара и, посвятивъ свою сговорчивую музу хваленію своего добраго барина, благодѣтеля, отца и заступника, — Мецената, ввелъ въ моду поэзію прихожихъ, которая такъ восхищала французовъ до временъ возстановленія. Виргилій потщился явить въ своемъ лицѣ римскаго Гомера—и чахоточный отецъ немного тощей «Энеиды» съ большимъ успѣхомъ перепародировалъ божественную «Иліаду», или—какъ говорили эстетики прошлаго вѣка — весьма удачно подражалъ Гезіоду и Теокриту. Болѣе его поэтическій Овидій передавалъ въ своихъ стихахъ поэтическія преданія эллинской миѳологіи. Впрочемъ рабство римлянъ въ поэзіи не было результатомъ только политическаго униженія: національный духъ римлянъ всегда былъ чуждъ поэзіи, и истинная латинская литература заключается въ памятникахъ краснорѣчія и историческихъ сочиненіяхъ, между которыми достаточно указать только на записки Юлія Цезаря и лѣтопись Тацита, чтобъ увидѣть великое значеніе латинской литературы. Но тѣмъ не менѣе подражательная латинская поэзія стала на ряду съ греческой въ глазахъ новѣйшей Европы. Послѣдній представитель французской критики, Лагарпъ, отдавая «Иліадѣ» преимущество предъ «Энеидою»,—преимущество въ силѣ,—«Энеиду» ставитъ несравненно выше «Иліады» со стороны изящества. Вѣроятно первой причиной этого было, что новѣйшая Европа съ латинской поэзіей познакомилась прежде, чѣмъ съ греческой. Изъ латинскаго языка образовались почти всѣ новоевропейскіе языки, кромѣ нѣмецкаго, и латинскій языкъ былъ богослужебнымъ языкомъ новѣйшей Европы, которая на немъ приняла книги священнаго писанія. Схоластическое направленіе европейской учености среднихъ вѣковъ также много способствовало преобладанію духа латинской поэзіи. Французы, гордые новымъ просвѣщеніемъ, основаннымъ на изученіи древности, отверглись отъ преданій среднихъ вѣковъ и всѣхъ романтическихъ элементовъ, столь родственныхъ ихъ національному духу, какъ и вообще духу всей новѣйшей Европы, возмечтали создать себѣ литературу, основанную на подражаніи греческой, которой они нисколько не понимали (потому что не понимали никакой истинной поэзіи), и латинской, которая болѣе соотвѣтствовала ихъ практическому, соціальному духу. «Ars poetica» Горація родила «l'Art poétique» Буало, которое и сдѣлалось съ того времени кодексомъ, алькораномъ ихъ эстетики. Но, думая подражать грекамъ въ трагедіи, французы и тутъ, на зло себѣ, оставались французами: ихъ трагедія столько же походила на драматическія поэмы Софокла и Эврипида, сколько придворные Людовика XIV походили на Агамемноновъ и Клитемнестръ героической Греціи. Чтобъ сдѣлать подражаніе какъ можно ближе къ подлиннику, они не только навязали греческимъ и римскимъ героинямъ любезность и любезничанье, сантиментальность и надутость своихъ маркизовъ и маркизъ, но даже и одѣли ихъ въ огромные парики, шитые кафтаны и робы съ фижмами, а на лица налѣпили множество мушекъ. Въ подражаніи латинской поэзіи французамъ удалось лучше: если сантиментальныя эклоги ихъ идилликовъ—г-жи Дезульеръ, Флоріана и другихъ уже черезъ чуръ были пошлы даже въ сравненіи съ эклогами Виргилія, — зато «l'Art poétique» и сатиры Буало едва ли были ниже «Ars poetica» и сатиръ Горація, а Вольтерова «Генріада» рѣшительно ничѣмъ не уступаетъ Виргиліевой «Энеидѣ». Кромѣ многихъ другихъ причинъ, переходъ французовъ къ подражанію древнимъ былъ очень понятенъ еще и какъ противодѣйствіе сантиментально-аллегорическому направленію ихъ литературы, которымъ ознаменовалась эпоха, раздѣлявшая средніе вѣка отъ новѣйшей исторіи. Не удивительно, какъ вліянію французскаго вкуса

Digitized by Google

покорились нѣмцы, которые совсѣмъ не имѣли литературы, когда у французовъ уже была литература; но удивительно, какъ покорились вліянію французскаго вкуса англичане, которые имѣли Шекспира, когда еще у французовъ не было даже и Корнеля, а были только Ронсары, Скюдери и подобные имъ. Конечно причиной этого должно полагать общежительное вліяніе Франціи на Европу, которое и теперь продолжается, какъ и всегда будетъ продолжаться: въ дѣлѣ живой, общественной литературы французы всегда были и всегда будутъ впереди всѣхъ. Даже въ рабской подражательности непонятымъ образцамъ древнихъ литературъ французы оставались вѣрны себѣ, были національны въ духѣ, будучи подражателями въ словахъ и внѣшнихъ формахъ; но англичане, въ лицѣ Драйдена и Попе, отказались сами отъ себя, и ихъ подражательная литература была пустоцвѣтомъ въ полномъ смыслѣ этого слова... Вдругъ все измѣнилось. Возсталъ отъ апатическаго усыпленія національный геній нѣмцевъ. Энергическій Лессингъ — этотъ литературный Лютеръ — мощно возсталъ противъ французскаго направленія и побѣдоносно низвергъ его. Самобытные геніи Гёте и Шиллера взошли на небосклонѣ юной германской литературы блестящими солнцами, которыхъ живительные лучи оплодотворили почву національнаго генія. Романтическая школа Шлегелей явилась крестовымъ походомъ на классическій исламизмъ,—и одинъ изъ этихъ примѣчательныхъ поборниковъ романтизма сражался съ классицизмомъ въ самой столицѣ его—Парижѣ. Національный геній Англіи также воспрянулъ снова, и, въ лицѣ Байрона, явился у ней новый титанъ поэзіи; Вальтеръ Скоттъ создалъ совершенно новую поэзію,—поэзію прозы жизни, поэзію дѣйствительной жизни. Сама Франція отказалась отъ своихъ вѣковыхъ предубѣжденій, измѣнила своей національной гордости и отреклась отъ боговъ своего Парнасса, которые доставили ей владычество надъ всей Европой. И все это было сдѣлано ею во имя «романтизма»! Представители ея новаго направленія назвались «романтиками» и для дикаго мрака среднихъ вѣковъ навсегда разставались съ свѣтлымъ небомъ Эллады и Авзоніи. Что же такое былъ этотъ романтизмъ? Въ какомъ отношеніи находился онъ къ классицизму? Какимъ образомъ одна крайность такъ быстро, безъ всякой постепенности, безъ всякаго посредствующаго перехода, могла замѣниться другой, враждебной и противоположной ей крайностью?... Но точно ли эти крайности такъ враждебны другъ другу, что между ними нѣтъ ничего общаго, нѣтъ никакой возможности примиренія?... Или не кстати ли здѣсь вспомнить очень умную французскую поговорку: «les extrêmes se touchent»?... Въ самомъ дѣлѣ, не охладѣли ли мы теперь и къ самому романтизму, какъ еще недавно и такъ внезапно охладѣли къ классицизму? — Что ни говорите, но слово «романтизмъ» ужъ рѣдко встрѣчается теперь въ нашихъ критикахъ и эстетикахъ; оно уже потеряло для насъ свое прежнее значеніе, ужъ не служитъ отвѣтомъ на всѣ вопросы... Скажемъ болѣе: «романтизмъ» давно уже уволенъ въ чистую, давно на покоѣ, хоть и избитый, измученный, израненный—не столько своими врагами, сколько поборниками... Это преинтересная исторія, которую надо изслѣдовать критически... Помнимъ мы, что «романтизмъ» въ своемъ началѣ шелъ объ руку съ «народностью», часто былъ принимаемъ за одно съ ней; но—увы!—его ужъ нѣтъ, этого прекраснаго молодого человѣка, столь энергическаго и пламеннаго, хотя немного и съ растрепанными чувствами; его ужъ нѣтъ, — а «народность» все еще скитается какимъ-то блѣднымъ призракомъ, словно заколдованная тѣнь, и, кажется, еще долго ей страдать и мучиться, долго играть роль невидимки, какого-то таинственнаго незнакомца, о которомъ всѣ говорятъ, на котораго всѣ ссылаются, но котораго едва ли кто видѣлъ, едва ли кто знаетъ... Взглянемъ же прямо въ лицо этому существу, чтобъ познакомиться съ нимъ настоящимъ образомъ, узнать всѣ его примѣты, уловить настоящую его физіономію, и тѣмъ положить конецъ его «инкогнито».

Во всякомъ понятіи заключаются двѣ стороны, повидимому враждебныя между собою, но на самомъ дѣлѣ единосущныя; стороны эти повидимому никогда не могутъ сойтись между собою, но тѣмъ не менѣе непремѣнно должны примириться, слиться другъ съ другомъ и образовать новое, уже полное, органическое понятіе. Это примиреніе совершается не вдругъ, но чрезъ постепенное развитіе; оно бываетъ плодомъ раздѣленія, раздвоенія, борьбы; оно совершается по законамъ необходимости въ жизненномъ, органическомъ процессѣ. Этимъ понятіе или философская мысль, идея, отличается отъ простого представленія. Представленіе есть нѣчто внѣшнее, готовое, неподвижное, безъ начала, безъ конца, безъ развитія. Понятіе (мысль или идея) есть нѣчто живое, заключающее въ себѣ силу органическаго развитія изъ самого себя, способное совершить полный кругъ развитія въ самомъ себѣ, слѣдовательно выходящее изъ самого себя и заключающееся самимъ же собою. Представленіе можетъ быть сравнено со всякимъ неорганическимъ

Digitized by Google

предметомъ въ природѣ: понятіе можетъ быть сравнено съ зерномъ, которое заключаетъ въ себѣ живительную силу, развивающуюся въ стволъ, вѣтви, листья и цвѣты растенія, и которое, совершивъ полный кругъ своего развитія, снова дѣлается зерномъ. Живое, истинное понятіе есть только то, которое носитъ въ самомъ себѣ зародышъ борьбы и распаденія, въ которомъ заключается возможность раздѣленія на самого себя и потомъ примиренія съ самимъ собою; всякое другое есть или понятіе мертвое и ложное, или простое эмпирическое представленіе. Процессъ развитія живого понятія—слѣдующій: умъ нашъ сперва принимаетъ только одну сторону понятія; другую, противоположную ей, отвергаетъ, какъ ложь. Принявъ за истину одну сторону понятія, умъ доводитъ ее до крайности, которая впадаетъ въ нелѣпость и тѣмъ самымъ отрицаетъ себя; это первый актъ процесса развитія идеи. Увидѣвъ ложь въ доведенной до крайности сторонѣ понятія, умъ отрицаетъ эту сторону и бросается непремѣнно въ противоположную ей сторону, которую также доводитъ до крайности, а слѣдовательно и до необходимости отрицанія: это второй актъ процесса развитія идеи. И вотъ понятіе распалось на двѣ противоположныя и враждебныя стороны, которыя нельзя помирить никакимъ посредствующимъ, третьимъ понятіемъ — иначе примиреніе будетъ натянутое и внѣшнее. Между тѣмъ, несмотря на свою враждебную противоположность, обѣ стороны раздѣлившагося понятія не могутъ равнодушно разстаться или положиться на посредничество чуждаго имъ понятія; онѣ борются между собою; умъ уже не признаетъ рѣшительно-ложной или рѣшительно-истинной ни одной изъ нихъ, и онъ переходитъ то къ той, то къ этой, какъ вдругъ начинаетъ замѣчать, что въ каждой изъ нихъ есть своя доля истины и своя доля лжи, и что для искомой имъ истины обѣ стороны, такъ сказать, нуждаются другъ въ другѣ, обѣ проникаютъ и ограничиваютъ себя взаимно: это третій актъ процесса развитія понятія. Наконецъ умъ ясно видитъ, что обѣ противоположныя крайности не чужды одна другой, но даже родственны, что онѣ — только двѣ стороны одного и того же цѣльнаго понятія, что онѣ ложны только въ своей отвлеченной односторонности, но что искомая имъ истина заключается въ ихъ примиреніи, въ которомъ онѣ сливаются другъ съ другомъ и образуютъ новое цѣлое понятіе: это послѣдній актъ процесса развитія понятія. Послѣ этого акта понятіе, такъ сказать, находитъ самого себя, но уже развившимся, совершившимъ свой жизненный процессъ, сознавшимъ себя: это зерно, которое, прошедши всѣ фазы растенія, снова стало зерномъ. Скажутъ: въ этомъ нѣтъ еще большой важности, что зерно снова стало зерномъ. Такъ; но, для вѣрности сравненія, намъ должно условиться, что здѣсь дѣло идетъ о зернѣ незнакомомъ; то ли же оно будетъ въ нашихъ глазахъ, когда мы снова увидимъ его, уже зная, какое растеніе изъ него выходитъ и какой цвѣтъ даетъ оно?...

Смотря съ этой точки, вы увидите, что французскій псевдо-классицизмъ и отчаянный романтизмъ юной словесности Франціи суть двѣ стороны одного и того же понятія, и что въ примиреніи этихъ обѣихъ сторонъ заключается истинная идея искусства нашего времени, — увидите, что какъ классицизмъ, такъ и юный романтизмъ французской литературы, сами по себѣ, въ своей односторонности, суть ложь, хотя и въ каждомъ изъ нихъ есть своя сторона истины. Равнымъ образомъ ясно будетъ, что и понятіе о «народности» само по себѣ есть также ложь, что оно есть только одна сторона другого высшаго понятія, противоположная сторона котораго есть «общность въ смыслѣ человѣчества». Да, мы увидимъ, что націоналисты въ литературѣ имѣютъ значеніе только какъ противники поборниковъ безразличной всеобщности, которая, думая быть доступной всему человѣчеству, нѣма и мертва для человѣчества. Все сказанное нами очень легко пояснить въ приложеніи къ исторіи классицизма и романтизма.

Основаніе псевдо-классической французской теоріи заключалось въ понятіи, что искусство есть подражаніе природѣ, но что природа должна являться въ искусствѣ украшенной и облагороженной. Вслѣдствіе такого взгляда изъ искусства были изгнаны естественность и свобода, а слѣдовательно истина и жизнь, которыя уступили мѣсто чудовищной искусственности, принужденности, лжи и мертвенности. Форма перестала быть явленіемъ духа, но сдѣлалась, такъ сказать, футляромъ отвлеченныхъ представленій, ошибочно принимавшихся за идеи. Солдаты заговорили однимъ языкомъ съ полководцами, земледѣльцы и поденщики — съ царями, слуги — съ господами; пастушки одѣлись въ фижмы и испестрили свои лица мушками; книксены, менуэтная выступка, театральныя позы и надутая декламація сдѣлались вывѣской и необходимымъ условіемъ «украшенной и облагороженной природы». Чтобъ не слишкомъ рѣзко противорѣчить себѣ, поэты и теоретики новаго классицизма исключили изъ поэзіи простолюдиновъ и мѣщанъ и дали въ ней мѣсто только царямъ, ихъ

Digitized by Google

придворнымъ и героямъ благороднаго происхожденія. Такъ какъ современная жизнь не давала матеріаловъ для поэзіи, то всѣ бросились на грековъ и римлянъ, одѣтыхъ въ кафтаны и робы съ фижмами маркизовъ и маркизъ. Не было оригинальности, не было «народности»; дѣйствительныя лица были замѣнены отвлеченными призраками, не принадлежавшими ни къ какой странѣ, ни къ какому вѣку. Даже комедія, на долю которой оставили современность, даже и комедія не представляла дѣйствительныхъ лицъ, а выдумывала призраки, олицетворяя ими сентенціи мелкой ходячей морали о добродѣтеляхъ и порокахъ. Но вдругъ все измѣнилось, когда самостоятельный геній германской націи разбилъ оковы псевдоклассицизма и низложилъ во прахъ съ алтарей храма искусства миньятюрныя восковыя статуйки Корнелей, Расиновъ, Мольеровъ, Буало, Вольтеровъ, Дюсисовъ и Кребильйоновъ съ братіею. Благодаря нѣмцамъ, вся Европа узнала Шекспира, котораго Вольтеръ заклеймилъ прозвищемъ «пьянаго дикаря». Мало того, нѣмцы доказали, что древніе были оклеветаны, что Аристотель и во снѣ не думалъ утверждать нелѣпости, во имя его распространенныя французами; что поэзія грековъ запечатлѣна духомъ Греціи, что она — полное выраженіе ея народности, зеркало ея дѣйствительности. Вслѣдствіе этого народность была провозглашена необходимымъ условіемъ всякой поэзіи. Вмѣсто грековъ, образцомъ сдѣлался Шекспиръ, какъ поэтъ новаго, нашего, христіанскаго міра. На искусство стали смотрѣть не какъ на подражаніе природѣ, но какъ на воспроизведеніе дѣйствительности, какъ на творчество новой, высшей дѣйствительности. Въ самой Франціи не замедлила возгорѣться отчаянная война между классиками и романтиками. Дружина молодыхъ и рьяныхъ талантовъ основала тамъ свою романтическую школу, которая, какъ реакція псевдоклассицизму, такъ же ложно поняла романтизмъ, какъ прежняя школа ложно понимала древнюю классическую поэзію. Въ новомъ французскомъ романтизмѣ дѣйствительность не только сбросила съ себя парики, кафтаны, фижмы и мушки, но и всякое одѣяніе, явилась нагой и цинически естественной. Если классицизмъ французовъ походилъ на младенца въ англійской болѣзни или на восковую статую съ стеклянными глазами, то романтизмъ ихъ сталъ походить на буйную вакханку съ безстыднымъ упоеніемъ въ горящемъ взорѣ, съ растрепанными волосами, изступленными и дикими движеніями, или на австралійскаго дикаря, пирующаго на костяхъ съѣденныхъ имъ враговъ. Конечно преимущество на той сторонѣ, гдѣ есть жизнь, и въ буйной вакханкѣ или въ опьянѣломъ отъ вражеской крови дикарѣ болѣе поэзіи, нежели въ восковой статуѣ; но тѣмъ не менѣе французскій романтизмъ можетъ имѣть значеніе больше какъ реакція ложному классицизму, нежели какъ истинная поэзія. Мало того: даже идеальный и возвышенный романтизмъ Шлегелей важенъ больше какъ реакція псевдо-классицизму, нежели какъ истинная поэзія, и вотъ причина, почему братья Шлегели пережили сперва съ такимъ успѣхомъ и такъ энергически проповѣдываемый ими романтизмъ. Въ самомъ дѣлѣ, кому теперь придетъ охота, забывъ цѣлую исторію человѣчества и всю современность, искать поэзіи только въ католическихъ и рыцарскихъ преданіяхъ среднихъ вѣковъ?... И потому, какъ быстро бросились на эти средніе вѣка, такъ скоро и догадались, что Востокъ, Греція, Римъ, протестантизмъ и вообще новѣйшая исторія и современность имѣютъ столько же правъ на вниманіе поэзіи, сколько и средніе вѣка, и что Шекспиръ, на котораго Шлегели, по странному противорѣчію съ самими собою, думали опираться, былъ не столько романтикомъ, сколько поэтомъ новѣйшаго времени, — поэтомъ полной дѣйствительности, а не одного какого-нибудь изъ ея моментовъ. А между тѣмъ заслуга Шлегелей все-таки велика: еслибъ они не впали въ свою односторонность, — болѣе жалкая и болѣе ложная односторонность французскаго классицизма не была бы ниспровергнута.

Борьба классицизма и романтизма, ознаменовавшая движеніе европейскихъ литературъ въ концѣ XVIII и началѣ XIX вѣка, отразилась и въ русской литературѣ. Такъ какъ мы думаемъ, что изложенныя нами идеи будутъ для читателей понятнѣе и яснѣе въ примѣненіи къ отечественной литературѣ, то и обратимся къ ней, оставивъ Европу, о которой мы уже сказали сколько нужно для связи и послѣдовательности нашей статьи.

Всѣмъ извѣстно, что, исключая Крылова, до Жуковскаго и Батюшкова наша поэзія была неудачнымъ подражаніемъ французской. Говоримъ — неудачнымъ, ибо, заимствовавъ всѣ недостатки своего образца, она не заимствовала у него ни гладкаго и звучнаго стиха, ни образованнаго языка, ни внѣшняго изящества. Жуковскій познакомилъ насъ съ нѣмецкой литературой; но какъ въ его время не было еще на Руси журналовъ въ смыслѣ проводниковъ новыхъ идей въ обществѣ, — то его нововведеніе осталось безъ результатовъ, исключая развѣ одно обстоятельство, именно, что наши щиты, попрежнему не переставая гремѣть торже-

Digitized by Google

ственными одами и варварскими виршами, закалывать Атридовъ и Брутовъ, затянули еще нескладными голосами кладбищенскія баллады. Что до Батюшкова,—господствовавшій тогда духъ подражательности обезсилилъ его самобытное и прекрасное дарованіе, развившееся не на національной почвѣ. Съ двадцатыхъ годовъ, т. е. съ появленія Пушкина, и у насъ была объявлена война классицизму. Хотя Пушкинъ и былъ провозглашенъ главой и хорегомъ нашихъ романтиковъ, но, какъ истинный геній, подобно Байрону, Вальтеръ-Скотту, Гёте и Шиллеру, онъ пошелъ своей дорогой, по которой не угоняться было за нимъ нашимъ романтикамъ; они брали у него для своихъ произведеній русскія имена, ножи, кинжалы, ядъ, внѣшнюю гладкость и легкость стиха, но даже и не дотрогивались до его поэзіи и идей. И потому-то, кромѣ Грибоѣдова, дарованія самобытнаго и оригинальнаго, все остальное не можетъ быть упомянуто при его имени, какъ предметъ, не имѣющій съ нимъ ничего общаго. Критики того времени безусловно восторгались произведеніями Пушкина, до той самой поры, какъ геній его возмужалъ: не подозрѣвая того, что онъ имъ сталъ ужъ слишкомъ не по-плечу, они, по свойственному человѣческой слабости самолюбію, заключили, что онъ палъ. Вотъ ясное доказательство, что или Пушкинъ не былъ главой нашихъ романтиковъ, или что наши романтики не имѣли съ нимъ ничего общаго. Кажется, то и другое одинаково справедливо. Тѣмъ не менѣе ясно, что Пушкинъ произвелъ литературную реформу и увлекъ за собой толпу, хотя она и нисколько не понимала его. Въ тридцатыхъ годахъ число прозаиковъ стало превышать число стихотворцевъ. Всѣ ударились въ прозу и сдѣлались романистами и нувеллистами. Впрочемъ начало этого прозаическаго движенія восходитъ гораздо ранѣе тридцатыхъ годовъ. Новая повѣсть явилась вмѣстѣ съ блестящимъ Марлинскимъ и тотчасъ объявила претензіи на «романтизмъ» и «народность». Но пока весь ея романтизмъ состоялъ въ замѣненіи пошлой сантиментальности риторическихъ повѣстей классическаго періода нашей литературы какой-то размашистой повѣстью въ языкѣ и чувствахъ, а вся ея народность состояла въ томъ, что она начала брать содержаніе изъ русской исторической и современной жизни. Но романтическая кипучесть чувствъ была не болѣе истинна, какъ и водяная чувствительность «Бѣдной Лизы» и «Марьиной Рощи»: та и другая были равно натянуты и неестественны, а народность состояла въ однихъ именахъ. Въ послѣднемъ отношеніи новая русская повѣсть столько же выражала содержаніе русской жизни, сколько французская трагедія выражала содержаніе греческой и римской жизни. Это точь-въ-точь забытая теперь драма Хомякова «Ермакъ»: имена въ ней не только русскія, но даже историческія русскія, а духъ и складъ рѣчи принадлежатъ идеальнымъ буршамъ нѣмецкихъ университетовъ; русскаго же духа въ ней слыхомъ не слыхать, видомъ не видать. Правда, новая русская повѣсть иногда удачно передразнивала русскую рѣчь, не скупясь на пословицы и поговорки, а иногда и на лѣтописныя выраженія, взятыя изъ исторіи Карамзина; но эта рѣчь нисколько не выражала русскаго духа, а только, подобно мѣди звенящей и кимвалу бряцающему, поражала одинъ слухъ,—точь въ точь, какъ въ другой драмѣ Хомякова «Димитрій Самозванецъ». Тѣмъ не менѣе новая повѣсть заслуживала уваженіе по похвальному, хотя и недостаточному стремленію къ народности. Она не довела поэзіи нашей до настоящей русской повѣсти, но приготовила толпу къ уразумѣнію ея. Еще Марлинскій далеко не кончилъ своего поприща, какъ явился на сцену литературы романъ съ претензіями на народность, нравоописательность, нравственность и на многое, чего и тѣни въ немъ не было; но нижніе слои толпы, увидѣвъ, что дѣйствующія лица романа называются Иванами и Петрами и титулуются по отчеству, охотно повѣрили русскому происхожденію романа и раскупили его. Вслѣдъ затѣмъ не замедлилъ явиться и историческій русскій романъ той же фабрики и той же пробы,—и участь его была та же: сначала приняли его по имени, а послѣ поступили какъ съ пройдохой и самозванцемъ.

Здѣсь мы должны воротиться нѣсколько назадъ. Повѣсть и романъ, о которыхъ мы доселѣ говорили, силились быть народными, не унижаясь до простонародности. Вмѣстѣ съ Марлинскимъ явились и повѣсти Полевого. Онѣ въ свое время были замѣчены публикой, но не имѣли такого блестящаго успѣха, какъ повѣсти Марлинскаго, хотя были и не хуже ихъ: не отличаясь фантазіей, онѣ отличались умомъ и не были чужды чувства; языкъ ихъ былъ простой, не натянутый, обработка литературная. Но въ то же время писалъ повѣсти и Погодинъ. Онъ хотѣлъ проложить себѣ свою дорогу и, во что бы то ни стало, сдѣлать повѣсть русской до нельзя,—и надо отдать ему полную справедливость—онъ успѣлъ сдѣлать для повѣсти гораздо больше, чѣмъ А. Е. Измайловъ для басни: народность его повѣстей еще ужаснѣе, чѣмъ народность басенъ Измайлова. Отселѣ начинается въ нашей литературѣ новое стремленіе къ той народности,

Digitized by Google

отцомъ который былъ почтенный «отставной квартальный, совѣтникъ титулярный» Измайлова. «Юрій Милославскій» противъ своей воли утвердилъ это жалкое направленіе: размаженные чрезвычайнымъ успѣхомъ этого романа, бездарные писаки подумали, что все дѣло тутъ въ лычной обуви, сермяжной одеждѣ, бородахъ и плоскихъ поговоркахъ дѣйствующихъ лицъ; они не замѣтили ни занимательности, ни теплоты разсказа Загоскина, ни самой умѣренности его въ изображеніи простодушной народности. Какъ бы то ни было, но съ «Юрія Милославскаго» начинается какъ бы новая эпоха нашей литературы: съ одной стороны являются истинно-народныя и поэтическія повѣсти Гоголя; самъ Пушкинъ, незадолго передъ тѣмъ напечатавшій превосходную главу изъ предполагавшагося имъ романа («Арапъ Петра Великаго»), начинаетъ обращаться къ прозѣ, и пишетъ впослѣдствіи «Пиковую Даму», «Капитанскую Дочку» и «Дубровскаго». Вскорѣ же послѣ «Юрія Милославскаго» является поэтическій романъ Лажечникова «Новикъ», за нимъ — другіе романы Лажечникова.—«Кощей Безсмертный» и «Святославичъ» Вельтмана— созданія, странныя въ цѣломъ, но блещущія яркими проблесками національной поэзіи въ подробностяхъ, относятся къ этому періоду русской литературы. Съ другой стороны, ложно-понимаемая народность разлилась огромнымъ болотомъ, тщаніемъ и усердіемъ пишущей братіи низшаго разряда. Мужики съ бабами, кучера и купцы брадатые не только получили право гражданства въ повѣстяхъ и романахъ этихъ господъ, но и сдѣлались ихъ единственными, привилегированными героями. Удачное подражаніе языку черни, слогу площадей и харчевенъ сдѣлалось признакомъ народности, а народность стала тожественнымъ понятіемъ съ великимъ талантомъ, поэзіей и «романтизмомъ». Это направленіе явилось господствующимъ особенно въ Москвѣ. «Разгулье купеческихъ сынковъ въ Марьиной рощѣ» получило тамъ идеальное достоинство народной эпопеи. Ваньки и Степки съ разбитыми рылами и синяками подъ соколиными очами стали вывозиться на показъ даже въ Лондонъ и Мадритъ, чтобъ тамъ «тосковать по родинѣ», т. е. по соленымъ огурцамъ и сивухѣ.

Но теперь уже начинаютъ чувствовать цѣну такой народности; теперь уже называютъ ее простонародностью и площадностью. Между тѣмъ даже и такое народное направленіе было необходимо и принесло великую пользу. Выше всего сказали мы, что всякое живое понятіе открывается людямъ сперва въ своихъ крайностяхъ, которыя истинны, какъ содержаніе понятія, но ложны какъ его односторонности. Французскій псевдо-классицизмъ былъ ложенъ какъ абсолютная идея искусства, но и въ немъ была своя сторона истины. Искусство дѣйствительно не есть и не должно быть природой, какъ она есть, но природой облагороженной, идеализированной. Только дѣло въ томъ, что элементы идеализированія природы должны заключаться не въ условныхъ и относительныхъ понятіяхъ о приличіи въ какую-нибудь эпоху общественныхъ отношеній, но въ вѣчной и неизмѣнной субстанціи идеи. Французскій классицизмъ принялъ за идеалъ поэтической дѣйствительности не духъ человѣчества, развивающійся въ исторіи, а этикетъ двора французскаго и нравы свѣтскаго французскаго общества отъ временъ Людовика XIV; украшеніе природы онъ понялъ не какъ представленіе дѣйствительности сообразно не съ самой дѣйствительностью, а съ требованіями идеи цѣлаго произведенія, но въ китайскомъ значеніи этого слова. Извѣстно, какъ китайцы уродуютъ ноги своихъ женщинъ, желая ихъ сдѣлать прекрасными, т. е. маленькими. Въ этомъ и состояла ошибка французскаго классицизма. Съ другой стороны, псевдо-романтизмъ такъ же точно грѣшилъ противъ истины, требуя въ искусствѣ природы, какъ она есть, и забывая, что иная естественность отвратительнѣе всякой искусственности. Искусство не имѣетъ права искажать природу; оно можетъ и должно быть естественно въ своихъ изображеніяхъ; но, во-первыхъ, эта естественность не должна возмущать въ насъ эстетическаго чувства; во-вторыхъ, она не должна быть въ искусствѣ главнымъ, не должна быть въ немъ сама себѣ цѣлью. Въ искусствѣ только идея сама себѣ цѣль, а идея просвѣтляетъ и облагораживаетъ самыя возмущающія душу явленія дѣйствительности; проникая ихъ собой, она идеализируетъ ихъ. Шекспиръ въ драмахъ своихъ «Генрихъ IV» и «Генрихъ V» вывелъ на сцену распутство, вывелъ пьянаго Фальстафа съ ватагой негодяевъ, вывелъ Квикли и Доль Тиршитъ—эти отребія женскаго пола, для которыхъ настоящаго названія нельзя пріискать въ литературномъ языкѣ, но вывелъ ихъ совсѣмъ не для того, чтобъ усладить ими вкусъ черни или похвастаться передъ публикой своимъ умѣньемъ естественно изображать низкія явленія дѣйствительности; а для того, что ему нужно было представить, какъ въ великой натурѣ человѣка величіе проглядываетъ сквозь самый развратъ, какъ умѣетъ онъ отрѣшаться отъ грязи порока и выходить изъ нея чистымъ, когда придетъ часъ его,—между тѣмъ какъ натуры слабыя и

Digitized by Google

мелкія навсегда остаются въ этой грязи, если разъ попали въ нее. Тутъ есть идея, и идея великая; тутъ заключается важный урокъ для сухихъ моралистовъ, которые судятъ по внѣшности о нравственности человѣка, и часто негодяя, ведущаго себя благопристойно, принимаютъ за нравственнаго человѣка, а человѣка съ искрой Божіей въ душѣ, но который, будучи увлекаемъ кипящей юностью и страстями, на время поскользнется въ грязи жизни, клеймятъ названіемъ «безнравственнаго». Съ этой точки зрѣнія, Фальстафъ съ ватагой, мистриссъ Квикли и миссъ Доль получаютъ уже другое, высшее, идеальное значеніе: онѣ занимаютъ мѣсто въ драмѣ Шекспира такъ же, какъ и въ самой дѣйствительности,—не сами для себя; поэтъ вызвалъ ихъ ради безпощадной истины, дѣлая, такъ сказать, невольную уступку дѣйствительности, но не для того, чтобъ онъ, не понимая ихъ гадости, самъ любовался ими или хотѣлъ плѣнить ими другихъ. Онъ изобразилъ ихъ вѣрно, чертами типическими; ихъ языкъ грубъ, даже неприличенъ; но эта грубость и неприличіе имѣютъ свои границы, и поэтъ, много показавши, даетъ намъ догадываться еще о большемъ. Онъ не украсилъ, не смягчилъ, не облагородилъ ихъ языка, чтобъ не сдѣлать его неестественнымъ; но онъ сдержалъ его, не позволилъ ему говорить всего, чтобъ не сдѣлать его слишкомъ естественнымъ, и потому отвратительнымъ. Сверхъ того онъ смягчаетъ эти сцены комизмомъ, который, такъ сказать, прикрываетъ грубую наготу естественности. Шекспиръ выводитъ въ своихъ трагедіяхъ и царей, и придворныхъ, и героевъ, и мужиковъ, и мошенниковъ вмѣстѣ, потому что это смѣшеніе существуетъ въ самой дѣйствительности; но онъ всякому указываетъ приличное мѣсто, и ужъ конечно муза его беретъ болѣе обильную дань поэзіи съ людей высшихъ слоевъ общества. Намъ скажутъ: въ геніальномъ мужикѣ больше поэзіи, чѣмъ въ слабоумномъ вельможѣ. Правда; но правда и то, что еслибъ этотъ геніальный мужикъ получилъ образованіе вельможи, онъ былъ бы еще геніальнѣе. Тѣмъ-то человѣкъ и отличается отъ животнаго, что полученные отъ природы дары онъ возвышаетъ образованіемъ и знаніемъ, и что безъ этой обработки они похожи у него на дорогіе матеріалы въ сыромъ состояніи,—на золото въ видѣ руды.

И такъ, очевидно, что органическая, живая полнота искусства состоитъ въ примиреніи двухъ крайностей—искусственности и естественности. Каждая изъ этихъ крайностей сама по себѣ есть ложь; но, взаимно проникаясь одна другой, онѣ образуютъ собой истину. Искусственность, какъ односторонность и крайность, произвела мертвый псевдо-классицизмъ; естественность, какъ односторонность и крайность, произвела литературу площадей, кабаковъ, тюремъ, боенъ, домовъ разврата.

Но та и другая были необходимы въ процессѣ историческаго развитія понятія объ искусствѣ: сперва была выразумлена одна сторона понятія, потомъ—другая; но эта другая, при всей своей видимой противоположности съ первой, вышла явно изъ нея-же: ибо когда представленіе, дошедъ до крайности, впадаетъ въ нелѣпость, то утомленный и оскорбленный умъ быстро переходитъ къ совершенно противоположному представленію. Результатомъ этого перехода опять бываетъ утомленіе и оскорбленіе, потому что и вторая односторонность должна дойти до крайности, и, впавши въ нелѣпость, тѣмъ самымъ отрицать себя. Тогда умъ обращается къ первой односторонности, безпрестанно отыскиваетъ ея истинную сторону, которую и примиряетъ съ истинной стороной второй односторонности, и чрезъ этотъ процессъ достигаетъ до сознанія полной и дѣйствительной истины понятія. Въ этомъ примиреніи ясно видно сродство крайностей. Такъ было и съ искусствомъ: отвергши псевдо-классицизмъ, мы отвергли и псевдоромантизмъ, и въ созданіяхъ геніальныхъ поэтовъ, на авторитетъ которыхъ думаютъ опираться мелкіе таланты, видимъ истинное искусство, заключающее и примиряющее въ своей органической полнотѣ всѣ свои противоположности.

Обыкновенно народность смѣшиваютъ съ естественностью, тогда какъ это два совершенно особенныя представленія: хотя истинно народное не можетъ не быть естественнымъ, но истинно-естественное можетъ быть нисколько не народнымъ. Сверхъ того нѣкоторые изъ нашихъ писателей, замѣтивъ, что европейское образованіе сглаживаетъ угловатости народности, и смѣшивая форму съ идеей, обратились преимущественно къ низшимъ классамъ народа. Истинный художникъ народенъ и національнъ безъ усилія; онъ чувствуетъ національность прежде всего въ самомъ себѣ и потому невольно налагаетъ ея печать на свои произведенія. Хотя Татьяна Пушкина и читаетъ французскія книжки и одѣвается по картинкамъ европейскихъ модъ, но она—лицо въ высшей степени русское—и тогда, какъ мы ее видимъ «уѣздной барышней», и въ то время, какъ она является княгиней и свѣтской дамой. Но для изображенія такихъ благородныхъ личностей нужна геніальность или великій талантъ; маленькимъ дарованіямъ, а особенно посредственности, сподручнѣе

Digitized by Google

мужики, бабы, лакеи: стоитъ только заставить ихъ говорить ихъ языкомъ—и народность готова. Зато мужики и бабы геніальныхъ поэтовъ бываютъ благороднѣе господъ и вельможъ маленькихъ дарованій и посредственности: няня Татьяны Пушкина, при своей простотѣ и ограниченности, какъ изображеніе, дышетъ художественной граціей и достолюбезностью: мы смѣемся надъ ней, но любимъ и уважаемъ ее; ея простодушная, безсознательная любовь къ Татьянѣ приводитъ насъ въ умиленіе,—и вмѣстѣ съ Татьяной мы вздыхаемъ надъ могилой ея бѣдной няни.

Гдѣ жизнь, тамъ и поэзія; но жизнь только тамъ, гдѣ идея,—и уловить играніе жизни—значитъ уловить невидимый и благоуханный эѳиръ идеи. Для искусства нѣтъ болѣе благороднаго и высокаго предмета, какъ человѣкъ,—и чтобъ имѣть право быть изображену искусствомъ, человѣку нужно быть человѣкомъ, а не чиновникомъ 14-го класса или дворяниномъ. И у мужика есть душа, сердце, есть желанія и страсти, есть любовь и ненависть, словомъ,—есть жизнь. Но чтобъ изобразить жизнь мужиковъ, надо уловить, какъ мы уже сказали, идею этой жизни,—и тогда въ ней не будетъ ничего грубаго, пошлаго, плоскаго, глупаго. Вотъ отчего «Вечера на хуторѣ» Гоголя, посвященные изображенію простого быта Малороссіи, дышатъ такой полнотой художественности, очаровываютъ такой неотразимой прелестью, такой дивной поэзіей. Но, повторяемъ, для этого нуженъ геній и геній, талантъ и талантъ. Скажутъ: геній и талантъ еще нужнѣе въ изображеніи жизни высшихъ слоевъ общества. Нѣтъ: если для изображенія художественнаго, то нуженъ такой же талантъ, какъ и вездѣ; но не всякій талантъ есть художникъ, а литература состоитъ не изъ однихъ художественныхъ созданій,—и беллетристика—этотъ насущный хлѣбъ большинства общества, это практическое, житейское искусство толпы—также требуетъ талантовъ и даже большихъ талантовъ. Вотъ этимъ-то талантамъ всего опаснѣе спускаться въ низшіе слои общества, откуда, вмѣсто народности, они могутъ вынести только грубую простонародность; и имъ-то всего лучше браться за изображеніе среднихъ и даже высшихъ слоевъ общества, гдѣ жизнь разнообразнѣе, обширнѣе, отношенія человѣчнѣе, утонченнѣе, многосложнѣе, игривѣе, глубже. Въ беллетристикѣ внѣшняя цѣль можетъ имѣть большую пользу и важное значеніе, тогда какъ въ искусствѣ одна цѣль — само искусство. Теперь, если беллетристическій писатель, выводя на сцену чудаковъ, невѣждъ, подлецовъ, даже самую чернь, имѣетъ въ виду дѣйствовать на образованіе общества, пускать въ оборотъ человѣческія понятія, новыя мысли,—я низко кланяюсь ему, если онъ дѣлаетъ это съ талантомъ: его мѣсто высокó, его призваніе священно, его имя честно и славно. Но когда онъ рисуетъ грязь общества, подонки народа, не для чего иного, какъ для того, чтобъ самому насладиться и плѣнить меня этимъ зрѣлищемъ,—то чѣмъ естественнѣе, чѣмъ правдоподобнѣе будутъ его изображенія, тѣмъ они для меня отвратительнѣе и безсмысленнѣе. Не должно забывать ни на минуту, что герой искусства и литературы есть *человѣкъ*, а не баринъ, и тѣмъ болѣе не *мужикъ*. Если Шекспиръ давалъ мѣсто въ своихъ драмахъ всѣмъ людямъ безъ разбора,—онъ это дѣлалъ потому, что видѣлъ въ нихъ людей, а отнюдь не по пристрастью къ черни. Предпочитать мужиковъ потому только, что они мужики, что они грубы, неопрятны, невѣжественны, предпочитать ихъ образованнымъ классамъ общества — странное и смѣшное заблужденіе! И самъ геній въ изображеніи жизни чернаго народа всегда найдетъ меньше элементовъ поэзіи, чѣмъ въ образованныхъ классахъ общества: беллетристическій же талантъ не найдетъ въ жизни черни никакой поэзіи. Впрочемъ мы далеки отъ того, чтобъ отнимать право у талантливаго литератора касаться жизни простого народа; но мы требуетъ только, чтобъ онъ это дѣлалъ не по любви къ мужицкому жаргону, не по склонности къ лохмотьямъ и грязи, но для какой-нибудь цѣли, въ которой была бы видна человѣческая мысль. Объяснимъ это примѣромъ. Погодинъ написалъ нѣкогда повѣсть «Черная Немочь», которая въ свое время обращала на себя вниманіе публики, подобно многимъ, теперь забытымъ произведеніямъ. Въ этой повѣсти дѣйствуютъ купцы, попадьи, батраки и подобный тому людъ; языкъ ея блещетъ всѣми красотами, свойственными языку подобнаго общества; но повѣсть все-таки заслуживаетъ похвалы по своему намѣренію. Главный герой ея—молодой человѣкъ, сынъ купца, томимый святой жаждой знанія. Окруженный дѣйствительностью, отъ которой страждетъ обоняніе, зрѣніе и человѣческое достоинство, и которая авторомъ скопирована во всей ея наготѣ и естественности,—онъ погибаетъ жертвой этой грязной дѣйствительности. Правда, герой изображенъ не совсѣмъ естественно, довольно слабо, безъ теплоты и увлекательности; но мы говоримъ не о талантѣ (а такимъ предметомъ не погнушался бы и геній), но о добромъ намѣреніи сочинителя. По этому доброму намѣренію повѣсть можетъ быть сочтена за заслугу со стороны Погодина русской литера-

Digitized by Google

турѣ. То же можно сказать и о его маленькой повѣсти «Нищій». Но когда Погодинъ сталъ разсказывать, какъ купеческая дочь задушила подъ периною парня; какъ баба, потчуя дьячка сивухой, сказала ему: «кушай на здоровье»; а тотъ отвѣчалъ ей любезностью: «маслецо коровье»; или пересказывать похожденіе на ярмаркѣ разудалой бабы-чиновницы и пересказывать ея языкомъ; а потомъ героиню повѣсти, порядочную женщину, изъ любви къ мужу заставлять жить въ подвалѣ, въ сонмищѣ пьяницъ, воровъ и мошенниковъ; или изображать психологическія явленія мужиковъ, которые рѣжутъ другихъ и давятся сами:—признаемся, это верхъ романтизма, верхъ народности, которые хуже всякаго классицизма. Мы уважаемъ «Юрія Милославскаго» Загоскина; но, признаемся, рѣшительно не понимали въ его другихъ романахъ прелести ярмарочныхъ сценъ и языка героевъ этихъ сценъ. Мы отдаемъ полную справедливость юмористическому таланту, съ какимъ написанъ «Панъ Халявскій» Основьяненка; еще выше цѣнимъ прекрасную цѣль, съ какой написана эта забавная сатира на доброе старое время, но не можемъ восхищаться многими изъ произведеній Основьяненко за то только, что въ нихъ мужики говорятъ чистымъ мужицкимъ языкомъ и никакъ не выходятъ изъ ограниченной сферы своихъ понятій. Напротивъ, намъ пріятнѣе было бы въ подобныхъ произведеніяхъ встрѣчать такихъ мужиковъ, которые, благодаря своей натурѣ или случайнымъ обстоятельствамъ, нѣсколько возвышаются надъ ограниченной сферой мужицкой жизни...

Но, слава Богу, теперь начинаютъ понимать цѣну такой народности, и начинаютъ понимать ее потому именно, что теперь эта народность находится въ своей апогеѣ, дошла до послѣдней степени нелѣпости. Есть люди, которые приглашаютъ васъ учиться у черни не только литературѣ, но и нравамъ, и обычаямъ, и даже тому, что составляетъ внутреннюю жизнь и свободное убѣжденіе каждаго порядочнаго человѣка. Деревенскіе старосты и богомольныя старухи представляются у нихъ образцами нравственности, созерцательныхъ откровеній и даже образованности и просвѣщенія. Такъ-то справедливо, что ложь гораздо опаснѣе и страшнѣе, когда существуетъ невидимкой и призракомъ; чтобъ уничтожить ее, должно не мѣшать ей дойти до своей послѣдней крайности, впасть въ нелѣпость, сдѣлаться смѣшной, вполнѣ проявиться, принять образъ и лицо, словомъ—созрѣть; тогда она прорвется и сама собой уничтожится. Когда преслѣдуешь зло, надо видѣть его передъ собой, чтобъ можно было показать его другимъ. Вотъ почему тѣ, которые хлопочутъ въ его пользу, сражаютъ его скорѣе другихъ, ему противоборствующихъ. Это единственная и притомъ очень важная заслуга со стороны людей, которые всю жизнь свою бьются изъ разныхъ, полезныхъ ихъ благосостоянію, лжей.

Истина только въ началѣ встрѣчаетъ сильное сопротивленіе, но чѣмъ больше выясняется, чѣмъ больше становится фактомъ, тѣмъ большее число пріобрѣтаетъ себѣ друзей и поборниковъ. Ложь идетъ обратнымъ ходомъ: сильная, пока не вполнѣ проявится, она уничтожается сама собой, подобно призраку, исчезающему отъ лучей свѣта.

«Народность»— великое дѣло и въ политической жизни, и въ литературѣ; только, подобно всякому истинному понятію, она сама по себѣ — односторонность, и является истинной только въ примиреніи съ противоположной ей стороной. Противоположная сторона «народности» есть «общее» въ смыслѣ «обще-человѣческаго». Какъ ни одинъ человѣкъ не долженъ существовать отдѣльно отъ общества, такъ ни одинъ народъ не долженъ существовать внѣ человѣчества. Человѣкъ, существующій внѣ народной стихіи,—призракъ; народъ, не сознающій себя живымъ членомъ въ семействѣ человѣчества,—не нація, но племя, подобное калмыкамъ и черкесамъ, или живой трупъ, подобно китайцамъ, японцамъ, персіянамъ и туркамъ. Безъ народнаго характера, безъ національной физіономіи государство — не живое органическое тѣло, а механическій препаратъ. Но, съ другой стороны, и національнаго духа еще недостаточно для того, чтобъ народъ могъ считать себя чѣмъ нибудь существеннымъ и дѣйствительнымъ въ общности мірозданія. Въ томъ и другомъ случаѣ народъ есть односторонность и крайность, а слѣдовательно и призракъ. Чтобъ народъ былъ дѣйствительно историческимъ явленіемъ, его народность необходимо должна быть только формой, проявленіемъ идеи человѣчества, а не самой идеей. Все особное и единичное, всякая индивидуальность дѣйствительно существуетъ только общимъ, которое есть его содержаніе, и котораго она только выраженіе и форма. Индивидуальность—призракъ безъ общаго; общее, въ свою очередь, призракъ безъ особнаго, индивидуальнаго проявленія. И потому люди, которые требуютъ въ литературѣ одной народности, требуютъ какого-то призрачнаго и пустого «ничего»; съ другой стороны, люди, которые требуютъ въ литературѣ совершеннаго отсутствія народности, думая тѣмъ сдѣлать литературу всѣмъ равно доступной и общей, т. е. человѣческой, также требуютъ какого-то призрачнаго и пустого «ничего».

Digitized by Google

Первые хлопочутъ о формѣ безъ содержанія; вторые—о содержаніи безъ формы. Тѣ и другіе не понимаютъ, что ни форма безъ содержанія, ни содержаніе безъ формы существовать не могутъ, а если существуютъ, то въ первомъ случаѣ—какъ пустой сосудъ страннаго и нелѣпаго вида, а во второмъ, какъ миражи, которые всѣмъ видимы, но которые въ то же время почитаются несуществующими предметами. Очевидно, что только та литература истинно народна, которая въ то же время есть литература общечеловѣческая; и только та литература — истинно-человѣческая, которая въ то же время и народна. Одно безъ другого существовать не должно и не можетъ. Намъ скажутъ въ опроверженіе, что нѣтъ племени на землѣ, которое бы, при всей своей ничтожности, не имѣло у себя поэзіи; а какъ всякая поэзія есть дѣйствительно существующій фактъ, то слѣдовательно можно имѣть народную поэзію и не принадлежа къ семейству человѣческаго рода. Возраженіе, только кажущееся основательнымъ! Нѣтъ на землѣ племени, которое не принадлежало бы къ семейству человѣческаго рода; но дѣло въ томъ, что одно племя меньше, а другое больше принадлежитъ человѣчеству, и что въ этомъ отношеніи всѣ племена и народы представляютъ собою цѣпь, которой звенья съ обоихъ концовъ постепенно увеличиваются къ центру. Египтяне такъ же историческій народъ, какъ и евреи; но важность ихъ для человѣчества далеко неодинакова; первые внесли особый элементъ въ многосложную жизнь Греціи, и только этимъ упрочили свое существованіе въ исторіи; результатомъ же существованія евреевъ была божественная книга, покорившая теперь подъ свою спасительную власть лучшую часть человѣчества и готовая скоро покорить весь міръ. Потому нѣтъ нужды говорить, который изъ этихъ двухъ народовъ болѣе принадлежитъ человѣчеству. Гдѣ только человѣкъ владѣетъ словомъ, любитъ и ненавидитъ, блаженствуетъ и страдаетъ, тамъ уже и является человѣчество, тамъ уже есть и жизнь, и поэзія; но большая разница въ объемѣ слова, любви, ненависти, блаженства и страданія между дикимъ отаитяниномъ и образованнымъ европейцемъ, между финномъ, калмыкомъ, тунгузомъ — и французомъ, нѣмцемъ, англичаниномъ. Такая же разница и между литературами. Есть люди, которые посвящаютъ цѣлую жизнь изученію греческой литературы: но едва ли человѣкъ съ умомъ и душой посвятитъ всю жизнь свою на изученіе чухонской литературы!...

Важность и достоинство народовъ опредѣляется ихъ историческимъ значеніемъ. Народъ, не имѣющій исторіи,—ничто, хотя бы занималъ собою половину земного шара и считалъ свое народонаселеніе сотнями милліоновъ. Такъ, нынѣшніе персіяне хотя и составляютъ значительное государство въ Азіи, но не имѣютъ исторіи, потому что перемѣны династій и властителей еще не составляютъ исторіи. Есть народы, которые имѣютъ внутреннее историческое значеніе, какъ выражающее своей жизнью идею: таковы въ Европѣ народы галльско-римско-тевтонскаго образованія. Есть народы, которые имѣютъ только внѣшнее историческое значеніе, какъ дѣйствовавшіе на другихъ силою тяготѣнія и существовавшіе не для себя: таковы монголы, турки, такова теперь Австрія. Не нужно говорить, что важность первыхъ субстанціальная, а вторыхъ—относительная. Есть народы, которые имѣли мгновенное историческое значеніе, и съ окончаніемъ его погибли: таковы древніе ассиріяне, мидійцы, персы, финикіяне, карѳагеняне и проч. Есть народы, которые, имѣвъ мгновенное или продолжительное историческое значеніе, пережили его какъ бы навсегда: таковы теперешніе евреи, китайцы, японцы, индусы, аравитяне. Есть наконецъ народы, которые имѣли или имѣютъ историческое значеніе не сами собою, а только тѣмъ, что приняли отъ чуждаго имъ племени субстанціальное начало жизни, особенно религію: таковъ теперь весь магометанскій Востокъ, покоренный аравійскимъ исламизмомъ. Всѣ эти различія очень важны, потому что ими опредѣляется степень достоинства каждаго народа, а слѣдственно и его поэзія и литература. И у персіянъ есть поэзія; но ея основа — магометанско-пантеистическое міросозерцаніе, занятое отъ арабовъ; слѣдовательно, ея отнюдь не должно равнять съ арабской поэзіей.

Поэзія каждаго народа есть непосредственное выраженіе его сознанія; отъ этого поэзія тѣсно слита съ жизнью народа. Вотъ причина, почему поэзія должна быть народной, и почему поэзія одного народа не похожа на поэзію всѣхъ другихъ народовъ. Для всякаго народа есть двѣ великія эпохи жизни: эпоха естественной непосредственности, или младенчества, и эпоха сознательнаго существованія. Въ первую эпоху жизни національная особенность каждаго народа выражается рѣзче, и тогда его поэзія бываетъ по преимуществу народной. Въ этомъ смыслѣ народная поэзія отличается рѣзкой особностью, и потому болѣе доступна уразумѣнію всей массы своего народа и болѣе недоступна для другихъ народовъ. Русская пѣсня сильно дѣйствуетъ на русскую душу, но нѣма для иностранца и непереводима ни на какой другой языкъ. — Во вторую

Digitized by Google

эпоху существованія народа поэзія его дѣлается менѣе доступной для массы народа и болѣе доступной для всѣхъ другихъ народовъ. Русскій мужикъ не пойметъ Пушкина, но зато Пушкинская поэзія доступна всякому образованному иностранцу и удобопереводима на всѣ языки. Если народъ ничтоженъ въ историческомъ значеніи, его естественная (народная) поэзія всегда выше его художественной поэзіи, потому что послѣдняя болѣе требуетъ обще-человѣческихъ элементовъ, и если не находитъ ихъ въ жизни своего народа, то дѣлается подражательной. Такъ, народная чешская поэзія и богата, и сильна; а художественная не представляетъ ничего великаго. Естественная (или собственно-народная) поэзія болѣе зависитъ отъ субстанціи народа, чѣмъ отъ его историческаго значенія. Вотъ почему римляне—всемірно-историческая и великая нація—не имѣли народной поэзіи. Что̀ касается до греческой поэзіи — она составляетъ собой какъ-бы исключеніе изъ общаго правила: она никогда не была собственно-народной, но всегда, будучи народной, въ то же время была обще-человѣческой, всемірно-исторической. Причина этого безконечное міросозерцаніе, лежавшее въ субстанціи эллинскаго племени; въ самыхъ древнѣйшихъ миѳахъ эллиновъ заключаются абсолютныя идеи, художественно выраженныя, и въ этомъ отношеніи ихъ древнѣйшіе поэты, до Гезіода и Гомера существовавшіе, равно какъ и сами Гезіодъ и Гомеръ, отличаются отъ позднѣйшихъ—Софокла и Еврипида больше степенью историческаго развитія искусства, чѣмъ художественнаго достоинства. Художественная поэзія всегда выше естественной, или собственно-народной. Послѣдняя — только младенческій лепетъ народа, міръ темныхъ предощущеній, смутныхъ предчувствій; часто она не находитъ слова для выраженія мысли и прибѣгаетъ къ условнымъ формамъ—къ аллегоріямъ и символамъ; художественная поэзія есть, напротивъ, опредѣленное слово мужественнаго сознанія, форма, равновѣсная заключающейся въ ней мысли, міръ положительной дѣйствительности; она всегда выражается образами опредѣленными и точными, прозрачными и ясными, равносильными идеѣ. Мы помнимъ, какъ въ разгарѣ романтическаго броженія многіе утверждали у насъ, что народная пѣсня выше всякаго художественнаго произведенія, и что будто-бы какой нибудь Пушкинъ за честь себѣ ставилъ поддѣлаться подъ простой и наивный складъ народной пѣсни: смѣшное заблужденіе, впрочемъ понятное въ эпоху односторонняго увлеченія! Нѣтъ, одно небольшое стихотвореніе истиннаго художника-поэта неизмѣримо выше всѣхъ произведеній народной поэзіи, вмѣстѣ взятыхъ! И если художникъ-поэтъ настроиваетъ свою разнообразную, гармоническую лиру на монотонный ладъ народной мелодіи—онъ дѣлаетъ этимъ честь народной поэзіи и обнаруживаетъ могущество Протея, способнаго являться во всѣхъ формахъ. Его народная пѣснь выше всѣхъ собственно народныхъ пѣсней, вмѣстѣ взятыхъ: произведеніе, которое выходитъ изъ творческаго духа, обладающаго своимъ предметомъ, всегда выше того, которое выходитъ изъ духа, покореннаго своимъ предметомъ. И со всѣмъ тѣмъ въ народной или естественной поэзіи есть нѣчто такое, чего не можетъ замѣнить намъ художественная поэзія. Никто не будетъ спорить, что реквіемъ Моцарта или соната Бетховена неизмѣримо выше всякой народной музыки,—это доказывается даже и тѣмъ, что первыя никогда не наскучатъ, но всегда являются болѣе новыми, а вторая хороша во-время и изрѣдка; но тѣмъ не менѣе неоспоримо, что власть народной музыки безконечна надъ чувствомъ. Не диво, что русскій мужичокъ и плачетъ, и пляшетъ отъ своей музыки; но то диво, что и образованный русскій, музыкантъ въ душѣ, поклонникъ Моцарта и Бетховена, не можетъ защититься отъ неотразимаго обаянія однообразнаго, заунывнаго и удалаго напѣва народной пѣсни... Возрастъ мужества выше младенчества — нѣтъ спора; но отчего же звуки нашего дѣтства, его воспоминанія даже и въ старости потрясаютъ всѣ струны нашего сердца радостью и грустью, и вокругъ поникшей головы нашей вызываютъ свѣтлыхъ духовъ любви и блаженства?... Оттого, что младенчество есть необходимый и разумный періодъ нашего существованія, который бываетъ только разъ въ жизни и больше не возвращается... Это время нашего единства съ природой, въ которомъ такъ много простодушной и невинной любви; время нашего непосредственнаго сознанія, въ которомъ все было ясно, безъ тяжкихъ думъ и тревожныхъ вопросовъ, какъ будто бы сильфы и феи дружелюбно нашептывали сердцу священныя откровенія и небесная манна сама падала на землю, неорошенную потомъ труда и заботъ... Славное то время было, читатель мой, когда солнышко улыбалось вамъ съ чистаго неба, когда цвѣточекъ наклоненіемъ стебелька ласково привѣтствовалъ васъ, мотылекъ манилъ васъ бѣгать по лугу, кузнечикъ пѣлъ вамъ свою однообразную пѣсенку, и быстрый ручей, по выраженію геніальнаго сумасброда Гофмана, разсказывалъ вамъ чудныя сказочки!... Вы и природа были тогда—одно, и

Digitized by Google

все въ природѣ было для васъ дружескимъ откровеніемъ священной тайны любви и блаженства!... Выше же бокалъ мой, за васъ, счастливыя лѣта моего младенчества! говорите вы. Я теперь умнѣе, чѣмъ былъ тогда; я не промѣняю разума на самое блаженство, но мнѣ все-таки жаль васъ, радужные дни моего счастливаго дѣтства!...

Да, мысль выше непосредственнаго чувства, пора мужества выше поры младенчества; но все же и въ непосредственномъ чувствѣ, и въ порѣ дѣтства есть нѣчто такое, чего нѣтъ ни въ разумномъ сознаніи, ни въ гордой возмужалости, что́ бываетъ только разъ въ жизни и больше не возвращается... Такъ и для народа: онъ все тотъ же и въ эпоху разумнаго сознанія, какъ и въ эпоху непосредственнаго чувства; но его непосредственное чувство было почвой, изъ которой возникъ и развился цвѣтъ и плодъ его разумнаго сознанія. Все послѣдующее есть результатъ предыдущаго: разумная мысль часто есть только сознанное преданіе темной старины, а знаніе часто есть только уясненное предчувствіе; а страна миѳовъ и таинственныхъ предреченій есть страна, полная очарованій и чудесъ... Жизнь распадается на множество сторонъ и вновь совокупляется въ единое и цѣлое; единое выше множества, цѣлое выше частей, но и во всякой отдѣльности есть нѣчто свое, незамѣнимое цѣлымъ. Въ художественной поэзіи заключаются всѣ элементы народной, и сверхъ того есть еще нѣчто такое, чего нѣтъ въ народной поэзіи: однакожъ тѣмъ не менѣе народная поэзія имѣетъ для насъ свою цѣну такъ, какъ она есть, — въ ея чистомъ, безпримѣсномъ элементѣ, въ ея простой, безыскусственной и часто грубой формѣ.

Многое еще можно сказать объ общихъ чертахъ народной поэзіи, но это удобнѣе сдѣлать въ примѣненіи къ русскимъ пѣснямъ и сказкамъ, что́ мы исполнимъ въ слѣдующей статьѣ, а эту просимъ считать только общимъ взглядомъ на значеніе всякой народной поэзіи.

II.

Въ первой статьѣ мы сказали, что какъ естественное противополагается въ поэзіи искусственному, такъ народное противополагается общему, и наоборотъ, какъ народное, такъ и общее суть понятія родственныя, заключающіяся въ самой сущности творчества. Теперь намъ должно объяснить значеніе общаго (мірового, абсолютнаго) и особнаго (частнаго, исключительнаго). Что такое «общее»? — сущность всего сущаго, единство всякаго разнообразія, душа вселенной, начало и конецъ всего, что́ было, есть и будетъ, словомъ — «идея». Почему же, спросятъ насъ, это новое и притомъ такое странное, произвольное названіе для предмета стараго и давно уже получившаго себѣ имя? — Почему же «общее», а не просто «идея»?... — Въ этомъ новомъ словѣ, — отвѣчаемъ мы, — одинъ изъ существеннѣйшихъ признаковъ, которымъ вполнѣ опредѣляется предметъ, берется за самый предметъ, чтобъ тѣмъ яснѣе было значеніе предмета. Слово «идея» требуетъ опредѣленія философическаго, немногимъ интереснаго и доступнаго; слово «общее (Allgemeinheit) можетъ быть объяснено для всѣхъ болѣе или менѣе ясно и удовлетворительно. Чтобъ вѣрнѣе достичь нашей цѣли, будемъ подтверждать наши умозрѣнія примѣрами и подобіями. Все общее есть источникъ и причина существованія всего особнаго и частнаго. Общее необходимо, и потому вѣчно; особное случайно, и потому преходяще. Вы видите передъ собою животное, напримѣръ льва. Его рожденіе, продолжительность или краткость жизни, его смерть — все это совершенно случайно, ибо этотъ левъ могъ и быть, и не быть, и издохнуть едва родясь, и дожить до старости. Природа и міръ такъ же равнодушны къ его существованію, какъ и къ его несуществованію. Но левъ какъ цѣлый, отдѣльный родъ животныхъ, составляющій собой звено въ цѣпи мірозданія, не какой-нибудь, не этотъ левъ, а левъ вообще есть уже не случайное и не частное, а необходимое и слѣдственно общее явленіе. Ежедневно истребляется множество животныхъ, но роды ихъ неистребимы; равнодушная къ участи особныхъ явленій, природа попечительно хранитъ роды и виды. Особныя явленія для нея — случайности; роды и виды — идеи, слѣдственно общее. И такъ, вотъ уже мы и нашли въ безпредѣльномъ многоразличіи природы то, что́ въ ней должно называться общимъ. Если сообразить, что родъ, какъ идея, совокупляетъ въ себѣ безчисленные признаки, равно общіе множеству предметовъ, выражающихъ его, — то слово «общее» уже никому не можетъ казаться произвольнымъ или страннымъ. Роды и виды въ органическихъ явленіяхъ природы, отъ минераловъ *), чрезъ растенія и животныхъ, доходя до человѣка, суть не иное что, какъ необходимые моменты ея развитія, тѣ ступени, на которыхъ она, такъ сказать, от-

*) Здѣсь слово «органическій» берется въ обширномъ смыслѣ, какъ противоположность всему «техническому», не самой природой, а умомъ человѣка производимому.

Digitized by Google

дыхала и успокоилась въ своемъ творческомъ стремленіи къ сознанію себя чрезъ индивидуализированіе. Все сущее, каждый предметъ въ природѣ есть не что иное, какъ воплотившаяся, обособившаяся идея абсолютнаго бытія. Будучи источникомъ всего видимаго, конечнаго и преходящаго, словомъ, будучи матерью всякаго чувственнаго бытія, абсолютная идея, оставаясь въ своемъ элементѣ чистаго, недоступнаго чувствамъ бытія, подобна нулю, который, самъ по себѣ не будучи ничѣмъ, тѣмъ не менѣе принимается математиками за абсолютное начало всякой величины и всѣхъ величинъ. Только тотъ въ состояніи уразумѣть таинственное значеніе этого нуля, чей взоръ столько глубокъ, что можетъ провидѣть сущность вещей, мимо самыхъ вещей, чей умъ такъ могучъ, что въ силахъ совлечь съ міра его покровы, и не затрепетать отъ ужаса, увидѣвшись съ духомъ лицомъ къ лицу. Здѣсь мы приводимъ для ясности образное и поэтически созерцательное выраженіе этой мысли, принадлежащее великому поэту Германіи—Гёте. Фаустъ, давъ обѣщаніе императору вызвать передъ него Париса и Елену, прибѣгаетъ къ помощи Мефистофеля, который неохотно указываетъ ему единственное средство для выполненія этого обѣщанія. «Въ неприступной пустотѣ—говоритъ онъ:—царствуютъ богини; тамъ нѣтъ пространства, еще менѣе времени: то матери». «Матери? восклицаетъ въ изумленіи Фаустъ: —матери! матери!—повторяетъ онъ,—это такъ странно звучитъ...»—«Богини,—продолжаетъ Мефистофель:—невѣдомыя вамъ, смертнымъ, и неохотно именуемыя нами. Готовъ ли ты? Тебя не остановятъ ни замки, ни запоры; тебя обойметъ пустота, имѣешь-ли ты понятіе о совершенной пустотѣ?» Фаустъ увѣряетъ его въ своей готовности. «Еслибъ тебѣ надо было плыть,—продолжаетъ снова Мефистофель,—по безграничному океану; еслибъ тебѣ надобно было созерцать эту безграничность, ты увидѣлъ бы тамъ по крайней мѣрѣ стремленіе волны за волной, ты увидѣлъ бы тамъ нѣчто; ты увидѣлъ бы на зелени усмирившагося моря плескающихся дельфиновъ; передъ тобой ходили бы облака, солнце, мѣсяцъ, звѣзды; но въ пустой, вѣчно пустой дали ты не увидишь ничего, не услышишь своего собственнаго шага; ногѣ твоей не на что будетъ опереться». Фаустъ непоколебимъ:—«въ твоемъ ничто,—говоритъ онъ,—я надѣюсь найти все».

In deinem Nichts hoff ich das All' zu finden.

Мефистофель послѣ этого даетъ Фаусту ключъ. «Ступай съ этимъ ключемъ,—говоритъ онъ ему:—онъ доведетъ тебя до матерей». Слово «матери» снова заставляетъ Фауста содрогнуться.—«Матерей!—восклицаетъ онъ:—какъ ударъ поражаетъ меня это слово! Что это за слово такое, что я не могу его слышать?...» «Неужели ты такъ ограниченъ, — отвѣчаетъ ему Мефистофель,—что новое слово смущаетъ тебя?» Мефистофель потомъ даетъ ему наставленія, какъ онъ долженъ поступать въ своемъ дивномъ путешествіи,—и Фаустъ, ощутивъ новыя силы отъ прикосновенія къ волшебному ключу, топнувъ ногой, погружается въ бездонную глубь. «Любопытно,—говоритъ Мефистофель, оставшись одинъ:—возвратится ли онъ назадъ?» Фаустъ возвратился, и возвратился съ успѣхомъ. Онъ вынесъ съ собой изъ бездонной пустоты треножникъ,—тотъ треножникъ, который былъ необходимъ для того, чтобъ вызвать въ міръ дѣйствительный красоту въ лицѣ Париса и Елены.

Этотъ поэтическій миѳъ Гёте или, лучше сказать, эта поэтическая апоѳеоза самаго отвлеченнаго понятія, очень ясно говоритъ уму своей образностью. Подобно Фаусту, всякій, въ комъ воля способна возвышаться до самоотреченія, отважившись ринуться въ безграничную пустоту—таинственное мѣсто пребыванія царственныхъ матерей всего сущаго,—вынесетъ оттуда съ собою волшебный треножникъ всяческаго знанія и всяческой жизни. Изъ пустоты возвратится онъ въ высшую дѣйствительность, въ «ничто» найдетъ все: ибо что же и все какъ не «ничто», ставшее дѣйствительностью, какъ не безтѣлесныя «матери», воплотившіяся въ міры?... Общее, т. е. идея, чтобъ перейти изъ сферы идеальной возможности въ положительную дѣйствительность, должно было перейти чрезъ моментъ отрицанія своей общности и стать особнымъ, индивидуальнымъ и личнымъ. И это общее, обособившись въ планетѣ и предметахъ ископаемаго и растительнаго царства природы, начало индивидуализироваться въ предметахъ царства животнаго. Мы уже выше сказали, что какъ обособленіе, такъ и индивидуализированіе общаго въ природѣ совершалось въ правильной постепенности восхожденія отъ низшаго рода и вида къ высшему роду и виду. Цѣль этого творческаго движенія была—сознаніе, возможное только для личности, для субъекта, до которыхъ общее достигло, ставъ человѣкомъ. Но какъ природа была, такъ сказать, безсильна вдругъ достичь своей цѣли, ставъ человѣкомъ, то стремленіе ея къ средству сознанія личности началось съ низшихъ моментовъ: съ обособленія (планеты, минералы, растенія), потомъ индивидуализированія (животныя); переходя отъ низшаго къ высшему, природа ознаменовала свое творческое стремленіе стройнымъ рядомъ существъ, постепенно прибли-

Digitized by Google

жающихся къ человѣку. Явно, что орангутангъ былъ послѣдней неудачной попыткой ея сознать себя, послѣ которой ей уже было возможно достичь послѣдняго, высшаго абсолютнаго типа существъ — личности, субъекта, человѣка, и что, достигши цѣли своего стремленія, она вдругъ какъ бы лишилась своей творческой силы и дѣятельности, какъ уже болѣе не имѣющей цѣли и потому не нужной.

Человѣкомъ оканчивается царство природы и имъ же начинается царство духа. Мы видѣли, что въ природѣ общее (идея) является въ родахъ и видахъ веществъ и существъ: теперь посмотримъ, какъ оно является въ человѣкѣ.

Что̀ такое обще-человѣческое? Разумѣется, то, что́ составляетъ общій интересъ всѣхъ и каждаго, то, что́ всѣхъ волнуетъ, во всякомъ находитъ отзывъ, служитъ невидимымъ рычагомъ дѣятельности всѣхъ и каждаго. «Стало-быть — деньги!» — воскликнетъ иной читатель: «чему же другому и быть!» Не споримъ съ тѣми, кто уже такъ глубокъ въ этомъ убѣжденіи, что его нельзя переспорить; но для многихъ другихъ, еще не слишкомъ крѣпкихъ въ подобномъ вѣрованіи, и для немногихъ, совершенно чуждыхъ ему, скажемъ нѣсколько словъ объ «общемъ» людей. Такъ какъ общее людей есть то, что̀ связываетъ людей между собою, то не споримъ, что и взаимныя нужды и отношенія суть общее. Но это еще не то общее, о которомъ говоримъ мы: есть между людьми другое высшее, благороднѣйшее, достойнѣйшее ихъ общее: это — л ю б о в ь. Но любовь есть только чувство, и потому что-то инстинктуальное, невольное и безсознательное. Любовь, какъ чувство, свойственна и животнымъ въ половыхъ и семейныхъ отношеніяхъ. Любовь человѣка должна быть выше, а для этого она должна быть сознательной, должна имѣть разумное содержаніе. Вы, читатель, имѣете друга; онъ погибаетъ,—и вы спасаете его съ опасностью собственной жизни или съ пожертвованіемъ собственнаго благосостоянія. Это высокій и прекрасный подвигъ, но это еще не любовь, а только дѣйствіе любви: любви должно искать въ причинахъ нашей любви къ другу, въ томъ, что̀ связываетъ васъ съ нимъ дружбой. Мы нисколько не отвергаемъ дѣйствительности факта, что и величайшіе злодѣи иногда погибаютъ другъ за друга; но причина этого — привычка считать жизнь ни за что̀, и еще болѣе — взаимная нужда другъ въ другѣ, т. е. сперва безсознательность ожесточенія, а потомъ эгоизмъ: слѣдственно тутъ о любви нечего и говорить. Связываютъ людей еще и общія страсти, пристрастія, привычки, какъ-то: вино, карты, сплетни, и проч.; но въ подобнаго рода связяхъ не бываетъ примѣровъ самоотверженія. И такъ, ваша любовь къ другу, доказанная самопожертвованіемъ, должна же на чемъ-нибудь основываться, вы за что̀ же нибудь должны любить вашего друга, а онъ васъ, словомъ, между вами должно же быть что-нибудь общее?... Такъ, — и ужъ конечно это то, что составляетъ человѣческое достоинство, что̀ дѣлаетъ человѣка человѣкомъ, что́ называется благомъ, истиной, красотой, долгомъ, обязанностью, знаніемъ и т. п. А благо, истина, красота, долгъ, честь, слава, доблесть, знаніе, все это — идеи, слѣдственно все это «общее». И потому, любя вашего друга, вы любите въ немъ не что-нибудь частное, случайное, ему одному принадлежащее (какъ напримѣръ цвѣтъ волосъ, голосъ, лицо); но тотъ Прометеевъ огонь, то божественное начало, которое есть общее наслѣдіе человѣческой натуры, словомъ — идею. Вы скажете, что, несмотря на то, вы все-таки любите и лицо, и голосъ, и поступь, и манеры, и всю непосредственность вашего друга: оно такъ и должно быть, ибо въ томъ-то и состоитъ взаимное отношеніе общаго къ особному и особнаго къ общему, что они въ человѣкѣ не приклеиваются другъ къ другу внѣшнимъ образомъ, такъ, что можно было бы сказать, что̀ въ немъ общее и что̀ особное, но взаимно проникаютъ другъ друга, неразрывно, органически сливаются другъ съ другомъ. Человѣкъ состоитъ изъ тѣла и души, но вѣдь нельзя же сказать: вотъ въ немъ тѣло, а вотъ душа; доселѣ анатомія и физіологія еще не нашли (и никогда не найдутъ) мѣста въ тѣлѣ, гдѣ живетъ душа, и какъ тѣло безъ души, такъ и душа безъ тѣла есть отвлеченное понятіе, а не дѣйствительное явленіе, не человѣкъ. Чѣмъ болѣе проникнутъ человѣкъ общимъ, тѣмъ разительнѣе достоинство и прелесть его личности, тѣмъ онъ особнѣе, такъ сказать, и мы, думая любить его за черты лица или голосъ, любимъ его за душу, а думая любить за душу, любимъ за лицо, рѣчь и манеры. Опредѣлительно на этотъ счетъ можно сказать только то, что особное получаетъ свое достоинство только отъ общаго, и что любить можно только идею. Намъ возразятъ, что есть люди, одаренные сильной способностью любить и которые часто устремляютъ свою любовь на предметы, не совсѣмъ достойные ея, или видя въ нихъ мнимыя достоинства, или просто по привычкѣ, или вслѣдствіе особенной обстановки обстоятельствъ. Это ничего не доказываетъ, кромѣ безсознательности. Позорно въ человѣкѣ отсутствіе всякаго чувства; но любовь всегда есть признакъ человѣческаго достоинства, на какой бы

Digitized by Google

ступени ни стояла она; высшая же, дѣйствительная любовь есть любовь сознательная, разумная.

Каждый человѣкъ — самъ себѣ цѣль; назначеніе каждаго человѣка — развить въ себѣ все человѣческое, общее и насладиться имъ. Всѣ люди имѣютъ равное право на дары духа, — разумѣется, въ той мѣрѣ, въ какой каждый изъ нихъ, по своей натурѣ, можетъ вмѣстить въ себѣ. Но есть особый родъ людей, которые по преимуществу могутъ назваться любимцами неба: это — великіе историческіе дѣйствователи. Исторія нѣкоторымъ образомъ представляетъ собой явленіе, параллельное природѣ: какъ въ природѣ общее является въ родахъ и видахъ, такъ въ исторіи это общее является въ избранникахъ судебъ Божіихъ. Они выражаютъ своей личностью все, что составляетъ сущность народа или человѣчества въ ихъ эпоху; они страдаютъ и блаженствуютъ за милліоны; они — олицетворенная идея, «личное общее» своего времени. И потому ихъ личности не суть что-нибудь преходящее, но вѣчное, никогда не умирающее. Онѣ представляютъ собой «общее», и потому до нихъ всѣхъ и каждому дѣло, всякая живая душа откликнется на ихъ имя, все интересуется ихъ участью, даже малѣйшими подробностями ихъ частной жизни. Заговорите съ послѣднимъ безграмотнымъ и полудикимъ русскимъ мужичкомъ въ глуши отдаленной провинціи, заговорите съ нимъ о Петрѣ Великомъ, о Наполеонѣ,—и онъ будетъ васъ слушать, будетъ съ участіемъ васъ разспрашивать. «Что-жъ ему Гекуба?» спрашиваете вы вопросомъ Гамлета... Общее, общее! — отвѣчаю я вамъ. Въ чемъ бы ни проявилось оно—въ исполинской ли мысли Петра преобразовать народъ; въ исполинской-ли мысли Наполеона дать законы всему міру; въ исполинской-ли художественной дѣятельности Шекспира; въ ужасающемъ-ли патріотическомъ фанатизмѣ Брута, палача горячо любимыхъ дѣтей своихъ; въ религіозномъ-ли рвеніи Іоанна Гусса, и какъ бы ни кончилось оно—полной-ли побѣдой и полнымъ оправданіемъ при жизни, островомъ-ли св. Елены, полнотой-ли славы при жизни, сдѣлавшейся въ тягость, костромъ-ли: — оно общее, всѣмъ равно принадлежащее, и потому каждый и знаетъ о немъ, какъ о своихъ собственныхъ нуждахъ, хотя бы и вѣка отдѣляли его отъ него...

И такъ, предметъ искусства есть общее, въ значеніи котораго мы условились съ читателями. Но въ искусствѣ, какъ и въ природѣ и въ исторіи, общее, чтобъ не оставаться отвлеченной идеей, должно обособляться въ отдѣльныя органическія явленія. Поэтому всякое художественное произведеніе есть отдѣльное, особное, но проникнутое общимъ содержаніемъ — идеей. Въ художественномъ произведеніи идея съ формой должна быть органически слита, какъ душа съ тѣломъ, такъ что уничтожить форму значитъ уничтожить идею, и наоборотъ. Сущность искусства — уравновѣшеніе общаго съ особнымъ, идеи съ формой. Въ искусствѣ форма прежде всего, потому что все въ ней; она не должна быть внѣшнимъ средствомъ для выраженія идеи, но самой идеей въ чувственномъ проявленіи. И поэтому, какъ трудно опредѣлить значеніе того или другого человѣка, почти такъ же трудно и опредѣлить идею ходожественнаго произведенія, Единосущность идеи съ формой такъ велика въ искусствѣ, что ни ложная идея не можетъ осуществиться въ прекрасной формѣ, ни прекрасная форма быть выраженіемъ ложной идеи. Если въ произведеніи искусства форма преобладаетъ надъ идеей,—это значитъ, что идея не довольно опредѣленна и ясна для созерцанія творящаго, и тогда форма не можетъ быть вполнѣ прекрасна, и произведеніе можетъ быть даже уродливо, какъ неудачный порывъ къ творческому сознанію. Таковы грубо-изваянные или грубо вырѣзанные идолы языческихъ племенъ, стоящихъ на низшей степени развитія. Причина ихъ безобразія не младенческое состояніе технической стороны искусства у племени, а бѣдность и слѣдственно неопредѣленность идеи, которая не можетъ подняться выше туманнаго предчувствія истины. Вообще недозрѣвшая мысль если и высказывается иногда удачно въ искусствѣ, то въ подробностяхъ, а не въ цѣломъ. Этимъ объясняется чудовищность символическихъ храмовъ и идоловъ Индіи, равно какъ и чудовищная огромность «Магабараты» и «Рамайяны», въ которыхъ цѣлое поглощается длинными эпизодами, а высокія красоты поэзіи мѣняются съ дикими образами и случайностями. Египетскія статуи ужъ ближе къ истинному искусству; онѣ отличаются даже изяществомъ внѣшней отдѣлки; но ихъ лица бѣдны выраженіемъ, позы принужденны и связаны. Въ греческой статуѣ жизнь и свобода сочетались съ красотой и граціей; это истинные боги, сошедшіе на землю. Вообще въ греческомъ искусствѣ идея уравновѣсилась съ формой, и потому искусство грековъ есть болѣе искусство, чѣмъ даже искусство новѣйшаго времени. Если въ искусствѣ преобладаетъ идея надъ формой, тогда искусство теряетъ свое чистое, первоначальное значеніе и, по степени преобладанія, соприкасается съ другими абсолютными сферами сознанія, дѣлаясь для нихъ какъ бы сред-

Digitized by Google

*

ствомъ и чрезъ то пріобрѣтая не менѣе важное, но уже новое значеніе.

Идея народности въ искусствѣ вытекаетъ прямо изъ процесса обособленія общаго. Самое человѣчество, хотя и нѣтъ ничего выше его изъ существующаго во-внѣ, есть уже нѣчто особное, — тѣмъ болѣе народъ. Если художникъ изображаетъ въ своемъ произведеніи людей, то, во первыхъ, каждый изъ нихъ долженъ быть человѣкомъ, а не призракомъ, долженъ имѣть физіономію, характеръ, нравъ, свои привычки, словомъ—всѣ индивидуальные признаки, какими каждая личность отличается въ дѣйствительности отъ всякой другой личности. Потомъ каждый изъ нихъ долженъ принадлежать къ извѣстной націи и къ извѣстной эпохѣ, потому что человѣкъ внѣ національности есть не дѣйствительное существо, а отвлеченное понятіе. Изъ этого ясно видно, что національность въ художественномъ произведеніи есть не заслуга, а только необходимая принадлежность творчества, являющаяся безъ всякаго усилія со стороны поэта. И потому, чѣмъ выше произведеніе въ художественномъ отношеніи, тѣмъ оно и національнѣе, и хвалить великаго художника за національность его творенія — все равно, что хвалить великаго астронома за то, что при вычисленіяхъ своихъ онъ не ошибается въ таблицѣ умноженія. Въ самомъ дѣлѣ, что за заслуга со стороны русскаго, что его дѣти отличаются русской физіономіей? Конечно, чтобъ быть національнымъ поэтомъ, нужно сперва быть великимъ человѣкомъ, представителемъ духа своей націи; но изъ этого-то и слѣдуетъ, что великій талантъ дѣлаетъ поэта національнымъ, а не національность дѣлаетъ его великимъ поэтомъ: послѣднее есть только необходимое слѣдствіе перваго. При извѣстіи о вновь родившемся человѣкѣ никто не спрашиваетъ, есть ли у него глаза и руки, сколько ногъ, и нѣтъ ли роговъ и хвоста: если онъ человѣкъ, такъ ужъ само собой разумѣется, что у него есть и глаза, и руки, ногъ всего двѣ, а не четыре, а роговъ и хвоста нѣтъ. Такъ и въ искусствѣ: если произведеніе художественно, то, само самой, оно и національно; въ противномъ же случаѣ, оно не можетъ быть и художественнымъ произведеніемъ, а будетъ аллегоріей, символомъ или просто надутымъ и холоднымъ призракомъ, гдѣ общее не обособилось органически, а только прикрылось лоскутьями натянутаго вымысла, который не вывелъ во-внѣ, а только закрылъ его смыслъ. Это относится не къ однимъ тѣмъ произведеніямъ, которыхъ содержаніе берется изъ дѣйствительной жизни, какъ въ романѣ, повѣсти, драмѣ, комедіи, но и къ лирическимъ поэмамъ. «Фаустъ» Гёте — міровое, обще-человѣческое произведеніе; но тѣмъ не менѣе, читая его, вы видите, что оно могло родиться только въ фантазіи нѣмца, и Байроновъ «Манфредъ», явно навѣянный «Фаустомъ», уже нисколько не вѣетъ германскимъ духомъ. Хотя Шекспиръ въ своихъ драмахъ выводилъ и не однихъ англичанъ, но французовъ, и нѣмцевъ, и итальянцевъ, и даже древнихъ римлянъ и грековъ, но, читая его, вы понимаете, что только въ Англіи могъ явиться такой драматургъ; кому эта мысль показалась бы странной, тѣхъ просимъ прочесть въ «Отечественныхъ Запискахъ» (томъ XV, 1841, книжка 4, Науки) статью Филарета Шаля «Марія Стюартъ»: этотъ историческій отрывокъ представляетъ всѣ элементы драмы, кроющіеся въ англійской исторіи. Какъ ни разнообразенъ, какъ ни мірообъемлющъ Гёте въ своихъ созданіяхъ, но каждое изъ нихъ вѣетъ нѣмецкимъ и сверхъ того еще «Гётевскимъ» духомъ. Хотя въ большой чисти лирическихъ пьесъ Пушкина, и даже въ нѣкоторыхъ эпическихъ его произведеніяхъ, какъ въ «Донъ-Хуанѣ», и содержаніе, и форма повидимому чисто европейскія; но и въ нихъ Пушкинъ является истиннымъ національнымъ русскимъ поэтомъ, уже по одному тому, что ихъ никогда нельзя смѣшать ни съ Байроновскими, ни съ Гётевскими, ни съ Шиллеровскими созданіями, и нельзя иначе назвать, какъ «Пушкинскими». Повторяемъ: это необходимо, это лежитъ въ сущности творчества; изъ какого бы міра ни бралъ поэтъ содержанія для своихъ созданій, къ какой бы націи ни принадлежали его герои, самъ онъ всегда остается представителемъ духа своей націи, смотритъ на предметы *ея* глазами и кладетъ на нихъ *ея* печать. И чѣмъ геніальнѣе поэтъ, тѣмъ общѣе его созданія, а чѣмъ они общѣе, тѣмъ національнѣе и оригинальнѣе. Чѣмъ отличается геній отъ таланта? — Тѣмъ, что, будучи оригинальнымъ, онъ въ то же время и общѣе таланта. Гофманъ — великій талантъ, но онъ — далеко низшее явленіе въ сравненіи съ Гёте и Шиллеромъ: онъ выразилъ только одну сторону германскаго духа, тогда какъ тѣ, каждый по своему, исчерпали всю глубину его, выразили всѣ стороны его. И потому оригинальность Гофмана для многихъ кажется странностью, и многіе люди съ эстетическимъ чувствомъ, понимая Шиллера и Гёте, не понимаютъ Гофмана. Причина этому не оригинальность Гофмана, а ея источникъ, не довольно общій, чтобъ могъ возвысить ее до абсолютнаго; оригинальность все-таки остается необходимымъ условіемъ не только генія, но даже самаго значительнаго таланта: только сфера без-

Digitized by Google

дарности отличается безличной общностью, для которой не существуетъ ни пространства, ни времени, ни націи, ни колорита, ни тона,—которая во всѣхъ странахъ и во всѣ времена, отъ начала міра до нашихъ дней, выражается однимъ языкомъ и одними и тѣми же словами.

Но условія обособленія общаго въ произведеніяхъ искусства не оканчиваются только національностью и оригинальностью; безъ типизма нѣтъ ни той, ни другой. Типъ (первообразъ) въ искусствѣ — то же, что̀ родъ и видъ въ природѣ, что̀ герой въ исторіи. Въ типѣ заключается торжество органическаго сліянія двухъ крайностей— общаго и особнаго. Типическое лицо есть представитель цѣлаго рода лицъ, нарицательное имя многихъ предметовъ, выражаемое однакоже собственнымъ именемъ. Такъ напримѣръ, Отелло—собственное имя, принадлежащее только одному лицу, изображенному Шекспиромъ; но, видя человѣка въ припадкѣ ревности, мы называемъ его Отелло, хотя бы этотъ человѣкъ назывался Иваномъ или Петромъ, и былъ русскій или нѣмецъ, а не мавръ. Въ этомъ же смыслѣ всѣ герои поэмъ, драмъ и повѣстей Пушкина, «Горе отъ Ума» Грибоѣдова, повѣстей Гоголя — типы. Боже мой, если посмотрѣть, на сколькихъ людей приходится такъ ловко, какъ-будто по нихъ шито, достославное имя одного Ивана Александровича Хлестакова!... Это не эклектическое собраніе рѣзкихъ чертъ одной и той же идеи, а общая идея, обособившаяся въ художественно-созданномъ лицѣ, это лицо и вмѣстѣ — идея; а какъ одна и та же идея является въ дѣйствительности въ безконечномъ разнообразіи, то въ лицѣ, вполнѣ выразившемъ ее собой, видится множество лицъ.

Но и здѣсь еще не конецъ условіямъ обособленія общаго въ искусствѣ. Художественное произведеніе должно быть цѣлымъ, единымъ, особнымъ и замкнутымъ въ себѣ міромъ. Въ немъ общая идея, пріявъ плоть и образъ, такъ сказать, приковывается къ пространству и времени, и притомъ къ извѣстному пространству и къ извѣстному времени. Оно овеществляется, явившись въ формѣ: но, дѣлаясь матеріей, оно не перестаетъ быть духомъ: принадлежа ничтожному клочку земли, на которомъ разыгралась драма, оно — гражданинъ всего міра; принадлежа къ ничтожному мгновенію, въ которое совершилось событіе, оно—достояніе вѣчности. И потому художественное произведеніе и конечно, и безконечно вмѣстѣ: конечно—потому что состоитъ въ кускѣ мрамора, въ лоскуткѣ полотна, въ книгѣ, можетъ быть взято руками, перенесено, истреблено, а главное потому, что выражаетъ одинъ извѣстный случай, небольшое число людей или мгновенное ощущеніе; оно безконечно, потому что выраженный имъ случай заключаетъ въ себѣ возможность безчисленнаго множества подобныхъ случаевъ; изображенные имъ люди заключаютъ въ себѣ множество людей, которые были, есть и всегда могутъ быть, а мгновенное ощущеніе одного поэта есть достояніе, собственность милліоновъ людей,—словомъ, потому что въ его конечной формѣ выразилось безконечное, общее, непреходящее—идея, духъ. Кто не умѣетъ въ своемъ разумѣніи примирить этихъ двухъ противоположныхъ понятій—конечнаго и безконечнаго, тотъ правъ въ отношеніи къ себѣ, хотя и виноватъ передъ истиной, думая, что «Иліада» для насъ — мертвая буква, ибо де «мы не греки и не римляне».

Истинное и полное сліяніе общаго съ особнымъ возможно только чрезъ уравновѣшеніе идеи съ формой, слѣдственно только въ художественной поэзіи. Мысль младенчествующаго народа всегда болѣе или менѣе темна, неопредѣленна, а потому и не можетъ найти себѣ равновѣснаго выраженія въ формѣ. Мысль младенчествующаго народа есть не разумное сознаніе, возросшее до опредѣленности въ выраженіи, а только темное предощущеніе истины, которое, силясь выразиться, не говоритъ, а лепечетъ, дополняя условными знаками неуловимый для самой себя смыслъ своей рѣчи. Однимъ уже этимъ достаточно опредѣляется отношеніе естественной или народной поэзіи къ художественной поэзіи. Первая есть несвязный дѣтскій лепетъ; вторая—опредѣленное слово мужа. Первая намекаетъ, вторая полагаетъ и утверждаетъ. Художественная поэзія идетъ прямо къ своей цѣли, и таинственное, неизглаголанное выражаетъ въ опредѣленномъ словѣ; естественная поэзія прибѣгаетъ къ иносказанію, къ миѳу, которыхъ смыслъ можетъ провидѣть только посвященный, тогда какъ толпа видитъ одну басню и слѣпо вѣритъ ей, какъ непреложному историческому факту. Но художественная поэзія находится въ тѣсномъ сродствѣ съ естественной, ибо, такъ сказать, вырастаетъ на ея почвѣ. Оттого она такъ любитъ пользоваться миѳическими преданіями народа и, отдѣляя отъ нихъ все случайное, возсоздавать ихъ въ новой лѣпотѣ. Однакожъ эта живая, родственная связь, это отношеніе матери къ дочери, между естественной и художественной поэзіей возможно только при одномъ условіи, sine qua non: естественная поэзія только тогда можетъ развиться изъ самой себя въ художественную, когда она полна элементовъ «общаго». Для доказательства этого стоитъ

Digitized by Google

только указать на греческій и тевтонско-германскій міръ. Прометей похитилъ съ неба огонь, возжегъ теплотой и свѣтомъ дотолѣ мертвыя тѣла людей; Зевсъ, увидѣвъ въ этомъ возстаніе противъ боговъ, въ наказаніе приковалъ Прометея къ скалѣ Кавказскихъ горъ и приставилъ къ нему коршуна, который безпрестанно терзаетъ внутренности Прометея, безпрестанно заростающія. Зевсъ ожидаетъ отъ преступника покорности; но жертва горделиво сноситъ свои страданія и презрѣніемъ отвѣчаетъ палачу своему. Вотъ миѳъ, котораго однако достаточно, чтобъ служить источникомъ и почвой для развитія величайшей художественной поэзіи, а у грековъ было множество такихъ миѳовъ, находившихся въ живой, органической связи между собой и переданныхъ имъ, какъ откровеніе абсолютныхъ истинъ, самой ихъ природой. И потому удивительно ли, что подобный миѳъ могъ дать содержаніе для величайшей трагедіи одному изъ величайшихъ національныхъ геніевъ—Эсхилу? Удивительно ли, что тотъ же самый миѳъ могъ дать содержаніе генію новѣйшаго времени—Гёте, для одного изъ колоссальнѣйшихъ его произведеній—«Прометей»? Поговоримъ о первомъ, чтобъ проникнуть въ мысль миѳа и въ его баснѣ провидѣть общее содержаніе.

Кратосъ (сила, могущество, власть, авторитетъ), Біа (сила) и Гефестъ (богъ огня) приводятъ Прометея (провидца) къ скалѣ Кавказскихъ горъ, чтобы приковать его къ ней по повелѣнію Зевса. Кратосъ велитъ Гефесту немедленно приступить къ дѣлу: «Прометей», — говоритъ онъ, — похитилъ огонь, лучшее твое достояніе и орудіе всѣхъ искусствъ, и сообщилъ его смертнымъ; за это преступленіе онъ долженъ испытать величайшія муки—да научится покоряться волѣ Зевса». Гефестъ повинуется, но изъявляетъ Прометею свое сожалѣніе, какъ равному себѣ богу, и притомъ караемому за доброе дѣло. «Смѣлый сынъ Ѳемиды (правосудія, справедливости), я противъ тебя и противъ себя долженъ приковать тебя къ этому утесу неразрушимыми цѣпями; вотъ что пріобрѣлъ ты за свою филантропію (любовь къ людямъ)! Напрасно будешь ты жаловаться и стенать: сердце Зевса непреклонно, ибо новый повелитель всегда жестокъ бываетъ» *). Кратосъ упрекаетъ Гефеста за его состраданіе къ Прометею, какъ за слабость, и Гефестъ, не переставая изъявлять Прометею своего соболѣзнованія, приковываетъ къ утесу обѣ его руки, приковываетъ ноги и вбиваетъ въ грудь желѣзный гвоздь. Кратосъ саркастически издѣвается надъ страдальцемъ: «Хвались теперь съ обычной твоей гордостью,—говоритъ онъ: —хвались похищеніемъ божественныхъ сокровищъ, которыя ты передалъ своимъ эфемерамъ! Кто изъ нихъ облегчитъ твои мученья? Ошибаются называющіе тебя Прометеемъ (провидцемъ); тебѣ неприлично это имя: тебѣ бы самому нуженъ былъ Прометей для предохраненія тебя отъ этого бѣдственнаго положенія». Кратосъ, Біа и Гефестъ уходятъ; Прометей, хранившій дотолѣ молчаніе, призываетъ въ свидѣтели сдѣланнаго ему насилія эѳиръ, вѣтры, источники рѣкъ, волны морскія и землю—матерь всего существующаго. «Но, — говоритъ онъ:—къ чему это? Я предвижу все, что̀ должно случиться — не мнѣ страшиться непредвидѣнныхъ бѣдствій: зная непобѣдимую силу необходимости, предадимся опредѣленію судьбы!» Является хоръ морскихъ нимфъ, дщерей Океана, жалобно взывающій во изъявленіе своего состраданія къ Прометею. Хоръ говоритъ ему, что удары Гефестова молота отдались даже въ безднахъ моря, и что возмущенныя этимъ нимфы поспѣшили сюда на колесницѣ, полунагія и босыя. Утѣшая Прометея, онѣ обвиняютъ Кронида въ несправедливости и жестокосердіи. Тогда Прометей говоритъ имъ, что Зевсъ долженъ будетъ прибѣгнуть къ нему же, чтобъ узнать о новомъ врагѣ, долженствующемъ низвергнуть его съ престола; но что тщетно будетъ умолять его и грозить ему, ибо онъ рѣшился хранить тайну. Далѣе Прометей разсказываетъ нимфамъ свою исторію, начиная ее съ борьбы между Крономъ и Зевсомъ, который побѣдилъ Крона, слѣдуя совѣтамъ Прометея. «И вотъ какъ вознаградилъ онъ меня! Но никому не довѣрять, даже друзьямъ своимъ, — обыкновенная болѣзнь тирановъ!» Далѣе разсказываетъ, что Зевсъ, одолѣвъ Крона, началъ раздавать богамъ милости и дары, чтобъ утвердить свое владычество, а несчастныхъ смертныхъ рѣшился совершенно истребить; но что онъ, Прометей, одинъ воспротивился тому, сообщилъ людямъ огонь, могущій споспѣшествовать къ открытію многихъ искусствъ, просвѣтилъ и укрѣпилъ души ихъ, исцѣлилъ ихъ отъ боязни смерти и возродилъ въ нихъ утѣшительную надежду... Наконецъ Прометей убѣждаетъ нимфъ сойти съ ихъ окрыленной колесницы, чтобъ удобнѣе разслушать повѣсть о его несчастьяхъ, и нимфы оставляютъ «безоблачный эѳиръ, служащій птицамъ путемъ къ горячей вершинѣ скалы». Вдругъ появляется Океанъ на «птицѣ съ быстрыми крыльями», утѣшаетъ Прометея, совѣтуетъ ему не раздражать Зевса обидными выраженіями и обѣщаетъ вы-

*) Намекъ на похищеніе Зевсомъ Кронова престола.

Digitized by Google

просить ему у Кронида освобожденіе. Прометей отвѣчаетъ ему, что это будетъ безполезно для страдальца и опасно для ходатая, благодаритъ его за участіе и отказывается отъ помощи. По удаленіи Океана Прометей говоритъ нимфамъ: «Если молчу я, то не думайте, что отъ гордости или оскорбленія; но я въ мысляхъ пожираю сердце мое, видя себя столь несправедливо утѣсненнымъ». Потомъ онъ исчисляетъ свои благодѣянія людямъ и предрекаетъ, что владычество Зевса должно имѣть конецъ, что ему, Прометею, извѣстно какъ время, когда это совершится, такъ и имя того, кто низвергнетъ Кронида. На мольбу нимфъ открыть имъ эту тайну Прометей возражаетъ: «Напрасно будете вы упрашивать: я долженъ и буду хранить эту ужасную тайну». Зевсъ посылаетъ Гермеса къ Прометею, чтобъ исторгнуть у него роковую тайну. Прометей говоритъ, что онъ знаетъ ее, но не скажетъ,—и въ горделивомъ презрѣніи къ низкому слугѣ веселится мыслью о неизбѣжномъ паденіи его властелина. Гермесъ грозитъ ему молніями и громами тучегонителя; но Прометей непоколебимъ: въ сознаніи правоты своей онъ презираетъ Зевса и власть его. Молнія расшибаетъ скалу—и Прометей исчезаетъ вмѣстѣ съ нею...

Мы взяли бы на себя слишкомъ смѣлый и тяжелый трудъ, еслибъ захотѣли объяснить удовлетворительно смыслъ великаго миѳа о «Прометеѣ», и потому довольно будетъ намекнуть на него.

Прометей и Зевсъ—это божество, раздѣлившееся на самого себя, это сознаніе, распавшееся на двѣ стороны, которыя, по закону діалектическаго развитія, враждебно стали одна къ другой. Зевсъ — это непосредственная полнота сознанія; Прометей—это сила разсуждающая, духъ, непризнающій никакихъ авторитетовъ, кромѣ разума и справедливости. Зевсъ возсталъ на отца своего, Крона, съ громами и молніями; Прометей возсталъ на Зевса съ мыслью и словомъ. Прометей вправѣ былъ сказать своему могучему противнику: «ты сердишься, Юпитеръ: слѣдовательно ты не правъ!» И потому Зевсъ могъ его уничтожить, но не устрашить и не преклонить. Горделивая твердость, полное сознаніе своего достоинства и своей правоты, самоотверженіе Прометея было оправданіемъ его пророчества о концѣ власти Зевса: Зевсъ не правъ, и потому долженъ будетъ уступить свое владычество другой, болѣе справедливой власти. Что́ же значитъ коршунъ, терзавшій безпрестанно сраставшіяся внутренности похитителя небеснаго огня?—На это у Эсхила лучшій отвѣтъ даетъ самъ Прометей: «Я въ мысляхъ пожираю сердце мое!» Это грустная дума, какъ червь грызущая сердце и подтачивающая корни жизни; это муки распаденія. Зевсъ не правъ, но онъ еще существуетъ, и власть его еще сильна—онъ еще мститъ своему противнику; зачѣмъ же онъ силенъ, если онъ не правъ? Затѣмъ, что Прометею суждено только начать великое дѣло, а не кончить его; онъ—только очистительная жертва общаго дѣла, а не торжествующій побѣдитель; онъ далъ движеніе сознанію, которое безъ него коснѣло бы въ недѣятельности, но онъ еще не видѣлъ результата сознанія: онъ началъ борьбу, но не ему суждена полная побѣда. Что́ же такое огонь, похищенный Прометеемъ съ неба и сообщенный имъ людямъ?—Это мысль, сознаніе, пробудившее людей отъ мертваго сна животной непосредственности. Прометей далъ знать людямъ, что въ истинѣ и знаніи они—боги, что громы и молніи еще не доказательства правоты, а только доказательства неправой власти. Пробуждено сознаніе въ людяхъ,—и паденіе Зевса уже неизбѣжно; рано или поздно, но алтари его сокрушатся, и колѣни смертныхъ преклонятся предъ Богомъ правды и истины, любви и милости... Глубокознаменательный миѳъ, необъятный, какъ вселенная, вѣчный, какъ разумъ!..

«Прометей» Гёте въ нѣкоторомъ смыслѣ есть поэтическій комментарій на Эсхилова «Прометея». Это та же древняя мысль, но высказанная яснѣе, опредѣленнѣе, развитая подробнѣе, и вмѣстѣ съ тѣмъ мысль, получившая новую силу и новое значеніе вслѣдствіе всемірно-историческаго развитія. Борьба идеи съ авторитетомъ не кончилась съ Прометеемъ: она не разъ возобновлялась, и даже едва ли еще рѣшена и теперь. Достовѣрно можно сказать только, что вопросъ теперь вполнѣ уяснился, и Прометеи нашего времени заранѣе торжествуютъ побѣду и уже не боятся хищнаго коршуна. Отъ этого «Прометей» Гёте имѣетъ для насъ значеніе самобытнаго созданія, и по преимуществу есть поэма нашего времени. Мы слишкомъ отдалились бы отъ своего предмета, еслибъ стали излагать содержаніе великой поэмы Гёте; но слѣдующій отрывокъ можетъ намекнуть на ея основную мысль. Прометей начисто отказываетъ Меркурію въ повиновеніи богамъ; Меркурій напоминаетъ ему, что они заботились о немъ, когда онъ былъ дитятею; Прометей ему отвѣчаетъ:

За это тѣшились они
Моимъ повиновеньемъ
И мной ребенкомъ управляли
По вѣтру прихотей своихъ.

Меркурій.

Они тебѣ защитой были.

Digitized by Google

Прометей.

А отъ чего?—отъ бѣдствій,
Передъ которыми дрожали сами?
Они предохранили развѣ сердце
Отъ змѣй, меня снѣдавшихъ втайнѣ?
Они ли оковали силой грудь
На страхъ титанамъ?
Не время-ль мужемъ сдѣлало меня,
Всесильное, единственное время,
Нашъ общій властелинъ?

Меркурій.

Несчастный! ты богамъ безсмертнымъ
Дерзаешь это говорить?

Прометей.

Богамъ?—А я не богъ?...
Всесильные! безсмертные!
Ну, что вы?
Вы можете ли все пространство
И небо, и земли
Въ десницѣ заключить моей?
Властны ли вы
Меня отъ самого себя отторгнуть?
Вы можете ли увеличить,
Распространить меня на цѣлый міръ?

Меркурій.

Судьба!

Прометей.

Ея могущество
Ты, стало, признаешь?
Я—также.
Иди, я не служу рабамъ!

Не даромъ боги греческіе признавали надъ собой неотразимую власть судьбы: судьба—эта была та темная граница, за которую не переступало сознаніе древнихъ; христіанство перешагнуло чрезъ эту границу, и послѣдній, великій представитель язычества Юліанъ тщетно силился поддержать всей силой своего генія сокрушающіеся алтари боговъ: они пали сами собою...

«Иліада»—народное произведеніе; но посмотрите, какъ общи элементы этого дивнаго созданія древности! Оставляя въ сторонѣ его основную мысль, оставляя въ сторонѣ всѣхъ другихъ героевъ, взглянемъ только на Ахилла. Рьяный и могучій герой, онъ тяжко оскорбленъ Агамемнономъ; онъ могъ бы вызвать его на бой, какъ равный равнаго, какъ царь царя; онъ побѣдилъ бы его, какъ герой и полубогъ, а еслибы и палъ самъ, по крайней-мѣрѣ не пережилъ бы позора и обиды. И что же? Онъ удаляется въ шатеръ, играетъ на лирѣ и льетъ тихія слезы... Что ему побѣда и отмщеніе? ему нужна справедливость; его сердце страждетъ не отъ безсилія, а отъ несправедливости; ему нужна не побѣда, а справедливость со стороны обидчика... Видите ли вы здѣсь «человѣка» въ эпоху звѣрскаго героизма?... Убитъ другъ его юности, братъ его сердца, — онъ, могучій, бросается на землю, покрываетъ пепломъ свою прекрасную голову, бьетъ себя въ перси, горько рыдаетъ, не зная сна и пищи. Но наступила минута—и онъ возстаетъ, страшный, могучій, и горе тебѣ, Гекторъ, убійца Патрокла! Двѣнадцать полоненныхъ юношей принесено въ жертву горестной тѣни Патрокла: связанные, пали они отъ копья Пелида... Звѣрство!—скажете вы; но тогда было время звѣрства, и тѣмъ утѣшительнѣе видѣть проблески человѣчности въ самыхъ звѣряхъ. Мщеніе не утоляетъ тоски Ахилла: много принесено кровавыхъ жертвъ Патроклу; самъ убійца его, Гекторъ, палъ отъ руки Ахилла, а Ахиллъ попрежнему не смыкаетъ глазъ, стеня и рыдая... Только разъ сомкнулись на минуту очи героя—и ему явилась блѣдная, молящая тѣнь безвременно погибшаго друга—

Призракъ, величіемъ съ нимъ и очами прекрасными сходный;
Та же и одежда, и голосъ тотъ самый, сердцу знакомый!

Безщадно губя троянъ, Ахиллъ встрѣчается съ однимъ изъ Пріамовыхъ сыновей: обнимая колѣни губителя, молитъ его несчастная жертва о пощадѣ и жизни, обѣщая за себя богатый выкупъ;

.....но услышалъ не жалостный голосъ:
Что мнѣ вѣщаешь о выкупахъ, что говоришь ты, безумный?
Такъ доколѣ Патроклъ наслаждался сіяніемъ солнца,
Миловать Трои сыновъ мнѣ иногда было пріятно,
Многихъ изъ васъ полонилъ, и за многихъ выкупъ я принялъ.
Нынѣ пощады вамъ нѣтъ никому, кого только демонъ
Въ руки мои приведетъ подъ стѣнами Пріамовой Трои!
Всѣмъ вамъ троянамъ смерть; и особенно дѣтямъ Пріама!
Такъ, мой любезный, умри! И о чемъ ты столько рыдаешь?
Умеръ Патроклъ, несравненно тебя превосходнѣйшій смертный!
Видишь, каковъ я и самъ: и красивъ, и величественъ видомъ;
Сынъ отца знаменитаго; матерь имѣю богиню!
Но и мнѣ на землѣ отъ могучей судьбы не избѣгнуть;
Смерть прійдетъ и ко мнѣ поутру, ввечеру иль въ полдень,
Быстро, лишь врагъ и мою на сраженіяхъ душу исторгнетъ,
Или копьемъ поразивъ, или крылатой стрѣлою изъ лука.

(Пѣснь XXI.)

Кто не увидитъ въ этомъ героя и полубога? А героическое и божественное только въ общемъ, въ идеѣ. Но «Иліада», какъ и всѣ произведенія Греціи, найдетъ въ примѣръ народной поэзіи, полной элементовъ «общаго»: въ греческой поэзіи совершился процессъ гармоническаго уравновѣшенія идеи съ формой, и потому греческая поэзія,

Digitized by Google

будучи народной, въ то же время и художественна въ высшей степени, и не въ примѣръ другимъ. Если мы ссылались на нее, то для того, чтобъ яснѣе, живымъ фактомъ, объяснить читателямъ, что̀ мы разумѣемъ подъ «элементами общаго» въ искусствѣ. Теперь мы можемъ обратиться къ поэзіи чисто-народной, совершенно естественной, но въ то же время и полной «элементами общаго», — къ поэзіи народовъ тевтонскаго племени, представителей новѣйшаго европеизма. Здѣсь мы будемъ кратки, ибо послѣ предшествовавшихъ объясненій намъ достаточно самыхъ легкихъ указаній. И такъ, прежде всего просимъ читателей вспомнить разборъ нашъ Тегнерова «Фритіофа», переведеннаго по-русски Гротомъ. Дѣйствіе этой поэмы происходитъ во времена варварства; но сколько человѣческаго, великаго, возвышеннаго совершается въ это время варварства! Какія дивныя сѣмена мысли кроются въ дѣлахъ, чувствахъ и воззрѣніи на жизнь этихъ полудикихъ скандинавовъ! Это міръ рыцарства въ зародышѣ, это міръ великихъ подвиговъ, благороднаго самоотверженія, обожанія чести, славы и красоты, міръ доблести, любви, вѣрности обѣтамъ, неизмѣняемости клятвъ, міръ возвышенныхъ страстей, стремленіе къ безконечному, общественной нравственности! Чтобъ не зайти далеко въ отступленіе, укажемъ только на отвѣтъ Фритіофа пѣстуну его, представлявшему ему несбыточность его надеждъ, высокость сана обожаемой имъ женщины.

Нѣтъ, женамъ мужество любезно,
И сила стóитъ красоты!

И такъ, для этихъ дикихъ сыновъ Сѣвера уже было рѣшено, что красота—великое явленіе духа, что ей всѣ жертвы, все обожаніе, что ей и сладчайшія надежды пылкой юности, и умиленный восторгъ сѣдой старости... Да, для этихъ разбойническихъ ордъ, грабившихъ Европу, вопросъ о достоинствѣ красоты былъ уже рѣшенъ... Кто же зародилъ въ нихъ этотъ вопросъ? кто рѣшилъ его имъ?—Никто; по крайней мѣрѣ, не они: все это было непосредственнымъ проявленіемъ національной субстанціи ихъ духа... И такъ, красотѣ отданы всѣ ея права: варваръ норманнъ настаиваетъ только на томъ, что и мужество стóитъ красоты. Слѣдовательно, по его понятію, женщина была не хозяйка, а представительница красоты на землѣ, вдохновительница на высокіе подвиги и награды за нихъ; мужчина не хозяинъ, а представитель силы и могущества, подвигоположникъ; тотъ и другая вмѣстѣ — дубъ, осѣняющій широколиственными вѣтвями прекрасную розу... Какое вѣрное понятіе объ отношеніяхъ половъ! въ немъ видна мысль.

Теперь скажемъ или, лучше, перескажемъ одну нѣмецкую богатырскую сказку; — оно же и кстати, потому что сейчасъ намъ должно будетъ говорить о русскихъ сказкахъ.— Въ миѳическія времена Германіи, гораздо за долго до Тацита, оставившаго намъ извѣстія о древне-германскомъ бытѣ, жилъ богатырь, огромный, преогромный, до того, что высочайшіе сосны и дубы, которые вырывалъ онъ съ корнемъ могучей рукой, едва годились ему на посохи. У этого богатыря былъ другъ, тоже великій богатырь; и еще была у него — какъ бы сказать?—по нашему, по русски—любовница или полюбовница; а по нѣмецки Geliebte—возлюбленная. (Кстати: наши русскія слова «любовникъ и любовница» ужасно опошлились, такъ что дерутъ уши, а «возлюбленный и возлюбленная» немного отзываются «высокимъ слогомъ»...) И вотъ Geliebte или возлюбленная богатыря влюбилась въ его друга, да и давай преслѣдовать его своей любовью; но вѣрный дружбѣ, честный богатырь съ богатырской рѣшимостью отвергнулъ ея любовь. Оскорбленная отказомъ, она замѣняетъ любовь мщеніемъ и клеветами; докуками, ласками, доводитъ своего мужа до того, что онъ убиваетъ своего друга соннаго... Но это было съ его стороны не злодѣйствомъ, а минутой слабости; поддавшись обаянію любимой женщины, онъ вдругъ просыпается въ сознаніи своего ужаснаго преступленія. «Поди отъ меня прочь!» говоритъ онъ обольстительницѣ,—ты не нужна мнѣ больше; изъ любви къ тебѣ я сдѣлалъ злодѣйство— убилъ моего друга, моего брата; послѣ этого я не могу ни любить тебя больше, ни жить!» И на могильномъ холмѣ своего друга онъ принесъ себя въ жертву его оскорбленной тѣни.

Жалѣемъ, что на этотъ разъ, не имѣя подъ рукой источника, мы не могли передать этой трагической легенды ея собственными простодушными и энергическими словами, но изъ нашего полушуточнаго разсказа читатели поймутъ, въ чемъ дѣло,—и въ грубой сказкѣ увидятъ основанія человѣчности, элементы «общаго»... Послѣ этого понятно, какъ могла у нѣмцевъ явиться такая великая, такая самобытная художественная литература: для нея была готова родная почва, богатая дивными сѣменами... Теперь мы можемъ обратиться къ русской народной поэзіи на основаніи сборниковъ, заглавія которыхъ выставлены въ началѣ этой статьи.

Digitized by Google

III.

Поэзія всякаго народа находится въ тѣсномъ соотношеніи съ его исторіей; въ поэзіи и въ исторіи равнымъ образомъ заключается таинственная психея народа, и потому его исторія можетъ объясняться поэзіей, а поэзія — исторіей. Мы разумѣемъ здѣсь внутреннюю исторію народа, которой объясняются внѣшнія и случайныя событія въ его жизни. Но какъ есть народы, существовавшіе только внѣшнимъ образомъ, то ихъ поэзія можетъ служить не объясненіемъ ихъ исторіи, а только объясненіемъ ничтожества ихъ исторіи. Источникъ внутренней исторіи народа заключается въ его «міросозерцаніи» или его непосредственномъ взглядѣ на міръ и тайну бытія. Міросозерцаніе народа выказывается прежде всего въ его религіозныхъ миѳахъ. На этой точкѣ обыкновенно поэзія слита съ религіей, и жрецъ есть или поэтъ, или истолкователь миѳическихъ поэмъ. Естественно, эти поэмы — самыя древнѣйшія. Въ вѣкъ героизма поэзія начинаетъ отдѣляться отъ религіи и составляетъ особую, болѣе независимую область народнаго сознанія. За героическимъ періодомъ жизни народа слѣдуетъ періодъ гражданской и семейной жизни. На этой точкѣ поэзія дѣлается вполнѣ самостоятельной областью народнаго сознанія, переходитъ въ дѣйствительную жизнь, начинаетъ совпадать съ прозой жизни, изъ поэмы становится романомъ, изъ гимна—пѣснью; тогда же возникаетъ и драма, какъ трагедія и комедія. Въ послѣднемъ періодѣ поэзія изъ естественной или народной дѣлается художественной. Если же народъ, переживъ миѳическій и героическій періодъ своей жизни, не пробуждается къ сознанію и переходитъ не въ гражданственность, основанную на разумномъ развитіи, а въ общественность, основанную на преданіи, и остается въ естественной безсознательности семейнаго быта и патріархальныхъ отношеній,—тогда у него не можетъ быть художественной поэзіи, не можетъ быть ни романа, ни драмы. Эпопею его составляютъ сказка и историческая пѣсня, которой характеръ по большей части опять-таки сказочный. Сравненіе казацкихъ малороссійскихъ пѣсенъ съ русскими историческими пѣснями лучше всего подтверждаетъ нашу мысль: характеръ первыхъ — поэтически-историческій; характеръ вторыхъ, какъ мы увидимъ далѣе, чисто-сказочный, и притомъ больше прозаическій, чѣмъ поэтическій. Лирическая поэзія всякаго, хоть бы и гражданскаго, но еще не сознавшаго себя общества, состоитъ только въ пѣсни — простодушномъ изліяніи горя или радости сердца, въ тѣсномъ и ограниченномъ кругу общественныхъ и семейныхъ отношеній. Это или жалоба женщины, разлученной съ милымъ сердца и насильно выданной за немилаго и постылаго, тоска по родинѣ, заключающейся въ родномъ домѣ и родномъ селѣ, ропотъ на чужбину, на варварское обращеніе мужа и свекрови. Если герой пѣсни—мужчина, тогда—воспоминаніе о милой, ненависть къ женѣ, или ропотъ на горькую долю молодецкую, или звуки дикаго, отчаяннаго веселья—насильственный мгновенный выходъ изъ рвущей душу тяжелой тоски. Таково по большей части содержаніе всѣхъ русскихъ народныхъ пѣсенъ. Это содержаніе почти всегда одно и то же; разнообразія и оттѣнковъ чувства нѣтъ, а мысль вся заключается въ монотонномъ и простодушномъ чувствѣ. Такая поэзія лучше самой исторіи свидѣтельствуетъ о внутреннемъ бытѣ народа, можетъ служить мѣркой его гражданственности, повѣркой его человѣчности, зеркаломъ его духа. Такая поэзія нѣма и безполезна для людей чуждой націи, и понятна только для того народа, въ которомъ родилась она,—подобно безсвязному лепету младенца, понятному и разумному только для любящей его матери.

Въ миѳической и героической поэзіи народа заключается субстанція его духа, по которой, какъ по данному факту, можно судить о томъ, чѣмъ будетъ народъ, что и какъ можетъ изъ него развиться впослѣдствіи. Здѣсь слова «что и какъ» показываютъ историческую судьбу народа: такъ напримѣръ, мы увидимъ ниже, что изъ памятниковъ русской народной поэзіи можно доказать великій и могучій духъ народа... Вся наша народная поэзія есть живое свидѣтельство безконечной силы духа, которому надлежало однакожъ быть возбужденному извнѣ. Отсюда понятно, почему величайшій представитель русскаго духа — Петръ Великій, совершенно отрывая свой народъ отъ его прошедшаго, стремясь сдѣлать изъ него совсѣмъ другой народъ, все-таки провидѣлъ въ немъ великую націю и не вотще пророчествовалъ о ея великомъ назначеніи въ будущемъ. Отсюда же понятно, почему величайшій и по преимуществу національный русскій поэтъ — Пушкинъ воспиталъ свою музу не на материнскомъ лонѣ народной поэзіи, а на европейской почвѣ, былъ приготовленъ не «Словомъ о Полку Игоревомъ», не сказочными поэмами Кирши Данилова, не простонародными пѣснями, а Ломоносовымъ, Державинымъ, Фонвизинымъ, Богдановичемъ, Крыловымъ, Озеровымъ, Карамзинымъ, Дмитріевымъ, Жуковскимъ и Батюшковымъ—писателями и поэтами подражатель-

Digitized by Google

ными и нисколько не національными, за исключеніемъ одного Крылова, котораго басни, будучи національными, все-таки не суть вполнѣ самобытное явленіе, ибо ихъ образцы найдены Крыловымъ не въ народной поэзіи, а у француза Лафонтена. Такова естественная поэзія всѣхъ славянскихъ племенъ; богатая чувствомъ и выраженіемъ, она бѣдна содержаніемъ, чужда элементовъ общаго, и потому не могла сама собой развиться въ художественную поэзію. Если русскіе и можетъ-быть еще чехи могутъ гордиться нѣсколькими великими или примѣчательными поэтическими именами,—они первоначально обязаны этимъ соприкосновенности своей исторіи къ исторіи Европы и усвоеннымъ у Европы элементамъ жизни. Прочія славянскія племена—болгары, сербы, далматы, илирійцы и другія, остались при одной народной поэзіи, которая безсильна возвыситься на степень художественной. Что же касается до малороссіянъ, то смѣшно и думать, чтобъ изъ ихъ, впрочемъ прекрасной, народной поэзіи могло теперь что-нибудь развиться: изъ нея не только ничего не можетъ развиться, но и сама она остановилась еще со временъ Петра Великаго; двинуть ее возможно тогда только, когда лучшая, благороднѣйшая часть малороссійскаго населенія оставитъ французскую кадриль и снова примется плясать тропака и гопака, фракъ и сюртукъ перемѣнитъ на жупанъ и свитку, выбрѣетъ голову, отпуститъ оселедецъ,—словомъ, изъ состоянія цивилизаціи, образованности и человѣчности (пріобрѣтеніемъ которыхъ Малороссія обязана соединенію съ Россіей) снова обратится къ прежнему варварству и невѣжеству. Литературнымъ языкомъ малороссіянъ долженъ быть языкъ ихъ образованнаго общества—языкъ русскій. Если въ Малороссіи и можетъ явиться великій поэтъ, то не иначе, какъ подъ условіемъ, чтобъ онъ былъ русскимъ поэтомъ, сыномъ Россіи, горячо принимающимъ къ сердцу ея интересы, страдающимъ ея страданіемъ, радующимся ея радостью. Племя можетъ имѣть только народныя пѣсни, но не можетъ имѣть поэтовъ, а тѣмъ менѣе великихъ поэтовъ: великіе поэты являются только у великихъ націй, а что за нація безъ великаго и самобытнаго политическаго значенія? Живое доказательство этой истины въ Гоголѣ: въ его поэзіи много чисто-малороссійскихъ элементовъ, какихъ нѣтъ и быть не можетъ въ русской; но кто же назоветъ его малороссійскимъ поэтомъ? Равнымъ образомъ не прихоть и не случайность заставили его писать по-русски, не по-малороссійски, но глубоко-разумная внутренняя причина,—чему лучшимъ доказательствомъ можетъ служить то, что на малороссійскій языкъ нельзя перевести даже «Тараса Бульбу», не только «Невскаго Проспекта». Правда, содержаніе «Тараса Бульбы» взято изъ сферы народной жизни, но въ немъ авторъ не былъ поглощенъ своимъ предметомъ: онъ былъ выше его, владычествовалъ надъ нимъ, видѣлъ его не въ себѣ, а передъ собой, и потому во многихъ мѣстахъ его разсказа замѣтенъ его личный взглядъ, его субъективное воззрѣніе;—эти-то мѣста и нельзя передать на малороссійское нарѣчіе, не опростонародивъ, такъ-сказать, не омужичивъ ихъ,—не говоримъ уже о томъ, что вся повѣсть, исключая разговоровъ дѣйствующихъ лицъ, написана литературнымъ языкомъ, какимъ никогда не можетъ быть языкъ малороссійскій, сдѣлавшійся теперь провинціальнымъ и простонароднымъ нарѣчіемъ.

Мы сказали, что племя или даже народъ, еще не пробудившійся изъ естественнаго состоянія къ самосознанію, можетъ имѣть только народныя поэмы и пѣсни, но не можетъ имѣть поэтовъ, а тѣмъ болѣе—великихъ поэтовъ. Истина этого положенія доказывается самыми фактами. Кромѣ грековъ, которые по причинамъ, изложеннымъ нами во второй статьѣ, не могутъ служить примѣромъ, когда дѣло идетъ о чисто народной (въ смыслѣ естественной, непосредственной) поэзіи,—кромѣ грековъ, у всѣхъ народовъ или мало извѣстны, или совсѣмъ неизвѣстны творцы народныхъ произведеній; но вездѣ самъ народъ является ихъ творцомъ. Разумѣется, всякое отдѣльное народное произведеніе было обязано своимъ началомъ одному лицу, которое, съ горя или съ радости, вдругъ запѣло его; но, во-первыхъ, это лицо, сочинивъ или, говоря его собственнымъ языкомъ, сложивъ пѣсню, само не знало, что оно—поэтъ, и смотрѣло на свое дѣло не какъ на дѣло, а скорѣе какъ на бездѣлье отъ нечего дѣлать; во-вторыхъ, пѣсня, переходя изъ устъ въ уста, претерпѣвала много измѣненій, то увеличиваясь, то убавляясь, то улучшаясь, то искажаясь, смотря по степени присутствія или отсутствія поэтическаго чувства въ пѣвшихъ ее. Если у народа нѣтъ письменъ,—его поэтическія произведенія по необходимости хранятся въ народной памяти и изустно передаются отъ поколѣнія къ поколѣнію; если у народа есть письмена,—его поэтическія произведенія опять-таки хранятся въ памяти и живутъ въ устахъ его, потому что народъ, невозросшій до самопознанія, почитаетъ униженіемъ для высокаго искусства писанія заниматься «пересыпаніемъ изъ пустого въ порожнее», т. е. поэзію. Такъ по крайней мѣрѣ было на Руси, хотя и не такъ

Digitized by Google

было даже у восточныхъ народовъ — индусовъ, арабовъ, персовъ, китайцевъ и другихъ. Какія бы ни были причины этого явленія, но авторомъ русской народной поэзіи является самъ русскій народъ, а не отдѣльныя его лица,—и скудная сокровищница его произведеній состоитъ большей частью изъ безчисленныхъ варіантовъ слишкомъ немногихъ текстовъ. Обратимся къ нимъ и начнемъ съ эпическихъ произведеній.

Эпическія поэмы бываютъ трехъ родовъ: космогоническія и миѳическія, въ которыхъ выражается непосредственное воззрѣніе народа на происхожденіе міра, религіозныя и философическія созерцанія; сказочныя, въ которыхъ видна особенность народной фантазіи, и которыя составляютъ эхо баснословно-героическаго быта младенчествующаго народа, и историческія, въ которыхъ хранятся поэтическія преданія объ исторической жизни народа, уже ставшаго государствомъ. Первыхъ, т. е. космогоническихъ и миѳическихъ, у насъ нѣтъ почти совсѣмъ, а еслибъ что̀ въ этомъ родѣ и нашлось современемъ, такъ едва ли стоитъ вниманія. Причина очевидна: миѳологія всѣхъ славянъ вообще, особенно сѣверо-восточныхъ, играла въ ихъ жизни слишкомъ незначительную роль. Одно слово Владиміра могло въ одинъ день и навсегда уничтожить наше язычество. Его подданные какъ будто чувствовали, что не изъ чего хлопотать и не за что̀ стоять,—а всѣ люди ужъ такъ созданы, что изъ ничего и не бьются. Хотя Сахаровъ въ своей книгѣ «Сказанія Русскаго Народа» и сильно возстаетъ противъ Гизеля, Попова, Чулкова, Глинки и Кайсарова за искаженіе славяно-русской миѳологіи; но его, впрочемъ энергическое, возстаніе доказываетъ только, что совершенно не изъ чего и не за что было возставать. Сахаровъ признаетъ истинными славянскими богами только тѣхъ, о которыхъ упоминается въ хроникѣ Нестора, а въ ней упоминается, и то вскользь, мимоходомъ, только о семи богахъ (Перунѣ, Волосѣ, Даждьбогѣ, Стрибогѣ, Семерглѣ, Хрсѣ и Мокошѣ), почти безъ всякаго объясненія ихъ значенія, аттрибутовъ, обрядовъ богослуженія и пр. Сахаровъ ожидаетъ отъ будущихъ трудовъ нашихъ археологовъ великихъ открытій и поясненій касательно славянской миѳологіи; что касается до насъ, мы ровно ничего не ожидаемъ, по самой простой причинѣ: археологія прекрасная наука, но безъ данныхъ, безъ фактовъ она рѣшительно ни къ чему не служитъ, потому что какъ ни мудрите, а изъ ничего не добьетесь ничего. И такъ, этотъ предметъ въ сторону:—«на нѣтъ и суда нѣтъ»; а если когда что найдется, такъ мы тогда и поговоримъ.

Древнѣйшій памятникъ русской народной поэзіи въ эпическомъ родѣ есть, безъ сомнѣнія, «Слово о Пълку Игоревѣ». Хоть извѣстно нѣсколько сказокъ, въ которыхъ упоминается о великомъ князѣ Владимірѣ Красномъ Солнышкѣ, о его знаменитыхъ богатыряхъ — Добрынѣ, Ильѣ Муромцѣ, Алешѣ Поповичѣ и пр., но эти сказки явно сложены въ гораздо позднѣйшее время, послѣ татарскаго владычества: въ нихъ нѣтъ ни малѣйшаго признака язычества, которое, каково бы оно ни было, не могло же не отразиться хоть внѣшнимъ образомъ въ современной ему эпохѣ, когда христіанство еще не успѣло утвердиться въ народѣ. Въ этихъ же сказкахъ не замѣтно ни малѣйшей смѣси языческихъ понятій съ христіанскими. Мало этого: духъ и тонъ этихъ сказокъ явно отзываются новѣйшимъ временемъ, когда Русь была уже переплавлена горниломъ татарскаго ига въ единое государство. Какая-то прозаичность въ выраженіи, простонародность въ чувствахъ и поговоркахъ царствуетъ въ этихъ сказкахъ. Ничего этого нѣтъ и тѣни въ «Словѣ о Пълку Игоревѣ»: это произведеніе явно современное воспѣтому въ немъ событію и носитъ на себѣ отпечатокъ поэтическаго и человѣчнаго духа Южной Руси, еще незнавшей варварскаго ярма татарщины, чуждой грубости и дикости Сѣверной Руси. Въ «Словѣ» еще замѣтно вліяніе поэзіи языческаго быта; изложеніе его болѣе историческо-поэтическое, чѣмъ сказочное; не отличаясь особенной стройностью въ повѣствованіи, оно отличается благородствомъ тона и языка. Понятно, какъ нѣкоторымъ могла прійти въ голову мысль, что это произведеніе есть поддѣлка вродѣ Оссіановыхъ поэмъ: въ немъ боярыни не пьютъ зелена вина, не бьютъ другъ друга; нѣтъ площадныхъ выраженій, нѣтъ чудовищныхъ образовъ, нѣтъ признаковъ тѣхъ грубо-мѣщанскихъ обычаевъ, которыми преисполненъ сборникъ Кирши Данилова.

«Слово о Пълку Игоревѣ» подало поводъ къ жестокой войнѣ между нашими археологами и любителями древности: одни видятъ въ немъ дивное произведеніе поэзіи, великую поэму, благодаря которой намъ нечего завидовать «Иліадѣ» грековъ; другіе отвергаютъ древность его происхожденія, видятъ въ немъ позднѣйшее и притомъ поддѣльное произведеніе; третьи не видятъ въ «Словѣ» никакого поэтическаго достоинства. Что касается до насъ, мы рѣшительно не согласны ни съ тѣми, ни съ другими. «Слово о Пълку Игоревѣ» такъ же похоже на «Иліаду», какъ славяне его времени на грековъ,

Digitized by Google

а Игорь и Всеволодъ—на Ахилла и Патрокла. Пѣвца «Слова» такъ же нельзя равнять съ Гомеромъ, какъ пастуха, прекрасно играющаго на рожкѣ, нельзя равнять съ Моцартомъ и Бетховеномъ. Но тѣмъ не менѣе это «Слово»—прекрасный, благоухающій цвѣтокъ славянской народной поэзіи, достойный вниманія, памяти и уваженія. Что же касается до того, точно ли «Слово» принадлежитъ XII или XIII вѣку, и не поддѣльное ли оно: на это сама поэма лучше всего отвѣчаетъ, если только объ ней судить на основаніи самой ея, а не по разнымъ внѣшнимъ соображеніямъ.

Очень жаль, что «Слово о Пълку Игоревѣ» можно читать только отрывками, потому что многія мѣста въ немъ искажены писцами до безсмыслицы, а нѣкоторыя темны потому, что относятся къ такимъ современнымъ обстоятельствамъ, которыя вовсе непонятны для русскихъ XIX вѣка. Да притомъ, кто поручится, что въ единственной найденной рукописи «Слова» не пропущены цѣлыя мѣста? Кому случалось читать въ рукописяхъ ходячія по рукамъ поэмы Пушкина, тотъ не будетъ удивляться искаженію «Слова» какимъ-нибудь безграмотнымъ и невѣжественнымъ писцомъ XIV-го или XV-го вѣка. Еслибъ по одному изъ подобныхъ списковъ надо было возстановить черезъ два столѣтія текстъ напримѣръ хоть «Кавказскаго Плѣнника», то возстановитель принужденъ былъ бы отказаться отъ такого несовершимаго подвига. А что безсмыслицы и темноты «Слова о Пълку Игоревѣ» принадлежатъ не его автору, а писцу—неопровержимымъ доказательствомъ этому служатъ поэтическія красоты въ подробностяхъ и интересъ цѣлаго повѣствованія поэмы. Но возстановить текста нѣтъ никакой возможности: для этого необходимо имѣть нѣсколько рукописей, которыя можно было бы сличить. Хотя наши любители русской старины не только пытались объяснить и переводить сомнительныя мѣста въ поэмѣ, но и остались въ увѣренности, что успѣли въ этомъ, однакожъ мы тѣмъ не менѣе должны отказаться отъ мысли видѣть въ «Словѣ» полное и цѣлое произведеніе. Какъ бы то ни было, чтобъ сдѣлать заключеніе о поэтическомъ достоинствѣ этой поэмы, изложимъ ея содержаніе.

Авторъ «Слова» начинаетъ обращеніемъ къ слушателямъ, обѣщая имъ пѣсню по «былинамъ своего времени, а не по замышленію Бояню: Боянъ бо вѣщій, аще кому хотяше пѣснь творити, то растекашется мыслію по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, сизымъ орломъ подъ облакы». Это указаніе на Бояна очень любопытно: значитъ, былъ человѣкъ, прославившійся пѣснями. Наши литераторы и піиты добраго стараго времени (которое впрочемъ очень недавно было еще новымъ) сдѣлали изъ Бояна нарицательное имя вродѣ минстреля, трувера, трубадура, барда и, обрадовавшись этому, начали прославлять процвѣтаніе богатой русской литературы до XII вѣка. Но изъ «Слова» ясно видно, что Боянъ—имя собственное, принадлежавшее одному лицу, вѣроятно жившему во времена язычества или вскорѣ по его паденіи, которое было вмѣстѣ и паденіемъ поэзіи, съ тѣхъ поръ ставшей на Руси бѣсовской потѣхой, «пересыпаньемъ изъ пустого въ порожнее». Частыя обращенія пѣвца Игорева къ Бояну,—обращенія, исполненныя энтузіазма и благородныхъ поэтическихъ образовъ, не допускаютъ никакого сомнѣнія въ существованіи этого Бояна, «соловья стараго времени». Конечно, это не былъ Гомеръ своего рода, какъ думалъ Шишковъ, ни даже что-нибудь похожее на творца «Иліады», но послѣ похвалъ даровитаго автора «Слова» нельзя не сожалѣть искренно о томъ, что время и невѣжество истребили пѣсни Бояна, который «своя вѣщіа пръсты на живыя струны вскладаше—они же сами княземъ славу рокотаху».

«Почнемъ же, братіе, повѣсть сію отъ стараго Владимера до нынѣшняго Игоря», говоритъ пѣвецъ и начинаетъ совсѣмъ не съ стараго Владиміра, а прямо съ Игоря, «иже истягну умъ крѣпостію своею и поостри сердца своего мужествомъ, наплънився ратнаго духа, наведе своя храбрые пълки на землю половѣцьскую за землю русскую». Хочу, сказалъ онъ своей дружинѣ, переломить съ вами, Русици, копье на землѣ половецкой, хочу либо положить свою голову, либо «испить шеломомъ Дону». Не буря занесла соколовъ чрезъ поля широкія—то летятъ стадами галици (галки) къ Дону великому: тебѣ бы воспѣть это, внукъ Велесовъ, Боянъ вѣщій! Кони ржутъ за Сулою, гремитъ слава въ Кіевѣ; трубы трубятъ въ Новѣградѣ, вѣютъ знамена («стоятъ стязи») въ Путивлѣ; Игорь ждетъ милаго брата Всеволода. И молвилъ ему буйтуръ *) Всеволодъ: «единъ ты братъ у меня, единъ «свѣтъ свѣтлый», о Игорь! оба мы Святославичи! Сѣдлай ты, брате, своихъ борзыхъ коней, а мои давно готовы для тебя и стоятъ осѣдланы у Курска. А куряне мои въ метаніи стрѣлъ искусны, подъ звукомъ трубъ они повиты, концемъ копья вскормлены, пути имъ вѣдомы, овраги знаемы, луки у нихъ натянуты, колчаны отворены, сабли изострены; сами скачутъ, какъ сѣрые волки въ полѣ, ища себѣ

*) *Буйтуръ* составлено изъ слова *дикій* (буй) и *волъ* (туръ); по основательному замѣчанію Шишкова, вѣроятно изъ «буйтура» впослѣдствіи произошло слово «богатырь».

Digitized by Google

чести, а князю славы». Тогда Игорь князь вступилъ въ златое стремя и поѣхалъ по чистому полю.

Затѣмъ слѣдуетъ темное и нескладное (вслѣдствіе искаженія текста писцомъ) описаніе грозныхъ предвѣщаній природы. Орлы клёктомъ сзываютъ звѣрей на трупы, лисицы лаютъ на багряные щиты воиновъ. Дружина Игорева уже за Шеломенемъ. День меркнетъ, свѣтъ зари потухаетъ, мгла покрываетъ поля, засыпаетъ «щекотъ славій», умолкаетъ говоръ галичій. Очевидно, что весь этотъ отрывокъ, поневолѣ сокращенный нами, по причинѣ искаженія текста, въ первобытномъ подлинникѣ полонъ высокихъ поэтическихъ красотъ. Сколько можно чувствовать, не смотря на искаженіе, есть что-то зловѣщее, фантастическое въ изображеніи грозно настроившейся природы, особенно въ этомъ клёктѣ орловъ, сзывающемъ звѣрей на кровавый пиръ, и въ лаѣ лисицъ на багряные щиты воиновъ.

Поутру русичи потоптали поганые полки половецкіе и, разсыпавшись словно стрѣлы по полю, помчали красныхъ дѣвицъ половецкихъ, а съ ними злато, и паволоки, и другіе оксамиты; япончицами и кожухами начали мосты мостить по болотамъ и «грязовымъ мѣстамъ», и всякими узорочьями половецкими. Червленный стягъ, бѣлая хоругвь, багряная чолка, серебряное древко храброму Святославичу. Дремлетъ въ полѣ храброе гнѣздо Олегово—далеко залетѣло оно; не родилось оно на обиду ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, черный воронъ, поганый половчанинъ!

На другой день, вельми рано, появляется свѣтъ кровавой зари, идутъ съ моря черныя тучи, хотятъ закрыть четыре солнца, блещутъ синими молніями; быть грому великому, литься дождю стрѣлами съ Дону великаго; поломаться тутъ копьямъ, притупиться тутъ саблямъ о шеломы половецкіе, на рѣкѣ Каялѣ, у Дону великаго. Се вѣтры, внуки Стрибожіи, вѣютъ съ моря стрѣлами на храбрые полки Игоревы; земля звучитъ, рѣки мутно текутъ; мглою поля покрываются; знамена голосъ даютъ, половцы идутъ отъ Дона, и отъ моря, и ото всѣхъ сторонъ. Русскіе полки отступили. Яръ туре Всеволодъ! стоишь ты на бороньѣ, прыщешь на враговъ стрѣлами, булатными мечами гремишь о шеломы ихъ. Куда ни бросишься ты, туре, золотымъ шеломомъ своимъ посвѣчивая, тамъ лежатъ поганыя головы половецкія; ископскепаны каленными саблями оварскіе шеломы, отъ тебя, яръ туръ Всеволодъ! Что ему раны, когда забылъ онъ и почести, и жизнь, и городъ Черниговъ, и золотой престолъ отеческій, и свычаи, и обычаи своей милой хоти, прекрасной Глѣбовны! (Здѣсь пѣвецъ дѣлаетъ отступленіе, обращаясь къ смутамъ и междоусобіямъ прежнихъ временъ, и не находя въ нихъ ни одной битвы, которая могла бы сравниться съ битвой Игоря и Всеволода съ половцами.)

Съ утра до вечера, съ вечера до свѣта летятъ стрѣлы каленыя, звучатъ сабли о шеломы, трещатъ копья булатныя, въ полѣ незнаемомъ, среди земли половецкой. Черная земля подъ копытами костьми была посѣяна, а кровію полита, возросла на ней бѣда для земли русской. Что мнѣ звенитъ рано передъ зарею? Игорь полки поворачиваетъ: жаль бо ему милаго брата Всеволода. Билися день, билися другой: на третій день къ полудню пали знамена Игоревы. Тутъ разлучилися братья на берегѣ быстрой Каялы. Не достало тутъ вина кроваваго; тутъ и кончили пиръ храбрые русичи: сватовъ попоили, да и сами легли за землю русскую. Поникла трава отъ жалости, и древо къ землѣ преклонилось отъ печали. (Здѣсь опять слѣдуетъ небольшое отступленіе, состоящее въ жалобахъ на междоусобія. Всѣ эти отступленія особенно интересны, какъ свидѣтельство, что поэма современна воспѣтому въ ней событію.)

О, далеко залетѣлъ ты, соколъ, гоня птицъ къ морю: а Игорева храбраго полку уже не воскресити! Тогда взревѣли Карна и Жля и ринулись въ русскую землю съ огнемъ и мечемъ. Всплакались жены русскія, приговаривая: уже намъ своихъ милыхъ ладъ ни мыслію взмыслити, ни думою вздумати, ни очами узрѣти; а золота и серебра не возвратити! Взстоналъ тогда, братіе, Кіевъ тугою, а Черниговъ напастьми; тоска разлилася ипечальжирна потекла по землѣ русской; а князи сами на себя крамол у ковали... (Здѣсь снова жалобы на междоусобія; воспоминаніе, какъ сильны были прежде князья русскіе, какъ громили они землю половецкую: какъ страшенъ былъ половцамъ великій князь кіевскій, Святославъ Грозный, отецъ Игоря и Всеволода.)

Нѣмцы и венедици, греци и морава поютъ славу Святославлю, каютъ (хаютъ, порицаютъ) князя Игоря, «иже погрузи жиръ во днѣ Каялы, рѣки половецкія, русскаго злата насыпаша». Святославу-родителю приснился дурной сонъ. «Въ Кіевѣ, на горахъ, въ сію ночь одѣвали меня (говоритъ онъ боярамъ) чернымъ покровомъ, на тесовой кровати. Наливали мнѣ синяго вина съ трудомъ смѣшаннаго; высыпали мнѣ на лоно изъ пустыхъ колчановъ нечистыя раковины съ крупнымъ жемчугомъ, и нѣговали меня; а въ моемъ златоверхомъ теремѣ всѣ доски безъ перекладины. («Уже дьски безъ *кнѣса* въ моемъ теремѣ златоверъ-

Digitized by Google

сѣмъ».) Всю ночь съ вечера каркали враны». И отвѣчали бояре князю: «Печаль одолѣла умъ нашъ, княже; слетѣли бо два сокола съ золотого престола отеческаго поискати града тьмутараканскаго, либо испити шеломомъ Дону, и тѣмъ соколамъ обрублены крылья саблями нечестивыхъ, и сами они попались въ пути желѣзныя. Темно стало на третій день: два солнца померкли, оба багряные столба погасли, а съ ними и молодые мѣсяцы—Олегъ и Святославъ—тьмою заволоклися. На рѣкѣ на Каялѣ тьма свѣтъ покрыла: по русской землѣ разсыпались Половцы, какъ изъ леопардова логовища. Раздаются пѣсни красныхъ дѣвицъ готскихъ на берегу синяго моря; звеня русскимъ золотомъ, воспѣваютъ онѣ время Бусово, лелѣютъ пѣснь Шароканову». (Намекъ на какой-нибудь удачный набѣгъ на землю русскую.) Тогда великій Святославъ изронилъ слово злато съ слезами смѣшано, и молвилъ: «О сыны мои, Игорь и Всеволодъ! не во-время вы начали добывать мечами землю половецкую, а себѣ славу искать. Нечестно ваше одолѣніе, неправедно пролита вами кровь вражеская. Сердца ваши изъ крѣпкаго булата скованы, а въ буести закалены. Того ли ожидалъ я отъ васъ серебряной сѣдинѣ моей? Уже не вижу я власти сильнаго и богатаго брата моего, Ярослава, и его дружины великой! Они и безъ щитовъ, кликомъ однимъ враговъ побѣждали, гремя славою предковъ. Не говорили они: предстоящую славу сами похитимъ, а прошедшею съ другими подѣлимся. А диво ли, братіе, старому помолодѣти? Когда соколъ въ мытѣхъ бываетъ, то высоко гонитъ птицъ, и не дастъ гнѣзда своего въ обиду. Но то горе, что мнѣ князья не въ пособіе, время все переиначило. (Непонятно то, что тотчасъ же слѣдуетъ за этимъ мѣстомъ; есть ли это продолженіе рѣчи князя Святослава, или тутъ поэтъ начинаетъ говорить отъ себя? Все это мѣсто состоитъ въ жалобахъ на «усобицу», какъ причину настоящихъ бѣдствій, и въ воззваніи къ современнымъ князьямъ, которые, по своему разъединенію, уже не въ силахъ подать помощь плѣненному Игорю. Воззваніе начинается съ князя Всеволода):

Великій княже Всеволоде! не помыслишь ли ты прилетѣти издалеча постоять за златой престолъ отеческій? Ты можешь Волгу раскропить веслами, а Донъ шеломами вычерпать. Когда ты былъ здѣсь, чага (?) ходила бы по ногатѣ, а кощей по резани *). Ты можешь по суху стрѣляти живыми шерешырами (шерешыры—вѣроятно названіе какого-нибудь военнаго орудія)—удалыми сыновьями Глѣбовыми. И ты, буй Рюрикъ и Давыдъ, не вы ли плавали въ крови по шеломы золоченые? Не ваша ли храбрая дружина рыскаетъ подобно воламъ, израненнымъ саблями каленымъ въ полѣ незнаемомъ? Вступите, государи, въ стремена златыя, за обиду нашего времени, за землю русскую, за раны Игоря, буего Святославича! А ты, Ярославъ, осмомыслъ галицкій! высоко сидишь ты на своемъ златокованномъ престолѣ, подперъ ты горы угорскія своими полками желѣзными, заградилъ ты путь королю, заперъ ворота къ Дунаю, меча бремена (?) за облаки; творя судъ до Дуная! Гроза твоя по землямъ течетъ, отворяешь ты врата кіевскія, съ отчаго престола стрѣляешь въ салтановъ далекихъ! Стрѣляй, господине, въ Кончака, кощея поганаго, за землю русскую, за раны Игоря, буего Святославича! А ты, буй Романъ и Мстиславъ, храбрая мысль носитъ вашъ умъ на дѣло. Высоко плаваете на дѣло въ буести, словно соколы ширяяся на вѣтрахъ, стремяся и птицу одолѣть въ буести! У васъ латы («попорзи») желѣзныя подъ шлемами латунскими; отъ нихъ потряслась земля и многія страны ханскія. Литва, ятвяги, деремела и половцы повергли передъ вами свои копья («сулици») и главы свои преклонили подъ ваши мечи булатные!... *) Заградите въ полѣ путь своими острыми стрѣлами, за землю русскую, за раны Игоря, буего Святославича! Уже Сула не течетъ струями серебряными ко граду Переяславлю, и Двина болотомъ идетъ ко грознымъ половчанамъ, подъ кликами поганыхъ. Единъ лишь Изяславъ, сынъ Васильковъ, позвенѣлъ своими острыми мечами о шеломы литовскіе: помрачилъ славу дѣда своего, да и самъ поблекъ подъ червленными щитами, на кровавой травѣ, отъ литовскихъ мечей. Не захотѣлъ скончаться на одрѣ, и рекъ самому себѣ: «дружину твою, княже, крылья птицъ пріодѣли, а звѣри кровь полизали!» Не было тутъ съ нимъ брата Брячислава, ни брата Всеволода: одинъ оиъ изронилъ жемчужную душу изъ храбраго тѣла, чрезъ златое ожерелье. Уныли голоса, поникло веселье. О, Ярославъ и всѣ внуки Всеслава! поникнуть знаменамъ вашимъ, вложить вамъ въ ножны свои мечи поврежденные; отстали вы отъ славы дѣдовской! Вы, своими крамолами, начали наводить нечестивыхъ на землю русскую, на жизнь

*) Ногата и резань — самыя мелкія монеты того времени. Кощей и Чага—ругательныя названія вражескихъ народовъ, и вся эта фраза—вѣроятно намекъ на дешевизну плѣнныхъ половцевъ во время Всеволода.

*) Пропущено цѣлое мѣсто, котораго никакъ нельзя понять, а слѣдовательно и перевести.

Digitized by Google

Всеславову. Когда прежде бывало насиліе отъ земли половецкой?

(Здѣсь слѣдуетъ опять совершенно непонятное мѣсто, которое выписываемъ въ подлинникѣ: «На седьмомъ вѣцѣ трояни въ рже Всеславъ жребій о дѣвицю себѣ любу. Тъй клюками подпръся о кони, и скочи къ граду Кыеву, и дотчеся стружіемъ злата стола кіевскаго. Скочи отъ нихъ (*отъ кого?*) лютымъ звѣремъ въ плъночи, изъ Бѣла града, обѣсися сине мглѣ, утръ же возни стрикусы (?) отвори врата новуграду, расшибе славу Ярославу, скочи влъкомъ до Немиги съ Дудутокъ». По всѣмъ вѣроятіямъ темнота этого мѣста происходитъ сколько отъ описокъ въ рукописи, столько и оттого, что тутъ не описывается, а только намекается на обстоятельство слишкомъ современное, а потому всѣмъ извѣстное въ эпоху пѣвца «Слова». Всеславъ, о которомъ идетъ рѣчь, вѣроятно, былъ удалецъ изъ удальцевъ, и все это мѣсто есть поэтическая апоѳеоза, въ духѣ того времени, его подвиговъ, отличавшихся удальствомъ, и быстротой. Клюки, которыми онъ *подперся о кони*, могутъ означать не костыли, необходимые для хромого, а названіе какого-нибудь прибора для верховой ѣзды. Что же касается до «седьмаго вѣку трояни»—*трояновъ* вѣкъ и *троянова* земля очень часто упоминается въ «Словѣ», и еще никто не объяснилъ ихъ значенія. Хотя все послѣдующее за выписаннымъ нами въ текстѣ мѣстомъ также непоня тновъ историческомъ значеніи, однако понятно, за исключеніемъ одной фразы, по смыслу и исполнено необыкновенной поэзіи.)

На Немигѣ снопы стелютъ головами, молотятъ цѣпами булатными, на току жизнь кладутъ, вѣютъ душу отъ тѣла. Кровавые берега Немиги не травою засѣяны: засѣяны они костьми русскихъ сыновъ. Всеславъ князь людей судилъ, князьямъ города раздавалъ, а самъ по ночамъ волкомъ рыскалъ отъ Кіева до Курска и Тьмутаракани. Ему въ Полоцкѣ рано зазвонили заутреню у святой Софіи; а въ Кіевѣ звонъ слышалъ. Хотя и вѣщая душа была въ его друзѣ (?) тѣлѣ, но и онъ часто отъ бѣдъ страдалъ. Про него-то вѣщій Боянъ сложилъ сей разумный припѣвъ: «ни хитру, ни горазду, ни птицю горазду, суда Божіа не минути!» О, стонать тебѣ, земля русская, вспоминая прежнія времена и прежнихъ князей! Того стараго Владиміра нельзя было пригвоздить къ горамъ кіевскимъ... Ярославнинъ голосъ раздается рано поутру:

Полечу я по Дунаю зегзицею, омочу бобровый рукавъ въ Каялѣ рѣкѣ, отру князю кровавыя раны на жестоцемъ тѣлѣ его!

Ярославна рано плачетъ въ Путивлѣ на городской стѣнѣ, аркучи:

О вѣтеръ, о вѣтеръ! зачѣмъ, господине, такъ сильно вѣешь? Зачѣмъ на своихъ легкихъ крыльяхъ мчишь хансклія стрѣлы на воиновъ моей лады? Или мало для тебя горъ, чтобы вѣять подъ облаками, лелѣючи корабли на синемъ морѣ? Зачѣмъ, господине, развѣялъ ты мое веселіе по ковыль-травѣ?

Ярославна рано плачетъ въ Путивлѣ на на городской стѣнѣ' аркучи:

О Днѣпръ пресловутый! ты пробилъ каменныя горы сквозь землю половецкую, ты лелѣялъ на себѣ ладьи Святославовы до стану кобякова: взлелѣй же, господине, мою ладу ко мнѣ, чтобы не слала я къ нему поутрамъ слезъ моихъ на море.

Ярославна рано плачетъ въ Путивлѣ на городской стѣнѣ, аркучи:

Свѣтлое и пресвѣтлое солнце! всѣмъ и красно, и тепло ты: зачѣмъ, господине, простеръ горячій лучъ свой на воиновъ моей лады, въ безводномъ полѣ жаждою луки имъ сопрягъ, печалію имъ колчаны затянулъ?

Прыснуло море въ полуночи: идутъ смерчи мглами: князю Игорю Богъ путь кажетъ изъ земли половецкой на землю русскую, къ златому престолу отчему. Погасла заря вечерняя: Игорь и спитъ, и не спитъ, Игорь мыслію поля мѣритъ отъ великаго Дону до малаго Донца. Конь готовъ съ полуночи; Овлуръ свиснулъ за рѣкой, чтобъ князь догадался. Уже нѣтъ тамъ князя Игоря. Застонала земля, зашумѣла трава, всколебалися вежи половецкія; а Игорь князь горностаемъ бросился къ тростнику и гоголемъ на воду; вскочилъ на борзаго коня и соскочилъ съ него босымъ (?) волкомъ и побѣжалъ къ лугу Донца, и полетѣлъ соколомъ подъ облаками, избивая гусей и лебедей на завтракъ, обѣдъ и ужинъ. Когда Игорь соколомъ летитъ, тогда Влуръ волкомъ бѣжитъ, отрясая съ себя росу холодную; ибо истомили они своихъ борзыхъ коней. И молвилъ Донецъ: «Княже Игорю, не мало для тебя величія, а Кончаку нелюбія, а русской землѣ веселія!» И молвилъ Донецъ: «О Донче! не мало тебѣ величія, что ты лелѣялъ князя на волнахъ, постилалъ ему зелену траву на своихъ серебряныхъ берегахъ, одѣвалъ его теплыми мглами подъ сѣнію зеленаго дерева, стерегъ меня и гоголемъ на водѣ, и чайками на струяхъ, и чернядями на вѣтрахъ. Не такова, промолвилъ онъ, рѣка Стугна: дурна струя ея, пожираетъ чужіе ручьи и разбиваетъ струги о берегъ. Юношѣ князю Ростиславу затворилъ Днѣпръ берега темные. Плачется мати Ростислава по юношѣ князѣ Ростиславѣ. Уныли цвѣты отъ жалости, и дерево стугою къ землѣ преклонило».

По слѣду Игореву ѣздитъ Гзакъ съ Кончакомъ. Тогда враны не каркали, галицы помолкли, сороки не стрекотали; ползая по сучьямъ, только дятлы тектомъ путь къ рѣкѣ кажутъ, соловьи веселыми пѣснями свѣтъ повѣдаютъ. Молвитъ Гзакъ Кончаку: «Когда соколъ къ гнѣзду летитъ, то соколенка *) разстрѣляемъ своими стрѣлами золочены-

*) Относится къ сыну Игоря, оставшемуся въ плѣну.

Digitized by Google

ми». Молвитъ Кончакъ къ Гзаку: «Когда соколъ къ гнѣзду летитъ, то опутаемъ соколенка красной дѣвицей». И сказалъ Гзакъ Кончаку: «Если опутаемъ его красной дѣвицей, то не будетъ у насъ ни соколенка, ни красной дѣвицы, и почнутъ насъ птицы бить въ полѣ половецкомъ».

Сказалъ Боянъ: тяжко головѣ безъ плечъ, худо тѣлу безъ головы, а русской землѣ безъ Игоря. Солнце свѣтится на небеси, а Игорь князь въ русской землѣ. Дѣвицы поютъ на Дунаѣ. Вьются голоса черезъ море до Кіева. Игорь ѣдетъ по Боричеву ко святой Богородицѣ Пирогощей. Страны рады, грады веселы, поютъ пѣснь старымъ князьямъ, а потомъ молодымъ. Пѣта слава Игорю Святославичу, буйтуру Всеволоду, Владиміру Игоревичу. Да здравствуютъ, князи и дружина, поборающіе за христіанъ на невѣрныя полчища! Князьямъ слава, дружинѣ аминь!

—

Мы хотѣли было ограничиться только изложеніемъ содержанія «Слова о Пълку Игоревѣ», и, чтобъ нѣкоторымъ образомъ заставить его говорить за себя, хотѣли только мѣстами выписывать самыя характеристическія выраженія и самые оригинальные образы; но противъ нашей воли до того увлеклись его красотами, что, вмѣсто голаго содержанія, представили читателямъ полный по возможности переводъ. Думаемъ, что читатели не посѣтуютъ на насъ за это: «Слово о Пълку Игоревѣ» играетъ въ нашей литературѣ роль какого-то невидимки; публика слышитъ о немъ самыя противорѣчащія мнѣнія, которыхъ повѣрить ей нѣтъ возможности. Причина очевидна: ни у всякаго станетъ терпѣнія и охоты прочесть искаженный подлинникъ, писанный языкомъ, столь устарѣвшимъ, что онъ по своей устарѣлости требуетъ гораздо больше труда, нежели сколько въ состояніи доставить наслажденія, исполненный непонятныхъ словъ и оборотовъ, сомнительныхъ, темныхъ, а часто безсмысленныхъ мѣстъ. Переводы же не даютъ о немъ вѣрнаго понятія, потому что переводчики хотѣли переводить его все— отъ слова до слова, не признавая въ немъ непереводимыхъ мѣстъ. Нѣкоторые изъ нихъ просто пересочиняли его, и свои собственныя, весьма неинтересныя издѣлія выдавали за простодушную и поэтическую повѣсть старыхъ временъ. Мы же, во-первыхъ, исключили изъ нашего перевода все сомнительное и темное въ текстѣ, замѣнивъ такія мѣста собственными замѣчаніями, необходимыми для связи разорванныхъ частей поэмы; а въ переводѣ старались удержать колоритъ и тонъ подлинника, а для этого или просто выписывали текстъ, подновляя только грамматическія формы, или между новыми словами и оборотами удерживали самые характеристическіе слова и обороты подлинника. И потому нашъ переводъ можетъ дать довольно близкое понятіе о «Словѣ», и вмѣстѣ съ тѣмъ дастъ читателю возможность повѣрить наше мнѣніе объ этомъ примѣчательномъ произведеніи народной поэзіи древней Руси.

Нѣтъ нужды доказывать, что «Слово о Пълку Игоревѣ» отличается неподдѣльными поэтическими красотами, что оно исполнено наивныхъ благородныхъ образовъ: мы для того и включили его въ нашу статью, чтобъ не толковать о томъ, что дважды два—четыре. Читайте и судите сами; если не понравится, намъ нечего дѣлать съ этимъ: кому само дѣло не говоритъ за себя, тѣмъ ужъ не помогутъ толкованія. Между читателемъ и критикомъ необходимо должно существовать нѣчто вродѣ симпатіи, нѣчто вродѣ заранѣе заключеннаго условія о томъ, что̀ хорошо и что̀ худо; иначе они не будутъ понимать другъ друга. Дѣло критика не доказывать, поэтическое или не поэтическое такое-то произведеніе: подобный вопросъ рѣшается непосредственнымъ чувствомъ читателя, а не доказательствами критики; дѣло критика—показать не поэтическое достоинство, а степень поэтическаго достоинства въ данномъ произведеніи, его идею, полноту, оконченность. На этотъ счетъ мы, не обинуясь, скажемъ, что «Слово о Пълку Игоревѣ» отличается неподдѣльными красотами выраженія; что, со стороны выраженія, это—дикій полевой цвѣтокъ, благоухающій, свѣжій и яркій. Но въ поэтическихъ произведеніяхъ выраженіе еще не составляетъ всего: все заключается въ идеѣ, и выраженіе по той мѣрѣ возвышаетъ достоинства произведенія, по какой въ ней высказывается идея. Въ «Словѣ о Пълку Игоревѣ» нѣтъ никакой глубокой идеи. Это больше ничего, какъ простое и наивное повѣствованіе о томъ, какъ князь Игорь съ удалымъ братомъ Всеволодомъ и съ своей дружиной пошелъ на половцевъ, сперва разбилъ ихъ, а потомъ самъ былъ разбитъ на голову, попался въ плѣнъ, изъ котораго наконецъ удалось ему ускользнуть. Безпрестанныя обращенія къ междоусобіямъ князей или намеки на нихъ также составляютъ содержаніе и сверхъ того историческій фонъ поэмы. Источникомъ историческаго произведенія поэзіи можетъ быть только исторія народа, и произведеніе въ той только степени можетъ отличаться глубокой идеей, въ какой полна «общимъ содержаніемъ» жизнь народа. Времена междоусобій съ перваго взгляда могутъ показаться самымъ поэтическимъ періодомъ

Digitized by Google

въ русской исторіи; но если глубже и пристальнѣе заглянете въ сущность и значеніе этого времени, то увидите, что въ немъ не было никакихъ элементовъ, которые могли бы дать поэзіи содержаніе; тамъ были только элементы для поэзіи чувства и выраженія, по общему закону — гдѣ жизнь, тамъ и поэзія. Есть рѣзкое различіе между поэзіей души человѣческой и поэзіей общества человѣческаго, поэзіей исторической: первая существуетъ и у дикихъ племенъ; вторая—только у народовъ, играющихъ великую роль на аренѣ всемірно-историческаго развитія человѣчества. И потому «Слово о Пълку Игоревѣ» не только нейдетъ ни въ какое сравненіе съ «Иліадой», но даже и съ поэмами среднихъ вѣковъ, вродѣ «Артура и рыцарей Круглаго Стола». Для поясненія этой мысли сравните жизнь Западной Европы среднихъ временъ съ жизнью Руси въ XII вѣкѣ: какая разница! Въ феодализмѣ заключалась идея; удѣльная система повидимому была случайностью, порожденіемъ естественныхъ, патріархальныхъ понятій о правѣ наслѣдства. Феодализмъ вышелъ изъ системы завоеванія; цѣлый народъ двигался на завоеваніе другого народа; покоривъ его, основывался, дѣлался осѣдлымъ на завоеванной землѣ. Такъ какъ у завоевателя личную силу давало не рожденіе, а храбрость и заслуга, то избранный главою войска бралъ себѣ часть завоеванной земли, а все остальное дѣлилъ на участки, между своими сподвижниками. Отсюда произошли безчисленныя слѣдствія, безъ сознанія которыхъ не можетъ быть объяснена даже современная намъ исторія Европы. Сподвижники главнаго вождя, получивъ свои участки, естественно, смотрѣли на него не какъ на своего властелина, а какъ на старшаго товарища по оружію, во всемъ прочемъ равнаго имъ, и почитали себя вправѣ по собственному произволу смотрѣть на него какъ на друга или какъ на врага и, сообразуясь съ этимъ, становиться къ нему въ пріязненное или непріязненное отношеніе. Простые воины, не получившіе участковъ, поступали на жалованье къ своимъ патронамъ, а не властелинамъ,—селились на ихъ землѣ и платили имъ за то военной службой: образовался классъ вассаловъ — свободныхъ воиновъ, не рабовъ. Завоеванный же народъ, по праву завоеванія, дѣлался собственностью, рабомъ завоевателя, кромѣ, разумѣется, людей высшаго сословія, которымъ политика завоевателей предоставляла равныя права, на условіи покорности. Изъ этого положенія возникала борьба, результатомъ которой было разумное развитіе. Завоеванный народъ, питая ненависть къ завоевателю, образовывалъ собой самостоятельный элементъ государственной жизни,—и борьба не переставала ни на минуту. Когда же языки обоихъ народовъ сливались въ одинъ языкъ, а оба народа—въ одинъ народъ, тогда элементъ завоевателя образовался въ аристократію, элементъ завоеваннаго—въ низшій классъ общества, и изъ борьбы возникали съ одной стороны — натискъ утвержденныхъ временемъ исключительныхъ правъ, съ другой — упругій отпоръ или оппозиція. Отличительное свойство идеи таково, что она не стоитъ на одномъ мѣстѣ, не является ни на минуту чѣмъ-то особеннымъ, опредѣлившимся, оторваннымъ отъ прошедшаго и будущаго, но безпрестанно движется, изъ стараго рождая новое.

Право аристократіи сперва было не чѣмъ инымъ, какъ правомъ сословія, справедливо гордившимся высокостью своихъ чувствъ, благороднымъ образомъ мыслей и не безъ основанія почитавшимъ себя вправѣ съ презрѣніемъ смотрѣть на низкую чернь, какъ на предназначенную отъ природы для низкихъ нуждъ жизни. Возникновеніе городовъ и средняго сословія было первымъ шагомъ къ измѣненію этихъ отношеній. Еще прежде завязалась борьба между государями и феодалами,—борьба, бывшая не случайностью, а естественнымъ результатомъ положенія дѣлъ, и необходимая для сформированія государства въ единое политическое тѣло. Монархизмъ нашелъ себѣ естественнаго союзника въ городахъ, города — въ монархизмѣ, и оба они стали грудью противъ рыцарства, до тѣхъ поръ пока рыцарство, переродившееся въ аристократію или вельможество, снова не явилось естественнымъ союзникомъ монархизма, и только въ другомъ видѣ, но все прежнимъ врагомъ и средняго сословія, и народа.

Мы потерялись бы во множествѣ элементовъ, изъ которыхъ слагается европейская жизнь, которые всѣ вышли изъ одного источника и суть не что иное, какъ единая, безконечно развивающаяся, вѣчно движущаяся изъ самой себя идея. Нѣтъ ни тѣни этого въ древней русской жизни. Удѣльная система была точь въ точь то же самое, что̀ помѣщичья система; отецъ-помѣщикъ, умирая, раздѣляетъ поровну своихъ крестьянъ между своими сыновьями. Въ Россіи не было завоеванія, и потому одинокій элементъ народной жизни, не сшибаясь въ борьбѣ съ другимъ элементомъ, лишенъ былъ возможности развитія. Что̀ ни говорятъ господа скандинавоманы и сколько трактатовъ ни пишутъ они, но, вопреки всѣмъ ихъ обветшалымъ доказательствамъ, если Русь и призвала иноземныхъ властителей княжити и володѣти,—кто бы ни были эти властители,—

Digitized by Google

турки или поморскіе славяне (померанцы), только не скандинавы. Норманы, хотя бы и были сами призваны мирно и честно, не пришли бы съ малой дружиной, не потеряли бы въ управляемомъ ими племени своей народности, но внесли бы въ его жизнь свою народность, но внесли бы феодализмъ, военное право, рыцарскія понятія, и самый русскій языкъ не оставили бы въ его первобытной чистотѣ, но вмѣстѣ съ новыми понятіями ввели бы и множество новыхъ словъ и оборотовъ. Этого не было, даже и слѣдовъ этого не видно, и потому варяжскіе или, пожалуй, русскіе князья просто-на-просто или припонтійскіе татары (козары), или прибалтійскіе славяне. И потому изъ немудреной причины и произошли немудреныя слѣдствія. Удѣльная система — самая естественная и простодушная изъ всѣхъ системъ въ мірѣ—принесла только внѣшнюю пользу Россіи, сдѣлавшись причиной ея внѣшняго расширенія и потомъ—сплоченія. Въ междоусобіяхъ князей нѣтъ никакой идеи, потому что ихъ причина—не племенныя различія, не борьба разнородныхъ элементовъ, а просто личныя несогласія. Народъ тутъ не игралъ никакой роли, не принималъ никакого участія. Черниговцы дрались съ кіевлянами не по племенной ненависти, а по приказанію князей. Въ повѣсти Пушкина «Дубровскій» превосходно выражена удѣльная борьба въ раздорѣ крестьянъ Троекурова и Дубровскаго: бары поссорились, а слуги начали драться, вытаптывая поля, бить скотъ и поджигать избы.

«Слово о Пълку Игоревѣ» принадлежитъ къ героическому періоду жизни Руси; но какъ героизмъ Руси состоялъ въ удальствѣ и охотѣ подраться, безъ всякихъ другихъ претензій, то «Слово» не можетъ назваться героической поэмой. Дѣйствіе героической поэмы должно быть сосредоточено на одномъ лицѣ, которое должно осуществить собой всѣ или по крайней мѣрѣ хоть одну изъ субстанціальныхъ сторонъ духа народа. Игорь же только внѣшнимъ образомъ является героемъ «Слова»: это какой-то образъ безъ лица; въ немъ нѣтъ ничего индивидуальнаго; онъ лишенъ всякаго характера; личности его нисколько не видно; нѣтъ никакихъ данныхъ считать его представителемъ народа. Сверхъ того онъ заслоняется то удалымъ братомъ своимъ, буйтуромъ Всеволодомъ, то отцомъ своимъ, Святославомъ, то наконецъ своей храброй дружиной. Участіе его въ поэмѣ больше страдательное, чѣмъ дѣятельное. Онъ объявляетъ дружинѣ, что хочетъ или сложить голову въ землѣ половецкой, или испить шеломомъ Дону великаго; приглашаетъ храбраго брата своего Всеволода, ведетъ свою дружину въ половецкую землю, выигрываетъ битву, потомъ проигрываетъ другую и, попавшись въ плѣнъ, исчезаетъ изъ поэмы; бо́льшая часть ея состоитъ изъ рѣчи Святослава и плача Ярославны. Потомъ уже, въ концѣ поэмы, Игорь снова является на минуту, убѣгая изъ плѣну. Вообще онъ ничѣмъ не возбуждаетъ въ себѣ нашего участія. Хотя Всеволодъ тоже обрисованъ очень слабо и какъ бы вскользь, однако онъ больше является героемъ въ духѣ своего времени. Его рѣчь къ Игорю дышетъ страстью и вдохновеніемъ боя. Въ битвѣ онъ рисуется на первомъ планѣ и заслоняетъ собой безцвѣтное лицо Игоря. Святославъ является не какъ дѣйствующее лицо, но голосомъ исторіи, выразителемъ политическаго состоянія Руси: за нимъ явно скрывается самъ поэтъ. Вообще въ поэмѣ нѣтъ никакого драматизма, никакого движенія; лица поглощены событіемъ, а событіе совершенно ничтожно само по себѣ. Это не борьба двухъ народовъ, но набѣгъ племени на сосѣднее племя. Очевидно, всѣ эти недостатки поэмы заключаются не въ слабости таланта пѣвца, но въ скудости матеріаловъ, какіе могла доставить ему народная жизнь. Здѣсь причина и того, что самъ народъ является въ поэмѣ совершенно безцвѣтнымъ: безъ вѣрованій, безъ образа мыслей, безъ житейской мудрости, съ однимъ богатствомъ живого и теплаго чувства. И потому вся поэма—дѣтскій лепетъ, полный поэзіи, но скудный значеніемъ,—лепетъ, котораго вся прелесть въ неопредѣленныхъ, мелодическихъ звукахъ, а не въ смыслѣ этихъ звуковъ...

Мы выше сказали, что «Слово о Пълку Игоревѣ» рѣзко отзывается южно-русскимъ происхожденіемъ. Есть въ языкѣ его что-то мягкое, напоминающее нынѣшнее малороссійское нарѣчіе, особенно изобиліе гортанныхъ звуковъ и окончанія на букву ѣ въ глаголахъ настоящаго времени третьяго лица множественнаго числа. Но болѣе всего говоритъ за русско-южное происхожденіе «Слова» выражающійся въ немъ бытъ народа. Есть что-то теплое, благородное и человѣческое во взаимныхъ отношеніяхъ дѣйствующихъ лицъ этой поэмы: Игорь ждетъ милаго брата Всеволода, и рѣчь Всеволода къ Игорю дышетъ кроткой и нѣжной родственной любовью безъ изысканности и приторности: «Одинъ братъ ты у меня, одинъ свѣтъ свѣтлый, о, Игорь, и оба мы Святославичи!» Игорь отступаетъ съ полками не по боязни сложить свою голову: ему стало жаль своего милаго брата Всеволода. Въ укорахъ престарѣлаго Святослава сыновьямъ слышится не гнѣвъ оскорбленной власти, а ропотъ оскорбленной любви родитель-

Digitized by Google

ской,— и укоръ его кротокъ и нѣженъ; обвиняя дѣтей въ удальствѣ, бывшемъ причиной Игорева плѣна, онъ въ то же время какъ-бы и гордится ихъ удальствомъ. «О сыны мои, Игорь и Всеволодъ! рано вы начали добывать мечами землю половецкую, а себѣ славы искать. Не честно ваше одолѣніе, неправедно пролита вами кровь вражеская. Сердца ваши изъ крѣпкаго булата скованы, а въ буести закалены! Сего ли ожидалъ я отъ васъ серебряной сѣдинѣ своей!» Но особенно поразительны въ поэмѣ благородныя отношенія половъ. Женщина является тутъ не женой и не хозяйкой только, но и любовницей вмѣстѣ. Плачъ Ярославны дышетъ глубокимъ чувствомъ, высказывается въ образахъ сколько простодушныхъ, столько и граціозныхъ, благородныхъ и поэтическихъ. Это не жена, которая, послѣ погибели мужа, осталась горькой сиротой, безъ угла и безъ куска, и которая сокрушается, что ея некому больше кормить и бить: нѣтъ, это нѣжная любовница, которой любящая душа тоскливо порывается къ своему милому, къ своей ладѣ, чтобъ омочить въ Каялѣ рѣкѣ бобровый рукавъ и отереть имъ кровавыя раны на тѣлѣ возлюбленнаго; которая обращается ко всей природѣ о своемъ миломъ: укоряетъ вѣтеръ, несущій ханскія стрѣлы на дружину милаго и развѣявшій по ковыль-травѣ ея веселіе; умоляетъ Днѣпръ—взлелѣять до пея ладьи ея милаго, чтобъ она не слала къ нему слезъ на море рано; взываетъ къ солнцу, которое «всѣмъ и тепло, и красно»—лишь томитъ зноемъ лучей своихъ воиновъ ея лады... И за то мужчина умѣетъ цѣнить такую женщину: только жажда битвы и славы заставила буйтура Всеволода забыть на время «своея милыя хоти, красныя Глѣбовны, свычаи и обычаи»... Все это, повторяемъ, отзывается южной Русью, гдѣ и теперь еще такъ много человѣчнаго и благороднаго въ семейномъ быту, гдѣ отношенія половъ основаны на любви, и женщина пользуется правами своего пола: все это противоположно сѣверной Руси, гдѣ семейныя отношенія грубы, женщина—родъ домашней скотины, а любовь—совершенно постороннее дѣло при бракахъ: сравните бытъ малороссійскихъ мужиковъ съ бытомъ мужиковъ русскихъ, мѣщанъ, купцовъ и отчасти и другихъ сословій, и вы убѣдитесь въ справедливости нашего заключенія о южномъ происхожденіи «Слова о Пълку Игоревѣ»; а наше разсмотрѣніе русскихъ народныхъ сказокъ превратитъ это убѣжденіе въ очевидность. Но, кромѣ всего этого, не только въ краскахъ поэзіи и манерѣ изложенія, но и въ духѣ богатырскаго удальства, нельзя не замѣтить чего-то общаго между «Словомъ о Пълку Игоревѣ» и казацкими малороссійскими пѣснями.

Какъ фактъ для сравненія, приведемъ здѣсь одну казацкую историческую думу, въ русскомъ прозаическомъ переводѣ Максимовича:

«Вотъ пошли козаки на четыре поля—что на четыре поля, а на пятое на Подолье. Что однимъ полемъ то пошелъ *Самкò Мушкѐтъ*; а за паномъ хорунжимъ мало-мало не три тысячи, все храбрые товарищи Запорожцы на коняхъ гарцуютъ, саблями поблескиваютъ, бьютъ въ бубны, Богу молитвы возсылаютъ, кресты полагаютъ.

«А Самкò Мушкѐтъ—онъ на конѣ не гарцуетъ, коня сдерживаетъ, къ себѣ притягиваетъ,—думаетъ, гадаетъ... Да чтобъ сто чертей бѣдою пришибли его думу, гаданье! Самкò Мушкѐтъ думаетъ, гадаетъ, говоритъ словами:—

«А что, какъ наше козачество, словно въ аду, Ляхи спалятъ? да изъ нашихъ козацкихъ костей пиръ себѣ на похмѣлье сварятъ?...

«А что, какъ наши головы козацкія, молодецкія, по степи полю полягутъ, да еще родною кровью омоются, пощепаными саблями покроются?... Пропадетъ, какъ порохъ изъ дула, та козацкая слава, что по всему свѣту дымомъ стала,—что по всему свѣту степью разлеглась, протянулась,—да по всему свѣту шумомъ лѣсовъ раздалась,—Туречинѣ да Татарщинѣ добрымъ лихомъ знать далась,—да и ляхамъ-ворогамъ на копье отдалась?...

«Закрячетъ воронъ степью летучи,
Заплачетъ кукушка лѣсомъ скачучи,
Закуркуютъ сизые кречеты,
Задумаются сизые орлы—
И все, все по своихъ братьяхъ,
По буйныхъ товарищахъ козакахъ!...

«Или ихъ сугробомъ занесло, или въ аду потопило, что не видно чубатыхъ ни по степямъ, ни по лугамъ, ни по татарскимъ землямъ, ни по чернымъ морямъ, ни по ляшскимъ полямъ?..

«Закрячетъ воронъ, загруетъ, зашумитъ, да и полетитъ въ чужую землю... Анъ нѣтъ! кости лежатъ, сабли торчатъ; кости хрустятъ, пощепанныя сабли бренчатъ...

«А черная, сивая сорока оскалилась и скачетъ... А головы козацкія — словно Щвецъ Семенъ шкуру потерялъ! А чубы — словно чертъ жгуты повилъ, въ крови всѣ засохли: то-то и славы набрались!»

Не говоря уже о поразительномъ сходствѣ паѳоса древней поэмы съ этими несравненно позднѣйшими произведеніями одного и того-же племени, — какое сходство въ картинахъ природы и поэтическихъ сравненіяхъ! Тамъ и здѣсь играютъ одинаковую роль вѡроны, орлы, кречеты, сороки! Тамъ и здѣсь битва уподобляется то свадьбѣ, то попойкѣ кровавой!

«Слово о Пълку Игоревѣ» нѣсколько разъ было переводимо прозой, и были, кажется, двѣ попытки (Вельтмана и Деларю) перевести его стихами или мѣрной, ритмической прозой. Но попытки послѣдняго рода должны считаться совершенно излишними: «Слово» можетъ быть прекрасно только въ его первобытномъ и наивномъ видѣ безъ всякихъ другихъ измѣненій и поправокъ, кромѣ подновленія слишкомъ устарѣвшихъ словъ и оборотовъ.

Digitized by Google

Теперь намъ слѣдовало бы говорить о «Сказаніи о Нашествіи Батыя на Русскую Землю» и «Сказаніи о Мамаевомъ Побоищѣ»; но мы скажемъ о нихъ очень немного. Оба эти памятника нисколько не относятся къ поэзіи, потому что въ нихъ нѣтъ ни тѣни, ни призрака поэзіи; это скорѣй памятники даже не краснорѣчія, а простодушной риторики того времени, которой вся хитрость состояла въ безпрестанныхъ примѣненіяхъ къ Библіи и выпискѣ изъ нея текстовъ. Гораздо любопытнѣе «Слово Даніила Заточника». Оно также не относится къ поэзіи, но можетъ служить образцомъ практической философіи и ученаго краснорѣчія XIV вѣка. Даніилъ Заточникъ былъ человѣкъ глубокой учености въ духѣ своего времени; «Слово» его отличается умомъ, ловкостью, а мѣстами и чѣмъ-то похожимъ на краснорѣчіе. Главнѣйшее его достоинство состоитъ въ томъ, что оно такъ и дышетъ духомъ своего времени. Писано оно въ заточеніи, къ князю, у котораго нашъ заточникъ надѣялся вымолить себѣ прощеніе и свободу. Не теряя изъ виду главнаго предмета своего посланія, заточникъ безпрестанно пускается въ разныя сужденія. Особенно замѣчательно слѣдующее мѣсто въ «Словѣ» Заточника, гдѣ онъ даетъ князю совѣтъ уважать умъ больше богатства и говоритъ о самомъ себѣ съ какимъ-то наивнымъ возвышеннымъ сознаніемъ собственнаго достоинства.

«Княже, господине мой! не лиши хлѣба нища мудра, ни вознеси до облакъ богатаго безумца, немысленна: нищъ бо мудръ, яко злато въ калнѣ сосудѣ, а богатъ красенъ несмысленъ, то аки наволочитое заголовье, соломы наткано. Господине мой! не зри внѣшняя моя, но зри внутренняя: азъ бо одѣяніемъ есть скуденъ, но разумомъ обиленъ: юнъ возрастъ имѣю, а старъ смысломъ, быхъ мыслію яко орелъ паряй по воздуху. Но постави сосуды скудельничьи подъ потокъ капля языка моего, да накаплютъ ти сладчайши меду словеси устъ моихъ.»

Описывая далѣе глупцовъ, Заточникъ впадаетъ въ истинный сарказмъ. Замѣтно, что Даніилъ Заточникъ пострадалъ отъ злыхъ навѣтовъ со стороны бояръ и жены князя; по крайней мѣрѣ ничѣмъ инымъ нельзя объяснить слѣдующей грозной филиппики противъ дурныхъ совѣтниковъ и дурныхъ женъ.

«Княже, мой господине! не море топитъ корабли, но вѣтри; а не огонь творитъ разженіе желѣзу, но надываніе мѣшное: тако же и князь не самъ впадаетъ во многія въ вещи худыя, но думцы вводятъ. Съ добрымъ бо думцею князь высока стола додумается, а съ лихимъ думцею думаетъ, и малаго стола лишенъ будетъ. Глаголетъ бо въ мірскихъ притчахъ: не скотъ въ скотѣхъ коза, и не звѣрь во звѣряхъ ежъ, не рыба въ рыбахъ ракъ, не птица во птицахъ нетопырь, а не мужъ въ мужѣхъ, кѣмъ своя жена владѣетъ: не жена въ женахъ, иже отъ своего мужа...; не работа въ работахъ подъ жонками возъ возити. Дивѣе дива, кто поимаетъ жену злообразну, прибытка ради... лѣпѣе волъ ввести въ домъ свой, нежели злая жена поняти: волъ бо не молвитъ, ни зла мыслитъ, а злая жена *біема* бѣсится, а кротима высится, въ богачествѣ гордится, а въ убожествѣ иныхъ осуждаетъ. Что есть жена зла? гостница неусыпаемая, купница бѣсовская. Что есть жена зла? мірскы мяжежь ослѣпленіе уму, начальница всякой злобѣ, во церкви бѣсовская мытница, поборница грѣху засада спасенію.»

Не выписываемъ до конца этой энергической выходки: это только начало, слабѣйшая часть ея. Вмѣсто ея выпишемъ окончаніе заточникова посланія: оно до такой степени въ духѣ того времени, что изъ краснорѣчиваго становится поэтическимъ, и потому особенно интересно.

«Сіи словеса азъ Даніилъ писахъ въ заточеніи на Бѣлоозерѣ, и запечатавъ въ воску, и пустивъ во озеро, и вземъ рыба пожре, и яша бысть рыба рыбаремъ, и принесена бысть ко князю, и нача ея пороти, и узрѣ князь сіе написаніе, и повелѣ Данила свободити отъ горькаго заточенія.—Не отметай безумному прямо безумія его, да не подобенъ ему будеши. Уже бо престану глаголати, да не буду яко мѣхъ утелъ, роняя богатство убогимъ; да не уподоблюся жерновамъ, яко тѣ многія люди насыщаютъ, а сами себѣ не могутъ насытися, да не возненавидѣнъ буду міру со многою бесѣдою. Якоже бо птица учащаетъ пѣсни своя, скоро возненавидѣма бываетъ. Глаголетъ бо въ мірскихъ притчахъ: рѣчь продолжна недобро, продолжена поволока. Господи! дай же князю нашему силу Самсонову, храбрость Александрову, Іосифовъ разумъ, мудрость Соломоню, кротость Давидову, и умножи, Господи, вся человѣки подъ руку его. Лютѣ бѣснующемуся дати ножъ, а лукавому власть (?). Паче всего неновижь стороника перетерплива. Аминь.»

Кто этотъ Даніилъ Заточникъ, и когда онъ жилъ—нензвѣстно. Извѣстія объ его заточеніи находятся въ нашихъ лѣтописяхъ подъ годомъ 1378. Какъ бы то ни было, Сахаровъ заслуживаетъ особенную благодарность за перепечатаніе въ своей книгѣ рукописи Даніила Заточника, столь интересной во многихъ отношеніяхъ. Кто бы ни былъ Даніилъ Заточникъ, — можно заключить не безъ основанія, что это была одна изъ тѣхъ личностей, которыя, на бѣду себѣ, слишкомъ умны, слишкомъ даровиты, слишкомъ много знаютъ и, не умѣя прятать отъ людей своего превосходства, оскорбляютъ самолюбивую посредственность; которыхъ сердце болитъ и снѣдается ревностью по дѣламъ, чуждымъ имъ, которыя говорятъ тамъ, гдѣ лучше было бы молчать, и молчатъ тамъ, гдѣ выгодно говорить; словомъ, одна изъ тѣхъ личностей, которыя люди сперва хвалятъ и холятъ, потомъ сживаютъ со свѣту и наконецъ, уморивши, снова начинаютъ хвалить...

Теперь намъ слѣдуетъ приступить къ сказочнымъ поэмамъ, заключающимся въ сборникѣ казака Кирши Данилова. Тамъ ихъ числомъ больше тридцати, кромѣ казачьихъ,

Digitized by Google

а Сахаровъ помѣстилъ изъ нихъ въ своей книгѣ, въ отдѣлѣ «Былины русскихъ людей», только одиннадцать. Вообще Сахаровъ обнаруживаетъ къ сборнику Кирши Данилова большую недовѣрчивость и даже что-то вродѣ непріязни. Это дѣло требуетъ нѣкотораго поясненія. Рукопись сборника Кирши Данилова была найдена Демидовымъ и издана (не вполнѣ) Якубовичемъ въ 1804 году, подъ титуломъ «Древнія русскія стихотворенія». Потомъ рукопись перешла во владѣніе графа Н. П. Румянцева, по порученію котораго и издана была Калайдовичемъ въ 1816 году, подъ титуломъ: «Древнія россійскія стихотворенія, собранныя Киршею Даниловымъ и вторично изданныя, съ присовокупленіемъ 35 пѣсенъ и сказокъ, доселѣ неизвѣстныхъ, и нотъ для напѣва».

Сахаровъ спрашиваетъ: «на чемъ основано, что собирателемъ древнихъ стихотвореній былъ Кирша Даниловъ? На томъ, что имя его поставлено на первомъ листѣ рукописи. Гдѣ этотъ листъ? Калайдовичъ говоритъ, что онъ потерялся. Кто видѣлъ листъ съ подписью? Одинъ только издатель Якубовичъ, который, по словамъ Калайдовича, ручается за справедливость этого извѣстія».

Коротко и ясно: изъ всего этого Сахаровъ хочетъ вывести слѣдствіе, что Кирша Даниловъ отнюдь не былъ собирателемъ древнихъ стихотвореній. Прекрасно; но въ чемъ споръ и есть ли о чемъ тутъ спорить? Кирша Даниловъ—хорошо; не онъ, а другой, г. А., г. Б., г. В. — также хорошо: по крайней мѣрѣ въ обоихъ случаяхъ стихотворенія не дѣлаются ни лучше, ни хуже. Впрочемъ всѣ причины стоятъ за Киршу Данилова, и ни одной противъ него; это ясно какъ день. Во-первыхъ, нужно же какое-нибудь общее имя для означенія сборника древнихъ стихотвореній: зачѣмъ же выдумывать новое, когда уже глаза всей читающей публики приглядѣлись въ печати къ имени Кирши Данилова? Во-вторыхъ, что имя его могло стоять на заглавномъ листкѣ—это вѣрнѣе, чѣмъ то, что его не было на немъ, ибо это имя упоминается въ текстѣ пѣсни «А и не жаль мнѣ-ко битаго, грабленаго». Разумѣется, смѣшно было бы почитать Киршу Данилова сочинителемъ древнихъ стихотвореній; но кто же говорилъ или утверждалъ это? Всѣ эти стихотворенія неоспоримо древнія. Начались они вѣроятно во времена татарщины, если не раньше: по крайней мѣрѣ всѣ богатыри Владиміра Красна-Солнышка безпрестанно сражаются въ нихъ съ татарами. Потомъ каждый вѣкъ и каждый пѣвунъ или сказочникъ измѣнялъ ихъ по своему, то убавляя, то прибавляя стихи, то переиначивая старые. Но сильнѣйшему измѣненію они подверглись вѣроятно во времена единодержавія въ Россіи. И потому отнюдь не удивительно, что удалой казакъ Кирша Даниловъ, «гуляка праздный», не оставилъ ихъ совершенно въ томъ видѣ, какъ услышалъ отъ другихъ. И онъ имѣлъ на это полное право: онъ былъ поэтъ въ душѣ, что̀ достаточно доказывается его страстью къ поэзіи и терпѣніемъ положить на бумагу 60 большихъ стихотвореній. Нѣкоторыя изъ нихъ могутъ принадлежать и самому ему, какъ выше выписанная нами пѣсня: «А и не жаль мнѣ-ко битаго, грабленаго». На Руси изстари заведено, что умный человѣкъ—непремѣнно горькій пьяница: такъ или почти такъ справедливо замѣтилъ гдѣ-то Гоголь. Въ слѣдующей пѣснѣ, отличающейся глубокимъ и размашистымъ чувствомъ тоски и грустной ироніей, Кирша Даниловъ является истиннымъ поэтомъ русскимъ, какой только возможенъ былъ на Руси до вѣка Екатерины Великой:

«А и горе, горе, горевaньице!
А и въ горѣ жить—не кручинну быть,
Нагому ходить—не стыдитися,
А и денегъ нѣту—передъ деньгами,
Появилась гривна—передъ злыми дни.
Не бывать плѣшатому кудрявому,
Не бывать гулящему богатому,
Не отростить дерева суховерхаго,
Не откормить коня сухопараго.
Не утѣшити дитя безъ матери,
Не скроить атласу безъ мастера.
А и горе, горе, горевaньице!
А и лыкомъ горе подпоясалось,
Мочалами ноги изопутаны!
А я отъ горя въ темны лѣса—
А горе прежде вѣкъ зашелъ;
А я отъ горя въ почестный пиръ—
А горе зашелъ, впереди сидитъ;
А я отъ горя на царевъ кабакъ—
А горе встрѣчаетъ, ужъ пиво тащитъ.
Какъ я нагъ то сталъ, насмѣялся онъ»

Кирша Даниловъ жилъ въ Сибири, какъ это видно изъ частыхъ выраженій «а по нашему по-сибирскому», и изъ нѣкоторыхъ поэмъ, посвященныхъ памяти подвиговъ завоевателя Сибири, Ермака. Очень вѣроятно, что въ Сибири Кирша имѣлъ больше, чѣмъ гдѣ-нибудь, возможности собрать древнія стихотворенія: обыкновенно колонисты съ особенной любовью и особеннымъ стараніемъ хранятъ памятники своей первобытной родины. Вообще въ Сибири и теперь еще сохранился во всей чистотѣ первобытной духовный типъ старой Руси.

«Древнія Стихотворенія», заключающіяся въ сборникѣ Кирши Данилова, большей частью эпическаго содержанія въ сказочномъ родѣ. Есть большая разница между поэмой или рапсодомъ и между сказкой. Въ поэмѣ поэтъ какъ бы уважаетъ свой предметъ, ставитъ его выше и хочетъ въ другихъ возбудить къ нему благоговѣніе; сказочникъ—себѣ на умѣ: цѣль его занять праздное вниманіе, разсѣять скуку, позаба-

Digitized by Google

вить другихъ. Отсюда происходитъ большая разница въ тонѣ того и другого рода произведеній: въ первомъ важность, увлеченіе, иногда возвышающееся до паѳоса, отсутствіе іроніи, а тѣмъ болѣе — пошлыхъ шутокъ; въ основаніи второго всегда замѣтна задняя мысль, замѣтно, что разсказчикъ самъ не вѣритъ тому, что̀ разсказываетъ, и внутренно смѣется надъ собственнымъ разсказомъ. Это особенно относится къ русскимъ сказкамъ. Кромѣ «Слова о Пълку Игоревѣ»; изъ народныхъ произведеній у насъ нѣтъ ни одной поэмы, которая не носила бы на себѣ сказочнаго характера. Русскій человѣкъ любитъ небылицы какъ забаву въ праздныя минуты долгихъ зимнихъ вечеровъ, но не подозрѣваетъ въ нихъ поэзіи. Ему странно и дико было бы узнать, что ученые бары списываютъ и печатаютъ его росказни и побасенки не для шутки и смѣха, а какъ что-то важное. Онъ отдаетъ преимущество пѣснѣ передъ сказкой, говоря, что «пѣсня—быль, а сказка—ложь». У него нѣтъ никакого предчувствія о близкомъ сродствѣ вымысла съ творчествомъ: вымыслъ для него все равно, что̀ ложь, что̀ вздоръ, что̀ чепуха. А между тѣмъ «Древнія Стихотворенія»—не сказки собственно, но, какъ мы сказали, поэмы въ сказочномъ родѣ. Можетъ быть первоначально они явились чисто эпическими отрывками, а потомъ уже, измѣняясь со временемъ, получили свой сказочный характеръ; можетъ быть также, что вслѣдствіе варварскаго понятія о вымыслѣ и съ самаго начала явились они поэмами-сказками, въ которыхъ поэтическій элементъ былъ пересиленъ прозой народнаго взгляда на поэзію. Въ книжкѣ Сахарова «Русскія Народныя Сказки» есть нѣсколько сказокъ почти одинаковаго содержанія и почти такъ же изложенныхъ, какъ нѣкоторыя «Былины Русскихъ Людей», помѣщенныя имъ въ «Сказаніяхъ Русскаго Народа». Разница въ томъ, что въ сказкахъ есть нѣкоторыя лишнія противъ былинъ подробности, и въ томъ, что первыя напечатаны прозой, а вторыя—стихами. И мы думаемъ, что Сахаровъ сдѣлалъ это не безъ основанія: хотя и всѣ наши сказки сложены какой-то мѣрной прозой, но этотъ метризмъ, если можно такъ выразиться, составляетъ въ нихъ побочное достоинство и часто нарушается мѣстами, тогда какъ въ поэмахъ метръ, хотя и силлабическій, и притомъ не всегда правильный, составляетъ ихъ необходимую принадлежность. Сверхъ того есть нѣкоторая разница въ манерѣ, въ замашкѣ разсказа между сказкой и поэмой: первая объемлетъ собой всю жизнь богатыря, начинается его рожденіемъ, а оканчивается смертью; поэма, напротивъ, схватываетъ одинъ какой-нибудь моментъ изъ жизни богатыря и силится создать изъ него нѣчто отдѣльное и цѣльное. И потому одна сказка заключаетъ въ себѣ два, три и болѣе эпическіе рапсода, какъ напримѣръ о Добрынѣ и объ Ильѣ Муромцѣ. Въ тонѣ сказокъ больше простонароднаго, житейскаго, прозаическаго; въ тонѣ поэмъ больше поэзіи, полету, одушевленія, хотя и тѣ, и другія разсказываютъ часто объ одномъ и томъ же предметѣ и очень сходно, нерѣдко одними и тѣми же выраженіями. Такъ какъ русскій человѣкъ почиталъ сказку «пересыпаньемъ изъ пустого въ порожнее», то онъ не только не гонялся за правдоподобіемъ и естественностью, а еще какъ будто поставлялъ себѣ за непремѣнную обязанность умышленно нарушать и искажать ихъ до безсмыслицы. По его понятію, чѣмъ сказка неправдоподобнѣе и нелѣпѣе, тѣмъ лучше и занимательнѣе. Это перешло и въ поэмы, которыя преисполнены самыми рѣзкими несообразностями. Мы сейчасъ дадимъ это увидѣть самимъ читателямъ нашимъ,— для чего и перескажемъ имъ вкратцѣ содержаніе всѣхъ поэмъ, находящихся въ сборникѣ Кирши Данилова.

Намъ удавалось слышать до крайности странное мнѣніе, будто изъ нашихъ сказочныхъ поэмъ можно составить одну большую цѣлую поэму, подобно тому, какъ будто-бы изъ рапсодовъ была составлена «Иліада». Теперь уже и о происхожденіи «Иліады» многими оставлено такое мнѣніе, какъ неосновательное; что̀ же до нашихъ рапсодовъ, то мысль склеить ихъ въ одну поэму— есть злая насмѣшка надъ ними. Поэма требуетъ единства мысли, а вслѣдствіе ея— гармоніи въ частяхъ и цѣлости въ общемъ. Изъ содержанія нашихъ рапсодовъ, мы увидимъ, что искать въ нихъ общей мысли— все равно, что ловить жемчужныя раковины въ Фонтанкѣ. Они ничѣмъ не связаны между собой; содержаніе всѣхъ ихъ одинаково, обильно словами, скудно дѣломъ, чуждо мысли. Поэзія къ прозѣ содержится въ нихъ, какъ ложка меду къ бочкѣ дегтю. Въ нихъ нѣтъ никакой послѣдовательности, даже внѣшней; каждая изъ нихъ сама по себѣ не вытекаетъ изъ предыдущей, ни заключаетъ въ себѣ начала послѣдующей. Внѣшнее единство «Иліады» основано на гнѣвѣ Ахиллеса противъ Агамемнона за плѣнницу Бризеиду; Ахиллесъ отказывается отъ боя, и вслѣдствіе этого эллины претерпѣваютъ страшныя пораженія отъ троянъ и погибаетъ Патроклъ; тогда Ахиллъ мирится съ Агамемноном, поражаетъ торжествовавшихъ троянъ и убійствомъ Гектора выполняетъ свою клятву мщенія за смерть Патрокла. Потому-то въ «Иліадѣ»

Digitized by Google

вторая пѣсня слѣдуетъ за первой, а третья—за второй, и такъ далѣе отъ первой до 24-й включительно, не по цифрамъ, въ началѣ ихъ произвольно поставленнымъ собирателемъ, а по внутреннему развитію хода событій. Въ нашихъ же рапсодахъ нѣтъ общаго событія, нѣтъ одного героя. Хоть и наберется поэмъ двадцать, въ которыхъ упоминается имя великаго князя Владиміра Красна-Солнышка, но онъ является въ нихъ внѣшнимъ только героемъ: самъ не дѣйствуетъ ни въ одной, и вездѣ только пируетъ, да похаживаетъ по гридницѣ свѣтлой, расчесывая кудри черныя. Что же касается до связи этихъ поэмъ, то нѣкоторыя изъ нихъ точно должны бы слѣдовать въ книгѣ одна за другой, чего, къ сожалѣнію, не сдѣлалъ Калайдовичъ, напечатавшій ихъ вѣроятно въ такомъ порядкѣ, въ какомъ онѣ находились въ сборникѣ Кирши Данилова. Но это относится къ очень немногимъ, такъ что не болѣе трехъ могутъ составить одно, и это одно всегда имѣетъ своего героя, помимо Владиміра, о которомъ во всѣхъ равно упоминается. Герои эти—богатыри, составлявшіе дворъ Владиміра. Они со всѣхъ сторонъ стекаются къ нему на службу. Это очевидно отголосокъ старины, отраженіе давней были, въ которой есть своя доля истины. Владиміръ не является въ этихъ поэмахъ ни лицомъ дѣйствительнымъ, ни характеромъ опредѣленнымъ, а, напротивъ, какой-то миѳической полутѣнью, какимъ-то сказочнымъ полуобразомъ, болѣе именемъ, нежели человѣкомъ. Такъ-то поэзія всегда вѣрна исторіи: чего не сохранила исторія, того не передастъ и поэзія; а исторія не сохранила намъ образа Владиміра-язычника, поэзія же не дерзнула коснуться Владиміра-христіанина. Нѣкоторые изъ богатырей Владиміра переданы намъ этой сказочной поэзіей, какъ-то: Алеша Поповичъ съ другомъ своимъ Екимомъ Ивановичемъ, Дунай сынъ Ивановичъ, Чурило Пленковичъ, Иванъ Гостиный сынъ, Добрыня Никитичъ, Потокъ Михайло Ивановичъ, Илья Муромецъ, Михайло Казариновъ, Дюкъ Степановичъ, Иванъ Годиновичъ, Гордей Блудовичъ, жена Ставра Боярина, Касьянъ Михайловичъ; нѣкоторые только упоминаются по имени, какъ-то: Самсонъ Колывановичъ, Суханъ Домантьевичъ, «Свѣтогоръ богатырь и Полканъ другой», семь братовъ Збродовичей и два брата Хапиловы... Но пусть само дѣло говоритъ за себя.

Начнемъ съ Алеши Поповича.

Изъ славнаго Ростова, красна города, вылетывали два ясные сокола, выѣзжали два могучіе богатыря,

Что по имени Алешинька Поповичъ младъ,
А съ молодымъ Екимомъ Ивановичемъ.

Наѣхали они въ чистомъ полѣ на три дороги широкія, а при тѣхъ дорогахъ лежитъ горючъ-камень съ надписями; Алеша Поповичъ проситъ Екима Ивановича, «какъ въ грамотѣ поученаго человѣка», прочесть тѣ надписи. Одна изъ нихъ означала путь въ Муромъ, другая—въ Черниговъ, третья—«ко городу Кіеву, ко ласкову князю Владиміру». Екимъ Ивановичъ спрашиваетъ, куда ѣхать; Алеша Поповичъ рѣшаетъ—къ Кіеву. Не доѣхавши до Сафатъ рѣки (?), остановились на зеленыхъ лугахъ покормить добрыхъ коней. Здѣсь мы остановимся съ ними, чтобы спросить, что это была за рѣка Сафатъ, протекавшая между Ростовомъ и Кіевомъ? Вѣроятно она зашла туда изъ Палестины... Разбивъ шатры, стреноживъ коней, добры молодцы стали «опочивъ держать».

Прошла та ночь осенняя.
Ото сна пробуждается,
Встаетъ рано ранешенько,
Утреннею зарею умывается,
Вѣлою ширинкою утирается,
На востокъ онъ, Алеша, Богу молится.

Екимъ Ивановичъ поймалъ коней, напоилъ ихъ въ Сафатъ-рѣкѣ и, по приказанію Алеши, осѣдлалъ ихъ. Лишь только хотѣли они ѣхать «ко городу Кіеву», какъ попадаетъ имъ калика перехожій.

Лапотки на немъ семи шелковъ,
Подковырены чистымъ серебромъ,
Личико унизано краснымъ золотомъ,
Шуба соболиная, долгополая,
Шляпа сорочинская, земли греческой.
Въ тридцать пудъ шелепуга подорожная,
Въ пятьдесятъ пудъ палица свинцу чебурацкаго.

Вопросъ, какъ же шелепуга могла быть въ тридцать пудъ, если одного свинцу къ ней было пятьдесятъ пудъ?... Калика говорилъ имъ таково слово:

Гой вы еси, удалы добры молодцы!
Видѣлъ я Тугарина Змѣевича:
Въ вышину ли онъ, Тугаринъ, трехъ саженъ,
Промежъ плечей косая сажень,
Промежду глазъ калена стрѣла;
Конь подъ нимъ какъ лютый звѣрь,
Изъ хайлища пламень дышетъ,
Изъ ушей дымъ столбомъ стоитъ.

Алеша Поповичъ «привязался» къ каликѣ, отдаетъ ему свое платье богатырское, а у него проситъ себѣ каличьяго,—и его просьба состоитъ въ повтореніи слово въ слово выписанныхъ нами стиховъ, изображающихъ одѣяніе и оружіе калики. Калика соглашается, и Алеша Поповичъ, кромѣ шелепуги, беретъ еще про запасъ чингалище булатное и идетъ за Сафатъ-рѣку.

Завидѣлъ тутъ Тугаринъ Змѣевичъ младъ,
Заревѣлъ звѣринымъ голосомъ,
Продрогнула дубровушка зеленая,
Алеша Поповичъ едва живъ идетъ.
Говорилъ тутъ Тугаринъ Змѣевичъ младъ:
«Гой еси, калика перехожая!

Digitized by Google

А гдѣ ты слыхалъ, и гдѣ видалъ
Про млада Алешу Поповича:
А и я бы Алешу копьемъ закололъ,
Копьемъ закололъ и огнемъ спалилъ».
Говорилъ тутъ Алеша каликою:
«А и ты гой еси, Тугаринъ Змѣевичъ младъ!
Поѣзжай поближе ко мнѣ,
Не слышу я, что ты говоришь».
Подъѣзжалъ къ нему Тугаринъ Змѣевичъ
Сверстался Алеша Поповичъ младъ, [младъ.
Противъ Тугарина Змѣевича,
Хлопнулъ его шелепугою по буйной головѣ,
Расшибъ ему буйную голову –
И упалъ Тугаринъ на сыру землю;
Вскочилъ ему Алеша на черну грудь,
Втапоры взмолится Тугаринъ Змѣевичъ младъ:
«Гой еси ты, калика перехожая!
Не ты ли Алеша Поповичъ младъ?
Только ты Алеша Поповичъ младъ,
Семъ побратуемся съ тобою».
Втапоры Алеша врагу не вѣровалъ,
Отрѣзалъ ему голову прочь,
Платье съ него снималъ цвѣтное [дѣвалъ.
На сто тысячъ — и все платье на себя на-

Увидѣвъ Алешу Поповича въ платьѣ Тугарина Змѣевича, Екимъ Ивановичъ и калика перехожій пустились отъ него бѣжать; когда жъ онъ ихъ нагналъ, Екимъ Ивановичъ бросилъ себѣ назадъ палицу въ тридцать пудъ, попалъ Алешѣ въ грудь—и тотъ повалился съ коня замертво.

Втапоры Екимъ Ивановичъ
Скочилъ съ добра коня, сѣлъ на груди ему:
Хочетъ пороть груди бѣлыя
И увидѣлъ на немъ золотъ чуденъ крестъ,
Самъ заплакалъ, говорилъ каликѣ перехожему:
«По грѣхамъ надо мною Екимомъ учинилося,
Что убилъ своего братца родимаго».
И стали его оба трясти и качать,
И потомъ подали ему вина заморскаго;
Отъ того онъ здравъ сталъ.

Алеша Поповичъ обмѣнялся съ каликой платьемъ, а Тугариново положилъ себѣ въ чемоданъ. Пріѣхали въ Кіевъ.

Скочили съ добрыхъ коней,
Привязали къ дубовымъ столбамъ,
Пошли во свѣтлы гридни;
Молятся Спасову образу,
И бьютъ челомъ, поклоняются
Князю Владиміру и княгинѣ *Апраксѣевнѣ*,
И на всѣ четыре стороны:
Говорилъ имъ ласковый Владиміръ князь:
«Гой вы еси, добры молодцы!
Скажитеся, какъ васъ по имени зовутъ:
А по имени вамъ мочно мѣсто дать,
По изотчеству можно пожаловати».
Говоритъ тутъ Алеша Поповичъ младъ:
«Меня, осударь, зовутъ Алешею Поповичемъ,
Изъ города Ростова, стараго попа соборнаго».
Втапоры Владиміръ князь обрадовался,
Говорилъ таковы слова:
«Гой еси, Алеша Поповичъ младъ!
По отчеству садися въ большое мѣсто, въ передній уголокъ,
Въ другое мѣсто богатырское,
Въ дубову скамью противъ меня,
Въ третье мѣсто куда самъ захочешь».
Не садился Алеша въ мѣсто большое,
И не садился въ дубову скамью,
Сѣлъ онъ со своими товарищи на полатный брусъ (!!?!).

Вдругъ—о чудо!—на золотой доскѣ двѣнадцать богатырей несутъ Тугарина Змѣевича—того самаго, которому такъ недавно Алеша отрубилъ голову,—несутъ живого и сажаютъ на большое мѣсто:

Тутъ повары были догадливы:
Понесли яства сахарныя и питья медвяныя,
А питья все заморскія.
Стали тутъ пить, ѣсть, прохлаждатися;
А Тугаринъ Змѣевичъ нечестно хлѣба ѣстъ:
По цѣлой ковригѣ за щеку мечетъ,
Тѣ ковриги монастырскія;
И нечестно Тугаринъ питья пьетъ:
По цѣлой чашѣ охлестываетъ,
Котора чаша въ полтретья ведра.
И говоритъ втапоры Алеша Поповичъ младъ:
«Гой еси ты, ласковый сударь, Владиміръ [князь!
Что у тебя за болванъ пришелъ,
Что за дуракъ неотесанной!
Нечестно у князя за столомъ сидитъ,
Ко княгинѣ онъ, собака, руку въ пазуху
Цѣлуетъ во уста сахарныя, [кладетъ,
Тебѣ князю насмѣхается».

Далѣе Алеша говоритъ, что у его отца была скверная собака, которая подавилась костью, и которую онъ, взявши за хвостъ, подъ гору махнулъ: «отъ меня Тугарину то же будетъ».

Тугаринъ почернѣлъ какъ осенняя ночь;
Алеша Поповичъ сталъ какъ свѣтелъ мѣсяцъ.

Начавши рушить лебедь бѣлую, княгиня обрѣзала себѣ рученьку лѣвую,

Завернула рукавцомъ, подъ столъ опустила,
Говорила таково слово:
«Гой вы еси, княгини, боярыни!
Либо мнѣ рѣзать лебедь бѣлую,
Либо смотрѣть на милъ животъ
На молода Тугарина Змѣевича».

Тугаринъ схватилъ лебедь бѣлую, да разомъ ее за щеку, да еще ковригу монастырскую. Алеша опять повторяетъ свое воззваніе къ Владиміру тѣми же словами; только вмѣсто собаки говоритъ о коровищѣ старой, которая, забившись въ поварню, выпила чанъ браги прѣсныя и оттого лопнула, и которую онъ, Алеша, за хвостъ да подъ гору: «Отъ меня Тугарину то же будетъ». Потемнѣвъ, какъ осенняя ночь, Тугаринъ бросилъ въ Алешу чингалищемъ булатнымъ, но Поповичъ «на то-то вертокъ былъ», и Тугаринъ не попалъ въ него. Екимъ спрашиваетъ Алешу: самъ ли онъ броситъ въ Тугарина, али ему велитъ? Алеша сказалъ, что онъ завтра самъ съ нимъ перевѣдается, подъ великій закладъ—не о ста рубляхъ, не о тысячѣ, а о своей буйной головѣ. Князья и бояре скочили на рѣзвы ноги, и всѣ за Тугарина поруки держатъ: князья кладутъ по сту рублевъ, бояре по пятидесяти, крестьяне (?) по пяти рублевъ, а случившіеся тутъ гости купеческіе подписываютъ подъ Тугарина три корабля свои съ товарами заморскими, которы стоятъ на быстромъ Днѣпрѣ; а за Алешу подписывалъ владыка черниговскій.

Digitized by Google

Втапоры Тугаринъ и вонъ ушелъ,
Садился на своего добраго коня,
Поднялся на бумажныхъ крыльяхъ подъ небесью летать.
Скочила княгиня Апраксѣевна на рѣзвы ноги,
Стала пенять Алешѣ Поповичу:
«Деревенщина ты, засельщина!
Не далъ посидѣть другу милому».
Втапоры Алеша того не слушался,
Звился съ товарищи и вонъ пошелъ.

На берегу Сафатъ-рѣки пустили они коней въ зеленые луга, разбили шатры и стали «опочивъ держать». Алеша всю ночь не спитъ, со слезами Богу молится, чтобъ послалъ тучу грозную; молитва Алешина дошла до Христа, послалъ онъ «тучу съ градомъ дождя», подмочилъ Тугарину крылья бумажныя, и лежитъ онъ, какъ собака, на сырой землѣ. Екимъ извѣщаетъ Алешу, что видѣлъ Тугарина на сырой землѣ,—Алеша снаряжается, садится на добра коня, беретъ сабельку острую.

И увидѣлъ Тугаринъ Змѣевичъ Алешу Поповича,
Заревѣлъ зычнымъ голосомъ:
«Гой еси, Алеша Поповичъ младъ!
Хошь ли я тебя огнемъ спалю,
Хошь ли, Алеша, конемъ стопчу,
Али тебя, Алешу, копьемъ заколю?»
Говорилъ ему Алеша Поповичъ младъ:
Бился ты со мной о великъ закладъ,
Биться, драться единъ-на-единъ:
А за тобою нонѣ силы смѣты нѣтъ
На меня Алешу Поповича».
Оглянется Тугаринъ назадъ себя, [билъ—
Втапоры Алеша подскочилъ, ему голову сру-
И пала глава на сыру землю, какъ пивной котелъ.

Проколовъ уши головѣ Тугарина, Алеша привязалъ ее къ сѣдлу, привезъ въ Кіевъ въ княженецкій дворъ и бросилъ середи двора! А Владиміръ князь повелъ его во свѣтлы гридни, сажалъ за убраны столы—тутъ для Алеши и столъ пошелъ. За столомъ говоритъ ему Владиміръ князь:

«Гой еси, Алеша Поповичъ младъ!
Часъ ты мнѣ свѣтъ далъ:
Пожалуй ты живи въ Кіевѣ,
Служи мнѣ, князю Владиміру—
До люби тебя пожалую».
Втапоры Алеша Поповичъ младъ князя не
Сталъ служить вѣрою и правдою; [ослушался,
А княгиня говоритъ Алешѣ Поповичу:
«Деревенщина ты, засельщина!
Разлучилъ меня съ другомъ милымъ,
Съ молодымъ Змѣемъ Тугаретинымъ».
Отвѣчаетъ Алеша Поповичъ младъ:
«А ты гой еси, матушка княгиня Апраксѣевна!
Чуть не назвалъ я тебя сукою,
Сукою-то волочайкою».
То старина, то и дѣянье.

И вотъ, читатели, вы уже знакомы съ однимъ изъ богатырей «ласкова князя Владиміра Красна-Солнышка»; вы уже знаете, за какую службу и съ какими обрядами Алеша былъ принятъ ко двору его. Тутъ не было рыцарскаго посвященія; не ударяли по плечу шпагой, не надѣвали серебряныхъ шпоръ; битва была не за красоту, а противъ красоты, красоты вельми нераціозной и въ словахъ, и въ манерахъ, и въ характерѣ. Не ищите тутъ миѳовъ съ общечеловѣческимъ содержаніемъ, не ищите художественныхъ красотъ поэзіи; но въ этихъ странныхъ и оригинальныхъ оборотахъ все-таки есть поэтическіе элементы, если не поэзія; въ этихъ дикихъ и неопредѣленныхъ образахъ народной фантазіи все-таки есть смыслъ и значеніе, если нѣтъ мысли,—даже, если хотите, есть мысль, только частная, а не общая, народу, а не человѣчеству принадлежащая; и—повторяемъ—несмотря на дубоватую нераціозность образовъ, выраженіе, чуждое мысли, очень и очень не чуждо поэзіи. Что же касается до героя, онъ является съ характеромъ. Поповичъ—это богатырь больше хитрый, чѣмъ храбрый, больше находчивый, чѣмъ сильный. Онъ идетъ на битву съ Тугаринымъ переодѣвшись, подъ чужимъ видомъ; завидя врага, «онъ едва живъ идетъ» (разумѣется, отъ трусости); на возгласъ Тугарина прикидывается глухимъ, и когда тотъ подходитъ къ нему ближе, чтобы говорить съ нимъ, а не сражаться—онъ вдругъ хватаетъ его по головѣ шелепугой въ тридцать пудъ; Тугаринъ предлагаетъ ему побрататься, но не на таковскаго напалъ: Алеша не дастся въ обманъ по великодушію рыцарскому—«втапоры Алеша врагу не вѣровалъ». Готовясь ко второй битвѣ, онъ, въ смиренномъ сознаніи своихъ богатырскихъ силъ, молится о дождѣ, чтобъ подмочило у Змѣя бумажныя крылья,—и когда тотъ полетѣлъ на него, онъ опять прибѣгаетъ къ обману: «ты—говоритъ онъ ему—держалъ закладъ биться со мной единъ на единъ, а за тобой сила несмѣтная противъ меня». Змѣй оглядывается назадъ, и Алеша въ эту минуту рубитъ ему голову. Екимъ Ивановичъ—добрый и честный богатырь: но онъ служитъ Алешѣ и безъ его спросу ничего не дѣлаетъ. Это—меньшой названый братъ его; это добродушная, честная сила, добровольно покорившаяся хитрому уму. Тугаринъ—хвастунъ, нахалъ, невѣжа; онъ при всѣхъ, весьма не по рыцарски, весьма нераціозно любезничаетъ съ Апраксѣевной; онъ у князя какъ у себя дома: ковригами глотаетъ, ушатами запиваетъ, какъ бы для показанія полнаго своего презрѣнія къ обиженному супругу, какъ бы для того, чтобъ при всѣхъ надругаться надъ нимъ. Это идеалъ стариннаго русскаго любовника чужой жены, которому мало наслажденія,—нужно еще ругаться и ломаться надъ несчастнымъ мужемъ.... Мы еще не разъ встрѣтимся съ этимъ лицомъ, состоящимъ, какъ видно, на роляхъ любовниковъ въ репертуарѣ народнаго театра жизни;

Digitized by Google

онъ еще явится намъ и подъ другимъ именемъ, но всегда змѣемъ. Въ его безобразномъ и безъ-образномъ лицѣ осуществилось сознаніе о любви, — и если этотъ русскій Донъ-Хуанъ, этотъ Ромео не совсѣмъ благообразенъ,—причина тому—особое созерцаніе чувства любви. Любовь до того была изгнана изъ тѣснаго круга народнаго созерцанія жизни, что въ самомъ бракѣ являлась какимъ-то чуждымъ элементомъ, враждебнымъ святости союза, освящаемаго религіей; внѣ же брака, она — бѣсовская прелесть, дьявольское навожденіе, нечистое вожделѣніе Змѣя Горынчата, преступная контрабанда жизни. Удивительно ли послѣ этого, что эта любовь является въ подобныхъ поэмахъ такъ простонародно неэстетической, такъ цинически чувственной, такъ оскорбительной и возмутительной для чувства, въ такихъ грубыхъ формахъ? Удивительно ли послѣ того, что любовникъ въ этихъ поэмахъ является въ видѣ змѣя, съ характеромъ хвастуна, наглеца и труса, а любовница представляется въ видѣ грубой, наглой и безстыдной бабы, съ манерами и замашками площадной торговки, и даже—какъ увидимъ это ниже—въ видѣ колдуньи злой еретницы?... Самый развратъ — какъ онъ ни преступенъ передъ судомъ морали—можетъ имѣть свою поэзію и свою грацію, если онъ выходитъ изъ пламеннаго клокотанія необузданной страсти, изъ неукротимаго стремленія къ наслажденію; но въ нашихъ «любовницахъ» не замѣтно ни тѣни поэзіи или граціи. Здѣсь опять та же причина: любовь, по нашему народному созерцанію, не есть чувство, не есть страсть, а какой-то холодный, циническій развратъ. Въ княгинѣ Апраксѣевнѣ олицетворенъ идеалъ любовницы,—идеалъ, котораго полное осуществленіе мы видимъ въ Маринѣ, непріятельницѣ Добрыни Никитыча и любовницѣ Змѣя Горынчата. Странно только, какимъ образомъ народная фантазія, выразившая въ Апраксѣевнѣ народный идеалъ, свергнувшей съ себя узы общественной нравственности и приличія женщины, навязала ее въ жены любимцу преданія, солнцу своей древней жизни и поэзіи—князю Владиміру. Нѣтъ сомнѣнія, что Владиміръ миѳическій, Владиміръ, окруженный богатырями, женящійся отъ живой жены, есть Владиміръ язычникъ: народная поэзія, какъ мы сказали, не смѣла коснуться Владиміра историческаго, и потому не передала намъ ни его похода въ Корсунь, ни отношеній къ Византіи, ни послѣдовавшаго за тѣмъ времени его царствованія, переданнаго исторіей и церковью. Если же въ этихъ поэмахъ нѣтъ ни языческихъ именъ дѣйствующихъ лицъ, ни языческихъ боговъ, а, напротивъ, часто упоминается о церквахъ, объ образахъ, о вѣнчаніи,—то это анахронизмъ, вродѣ того, что Владиміровы богатыри, какъ мы увидимъ ниже, безпрестанно сражаются съ татарскими ханами, мурзами и улановьями и безпрестанно ѣздятъ въ Золотую Орду. Это служитъ новымъ доказательствомъ нашей мысли, что эти поэмы или сложены были во время татаршины, если не послѣ нея, а отъ старины воспользовались только миѳическими, смутными преданіями и именами, или что онѣ были переиначены и передѣланы во время или послѣ татаршины.

Мы еще два раза встрѣтимся съ Алешей Поповичемъ, и увидимъ, что даже, являясь вскользь, онъ не измѣняетъ своего характера—Поповича; теперь же перейдемъ къ другому богатырю, женившему князя Владиміра.

Въ стольномъ городѣ во Кіевѣ,
Что у ласкова, сударь, князя Владиміра,
А и было пированье, почестный пиръ,
Было столованье, почестный столъ.
Много на пиру было князей и бояръ,
И русскихъ могучихъ богатырей;
А и будетъ день въ половину дня,
Княженецкій столъ во полу столѣ;
Владиміръ князь распотѣшился,
По свѣтлой гриднѣ похаживаетъ,
Черны кудри расчесываетъ;
Говоритъ онъ, сударь, ласковый
Владиміръ князь, таково слово:
«Гой еси вы, князи и бояра, и могучіе
Всѣ вы въ Кіевѣ переженены, [богатыри!
Только я, Владиміръ князь, холостъ хожу,
А и холостъ я хожу, не женатъ гуляю;
А кто мнѣ-ка знаетъ супротивницу,
Супротивницу знаетъ красну дѣвицу:
Какъ бы та дѣвица станомъ статна,
Станомъ бы статна и умомъ свершна,
Ея бѣлое лицо какъ-бы бѣлый снѣгъ,
И ягодицы какъ-бы маковъ цвѣтъ,
А и черныя брови какъ-бы соболи,
А и ясныя очи какъ-бы у сокола.»

Тутъ большой за меньшого хоронится, а отъ меньшого отвѣта князю нѣтъ; тогда выступаетъ изъ стола Иванъ Гостиный Сынъ и кричитъ зычнымъ голосомъ, прося слово молвити, слово единое, безопальное: «Я ли де Иванъ въ Золотой Ордѣ бывалъ у грознаго короля Етмануйла Етмануйловича и видѣлъ его двухъ дочерей: первая дочь Настасья Королевишна, а другая—Афросинья Королевишна; сидитъ Афросинья въ высокомъ терему, за тридесять замками булатными; а и буйные вѣтры не вихнутъ на нее, а красное солнце не печетъ лицо: а то-то, сударь, дѣвушка станомъ статна, станомъ статна и умомъ свершна (слѣдуетъ повтореніе четырехъ послѣднихъ стиховъ изъ рѣчи князя Владиміра); посылай ты, сударь, Дуная свататься». Князь приказалъ налить чашу зелена вина въ полтора ведра и подносить ее Ивану Гостиному за тѣ слова его хорошія.

Digitized by Google

Призвалъ онъ, князь, Дуная Ивановича въ спальню къ себѣ и посылалъ его на доброе дѣло, на сватанье, и давалъ ему золотой казны, триста жеребцовъ и могучихъ богатырей; подносилъ онъ ему, Дунаю, чару зелена вина въ полтора ведра, турій рогъ меду сладкаго въ полтретья ведра; разгорѣлася утроба богатырская, и могучія плечи расходилися, какъ у молода Дуная Ивановича; не беретъ онъ золотой казны, не надо ему триста жеребцовъ и могучихъ богатырей, а проситъ онъ себѣ одного молодца, какъ бы молода Екима Ивановича, который служитъ Алешкѣ Поповичу. А и князь тотчасъ самъ Екима руками привелъ: «Вотъ-де те, Дунаю, будетъ паробочекъ». И пріѣхали добры молодцы, Дунай да Екимъ, въ Золоту орду, къ тому ли грозному королю Етмануйлу Етмануйловичу. Говоритъ тутъ Дунай таково слово:

«Гой еси, король въ Золотой Ордѣ!
У тебя ли во полатяхъ бѣлокаменныхъ
Нѣту Спасова образа,
Некому у тебя помолитися,
А и нѐ за что тебѣ поклонитися».
Говоритъ тутъ король Золотой Орды,
А и самъ онъ король усмѣхается:
«Гой еси, Дунай, сынъ Ивановичъ!
Али ты ко мнѣ пріѣхалъ по старому служить и попрежнему?»

Дунай объявляетъ королю о цѣли своего пріѣзда. А и тутъ королю за бѣду стало, а рветъ на головѣ кудри черныя и бросаетъ о «кирпищетъ» полъ и говоритъ, какъ бы не его, Дуная, прежняя служба, велѣлъ бы посадить его въ погреба глубокіе и уморилъ бы смертью голодною за тѣ его слова за бездѣльныя. Тутъ Дунаю за бѣду стало, разгоралось его сердце богатырское, вынималъ онъ сабельку острую и говорилъ таковы слова: «какъ-бы-де у тебя во дому не бывалъ, хлѣба-соли не ѣдалъ, ссѣкъ бы по плечи буйную голову». Тутъ король *неладомъ* заревѣлъ зычнымъ голосомъ, псы борзы заходили на цѣпяхъ, а и хочетъ Дуная живьемъ стравить тѣми кобелями *меделянскими*. Дунай закричалъ къ Екиму; а тѣ мурзы, улановья не допустятъ Екима до добра коня, до его палицы тяжкія, мѣдныя, въ три тысячи пудъ; не попала ему палица *желѣзная*, что попала ему ось-то телѣжная, а и зачалъ Екимъ помахивати, и побилъ онъ силы семь тысячей, да пятьсотъ кобелей меделянскихъ. Король на все соглашался, и Дунай унималъ своего слугу вѣрнаго и пошелъ къ высокому терему, гдѣ сидитъ Афросинья—двери у палатъ были желѣзныя, а крюки, пробои по булату злачены. «Хоть ноги изломить, а двери выставить». Всѣ тутъ палаты зашатались, бросится дѣвица, испужалася, хочетъ Дуная въ уста цѣловать. Проговорилъ Дунай, сынъ Ивановичъ: «А и ряженый кусъ, да не суженому ѣсть! Достанешься ты князю Владиміру». И хотятъ они ѣхать; спохватился тутъ король Золотой Орды, отрядилъ триста свои мурзы и улановья на тридцати телѣгахъ везти за Дунаемъ золото, серебро, жемчугъ скатный и каменья самоцвѣтные. Не доѣхавши до Кіева за сто верстъ, наѣхалъ Дунай на бродучій слѣдъ, велѣлъ Екиму вести невѣсту ко Владиміру «честно, хвально и радостно», а самъ поѣхалъ по тому слѣду свѣжему бродучему. Въ четвертыя сутки наѣхалъ онъ на тѣхъ на лугахъ на потѣшныихъ,—куда ѣздилъ ласковый Владиміръ князь всегда за охотою—на бѣлъ шатеръ, а въ томъ шатрѣ опочивъ держитъ красна дѣвица, а и та ли Настасья Королевишна *). Молодой Дунай онъ догадливъ былъ: пустилъ онъ изъ лука калену стрѣлу семи четвертей—

Хлеснетъ онъ Дунай по сыру дубу.
А спѣла вѣдь титивка у туга лука,
А дрогнетъ матушка сыра земля
Отъ того удару богатырскаго,—
Угодила стрѣла въ сыръ краковистый дубъ,
Изломала его въ черянья ножовые.
Бросилася дѣвица изъ бѣла шатра будто угорѣлая.
А и молодой Дунай онъ догадливъ былъ,
Скочилъ онъ, Дунай, съ добра коня,
И гораздъ онъ съ дѣвицею дратися,
Ударилъ онъ дѣвицу по щекѣ,
А пнулъ онъ дѣвицу подъ...—
Женскій полъ отъ того пухолъ живетъ,
Сшибъ онъ дѣвицу съ рѣзвыхъ ногъ,
Онъ выдернулъ чингалище булатное,
А и хочетъ взрѣзать груди бѣлыя;—
Втапоры дѣвица взмолилася:
«Гой еси ты, удалой добрый молодецъ!
Не коли ты меня, дѣвицу, до смерти:
Я у батюшки, сударя, отпрошалася,
Кто меня побьетъ во чистомъ полѣ,
За того мнѣ, дѣвицѣ, замужъ идти.»

А и тутo Дунай тому ея слову обрадовался, думаетъ онъ разумомъ своимъ: «Во семи ордахъ я служилъ семи королямъ, а не могъ себѣ выжить красныя дѣвицы; нонѣ я нашелъ во чистомъ полѣ обрушницу, сопротивницу». Тутъ они обручилися, «вокругъ ракитова куста вѣнчалися». Пріѣхали они во градъ Кіевъ, а Владиміръ князь отъ злата вѣнца шелъ на свой княженецкій дворъ, и во свѣтлы гридни убиралися, за убраные столы сажалися. А и Дунай приходилъ въ церковь соборную, просить честныя милости у того архіерея соборнаго, обвѣнчать на той красной дѣвицѣ. Рады были тому попы соборные—«въ тѣ годы присяги не вѣдали»—обвѣнчали Дуная Ивановича; вѣнчальнаго далъ Дунай пятьсотъ рублей. Пріѣхавъ ко двору князя Владиміра, Дунай велѣлъ доложить ему, что не въ чемъ идти

*) Сестра Афросиньи, невѣсты Владиміра. Какъ она туда зашла—не спрашивайте: вѣдь пѣсня—быль, а сказка—ложь.

Digitized by Google

княгинѣ молодой—платья женскаго только одна и есть епанечка бѣлая. А втапоры Владиміръ князь онъ догадливъ былъ, знаетъ онъ кого послать: послалъ онъ Чурила Пленковича выдавать платьеце женское цвѣтное. (Послѣ этого пошло столованье.) А жили они время не малое. На пиру у князя Владиміра, пьяный Дунай расхвастался, что нѣтъ въ Кіевѣ стрѣльца супротивъ его. Тутъ взговорила молодая княгиня Апраксѣевна (?), что нѣту-де въ Кіевѣ такого стрѣльца, какъ любезной сестрицы ея Настасьи Королевишны. Тутъ Дунаю за бѣду стало, бросилъ съ женой жребій, кому прежде стрѣлять. Досталось Дунаю на головѣ кольцо держать, отмѣрили версту тысячну, Настасья каленой стрѣлой сшибла съ головы золото кольцо. Втапоры Дунай становилъ на примѣту свою молоду жену, и стала княгиня Апраксѣевна его упрашивати: «то вѣдь шуточка пошучена».

Да говорила же и его молода жена:
«Оставимъ-де стрѣлять до другого дня,
Есть-де въ утробѣ у меня могучъ богатырь;
Первой-де стрѣлкой не дострѣлишь,
А другой-де перестрѣлишь,
А третьею-де стрѣлкой въ меня угодишь.»

Князья и бояре и всѣ сильны могучи богатыри стали Дуная уговаривати, а онъ, Дунай, «озадорился» и стрѣлялъ перву стрѣлу.

И втапоры его молодая жена [ватися:
Стала ему кланятися и передъ нимъ уби-
«Гой еси ты, мой любезный ладушка,
Молодой Дунай, сынъ Ивановичъ!
Оставь шутку на три дни,
Хоть ни для меня, но для своего сына не-
Завтра рожу тебѣ богатыря, [рожденнаго.
Что не будетъ ему сопротивника.»

Тому Дунай не повѣровалъ и третьей стрѣлой въ жену угодилъ; прибѣжавши Дунай къ молодой женѣ, выдергивалъ чингалище булатное, скоро поролъ ей груди бѣлыя:—выскочилъ изъ утробы удалъ молодецъ, онъ самъ говоритъ таково слово:

«Гой еси, сударь, мой батюшка!
Какъ бы далъ мнѣ сроку на три часа,
А и я бы на свѣтѣ былъ попрыжѣе
И полутчѣе въ семь семерицъ тебя.»
А и тутъ молодой Дунай, сынъ Ивановичъ,
запечалился,
Ткнулъ себя чингалищемъ въ бѣлыя груди,
Сгоряча онъ бросился во быстру рѣку.
Потому быстра рѣка Дунай слыветъ—
Своимъ устьемъ впала въ сине море.

Теперь мы знакомы съ тремя богатырями Владиміра. Послѣдній выше первыхъ двухъ—не правда ли? Въ немъ и умъ и сметливость, и богатырская рьяность, и прямота силы и храбрости, на себя опирающейся. Если Дунай не совсѣмъ вѣжливо и далеко не по рыцарски обошелся съ Настасьей Королевишной—это не его вина: тутъ выразилось сознаніе цѣлаго народа о любви и объ отношеніяхъ половъ. Сама Настасья не видитъ ничего страннаго или обиднаго для нея ни въ томъ, что Дунай билъ ее по щекамъ и угощалъ пинками, ни въ томъ, что онъ чингалищемъ булатнымъ хотѣлъ вспороть ей груди бѣлыя: она съ тѣмъ и отпросилась у батюшки, что кто ее въ полѣ побьетъ, тотъ и за себя замужъ возьметъ. Колоченая посуда два вѣка живетъ—русскій человѣкъ свято вѣритъ глубокой мудрости этой азіатской пословицы, а потому другихъ бьетъ, не кается, и самого побьютъ—не гонится. Притомъ же, еслибъ Настасья одолѣла Дуная,—она не задумалась бы вспороть ему груди бѣлыя чингалищемъ булатнымъ. Въ Настасьѣ Королевишнѣ осуществленъ идеалъ амазонки по понятію русскаго человѣка. Жена богатыря должна рождать богатырей, а для этого сама должна быть богатыремъ своего пола. Поэтому Настасья и мастерица такая изъ лука стрѣлять, что за версту сшибла кольцо съ головы мужа. Отношенія половъ, по народному сознанію, всего лучше выражаются въ смерти Настасьи. Всѣ богатыри хвастливы, особенно въ русскихъ сказкахъ; всѣ богатыри любятъ подпить, особенно русскіе; потому не удивителенъ вызовъ Дуная состязаться съ женой въ стрѣльбѣ. Просьбы другихъ, слезы жены только болѣе подстрекаютъ его богатырскую рьяность и раздражаютъ упорный характеръ. Убивъ жену, онъ спѣшитъ вспороть ей бѣлыя груди: ни слезы, ни вздоха для нея; но при видѣ сына, которому онъ не далъ своей опрометчивостью созрѣть настоящимъ образомъ, въ немъ пробуждается отеческое, а слѣдовательно и человѣческое чувство. Печаль его переходитъ въ отчаяніе, разрѣшающееся самоубійствомъ. Обстоятельство, по которому приписывается быстрому Дунаю его имя, заключаетъ въ себѣ много поэзіи, и простые, безыскусственные стихи:

Потому быстра рѣка Дунай слыветъ—
Своимъ устьемъ впала въ сине море—

дышатъ какимъ-то успокоительнымъ и примирительнымъ чувствомъ: въ нихъ высказывается широкое, хотя и совершенно неопредѣленное созерцаніе.

Какимъ образомъ Настасья Королевишна могла разъѣзжать по полямъ, ища, кто бы побилъ ее и женился на ней, въ то время, какъ сестра ея Афросинья сидѣла взаперти, за двѣнадцатью булатными замками; какимъ образомъ Афросинья Королевишна превращается, ни съ того, ни съ сего, въ княгиню Апраксѣевну, которая называетъ Дуная зятемъ, а Настасью — сестрою — объ этомъ нечего и спрашивать у сказки. И неужели всѣ жены Владиміра превращались въ Апраксѣевну?.. Не забудьте притомъ, что въ предшествовавшей поэмѣ Апраксѣевна уже от-

Digitized by Google

личалась съ Тугариномъ Змѣевичемъ; она не могла видѣть Екима прежде замужества Афросиньи, а между тѣмъ Екимъ видѣлъ ее прежде, чѣмъ увидѣлъ Афросинью, стало быть, Владиміръ называлъ себя холостымъ и хотѣлъ жениться отъ живой жены, а Афросинья превратилась въ Апраксѣевну для того, чтобъ избавить Владиміра отъ грѣха двоеженства?..

Вотъ тутъ и извольте составлять одну цѣлую поэму изъ народныхъ рапсодовъ!..

Читатели конечно замѣтили въ предшествовавшей поэмѣ, когда Дунай проситъ платья для своей жены, слѣдующіе стихи:

А втапоры Владиміръ князь онъ догадливъ
Знаетъ онъ кого послать: [былъ,
Послалъ онъ Чурила Пленковича
Выдавать платьеце женское цвѣтное.

Стало-быть, гдѣ касалось дѣло до чего-нибудь женскаго, Чурила Пленковичъ былъ на своемъ мѣстѣ? Оно такъ и есть, какъ мы сейчасъ увидимъ. Въ лицѣ Чурилы народное сознаніе о любви какъ бы противорѣчило себѣ, какъ бы невольно сдалось на обаяніе соблазнительнѣйшаго изъ грѣховъ. Чурила — волокита, но не въ змѣиномъ родѣ. Это молодецъ хоть куда, и лихой богатырь. Но онъ нисколько не противорѣчитъ нашему взгляду на сознаніе народное о любви. Крайности сходятся; въ фанатической Испаніи бывали примѣры вольнодумства, а въ Римѣ іерархія встрѣтила себѣ оппозицію прежде, чѣмъ въ самой Германіи. Въ этихъ случаяхъ должно брать въ соображеніе перевѣшивающій элементъ, а въ исключительныхъ явленіяхъ видѣть или случайности, или возможность въ будущемъ вступленія въ свои права и даже перевѣса противоположнаго элемента. И потому мы смотримъ на Тугариныхъ, какъ на нѣчто положительное, дѣйствительное и настоящее въ жизни древней Руси; а на Чурилу—какъ на фактъ, свидѣтельствовавшій о возможности въ будущемъ другого рода любовниковъ, какъ на новый элементъ жизни, только подавленный, но существующій.

Думая, что мы уже довольно познакомили читателей съ манерой и слогомъ поэмъ, разскажемъ о Чурилѣ своими словами и короче.

Во время столованія Владиміра къ нему являются незнакомые люди, человѣкъ за триста избитыхъ, израненныхъ молодцовъ:

Булавами буйными головы пробиваны,
Кушаками головы завязаны,
Бьютъ челомъ, жалобу творятъ.

Это стрѣльцы княжіе: цѣлый день они рыскали по займищамъ и не встрѣтили ни одного звѣря, а встрѣтили триста молодцовъ, которые звѣрей повыгнали и выловили, а ихъ перебили и переранили, и отъ того «князю добычи нѣтъ», а имъ жалованья нѣтъ, «дѣти, жены осиротѣли, пошли по міру скитаться».

А Владиміръ князь стольный, кіевскій,
Пьетъ онъ, ѣстъ, прохлаждается,
Ихъ челобитья не слушаетъ.

Не успѣла эта толпа сойти со двора—валитъ другая. Это рыболовы: съ ними та же исторія.

А Владиміръ князь стольный, кіевскій,
Пьетъ онъ, ѣстъ, прохлаждается,
Ихъ челобитья не слушаетъ.

Не успѣла и эта толпа свалить со двора—валятъ вдругъ двѣ новыя: то сокольники и кречетники. И съ ними то же. Противъ другихъ, они прибавили въ своемъ челобитьѣ, что ограбившая и прибившая ихъ ватага называется дружиной Чуриловой. Тутъ Владиміръ князь за то слово спохватится: «кто это Чурила есть таковъ?» Выступался тутъ старый бояринъ Бермята Васильевичъ:

«Я-де, сударь, про Чурилу давно вѣдаю,
Чурила живетъ не въ Кіевѣ,
А живетъ онъ пониже малаго Кіевца.
Дворъ у него на семи верстахъ,
Около двора желѣзный тынъ,
На всякой тычинкѣ по маковкѣ,
А и есть по жемчужинкѣ,— '
Середи двора свѣтлицы стоятъ,
Гридни бѣлодубовыя,
Покрыты сѣдымъ бобромъ,
Потолокъ черныхъ соболей,
Матица-то валженая,
Полъ середа одного серебро,
Крюки да пробои по булату злачены.
Первыя у него ворота вальящетыя,
Другія ворота хрустальныя,
Третьи ворота оловянныя.»

И такъ, Чурила Пленковичъ—щеголь, франтъ, живетъ, какъ сатрапъ восточный. Владиміръ князь ѣдетъ къ нему со дворомъ своимъ, въ числѣ пятисотъ человѣкъ. Встрѣчаетъ ихъ старый Пленъ; для князя и княгини отворяетъ ворота вальящетыя, а князьямъ и боярамъ—хрустальныя, а простымъ людямъ—ворота оловянныя. Пошло столованье великое—«веселая бесѣда, на радости день». Увидѣвъ въ окно толпу людей, князь говоритъ такое слово:

«По грѣхамъ надо мною, княземъ, учинилося,
Князя меня въ домѣ не случилося,
Ѣдетъ ко мнѣ король изъ орды,
Или какой грозенъ посолъ.»

Старый Пленко Сароженинъ только усмѣхается, самъ потчиваетъ и говоритъ, что то не король и не посолъ ѣдетъ; а ѣдетъ-де дружина храбрая сына его, молода Чурила Пленковича. Къ вечеру, когда пиръ былъ въ полу-пирѣ, а и столъ былъ въ полу-столѣ, ѣдетъ самъ Чурила Пленковичъ, «а передъ нимъ несутъ подсолнечникъ, чтобъ не запекло солнце бѣла его лица». Бралъ онъ, Чурила, ключи золотые, ходилъ въ подвалы глубокіе, вынималъ золоту казну: сорокъ сороковъ черныхъ соболей, другую сорокъ

Digitized by Google

печерскихъ лисицъ, и камку бѣлохрущату, а цѣна камкѣ сто тысячей; приносилъ онъ ко князю Владиміру, клалъ передъ нимъ на дубовый столъ.

Втапоры Владиміръ князь стольный, кіевскій
Больно со княгинею возрадовалися.
Говорилъ ему таково слово:
«Гой еси ты, Чурила Пленковичъ!
Не подобаетъ тебѣ въ деревнѣ жить,
Подобаетъ тебѣ, Чурилѣ, въ Кіевѣ жить, князю служить!»

Втапоры Чурила князя Владиміра не ослушался. И вотъ они въ Кіевѣ; посылаетъ князь Чурилу князей и бояръ въ гости звать къ себѣ, «а зватаго приказалъ брать со всякаго по десяти рублевъ». Обходя гостей звать, Чурила зашелъ ко старому боярину Бермятѣ Васильевичу, ко его молодой женѣ, къ той Катеринѣ прекрасныя,—«и тутъ онъ позамѣшкался». Князь Владиміръ то замѣшканье ему ни во что положилъ. Пошло столованье и пированье. Тогда на другой день рано по утру князи и бояри къ заутрени пошли—въ тотъ день выпадала пороша снѣгу бѣлаго — и нашли они свѣжій слѣдъ,— сами они дивуются: «либо зайка скакалъ, либо бѣлъ горностай».

А иные тутъ усмѣхаются, сами говорятъ:
«Знать это не зайка скакалъ, не бѣлъ горностай,
Это шелъ Чурила Пленковичъ
Къ старому боярину Бермятѣ Васильевичу,
Къ его молодой женѣ, Катеринѣ прекрасныя».

—

Чурила Пленковичъ выдается изъ всего круга Владиміровыхъ богатырей: это самая гуманная личность между ними, по крайней мѣрѣ въ отношеніи къ женщинамъ, которымъ онъ, кажется, посвятилъ всю жизнь свою. И потому въ поэмѣ о немъ нѣтъ ни одного грубаго или пошлаго выраженія; напротивъ, его отношенія къ Катеринѣ прекрасной отличаются какой-то рыцарской граціозностью и означаются болѣе намеками, нежели прямыми словами. Въ первый разъ онъ позамѣшкался у молодой жены стараго Бермяты; во второй разъ тайна его посѣщенія выдается предательской порошею и оглашается не его хвастовствомъ, а рѣчами другихъ, и рѣчами, противъ обыкновенія, умѣренными, даже поэтическими. За Чурилу можно поручиться, что онъ не сталъ бы ломаться надъ жертвой своего соблазна, не сталъ бы хвастаться побѣдою во честномъ пиру; тѣмъ болѣе можно поручиться, что онъ не сталъ бы бить женщину по щекамъ или толкать ее пинками—«женскій-де полъ отъ того пухолъ бываетъ». А между тѣмъ онъ не нѣженка, не сантиментальный воздыхатель, а сильный, могучій богатырь, удалой предводитель дружины храброй. Конечно онъ смѣшонъ, когда передъ нимъ, вмѣсто китайскаго зонтика, несутъ подсолнечникъ, чтобы не загорѣлось отъ солнца его лицо бѣлое; но онъ смѣшонъ граціозно: онъ—женскій угодникъ, который дорожитъ своей наружностью, а не нѣженка запечный, не беззубый и безкогтый левъ нашего времени.

—

Просимъ читателей вспомнить, что въ поэмѣ о женитьбѣ князя Владиміра вскользь является лицо Ивана Гостинаго Сына: теперь мы познакомимся съ нимъ, какъ съ героемъ особенной поэмы. Это—представитель другого сословія, всегда столь важнаго въ началѣ гражданскихъ обществъ: хоть онъ не торговецъ, а богатырь, однако онъ явно сынъ купца, силой и храбростью сѣвшій при дворѣ князя Владиміра на богатырское мѣсто.

У князя Владиміра было пированіе—почестный пиръ, а и было столованіе — почестный столъ на многи князи, бояра, на русскіе могучіе богатыри и гости богатые. Будетъ день въ половину дня, будетъ пиръ во полу-пирѣ: Владиміръ князь распотѣшился, по свѣтлой гриднѣ похаживаетъ, таковыя слова поговариваетъ: «Есть ли-де кто въ Кіевѣ таковъ молодецъ, что похвалился бы на триста жеребцовъ — изъ Кіева бѣжать до Чернигова два девяносто-та мѣрныхъ верстъ, промежь обѣдней и заутреней?»

Вызвался Иванъ Гостиный Сынъ и побился о великъ закладъ—не о стѣ рубляхъ, не о тысячѣ, о своей буйной головѣ. Князья, бояре и гости корабельщики держатъ закладъ за Владиміра на сто тысячъ, а за Ивана никто поруки не держитъ: пригодился тутъ владыка черниговскій и держитъ за него поруки крѣпкія на сто тысячей. Выпилъ Иванъ чару зелена вина въ полтора ведра, походилъ онъ на конюшню бѣлодубову ко своему доброму коню бурочкѣ, косматочкѣ, троелеточкѣ, падалъ ему во правое копытечко, самъ плачетъ, что рѣка льется. Выслушалъ добрый конь про кручину Ивана и сказалъ ему не печалиться:

«Сива жеребца того не боюсь,
Кологрива жеребца того не блюдусь.
Въ задоръ войду - у Воронка уйду.»

Только велѣлъ онъ своему ласковому хозяину водить себя по три зари, поить сытой медвяной и кормить сорочинскимъ пшеномъ. «А какъ, говоритъ, придетъ тотъ часъ урочный, ты не сѣдлай, Иванъ, меня, добра коня, только берись за шелковъ поводокъ-вздѣнь на себя шубу соболиную, котора шуба въ три тысячи, пуговки въ пять тысячей; я стану, бурка, передомъ ходить, копытами за шубу посапывати, и по черному соболю выхватывати. на всѣ стороны побрасывати,—князи, бояры подивуются, и ты

Digitized by Google

будешь живъ — шубу наживешь, а не будешь живъ—будто нашивалъ». И все было по сказанному, какъ по писанному. Зрявкаетъ бурко по туриному, онъ шипъ пустилъ по змѣиному; триста жеребцовъ испужалися, съ княженецкаго двора разбѣжалися; сивъ жеребецъ двѣ ноги изломилъ, кологривъ жеребецъ тотъ и голову сломилъ, полоненъ Воронко въ Золоту Орду бѣжитъ, онъ, хвостъ поднявъ, самъ всхрапываетъ, а князи, бояры и всѣ люди купецкіе испужалися, окорачь они по двору наползалися; а Владиміръ князь со княгинею печаленъ сталъ; кричитъ въ окошко косящатое, чтобы Иванъ уродье увелъ со двора, «за просты поруки крѣпкія, записи всѣ изодраны». Втапоры владыко черниговскій на почестномъ пиру у великаго князя велѣлъ захватить три корабля на быстромъ Днѣпрѣ съ товарами заморскими,—«А князи-де и бояри никуда отъ насъ не уйдутъ».

—

Трудно объяснить значеніе этой поэмы иначе, какъ народнымъ апоѳеозомъ коня—животнаго, высоко-уважаемаго въ ратномъ дѣлѣ, товарища, сподвижника и друга ратнику. Странна неустойка князя, отказавшагося платить проигранный закладъ; еще страннѣе нецеремонная раздѣлка съ нимъ со стороны черниговскаго владыки. Не менѣе удивительно и то, что этотъ черниговскій владыко всегда держитъ заклады противъ князя и всѣхъ, за того, за кого никто не хочетъ поручиться. Все это должно быть или совсѣмъ безъ значенія, просто сказочная болтовня, или отъ времени потерянъ ключъ къ разрѣшенію этихъ вопросовъ.

—

Теперь пора намъ познакомиться съ знаменитымъ Добрыней Никитичемъ, воспѣтымъ въ трехъ поэмахъ и упоминаемомъ вскользь и прямо еще въ нѣсколькихъ. Онъ и Илья Муромецъ — знаменитѣйшіе богатыри двора Владиміра.

Жилъ въ Рязани богатый гость Никита, живучи-то Никита состарѣлся, состарѣлся—послѣ переставился; его вѣку долгаго осталось житье-бытье, богачество, матера жена Амелѳа Тимофѣвна, да чадо милое Добрынюшка Никитичъ младъ. Присадила его матушка грамотѣ учиться, а грамота Никитѣ въ наукъ пошла. А будетъ ему двѣнадцать лѣтъ, попросился онъ у матушки купаться на Сафатъ-рѣку; она, вдова многоразумная, его Добрыню отпускала, а сама наказывала: «Израй-де рѣка быстрая, а быстрая она, сердитая: не плавай, Добрыня, за перву струю, не плавай ты, Никитичъ, за другую струю». Добрыня не послушался; двѣ-то струи самъ переплылъ, а третья струя подхватила молодца, унесла во пещеры бѣлокаменны. Тутъ, откуда ни возьмись, лютый звѣрь—Змѣй Горынчище, самъ приговариваетъ:

«А стары люди пророчили,
Что быть змѣю убитому
Отъ молода Добрынюшки Никитича,
А нынѣ Добрыня у меня самъ въ рукахъ.»

Говоритъ Добрыня: «не честь, хвала молодецкая, на нагое тѣло напущаешься». Хочетъ змѣй Добрыню огнемъ спалить, хоботомъ ушибить; Добрыня нагребъ въ шапку песку желтаго, и тѣмъ пескомъ змѣю глаза запорошилъ, два хобота ушибъ. Попалась тутъ ему дубина, и онъ, Добрыня, той дубиной змѣя до смерти убилъ. Поплылъ онъ по рѣкѣ и заплылъ въ пещеры бѣлокаменны, въ гнѣздо змѣя, и его малыхъ дѣтушекъ всѣхъ перебилъ, пополамъ перервалъ; нашелъ онъ въ палатахъ змѣя много злата, серебра и свою любимую тетушку Марью Дивовну. Владиміръ князь о Добрынѣ больно запечалился—«сидитъ онъ, ничего свѣту не видитъ», а увидѣлъ Добрыню, скочилъ на ноги рѣзвыя, цѣловалъ его въ уста сахарныя. Бросилась его матушка родимая, хватала за бѣлы руки, цѣловала его во уста сахарныя; стали его выспрашивати, а гдѣ былъ, гдѣ ночевалъ? Послали за тетушкой, привели ее къ князю во свѣтлу гридню.

Владиміръ князь свѣтелъ, радошенъ,
Пошла-то у нихъ пиръ, радость великая,
А для ради Добрынюшки Никитича,
Для другой сестрицы родимыя — Марьи Дивовны.

Что сказать объ этой поэмѣ? Это какая-то безсвязная болтовня больного похмельемъ воображенія... Тутъ нѣтъ не только мысли—даже смысла. У Добрыни нѣтъ ни лица, ни характера; это просто—призракъ. Подобная нелѣпица могла бы имѣть значеніе миѳа, еслибъ отъ ея чудовищныхъ образовъ вѣяло фантастическимъ ужасомъ, но въ русскихъ сказкахъ, какъ и во всей народной русской поэзіи, фантастическаго элемента почти вовсе нѣтъ. И потому странно слышать, когда человѣкъ, который на міръ смотритъ простыми глазами, не видя въ немъ ничего таинственнаго и необъяснимаго,—странно слышать, когда такой человѣкъ спокойно, безъ увлеченія, безъ экстаза, разсказываетъ несбыточныя вещи. Что за тетушка Марья Дивовна была у Добрыни? какъ попала она къ Змѣю Горынчату; что за рѣка Сафатъ, которая черезъ пять строкъ превращается въ Израй-рѣку? какъ Владиміръ, живя въ Кіевѣ, могъ знать двѣнадцатилѣтняго Добрыню, жившаго въ небывалой тогда Рязани, и печалиться, что тотъ ушелъ купаться на Сафатъ-рѣку?...

Но вторая поэма о Добрынѣ — одна изъ интереснѣйшихъ поэмъ. Въ ея дикихъ, не-

Digitized by Google

опредѣленныхъ образахъ есть смыслъ и значеніе, если нѣтъ мысли.

—

Въ стольномъ въ городѣ во Кіевѣ, у славнаго, сударь, у князя у Владиміра, три года Добрынюшка стольничалъ, три года Никитичъ приворотничалъ; онъ стольничалъ, чашничалъ девять лѣтъ, на десятый годъ погулять захотѣлъ по стольному городу по Кіеву. Взявши онъ колчанъ съ каленымі стрѣлами, идетъ онъ по широкимъ по улицамъ, по частымъ мелкимъ переулочкамъ; по горницамъ стрѣляетъ воробушковъ, по повалушкамъ стрѣляетъ онъ сизыхъ голубей, Зашелъ въ улицу Игнатьевскую, въ Марининъ переулокъ; видитъ онъ у Марины у Игнатьевны, на ея высокомъ хорошемъ терему, сидятъ тутъ два сизые голубчика, они цѣлуются, милуются, желты носами обнимаются. Тутъ Добрынѣ за бѣду стало, будто надъ нимъ насмѣхаются: а спѣла вѣдь тетива у туга лука, взвыла да пошла калена стрѣла. Тутъ надъ Добрыней по грѣхахъ учинилося, нога его поскользнулася, рука удрогнула, не попалъ онъ въ сизыхъ голубей, попалъ въ окошечко косящето, проломилъ онъ оконницу стекольчатую, отшибъ всѣ причалины серебряныя, расшибъ онъ зеркальцо стекольчатое; бѣлодубовы столы пошатались, что питья медвяныя восплеснулися. А втапоры Маринѣ безвременье было—она умывалася, снаряжалася; и бросилася она на свой на широкій дворъ: «А кто это невѣжа на дворъ заходилъ? а кто это невѣжа въ окошко стрѣляетъ?» Брала она Марина слѣды горячіе молодецкіе, клала беремя дровъ бѣлодубовыхъ въ печку муравленную, разжигала ихъ огнемъ палящатымъ, и сама дровамъ приговариваетъ: «Сколь жарко дрова разгораются, а тѣми слѣды молодецкими, разгоралось бы сердце молодецкое, какъ у молода Добрынюшки Никитьевича». А и Божье крѣпко, вражье-то лѣпко! Взяло Добрыню пуще остраго ножа, по его сердцу богатырскому, со полуночи Добрынюшкѣ не уснется. По его-то частки великія рано зазвонили ко заутрени; пошелъ Добрыня ко заутрени, прошелъ онъ церкву соборную, зайдетъ ко Маринѣ на широкій дворъ, у высокаго терема подслушаетъ: у молодой Марины вечеринка была; сидѣли тутъ душечки красны дѣвицы и молоденьки молодушки, всѣ тутъ жены молодецкія. Къ нимъ бы Добрыня въ теремъ не пошелъ, а стала его Марина въ окошко бранить, ему больно пѣнять, да завидѣлъ онъ Добрыня змѣя Горынчата—тутъ ему за бѣду стало, за великую досаду показалося. Ухватилъ онъ бревно въ обхватъ толщины и вышибъ имъ двери желѣзныя. Учала Марина Добрыню бранить, а змѣища Горынчища чуть его огнемъ не спалилъ, а и чуть молодца хоботомъ не убилъ, а и самъ тутъ змѣй почалъ бранити его, больно пѣняти: «Не хочу я звати Добрынею, не хощу величать Никитичемъ, называю те дѣтиной деревенщиной и засельщиной; почто ты, Добрыня, въ окошко стрѣлялъ?» Вынималъ Добрыня сабельку острую, воздымалъ выше буйной головы своей, грозится змѣя изрубить на мелкія части, туловище разбросать по чистому полю. А и тутъ змѣй Горынчищъ, хвостъ поджавъ, да и вонъ побѣжалъ, взяла страсть, такъ зачалъ..., околыши металъ по три пуда...; бѣгучи онъ змѣй у Марины бывать заклинается: «Есть-де у ней не одинъ другъ, есть лучше меня и повѣжливѣе». А Марина высунулась по поясъ въ окно въ одной рубашкѣ безъ пояса, змѣя уговариваетъ: «Воротись, милъ надежа; воротись, другъ!» Обѣщаетъ оборотить Добрыню, во что онъ змѣй похочетъ—клячей водовозной или гнѣдымъ туромъ. И оборотила она Добрыню гнѣдымъ туромъ, пустила далече во-чисто поле, а гдѣ-то ходятъ девять туровъ, девять братаниковъ, что Добрыня имъ будетъ десятый туръ, всѣмъ атаманъ — золотые рога. И нѣту о Добрынѣ слуху шесть мѣсяцевъ, «а по нашему, по-сибирскому, словетъ полгода».

У великаго князя вечеринка была, а на пиру были вдовы честныя, и мать Добрыни, честная вдова Аѳимья Александровна (Амелѳа Тимоѳѳевна?!...), а друга честна вдова, молода Анна Ивановна, крестная матушка Добрынина. Промежду собой разговоры говорятъ—все были рѣчи прохладныя. Не околь взялась тутъ Марина Игнатьевна, водилася съ дитятами княженецкими, она больно Марина упивалася, голова на плечахъ не держится. Она больно Марина похваляется: нѣтъ-де въ Кіевѣ и хитрѣе, и умнѣе ея, обернула-де она гнѣдыми турами девять богатырей, десятаго Добрыню Никитича. Втапоры за то слово изымается честна вдова Аѳимья Александровна; наливала она чару зелена вина, подносила любимой своей кумушкѣ, а сама она за чарой заплакала: «Гой еси ты, любимая кумушка, молода Анна Ивановна! А и выпей чару зелена вина, поминай ты любимаго крестника, а и молода Добрыню Никитича: извела его Марина Игнатьевна, а нынѣ на пиру похваляется». Проговоритъ Анна Ивановна: «я-де сама эти рѣчи слышала, а рѣчи ея похваленыя». А и молода Анна Ивановна выпила чару зелена вина, а Марину она по щекѣ ударила, сшибла съ рѣзвыхъ ногъ и топчетъ ее по бѣлымъ грудямъ, сама она Марину больно бранитъ: «А и сука ты..., еретница...! Я де тебя хитрѣя и мудренѣя, сижу я на пиру не хвастаю; а и хошь ли я

Digitized by Google

тебя сукой оберну? А станешь ты, сука, по городу ходить, много за собой псовъ водить: а и женское дѣло прелестивое, переходчивое».

Марина обернулася касаткой, полетѣла въ чистое поле, сѣла Добрынѣ на правый рогъ, сама она Добрыню уговариваетъ: «Нагулялся ты, Добрыня, во чистомъ полѣ, тебѣ чистое поле наскучило и зыбучія болота напрокучили: а и хошь ли, Добрыня, женитися, возьмешь ли, Никитичъ, меня за себя?»—«А право возьму, ей-Богу возьму, а и дамъ-те, Марина, поученьице, какъ мужья женъ своихъ учатъ».

Обернувшись дѣвицей, Марина обернула Добрыню добрымъ молодцомъ; они въ чистомъ полѣ женилися, кругъ ракитова куста вѣнчалися. Пришедши въ Марининъ теремъ, Добрыня говоритъ: «А и гой еси ты, моя молодая жена, Марина Игнатьевна! У тебя въ высокихъ хоромахъ-теремахъ нѣту Спасова образа: некому у тебя помолитися, не за что стѣнамъ поклонитися; а и чай моя острая сабля заржавѣла». А и сталъ Добрыня свою жену учить, молоду Марину Игнатьевну, еретницу....., безбожницу; онъ первое ученье—ей руку отсѣкъ; самъ приговариваетъ: «эта мнѣ рука не надобна; трепала она, рука, змѣя Горынчища!» А второе ученье—ноги ей осѣкъ: «А и эти-де ноги мнѣ не надобны: оплеталися со змѣемъ Горынчищемъ». А третье ученье — губы ей обрѣзалъ и съ носомъ прочь: «А эти-де губы не надобны мнѣ: цѣловали онѣ змѣя Горынчища!» Четвертое ученье — голову ей отсѣкъ и съ языкомъ прочь: «А и эта голова не надобна мнѣ, и этотъ языкъ не надобенъ—зналъ онъ дѣла еретичныя!»

—

Какая холодная и ужасная пронія! Сколько въ ней грубаго и нечеловѣческаго! Это не казнь, а постепенное, продолжительное мученье. Здѣсь нѣтъ мгновеннаго порыва страсти, которая разитъ вдругъ, какъ молнія: здѣсь долго скрываемое, медленно разгоравшееся чувство мести высказывается сосредоточенно, холодно и медленно. Вдругъ сверкающая и мгновенно-убивающая страсть не въ русской натурѣ: много нужно, чтобъ возбудить въ русскомъ человѣкѣ страсть, и глухо, медленно разгорается она въ неприступныхъ и сокровенныхъ глубинахъ сердца; зато и не скоро остываетъ, а высказывается съ какой-то ужасающей ледяностью, тяжело и неповоротливо. Отъ нея нѣтъ спасенья—отъ нея нѣтъ пощады. И потому русскій богатырь не торопливъ на мщенье: оно у него не остынетъ отъ сладкаго обѣда, не заснетъ отъ зелена-вина; онъ можетъ и покушать, и выспаться, безъ всякаго вліянія на владѣющее имъ чувство. И это чувство проявляется у него грубо и жестоко, какъ у Добрыни Никитича, который казнитъ злую еретницу Марину. Что такое эта Марина—не мудрено понять; это родная сестра княгини Апраксѣевны, притомъ старшая сестра, далеко превосходящая ее въ полнотѣ выражаемой ею идеи. Это типъ женщины, живущей внѣ общественныхъ условій, свободно предающейся своимъ страстямъ и склонностямъ. Она въ связи со змѣемъ Горынчатымъ—типомъ русскаго любовника, какъ мы замѣтили выше; но она не должна отличаться излишней вѣрностью своему любовнику: она только больше другихъ любитъ его. Она умѣетъ и приворожить, и отлучить, и оборотить оборотнемъ. Она предается сама всѣмъ неистовствамъ и помогаетъ другимъ: ея теремъ—пріютъ для всѣхъ веселыхъ людей обоего пола. Она—горькая пьяница; она—еретница и безбожница. О граціозности ея нечего и говорить. Но вотъ о чемъ слѣдуетъ замѣтить: Анна Ивановна, крестная мать Добрыни, еще мудренѣя и хитрѣя самой Марины: она и самое Марину можетъ обратить, во что захочетъ. Она—другъ честной вдовы, матери Добрыни; она принимаетъ горячее участіе въ правомъ дѣлѣ; она сидитъ на пиру, не хвастается: по всему этому она — представительница добраго начала, какъ Марина злого; она — добрая, благодѣтельная волшебница, какъ Марина злая и вредная. Но она пьетъ зелено-вино; ея слова къ Маринѣ дышатъ площаднымъ цинизмомъ; она бьетъ Марину по щекамъ, валяетъ ее на полъ, топчетъ ногами ея груди бѣлыя, словомъ, она въ граціи ни на волосъ не уступаетъ Маринѣ... Далѣе, изъ другихъ сказокъ, мы увидимъ, что идеалъ женщины по русской фантазіи всегда одинъ и тотъ же: это все та же Марина, только въ разныхъ видахъ...

—

Великій князь на пиру вызываетъ охотника очистить «дороги прямоѣзжія» до его зятя любимаго, до грозна короля Етмануйла Етмануйловича, вырубить чудь бѣлоглазую, перекрошить сорочину долгополую, а и тѣхъ черкесъ пятигорскіихъ, и тѣхъ калмыковъ съ татарами, чукчи всѣ бы и алюторы (лютеране?). Вызвался только одинъ Добрыня Никитичъ. Просилъ онъ у своей матушки благословенья на шесть лѣтъ, да еще въ запасъ на двѣнадцать. Мать спрашиваетъ его, на кого онъ покидаетъ свою молоду жену, когда еще не прошли и свадебные дни. «Что же мнѣ дѣлать и какъ же быть? изъ чего же насъ богатырей князю и жаловати?»—отвѣчаетъ Добрыня, и наказываетъ своей молодой женѣ, душѣ Настасьѣ Никулишнѣ, ждать его двѣнадцать лѣтъ, а тамъ, пожалуй, хоть и идти замужъ, за кого

Digitized by Google

похочетъ, а только бы не ходить за его брата названаго — Алёшу Поповича. Добрыня удачно совершилъ свой подвигъ, а между тѣмъ проходитъ шесть лѣтъ, проходитъ и двѣнадцать, и никто на Настасьѣ не сватается; а посваталъ ее великій князь за Алешу Поповича. Когда ту свадьбу ко вѣнцу повезли, ѣдетъ Добрыня въ Кіевъ; старые люди переговариваютъ: «Знать-де полетка соколиная, видать и поѣздка молодецкая — что быть Добрынѣ Никитичу». Входитъ онъ въ опустѣлый теремъ, некому его встрѣтить — матушка его старёхонька. Поздоровавшись съ ней, онъ спѣшитъ къ великому князю Владиміру отдать отчетъ въ своемъ порученіи. Втапоры за то князь похвалилъ: «Исполать тебѣ, добрый молодецъ, что служишь правдой и вѣрой». Говоритъ тутъ Добрыня Никитичъ младъ: «Гой еси, сударь, мой дядюшка, ласково солнце, Владиміръ князь! Не диво Алешѣ Поповичу — диво князю Владиміру; хочетъ у жива мужа жену отнять». Втапоры Настасья засовалася, хочетъ прямо скочить, обезчестить столы; говоритъ Добрыня Никитичъ младъ: «А и ты, душа Настасья Никулишна! прямо не скочи, не безчести столы: будетъ пора, кругомъ обойдешь». Взялъ за руку ее и вышелъ изъ-за убранныхъ столовъ, извинялся князю Владиміру, да и молодому Алешѣ Поповичу: «Гей еси, мой названый братъ, Алеша Поповичъ младъ! Здравствуй, женившись — да не съ кѣмъ спать!»

—

Мы еще встрѣтимся съ Добрыней Никитичемъ; но и теперь уже видно, что онъ такое. Это честный и добрый богатырь, ненавистникъ лжи, притворства и хитростей, заклятый врагъ змѣю Горынчату, которому стары люди напророчили погибнуть отъ него, отъ Добрыни. Хотя Алеша и названый братъ Добрынѣ, но Добрыня всегда держитъ камень за пазухой противъ Алеши и не кладетъ ему пальца въ ротъ: такъ противоположенъ его прямой и честный характеръ лукавому и на всякія пакости способному характеру Поповича. Добрыня по прошествіи двѣнадцати лѣтъ позволяетъ женѣ своей идти, за кого ей угодно, кромѣ одного Алеши. Упрекая князя за жену свою, онъ говоритъ: «Не диво Алешѣ Поповичу — диво князю Владиміру: хочетъ у жива мужа жену отнять». А впрочемъ они — братья названые и взаимно уважаютъ другъ друга въ качествѣ сильныхъ, могучихъ богатырей. Оба эти характера — два разные типа народной фантазіи, представители разныхъ сторонъ народнаго сознанія. Къ дополненію характера Добрыни, мы должны прибавить, что въ немъ есть какая-то простоватость, и хотя въ одной поэмѣ и говорится, что «у Алеши вѣжество не рожденное», а «у Добрыни вѣжество рожденное и ученое» — однакб это должно отнести больше къ честности и добротѣ, чѣмъ къ рыцарской ловкости Добрыни. Никитичъ — нечего грѣха таить — простоватъ и мѣшковатъ — гнетъ дугу не паритъ, переломитъ не тужитъ. Цѣлуются голуби — ему за бѣду становится и за великую досаду учиняется. Хочетъ онъ застрѣлить голубей и попадаетъ въ окно къ Маринѣ. Не для чего-нибудь, а для шутки, его можно назвать русскимъ Аяксомъ Теламонидомъ.

Илья Муромецъ отличается отъ всѣхъ другихъ богатырей. Онъ—старъ человѣкъ, на пирахъ не похваляется, онъ тридцать лѣтъ сидѣлъ сиднемъ, и вся остальная часть жизни его посвящена была на очищеніе проѣзжихъ дорогъ отъ разбойниковъ и разныхъ чудищъ. Это—русскій Геркулесъ. Въ первый разъ онъ является ко Владиміру во время пира. Поднесли ему, Ильѣ, чару зелена вина въ полтора ведра, онъ принялъ ее одной рукой и выпилъ единымъ духомъ. Говорилъ ему ласковый Владиміръ князь: «Ты скажись, молодецъ, какъ именемъ зовутъ, а по имени тебѣ можно мѣсто дать, по изотчеству пожаловати».—«А ты, ласковый стольный Владиміръ князь! а меня зовутъ Илья Муромецъ, сынъ Ивановичъ; и проѣхалъ я дорогу прямоѣзжую изъ стольнаго города изъ Мурома, изъ того села Корочаева.»—Говорятъ тутъ могучіе богатыри: «А ласково солнце, Владиміръ князь! Въ очахъ дѣтина завирается, а и гдѣ ему проѣхать дорогой прямоѣзжей, залегла та дорога тридцать лѣтъ отъ того Соловья-разбойника». Илья говоритъ, что онъ привезъ съ собой Соловья-разбойника и проситъ князя выдти на дворъ—посмотрѣть его «удачи богатырскія». Когда всѣ вышли, Илья сталъ Соловья уговаривать: «Ты послушай меня, Соловей-разбойникъ младъ! посвисти, Соловей, по-соловьиному; пошипи, змѣй, по-змѣиному; зарявкай, звѣрь, по-туриному— и потѣшь князя Владиміра». Послушался Соловей-разбойникъ — накурилъ онъ бѣды несносныя: князи и бояра и всѣ богатыри могучіе на корачкахъ по двору наползалися, гостинны кони со двора разбѣжалися, а Владиміръ князь едва живъ стоитъ со душой княжной Апраксѣевной: «А и ты гой еси, Илья Муромецъ, сынъ Ивановичъ! Уйми ты Соловья-разбойника, а и эта шутка намъ не надобна».

Калинъ, царь Золотой Орды, осадилъ Кіевъ; а войска съ нимъ было на сто верстъ. Зачѣмъ мать сыра земля не погнется, зачѣмъ не разступится? Отъ пару конинаго мѣсяцъ и солнце померкнули. Садился Ка-

Digitized by Google

*

линъ на ременчатъ стулъ, писалъ ярлыки скорописчаты— отъ мудрости слово поставлено, посылалъ ко князю Владиміру татарина мѣрой трехъ саженъ, голова съ пивной котелъ въ сорокъ ведеръ, промежь плечами косая сажень; посылалъ его сказать князю, что возьметъ его въ полонъ, Божьи церкви на дымъ пуститъ. Татаринъ Спасову образу не молится, Владиміру князю не кланяется и въ Кіевѣ людей ничѣмъ не зоветъ; бросилъ ярлыки на круглый столъ передъ князя Владиміра, а князь запечалился, глядючи въ ярлыки—заплакалъ свѣтъ; по грѣхамъ надъ княземъ учинилося, богатырей въ Кіевѣ не случилося. Втапоры Василій-пьяница взбѣжалъ на башню на стрѣльную, беретъ онъ свой тугой лукъ разрывчатый, калену стрѣлу перену, наводилъ онъ трубками нѣмецкими, стрѣлялъ онъ въ Калина царя, не попалъ во собаку Калина царя, а попалъ въ зятя его Сартака: угодила стрѣла ему въ правый глазъ и ушибла его до смерти. И тутъ Калину за бѣду стало; послалъ онъ другого татарина къ князю Владиміру, чтобъ выдалъ того виноватаго. Втапоры, съ тоя стороны полуденныя, что ясный соколъ въ перелетъ летитъ, какъ бѣлый кречетъ перепархиваетъ, бѣжитъ паленица удалая, старый козакъ Илья Муромецъ. Входитъ онъ во гридню свѣтлую, Спасу со Пречистой молится, бьетъ челомъ князю со княгиней и на всѣ четыре стороны, а самъ Илья усмѣхается: «Гой еси, сударь Владиміръ князь! Что у тебя за болванъ пришелъ, что за дуракъ неотесанный?» Князь проситъ Илью пособить ему думушку подумати: сдать ли, не сдать ли Кіевъ градъ, безъ бою, безъ драки великія, безъ того кровопролитія напраснаго. Илья не совѣтуетъ ему печаловаться, а велитъ на Спаса надѣяться, да велитъ ему насыпать мису чиста серебра, другую красна золота, а третью скатнаго жемчуга. Взявъ дары, Муромецъ пошелъ съ татариномъ въ станъ къ царю Калину. А не честно у него Калинъ принялъ золоту казну, самъ побраниваетъ. И тутъ Ильѣ за бѣду стало: «собака проклятый ты, Калинъ царь! отойди съ татарами отъ Кіева, охота ли вамъ, собаки, живымъ быть». И тутъ Калину за бѣду стало—велѣлъ связать Ильѣ руки бѣлыя чембурами шелковыми; а втапоры Ильѣ за бѣду стало: «Собака проклятый ты, Калинъ царь!» и проч. И тутъ Калину за бѣду стало и плюетъ Ильѣ во ясны очи: «А русскій людъ всегда хвастливъ, опутанъ весь— будто лысый бѣсъ, еще ли стоитъ передо мной, самъ хвастаетъ». Илья пожалъ плечами—чембуры лопнули, схватилъ Илья татарина за ноги, который ѣздилъ въ Кіевъ градъ, и зачалъ татариномъ помахивати: куда ли махнетъ — тутъ и улицы лежатъ, куда отвернетъ—съ переулками, а самъ татарину приговариваетъ: «А и крѣпокъ татаринъ, не ломится, а и жиловатъ, собака, не изорвется!» *). Разбѣжались татарскія полчища, воротился Илья ко Калину царю, схватилъ онъ Калина во бѣлыя руки, самъ онъ Калину приговариваетъ: «Васъ-то, царей, не бьютъ, не казнятъ, не бьютъ, не казнятъ и не вѣшаютъ». Согнетъ его корчагой, воздымалъ выше буйныя головы своей, ударялъ его о горючь камень, расшибъ его въ крохи..... Достальные татары на побѣгъ бѣгутъ, сами они заклинаются: «Не дай Богъ намъ бывать ко Кіеву! Не дай Богъ намъ видать русскихъ людей! Неужъ-то въ Кіевѣ всѣ таковы, одинъ человѣкъ всѣхъ татаръ перебилъ?» Илья Муромецъ пошелъ искать своего товарища, того ли Ваську-пьяницу, и скоро нашелъ его въ кружалѣ Петровскіимъ, привелъ ко князю Владиміру. А пьетъ Илья довольно зелена вина съ тѣмъ Васильемъ со пьяницей, и называетъ Илья того пьяницу Василья братомъ названыимъ.

—

Хотя лицо Васьки-пьяницы является какъ-бы вскользь, мимоходомъ, однако оно столь же, если еще не болѣе, важно, какъ и лица всѣхъ другихъ героевъ народной фантазіи. Знаете ли вы, читатели, что́ такое Васька-пьяница? Если вы засмѣетесь надъ этимъ приложеніемъ къ собственному имени, надъ этимъ тривіальнымъ и безнравственнымъ прозвищемъ пьяницы, если оно покажется вамъ смѣшнымъ или пошлымъ, — вы не понимаете глубоко-миѳическаго значенія Васьки... Этотъ Васька—любимое дитя народнаго сознанія, народной фантазіи; это не олицетвореніе слабости или порока, въ поученіе и назиданіе другихъ, это, напротивъ, похвальба слабостью, какъ удальствомъ и молодечествомъ, апоѳеоза порока, о которомъ идетъ рѣчь. Общественная нравственность древней Руси исключила пьянство изъ числа пороковъ; сознаніе цѣлаго народа дало характеръ неоспоримой законности этому дикому наслажденію. Русскій человѣкъ пьетъ и съ горя, пьетъ и съ радости; и передъ дѣломъ, чтобы дѣло лучше шло, и послѣ дѣла, чтобы отдыхъ былъ веселѣе; и передъ опасностью, чтобъ море было по колѣно, и послѣ опасности, чтобы заносчивѣе можно было похвастаться ею. Оттого въ старину на Руси почти всѣ богатыри, умники, грамотники, искусники, художники, мастера были отъявленными пьяницами. У русскаго человѣка много пословицъ въ поль-

*) Новый примѣръ саркастической ироніи русской.

Digitized by Google

зупьянства: «пьяный проспится, дуракъ никогда»; «пьяному море по колѣно»; «пьянъ да уменъ — два угодья въ немъ», и т. п. Кружало—это турниръ, балъ русскаго человѣка. Великій князь Владиміръ, какъ говоритъ преданіе, отвергъ вѣру жидовъ и магометанъ, потому что «пити есть веселіе Руси». Въ нашемъ простонародьѣ и теперь всѣ пьютъ—и старики, и юноши, и женщины, и дѣти. У насъ пьянаго на улицѣ не оберутъ, не прибьютъ, но бережно обойдутъ. Успѣхи цивилизаціи уже уничтожаютъ у насъ этотъ порокъ, замѣняя сивуху чаемъ,— и дай Богъ, чтобъ онъ скорѣе уничтожился совсѣмъ; но все-таки этотъ порокъ весьма любопытенъ, ибо русскій человѣкъ не всегда является въ немъ съ одной дурной стороны своей. И виноватъ ли русскій мужичокъ въ томъ, что для него не существуетъ ни театра, ни книги, ни вечеринки (ибо вечеринка только тамъ, гдѣ женщина играетъ первую роль и гдѣ все для нея)? Условія общественнаго быта тутъ много значатъ: неопредѣленность общественныхъ отношеній и сжатая извнѣ внутренняя сила всегда становятъ и народъ, и отдѣльныя лица въ ложное положеніе и порождаютъ ложныя и вредныя средства къ выходу и утѣшенію, и потому пьянство русскаго человѣка не всегда бываетъ только слабостью или порокомъ, но часто признакомъ глухой силы, которая неправильно рвется наружу. Зелено вино, часто бывая причиной промаховъ и неуспѣховъ русскаго человѣка, иногда бываетъ и истиннымъ его вдохновеніемъ. И потому мудрено ли, что русскіе богатыри единымъ духомъ вышиваютъ чару зелена вина въ полтора ведра, турій рогъ меду сладкаго въ полтретья ведра?... Удивительно ли, что на Руси пьяницы спасали отечество отъ бѣды и допускались къ столу Владиміра Красна Солнышка?... Васька-пьяница—это человѣкъ, который знаетъ правило: пей, да дѣло разумѣй;—человѣкъ, который съ вечера повалится на полъ замертво, а встанетъ раньше всѣхъ и службу сослужитъ, лучше трезваго. Это — повторяемъ — одинъ изъ главнѣйшихъ героевъ народной фантазіи: оттого-то и Илья Муромецъ съ нимъ выпилъ довольно зелена вина и назвалъ того пьяницу Василья братомъ названымъ.

—

Разъ поѣхалъ Илья Муромецъ съ своимъ братомъ названымъ, Добрыней Никитичемъ, и будутъ они у рѣки Череги, у матушки у Сафатъ-рѣки, и сказалъ Илья Добрынѣ, чтобы онъ ѣхалъ за горы высокія, а самъ-де я останусь у Сафатъ-рѣки. И наѣхалъ Добрыня на бѣлъ шатеръ; изъ того шатра выходила баба Горынинка, и у нихъ съ Добрыней учинился бой, драка великая; бросали они палицы тяжкія, стали драться рукопашнымъ боемъ. А Илья наѣхалъ по слѣду бродучему на богатыря Збута Бориса Королевича, который въ то время со руки спускалъ ясна сокола-выжлоку; а увидѣвъ Илью, сказалъ выжлоку, чтобы летѣлъ, куда хочетъ: теперь-де мнѣ не до тебя. Збутъ Королевичъ угодилъ стрѣлой въ грудь стара казака Илья Муромца, а Илья не бьетъ его палицей тяжкой, не вымаетъ изъ налужка тугой лугъ, изъ колчана калену стрѣлу, не стрѣляетъ онъ Збута Бориса Королевича— его только схватилъ въ бѣлы руки и бросаетъ выше дерева стоячаго. Подхвативъ его на лету, положилъ на сыру землю и сталъ спрашивать о дядинѣ, отчинѣ. «Кабы у тебя на грудяхъ сидѣлъ, я спололъ бы тебѣ, старому, груди бѣлыя», сказалъ Збутъ. И до того его Илья билъ, пока всю правду сказалъ: «Я того короля задонскаго». А втапоры заплакалъ Илья Муромецъ, глядючи на свое дитя милое. Пріѣхавъ домой, Збудъ Борисъ Королевичъ разсказалъ свою удачу матушкѣ. А втапоры его матушка разилася о сыру землю, и не можетъ во слезахъ слово молвити: «Зачѣмъ ты на Илью напущался, а надо бы тебѣ ему поклонитися о праву руку до сырой земли: онъ по роду тебѣ батюшка, старый казакъ Илья Муромецъ, сынъ Ивановичъ». Поѣхалъ Илья искать своего брата названаго, Добрыню Никитича: и дерется онъ съ бабой Горынинкой—едва душа его въ тѣлѣ полуднуетъ. Говоритъ ему Илья Муромецъ: «Не умѣешь ты, Добрыня, съ бабой дратися: а бей ты бабу..... по щекѣ..... а женской полъ оттого пухолъ». А и втапоры она баба покорилася, говоритъ она баба таковы слова: «Не ты меня побилъ, Добрыня Никитичъ младъ: побилъ меня старый казакъ Илья Муромецъ единымъ словомъ». Добрыня соскочилъ ей бѣлы груди пороть чингалищемъ булатнымъ; молится баба Горынинка Ильѣ Муромцу, обѣщаетъ много злата, серебра и повела ихъ въ погреба глубокіе, они сами богатыри дивуются; оглянулся Илья Муромецъ во тѣ раздолья широкія—молодой Добрыня Никитичъ младъ втапоры бабѣ голову срубилъ.

—

Изъ этой сказки видно, что Илья Муромецъ былъ сильнѣе всѣхъ богатырей, и самого Добрыни, и что хотя онъ съ дамами обращался въ духѣ русскаго рыцарства, однако не чуждъ былъ и любовныхъ похожденій. Добрыня тутъ является въ неизмѣнномъ своемъ характерѣ—заклятаго врага всѣхъ Горынчатовъ и Горынинковъ, мужеска и женска пола; но что за баба Горынинка— Богъ вѣсть! Вообще это одна изъ самыхъ нескладныхъ и дикихъ сказокъ. Послѣдняя сказка объ Ильѣ Муромцѣ «Станишники»

Digitized by Google

сбивается своимъ содержаніемъ на его приключеніе съ Соловьемъ-разбойникомъ. На него напали разбойники, а онъ вмѣсто ихъ выстрѣлилъ въ краковястый дубъ и разбилъ его въ щепы: разбойники со страху попадали, пять часовъ безъ ума лежали, а тамъ будто отъ сна пробуждалися: а Сема встаетъ пересемываетъ, а Спиря встаетъ, то постыриваетъ,—и всѣ они просятъ его взять ихъ въ свое холопство вѣковѣчное. А Илья говоритъ имъ: «А и гой еси вы, братцы, станишники! поѣзжайте отъ меня во чисто поле, скажите вы Чурилѣ, сыну Пленковичу, про стараго козака Илью Муромца».

—

На пиру у себя Владиміръ князь сказалъ Потоку Михайлу Ивановичу — сослужить службу заочную, съѣздить къ морю синему, на теплыя тихи заводи, настрѣлять гусей, бѣлыхъ лебедей, перелетныхъ малыхъ уточекъ къ его столу княженецкому, «до любиде тебя, молодца, пожалую». Настрѣлявъ птицъ вдоволь, Потокъ хотѣлъ воротиться въ Кіевъ, какъ вдругъ увидѣлъ бѣлую лебедушку: она черезъ перо была вся золото, а головушка у ней увивана краснымъ золотомъ и скатнымъ жемчугомъ усажена. Натянулъ онъ свой тугой лукъ — заскрипѣли полосы булатныя и завыли рога у туга лука, а и чуть было спустить калену стрѣлу — провѣщается ему лебедь бѣлая, Авдотьюшка Лиховидьевна: «А ты, Потокъ Михайло Ивановичъ! не стрѣляй ты меня, лебедь бѣлую, нѣ въ кое время пригожуся тебѣ!» Обернулась она красной дѣвицей, воткнулъ Потокъ копье въ землю, привязалъ къ нему коня, схватилъ дѣвицу за бѣлыя руки и цѣлуетъ ее въ уста сахарныя. Авдотьюшка Лиховидьевна втапоры больно его уговаривала: «А ты, Потокъ Михайло Ивановичъ! хотя ты на мнѣ и женишься, и кто изъ насъ прежде умретъ, второму за нимъ живому во гробъ идти». Согласившись, онъ поѣхалъ къ Кіеву, а она полетѣла, обернувшись лебедушкой. И дивуется Потокъ, что онъ нигдѣ не мѣшкалъ, ни стоялъ, а она опередила его и подъ окошечкомъ косящатымъ сидитъ. Пріѣхавъ къ князю, Потокъ разсказалъ свое похожденіе и просилъ его сдѣлать для него пиръ свадебный, веселый. Обвѣнчавши Потока съ Авдотьей, попы взяли съ нихъ присягу, кто прежде кого умретъ, второму живому въ гробъ идти. Черезъ полтора года Авдотья Лиховидьевна съ вечера она расхворалася, къ полуночи разболѣлася, поутру и преставилася. Вырыли могилу глубиной, шириной по двадцати саженъ, погребали тѣло Авдотьино, и тутъ Потокъ Михайло Ивановичъ съ конемъ и со сбруей ратной опустилися въ тое-жъ могилу глубокую, и заворочали потолкомъ дубовымъ, и засыпали песками желтыми, а надъ могилой поставили деревянный крестъ, — только мѣсто оставили веревкѣ одной, которая была привязана къ колоколу соборному. Въ могилѣ для страху Потокъ зажигалъ свѣчи воску яраго, и въ полночь собиралися къ нему всѣ гады змѣиные, а потомъ пришелъ большой змѣй—онъ жжетъ и палитъ пламенемъ огненнымъ. А Потокъ не робокъ былъ, саблю схватилъ да змѣю голову отрубилъ, и той головой змѣиной учалъ тѣло Авдотьино мазати. Втапоры она еретница изъ мертвыхъ пробуждается, Потокъ за веревку схватилъ; и, услышавъ звонъ, пришли и разрыли ихъ, объявили князю Владиміру и тѣмъ попамъ соборнымъ, поновили ихъ святой водой, приказали имъ жить по-старому. Когда Потокъ умеръ, его молоду жену съ нимъ вмѣстѣ зарыли живую, и тутъ имъ стала быть память вѣчная.

—

Трудно сказать что-нибудь объ этой сказкѣ—такъ чужда она всякой опредѣленности. Всѣ лица и событія ея—миражи: какъ будто что-то видишь, а между тѣмъ ничего не видишь. Почему Авдотья Лиховидьевна—колдунья, не знаемъ, потому что она ни образъ, ни характеръ. Или всѣ женщины, по понятію нашихъ добрыхъ дѣдовъ, были колдуньи? Потокъ — тоже что-то вродѣ ничего, и вообще вся эта сказка—ничего, изъ котораго ничего и не выжмешь.

—

Какъ издалеча было изъ Галичья, изъ Волынца города изъ Галичія, выѣзжалъ удача добрый молодецъ, молодой Михайло Казарянинъ, ѣхалъ онъ ко князю Владиміру; спрашивалъ его Владиміръ князь, отколь пріѣхалъ и какъ зовутъ, чтобъ по имени ему и мѣсто дать, по изотчеству пожаловати; наливалъ онъ ему чару зелена вина — не велика мѣра въ полтора ведра, и провѣдываетъ могучаго богатыря, чтобъ выпилъ чару зелена вина и турій рогъ меду сладкаго въ полтора третья. Затѣмъ онъ сдѣлалъ ему такое же порученье, какъ и Потоку Михайлу Ивановичу. Когда онъ возвращался съ настрѣленной дичью ко Владиміру, наѣхалъ въ полѣ сыръ кряковистый дубъ, на дубу сидитъ тутъ черный воронъ, съ ноги на ноги переступываетъ, онъ правильно перушко поправливаетъ, а и ноги, носъ—что огонь горятъ. За бѣду Казарину показалося, и хочетъ онъ застрѣлить чернаго ворона, а черный воронъ ему провѣщится — проситъ его не трогати, а велитъ ему ѣхати дальше, а тамъ-де ему богатырю добыча есть. И увидѣлъ Казарянинъ въ полѣ три шатра, стоитъ бесѣда—дорогъ рыбій зубъ, на бесѣдѣ сидятъ три татари-

Digitized by Google

на, три собаки наѣздники, передъ ними ходитъ красна дѣвица, русская дѣвица полоняночка, Марѳа Петровична, въ слезахъ не можетъ слово молвити, добрѣ жалобно причитаючи: «О, злосчастная моя буйна голова! Горе-горькое, моя руса коса! а вечоръ тебя матушка расчесывала, расчесала матушка, заплетала; а сама, дѣвица, знаю, вѣдаю—расплетать будетъ мою русу косу тремъ татаринамъ наѣзднікамъ». Нашъ рыцарь перебилъ татаръ, но съ дѣвицей полоняночкой поступилъ совсѣмъ не по рыцарски: «Повелъ дѣвицу во бѣлъ шатеръ»; — какъ дѣвица расплачется и скажетъ ему свое имя, что она-де изъ Волынца города, изъ Галичья гостиная дочь. Казарянинъ узнаетъ въ ней родную сестру свою. Взявъ ее съ собой, коней, оружіе и бесѣду татаръ, пріѣхалъ ко князю Владиміру, который и беретъ себѣ всю его добычу, а ему говоритъ: «Исполать тебѣ, добру молодцу, что служишь князю вѣрой и правдой».

—

Изъ-за моря, моря синяго, изъ славна Волынца, красна Галичья, изъ тоя Карелы богатыя, какъ ясный соколъ вонъ вылетывалъ, какъ-бы бѣлый кречетъ вонъ выпархивалъ,—выѣзжалъ удача добрый молодецъ, молодой Дюкъ, сынъ Степановичъ, а и конь подъ нимъ какъ-бы лютый звѣрь, лютый звѣрь конь—и буръ, косматъ, у коня и грива на лѣву сторону, до сырой земли; онъ самъ на конѣ какъ ясенъ соколъ, крѣпки доспѣхи на могучихъ плечахъ; немного съ Дюкомъ живота пошло, что куякъ и панцырь чиста серебра — въ три тысячи, а кольчуга на немъ красна золота—цѣна сорокъ тысячей, а и конь подъ нимъ въ пять тысячей. Почему коню цѣна пять тысячей? — За рѣку онъ броду не спрашиваетъ, котора рѣка цѣла верста пятисотная, онъ скачетъ съ берега на берегъ: потому цѣна коню пять тысячей. Еще съ Дюкомъ живота немного пошло: пошелъ тугой лукъ разрывчатой, а цѣна тому луку три тысячи; потому луку цѣна три тысячи: полосы были серебряны, а рога красна золота, а и тетивочка была шелковая, а бѣлаго шелку шимаханскаго; и колчанъ пошелъ съ нимъ коленыхъ стрѣлъ, а въ колчанѣ было за триста стрѣлъ, всякая стрѣла по десяти рублевъ, а еще есть въ колчанѣ три стрѣлы, а и тѣмъ стрѣламъ цѣны не было: колоты они были изъ трость дерева, строганы въ Новѣгородѣ, клеены онѣ клеемъ осетра рыбы, перены онѣ перьицемъ сиза орла, а сиза орла, орла орловича, а того орла, птицы Камскія,—не тоя-то Камы, коя въ Волгу пала, а тоя-то Камы за синимъ моремъ,—своимъ устьемъ впала въ сине море (т. е. не той Камы, которая есть на землѣ, а той, которой не бывало); а леталъ орелъ надъ синимъ моремъ, а ронялъ онъ перьица во сине море, а бѣжали гости корабельщики, собирали перья на синемъ морѣ, вывозили перья на святую Русь, продавали душамъ краснымъ дѣвицамъ: покупала Дюкова матушка перо во сто рублей, во тысячу. Почему тѣ стрѣлки дороги?—потому онѣ дороги, что въ ушахъ поставлено по тирону, по каменю, по дорогу самоцвѣтному, а и еще у тѣхъ стрѣлокъ подлѣ ушей перевивано аравитскимъ золотомъ. Ѣздитъ Дюкъ подлѣ синя моря и стрѣляетъ гусей, бѣлыхъ лебедей, перелетныхъ сѣрыхъ малыхъ уточекъ; онъ днемъ стрѣляетъ, въ ночи тѣ стрѣлки собираетъ: какъ днемъ-то тѣхъ стрѣлочекъ не видѣти, а въ ночи тѣ стрѣлки что свѣчи горятъ—свѣчи теплются воска яраго: потому онѣ, стрѣлки, дороги. Когда Дюкъ вошелъ во гридню Владимірову, всѣ гости скочили съ мѣстъ на рѣзвы ноги: смотрятъ на Дюка—сами дивуются. Пошло пированье и столованье. Дюкъ съ тѣми князи и боярами откушалъ калачики крупичаты—онъ верхню корочку отламываетъ, а нижню корочку прочь откидываетъ. А во Кіевѣ былъ щастливъ добрѣ какъ-бы молодой Чурила, сынъ Пленковичъ—о г о в о р и л ъ онъ Дюка Степановича: «Что ты, Дюкъ, чѣмъ чванишься?—верхню корочку отламываешь, а нижню прочь откладываешь». Говорилъ Дюкъ Степановичъ: «Ой ты, ой еси, Владиміръ князь! въ томъ ты у меня не прогнѣвайся—печки у тебя биты глиняны, а подики кирпичные, а помелечко мочальное въ лохань обмакиваютъ; у меня, Дюка Степановича, у моей сударыни матушки печки были муравлены, а подики мѣдные, помелечко шелково въ сыту медвяную обмакиваютъ; калачикъ съѣшь—больше хочется».

Эта неслыханная роскошь возбудила въ князѣ желаніе быть въ домѣ у Дюка, и, взявъ съ собой Чурилу и дворъ, онъ поѣхалъ. На крестьянскихъ дворахъ Дюкъ такъ угостилъ Владиміра, что онъ сказалъ ему: «Каково про тебя сказывали, таковъ ты и есть». Переписывалъ Владиміръ князь Дюковъ домъ, переписывали его четверо сутокъ, а и бумаги не стало. Втапоры Дюкъ повелъ гостей къ своей сударынѣ матушкѣ—и ужасается Владиміръ князь, что въ теремахъ хорошо изукрашено. Угостила матушка Дюкова дорогихъ гостей, говорилъ ей ласковый Владиміръ князь: «Исполать тебѣ, честна вдова многоразумная, съ своимъ сыномъ, Дюкомъ Степановымъ! Употчивала меня со всѣми гостьми, со всѣми людьми; хотѣлъ было вашъ и этотъ домъ описывати, да отложилъ всѣ печали на радости». Втапоры честна вдова многоразумная

Digitized by Google

дарила князя своими честными подарками: сорокъ сороковъ черныхъ соболей, вторые сорокъ бурнастыхъ лисицъ, еще сверхъ того каменьи самоцвѣтными.

—

То старина, то и дѣянье:
Синему морю на утѣшенье,
Быстрымъ рѣкамъ слава до моря;
А добрымъ людямъ на послушанье,
Веселымъ молодцамъ на потѣшенье!

Эта сказка одна изъ примѣчательнѣйшихъ, особенно по тому тону простодушной иронiи, съ какой описывается бѣдность вооруженія и вообще живота, бывшаго съ Дюкомъ,—по этой лукавой скромности, съ какой Дюкъ объясняетъ князю причину, почему онъ ѣстъ у калачиковъ только верхнюю корочку. Эта простодушная иронія есть одинъ изъ основныхъ элементовъ русскаго духа: русскій человѣкъ любитъ похвастаться, но никогда прямо, а всегда обинякомъ, болѣе же всего съ скромнымъ самоуниженіемъ, вродѣ слѣдующаго: «гдѣ-ста намъ, дуракамъ, чай пить», «что наше за богатство—всего тысячъ сто въ мѣсяцъ получаемъ, да и тѣ съ горемъ пополамъ: не знаемъ-де куда класть и прятать».—Дюкъ богаче князя Владиміра, зато Владиміръ велитъ описывать его имѣніе, и только будучи ужъ слишкомъ употчиванъ, «отлагаетъ всѣ печали на радости», а матушка Дюка даритъ князю трое сороковъ мѣховъ и каменьевъ самоцвѣтныхъ:—черта чисто восточная!...

—

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота океанъ-море,
Широко раздолье по всей землѣ,
Глубоки омуты днѣпровскіе!

Изъ-за моря, моря синяго, изъ глухоморья зеленаго, отъ славнаго города Леденца, отъ того-де царя вѣдь заморскаго, выбѣгали, выгребали тридцать кораблей, тридцать кораблей—единъ корабль славнаго гостя богатаго, молода Соловья, сына Будиміровича. Хорошо корабли изукрашены — одинъ корабль получше всѣхъ; у того было сокола у корабля вмѣсто очей было вставлено по дорогому камню, по яхонту, вмѣсто бровей было прибивано по черному соболю якутскому, и якутскому вѣдь сибирскому; вмѣсто уса было воткнуто два острa копья мурзамецкія, и два горностая повѣшены, два горностая, два зимніе; у того было сокола у корабля вмѣсто гривы прибивано двѣ лисицы бурнастыя; вмѣсто хвоста повѣшено на томъ было соколѣ кораблѣ два медвѣдя бѣлые заморскіе; носъ, корма по-туриному, бока взведены по звѣриному. На томъ кораблѣ былъ сдѣланъ муравленъ чердакъ, въ чердакѣ была бесѣда—дорогъ рыбій зубъ, подернута бесѣда рытымъ бархатомъ; на бесѣдѣ-то сидѣлъ Купавъ молодецъ, молодой Соловей, сынъ Будиміровичъ; спрашивалъ онъ гостей корабельщиковъ и цѣловальщиковъ любимыхъ, чѣмъ ему князя Владиміра будетъ дарить. (Послѣ мы увидимъ, что они ему присовѣтовали.) Прибѣжали корабли подъ славной Кіевъ-градъ, якори метали въ Днѣпръ рѣку, сходни бросали на крутъ бережокъ, товарную пошлину платили. Соловей у князя въ гриднѣ и подноситъ ему свои дороги подарочки: сорокъ сороковъ черныхъ соболей, вторые сорокъ бурнастыхъ лисицъ; княгинѣ поднесъ камку бѣло-хрущатую, недорога камочка—узоръ хитеръ: хитрости Царяграда, мудрости Іерусалима, замыслы Соловья, сына Будиміровича; на златѣ и серебрѣ—не погнѣваться. Князю дары полюбилися, а княгинѣ наипаче того. Говорилъ ласковой Владиміръ князь: «Гой еси ты, богатый гость, Соловей, сынъ Будиміровичъ! займуй дворы княженецкіе, займуй ты боярскіе, займуй ты дворы и дворянскіе». Соловей ото всего отказывается, а проситъ только загонъ земли, непаханыя и нераныя, у княженецкой племянницы, у молодой Запавы Путятишной, въ ея зеленомъ саду, въ вишеньѣ, въ орѣшеньѣ, построить ему, Соловью, наряденъ дворъ. Походилъ Соловей на свой червленъ корабль: «Гой еси вы, мои люди работные! берите вы топорики булатные, подите къ Запавѣ во зеленый садъ, постройте мнѣ снаряденъ дворъ, въ вишеньѣ, въ орѣшеньѣ». Съ вечера, позднимъ поздно, будто дятлы въ дерево пощелкивали, работала его дружина хорабрая, ко полуночи и дворъ поспѣлъ: три терема златоверховаты, да трои сѣни косящатыя, да трои сѣни рѣшетчатыя. Хорошо въ теремахъ изукрашено: на небѣ солнце—въ теремѣ солнце; на небѣ мѣсяцъ — въ теремѣ мѣсяцъ; на небѣ звѣзды—въ теремѣ звѣзды; на небѣ заря—въ теремѣ заря, и вся красота поднебесная. Рано просыпалася Запава, посмотрѣла Запава въ окошечко косящатое, въ вишенье, въ орѣшенье, — чудо Запавѣ показалося: «Гой еси, нянюшки и мамушки, красныя сѣнныя дѣвушки! подите-тко, посмотрите-тко, что мнѣ за чудо показалося въ вишеньѣ, въ орѣшеньѣ!» Отвѣчаютъ ей мамушки и нянюшки и сѣнныя дѣвушки: «счастье твое на дворъ къ тебѣ пришло». Бросилася Запава въ терема; у перваго терема послушала: тутъ въ теремѣ щелчитъ, молчитъ—лежитъ—Соловьева золота казна. Во второмъ теремѣ послушала: по-маленьку говорятъ, все молитвы творятъ — молится Соловьева матушка со вдовы честны, многоразумными. У третьяго терема послушала: тутъ въ теремѣ музыка гремитъ. Вхо-

Digitized by Google

дила Запава въ сѣни косящатыя, отворяла двери на пяту,—больно Запава испугалася, рѣзвы ноги подломилися, чудо въ теремѣ показалося: на небѣ солнце — въ теремѣ солнце, и проч. Подломились ея ноженьки рѣзвыя; втапоры Соловей онъ догадливъ былъ, бросалъ свои звончаты гусли, подхватывалъ дѣвицу за бѣлы руки, клалъ на кровать слоновыхъ костей, да на тѣ ли перины пуховыя. «Чего де ты, Запава, испужалася? мы-де оба на возрастѣ».—«А и я де дѣвица на выданьѣ, пришла-де сама за тебя свататься». Тутъ они и помолвили, цѣловалися, миловалися, золотыми перстнями обмѣнялися. Провѣдавъ про то Соловьева матушка, свадьбу посрочила: «Съѣзди-де за моря синія, и когда-де тамъ расторгуешься, тогда-де и на Запавѣ женишься». Втапоры же поѣхалъ и Голый Шапъ Давидъ Поповъ, скоро онъ за морями исторгуется, а скорѣе того назадъ въ Кіевъ прибѣжалъ, приходитъ ко князю съ подарками — принесъ сукно смурое, да крашенину печатную. Втапоры его князь о Соловьѣ спрашивалъ; отвѣчалъ ему Голый Шапъ, что видѣлъ Соловья въ Леденцѣ городѣ, у того царя заморскаго; Соловей-де въ протоможье попалъ, и зато посаженъ въ тюрьму, а корабли его отобраны на его жъ царское величество. Больно Владиміръ закручинился, скоро вздумалъ о свадьбѣ—что отдать Запаву за Голаго Шапа Давида Попова. Тысяцкій—ласковый Владиміръ князь, свашела—княгиня Апраксѣевна, къ поѣзду — князи и бояре, поѣзжали ко церкви Божіей. Втапоры на девяноста корабляхъ прибылъ Соловей во Кіевъ-градъ. Тотчасъ по поступкамъ Соловья опознывали, приводили его ко княженецкому столу. Сперва говорила Запава Путятишна: «Гой, еси, мой сударь, дядюшка, ласковый, сударь, Владиміръ князь! Тотъ-то мой прежній обрученный женихъ, прямо, сударь, скачу—обезчещу столы». Говорилъ ей ласковый Владиміръ князь: «Гой еси, ты, Запава Путятишна! а ты прямо не скачи—не безчести столы». Выпускали ее изъ-за дубовыхъ столовъ, пришла она къ Соловью, поздоровалась, взяла его за рученьку бѣлую и сѣла съ нимъ на большо мѣсто, а сама она Запава говорила Голому Шапу таково слово: «Здравствуй, женимши, да не съ кѣмъ спать!» Втапоры Владиміръ князь веселъ былъ, а княгиня наипаче того; поднимали пирушку великую.

—

Разъ на пиру Владиміръ князь сказалъ Ивану Годиновичу: «Гой еси, Иванъ ты Годиновичъ! а зачѣмъ ты, Иванушка, не женишься?»—Радъ бы, осударь, женился, да негдѣ взять: гдѣ охота брать, за меня не даютъ; а гдѣ-то подаютъ, ту я самъ не беру. Князь велѣлъ ему садиться на ременчатъ стулъ, писать ярлыки скорописчаты о добромъ дѣлѣ, о сватаньѣ, къ Дмитрію, черниговскому гостю богатому. А Владиміръ князь ему руку приложилъ: «А не ты, Иванъ, поѣдешь свататься, сватаюсь я де, Владиміръ князь». А скоро Иванъ поѣздку чинитъ по городу Чернигову: два девяносто верстъ переѣхалъ въ два часа. Прочитавъ ярлыкъ Дмитрій гость: «Глупый Иванъ, неразумный Иванъ! гдѣ ты, Иванъ, перво былъ? нынѣ Настасья просватана, душа Дмитревна запоручена въ дальню землю загорскую, за царя Афромея Афромеевича; за царя отдать—ей царицею слыть,—пановя и улановья всѣ поклонятся, а нѣмецкихъ языковъ счету нѣтъ; за тебя, Иванъ, отдать — холопкой слыть, избы мести, заходы скрести». Тутъ Иванушкѣ за бѣду стало — схватилъ ярлыкъ, да и прямо въ Кіевъ ко Владиміру князю. Тутъ ему князю за бѣду стало, рветъ на главѣ черны кудри свои, бросаетъ о кирпищатъ полъ: «Гей еси, Иванъ Годиновичъ! возьми ты у меня, княжа, сто человѣкъ русскихъ могучихъ богатырей, у княгини ты бери другое сто, у себя, Иванъ, третье сто: поѣзжай ты о добромъ дѣлѣ—о сватаньѣ: честью не дастъ, ты и силой бери». Выпала пороша—поѣхалъ Иванъ съ дружиной на три звѣриные слѣда: сто человѣкъ посылалъ за гнѣдымъ туромъ; другое сто—за лютымъ звѣремъ; а третье сто—за дикимъ вепремъ; велѣлъ изымать ихъ бережно—безъ тоя раны кровавыя, и привесть ихъ въ Кіевъ градъ; а самъ онъ, Иванъ, поѣхалъ одинъ въ Черниговъ градъ. У Димитрія гостя богатаго сидятъ мурзы, улановья, по нашему сибирскому дружки словутъ, привезли они отъ царя платье цвѣтное на душку Настасью Дмитревну; а самъ онъ царь Афромей отъ Чернигова въ трехъ верстахъ стоитъ и съ нимъ силы три тысячи. Взялъ Иванушка Годиновичъ душку Настасью изъ-за занавѣсу бѣлаго за руку бѣлую, потащилъ онъ Настасью—лишь туфли звенятъ. Взговоритъ ему Дмитрій гость: «Гой еси, ты, Иванушка Годиновичъ! суженое пересуживаетъ, ряженое переряживаетъ; можно тебѣ взять не гордостью—веселымъ пиркомъ, свадебкой».—«Не могъ ты честью мнѣ отдать — нонѣ беру и не кланяюсь.»—Посадилъ Настасью съ собой на добра коня, переѣхалъ онъ девяносто верстъ и поставилъ тутъ свой бѣлъ шатеръ, изволилъ онъ, Иванъ, съ Настасьей опочивъ держать. Пересказали царю мурзы и улановья телячьимъ языкомъ вѣсточку нерадостную, а и тутъ царь закричалъ, заревѣлъ зычнымъ голосомъ; Иванъ предложилъ царю боротися — кому Настасья

Digitized by Google

достанется. Согнетъ онъ царя корчагою, опустилъ на сыру землю — царь лежитъ, свѣту не видитъ. Отошелъ Иванъ за кустикъ.....; а царь пропищалъ: «Думай, Настасья, не продумайся; за царемъ за мной быть—царицей слыть; за Иваномъ быть—холопкой слыть, избы мести, заходы скрести». А и снова борьба начинается—втапоры Настасья Ивана за ноги изловила—тутъ его двое и осилили. Привязалъ его царь за руки бѣлыя ко сыру дубу, сталъ съ Настасьей поигрывати, а назолу даетъ ему молодому Ивану Годиновичу. По его было талану добра молодца, прибѣжала перва высылка изъ Кіева, они срѣзали чембуры шелковые, его Ивана опрастывали. Говорилъ тутъ Иванушка Годиновичъ: «А и гой еси, дружина храбрая! Ихъ-то царей не бьютъ, не казнятъ, не бьютъ и не вѣшаютъ: поведите его ко городу Кіеву, ко великому князю Владиміру». А самъ онъ Иванъ остался во бѣломъ шатрѣ, сталъ жену учить. (Поученье Ивана есть повтореніе того, которое Добрыня дѣлалъ Маринѣ, съ слѣдующей разницей въ концѣ: «и этотъ языкъ мнѣ не надобенъ — говорилъ онъ съ царемъ невѣрнымъ и сдавался на его слова прелестныя».) Пріѣхавъ къ князю, Иванъ благодаритъ его за милость великую, что женилъ его на душкѣ Настасьѣ Дмитревнѣ. Услышавъ отъ Ивана о поученіи, втапоры князь веселъ сталъ, отпускалъ Вахромея царя, своего подданника, въ его землю загорскую: только его увидѣли, что обернется гнѣдымъ туромъ, поскакалъ далече къ чисто поле къ силѣ своей.

—

На пиру у князя Владиміра пригодились тутъ двѣ честныя вдовы—Чесовая жена и Блудова жена—обѣ жены богатыя, богатыя жены дворянскія. Промежу собой сидятъ, за прохладъ говорятъ. Сватала Блудова жена сына своего Гордена за дочь Чесовой жены, Авдотью Чесовичну. Втапоры Авдотья Чесовична (мать) осердилася, била ее по щекѣ, таскала по полу кирпищету, и при всемъ народѣ, при бесѣдѣ, вдову опозорила, и весь народъ тому смѣялися. Скоро пошла вдова Блудова ко своему двору; а идетъ она шатается; выбѣжалъ къ ней за ворота широкія Горденъ сынъ Блудовичъ; поклонился матушкѣ въ праву ногу: «Гой еси, матушка! что ты, сударыня, идешь закручинилася? Али мѣсто тебѣ было не по отчинѣ? али чарой зеленымъ виномъ обносили тебя?» Авдотья Блудовна жалобу приноситъ сыну своему Гордену Блудовичу; молодой Горденъ уклалъ спать свою родимую матушку: втапоры она была пьяная. И пошелъ Горденъ на дворъ къ Чесовой женѣ, сжималъ песку горсть цѣлую, бросилъ онъ по высокому терему, гдѣ сидитъ молода Авдотья Чесовична — полтерема сшибъ, виноградъ подавилъ. Втапоры Авдотья Чесовична бросилась будто бѣшеная изъ высокаго терема, пробѣжала мимо Гордена, ничего не говоря, на княженецкій дворъ своей родимой матушкѣ жаловатися. Втапоры пошелъ туда же и Горденъ—разсматривать вдову Чесову жену. Вдовины ребята съ нимъ заздорили, взяли Гордена пощипывати, надѣючись на свою родимую матушку. Горденъ имъ взмолится: «Не троните меня, молодцы! а меня вамъ убить, не корысть получить!» Они не послушались, онъ ихъ всѣхъ перебилъ, а было ихъ пять человѣкъ. Вдова Чесова посылала еще своихъ четырехъ сыновей убить Гордена, и только одинъ хотѣлъ было ударить его по уху—Горденъ вертокъ былъ: того онъ ударилъ о землю и до смерти ушибъ, а также и остальныхъ троихъ. Взялъ онъ, Горденъ, Авдотью Чесовичну за руки бѣлыя, да и повелъ ко Божьей церкви вѣнчатися; а поутру столъ собралъ, позвалъ князя со княгиней и молоду свою тещу, Авдотью Чесову жену.

Втапоры было Чесова жена загординилася, нехотя идти къ своему зятю; тутъ Владиміръ князь стольный кіевскій и со княгинеи стали ее уговаривати, чтобъ она-то больше не кручинилася, не кручинилася и не гнѣвалася,—и она тутъ ихъ послушалася, пришла къ зятю на веселый пиръ, стали пити, ясти, прохлаждатися.

—

Былъ пиръ у князя Владиміра. Князи и бояра пьютъ, ѣдятъ, потѣшаются, и великимъ княземъ похваляются; и только изъ нихъ одинъ бояринъ Ставръ Годиновичъ не пьетъ, не ѣстъ и при всей братіи не хвастаетъ, только наединѣ съ товарищемъ таковы рѣчи сказываетъ: «Что это за крѣпость въ Кіевѣ, у великаго князя Владиміра? У меня-де, Ставра боярина, широкій дворъ не хуже города Кіева, а дворъ у меня на семи верстахъ, а гридни, свѣтлицы бѣлодубовы, покрыты гридни сѣдымъ бобромъ, потолокъ во гриднихъ черныхъ соболей, полъ, середа одного серебра, крюки да пробои по булату злачены». Слуги вѣрные донесли о томъ князю Владиміру: приказалъ князь сковать Ставра боярина, посадить въ погреба глубокіе, дворъ его запечатати и молоду жену его взять ко двору. Перепала вѣсть нерадошна молодой женѣ Ставровой; скоро она наряжается и скоро убирается: скидывала съ себя волосы женскіе, надѣвала кудри черные, а на ноги сапоги зеленъ сафьянъ, и надѣвала платье богатое, богатое платье посольское, и называлась грозъ-

Digitized by Google

нымъ посломъ, Васильемъ Ивановичемъ, а и будто изъ дальней орды, золотой земли; отъ грозна короля Етмануйла Етмануйловича—братъ съ князя Владиміра дани невыплаты, не много не мало за двѣнадцать лѣтъ, за всякій годъ по три тысячи. А и тутъ больно князь запечалился: кидался, метался, то улицы метутъ, ельникъ ставили, передъ воротами ждутъ посла. Вывела княгиня князя за собой и во тѣ во подвалы, погреба, молвила словечко тихонько: «не о чемъ ты, осударь, не печалуйся; а не быть тому грозному послу Василью Ивановичу—быть Ставровой молодой женѣ Василисѣ Микулишнѣ; знаю я примѣты по женскому: она по двору идетъ, будто уточка плыветъ, а по горенкѣ идетъ—частенько ступаетъ, а на лавку садится—колѣнки жметъ; а и ручки бѣленьки, пальчики тоненьки, дюжины изъ перстовъ не вышли всѣ (??)». Втапоры князь употчивалъ посла до-ньяна, хочетъ его провѣдати, вызываетъ его боротися съ семью богатырями, и того послъ Василій не пятится, вышелъ онъ на дворъ боротися: первому борцу изъ плеча руку выдернетъ, а другому борцу ногу выломитъ, она третьяго хватила поперекъ хребта, ушибла его середи двора. А плюнулъ князь да и прочь пошелъ: «Глупая княгиня, неразумная! у тя волосы долги, умъ коротокъ: называешь ты богатыря женщиной—такого посла у насъ не было еще и видано». А княгиня стоитъ на своемъ; втапоры князь опять посла провѣдаетъ, вызываетъ его изъ туга лука стрѣлять со своими могучими богатырями. Отъ тѣхъ стрѣлочекъ каленыхъ и отъ той стрѣльбы богатырскія только старый дубъ шатается, будто отъ погоды сильныя. Посолъ отъ лука отказывался, есть-де у меня лучонко волокитный, съ которымъ я ѣзжу по чисту полю. Кинулись ея добры молодцы, подъ первый рогъ несутъ пять человѣкъ, подъ другой—столько же, а колчанъ каленыхъ стрѣлъ тащитъ тридцать человѣкъ. Вытягивала она лукъ за ухо, хлеснетъ по сыру дубу, изломила его въ черенья ножовые, и Владиміръ князь окорачь наползался, и всѣ тутъ могучіе богатыри встаютъ какъ угорѣлые. Плюнулъ Владиміръ князь, самъ прочь пошелъ, говорилъ себѣ таково слово: «Развѣ самъ Василья послѣ провѣдаю». Сталъ съ нимъ въ шахматы играть, три заступи заступовали и три заступи посолъ поигралъ, и сталъ требовать дани, выходы, невыплаты. Говоритъ Владиміръ князь: «Изволь меня, посолъ, взять головой съ женой». Посолъ спросилъ князя: «Нѣтъ ли у тебя, кому въ гусли поиграть?» Втапоры Владиміръ спохватился, велѣлъ расковать и привести Ставра боярина; втапоры посолъ скочилъ на рѣзвы ноги, посадилъ Ставра противъ себя въ дубову скамью. И зачалъ тутъ Ставръ поигрывати; съигришъ съигралъ Царя-града, танцы навелъ Іерусалима, величалъ князя со княгиней, сверхъ того игралъ еврейскій стихъ. Посолъ задремалъ и спать захотѣлъ, отказывался отъ даней, выходовъ и просилъ себѣ только весела молодца, Ставра боярина Годиновича; и поѣхалъ съ нимъ ко Днѣпрърѣкѣ, во свой бѣлъ шатеръ, а князь провожалъ его со княгиней. Говорилъ посолъ таково слово: «Пожалуй-де, осударь, Владиміръ князь, посиди до того часу, какъ я высплюся». Раздѣвался посолъ изъ своего платья посольскаго и убирался въ платье женское, притомъ говорилъ таково слово: «Гой еси, Ставръ, веселъ молодецъ! какъ ты меня не опознываешь? а доселева мы съ тобой въ свайку игрывали, у тебя ли была свайка серебряная, а у меня кольцо позолоченное, и ты меня поигрывалъ,—и я тебѣ толды, вселды». И втапоры Ставръ бояринъ догадается, скидываетъ платье черное, и надѣвалъ на себя посольское, и съ великимъ княземъ и со княгиней прощалися, отъѣзжали въ свою землю дальнюю.

—

Теперь намъ остается проститься съ ласковымъ Владиміромъ, Краснымъ-Солнышкомъ и со княгиней Апраксѣевной; въ поэмѣ, которой содержаніе мы готовимся изложить, они являются въ послѣдній разъ,—Владиміръ мелькомъ, Апраксѣевна—героиней, во всемъ апоѳеозѣ своей женственности, граціозности и нравственности.

—

Сорокъ каликъ съ каликою шли на поклоненіе въ Іерусалимъ изъ пустыни Ефимьевы, изъ монастыря Боголюбова, выбрали они себѣ большого атамана молода Касьяна, сына Михайловича, и положили они заповѣдь великую: кто что украдетъ или пустится на женскій соблазнъ, да не скажетъ атаману, того закопать по плеча въ сыру землю и во чистомъ полѣ одного оставить. Подъ Кіевомъ они встрѣтились съ Владиміромъ княземъ, а онъ, князь, охотился; завидѣли его калики перехожіе, становилися во единъ кругъ, клюки, посохи въ землю потыкали, а и сумочки исповѣсили, кричатъ калики зычнымъ голосомъ, дрогнетъ матушка сыра земля, съ дерева вершины попадали, подъ княземъ конь окорачился, а богатыри съ коней попадали, а Спиря сталъ поспиривати, а Сема сталъ посемывати, они-то ему князю Владиміру поклонилися, прошаютъ у него милостыню великую, а и чѣмъ бы молодцамъ душа спасти. Князь оговариваетъ, что съ нимъ на охотѣ ничего нѣту, и посылаетъ ихъ въ Кіевъ градъ, ко душѣ княгинѣ Апраксѣевнѣ; честна роду дочь королевича,

Digitized by Google

напоитъ, накормитъ она молодцовъ, надѣлитъ всѣмъ въ дорогу злата, серебра. Пришли калики, рявкнули, съ теремовъ верхи попадали, а съ горницъ охлопья попадали, въ погребахъ питья всколебалися; становились во единъ кругъ, прошаютъ милостыню великую у молоды княгини Апраксѣевны. Молода княгиня испужалася, а и больно она передрогнула, звала каликъ во гридни свѣтлыя: молода княгиня Апраксѣевна поджавъ ручки будто турчаночки, со своими нянюшки и матушки, со красными сѣнными дѣвушки, молодой Касьянъ сынъ Михайловичъ садился на мѣсто большого; отъ лица его молодецкаго, какъ-бы отъ солнышка отъ краснаго, лучи стоятъ великіе. Послѣ пиру хотятъ они калики во путь идти, а у молодой княгини Апраксѣевны не то на умѣ, не то въ разумѣ: шлетъ она Алешу Поповича атамана ихъ уговаривати, чтобъ не идти имъ сего дня и сего числа; зоветъ онъ Алеша Касьяна Михайловича ко княгинѣ Апраксѣевнѣ на долгіе вечеры посидѣти, забавны рѣчи побаити, а сидѣть бы наединѣ въ спальнѣ съ ней. Замутилось его сердце молодецкое—отказалъ онъ Алешѣ Поповичу. На то княгиня осердится, велѣла Алешѣ прорѣзать у Касьяна суму рыта бархата, запихать бы чарочку серебряну. Когда калики ушли, княгиня посылаетъ Алешу въ погонь за ними; у Алеши вѣжество нерожденное, онъ сталъ съ каликами задорити, обличаетъ ворами, разбойниками; не давалися калики въ обыскъ ему, поворчалъ Алеша и назадъ поѣхалъ. Втапоры Владиміръ князь пріѣхалъ въ Кіевъ градъ, со Добрыней Никитичемъ. Молода княгиня Апраксѣевна посылала Добрыню Никитича въ погонь за Касьяномъ Михайловичемъ; у Добрыни вѣжество рожденное и ученое — настигъ онъ каликъ въ чистомъ полѣ, вскочилъ съ коня, самъ челомъ бьетъ: «Гой еси, Касьянъ Михайловичъ! не наведи гнѣва на князя Владиміра, прикажи обыскать калики перехожіе, нѣтъ ли промежу васъ глупаго». Нигдѣ-то чарочка не явилася, у молода Касьяна пригодилася. Закопали атамана по плеча во сыру землю, едина оставили во чистомъ полѣ. Калики въ путь пошли, а Добрыня въ Кіевъ съ той чаркой серебряной. А съ того время часу захворала скорбью недоброй, слегла княгиня въ великое во гноище. Сходили калики въ Іерусалимъ градъ, святой святынѣ помолилися, Господню гробу приложилися, во Ерданѣ рѣкѣ искупалися, нетлѣнной ризой утиралися. На дорогѣ назадъ увидѣли молода Касьяна; онъ ручкой машетъ, голосомъ кричитъ, подаетъ онъ, Касьянъ, ручку правую; а они-то къ ручкѣ приложилися, съ нимъ поцѣловалися. Молодой Касьянъ выскакивалъ изъ сырой земли, какъ ясенъ соколъ изъ тепла гнѣзда, а всѣ они молодцы дивуются на его лицо молодецкое, а и кудри на немъ молодецкіе до самаго пояса: стоялъ Касьянъ въ землѣ шесть мѣсяцевъ. Пришедши въ Кіевъ, ко дворцу, стоятъ они калики по-тихохоньку. Касьянъ посылаетъ легкаго молодчика доложиться князю Владиміру: прикажетъ ли идти намъ пообѣдати; князь послалъ имъ поклонитися и звать ихъ. Касьянъ спрашиваетъ князя о княгинѣ; князь едва рѣчи выговорилъ: «Мы де ужо недѣлю-другу не ходимъ къ ней». Молодой Касьянъ тому не брезгуетъ, пошелъ со княземъ во спальню къ ней, а и князь идетъ, свой носъ зажалъ, молоду Касьяну то ничто ему, никакого духу онъ не вѣруетъ. Втапоры княгиня прощалася, что нанесла рѣчь напрасную. Молодой Касьянъ, сынъ Михайловичъ, а и дунулъ духомъ святымъ своимъ на младу княгиню Апраксѣевну — не стало у ней того духу-пропасти, оградилъ ее святой рукой, прощаетъ ея плоть женскую, захотѣлось ей — пострадала она, лежала въ сраму полгода. Затѣмъ пошелъ пиръ горой, калики въ путь наряжаются, а Владиміръ князь убивается. Молода княгиня Апраксѣевна вышла изъ кожуха какъ изъ пропасти: тутъ же къ нимъ къ столу пришла, молоду Касьяну поклоняется безъ стыда, безъ сорому, а грѣхъ свой на умѣ держитъ. Калики съ Касьяномъ собралися и въ путь пошли до своего монастыря Боголюбова и до пустыни Ефимьевы.

—

Эта поэма носитъ на себѣ характеръ легенды и замѣчательна по противорѣчію тона первой ея половины съ тономъ послѣдней: тамъ калики—сущіе сорванцы, «орутъ, рявкаютъ, прошаютъ милостыню», тутъ они—если нераціозны, мужиковаты, за то кротки и очестливы. Въ Касьянѣ выражена идея человѣка, освятившагося страданіемъ отъ неправаго наказанія; въ его великодушномъ поступкѣ съ Апраксѣевной есть что-то умиряющее душу. Только одна Апраксѣевна осталась въ своемъ прежнемъ характерѣ: молоду Касьяну покланяется безъ стыда, безъ сорому, а грѣхъ свой на умѣ держитъ...

—

По саду, саду, по зеленому, ходила, гуляла молода княжна Марѳа Всеславьевна: она съ камени скочила на лютого на змѣя; обвивается лютый змѣй около чебота зеленъ сафьянъ, около чулочика шелкова, хоботомъ бьетъ по бѣлу стегну. А втапоры княгиня поносъ понесла, а поносъ понесла и дитя родила; и на небѣ просвѣтя свѣтелъ мѣсяцъ, а въ Кіевѣ родился могучій богатырь, какъ-бы молодой Волхъ Всеславьевичъ: подро-

Digitized by Google

жала сыра земля, сострялося славно царство индійское, а и сине море сколебалося для ради рожденья богатырскаго, молода Волха Всеславьевича; рыба пошла въ морскую глубину, птица полетѣла высоко въ небеса, туры да олени за горы пошли, зайцы, лисицы по чащицамъ, а волки, медвѣди по ельникамъ, соболи и куницы по островамъ...

Это начало поэмы есть крайняя степень высоты, до какой только достигаетъ наша народная поэзія; это апоѳеоза богатырскаго рожденія, полная величія, силы и того размашистаго чувства, которому море по колѣно, и которое есть исключительное достояніе русскаго народа. Мы не будемъ пересказывать всей этой поэмы, потому-что не найдемъ въ ней, какъ и въ прежнихъ, никакого опредѣленнаго идеала народной фантазіи. Попрежнему это—что-то, силящееся стать образомъ, и все остающееся символомъ, сквозь произвольную и узорочную ткань котораго брезжится, какъ искра во тьмѣ, призракъ мысли, но никакъ не можетъ разгорѣться въ свѣтлое пламя. Волхъ—и богатырь, и колдунъ; оборотившись горностаемъ, онъ сбѣгалъ въ царство индійское—«у тугихъ луковъ тетивки накусывалъ, у каленыхъ стрѣлъ желѣзцы повынималъ, у того ружья, вѣдь у огненнаго кременья и шомполы повыдергалъ, и все онъ въ землю закопывалъ» *) Обернувшись яснымъ соколомъ, полетѣлъ къ своей дружинѣ хоробрыя, повелъ ее въ царство индійское—стѣна стоитъ; Волхъ оборотилъ своихъ молодцовъ мурашиками, велѣлъ имъ всѣхъ поголовно бить въ царствѣ индійскомъ, и только на сѣмя оставить по выбору семь тысячей душечки красны дѣвицы. Пришедши къ царю индійскому, Салтыку Ставрульевичу, говорилъ ему таково слово: «А и васъ-то царей не бьютъ, не казнятъ»; ухватя его, ударилъ о кирпищатъ полъ, расшибъ его въ крохи..... И тутъ Волхъ самъ царемъ насѣлъ, взявши царицу Азвяковну, молоду Елену Александровну, а и то его дружина хоробрая на тѣхъ дѣвицахъ переженилися.

—

Вообще идеалъ русскаго богатыря—физическая сила, торжествующая надъ всѣми препятствіями—даже надъ здравымъ смысломъ. Коли ужъ богатырь—ему все возможно, и противъ него ничто не устоитъ; объ стѣну лбомъ ударится—стѣна валится, а на лбу и шишечки нѣтъ. Героизмъ есть первый моментъ пробуждающагося народнаго сознанія жизни; а дикая животная сила, сила желѣзнаго кулака и чугуннаго черепа—первый моментъ народнаго сознанія героизма. Оттого у всѣхъ народовъ богатыри цѣлыхъ быковъ съѣдаютъ, баранами закусываютъ, а бочками сороковыми запиваютъ. Но народъ, въ жизни котораго развивается общее, идетъ далѣе,—и просвѣтлѣніе животной силы чувствомъ долга, правды и доблести есть второй моментъ его сознанія героизма. Наши народныя пѣснопѣнія остановились на первомъ моментѣ и дальше не пошли. И потому наши богатыри—тѣни, призраки, миражи, а не образы, не характеры, не идеалы опредѣленные. У нихъ нѣтъ никакихъ понятій о доблести и долгѣ, имъ всякая служба хороша, для нихъ всякая удаль—подвигъ: и цѣлое войско побить, и конемъ потоптать, и единымъ духомъ выпить полтора ведра зелена вина и турій рогъ меду сладкаго въ потретья ведра, и настрѣлять къ княженецкому столу гусей, бѣлыхъ лебедей, перелетныхъ малыхъ сѣрыхъ уточекъ, и стольничать, и приворотничать... А между тѣмъ въ этихъ неопредѣленныхъ, дикихъ и безобразныхъ образахъ есть уже начало духовности, которой не доставало только исторической жизни, чтобы возвыситься до мысли и возрасти до опредѣленныхъ образовъ, до полныхъ и прозрачныхъ идеаловъ: мы разумѣемъ эту отвагу, эту удаль, этотъ широкій размет души, которому море по колѣно, для котораго и радость, и горе—равно торжество, которое на огнѣ не горитъ, въ водѣ не тонетъ,—этотъ убійственный сарказмъ, эту простодушно язвительную иронію надъ жизнью, надъ собственной и чужой удалью, надъ собственной и чужой бѣдой, эту способность, не торопясь, не задыхаясь, воспользоваться удачей и такъ же точно поплатиться счастьемъ и жизнью, эту несокрушимую мощь и крѣпость духа, которыя—повторяемъ—есть какъ бы исключительное достоинство русской натуры... Русская поэзія, какъ и русская жизнь (ибо въ народѣ жизнь и поэзія—одно), до Петра Великаго была только тѣломъ, но тѣломъ, полнымъ избытка органической жизни, крѣпкимъ, здоровымъ, могучимъ, великимъ, вполнѣ способнымъ, вполнѣ достойнымъ быть сосудомъ необъятно великой души, но—тѣломъ, лишеннымъ этой души, и только ожидающимъ, ищущимъ ея... Петръ вдунулъ въ него душу живу—и замираетъ духъ при мысли о необъятно великой судьбѣ, ожидающей народъ Петра...

—

Собирался царь Саулъ Леопидовичъ за сине-море, въ дальню орду, въ Половецку землю—брать дани и невыплаты; прощался онъ съ царицей на двѣнадцать лѣтъ, оставлялъ ее черевасту и наказывалъ: буде дочь родится—воспоить, воскормить, за-

*) Явная прибавка самого собирателя, т. е. Кирши Данилова.

Digitized by Google

мужъ отдать, а любимаго зятя за нимъ послать; а будетъ сынъ родится—воспоить, воскормить и за нимъ послать. Родился у царицы сынъ Константинушко, растетъ не по днямъ, по часамъ, а который ребенокъ двадцати годовъ, онъ Константинушко семи годовъ. Присадила его матушка учиться: скоро ему грамота далася и писать научился. Сталъ онъ, Константинушко, по улицамъ похаживати, сталъ съ ребятами шутку шутить, не по-ребячью, а *творки творилъ не по-маленькимъ:* котораго возьметъ за руку, изъ плеча тому руку выломитъ; и котораго задѣнетъ за ногу, по.... ногу оторветъ прочь; и котораго хватитъ поперекъ хребта, тотъ кричитъ, ревetъ, окорачь ползетъ, безъ головы домой прійдетъ. Князи, бояра дивуются, и всѣ купцы богатые: что̀ это у насъ за уродъ растетъ?... Стали на него царицѣ жалобу творить, а царица стала его журить, бранить, а журить бранить, на умъ учить, смиренно жить.

(Онъ спрашиваетъ у матери, есть ли у него батюшка: мать разсказываетъ ему все дѣло; много царевичъ не спрашиваетъ: вышелъ на крылечко, закричалъ коня осѣдлать—да и былъ таковъ. На пути онъ перебилъ войско татарское — царя Кунгура Самородовича.)

И поѣхалъ Константинушко ко городу Угличу; онъ бѣгаетъ, скачетъ по чисту полю, хоботы метаетъ по темнымъ лѣсамъ, спрашиваетъ себѣ сопротивника, сильна могуча богатыря, съ кѣмъ побиться, подраться и поратиться. А углицки мужики были лукавые: городъ Угличъ крѣпко заперли, а сами со стѣны Константинушку обманываютъ: «Гой еси, удалый молодецъ! поѣзжай ты подъ стѣну бѣлокаменну, а и нѣту у насъ царя въ Ордѣ, короля въ Литвѣ; мы тебя поставимъ царемъ въ Орду, королемъ въ Литву». У Константинушки умокъ молодёшенекъ, зеленёшенекъ—сдавался на ихъ слова прелестныя: подъѣзжалъ онъ подъ стѣну, а мужики углицки крюки да багры закинули, и его молодца и съ конемъ подымали на стѣну высокую; связали да и засадили въ погреба глубокіе, запирали дверями желѣзными, засыпали хрящомъ пески мелкими. Царь Саулъ воротился въ свое царство Алыберское, узналъ, въ чемъ дѣло, поскакалъ въ Угличъ, а тѣ же мужики Угличи извощики, съ нимъ ѣхавши, разсказываютъ, какого молодца засадили, и примѣтки его повѣдаютъ. Царь упрекаетъ ихъ, что не спросили ни дядины, ни отчины, и посадили въ подвалы глубокіе—а онъ-де у Кунгура не мало силы перебилъ—можно за то вамъ его благодарити и пожаловати. Когда Саулу выдали его сына, онъ спросилъ заплечнаго мастера и приказалъ главныхъ мужиковъ въ Угличѣ казнити и вѣшати. Пріѣхалъ Саулъ съ сыномъ домой—ни пива у царя варить, ни вина курить, пиръ пошелъ на радостяхъ.

—

Слѣдующая пѣсня отличается какимъ-то поэтическимъ-унылымъ тономъ. Содержаніе ея состоитъ въ томъ, что добрый молодецъ, переѣхавъ чрезъ рѣку Сомородину, похаялъ ее; рѣка провѣщала ему человѣческимъ голосомъ, какъ бы душой красной дѣвицей, что онъ забылъ на томъ берегу два ножа булатные; когда онъ вновь переправлялся, рѣка Сомородина потопила его, отвѣчая на его мольбы, что не она топитъ его, молодца безвременнаго, а топитъ-де тебя похвальба твоя, пагуба. Вотъ начало этой наивной и грустной пѣсни:

«Когда было молодцу пора, время великое, честь, хвала молодецкая: Господь Богъ миловалъ, государь царь жаловалъ, отецъ, мать молодца у себя во любви держалъ, а и родъ, племя на молодца не могу насмотрѣтися; сосѣди, ближніе почитаютъ и жалуютъ; друзья и товарищи на совѣтъ съѣзжаются, совѣту совѣтовать, крѣпку думушку думати они про службу царскую и службу воинскую. Скатилась ягодка съ сахарнаго деревца, отломилась вѣточка отъ кудрявыя отъ яблони, остается добрый молодецъ отъ отца, сынъ отъ матери; а нынѣ ужъ молодцу безвременье великое: Господь Богъ прогнѣвался, государь-царь гнѣвъ возложилъ, отецъ и мать молодца у себя не въ любви держатъ, а и родъ, племя молодца не могутъ и видѣти; сусѣди, ближніе не чтутъ, не жалуютъ, а друзья товарищи на совѣтъ не съѣзжаются совѣту совѣтовать, крѣпку думушку думати про службу царскую и про службу воинскую; а нынѣ ужъ молодцу кручина великая и печаль не малая. Съ кручины-де молодецъ, со печали великія, пошелъ добрый молодецъ онъ на свой на конюшенной дворъ, бралъ добрый молодецъ онъ добра коня стоялаго... поѣхалъ доброй молодецъ на чужу, дальну сторону.»

Какъ гармонируетъ грустное окончаніе этой поэмы съ ея грустнымъ началомъ!...

И вотъ мы кончили весь циклъ собственно богатырскихъ сказокъ, чуждыхъ всякаго историческаго значенія. Теперь намъ слѣдуетъ приступить къ лучшему, благоуханнѣйшему цвѣту народныхъ поэмъ—поэмъ Великаго Новагорода, этого источника русской народности, откуда вышелъ весь бытъ русской жизни. Новогородскихъ поэмъ немного—всего четыре; но эти четыре стоятъ всѣхъ какъ по преимущественно-поэтическому достоинству, такъ и по существенности своего содержанія. Онѣ—ключъ къ объясненію всей народной русской поэзіи, равно какъ и къ объясненію характера быта русскаго.

IV.

Циклъ новгородскихъ поэмъ очень не обширенъ: ихъ всего четыре. Двѣ изъ нихъ

Digitized by Google

посвящены одному герою, другія двѣ—другому герою; слѣдовательно четыре поэмы воспѣваютъ только двухъ героевъ. Бѣдность поразительная! Но, вникнувъ въ ихъ духъ и содержаніе, мы увидимъ, что передъ ними бѣдна вся остальная сказочная поэзія; увидимъ міръ новый и особый, служившій источникомъ формъ и самаго духа русской жизни, а слѣдовательно, и русской поэзіи. Новгородъ былъ прототипомъ русской цивилизаціи и вообще формъ общественной и семейной жизни древней Руси. Все это яснѣе можно видѣть изъ новгородскихъ поэмъ; почему и приступаемъ немедленно къ изложенію ихъ содержанія, которое должно снабдить насъ данными для сужденій и выводовъ.

—

Во славномъ великомъ Новѣградѣ а и жилъ Буслай до девяноста лѣтъ; съ Новымъ городомъ жилъ, не перечился; со мужики новогородскими поперекъ словечка не говаривалъ. Живучи Буслай состарѣлся, состарѣлся и переставился; послѣ его вѣку долгаго оставалось его житье-бытье и все имѣніе дворянское; оставалось чадо милое—молодой сынъ Василій Буслаевичъ. Будетъ Василька семи годовъ, отдавала матушка родимая учить его во грамотѣ, а грамота ему въ наукъ пошла; присадила перомъ его писать, письмо Василію въ наукъ пошло; отдавала пѣтью учить церковному, пѣтье Василію въ наукъ пошло. А и нѣтъ у насъ такого пѣвца въ славномъ Новѣгородѣ супротивъ Василья Буслаева. Повадился вѣдь Васька Буслаевичъ со пьяницы, со безумницы, съ веселыми удалыми добры молодцы, допьяна ужъ сталъ напиватися, а и ходя въ городѣ уродуетъ: котораго возьметъ онъ за руку, изъ плеча тому руку выдернетъ; котораго задѣнетъ за ногу, то изъ... ногу выломитъ, котораго хватитъ поперекъ хребта, тотъ кричитъ, реветъ, окарачь ползетъ. Пошлато жалоба великая: а и мужики новогородскіе, посадскіе, богатые, приносили жалобу великую матерѣй вдовѣ Амелѣ Тимоѣевнѣ на того Василья Буслаева. А и мать то стала его журить, бранить, журить, бранить, его на умъ учить,—журьба Васькѣ не взлюбилася; пошелъ онъ, Васька, въ высокъ теремъ, садился на ременчатъ стулъ, писалъ ярлыки скорописчаты—отъ мудрости слово поставлено: «кто хощетъ ѣсть и пить изъ готоваго, валися къ Васькѣ на широкій дворъ—пей и ѣшь готовое и носи платье разноцвѣтное». А втапоры поставилъ Васька чанъ середи двора, наливалъ чанъ полонъ зелена вина, опущалъ онъ чару въ полтора ведра. Въ славномъ было во Новѣградѣ, грамотны люди шли, прочитали тѣ ярлыки скорописчаты, пошли къ Васькѣ на широкій дворъ, къ тому чану, зелену вину. Въ началѣ былъ Костя Новоторженинъ: Василій тутъ его опробовалъ—сталъ его бити по буйной головѣ червленымъ вязомъ во двѣнадцать пудъ; стоитъ тутъ Костя не шевельнется и на буйной головѣ кудри не тряхнутся. И назвалъ Васька его, Костю, своимъ братомъ названымъ—паче брата родимаго. А и мало время позамѣшкавши, пришли Лука и Моисей—дѣти боярскіе, а Василій молодой сынъ Буслаевичъ тѣмъ молодцамъ сталъ радошенъ и веселешенекъ. Пришли тутъ мужики Залѣшана (?)—и не смѣлъ Васька показатися къ нимъ. Еще тутъ пришло семь братовъ Сбродовичи—собиралися, сходилися тридцать молодцовъ безъ единаго,—онъ самъ Василій тридцатый сталъ. Какой зайдетъ—убьютъ его, убьютъ его, за ворота бросятъ. Послышалъ Василька у мужиковъ новогородскіихъ канунъ варенъ, пива ячныя; пошелъ Василій съ дружиною, пришелъ во братчину въ Никольщину. «Не малу мы тебѣ сыпь (?) платимъ: за всякаго брата по пяти рублевъ». А за себя Василій даетъ пядьдесятъ рублевъ. А и тотъ-то староста церковный принимаетъ ихъ во братчину въ Никольщину; а и зачали они тутъ канунъ варенъ пить, а тѣ-то пива ячныя.

Васька и его молодцы бросаются на царёвъ кабакъ,—и всѣ они возвращаются въ Никольщину добрѣ пьяны.

А и будетъ день къ вечеру; отъ малаго до стараго, начали ужъ ребята боротися, а въ иномъ кругу въ кулаки бьются; отъ тое борьбы ребячія, отъ того бою отъ кулачнаго началася драка великая; молодой Василій сталъ драку разнимать, а иной дуракъ зашелъ съ носка, его по уху оплёлъ; а и тутъ Василій закричалъ громкимъ голосомъ: «Гей еси ты, Костя Новоторженинъ, и Лука, Моисей, дѣти боярскіе! уже, Ваську, меня бьютъ».

Васькины молодцы пошли на выручку: много народу перебили до смерти, больше того переуродовали. Тогда Васька вызываетъ новогородскихъ мужиковъ на великій закладъ: «напущаюсь-де я на весь Новгородъ битися, дратися, со всей дружиной храброй»; если возьметъ сторона мужицкая, Васька платитъ мужикамъ дани, выходы, по смерть свою, на всякій годъ по три тысячи; буде же его сторона одолѣетъ—мужики платятъ ему такую же дань. И въ томъ договорѣ руки они подписали. Василій Буслаевъ началъ съ своими молодцами одолѣвать противниковъ; тогда мужики новогородскіе бросились съ дорогими подарками къ Васькиной матушкѣ: «Уйми-де свое чадо милое, Василья Буслаевича». Тутъ является на сцену совершенно новое и до крайности странное лицо—дѣвушка чернавушка. По приказанію Амелѳы

Digitized by Google

Тимоѳѣевны, прибѣжала дѣвушка чернавушка, сохватала Ваську за бѣлы руки, притащила его къ матушкѣ на широкій дворъ; а и та старуха не размышлена, посадила его въ погреба глубокіе, затворила дверьми желѣзными, запирала замки булатными. Между тѣмъ дружина Васькина бьется съ утра до вечера—и ей становится ужъ не въ мочь; увидѣвъ дѣвушку чернавушку, подошедшую на Волховъ за водой, молодцы взмолились ей: «Не подай насъ у дѣла ратнаго, у того часу смертнаго». И тутъ дѣвушка чернавушка бросала она ведро кленовое, брала коромысло кипарисово, коромысломъ тѣмъ стала она помахивати по тѣмъ мужикамъ новгородскіимъ; перебила ужъ много до смерти; и тутъ дѣвка запыхалася, побѣжала къ Василью Буслаеву, срывала замки булатные, отворяла двери желѣзныя: «А и спишь ли, Василій, или такъ лежишь? твою дружину храбрую мужики новгородскіе всѣхъ перебили, переранили, булавами буйны головы пробиваны». Ото сна Василій пробуждается, онъ выскочилъ на широкій дворъ,—не попала палица желѣзная, что попала ось телѣжная,—побѣжалъ Василій по Новугороду, по тѣмъ по широкимъ улицамъ; стоитъ тутъ старецъ пилигримища, на могучихъ плечахъ держитъ колоколъ, а вѣсомъ тотъ колоколъ во триста пудъ; кричитъ тотъ старецъ пилигримища: «А стой ты, Васька, не попархивай, молодой глуздырь, не полетывай: изъ Волхова воды не выпити, въ Новѣградѣ людей не выбити; есть молодцевъ супротивъ тебя, стоимъ мы, молодцы, не хвастаемъ». Говорилъ Василій таково слово: «А и гой еси, старецъ пилигримища! а и бился я о великъ закладъ со мужики новгородскими, опричь почестнаго монастыря, опричь тебя, старца пилигримища; во задоръ войду — тебя убью!» Ударилъ онъ старца въ колоколъ, а и той-то осью телѣжной,—качается старецъ, не шевельнется; заглянулъ онъ, Василій, старца подъ колоколъ, а и во лбѣ глазъ, ужъ вѣку нѣту! Пошолъ молодецъ по Волхъ рѣкѣ, завидѣли добрые молодцы молода Василья Буслаева,—у ясныхъ соколовъ крылья отросли, у нихъ-то молодцовъ думушки прибыло.

Мужики новогородскіе побиты—они покорилися и помирилися; насыпали чашу чистаго серебра, а другую чистаго золота; пошли ко двору дворянскому, къ матерѳй вдовѣ Амелѳѣ Тимоѳѣевнѣ, бьютъ челомъ, покланяются: «Осударыня матушка, принимай ты дороги подарочки, а уйми свое чадо милое, молода Василья со дружиною; а и рады мы платить на всякой годъ по три тысячи, на всякой годъ будемъ носить: съ хлѣбниковъ по хлѣбику, съ калачниковъ—по калачику, съ молодицъ—повѣнечное, съ дѣвицъ повалешное, со всѣхъ людей со ремесленныхъ, опричь поповъ и дьяконовъ»...

Амелѳа Тимоѳѣевна посылаетъ дѣвушку чернавушку привести Василья съ дружиной; бѣжавши, та дѣвушка запыхалася, нельзя пройти дѣвкѣ по улицѣ, что полтеи (?) по улицѣ валяются тѣхъ мужиковъ новогородскіихъ. Прибѣжала дѣвушка чернавушка, сохватала Василья за бѣлы руки, а стала ему разсказывати, что-де мужики новогородскіе принесли къ его матушкѣ дороги подарочки и записи крѣпкія. Повела дѣвка Василья со дружиной на тотъ на широкій дворъ, привела-то ихъ къ зелену вину, а сѣли они, молодцы, во единъ кругъ, выпили вѣдь по чарочкѣ зелена вина, со того уразу молодецкаго отъ мужиковъ новогородскихъ. Вскричатъ тутъ ребята зычнымъ голосомъ: «У мота и у пьяницы, у молода Василья Буслаевича, не упито, не уѣдено, вкраснѣ хорошо не ухожено, а цвѣтного платья не уношено, а увѣчье на вѣкъ залѣчено.—И повелъ ихъ Василій обѣдати къ матерѳй вдовѣ Амелѳѣ Тимоѳѣевнѣ; втапоры мужики новогородскіе приносили Василью подарочки, вдругъ *сто тысячей*,—и затѣмъ у нихъ мирова пошла; а и мужики новогородскіе покорилися и сами поклонилися.

—

Не говоря уже о томъ, что въ этой поэмѣ очень много—по крайней мѣрѣ сравнительно съ прежними—поэзіи и силы въ выраженіи,—въ ней есть еще не только мысль, но и что-то похожее на идею. Эту поэму должно понимать, какъ миѳическое выраженіе историческаго значенія и гражданственности Новагорода. Исторія Новагорода не могла дать содержанія для чисто-исторической поэмы; или, лучше сказать, государственная идея Новагорода не могла выразиться въ историческо-поэтической формѣ, и по необходимости должна была ограничиться смутными, неопредѣленными и дикими миѳическими полуобразами, очерками и намеками. Точность и опредѣленность—однѣ изъ главнѣйшихъ и необходимѣйшихъ качествъ и условій истинной поэзіи; но эти качества зависятъ отъ одного содержанія: чѣмъ содержаніе существеннѣе, дѣйствительнѣе, субстанціальнѣе, тѣмъ и форма точнѣе и опредѣленнѣе, образы яснѣе, живѣе и полнѣе. Всякая народная поэзія начинается миѳами, но и миѳы могутъ имѣть свою ясность; опредѣленность и, такъ сказать, прозрачность; только для этого необходимо, чтобъ выражаемое ими содержаніе было обще-человѣческое и заключало въ себѣ возможность дальнѣйшаго діалектическаго развитія, а слѣдовательно и возможность служить содержаніемъ для поэзіи, развившейся и возросшей до высшей сте-

Digitized by Google

пени своего совершенства — до художественности. Новогородская жизнь была какимъ-то зародышемъ чего-то повидимому важнаго; но она и осталась зародышемъ чего-то: чуждая движенія и развитія, она кончилась тѣмъ же, чѣмъ и началась—чѣмъ-то; а что-то никогда не можетъ дать опредѣленнаго содержанія для поэзіи и по необходимости должно ограничиться миѳическими и аллегорическими полуобразами и намеками. Новгородъ вѣроятно былъ колоніей южной Руси, которая была первоначальной и коренной Русью. Колоніи народовъ, находящихся на низкой степени гражданственности, всегда бываютъ цивилизованнѣе своихъ метрополій: онѣ составляются изъ самой предпріимчивой части народа, которая, переселившись на новую почву и подъ новое небо, поневолѣ отрѣшается отъ ограниченности прежняго быта, открываетъ новые источники жизни, указываемые новой страной, и, удерживая много отъ духа прежней родины, много и измѣняетъ въ своемъ характерѣ. Почва Новагорода бѣдная, болотистая, климатъ холодный; это обстоятельство, въ соединеніи съ сосѣдствомъ нѣмцевъ, и направило поневолѣ дѣятельность новогородцевъ на торговлю: по невозможности быть земледѣльцами, они оторвались отъ общаго славянскаго быта и сдѣлались купцами; сосѣдство же съ нѣмцами еще болѣе способствовало развитію ихъ предпріимчивости. Но, сдѣлавшись купеческимъ городомъ, Новгородъ не сдѣлался ни Венеціей, ни Амстердамомъ и ни однимъ изъ ганзеатическихъ городовъ, съ которыми онъ торговалъ. Равнымъ образомъ новгородцы, сдѣлавшись купцами, отнюдь не сдѣлались гражданами правильно организованной республики: у нихъ не было опредѣленнаго раздѣленія классовъ, не было ни малѣйшаго понятія о правѣ личномъ, общественномъ и торговомъ. Тамъ всѣ были купцами случайно, и торговали на авось да на удачу, по азіатски. Духъ европеизма всему опредѣлялъ значеніе, всему указывалъ мѣсто, все силился освободить отъ случайности и подвести подъ общія, неизмѣнныя и опредѣленныя условія необходимости, все подчинялъ системѣ, ремесло возвышалъ до искусства, изъ искусства дѣлалъ науку. Ничего этого не было и тѣни въ основахъ новогородской гражданственности. Внѣшнія обстоятельства были причиной ея возникновенія; внѣшнія обстоятельства и докончили ее. Безсиліе разъединенной Руси дало Новугороду укрѣпиться; а соединеніе Руси въ одну державу, безъ борьбы и особенныхъ усилій, ниспровергло его. И еслибъ Москва допустила существованіе Новагорода,—онъ палъ бы самъ собой и сталъ бы легкой добычей Польши или Швеціи. Что не развивается, то не живетъ, а что не живетъ, то умираетъ: таковъ общій законъ всѣхъ гражданскихъ обществъ. Въ Новѣгородѣ не было зерна жизни, не было развитія, а потому, повторяемъ, изъ него ничего не могло выйти, и онъ никогда не былъ органически-историческимъ обществомъ, у котораго бы могла быть исторія, а слѣдовательно и поэзія.

Но съ другой стороны нельзя не признать Новагорода весьма примѣчательнымъ явленіемъ, имѣвшимъ важное вліяніе даже на Московское царство. Торговля родила въ Новѣгородѣ богатство, богатство породило духъ какого-то самодовольствія, приволья, удальства, отваги, молодечества. Вслѣдствіе этого въ Новѣгородѣ образовался родъ какой-то странной и оригинальной гражданственности; явилась аристократія богатства, съ особенными формами жизни, своимъ церемоніаломъ, своими общественными нравами и обычаями, своей общественной и семейной нравственностью. Все это, вмѣстѣ взятое, сдѣлалось типомъ русскаго быта. Новгородъ былъ богатъ, силенъ и славенъ на Руси въ то время, когда Русь была бѣдна и безсильна, когда въ ней не было никакой общественности, никакой гражданственности, когда въ ней было не до прохлады, не до роскоши, не до удальства и разгула: ее терзали сперва междоусобія, потомъ—татары. Теперь очень понятно, что Новгородъ для тогдашней Руси былъ тѣмъ же, чѣмъ теперь Парижъ для Европы. Новгородъ былъ городомъ аристократіи, въ смыслѣ сословія, которое, много имѣя денегъ, много и тратило ихъ на свои прихоти: аристократія безъ денегъ нигдѣ и никогда не бывала, а если выскочекъ называютъ мѣщанами въ дворянствѣ, то бѣдныхъ аристократовъ должно называть дворянами въ мѣщанствѣ. Богатство родитъ множество нуждъ и прихотей, страсть къ удобству и уваженіе къ приличію, и если оно не въ состояніи возвысить душу, отъ природы низкую, всегда можетъ смягчить внѣшнюю грубость, дать душѣ большій просторъ и полетъ въ сферѣ житейскаго и общественнаго образованія, потому что богатство освобождаетъ человѣка отъ низкихъ нуждъ, заботъ и работъ жизни. И потому мы думаемъ, что русскій этикетъ, свадебные и другіе обряды образовались первоначально въ Новѣгородѣ и оттуда вмѣстѣ съ венеціанскими и нѣмецкими товарами разлились и распространились по всей Руси. Мы здѣсь разумѣемъ собственно сѣверную Русь, бѣдную и грубую, центромъ

Digitized by Google

которой былъ сперва Владиміръ на Клязьмѣ, а послѣ Москва. Сѣверная Русь рѣзко отдѣлилась отъ южной, превратившейся впослѣдствіи въ Малороссію; Червонная Русь, болѣе близкая къ Кіевско-Черниговской, также не имѣла ничего общаго съ сѣверной. Явно, что типъ общественнаго быта сѣверной Руси образовался и развился въ Новѣгородѣ. Лучшимъ доказательствомъ этому могутъ служить всѣ поэмы, въ которыхъ упоминается о великомъ князѣ Владимірѣ, и которыя мы разбирали въ предыдущей статьѣ: въ нихъ нѣтъ ничего, принадлежащаго и свойственнаго южно-русской поэзіи, въ нихъ нѣтъ ничего общаго ни въ изобрѣтеніи, ни въ колоритѣ съ «Словомъ о Полку Игоревѣ». Напротивъ, въ нихъ все новогородское: и изобрѣтеніе, и выраженіе, и тонъ, и колоритъ, и замашка, и наконецъ эти герои и богатыри изъ купцовъ, какъ Иванъ Гостинный сынъ и другіе. «Василій Буслаевъ»—явно новогородская поэма, въ этомъ не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія; но, сличивши эту поэму со всѣмъ цикломъ богатырскихъ сказокъ временъ Владиміра,—нельзя не увидѣть, что всѣ онѣ какъ будто бы сочинены однимъ и тѣмъ же лицомъ. Это показываетъ, что всѣ онѣ дѣйствительно сложены въ Новѣгородѣ, —и богатырскія сказки о Владимірѣ Краснымъ Солнышкѣ были не чѣмъ инымъ, какъ воспоминаніемъ новогородца о своей прежней родинѣ. Измѣнившись и выродившись, изъ земледѣльца или ратника южной Руси ставъ новогородскимъ купчиною, новогородецъ воскресилъ смутныя преданія о первобытной родинѣ по идеалу современнаго ему быта своей новой, настоящей отчизны. И потому изъ преданія онъ взялъ одни имена и нѣкоторые смутные образы,—и Владиміръ Красно-Солнышко является у него такимъже смутнымъ воспоминаніемъ, какъ и Дунай сынъ Ивановичъ, берега котораго тоже были нѣкогда его отчизной. Но Дунай и остался въ его пѣсняхъ миѳическимъ воспоминаніемъ; а Владиміръ великій князь Кіевскій стольный превратился, въ поэмахъ новогородца, въ какого-то купчину, гостя богатаго, и по рѣчамъ, и по манерамъ, и по складу ума. Отъ того же и княгиня Апраксѣевна, равно какъ и всѣ героини Киршевыхъ поэмъ, такъ похожи на купчихъ: ихъ иначе и нельзя представить, какъ въ жемчугахъ, съ повязанными головами, разбѣленныхъ, нарумяненныхъ, съ черными зубами и съ чарами зелена вина въ рукахъ; «онѣ по двору идутъ—будто уточки плывутъ, а по горенкѣ идутъ—частенько ступаютъ, а на лавицу садятся—колѣнцо жмутъ,—а и ручки бѣленьки, пальчики тоненьки, дюжина изъ перстовъ не вышли всѣ».

Но не по одному этому вліянію на Русь замѣчателенъ Новгородъ: онъ и самъ по себѣ есть интересное явленіе съ своимъ меньшимъ братомъ, Псковомъ. Это какой-то неразвившійся, но большой зародышъ чего-то, какая-то неудавшаяся, но размашистая попытка на что-то. По преобладанію восточнаго элемента, всѣ славянскіе народы являли собою одни зачатки жизни, которымъ не суждено было развиться изъ самихъ себя во что-нибудь дѣйствительное и опредѣленное собственной самодѣятельностью, не принявъ съ себя обще-человѣческихъ элементовъ европейскаго духа. Повторяемъ: Новгородъ былъ не республикой, а скорѣе карикатурой на республику. Ничѣмъ нельзя такъ хорошо охарактеризовать Новагорода, какъ его же собственнымъ прозваніемъ, простодушнымъ и безсознательнымъ, но мѣткимъ и вѣрнымъ: *новогородская вольница*. Гдѣ нѣтъ права и закона, нѣтъ развившихся изъ жизни государственныхъ постановленій — тамъ нѣтъ и свободы, нѣтъ гражданъ, а есть вольность и вольница, которыя, въ отношеніи къ личной безопасности и независимости членовъ общества, ничѣмъ не лучше азіатскаго деспотизма, если еще не хуже. Извѣстно, что вѣче «великаго господина Новгорода» часто оканчивалось кровавымъ самоуправствомъ невѣжественной черни, а спокойствіе города нерѣдко нарушалось самыми безсмысленными мятежами. Въ Новѣгородѣ не было представительности: толпа невѣжественная и дикая безусловно владычествовала на вѣчѣ; но Новгородъ былъ богатъ и зналъ это; новогородцы были полны отваги и удали, и говорили: «Кто противъ Бога и великаго Новагорода?» Святая Софія была покровительницей, и въ ея храмѣ хранилась грамота Ярослава. Новогородцы по своему любили Новгородъ и гордились имъ. Вѣчевой колоколъ—символъ ихъ политическаго значенія, былъ для нихъ дорогъ, и рыдая провожали они его въ Москву...

Новгородъ не былъ государствомъ, но въ немъ были зачатки государственной жизни,—и потому онъ былъ явленіемъ неопредѣленнымъ, страннымъ, *чѣмъ-то* и въ то же время *ничѣмъ*; это былъ инфузорій государственной жизни, но не государство. Проблескивало въ его жизни что-то и размашистое, и грандіозное, но только проблескивало и, мгновенно поразивъ зрѣніе, тотчасъ же исчезало, подобно миражамъ и блуждающимъ огнямъ...

Такова была историческая дѣйствительность Новагорода; такова и его поэзія: никакія лѣтописи, никакія историческія изысканія не могутъ такъ вѣрно выразить

Digitized by Google

смутнаго его существованія, какъ его поэзія. Начнемъ съ «Василія Буслаева»: это— апоѳеоза Новагорода, столь же поэтическая, удалая, размашистая, сильная, могучая и столь же неопредѣленная, дикая, безобразная, какъ и онъ самъ. Съ самаго начала поэмы вы видите существованіе въ Новѣгородѣ двухъ сословій — аристократіи и черни, которыя не совсѣмъ въ ладу между собой. Какъ-бы въ похвалу Буслаю, отцу Василья, говорится, что онъ «съ Новымъ-городомъ жилъ, не пѣречился, со мужики новогородскими поперекъ словечка не говаривалъ». Да и какъ не хвалить за это: изъ чего же и ссориться было этому благородному дворянину со мужики новогордскими? Въ Римѣ вражда между патриціями и плебеями была вражда основательная и разумная: первые возникли и образовались изъ племени завоевателей, вторые — изъ племени побѣжденнаго и завоеваннаго: вотъ первый исходный пунктъ вражды двухъ сословій. Далѣе: патриціи образовывали собою правительственную корпорацію; въ ихъ рукахъ была высшая государственная власть; они были полководцами и сенаторами, изъ нихъ преимущественно выбирались консулы и диктаторы; вообще сословіе патриціевъ пользовалось большими правами, которыя составляли часть коренныхъ государственныхъ законовъ, владѣли большими имѣніями, а народъ былъ бѣденъ правами и полями, ему предоставлено было только лить кровь за отечество и повиноваться его законамъ, Наконецъ патрицій считалъ себя существомъ высшимъ плебея и гнушался вступить съ нимъ въ родство или допустить его въ свое общество. Патрицій оскорблялъ плебея и самымъ превосходствомъ своимъ въ образованіи. Все это поддерживало борьбу, бывшую источникомъ римской исторіи и причиной ея колоссальнаго развитія. Но въ Новѣгородѣ дворянамъ и боярамъ не изъ чего было перечиться съ мужиками, а мужикамъ не изъ чего было враждовать противъ дворянъ и бояръ: при равенствѣ правъ, или совершенномъ отсутствіи правъ съ той и другой стороны, и при равенствѣ образованія, или при совершенномъ отсутствіи всякаго образованія съ той и другой стороны, тамъ только бѣдный могъ завидовать богатому, а не мужикъ дворянину, ибо тамъ и мужикъ могъ быть богаче боярина, и потому больше его имѣть вѣсу на вольномъ вѣчѣ. Но тутъ была безсмысленная спѣсь, которая основывалась не на превосходствѣ образованія, общественнаго или умственнаго, не на правѣ заслуги, а на пергаментныхъ грамотахъ: спѣсь съ одной стороны вызывала вражду съ другой; а какъ неважныя причины родятъ неважныя слѣдствія, то вражда и разрѣшалась кулачными боями и тѣлеснымъ увѣчьемъ. Василій Буслаевъ есть представитель аристократической партіи въ Новѣгородѣ: онъ человѣкъ превосходно образованный — умѣетъ читать, писать и пѣть: чего же больше?... Повадился онъ со пьяницы, со безумницы; но быль молодцу не укора, тѣмъ болѣе, что общественная нравственность Новагорода отнюдь не презирала этихъ господъ, ибо они были не только пьяницы, безумницы, но и «веселые, удалые добры молодцы». Костя Новоторженинъ долженъ быть не изъ дворянъ, а изъ купчинъ; выдержавъ экзаменъ Васьки, т. е. ударъ по головѣ червленымъ вязомъ во двѣнадцать пудъ, онъ дѣлается его братомъ названымъ: вотъ вамъ и символъ единства и родства высшаго и низшаго сословій въ политической организаціи Новагорода! Лука и Моисей — два боярченка; Василій особенно «сталъ радошенъ и веселешенекъ» ихъ приходу: это своя братія — аристократы... Но что за мужики Залѣшана, не разъ упоминаемые въ Киршевыхъ поэмахъ,—неизвѣстно; и почему Васька, никого не трусившій, не посмѣлъ имъ показаться, хотя они и пришли къ нему на дворъ, гдѣ онъ бесѣдовалъ за чаномъ зелена вина съ своей ватагой — тоже темно и неопредѣленно. Не менѣе загадочны и братья Сбродовичи, не разъ упоминавшіеся и въ прежнихъ поэмахъ: о нихъ, какъ и о мужикахъ Залѣшанахъ, можно сказать съ достовѣрностью только, что они — новогородцы. Что за братчина Никольщина, гдѣ на складчину пьютъ канунъ варенъ и пива ячныя — тоже загадка. Драка началась не изъ ссоры: побывавши въ кабакѣ, молодцы Василья начали «боротися, а въ иномъ кругу въ кулаки битися»; начали за здравіе, а свели за упокой, по русской коренной поговоркѣ; слѣдовательно не вражда между сословіями, а то, что руки расчесались и плечи расходились, произвело нецивилизованную драку. Вызовъ Васьки мужиковъ новогородскихъ на бой съ его дружиной о великъ закладъ прекрасно характеризуетъ новогородскую удаль и молодечество; въ его условіи съ ними, къ которому были «подписаны руки» съ обѣихъ сторонъ, промелькиваетъ коммерческая цивилизація Новагорода. Въ жалобѣ мужиковъ, приносимой къ матери Васьки, и скорой расправѣ матери съ сыномъ вполнѣ выражается патріархально-семейное основаніе гражданскаго быта того времени; а «дороги подарочки», представленные матерой вдовѣ Амелѣѣ Тимоѳеевнѣ при жалобѣ на сына, показываютъ ясно, что и въ новогородской республикѣ безъ «подарочковъ» никакая просьба не обходилась. «Дѣвушка

Digitized by Google

чернавушка» упоминается и въ нѣкоторыхъ другихъ русскихъ сказкахъ, слѣдовательно она должна имѣть какое-нибудь значеніе, но какое именно — нельзя понять. Для насъ эта «дѣвушка чернавушка», которая хватаетъ Ваську за бѣлы руки и, какъ ребенка, тащитъ въ погреба глубокіе, а потомъ кипарисовымъ коромысломъ побиваетъ мужиковъ новогородскихъ, сшибаетъ замки булатные, ломаетъ двери желѣзныя и освобождаетъ Василья, — для насъ она не имѣетъ никакого смысла. Замѣчательно, что эта «дѣвушка чернавушка» явно держитъ сторону Василья и его молодцевъ, и только въ качествѣ служанки его матери, обязанной повиноваться своей госпожѣ, дѣйствуетъ она противъ Василья. Встрѣча освобожденнаго изъ подвала Василья съ старцемъ-пилигримищемъ есть лучшее мѣсто въ поэмѣ. Этотъ старецъ-пилигримище есть поэтическая апоѳеоза Новагорода, поэтическій символъ его государственности. Старецъ держитъ на могучихъ плечахъ колоколъ въ триста пудъ; онъ холодно и спокойно, какъ голосъ увѣреннаго въ себѣ государственнаго достоинства, останавливаетъ рьяность Буслаева: «Изъ Волхова воды не выпити, въ Новѣгородѣ людей не выбити: есть молодцовъ супротивъ тебя, стоимъ мы, молодцы, не хвастаемъ». Въ отвѣтѣ Василья видны привилегіи духовнаго сословія и уваженіе Буслаева къ идеѣ Новагорода, однакоже побѣждаемое неукротимостью его молодечества: «Бился я о великъ закладъ со мужики новогородскими, опричь почестнаго монастыря, опричь тебя, старца-пилигримища: во задоръ войду — и тебя убью!» Васька ударяетъ телѣжной осью по головѣ старца: качается старецъ, не шевельнется; заглянулъ онъ, Василій, старца подъ колоколъ: «а и во лбѣ глазъ — ужъ вѣку нѣту»... Хоть слова качается и не шевельнется и кажутся противорѣчіемъ другъ другу, однако въ нихъ нѣтъ противорѣчія, а только неточность выраженія: слово «качается» должно относить къ колоколу, а «не шевельнется» — къ старцу, образу Новагорода. «А и и во лбѣ глазъ — ужъ вѣку нѣту» — указываетъ на мистическую древность историческаго существованія Новагорода.

Вообще этотъ образъ Новагорода дышетъ какой-то грандіозностью, силой и поэзіей; но въ то-же время онъ страненъ, дикъ, неопредѣленъ, — словомъ, самый вѣрный портретъ историческаго Новагорода, поэтическій инфузорій, огромный взмахъ безъ удара...

Теперь мы докончимъ исторію мота и пьяницы, молода Василья Буслаевича, пересказавъ содержаніе другой новогородской поэмы, представляющей Буслаевича въ новомъ положеніи.

—

Подъ славнымъ, великимъ Новымъ-городомъ, по славному озеру по Ильменю, плаваетъ, поплаваетъ сѣръ селезень, какъ бы ярый гоголь понываетъ: а плаваетъ, поплаваетъ червленъ корабль какъ бы молода Василья Буслаевича со его дружиною хораброю: Костя Никитинъ корму держитъ, маленькій Потаня на носу стоитъ, а Василій-то по кораблю похаживаетъ, таковы слова поговариваетъ: «Свѣтъ, моя дружина хоробрая, тридцать удалыхъ, добрыхъ молодцевъ! ставьте корабль поперекъ Ильменя, приставайте, молодцы, ко Новугороду!»

Вышедъ изъ корабля, Василій идетъ къ своей матушкѣ, матерой вдовѣ Амелѳѣ Тимоѳѣевнѣ, проситъ у нея благословенія великаго «идти въ Ерусалимъ градъ, Господу помолитися, святой святынѣ приложитися, во Ерданѣ рѣкѣ искупатися». Мать отвѣчаетъ: «Коли ты пойдешь на добрыя дѣла, тебѣ дамъ благословеніе великое; коли ты, дитя, на разбой пойдешь, я не дамъ благословенія великаго, а и не носи Василья сыра земля». Камень отъ огня разгорается, а булатъ отъ жару растопляется, материно сердце распущается; и даетъ она много свинцу, пороху, и даетъ Василью запасы хлѣбные, и даетъ оружье долгомѣрное. «Побереги ты, Василій, буйну голову свою».

Поѣхалъ Буслай со дружиной по Ильменю озеру во Ерусалимъ-градъ; плывутъ они уже другую недѣлю (какое огромное озеро!), встрѣчу имъ гости корабельщики: «Здравствуй, Василій Буслаевичъ! куда, молодецъ, поизволилъ погулять?» Отвѣчаетъ Василій Буслаевичъ: «Гой еси вы, гости корабельщики! А мое-то вѣдь гулянье неохотное: съ молоду бито много, граблено, подъ старость надо душу спасти; а скажите вы, молодцы, мнѣ прямого пути ко святому граду Іерусалиму». Корабельщики отвѣчаютъ, что если ѣхать прямымъ путемъ — то семь недѣль, а если окольной дорогой — полтора года; и что на славномъ Каспійскомъ морѣ, на Куминскомъ острову, стоитъ застава крѣпкая — атаманы казачіе; не много, не мало ихъ — три тысячи, грабятъ бусы, галеры (?), разбиваютъ червлены корабли.— «А не вѣрую я, Василька, ни въ сонъ, ни въ чохъ, а и вѣрую въ свой червленый вязъ; а бѣгите вы, ребята, прямымъ путемъ». И завидя Буслай гору высокую, скоро приставалъ ко круту бережку и походилъ на ту гору Сорочинскую, а за нимъ летитъ дружина хоробрая. Будетъ Василій въ полугорѣ, попадается ему пуста голова, человѣческая кость; пнулъ Василій тое голову съ дороги прочь; провѣщится пуста голова человѣче-

Digitized by Google

ская: «Гой еси, Василій Буслаевичъ! ты къ чему меня, голову, побрасываешь? Я, молодецъ, не хуже тебя былъ; умѣю я, молодецъ, валятися,—и гдѣ лежитъ пуста голова молодецкая, и будетъ лежать головѣ Васильевой». Плюнулъ Василій, прочь пошелъ: «Али, голова, въ тебѣ врагъ говоритъ, али нечистый духъ?»

На вершинѣ горы, на самой сопкѣ, стоитъ камень, а на немъ написано, что-де кто у каменя станетъ тѣшиться, забавлятися, вдоль скакать по камню—сломитъ буйну голову. Василій тому не вѣруетъ, и сталъ съ молодцами тѣшиться, забавлятися: поперекъ того каменю поскакивати, а вдольто его не смѣетъ скакать.

Наскакавшись вдоволь, молодцы ѣдутъ далѣе и достигаютъ заставы казачей; и скочилъ-то Буслай на крутъ бережокъ, червленымъ вязомъ подпирается. Атаманы сидятъ, не дивуются, сами говорятъ таково слово: «Стоимъ мы на острову тридцать лѣтъ, не видали страху великаго: это-де идетъ Василій Буслаевичъ; знать-де полетка соколиная, видать-де поступка молодецкая». Василій спрашиваетъ ихъ о пути въ Іерусалимъ, а они просятъ его «за единый столъ хлѣба кушати». Втапоры Василій не ослушался, садился съ ними за единый столъ, наливали ему чару зелена вина въ полтора ведра, принимаетъ Василій единой рукой и выпилъ чару единымъ духомъ, и только атаманы тому дивуются: а сами не могутъ и по полу-ведру пить. Когда Василій собрался въ путь, атаманы казачіе дали подарки свои: перву мису чиста серебра и другу красна золота, третью скатнаго жемчуга. Проситъ онъ у нихъ до Іерусалима провожатаго; тутъ атаманы Василію не отказали, дали ему молодца провожатаго. По Каспійскому морю молодцы прибѣжали прямо во Ерданъ-рѣку и пошли въ Ерусалимъ-городъ. Пришелъ Василій во церкву соборную, служилъ обѣдню за здравіе матушки и за себя, Василія Буслаевича; и обѣдню съ панихидой служилъ по родимомъ своемъ батюшкѣ и по всему роду своему; на другой день служилъ обѣдни съ молебнами про удалыхъ добрыхъ молодцовъ, что съ молоду бито много, граблено. И ко святой святынѣ приложился онъ, и во Ерданѣ-рѣкѣ искупался. И расплатился Василій съ попами, съ дьяконами, и которые старцы при церкви живутъ, даетъ золотой казны несчитаючи. Пошелъ онъ на червленъ корабль, а дружина-то хорабрая купалася во Ерданѣ-рѣкѣ; приходила къ нимъ баба залѣсная (?), говорила таково слово: «Почто вы купаетесь во Ерданѣ-рѣкѣ? А не кому купатися, опричь Василія Буслаевича,—во Ерданѣ крестился самъ Господь Іисусъ Христосъ; потерять его вамъ будетъ большого атамана, Василья Буслаевича». И они говорятъ таково слово: «Нашъ Василій тому не вѣруетъ ни въ сонъ, ни въ чохъ». И мало времени поизойдучи, пришелъ Василій ко дружинѣ своей; выводили корабли изъ Ерданъ-рѣки, подняли тонки паруса полотняны, побѣжали по морю Каспійскому. У острова Куминскаго атаманы казачіе Василію кланялись и «здорово-ли съѣздилъ во Ерусалимъ-градъ?» его спрашивали. Много Василій не баитъ съ ними, подалъ Василій письмо въ руку имъ, что много трудовъ за нихъ положилъ, служилъ обѣдни съ молебнами за нихъ молодцовъ. Ѣдутъ молодцы недѣлю-другую, доѣхали до горы Сорочинской, и Василью вздумалось опять потѣшиться, позабавиться, несмотря на вторичное злов'ѣщее предсказаніе головы. Только на этотъ разъ ему вздумалось поскакать вдоль каменю; разбѣжался, скочилъ вдоль по камени, и не доскочилъ только четверти, и тутъ убился подъ каменемъ. Гдѣ лежитъ пуста голова, тамъ Василья схоронили. Пріѣхавъ въ Новгородъ, молодцы пошли къ матерой вдовѣ, Амелеѣ Тимоѳѣевнѣ; пришли и поклонилися, всѣ письмо въ руки подали; прочитала письмо матерà вдова, сама заплакала, говорила таковы слова: «Гой вы еси, удалы добры молодцы! у меня нынѣ вамъ дѣлать нечего; подите въ подвалы глубокіе, берите золотой казны несчитаючи». Дѣвушка чернавушка сводила ихъ въ подвалы глубокіе, брали они казны по малу числу, кланялись матерой вдовѣ, что поила, кормила, обувала и одѣвала добрыхъ молодцовъ». Затѣмъ матерà вдова велѣла дѣвушкѣ чернавушкѣ наливать по чаркѣ зеленà вина, подносить удалымъ добрымъ молодцамъ: они выпили, сами поклонилися и пошли, кому куда захотѣлося.

—

Отпуская Буслаева, мать даетъ ему благословеніе только на добрыя дѣла, а за разбой заклинаетъ землю не носить его. Когда Василія корабельщики спрашиваютъ о цѣли поѣздки, онъ отвѣчаетъ: «А мнѣ-то вѣдь гулянье неохотное: съ молоду бито много, граблено, подъ старость надо душу спасти». Оставляя въ сторонѣ странное понятіе о возможности такъ легко сложить съ себя кровавыя преступленія, обратимъ вниманіе на самыя преступленія. Это не былъ разбой въ прямомъ смыслѣ: разбойникъ—тотъ, кого отвергло общество или кто самъ отвергся общества и принялся за ножъ, какъ за средство къ существованію, кто рѣжетъ и грабитъ съ полнымъ сознаніемъ преступности подобнаго промысла. Не таковъ нашъ Василій Буслаевичъ: какъ ни важны его преступленія, но они только шалости, плодъ не-

Digitized by Google

вѣжественнаго понятія о молодецкой удали и широкомъ размётѣ души. Такое дурное проявленіе бурнаго бушеванья крови и неукротимой рьяности души есть порожденіе полудикой гражданственности, лишенной всякаго духовнаго движенія и развитія. Сильная натура непремѣнно требуетъ для себя широкаго, размашистаго круга дѣятельности. И потому, лишенная нравственной сферы, она бѣшено и дико бросается въ безумное упоенье удалой жизни, разрываетъ, подобно паутинѣ, слабую ткань общественной морали. Въ Римѣ сильная натура являлась въ колоссальныхъ образахъ Коклесовъ, Сцеволъ, Коріолановъ, Гракховъ; въ Новѣгородѣ она могла являться только въ образѣ буйныхъ и дикихъ Буслаевичей и Костей Никитичей. Сама общественная нравственность того времени видѣла только молодечество и удальство въ томъ, что въ другихъ странахъ было буйствомъ и разбойничествомъ. Новгородцы цѣлыми шайками отправлялись въ Пермь и Вятку, рѣзали, жгли и грабили по Камѣ. На нихъ жаловались московскимъ царямъ, — и они иногда являлись съ повинной головой, какъ черезчуръ задурившіеся удальцы, а не какъ воры и разбойники. Ихъ вызывали на подобные подвиги не бѣдность, не нищета, не развратъ и кровожадность, а жажда какой бы то ни было дѣятельности, лишь бы сопряженной съ опасностями, отвагой и удалью. Новгородъ можно смѣло назвать гнѣздомъ русской удали. Дурно направленная сила души дурно и дѣйствуетъ, а хорошо направленная и дѣйствуетъ, хорошо; но срамъ и горе народу, у котораго нѣтъ того, что бы могло дурно или хорошо быть направляемо! И потому Васька Буслаевъ, «мотъ и пьяница», право, былъ лучше многихъ тысячъ людей, которые тихо и мирно проживали вѣкъ свой: онъ былъ мотомъ и пьяницей отъ избытка душевнаго огня, лишеннаго истинной пищи; а тѣ жили тихо и мирно по недостатку силы. Замѣтьте, что Буслаевичъ говорилъ слова: «съ молоду бито много, граблено», какъ будто мимоходомъ, безъ поясненій, безъ сентенцій, безъ самообвиненія, а какъ будто съ какимъ-то хвастовствомъ; и можно поручиться, что гости корабельщики выслушали его безъ удивленія, безъ ужаса, но съ той улыбкой, съ какой пожилой человѣкъ выслушиваетъ любовныя похожденія юноши, вспоминая о своихъ собственныхъ во время оно. Да и почему не пошалить, если поѣздка въ Іерусалимъ могла загладить всѣ шалости... И Буслаевичъ поѣхалъ совсѣмъ не смиреннымъ пилигримомъ — удальство и молодечество заглушаютъ въ немъ всякое другое чувство, если только было что заглушить въ немъ... Узнавъ, что прямая дорога сопряжена съ опасностью, онъ выбираетъ ее, говоря, что «не вѣруетъ онъ, Васинька, ни въ сонъ, ни въ чохъ, а вѣруетъ въ свой червленый вязъ». Не доѣзжая до казачей заставы, онъ видитъ гору: ему надо побывать на ней—а зачѣмъ?— да такъ, изъ удали. Роковое предвѣщаніе мертвой головы и надпись на камнѣ не только не отвращаютъ его отъ безумнаго желанія «тѣшиться, забавлятися, поперекъ того каменю поскакивати», но вызываютъ на эту потѣху. Что такое эта Сорочинская гора, мертвая голова и камень съ надписью, и почему можно было скакать только поперекъ его, а не вдоль,—все это имѣетъ смыслъ развѣ того пошлаго мистицизма, который видитъ таинственное и глубокое во всемъ, что, за отсутствіемъ здраваго смысла, непонятно разсудку. Скачи поперекъ, а вдоль не скачи: это такъ нелѣпо, что простому, неразвитому размышленіемъ и наукой уму непремѣнно должно было показаться необыкновенно таинственнымъ и глубоко знаменательнымъ, подобно мистическимъ числамъ семь, девять, двѣнадцать, подобно молодому мѣсяцу съ лѣвой стороны, зайцу, перебѣжавшему дорогу, и другимъ предразсудкамъ старыхъ бабъ. Замѣчательно впрочемъ, что, несмотря на прямой путь изъ Ильменя въ Каспійское море и изъ него прямо въ рѣку Іорданъ, есть въ поэмѣ и признаки географической достовѣрности: на вершинѣ Сорочинской горы находится сопка — явленіе, возможное на юго-западномъ берегу Каспійскаго моря.

Страхъ, а вслѣдствіе его и уваженіе, обнаруженные казаками къ герою поэмы, указываютъ на славу Василья Буслаева, какъ удальца изъ удальцовъ, какъ человѣка, съ которымъ плохи шутки. Баба залѣсная, которая предсказываетъ купающейся въ Ерданѣ дружинѣ Василья о гибели его,—одно изъ тѣхъ чудовищныхъ порожденій лишенной всякаго содержанія фантазіи, которыми особенно любитъ щеголять русская народная поэзія. Смерть Василья выходитъ прямо изъ его характера, удалого и буйнаго, который какъ бы напрашивается на бѣду и гибель. Слова матери Василья къ его осиротѣлой дружинѣ не отличаются особенной материнской нѣжностью; однако видна истинная грусть по безвременно погибшемъ сынѣ въ выраженіи: «у меня нынѣ вамъ дѣлать нечего». Есть также что-то глубоко грустное въ умѣренности молодцовъ Василья, которые «брали казны по малу числу», они были и сильны, и могучи, и удалы, и веселы только съ своимъ лихимъ предводителемъ, а безъ него на что имъ и золота казна! При немъ они составляли дружину и братчину, а безъ него — «пошли добры молодцы, кому куда захотѣлося»... Такъ бываетъ не въ однѣхъ

Digitized by Google

сказкахъ, такъ бываетъ и въ дѣйствительности: сильный и богатый дарами природы духъ собираетъ вокругъ себя кружокъ людей, способныхъ понимать его, и соединяетъ ихъ между собой союзомъ братства; но нѣтъ его—и осиротѣлый кругъ, лишенный своего центра, распадается самъ собой...

Теперь мы должны перейти къ другому герою, по преимуществу новогородскому. Это уже не богатырь, даже не силачъ и не удалецъ въ смыслѣ забіяки и человѣка, который никому и ничему не даетъ спуску, который, подобно Васинькѣ Буслаевичу, не вѣруетъ ни въ сонъ, ни въ чохъ, а вѣруетъ въ свой червленый вязъ; это и не бояринъ, не дворянинъ: нѣтъ, это сила, удаль и богатырство денежное, это аристократія богатства, пріобрѣтеннаго торговлей, — это купецъ, это апоѳеоза купеческаго сословія.

—

По славной матушкѣ Волгѣ-рѣкѣ а гулялъ Садко молодецъ тутъ двѣнадцать лѣтъ; никакой надъ собою притки и скорби Садко не вѣдывалъ, а все молодецъ во здоровьи пребывалъ. Захотѣлось молодцу побывать въ Новѣгородѣ, отрѣзалъ хлѣба великій сукрой, а и солью насолилъ, его въ Волгу опустилъ: «А спасибо тебѣ, матушка Волга-рѣка! А гулялъ я по тебѣ двѣнадцать лѣтъ, никакой я притки, скорби не видывалъ надъ собой, и въ добромъ здоровьи отъ тебя отошелъ; а иду я, молодецъ, въ Новгородъ побывать». Проговоритъ ему матка Волга-рѣка: «Гой еси, удалой добрый молодецъ! когда пріѣдешь ты во Новгородъ, а стань ты подъ башню проѣзжую, поклонися отъ меня брату моему, а славному озеру Ильменю». Правилъ Садко Ильменю-озеру челобитье великое: «А и гой еси, славный Ильмень-озеро! сестра тебѣ, Волга, челобитье посылаетъ двою» (?). Приходилъ тутъ отъ Ильмень-озера удалой добрый молодецъ и спрашивалъ Садку: «Гой еси, съ Волги удалъ молодецъ! какъ-де ты Волгу-сестру знаешь мою?» А и тотъ молодецъ Садко отвѣтъ держитъ. «Что-де я гулялъ по Волгѣ двѣнадцать лѣтъ, съ вершины знаю и до устья ее, а и нижняго царства Астраханскаго». А и сталъ тотъ молодецъ наказывати, который посланъ отъ Ильмень-озера, чтобъ Садко просилъ бошлыковъ закинуть въ Ильмень три невода: будетъ-де ему, Садкѣ, Божья милость». Первый неводъ къ берегу пришелъ: и тутъ въ немъ рыба бѣлая, бѣлая вѣдь рыба мелкая; и другой-то вѣдь неводъ къ берегу пришелъ: въ томъ-то рыба красная; а и третій неводъ къ берегу пришелъ: въ томъ-то вѣдь рыба бѣлая, бѣлая рыба въ три четверти. Перевозился Садко молодецъ на гостиный дворъ съ тою рыбою ловленою, навалилъ ею три погреба глубокіе, запиралъ тѣ погребы накрѣпко, ставилъ караулъ на гостиномъ на дворѣ и давалъ тѣмъ бошлыкамъ за труды ихъ сто рублевъ. А не ходитъ Садко на тотъ на гостиный дворъ по три дни, на четвертый день погулять захотѣлъ; заглянетъ онъ въ первый погребъ—котора была рыба мелкая, что-то вѣдь стали деньги дробныя; заглянулъ онъ въ другой погребъ: гдѣ была рыба красная—очутились у Садки червонцы лежатъ; въ третьемъ погребу, гдѣ была рыба бѣлая—а и тутъ у Садки все монеты лежатъ. Втапоры Садко купецъ, богатый гость, сходилъ онъ на Ильмень-озеро, а бьетъ челомъ поклоняется: «Батюшко мой, Ильмень-озеро! поучи меня жить въ Новѣгородѣ». Ильмень даетъ ему совѣтъ поводиться съ людьми со таможенными, да позвать молодцовъ посадскихъ людей, а станутъ-де тя знать и вѣдати. Позвалъ къ себѣ Садко людей таможенныхъ и сталъ водиться съ людьми посадскими. Сходилися мужики новогородскіе, у того ли Николы Можайскаго, во братчину Никольщину, пить канунъ, пива ячныя; Садко билъ челомъ, поклоняется принять его во братчину Никольщину, сулитъ имъ заплатить сыпь не малую и даетъ имъ пятьдесятъ рублевъ. Когда молодцы напивались до пьяна, а и съ хмелю тутъ Садко захвастался: велитъ припасать товаровъ въ Новѣгородѣ, онъ-де тѣ товары всѣ выкупитъ, не оставитъ ни на денежку, ни на малу разну полушечку: а не то—заплатитъ казны имъ сто тысячей. И ходитъ Садко по Новугороду, выкупаетъ всѣ товары по вольной цѣной, не оставилъ ни на денежку, ни на малу разну полушечку. Вложилъ Богъ желанье въ ретиво сердце: а и шедъ Садко Божій храмъ соорудилъ, а и во имя Стефана архидьякона: кресты, маковицы золотомъ золотилъ, онъ мѣстны иконы изукрашивалъ, изукрашивалъ иконы, чистымъ жемчугомъ усадилъ, царскія двери вызолачивалъ. На второй день онъ опять выкупилъ всѣ товары въ Новѣгородѣ и соорудилъ церковь во имя Софіи премудрыя. По третій день по Новугороду товару больше стараго, всякіихъ товаровъ заморскіихъ: онъ выкупилъ товары въ половину дня и соорудилъ Божій храмъ во имя Николы Можайскаго. А и ходитъ Садко по четвертый день, ходилъ Садко по Новугороду, а и цѣлой день онъ до вечера не нашелъ онъ товаровъ въ Новѣгородѣ ни на денежку, ни на малу разну полушечку. Зайдетъ Садко онъ во темный въ рядъ, и стоятъ тутъ черепаны, гнилые горшки, а всѣ горшки уже битые; онъ самъ Садко усмѣхается, даетъ деньги за тѣ горшки, самъ говоритъ таково слово: «Пригодятся ребятамъ черепками играть, поминать Садку гостя богатаго, что не я Садко богатъ—

Digitized by Google

богатъ Новгородъ всякими товарами заморскими, и тѣми черепанами, гнилыми горшки!»

—

Въ этой поэмѣ ощутительно присутствіе идеи: она есть поэтическая апоѳеоза Новагорода, какъ торговой общины! Садко выражаетъ собой безконечную силу, безконечную удаль; но эта сила и удаль основаны на безконечныхъ денежныхъ средствахъ, пріобрѣтеніе которыхъ возможно только въ торговой общинѣ. Русскій человѣкъ во всемъ удалъ и во всемъ любитъ хвастнуть своей удалью. У насъ и теперь всякій проживаетъ вдвое больше того, что получаетъ: исключенія рѣдки. Садко выкупаетъ товары въ Новѣгородѣ не по разсчету, не по нуждѣ, а потому что онъ расходился, и ему море по колѣно. Онъ хочетъ насладиться чувствомъ своего золотого могущества: черта чисто-русская! Русскій человѣкъ любитъ похвастаться чѣмъ Богъ послалъ: и кулакомъ, и плечами, и рѣчами, и безумной удалью, которая можетъ стоить ему жизни. Что же до денегъ, извѣстное дѣло, что у него послѣдняя копѣйка ребромъ. Копитъ онъ иногда деньгу цѣлый годъ, живетъ скрягой, во всемъ себѣ отказываетъ—и для чего все это?—чтобъ подъ веселый часъ все разомъ спустить. Когда расходится,—онъ добръ и тароватъ: вали къ нему на дворъ званый и незваный, пей и ѣшь, сколько душѣ угодно, нейдетъ въ душу—лей и бросай на полъ. Тутъ онъ уже и не торгуется,—даетъ безъ счету, сколько руки захватили; а завтра—хорошо, если осталось, чѣмъ опохмелиться, а тамъ опять на постъ и на лишенія, иногда безъ раскаянія, безъ сожалѣнія, безъ вздоховъ и оховъ, а чаще всего съ жалобами на горькую участь свою,—все это до новаго праздника.

Но Садко обязанъ своимъ богатствомъ не себѣ, а Волгѣ да Ильменю, да Новугороду Великому. Волга прислала съ нимъ поклонъ брату своему Ильменю; Ильмень разговариваетъ съ Садкой въ видѣ удалого добраго молодца: въ этомъ олицетвореніи есть мысль: рѣки и озера судоходныя—божества торговыхъ народовъ. Превращеніе рыбы въ деньги—тоже не безъ смысла; это языкъ поэзіи, выразившій собой прозаическое понятіе о выгодномъ торговомъ оборотѣ. Садко выкупилъ всѣ товары въ Новѣгородѣ; остались только битые горшки—и тѣ надо скупить: пусть играютъ ребятишки, да поминаютъ Садку гостя богатаго. Новгородъ униженъ, оскорбленъ, опозоренъ въ своемъ торговомъ могуществѣ и величіи: частный человѣкъ скупилъ всѣ его товары, и все остался богатъ, а товаровъ больше нѣтъ... Но этотъ Садко сталъ такъ богатъ, благодаря Новугороду же,—и потому пусть ребятишки играютъ битыми черепками, да поминаютъ Садку гостя богатаго, «что не Садко богатъ — богатъ Новгородъ всякими товарами заморскими и тѣми черепанами, гнилыми горшки»...

И такъ, Садко великъ и полонъ поэзіи не самъ по себѣ, но какъ одинъ изъ представителей Великаго Новагорода, въ которомъ всего много, все есть—отъ драгоцѣннѣйшихъ заморскихъ товаровъ до битыхъ черепковъ. Послѣднія приведенныя нами слова удивительно замыкаютъ собой поэму, даютъ ей какое-то художественное единство и полноту, дѣлаютъ осязательно ясной скрытую въ ней идею. Вся поэма проникнута необыкновеннымъ одушевленіемъ и полна поэзіи. Это одинъ изъ перловъ русской народной поэзіи.

Послѣдняя новогородская поэма едва ли уступаетъ въ поэтическомъ достоинствѣ этой. Въ ней опять два героя: одинъ видимый — Садко, другой, невидимый — Новгородъ, но уже не самъ собой, а своими божествами-покровителями—морями, озерами и рѣками, особенно той, которая поила его изъ своихъ береговъ. Всѣ эти моря, озера и рѣки олицетворены въ поэмѣ и являются поэтическими личностями, что придаетъ поэмѣ какой-то фантастическій характеръ, столь вообще чуждый русской поэзіи и тѣмъ болѣе здѣсь поразительный.

—

Плывутъ по синему морю тридцать кораблей, единъ соколъ корабль самого Садки гостя богатаго. Всѣ корабли что соколы летятъ, а соколъ Садкинъ корабль на морѣ стоитъ. Садко велитъ своимъ ярыжкамъ, людямъ наемнымъ, подначальнымъ, рѣзать жеребья валжены и бросить ихъ на сине море, которы-де по верху плывутъ, а и тѣ бы душеньки правыя, а которы въ морѣ тонутъ, тѣхъ-то спихнемъ-де мы во сине море. Садко кинулъ хмелево перо со своей подписью: а всѣ жеребья по морю плывутъ, кабы яры гоголи по заводямъ; единъ жеребій въ морѣ тонетъ—въ морѣ тонетъ хмелево перо самого Садки гостя богатаго. Садко велитъ рѣзать жеребья вѣтляныя; которы-де жеребья потонутъ, а то-бы душеньки правыя. Самъ онъ бросаетъ жеребій булатный въ десять пудъ. И всѣ жеребьи во морѣ тонутъ, единъ жеребій по верху плыветъ—самого Садки гостя богатаго. Говоритъ тутъ Садко купецъ, богатый гость: «Вы ярыжки—люди наемные, а наемны люди подначальные! Я, Садъ-Садко, знаю, вѣдаю: бѣгаю по морю двѣнадцать лѣтъ, тому царю заморскому не платилъ я дани, пошлины, и во то сине море Хвалынское хлѣба съ солью не опускивалъ,—по меня Садку

Digitized by Google

смерть пришла. И вы, купцы, гости богатые, а вы, цѣловальники любимые, а и всѣ прикащики хорошіе, принесите шубу соболиную». И скоро Садко наряжается, беретъ онъ гусли звончаты со хороши струны золоты, и беретъ онъ шахматницу золоту со золоты тавлеями. На золотой шахматницѣ поплылъ Садко по синю морю. Всѣ корабли по морю пошли, и Садкинъ корабль что кречетъ бѣлъ летитъ. Отца, матери молитвы великія, самого Садки гостя богатаго: подымалася погода тихая, прибила Садку къ крутому берегу. Пошелъ Садко подлѣ синя моря, нашелъ онъ избу великую, а избу великую—во все дерево, нашелъ онъ двери—и въ избу вошелъ. И лежитъ на лавкѣ царь морской: «А и гой еси ты, купецъ, богатый гость? А что душа радѣла, того Богъ мнѣ далъ, и ждалъ Садку двѣнадцать лѣтъ, а нынѣ Садко головой пришелъ; поиграй, Садко, въ гусли ты звончаты». Сталъ Садко царя тѣшити, а царь морской зачалъ скакать, плясать; и того Садку напоилъ питьями разными — развалялся Садко, и пьянъ онъ сталъ, и уснулъ Садко купецъ, богатый гость. А во снѣ пришелъ святитель Николай къ нему, говоритъ ему таковы слова: «Гой еси ты, Садко купецъ, богатый гость! А рви ты своя струны золоты и бросай ты гусли звончаты: расплясался у тебя царь морской, а сине море всколебалося, а и быстрыя рѣки разливалися, топятъ много бусы, корабли, топятъ души напрасныя того народу православнаго». Бросилъ Садко гусли звончаты, изорвалъ струны золоты; пересталъ царь морской скакать и плясать: утихло море синее, утихли рѣки быстрыя. Поутру царь морской сталъ уговаривать Садку женитися и привелъ ему тридцать дѣвицъ; а Никола ему во снѣ наказывалъ, чтобъ не выбиралъ онъ хорошей, бѣлыя, румяныя, а взялъ бы дѣвушку поваренную, котора хуже всѣхъ. Садко думался, не продумался, и взялъ дѣвушку поваренную; царь морской положилъ Садку съ новобрачной въ подклетѣ спать, а Никола святой во снѣ Садкѣ наказывалъ не обнимать и не цѣловать жены. Съ молодой женой Садко на подклетѣ спитъ, свои рученьки ко сердцу прижалъ; со полуночи ногу лѣву накинулъ онъ въ просоньи на молоду жену; ото сна Садко пробуждался: «онъ очутился подъ Новымъ-городомъ, а лѣвая нога въ Волхъ-рѣкѣ»...

Взглянулъ Садко на Новгородъ, узналъ онъ церкву, приходъ свой, того Николу Можайскаго, перекрестился онъ крестомъ своимъ. И глядитъ Садко: по Волхъ-рѣкѣ, отъ того синя моря Хвалынскаго, по славной матушкѣ Волхъ - рѣкѣ, бѣгутъ, побѣгутъ тридцать кораблей, единъ корабль самого Садки гостя богатаго. И встрѣчаетъ Садко купецъ, богатый гость, цѣловальниковъ любимыхъ, и со всѣхъ кораблей въ таможню положилъ казны своей сорокъ тысячей—по три дни не осматривали.

—

Кто бы ожидалъ такой развязки отъ лѣвой ноги!.. Какая широкая, размашистая фантазія! А пляска морского царя, отъ которой само море всколебалося, а и быстры рѣки разливалися!.. Да, это не сухія, аллегорическія и риторическія олицетворенія: это живые образы идей, это поэтическое олицетвореніе покровительныхъ для торговой общины водяныхъ божествъ, это поэтическая миѳологія Новагорода, которая въ тысячу разъ лучше славянской миѳологіи, съ ея семью дрянными богами!.. Замѣчательная черта характера русскаго человѣка видна въ хитростяхъ Садки, чтобъ отдѣлаться отъ наказанія: видя, что его хмелево перо потонуло, онъ предлагаетъ новую пробу, наоборотъ, но когда онъ видитъ, что его булатный жеребій въ десять пудъ поплылъ поверхъ воды, а ветляныя жеребья товарищей потонули, — то уже болѣе не отвертывается, но бросается страху прямо въ глаза, со всей рѣшимостью, отвагой и удалью...

—

Есть еще новогородское сказаніе, но то уже не поэма, а сказка, въ которой новогородскаго — только герой. Мы говоримъ объ «Акундинѣ», помѣщенномъ въ первой части «Русскихъ Народныхъ Сказокъ», изданныхъ Сахаровымъ. Акундинъ — богатырь въ сказочномъ родѣ. Жилъ онъ въ старомъ Новѣгородѣ, а былъ со посадской стороны, со торговой, ни пива не варилъ, ни вина не курилъ, ни въ торгу торговалъ; а ходилъ онъ, Акундинъ, со повольницей и гулялъ по Волгѣ по рѣкѣ на суденышкахъ. Понаскучило ему, Акундину, повольницу водить; вотъ и думаетъ Акундинъ: кабы ему до Кіева дойти, въ Москвѣ побывать. Сѣлъ онъ на суденышко и поплылъ по Волгѣ-рѣкѣ, черезъ тридцать три дня увидѣлъ себя у крута бережка. Навстрѣчу ему попался калечище перехожій, онъ спрошаетъ у него: что то за сторона, что за городъ? И узнаетъ Акундинъ отъ калечища, что «сторона то широкая, что отъ Оки рѣки потягла до Дону глубокаго, зовутъ Рязанью, а правитъ той стороной стольный князь Олегъ; и что городъ-то поселенъ по Окѣ рѣкѣ, то зовутъ Ростиславль, а на столѣ княжитъ рязанскаго роду князь, молодой Глѣбъ Олеговичъ».

Акундинъ призадумался и сказалъ себѣ невзначай: «а кабы ту широкую сторону Рязань и съ молодымъ княземъ Глѣбомъ Олеговичемъ и со всѣми его исконными слугами покорить Новугороду». Здѣсь виденъ

Digitized by Google

новгородецъ, членъ вольной и торговой общины, который все относитъ къ своей родинѣ и о ея выгодахъ заботится, какъ о своихъ собственныхъ. Слушая Акундина, калечище думаетъ: «не корыстна сторона для Новагорода! Кабы Рязань не полонили злые татарове, да не обложили данью великой, постояла-бъ Рязань за себя. Да и Рязань не та чета Новугороду».

Калечище показываетъ Акундину, что на Окѣ плыветъ чудовище невиданное—Змѣй Тугаринъ. Длиною-то былъ тотъ Змѣй Тугаринъ въ триста саженъ, хвостомъ бьетъ рать рязанскую, спиною валитъ круты берега, а самъ все проситъ стару дань. Разгорѣлось богатырское сердце у Акундина: хочетъ онъ сражаться съ Змѣемъ за Рязань. Калечище, узнавъ о родѣ-племени Акундина, снималъ съ себя платье перехожее, надѣвалъ платье посадничье и называется Замятней Путятичемъ, дядей Акундина: братъ его, отецъ Акундина, былъ посадскимъ въ Новѣгородѣ, и не взлюбили его люди новогородскіе — вишь, правилъ ими не такъ, и порѣшили сгубить съ родомъ, съ племенемъ, и сокрушили его со всѣмъ домомъ; а Замятня Путятичъ пошелъ въ Кіевъ, и съ той-де поры во тоскѣ, во кручинѣ, горегореваньицемъ качу, свое милое дѣтище (Акундина) дожидаючи. Но какимъ образомъ, дожидаясь въ Кіевѣ, увидѣлся онъ съ племянникомъ на Окѣ — Богъ вѣсть... Не домолвивши рѣчи вѣстныя, сталъ Замятня Путятичъ кончатися, со бѣлымъ свѣтомъ разставатися: видно на роду ему, братцы, такъ написано, что довелось посередь поля переставиться!... Какъ сталъ Замятня Путятичъ со бѣлымъ свѣтомъ разставатися и учалъ отповѣдь чинить: «А и гой, еси ты, мое милое дѣтище, Акундинъ Акундиновичъ! какъ и будешь ты во славномъ во Новѣгородѣ, и ты ударь челомъ ему, Новугороду, и ты скажи, скажи ему, Новугороду: и дай же то ты Боже! тебѣ ли Новугороду, вѣкъ вѣковать, твоимъ ли дѣтушкамъ славы добывать! Какъ и быть ли тебѣ, Новугороду, во могучествѣ, а твоимъ ли дѣтушкамъ во богачествѣ!..»

Какая поэтическая и умилительная картина любви къ родинѣ со стороны оскорбленнаго ею сына!.. Сколько простодушія, чувства, любви, тоски и стремленія выражаются въ простыхъ, но поэтическихъ словахъ умирающаго гражданина Великаго Новагорода! Послѣдняя мысль, послѣднее слово изгнанника—благословеніе неправой, но все милой родинѣ!.. Да, это поэзія! Тутъ есть мысль — и мысль глубокая!..

Глѣбъ Олеговичъ женится, а Змѣй Тугаринъ грозитъ потопить Ростиславль. Старый посадникъ Юрья Никитичъ даетъ совѣтъ князю — послать пословъ къ Тугарину. Змѣю понравилось смиреніе князя; онъ вступилъ въ переговоры, принималъ отъ пословъ хлѣбъ-соль и съѣдалъ за единый разъ. Послы говорили, что миръ готовы урядить, а дани не вѣдаютъ за собой никакой. Змѣй называетъ ихъ смердами Ростиславичами и ссылается на записи. Хитрый старый дьякъ Чеботокъ развернулъ записи поручныя и свелъ по нимъ, что долгу нѣтъ. Змѣй требуетъ мѣшка золота за Ростиславичей, мѣшка серебра за отцовъ ихъ и мѣшка каменьевъ самоцвѣтныхъ за дѣдовъ; иначе грозитъ затопить городъ, а женъ въ Орду продать.

Здѣсь Змѣй Тугаринъ—ясно апоѳеоза татаръ, обыкновенно дѣлавшихъ набѣги свои изъ-за Оки, и прежде всего опустошавшихъ Рязанское княжество. Хитрый дьякъ Чеботокъ проситъ у Тугарина мѣшковъ и, получивъ, думаетъ ихъ сжечь: безъ мѣшковъ-де не во что будетъ и дани собирать. Но посадскій Юрья Никитичъ думаетъ иначе: ему жаль золотой казны княжеской, и онъ наступилъ на дьяка Чеботка: «А постой ты, дьякъ! А и погоди ты, дьякъ! А ты-то, дьякъ, злой еретикъ, за одно съ Тугариномъ держишься еретичества. А и знаю я, какъ тебя изгнать, а и знаю я, какъ тебя со бѣла свѣта согнать!» Взялъ да и посадилъ дьяка въ мѣшки, да и послалъ къ змѣю. И онъ дьякъ Чеботокъ на ту пору догадливъ былъ: давай мѣшки глодать, свѣту Божьяго искать; какъ проѣдалъ онъ одинъ мѣшокъ, два зуба сломалъ; какъ проѣдалъ онъ второй мѣшокъ, три зуба сломалъ; какъ проѣдалъ онъ третій мѣшокъ, всѣ пять сломалъ. И началъ дьякъ Тугарину всю вину на посадника слагать, что жалъ ему золотой казны княжеской. И сталъ Тугаринъ пытать дьяка, сколько-де у князя золотой казны, каменьевъ самоцвѣтныхъ и силы ратной. «А и право скажу, ничего не утаю: лишь, дядюшка, окунись въ Оку, да достань бѣлосыпучаго песку». Змѣй досталъ и подалъ дьяку, а дьякъ учалъ бѣгать по полю, утекаючи ко городу, крича: «А и вотъ какова сила ратная у молода князя Глѣба Олеговича!» И тутo Тугаринъ догадался, что дьяку въ обманъ дался, а догадавшись, давай Оку-рѣку гонять, городъ Ростиславль затоплять. А дьякъ, пришедши въ городъ, объявилъ князю, что Змѣй готовъ на миръ, да только хочетъ переговоры вести съ однимъ посадникомъ Юрьемъ Никитичемъ. И тому-то старый посадникъ вѣру ималъ. А и не зналъ онъ, старый посадникъ, что дьякъ-то его избывалъ. Да и дьяку ли вѣру имать? И волчья снасть у дьяка на зубахъ; пулы беретъ, на суды сыды (?) ведетъ. Змѣй почелъ посадника за дьяка, въ другорядъ

Digitized by Google

въ обманъ не хотѣлъ даться, и тутo его, стараго посадника, съѣлъ за единъ разъ. И дьякъ Чеботокъ на ту пору догадливъ былъ; онъ, злодѣй, въ воротахъ за старичища стоялъ, да на стара посадника смотрѣлъ. Какъ-де завидѣлъ онъ, дьякъ, что Змѣй Тугаринъ стара посадника съѣлъ, то и давай кричать: «Ай, батюшки, бѣда! ай, родимые, бѣда! Не стало нашего посадника, Юрья Микитича, на бѣломъ свѣтѣ. Ужъ его ли, родимаго, Змѣй Тугаринъ съѣлъ. А что мы, сироты, будемъ безъ него!» И его дьячьи слова скоро до князя дошли; а никто про то во городѣ не вѣдаетъ, а никто про то не узнаетъ, что то дьячья стряпня, стара дьяка Чобота.

Этотъ интересный эпизодъ о хитрыхъ продѣлкахъ дьяка Чобота показываетъ, что поэзія иногда лучше всѣхъ лѣтописей можетъ снабжать отдаленное потомство любопытными и важными историческими фактами. Дьяки Чоботы мало измѣнились съ тѣхъ поръ.

Князь Глѣбъ собираетъ войско, идетъ на Тугарина, попадаетъ ему стрѣлой въ правый глазъ; но рязанцамъ скоро стало не въ мочь. Тогда Акундинъ напустился на Змѣя Тугарина и убилъ его. Князь Глѣбъ одарилъ его шубой соболиной, гривной золотой, а князья и бояре повели его, Акундина, подъ бѣлыя руки, во гридницы княженецкія, сажали за столы дубовые, за скатерти браныя, за ѣства сахарныя; прошали хлѣба-соли покушать, бѣлыихъ лебедей рушить. Князь оставлялъ его у себя, жаловалъ боярствомъ, давалъ усадьбище немалое, палаты посадничьи. Но Акундинъ ото всего отказывался и поѣхалъ на своемъ судёнышкѣ оснащенномъ въ Кіевъ-градъ. Доѣхавъ до Мурома, онъ узналъ, что татары полонили много народу изъ Мурома и дочь воеводы Муромскаго, Настасью Ивановну. Акундину стало жаль добрыхъ муромцовъ, а жальчѣй того дочь воеводы Муромскаго. Онъ отправился на своемъ судёнушкѣ въ Орду немирную, перебилъ ее всю до одного человѣка и выручилъ изъ полону Настасью Ивановну, и отправилъ ее впередъ въ Муромъ съ молодымъ бояриномъ Замятнею Микитичемъ, который ходилъ съ нимъ въ Орду изъ Мурома. На дорогѣ ему попалась другая Орда—онъ и ту изрубилъ. Пріѣхалъ въ Муромъ, а тамъ свадьба: Настасья Ивановна выходитъ за Замятню Микитича. Воевода говоритъ Акундину: и думали мы, что тебя въ живыхъ не стало; за твои услуги великія награжу я тебя золотой казной, а на нашей лебедушкѣ не погнѣвайся». Уѣзжая, Акундинъ слово молвилъ: «Не дай же то Боже во вѣкъ въ Муромѣ бывать, того воеводу Муромскаго видать; а и его-то воеводины слова перелетныя — на посуляхъ висятъ». Нежданъ Ивановичъ за то слово велитъ слугамъ гнать его вонъ со двора: «а и онъ ли, невѣжа, деревенскій мужикъ, смѣлъ свататься за боярскую дочь». Но Акундинъ ужъ былъ далеко. Въ Кіевѣ онъ угостилъ и одѣлилъ золотой казной сорокъ каликъ съ каликой, и одинъ изъ нихъ сказалъ ему таково слово: «За твою хлѣбъ-соль великую, за твой канунъ варенъ, повѣдаю твою судбинушку: тебѣ ли, доброму молодцу, на роду счастье написано—женитися на молодой вдовѣ во чужомъ городу. Не умѣлъ ты, добрый молодецъ, изловить бѣлую лебедушку, такъ съумѣй же ты, добрый молодецъ, достать сѣру утицу». Акундинъ идетъ въ Муромъ, застаетъ тамъ Настасью Ивановну вдовой, и женится на ней.

—

Эта сказка—цѣлый романъ; мы выжали изъ нея, такъ сказать, одинъ сокъ, и опустили множество подробностей, превосходно характеризующихъ общественный и семейный бытъ древней Руси. Въ этомъ отношеніи сказка «Акундинъ» имѣетъ даже историческій интересъ,—и Сахаровъ заслуживаетъ особенную благодарность за спасеніе отъ забвенія этого во всѣхъ отношеніяхъ любопытнѣйшаго факта русской народной поэзіи, русскаго духа и русскаго быта.

Мы не будемъ пересказывать содержанія другихъ сказокъ въ сборникѣ Сахарова: всѣ онѣ, исключая «Акундина» и «Семи Семіоновъ»—тѣ же самыя поэмы, которыя уже разсказаны и разобраны нами въ предыдущей статьѣ: разница, какъ мы замѣтили тамъ же, состоитъ только въ нѣкоторыхъ подробностяхъ, въ нѣсколько особенной (сказочной) манерѣ, а главное — въ томъ, что сказка объемлетъ собою всю жизнь героя, отъ рожденія до смерти, и слѣдовательно заключаетъ въ себѣ содержаніе иногда нѣсколькихъ поэмъ; ибо поэма схватываетъ только одинъ отдѣльный моментъ изъ жизни героя и представляетъ его какъ бы чѣмъ-то цѣльнымъ и оконченнымъ. Такъ, сказка о «Добрынѣ» начинается кручиной и печалью князя Владиміра, испуганнаго какимъ-то неизвѣстнымъ богатыремъ, разбившимъ свой шатеръ передъ Кіевомъ. Этотъ богатырь былъ уже знакомый намъ Тугаринъ Змѣевичъ. «Чохнулъ онъ чохъ по полю заповѣданному — дрогнула сыра земля; попадали ничь могучіе княжіе богатыри. А и былъ же Тугаринъ Змѣевичъ въ уростъ человѣчь: голова-то съ пивной котелъ, глаза-то со пивные ковши, туловище-то со круту гору, ноги-то со дубовы колоды, руки-то со шесты вязовы. А и самъ-то Тугаринъ Змѣевичъ ѣдетъ по лѣсу—ровенъ съ лѣсомъ, ѣдетъ по полю—ровенъ съ поднебесью. А и

Digitized by Google

держится Тугаринъ Змѣевичъ еретичествомъ, да и хвастаетъ, собака, онъ молодечествомъ». Когда отъ Тугарина пришлось плохо, вдругъ откуда ни возьмись сильный, могучій богатырь: это нашъ давнишній знакомецъ, Добрыня Никитичъ. Онъ родомъ изъ Новагорода, и пріѣхалъ служить князю Владиміру вѣрой и правдой. И вышелъ онъ съ своимъ Торопомъ слугой на Тугарина Змѣевича и, какъ у богатырей ужъ изстари заведено, далъ ему карачунъ. «И со той-то поры Добрынюшка Никитичъ жилъ во славномъ городѣ во Кіевѣ, у ласкова осударя Владиміра князя, свѣтъ Святославьевича. Три года Добрынюшка стольничалъ, три года Добрынюшка приворотничалъ, три года Добрынюшка чашничалъ. Стало девять лѣтъ; на десятомъ году онъ погулять захотѣлъ». Дальнѣйшія похожденія Добрынюшки уже извѣстны намъ.

Сказка о Василіѣ Буслаевѣ отличается отъ поэмы многими подробностями: въ ней мужики Новогородскіе, провидя въ Буслаевѣ опаснаго для свободы общины человѣка, сами задираютъ его, чтобъ заранѣе отдѣлаться отъ него. Они приглашаютъ его къ себѣ на пиръ, сажаютъ его на первое мѣсто, но Буслаевъ скромно (изъ политики) отговаривается: «Вы, гой еси, люди степенные, честны мужики посадскіе! велика честь моей молодости: есть постарше меня».

«Застучали столы съ зеленымъ виномъ, понеслись яства сахарныя. Пьютъ, ѣдятъ, прохлаждаются, въ полпьяна напиваются, рѣчи держатъ крупныя. Одинъ Васька сидитъ не пьянъ, сидитъ не молвитъ ни словечушка. Стали мужики посадскіе похвальбу держатъ. *Садко* молвитъ: «А и нѣтъ нигдѣ такого ворона коня супротивъ моего сокола: онъ броду не спрашиваетъ, рѣки проскакиваетъ, дороги промахиваетъ, горы перелетываетъ». *Чурило* молвитъ: «А и нѣтъ нигдѣ такой молодой жены, супротивъ моей Настасьи Апраксѣевны! Ужъ она ли ступитъ, не ступитъ по алу бархату; ѣстъ яства сахарныя, запиваетъ сытой медовой; ужъ у моей ли молодой жены очи сокольи, брови собольи, походка павлиная, грудь лебединая, а и краше ея нѣтъ нигдѣ по всей околицѣ поднебесной». *Костя Новоторженинъ* молвитъ: «А и нѣтъ нигдѣ такого богачества супротивъ моего: три корабля плывутъ за синими морями съ крупнымъ жемчугомъ; три корабля плывутъ по лукоморью съ соболями; три корабля плывутъ по морю Хвалынскому со камнями самоцвѣтными; а золотомъ, серебромъ потягаюсь со всѣмъ Новымгородомъ». *Ставръ* молвитъ: «А и нѣтъ нигдѣ такого удалого молодца, супротивъ Ставра: ѣдетъ ли онъ во поѣздѣ богатырскомъ, не вѣтры въ поляхъ подымаются, не вихри бурные крутятъ пыль черную—выѣзжаетъ сильный могучій богатырь Ставръ Путятичъ, на своемъ конѣ богатырскомъ, съ своимъ слугой Акундиномъ. На Ставрѣ доспѣхи ратные словно жаръ горятъ, на бедрѣ виситъ мечъ-кладенецъ, во правой рукѣ копье булатное, во лѣвой шелковая плеть, того ли шелку шемаханскаго, на конѣ збруя красна золота. Наѣзжаетъ Ставръ на Чудь поганую, вскрикиваетъ богатырскимъ голосомъ, засвистываетъ молодецкимъ посвистомъ: сыры боры приклоняются, зелены листы опускаются; онъ бьетъ коня по крутымъ бедрамъ: богатырскій конь осержается, мечетъ изъ подъ копытъ по сѣнной копнѣ; бѣжитъ въ полѣ—земля дрожитъ, изо рта пламя валитъ, изъ ноздрей пыль столбомъ. Ставръ гонитъ силу поганую: конемъ вернетъ—улица, копьемъ махнетъ—нѣтъ тысячи, мечомъ хватитъ—лежитъ тьма людей.»

Мужики спрашиваютъ Буслаева, отчего сидитъ онъ, задумался, самъ ничѣмъ не похваляется. «На что мнѣ, молодцу, радоватися, чѣмъ передъ вами похвалятися? Оставилъ меня осударь батюшка во сиротствѣ, а сударыня матушка живетъ во вдовствѣ. Есть у меня золота казна, богатства несмѣтныя: и то я не самъ добылъ».

«Отъ слова умнаго Васьки Буслаева мужики посадскіе дивовалися, стали его промежъ себя перешептывать: «Зло держитъ Васька на сердцѣ». Наливаютъ братину зелена вина, ставятъ на столы дубовые, отошедъ кланяются и всѣ едину рѣчь говорятъ: «Кто хочетъ дружить Новугороду, тотъ пей зелено вино до суха!» Садятся мужики посадскіе за дубовы столы, усмѣхаючись, и ждутъ отповѣди отъ Васьки. Встаетъ Васька, поклоняется, принимаетъ братину во бѣлы руки, выпиваетъ зелено вино единымъ духомъ. И стала братина пуста до суха, а Васька сидитъ въ полпьяна. Заиграла хмелинушка, закипѣла кровь молодецкая, и сталъ Васька похвалятися: «Глупые вы, неразумные, мужики посадскіе! Взять будетъ Василію Буслаевичу Новгородъ за себя; править будетъ мужиками посадскими на своей волѣ: брать будетъ пошлины даточныя со всей земли; съ лову заячьяго и гоголинаго, съ заѣзжихъ гостей пошлины мытныя, а мужикамъ посадскіимъ будетъ лежать у ногъ моихъ.»

«Не любы стали мужикамъ посадскіимъ рѣчи спорныя; закричали всѣ во едино слово: «Младъ еще ты, дѣтище неудалое; незрѣлъ твой умъ, не бывать за тобой Новугороду; потерять тебѣ буйну голову; не честь тебѣ съ нами жить; нѣтъ про тебя съ нами земли.»

«Разгорается сердце молодецкое пуще прежняго; распаляется голова буйная. «Не честь мнѣ съ вами жить (отповѣдь держитъ Васька)—иду съ вами перевѣдаться». Встаетъ Васька изъ-за стола дубоваго, встаетъ, идетъ, не кланяется; и только его видѣли.»

И вотъ мы прошли весь циклъ богатырскихъ поэмъ. Что до сказокъ—ихъ въ сборникѣ Сахарова такъ мало, что мы обо всѣхъ по крайней мѣрѣ упомянули, а въ хранилищѣ народной памяти такъ много, что обо всѣхъ не переговоришь. Скажемъ коротко объ общемъ характерѣ этихъ поэмъ и сказокъ. Содержаніе ихъ бѣдно, и потому утомительно и однообразно. Отсутствіе миѳическихъ созерцаній, какъ зерна развитія внутренняго и гражданственнаго, ограниченная сфера народнаго быта, такъ сказать, стоячесть жизни, вращавшейся вокругъ себя безъ движенія впередъ,—вотъ причина скудости и однообразія въ содержаніи этихъ поэмъ. Только въ Новѣгородѣ, гдѣ, вслѣдствіе торговли и плода ея—всеобщаго богатства и довольства,—жизнь раскинулась и шире, и размашистѣе, а духъ предпріимчивости, удальства и отваги, свойственныхъ

Digitized by Google

русскому племени, нашелъ себѣ болѣе свободную сферу,—только въ Новѣгородѣ народная поэзія могла проявиться болѣе яркими проблесками. Мы уже говорили выше, что новгородскій штемпель лежитъ на всемъ русскомъ бытѣ, а слѣдовательно и на всей русской народной поэзіи; что даже самъ Владиміръ, великій князь кіевскій стольный, и всѣ богатыри его говорятъ, дѣйствуютъ и пируютъ какъ-то по новогородски и какъ будто по-купечески.

Но, не смотря на всю скудость и однообразіе содержанія нашихъ народныхъ поэмъ, нельзя не признать необыкновенной, исполинской силы заключающейся въ нихъ жизни, хотя эта жизнь и выражается повидимому только въ матеріальной силѣ, для которой все равно—побить ли цѣлую рать ордынскую, или единымъ духомъ выпить чару зелена вина въ полтора ведра, турій рогъ меду сладкаго въ полтретья ведра. Богатырь всегда—богатырь, и сила, въ чемъ бы ни выражалась она,—всегда сила: сильный плѣняется только силой, и богатырь—богатырствомъ. Въ грёзахъ народной фантазіи оказываются идеалы народа, которые могутъ служить мѣрой его духа и достоинства. Русская народная поэзія кишитъ богатырями, и если въ этихъ богатыряхъ незамѣтно особеннаго избытка какихъ-либо нравственныхъ началъ,—ихъ сила все-таки не можетъ назваться лишь матеріальной: она соединялась съ отвагой, удальствомъ и молодечествомъ, которымъ—море по колѣно, а это уже начало духовности, ибо принадлежитъ не къ комплексіи, не къ мышцамъ и тѣлу, а къ характеру и вообще нравственной сторонѣ человѣка. И эта отвага, это удальство и молодечество, особливо въ новгородскихъ поэмахъ, являются въ такихъ широкихъ размѣрахъ, въ такой несокрушимой, исполинской силѣ, что передъ ними невольно преклоняешься. Одни эти качества—отвага, удаль и молодечество, еще далеко не составляютъ человѣка; но они—великое поручительство въ томъ, что одаренная ими личность можетъ быть по преимуществу человѣкомъ, если усвоитъ себѣ и разовьетъ въ себѣ духовное содержаніе. Мы уже сказали и снова повторяемъ: Русь въ своихъ народныхъ поэмахъ является только тѣломъ, но тѣломъ огромнымъ, великимъ, кипящимъ избыткомъ исполинскихъ физическихъ силъ, жаждущимъ пріять въ себя великій духъ, и вполнѣ способнымъ и достойнымъ заключить его въ себѣ... Долго ждала она своего духовнаго возрожденія, приготовлялась къ нему тяжелымъ и кровавымъ испытаніемъ, долгой годиной ужасныхъ бѣдствій и страданій—и дождалась: нестройный хаосъ ея существованія огласился творческимъ глаголомъ «да будетъ»—и бысть...

Форма народныхъ поэмъ совершенно соотвѣтствуетъ ихъ содержанію: та же сила—и та же скудость, та же неопредѣленность, то же однообразіе въ выраженіи и образахъ. Если у князя или гостя богатаго пиръ,—то во всѣхъ поэмахъ описаніе его совершенно одинаково: «А и было пированье почестный пиръ, а и было столованье почестный столъ; а и будетъ день во полуднѣ, а и будетъ пиръ во полупирѣ; а и будетъ столъ во полустолѣ». Если богатырь стрѣляетъ изъ лука, то непремѣнно: «а и спѣла вѣдь тетивка у лука — взвыла да пошла калена стрѣла». Обезороженный ли богатырь ищетъ своего оружія, то уже всегда: «не попала ему его палица желѣзная, что попала-то ему ось телѣжная». Если дѣло идетъ объ удивительномъ убранствѣ палатъ, то: «на небѣ солнце—въ теремѣ солнце», и пр. Однимъ словомъ, всѣ источники нашей народной поэзіи такъ немногочисленны, что какъ-будто перечтены и отмѣчены общими выраженіями, которыя и употребляются по надобности.

Форма русской народной поэзіи вообще оригинальна въ высшей степени. Къ главнымъ ея особенностямъ принадлежитъ музыкальность, пѣвучесть какая-то. Между русскими пѣснями есть такія, въ которыхъ слова какъ будто набраны не для составленія какого-нибудь опредѣленнаго смысла, а для послѣдовательнаго ряда звуковъ, нужныхъ для «голоса». Уху русскій человѣкъ жертвовалъ всѣмъ — даже смысломъ. Художникъ легко примиряетъ оба требованія; но народный пѣвецъ по необходимости долженъ прибѣгать къ повтореніямъ словъ и даже цѣлыхъ стиховъ, чтобъ не нарушить требованій ритма. Сверхъ того въ русской народной поэзіи большую роль играетъ риѳма не словъ, а смысла: русскій человѣкъ не гоняется за риѳмой—онъ полагаетъ ее не въ созвучіи, а въ кадансѣ, и полубогатыя риѳмы какъ-бы предпочитаетъ богатымъ; но настоящая его риѳма есть риѳма смысла: мы разумѣемъ подъ этихъ словомъ двойственность стиховъ, изъ которыхъ второй риѳмуетъ съ первымъ по смыслу. Отсюда эти частыя и повидимому не нужныя повторенія словъ, выраженій и цѣлыхъ стиховъ; отсюда же и эти отрицательныя подобія, которыми, такъ-сказать, оттѣняется настоящій предметъ рѣчи: «Не грозна туча во широкомъ полѣ подымалася, не полая вода на круты берега разливалася: а выводилъ то молодой князь Глѣбъ Олеговичъ рать на войну», или: «Не высоко солнце по поднебесью восходило, не румяная заря на широкомъ полѣ разстилалася, а выходилъ то молодой Акундинъ».

Digitized by Google

Не допустятъ Екима до добра коня,
До *своей его* палицы *тяжкія*,
А и *тяжкія* палицы *мѣдныя*,
Лита она была въ три тысячи пудъ;
Не *попала* ему палица *желѣзная*,
Что *попала* ему ось-то телѣжная.

Всѣ эти повторенія и не нужныя слова: *своей* и *его*, *тяжкія* и *тяжкія*, *попала* и *попала*, сдѣланы явно для пѣвучей гармоніи размѣра и для риѳмы смысла; для того же сдѣлана и безсмыслица, т. е. въ третьемъ стихѣ палица названа *мѣдною*, а въ пятомъ *желѣзною:* желѣзная была необходима сверхъ того и для кадансовой, просодической (а не для созвучной) риѳмы: *желѣзная—телѣжная:* ◡ — ◡ ◡ и ◡ — ◡ ◡ . Такихъ примѣровъ можно найти бездну; но для поясненія нашей мысли довольно и этихъ.

Отъ богатырскихъ поэмъ самый естественный переходъ къ сказкамъ. Выше мы уже говорили о различіи вообще поэмъ отъ сказокъ и въ особенности русскихъ богатырскихъ поэмъ отъ русскихъ богатырскихъ сказокъ: поэма схватываетъ одинъ какой-нибудь моментъ изъ жизни богатыря; сказка объемлетъ всю жизнь его; тонъ поэмы важнѣе, выше и поэтичнѣе; тонъ сказки простонароднѣе и прозаичнѣе. Мы уже говорили, что всѣ поэмы, заключающіяся въ сборникѣ Кирши Данилова, существовали и въ формѣ сказокъ. Но кромѣ того есть много русскихъ сказокъ, существенно отличающихся отъ поэмъ. Эти сказки раздѣляются на два рода—богатырскія и сатирическія. Первыя часто такъ и бросаются въ глаза своимъ иностраннымъ происхожденіемъ, онѣ налетѣли къ намъ и съ Востока, и съ Запада. Такъ напримѣръ, извѣстная сказка о Бовѣ Королевичѣ слишкомъ рѣзко отзывается итальянскимъ происхожденіемъ, какъ по собственнымъ именамъ ея героевъ и городовъ—Гвидонъ, Додонъ, Мелектриса, и т. д., такъ и преобладаніемъ любовнаго интереса, соединеннаго съ ядами и отравленіями. Восточныя сказки всѣ отличаются чисто татарскимъ происхожденіемъ. Въ сказкахъ западнаго происхожденія замѣтенъ характеръ рыцарскій; въ сказкахъ восточнаго происхожденія—фантастическій. Были попытки прослѣдить происхожденіе нашихъ сказокъ; одинъ литераторъ даже выводилъ ихъ всѣ изъ Индіи и нашелъ ихъ подлинники на санскритскомъ языкѣ, котораго онъ впрочемъ не зналъ. Но главное дѣло въ томъ, что подобные розыски невозможны. Русскій человѣкъ, выслушавъ отъ татарина сказку, пересказывалъ ее потомъ совершенно по-русски, такъ что изъ его устъ она выходила запечатлѣнной русскими понятіями, русскимъ взглядомъ на вещи и русскими выраженіями. Это очень понятно, и въ наше время существуетъ пѣсня, въ которой разсказывается, какъ графъ Платовъ надулъ Бонапарта: онъ, видите-ли, пришелъ къ нему инкогнито, а Бонапартъ-то сдуру, не догадавшись, кто у него въ гостяхъ, велѣлъ и «банюшку истопить»; когда Платовъ выпарился въ банюшкѣ и наѣлся за столомъ, то откланялся Бонапарту, говоря ему: «не умѣла ты, ворона, ясна сокола поймать»—да и былъ таковъ, — а Бонапарту, разумѣется, куда больно досадно стало, что Платовъ-то его такъ одурачилъ: вѣдь еслибы онъ не далъ промаха и не разинулъ рта, и смекнулъ бы, кто былъ его гость, то сейчасъ же велѣлъ бы съ Платова съ живого содрать кожу. Вотъ поразительный образчикъ переложенія чуждой жизни на свои національныя понятія! удивительно ли, что татарскія сказки и европейскія рыцарскія легенды, пересказанныя по-русски, не сохранили ничего ни восточнаго, ни западнаго? Удивительно-ли, что всѣ попытки на точныя изслѣдованія ихъ происхожденія такъ же невозможны, какъ и безплодны, еслибъ онѣ были и возможны? Если въ этихъ сказкахъ есть что-нибудь интересное, такъ это именно ихъ выраженіе, въ которомъ проявляется русскій умъ,—а не содержаніе, которое уже по тому самому нелѣпо, что оно, какъ иностранное, находится въ явномъ противорѣчіи съ русскимъ складомъ выраженія.

Сказокъ на Руси множество. Сахаровъ насчитываетъ ихъ до 120-ти названій, говоря только о тѣхъ изъ нихъ, которыя попали въ печать. Сколько же ихъ хранилось и еще теперь хранится въ народной памяти? Но это богатство въ сущности немногимъ разнится отъ совершенной нищеты: почти всѣ эти сказки дошли до насъ въ искаженномъ видѣ, а большая часть и доселѣ сохранившихся въ памяти народа еще не собрана. Не только наши литераторы прошлаго вѣка, но даже и простолюдины, занимавшіеся такъ называемыми лубочными изданіями, искажали ихъ. Касательно этого предмета, Сахаровъ сообщаетъ весьма интересныя подробности. Вотъ его собственныя слова:

«Рѣзба на деревѣ появилась на Руси съ XVI столѣтія и постоянно продолжается доселѣ въ разныхъ мѣстахъ. Имя перваго рѣзчика намъ неизвѣстно. Въ 1597 году появилось изображеніе съ именемъ рѣзчика Андроника Тимоѳеевича Невѣжи. Въ XVII столѣтіи намъ извѣстны рѣзчики: Паисій (1659 г.), Василій Корень (1697 г.); а въ XVIII столѣтіи образовалась уже школа подъ надзоромъ генералъ-фельдцейхмейстера Брюса. Василій Кипріановъ съ своими учениками Ѳедоромъ Никитинымъ, Маркомъ Петровымъ и Алексѣемъ Зубовымъ постоянно занимались рѣзбой на деревѣ. Они издали Брюсовъ календарь, географическія карты, басни Езоповы. Книга подъ названіемъ: «Исторія или дѣйствіе Евангельскія

Digitized by Google

притчи о блудномъ сынѣ, бываемое лѣта отъ Рождества Христова 1685», — безспорно принадлежитъ къ первоначальнымъ книгамъ лубочныхъ изданій. По московскимъ преданіямъ извѣстно, что рѣзчики лубочныхъ изданій жили прежде у Успенія въ печатникахъ. Знаменитая лубочная Московская печатница Ахметьева, основанная въ половинѣ XVIII в., существовала болѣе 100 лѣтъ у Спаса въ Спасской, за Сухаревой башней. Ахметьевъ получилъ сію печатницу въ приданое за своей невѣстой. Прежде въ этой типографіи работали на 20 станкахъ. При старикѣ доски вырѣзывались у него въ заведеніи. Подлинники и истинники буквально переносились рѣзчиками съ одной доски на другую и отличались вѣрностью. Когда же вступила въ управленіе Ахметьевской печатницей Татьяна Аѳанасьевна, то истинники раздавались по деревнямъ, и тамъ уже правильная рѣзба на деревѣ обратилась въ кустарное (грубое) ремесло. Рѣзчики начали своевольно отступать отъ истинниковъ, и вмѣсто русскаго народнаго платья появились на персонахъ наряды нѣмецкіе. Вмѣстѣ съ этимъ изуродованіемъ персонъ начали портить и текстъ народныхъ сказокъ. Всѣ отпечатанные листы отдавались съ Ахметьевской печатницы по деревнямъ. Раскраски преимущественно производились четырьмя цвѣтами: краснымъ, желтымъ, синимъ и голубымъ. Но никто въ Москвѣ такъ лучше не умѣлъ раскрашивать картинъ, какъ извѣстная старушка Ѳедосья Семеновна съ сыномъ. Старыя лубочныя изданія теперь такъ сдѣлались рѣдки, что съ большими трудами, едва-едва можно пріобрѣтать. Сосредоточіемъ продажи лубочныхъ изданій всегда была Москва. Сюда являлись для покупки ихъ отъ Макарія осенью и предъ масляницей ходебщики, торгующіе по Руси всѣми возможно-существующими товарами. Въ старину раскрашенныя картины продавались въ Москвѣ у Спасскаго моста, близъ стараго бастіона. Вытѣсненныя оттуда, онѣ перешли къ оградѣ Казанскаго собора. Послѣ этого ихъ согнали къ холщевому ряду, а наконецъ вытѣснили въ квасной рядъ. Временныя выставки лубочныхъ произведеній бываютъ на Смоленскомъ рынкѣ и у Сухаревой башни, по воскресеньямъ. Говорятъ, что въ 1812 году, во время пожара Москвы, погибло много народныхъ истинниковъ, драгоцѣнныхъ по изобрѣтенію и по тексту. Стоитъ только сравнить старыя изданія съ новыми, и сейчасъ упадокъ выразится во всемъ ничтожествѣ на новыхъ. Дешевизна лубочныхъ изданій, изображеніе предметовъ, близкихъ для народа, языкъ народный — увѣковѣчили лубочное художество на Руси. Явись человѣкъ съ умомъ и знаніемъ нуждъ народа, заговори чистымъ народнымъ языкомъ про нашу народную Русь, изобрази на лубочныхъ картинахъ дѣла родимой отчизны - и онъ былъ бы просвѣтителемъ нашего простонародья, онъ подвинулъ бы его на цѣлый вѣкъ.»

Но привилегированные грамотники, записные литераторы въ концѣ исказили русскія сказки. Чулковъ, еще въ 1780 году начавшій издавать «Русскія сказки» и издавшій ихъ цѣлыхъ десять томовъ, имѣлъ подлинные списки этихъ сказокъ, и несмотря на то, почелъ необходимымъ исправлять и передѣлывать ихъ. А что онъ имѣлъ подлинные списки, это доказывается его выписками, а индѣ фразами изъ нихъ, которыя онъ отмѣчалъ въ печати вставочнымъ знакомъ: «—». Всѣ другіе собиратели русскихъ сказокъ поступали съ ними съ такимъ же простодушнымъ варварствомъ, усердно хлопоча поворотить ихъ на повѣсти и романы.

Вотъ нѣкоторыя изъ замѣчательнѣйшихъ названій русскихъ сказокъ:

«О Ершѣ Ершовѣ сынѣ Щетинниковѣ»; «О семи Семіонахъ, семи родныхъ братьяхъ»; «Емеля Дурачокъ»; «Шемякинъ Судъ»; «О семи мудрецахъ и о юношѣ»; «О чудныхъ и зѣло умильныхъ гусляхъ самогудахъ»; «О Жаръ-птицѣ и о Иванѣ Царевичѣ»; «О Филѣ простакѣ и о Бабѣ-Ягѣ»; «О Утицѣ съ золотыми яицами»; «Исторія о Петрѣ златыхъ ключахъ»; «Сказка о Булатѣ молодцѣ»; «О Бовѣ Королевичѣ»; «О Еруслапѣ Лазаревичѣ»; «Сказка о нѣкоемъ приказчикѣ и о купцовой женѣ»; «Бабьи увертки»; «О томъ, какъ масляница семикъ съ себѣ въ гости звала»; «Похожденіе о носѣ и морозѣ»; «Сказка о ворѣ и бурой коровѣ»; «Сказка о двухъ братьяхъ и о томъ, какъ на роду написано счастье дураку»; «О двунадесяти сестрахъ и о всѣхъ иже есть въ міру лихорадкахъ»; «О Иванушкѣ дурачкѣ».

Между этими сказками, по увѣренію Сахарова, есть новѣйшіе переводы съ французскаго: такъ, сказка о «Дуринѣ Шаринѣ» есть «La Reine Cherie», а «Катерина Сатерина»—«La sotte Reine Katherine». Русскій человѣкъ по своей натурѣ всегда былъ эклектикомъ и въ одеждѣ, и въ обычаяхъ, и въ понятіяхъ: посмотрите внимательно драгоцѣнное изданіе «Историческое описаніе одежды и вооруженія россійскихъ войскъ»— и вы увидите, сколько заимствованій было въ оригинальномъ русскомъ костюмѣ. А сколько обычаевъ перешло къ намъ отъ византійцевъ, отъ татаръ? Почему же было отвсюду не заимствоваться сказками? По нашему мнѣнію, эта способность заимствованія и усвоенія есть человѣчески прекрасная черта русскаго народа: китайцы и монголы не заимствуютъ.

Особенно извѣстны на Руси, кромѣ «Бовы Королевича» и «Еруслана Лазаревича» (появившихся вѣроятно не ранѣе XVIII столѣтія), сказки: «О Жаръ-Птицѣ и Иванѣ Царевичѣ», «О Иванушкѣ Дурачкѣ» и «О семи Семіонахъ, семи родныхъ братьяхъ». Первыя двѣ доселѣ можно прочесть только въ лубочныхъ изданіяхъ; послѣдняя издана Сахаровымъ. Содержаніе первыхъ, въ томъ видѣ, какъ можно ихъ прочесть, довольно извѣстно всѣмъ и каждому, а выраженіе не слишкомъ отличается народнымъ колоритомъ. Золотыя яблоки, Жаръ-Птица, Сѣрый волкъ, который служитъ красавицѣ плѣнной царицѣ,—все это отзывается Востокомъ. Иванушка-Дурачокъ—одинъ изъ любимыхъ героевъ народной фантазіи. Онъ сдержалъ слово, данное отцу, провести ночь

Digitized by Google

на его могилѣ и дежурилъ на ней двѣ ночи и за братьевъ. За это онъ получаетъ въ свое распоряженіе чудодѣйнаго коня, къ которому въ одно ухо влѣзаетъ онъ и неумойкой мужикомъ, и дуралеемъ, а изъ другого вылѣзаетъ блистательнымъ богатыремъ и умницей. Съ помощью коня онъ три дня побѣждаетъ всѣхъ богатырей, ищущихъ руки царевны, и каждый разъ исчезаетъ, являясь домой нечосой и болваномъ. Наконецъ, къ удивленію обоихъ своихъ умныхъ братьевъ, онъ дѣлается мужемъ царевны, какъ бы для доказательства выгоды быть нравственнымъ, а не простымъ дуракомъ. Мораль сказки, какъ видите, очень тонкая! Такова же сказка «О Емелѣ Дурачкѣ», который, за глупость и лѣность, пріобрѣлъ покровительство щуки, и «по своему хотѣнью, по щучьему велѣнью», ѣздитъ себѣ на печи вмѣстѣ съ избой. Здѣсь осуществленъ народный идеалъ высшаго на землѣ блаженства—ѣсть, спать, лежать на печи и ничего не дѣлать. Въ особѣ «Фили простачка» русская народная фантазія олицетворила хитрость и лукавство вмѣстѣ съ глупостью: Филя простачокъ надуваетъ Ягубабу,—она хотѣла его изжарить и съѣсть, а онъ накормилъ ее жаркимъ изъ мяса собственныхъ ея дочерей.

Сказка «О семи Семіонахъ, семи родныхъ братьяхъ» носитъ на себѣ всѣ признаки народной фантазіи, или вѣрно подслушанной изъ устъ народа, или перепечатанной съ хорошаго стариннаго списка: это доказываетъ ея неподдѣльно-народное выраженье. Семь Семіоновъ по десятому году остались сиротами послѣ отца и матери. Всѣ они были близнецы. Узналъ о нихъ молодой князь Угоръ и собралъ великую думу боярскую, на которой и возговоритъ молодой князь Угоръ: «гой еси вы, мои бояре вѣковѣчные! Придумайте, пригадайте, кабы тѣхъ малыихъ дѣтищей научить уму-разуму? Да и тѣ-то, малы дѣтища, живучи безъ отца и безъ матери, во своемъ сиротствѣ, сами учали править домкомъ, землю пахать, хлѣбъ доставать».—И били бояре челомъ ему, молоду князю Угору, а сами вымолвляли во едину рѣчь: Осударь, ты нашъ батюшко, молодой князь Угоръ! Велико твое слово мудрое, велика твоя заботушка о твоихъ малыхъ дѣтищахъ! Выслушай преже наши словеса немудрыя, приголубь рѣчью лебединой наши думушки простыя, да опослѣй и суди по своему уму-разуму. Вѣдь и тѣ-то малы дѣтища на возрастѣ, да и живутъ своимъ умомъ-разумомъ; повели, осударь, ты нашъ батюшко, спрошать на особицѣ по единому: а и кто изъ нихъ чему гораздъ? а кто изъ нихъ по своему уму-разуму въ какую науку похочетъ пойти?—И приговорилъ молодой князь Угоръ: быть дѣлу такъ, какъ придумали, пригадали его бояре вѣковѣчные на великой думѣ.

Спросили Семіоновъ, каждаго порознь; всѣ они отказались въ науку идти, но каждый изъ нихъ вызвался на дѣло великое: первый построить на княженецкомъ дворѣ желѣзный столбъ до неба; второй—засѣсть на столбу и разсказать, что́ дѣлается на всемъ свѣтѣ; третій — топоромъ, сдѣланнымъ первымъ Семіономъ, состроить великъ корабль; четвертый—когда на корабль нападутъ разбойники, уводить его подъ воду, а потомъ опять выводить поверхъ воды; пятый—стрѣлой, сдѣланной первымъ Семіономъ, бить на лету птицъ, а шестой—подхватывать на воздухѣ убитыхъ птицъ. Когда молодой князь Угоръ спросилъ седьмого Семіона: «По своему уму-разуму въ какую науку хошь пойти?»—тотъ отвѣчалъ: «Осударь, ты нашъ батюшко, молодой князь Угоръ! по своему уму-разуму ни въ какую науку не хочу итить; а кабы ты, осударь, князь смиловался, не велѣлъ меня казнить, и я бы въ тѣ поры повѣдалъ свое ремесло». И нудилъ его молодой князь Угоръ про то его ремесло отповѣдать. И тутo молвилъ онъ, Семіонъ: «Какъ мое-то ремесло ни пахать, ни молоть, ни початочки мотать; умѣю я, молодецъ, всяку всячину воровать, да и никто тому такъ во всемъ царствѣ не гораздъ». Молодой князь Угоръ спрашиваетъ у бояръ, какой казнью казнить Семіона; одинъ говоритъ: а и его-то Семіона сжечь пора; другой: а и его-то Семіона повѣсить пора, и т. д. Наконецъ одинъ старый боринъ предлагаетъ велѣть Семіону украсть молодую княжну Елену Прекрасную, которую князь Угоръ доставалъ себѣ десять лѣтъ, «какъ и въ тѣ-то десять лѣтъ извели всю золоту казну, потеряли три рати несмѣтныя». Скоро дѣлалъ Семіонъ желѣзный столбъ, а скорѣй того тотъ столбъ до неба досягалъ. Выходилъ бояринъ тотъ столбъ пытать, и пытаетъ бояринъ тотъ желѣзный столбъ засовомъ дубовымъ, а самъ посматриваетъ: нѣтъ ли прогалинокъ поперечныхъ; а самъ прислушиваетъ: не проходятъ ли буйны вѣтры со частыимъ дождичкомъ; буде такъ—не сносить Семіону головы на плечахъ своихъ. (Въ этой сказкѣ болѣе легкихъ наказаній не существуетъ.)

Послалъ бояринъ второго Семіона на столбъ. «И пошелъ Семіонъ на тотъ желѣзный столбъ, да и давай себѣ глядѣть на всю поднебесную. Глядитъ дѣтина, дивуется, что на бѣлыимъ свѣтѣ дѣется; глядитъ дѣтина со бѣла утра до темной ночи, а боярину ни словечушка не молвитъ: знать дознаётъ дѣтина всю поднебесную... И молвитъ бояринъ: «поглядьте-тко, добры люди,

Digitized by Google

на тотъ желѣзный столбъ, а поглядѣвши, скажите: тамъ ли дѣтина стоитъ?» Смотрятъ люди на тотъ желѣзный столбъ, а поглядѣвши молвятъ: «ни вѣсть дѣтина стоитъ, ни вѣсть птица сидитъ!» Крутитъ-мутитъ зазнобушка у боярина ретиво сердце; крутитъ-мутитъ невзгодушка у боярина буйну голову. И молвитъ бояринъ самъ съ собой: «не вѣсть на дѣтину дурь взошла? не вѣсть дѣтину птицы заклевали? Кабы на дѣтину дурь взошла, и онъ бы, дѣтина, съ того столба упалъ долой. Кабы дѣтину птицы заклевали, и онъ бы, дѣтина, крикомъ кричалъ».—И махалъ бояринъ дѣтинѣ шапкой соболиной, а за нимъ и весь міръ крещеной. И сходилъ Семіонъ съ того столба желѣзнаго, а самъ боярину вымолвлялъ: «а и видѣлъ-де я, Семіонъ, всю поднебесную, всѣ царства и государства, и знаю я, что-де тамъ дѣлается». И спрошалъ бояринъ его, Семіона: «а и что во той поднебесной за царства и государства? да и есть ли во тѣхъ государствахъ люди? да и что тѣ люди дѣлаютъ?» И молвитъ онъ, Семіонъ: «велика земля вся поднебесная, что и ума-разума не достанетъ измѣрить. А стоятъ на той землѣ всѣ царства и государства единъ за единымъ, что и смѣты нѣтъ, да и нѣтъ на всей землѣ такого человѣка, кто бы сочелъ: сколько царствъ и государствъ. Какъ за нашей-то матушкой Волгой-рѣкой стоитъ море Хвалынское, а на томъ морѣ Хвалынскомъ живутъ все бесермены, а и живутъ тѣ бесермены не по нашему, православному, а по своему уму глупому: ни хлѣба не пекутъ, ни въ баню не ходятъ. Какъ за славнымъ-то Дономъ, за той рѣкой глубокой, стоитъ море Бѣлое, а на томъ на морѣ Бѣлыимъ живутъ злы татарченки, а и живутъ тѣ злы татарченки не по нашему, православному, а по своему уму глупому: на семи женахъ женятся, на семи дворахъ одни сани стоятъ. Какъ за межей-то нашей матушки святой Руси стоитъ Окіанъ море глубокое, какъ за тѣмъ ли Окіаномъ моремъ глубокіимъ стоятъ тридевять земель, всѣ бесерменскія; а позадь тѣихъ тридевять земель стоитъ тридесятое царство, а въ томъ тридесятомъ царствѣ стоитъ теремъ изукрашенный, а въ томъ теремѣ изукрашенномъ сидитъ у злата окошечка молода княжна Елена прекрасная, во тоскѣ, во кручинушкѣ». И пыталъ бояринъ дѣтину: «ай ты, дѣтина! скажи всю правду со истиной: почему знать то тридесятое царство? Почему знать теремъ изукрашенный? Почему знать молоду княжну Елену прекрасную?»—И молвитъ онъ, Семіонъ: «знать то тридесятое царство по рѣкамъ глубокіимъ, по раздольицамъ широкіимъ, по темнымъ лѣсамъ, непроходимымъ, по людямъ незнаемымъ; знать-то теремъ изукрашенный по бѣлостекольчату крылечку съ перильцами, по злату окошечку съ рѣшеточкой, по серебряной крышечкѣ со маковкой; знать-то молоду княжну Елену прекрасную—по ея лицу румяному, по ея русой косѣ, по ея вѣжеству прирожденому». И возговоритъ бояринъ: «ай ты, дѣтина! буде ты не вспозналъ тридесятаго царства, не угадалъ терема изукрашеннаго, не дознался молодой княжны Елены прекрасной, не сносить тебѣ головы на своихъ плечахъ».

Когда третій Семіонъ сдѣлалъ великъ корабль, бояринъ пыталъ тотъ великій корабль засовомъ дубовымъ, а самъ посматриваетъ—цѣло ли днище крѣпкое; а самъ поглядываетъ—есть ли весельца кленовыя, замки дубовые, скамеечки рѣшетчаты. Глядитъ бояринъ на великъ корабль, глядитъ, посматриваетъ, а самъ съ собой думу думаетъ: «ну, какъ-то пойдетъ великъ корабль въ окіанъ море глубокое?—вѣдь окіанъ-то море глубина несказанная! ну, какъ-то великъ корабль проплыветъ окіанъ море глубокое?—вѣдь окіанъ-то море не яндовѣ чета!» И поѣхали братья Семіоны за молодой княжной Еленой прекрасной, за тридевять земель, въ тридесятое царство. Какъ и всѣ-то братья за дѣломъ сидятъ, а семой Семіонъ по кораблику похаживаетъ, черна кота поглаживаетъ. «Вѣдь его-то, братцы, черный котъ, баютъ, изъ-за синяго моря, изъ-за того ли лукоморья; да и онъ-ли, черный котъ, по умному сказки сказываетъ, по разумному пѣсни заводитъ. Какъ на томъ ли на Окіанъ-морѣ глубокомъ стоитъ островъ зеленъ, какъ на томъ ли на зеленомъ острову стоитъ дубъ зеленый, отъ того дуба зеленаго виситъ цѣпь золотная, по той ли по цѣпи золотной ходитъ черный котъ. Какъ и тотъ ли черный котъ во правую сторону идетъ, веселыя пѣсни заводитъ, какъ во лѣвую сторону идетъ, стары сказки сказываетъ. И ходитъ онъ, Семіонъ, около терема изукрашеннаго, ходитъ, похаживаетъ, черна кота поглаживаетъ, на высокъ теремъ посматриваетъ. Какъ и тотъ ли теремъ изукрашенный былъ красоты несказанныя: внутри его, терема изукрашеннаго, ходитъ красно солнышко словно на небѣ. Красно солнышко зайдетъ, молодой мѣсяцъ по терему похаживаетъ, золоты рога на всѣ стороны покладываетъ. Часты звѣзды изнасѣены по стѣнамъ, словно маковъ цвѣтъ. А построенъ тотъ теремъ изукрашенный на семи верстахъ съ половиной; а высота того терема несказанная. Кругомъ того терема рѣки текутъ, молокомъ изнаполненныя, сытой медовой подслащенныя. По всѣимъ по тѣимъ по рѣкамъ мосточки хрустальные, словно жаръ горятъ. Кругомъ терема стоятъ зелены сады, а въ

Digitized by Google

зеленыихъ садахъ поютъ птицы райскія пѣсни царскія. Во томъ ли теремѣ всѣ окошечки красна золота, всѣ крылечки бѣлостекольчаты, всѣ дверцы чиста серебра. Какъ и на теремѣ-то крышечка чиста серебра со маковкой золотной, а во той ли маковкѣ золотной лежитъ дорогъ рыбій зубъ. Отъ красна крылечка бѣлостекольчата лежатъ ковры самотканые; а по тѣмъ по коврамъ самотканыимъ ходитъ молода княжна, Елена прекрасная». Семой Семіонъ называется купцомъ: «посадскаго роду я, молода княжна, изъ-за тридевять земель, ходилъ, гулялъ на корабликахъ по всѣмъ городамъ, мѣнялъ, вымѣнивалъ золоты парчи червчатыя, бѣлошолковы аксамиты венецейскія, дороги камочки цареградскія, золоты ширинки съ убрусничками, вальящаты рясны съ монистами, черны соболи сибирскіе, сиводущаты лисицы поморскія, бѣлы куницы закамскія. Не въ угоду-ль тебѣ, молода княжна, вальящаты рясны съ монистами? Не по твоему ли нраву княженецкому золоты парчи червчатыя? Не по сердцу ли тебѣ, молода княжна, на душегрѣечку соболи сибирскія, бѣлы куницы закамскія, сиводущаты лисицы поморскія? Пригляни, молода княжна, на дороги товары заморскіе, выбирай себѣ съ любка любое, и потѣшь покупочкой заѣзжаго купца, гостиной сотни молодца». Заманивши молоду княжну на великъ корабль, Семіоны подняли паруса и поплыли. Увидѣвъ за собой погоню, четвертый Семіонъ схватилъ великъ корабль за его носъ туриный, за его корму звѣриную, и увелъ его въ подземельное царство; когда погоня ушла назадъ, Семіонъ опять вывелъ корабль. Молода княжна Елена прекрасная оборотилась лебедушкой бѣлой и улетѣла съ корабля; тогда пятый Семіонъ подстрѣлилъ ее въ крыло, а шестой подхватилъ на лету. Князь Угоръ женился на Еленѣ, надѣлилъ Семіоновъ золотой казной, да и отпустилъ ихъ на родиму сторону, а самъ онъ, молодой князь Угоръ, сталъ жить, поживать, добра наживать,

Содержаніе этой сказки, оригинально-русское оно, или восточнаго происхожденія, во всякомъ случаѣ такъ вздорно, что странно было бы разсуждать о немъ; но выраженіе этой сказки, складъ и тонъ разсказа такъ наивны, такъ оригинальны, такъ проникнуты понятіями и взглядомъ на вещи той эпохи, въ которую она сложена, и того класса народа, которымъ она сложена, что ее нельзя прочесть безъ интереса, болѣе или менѣе живого. И этого-то не поняли ученые и образованные литераторы прошлаго столѣтія: они гонялись за сюжетомъ сказокъ и ни во что ставили ихъ форму, которую и позволяли себѣ передѣлывать,—тогда какъ въ формѣ-то этихъ сказокъ и заключается весь ихъ интересъ, все ихъ достоинство. Но не будемъ слишкомъ винить этихъ передѣлывателей: они покорялись духу своего времени, которое требовало уже не сказокъ, а романовъ. Въ прошлое столѣтіе появились и «Георги, милорды англійскіе», и «Гуаки съ непоколебимой вѣрностью», и множество другихъ сказокъ, которыхъ содержаніе романическое, а слогъ сбивается то на тонъ Флоріановской поэмы, то на тонъ рыцарскаго романа, вродѣ тѣхъ, отъ которыхъ помѣшался Донъ-Кихотъ. И простой народъ теперь предпочитаетъ эти площадные романы своимъ наивнымъ сказкамъ такъ же, какъ гражданскую печать предпочитаетъ онъ своимъ лубочнымъ изданіямъ. И теперь русскія сказки могутъ имѣть свой интересъ для людей образованныхъ, которые видятъ въ нихъ духъ, умъ и фантазію народа; но для простолюдиновъ эти сказки не имѣютъ уже никакой цѣны. И кто же не согласится, что въ этомъ виденъ со стороны простонародья большой шагъ впередъ по пути образованности? Да, тутъ есть прогрессъ.

Особенно интересны тѣ русскія сказки, которыя можно назвать сатирическими. Въ нихъ виденъ бытъ народа, его домашняя жизнь, его нравственныя понятія, и этотъ лукавый русскій умъ, столь наклонный къ ироніи, столь простодушный въ своемъ лукавствѣ. Взглянемъ на нѣкоторыя изъ этихъ сказокъ. Въ сборникѣ Кирши Данилова три такихъ сказки: «Чурилья игуменья», «Дурень Бабинъ» и «У Спаса къ обѣднѣ звонятъ». Первая особенно интересна, но любопытные сами могутъ прочесть ее, а мы поговоримъ о двухъ послѣднихъ. Не всѣмъ дуракамъ удается въ русскихъ сказкахъ; инымъ въ нихъ приходится очень дорого расплачиваться за глупость.

А жилъ-былъ Дурень,
А жилъ-былъ Бабинъ,
Вздумалъ онъ, Дурень,
На Русь гуляти,
Людей видати,
Себя казати.
Отшедши Дурень
Версту-другу,
Нашелъ онъ, Дурень,
Двѣ избы пусты,
Въ третьей людей нѣтъ.
Заглянетъ въ подполье,
Въ подпольѣ черти
Востроголовы,
Глаза что часы,
Усы что вилы,
Руки что грабли,—
Въ карты играютъ,
Кости бросаютъ,
Деньги считаютъ,
Груды переводятъ.
Онъ имъ молвитъ:
«Богъ вамъ въ-помочь,
Добрымъ людямъ».
А черти не любятъ,
Схватили Дурня,
Зачали бити,
Зачали давити,
Едва его, Дурня,
Жива отпустили!
Пришедши Дурень
Домой-то плачетъ,
Голосомъ воетъ;
А мать бранити,
Жена пѣняти,
Сестра-то также:
«Ты, глупой Дурень,
Неразумный Бабинъ!
То же бы ты слово
Не такъ же бы молвилъ:
А ты бы молвилъ:
Будь врагъ проклятъ
Именемъ Господнимъ,
Во вѣки вѣковъ, аминь.
Черти бъ убѣжали,
Тебѣ бы, Дурню,

Digitized by Google

Деньги достались
Вмѣсто кладу».
Добро ты, баба,
Баба Бабариха,
Мать Лукерья,
Сестра Чернава!
Потомъ я, Дурень,
Таковъ не буду.

Сказка эта довольно длинна, но она вся разсказывается почти одними и тѣми же словами. Получивъ урокъ отъ чертей и помня наставленіе жены, матери и сестры, Дурень сказалъ четыремъ братьямъ, молотившимъ ячмень: «Будь врагъ проклятъ именемъ Господнимъ». Опять урокъ и опять наставленіе со стороны женщинъ: «Ты бы молвилъ: дай вамъ, Боже, по сту на день, по тысячѣ на недѣлю». Встрѣтивъ похороны, Дурень привѣтствовалъ ихъ этими словами, былъ прибитъ и опять получилъ наставленіе, что слѣдовало ему сказать: «Дай, Боже, царство небесное, землѣ упокой». Дурень этимъ желаніемъ привѣтствовалъ свадьбу князя и былъ нещадно избитъ. Опять поученіе: «Ты бы молвилъ: дай Господь Богъ новобрачному князю сужено поняти, подъ златъ вѣнецъ стати, законъ Божій пріяти, любовно жити, дѣтей сводити». И Дурень привѣтствовалъ этимъ желаніемъ встрѣтившагося ему старца, который и изломалъ о его бока свою клюку—«не жаль ему, старцу, дурака-то, но жаль ему, старцу, костыля-то». Узнавши, что старцу долженъ онъ былъ сказать: «Благослови меня, отче, святой игуменъ», Дурень обратился съ этимъ привѣтствіемъ къ медвѣдю въ лѣсу. Прибѣжавъ домой еле живъ, онъ узналъ, что на медвѣдя ему слѣдовало заускать, загайкать, заулюкать,—и, встрѣтивши на дорогѣ «полковника Шишкова», онъ заускалъ, загайкалъ и заулюкалъ, за что и крѣпко былъ избитъ солдатами—тутъ ему Дурню и смерть случилась.

Сказка: «У Спаса къ обѣднѣ звонятъ» замѣчательна столько по тону легкой ироніи въ выраженіи, сколько и по тому, что она представляетъ вѣрную картину одного изъ важнѣйшихъ общественныхъ отношеній—отношенія зятя къ тещѣ и выгоднаго положенія послѣдняго передъ первой, равно какъ и намекъ на нѣкоторыя права и привилегіи, доставляемыя законнымъ бракомъ. Теща, пришедши къ зятю, била ему челомъ, а зять и не посмотрѣлъ на нее, говоритъ:

«А и вижу я, вижу сама,
А что есть на немъ бѣшеная!
Бить зятю дочи моя,
Прогнѣвить сердце материно,
И пролить бы горячу кровь.
А и чѣмъ будетъ зятя дарить,
Чѣмъ господина дарить?»

Выраженіе этой сказки особенно оригинально: въ немъ есть что-то поэтическое и вмѣстѣ съ тѣмъ что-то ироническое. Она состоитъ изъ двухъ частей, которыя обѣ начинаются такъ:

У Спаса къ обѣднѣ звонятъ,
У прихода часы говорятъ,
По монастырямъ благовѣстятъ;—
Теща къ обѣднѣ спѣшитъ,
На мутовкѣ рубашку сушитъ,
На поваренкѣ кокошнички.
Она, теща, къ обѣднѣ пошла—
А идетъ по-малешеньку,
Съ ноги на ногу поступываетъ,
На башмачки посматриваетъ,
Чеботы наколачиваетъ.

Въ первой части сказки теща предлагаетъ зятю кафтанъ изъ камки, а дочери сарафанъ, чтобы зять не билъ ее, дочь, не гнѣвилъ сердце материно, не проливалъ бы горячу кровь. Но, видно, зятю этого показалось мало; теща предложила ему быстру рѣку, а на той на быстрой на рѣкѣ много гусей, лебедей, много сѣрыхъ малыхъ уточекъ.

А и зять на нее поглядѣлъ,
Господинъ слово выговорилъ:
«Теща ты, теща моя,
Богоданная матушка!
Ты поди-тко живи у меня;
А работы не робь на меня;
Только ты баню топи,
Только ты воду носи,
Еще мнѣ робенки качай».

Изъ этого видно, какъ выгодно бывало встарину быть зятемъ богатой тещи: чтобы взять у ней все, стоило только прибить жену свою, прогнѣвить сердце материно и пролить бы горячую кровь... Любопытная черта общественныхъ и семейственныхъ нравовъ милой старины!..

Любопытны сказки вродѣ такихъ, какъ «Сказка о нѣкоемъ приказчикѣ и купцовой женѣ» и «Бабьи Увертки». Это сказки новѣйшія или по крайней мѣрѣ сильно подновленныя. Послѣдняя называется еще «Сказкой о бабьихъ увертках и непостоянныхъ документахъ». Но особенно любопытны исторически-старинныя сказки въ сатирическомъ духѣ, каковы: «Сказка о томъ, какъ мыши кота погребаютъ», «Шемякинъ Судъ» и «Сказка о Ершѣ Ершовѣ сынѣ Щетинниковѣ». Изъ нихъ только послѣдняя напечатана Сахаровымъ съ стариннаго подлинника. Эти сказки въ тысячу разъ важнѣе всѣхъ богатырскихъ сказокъ, потому-что въ нихъ ярко отражается народный умъ, народный взглядъ на вещи и народный бытъ. Въ послѣднемъ отношеніи онѣ могутъ считаться драгоцѣннѣйшими историческими документами. Для поясненія нашей мысли, приводимъ здѣсь послѣднюю сказку всю цѣликомъ, со всѣми ея повтореніями, которыя имѣютъ глубокій смыслъ.

«Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ, за тридевять земель въ тридесятомъ царствѣ уряженъ былъ судъ, а въ томъ судѣ судьями сидѣли: бояринъ Осетръ, да воевода Сомъ, оба отъ Хвалынскаго моря; да тутъ же въ судѣ выборные мужики сидѣли: Судакъ да Щука, оба отъ земскихъ волостей, съ Волги рѣки да съ Дона.

Digitized by Google

И къ тому суду пришли Ростовскаго озера челобитчики, рыба Лещъ съ товарищи. И били тѣ челобитчики, рыба Лещъ съ товарищи, на судѣ на Ерша Ершова сына Щетинникова, да подали за руками челобитную. А въ той ихъ челобитной, у рыбы Леща съ товарищи, написано:

«Бьютъ челомъ и плачутся убогіе сироты, нищіе крестьяне Ростовскаго озера, рыба Лещъ съ товарищи, на Ерша Ершова сына Щетинникова. Въ прошломъ 7010 годѣ били мы, рыба Лещъ съ товарищи, на него вора Ерша въ насильномъ разграбленіи нашихъ животишекъ; и подали сказку за руками всѣхъ старожиловъ, что то Ростовское озеро изстари было за нами, нищими крестьянами, дано въ отчину, а намъ, убогіимъ сиротамъ, послѣ отцовъ нашихъ та отчина въ вѣкъ прочна. А нынѣ тотъ ябедникъ Ершъ, лихой человѣкъ и воришка, изъ Волги рѣки Выркой рѣкой къ намъ, убогіимъ сиротамъ, въ Ростовское озеро пришелъ, а пришелъ онъ, Ершъ, зимой, не въ погожую пору, и выпросился онъ, Ершъ, одну ночь въ Ростовскомъ озерѣ ночевать; а назвался онъ, Ершъ, наемнымъ крестьяниномъ; а про то мы, нищіе крестьяне, не вѣдая его, Ершовой, хитрости, пустили его, Ерша, одну ночь въ Ростовское озеро ночевать, а какъ онъ, воръ Ершишка, одну ночь ночевалъ, и упросилъ насъ, убогіихъ сиротъ, чтобы его, Ершишка, пустить покормитися въ наше озеро Ростовское съ женишкою и съ дѣтишками своими: а мы, нищіе крестьяне, не вѣдая его, Ершова, лихости, положили на міру: его, Ерша, съ женой и дѣтишками его въ Ростовское озеро покормитися пустить. Да свѣдали мы послѣ, что ему, Ершу, нарядомъ повѣщено было идти зимовать на сторожи на Каму рѣку, а онъ, воръ и ябедникъ Ершишка, укрываючись, про то намъ не повѣдалъ; а мы, убогіи сироты ваши, про то не знали. И тотъ воръ, Ершишка, въ нашемъ Ростовскомъ озерѣ поллѣта прожилъ, и дѣтишекъ расплодилъ, и дочь свою Ершиху замужъ за Карпушкина сына выдалъ; а послѣ того, стакався съ племенники своими и дѣтишки, приговорили насъ, убогіихъ сиротъ, перебить и животишки разграбить, и родъ нашъ весь изъ отчины вонъ выгнать и озеромъ Ростовскимъ завладѣть напрасно. И то все онъ, воръ Ершишка, дѣлалъ, понадѣючись на свое насильство. Смилуйтесь, господа судьи! не дайте намъ, убогіимъ сиротамъ, дожить до конечнаго разоренія и укажите дать праведный судъ намъ, нищіимъ крестьянамъ, съ тѣмъ Ершомъ.»

И судьи спрошали рыбу Лещъ съ товарищи: «ты, рыба Лещъ, съ товарищи! скажи ты намъ: правое ли то ваше челобитье, и чѣмъ вы по челобитной на судъ ручаетесь?»

И рыба Лещъ съ товарищи стали на судъ къ отвѣту, да говорили: «Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Вѣдая свое дѣло правое, били челомъ по правдѣ, и въ томъ ручаемся животомъ и жизнію; да какъ вы, господа судьи, посудите, такъ тому и быть.»

И судьи, поговоря промежъ собой, приговорили: послать приставомъ рыбу Окунь, да велѣли ему, приставу Окуню, поставить рыбу Ершъ на судъ къ отвѣту.

И приставъ Окунь рыбу Ершъ на судъ къ отвѣту поставилъ, а доводчикъ Карась читалъ тѣ жалобы челобитчиковы, рыбы Леща съ товарищи.

И рыба Ершъ сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ: «Господа судьи, Богомъ вы сотворены! то челобитье истцовъ, рыбы Леща съ товарищи, неправое, и то-де я послѣ доводомъ доведу; а напередъ на нихъ, истцовъ, рыбу Леща съ товарищи, дайте судъ и расправу въ дѣлѣ великомъ.»

И судьи спрошали его, Ерша: «ты, Ершъ! въ какомъ дѣлѣ великомъ дать тебѣ судъ и расправу на нихъ, истцовъ, рыбу Леща съ товарищи?»

И рыба Ершъ сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ: «Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Тѣ истцы, рыба Лещъ съ товарищи, въ своей челобитной меня, Ерша, поносили и безчестили и называли меня, Ерша, и воромъ, и ябедникомъ, и Ершишкой, и волочайкой, и укрывайцей. И то все соромъ они, истцы, рыба Лещъ съ товарищи, лаяли на меня Ерша, и за то съ нихъ, истцовъ, рыбы Леща съ товарищи, доправить мнѣ слѣдуетъ за большое безчестье съ проторы и убытки.»

И судьи спрашивали рыбу Лещъ съ товарищи: «ты, Лещъ, съ товарищи! скажи ты намъ: будетъ дѣло не правое по суду отвѣтчикову доказано будетъ, и чѣмъ вы ручаетесь за большое безчестье?»

И рыба Лещъ съ товарищи сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ: «Господа судьи, Богомъ вы сотворены! А то онъ, Ершъ, затѣялъ дѣло не правое, взвелъ лихой извѣтъ, кабы судъ проволочить: а буде на судѣ наше челобитье неправымъ дѣломъ доказано будетъ, и мы ручаемся въ томъ животомъ и жизнью.»

И судьи, поговоря промежъ собой, приговорили: «тотъ его, Ерша, лихой извѣтъ оставить, а ему, Ершу, указали, безъ проволочки, чинить отвѣтъ на суду по челобитью истцовъ, рыбы Леща съ товарищи.»

И рыба Ершъ сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ: «Господа судьи, Богомъ вы сотворены! А то челобитье истцовъ, рыбы Леща съ товарищи, лихой извѣтъ на меня, Ерша; а грабить ихъ и животишки ихъ разорять не думалъ я и не гадалъ; а то Ростовское мое озеро изстари и владѣли имъ изстари отцы и дѣды, а дано оно было въ отчину старому Ершу, моему дѣду; и потому жъ оно нынѣ прочно за мной въ вѣкъ; а родомъ мы изстари дѣти боярскія, мелкихъ бояръ Переяславскихъ; а тѣ челобитчики, рыба Лещъ съ товарищи, бывали у отца моего въ холопѣхъ; а я, Ершъ, не похотя грѣха по батюшкиной душѣ, отпустилъ ихъ, холопей, на волю, да велѣлъ имъ жить за собою, поитися и кормитися самимъ собой; а ихъ племя, рыбы Леща съ товарищи, и нынѣ есть во дворѣ у насъ въ холопѣхъ; а какъ то Ростовское озеро отъ великихъ засухъ повысохло, и стала скудость великая и голодъ, а тѣ челобитчики, рыба Лещъ съ товарищи, сами сволоклися на Вырку рѣку и по затокамъ разселилися, умышляя лихое дѣло на мою голову: похотѣли меня, Ерша, со всѣмъ моимъ домишкомъ искоренить напрасно: и отъ того мнѣ, Ершу, житья не стало; а послѣ стали они, истцы, рыба Лещъ съ товарищи, отъ крестьянства отбиватися, и учали они воровствомъ въ Ростовскомъ озерѣ промышлять; а я, Ершъ, отцовскимъ домишкомъ и нынѣ живу въ Ростовскомъ озерѣ: а живу я на днѣ и на свѣту, кабы добрый человѣкъ: не тать и не разбойникъ; а я живу своей силой и кормлюся своей отчиной; да меня, Ерша, знаютъ на Москвѣ большіе князья и бояре, и окольничіе, и дворяне, и дьяки, и гостиныя сотни, и всѣхъ чиновъ люди въ иныхъ городахъ и во многихъ селѣхъ.»

И судьи спрашивали рыбу Лещъ съ товарищи: «ты, рыба Лещъ, съ товарищи! скажи ты намъ: на кого ты шлешься, что то Ростовское озеро ваше, а не Ершова съ товарищи? И чѣмъ его, Ерша, уличаете?»

И рыба Лещъ съ товарищи сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ: «Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Уличаемъ мы его, Ерша, всей правдой и шлемся въ томъ на свидѣтелей, а свидѣтели тѣ у насъ люди добрые: Новгородской области, Ладожскаго озера, рыба Бѣлуга, да со Бѣла-озера рыба Бѣлая-рыбица, и что тѣ, добрые люди,

Digitized by Google

подлинно про то вѣдаютъ, что то Ростовское озеро наше, а не Ершово.»

И судьи спрошали Ерша съ товарищи: «ты, рыба Ершъ! шлешься ли Новгородской области Ладожскаго озера на рыбу Бѣлугу да съ Бѣлаозера на рыбу Бѣлую-рыбицу?»

И Ершъ сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ: «Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Новгородской области, Ладожскаго озера на рыбу Бѣлугу да съ Бѣлоозера на рыбу Бѣлую-рыбицу не шлюся за тѣмъ, что тѣ рыбы большія, а мы, Ерши, рыбы малыя: и въ томъ промежъ насъ правды не будетъ; да они жъ, тѣ рыбы, Бѣлуга да Бѣлая-рыбица, за одно живутъ съ Лещемъ, и пьютъ, и ѣдятъ вмѣстѣ; и въ томъ промежъ насъ правды не будетъ; да у нихъ же, у рыбы Бѣлугѣ да у Бѣлой-рыбицѣ, съ Лещемъ промежъ себя испоконъ вѣку идетъ сватовство и кумовство: и въ томъ промежъ насъ правды не будетъ; да и они жъ, рыба Бѣлуга да и Бѣлая-рыбица, люди зажиточные, а я, Ершъ, человѣкъ убогой, и мнѣ, Ершу, за ѣзду поѣзжаное платить приставу съ понятыми не чѣмъ, а путь дальній.»

И судьи спрашивали рыбу Лещъ съ товарищи: «ты, рыба Лещъ, съ товарищи! Скажи ты намъ, на кого шлешься еще въ томъ, что то Ростовское озеро ваше, а не Ершово съ товарищи?»

И рыба Лещъ съ товарищи сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ: «Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Уличаемъ мы его, Ерша, всей правдой и слалися въ томъ на свидѣтелей, а свидѣтели были у насъ въ томъ люди добрые. И онъ, Ершъ, лихостью своей обезчестилъ людей добрыхъ: Новгородской области Ладожскаго озера рыбу Бѣлугу да съ Бѣлаозера рыбу Бѣлую-рыбицу для того, будто тѣ рыбы велики; и то онъ соромъ лаялъ; и будто тѣ рыбы живутъ со мной, Лещемъ, за одно и пьютъ, и ѣдятъ вмѣстѣ со мной, Лещемъ; и то онъ дурно дѣлалъ; и будто тѣ рыбы водятъ кумовство и сватовство со мной, Лещемъ; и то онъ напраслину ставилъ. А тѣ всѣ рѣчи его, Ершовы, извѣстныя и къ отвѣту нейдутъ, и тѣмъ рѣчамъ его нельзя вѣры имать безъ доводчиковъ и крѣпкой поруки. Опричь тѣхъ добрыхъ людей, ставитъ онъ, Лещъ, въ свидѣтели Переяславскую рыбу Сельдь, и что та рыба Сельдь человѣкъ добрый, и подлинно вѣдаетъ, что то Ростовское озеро наше, а не Ершово.»

И судьи спрошали Ерша съ товарищи: «ты, Ершъ! шлешься ли Переяславскаго озера на рыбу Сельдь?»

И Ершъ сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ: «Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Переяславская рыба Сельдь всѣмъ свѣдома, и на ту рыбу я, Ершъ, шлюсь. Да она жъ, рыба Сельдь, человѣкъ зажиточный, а я, Ершъ, человѣкъ убогой, да мнѣ, Ершу, за ѣзду поѣзжаное платить приставу съ понятыми не чѣмъ, а путь дальній.»

И судьи, поговоря межъ собой, приговорили: послать, мимо истцовъ и отвѣтчиковъ, приставомъ рыбу Окунь, а ѣзду за поѣзжаное доправить послѣ на виноватомъ; да ему, приставу Окуню, приговорили взять въ понятые рыбу Линь.

И Линь сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ: «Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Въ понятыхъ мнѣ, Линю, быть нельзя за тѣмъ, что у меня, Линя, и глаза малы, и говорить не умѣю, и память худа, за хворостью съ мѣста не схожу.»

И судьи, поговоря промежъ собой, приговорили: «за той хворостью рыбу Линя отъ понятыхъ ослободить, а вмѣсто него приказали отпустить въ понятые рыбу Язя.»

И приставъ, рыба Окунь, да понятой, рыба Язь, по сыску въ Переяславскомъ озерѣ ту рыбу Сельдь обыскали, и поставили ту рыбу Сельдь къ суду въ отвѣтъ.

И какъ стала рыба Сельдь Переяславская къ суду въ отвѣтъ, и доводчикъ Карась читалъ судное дѣло, да потому же приговорилъ рѣчи истцовы и отвѣтчиковы, да взялъ у нихъ, истцовъ и отвѣтчиковъ, сказки въ томъ за ихъ руками, и положили тѣ сказки передъ судьями.

И судьи спрошали Переяславскую рыбу Сельдь: «ты, рыба Сельдь! скажи ты намъ про того Леща и Ерша: чье у нихъ Ростовское озеро изстари?»

И рыба Сельдь Переяславская сказала: «Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Скажу вамъ всю правду, что вѣдаю про Леща и Ерша, чье у нихъ Ростовское озеро изстари. Лещъ, господа судьи, человѣкъ добрый и крестьянинъ гожій, а живетъ онъ, Лещъ, своей силой, какъ и прочіе люди живутъ; и онъ, Лещъ, ни тать, ни разбойникъ. Да то все вѣдаю заподлинно.—Ершъ, господа судьи, лихой человѣкъ и ябедникъ, а живетъ по рѣкамъ и озерамъ на днѣ и на свѣту мало бываетъ; да тотъ Ершъ и большіихъ рыбъ обманываетъ; попросится онъ, воръ, на ночь ночевать, и тутъ поселится со всѣмъ домишкомъ вѣковать, а тамъ и учнетъ послѣ клепать, что та его отчина завѣдомо изстари; да тотъ же Ершъ не бывалъ изстари въ дѣтяхъ боярскихъ; и за собой не имѣлъ при дворѣ холопей: да и живалъ онъ, Ершъ, въ бобыляхъ; а по наряду довелось ему быть на сторожи на Камѣ рѣкѣ, да и туто укрылся на Ростовское озеро. Да то все вѣдаю заподлинно.»

И судьи спрошали Переяславскую рыбу Сельдь: «ты, рыба Сельдь! скажи ты намъ, знаютъ ли его, Ерша, на Москвѣ большіе князья и бояре, стольники и дворяне, дьяки и гостиныя сотни, и всѣхъ чиновъ люди въ иныхъ городѣхъ и во многихъ селѣхъ?»

И рыба Сельдь Переяславская сказала: «Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Скажу вамъ всю правду, что вѣдаю про Ерша. Знаютъ его, Ерша, на Москвѣ и въ иныхъ городѣхъ и во многихъ селѣхъ на кружалахъ, и не князья и бояре, и не стольники и не дворяне, и не дьяки и торговыя сотни, и всѣхъ чиновъ люди, а ярыжки, бражники и зернщики. Да то все вѣдаю подлинно.»

И судьи спрошали его, Ерша: «ты, Ершъ, скажи ты намъ: чѣмъ ты опорочиваешь рѣчи свидѣтельскія? И кто въ томъ за тебя, Ерша, порукой?»

И Ершъ сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ: «Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Опорочиваю тѣ рѣчи свидѣтельскія, Переяславской рыбы Сельдь, тѣмъ, что все то она говоритъ съ похмѣлья, понаровя истцамъ, рыбѣ Лещу съ товарищи; да и она, рыба Сельдь, отродясь меня, Ерша, не видывала и говоритъ въ своихъ рѣчахъ извѣтъ лихой напрасно; и въ своихъ рѣчахъ кладу за себя порукой рыбу Налима, а та ли рыба Налимъ человѣкъ добрый и знаетъ доподлинно, что та рыба Сельдь съ похмѣлья и не въ разумѣ и что говоритъ ума-разума не спрошаючи.»

И судьи, поговоря промежъ собой, приговорили послать приставомъ рыбу Окунь по рыбу Налимъ, а ѣзду за поѣзжаное доправить послѣ на виноватомъ; да ему, приставу, приговорили взять на понятые рыбу Язя.

И приставъ, рыба Окунь, да понятой, рыба Язь по сыску въ Волгѣ-рѣкѣ, ту рыбу Налимъ обыскали и поставили ту рыбу Налимъ къ суду въ отвѣтъ.

И какъ рыба Налимъ сталъ на судъ къ отвѣту, и доводчикъ Карась читалъ судное дѣло, да потому жъ проговорилъ рѣчи отвѣтчиковы Ерша и рѣчи свидѣтельскія рыбы Сельдь, да взялъ у нихъ, у Ерша и Сельди, сказки въ томъ за ихъ руками и положилъ тѣ сказки передъ судьями.

И судьи спрошали рыбу Налимъ: «ты, Налимъ! скажи ты намъ: бываетъ ли рыба Сельдь съ похмѣлья и не въ разумѣ, и что та рыба Сельдь говоритъ ли, ума-разума не спрошаючи?»

Digitized by Google

И рыба Налимъ сталъ на судъ къ отвѣту, да говорилъ: «Господа судьи, Богомъ вы сотворены! таковско дѣло мнѣ, Налиму, невѣдомо; да и потому жъ ничего про Ерша не знаю и не вѣдаю.»

И рыба Ершъ сталъ на судъ къ отвѣту, да говоритъ: «Господа судьи, Богомъ вы сотворены! Тотъ рыба Налимъ мужикъ глупой и состарѣлся, да и на суду говорить не съумѣетъ. И въ своихъ рѣчахъ кладу за себя порукой старыхъ старожиловъ, рыбу Плотву съ товарищи.»

И судьи, поговоря промежъ собой, приговорили: рыбу Налимъ отослать назадъ съ понятымъ и сдать становому подъ росписку; а ему, Ершу, за оболганіе рыбы Сельдь и Налима очныхъ ставокъ болѣе не давать.

И понятой, рыба Язь, положилъ рыбу Налимъ съ сани, да и свезъ къ Волгѣ-рѣкѣ, и подалъ передъ судьями росписку о томъ.

И судьи, поговоря промежъ собою, приговорили: истцовъ и челобитчиковъ выслать изъ суда вонъ, сдавъ на руки понятому, рыбѣ Язю; судное дѣло указали писать Вьюну; дѣло вершить по грамотамъ суднымъ доводчику Карасю, и грамоту печатать Раку клешней.

И какъ дѣло повершили, и доводчикъ Карась положилъ то судное дѣло передъ судьями.

И судьи, поговоря промежъ себя, приговорили: Леща съ товарищи оправить, а Ерша обвинить, да и выдать Ерша ему, Лещу, головой

И доводчикъ Карась поставилъ на судъ истцовъ и отвѣтчиковъ передъ судьями, а грамоту къ губному старостѣ сталъ читать Вьюнъ.

Память Ростовскаго озера губному старостѣ большой рыбѣ Севрюгѣ съ товарищи. Въ прошлыхъ-де годѣхъ 7010, явясь на судъ Ростовскаго озера челобитчики, рыба Лещъ съ товарищи, и били намъ челомъ и подали свое челобитье за руками; а въ томъ ихъ челобитьѣ писано: на Ерша Ершова сына Щетинникова жалоба великая: онъ-де, Ершъ, изъ Волги рѣки Выркой рѣкой пришелъ къ намъ въ Ростовское озеро зимой, не въ погожую пору, и выпросился обманомъ у насъ, рыбы Леща съ товарищи, одну ночь въ Ростовскомъ озерѣ ночевать, а послѣ онъ-де, Ершъ, просился у насъ, рыбы Леща съ товарищи, покормитися съ женишкой и дѣтишками; и онъ-де, Ершъ, у насъ, рыбы Леща съ товарищи, поллѣта прожилъ, и дѣтишекъ расплодилъ, и дочь свою Ершиху за Карпушкина сына выдалъ; да онъ-де, Ершъ, стакався съ своими племянники и дѣтишки, приговорили насъ, рыбу Леща съ товарищи, перебить и животишки наши разграбить, и изъ отчины вонъ выгнать, и тѣмъ Ростовскимъ озеромъ завладѣть напрасно. А по сыску и допросу въ томъ судѣ оказалось, что-де онъ, Ершъ, воръ и разбойникъ; живетъ-де онъ, Ершъ, по озерамъ и болотамъ бобылемъ; и онъ-де Ершъ говорилъ въ судѣ, что будто онъ, Ершъ, изъ боярскихъ дѣтей мелкихъ бояръ Переяславскихъ, и что-де та рыба Лещъ съ товарищи изстари были за отцомъ его крестьяне; и то онъ, Ершъ, лаялъ напрасно. И какъ къ тебѣ вся наша память придетъ, и ты-бъ того Ерша съ товарищи взялъ къ себѣ въ губную избу, учинилъ наказаніе на мірскомъ дворѣ, билъ батоги нещадно, чтобъ впредь имъ и всѣмъ братіямъ, на то смотря, такъ дѣлать было не повадно, и, учиня имъ наказаніе, доправилъ бы, безъ Московскія волокиты, съ него, Ерша, съ товарищи, всѣ проторы и убытки, а доправя проторы и убытки, выдалъ бы того, Ерша, ему, Лещу, головой и велѣлъ бы его, Ерша, водя по торгамъ, бить кнутомъ, а, бивъ кнутомъ, повѣсить противъ солнца. И о томъ о всемъ прислалъ бы еси къ намъ отписку безъ мотчанія.»

—

Эта сказка — полная и вѣрная картина древней русской юриспруденціи, древняго русскаго судопроизводства, древняго русскаго словеснаго суда, со всѣмъ ихъ добромъ и со всѣмъ ихъ зломъ: и съ гарантіей справокъ и свидѣтельствъ, забираемыхъ у лицъ, соприкосновенныхъ дѣлу или подсудимому, и съ московской волокитой. Повторяемъ: для людей, которымъ доступна не одна буква, такая сказка есть драгоцѣнный историческій документъ.

Отъ поэмъ и сказокъ самый естественный переходъ къ историческимъ пѣснямъ. Этотъ отдѣлъ русской народной поэзіи бѣденъ во всѣхъ отношеніяхъ: и числомъ, и содержаніемъ, и поэзіей. Трудное и тяжкое историческое развитіе Руси до Петра Великаго было слишкомъ сухой и безплодной почвой для поэзіи.

Древнѣйшая историческая пѣсня въ разсматриваемыхъ нами сборникахъ находится въ книгѣ Кирши Данилова и называется «Щелканъ Дудентьевичъ». Она носитъ на себѣ характеръ сказочный, но явно, что историческое событіе дало для нея содержаніе. Герой ея, Щелканъ Дудентьевичъ, не получилъ себѣ отъ своего шурина, царя Азвяка Ставруловича, удѣла, потому что былъ во время раздачи удѣловъ въ Литвѣ. «Бралъ онъ, младъ Щелканъ, дани, выходы, царски невыплаты; съ князей бралъ по сто рублевъ, со бояръ по пятидесяти, съ крестьянъ по пяти рублевъ; у котораго денегъ нѣтъ, у того дитя возьметъ; у котораго дитя нѣтъ, у того жену возьметъ; у котораго жены-то нѣтъ, того самого головой возьметъ». Возвратившись къ царю Азвяку съ данями, невыплатами, онъ проситъ у него себѣ въ удѣлъ старую Тверь. Азвякъ отвѣчаетъ ему: «Гой еси, шуринъ мой, Щелканъ Дудентьевичъ! заколи-тко ты сына своего любимаго, крови ты чашу нацѣди, выпей ты крови тоя, крови горячія, и тогда я тебя пожалую Тверью богатой, двумя братцами родимыми, двумя удалыми Борисовичами». Выполнивъ это *гуманное* требованіе, Щелканъ «судьею насѣлъ въ Тверь ту старую, въ Тверь ту богатую, а немного онъ судьей сидѣлъ: и вдовы-то безчестити, красны дѣвицы позорити, надо всѣми наругатися, надъ домами насмѣхатися. Мужики-то старые, мужики-то богатые, мужики-то посадскіе, они жалобу приносили двумъ братьямъ родимыимъ, двумъ удалымъ Борисовичамъ; отъ народа они съ поклономъ пошли, съ честными подарками. Изошли его въ домѣ у себя Щелкана Дудентьевича; подарки принялъ отъ нихъ, чести не воздалъ имъ. Втапоры младъ Щелканъ зачванился, онъ загординился, и они съ нимъ раздорили — одинъ ухватилъ

Digitized by Google

за волосы, а другой за ноги, и тутъ его разорвали. Тутъ смерть ему случилася, ни на комъ не сыскалася». Эта пѣсня есть искаженная быль XI столѣтія: Щелканъ Дудентьевичъ есть не кто иной, какъ Шевкалъ, сынъ Дюденевъ, двоюродный братъ хана Узбека (переименованнаго сказкой въ Азвяка, да еще и Ставруловича), который, прибывъ посломъ въ Тверь въ 1327 году, за свою жестокость и наглость былъ сожженъ гражданами со всей татарской свитой.

Кромѣ этой пѣсни, въ сборникѣ Кирши Данилова нѣтъ ни одной, которая бы относилась къ эпохѣ татарщины; равнымъ образомъ нѣтъ ни одной исторической пѣсни, которая бы относилась къ Донскому, къ Іоанну III; есть нѣсколько пѣсенъ объ Иванѣ Грозномъ, да нѣсколько пѣсенъ, относящихся къ эпохѣ самозванцевъ и борьбы Россіи съ Польшей за независимость; также изъ эпохи царя Алексія Михаиловича и Петра Великаго. Всѣхъ этихъ пѣсенъ числомъ не болѣе десяти, да и тѣ совершенно ничтожны и по содержанію, и по формѣ, и по историческому значенію. Русская народность еще сознавала себя въ сказкахъ: въ исторіи она потерялась. Русскій человѣкъ какъ бы не чувствовалъ себя членомъ государства и потому не зналъ, что̀ въ немъ дѣлалось. До него доходили слухи, онъ и самъ бывалъ свидѣтелемъ событій, какъ ратникъ лилъ кровь свою по царскому наказу, боярскому приказу, но ничего не понималъ въ этихъ столь близкихъ къ нему событіяхъ, и потому перевиралъ ихъ вопреки здравому смыслу и исторической дѣйствительности. Такъ, въ одной пѣснѣ: «кругомъ сильна царства Московскаго, Литва облегла со всѣ четыре стороны, а и съ нею сила, сорочина долгополая, и тѣ черкесы пятигорскіе, еще ли калмыки съ татарами, со татарами, со башкирцами, еще чукши со люторами (съ лютеранами, изъ которыхъ политическій тактъ древней Руси сдѣлалъ особый народъ)»; тогда Михайло Скопинъ «правитель царству Московскому, оберегатель міру крещеному и всей нашей земли свято-русскія», пріѣзжалъ въ Новгородъ, «садился на ременчатъ стулъ, а и беретъ чернилицу золотую, какъ бы въ ней перо лебединое, и беретъ онъ бумагу бѣлую, писалъ ярлыки скорописчаты во свитцкую (шведскую) землю, саксонскую, ко любимому брату названому, ко свицкому королю Карлусу, а отъ мудрости слово поставлено: «А и гой еси, названый братъ, а ты свицкій король Карлусъ! а и смилуйся, смилосердуйся, смилосердуйся, покажи милость: а и дай мнѣ силы на подмочь». Это посланіе—образецъ дипломатическаго краснорѣчія, отослано къ шведскому королю, который и прислалъ къ Скопину на помощь сорокъ тысячъ войска. Соединившись съ шведами, наши войска пошли въ восточную сторону и вырубили чудь бѣлоглазую и сорочину долгополую; въ полуденную сторону — перекрошили черкесъ пятигорскихъ, «еще нонѣ тутъ Малороссія», и такимъ же образомъ уничтожили Литву, чукчей, башкирцевъ, калмыковъ и «алюторовъ. Въ остальной половинѣ пьесы перевирается по сказочному отравленіе Скопина, котораго причина—самая народная: Скопинъ на пиру у Воротынскаго больно началъ похваляться: «Я, Скопинъ, очистилъ царство Московское и велико Государство Россійское, еще ли мнѣ славу поютъ до вѣку, отъ стараго до малаго, отъ малаго до вѣку моего». И тутъ боярамъ за бѣду стало: они подсыпали въ чашу зелья лютаго, а кума Скопина, крестовая дочь Малюты Скурлатова, поднесла ему отравленную чашу.

Окончаніе пьесы отличается всей наивной и удалой прелестью русской народной поэзіи:

То старина, то и дѣянье,
Какъ бы синему морю на утишенье,
А быстрымъ рѣкамъ слава до̀ моря.
Какъ бы добрымъ людямъ на послушанье,
Молодымъ молодцамъ на перениманье,
Еще намъ, веселымъ молодцамъ, на потѣшенье,
Сидючи въ бесѣдѣ смиренныя,
Испиваючи медъ, зелено вино;
Гдѣ-ко пиво пьемъ, тутъ и честь воздаемъ,
Тому боярину великому
И хозяину своему ласковому.

Въ другой пѣснѣ царь Алексій Михайловичъ три года стоитъ подъ Ригой, потомъ ѣдетъ въ Москву; войско проситъ царя не оставлять его подъ Ригой: «наскучила намъ Рига, напрокучила; много голоду, холоду приняли, наготы, босоты вдвое того». Царь отвѣчаетъ: «когда прибудемъ въ каменну Москву, забудемъ бѣдность, нужду великую, а и выставлю вамъ погреба царскіе, что̀ съ пивомъ, съ виномъ, меды сладкіе».

Лучшія историческія пѣсни—объ Иванѣ Грозномъ. Тонъ ихъ чисто сказочный, но образъ Грознаго просвѣчиваетъ сквозь сказочную неопредѣленность со всей яркостью грозовой молніи. Въ драгоцѣнномъ сборникѣ Кирши Данилова, къ сожалѣнію, далеко не вполнѣ перепечатанномъ Сахаровымъ, есть пѣсня подъ названіемъ «Мастрюкъ Темрюковичъ», въ которой описывается кулачный бой царскаго шурина, Мастрюка, съ двумя московскими удальцами. Грозный пировалъ по случаю женитьбы своей на Маріѣ Темрюковнѣ, сестрѣ Мастрюковой, Купавѣ Крымской, царицѣ благовѣрной, дочери Темрюка Степановича, царя Золотой Орды (о исторія!..). На пиру всѣ были ве-

Digitized by Google

селы; не веселъ одинъ Мастрюкъ Темрюковичъ, шуринъ царскій: онъ еще нигдѣ не нашелъ борца по себѣ и думаетъ Москву загонять, сильно царство Московское. Узнавъ о причинѣ его кручины-раздумья, царь велѣлъ боярину Никитѣ Романовичу искать бойцовъ по Москвѣ. Два братца родимые по базару похаживаютъ, а и бороды бритыя, усы торженые, а платье саксонское, сапоги съ раструбами. Они спрашиваютъ боярина: «смѣть ли нога ступить съ царскимъ шуриномъ и смѣть ли его побороть?» Царь велѣлъ боярину сказать имъ: «кто бы Мастрюка поборолъ, царскаго шурина, платье бы съ плечъ снялъ, да нагого съ круга спустилъ, а нагого какъ мать родила, а и мать на свѣтъ пустила». Прослышавъ борцовъ, «скачетъ прямо Мастрюкъ изъ мѣста большого, угла передняго, черезъ столы бѣлодубовы, повалилъ онъ тридцать столовъ, да прибилъ триста гостей: живы—да негодны, на корачкахъ ползаютъ по палатѣ бѣлокаменной: то похвальба Мастрюку, Мастрюку Темрюковичу». Но эта похвальба худо кончилась для Мастрюка: Мишка Борисовичъ его съ носка бросилъ о землю; похвалилъ его царь государь: «Исполать тебѣ, молодцу, что чисто борешься». А и Мишка къ сторонѣ пошелъ, ему полно боротися. А Потанька бороться пошелъ, костылемъ подпирается, самъ впередъ подвигается, къ Мастрюку приближается; смотритъ царь государь, что кому будетъ Божья помочь. Потанька справился, за плеча сграбился, согнетъ корчагой, воздымалъ выше головы своей, опустилъ о сыру землю—Мастрюкъ безъ памяти лежитъ, не слыхалъ, какъ платье сняли. Былъ Мастрюкъ во всемъ, сталъ Мастрюкъ ни въ чемъ, со стыда и сорома о корачкахъ подъ крылецъ ползетъ. Какъ бы бѣла лебедушка по зарѣ она прокликала, говорила царица царю, Марья Темрюковна: «Свѣтъ ты, вольный царь Иванъ Васильевичъ! такова у тебя честь добра до любимаго шурина, а дѣтина наругается, что дѣтина деревенской; а почто онъ платье снимаетъ?» Говорилъ тутъ царь-государь: «Гой еси ты, царица во Москвѣ, да ты, Марья Темрюковна! а не то у меня честь во Москвѣ, что татары-те борются; то-то честь въ Москвѣ, что русакъ тѣшится; хотя бы ему голову сломилъ, да люби бы я пожаловалъ двухъ братцевъ родимыихъ, двухъ удалыхъ Борисовичевъ».

Другая пѣсня содержитъ въ себѣ сказочное описаніе историческаго происшествія, касающагося до ужасной личности грознаго царя—гнѣва его на сына. У Грознаго пиръ во дворцѣ, «а всѣ тутъ князья и бояра на пиру напивалися, промежъ собой расхвасталися: а сильный хвастаетъ силой, богатой-отъ хвастаетъ богатствомъ. Златá труба въ царствѣ протрубила, прогласилъ царь-государь, слово выговорилъ: «А глупы бояра, вы неразумные! и всѣ вы бездѣлицей хвастаетесь; а смѣю я царь похвалитися, похвалитися и похвастати: что вывелъ измѣну я изъ Кіева, да вывелъ измѣну изъ Новгорода, а взялъ я Казань, взялъ и Астрахань». Царевичъ Ѳедоръ говоритъ отцу, что не вывелъ онъ измѣны въ Москвѣ, что три большіе боярина, а три Годуновы измѣнники. Царь велитъ сыну назвать трехъ измѣнниковъ, говоря, что одного велитъ въ котлѣ сварить, другого—на колъ посадить, третьяго — скоро сказнить. «Ты пьешь съ ними, ѣшь съ единаго блюда, единую чару съ ними требуешь», отвѣтилъ царевичъ, и царю то слово за бѣду стало, за великую досаду показалося, скричалъ онъ царь зычнымъ голосомъ: «А есть ли въ Москвѣ немилостивы палачи? возьмите царевича за бѣлы ручки, ведите царевича со царскаго стола, за тѣ за ворота москворѣцкія, за славную матушку Москву-рѣку, за тѣ живы мосты калиновы, къ тому болоту поганому, къ той ко лужѣ кровавыя, ко той ко плахѣ бѣлодубовой». Всѣ палачи испужалися, по Москвѣ разбѣжалися; единъ палачъ не пужается, единъ злодѣй выступается—Малюта палачъ, сынъ Скурлатовичъ». До стараго боярина Никиты Романовича дошла вѣсть нерадошна, кручинная, что-де «упала звѣздочка поднебесная, потухла во соборѣ свѣча мѣстная, не стало царевича у насъ въ Москвѣ, а меньша-то Ѳедора Ивановича». Бояринъ скачетъ къ болоту поганому, настигъ палача на полупути, кричитъ ему зычнымъ голосомъ: «Малюта палачъ, сынъ Скурлатовичъ! не за свойскій кусъ ты хватаешься, а этимъ кускомъ ты подавишься; не переводи ты роды царскіе». Малюта отвѣчаетъ, что дѣло невольное, что не самому же ему быть сказнену; чѣмъ окровенить саблю острую, руки бѣлыя, и съ чѣмъ прійти къ царю предъ очи, предъ его очи царскія? Никита Романовичъ совѣтуетъ ему сказнить его конюха любимаго и въ его крови предстать предъ очи царскія. Какъ завидѣлъ царь Малюту въ крови, «а гдѣ-ко стоялъ, онъ и тутo упалъ, что рѣзвы ноги подломилися, царски очи помутилися, что по три дня не пьетъ, не ѣстъ». А Никита Романовичъ увезъ царевича въ село Романовское. Царю докладываютъ: у тебя-де кручина великая, а у стараго Никиты Романовича пиръ идетъ на веселѣ. «А грозный царь, онъ и крутъ добрѣ, велитъ схватить боярина нечестно; когда привели его къ нему, онъ пригвоздилъ ему къ полу ногу жезломъ своимъ, грозитъ его въ котлѣ сварить, либо на колъ посадить». Когда дѣло

Digitized by Google

объяснилось, царь даетъ боярину село Романовское съ такой привилегіей: «Кто церкву покрадетъ, мужика ли убьетъ, али у жива мужа жену уведетъ и уйдетъ во село боярское, ко старому Никитѣ Романовичу, и тамъ быть имъ не на выдачѣ».

Покореніе Казанскаго царства воспѣто въ цѣлыхъ двухъ пѣсняхъ, на основаніи которыхъ однакожъ нельзя сдѣлать и одной поэмы. Одна изъ этихъ пѣсенъ разсказываетъ, какъ Иванъ Васильевичъ подъ Казанью съ войскомъ стоялъ, за Сулай-рѣку бочки съ порохомъ каталъ, а пушки и снаряды въ чистомъ полѣ разставлялъ; какъ татары по городу похаживали, и всяко грубіянство оказывали, и грозному царю насмѣхалися, что не быть-де нашей Казани за бѣлымъ царемъ; какъ царь на пушкарей осерчался, приказалъ пушкарей казнить, что подрывъ такъ долго медлился; и какъ—лишь пушкари слово молвить поотважились—взрывъ воспослѣдовалъ, а «всѣ татары тутъ, братцы, устрашилися, они бѣлому царю покорилися».

Другая пѣсня почти вся состоитъ изъ сна казанской царицы Елены, который она разсказываетъ своему мужу Симеону, что ей привидѣлось, «какъ отъ сильнаго царства Московскаго кабы сизый орлище встрепенулся, кабы грозная туча подымалась, что на наше царство наплывала; а изъ сильнаго царства Московскаго подымался великій князь Московскій, а Иванъ, сударь, Васильевичъ, прозритель». Далѣе слѣдуетъ содержаніе первой пѣсни. Когда подрывъ грянулъ, Иванъ Васильевичъ побѣжалъ въ палаты царскія; а Елена догадалася: посыпала соли на ковригу и съ радостью встрѣчала Московскаго князя,—за что онъ ее пожаловалъ: привелъ въ крещену вѣру и постригъ въ монастырь; а царю Симеону за гордость, что не встрѣтилъ онъ великаго князя, «вынялъ ясны очи косицами», взялъ съ него царскую корону, порфиру и царскій костыль изъ рукъ принялъ. И въ то время князь воцарился и насѣлъ на Московское царство, что тогда-де Москва основалася; и съ тѣхъ поръ великая слава.

И вся-то пѣсня — сказка, поводомъ къ которой было впрочемъ историческое событіе; но что такое конецъ ея?.... Когда царь Иванъ Васильевичъ Казань взялъ, тогда только и на Московское царство насѣлъ, а до тѣхъ поръ словно былъ безъ царства...

И вотъ какъ отразился въ народной поэзіи колоссальный образъ и отозвалась страшная память Грознаго—этого исполина тѣломъ и духомъ, который такъ ужасно рвался изъ тѣсныхъ оковъ ограниченной народности, и, явившись не во-время, безсильный съ самого себя свергнуть и разбить ихъ, нашелъ въ себѣ силу страшно выместить на своемъ народѣ эту враждебную ему народность!...

Изъ пѣсни о Гришкѣ Разстригѣ ясно видно, что этотъ даровитый и пылкій, но неблагоразумный и неразсчетливый удалецъ палъ въ глазахъ народа не за самозванство, а за то, что въ ту пору, какъ «князи и бояра пошли къ заутрени, а Гришка Разстрига онъ въ баню съ женой; уже князи и бояра отъ заутрени, а Гришка Разстрига изъ бани съ женой; выходитъ Разстрига на Красный Крылецъ, кричитъ, реветъ зычнымъ голосомъ: «Гой еси, ключники мои, приспѣшники, приспѣвайте кушанье разное, а и поспѣшное и скоромное: заутра будетъ ко мнѣ гость дорогой, Юрья панъ съ паньей». Тогда, вишь, стрѣльцы догадалися, въ Боголюбовъ монастырь бросалися, къ царицѣ Маѳѣ Матвѣевнѣ; а узнавъ отъ нея всю правду, къ Красному царскому крылечку металися и тутъ въ Москвѣ взбунтовалися; злая жена Разстриги, Марина безбожница, сорокой обернулась и изъ палатъ вонъ вылетѣла; а Разстрига догадается, на копья стрѣлецкія съ крыльца бросается—и тутъ ему такова смерть случилась».

Но слѣдующая пѣсня о «Борисѣ Шереметевѣ», достойномъ сподвижникѣ Петра Великаго, лицѣ нисколько не миѳическомъ, вполнѣ историческомъ и современномъ пѣснѣ,—лучше всего обнаруживаетъ историческую значительность нашихъ историческихъ пѣсенъ. Шереметевъ, подходя съ войсками къ сильному городу Орѣшку, послалъ въ объѣздъ донскихъ и яицкихъ казаковъ—снять шведскіе караулы. Они полонили майора и привели его къ самому государю; злата труба въ полѣ протрубила, прогласилъ государь, слово молвилъ, государь Московскій—первый императоръ: «А и гой еси, Борисъ, сынъ Петровичъ! изволь ты майора допросити тихонько, по-малешеньку: а сколько-де силы въ Орѣшкѣ у вашего короля шведскаго?» Майоръ наговорилъ силы несмѣтное множество; тогда императоръ велѣлъ Шереметеву морить его голодомъ. А втапоры Борисъ Петровичъ Шереметевъ на то-то больно догадливъ: и двое-де сутки майора не кормили, въ третьи винца ему подносили: втапоры майоръ правду сказалъ: «всѣхъ съ королемъ нашимъ и генераломъ силы семь тысячей, а болѣе того нѣту». И тутъ государь взвеселился—велѣлъ ему майору голову отляпать».

И вотъ какъ народная фантазія поняла великаго преобразователя Руси!... Какого же историческаго содержанія, какой исто-

Digitized by Google

рической жизни можно требовать отъ русскихъ народныхъ пѣсенъ, относящихся къ эпохѣ Петра Великаго!... Не такова историческая поэзія Малороссіи. Исторія Малороссіи не принадлежитъ къ исторіи всемірно-человѣческой; кругъ ея тѣсенъ, политическое и государственное значеніе ея—то же, что̀ въ искусствѣ гротескъ; но, несмотря на все это, Малороссія была органически-политическимъ тѣломъ, гдѣ всякая отдѣльная личность сознавала себя, жила и дышала въ своей общественной стихіи, и потому знала хорошо дѣла своей родины, столь близкія къ ея сердцу и душѣ. Народная поэзія Малороссіи была вѣрнымъ зеркаломъ ея исторической жизни. И какъ много поэзіи въ этой поэзіи! Пусть читатели вспомнятъ думу «Самкò Мушкетъ», которую мы привели выше какъ для доказательства аналогіи, существующей между «Словомъ о Пълку Игоревѣ» и малороссійской поэзіей: это диѳирамбъ исторической поэзіи, это паѳосъ патріотическаго сознанія! Что̀ передъ однимъ этимъ отрывкомъ скудный сборникъ всѣхъ русскихъ историческихъ пѣсенъ!...

Донскія казачьи пѣсни можно причислить къ циклу историческихъ,—и онѣ въ самомъ дѣлѣ болѣе заслуживаютъ названіе историческихъ, чѣмъ собственно такъ называемыя историческія русскія народныя пѣсни. Въ нихъ весь бытъ и вся исторія этой военной общины, гдѣ русская удаль, отвага, молодечество и разгулье нашли себѣ гнѣздо широкое и привольное. Онѣ и числомъ несравненно больше историческихъ пѣсенъ; въ нихъ и исторической дѣйствительности больше, въ нихъ и поэзія размашистѣй и удалѣе. Взглянемъ бѣгло на тѣ только, героемъ которыхъ является Ермакъ.

На Бузанѣ островѣ сидѣли атаманы и есаулы — Ермакъ Тимоѳеевичъ, Самбуръ Андреевичъ, Анофрій Степановичъ; они думушку думали крѣпкую про дѣло ратное, про добычу казацкую. Есаулъ кричитъ голосомъ во всю буйну голову: «А и вы, гой еси, братцы, атаманы казачіе! У насъ кто на морѣ не бывалъ, морской волны не видалъ, не видалъ дѣла ратнаго, человѣка кроваваго,—отъ желанья тѣ Богу не маливались; останьтесь таковы молодцы на Бузанѣ островѣ». И садилися молодцы во свои струги легкіе, они грянули молодцы внизъ по матушкѣ Волгѣ-рѣкѣ, по протокѣ по Ахтубѣ. Молодцамъ нашимъ повстрѣчались двѣнадцать турецкихъ кораблей—они взяли ихъ въ плѣнъ, а съ ними и душу красну-дѣвицу, молоду Урзамовну, дочь мурзы турецкаго. Потомъ они повстрѣчались съ посломъ царскимъ, Семеномъ Константиновичемъ, возвращавшимся изъ Персіи съ своими солдатами и матросами. Казаки были пьяные, а солдаты не совсѣмъ умомъ, попущалися на нихъ дратися ради корысти своея. Не разобравъ дѣла, посолъ выслалъ на казаковъ сто человѣкъ изъ своей свиты: Ермакъ велѣлъ своимъ бить ихъ и бросать въ Волгу. Казаки перебили всю посольскую свиту и самого посла, а всѣ животы пограбили; пріѣхали въ Астрахань, назвались купцами, заплатили пошлины и пошли торговать безъ запрещенія. Тѣмъ старина и кончилась — въ первой пѣснѣ.

Но во второй мы видимъ результаты этой старины: во славномъ понизовомъ городѣ Астрахани, противъ пристани матки-Волги-рѣки, наши молодцы снова сходились думать думушку крѣпкую. Ермакъ Тимоѳеевичъ говорилъ: «А и вы, гой еси, братцы, атаманы молодцы! не корыстна у насъ шутка зашучена; убили мы посла персидскаго и всѣмъ животомъ его покорыстовались: и какъ намъ на то будетъ отвѣтствовать? Въ Астрахани жить нельзя; на Волгѣ жить—ворами слыть; на Яикъ идти—переходъ великъ; въ Казань идти—грозенъ царь стоитъ, грозенъ царь осударь Иванъ Васильевичъ; въ Москву идти—перехваченнымъ быть, по разнымъ городамъ разосланнымъ и по темнымъ тюрьмамъ разсаженнымъ; пойдемте мы въ усолья ко Строгоновымъ, ко тому Григорью Григорьевичу, ко тѣмъ господамъ ко Вороновымъ — возьмемъ мы много свинцу, пороху и запасу хлѣбнаго». Дальнѣйшее содержаніе пѣсни состоитъ въ разсказѣ, какъ молодцы пошли въ Сибирь, добрались до Тагиль-рѣки, до горы Магницкой, зимовали, настроили коломенокъ, надѣлали соломенныхъ людей и, добравшись до Тобола, обманули ими татаръ и выиграли великую битву; какъ Ермакъ Тимоѳеевичъ взялъ въ полонъ Кучума, царя татарскаго; какъ Ермакъ, пошивши казакамъ шубы и шапки соболиныя, пріѣхалъ въ Москву съ повинной головой къ грозному царю Ивану Васильевичу; какъ государь прощалъ Ермаку всѣ вины его, и снова посылалъ его въ Сибирь — брать съ татаръ дани, выходы въ казну государеву; какъ татары взбунтовались противъ Ермака и напали на него на Енисеѣ, когда у него было казаковъ только на двухъ коломенкахъ; и какъ въ битвѣ погибъ храбрый и удалый завоеватель Сибири. «Онъ хотѣлъ перескочити на другую свою коломенку—и ступилъ на переходню обманчивую, правой ногой поскользнулся онъ—и та переходня съ конца верхняго подымалася и на него опущалася, расшибла ему буйну голову и бросила его въ тое Енисей быстру рѣку: тутъ Ермаку такова смерть случилась».

Исключая поѣздки Ермака въ Москву,

Digitized by Google

на мѣсто есаула его Кольца, все остальное довольно правдоподобно для русской народной исторической пѣсни. Мы уже говорили, что историческая вѣрность—качество почти чуждое историческимъ русскимъ пѣснямъ. Такъ какъ всѣ явленія исторической жизни старой Руси возникали какъ бы случайно, имѣя свой корень скорѣе въ политическомъ неустройствѣ, чѣмъ въ устройствѣ,—то и казались народу сказочными явленіями. Оттого всякое историческое лицо для народа казалось миѳомъ, и онъ дѣлалъ изъ его жизни сказку. Такъ, въ одной казацкой пѣснѣ, Ермакъ сидитъ въ Азовѣ въ тюрьмѣ, мимо которой случилось пройти турецкому царю Солтану Солтановичу (Ермакъ, видите, былъ посланъ къ султану изъ Москвы съ подарками, а мурзы, улановья ограбили его, да и посадили въ темницу). Султанъ, одаривъ его златомъ, серебромъ, съ честью отпускаетъ въ Москву; но донской казакъ «загулялся по матушкѣ Волгѣ-рѣкѣ, не явился въ каменну Москву».

Солдатскія пѣсни образуютъ собой особый циклъ народной поэзіи. По формѣ своей, онѣ ничѣмъ не отличаются отъ другихъ русскихъ пѣсенъ; но содержаніе ихъ оригинально по русско-простонародному разумѣнію европейскихъ вещей, и по смѣси чисто-русскихъ выраженій съ терминами и словами изъ сферы регулярно-военнаго быта. Этотъ родъ пѣсенъ еще не довольно извѣстенъ у насъ печатно и потому о немъ трудно сказать что-нибудь дѣльное. Но для примѣра приведемъ здѣсь одну солдатскую пѣсню, которая показываетъ, что великій преобразователь Россіи прежде всѣхъ другихъ своихъ подданныхъ встрѣтилъ къ себѣ сочувствіе въ храбрыхъ солдатахъ созданнаго имъ войска:

Ахъ ты, батюшка свѣтелъ мѣсяцъ!
Что ты свѣтишь не по-старому,
Не по старому и не по-прежнему?
Что со вечера не до полуночи,
Со полуночи не до бѣла свѣта;
Все ты прячешься за облака,
Укрываешься тучей темною.
Что у насъ было, на святой Руси,
Въ Петербургѣ, въ славномъ городѣ,
Во соборѣ Петропавловскомъ,
Что у праваго у клироса,
У гробницы государевой,
У гробницы Петра Перваго,
Петра Перваго, Великаго,
Молодой сержантъ Богу молится,
Самъ онъ плачетъ, какъ рѣка льется,
По кончинѣ вскорѣ государевой,
Государя Петра Перваго;
Въ возрыданьи слово вымолвилъ:
«Разступись ты, мать сыра земля,
Что на всѣ ли на четыре стороны!
Ты раскройся, гробова доска,
Разверзнися, золота парча!
И ты встань, пробудись, Государь,
Пробудись, батюшка, православный царь!
Погляди ты на свое войско милое,
Что на милое и на храброе:
Безъ тебя мы осиротѣли,
Осиротѣвъ, обезсилѣли!»

Такъ называемыя «удалыя» пѣсни должны слѣдовать непосредственно за казацкими: что́ такое были казаки, какъ не удальцы, промышлявшіе на Волгѣ чѣмъ Богъ послалъ, и что́ такое были удальцы, какъ не казаки, только неимѣвшіе опредѣленнаго мѣста для жительства? Существованіе «удальцовъ» не было улегитимировано правительственной властью, но было улегитимировано общественнымъ мнѣніемъ,—и потому въ одной пѣснѣ они сами про себя говорятъ:

Мы не воры,—мы разбойнички:
Атамановы мы работнички.

Въ подобныхъ явленіяхъ нѣтъ ничего унизительнаго для національной чести, ибо въ нихъ виновато было неустройство и шаткость общественнаго зданія, а совсѣмъ не національный духъ. Италія и Испанія — классическія страны разбойниковъ: тамъ эти господа и теперь еще разгуливаютъ на улицахъ столичныхъ городовъ, середи бѣла дня, и ихъ боятся многіе, но ни кто не презираетъ; а съ массой народа они всегда были даже въ большихъ ладахъ. Теперь и удальцовъ ужъ нѣтъ на Руси: нація все та же, да порядокъ въ обществѣ другой—вотъ и все. Теперь можно изъѣздить и исходить Россію вдоль и поперекъ съ туго-набитымъ бумажникомъ: можетъ быть васъ обокрадутъ или засудятъ, но уже не ограбятъ и не зарѣжутъ. А прежде было не такъ, особенно до эпохи Петра Великаго. Стѣсненность и ограниченность условій общественной жизни, безусловная зависимость слабаго и бѣднаго отъ произвола сильнаго и богатаго, словомъ—Кошихинскій характеръ администраціи и общественной нравственности,—все это заставляло людей чаще всего съ сильными натурами искать какого бы то ни было выхода изъ тѣсноты и духоты на просторъ и приволье души. Низовыя страны, особенно степи, прилегающія къ Волгѣ и Дону, давали полную возможность для подвиговъ удальства и молодечества. И наши удальцы того времени никогда не были ни казаками, ни разбойниками, а всегда тѣмъ и другимъ вмѣстѣ: они били басурмановъ, оберегали границы и иногда, при стѣсненныхъ обстоятельствахъ, грабили и посланниковъ царскихъ, и бояръ, и кто попадется. Подвиги этихъ витязей такого рода никогда не были запечатлѣны ни звѣрствомъ, ни жестокостью; они были удальцы и молодцы, а не злодѣи. Конечно они не отличались и идеальнымъ рыцарствомъ; но можно ли было требовать рыцарства въ тѣ варварскія времена, когда и войны походили на разбой, когда само правосудіе было свирѣпо и кро-

Digitized by Google

вожадно? Повторяемъ: наши удальцы не были по крайней мѣрѣ хуже всѣхъ другихъ этого рода людей, если не были лучше ихъ. При дурной общественности падшія души часто бываютъ самыя благороднѣйшія по своей натурѣ, — и ужъ конечно скорѣе можно предполагать человѣчность, благородство и возвышенность въ покорителѣ Сибири, чѣмъ во многихъ изъ знатныхъ тунеядцевъ, богатыхъ только спѣсью, невѣжествомъ и низостью. Въ пѣсняхъ о Ермакѣ лучшее доказательство справедливости всего сказаннаго нами объ удалыхъ казакахъ. Теперь взглянемъ на удальцовъ собственно, въ глазахъ которыхъ удаль и успѣхъ извиняли всякое дѣло. Въ ихъ пѣсняхъ, кромѣ удальства и молодечества, господствуетъ еще ироническая веселость, какъ одна изъ характеристическихъ чертъ народа русскаго. Слѣдующій отрывокъ изъ большой пѣсни можетъ служить лучшимъ примѣромъ такого рода сочиненій:

«Ахъ, доселева Усовъ и слыхомъ не слыхать, а слыхомъ ихъ не слыхать, видомъ не видать; а нонѣче Усы проявились на Руси. Собиралися Усы на царевъ на кабакъ, а садилися молодцы во единый кругъ. Большой Усище и всѣмъ атаманъ, а Гришка Мурышка, дворянскій сынъ, самъ говоритъ, самъ усомъ шевелитъ: «А братцы Усы, удалы молодцы! А и лѣто проходитъ, зима настаетъ, а и надо чѣмъ Усамъ головы кормить, на палатяхъ спать и намъ сытымъ быть. Ахъ, нутетъ-ко, Усы, за свои промыслы! А мечитеся по кузницамъ, накуйте топоры со подбородышами, а накуйте ножей по три четверти, а и сдѣлайте бердыши и рогатины и готовьтесь всѣ; ахъ, знаю я крестьянина—богатъ добрѣ, живетъ на высокой на горѣ, далеко въ сторонѣ, *хлѣба онъ не пашетъ, да рожь продаетъ, онъ деньги беретъ, да въ кубышку кладетъ, онъ пива не варитъ и сосѣдей не поитъ, а прохожихъ-то людей ночевать не пущаетъ, а прямыя дороги не сказываетъ.* Ахъ, надо-де къ крестьянину умѣючи идти: а и по полю идти—не посвистывати, а и по бору идти—не покашливати, ко двору его идти—не пошаркивати. Ахъ, у крестьянина-то въ домѣ борзые кобели, и ограда крѣпка, избушка заперта, у крестьянина ворота крѣпко заперты.»

Теперь намъ слѣдовало бы перейти къ собственно-лирической поэзіи; но это потребовало бы особой статьи, и мы ограничимся только тѣми пѣснями, которыя особенно характеризуютъ духъ народный; а для этого мы должны говорить и о пѣсняхъ эпическаго содержанія, но которыхъ преобладающій элементъ — лирическій, и которыя могутъ служить зеркаломъ семейнаго быта древней Руси. Какъ отличительный характеръ эпической поэзіи—духъ удальства, отваги, молодечества, такъ отличительный характеръ лирической поэзіи — заунывность, тоска и грусть души сильной и мощной. Климатъ и географическое положеніе страны имѣютъ сильное вліяніе на образованіе характера націи. Ровное, степное положеніе Россіи, этотъ климатъ срединный: ни южный, ни сѣверный, ни жаркій, ни холодный: этотъ годъ, состоящій изъ краткаго лѣта, длинной осени и длинной зимы,—все это не могло не способствовать развитію въ русскомъ народѣ чувства безконечной и глубокой грусти, какъ основного мотива его поэзіи и музыки. Не забудьте, что колыбелью настоящей, коренной Руси были Новгородъ, Владиміръ, Рязань, Москва и Тверь, гдѣ небо такъ часто бываетъ свинцово и мелкій дождь однообразно падаетъ на скользкую траву и уличную слякоть... А продолжительная русская зима, съ ея трескучими морозами и усѣяннымъ звѣздами небомъ, съ пушистыми метелями, залѣпляющими очи путника, и ея заунывнымъ вѣтромъ, свободно гуляющими по необозримой снѣжной равнинѣ, которой унылое однообразіе изрѣдка нарушается то печально зеленѣющейся елкой, то нашимъ лѣсомъ съ бѣловатыми отъ инея сучьями!.. Вонъ скачетъ удалая тройка; борода лихого возничаго покрыта пушистымъ инеемъ; путникъ глубоко забился въ кибитку въ своей тяжелой шубѣ; колокольчикъ надрываетъ ему сердце своимъ утомительнымъ звономъ; ямщикъ даетъ вздохнуть родимымъ—медленно идутъ онѣ; онъ затягиваетъ заунывную пѣсню; впереди ничего—только безконечная снѣжная скатерть сливается вдали съ свинцовымъ небомъ... Да, тутъ необходима заунывная, протяжная пѣсня ямщика—душа упивается полнотой собственной грусти, ей такъ привольно въ однообразной мелодіи этихъ задушевныхъ звуковъ:

Что-то слышится родное
Въ долгихъ пѣсняхъ ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...

Присовокупите ко всему этому медленное, тяжкое, испытательное историческое развитіе Руси: междоусобія и темное владычество татаръ, которыя пріучили русскаго крестьянина считать свою жизнь, свое поле, свою жену и дочь, и все свое скудное достояніе—чужой собственностью, ежеминутно готовой отойти во владѣніе перваго, кто, съ желѣзомъ въ рукѣ, вздумаетъ объявить на нее свое право... Далѣе, кровавое самовластительство Грознаго, смуты междоцарствія—все это такъ гармонировало и съ суровой зимой, и съ свинцовымъ небомъ холодной весны и печальной осени, и съ безконечностью ровныхъ и однообразныхъ степей... Вспомните бытъ русскаго крестьянина того времени, его дымную, неопрятную хижину, похожую на хлѣвъ, его поле, то орошаемое кровавымъ его пóтомъ, то пустое, незасѣянное, или затоптанное татарскими отрядами, а иногда и псовой охотой боярина... Вспомните привычку русскаго че-

Digitized by Google

ловѣка, зашибивъ деньгу, зарывать ее въ землю—и ходить въ лохмотьяхъ, ѣсть черствый хлѣбъ пополамъ съ мякиной, стоная и жалуясь на нищету, — и поймите причину этой привычки... Если и этого мало, прочтите Кошихина,—и вамъ все будетъ ясно безъ комментаріевъ...

Но географія (положеніе и климатъ) и исторія страны еще ничто въ сравненіи съ семейнымъ бытомъ древней Руси, о которомъ мы теперь, сравнивая его съ нашимъ, современнымъ, поневолѣ говоримъ какъ о чемъ-то такомъ, что̀ трудно понять, чему трудно повѣрить. Семейный бытъ первый и непосредственный источникъ народной поэзіи. Руская народная эпическая поэзія какъ будто совсѣмъ не приняла въ себя элемента сердечной тоски и душевной грусти, составляющей основной элементъ лирической поэзіи. И это понятно: русская эпическая поэзія какъ-будто совсѣмъ обошла и миновала семейный бытъ, посвятивъ себя преимущественно идеѣ своей народности въ общественномъ значеніи. И потому въ эпической поэзіи чувство отваги, удальства и молодечества составляетъ главный преобладающій мотивъ. Лирическая поэзія, напротивъ, вся посвящена семейному быту, вся выходитъ изъ него, — и потому она такъ грустна, такъ заунывна, нерѣдко дышетъ такимъ сокрушительнымъ чувствомъ отчаянія и ожесточенія... Здѣсь кстати мы должны замѣтить, что грусть русской души имѣетъ особенный характеръ: русскій человѣкъ не расплывается въ грусти, не падаетъ подъ ея томительнымъ бременемъ, но упивается ея муками съ полнымъ сосредоточеніемъ всѣхъ духовныхъ силъ своихъ. Грусть у него не мѣшаетъ ни иронiи, ни сарказму, ни буйному веселью, ни разгулу молодечества: это грусть души крѣпкой, мощной, несокрушимой. Все, что̀ могло бы обезсилить и уничтожить всякій другой народъ, все это только закалило русскій народъ,—и то, что̀ сказалъ Пушкинъ о Россіи въ отношеніи къ ея борьбѣ съ Карломъ XII, можно примѣнить къ Руси въ отношеніи ко всей ея исторіи:

Но въ искушеньяхъ долгой кары,
Перетерпѣвъ судебъ удары,
Окрѣпла Русь. Такъ тяжкій млатъ,
Дробя стекло, куетъ булатъ.

Значительную часть семейныхъ пѣсенъ составляютъ такъ называемыя «свадебныя» пѣсни. Ихъ можно раздѣлить на два рода—на веселыя и печальныя. Въ первыхъ воспѣвается счастье обрученныхъ и особенно обрученной. Слѣдующая пѣсня можетъ служить образцомъ веселыхъ свадебныхъ пѣсенъ:

Съ ранней, утренней зари
Стояли кони на дворѣ.
Никто про тѣхъ коней не знаетъ,
Никто про тѣхъ коней не вѣдаетъ;
Одна знала, спознала Машенька,
Машенька свѣтъ Ефимовна.
Брала коней за поводы,
Ставила коней во стойла,
Сыпала сахаръ вмѣсто овса,
Лила сыту вмѣсто воды,
Отошедши, конямъ кланялась:
«Ужъ вы кушайте, пейте, кони мои!
Завтра поутру свезите меня
Далѣ, подалѣ отъ батюшки,
Ближе, поближе къ свекру въ домъ:
Далѣ, подалѣ отъ матушки,
Ближе, поближе къ свекрови въ домъ.»

Но въ пѣсняхъ такого рода личное чувство невѣстъ не принимало никакого участія: онѣ слагались явно безъ ихъ согласія, да и число ихъ слишкомъ невелико. Свадебныя печальныя пѣсни гораздо многочисленнѣе и болѣе исполнены поэзіи. Всѣ онѣ выражаютъ одно чувство — страхъ невѣсты къ будущему безусловному властителю ея участи, ужасъ при мысли о свекрѣ и свекрови, горесть отъ разлуки съ домомъ отца и матери.

Свѣтелъ мѣсяцъ, родимый батюшка!
Красно солнышко, родима матушка!
Не бейте вы полу о полу;
Не хлопайте вы пирогъ о пирогъ,
Не пробивайте вы меня, бѣдную,
Не давайте вы меня, горькую,
На чужу̀ дальню сторонушку,
Ко чужому отцу, ко чужой матери.
Какъ чужіе-то отецъ съ матерью
Безжалостливы уродилися:
Безъ огня у нихъ сердце разгорается,
Безъ соломы у нихъ гнѣвъ раскипается,
Насижусь-то я у нихъ, бѣдная,
На концѣ стола дубоваго,
Нагляжусь-то я, наплачуся.

И всѣ пѣсни, въ которыхъ изображается картина замужества, суть оправданіе этихъ зловѣщихъ предчувствій... И ни единой, ни единой, гдѣ бы жена не была жертвой насильственнаго брака, жестокости мужа и родни его...

Смѣшно было бы доказывать, что и въ старину у русскихъ людей любовь составляла одинъ изъ элементовъ жизни: любовь—достояніе общечеловѣческое, и сердце дикаря сибирскаго такъ же бьется отъ нея, какъ и сердце образованнаго европейца. Разница въ проявленіи и развитіи чувства, а не въ самомъ чувствѣ. Въ отношеніи же къ обществамъ важно то, какъ смотритъ на чувство общество. Съ этой стороны древняя Русь представляетъ зрѣлище не совсѣмъ отрадное: чѣмъ богаче народъ чувствомъ, тѣмъ ужаснѣе видѣть это чувство сдавленнымъ неправильно развившейся общественностью. А что любовь на Руси могла быть не только поэтической, но и даже граціозно-поэтической, тому до-

Digitized by Google

казательствомъ можетъ служить слѣдующая прелестная пѣсня:

На горѣ стоитъ ёлочка,
Подъ горою свѣтёлючка,
Во свѣтёлочкѣ Машенька.
Приходитъ къ ней батюшка,
Будилъ ее, побуживалъ:
«Ты, Машенька, пойдемъ домой!
Ты, Ефимовна, пойдемъ домой!»
«Я нейду и не слушаю:
Ночь темна и немѣсячна,
Рѣки быстры, перевозовъ нѣтъ,
Лѣса темны, карауловъ нѣтъ.»
На горѣ стоитъ ёлочка,
Подъ горою свѣтёлочка,
Во свѣтёлочкѣ Машенька.
Приходила къ ней матушка,
Будила, побуживала:
«Машенька, пойдемъ домой!
Ефимовна, пойдемъ домой!»
«Я нейду и не слушаю:
Ночь темна и немѣсячна,
Рѣки быстры, перевозовъ нѣтъ,
Лѣса темны, карауловъ нѣтъ.»
На горѣ стоитъ ёлочка,
Подъ горою свѣтёлочка,
Во свѣтёлочкѣ Машенька.
Приходитъ къ ней Петръ,
Петръ, сударь Петровичъ,
Будилъ ее, побуживалъ:
«Машенька, пойдемъ домой!
Душа Ефимовна, пойдемъ домой!»
«Я иду, сударь, и слушаю:
Ночь свѣтла и мѣсячна,
Рѣки тихи, перевозы есть,
Лѣса темны, караулы есть.»

Но это, къ сожалѣнію, чуть ли не единственная пѣсня во всемъ сборникѣ Сахарова. Если и еще найдутся подобныя, то число ихъ слишкомъ незначительно въ сравненіи съ числомъ пѣсенъ, подобныхъ слѣдующимъ: Молодецъ—

. . . . держалъ красну дѣвицу за бѣлы ручки
И за хороши перстни злаченные,
Цѣловалъ, миловалъ, ко сердцу прижималъ,
Называлъ красну дѣвицу животомъ своимъ.
И проговоритъ дѣвица душа красная:
«Ты надежда мой, надежда сердечный другъ!
А не честь твоя хвала молодецкая,
Безъ числа больно, надежда, упиваешься,
А и ты мной, красной дѣвицей, похваляешься,
А и ты будто надо мной все насмѣхаешься.»
Ему туто молодцу за бѣду стало,
Какъ онъ бьетъ красну дѣвицу по бѣлу ея лицу.
Онъ расшибъ у дѣвицы лицо бѣлое,
Проливалъ у дѣвицы кровь горючую,
Замаралъ на дѣвицѣ платье цвѣтное.

Противорѣчіе общественности съ разумными потребностями и стремленіями человѣческой натуры становитъ общество въ трагическое положеніе. Въ нашей народной поэзіи бездна трагическихъ элементовъ, свадѣтельствующихъ о глубинѣ и страшной силѣ русскаго духа, который, попавшись въ противорѣчіе, мстилъ и себѣ самому, и всему окружающему. Вотъ нѣсколько примѣровъ для подтвержденія этой мысли:

Хорошо тому на свѣтѣ жить,
У кого нѣтъ стыда въ глазахъ,
Нѣтъ стыда въ глазахъ, ни совѣсти!
Нѣтъ у молодца заботушки,
Въ ретивомъ сердцѣ зазнобушки!
Зазнобилъ меня любезный другъ,
Зазнобилъ, сердце повысушилъ;
Безъ краснова солнца высушилъ,
Безъ морозу сердце вызнобилъ.
Я сама дружка повысушу,
Не зельями, не кореньями,
Безъ мороза сердце вызноблю,
Безъ краснова солнца высушу!
Схороню тебя, мой миленькій,
Въ зеленомъ саду подъ грушею,
Я сама сяду, послушаю:
Не стонетъ ли мать сыра земля,
Не вскрывается ль гробова доска,
Не встаетъ ли мой сердечный другъ?
Зарости, моя могилушка,
Ты травушкой, муравушкой!
Не достанься, мой любезный другъ,
Ни дѣвушкамъ, ни молодушкамъ,
Ни своей змѣѣ-полюбовницѣ!
Ты достанься, мой любезный другъ,
Сырой землѣ, гробовой доскѣ.

—

Во сыромъ-то бору брала Маша ягодки;
Она, бравши ягодки, заблудилася.
Заблудившись, пріаукнулась:
«Ты, ау, ау! милъ сердечный другъ!»
— Не аукайся, моя Машенька:
За мной ходятъ здѣсь три сторожа—
Первый сторожъ, тесть мой батюшка;
Другой сторожъ—теща-матушка;
Третій сторожъ—молода жена.
Ты взойди-ка, взойди, туча грозная,
Ты убей-ка громомъ тестя-батюшку;
Молоньей ты сожги тещу-матушку;
Лишь не бей ты, не жги молодой жены:
Съ молодой женой самъ я справлюся:
Я слезьми ее, слезьми вымочу,
Я кручинушкой жену высушу,
Во сыру землю положу ее;
А тебя, Машенька, за себя возьму.

—

Много бы можно было сказать о лирической поэзіи, много бы можно было привести примѣровъ; но для основательнаго и сосредоточеннаго обсуживанія такого обширнаго предмета нужна не журнальная статья, а отдѣльный трактатъ — плодъ изученія и обдуманнаго труда. Мы и такъ уже вышли изъ предѣловъ журнальной статьи, увлекшись занимательностью, важностью и обширностью предмета, доселѣ нетронутаго критикой и неизвѣстнаго публикѣ, и принуждены были обо многомъ сказать на-скоро и слегка, а многое и совсѣмъ пропустить: пѣсни хороводныя, святочныя, шуточныя или юмористическія, разгульныя, требовали бы особой статьи. По крайней мѣрѣ мы утѣшаемъ себя мыслью, что первые заговорили о предметѣ, о которомъ другіе только восклицали.

Digitized by Google

РАЗДѢЛЕНІЕ ПОЭЗІИ НА РОДЫ И ВИДЫ. *)

Поэзія есть высшій родъ искусства. Всякое другое искусство болѣе или менѣе стѣснено и ограничено въ своей творческой дѣятельности тѣмъ матеріаломъ, посредствомъ котораго оно проявляется. Произведенія архитектуры поражаютъ насъ или гармоніей своихъ частей, образующихъ собой граціозное цѣлое, или громадностью и грандіозностью своихъ формъ, восторгая съ собой духъ нашъ къ небу, въ которомъ исчезаютъ ихъ остроконечные шпицы. Но этимъ и ограничиваются средства ихъ обаянія на душу. Это еще только переходъ отъ условнаго символизма къ абсолютному искусству; это еще не искусство въ полномъ значеніи, а только стремленіе, первый шагъ къ искусству; это еще не мысль, воплотившаяся въ художественную форму, но художественная форма, только намекающая на мысль. Сфера скульптуры шире, средства ея богаче, чѣмъ у зодчества: она уже выражаетъ красоту формъ человѣческаго тѣла, оттѣнки мысли въ лицѣ человѣческомъ; но она схватываетъ только одинъ моментъ мысли лица, одно положеніе тѣла (attitude). Притомъ же сфера творческой дѣятельности скульптуры не простирается на всего человѣка, а ограничивается только внѣшними формами его тѣла, изображаетъ только мужество, величіе и силу въ мужчинѣ, красоту и грацію въ женщинѣ. Живописи доступенъ весь человѣкъ — даже внутренній міръ его духа; но и живопись ограничивается схватываніемъ одного момента явленія.—Музыка по-преимуществу выразительница внутренняго міра души; но выражаемыя ею идеи неотдѣлимы отъ звуковъ, а звуки, много говоря душѣ, ничего не выговариваютъ ясно и опредѣленно уму. Поэзія выражается въ свободномъ человѣческомъ словѣ, которое есть и звукъ, и картина, и опредѣленное, ясно выговоренное представленіе. Поэтому поэзія заключаетъ въ себѣ элементы другихъ искусствъ, какъ бы пользуется вдругъ и нераздѣльно всѣми средствами, которыя даны порознь каждому изъ прочихъ искусствъ. Поэзія представляетъ собой всю цѣлость искусства, всю его организацію, и объемля собой всѣ его стороны, заключаетъ въ себѣ ясно и опредѣленно всѣ его **различія**.

I. Поэзія осуществляетъ смыслъ идеи во внѣшнемъ и организуетъ духовный міръ въ совершенно опредѣленныхъ, пластическихъ образахъ. Все внутреннее глубоко уходитъ здѣсь во внѣшнее, и обѣ эти стороны — внутреннее и внѣшнее—не видны отдѣльно одна отъ другой, но въ непосредственной совокупности являютъ собой опредѣленную, замкнутую въ самой себѣ реальность — **событіе**. Здѣсь не видно поэта; міръ, пластически опредѣленный, развивается самъ собой, и поэтъ является только какъ бы простымъ повѣствователемъ того, что совершилось само собой. Это поэзія **эпическая**.

II. Всякому внѣшнему явленію предшествуетъ побужденіе, желаніе, намѣреніе, словомъ — мысль; всякое внѣшнее явленіе есть результатъ дѣятельности внутреннихъ, сокровенныхъ силъ: поэзія проникаетъ въ эту вторую внутреннюю сторону **событія**, во внутренность этихъ силъ, изъ которыхъ развивается внѣшняя реальность, событіе и дѣйствіе; здѣсь поэзія является въ новомъ, противоположномъ родѣ. Это царство субъективности, это міръ внутренній, міръ

*) Мысль написать критическую исторію русской литературы занимала Бѣлинскаго почти до самой смерти его. Онъ принимался за нее нѣсколько разъ, и въ 1841 году хотѣлъ приступить даже къ печатанію ея подъ заглавіемъ: «Теоретическаго и критическаго Курса Русской Литературы», который долженъ былъ составлять слѣдующіе отдѣлы, тѣсно связанные между собой единствомъ основной мысли и систематическимъ изложеніемъ: *Общее Введеніе*; *Эстетика* (развитіе идеи искусства вообще и теорія поэзіи въ частности); *Теорія русскаго стихосложенія*; *Теорія словесности вообще* (теорія краснорѣчія и взглядъ на такъ-называемыя *бѣллетрическія*, или собственно литературныя, а не художественныя,— и догматическія сочиненія, непринадлежащія ни къ искусству въ строгомъ смыслѣ, ни къ ученой литературѣ); *Взглядъ на народную поэзію вообще*; *Критическое разсмотрѣніе памятниковъ русской народной поэзіи* («Слово о полку Игоревомъ» и русскія пѣсни эпическаго и лирическаго содержанія); *Историческое обозрѣніе памятниковъ русской письменности отъ ея начала до временъ Петра Великаго; Исторія книжной русской литературы отъ Кантеміра и Ломоносова до Карамзина, отъ Карамзина до Пушкина, и отъ Пушкина до 1841 года включительно*; *Общій взглядъ на русскую литературу, надежды въ будущемъ, заключеніе*. Сверхъ подробнаго критическаго разсмотрѣнія художественныхъ созданій и даже произведеній бѣллетрическихъ, по чему бы то ни было примѣчательныхъ, въ «Теоретическомъ и Критическомъ Курсѣ Русской Литературы» онъ предполагалъ обратить полное вниманіе и на исторію всѣхъ повременныхъ изданій, имѣвшихъ бо́льшее или меньшее, хорошее или вредное вліяніе на литературу, и пользовавшихся заслуженной или незаслуженной извѣстностью,— отъ начала журналистики до «Московскаго Журнала» и «Вѣстника Европы» Карамзина, а отъ нихъ до настоящаго времени включительно.

Эта статья, напечатанная въ 3 № «Отечеств. Запис.» 1841 года,—отрывокъ изъ отдѣла Эстетики.

Digitized by Google

начинаній, остающійся въ себѣ и не выходящій наружу. Здѣсь поэзія остается въ элементѣ внутренняго, въ ощущающей мыслящей думѣ; духъ уходитъ здѣсь изъ внѣшней реальности въ самого себя и даетъ поэзіи различные до безконечности переливы и оттѣнки своей внутренней жизни, которая претворяетъ въ себя все внѣшнее. Здѣсь личность поэта является на первомъ планѣ, и мы не иначе, какъ черезъ нее, все принимаемъ и понимаемъ. Это поэзія лирическая.

III. Наконецъ, эти два различные рода совокупляются въ неразрывное цѣлое: внутреннее перестаетъ оставаться въ себѣ и выходитъ во внѣ, обнаруживается въ дѣйствіи; внутреннее, идеальное (субъективное) становится внѣшнимъ, реальнымъ (объективнымъ). Какъ и въ эпической поэзіи, здѣсь также развивается опредѣленное, реальное дѣйствіе, выходящее изъ различныхъ субъективныхъ и объективныхъ силъ; но это дѣйствіе не имѣетъ уже чисто-внѣшняго характера. Здѣсь дѣйствіе, событіе представляется намъ не вдругъ, уже совсѣмъ готовое, вышедшее изъ сокрытыхъ отъ насъ производительныхъ силъ, совершившее въ себѣ свободный кругъ и успокоившееся въ себѣ,—нѣтъ, здѣсь мы видимъ самый процессъ начала и возникновенія этого дѣйствія изъ индивидуальныхъ воль и характеровъ. Съ другой стороны, эти характеры не остаются въ самихъ себѣ, но безпрерывно обнаруживаются, и въ практическомъ интересѣ открываютъ содержаніе внутренней стороны своего духа. Это высшій родъ поэзіи и вѣнецъ искусства—поэзія драматическая.

Теперь, сдѣлавъ общій и краткій очеркъ каждаго изъ трехъ родовъ поэзіи, разовьемъ ихъ глубочайшее и дальнѣйшее значеніе чрезъ сравненіе одного съ другимъ.

Эпическая и лирическая поэзія представляютъ собой двѣ отвлеченныя крайности дѣйствительнаго міра, діаметрально одна другой противоположныя; драматическая поэзія представляетъ собой сліяніе (конкрецію) этихъ крайностей въ живое и самостоятельное третье.

Эпическая поэзія есть по-преимуществу поэзія объективная, внѣшняя, какъ въ отношеніи къ самой себѣ, такъ и къ поэту и его читателю. Въ эпической поэзіи выражается созерцаніе міра и жизни, какъ сущихъ по себѣ и пребывающихъ въ совершенномъ равнодушіи къ самимъ себѣ и созерцающему ихъ поэту или его читателю.

Лирическая поэзія есть, напротивъ, по преимуществу поэзія субъективная, внутренняя, выраженіе самого поэта. «Въ лирической поэзіи,—говоритъ Жанъ-Поль Рихтеръ, — живописецъ становится картиной, творецъ — своимъ твореніемъ». Эпическую поэзію можно сравнить съ образовательными искусствами — архитектурой, ваяніемъ и живописью; лирическую поэзію можно сравнить только съ музыкой. Есть даже такія лирическія произведенія, въ которыхъ почти уничтожаются границы, раздѣляющія поэзію отъ музыки. Такъ напр., многія русскія народныя пѣсни удерживаются въ памяти народа не содержаніемъ своимъ (ибо въ нихъ почти совсѣмъ нѣтъ содержанія), не значеніемъ словъ, изъ которыхъ состоятъ (ибо соединеніе этихъ словъ лишено почти всякаго значенія и при грамматическомъ смыслѣ не имѣетъ почти никакого логическаго), но музыкальностью звуковъ, образуемыхъ соединеніемъ словъ, ритмомъ стиховъ и своимъ мотивомъ въ пѣніи, или своимъ «голосомъ», какъ говорятъ простолюдины. Другія лирическія пьесы, не заключая въ себѣ особеннаго смысла, хотя и не будучи лишены обыкновеннаго, выражаютъ собой безпечно-знаменательный смыслъ одной музыкальностью своихъ стиховъ, какъ напр. эти стихи изъ пѣсни сумасшедшей Офеліи:

Онъ во гробѣ лежалъ съ непокрытымъ лицомъ,
Съ *непокрытымъ*, съ *открытымъ* лицомъ.

Непокрытый есть то же, что́ открытый; а открытый — то же, что́ непокрытый; но какое глубокое впечатлѣніе производитъ на душу это повтореніе одного и того же слова, съ незначительнымъ грамматическимъ измѣненіемъ! И какъ чувствуется, что эти стихи должны не читаться, а пѣться! Вотъ пѣсня Дездемоны, переведенная или передѣланная Козловымъ:

Бѣдняжка въ раздумьи подъ тѣнью густой
Сидѣла вздыхая, крушима тоской:
«Вы пойте мнѣ иву, зеленую иву!»
Она свою руку на грудь положила,
И голову тихо къ колѣнямъ склонила.
Студеныя волны шумя тамъ бѣжали,
И стонъ ея жалкій тѣ волны роптали.
«О ива, ты, ива, зеленая ива!»
Горючія слезы катились ручьями,
И дикіе камни смягчались слезами.
«О ива, ты, ива, зеленая ива!»
Зеленая ива мнѣ будетъ вѣнкомъ.
«О ива, ты, ива, зеленая ива!»

Скажите, какое отношеніе имѣетъ здѣсь ива къ предмету стихотворенія—страданію Дездемоны? Развѣ то, что Дездемона, когда она пѣла свою пѣсню, представляла себя сидящею подъ ивой, — и въ безотрадной тоскѣ, обращаясь къ ней, какъ бы хотѣла высказать все свое безнадежное горе, всю плачевность своей неизбѣжной судьбы, и какъ бы просила у ней утѣшенія?.. Какъ бы то ни было, но этотъ этихъ: «О ива, ты, ива, зеленая ива», не выражающій никакого

Digitized by Google

опредѣленнаго смысла, заключаетъ въ себѣ глубокую мысль, отрѣшившуюся отъ слова, безсильнаго выразить ее, и превратившуюся въ чувство, въ звукъ музыкальный... И потому-то этотъ стихъ такъ глубоко западаетъ въ сердце и волнуетъ его мучительно-сладостнымъ чувствомъ неутолимой грусти... Совсѣмъ въ другомъ родѣ, но тоже подходитъ подъ разрядъ этихъ музыкальныхъ стихотвореній извѣстный романсъ Пушкина:

Ночной зефиръ
Струитъ эѳиръ.
Шумитъ,
Бѣжитъ
Гвадалквивиръ.
Вотъ взошла луна златая...
Тише... чу... гитары звонъ...
Вотъ испанка молодая
Оперлася на балконъ.
Ночной зефиръ
Струитъ эѳиръ.
Шумитъ,
Бѣжитъ
Гвадалквивиръ.
Скинь мантилью, ангелъ милый,
И явись какъ яркій день!
Сквозь чугунныя перилы
Ножку дивную продѣнь!
Ночной зефиръ
Струитъ эѳиръ.
Шумитъ,
Бѣжитъ
Гвадалквивиръ.

Что это такое?—волшебная картина, фантастическое видѣніе или музыкальный аккордъ, раздавшійся съ вышины и пролетѣвшій надъ утомленной нѣгой и желаньемъ головой обольстительной испанки?... Звуки серенады, раздавшіеся въ таинственномъ, прозрачномъ мракѣ роскошной, сладострастной ночи юга, звуки серенады, полной томленія и страсти, которую лѣниво слушаетъ прекрасная испанка, небрежно опершись на балконъ и жадно впивая въ себя ароматическій воздухъ упоительной ночи?... Въ гармонической музыкѣ этихъ дивныхъ стиховъ не слышно ли, какъ переливается эѳиръ, струимый движеніемъ вѣтерка, какъ плещутъ серебряныя волны бѣгущаго Гвадалквивира?... Что̀ это—поэзія, живопись, музыка? Или то, и другое, и третье, слившіяся въ одно, гдѣ картина горитъ звуками, звуки образуютъ картину, а слова блещутъ красками, вьются о̀бразами, звучатъ гармоніей и выражаютъ разумную рѣчь?... Что̀ такое первый куплетъ, повторяющійся въ серединѣ пьесы и потомъ замыкающій ее? Не есть ли это рулада—голосъ безъ словъ, который сильнѣе всякихъ словъ?...

Эпическая поэзія употребляетъ образы и картины для выраженія о̀бразовъ и картинъ, въ природѣ находящихся; лирическая поэзія употребляетъ о̀бразы и картины для выраженія безъ-о̀бразнаго и безформеннаго чувства, составляющаго внутреннюю сущность человѣческой природы. «Эпосъ,—говоритъ Жанъ-Поль Рихтеръ,—представляетъ событіе, развивающееся изъ прошедшаго; лира—чувствованіе, заключенное въ настоящемъ». Даже когда лирическій поэтъ выражаетъ чувство, повидимому совершенно внѣшнее его личности, заимствованное имъ изъ чуждаго ему міра,—и тогда онъ субъективенъ: ибо всякое выражаемое имъ чувство въ минуту творчества становится его собственнымъ чувствомъ, будучи переведено чрезъ его личность. «Историческое въ эпосѣ разсказывается; въ драмѣ предвидится или творится; въ лирѣ чувствуется или переживается»—говоритъ Жанъ-Поль Рихтеръ. По мнѣнію этого знаменитаго поэта-мыслителя Германіи, лирика предшествуетъ всѣмъ формамъ поэзіи, потому-что «она есть мать, зажигательная искра всякой поэзіи, какъ безъ-о̀бразный прометеевъ огонь, который оживляетъ всѣ о̀бразы». Въ историческомъ смыслѣ нельзя согласиться съ Жанъ-Поль Рихтеромъ, чтобъ лирика предшествовала другимъ родамъ поэзіи. Образцомъ, формой и высшимъ авторитетомъ должно быть для насъ искусство греческое, ибо ни у одного народа въ мірѣ искусство не развилось такъ самобытно и нормально, какъ у грековъ, полнота богатой жизни которыхъ преимущественно выразилась въ искусствѣ. Поэтому акты историческаго развитія греческаго искусства должны имѣть для насъ всю силу разумнаго авторитета. Эпопея предшествовала у нихъ лирѣ, такъ же какъ лира предшествовала драмѣ. Такой ходъ искусства оправдывается и самымъ умозрѣніемъ: для младенствующаго народа объективное воззрѣніе на природу и жизнь, какъ на предметы сущіе по себѣ, и мысль, какъ преданіе о прошедшемъ, должны предшествовать внутреннему созерцанію и мысли, какъ самостоятельному сознанію. Однакожъ изъ этого отнюдь не слѣдуетъ заключать, чтобъ развитіе искусства у всѣхъ народовъ должно было совершаться въ одинаковой послѣдовательности. Не должно забывать, что вся полнота жизни эллиновъ выразилась преимущественно въ искусствѣ, такъ-что ихъ національная исторія есть по-преимуществу исторія развитія искусства; тогда-какъ у другихъ народовъ искусство было побочнымъ элементомъ жизни, второстепеннымъ интересомъ и подчинялось другимъ стихіямъ общественной жизни. Такъ религіозная поэзія евреевъ по-преимуществу только лирическая, т. е. или чисто-лирическая, или эпико-лирическая, или лирико-догматическая. У арабовъ, какъ не народа, а племени, и притомъ племени номаднаго, разсѣяннаго

Digitized by Google

по пустынѣ, чуждаго общественности, существовала только лирическая или лирико-эпическая поэзія, но драматической никогда не было и не могло быть. У римлянъ, какъ народа завоевательнаго и законодательнаго, поглощеннаго интересами чисто-политическими и гражданственными, поэзія состояла въ безцвѣтномъ подражаніи образцовымъ произведеніямъ художественной Греціи. У новѣйшихъ народовъ Европы, по необъятному богатству содержанія ихъ жизни, по неистощимой многочисленности элементовъ ихъ общественности и высшему ея развитію, существуютъ всѣ роды поэзіи; но они явились у каждаго изъ народовъ въ своей особенной послѣдовательности или, лучше сказать, въ совершенной смѣшанности. Такъ напр., у англичанъ сперва развилась драма въ лицѣ Шекспира, и уже черезъ два вѣка лирическая поэзія достигла высшаго развитія въ лицѣ Байрона, Томаса Мура, Вордсворта и другихъ, и вмѣстѣ съ лирической, эпическая поэзія, въ лицѣ Вальтера Скотта, а въ Сѣверо-Американскихъ штатахъ, родныхъ Англіи по происхожденію и по языку, въ лицѣ Купера.

Что же касается до мысли Жанъ-Поля, что лирическая поэзія есть основная стихія всякой поэзіи, эта мысль совершенно справедлива и глубоко-основательна. Лирика есть жизнь и душа всякой поэзіи; лирика есть поэзія по-преимуществу, есть поэзія поэзіи,—и Жанъ-Поль Рихтеръ сколько остроумно, столько и вѣрно, называя ее общимъ элементомъ всякой поэзіи, сравниваетъ ее съ обращающейся кровью во всей поэзіи. Поэтому лиризмъ, существуя самъ по себѣ, какъ отдѣльный родъ поэзіи, входитъ во всѣ дуугіе, какъ стихія, живитъ ихъ, какъ огонь Прометеевъ живитъ всѣ созданія Зевеса. Вотъ почему драмы Шекспира — эти по-преимуществу драматическія созданія высочайшей творческой силы, — такъ богаты лиризмомъ, который проступаетъ сквозь драматизмъ, и сообщаетъ ему игру переливного свѣта жизни, какъ румянецъ лицу прекрасной дѣвушки, какъ алмазный блескъ и сіянье—ея чарующимъ очамъ. Безъ лиризма эпопея и драма были бы слишкомъ прозаичны и холодно-равнодушны къ своему содержанію; точно такъ же, какъ онѣ становятся медленны, неподвижны и бѣдны дѣйствіемъ, какъ скоро лиризмъ дѣлается преобладающимъ элементомъ ихъ.

Содержаніе эпопеи составляетъ событіе; мимолетное и мгновенное ощущеніе, потрясшее душу поэта, какъ вѣтеръ струны эоловой арфы, составляетъ содержаніе лирическаго произведенія. Поэтому, какова бы ни была идея лирическаго произведенія,— оно никогда не должно быть слишкомъ длинно, но по большей части всегда должно быть очень коротко. Объемъ эпической поэзіи зависитъ отъ объема самаго событія,—и если событіе, при длинноте своей, интересно и хорошо изложено, наше вниманіе не утомляется имъ; оно даже можетъ прерываться, обращаясь на другіе предметы и снова возвращаясь къ нему: «Иліаду», какъ и всякій романъ Вальтера Скотта или Купера, мы можемъ читать нѣсколько дней, оставляя книгу и снова принимаясь за нее, а въ промежуткахъ занимаясь совсѣмъ другими предметами. Вообще эпопея, въ отношеніи къ объему, даетъ поэту гораздо больше свободы, чѣмъ другіе роды поэзіи. Драма, какъ увидимъ ниже, имѣетъ болѣе или менѣе опредѣленныя границы величины и объема; но лирическія произведенія въ этомъ отношеніи тѣсно ограничены. Еслибы драма была и слишкомъ велика,—наше вниманіе и дѣятельность нашей воспріемлемости впечатлѣній могли бы долго поддерживаться безпрестаннымъ измѣненіемъ развивающагося въ драмѣ дѣйствія; но лирическое произведеніе, выражая собой только чувство, и дѣйствуетъ на одно только наше чувство, не возбуждая въ насъ ни любопытства, ни поддерживая вниманія нашего объективными фактами, которые даже и въ дѣйствительности—не только въ поэзіи—сильно занимаютъ нашъ умъ и дѣйствуютъ на чувство. При всемъ богатствѣ своего содержанія, лирическое произведеніе какъ будто лишено всякаго содержанія—точно музыкальная пьеса, которая, потрясая все существо наше сладостными ощущеніями, совершенно невыговариваемо въ своемъ содержаніи, потому-что это содержаніе непереводимо на человѣческое слово. Вотъ почему всегда можно не только пересказать другому содержаніе прочитанной поэмы или драмы, но даже и подѣйствовать болѣе или менѣе на другого своимъ пересказомъ,—тогда какъ никогда нельзя уловить содержанія лирическаго произведенія. Да, его нельзя ни пересказать, ни растолковать, но только можно дать почувствовать, и то не иначе, какъ прочтя его такъ, какъ оно вышло изъ-подъ пера поэта: будучи же пересказано словами или переложено въ прозу, оно превращается въ безобразную и мертвую личинку, изъ которой сейчасъ только выпорхнула блестящая радужными цвѣтами бабочка. Вотъ почему псевдолирическія и богатыя мнимыми «мыслями» произведенія почти ничего не теряютъ въ переложеніи изъ стиховъ въ прозу; тогда какъ величайшія созданія, вышедшія изъ глубочайшихъ нѣдръ творческаго духа, часто теряютъ въ переложеніи на прозу или мало-мальски не-

Digitized by Google

удачномъ переводѣ всякое значеніе. И это очень естественно: какъ дадите вы другому понятіе о мотивѣ слышанной вами музыки, если не пропоете или не проиграете его на инструментѣ? Если вы скажете, что въ такомъ-то музыкальномъ произведеніи удачно воспроизведена идея любви и ревности,— вы этимъ ровно ничего не скажете объ этой музыкальной пьесѣ: начните ее пѣть или играть—и она сама за себя заговоритъ.

Конечно лирическое произведеніе не есть одно и то же съ музыкальнымъ произведеніемъ, но въ ихъ основной сущности есть нѣчто общее. Въ лирическомъ произведеніи, какъ и во всякомъ произведеніи поэзіи, мысль выговаривается словомъ; но эта мысль скрывается за ощущеніемъ и возбуждаетъ въ насъ созерцаніе, которое трудно перевести на ясный и опредѣленный языкъ сознанія. И это тѣмъ труднѣе, что чистолирическое произведеніе представляетъ собой какъ бы картину, между тѣмъ какъ въ немъ главное дѣло не самая картина, а чувство, которое она возбуждаетъ въ насъ,— такъ точно, какъ въ оперѣ драматическое положеніе дѣйствующаго лица важно не само по себѣ, но по той музыкѣ, которой отзовется или отгрянетъ оно изъ глубины духа дѣйствующаго лица. Такова напр. лирическая пьеса Пушкина «Туча»:

Послѣдняя туча разсѣянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тѣнь,
Одна ты печалишь ликующій день.

Ты небо недавно кругомъ облекала;
И молнія грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный громъ
И алчную землю поила дождемъ.

Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освѣжилась, и буря промчалась,
И вѣтеръ, лаская листочки древесъ,
Тебя съ успокоенныхъ гонитъ небесъ.

Сколько есть людей на бѣломъ свѣтѣ, которые, прочтя эту пьесу и не найдя въ ней нравственныхъ апофегмъ и философскихъ афоризмовъ, скажутъ: «Да что же тутъ такого?—препустенькая пьеска!» Но тѣ, въ душѣ которыхъ находятъ свой отзывъ бури природы, кому понятнымъ языкомъ говоритъ «таинственный громъ» и кому «послѣдняя туча разсѣянной бури», которая одна печалитъ ликующій день, тяжела, какъ грустная мысль при общей радости, — тѣ увидятъ въ этомъ маленькомъ стихотвореніи великое созданіе искусства.

Хотя драма и есть примиреніе противоположныхъ элементовъ—эпической объективности и лирической субъективности, но тѣмъ не менѣе она не есть ни эпопея, ни лирика, но третье, совершенно новое и самостоятельное, хотя и вышедшее изъ двухъ первыхъ. Поэтому у грековъ драма была какъ бы результатомъ эпоса и лиры, ибо и явилась-то послѣ нихъ, и была самымъ пышнымъ, но и послѣднимъ цвѣтомъ эллинской поэзіи. Несмотря на то, что въ драмѣ, какъ и въ эпопеѣ, есть событіе, драма и эпопея діаметрально противоположны другъ другу по своей сущности. Въ эпопеѣ господствуетъ событіе, въ драмѣ—человѣкъ. Герой эпоса—происшествіе; герой драмы—личность человѣческая. Жизнь въ эпопеѣ является какъ нѣчто сущее по себѣ, т. е. такъ, какъ она есть, независимая отъ человѣка, независимая сама собой, равнодушно пребывающая и къ человѣку, и къ самой себѣ. Эпосъ—это сама природа, вѣчно неизмѣнная въ своемъ исполинскомъ величіи, всегда равнодушная въ пышномъ блескѣ красоты своей. Въ драмѣ жизнь является уже не только по себѣ, но и для себя сущей, какъ разумное сознаніе, какъ свободная воля. Человѣкъ есть герой драмы, и не событіе владычествуетъ въ ней надъ человѣкомъ, но человѣкъ владычествуетъ надъ событіемъ, по свободной волѣ давая ему ту или другую развязку, тотъ или другой конецъ. Чтобъ яснѣе развить это, представимъ примѣры изъ извѣстныхъ и великихъ художественныхъ созданій древняго и новаго міра.

Въ «Иліадѣ» царствуетъ судьба. Она управляетъ дѣйствіями не только людей, но и самихъ боговъ. Едва успѣлъ поэтъ поднять занавѣсъ, скрывавшій отъ насъ сцену повѣствуемаго имъ событія,—какъ мы уже узнаемъ впередъ, что Иліонъ долженъ пасть отъ ахейцевъ. Убитъ ли Патроклъ: это сдѣлалось не случайно, по возможностямъ кроваваго боя—нѣтъ, это заранѣе было предназначено судьбой. Когда Антилохъ, сынъ Нестора, спѣшитъ къ Ахиллесу съ горькой вѣстью о смерти Патрокла,—Ахиллесъ въ это время сидѣлъ передъ своимъ шатромъ, томимый грустнымъ предчувствіемъ, и такъ думалъ съ самимъ собой:

О, не свершили ли боги несчастій, ужаснѣйшихъ сердцу,
Кои мнѣ матерь давно предвѣщала; она говорила:
Въ Троѣ, прежде меня, Мирмидонянинъ, въ брани храбрѣйшій,
Долженъ подъ дланью троянской разстаться съ солнечнымъ свѣтомъ.
Боги безсмертные! умеръ Менетіевъ сынъ благородный.

(Пѣснь XVIII, ст. 8—12.)

Ахиллъ долженъ отомстить убійцѣ друга своего Патрокла; но, убивши его, долженъ и самъ пасть отъ стрѣлы Париса, направленной рукой Феба: это знаетъ самъ Ахиллъ,—и вотъ что говоритъ онъ своей матери, среброногой Ѳетидѣ, безсмертной нимфѣ океана:

Digitized by Google

Должно теперь и тебѣ безконечную горесть извѣдать,
Горесть о сынѣ погибшемъ, котораго ты не увидишь
Въ домѣ отеческомъ! ибо и сердце мое не велитъ мнѣ
Жить, и въ обществѣ быть человѣческомъ, ежели Гекторъ,
Первый, моимъ копіемъ пораженный, души не извергнетъ,
И за грабежъ надъ Патрокломъ любезнѣйшимъ мнѣ не заплатитъ!
(*Iliad., ст. 88—93.*)

Мать отговариваетъ его пророчествомъ о предстоящей ему погибели, въ случаѣ, если Гекторъ падетъ отъ руки его:

Скоро умрешь ты, о сынъ мой, судя по тому, что вѣщаешь!
Скоро за сыномъ Пріама конецъ и тебѣ уготованъ!
(*Ib., ст. 95—96.*)

Ахиллесъ даже и не спрашиваетъ ее, почему это такъ, и только обнаруживаетъ героическую готовность, за сладкую цѣну мщенія, подчиниться роковому предопредѣленію:

О, да умру я теперь же! далеко, далеко отъ родины милой
Палъ онъ; и вѣрно меня призывалъ, да избавлю отъ смерти!
Что же мнѣ въ жизни! Я ни отчизны драгой не увижу,
Я ни Патрокла отъ смерти не спасъ, ни другимъ благороднымъ
Не былъ защитой друзьямъ, отъ могучаго Гектора падшимъ.
Праздный, сижу предъ судами, земли безполезное бремя,
Будучи мужъ среди всѣхъ мѣднолатныхъ героевъ ахейскихъ
Первый во брани, хотя на совѣтахъ и лучше другіе!
. . . . . .
Я выхожу, да главы мнѣ любезной губителя встрѣчу,
Гектора! *Смерть же принять готовъ я, когда ни разсудитъ*
Здѣсь мнѣ назначить ее всемогущій Кронiонъ и боги!
Смерти не могъ избѣжать ни Геракл, изъ мужей величайшій,
Какъ ни любезенъ онъ былъ громоносному Зевсу Крониду;
Мощнаго рокъ одолѣлъ и вражда непреклонныя Геры.
Также и я, коль назначена доля мнѣ равная, лягу,
Гдѣ суждено; но сіяющей славы я прежде добуду!
Прежде еще не одну между женъ полногрудныхъ троянскихъ
Вздохами тяжкими грудь разрывать я заставлю, и въ горѣ
Съ нѣжныхъ ланитъ отирать руками обѣими слезы!
Скоро узнаютъ, что долгіе дни отдыхалъ я отъ брани!
Въ бой выхожу; не удерживай, матерь, ничѣмъ не преклонишь.
(*Ib., ст. 98—126.*)

Роковая катастрофа жизни Ахиллеса извѣстна самому Гектору: умирая, онъ умолялъ своего врага—не предавать тѣла его поруганію, но, вмѣсто согласія, услышавъ проклятія,

Духъ испуская, къ нему провѣщалъ шлемоблещущій Гекторъ:
Зналъ я тебя; предчувствовалъ я, что моимъ ты моленьемъ
Тронутъ не будешь: въ груди у тебя желѣзное сердце.
Но трепещи, да не буду тебѣ я божіимъ гнѣвомъ,
Въ оный день, когда Александръ и Фебъ стрѣловержецъ,
Какъ ни могучаго, въ Скейскихъ воротахъ тебя ниспровергнутъ!
(*Пѣснь XXII, ст. 355—360.*)

Мало этого; самъ Зевесъ-промыслитель, при всемъ своемъ доброжелательствѣ Гектору, при всемъ своемъ состраданіи къ его жребію, не можетъ помочь ему своей властью верховнаго божества, котораго трепещутъ всѣ другіе боги, но прибѣгаетъ къ рѣшенію другой высшей власти:

Зевсъ распростеръ, промыслитель, вѣсы золотыя; на нихъ онъ
Бросилъ два жребія смерти, въ сонъ погружающей долгій:
Жребій одинъ Ахиллеса, другой Пріамова сына.
Взялъ посрединѣ и поднялъ: поникнулъ Гектора жребій,
Тяжкій, къ Аиду упалъ; Аполлонъ отъ него удалился.
(*Ib., ст. 9—13.*)

Изъ всего этого ясно, что герой поэмы не Ахиллъ: ибо онъ какъ-будто лишенъ свободной воли, дѣйствуетъ не отъ себя, но только выполняетъ волю другой высшей себя и неотразимой воли. То воля судьбы! Что же такое эта «судьба», которой трепещутъ люди и которой безпрекословно повинуются сами боги? Это понятія грековъ о томъ, что мы, новѣйшіе, называемъ разумной необходимостью, законами дѣйствительности, соотношеніемъ между причинами и слѣдствіемъ, словомъ — объективное дѣйствіе, которое развивается и идетъ, себѣ, движимое внутренней силой своей разумности, подобно паровой машинѣ,—идетъ не останавливаясь и не совращаясь съ пути, встрѣчается ли ей человѣкъ, котораго она можетъ раздавить, или каменный утесъ, о который она сама можетъ разбиться...

Нѣкоторые упрекаютъ Вальтера Скотта, что герои многихъ его романовъ, сосредоточивая на себѣ дѣйствіе цѣлаго произведенія, въ то же время отличаются столь безцвѣтнымъ характеромъ, что не приковываютъ къ себѣ исключительно всего нашего интереса, который какъ-бы уступаютъ они второстепеннымъ лицамъ романа, какъ болѣе оригинальнымъ и характернымъ. Въ самомъ дѣлѣ, что такое напр.

Digitized by Google

рыцарь Иваное—герой однако изъ лучшихъ романовъ Вальтеръ Скотта?—храбрый и благородный рыцарь въ общемъ духѣ своего времени, но не болѣе. Въ сравненіи съ неистовымъ Бріаномъ, очаровательной Ревеккой, даже Цедрихомъ Саксонцемъ и Ательстаномъ, Иваное — какая-то блѣдная тѣнь, слабый очеркъ, образъ безъ лица. Онъ мало дѣйствуетъ, мало имѣетъ вліянія на ходъ романа. Онъ то раненъ, то при смерти, то въ плѣну, тогда какъ другіе дѣйствуютъ и рисуются на первомъ планѣ. Не смотря на дикость своихъ страстей, звѣрски проявляющихся, не смотря на свою безнравственность и преступность своихъ дѣйствій, храмовой рыцарь Бріанъ въ тысячу разъ больше, чѣмъ Иваное, возбуждаетъ къ себѣ участіе читателя, потому что онъ—лицо типическое, характеръ могучій и самобытный. А между тѣмъ Бріанъ все-таки второстепенный персонажъ въ романѣ, котораго всѣ нити сходятся на личной судьбѣ Иваное, какъ главнаго лица, какъ героя романа. Но тѣмъ не менѣе это обвиненіе противъ геніальнаго романиста только по наружности имѣетъ видъ справедливости, но въ самомъ дѣлѣ оно совершенно ложно: то, что̀ кажется недостаткомъ въ романѣ, есть сущность эпопеи. Еще разительнѣйшимъ образцомъ этого можетъ служить напр. «Маннерингъ или Астрологъ», гдѣ герой романа является на сценѣ только въ третьей части и то какимъ-то таинственнымъ лицомъ, въ которомъ узнаете вы героя только въ концѣ романа, хотя и съ первыхъ страницъ повѣсти, еще только родившись на свѣтъ, онъ уже сосредоточиваетъ на себѣ все дѣйствіе романа. Это такъ и должно быть въ произведеніи чисто эпическаго характера, гдѣ главное лицо служитъ только внѣшнимъ центромъ развивающагося событія, и гдѣ оно можетъ отличаться только обще-человѣческими чертами, заслуживающими нашего человѣческаго участія: ибо героя эпопеи есть сама жизнь, а не человѣкъ! Въ эпопеѣ событіе, такъ-сказать, подавляетъ собой человѣка, заслоняетъ своимъ величіемъ и своей огромностью личность человѣческую, отвлекаетъ отъ нея наше вниманіе своимъ собственнымъ интересомъ, разнообразіемъ и множествомъ своихъ картинъ.

Въ драмѣ сила и важность событія даютъ себя знать какъ «коллизія» или та ошибка, то столкновеніе между естественнымъ влеченіемъ сердца героя и его понятіемъ о долгѣ, которыя не зависятъ отъ его воли, которыя онъ не можетъ ни произвесть, ни предотвратить, но которыхъ разрѣшеніе зависитъ не отъ событія, но единственно отъ свободной воли героя. Власть событія становитъ героя драмы на распутьи и приводитъ его въ необходимость избрать одинъ изъ двухъ, совершенно противоположныхъ другъ другу путей для выхода изъ борьбы съ самимъ собой, но рѣшеніе въ выборѣ пути зависитъ отъ героя драмы, а не отъ событія. Мало того: катастрофа драмы можетъ воспослѣдовать и ускориться даже вслѣдствіе нерѣшительнаго колебанія со стороны героя; но и эта нерѣшительность заключается не въ сущности и силѣ событія, но единственно въ характерѣ героя. Лучшій примѣръ этого представляетъ намъ шекспировъ Гамлетъ; онъ узнаетъ объ ужасной смерти отца своего изъ устъ самой тѣни отца; вотъ событіе, приготовленное не Гамлетомъ, но вышедшее изъ развращенной воли вѣроломнаго брата умершаго короля; оно ставитъ Гамлета въ необходимость играть роль мстителя; но такъ какъ эта роль совсѣмъ не въ его натурѣ, то онъ и повергается во внутреннюю борьбу съ самимъ собой, произведенную ошибкой двухъ враждебныхъ силъ — долга, повелѣвающаго мстить за смерть отца, и личной неспособностью къ мщенію: вотъ трагическая к о л л и з і я! Ужасное открытіе тайны отцовской смерти, вмѣсто того чтобы исполнить Гамлета однимъ чувствомъ, однимъ помышленіемъ — чувствомъ и мыслью мщенія, каждую минуту готовыми осуществиться въ дѣйствіи, — это ужасное открытіе заставило его не выйти изъ самого себя, а уйти въ самого себя и сосредоточиться во внутренности своего духа, возбудило въ немъ вопросы о жизни и смерти, времени и вѣчности, долгѣ и слабости воли, обратило его вниманіе на свою собственную личность, ея ничтожность и позорное безсиліе, родило въ немъ ненависть и презрѣніе къ самому себѣ. Гамлетъ пересталъ вѣрить добродѣтели, нравственности, потому-что увидѣлъ себя неспособнымъ и безсильнымъ наказать порокъ и безнравственность и перестать быть добродѣтельнымъ и нравственнымъ. Мало того: онъ перестаетъ вѣрить въ дѣйствительность любви, въ достоинство женщины; какъ безумный, топчетъ онъ въ грязь свое чувство, безжалостной рукой разрываетъ свой святой союзъ съ чистымъ, прекраснымъ женственнымъ существомъ, которое такъ безъ-завѣтно, такъ невинно отдалось ему все, которое такъ глубоко и нѣжно любитъ онъ; безжалостно и грубо оскорбляетъ онъ это существо, кроткое и нѣжное, все созданное изъ эѳира, свѣта и мелодическихъ звуковъ, какъ бы спѣша отрѣшиться отъ всего въ мірѣ, что̀ напоминаетъ собой о счастьи и добродѣтели. Ясно, что натура Гамлета чисто внутренняя, созерцательная, субъ-

Digitized by Google

ективная, рожденная для чувства и мысли; а ужасное событіе требуетъ отъ него не чувства и мысли, но дѣла, изъ идеальнаго міра вызываетъ его въ міръ практическій, въ чуждый его духовной настроенности міръ дѣйствія. Естественно, что изъ этого положенія возникаетъ внутри Гамлета страшная борьба, которая и составляетъ сущность всей драмы. И если конецъ этой драмы совершается какъ бы въ эпическомъ характерѣ, вытекая не изъ свободнаго рѣшенія воли со стороны Гамлета, а изъ случайности (изъ неумышленнаго обмѣна шпагъ Гамлетомъ и Лаэртомъ и неумышленной ошибки королевы-матери, выпившей отравленный кубокъ, назначенный ея сыну), тѣмъ не менѣе Гамлетъ есть нисколько не эпическое, но по преимуществу драматическое произведеніе: ибо сущность содержанія и развитія этой трагедіи заключается во внутренней борьбѣ ея героя съ самимъ собой. Внѣ этой борьбы «Гамлетъ» не имѣетъ для насъ никакого даже побочнаго интереса, ибо и самая участь Офеліи, такъ глубоко насъ трогающая, есть слѣдствіе этой же борьбы. Кромѣ того смерть короля-братоубійцы есть столько же необходимое слѣдствіе его преступленія, сколько и дѣло воли Гамлета, вспыхнувшей могучимъ рѣшеніемъ при концѣ его жизни, какъ вспыхиваетъ болѣе яркимъ пламенемъ угасающая лампада... «Макбетъ» и «Отелло» представляютъ собой совершеннѣйшіе образцы коллизіи, какъ драматической сущности. Торжествующій полководецъ, знаменитый вельможа и родственникъ добраго, благороднаго старца-короля, Макбетъ слышитъ въ себѣ ревущій голосъ глубоко затаеннаго, но сильнаго и страстнаго честолюбія. Эта страсть, столь ужасная и гибельная въ душахъ мощныхъ, но не проникнутыхъ елейной теплотой любви и правдивости, является ему въ страшной апоѳеозѣ трехъ вѣдьмъ. Ихъ загадочныя предсказанія, сейчасъ же сбывающіяся, не на долго смущаютъ его, ибо скоро узнаетъ онъ въ нихъ осуществившійся глубокій и мрачный замыселъ собственной души. Его честолюбіе является ему въ новой и еще болѣе чудовищной апоѳеозѣ—въ лицѣ его жены, этого демонскаго существа въ видѣ женщины. Она заглушаетъ въ немъ послѣдній ропотъ совѣсти примѣромъ собственной сатанинской рѣшимости на злодѣйство, возбуждаетъ въ немъ ложный стыдъ и окончательно подвигаетъ его на проклятое дѣло. Здѣсь событіе почти не играетъ никакой роли: они пріуготовляется волей самого Макбета, а роковое стеченіе благопріятствующихъ злодѣйству обстоятельствъ только помогаетъ совершенію злодѣйства, но не порождаетъ его. Мы видимъ Макбета въ борьбѣ съ самимъ собой, въ трагической коллизіи: онъ могъ побѣдить въ себѣ грѣховное побужденіе и могъ послѣдовать ему. И эта вина его воли, что онъ послѣдовалъ влеченію злого начала: его воля родила событіе, но не событіе дало направленіе его волѣ. Остальная часть этой драмы представляетъ уже слѣдствіе свободнаго выхода Макбета изъ роковой борьбы: уже не въ его волѣ измѣнить послѣдовавшія за цареубійствомъ событія; преступленіе отдало его во власть фуріямъ, которыя взяли его за руки и, какъ слѣпца, повели отъ злодѣйства къ новому злодѣйству. Отъ его воли зависѣло только пасть съ честью—и онъ палъ, сраженный, но непобѣжденный, какъ довлѣетъ виновному, но великому въ самой винѣ своей мужу. Событіе поставляетъ Отелло въ состояніе ревности. Это событіе вышло конечно не изъ его воли или сознанія, но тѣмъ не менѣе онъ самъ способствовалъ его совершенію своимъ волканическимъ темпераментомъ, своими знойными страстями, которыя мгновенно вспыхивали, подобно песчанымъ метелямъ въ пустыняхъ Аравіи, и не покорялись голосу разсудка, своимъ младенчески-довѣрчивымъ характеромъ, своимъ суевѣрнымъ воображеніемъ, напоминавшимъ его восточное, африканское происхожденіе. Обуздай онъ въ роковую минуту свое звѣрство въ отношеніи къ мнимо-виновной Дездемонѣ,—и истина открылась бы глазамъ его для счастья и блаженства жизни; но онъ не хотѣлъ или не могъ обуздать порыва животной мести, — и свѣтъ истины озарилъ его глаза, подобно адскому блеску отъ свѣточей Эвменидъ, для того только, чтобъ онъ могъ измѣрить глубину бездны, въ которую стремглавъ низвергся...

Хотя всѣ эти три рода поэзіи существуютъ отдѣльно одинъ отъ другого, какъ самостоятельные элементы, однакожъ, проявляясь въ особыхъ произведеніяхъ поэзіи, они не всегда отличаются одинъ отъ другого рѣзко опредѣленными границами. Напротивъ, они часто являются въ смѣшанности, такъ что иное эпическое по формѣ своей произведеніе отличается драматическимъ характеромъ, и наоборотъ. Эпическое произведеніе не только ничего не теряетъ изъ своего достоинства, когда въ него входитъ драматическій элементъ, но еще много выигрываетъ отъ этого. Это особенно относится къ произведеніямъ христіанскаго искусства, въ которомъ нѣтъ ничего выше человѣческой личности съ ея внутренней, субъективной стороны и въ которомъ поэтому драматическій элементъ входитъ въ эпическій по праву и возвышаетъ его цѣну. Превосходный примѣръ эпическаго про-

Digitized by Google

изведенія, проникнутаго драматическимъ элементомъ, представляетъ собой повѣсть Гоголя «Тарасъ Бульба». Это дивно-художественное созданіе заключаетъ въ себѣ двѣ трагическія коллизіи, изъ которыхъ каждой стало бы на великое драматическое произведеніе. Во время осады непріятельскаго города, уже доведеннаго до послѣдней крайности всѣми ужасами голода, Андрій, сынъ Бульбы, встрѣчается съ давно уже плѣнившей его дѣвушкой изъ враждебнаго племени. Онъ не можетъ отдаться ей, не навлекши на себя проклятія отца, не измѣнивши своимъ соотчичамъ и единовѣрцамъ, а между тѣмъ онъ не можетъ и оторваться отъ нея, ибо онъ столько же человѣкъ, сколько и малороссіянинъ: вотъ коллизія. И полная натура, кипящая избыткомъ юныхъ силъ, безъ рефлексіи отдалась влеченію сердца, и за мигъ безконечнаго блаженства заплатила лютой казнью, смертью отъ рукъ родного отца,—смертью, которая была необходимымъ слѣдствіемъ рѣшенія его воли въ коллизіи и единственнымъ выходомъ изъ ложнаго, неестественнаго положенія! Съ другой стороны отецъ, который поставленъ уже не въ возможность, но въ необходимость быть палачемъ собственнаго сына: какое трагическое положеніе, какая ужасная коллизія, и какъ страшно вышла изъ нея желѣзная воля полудикаго запорожца!... Эта повѣсть Гоголя во всякомъ случаѣ была бы превосходнымъ произведеніемъ искусства, но, благодаря обилію драматическихъ элементовъ, насквозь проникнувшихъ ее, она должна занимать почетное мѣсто между созданіями перваго разряда величайшихъ творцовъ. Сколько внутренней жизни, сколько движенія сообщаетъ «Полтавѣ» Пушкина драматическій элементъ! Какимъ неотразимымъ обаяніемъ вѣетъ на душу, какъ глубоко потрясаетъ все существо наше одна сцена между Мазепой и Маріей, — эта сцена, набросанная шекспировской кистью! Мучимая ревностью любящаго женскаго сердца, Марія допытывается у Мазепы объясненія его холодности и таинственности поведенія:

О, милый мой,
Ты будешь царь земли родной!
Твоимъ сѣдинамъ такъ пристанетъ
Корона царская!

МАЗЕПА.

Постой,
Не все свершилось. Буря грянетъ;
Кто можетъ знать, что̀ ждетъ меня?

МАРІЯ.

Я близъ тебя не знаю страха—
Ты такъ могущъ! О! знаю я:
Тронъ ждетъ тебя.

МАЗЕПА.

А если плаха?..

МАРІЯ.

Съ тобой на плаху, если такъ.
Ахъ, пережить тебя могу ли?
Но нѣтъ: ты носишь власти знакъ.

МАЗЕПА.

Меня ты любишь?

МАРІЯ.

Я! люблю ли!

МАЗЕПА.

Скажи: отецъ или супругъ
Тебѣ дороже?

МАРІЯ.

Милый другъ,
Къ чему вопросъ такой? тревожитъ
Меня напрасно онъ. Семью
Стараюсь я забыть мою.
Я стала ей въ позоръ; быть можетъ,
(Какая страшная мечта!)
Моимъ отцомъ я проклята,
А за кого?

МАЗЕПА.

Такъ я дороже
Тебѣ отца? Молчишь...

МАРІЯ.

О, Боже!

МАЗЕПА.

Что жъ? отвѣчай.

МАРІЯ.

Рѣши ты самъ.

МАЗЕПА.

Послушай: еслибъ было намъ,
Ему иль мнѣ, погибнуть надо,
А ты бы намъ судьей была:
Кого бъ ты въ жертву принесла,
Кому бы ты была ограда?

МАРІЯ.

Ахъ, полно! сердца не смущай!
Ты—искуситель.

МАЗЕПА.

Отвѣчай!

МАРІЯ.

Ты блѣденъ; рѣчь твоя сурова...
О, не сердись! Всѣмъ, всѣмъ готова
Тебѣ я жертвовать, повѣрь;
Но страшны мнѣ слова такія,
Довольно.

МАЗЕПА.

Помни же, Марія,
Что̀ ты сказала мнѣ теперь!

Можно ли глубже заглянуть въ сердце женщины, беззавѣтно отдавшейся страстно-любимому человѣку? Какъ дитя блестящей игрушкой, Марія уже заранѣе любуется короной на сѣдыхъ волосахъ возлюбленнаго; она любитъ его, и потому не знаетъ съ нимъ страха; въ ея глазахъ онъ «такъ могущъ», что она не хочетъ и вѣрить, чтобъ ему могла грозить опасность, хоть онъ и самъ предупреждаетъ ее о грозящей ему опасности!...

Digitized by Google

А если ему и суждено погибнуть, для нея не все кончено: для нея остается еще радость—вмѣстѣ съ нимъ умереть на плахѣ!... Тутъ вся женщина въ апоѳеозѣ любви своей, и самъ Шекспиръ ни одной черты не могъ бы прибавить къ этому дивно-художественному изображенію нашего поэта! Сколько истины и вѣрности дѣйствительности въ страхѣ Маріи при мысли объ ужасномъ выборѣ между отцомъ и любовникомъ! Какъ естественно, что она желаетъ уклониться отъ утвердительнаго и неизбѣжнаго отвѣта на этотъ вопросъ, оледеняющій холодомъ смерти сердце ея. Какое торжество женской натуры въ ея отвѣтѣ въ пользу возлюбленнаго, какъ бы насильно, подобно болѣзненному воплю, исторгнутому изъ ея души! Какимъ могильнымъ холодомъ вѣетъ отъ мрачныхъ словъ Мазепы, замыкающихъ собой эту дивную сцену:

Помни же, Марія,
Что ты сказала мнѣ теперь!

А сцены между Орликомъ и Кочубеемъ передъ пыткой послѣдняго; между Маріей и ея матерью; между Мазепой и Орликомъ, передъ полтавской битвой, и между бѣгущимъ Мазепой и сумасшедшей Маріей; каждая изъ нихъ—трагедія во всей безконечности значенія этого слова!....

Въ большей части романовъ Вальтеръ Скотта и Купера есть важный недостатокъ, хотя на него никто не указываетъ и никто не жалуется (по крайней-мѣрѣ въ русскихъ журналахъ), это рѣшительное преобладаніе эпическаго элемента и отсутствіе внутренняго субъективнаго начала. Вслѣдствіе такого недостатка оба эти великіе творца являются въ отношеніи къ своимъ произведеніямъ какъ-бы какими-то холодными безличностями, для которыхъ все хорошо, какъ есть, которыхъ сердце какъ-будто не ускоряетъ своего біенія при видѣ ни блага, ни зла, ни красоты, ни безобразія, и которыя какъ-будто и не подозрѣваютъ существованія в н у т р е н н я г о человѣка. Конечно это можетъ почитаться недостаткомъ только въ наше время, но тѣмъ не менѣе оно все-таки есть недостатокъ: ибо современность есть великое достоинство въ художникѣ. Однакожъ оба эти романиста какъ бы невольно платили иногда дань духу новѣйшаго искусства, и мы ссылаемся на свидѣтельство собственныхъ ихъ созданій, чтобы показать, что лучшія и высшія изъ нихъ суть тѣ, которыя больше или меньше проникнуты драматическимъ элементомъ. «Ламмермурская невѣста» даже на простыхъ читателей производитъ необыкновенно глубокое впечатлѣніе, чѣмъ конечно обязано это произведеніе тому, что оно есть не что иное, какъ трагедія въ формѣ романа. Вотъ почему Эдгардъ Равенсвудъ ужъ не просто сосредоточиваетъ на себѣ интересъ романа, но въ полномъ смыслѣ слова есть его герой, лицо оригинальное, характеръ типическій, существо дѣйствующее, а не страдательное. Поэтому благородная личность его приковываетъ къ себѣ все наше вниманіе, а несчастная участь болѣзненно потрясаетъ все существо наше. Однакожъ этой безконечной силой впечатлѣнія романъ обязанъ не одному своему содержанію, но и простотѣ формы, сжатой и сосредоточенной, чуждой многосложности и запутанности въ ходѣ и развитіи событія, строгому единству дѣйствія, и очень жаль, что авторъ представилъ своего героя больше со-внѣ и не заглянулъ глубже въ его душу, не освѣтивъ для насъ драмы, которая разыгрывалась въ сокровенныхъ глубинахъ его сердца. Сдѣлай это онъ, и тогда его «Ламмермурская невѣста» была бы истинной шекспировской драмой, и дѣйствіе, производимое ею на читателя, было бы еще въ тысячу разъ сильнѣе. Въ «Сен-Ронанскихъ водахъ» любовь и трагическія отношенія Франца Тирреля къ Кларѣ Мобрай, равно какъ и ужасныя отношенія его къ своему развратному брату, Этерингтону, раскрыты до сокровенныхъ глубинъ души и сердца. Сцены свиданія въ горахъ Тирреля съ Кларой, и потомъ свиданія Тирреля съ капитаномъ Джекилемъ, уполномоченнымъ посредникомъ со стороны преступнаго брата, проникнуты такой истиной, отличаются такой глубиной сердцевѣдѣнія и тайнъ страстей и страданія, что украсили бы собой любую драму Шекспира. Прочтя разъ, невозможно забыть, какъ безнравственный больше по привычкѣ и легкомыслію, чѣмъ по натурѣ, капитанъ Джекиль, пришедши къ Тиррелю съ лукавыми намѣреніями, уходитъ отъ него, повѣсивъ голову и въ глубокомъ раздумьи, какъ-бы въ первый еще разъ потрясенный непривычнымъ ему зрѣлищемъ безконечной любви, безконечнаго страданія и безконечнаго самоотверженія. Вообще въ этомъ отношеніи мы ставимъ «Сен-Ронанскія воды» несравненно выше и, такъ сказать, ч е л о в ѣ ч н ѣ е «Ламмермурской невѣсты». Если не всѣ раздѣляютъ наше мнѣніе въ этомъ случаѣ, причина этого заключается въ многосложности «Сен-Ронанскихъ водъ», въ обиліи и запутанности происшествій и во множествѣ лицъ, столь характерныхъ и типическихъ. Въ отношеніи къ Тиррелю и Кларѣ этотъ романъ больше драма, чѣмъ «Ламмермурская невѣста»; но со стороны аксессуаровъ это чистая эпопея, и притомъ болѣе или менѣе заслоняющая собой заключенную въ ней драму. Отверженная, непризнанная лю-

Digitized by Google

бовь Ревекки къ рыцарю Иваное, будучи въ отношевіи къ цѣлому роману какъ-бы эпизодомъ, тѣмъ не менѣе даетъ ему цѣлость, его основная идея живитъ и согрѣваетъ его, какъ свѣтъ солнечный природу, которая величественна, прекрасна и въ пасмурный день, но при солнцѣ является въ новомъ и пр еображенномъ видѣ. Сцена свиданія Ревекки съ лэди Ровенной, замыкающая собой романъ, производитъ на душу глубоко-грустное, но и безконечно-отрадное впечатлѣніе, открывая намъ таинство страданія непризнанной любви глубокаго женственнаго существа, которое вполнѣ достойно обожанія, но судьбой своего рожденія среди отверженнаго и презираемаго племени лишено въ собственныхъ глазахъ всякаго права и всякой надежды на взаимность христіанина и рыцаря... И вотъ благородная прекрасная еврейка приходитъ къ своей соперницѣ, предлагаетъ ей драгоцѣнные подарки и молитъ ее, какъ о милости, отдернуть покрывало и показать ей прекрасное лицо, плѣнившее идола ея растерзаннаго сердца... Какая картина сама по себѣ, и какую безконечную перспективу открываетъ она въ глубинѣ своего фона упоенному любовью и грустью взору читателя!...

Но еще несравненно высшій образецъ, чѣмъ всѣ эти, драматическаго романа представляетъ собою «Путеводитель въ Пустынѣ» Купера. Человѣкъ съ глубокой натурой и мощнымъ духомъ, проведшій лучшіе года своей жизни съ охотничьимъ ружьемъ за плечами въ дѣвственныхъ неисходныхъ лѣсахъ Америки, добровольно отказавшійся отъ удобствъ и приманокъ цивилизованной жизни для широкаго раздолья величавой природы, для возвышенной бесѣды съ Богомъ въ торжественномъ безмолвіи его великаго творенія;—человѣкъ, только что вполнѣ расцвѣтшій всѣми силами тѣла и духа въ ту эпоху жизни, когда другіе уже отцвѣтаютъ, и въ сорокъ лѣтъ сохранившій свѣжесть и пламень чувства, дѣвственную чистоту младенчески-незлобиваго сердца; —человѣкъ, возмужавшій подъ открытымъ небомъ, въ вѣчной борьбѣ съ опасностями, въ вѣчной войнѣ съ хищными звѣрями и злыми Мингами;—человѣкъ съ желѣзными мышцами и стальными мускулами въ сухощавомъ тѣлѣ, съ голубинымъ сердцемъ въ львиной груди, — этотъ человѣкъ встрѣчаетъ на дорогѣ жизни прекрасное, граціозное явленіе женственнаго міра—и тихо, и незамѣтно любовь овладѣваетъ всѣмъ существомъ его... Другъ его, сержантъ, отецъ прекрасной дѣвушки, давно уже обѣщалъ ему руку своей дочери. Вмѣстѣ съ нимъ Мабель провожаетъ молодой и прекрасный Джасперъ. Безхитростное и простодушное сердце Патфайндера не предчувствуетъ въ Джасперѣ опаснаго соперника себѣ. Онъ любитъ его съ нѣжностью отца, съ преданностью друга; любитъ за его открытую душу, благородный и мужественный характеръ, бодрый и смѣлый нравъ, трудолюбіе и ловкость. Патфайндеръ не упускаетъ ни одного случая похвалить Мабели Джаспера, выставить ей на видъ его достоинства. И вотъ наступаетъ минута его объясненія съ Мабелью,—и всѣ мечты его уничтожаются жестокой дѣйствительностью: существо, которое одно заставило биться его сердце, которое одно могъ онъ полюбить со всей силой глубокой натуры, съ которымъ слилъ онъ драгоцѣннѣйшія мечты о счастьи и блаженствѣ всей жизни, доселѣ одинокой и грубой,—это существо уважаетъ его глубоко, свято, но женой его быть не можетъ... Судорожно сжалъ онъ своими желѣзными пальцами шею и, улыбаясь сквозь страдальческое выраженіе своего лица, повторялъ: «Да, сержантъ виноватъ, сержантъ ошибся!» О, какъ глубоко страдалъ онъ, и какой благородный, человѣческій характеръ имѣло его страданіе: ничего звѣрскаго, ничего дикаго; грубые глаза орошаются слезами, съ улыбкой сжимаетъ онъ руку Мабели—и отнынѣ, не оторвавшись отъ любви, отрывается навсегда отъ ея предмета, и мужественно несетъ на себя тяжелый крестъ!... Ужасная была минута, когда наконецъ онъ узнаетъ въ Джасперѣ своего соперника; но онъ выдержалъ и это испытаніе: онъ вручаетъ ему ее, благословляетъ ихъ обоихъ на радость и счастье, которыхъ ему самому уже не знать болѣе, онъ проситъ Джаспера цѣнить подругу своей жизни, не оскорблять грубой мужской натурой ея нѣжнаго, женственнаго сердца—и скрывается отъ нихъ навсегда... Мы пишемъ не критику этого превосходнаго произведенія и, боясь увлечься его частностями, намекаемъ только на общія черты; тѣ, кто прочелъ и понялъ этотъ романъ, тѣ помнятъ цѣлый рядъ дивно-художественныхъ сценъ, въ которыхъ съ такой потрясающей вѣрностью изображена борьба чувствъ, буря души Патфайндера, и которыхъ достоинства нельзя показать иначе, какъ прослѣдивши, въ послѣдовательномъ порядкѣ, всѣ ихъ подробности, а нѣкоторыя и выписавши цѣликомъ. Повторяемъ: читавшіе и уразумѣвшіе поймутъ насъ, и скажемъ только, что весь этотъ романъ есть апоѳеоза самоотреченія (Resignation), великая мистерія страданія, разоблаченіе глубочайшихъ и благороднѣйшихъ таинствъ человѣческаго сердца.

Куперъ является здѣсь глубокимъ сердцевѣдцемъ, великимъ живописцемъ міра ду-

Digitized by Google

ши, подобно Шекспиру. Опредѣленно и ясно выговорилъ онъ невыразимое, примирилъ и слилъ во-едино внѣшнее и внутреннее,— и его «Путеводитель въ Пустынѣ» есть шекспировская драма въ формѣ романа, единственное созданіе въ этомъ родѣ, неимѣющее ничего равнаго съ собой, торжество новѣйшаго искусства въ сферѣ эпической поэзіи. И всѣмъ этимъ романъ обязанъ, послѣ великаго творческаго генія своего автора, глубокому драматическому началу, которое просвѣчиваетъ въ каждой строкѣ повѣствованія, какъ солнечный лучъ въ граненомъ хрусталѣ...

Точно такъ же, какъ бываетъ драма въ эпопеѣ, бываетъ и эпопея въ драмѣ. У грековъ всѣ роды поэзіи, не исключая и самой лирики, отличаются характеромъ болѣе или менѣе эпическимъ; ибо вся жизнь этого народа выразилась преимущественно въ пластической созерцательности. Трагедія грековъ особенно отличается эпическимъ характеромъ и въ этомъ отношеніи діаметрально противоположна драмѣ новѣйшей, христіанской, шекспировской. Герой греческой трагедіи не человѣкъ, а событіе; интересъ ея сосредоточенъ не на участи индивидуума, а на судьбахъ народа, въ лицѣ его представителей. И оттого главное лицо греческой трагедіи есть всегда полубогъ, царь, герой, а второе по немъ и противопоставленное ему лицо есть самъ народъ, присутствующій въ трагедіи какъ хоръ, который самъ не имѣетъ прямого, дѣятельнаго вліянія на ходъ пьесы, но который какъ бы созерцаетъ ея развитіе и выговариваетъ свое о немъ сознаніе. Въ своихъ герояхъ греческіе трагики олицетворяли общія силы и стихіи народной и общественной жизни. Такъ въ благороднѣйшемъ созданіи Софокла «Антигонѣ» въ лицѣ героини трагедіи осуществлена идея естественнаго права семейственности, а въ лицѣ Креона—торжество государственнаго права, силы закона. Креонъ запрещаетъ, подъ смертной казнью, хоронить тѣло Полиника, какъ врага отчизны; а лишеніе погребенія считалось, по религіознымъ и общественнымъ понятіямъ грековъ, величайшимъ позоромъ и бѣдствіемъ какъ для умершаго, такъ и для живыхъ его родственниковъ. Антигона, сестра Полиника, преклоняетъ свою сестру, Исмену, тайно погребсти тѣло ихъ несчастнаго брата. Робкая и слабая Исмена отказывается,—и великодушная Антигона одна совершаетъ свой благородный подвигъ. Когда узнавшій объ этомъ Креонъ спрашиваетъ ее, точно ли она сдѣлала это преступленіе и не знала ли объ ожидавшей ее за то казни,—Антигона отвѣчаетъ утвердительно, прибавляя, что если ея братъ былъ и виновенъ, то все-таки она «не ненавидѣть, а любить рождена». Безтрепетно выслушиваетъ она приговоръ лютой казни и не молитъ о прощеніи. Эмонъ, женихъ ея и сынъ Креона, молитъ его о пощадѣ своей невѣсты, ссорится съ непреклоннымъ отцомъ и уходитъ отъ него въ отчаяніи. Жрецъ Тирезій совѣтуетъ ему погребсти тѣло Полиника, угрожая зловѣщими выраженіями гнѣва боговъ, оскорбленныхъ нарушеніемъ родственнаго права. Голосъ народа въ лицѣ хора явно на сторонѣ благородной Антигоны. Креонъ непреклоненъ, но сомнѣніе уже безпокоитъ его: онъ можетъ-быть и готовъ бы простить благородную преступницу, но ему трудно ослабить силу закона и унизить достоинство государственнаго права. Наконецъ голосъ хора, подкрѣпившій силу угрозъ Тирезія, преклоняетъ Креона спасти Антигону, хотя и неохотно. Но уже поздно: она повѣсилась въ пещерѣ, куда была отведена на голодную смерть, а Эмонъ, въ глазахъ отца, закалывается при ея трупѣ. Эвридика, супруга Креона и мать Эмона, узнавши о гибели сына, тоже лишаетъ себя жизни. Креонъ проклинаетъ свою жестокость, оплакивая въ лютомъ отчаяніи милыя тѣни погубленныхъ имъ единокровныхъ. Трагедія торжественно заключается нравственной апоѳеозой хора, въ духѣ наивной древности. Итакъ, оскорбленное правомъ крови государственное право отомщаетъ за себя оскорбителю; но мститель, въ ужасныхъ слѣдствіяхъ своей мести, навлекаетъ на себя мщеніе оскорбленнаго имъ права крови; а мудрость, извлеченная народомъ изъ этого событія, служитъ примиреніемъ обѣихъ крайностей... Какъ и въ эпопеѣ, въ трагедіи грековъ преобладаетъ ихъ основное міросозерцаніе—судьба. Эдипъ безъ всякаго преступленія дѣлается ужаснымъ преступникомъ, и самъ караетъ себя за это лишеніемъ свѣта очей... Смерть царственнаго страдальца примиряетъ съ нимъ подземныя силы—и могила его, по опредѣленію боговъ, дѣлается залогомъ благосостоянія для страны, пріютившей его мученическій прахъ... Дѣйствіе каждой греческой трагедіи совершается во-внѣ; внутренній міръ дѣйствователей закрытъ отъ глазъ зрителей. Развитіе дѣйствія просто, не многосложно, въ одномъ моментѣ: ибо и самаго содержанія, чисто-объективнаго и абстрактнаго, не могло бы стать на большое произведеніе. Механизмъ однообразенъ, пружины всегда однѣ и тѣ же. Дѣйствующія лица похожи на статуи, съ прекрасными, но почти неизмѣняющимися физіономіями, съ рельефнымъ выраженіемъ, но съ глазами безъ зрачковъ и живого блеска.

Digitized by Google

Въ новѣйшемъ искусствѣ эпическимъ характеромъ отличаются иногда только драмы собственно-историческаго содержанія, основная идея которыхъ берется изъ сферы высшей государственной жизни. Таковы, напр., «Макбетъ» и «Ричардъ II» Шекспира. Въ «Отелло» развито чувство, каждому болѣе или менѣе понятное и доступное; въ «Королѣ Лирѣ» представлено положеніе, еще болѣе близкое и возможное для каждаго въ самой толпѣ, — и потому эти пьесы производятъ на всѣхъ сильное впечатлѣніе. Но интересъ «Макбета» и «Ричарда II» чисто объективный, и потому слишкомъ немногимъ доступный и родственный. Впрочемъ обѣ драмы только въ этомъ отношеніи и могутъ быть названы эпическими: развитіе же ихъ въ высшей степени драматическое, ибо оно полно движенія, и каждое лицо вполнѣ и всего себя высказываетъ въ сферѣ своего внутренняго интереса. Но «Борисъ Годуновъ» Пушкина есть трагедія чисто-эпическаго характера. Преступленіе Годунова совершено еще до начала драмы, и поэтъ не показалъ намъ своего героя въ борьбѣ трагической коллизіи. Мы видимъ, какъ хитро и искусно допускаетъ онъ народу умолить себя—принять вѣнецъ, который давно ужъ почитаетъ своимъ; но не видимъ, что̀ дѣлается у него внутри и какъ отзывается тамъ преступное дѣйствіе цареубійства. Тотчасъ вниманіе наше переходитъ на новаго героя, будущаго самозванца—орудіе, избранное исторической Немезидой для отмщенія попраннаго государственнаго права. Только тогда уже, какъ мститель является на сцену, поэтъ приподымаетъ слегка завѣсу, скрывавшую отъ насъ внутреннее состояніе Годунова, и дѣлаетъ насъ свидѣтелями его нѣмыхъ бесѣдъ съ самимъ собой, его страшныхъ разсчетовъ съ своей совѣстью. Въ трагедіи Пушкина два героя или, говоря собственно, нѣтъ ни одного: ея герой—событіе, идея котораго—мщеніе исторической Немезиды за оскорбленное государственное право. Вотъ почему это великое созданіе Пушкина немногимъ доступно и не можетъ пользоваться заслуженной имъ славой въ большинствѣ нашей публики: его идея и характеръ не имѣютъ общедоступнаго для всѣхъ интереса. Къ этому должно отнести и самый характеръ Годунова: слишкомъ держась исторіи, во вредъ своему произведенію, Пушкинъ представилъ Годунова не больше, какъ необыкновенно умнымъ честолюбцемъ, и не придалъ ему никакого личнаго величія, никакой геніальной силы духа, свойственной герою исторіи. И потому, понимая цѣну нѣкоторыхъ частностей трагедіи (какъ напр. геніальной сцены Пимена-лѣтописца въ кельѣ, наединѣ съ собой, и въ бесѣдѣ съ будущимъ самозванцемъ), не могутъ схватить идею цѣлаго созданія, столь колоссальнаго въ своемъ медленномъ и величаво-эпическомъ развитіи.

Къ эпическимъ драмамъ принадлежатъ многія драматическія произведенія, занимающія середину между трагедіей и комедіей. Таковы напр.:« Буря», Цимбелинъ», «Двѣнадцатая ночь или Что угодно» Шекспира, въ которыхъ героемъ является сама жизнь. Возьмемъ напр. «Что угодно»: тутъ нѣтъ героя или героини; тутъ каждое лицо равно занимаетъ надъ собой; даже внѣшній интересъ цѣлаго произведенія сосредоточенъ на двухъ любящихся парахъ, которыя обѣ равно интересуютъ читателя, и которыхъ соединеніе составляетъ развязку драмы.

Перевѣсъ лирическаго элемента также бываетъ и въ эпопеѣ, и въ драмѣ. Къ разряду лирическихъ поэмъ относятся поэмы Байрона и Пушкина. Въ нихъ господствуетъ не событіе, какъ въ эпопеѣ, а человѣкъ, какъ въ драмѣ, или обѣ эти стороны уравновѣшиваются и взаимно сопроникаются. Главное ихъ отличіе есть то, что въ нихъ берутся и сосредоточиваются только поэтическіе моменты событія, и самая проза жизни идеализируется и опоэтизировывается. «Евгеній Онѣгинъ» Пушкина также долженъ относиться къ числу лирическихъ поэмъ. Хотя проза жизни и составляетъ едва ли не большую часть содержанія «Онѣгина», но эта проза улеглась въ немъ въ живой, летучій, свѣтлый, поэтическій и гармоническій стихъ, который, даже сверкая огнемъ эпиграммы, растворенъ грустью — элементомъ чисто-лирическимъ. Отступленія поэта отъ разсказа, его обращенія къ самому себѣ составляютъ драгоцѣннѣйшіе лирическіе перлы этого единственнаго и превосходнѣйшаго художественнаго созданія.

«Орлеанская Дѣва» и «Мессинская невѣста» Шиллера суть по-преимуществу лирическія драмы, въ которыхъ дѣйствіе совершается какъ-бы не само для себя, но имѣетъ значеніе опернаго либретто, и которыхъ сущность составляютъ лирическіе монологи, высказывающіе основную идею каждой изъ нихъ. Это поэтическіе апоѳеозы благородныхъ страстей, высокихъ помысловъ и великихъ явленій, — что̀ особенно можно сказать объ «Орлеанской Дѣвѣ». Байроновъ «Манфредъ» и Гётевъ «Фаустъ»— тоже лирическія драмы, хотя и въ другомъ характерѣ: это поэтическія апоѳеозы распавшейся натуры внутренняго человѣка, чрезъ рефлексію стремящейся къ утраченной полнотѣ жизни. Вопросы субъектив-

Digitized by Google

наго, созерцательнаго духа, вопросы о тайнахъ бытія и вѣчности, о судьбѣ личнаго человѣка и его отношеніяхъ къ самому себѣ и общему составляютъ сущность обоихъ этихъ великихъ произведеній. По своему свойству лирическая драма можетъ презирать условіями внѣшней дѣйствительности: вызывать на сцену духовъ и давать живые образы и лица страстямъ, желаніямъ и думамъ. Недостаткомъ лирической драмы можетъ быть наклонность къ символизму и аллегоріи,—въ чемъ болѣе или менѣе справедливо упрекаютъ вторую часть «Фауста».

Что касается до собственно-лирическихъ произведеній—они иногда принимаютъ эпическій характеръ, какъ въ романсѣ и балладѣ,—о чемъ подробнѣе будетъ сказано ниже. Отъ драмы же они заимствуютъ, но не сущность, а только форму, которая способствуетъ сильнѣйшему выраженію мысли, подстрекая, такъ сказать, энергію чувства. Превосходнѣйшіе образцы такого рода лирическихъ произведеній въ драматической формѣ представляютъ слѣдующія пьесы: «Поэтъ и Чернь» и «Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ» Пушкина, «Поэтъ и другъ» Венивитинова, «Журналистъ, Читатель и Писатель» Лермонтова.

Развивъ общее значеніе каждаго рода поэзіи и чрезъ опредѣленіе, и чрезъ сравненіе, перейдемъ къ особенностямъ каждаго изъ нихъ и раздѣленію на виды.

ПОЭЗІЯ ЭПИЧЕСКАЯ.

Эпосъ, слово, сказаніе, передаетъ предметъ въ его внѣшней видимости и вообще развиваетъ, что̀ есть предметъ и какъ онъ есть. Начало эпоса есть всякое изреченіе, которое въ сосредоточенной краткости схватываетъ въ какомъ-либо данномъ предметѣ всю полноту того, что̀ есть существеннаго въ этомъ предметѣ, что̀ составляетъ его сущность. У древнихъ эпиграмма (въ смыслѣ надписи) имѣла этотъ характеръ. Сюда же принадлежатъ и такъ-называемые гномы древнихъ, т. е. нравственныя сентенціи, которыя нѣкоторымъ образомъ соотвѣтствуютъ нашимъ пословицамъ и притчамъ, впрочемъ различаясь отъ этихъ послѣднихъ своимъ возвышеннымъ, поэтическимъ, а иногда и религіознымъ характеромъ и отсутствіемъ комизма и прозаичности. Сюда же относятся цѣлыя собранія поученій, этихъ свѣжихъ твореній младенческаго народа, въ которыхъ онъ, до разрыва въ своей жизни поэзіи и прозы, въ непосредственной и живой формѣ созерцаній, излагалъ свое воззрѣніе на міръ, на различныя части природы и т. п. Съ ними никакъ не должно смѣшивать позднѣйшихъ, возникшихъ изъ прозы жизни, такъ называемыхъ дидактическихъ стихотвореній.

Еще выше на лѣстницѣ развитія эпоса находятся космогоніи и теогоніи древнихъ. Въ первыхъ представляется возникновеніе вселенной изъ первоначальныхъ субстанціальныхъ силъ, а во-вторыхъ индивидуализированіе этихъ силъ въ различныя божества. Наконецъ эпическая поэзія достигаетъ вершины своего развитія, полнаго осуществленія самой себя, дошедъ до живого источника событій, человѣка, и выразившись въ собственно такъ-называемой эпопеѣ.

Эпопея всегда считалась высшимъ родомъ поэзіи, вѣнцомъ искусства. Причина этому—великое уваженіе, которое питали къ «Иліадѣ» греки, а за ними и другіе народы до нашего времени. Это безпредѣльное и безсознательное уваженіе къ величайшему произведенію древности, въ которомъ выразилось все богатство, вся полнота жизни грековъ, простиралось до того, что на «Иліаду» смотрѣли не какъ на эпическое произведеніе въ духѣ своего времени и своего народа, но какъ на самую эпическую поэзію, т. е. смѣшали сочиненіе съ родомъ поэзіи, къ которому оно принадлежитъ. Думали, что всякое близкое къ формѣ «Иліады» произведеніе, всякій сколокъ съ нея долженъ быть эпической поэмой, и что всякій народъ долженъ имѣть свою эпопею, и притомъ точно такую, какая была у грековъ. По «Иліадѣ» смастерили даже опредѣленіе эпической поэмы, по которому она сдѣлалась воспѣваніемъ великаго историческаго событія, имѣвшаго вліяніе на судьбу народа. Вслѣдствіе этого оставалось только пріискать въ отечественной исторіи подобное событіе, призвать въ началѣ музу, начать съ завѣтнаго «пою», и пѣть, пока не охрипнешь. И вотъ Виргилій вспомнилъ преданіе о прибытіи Энея изъ Трои къ берегамъ Тибра, по претерпѣніи неисчетныхъ бѣдствій, и какъ онъ началъ съ слова «cano», то и самъ подумалъ и другихъ увѣрилъ, что будто написалъ эпическую поэму. Его выглаженное, обточенное и щегольское риторическое произведеніе, явившись въ анти-поэтическое время, въ эпоху смерти искусства въ древнемъ мірѣ, долго оспаривало у «Иліады» пальму первенства. Католическіе монахи Западной Европы чуть не причислили Виргилія къ лику святыхъ; анти-поэтическій французскій критикъ, Лагарпъ, чуть ли не ставилъ «Энеиду» еще выше «Иліады». Итакъ, «Энеида» породила «Освобожденный Іерусалимъ», «Похожденія Телемака, сына Улиссова», «Потерянный

Digitized by Google

рай», «Мессіаду», «Генріаду», «Гонзальва Кордуанскаго», «Телемахиду», «Петріаду», «Россіаду» и множество другихъ «адъ». Испанцы гордились своей «Араукапой», португальцы — «Луизитанами». Стоитъ только бросить взглядъ на сущность и условія эпопеи вообще и на характеръ «Иліады», чтобъ увидѣть, до какой степени простирается безусловное достоинство этихъ «эпическихъ» и «героическихъ» поэмъ и піимъ.

Эпосъ есть первый зрѣлый плодъ въ сферѣ поэзіи только-что пробудившагося сознанія народа. Эпопея можетъ явиться только во времена младенчества народа, когда его жизнь еще не распалась на двѣ противоположныя стороны — поэзію и прозу, когда его исторія есть еще только преданіе, когда его понятія о мірѣ суть еще религіозныя представленія, когда его сила, мощь и свѣжая дѣятельность проявляется только въ героическихъ подвигахъ. Въ «Иліадѣ» поэзія и проза жизни такъ нераздѣльно слиты между собой, что въ ней простыя ремесла называются искусствами, и Гефестъ-небожитель созидаетъ (а не работаетъ или дѣлаетъ), по творческимъ замысламъ, и щиты, и оружіе для боговъ и героевъ, и золотые треноги, деревянныя подножія (по-просту скамейки), чтобъ покоить богамъ ноги на пиршествахъ сладкихъ, храмины съ хитро-устроенными дверями на петляхъ и съ задвижками плотными (а не-замка́ми—куда! до такой нѣмецкой хитрости не простиралось еще искусство самихъ боговъ). Въ «Иліадѣ» боги принимаютъ личное участіе въ дѣйствіяхъ людей; движимые страстями и пристрастіями, боги ссорятся между собой на совѣтахъ, дѣйствуютъ другъ противъ друга партіями, сражаются другъ съ другомъ въ рядахъ Ахеянъ и Данаевъ; ихъ прямое, непосредственное вліяніе рѣшаетъ судьбу событія. Въ «Иліадѣ» религія является еще не отдѣленной отъ другихъ стихій общественной жизни: право народное, понятія политическія, отношенія гражданскія и семейныя,—все вытекаетъ прямо изъ религіи и все возвращается въ нее. Хитроумный Одиссей состязается въ бѣгствѣ съ Аяксомъ Теламонидомъ и, видя, что тотъ обгоняетъ его, молитъ о помощи Палладу: вняла своему любимцу голубоокая дочь Эгіоха, и Аяксъ, поскользнувшись на тельчіемъ пометѣ, упадаетъ, и Одиссей получаетъ первую награду, серебряную шестимѣрную чашу, «Сидонянъ изящное дѣло», а Аяксъ радъ, что успѣлъ добыть второй призъ, «тельца откормленнаго, тяжкаго тукомъ». Видите ли: простая случайность не есть случайность, а дѣло богини, помогающей своему любимцу. Самъ Аяксъ отъ всей души вѣритъ этому:

Сталъ, и рукою держася за роги вола полевого,
Онъ выплевывалъ калъ, и такъ говорилъ Аргивянамъ:
«Дочь громовержца, друзья, повредила мнѣ ноги, Аѳина!
«Вѣчно, какъ матерь, она Одиссею на помощь приходитъ!»
(*Пѣснь XXIII, стр. 780—784.*)

Одиссей есть апоѳеоза человѣческой мудрости; но въ чемъ состоитъ его мудрость? въ хитрости, часто грубой и плоской, въ томъ, что на нашемъ прозаическомъ языкѣ называется «надувательствомъ». И между тѣмъ въ глазахъ младенческаго народа эта хитрость не могла не казаться крайней степенью возможной премудрости. Отсюда вытекаетъ и наивный характеръ какъ самыхъ высокихъ, такъ и самыхъ простыхъ мыслей у Гомера, выражается ли въ нихъ народное міросозерцаніе, или только практическое наблюденіе, правило житейской мудрости. Существованіе Гомера полагаютъ за 600 лѣтъ до нашествія Ксеркса на Грецію, эпохи совершеннаго выхода народа изъ состоянія младенчества и полнаго развитія его духовной и гражданской жизни. Слѣдовательно Гомеръ былъ именно тѣмъ, чѣмъ является въ своей «Иліадѣ»: старцемъ-младенцемъ, простодушнымъ геніемъ, который отъ всей души вѣритъ, что описываемое имъ могло быть именно такъ, какъ представлялось ему въ его вдохновенномъ ясновидѣніи; словомъ, онъ былъ одно съ своимъ твореніемъ, и его твореніе было искреннимъ и наивнымъ выраженіемъ святѣйшихъ его вѣрованій, глубочайшихъ его убѣжденій. Однакожъ Гомеръ явился не въ самое время троянской войны, но около двухъ-сотъ лѣтъ послѣ нея. Будь онъ современнымъ свидѣтелемъ этого событія, онъ не могъ бы создать изъ него поэмы: надобно было, чтобъ событіе сдѣлалось поэтическимъ преданіемъ живой и роскошной фантазіи младенческаго народа; надобно было, чтобъ герои событія представлялись въ отдаленной перспективѣ, въ туманѣ прошедшаго, которые увеличили бы ихъ естественный ростъ до колоссальныхъ размѣровъ, поставили бы ихъ на котурнъ, облили бы ихъ съ головы до ногъ сіяньемъ славы и скрыли бы отъ созерцающаго взора всѣ неровности и прозаическія подробности, столь замѣтныя и рѣзкія вблизи настоящаго. Настоящее не бываетъ предметомъ поэтическихъ созданій младенчествующаго народа,—и древній старецъ Гезіодъ, который въ своемъ миѳическомъ гимнѣ Музамъ высказалъ всю сущность поэзіи, сознательно развитую германскимъ мышленьемъ, Гези-

Digitized by Google

одъ говоритъ, что «Музы вдунули въ него пѣснь божественную, да славитъ онъ будущее и бывшее», но что сами музы «увеселяютъ на Олимпѣ пѣснями великій умъ отца Дія, говоря обо всемъ, что̀ есть, что̀ будетъ и что̀ было»: только поэзія боговъ, кромѣ прошедшаго и будущаго, объемлетъ и настоящее, ибо у боговъ самая жизнь есть блаженство, поэзія *)... Но эпоха существованія Гомера не была отдѣлена слишкомъ рѣзкой чертой отъ эпохи воспѣтаго имъ событія: еще все было полно имъ, и преданію о немъ вѣрили, какъ исторіи, не видя большой разницы между прошедшимъ и настоящимъ, и потому Гомеръ, не бывши современникомъ троянской войны, тѣмъ не менѣе былъ полонъ гуломъ паденія священнаго Иліона...

Теперь ясно видно достоинство «Энеиды». Конечно остроумный авторъ ея взялся за прошедшее, ухватился за преданіе; но это прошедшее, это преданіе интересовало его ни чѣмъ не больше, сколько насъ, русскихъ, интересуютъ сомнительные походы Олега подъ Цареградъ. Членъ народа, почти совершившаго полный циклъ своей жизни, клонившагося къ паденію, сынъ цивилизаціи состарѣвшейся, одряхлѣвшей, утратившей всѣ вѣрованія, наружно чтившей боговъ, но подъ рукой смѣявшейся надъ ними,—какъ могъ Виргилій, не будучи лицемѣромъ и ханжей, быть благочестивымъ (pius), и не смѣясь говорить съ благоговѣніемъ и поэтическимъ жаромъ о томъ, что̀ не возбуждало въ немъ задушевнаго участія, не потрясало всѣхъ струнъ его сердца, не было его религіознымъ вѣрованіемъ?.. Одно уже то, что его поэма родилась не изъ самобытной мысли, а была плодомъ сознательнаго дѣйствія, возбужденнаго существованіемъ «Иліады»; одно уже то, что его «Энеида» была не оригинальнымъ произведеніемъ, а рабскимъ подражаніемъ великому образцу,—служитъ ей лучшей критикой и окончательнымъ приговоромъ. Это просто—«Похожденія Телемака, сына Улисова» въ прекрасныхъ (со стороны внѣшней отдѣлки) латинскихъ гекзаметрахъ.

Лучшія попытки въ эпопеѣ у новѣйшихъ народовъ—безъ сомнѣнія «Освобожденный Іерусалимъ», «Потерянный Рай» и «Мессіада». Онѣ въ самомъ дѣлѣ изобилуютъ превосходными поэтическими частностями и обнаруживаютъ въ своихъ творцахъ великія поэтическія способности; но усиліе дать имъ форму, чуждую ихъ содержанію и духу времени, усиліе сдѣлать изъ нихъ, во что бы то ни стало, «Иліады», естественнымъ образомъ исказило и изуродовало ихъ въ цѣломъ; но въ цѣломъ онѣ и потому уже не могли быть стройными, художественными созданіями, что вышли не изъ непосреднаго акта творчества, а изъ сознательной и притомъ ошибочной мысли. Что̀ имѣетъ общаго европейское рыцарство среднихъ вѣковъ съ жизнью героической Греціи? Что имѣютъ общаго крестовые походы съ троянской войной?—ровно ничего, ибо внѣшняго сходства нечего и брать въ разсчетъ! И однакожъ Тассъ изъ того и другого непремѣнно хотѣлъ сдѣлать «Иліаду» и нѣсколько разъ передѣлывалъ свою поэму въ угоду академическимъ парикамъ... Хотя «Orlando Furioso» Аріоста и далеко не пользуется такой знаменитостью, какъ «Освобожденный Іерусалимъ», но онъ въ тысячу разъ больше рыцарская эпопея, чѣмъ пресловутое твореніе Тасса. Калейдоскопическая пестрота лицъ и происшествій, узорочная ткань переплетенныхъ случайностей и столкновеній, самый комическій элементъ по праву духа и условій времени распавшейся на поэзію и прозу жизни, вошедшій въ поэму, любовь и бои, волшебство и чудеса, отступленія, эпизоды—все это въ чуждомъ претензій, натянутости и риторики произведеніи Аріоста гораздо больше, чѣмъ въ поэмѣ Тасса, выражаетъ духъ и колоритъ жизни европейскаго рыцарства и гораздо больше удовлетворяетъ требованіямъ рыцарской эпопеи.

«Потерянный Рай» есть произведеніе великаго таланта; но подобная поэма могла-бъ быть написана только евреемъ библейскихъ временъ, а не пуританиномъ кромвелевской эпохи, когда въ вѣрованіе вошелъ уже свободный мыслительный (и притомъ еще чисто-разсудочный) элементъ. И потому форма этой поэмы неестественна, и при многихъ превосходныхъ отдѣльныхъ мѣстахъ, обличающихъ исполинскую фантазію, въ ней множество уродливыхъ частностей, несоотвѣтствующихъ величію предмета: стоитъ только указать на сраженіе ангеловъ съ падшими духами земнымъ оружіемъ; на—раны, которыя наносятъ они своимъ эѳирнымъ тѣламъ и которыя заживаютъ, смотря по силѣ удара, отъ часу до сутокъ времени;—на пушки, которыя ангелы добываютъ ночью изъ горъ, чтобъ стрѣлять изъ нихъ въ злыхъ духовъ...

«Мессіада» тоже не лишена поэтическихъ частностей...

О нашихъ россійскихъ «идахъ», «адахъ» и «ядахъ» нечего сказать, кромѣ: «Покойся, милый прахъ, до радостнаго утра»...

Если не всѣ, то почти всѣ народы въ эпоху своего младенчества имѣли эпическія сказанія, но не всѣ эти сказанія мо-

*) «Теорія поэзіи въ историческомъ развитіи у древнихъ и новыхъ народовъ» С. Шевырева, стр. 17.

Digitized by Google

гутъ быть разсматриваемы съ художественной точки зрѣнія; ибо въ нихъ необходима безконечная идея. Если состояніе народа, его субстанція составляютъ главное содержаніе эпоса, — необходимо еще, чтобъ народъ вмѣщалъ въ себѣ идею, духъ, чтобъ онъ былъ всемірно-историческимъ народомъ. Вотъ почему въ образецъ эпопеи могутъ быть приводимы только немногія созданія, какъ-то: индійскія поэмы «Махабгарата« и «Рамайяна», но преимущественно Гомеровы эпосы — «Иліада» и «Одиссея». Индійскія поэмы, при всемъ богатствѣ своемъ, не могутъ выдержать сравненія съ этими послѣдними, принадлежа къ той степени развитія искусства, на которой оно еще только стремится къ своему осуществленію, слѣдовательно не удовлетворяетъ еще всѣмъ требованіямъ поэзіи. Другія эпическія пѣснопѣнія, важныя въ національномъ отношеніи, какъ напр. «Nibelungenlied» германцевъ, не имѣютъ еще въ себѣ всеобъемлющаго человѣческаго интереса и не представляютъ художественной полноты.

Итакъ, содержаніе эпопеи должны составлять сущность жизни, субстанціальныя силы, состояніе и бытъ народа, еще неотдѣлившагося отъ индивидуальнаго источника своей жизни. Поэтому народность есть одно изъ основныхъ условій эпической поэмы: самъ поэтъ еще смотритъ глазами своего народа, не отдѣляя отъ этого событія своей личности. Но, чтобъ эпопея, будучи въ высшей степени національнымъ, была бы въ то же время и художественнымъ созданіемъ,—необходимо, чтобъ форма индивидуальной народной жизни заключала въ себѣ обще-человѣческое, міровое содержаніе. Такова была индивидуальная жизнь грековъ,—и потому даже младенческій лепетъ ихъ космогоническихъ и теогоническихъ пѣснопѣній заключаетъ въ себѣ идеи, которыя впослѣдствіи сдѣлались достояніемъ всего человѣчества. Повторяемъ: въ гимнѣ Гезіода Музамъ, на который мы уже ссылались выше, заключается зерно и сущность эстетики новѣйшаго времени, полной философіи изящнаго, развитой созерцательной мыслительностью современныхъ намъ германцевъ. Вотъ почему «Иліада» и «Одиссея», будучи національно-греческими созданіями, въ то же время принадлежатъ всему человѣчеству, равно доступны всѣмъ вѣкамъ и всѣмъ народамъ, болѣе или менѣе удобно переводимы на всѣ языки и нарѣчія въ мірѣ. Греки эпохой своего младенчества выразили младенчество цѣлаго человѣчества, какъ полные и достойные его представители,—и въ поэмахъ Гомера человѣчество вспоминаетъ съ умиленіемъ о свѣтлой эпохѣ собственнаго (а не греческаго только) младенчества. Въ русскихъ напр. пѣсняхъ и эпическихъ сказаніяхъ много поэзіи, но эта поэзія заключена въ тѣсномъ и заколдованномъ кругу народной индивидуальности, лишена обще-человѣческаго содержанія, и потому понятно и сильно говоритъ только русской душѣ, но безмолвна для всякаго другого народа и непереводима ни на какой другой языкъ. По этой же причинѣ наши народныя пѣсни и эпическія сказанія лишены всякой художественности и, сверкая мѣстами яркими блестками поэзіи, въ то же время исполнены прозаическихъ мѣстъ; часто мысль въ нихъ не находитъ своего выраженія и лепечетъ намеками и символами. Только обще-человѣческое, міровое содержаніе можетъ проявиться въ художественной формѣ.

Субстанціальная жизнь народа должна выразиться въ событіи, чтобы дать содержаніе для эпопеи. Во времена младенчества народа жизнь его преимущественно выражается въ удальствѣ, храбрости и героизмѣ. Поэтому общенародная война, которая пробудила, вызвала наружу и напрягла всѣ внутреннія силы народа, которая составляла собою эпоху въ его (еще миѳической) исторіи и имѣла вліяніе на всю его послѣдующую жизнь,—такая война представляетъ собою по превосходству эпическое событіе и даетъ богатый матеріалъ для эпопеи. Баснословная троянская война была для грековъ именно такимъ событіемъ и дала содержаніе для «Иліады» и «Одиссеи», и эти поэмы дали содержаніе большей части трагедій Софокла и Эврипида. Дѣйствующія лица эпопеи должны быть полными представителями національнаго духа; но герой преимущественно долженъ выражать своей личностью всю полноту силъ народа, всю поэзію субстанціальнаго духа. Таковъ Ахиллесъ Гомера. Вы любите Гектора, опору своего погибающаго народа и семейства, нѣжнаго супруга и отца, храбраго и мощнаго витязя, уступающаго одному Ахиллесу; вы горько жалѣете о его смерти и какъ-будто досадуете на пристрастіе судьбы и боговъ, поборающихъ Ахиллесу насчетъ справедливости, но вглядитесь пристальнѣе—и вы увидите, что рьяный, гнѣвный, доблестный и поэтическій Пелидъ по праву беретъ верхъ надъ Гекторомъ. Онъ—герой по преимуществу, съ головы до ногъ облитый нестерпимымъ блескомъ славы, полный представитель всѣхъ сторонъ духа Греціи, достойный сынъ богини. Гекторъ человѣчнѣе Ахилла, но Ахиллъ божественнѣе Гектора. Ахиллъ выше всѣхъ другихъ героевъ цѣлой головой; Аяксъ

Digitized by Google

равенъ ему силой, но уступаетъ въ быстротѣ ногъ. Несторъ, мужъ совѣта, убѣленный лѣтами, представляетъ собой апоѳеозу старости, умудренной опытомъ долговременной жизни, апоѳеозу елейной теплоты сердца и старческаго благодушія. Одиссей—представитель мудрости въ смыслѣ политики. Аяксъ исполненъ рьяности, дикаго мужества и тѣлесной силы. Пастырь народовъ, Агамемнонъ, отличается царственнымъ величіемъ. Словомъ, каждое изъ дѣйствующихъ лицъ «Иліады» выражаетъ собой какую-нибудь сторону національнаго греческаго духа; но Ахиллъ представляетъ собой совокупность субстанціальныхъ силъ народа. Онъ не видитъ себѣ равнаго, а только на совѣтахъ добровольно уступаетъ нѣкоторымъ. Ахиллъ—это поэтическая апоѳеоза героической Греціи, это герой поэмы по праву; великая геройская душа его обитаетъ въ прекрасномъ богоподобномъ тѣлѣ; мужество слилось съ красотой въ лицѣ его; въ движеніяхъ его величавость, грація и пластическая живописность; въ рѣчахъ его благородство и энергія. Не диво, что боги и сама судьба поборатъ ему; не диво, что одно появленіе его, безоружнаго, на валу и троекратный крикъ обратилъ въ бѣгство войско троянъ. Онъ есть центръ всей поэмы: его гнѣвъ на Агамемнона и примиреніе съ ними дали ей завязку и развязку, начало, середину и конецъ. Гнѣвный онъ сидитъ въ бездѣйствіи въ своей палаткѣ, играя на златострунной лирѣ, не участвуя въ бояхъ; но онъ ни на минуту не перестаетъ быть героемъ поэмы: въ ней все отъ него исходитъ и все къ нему возвращается. Но это потому, что онъ присутствуетъ въ поэмѣ не отъ себя, а отъ лица народа, какъ его представитель...

Что эпопея должна имѣть цѣлость, единство дѣйствія, соразмѣрность въ частяхъ—это составляетъ необходимое условіе каждаго художественнаго произведенія, а не исключительное свойство эпопеи.

Эпопея нашего времени *есть романъ*. Въ романѣ всѣ родовые и существенные признаки эпоса, съ той только разницей, что въ романѣ господствуютъ иные элементы и иной колоритъ. Здѣсь уже не миѳическіе размѣры героической жизни, не колоссальныя фигуры героевъ, здѣсь не дѣйствуютъ боги; но здѣсь идеализируются и подводятся подъ общій типъ явленія обыкновенной прозаической жизни. Романъ можетъ брать для своего содержанія или историческое событіе, и въ его сферѣ развить какое-нибудь частное событіе, какъ въ эпосѣ: различіе заключается въ характерѣ самыхъ этихъ событій, а слѣдовательно и въ характерѣ развитія и изображенія; или романъ можетъ быть жизнь въ ея положительной дѣйствительности, въ ея настоящемъ состояніи. Это вообще право новѣйшаго искусства, гдѣ судьбы частнаго человѣка важны не столько по отношенію его къ обществу, сколько къ человѣчеству. Ежедневная жизнь хотя и имѣетъ своимъ послѣднимъ основаніемъ вѣчныя субстанціальныя силы, но въ своемъ проявленіи случайна и подавлена внѣшностями, лишенными всякой значительности. Исторія хотя уже обнаруживаетъ въ дѣйствительномъ проявленіи вѣчные законы и разумную необходимость, но въ проявленіи ея факты лишены самосознанія, и потому имѣютъ видъ внѣшнихъ событій, а притомъ они вѣчно перепутаны и переплетены съ случайностями ежедневной жизни. Задача романа, какъ художественнаго произведенія, есть—совлечь все случайное съ ежедневной жизни и съ историческихъ событій, прсникнуть до ихъ сокровеннаго сердца — до животворной идеи, сдѣлать сосудомъ духа и разума внѣшнее и разрозненное. Отъ глубины основной идеи и отъ силы, съ которой она организуется въ отдѣльныхъ особностяхъ, зависитъ большая или меньшая художественность романа. Исполненіемъ своей задачи романъ становится на ряду со всѣми другими произведеніями свободной фантазіи, и въ такомъ смыслѣ долженъ быть строго отдѣляемъ отъ эѳемерныхъ произведеній беллетристики, удовлетворяющихъ насущнымъ потребностямъ публики. Имена Ричардсоновъ. Фильдинговъ, Радклифъ, Левисовъ, Дюкредю-Менилей, Лафонтеновъ, Шписовъ, Крамеровъ, Поль-де-Коковъ, Марріетовъ, Диккенсовъ, Лесажей, Мачьюреновъ, Гюго, Де-Виньи имѣютъ свою относительную важность и пользуются или пользовались заслуженной извѣстностью; но ихъ отнюдь не должно смѣшивать съ именами Сервантеса, Вальтеръ-Скотта, Купера, Гофмана и Гёте, какъ романистовъ.

Сфера романа несравненно обширнѣе сферы эпической поэмы. Романъ, какъ показываетъ самое его названіе, возникъ изъ новѣйшей цивилизаціи христіанскихъ народовъ, въ эпоху человѣчества, когда всѣ гражданскія, общественныя, семейныя и вообще человѣческія отношенія сдѣлались безконечно многосложны и драматичны, жизнь разбѣжалась въ глубину и ширину въ безконечномъ множествѣ элементовъ. Кромѣ занимательности и богатства содержанія, романъ ничѣмъ не ниже эпической поэмы и какъ художественное произведеніе. Намъ возразятъ, можетъ-быть, тѣмъ, что мы сами признали образцовыми только двѣ поэмы, тогда какъ одинъ Вальтеръ Скоттъ написалъ больше *тридцати*

Digitized by Google

романовъ. Правда, эпическая поэма требуетъ большей сосредоточенности въ силѣ генія, который видитъ въ ней подвигъ цѣлой жизни своей; но причина этого совсѣмъ не въ превосходствѣ эпопеи надъ романомъ, а въ богатѣйшемъ и превосходнѣйшемъ содержаніи жизни новѣйшихъ народовъ въ сравненіи съ жизнью древнихъ грековъ. Ихъ историческая жизнь вся выразилась въ одномъ событіи и въ одной поэмѣ (ибо «Одиссея» есть какъ бы продолженіе и окончаніе «Иліады», хотя и выражаетъ собой другую сторону греческой жизни). Явись у нихъ новый Гомеръ, — и для его поэмы уже не было бы другого событія вродѣ троянской войны; а еслибы, положимъ, и нашлось такое событіе, то все-таки его поэма была бы повтореніемъ «Иліады» и слѣдовательно не имѣла бы никакого достоинства. Но возьмите напр. крестовые походы: Вальтеръ-Скоттъ написалъ цѣлые четыре романа, относящихся къ этой эпохѣ («Графъ Робертъ Парижскій», «Конетабль Честерскій», «Талисманъ», «Иваное»),—и еслибы онъ написалъ ихъ тысячу, и тогда бы не исчерпалъ всей полноты этого событія. Кромѣ того на сторонѣ романа еще и то великое преимущество, что его содержаніемъ можетъ служить и частная жизнь, которая никакимъ образомъ не могла служить содержаніемъ греческой эпопеи: въ древнемъ мірѣ существовало общество, государство, народъ, но не существовало человѣка, какъ частной индивидуальной личности, и потому въ эпопеѣ грековъ, равно какъ и въ ихъ драмѣ, могли имѣть мѣсто только представители народа — полубоги, герои, цари. Для романа же жизнь является въ человѣкѣ, и мистика человѣческаго сердца, человѣческой души, участь человѣка, всѣ ея отношенія къ народной жизни для романа—богатый предметъ. Въ романѣ совсѣмъ не нужно, чтобъ Ревекка была непремѣнно царица или героиня вродѣ Юдиѳи: для него нужно только, чтобъ она была женщина.

Романъ обязанъ Вальтеръ-Скотту своимъ высокимъ художественнымъ развитіемъ. До него романъ удовлетворялъ только требованіямъ эпохи, въ которую являлся, и вмѣстѣ съ ней умиралъ. Исключеніе остается только за безсмертнымъ твореніемъ испанца Мигэля Сервантеса «Донъ Кихотъ», да развѣ еще за романами Гёте («Вертеръ», «Вильгельмъ Мейстеръ», «Die Wahlverwandschaften»). Послѣдніе впрочемъ имѣютъ особое, хотя и великое значеніе, какъ созданія рефлектирующаго, а не непосредственнаго творчества. Вальтеръ-Скоттъ, можно сказать, создалъ историческій романъ, до него не существовавшій. Люди, лишенные отъ природы эстетическаго чувства и понимающіе поэзію разсудкомъ, а не сердцемъ и духомъ, возстаютъ противъ историческихъ романовъ, почитая въ нихъ незаконнымъ соединеніе историческихъ событій съ частными происшествіями. Но развѣ въ самой дѣйствительности историческія событія не переплетаются съ судьбой частнаго человѣка; и наоборотъ, развѣ частный человѣкъ не принимаетъ иногда участія въ историческихъ событіяхъ? Кромѣ того, развѣ всякое историческое лицо, хотя бы то былъ и царь, не есть въ то же время и просто человѣкъ, который, какъ и всѣ люди, и любитъ, и ненавидитъ, страдаетъ и радуется, жалѣетъ и надѣется? И тѣмъ болѣе, развѣ обстоятельства его частной жизни не имѣютъ вліянія на историческія событія, и наоборотъ? Исторія представляетъ намъ событіе съ его лицевой, сценической стороны, не приподнимая завѣсы съ закулисныхъ происшествій, въ которыхъ скрываются и возникновеніе представляемыхъ ею событій и ихъ совершеніе въ сферѣ ежедневной, прозаической жизни? Романъ отказывается отъ изложенія историческихъ фактовъ и беретъ ихъ только въ связи съ частнымъ событіемъ, составляющимъ его содержаніе, но черезъ это онъ разоблачаетъ передъ нами внутреннюю сторону, изнанку, такъ сказать, историческихъ фактовъ, вводитъ насъ въ кабинетъ и спальню историческаго лица, дѣлаетъ насъ свидѣтелями его домашняго быта, его семейныхъ тайнъ,— показываетъ его намъ не только въ парадномъ историческомъ мундирѣ, но и въ халатѣ съ колпакомъ. Колоритъ страны и вѣка, ихъ обычаи и нравы выказываются въ каждой чертѣ историческаго романа, хотя и не составляютъ его цѣли. И потому историческій романъ есть какъ бы точка, въ которой исторія, какъ наука, сливается съ искусствомъ; есть дополненіе исторіи, ея другая сторона. Когда мы читаемъ историческій романъ Вальтеръ-Скотта, то какъ бы дѣлаемся сами современниками эпохи, гражданами страны, въ которыхъ совершается событіе романа, и получаемъ о нихъ, въ формѣ живого созерцанія, болѣе вѣрное понятіе, нежели какое могла бы намъ дать о нихъ какая угодно исторія.

По художественному достоинству своихъ романовъ Вальтеръ-Скоттъ стоитъ на ряду съ величайшими творцами всѣхъ вѣковъ и народовъ. Онъ — истинный Гомеръ христіанской Европы. Наравнѣ съ нимъ стоитъ геніальный Куперъ, романистъ Сѣверо-Американскихъ Штатовъ. Его романы совершенно самобытны и, кромѣ высокаго художественнаго достоинства, не имѣютъ ничего общаго съ романами Вальтеръ-Скот-

Digitized by Google

та, хотя впрочемъ и были ихъ результатомъ, въ смыслѣ исторической послѣдовательности развитія новѣйшей литературы: за Вальтеромъ-Скоттомъ остается слава созданія новѣйшаго романа.

Повѣсть есть тотъ же романъ, въ меньшемъ объемѣ, который условливается сущностью и объемомъ самаго содержанія. Въ нашей литературѣ этотъ видъ романа имѣетъ представителемъ истиннаго художника — Гоголя. Лучшія изъ его повѣстей: «Тарасъ Бульба», «Старосвѣтскіе Помѣщики» и «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ». Близко, по художественному достоинству, стоитъ повѣсть Пушкина «Капитанская Дочка», а отрывокъ изъ его неконченнаго романа «Арабъ Петра Великаго» показываетъ, что еслибы не преждевременная кончина поэта, то русская литература обогатилась бы художественнымъ историческимъ романомъ. Кромѣ ихъ, для повѣсти и даже романа много обѣщаетъ въ будущемъ молодой, недавно явившійся на поприщѣ нашей литературы талантъ—Лермонтовъ. Въ нѣмецкой литературѣ повѣсть имѣетъ своимъ представителемъ геніальнаго Гофмана, создавшаго, можно сказать, особый родъ фантастической поэзіи. Другія литературы не представляютъ такого богатаго развитія повѣсти; даже въ самой англійской литературѣ нѣтъ нувеллистовъ, которыхъ имена могли бы упоминаться послѣ именъ Вальтеръ-Скотта и Купера. Вашингтонъ-Ирвингъ — необыкновенно даровитый разсказчикъ, но не болѣе.

Хотя новѣйшія стихотворныя поэмы, образцы которыхъ представляютъ поэмы Байрона и Пушкина, и которыя въ эпоху своего появленія назывались романтическими поэмами,—хотя онѣ, по явному присутствію въ нихъ лирическаго элемента, и должны называться лирическими поэмами; но тѣмъ не менѣе онѣ принадлежатъ къ эпическому роду, ибо основаніе каждой изъ нихъ есть событіе, да и самая форма ихъ чисто-эпическая. Впрочемъ это уже эпопея нашего времени, эпопея смѣшанная, проникнутая насквозь и лиризмомъ, и драматизмомъ и нерѣдко занимающая у нихъ и формы. Въ ней событіе не заслоняетъ собой человѣка, хотя и само по себѣ можетъ имѣть свой интересъ.

Къ эпическому роду относится еще и идиллія или эклога, изъ которой XVIII вѣкъ сдѣлалъ особый родъ поэзіи — поэзію пастушескую или буколическую. Тогда непремѣнно хотѣли, чтобъ идилія воспѣвала жизнь пастуховъ въ до-общественный періодъ человѣчества, когда люди (будтобы) были невинны какъ барашки, добры какъ овечки, нѣжны какъ голубки. Приторная, сладенькая саитиментальность, растлѣнное, гнилое чувство любви, лишенное всякой энергіи, составляли отличительный характеръ этой пастушеской поэзіи. И ее выдумали на основаніи древнихъ, во имя Теокрита. Чтобы показать, до какой степени нелѣпа эта плоская клевета на древнихъ и на Теокрита, и чтобъ дать истинное понятіе объ идилліи,—представляемъ здѣсь мнѣніе объ этомъ предметѣ знаменитаго Гнѣдича, глубокаго знатока древности, проникнутаго ея художественнымъ духомъ, обвѣяннаго ея священными звуками, истиннаго поэта по душѣ и по таланту. Вотъ что говоритъ онъ въ предисловіи къ переведенной имъ съ греческаго идилліи Теокрита «Сиракузянки, или праздникъ Адониса»:

«Поэзія идиллическая у насъ, какъ и въ новѣйшихъ литературахъ европейскихъ, ограничена тѣснымъ опредѣленіемъ поэзіи пастушеской: опредѣленіе ложное. Изъ него истекаютъ и другія, столько же неосновательныя мнѣнія, что поэзія пастушеская (т. е. идилліи, эклоги) въ словесности нашей существовать не можетъ, ибо у насъ нѣтъ пастырей, подобныхъ древнимъ, и проч., и проч.

«Идиллія грековъ, по самому значенію слова *), есть видъ, картина или то, что мы называемъ сцена, но сцена жизни и пастушеской, и гражданской, и даже героической. Это доказываютъ идилліи Теокрита, поэта перваго, а лучше сказать, единственнаго, который въ этомъ особенномъ родѣ поэзіи служилъ образцомъ для всѣхъ народовъ Запада. Хотя не онъ началъ обрабатывать этотъ родъ, но онъ усовершенствовалъ его, приблизивъ болѣе къ природѣ.— Занявъ для идиллій своихъ формы изъ мимъ, сценическихъ представленій, изобрѣтенныхъ въ отечествѣ его, Сициліи, онъ обогатилъ ихъ разнообразіемъ содержанія; но предметы для нихъ избиралъ большей частью простонародные, чтобъ пышности двора александрійскаго, при которомъ жилъ, противопоставить мысли простыя, народныя, и этой противоположностью плѣнить читателей, которые были вовсе удалены отъ природы. Дворъ Птоломеевъ совершенно не зналъ нравовъ пастырей сицилійскихъ; картины жизни ихъ должны были имѣть для читателей идиллій двоякую прелесть, и по новости предмета, и по противоположности съ чрезмѣрной изнѣженностью и необузданной роскошью того времени. Сердце, утомленное бременемъ роскоши и шумомъ жизни, жадно плѣняется тѣмъ, что напоминаетъ

*) Εἰδύλλιον происходитъ отъ εἶδος *видъ* и есть слово уменьшительное, такъ сказать, *видикъ*.

Digitized by Google

ему жизнь болѣе тихую, болѣе сладостную. Природа никогда не теряетъ своего могущества надъ сердцемъ человѣка.

«Вездѣ, гдѣ общества человѣческія доходили до предѣла, на которомъ былъ тогда Египетъ, поэты также пытались производить подобныя противоположности. Но одни греки умѣли быть вмѣстѣ и естественными, и оригинальными. Всѣ другіе народы хотѣли улучшивать или по своему переиначивать самую природу: чувство замѣняли чувствительностью, простоту — изысканностью. У римлянъ нѣсколько разъ пытались представить горожанамъ картины жизни сельской. Идилліями началъ свое поприще Виргилій; но, несмотря на прелесть стиховъ, онъ остался позади Теокрита: пастухи его большею частью ораторы. Калпурній и другіе изъ римлянъ подражали Виргилію, не природѣ.

«Въ литературахъ новѣйшихъ временъ, особенно въ итальянской, когда всѣ роды поэзіи были испытаны, являлось множество идиллій посреди народа развращеннаго; но какъ мало естественности въ Санназаро, какая изысканность въ Гварини! О французахъ и говорить нечего. Геснеръ, котораго много читали при дворѣ Людовика XV, также не могъ выдержать испытаніе времени: онъ создалъ природу сантиментальную, на свой образецъ, пастуховъ своихъ идеализировалъ, а что́ хуже, въ идилліи ввелъ миѳологію греческую. Въ этомъ состояло его важнѣйшее заблужденіе: нимфы, фавны, сатиры для насъ умерли и не могутъ показаться въ поэзіи нашего времени, не разливая ледянаго холода.—Такимъ образомъ Теокритъ остается, какъ Гомеръ, тѣмъ свѣтлымъ фаросомъ, къ которому всякій разъ, когда мы заблуждаемся, должно возвратиться.

«До сихъ поръ одни поэты германскіе, намъ современные, хорошо поняли Теокрита: Фоссъ, Броннеръ, Гебель произвели идилліи истинно народныя; плѣнительныя картины ихъ переносятъ читателя къ той сладостной жизни въ нѣдрахъ природы, отъ которой нынѣшнее состояніе общества такъ насъ удаляетъ: онѣ вселяютъ даже любовь къ этому роду жизни. Успѣхъ этотъ производятъ не одни дарованія писателей. Санназаро, Геснеръ имѣли также дарованія. Германскіе поэты поняли, что родъ поэзіи идиллической болѣе, нежели всякій другой, требуетъ содержаній народныхъ, отечественныхъ; что не одни пастухи, но всѣ состоянія людей, по роду жизни близкихъ къ природѣ, могутъ быть предметами этой поэзіи. Вотъ главная причина ихъ успѣха».

Вотъ содержаніе «Сиракузянокъ» Теокрита: сиракузянки, съ семействами ихъ пріѣхавшія въ Александрію, приходятъ одна къ другой; желая видѣть праздникъ Адониса, идутъ во дворецъ Птоломея Филадельфа, гдѣ жена его, Арсиноя, великолѣпно устроила это празднество. Эта идиллія представляетъ съ одной стороны бытъ простого народа, его повседневную жизнь, семейныя отношенія; съ другой стороны — отношенія простого народа къ высшей субстанціальной народной жизни, заставляя простыхъ женщинъ приходить въ восторгъ и умиленіе отъ высокой, поэтической пѣсни Адонису, пропѣтой знаменитой пѣвицей, дѣвой аргивской. Та и другая сторона, т. е. проза и поэзія простонароднаго быта, видны даже въ заключительной рѣчи Горго́, одной изъ сиракузянокъ:

Ахъ, Праксиноя, чудесное пѣнье! Аргивская дѣва
Счастлива даромъ, стократъ она счастлива голосомъ сладкимъ!
Время однако домой: Діоклидъ мой еще не обѣдалъ:
Мужъ у меня онъ презлой, а какъ голоденъ, съ нимъ не встрѣчайся.
Милый Адонисъ, прости! возвратися опять намъ на радость

Образцами идиллій могутъ служить также переведенныя Жуковскимъ стихотворенія Гебеля и другихъ нѣмецкихъ поэтовъ: «Красный Карбункулъ», «Двѣ были и еще одна», «Неожиданное свиданіе», «Норманскій обычай», «Путешественникъ и Поселянка» (Гёте), «Овсяный кисель», «Деревенскій сторожъ», «Тлѣнность, разговоръ на дорогѣ, ведущей въ Базель, въ виду развалинъ замка Ретлера, вечеромъ», «Воскресное утро въ деревнѣ». На русскомъ языкѣ было много оригинальныхъ идиллій, но, слѣдуя пословицѣ: «кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ», мы о нихъ умалчиваемъ. Блестящее исключеніе представляетъ собой превосходная идиллія Гнѣдича «Рыбаки». Бытъ и самый образъ выраженія дѣйствующихъ лицъ въ ней идеализированы, но не въ смыслѣ мнимо-классической идеализаціи, которая состояла въ ходуляхъ, бѣлилахъ и румянахъ, а тѣмъ, что слишкомъ проникнута лиризмомъ и вѣетъ духомъ древнеэллинской поэзіи, несмотря на руссизмъ многихъ выраженій. Во всякомъ случаѣ роскошь красокъ, глубокая внутренняя жизнь, счастливая идея и прекрасные стихи дѣлаютъ идиллію Гнѣдича истиннымъ, хотя, къ сожалѣнію, еще и неоцѣненнымъ перломъ нашей литературы. Пушкина «Гусаръ», «Будрысъ и его сыновья» также суть идилліи.

Къ эпической поэзіи принадлежатъ апологъ и басня, въ которыхъ опоэтизировываются проза жизни и практическая обиходная мудрость житейская. Этотъ родъ

Digitized by Google

поэзіи достигъ высшаго своего развитія только въ двухъ новѣйшихъ литературахъ -французской и русской. Въ первой представитель басни есть Лафонтенъ; наша литература имѣетъ нѣсколько талантливыхъ баснописцевъ, а въ Крыловѣ истинно-геніальнаго творца народныхъ басенъ, въ которыхъ выразилась вся полнота практическаго ума, смышлености, повидимому простодушной, но язвительной насмѣшки русскаго народа.

Къ эпической же поэзіи должна относиться и такъ-называемая дидактическая поэзія, но о ней мы еще будемъ говорить.

ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭЗІЯ.

Въ эпосѣ субъектъ поглощенъ предметомъ; въ лирикѣ онъ не только переноситъ въ себя предметъ, растворяетъ, проникаетъ его собой, но и изводитъ изъ своей внутренней глубины всѣ тѣ ощущенія, которыя пробудило въ немъ столкновеніе съ предметомъ. Лирика даетъ слово и образъ нѣмымъ ощущеніямъ, выводитъ ихъ изъ душнаго заточенія тѣсной груди на свѣжій воздухъ художественной жизни, даетъ имъ особное существованіе. Слѣдовательно содержаніе лирическаго произведенія не есть уже развитіе объективнаго происшествія, но самъ субъектъ и все, что̀ проходитъ черезъ него. Этимъ условливается дробность лирики: отдѣльное произведеніе не можетъ обнять цѣлости жизни, ибо субъектъ не можетъ въ одинъ и тотъ же мигъ быть всѣмъ. Отдѣльный человѣкъ въ различные моменты полонъ различнымъ содержаніемъ. Хотя и вся полнота духа доступна ему, но не вдругъ, а въ отдѣльности, въ безчисленномъ множествѣ различныхъ моментовъ. Все общее, все субстанціальное, всякая идея, всякая мысль—основные двигатели міра и жизни, могутъ составить содержаніе лирическаго произведенія, но при условіи однакожъ, чтобъ общее было претворено въ кровное достояніе субъекта, входило въ его ощущеніе, было связано не съ какой-либо одной его стороной, но со всей цѣлостью его существа. Все, что занимаетъ, волнуетъ, радуетъ, печалитъ, услаждаетъ, мучитъ, успокаиваетъ, тревожитъ, словомъ, все, что̀ составляетъ содержаніе духовной жизни субъекта, все, что̀ входитъ въ него, возникаетъ въ немъ,—все это пріемлется лирикой, какъ законное ея достояніе. Предметъ здѣсь не имѣетъ цѣны самъ по себѣ, но все зависитъ отъ того, какое значеніе даетъ ему субъектъ, все зависитъ отъ того вѣянія, того духа, которыми проникается предметъ фантазіей и ощущеніемъ. Что̀ напр. за предметъ — засохшій цвѣтокъ, найденный поэтомъ въ книгѣ? — но онъ внушилъ Пушкину одно изъ лучшихъ, одно изъ благоуханнѣйшихъ, музыкальнѣйшихъ его лирическихъ произведеній.

Лирическое произведеніе, выходя изъ моментальнаго ощущенія, не можетъ и не должно быть слишкомъ длинно; иначе оно будетъ и холодно, и натянуто, и вмѣсто наслажденія только утомитъ читателя. Чтобъ пробудить наше чувство и долго поддерживать его въ дѣятельности, — намъ нужно созерцаніе какого-нибудь объективнаго содержанія: иначе, чѣмъ глубже раскроется и чѣмъ пышнѣйшимъ цвѣтомъ развернется чувство, тѣмъ скорѣе и охладѣетъ оно. Вотъ почему опера есть самое длинное музыкальное произведеніе; въ ней музыка привязана къ объективному дѣйствію, и драматизмъ ея, несмотря на господствующій мотивъ, придаетъ ей живое разнообразіе. Та же бы самая опера, но написанная на воображаемое, а не на существующее либретто, показалась бы утомительной. Потому же самому и лирическая поэма или драма не имѣетъ опредѣленныхъ границъ для своего объема. Но собственно лирическое произведеніе, плодъ минутнаго вдохновенія, можетъ потрясти все существо наше, наполнить насъ собой на долгое время,—но не иначе, какъ если для его прочтенія нужно не больше нѣсколькихъ минутъ. Плодъ мгновенной настроенности духа поэта, лирическое произведеніе пропадаетъ невозвратно, если не переходитъ на бумагу прежде, нежели духъ поэта не подчинился новой настроенности. И потому ни поэтъ не можетъ написать длинной лирической пьесы, которая, при длинноте своей, отличалась бы единствомъ ощущенія, а слѣдовательно и единствомъ мысли, и потому была бы полна, цѣлостна и индивидуальна; ни воспріемлемость нашего чувства не можетъ быть долго въ дѣятельности и скоро не утомиться, не будучи поддерживаема разнообразіемъ идей и образовъ, возбуждающихъ ее и вмѣстѣ дѣйствующихъ и на умъ. Вотъ почему лирическія произведенія Пушкина всѣ безъ исключенія такъ коротки, въ сравненіи съ лирическими пьесами его предшественниковъ. Длиннота лирическихъ пьесъ обыкновенно происходитъ или оттого, что поэтъ въ одной и той же пьесѣ переходитъ отъ одного ощущенія къ другому, и переходы эти поневолѣ принужденъ связывать риторическими вставками, или отъ ложнаго анти-поэтическаго и еще болѣе анти-лирическаго направленія — развивать дидактически какія-нибудь отвлеченныя мысли. Полный представитель того и другого недостатка, производящаго длинноту лириче-

Digitized by Google

скихъ пьесъ, есть риторическій элегистъ Ламартинъ. Хотя тѣ же самые недостатки въ Державинѣ выкупаются иногда яркими проблесками сильнаго таланта, однако такія длинныя оды его, какъ «Ода на взятіе Измаила», въ цѣломъ невыносимо утомительны; самый «Водопадъ» его трудно прочесть сразу. Что же касается до ораторскихъ рѣчей въ стихахъ, которыми безсмертный Ломоносовъ плѣнялъ слухъ вѣрныхъ россовъ; до надутыхъ пузырей риторическаго эмфаза въ «торжественныхъ одахъ» Петрова; до водяныхъ разглагольствованій Капниста, въ которыхъ онъ, по правиламъ риторики Кошанскаго, оплакиваетъ свои утраты и «злополучія»; наконецъ, до торжественныхъ и казенныхъ лироѳній Мерзлякова, читанныхъ имъ на университетскихъ актахъ *): они годятся только для того, чтобъ магнетически погружать душу читателей въ тяжкую скуку и сонную апатію.

Лирическая поэзія возникаетъ на всѣхъ ступеняхъ жизни и сознанія, во всѣ вѣка и эпохи; но цвѣтущее ея состояніе, въ противоположность эпосу, бываетъ уже тогда, какъ образуется въ народѣ субъективность съ одной стороны и положительная прозаическая дѣйствительность съ другой. На ступени же непосредственнаго сознанія, гдѣ такъ роскошно и полно развивается эпосъ, лирическая поэзія еще далека отъ своего высшаго назначенія и, говоря собственно, находится еще внѣ сферы искусства. Это такъ называемая естественная или народная поэзія.

Виды лирической поэзіи зависятъ отъ отношеній субъекта къ общему содержанію, которое онъ беретъ для своего произведенія. Если субъектъ погружается въ элементъ общаго созерцанія и какъ бы теряетъ въ этомъ созерцаніи свою индивидуальность, то являются: гимнъ, дифирамбъ, псальмы, пеаны. Субъективность на этой ступени какъ бы не имѣетъ еще своего собственнаго голоса, и вся вполнѣ отдается тому высшему, которое осѣнило ее; здѣсь еще мало обособленія, и общее хотя и проникается вдохновеннымъ ощущеніемъ поэта, однако проявляется болѣе или менѣе отвлеченно. Это начало, первый моментъ лирической поэзіи, и потому напримѣръ гимны Каллимаха и Гезіода, диѳирамбы Пиндара носятъ на себѣ характеръ эпическій, допускаютъ въ себя повѣствованія и вообще являются въ видѣ лирическихъ поэмъ довольно большого объема. Новѣйшая поэзія мало можетъ представить образцовъ такого рода лирическихъ произведеній. Знаменитый «Гимнъ Радости» Шиллера слишкомъ проникнутъ сознаніемъ, чтобъ его можно было отнести къ нимъ, хотя по эксцентрической силѣ пламеннаго, бурнаго одушевленія онъ и можетъ назваться и гимномъ, и диѳирамбомъ. Содержаніе Пушкина «Торжества Вакха», его же «Вакхической Пѣсни» и «Вакханки» Батюшкова взято изъ древней жизни. «Клеветникамъ Россіи» и «Бородинская Годовщина» Пушкина хотя и дышатъ бурнымъ, пламеннымъ, диѳирамбическимъ вдохновеніемъ, но тоже не могутъ быть названы гимнами или диѳирамбами въ строгомъ смыслѣ, потому что въ нихъ слишкомъ замѣтна личность поэта. Образцы произведеній этого рода представляетъ только древность.

Субъективность поэта, сознавъ уже себя, свободно беретъ и объемлетъ собой какой-либо интересующій ее предметъ; тогда является ода. Предметъ оды и самъ по себѣ можетъ имѣть какой-либо субстанціальный интересъ (различныя сферы жизни, дѣйствительности, сознанія: государство, слава боговъ, героевъ, любовь, дружба и т. п.); въ такомъ случаѣ оды имѣютъ характеръ торжественный. Хотя здѣсь поэтъ и весь отдается своему предмету, но не безъ рефлексіи на свою субъективность; онъ удерживаетъ свое право и не столько развиваетъ самый предметъ, сколько свое, полное этимъ предметомъ, вдохновеніе. Таковы пьесы Пушкина: «Наполеонъ», «Къ морю» «Кавказъ» и «Обвалъ». Вообще надо замѣтить, что ода — этотъ средній родъ между гимномъ или диѳирамбомъ и пѣснею, тоже мало свойственъ нашему времени; поэтъ нашего времени дѣлаетъ изъ увлекшаго его предмета фантазію, картину (какъ напримѣръ Лермонтовъ изъ Кавказа «Дары Терека»); но любимый и задушевный его родъ—пѣсня, значеніе и сущность которой болѣе лирическія и субъективныя. Въ одѣ больше внѣшняго, объективнаго; тогда какъ пѣсня есть чистѣйшій эѳиръ субъективности. Вотъ почему у Пушкина такъ мало одъ, въ которыхъ преимущественно проявлялась могучая поэтическая дѣятельность Державина. Многія оды Державина, несмотря на ихъ невыдержанность, на нехудожественную отдѣлку, регулярную форму и большее или меньшее присутствіе риторики, могутъ служить, въ духѣ своего времени, образцами одъ, какъ вида лирической поэзіи. Таковы особенно «На Смерть Мещерскаго», «Водопадъ», «Къ первому

*) Здѣсь разумѣются только оды Мерзлякова, а не его переводы изъ древнихъ и русскія пѣсни, большая часть которыхъ превосходна. Натура Мерзлякова была поэтическая, но риторика и піитика прошлаго вѣка часто сбивали ее съ толку. Что же до одъ Ломоносова, то здѣсь разумѣются только торжественныя, въ которыхъ длинноты и риторическій характеръ не выкупаются и блестками поэзіи.

Digitized by Google

сосѣду», «Осень во время осады Очакова», «Хариты», «Рожденіе Красоты» и проч.

Чистый, безпримѣсный элементъ лирики является въ пѣснѣ, въ самомъ обширномъ смыслѣ этого слова, какъ выраженіе чисто-субъективныхъ ощущеній. Все безчисленное многоразличіе тѣхъ таинственныхъ, невыразимыхъ безъ творческой силы поэзіи ощущеній, которыя такъ безотчетно, такъ особенно возникаютъ въ темнотѣ нашей внутренности, освобождаются здѣсь отъ своей особенности, т. е. отъ исключительной принадлежности мнѣ, и выпархиваютъ на свѣтъ, окриленныя фантазіей. Наконецъ субъектъ, кромѣ этихъ совершенно личныхъ ощущеній, выражаетъ въ лирическихъ произведеніяхъ болѣе общіе, болѣе сознательные факты своей жизни, различныя созерцанія, воззрѣнія, сближенія, мысли, весь объективный запасъ свѣдѣній и пр. Сюда, кромѣ собственно пѣсни, относятся сонеты, станцы, канцоны, элегіи, посланія, сатиры и наконецъ всѣ тѣ многоразличныя стихотворенія, которыя трудно даже и назвать особеннымъ именемъ. Всѣ они, вмѣстѣ съ пѣснью, составляютъ исключительную лирику нашего времени. Лучшія, задушевнѣйшія созданія лирической музы Пушкина принадлежатъ къ числу ихъ. Таковы напр. «Уединеніе», «Недоконченная картина», «Возрожденіе», «Погасло дневное свѣтило»,— «Люблю вашъ сумракъ неизвѣстный», «Простишь-ли мнѣ ревнивыя мечты», «Ненастный день потухъ», «Демонъ», «Желаніе славы», «Подъ небомъ голубымъ страны своей родной», «19 октября», «Зимняя дорога», «Ангелъ», «Поэтъ», «Воспоминаніе», «Предчувствіе», «Цвѣтокъ», «На холмахъ Грузіи лежитъ ночная тѣнь», «Когда твои младыя лѣта», «Зимнее Утро», «Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ», «Поэту», «Трудъ», «Мадонна», «Зимній Вечеръ», «Даръ напрасный», «Анчаръ», «Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье», и многія другія. По нашему перечню можно видѣть, что большая ихъ часть безъ названія и означается первымъ стихомъ: это свойство лирическихъ произведеній, содержаніе которыхъ неуловимо для опредѣленія, какъ музыкальное ощущеніе. Какъ образецъ благоуханности, музыкальности, легкой, прозрачной формы, граціи выраженія чувства нѣжнаго, но глубокаго и мужескаго, какъ образецъ сущности лиризма, растворенаго и насквозь проникнутаго чистѣйшимъ, безпримѣснымъ эѳиромъ благороднѣйшей субъективности, выписываемъ здѣсь одно изъ посмертныхъ стихотвореній Пушкина.

Для береговъ отчизны дальной
Ты покидала край чужой;
Въ часъ незабвенный, часъ печальный
Я долго плакалъ предъ тобой.
Мои хладѣющія руки
Тебя старались удержать;
Томленья страшнаго разлуки
Мой стонъ молилъ не прерывать.
Но ты отъ горькаго лобзанья
Свои уста оторвала;
Изъ края мрачнаго изгнанья
Ты въ край иной меня звала.
Ты говорила: въ день свиданья
Подъ небомъ вѣчно-голубымъ,
Въ тѣни оливъ, любви лобзанья
Мы вновь, мой другъ, соединимъ,
Но тамъ, увы, гдѣ неба своды
Сіяютъ въ блескѣ голубомъ,
Гдѣ подъ скалами дремлютъ воды,
Заснула ты послѣднимъ сномъ.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли въ урнѣ гробовой—
А съ нимъ и поцѣлуй свиданья...
Но жду его: онъ за тобой...

Это мелодія сердца, музыка души, непереводимая на человѣческій языкъ, и тѣмъ не менѣе заключающая въ себѣ цѣлую повѣсть, которой завязка на землѣ, а развязка на небѣ...

Въ посланіяхъ и сатирахъ взглядъ поэта на предметы преобладаетъ надъ ощущеніемъ. Поэтому стихотворенія этого рода могутъ превосходить объемомъ пѣсню и другія собственно лирическія произведенія. Впрочемъ и въ посланіи, и въ сатирѣ поэтъ смотритъ на предметы сквозь призму своего чувства, даетъ своимъ созерцаніямъ и воззрѣніямъ живые поэтическіе образы; дидактизмъ, какъ обыкновенно понимаютъ его, тутъ не можетъ имѣть мѣста. Сатира не должна быть осмѣяніемъ пороковъ и слабостей, но порывомъ, энергіей раздраженнаго чувства, громомъ и молніей благороднаго негодованія. Въ ея основаніи долженъ лежать глубочайшій юморъ, а не веселое и невинное остроуміе. Превосходный образецъ посланія представляетъ собой стихотвореніе Пушкина «Къ Вельможѣ», въ которомъ поэтъ въ дивно-художественныхъ образахъ характеризовалъ русскій XVIII вѣкъ и намекнулъ на значеніе XIX-го. Что до сатиры, то мы не знаемъ на русскомъ языкѣ лучшихъ образцовъ ей, какъ «Дума» и «Не вѣрь себѣ» Лермонтова.

Элегія собственно есть пѣсня грустнаго содержанія; но въ нашей литературѣ, по преданію отъ Батюшкова, написавшаго «Умирающаго Тасса», возникъ особый родъ исторической или эпической элегіи. Поэтъ вводитъ здѣсь даже событіе подъ формой воспоминанія, проникнутаго грустью. Поэтому и объемъ такихъ элегій обширнѣе обыкновенныхъ лирическихъ произведеній. Таковы: Батюшкова-же элегія «На развалинахъ Замка въ Швеціи», Пушкина «Андрей Шенье»; самый «Водопадъ» Державина можно назвать эпической элегіей. Впрочемъ эпическая элегія можетъ имѣть и не исто-

Digitized by Google

рическое содержаніе, какъ напр. знаменитая элегія Грея «Сельское кладбище», такъ прекрасно переданная по-русски Жуковскимъ, и элегія Батюшкова «Тѣнь Друга». Къ лирическимъ произведеніямъ принадлежатъ еще дума, баллада и романсъ. Дума есть тризна историческому событію, или просто пѣсня историческаго содержанія. Дума почти то же, что эпическая элегія; только она требуетъ непремѣнно народности во взглядѣ и выраженіи. Превосходные образцы того и другого имѣемъ мы въ «Пѣснѣ объ Олегѣ Вѣщемъ» и «Пирѣ Петра Великаго» Пушкина. Въ балладѣ поэтъ беретъ какое-нибудь фантастическое и народное преданіе или самъ изобрѣтаетъ событіе въ этомъ родѣ. Но въ ней главное не событіе, а ощущеніе, которое оно возбуждаетъ, дума, на которую оно наводитъ читателя. Баллада и романсъ возникли въ средніе вѣка, и потому герои европейскихъ балладъ—рыцари, дамы, монахи; содержаніе — явленія духовъ, таинственныя силы подземнаго міра; сцена—замокъ, монастырь, кладбище, темный лѣсъ, поле битвы. Превосходные переводы Жуковскаго познакомили насъ съ балладами Шиллера, Гёте, Вальтера-Скотта и другихъ германскихъ и англійскихъ пѣвцовъ. Жуковскій и самъ написалъ нѣсколько превосходныхъ балладъ; лучшія изъ нихъ тѣ, которыхъ содержаніе взято не изъ русской жизни. Особенно прекрасны: «Эолова Арфа» и «Ахиллъ». Пушкина—«Женихъ», «Утопленникъ» и «Бѣсы» представляютъ превосходнѣйшіе образцы національныхъ русскихъ балладъ. Романсъ отличается отъ баллады рѣшительнымъ преобладаніемъ лирическаго элемента надъ эпическимъ, а вслѣдствіе этого и гораздо меньшимъ объемомъ. Жуковскій познакомилъ насъ своими поэтическими переводами и съ этимъ родомъ лирической поэзіи.

Лиризмъ есть преобладающій элементъ въ германской литературѣ. Лирическая поэзія и музыка составляютъ самый пышный цвѣтъ художественной жизни этой націи. Шиллеръ и Гёте — это цѣлые два міра лирической поэзіи, два великія ея солнца, окруженныя множествомъ спутниковъ и звѣздъ различныхъ величинъ. Богатая литература Англіи и въ лиризмѣ также едва ли уступаетъ какой литературѣ, какъ и превосходитъ всѣ другія литературы въ эпической и драматической поэзіи. Сонеты и лирическія поэмы (какъ наприм. «Венера и Адонисъ») Шекспира, поэмы и мелкія пьесы Байрона, лирическія поэмы Вальтеръ-Скотта, произведенія Томаса Мура, Уордсворта, Борнса, Соути, Кольриджа, Купера и другихъ составляютъ богатѣйшую сокровищницу лирической поэзіи. Французы почти не имѣютъ лирической поэзіи; по крайней мѣрѣ она не восходила у нихъ дальше народной пѣсни (водевиля); Беранже единственный великій ихъ лирикъ, но его летучія созданія, по народной формѣ своего выраженія, непереводимы ни на какой языкъ. Послѣ его пѣсенъ достойны замѣчанія проникнутыя духомъ пластической древности элегіи Андрея Шенье и ямбы энергическаго Барбье.

Собственно лирическая поэзія, въ смыслѣ выраженія внутренняго субъективнаго чувства при виртуозности формы, началась у насъ съ Пушкина. О его собственныхъ произведеніяхъ здѣсь довольно сказать, что имъ нѣтъ цѣны. Онъ увлекъ ими за собой всю нашу литературу, всѣ возникавшіе таланты, и со времени его появленія элегія-пѣсня сдѣлалась исключительнымъ родомъ лирической поэзіи; только старики и пожилые люди допѣвали еще свои торжественныя оды. Явившіяся съ Пушкинымъ и пошедшіе по данному имъ направленію таланты теперь уже вполнѣ опредѣлились, пишутъ мало или уже и совсѣмъ не пишутъ; тѣмъ не менѣе нѣкоторые изъ нихъ отличались замѣчательной силой и обогатили русскую лирическую поэзію прекрасными произведеніями. Но никто, съ перваго же появленія своего, не обнаружилъ такой мощи, такого богатства фантазіи, такой виртуозности въ формѣ своихъ созданій, какъ Лермонтовъ. Нѣкоторыя изъ его лирическихъ произведеній могутъ состязаться въ художественномъ достоинствѣ съ пушкинскими. Справедливость требуетъ замѣтить еще, какъ рѣзко выдавшееся явленіе, могучій талантъ Кольцова. Онъ создалъ себѣ особый, совершенно оригинальный и неподражаемый родъ поэзіи. Правда, сфера его поэзіи вращается въ заколдованномъ кругу народности, но онъ расширяетъ этотъ кругъ, внося въ народную и наивную форму своихъ пѣсенъ и думъ болѣе общее содержаніе изъ болѣе высшей сферы сознанія.

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОЭЗІЯ.

Драма представляетъ совершившееся событіе какъ бы совершающимся въ настоящемъ времени, передъ глазами читателя или зрителя. Будучи примиреніемъ эпоса съ лирой, драма не есть отдѣльно ни то, ни другое, но образуетъ собой особенную органическую цѣлость. Съ одной стороны кругъ дѣйствія въ драмѣ не замкнутъ для субъекта, но, напротивъ, изъ него выходитъ и къ нему возвращается. Съ другой стороны присутствіе субъекта въ драмѣ имѣетъ совсѣмъ другое значеніе, чѣмъ въ лирѣ: онъ уже не есть сосредоточенный въ себѣ ину-

Digitized by Google

тренній міръ, чувствующій и созерцающій, не есть уже самъ поэтъ, но онъ выходитъ и становится самъ для созерцанія среди объективнаго и реальнаго міра, организуемаго собственной его дѣятельностью; онъ раздѣлился и является живой совокупностью многихъ лицъ, изъ дѣйствія и противодѣйствія которыхъ слагается драма. Вслѣдствіе этого драма не допускаетъ въ себя эпическихъ изображеній мѣстности, происшествій, состояній, лицъ, которыя всѣ сами должны быть передъ нашимъ созерцаніемъ. Требованія самой народности въ драмѣ гораздо слабѣе, чѣмъ въ эпопеѣ: въ «Гамлетѣ» мы видимъ Европу, и, по духу и натурѣ лицъ, Европу сѣверную, но не Данію, и притомъ Богъ знаетъ въ какую эпоху. Драма не допускаетъ въ себя никакихъ лирическихъ изліяній; лица должны высказывать себя въ дѣйствіи: это уже не ощущенія и созерцанія—это характеры. То, что обыкновенно называется въ драмѣ лирическими мѣстами, есть только энергія раздраженнаго характера, его παθος, невольно окрыляющій рѣчь особеннымъ полетомъ; или тайная, сокровенная дума дѣйствующаго лица, о которой нужно намъ знать и которую поэтъ заставляетъ его думать вслухъ. Дѣйствіе драмы должно быть сосредоточено на одномъ интересѣ и быть чуждо побочныхъ интересовъ. Въ романѣ иное лицо можетъ имѣть мѣсто не столько по дѣйствительному участію въ событіи, сколько по оригинальному характеру: въ драмѣ не должно быть ни одного лица, которое не было бы необходимо въ механизмѣ ея хода и развитія. Простота, немногосложность и единство дѣйствія (въ смыслѣ единства основной идеи) должно быть однимъ изъ главнѣйшихъ условій драмы; въ ней все должно быть направлено къ одной цѣли, къ одному намѣренію. Интересъ драмы долженъ быть сосредоточенъ на главномъ лицѣ, въ судьбѣ котораго выражается ея основная мысль.

Впрочемъ все это относится болѣе къ высшему роду драмы—къ трагедіи. Сущность трагедіи, какъ мы уже выше говорили, заключается въ коллизіи, т. е. въ столкновеніи, ошибкѣ естественнаго влеченія сердца съ нравственнымъ долгомъ или просто съ непреоборимымъ препятствіемъ. Съ идеей трагедіи соединяется идея ужаснаго, мрачнаго событія, роковой развязки. Нѣмцы называютъ трагедію печальнымъ зрѣлищемъ, Trauerspiel, — и трагедія въ самомъ дѣлѣ есть печальное зрѣлище! Если кровь и трупы, кинжалъ и ядъ не суть всегдашніе ея аттрибуты, тѣмъ не менѣе ея окончаніе всегда — разрушеніе драгоцѣннѣйшихъ надеждъ сердца, потеря блаженства цѣлой жизни. Отсюда и вытекаетъ ея мрачное величіе, ея исполинская грандіозность: рокъ царитъ въ ней, рокъ составляетъ ея основу и сущность... Что такое коллизія?— безусловное требованіе судьбой жертвы себѣ. Побѣди герой естественное влеченіе сердца своего въ пользу нравственнаго закона—прости, счастье, простите, радости и обаянія жизни! онъ—мертвецъ посреди живущихъ; его стихія — грусть глубокой души, его пища — страданіе, ему единственный выходъ—или болѣзненное самоотреченіе, или скорая смерть! Послѣдуй герой трагедіи естественному влеченію своего сердца, онъ—преступникъ въ собственныхъ глазахъ, онъ—жертва собственной совѣсти, ибо его сердце есть почва, въ которую глубоко вросли корни нравственнаго закона — не вырвать ихъ, не разорвавши самаго сердца, не заставивши его истечь кровью. Въ коллизіи законъ бытія напоминаетъ собой повелѣніе Нерона, по которому казнили, какъ преступниковъ, и тѣхъ, кто не плакалъ объ умершей сестрѣ властелина: ибо они не сочувствовали его утратѣ,—и тѣхъ, кто плакалъ о ея смерти, ибо она была причислена къ сонму богинь, а слезы по богинѣ могли быть только знакомъ зависти къ ея благополучію... И между тѣмъ ни одинъ родъ поэзіи не властвуетъ такъ сильно надъ нашей душой, не увлекаетъ насъ такимъ неотразимымъ обаяніемъ и не доставляетъ намъ такого высокаго наслажденія, какъ трагедія. И въ основѣ этого лежитъ великая истина, высшая разумность. Мы глубоко сострадаемъ падшему въ борьбѣ или погибшему въ побѣдѣ герою; но мы же знаемъ, что безъ этого паденія или этой погибели онъ не былъ бы героемъ, не осуществилъ бы своей личностью вѣчныхъ субстанціальныхъ силъ, міровыхъ и непреходящихъ законовъ бытія. Еслибы Антигона погребла тѣло Полиника, не зная, что ее ожидаетъ за это неизбѣжная казнь, или безъ всякой опасности подпасть казни, ея дѣйствіе было бы только доброе и похвальное, но обыкновенное и не героическое дѣйствіе. Въ такомъ случаѣ Антигона не возбудила бы къ себѣ всего нашего участія, и еслибъ тотчасъ же умерла какъ-нибудь случайно, мы не пожалѣли бы о ея смерти: вѣдь каждый часъ на земномъ шарѣ умираютъ тысячи людей, такъ если жалѣть обо всѣхъ, некогда будетъ выпить и чашки чаю! Нѣтъ, безвременная насильственная смерть юной и прекрасной Антигоны потому только потрясаетъ все существо наше, что въ ея смерти мы видимъ искупленіе человѣческаго достоинства, торжество общаго и вѣчнаго надъ преходящимъ и частнымъ, подвигъ, созерцаніе котораго возноситъ къ нему нашу душу, заставляетъ биться высо-

Digitized by Google

кимъ восторгомъ наше сердце! Судьба избираетъ для рѣшенія великихъ нравственныхъ задачъ благороднѣйшіе сосуды духа, возвышеннѣйшія личности, стоящія во главѣ человѣчества, героевъ, олицетворяющихъ собой субстанціальныя с и л ы, которыми держится нравственный міръ. Исмена была также сестра Полинику; доброе и родственное сердце ея тоже страдало при мысли о позорѣ погибшаго брата, но это страданіе не было въ ней сильнѣе страха смерти; Антигонѣ же казалось легче перенести муки лютой казни, нежели позоръ единокровнаго; ей жаль было разстаться съ юной жизнью, столь полной надеждъ очарованія: она горестно прощается съ обольщеніями гименея, сладости котораго судьба не дала ей вкусить; но она не проситъ о помилованіи, о пощадѣ, она не отвращается ужасающей ее смерти, но спѣшитъ броситься ей въ объятья: слѣдовательно разница между обѣими сестрами не въ чувствахъ, но въ силѣ, энергіи и глубинѣ чувства, вслѣдствіе чего одна изъ нихъ—доброе, но обыкновенное существо, а другая—героиня. Уничтожьте роковую катастрофу въ любой трагедіи—и вы лишите ее всего величія, всего ея значенія, изъ великаго созданія сдѣлаете обыкновенную вещь, которая надъ вами же первымъ утратитъ всю свою обаятельную силу.

Иногда коллизія можетъ состоять въ ложномъ положеніи человѣка, вслѣдствіе несоотвѣтственности его натуры съ мѣстомъ, на которое поставила его судьба. Просимъ читателей вспомнить одного изъ героевъ романа В.-Скотта «Пертской Красавицы», несчастнаго шефа клана, который при гордой душѣ и сильныхъ страстяхъ своихъ, наканунѣ роковой битвы, долженствующей рѣшить участь его клана, признается своему пѣстуну въ томъ, что онъ—трусъ... Гамлетъ не трусъ, но его внутренняя, созерцательная натура создана не для бурь жизни, не для борьбы съ порокомъ и наказанія преступленія, а между тѣмъ судьба зоветъ его на этотъ подвигъ... Что̀ ему дѣлать? Избѣгнуть—люди не узнаютъ и не осудятъ; но развѣ есть во вселенной другое мѣсто, кромѣ гроба, куда можно укрыться отъ себя самого?—и бѣдный Гамлетъ дѣйствительно нашелъ свое убѣжище въ могилѣ... Судьба сторожитъ человѣка на всѣхъ путяхъ жизни: за мгновенное увлеченіе безумной страсти юноша платится иногда счастьемъ всей своей жизни, отравляя ее воспоминаніемъ о невинной жертвѣ, которую погубила его любовь... И почему это такъ? потому что въ его душѣ глубоко пустили корни сѣмена нравственнаго закона, тогда какъ ничтожное, подлое существо спокойно наслаждается плодами своего разврата и нагло хвалится числомъ погубленныхъ жертвъ!.. Только человѣкъ высшей природы можетъ быть героемъ или жертвой трагедіи: такъ бываетъ въ самой дѣйствительности!

Случайность, какъ напримѣръ нечаянная смерть лица или другое непредвидѣнное обстоятельство, неимѣющее прямого отношенія къ основной идеѣ произведенія, не можетъ имѣть мѣста въ трагедіи. Не должно упускать изъ виду, что трагедія есть болѣе искусственное произведеніе, нежели другой родъ поэзіи. Помедли Отелло одной минутой задушить Дездемону или поспѣши отворить двери стучавшейся Эмиліи—все бы объяснилось, и Дездемона была бы спасена, но зато трагедія была бы погублена. Смерть Дездемоны есть слѣдствіе ревности Отелло, а не дѣло случая, и потому поэтъ имѣлъ право сознательно отдалить всѣ самыя естественныя случайности, которыя могли бы служить къ спасенію Дездемоны Дездемона также могла бы и замѣтить сброшенный съ головы своей мужемъ ея платокъ, послужившій къ ея погибели, какъ она могла и не замѣтить его; но поэтъ имѣлъ полное право воспользоваться этой случайностью, какъ соотвѣтствовавшей его цѣли. Цѣль же его трагедіи была—не предостеречь другихъ отъ ужасныхъ слѣдствій слѣпой ревности, но потрясти души зрителей зрѣлищемъ слѣпой ревности, не какъ порока, но какъ явленія жизни. Ревность Отелло имѣла свою причинность, свою необходимость, заключавшіяся въ пламенной натурѣ, воспитаніи и обстоятельствахъ цѣлой его жизни: онъ столько же былъ виноватъ въ ней, сколько былъ и не виноватъ. Вотъ почему этотъ великій духъ, этотъ мощный характеръ возбуждаетъ въ насъ не отвращеніе и ненависть къ себѣ, а любовь, удивленіе и состраданіе. Гармонія міровой жизни была нарушена диссонансомъ его преступленія,—и онъ возстановляетъ ее добровольной смертью, искупаетъ ею тяжкую вину свою—и мы закрываемъ драму съ примиреннымъ чувствомъ, съ глубокой думой о непостижимомъ таинствѣ жизни, и предъ очарованнымъ взоромъ нашимъ носятся рука съ рукой двѣ помирившіяся за гробомъ тѣни... Трупы и кровь возмущаютъ наше чувство только тогда, когда мы не видимъ ихъ необходимости, когда авторъ щедро устилаетъ и наводняетъ ими сцену для эффектовъ. Но, слава Богу, отъ частаго употребленія эти эффекты потеряли всю свою силу и теперь производятъ уже смѣхъ, а не ужасъ.

Въ условіяхъ жизни есть что-то несовершенное, роковое. Жизнь слагается изъ тол-

Digitized by Google

пы и героевъ, и обѣ эти стороны въ вѣчной враждѣ, ибо первая ненавидитъ вторую, а вторая презираетъ первую. Всякое прекрасное явленіе въ жизни должно сдѣлаться жертвой своего достоинства. Едва прочли вы ночную сцену въ саду между Ромео и Юліей—и уже въ душу вашу закрадывается грустное предчувствіе... «Нѣтъ,—говорите вы—не для земли такая любовь и такая полнота жизни, не между людей жить такимъ существамъ! И за что́ они будутъ такъ счастливы, когда всѣ другіе и не подозрѣваютъ возможности такого счастья? Нѣтъ, дорогой цѣной должны они поплатиться за свое блаженство!..» И въ самомъ дѣлѣ, что́ губитъ Ромео и Юлію?—Не злодѣйство, не коварство людей, а развѣ глупость и ничтожество ихъ. Старики Капулеты—просто добрые, но пошлые люди: они не умѣютъ вообразить ничего выше самихъ себя, судятъ о чувствахъ дочери по своимъ собственнымъ, измѣряютъ ея натуру своей натурой—и погубили ее, а потомъ, когда уже было поздно, догадались, простили и даже похвалили... О, горе! горе! горе!..

Насъ возмущаетъ преступленіе Макбета и демонская натура его жены; но еслибы спросили перваго, какъ онъ совершилъ свой злодѣйскій поступокъ, онъ вѣрно отвѣтилъ бы: «и самъ не знаю»; а еслибы спросить вторую, зачѣмъ она такъ нечеловѣчески-ужасно создана, она вѣрно отвѣтила бы, что знаетъ объ этомъ столько же, сколько и вопрошающіе, и что если слѣдовала своей натурѣ, такъ это потому, что не имѣла другой... Вотъ вопросы, которые рѣшаются только за гробомъ, вотъ царство рока, вотъ сфера трагедіи... Ричардъ II возбуждаетъ въ насъ къ себѣ непріязненное чувство своими поступками, унизительными для короля. Но вотъ двоюродный братъ его, Болингброкъ, похищаетъ у него корону—и недостойный король, пока царствовалъ, является великимъ королемъ, когда лишился царства. Онъ входитъ въ сознаніе величія своего сана, святости своего помазанія, законности своихъ правъ,—и мудрыя рѣчи, полныя высокихъ мыслей, бурнымъ потокомъ льются изъ его устъ, а дѣйствія обнаруживаютъ великую душу. Вы уже не просто уважаете его — вы благоговѣете передъ нимъ; вы уже не просто жалѣете о немъ—вы сострадаете ему. Ничтожный въ счастьи, великій въ несчастьи, онъ—герой въ нашихъ глазахъ. Но для того, чтобъ вызвать наружу всѣ силы своего духа, чтобъ стать героемъ, ему нужно было испить до дна чашу бѣдствія и погибнуть... Какое противорѣчіе и какой богатый предметъ для трагедіи, а слѣдовательно и какой неисчерпаемый источникъ высокаго наслажденія для васъ!..

Драматическая поэзія есть высшая ступень развитія поэзіи и вѣнецъ искусства, а трагедія есть высшая ступень и вѣнецъ драматической поэзіи. Поэтому трагедія заключаетъ въ себѣ всю сущность драматической поэзіи, объемлетъ собой всѣ элементы ея, и слѣдовательно въ нее по праву входитъ и элементъ комическій. Поэзія и проза ходятъ объ-руку въ жизни человѣческой, а предметъ трагедіи есть жизнь во всей многосложности ея элементовъ. Правда, она сосредоточиваетъ въ себѣ только высшіе, поэтическіе моменты жизни, но это относится только къ герою или героямъ трагедіи, а не къ остальнымъ лицамъ, между которыми могутъ быть и злодѣи, и добродѣтельные, и глупцы, и шуты, такъ какъ вся жизнь человѣческая состоитъ въ столкновеніи и взаимномъ воздѣйствіи другъ на друга героевъ, злодѣевъ, обыкновенныхъ характеровъ, ничтожныхъ людей и глупцовъ. Раздѣленіе трагедіи на историческую и не-историческую не имѣетъ никакой существенной важности: герои той и другой равно представляютъ собой осуществленіе вѣчныхъ, субстанціальныхъ силъ человѣческаго духа. Въ новѣйшемъ христіанскомъ искусствѣ человѣкъ является не отъ общества, а отъ человѣчества; трагедія же есть вѣнецъ новѣйшаго искусства, а потому король Ричардъ II, мавръ Отелло, аристократическій юноша Ромео, аѳинскій гражданинъ Тимонъ имѣютъ совершенно равное право занимать въ ней первыя мѣста, потому что всѣ они—равно герои. Вотъ почему искаженіе историческихъ лицъ, менѣе допускаемое въ романѣ, есть какъ бы неотъемлемое право трагедіи, вытекающее изъ самой ея сущности. Трагикъ хочетъ представить своего героя въ извѣстномъ историческомъ положеніи: исторія даетъ ему положеніе, и если историческій герой этого положенія не соотвѣтствуетъ идеалу трагика, онъ имѣетъ полное право измѣнить его по своему. Въ трагедіи Шиллера «Донъ Карлосъ» Филиппъ изображенъ совсѣмъ не такимъ, какимъ представляетъ его намъ исторія, но это нисколько не уменьшаетъ достоинства пьесы, скорѣе увеличиваетъ его. Альфьери въ своей трагедіи изобразилъ истиннаго, историческаго Филиппа II, но его произведеніе все-таки неизмѣримо ниже Шиллера. Что́ же до принца Карлоса,—смѣшно и смотрѣть, какъ на что-то серьезное, на искаженіе его историческаго характера въ трагедіи Шиллера, ибо донъ-Карлосъ слишкомъ незначительное лицо въ исторіи. Многихъ соблазняетъ вольность Гёте, который изъ семидесяти-лѣтняго Эгмонта, отца многочисленнаго семейства, сдѣлалъ кипящаго юношу, страстно любящаго

Digitized by Google

простую дѣвушку: вольность самая законная!—ибо Гёте хотѣлъ изобразить въ своей трагедіи не Эгмонта, а молодого человѣка, страстнаго къ упоеніямъ жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ жертвующаго ею для искупленія счастья родины. Всякое лицо трагедіи принадлежитъ не исторіи, а поэту, хотя бы носило и историческое имя. Глубоко справедливы эти слова Гёте: «Для поэта нѣтъ ни одного лица историческаго; онъ хочетъ изобразить свой нравственный міръ, и для этой цѣли дѣлаетъ нѣкоторымъ историческимъ лицамъ честь, относя ихъ имена къ своимъ созданіямъ».

Что касается до раздѣленія трагедіи на акты, до ихъ числа — это относится къ внѣшней формѣ драмы вообще. Трагедія можетъ быть написана и прозой, и стихами; но болѣе всего этому соотвѣтствуетъ смѣшеніе того и другого, смотря по сущности содержанія отдѣльныхъ мѣстъ, т. е. по тому, поэзія или проза жизни въ нихъ выражается.

Драматическая поэзія является у народа уже съ созрѣвшей цивилизаціей, въ эпоху пышнаго цвѣта его историческаго развитія. Такъ было и у грековъ. Знаменитѣйшіе ихъ трагики—Эсхилъ, Софоклъ и Эврипидъ. Мы уже намекнули выше этого на сущность и характеръ греческой драмы, а изложеніемъ содержанія «Антигоны» дали читателямъ и фактъ для повѣрки нашихъ намековъ. Изъ новѣйшихъ народовъ ни у кого драма не достигла такого полнаго и великаго развитія, какъ у англичанъ. Шекспиръ есть Гомеръ драмы; его драма — высочайшій первообразъ христіанской драмы. Въ драмахъ Шекспира всѣ элементы жизни и поэзіи слиты въ живое единство, необъятное по содержанію, великое по художественной формѣ. Въ нихъ все настоящее человѣчества, все его прошедшее и будущее; онѣ — пышный цвѣтъ и роскошный плодъ развитія искусства у всѣхъ народовъ и во всѣ вѣка. Въ нихъ и пластицизмъ, и рельефность художественной формы, и цѣломудренная непосредственность вдохновенія и рефлектирующая дума, міръ объективный и міръ субъективный проникли другъ друга и слились въ неразрывномъ единствѣ. Говорить о глубокомъ сердцевѣдѣніи, вѣрности натурѣ и дѣйствительности, безконечности и высокости творческихъ идей этого царя поэтовъ всего міра—значило бы повторять уже много разъ сказанное тысячами людей. Опредѣлять достоинство каждой его драмы—значило бы написать огромную книгу и не высказать сотой доли того, что бы хотѣлось высказать, и не высказать милліонной частицы того, что заключается въ нихъ.

Послѣ англійской первое мѣсто занимаетъ нѣмецкая трагедія. Шиллеръ и Гёте возвели ее на эту степень знаменитости. Впрочемъ нѣмецкая драма имѣетъ совсѣмъ другой характеръ и даже другое значеніе, чѣмъ шекспировская: это большей частью или лирическая, или рефлектирующая драма. Только въ «Гёцѣ фонъ-Берлихингенѣ» и «Эгмонтѣ» Гёте, «Вильгельмѣ Телѣ» и «Валленштейнѣ» Шиллера замѣтенъ порывъ къ непосредственному творчеству. Значеніе нѣмецкой драмы тѣсно связано съ значеніемъ нѣмецкаго искусства вообще*).

Испанская драма мало извѣстна, хотя и гордится не однимъ славнымъ драматическимъ именемъ, каковы Лопе-де-Вега и Кальдеронъ. Кажется, причина этому—національность ея драмы, еще не возвысившейся до общаго, мірового содержанія.

Исторія французской литературы блеститъ многими драматическими именами. Корнель и Расинъ почти два вѣка считались первыми трагиками въ мірѣ, а послѣ нихъ—Кребильонъ и Вольтеръ. Но теперь ясно, что исторія драматической поэзіи во Франціи относится къ исторіи костюмовъ, модъ и общественныхъ нравовъ добраго стараго времени, но съ исторіей искусства ничего общаго не имѣетъ. Изъ новѣйшихъ писателей въ драмахъ Гюго просвѣчиваютъ иногда блестки замѣчательнаго дарованія, но не болѣе.

Наша русская трагедія съ Пушкина началась, съ нимъ и умерла. Его «Борисъ Годуновъ» есть твореніе, достойное занимать первое мѣсто послѣ шекспировскихъ драмъ. Кромѣ того Пушкинъ создалъ особый родъ драмы, который къ настоящему относится, какъ повѣсть къ роману; таковы его: «Сцена между Фаустомъ и Мефистофелемъ», «Сальери и Моцартъ», «Скупой Рыцарь», «Русалка», «Каменный Гость». По формѣ и объему это не больше, какъ драматическіе очерки, но по содержанію и его развитію это—трагедіи, въ полномъ смыслѣ этого слова. По оригинальности и самобытности, онѣ не могутъ быть сравниваемы ни съ какими другими, но по глубокости идей и художественности формы, свидѣтельствующей о непосредственности акта творчества, изъ котораго онѣ вышли, — ихъ достоинство можетъ измѣряться только шекспировскими драмами. Въ наше время великій поэтъ не можетъ быть исключительно эпикомъ, лирикомъ или драматургомъ: въ наши время творческая дѣятельность является въ совокупности всѣхъ сторонъ поэзіи; но великіе художники большей частью начинаютъ съ эпическихъ произведеній, продол-

*) Объ этомъ подробно говорится въ другомъ мѣстѣ этого сочиненія. *Авт.*

Digitized by Google

жаютъ лирикой, а оканчиваютъ драмой. Такъ было и съ Пушкинымъ; даже въ первыхъ поэмахъ его драматическій элементъ рѣзко проявлялся, и многія мѣста въ нихъ образуютъ собой превосходныя трагическія сцены, особенно въ «Цыганахъ» и «Полтавѣ». Послѣднія же произведенія его показываютъ, что онъ рѣшительно обращался къ драмѣ, и что его «драматическіе очерки» были только пробой пера, очиненнаго для болѣе великихъ созданій: каковы же были бы эти созданія! Но смерть застала его въ то время, какъ его геній совершенно созрѣлъ и возмужалъ для драмы,— и страдальческая тѣнь его унесла съ собой

Святую тайну, и для насъ
Погибъ животворящій гласъ!

Всѣ другія попытки на драму въ русской литературѣ, отъ Сумарокова до Кукольника включительно, могутъ имѣть право только на упоминовеніе въ исторіи литературы, гдѣ о нихъ и говорится въ своемъ мѣстѣ, но не въ эстетикѣ, гдѣ имѣютъ право быть указаны только художественныя произведенія.

Комедія если послѣдній видъ драматической поэзіи, діаметрально противоположный трагедіи. Содержаніе трагедіи — міръ великихъ нравственныхъ явленій, герои ея—личности, полныя субстанціальныхъ силъ духовной человѣческой природы; содержаніе комедіи—случайности, лишенныя разумной необходимости, міръ призраковъ или кажущейся, но не существующей на самомъ дѣлѣ дѣйствительности; герои комедіи—люди, отрѣшившіеся отъ субстанціальныхъ основъ своей духовной натуры. Поэтому, дѣйствіе производимое трагедіей,— потрясающій душу священный ужасъ; дѣйствіе, производимое комедіей, — смѣхъ, то веселый, то сардоническій. Сущность комедіи—противорѣчіе явленій жизни съ сущностью и назначеніемъ жизни. Въ этомъ смыслѣ жизнь является въ комедіи, какъ отрицаніе самой себя. Какъ трагедія сосредоточиваетъ въ тѣсномъ кругѣ своего дѣйствія только высокіе, поэтическіе моменты въ событіи героя, такъ комедія изображаетъ преимущественно прозу повседневной жизни, ея мелочи и случайности. Трагедія есть поворотный кругъ солнца поэзіи, которое, доходя до нея, становится въ апогеѣ своего теченія, а переходя въ комедію спускается внизъ. У грековъ комедія была смертью поэзіи. Аристофанъ былъ послѣдній поэтъ ихъ, а его комедіи — похоронная пѣсня на всегда утраченной полноты жизни и возникшаго изъ нея прекраснаго искусства Греціи. Но въ новомъ мірѣ, гдѣ всѣ элементы жизни, проникая друга друга, не мѣшаютъ развитію одинъ другого, комедія не имѣетъ такого печальнаго значенія для искусства: ея элементъ вошелъ или можетъ входить во всѣ роды поэзіи, и она можетъ развиваться вмѣстѣ съ трагедіей, и даже предшествовать ей въ историческомъ развитіи искусства.

Въ основаніи истинно-художественной комедіи лежитъ глубочайшій юморъ. Личности поэта въ ней не видно только по наружности; но его субъективное созерцаніе жизни, какъ artière-pensée, непосредственно присутствуетъ въ ней, и изъ-за животныхъ, искаженныхъ лицъ, выведенныхъ въ комедіи, мерещатся вамъ другія лица, прекрасныя и человѣческія, и смѣхъ вашъ отзывается не веселостью, а горечью и болѣзненностью.,. Въ комедіи жизнь для того показывается намъ такой, какъ она есть, чтобъ навести насъ на ясное созерцаніе жизни такъ, какъ она должна быть. Превосходнѣйшій образецъ художественной комедіи представляетъ собою «Ревизоръ» Гоголя.

Художественная комедія не должна жертвовать предположенной поэтомъ цѣли объективной истиной своихъ изображеній: иначе изъ художественной она сдѣлается дидактической въ томъ смыслѣ, какъ мы ниже этого развиваемъ значеніе этого слова Но если дидактическая комедія выходитъ не изъ невиннаго желанія поострить, но изъ глубоко-оскорбленнаго пошлостью жизни духа, если ея насмѣшка растворена саркастической желчью, въ основаніи ея лежитъ глубочайшій юморъ, въ выраженіи дышитъ бурное одушевленіе, словомъ, если она есть выстраданное созданіе,—то стоитъ всякой художественной комедіи. Разумѣется, такая комедія не можетъ быть произведеніемъ не великаго таланта; изображенія ея могутъ отличаться излишней яркостью и густотой красокъ, но не быть преувеличены до нестественности и карикатурности; разумѣется, что характеры дѣйствующихъ лицъ должны быть въ ней созданы, а не выдуманы, и въ изображеніи ихъ видна бо́льшая или меньшая степень художественности. Высочайшій образецъ такой комедіи имѣемъ мы въ «Горѣ отъ Ума», —этомъ благороднѣйшемъ созданіи геніальнаго человѣка, этомъ бурномъ диѳирамбическомъ изліяніи желчнаго, громового негодованія, при видѣ гнилого общества ничтожныхъ людей, въ души которыхъ не проникалъ лучъ божьяго свѣта, которые живутъ по обветшалымъ преданіямъ старины, по системѣ пошлыхъ и безнравственныхъ правилъ, которыхъ мелкія цѣли и низкія стремленія направлены только къ призракамъ жизни — чинамъ, деньгамъ, сплетнямъ, униженію человѣческаго досто-

Digitized by Google

инства, и которыхъ апатическая, сонная жизнь есть смерть всякаго живого чувства, всякой разумной мысли, всякаго благороднаго порыва... «Горе отъ Ума» имѣетъ великое значеніе и для нашей литературы, и для нашего общества.

Есть еще низшая комедія, которая можетъ возвышаться до художественности созданіемъ оригинальныхъ характеровъ, вѣрнымъ изображеніемъ нравовъ общества, но въ основаніи которой лежитъ не юморъ, а только комическая веселость. По мѣрѣ своего достоинства, такая комедія можетъ относиться и къ искусству, и къ беллетристикѣ, колеблясь между двумя этими сторонами литературы. Въ нашей литературѣ нѣтъ образцовъ такой комедіи. «Недоросль» и «Бригадиръ» Фонвизина относятся къ комедіи нравовъ и сатирической въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова. Истинно-художественная комедія никогда не можетъ устарѣть, вслѣдствіе измѣненія изображенныхъ въ ней нравовъ общества: «Ревизоръ» и «Горе отъ Ума» безсмертны.

Есть еще особый видъ драматической поэзіи, занимающій середину между трагедіей и комедіей: это то, что̀ называется собственно д р а м о й. Драма ведетъ начало свое отъ м е л о д р а м ы, которая въ прошломъ вѣкѣ дѣлала оппозицію надутой и неестественной тогдашней трагедіи, и въ которой жизнь находила себѣ единственное убѣжище отъ мертвящаго псевдо-классицизма, такъ же какъ въ романахъ Радклифъ, Дюкре-де-Мениля и Августа Лафонтена отъ риторическихъ поэмъ вродѣ «Гонзальва Кордуанскаго», «Кадма и Гармоніи» и т. п. Впрочемъ это происхожденіе относится только къ названію «драма», видового, а не родового имени, и развѣ еще къ новѣйшей драмѣ (какова напр. «Клавиго» Гёте). Шекспиръ, всегда шедшій своей дорогой, по вѣчнымъ уставамъ творчества, а не по правиламъ нелѣпыхъ піитикъ, написалъ множество произведеній, которыя должны занимать середину между трагедіей и комедіей, и которыя можно назвать э п и ч е с к и м и д р а м а м и. Въ нихъ есть характеры и положенія трагическія (какъ напр. въ «Венеціанскомъ Купцѣ»); но развязка ихъ почти всегда счастливая, потому что роковая катастрофа не требуется ихъ сущностью. Героемъ драмы должна быть сама жизнь. Но, не смотря на эпическій характеръ драмы, ея форма должна быть въ высшей степени драматической. Драматизмъ состоитъ не въ одномъ разговорѣ, а въ живомъ дѣйствіи разговаривающихъ одного на другого. Если напримѣръ двое спорятъ о какомъ - нибудь предметѣ, тутъ нѣтъ не только драмы, но и драматическаго элемента; но когда спорящіеся, желая пріобрѣсть другъ надъ другомъ поверхность, стараются затронуть другъ въ другѣ какія-нибудь стороны характера или задѣть за слабыя струны души, и когда чрезъ это въ спорѣ высказываются ихъ характеры, а конецъ спора становитъ ихъ въ новыя отношенія другъ къ другу,—это уже своего рода драма. Но главное въ драмѣ — отсутствіе длинныхъ разсказовъ и чтобы каждое слово высказывалось въ дѣйствіи. Драма не должна быть ни простымъ списываніемъ съ природы, ни сборомъ отдѣльныхъ, хотя бы и прекрасныхъ сценъ, но образовывать собой отдѣльный, замкнутый міръ, гдѣ каждое лицо, стремясь къ собственной цѣли и дѣйствуя только для себя, способствуетъ, само того не зная, общему дѣйствію пьесы. А это можетъ быть только тогда, когда драма возникла и развилась изъ мысли, а не слѣпилась черезъ соображеніе.

—

Вотъ всѣ роды поэзіи. Ихъ только три, и больше нѣтъ и быть не можетъ. Но въ піитикахъ и литературахъ прошлаго вѣка существовало еще нѣсколько родовъ поэзіи, между которыми особенную важность имѣлъ д и д а к т и ч е с к і й или п о у ч и т е л ь н ы й. Въ огромныхъ поэмахъ учили земледѣлію, скотоводству, астрономіи, ариѳметикѣ и чуть ли еще не портному мастерству. Этотъ родъ возникъ въ древности по упадкѣ искусства. Обыкновенно, когда поэзія исчезаетъ, ее замѣняетъ стихотворство.

И однакожъ мы признаёмъ существованіе дидактической поэзіи, только принимаемъ дидактику не какъ родъ, а какъ характеръ поэзіи и относимъ ее къ эпическому роду. Слово «дидактическій», по нашему мнѣнію, есть такое же выраженіе свойства и характера, какъ напр. объективный и субъективный.

Образцомъ дидактическихъ поэмъ мы считаемъ не агрономическія поэмы Виргилія, не гораціеву «Ars Poetica», не «L'Art Poétique» Буало, не водяныя поэмы Делиля,—а міро-объемлющія созерцанія исполинской фантазіи и поэтическіе афоризмы Жанъ-Поля Рихтера. Они отличаются отъ произведеній художественной поэзіи тѣмъ, что сознаніе ихъ основной идеи можетъ предшествовать въ душѣ художника самому акту творчества, и тѣмъ еще, что мысль въ нихъ есть главное, а форма только какъ бы средство для ея выраженія. Общаго же съ произведеніями художественной поэзіи они имѣютъ то, что выходятъ изъ живого и пламеннаго вдохновенія, а не мертваго и холоднаго разсудка, берутъ у поэзіи всѣ ея краски, говорятъ душѣ образами, а не отвлечен-

Digitized by Google

ными идеями. Кому извѣстны «Сонъ» и «Уничтоженіе» Жанъ-Поля Рихтера, тѣ поймутъ, о чемъ мы говоримъ. Для незнакомыхъ же съ этимъ писателемъ выписываемъ здѣсь двѣ маленькія его пьески:

— «Любишь ли ты меня?—воскликнулъ молодой человѣкъ въ минуту чистѣйшаго восторга любви, въ то мгновеніе, когда души встрѣчаются и отдаются другъ другу. — Молодая дѣвушка взглянула на него и молчала.

— О, если ты меня любишь,— продолжалъ онъ,—заговори!

Но она взглянула на него, не будучи въ состояніи говорить.

— Да, я былъ слишкомъ счастливъ, я надѣялся, что ты меня любишь, все теперь исчезло—надежда и блаженство!

— Возлюбленный, неужели я тебя не люблю!— и она повторила вопросъ.

— О, зачѣмъ такъ поздно произнесла ты эти небесные звуки!

— Я была слишкомъ счастлива, я не могла говорить; только тогда возвращенъ мнѣ былъ даръ слова, когда ты передалъ мнѣ свою скорбь...»

—

«Старецъ стоялъ подъ окномъ въ полночь на новый годъ и съ горькимъ отчаяніемъ смотрѣлъ на неподвижное, вѣчно-цвѣтущее небо, и оттуда на безмолвную, чистую, обѣленную землю, на которой никому теперь не были столько чужды радость и сонъ, сколько ему, ибо его гробъ стоялъ близъ него; не юношеская зелень, но старческій снѣгъ лежалъ на немъ, и онъ уносилъ съ собой изо всѣхъ богатствъ жизни одни только заблужденія, преступленія и недуги—разоренное тѣло, запустѣвшую душу, грудь, напоенную ядомъ, и возрастъ раскаянія. Прекрасные дни юности мелькали передъ нимъ, какъ привидѣнія, и манили его опять къ тому прелестному утру, когда отецъ въ первый разъ поставилъ его на распутіи жизни, вправо ведущимъ по солнечной стезѣ добродѣтели въ дальнюю мирную страну, полную свѣта и жатвы и полную ангеловъ; влѣво же сводящемъ въ кротовую нору порока, въ черный вертепъ, полный точащагося яда, полный гнѣздящихся змѣй и мрачныхъ, удушающихъ паровъ.

Ахъ! змѣи висѣли у него на груди и капли яда на языкѣ: онъ зналъ теперь, гдѣ онъ былъ!

Безчувственный, съ неизрекаемой скорбью, воскликнулъ онъ къ небу: «Отдай мою юность! о, отецъ мой! поставь меня опять на распутіи, дабы я могъ выбрать иначе!»

Но его отецъ и его юность были уже далеко. Онъ видѣлъ блудящіе огни, скакавшіе по болотамъ, угасавшіе на кладбищѣ, и говорилъ: «Это буйные дни мои!» Онъ видѣлъ падавшую съ неба звѣзду, сверкавшую въ своемъ паденіи и разсыпавшуюся на землѣ: «Это я!» сказало сердце его, облитое кровью, и змѣиные зубы раскаянія глубже еще впились въ раны.

Распаленное воображеніе представляло ему лунатиковъ, бѣгающихъ по кровлямъ: вѣтреная мельница угрожала раздробить его размахнутыми крыльями, и запавшее въ опустѣломъ жилищѣ мертвыхъ страшилище принимало на себя мало-по-малу черты его.

Посреди этихъ ужасныхъ судорогъ вдругъ отдалась съ башни музыка на новый годъ, какъ отдаленное церковное пѣніе. Кроткія, тихія движенія пробудились въ немъ.—Онъ провелъ взоры по небосклону вокругъ широкой земли; вспомнилъ о друзьяхъ своей юности, которые, счастливѣе и лучше его, были теперь наставниками земли, отцами счастливыхъ дѣтей, благословляемыми мужами; вспомнилъ—и воскликнулъ: «О! и я бы могъ, еслибъ захотѣлъ, продремать эту первую ночь такъ же, какъ и вы, съ сухими глазами! — ахъ! я бы могъ быть счастливымъ, любезные родители! когда бы исполнилъ ваши новогодныя желанія и наставленія!»

Въ лихорадочномъ воспоминаніи о дняхъ юности ему показалось, что на кладбищѣ встаетъ страшилище, имѣющее черты его: суевѣріе, мечтающее ночью подъ новый годъ видѣть духовъ будущности, превратило это страшилище въ живого юношу.

Онъ не могъ смотрѣть болѣе;—закрылъ глаза;— потоки горячихъ слезъ брызгали изъ нихъ, растопляя снѣгъ; онъ вздыхалъ—и вздыхалъ тихо, безутѣшно, безчувственно: «Воротись только, воротись опять, юность!»

. . . . . *И она опять воротилась*, ибо это былъ только страшный *сонъ* подъ новый годъ. *Онъ былъ еще юноша*: только—*заблужденія его были не сонъ!*—Но онъ благодарилъ Бога, что, будучи юнъ еще, можетъ пока воротиться назадъ съ грязныхъ путей порока и вступить снова на солнечную стезю, ведущую въ богатую страну жатвы.

Воротись съ нимъ, юный читатель! если стоишь на его пути лукавомъ! Этотъ ужасный сонъ будетъ нѣкогда твоимъ судьей: и если ты тогда съ сокрушеніемъ звать будешь: «Воротись, прекрасная юность!»—ахъ, она не воротится!»

Русская литература имѣетъ писателя, по духу, формѣ и достоинству своихъ произведеній близкаго къ Жанъ-Полю Рихтеру. Мы говоримъ о князѣ Одоевскомъ, и имѣемъ въ виду такія его произведенія, какъ «Послѣдній Квартетъ Бетховена», «Operi del cavaliere Giambattista Piranesi», «Импровизаторъ», «Насмѣшка Мертваго», «Бригадиръ» и пр. Содержаніе каждой изъ этихъ пьесъ составляетъ феноменъ духа человѣческаго или нравственный вопросъ въ глубочайшемъ значеніи этого слова: въ основѣ ихъ глубокое міросозерцаніе и благородный юморъ, форма дышетъ красками вдохновенной поэзіи, мысль мощно охватываетъ душу читателя и высказывается рѣзко и опредѣленно. Колоритъ этихъ пьесъ—фантастическій, какъ самый приличный произведеніямъ такого рода. Впрочемъ и повѣсть кн. Одоевскаго «Княжна Мими», хотя ея содержаніе и взято изъ прозы жизни, принадлежитъ также къ тому, что̀ мы называемъ дидактической поэзіей. Ея цѣль чисто-нравственная; но эта цѣль высказывается въ живыхъ картинахъ, въ увлекательномъ разсказѣ, въ проникнутыхъ чувствомъ и одушевленіемъ мысляхъ, а не въ холодной аллегоріи, не въ моральныхъ сентенціяхъ и ходячихъ истинахъ, которыхъ справедливость всѣ признаютъ, какъ и то, что два, умноженные на два, составляютъ четыре, но которыя всѣмъ надоѣли, никого не убѣждаютъ, какъ и почтенныя истины, что если выйдешь на холодъ съ открытой грудью, то можешь простудиться, а если пойдешь на улицу въ дождь, то непремѣнно вымочишься.

Желая быть для всѣхъ сколько возможно

Digitized by Google

ясными, выписываемъ здѣсь одну пьесу кн. Одоевскаго, какъ фактъ того, что́ мы называемъ дидактической поэзіей.

«Балъ разгорался часъ-отъ-часу сильнѣе; надъ безчисленными тускнѣющими свѣчами волновался тонкій чадъ и сквозь него трепетали штофные занавѣсы, мраморныя вазы, золотыя кисти, барельефы, колонны, картины; отъ обнаженной груди красавицъ поднимался знойный воздухъ, и часто, когда пáры, будто вырвавшіяся изъ рукъ чародѣя, въ быстромъ круженіи промелькивали передъ глазами,—васъ, какъ въ безводныхъ степяхъ Аравіи, обдавалъ горячій, удушающій вѣтеръ; часъ-отъ-часу скорѣе развивались душистые локоны; смятая дымка небрежнѣе свертывалась на распаленныя плечи; быстрѣе бился пульсъ, чаще встрѣчались руки, близились вспыхивающія лица; томнѣе дѣлались взоры, слышнѣе смѣхъ и шопотъ; старики поднимались съ мѣстъ своихъ, расправляли безсильные члены, и въ ихъ остолбенѣлыхъ глазахъ мѣшалась горькая зависть съ бѣшенымъ воспоминаніемъ прошедшаго—и все вертѣлось, прыгало, бѣсновалось въ сладострастномъ безуміи...

На небольшомъ возвышеніи съ визгомъ скользили смычки по натянутымъ струнамъ, трепеталъ могильный голосъ валторнъ и однообразные звуки литавръ отзывались насмѣшливымъ хохотомъ. Сѣдой капельмейстеръ, съ улыбкой на лицѣ, внѣ себя отъ восторга, безпрестанно учащалъ размѣръ и взоромъ, тѣлодвиженіями возбуждалъ утомленныхъ музыкантовъ.

— «Не правда ли?—говорилъ онъ мнѣ отрывисто, не оставляя смычка:—«не правда ли? я говорилъ, что оживлю этотъ балъ—и сдержалъ свое слово. Все дѣло въ музыкѣ,—не умѣютъ составлять ее, она поднимаетъ съ мѣста,—она невольно вводитъ танцующихъ въ упоеніе—въ сочиненіяхъ славныхъ музыкантовъ есть мѣста, которыя производятъ странное дѣйствіе — я славно подобралъ ихъ—въ этомъ все дѣло—вотъ слышите: это вопль донны Анны, когда донъ-Хуанъ насмѣхается надъ нею; вотъ это стонъ умирающаго командора; вотъ минута, когда Отелло начинаетъ вѣрить своей ревности, вотъ послѣдняя молитва Дездемоны...»

Еще долго капельмейстеръ исчислялъ мнѣ всѣ человѣческія страданія, получившія голосъ въ произведеніяхъ славныхъ музыкантовъ; но я не слушалъ его болѣе,—я замѣтилъ въ музыкѣ что-то странное, отворожительно-ужасное, я замѣтилъ, что къ каждому звуку присоединялся другой звукъ, болѣе пронзительный, отъ котораго холодъ пробѣгалъ по жиламъ и волосы дыбомъ становились на головѣ; прислушиваюсь: то какъ-будто крикъ страждущаго младенца, или буйный вопль юноши, или визгъ сиротѣющей матери, или трепещущее стенаніе старца, и всѣ голоса различныхъ терзаній человѣческихъ явились мнѣ, какъ музыкальные тоны, разложенными по степенямъ одной безконечной *гаммы*, продолжавшейся отъ перваго вопля новорожденнаго до послѣдней мысли умирающаго Байрона: каждый звукъ вырывался изъ раздраженнаго нерва и каждый напѣвъ былъ судорожнымъ движеніемъ.

Этотъ страшный оркестръ темнымъ облакомъ висѣлъ надъ танцующими,—при каждомъ ударѣ оркестра вырывались изъ облака: и громкая рѣчь негодованія, и прерывающійся лепетъ побѣжденнаго болью, и глухой говоръ отчаянія, и рѣзкая скорбь жениха, разлученнаго съ невѣстой, и раскаяніе измѣны, и крикъ торжествующихъ возмутителей, и насмѣшка невѣрія, и безплодное рыданіе генія, и таинственная печаль обманутаго лицемѣра, и стонъ страдальца, непризнаннаго своимъ вѣкомъ, и вопль человѣка, въ грязь стоптавшаго сокровищницу души своей, и болѣзненный голосъ изможденнаго долгой жизнью человѣка, и радость мщенія, и трепетаніе злобы, и упоеніе истребителя, и томленіе жажды, и скрежетъ зубовъ, и хрустъ костей, и плачъ, и взрыдъ, и хохотъ... и все сливалось въ неистовыя созвучія, которыя громко выговаривали проклятіе природѣ и ропотъ на провидѣніе; при каждомъ ударѣ оркестра выставлялись изъ него: то посинѣлое лицо истерзаннаго пыткою, то смѣющіеся глаза сумасшедшаго, то трясущіяся колѣни убійцы, то замолчавшія уста убитаго тайной грустью; изъ темнаго облака капали на паркетъ кровавыя слезы,—по нимъ скользили атласные башмаки красавицъ—и все попрежнему вертѣлось, прыгало, бѣсновалось въ сладострастномъ холодномъ безуміи...

Долго за разсвѣтъ длился балъ, долго поднятые съ постели житейскими заботами останавливались посмотрѣть на мелькающія тѣни въ свѣтлыхъ окошкахъ.

Закруженный, усталый, исторзанный его мучительнымъ весельемъ, я выскочилъ на улицу изъ душныхъ комнатъ и впивалъ въ себя свѣжій воздухъ; утренній благовѣстъ терялся въ шумѣ разъѣзжающихся экипажей, и предо мной были растворенныя двери храма.

Я вошелъ; въ церкви пусто; одна свѣча горѣла предъ иконой, и тихій голосъ священника раздавался подъ сводами: онъ произносилъ завѣтныя слова любви, вѣры, надежды; онъ возвѣщалъ таинство искупленія, онъ говорилъ о Томъ, Кто соединилъ въ Себѣ всѣ страданія человѣка; онъ говорилъ о высокомъ созерцаніи Божества, о мирѣ душевномъ, о милосердіи къ ближнему, о братскомъ соединеніи человѣчества, о забвеніи обидъ, о прощеніи врагамъ, о тщетѣ замысловъ богопротивныхъ, о безпрерывномъ совершенствованіи души человѣка, о смиреніи предъ судьбами Всевышняго; онъ молился объ оглашенныхъ, о предстоящихъ!

Я бросился къ притвору храма, хотѣлъ удержать бѣснующихся страдальцевъ, сорвать съ сладострастнаго ложа ихъ растерзанное сердце, возбудить его отъ холоднаго сна огненной гармоніей любви и вѣры, но уже было поздно!—всѣ проѣхали мимо церкви и никто не слыхалъ словъ священника...»

Была еще въ старину такъ называемая описательная поэзія. Цѣлыя огромныя поэмы были посвѣщаемы описанію извѣстныхъ садовъ, мѣстоположеній, временъ года и проч.; такую поэзію приличнѣе было-бы назвать статистической. Впрочемъ это вздоръ, который не стоитъ и опроверженія. Поэзія говоритъ не описаніями, а картинами и образами; поэзія не описываетъ и не списываетъ предмета, а создаетъ его.

Была еще эпиграмматическая поэзія. Выше мы намекнули на значеніе эпиграммы у древнихъ. Въ наше время это — острота, bon-mot, оправленное въ риѳму. Въ прошломъ вѣкѣ эпиграмма занимала почетное мѣсто въ ряду другихъ родовъ поэзіи; иные поэты тогда только и писали, что эпиграммы. Теперь это—или шалость поэта, или его хлопушка по иной физіономіи. Во всякомъ случаѣ она относится не къ искусству, а къ беллетристикѣ.

Digitized by Google

ИДЕЯ ИСКУССТВА*).

Искусство есть непосредственное созерцаніе истины или мышленіе въ образахъ.

Въ развитіи этого опредѣленія искусства заключается вся теорія искусства: его сущность, его раздѣленіе на роды, равно какъ условія и сущность каждаго рода.

Примѣч. Это опредѣленіе еще въ первый разъ произносится на русскомъ языкѣ, и его нельзя найти ни въ одной русской эстетикѣ или такъ-называемой теоріи словесности,—и поэтому, чтобы оно не показалось страннымъ, дикимъ и ложнымъ для тѣхъ, которые слышатъ его въ первый разъ, мы должны войти въ самыя подробныя объясненія всѣхъ представленій, заключающихся въ этомъ совершенно новомъ у насъ опредѣленіи искусства, — хотя бы многое тутъ и не относилось собственно къ искусству, и могло бы для людей, знакомыхъ съ наукой въ ея современномъ состояніи, показаться неважнымъ, лишнимъ, мелочно-подробнымъ.

Первое, что особенно должно, въ нашемъ опредѣленіи искусства, поразить собою, какъ странностью, многихъ изъ читателей,—есть безъ сомнѣнія то, что мы искусство называемъ мышленіемъ, и тѣмъ самымъ соединяемъ между собой два самыя противоположныя, самыя несоединимыя представленія.

Въ самомъ дѣлѣ, философія всегда враждовала съ поэзіей, — и въ самой Греціи, истинномъ отечествѣ и поэзіи, и философіи, философъ осудилъ поэтовъ на изгнаніе изъ своей идеальной республики, хотя и увѣнчалъ ихъ предварительно лаврами. Общее мнѣніе приписываетъ поэтамъ живую, страстную натуру, которая заставляетъ ихъ увлекаться настоящимъ мгновеніемъ, забывая о прошедшемъ и будущемъ, пріятному жертвовать полезнымъ, ненасытимую ничѣмъ и никогда не удовлетворяемую жажду наслажденія, всегда предпочитаемаго нравственности, легкость, измѣнчивость и непостоянство во вкусахъ и стремленіяхъ, наконецъ — безпокойную фантазію, которая всегда увлекаетъ ихъ отъ дѣйствительнаго въ идеальному и отнимаетъ въ ихъ глазахъ цѣну вѣрному счастью дня для прекрасной и несбыточной мечты. Напротивъ, философамъ общее мнѣніе приписываетъ стремленіе къ мудрости, какъ высшему благу жизни, непонятному для толпы и недостижимому для людей обыкновенныхъ; вмѣстѣ съ тѣмъ оно почитаетъ ихъ неотъемлемыми качествами — несокрушимую силу воли, постоянства въ стремленіи къ единой и неизмѣнной цѣли, благоразуміе въ поступкахъ, умѣренность въ желаніяхъ, предпочтеніе полезнаго и истиннаго пріятному и обольщающему, умѣніе достигать въ жизни благъ прочныхъ, дѣйствительныхъ и наслаждаться, находя ихъ источникъ въ самихъ себѣ, въ таинственной сокровищницѣ своего безсмертнаго духа, а не въ призрачной внѣшности и калейдоскопической пестротѣ обманчивыхъ обольщеній земной жизни. И потому общее мнѣніе видитъ въ поэтѣ любимое дитя, счастливаго баловня пристрастной матери-природы, дитя испорченное, шаловливое, капризное, часто злое даже, но тѣмъ больше очаровательное и милое; въ философѣ видитъ оно строгаго служителя вѣчной истины и мудрости, олицетворенную правду въ словахъ, добродѣтель въ поступкахъ. И потому перваго встрѣчаетъ оно съ любовью, и если, оскорбляемое его легкостью, изъявляетъ ему иногда свое негодованіе, то не иначе, какъ съ улыбкой на устахъ; второго встрѣчаетъ оно съ уваженіемъ, сквозь котораго просвѣчиваютъ робость и холодность. Однимъ словомъ, простое, непосредственное, эмпирическое сознаніе видитъ между поэзіей и философіей ту же разницу, какъ и между живой, пламенной, радужной, легкокрылой фантазіей и сухимъ, холоднымъ, кропотливымъ и суровымъ брюзгой-разсудкомъ. Но то же самое общее мнѣніе, которое положило между поэзіей и философіей такую же разницу, какъ-бы между огнемъ и водой, жаромъ и холодомъ,—то же самое общее мнѣніе или непосредственное сознаніе указало имъ и одинаковое стремленіе къ единой цѣли—къ небу. Поэзіи приписываетъ оно божественную силу восторгать къ небу духъ человѣческій высокими ощущеніями, возбуждая ихъ въ немъ прекрасными нерукотворенными образами общей жизни; дѣломъ философіи поставляетъ оно роднить

*) Это другой отрывокъ изъ отдѣла Эстетики, найденный въ бумагахъ покойнаго, бо́льшая часть которыхъ, къ несчастью, была уничтожена имъ самимъ въ 1848 году. Весь написанный карандашемъ и оставленный неконченнымъ, онъ принадлежитъ, судя по всему, къ одному времени съ первымъ.

Digitized by Google

духъ человѣческій съ тѣмъ же небомъ и тѣми же высокими ощущеніями, но возбуждая ихъ живымъ сознаніемъ въ мысли законовъ общей жизни.

Мы нарочно привели здѣсь простое, естественное сознаніе толпы: оно всѣмъ доступно и вмѣстѣ съ тѣмъ заключаетъ въ себѣ глубокую истину, такъ что наука вполнѣ подтверждаетъ и оправдываетъ его. Дѣйствительно, въ самой сущности искусства и мышленія заключается и ихъ враждебная противоположность, и ихъ тѣсное, единокровное родство другъ съ другомъ, какъ мы увидимъ ниже.

Все сущее, все, что̀ есть, все, что̀ называемъ мы матеріей и духомъ, природой, жизнью, человѣчествомъ, исторіей, міромъ, вселенной,—все это есть мышленіе, которое само себя мыслитъ. Все существующее, все это бозконечное разнообразіе явленій міровой жизни есть не что иное, какъ формы и факты мышленія; слѣдовательно существуетъ одно мышленіе, и кромѣ мышленія ничто не существуетъ.

Мышленіе есть дѣйствіе, а всякое дѣйствіе необходимо предполагаетъ при себѣ движеніе. Мышленіе состоитъ въ діалектическомъ движеніи или развитіи мысли изъ самой себя. Движеніе или развитіе есть жизнь и сущность мышленія: безъ нихъ не было бы движенія, а была бы какая-то мертвая, неподвижно-стоячая пребываемость первосущныхъ силъ только что наклюнувшейся жизни, безъ всякаго опредѣленія, осуществившаяся въ явѣ картина хаотическаго состоянія души, съ такой ужасающей вѣрностью изображенная поэтомъ:

То было тьма безъ темноты;
То было бездна пустоты
Безъ протяженья и границъ;
То были образы безъ лицъ;
То страшный міръ какой-то былъ,
Безъ неба, свѣта и свѣтилъ,
Безъ времени, безъ дней и лѣтъ,
Безъ промысла, безъ благъ и бѣдъ,
Ни жизнь, ни смерть—какъ сонъ гробовъ,
Какъ океанъ безъ береговъ,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, мрачный и нѣмой.

Точка отправленія, исходный пунктъ мышленія есть божественная абсолютная идея; движеніе мышленія состоитъ въ развитіи этой идеи изъ самой себя, по законамъ высшей (трансцендентальной) логики или метафизики; развитіе идеи изъ самой себя есть ея прохожденіе черезъ собственные моменты,—какъ мы покажемъ это ниже самимъ примѣромъ.

Развитіе идеи изъ самой себя или изнутри самой себя называется на философскомъ языкѣ имманентнымъ. Отсутствіе всякихъ внѣшнихъ вспомогательныхъ способовъ и толчковъ, которые могъ бы представить опытъ, есть условіе имманентнаго развитія; въ жизненномъ содержаніи самой идеи заключается органическая сила имманентнаго развитія, — такъ живое зерно заключаетъ въ нѣдрахъ своихъ силу своего развитія въ растеніе, — и чѣмъ богаче жизненное содержаніе, въ нѣдрахъ зерна заключенное, тѣмъ могущественнѣйшее растеніе развивается изъ него, и наоборотъ. изъ жолудя и изъ маленькаго орѣшка развиваются величественный дубъ и огромный кедръ, въ облака упирающіеся своими вершинами, и изъ картофелины, которая можетъ-быть въ пятьдесятъ разъ больше жолудя и въ тысячу разъ больше кедроваго орѣха,—огородная былинка, едвали на нѣсколько вершковъ возвышающаяся надъ землей:

Мышленіе необходимо условливаетъ собой существованіе двухъ противоположныхъ, какъ явленія, сторонъ духа, которыя себѣ находятъ въ немъ свое примиреніе, единство и тожество: это—духъ субъективный (внутренній, мыслящій) и духъ объективный (внѣшній первому, мыслимый, предметъ мышленія). Изъ этого ясно видно, что мышленіе, какъ дѣйствіе, необходимо предполагаетъ два противоположные другъ другу предмета—мыслящій (субъектъ) и мыслимый (объектъ), и что оно невозможно безъ разумнаго существа — человѣка. Послѣ этого насъ вправѣ спросить: какимъ же образомъ весь міръ и сама природа есть не что иное, какъ мышленіе?

Мыслимое съ мыслящимъ однородно, единосущно и тождественно, такъ что первое движеніе первобытной матеріи, стремившейся стать (werden) нашей планетой, и послѣднее разумное слово сознающаго человѣка есть не что иное, какъ одна и та же сущность, только въ различныхъ моментахъ своего развитія. Сфера познаваемаго есть почва, изъ которой возникаетъ и образуется сознаніе.

Ничто повидимому такъ ни противоположно и ни враждебно одно другому, какъ природа и духъ, и въ то-же время ничто такъ и ни родственно и ни единосущно одно съ другимъ, какъ природа и духъ. Духъ есть причина и жизнь всего сущаго; но самъ по себѣ онъ есть только возможность бытія, но не его дѣйствительность; чтобы стать (werden) бытіемъ, дѣйствительнымъ, онъ долженъ былъ явиться тѣмъ, что̀ мы называемъ міромъ, и прежде всего стать природой.

И такъ, природа есть первый моментъ духа, изъ возможности стремящагося стать дѣйствительностью. Но и этотъ первый шагъ его къ бытію дѣйствительному не былъ имъ сдѣланъ вдругъ, но совершался въ послѣдовательномъ рядѣ множества моментовъ, изъ которыхъ каждый ознамено-

Digitized by Google

вался особенной ступенью творенія. Прежде нежели явились творенія, населяющія землю, образовалась сама земля, и образовалась не вдругъ, а постепенно, перейдя черезъ множество превращеній, перетерпѣвъ множество переворотовъ, но такъ, что всякій послѣдующій переворотъ былъ ступенью къ ея совершенству*). Законъ всякаго развитія есть то, что каждый послѣдующій моментъ выше предшествовавшаго. Но вотъ планета наша готова,—и изъ нѣдръ ея возникаютъ милліоны созданій, образующія собой три царства природы. Мы видимъ ихъ въ безпорядкѣ, въ хаотическомъ смѣшеніи: на вершинѣ дерева сидитъ птица, у корня змѣя сторожитъ свою добычу, возлѣ пасется волъ и т. д. Воля человѣка на одномъ небольшомъ пространствѣ соединяетъ самыя разнородныя явленія природы: бѣлаго медвѣдя, жителя полярныхъ льдовъ, со львомъ и тигромъ, жителями знойныхъ странъ тропическихъ; разводитъ въ Европѣ американскія растенія — табакъ и картофель, и въ сѣверныхъ странахъ, съ помощью теплицъ, возращаетъ роскошные плоды вѣчно-весенняго юга. Но въ этомъ хаотическомъ безпорядкѣ, въ этой пестрой смѣси, въ этомъ безконечномъ разнообразіи теряется и исчезаетъ только утомленный взоръ человѣка: разумъ же его видитъ въ этихъ явленіяхъ строгую послѣдовательность, непреложное единство. Отвлекая отъ этихъ безконечно-разнообразныхъ и безконечно-безчисленныхъ явленій природы ихъ общія свойства, онъ доходитъ до сознанія родовъ и видовъ,—и нестройный хаосъ исчезаетъ передъ нимъ, уступая мѣсто совершенному порядку; милліоны случайныхъ явленій превращаются въ единицы необходимыхъ явленій, изъ которыхъ каждое есть навсегда остановившійся въ своемъ полетѣ моментъ воплощенія развивающейся божественной идеи! Какая строгая послѣдовательность! Нигдѣ нѣтъ скачковъ — звенья цѣпляются за звенья и образуютъ единую безконечную цѣпь, въ которой каждое послѣдующее звено лучше предшествовавшаго! Коралловыя деревья соединяютъ минеральное царство съ растительнымъ; полипы—животнорастенія соединяютъ живымъ звеномъ растительное царство съ животнымъ, которое открывается міріадами насѣкомыхъ, этихъ какъ бы сорвавшихся съ своихъ стеблей и летающихъ цвѣтовъ, и постепенно переходя до высшихъ организацій, оканчивается оранг-утангомъ, этимъ неудавшимся человѣкомъ! Всему свое мѣсто и время, и каждое послѣдующее явленіе есть какъ бы необходимый результатъ предшествовавшаго: какая строгая логическая послѣдовательность, какое непреложно-правильное мышленіе! Но вотъ является человѣкъ — и царство природы оканчивается, начинается царство духа, но духа, еще порабощеннаго природѣ, хотя уже и порывающагося къ свободѣ чрезъ побѣду надъ нею. Полу-звѣрь и полу-человѣкъ, онъ весь покрытъ волосами, огромный станъ его наклоненъ впередъ, нижняя челюсть высунулась впередъ, голени почти безъ икръ, большой палецъ на ногахъ отстоящій; но его надежда уже не на одну силу, но и на ловкость и соображеніе; руки его вооружены, но не простой палкой, не дубиной, но чѣмъ-то вродѣ каменнаго топора, прикрѣпленнаго къ длинной палкѣ... Въ Австраліи мы видимъ дикарей, раздѣленныхъ на племена: они пожираютъ подобныхъ себѣ,— и физіологи говорятъ, что причина этого страшнаго заблужденія — ихъ организація, требующая пищи изъ человѣческаго мяса, какъ наилучше претворяющагося въ кровь и въ плоть питающихся имъ. Туземецъ Африки— лѣнивое, звѣрообразное, тупоумное существо, осужденное на вѣчное рабство и работающее изъ подъ палки и смертельныхъ истязаній. Въ Америкѣ только мелкія племена на окружающихъ ее островахъ были подвержены человѣкоядѣнію; на материкѣ же ея были двѣ огромныя монархіи, Перу и Мехика, представительницы высшаго образованія, до какого только могли достигнуть дикари высшей противъ другихъ организаціи. Какая правильная постепенность; какая строго-непреложная послѣдовательность въ этихъ переходахъ изъ низшаго рода въ высшій, изъ низшей организаціи въ высшую, въ этомъ безконечномъ стремленіи духа найти самого себя, какъ самосознающую личность. Принимая новую форму и какъ бы не удовлетворяясь ею, онъ не разрушаетъ ея, но оставляетъ какъ воплощенный и навсегда прикованный къ пространству моментъ своего развитія,—и принимаетъ новую форму, какъ выраженіе новаго момента своего развитія. Бѣдные сыны Америки и теперь остались тѣми же, какими застали ихъ европейцы. Переставши бояться огнестрѣльнаго оружія, какъ гласа боговъ раздраженныхъ, даже научившись употреблять его сами,—они все-таки нисколько не очеловѣчились съ тѣхъ поръ, и дальнѣйшаго развитія человѣческаго существа мы должны искать въ Азіи. Только тутъ кончилось твореніе, природа совершила свой полный кругъ и уступила свое мѣсто новому, чисто духовному развитію—исторіи. Тутъ опять раздѣленіе человѣческаго рода на расы — и племя кав-

*) Новая Голландія и теперь еще представляетъ собой зрѣлище не достигшаго своего развитія материка.

Digitized by Google

казское является цвѣтомъ человѣчества. Изъ колѣнъ и племенъ образуются народы, изъ семействъ — государства, и каждое государство есть не что иное, какъ моментъ духа, развивающагося въ человѣчествѣ, и даже время явленія каждаго соотвѣтствуетъ моменту развивающейся изъ себя абстрактной мысли или философскому мышленію. И для человѣчества тѣ же законы, что̀ и для человѣческой личности: и для него есть эпохи младенчества, юности и возмужалости. Въ своей священной колыбели, въ Азіи, оно—дитя природы, спеленатое ею по рукамъ и по ногамъ, исповѣдуетъ непосредственную вѣру преданія, живетъ религіозными миѳами до тѣхъ поръ, пока въ Греціи не вышло изъ-подъ опеки природы, а темныя религіозныя вѣрованія изъ символовъ не возвысило до поэтическихъ о̀бразовъ и не просвѣтлило свѣтомъ разумной мысли. Жизнь греческаго народа была цвѣтомъ древней жизни, конкреціей ея элементовъ, богатымъ пиромъ, за которымъ послѣдовалъ упадокъ древняго міра. Младенчество кончилось—наступилъ періодъ религіозный, по преимуществу рыцарскій, поэтическій, полный жизни, движенія, романическихъ подвиговъ, несбыточныхъ предпріятій. Открытіе Америки, изобрѣтеніе пороху и книгопечатанія были внѣшними толчками для перехода человѣчества изъ юношескаго возраста въ эпоху возмужалости, продолжающейся и теперь. Каждый вѣкъ вытекалъ изъ другого и одинъ былъ необходимымъ результатомъ другого.

Старѣясь въ сомнѣньяхъ
О великихъ тайнахъ,
Идутъ невозвратно
Вѣка за вѣками;
У каждаго вѣка
Вѣчность вопрошаетъ,
Чѣмъ кончилось дѣло?
Вопроси другого!
Каждый отвѣчаетъ.

Каждое важное событіе въ человѣчествѣ совершается въ свое время, а не прежде и не послѣ. Каждый великій человѣкъ совершаетъ дѣло своего времени, рѣшаетъ современные ему вопросы, выражаетъ своей дѣятельностью духъ того времени, въ которое онъ родился и развился. Въ наше время невозможны ни крестовые походы, ни инквизиція, ни всемірное владычество державнаго священника; въ средніе вѣка невозможны были ни эта личная безопасность, которой пользуется каждый изъ членовъ новѣйшаго гражданскаго общества, ни это свободное развитіе, возможность котораго̀ предоставляетъ новѣйшее гражданское общество даже послѣднѣйшему изъ своихъ членовъ, ни эти великія побѣды духа надъ природой, или, лучше сказать, это полное покореніе природы духу, которое выразилось въ паровыхъ машинахъ, почти уничтожившихъ время и пространство. Организаціи, подобныя организаціямъ Колумба, Карла V, Франциска I, герцога Альбы, Лютера и проч., возможны и въ наше время, какъ онѣ и всегда были возможны; да только, явившись въ наше время, онѣ совсѣмъ не такъ бы дѣйствовали и не то бы совсѣмъ сдѣлали.

Итакъ, отъ перваго пробужденія довременныхъ силъ и элементовъ жизни, отъ перваго движенія ихъ въ матеріи чрезъ всю лѣствицу развивавшейся въ твореніи природы до вѣнца творенія—человѣка; отъ перваго соединенія людей въ общества до послѣдняго историческаго факта нашего времени—одна цѣпь развитія, нигдѣ не прерывающаяся, единая лѣствица съ земли на небо, на которой нельзя подняться на высшую ступень, не опершись на ту, которая подъ ней! И въ природѣ, и въ исторіи владычествуетъ не слѣпой случай, а строгая, непреложная внутренняя необходимость, по причинѣ которой всѣ явленія связаны другъ съ другомъ родственными узами, въ безпорядкѣ является стройный порядокъ, въ разнообразіи единство, и по причинѣ которой возможна наука, Что̀ же такое эта внутренняя необходимость, дающая смыслъ и значеніе всѣмъ явленіямъ бытія, и эта строгая послѣдовательность и постепенность, въ которой явленія слѣдуютъ другъ за другомъ, какъ бы выходя другъ изъ друга?—Это мышленіе, само себя мыслящее.

Природа есть какъ бы средство для духа стать дѣйствительностью и увидѣть, и сознать самого себя. Поэтому ея вѣнецъ—человѣкъ, съ которымъ окончилась и на которомъ остановилась ея творческая дѣятельность. Гражданское общество есть средство для развитія человѣческихъ личностей, которыя суть все, и въ которыхъ живетъ и природа, и общество, и исторія, въ которыхъ снова повторяются всѣ процессы міровой жизни, то есть природы и исторіи. Какимъ же образомъ это происходитъ? Чрезъ мышленіе, посредствомъ котораго человѣкъ проводитъ черезъ себя все внѣ его существующее—и природу, и исторію, и наконецъ собственную свою личность, какъ будто бы и она была чуждый и внѣ его находящійся предметъ.

Въ человѣкѣ духъ обрѣлъ самого себя, нашелъ свое полное и непосредственное выраженіе, сознаъ въ немъ себя, какъ субъектъ или личность. Человѣкъ есть воплощенный разумъ, существо мыслящее—титулъ, которымъ онъ и отличается отъ всѣхъ другихъ существъ и возвышается какъ царь надъ всѣмъ твореніемъ. Подобно всему въ

Digitized by Google

природѣ существующему, онъ есть мышленіе уже по одному непосредственному существованію, какъ факту; но еще болѣе есть онъ мышленіе по дѣйствію своего разума, въ которомъ повторяется, какъ въ зеркалѣ, все бытіе, весь міръ, со всѣми его явленіями, физическими и умственными. Средоточіе и фокусъ этого мышленія есть его *я*, которое или которому онъ противопоставляетъ и на которое онъ рефлектируетъ (отражаетъ) всякій мыслимый имъ предметъ, не исключая и самого себя. Еще не пріобрѣтши никакихъ идей, онъ уже родится мыслящимъ, ибо самая природа его непосредственно открываетъ ему тайны бытія,—и всѣ первоначальные миѳы младенчествующихъ народовъ суть не выдумки, не изобрѣтенія, не вымыслы, а непосредственное откровеніе истины о Богѣ и мірѣ и ихъ отношеніяхъ,—откровенія, которыя своей образностью дѣйствовали на младенческій умъ не прямо, а чрезъ фантазію передавались сперва чувству. Вотъ религія въ ея философскомъ опредѣленіи: непосредственное представленіе истины.

Во всякомъ младенчествующемъ народѣ замѣчается сильная наклонность выражать кругъ своихъ понятій видимымъ чувственнымъ образомъ и, начиная съ символа, доходить до поэтическихъ образовъ. Это второй путь, вторая форма мышленія—искусство, котораго философское опредѣленіе есть непосредственное созерцаніе истины. Мы къ нему скоро возвратимся, такъ какъ оно составляетъ главный предметъ нашей книги.

Наконецъ вполнѣ развившійся и созрѣвшій человѣкъ переходитъ въ высшую и послѣднюю сферу мышленія—въ мышленіе чистое, отрѣшенное отъ всего непосредственнаго, все возвышающее до чистаго понятія и опирающееся на само себя.

Очевидно, что все это только три различные пути, три различныя формы одного и того же содержанія, которое есть бытіе. Какъ бы то ни было, только эти три рода мышленія, если можно такъ выразиться, совсѣмъ не то, что́ мы называли мышленіемъ до человѣка, міромъ природы и исторіи. Дѣйствительно, это не одно и то же, хотя и одно и то же, точно такъ-же, какъ человѣкъ-младенецъ и человѣкъ мужъ есть не одно и то же существо, хотя послѣдній все-таки есть не что иное, какъ новая и высшая форма перваго.

Читатели не забыли, что въ нашемъ опредѣленіи искусства мы употребили слово «непосредственный»; вѣроятно также они замѣтили, что и потомъ мы часто его употребляли. Значеніе этого слова такъ важно, оно замѣняетъ собой такъ много словъ, и поэтому частое употребленіе его такъ необходимо, что мы почитаемъ долгомъ сдѣлать отступленіе отъ предмета для его объясненія.

Слово «непосредственный» и происходящее отъ него «непосредственность» взято съ нѣмецкаго языка и принадлежитъ новѣйшей философіи. Оно означаетъ и бытіе, и дѣйствіе прямо изъ самого себя выходящее, безъ всякаго посредства. Объяснимъ это примѣромъ. Ежели вы знаете человѣка по его образу мыслей и его образу жизни и характеру дѣйствій, любите и уважаете его за нихъ,—вы знаете его не непосредственно, потому-что онъ открылся вашему разумѣнію не непосредственно, а посредствомъ своего образа мыслей, жизни и дѣйствій. И такимъ вы можете передать его и разумѣнію другого человѣка, никогда его не видавшаго,—и изъ вашихъ словъ этотъ другой можетъ почувствовать къ нему такое же уваженіе и такую же любовь. Но тутъ еще не весь человѣкъ, а только тѣнь, которую онъ отъ себя отбрасываетъ, не самъ человѣкъ, а только его описаніе. Когда вы слышите отъ другого разсказъ о такомъ человѣкѣ, — умъ вашъ занятъ болѣе или менѣе яснымъ представленіемъ разныхъ хорошихъ и дурныхъ качествъ, но воображеніе ваше пусто,—въ немъ не отражается, какъ въ зеркалѣ, никакого живого образа, который бы говорилъ самъ за себя или подтверждалъ бы то, что́ вамъ говорятъ о немъ. Что жъ это значитъ? — то, что какъ описаніе примѣтъ человѣка не даетъ яснаго представленія его наружности, такъ и изображеніе (отвлеченіе) его хорошихъ или дурныхъ качествъ, какъ бы ни были они замѣчательны, не дастъ живого созерцанія личности человѣка; надо, чтобы онъ самъ за себя говорилъ, внѣ своихъ хорошихъ и дурныхъ качествъ. Есть лица, которыя, будучи и хороши, и дурны, не оставляютъ въ нашей памяти рѣзкаго слѣда и скоро исчезаютъ изъ нея. Есть, напротивъ, другія, которыя, повидимому ничего не имѣя особеннаго, рѣзко хорошаго или рѣзко дурного, съ перваго взгляда всегда остаются въ нашемъ воображеніи. Это особенно поразительно въ отношеніи къ женскимъ лицамъ: часто ослѣпительная красота уступаетъ въ нашемъ созерцаніи мѣсто самому скромному, самому, кажется, обыкновенному лицу. Причина такой разности въ впечатлѣніяхъ, производимыхъ той или другой личностью, безъ сомнѣнія, заключается въ самой этой личности, но тѣмъ не менѣе эта причина не выговариваема словомъ, какъ всякая тайна. Вотъ человѣкъ: смѣло и бойко говоритъ онъ обо всемъ, ловко и искусно даетъ вамъ знать о своихъ высокихъ качествахъ; по его словамъ, онъ живетъ въ одномъ высокомъ и прекрасномъ, готовъ отдать за истину свою жизнь; вы

Digitized by Google

слушаете его, видите въ немъ много ума, не отрицаете даже и чувства, его мнѣніе о самомъ себѣ кажется вамъ правдоподобнымъ,—и между тѣмъ вы остаетесь къ нему холодны, онъ не возбуждаетъ въ васъ никакого живого интереса. Что это значитъ? Конечно то, что вы безсознательно чувствуете какое-то противорѣчіе между его словами и имъ самимъ. Разсудокъ вашъ одобряетъ его слова, беретъ ихъ какъ данныя для сужденія о немъ, а непосредственное впечатлѣніе, которое онъ производитъ на васъ, возбуждаетъ недовѣрчивость къ его словамъ и отталкиваетъ васъ отъ него. Но вотъ другой человѣкъ: онъ такъ чуждъ всякихъ претензій, такъ простъ, такъ обыкновененъ; онъ говоритъ о томъ же, о чемъ и всѣ говорятъ — о погодѣ, о лошадяхъ, о шампанскомъ, объ устрицахъ, а между тѣмъ вы, видя его въ первый разъ, какъ будто по какому-то капризу своего чувства, на зло вашему разсудку, увѣряетесь, что этотъ человѣкъ не то, чѣмъ кажется, что ему открыты высшія идеальныя области и глубочайшія тайны бытія, — и онъ смѣло и прямо, какъ свою собственность, беретъ вашу любовь и уваженіе, прежде нежели вы успѣете замѣтить это. Здѣсь опять та же причина— сила и власть непосредственнаго впечатлѣнія, которое производитъ на васъ этотъ человѣкъ. Все, что̀ скрывается въ его натурѣ,—все это выражается въ самыхъ его движеніяхъ, жестахъ, голосѣ, лицѣ, игрѣ физіономіи, словомъ—въ его непосредственности. Такъ точно иногда вся роскошь образованія, умственнаго, эстетическаго и свѣтскаго, даже при выгодной наружности, не возбуждаетъ въ насъ къ женщинѣ того трепетнаго, музыкальнаго чувства, которое внушаетъ присутствіе женщины, того благоговѣнія, какимъ оно насъ оковываетъ; а простая дѣвушка, лишенная всякаго образованія, но которой натура глубока и богата, однимъ спокойнымъ взглядомъ заставляетъ опускаться дерзко устремленные на нее взоры, какъ будто бы ихъ поразили лучи солнечные. По той же самой причинѣ вы иногда тяготитесь и скучаете самыми острыми словами, самыми умными шутками, не находя въ нихъ ничего забавнаго, кромѣ претензіи быть забавными; и вы же не можете безъ смѣха ни слышать ни одного слова, ни видѣть ни одного движенія иного человѣка, хотя ни въ его словахъ, ни въ его движеніяхъ повидимому нѣтъ ничего смѣшного, такъ что, пересказывая о нихъ кому-нибудь и думая произвести несомнѣнный эффектъ, вы сами находите, къ своему удивленію, что въ нихъ ровно ничего нѣтъ, и что вся ихъ обаятельная сила заключалась въ непосредственности того человѣка.

Эта же самая непосредственность, составляющая такое важное условіе личности всякаго человѣка, является и въ дѣйствіи человѣка. Бываютъ случаи, въ которыхъ наша натура какъ бы дѣйствуетъ за насъ, не ожидая посредничества нашей мысли или нашего сознанія, — и мы какъ бы инстинктивно поступаемъ тамъ, гдѣ повидимому невозможно дѣйствовать безъ сознательнаго соображенія. Такъ напримѣръ, случается, что человѣкъ сильно ушибившись или подвергавшись опасности сильно ушибиться объ какой-нибудь, незамѣченный имъ по разсѣянности, или по сосредоточенности въ себѣ, предметъ, — всякій разъ, какъ проходитъ мимо того мѣста, хотя бы ночью, наклоняется безсознательно. Такое дѣйствіе есть вполнѣ непосредственное. Но гораздо выше и поразительнѣе тѣ непосредственныя дѣйствія человѣческаго духа, въ которыхъ проявляется его высшая жизнь. Какъ бы ни было свято и истинно убѣжденіе человѣка, какъ бы ни были благородны и чисты его намѣренія, но чтобы высказать или привести ихъ въ исполненіе, для этого еще недостаточно ни силы убѣжденія, ни благонамѣренности стремленія: для этого необходимъ тотъ вдохновенный порывъ, въ которомъ сливаются во-едино всѣ силы человѣка, физическая природа его проникаетъ собой духовную его сущность, которая въ свою очередь просвѣтляетъ собой физическую его природу, разумное дѣйствіе становится инстинктивнымъ движеніемъ, и наоборотъ, мысль дѣлается фактомъ, дѣйствіе разумной и свободной человѣческой воли—непосредственнымъ явленіемъ. Исторія представляетъ намъ поразительный примѣръ подобнаго непосредственнаго проявленія силы человѣческаго духа, торжествующаго даже надъ законами природы: сынъ Креза былъ отъ рожденія нѣмъ, но, увидѣвъ, что непріятельскій солдатъ хочетъ по незнанію убить его отца, вдругъ получилъ употребленіе языка и воскликнулъ: «Воинъ, не убивай царя!» Но и этотъ примѣръ, какъ ни поразителенъ онъ, еще не представляетъ самаго высшаго проявленія непосредственной разумности: ее можно видѣть во всей безконечности ея великаго значенія только въ тѣхъ свободныхъ и разумныхъ дѣйствіяхъ человѣка, въ которыхъ обнаруживается его высшая духовная природа и стремленіе къ безконечному. Вся исторія человѣчества съ одной стороны есть не что иное, какъ безконечный рядъ картинъ такого рода непосредственно-разумныхъ и разумно-непосредственныхъ дѣйствій, въ которыхъ личное желаніе сливается съ

Digitized by Google

внѣшней для личности необходимостью, воля дѣлается инстинктомъ, порывъ къ дѣйствію—самимъ дѣйствіемъ. Непосредственность дѣйствія не исключаетъ изъ себя ни воли, ни сознанія,—напротивъ, чѣмъ болѣе того и другого участвуетъ въ немъ, тѣмъ оно выше, плодотворнѣе и дѣйствительнѣе; но воля и сознаніе сами по себѣ, какъ отдѣльно взятые элементы духа, никогда не переходятъ въ дѣйствіе и не приносятъ плодовъ въ высшихъ сферахъ дѣйствительности, ибо тутъ они являются силами враждебными непосредственности, въ которой заключается живая производительная сила. Начало и развитіе природы, всѣ явленія исторіи и искусства совершались непосредственно.

Можетъ-быть многимъ изъ нашихъ читателей слово «непосредственный» покажется совершенно равнозначительнымъ слову «безсознательный», а «непосредственность» — «безсознательности»,—и они можетъ-быть упрекнутъ насъ въ суетномъ желаніи изобрѣтать и вводить въ моду новыя и никому неизвѣстныя слова для старыхъ и всѣмъ извѣстныхъ понятій, давно уже выраженныхъ тоже всѣмъ извѣстными словами, и обвинятъ въ педантской охотѣ вдаваться въ излишнія объясненія и ненужныя отступленія, которыя не поясняютъ, а только затемняютъ дѣло. Если это случится, и если причиной этого не будетъ опрометчивая невнимательность поверхностнаго читателя, — то уже конечно и не справедливость его обвиненія, а развѣ то, что мы неудовлетворительно объяснили этотъ предметъ. Въ непосредственности можетъ быть безсознательность, но не всегда бываетъ,—и оба эти слова отнюдь не одно и то же, и даже не синонимы. Природа напримѣръ произошла непосредственно и вмѣстѣ съ тѣмъ безсознательно; историческія же явленія, каковы начало языковъ и политическихъ обществъ, произошли непосредственно, но отнюдь не безсознательно; также точно непосредственность явленія есть основный законъ, непреложное условіе въ искусствѣ, дающее ему высокое значеніе; но безсознательность не только не составляетъ необходимой принадлежности искусства, но враждебна ему и унизительна для него. Слово «непосредственный» объемлетъ собой и заключаетъ въ себѣ гораздо обширнѣйшее, глубочайшее и высшее понятіе, нежели слово «безсознательный»: это мы ясно докажемъ въ дальнѣйшемъ развитіи идеи искусства.

Условіе непосредственности всякаго явленія есть вдохновенный порывъ; результатъ непосредственности всякаго явленія есть организація. Только вдохновенное можетъ явиться непосредственно, только непосредственно-явившееся можетъ быть органическимъ, только органическое можетъ быть живымъ. Организмъ и механизмъ, или природа и ремесло, — вотъ два міра, враждебно-противоположные другъ другу. Одинъ— свободный, безпрестанно движущійся, измѣняющійся, неуловимый въ переливахъ цвѣтовъ и красокъ, шумный и звучный; другой— оцѣпенѣлый въ мертвенной неподвижности, рабски правильный и безжизненно опредѣленный, съ ложнымъ блескомъ, поддѣльной жизнью, нѣмой и безгласный. Явленія перваго міра, живыя и непосредственно-произрождающіяся, называются еще и вдохновенными или творческими, а явленія второго міра—предметами механическими или произведеніями рукъ человѣческихъ. Разумѣется, что этого не должно понимать буквально, и первоначальную живоносную причину смѣшивать съ посредствующею: всѣ статуи и всѣ картины дѣлаются руками человѣческими, не смотря на то, есть статуи и картины органическія, вдохновенныя, творческія, и есть статуи и картины механическія, не созданныя, а сдѣланныя.

Очевидно, что созданнымъ или творческимъ называется все, что̀ не можетъ быть произведено соображеніемъ, разсчетомъ, разсудкомъ и волей человѣка, даже все, что̀ не можетъ назваться и изобрѣтеніемъ; но что непосредственно является изъ небытія въ бытіе или творящей силой природы, или творческой силой духа человѣческаго и что̀, въ противоположность изобрѣтенію, должно называться откровеніемъ. Организація, составляющая существенное различіе между произведеніями творческими и произведеніями механическими, очевидно есть результатъ того процесса, посредствомъ котораго она возникаетъ. Противопоставимъ природу ремеслу, чтобы объяснить это примѣромъ. Когда у человѣка, изобрѣтшаго часы, мелькнула въ головѣ первая мысль объ этой машинѣ,— дѣло не было кончено этимъ мгновеніемъ: не говоря уже о томъ, что много долженъ былъ думать и соображать прежде, нежели приступилъ къ выполненію своей мысли,—онъ долженъ былъ еще и безпрестанно повѣрять ее опытомъ и въ опытѣ искать дополненія своей мысли. Созидая, онъ снова разрушалъ, слагая—разбиралъ, ибо всегда находилъ, что чего нибудь да недоставало. Главный духовный дѣятель въ актѣ его изобрѣтенія было соображеніе, разсчетъ, вычисленіе вѣроятностей. Осторожно, будто въ потьмахъ, дѣлалъ онъ шагъ за шагомъ, работая головой и считая на пальцахъ. И потому его изобрѣтеніе не могло быть тотчасъ же совершеннымъ, но нужны были вѣковые ус-

Digitized by Google

пѣхи точныхъ наукъ, чтобы оно могло дойти до совершенства. Хочетъ ли ремесло подражать природѣ,—тутъ еще поразительнѣе видно могущество одной и безсиліе другого. Человѣкъ хочетъ сдѣлать цвѣтокъ—розу. Для этого онъ беретъ натуральную, долго и внимательно изучаетъ ее во всѣхъ малѣйшихъ подробностяхъ — каждый лепестокъ, складку, переливъ и оттѣнокъ цвѣта, общую форму, и уже послѣ многихъ соображеній и разсчетовъ выкраиваетъ и сшиваетъ свой цвѣтокъ изъ тканей, окрашенныхъ подъ цвѣта природы. И въ самомъ дѣлѣ, какъ велико его искусство: за десять шаговъ вы не отличите его искусственной розы отъ натуральной; но подойдите ближе—и вы увидите холодный, неподвижный трупъ подлѣ прекраснаго, полнаго жизни созданія природы,—и ваше чувство оскорбится мертвой поддѣлкой. Съ радостнымъ чувствомъ схватываете вы очаровательный цвѣтокъ — разсматриваете и обоняете его. Его листики и лепестки расположены такъ симметрически, такъ пропорціонально, что ихъ правильность можетъ постигаться только нашимъ умомъ, а не повѣряться нашими инструментами, слишкомъ недостаточно для этого правильными, и потомъ каждый изъ нихъ такъ тщательно, съ такой заботливостью, съ такимъ безконечнымъ совершенствомъ отдѣланъ и изукрашенъ до малѣйшихъ подробностей.... Какъ роскошно прекрасенъ его цвѣтокъ, сколько на немъ жилочекъ и оттѣнковъ, какая нѣжная и яркая пыль... о, самъ царь Соломонъ во славѣ своей не одѣвался такъ великолѣпно!... И какое наконецъ упоительное благоуханіе!... Но до сихъ поръ, пока мы на эту розу смотримъ со-внѣ, любуясь и дивясь ея видомъ, цвѣтомъ и запахомъ, искусственный цвѣтокъ еще можетъ быть сравниваемъ съ нею, по крайней мѣрѣ хоть какъ пародія на нее, доказывающая своего рода силу и могущество человѣческаго ума; но развѣ въ розѣ однимъ этимъ все оканчивается? О, нѣтъ! это только внѣшняя форма, выраженіе внутренняго: эти чудныя краски вышли изнутри растенія, этотъ обаятельный ароматъ есть его бальзамическое дыханіе... Загляните туда, внутрь этого цвѣтка,—и всякое сравненіе съ нимъ искусственной розы уничтожается само собой, какъ нелѣпость, оскорбляющая здравый смыслъ. Тамъ, внутри зеленаго стебелька, на которомъ такъ граціозно держится этотъ роскошный цвѣтокъ, тамъ цѣлый новый міръ: тамъ самостоятельная лабораторія жизненности, тамъ по тончайшимъ сосудцамъ дивно-правильной отдѣлки течетъ влага жизни, струится невидимый эѳиръ духа... И между тѣмъ природа употребила на этотъ дивный цвѣтокъ и меньше времени, и болѣе простые и дешевые матеріалы, и нисколько труда, соображенія или разсчета: пало въ землю небольшое зерно,—и изъ земли вышло растеніе, одѣлось въ листья и украсилось цвѣтами на брачный пиръ весны... Уже въ его зернѣ заключался и корень, и стволъ, и красивые листочки, и пышный ароматическій цвѣтъ, и вся архитектура растенія, со всѣми его формами и пропорціями! Но что же тутъ сдѣлала природа? Чѣмъ же ознаменовала она свое участіе въ созданіи этого цвѣтка? Повторяемъ: ей это ничего не стоило. Спокойно, безъ всякихъ усилій, повторяетъ она теперь однажды навсегда созданныя ею явленія. Но было мгновеніе, когда она страшно работала, въ напряженіи и борьбѣ всѣхъ силъ своихъ... Когда всемощное: «Да будетъ» пробудило довременный хаосъ, небытіе воззвало къ бытію, возможность—къ дѣйствительности, идею—къ явленію,—тогда безплотная божественная мысль, довременно существовавшая, изъ ничего явилась нашей планетой,—и долго вращалась эта планета то въ океанѣ воды, то въ океанѣ огня,—и высокіе хребты горъ на мѣстѣ бывшаго дна морского, подземные потоки водъ и огней, бездонныя моря, острова и озера, огнедышащіе волканы свидѣтельствуютъ о ея страшныхъ переворотахъ, прежде чѣмъ она стала тѣмъ, что теперь есть, о ея великой работѣ, которая и теперь еще не кончилась, судя по цѣлому огромному материку, еще и доселѣ не совершенно сформировавшемуся (Новая-Голландія). Да, это была великая работа; какъ будто съ болями и страданіями порождала природа безконечные ряды явленій,—и каждое изъ нихъ было могучимъ, мгновеннымъ и нечаяннымъ порывомъ изъ тьмы небытія на свѣтъ жизни. Величественно и прекрасно зданіе вселенной! Какъ правиленъ этотъ голубой куполъ неба, по которому въ такомъ строгомъ порядкѣ, въ такой неизмѣнной правильности и гармоніи восходитъ и заходитъ солнце, появляется и скрывается луна съ міріадами звѣздъ! И между тѣмъ не циркулю обязаны своимъ существованіемъ эти круги и сферы, не было начертано на бумагѣ предварительнаго плана, и соображеніе математика не опредѣлило заранѣе этихъ безконечныхъ отношеній между безконечными величинами, тяжестями и пространствами. Нѣтъ конца вселенной, нѣтъ числа небеснымъ тѣламъ, и всѣ они дѣлятся на міры, подчиненные одинъ другому, и каждое изъ нихъ есть часть цѣлаго, составляющаго какъ бы живое органическое тѣло, и находится во взаимномъ отношеніи и взаимной зависимости отъ всякаго другого,—

Digitized by Google

и все это пространство безъ границъ, вся эта величина безъ измѣренія, все это множество безъ исчисленія, составляющее собою единое и цѣлое, родилось само изъ себя, заключая въ себѣ и свои законы, и свои вѣчныя неизмѣнныя числа и линіи, и весь чертежъ своего тоталитета. Вселенная есть божественная мысль, отъ вѣчности довременно существовавшая, какъ разумная возможность, и вдругъ ставшая очевидной дѣйствительностью, чрезъ воплощеніе въ форму. Въ полнотѣ ея существованія мы видимъ двѣ повидимому противоположныя, но въ сущности родственныя стороны: духъ и матерію. Духъ есть божественная мысль, источникъ жизни; матерія есть та форма, безъ которой мысль не могла бы проявиться. Очевидно, что оба эти элемента нуждаются другъ въ другѣ: безъ мысли всякая форма мертва, безъ формы мысль есть только могущее быть, но не сущее. Въ явленіи они составляютъ единое и нераздѣльное, проникая другъ друга и исчезая другъ въ другѣ. Процессъ ихъ слитія во-единое (конкреціи) есть таинство, въ которомъ жизнь какъ бы сокрылась отъ самой себя, не желая и самое себя сдѣлать свидѣтельницей своего величайшаго акта, своего торжественнаго священнодѣйствія. Мы знаемъ необходимость, но только ощущаемъ или созерцаемъ таинство этого процесса. Онъ есть необходимое условіе жизненности явленій, и его результатъ есть организація, результатъ которой есть особность, индивидуальность и личность.

Всѣ явленія природы суть не что иное, какъ частныя и особыя проявленія общаго. Общее есть идея. Что такое идея? По философскому опредѣленію, идея есть конкретное понятіе, котораго форма не есть что-нибудь внѣшнее ему, но форма его развитія, его же собственнаго содержанія. Но какъ мы чужды философскаго изложенія нашего предмета, то и постараемся намекнуть о немъ нашимъ читателямъ, какъ можно менѣе отвлеченно, какъ можно образнѣе. Во второй части «Фауста» Гёте есть мѣсто, которое можетъ навести насъ на предощущеніе значенія «идеи», близкое къ истинѣ. Фаустъ, давъ обѣщаніе императору вызвать предъ него Париса и Елену, требуетъ помощи у Мефистофеля, который неохотно указываетъ ему единственное средство для выполненія этого обѣщанія. «Въ неприступной пустотѣ — говоритъ онъ — царствуютъ богини; тамъ нѣтъ пространства, еще менѣе времени: то матери».—«Матери?—восклицаетъ изумленный Фаустъ, — матери, матери, повторяетъ онъ, — это такъ странно звучитъ...»—«Богини, — продолжаетъ Мефистофиль, — невѣдомыя вамъ смертнымъ, и неохотно именуемыя нами. Готовъ-ли ты? Тебя не остановятъ ни замки, ни запоры; тебя обойметъ пустота. Имѣешь ли ты понятіе о совершенной пустотѣ?» Фаустъ увѣряетъ его въ своей готовности.—«Еслибъ тебѣ надобно было плыть,— продолжаетъ снова Мефистофель,—по безграничному океану, еслибы тебѣ надобно было созерцать эту безграничность, — ты бы увидѣлъ тамъ по крайней мѣрѣ стремленіе волны за волной, ты бы увидѣлъ тамъ нѣчто, ты бы увидѣлъ на зелени усмирившагося моря плескающихся дельфиновъ; передъ тобой ходили бы облака, солнце, мѣсяцъ, звѣзды; но въ пустой, вѣчно пустой дали ты не увидишь ничего, не услышишь своего собственнаго шага, ногѣ твоей не на что будетъ опереться». Фаустъ непоколебимъ. — «Въ твоемъ ничто,—говоритъ онъ,—я надѣюсь найти все (In deinem Nichts hoff ich das All zu finden)». Мефистофель послѣ этого даетъ Фаусту ключъ. «Ступай за этимъ ключемъ, — говоритъ онъ ему,— онъ доведетъ тебя до матерей». Слово «матери» снова заставляетъ Фауста содрогнуться. — «Матерей!—восклицаетъ онъ,— какъ ударъ поражаетъ меня это слово! Что это за слово такое, что я не могу его слышать?»—«Неужели ты такъ ограниченъ,— отвѣчаетъ ему Мефистофель, — что новое слово смущаетъ тебя?...» Мефистофель потомъ даетъ ему наставленія, какъ онъ долженъ поступать въ своемъ дивномъ путешествіи, и Фаустъ, ощутивъ въ груди своей новыя силы отъ прикосновенія къ волшебному ключу, топнувъ ногой, погружается въ бездонную глубь. «Любопытно, — говоритъ Мефистофель, оставшись одинъ,—возвратился ли онъ назадъ?» Но Фаустъ возвратился, и возвратился съ успѣхомъ: онъ вынесъ съ собой, изъ бездонной пустоты, треножникъ, — тотъ треножникъ, который былъ необходимъ для того, чтобы вызвать въ міръ дѣйствительный красоту въ лицѣ Париса и Елены *).

Да, странное это слово «матери»: безъ тайнаго содроганія нельзя его выговаривать, какъ будто бы это было одно изъ тѣхъ мистическихъ словъ, отъ которыхъ блѣднѣетъ луна и мертвые шевелятся въ гробахъ своихъ!... Но еще болѣе нужно отваги, чтобы пуститься въ безпредѣльную пустоту и дойти до «матерей»!... Но кто не содрогнется и не отступитъ назадъ и не

*) Все это мѣсто, содержащее въ себѣ указаніе на «Фауста», есть выписка къ статьѣ Ретшера «О философской критикѣ художественнаго произведенія», сдѣланная переводчикомъ этой статьи, Катковымъ, и здѣсь цѣликомъ взятая нами. См. «Московскій Наблюдатель» 1832. Часть XVIII, стр. 187 и 188.

Digitized by Google

изнеможетъ въ своемъ страшномъ подвигѣ, тотъ воротится съ волшебнымъ треножникомъ, съ которымъ можно вызывать тѣни давно умершихъ и безплотныя мысли одѣвать въ благолѣпныя тѣла... Эти «матери»—тѣ первосущныя, довременныя идеи, которыя, воплотившись въ формы, стали мірами и явленіями жизни. Жизнь никого не страшитъ, но какъ красавица съ огненнымъ взоромъ, розовыми ланитами и манящими поцѣлуй устами, она влечетъ къ себѣ насъ неодолимой обаятельной силой: закрывъ глаза, потерявъ сознаніе, мы бросаемся въ ея объятія, и мы смотримъ на нее—не насмотримся, любуемся ею—не налюбуемся... Но въ насъ сидитъ червякъ, отравляющій полноту наслажденія; этотъ червякъ—жажда знанія. Лишь только онъ зашевелится,—очаровательный образъ красавицы начинаетъ отъ насъ скрываться; червякъ растетъ, превращается въ змѣю, сосущую кровь изъ нашего сердца,—красавица исчезаетъ совсѣмъ, и чтобы возвратить ее, мы должны отвратить нашъ взоръ отъ формъ и красокъ и устремить его на скелеты безъ жизни и красоты. Но скоро мы должны отказаться и отъ этого, и ринуться въ безграничную пустоту, гдѣ нѣтъ жизни, нѣтъ образовъ, нѣтъ звуковъ и красокъ, нѣтъ пространства и времени, гдѣ не на чемъ остановиться взору, не на что опереться ногѣ, гдѣ царствуютъ матери всего сущаго—безтѣлесныя идеи, которыя суть то н и ч т о, изъ которыхъ произошло в с е, которыя были отъ вѣчности, прежде міра, и отъ которыхъ двинулось время и потекли міры своимъ вѣковѣчнымъ путемъ...

Итакъ, идеи суть матери жизни, ея субстанціальная сила и содержаніе, тотъ неизсякаемый резервуаръ, изъ котораго немолчно текутъ волны жизни. Идея по существу своему есть общее, ибо она не принадлежитъ ни извѣстному времени, ни извѣстному пространству; переходя въ явленіе, она дѣлается особнымъ, индивидуальнымъ, личнымъ. Вся лѣствица творенія есть не что иное, какъ обособленіе общаго въ частное, явленіе общаго частнымъ. Изъ общей міровой матеріи вышла наша планета и, получивъ свою единственную и особную форму, въ свою очередь стала общей субстанціей, матеріей, которая безпрестанно стремится къ обособленію въ миріадахъ существъ. Безобразныя массы металловъ и камней, не представляя собой никакой опредѣленной формы, тѣмъ не менѣе представляютъ собой особныя явленія, имѣющія свою, хотя и низшую и внѣшнюю, организацію. Нѣкоторыя изъ нихъ даже организуются въ опредѣленныя и правильныя формы призмъ, какъ бы выростающихъ изъ какой-то почвы, которая состоитъ изъ одинаковаго съ ними вещества и служитъ имъ безобразнымъ базисомъ. Организація растеній выше, и вообще они представляютъ собой что-то уже высшее особности, хотя еще и не достигшее индивидуальности. Въ каждомъ изъ нихъ равно необходимы и корень, и стволъ, и вѣтвь, и листъ, но число листовъ ихъ неопредѣленно, и отшибенные не измѣняютъ особности дерева; что же до вѣтвей, то хотя онѣ...

ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНІЕ СЛОВА ЛИТЕРАТУРА*).

Прежде, нежели приступимъ къ изложенію исторіи русской литературы, опредѣлимъ общее значеніе слова литература, чтобы потомъ можно было яснѣе показать, какимъ образомъ и до какой степени русская литература соотвѣтствуетъ значенію литературы вообще.

Многіе придаютъ совершенно одинаковое значеніе словамъ: «словесность», «письменность», «литература» и употребляютъ ихъ безъ разбору. Другіе, по принципу пуризма, вовсе не хотятъ употреблять иностраннаго слова литература, думая, что его значеніе вполнѣ выражается русскими словами: словесность и письменность. Пуристы хотѣли бы совершенно изгнать изъ употребленія слово «литература», какъ иностранное и притомъ лишнее въ русскомъ языкѣ. Но ихъ усилія остаются безплодными. Слово существуетъ; стало-быть, оно необходимо, и его не можетъ замѣнить собой никакое другое слово, потому-что въ языкѣ не можетъ существовать двухъ словъ, совершенно равносильныхъ и тождественныхъ въ выраженіи одного и того же понятія. Если «словесностью» можно замѣнить «литературу», то книжное и нѣсколько тяжелое слово словесникъ не можетъ замѣнить собой слова литераторъ. Всѣ говорятъ и пишутъ: «литературный журналъ», «литературная газета», но никто, подъ опасеніемъ быть или непонятнымъ, или смѣшнымъ, не скажетъ: «словесный журналъ», «словесная газета». Равнымъ образомъ можно сказать: «человѣкъ есть словесное (въ смыслѣ одареннаго словомъ) животное», но нельзя сказать: «человѣкъ есть литературное животное». Изъ

*) Эта статья, какъ введеніе, должна была составлять первую главу отдѣла «Критической исторіи Русской литературы».

Digitized by Google

этого видно, что ни «словесность» не можетъ совершенно замѣнить собой «литературы», ни «литература» — «словесности»: оба эти слова равно необходимы, потому-что, не смотря на ихъ родственность, есть рѣзкій оттѣнокъ въ сущности выражаемыхъ ими понятій.

Впрочемъ требовать, чтобы три эти слова: «словесность», «письменность» и «литература» никогда не употреблялись одно вмѣсто другого, — значило бы впасть въ педантизмъ, тѣмъ болѣе, что эти слова иногда дѣйствительно сходятся между собой въ значеніи. Но какъ съ другой стороны они часто расходятся въ оттѣнкахъ общаго имъ всѣмъ значенія, то и странно было бы не опредѣлить этой разницы и не воспользоваться ею, какъ средствомъ къ большей опредѣлительности и ясности въ понятіяхъ. Во всѣхъ европейскихъ языкахъ употребляется только одно слово— «литература» для выраженія понятія, выражаемаго по-русски тремя словами—«словесность», «письменность» и «литература»; тѣмъ лучше для насъ! Зничитъ, въ этомъ отношеніи, нашъ языкъ богаче другихъ. Надобно же пользоваться этимъ богатствомъ.

Письменность и литература прежде всего относятся къ словесности, какъ видъ къ роду. Понятіе, выражаемое словесностью, гораздо общѣе, нежели понятія, выражаемыя письменностью и литературой; въ обширномъ смыслѣ словесность заключаетъ въ себѣ и письменность, и литературу, какъ ея же собственныя проявленія. Все, что̀ находитъ свое выраженіе въ словѣ, все это принадлежитъ къ области словесности: и народная поговорка или пословица, и курсъ философіи; и народная сказка или пѣсня, и эпическая поэма или драматическое произведеніе, какъ великаго поэта, такъ и бездарнаго сочинителя; и лѣтопись, и исторія, и ученое сочиненіе, и учебникъ, и лексиконъ, и каталогъ книгъ, и книжка о легчайшемъ способѣ отращивать волосы и истреблять мухъ. Къ области письменности принадлежатъ тѣ словесныя произведенія, которыя народъ, не знавшій еще книгопечатанія, почелъ достойными сохранить отъ забвенія, посредствомъ письменнаго искусства. Подъ литературой разумѣется или словесность народа, исторически развившаяся и отражающая въ себѣ народное сознаніе, или какая-нибудь отрасль словесности, обнимающая собой извѣстную сторону искусства и науки. Такъ, въ послѣднемъ случаѣ говорится: литература эстетики, литература исторіи, литература математики, медицины, технологіи и т. д., разумѣя подъ этимъ собраніе всѣхъ сочиненій, относящихся до того или другого изъ исчисленныхъ предметовъ. Понятіе о литературѣ тѣсно связано съ понятіемъ о книгопечатаніи.

Изъ этого видно, что письменность и литература относятся еще къ словесности и какъ постепенные моменты ея развитія. Другими словами: словесность, письменность и литература суть три главные періода въ исторіи народнаго сознанія, выражающагося въ словѣ. Сознаніе всѣхъ младенчествующихъ народовъ прежде всего выражается въ поэзіи, и потому каждый народъ и каждое племя непремѣнно имѣетъ свою поэзію, на какой-бы низкой ступени цивилизаціи и образованія ни стояли они. Отсюда не исключаются ни номады средней Азіи, ни дикари океанійскіе. Народъ или племя можетъ не знать искусства писанія, но не можетъ не имѣть поэзіи. Поэзія младенчествующихъ народовъ состоитъ не столько въ поэтическомъ содержаніи и поэтической формѣ, сколько въ поэтическомъ выраженіи. Форма и выраженіе — не всегда одно и то же; первая относится къ расположенію, къ композиціи поэтическаго произведенія; подъ вторымъ должно разумѣть только складъ рѣчи, слогъ, короче— форму слова. И потому у младенчествующихъ народовъ выраженіе всегда поэтическое, хотя содержаніе часто бываетъ нелѣпое, а форма чудовищная. Они поэтически выражаютъ и свою опытную мудрость (поговорки, пословицы, параболы, басни), и прошедшее ихъ жизни (преданіе), и свои космогоническія и религіозныя понятія (миѳы, гимны и т. п.). О такомъ народѣ или племени можно сказать, что они имѣютъ словесность,—и въ этомъ смыслѣ нѣтъ на землѣ народа, ни племени, даже дикаго, у которыхъ не было бы словесности. Когда народъ знакомится съ искусствомъ письменъ, его словесность получаетъ новый характеръ, зависящій отъ духа народа и отъ степени его цивилизаціи и образованности. Такимъ образомъ самые древніе памятники космогонической и миѳической поэзіи грековъ дошли до насъ, сохраненные посредствомъ письма; по-преимуществу народъ эстетическаго чувства, греки, познакомившись съ искусствомъ писать, тотчасъ же поспѣшили передать храненію буквы прежде всего поэтическія произведенія ихъ національнаго духа. Другое зрѣлище представляютъ словенскія племена въ отношеніи къ письменности: этимъ искусствомъ они обязаны ревности христіанскихъ проповѣдниковъ, которые видѣли въ немъ вѣрнѣйшее средство распространить между ними евангельское ученіе. А такъ какъ христіанство естественно произвело въ словенскихъ племенахъ духъ безусловнаго отри-

Digitized by Google

цанія прежней языческой ихъ національности, и такъ какъ понятіе о письменности въ умѣ этихъ племенъ тѣсно слилось съ понятіемъ о христіанской религіи, то письменность и приняла у нихъ характеръ по преимуществу церковный: словяне считали достойнымъ предавать письменамъ только книги религіознаго и теологическаго содержанія. Къ этому присовокупился еще родъ словесности, бывшій долгое время исключительнымъ достояніемъ монашествующаго духовенства—лѣтописи. Благочестивые иноки, въ назидательное поученіе потомству, описывали дѣла мірскія съ тѣмъ взглядомъ на вещи, который невольно сообщало имъ чувство ихъ разъединенія съ міромъ, въ нѣдрахъ тихаго успокоенія кельи. Естественно, что памятники языческой поэзіи были забыты и не ввѣрялись буквѣ. Оттого до насъ не дошло не только никакихъ пѣсенъ языческаго періода Руси, но мы даже не имѣемъ почти никакого понятія о словенской миѳологіи. Немногія имена боговъ и названія праздниковъ и обрядовъ сохранились для насъ только въ обличительныхъ противу остатковъ язычества словахъ ревностныхъ поборниковъ церкви. Если до насъ дошло нѣсколько сказокъ или поэмъ въ сказочномъ родѣ, въ которыхъ имя «Владиміра Краснаго Солнышка, ласковаго князя кіевскаго стольнаго», играетъ значительную роль, — это сдѣлалось какъ бы случайно. Сказки эти долго хранились въ народной памяти и до того измѣнялись съ каждымъ вѣкомъ, подновляясь и въ языкѣ, и въ понятіяхъ, что въ то время, когда грамотнымъ людямъ пришла охота положить ихъ на бумагу, онѣ уже совершенно лишились своего первобытнаго вида. А списаны онѣ со словъ народа на бумагу вѣроятно не раньше XVII столѣтія. «Слово о полку Игоревомъ», этотъ прекрасный памятникъ уже полуязыческой поэзіи, дошло до насъ въ единственномъ и притомъ искаженномъ спискѣ. Сколько же памятниковъ народной поэзіи погибло совсѣмъ! Этому причиной было, во-первыхъ, высокое понятіе нашихъ предковъ о достоинствѣ письменности: они думали, что письмо назначено только для сохраненія слова Божія и важныхъ дѣлъ государственныхъ, и что значило бы унижать его, записывая выдумки праздныхъ балагуровъ и потѣшниковъ; во-вторыхъ, наши предки, какъ бы чувствуя безсознательно ничтожность и незначительность ихъ народной поэзіи, по инстинкту не дорожили ея памятниками. И они были правы: гибнетъ въ потокѣ времени только то, что лишено крѣпкаго зерна жизни и что слѣдовательно не стоитъ жизни. И потому, не презирая уцѣлѣвшими остатками нашей народной поэзіи, въ то же время не будемъ слишкомъ жалѣть объ утраченныхъ. Такимъ образомъ періодъ нашей словесности до временъ письменности для насъ погибъ невозвратно, а періодъ нашей письменности, совпадая въ своемъ началѣ съ эпохой изобрѣтенія Кирилломъ и Меѳодіемъ словенской азбуки (эпохой, до сихъ поръ еще не опредѣленной съ точностью), совпадаетъ въ своемъ концѣ съ эпохой начала русской литературы, т. е. съ эпохой появленія первыхъ свѣтскихъ русскихъ писателей. Періодъ русской письменности ознаменовался нѣсколькими (весьма немногими) сочиненіями, если не совсѣмъ литературными, то и не подходящими подъ разрядъ ни теологическихъ, ни лѣтописныхъ произведеній словесности.

Литература есть послѣднее и высшее выраженіе мысли народа, проявляющейся въ словѣ. Органическая послѣдовательность въ развитіи—вотъ что составляетъ характеръ литературы, и вотъ чѣмъ отличается литература отъ словесности и письменности. Если произведеніе литературы носитъ на себѣ печать существеннаго достоинства,— оно уже не можетъ быть случайнымъ явленіемъ, которое не было бы нѣкоторымъ образомъ результатомъ предшествовавшихъ ему произведеній или по крайней мѣрѣ не объяснялось бы ими, и которое бы въ свою очередь не порождало бы другихъ литературныхъ явленій или по крайней мѣрѣ не имѣло бы на нихъ прямого или косвеннаго вліянія. Такимъ образомъ не только современная намъ французская, но и современная намъ германская литература не могутъ быть поняты и оцѣнены надлежащимъ образомъ безъ знанія французской литературы XVII вѣка,—равно какъ и послѣдняя можетъ быть объяснена только чрезъ изученіе французской литературы вѣка Людовика XIV-го. И мало того, что нужно особенное изученіе вообще литературы среднихъ вѣковъ, чтобы понять французскую литературу XVI и послѣдующихъ столѣтій, надобно еще имѣть понятіе о древней классической литературѣ грековъ и римлянъ, чтобъ владѣть возможностью изучать какую бы то ни было изъ европейскихъ литературъ отъ временъ возрожденія до настоящей минуты. Изъ этого видно, что всякая сфера, въ какой ни развивается духъ человѣческій, состоитъ изъ фактовъ, органически связанныхъ одинъ съ другимъ и послѣдовательно родившихся одинъ изъ другого, и что, кромѣ литературы того или другого народа, есть еще литература всеобщая, человѣческая, вселенская, у которой есть своя исторія. Предметъ этой исторіи—развитіе человѣческаго сознанія въ сферѣ слова. Литература,

Digitized by Google

которая не можетъ имѣть своей исторіи, т. е. литература, явленія которой не состоятъ въ живой органической связи между собой, не есть литература, но только словесность или письменность. Правда, и словесность, и письменность могутъ имѣть свою исторію, но какую—вотъ вопросъ! Исторія словесности или письменности есть не что иное, какъ болѣе или менѣе обширный каталогъ произведеній, хранящихся въ памяти народа или въ его письменности,—каталогъ съ необходимыми объясненіями и учеными комментаріями. Но каталогъ можетъ служить только матеріаломъ для исторіи, но самъ исторіей быть не можетъ.

Періодъ литературы у всѣхъ новѣйшихъ народовъ начинается собственно съ эпохи изобрѣтенія книгопечатанія. И потому понятіе о литературѣ у нихъ какъ-то невольно сливается съ понятіемъ о книгопечатаніи.—Дѣйствительно, до изобрѣтенія книгопечатанія словесность Европы носитъ на себѣ характеръ письменности, т. е. разъединенности и случайности. Исключеніе остается почти за одной Италіей, которая считалась уже просвѣщеннѣйшей страной Европы, когда еще сама Франція тонула во мракѣ невѣжества и дикости нравовъ. Поэтому Италія гордилась именами Данта, Петрарки и Боккаціо еще въ XIII и XIV столѣтіяхъ, тогда какъ сама Франція только въ XVI вѣкѣ гордилась довольно ничтожными знаменитостями, вродѣ Ронсара, Ренье, Малерба, и только въ XVII вѣкѣ увидѣла своего перваго великаго поэта—Корнеля; имена Рабле и Монтаня принадлежатъ XV и XVI столѣтію. Правда, еще въ средніе вѣка являлись великіе люди, сильные мыслью и упреждавшіе свое время; такъ Франція еще въ XII вѣкѣ имѣла Абеллара; но люди, подобные ему, безплодно бросали во мракъ своего времени яркія молніи могучей мысли: они были поняты и оцѣнены черезъ нѣсколько вѣковъ послѣ ихъ смерти. Наука и мысль до начала XVI вѣка скрывались во мракѣ, какъ чернокнижничество, разбой и контрабанда. Ученыя сочиненія, какъ тайна, передавались въ рукописяхъ отъ одного адепта къ другому. Словомъ, это была письменность, но не литература. Только словесность одной Италіи и въ варварскія времена имѣетъ характеръ литературы; по крайней мѣрѣ въ Италіи поэзія является уже какъ литература въ то время, какъ въ другихъ странахъ Европы поэзія находилась еще на степени словесности и письменности.

Въ области словесности нѣтъ знаменитыхъ именъ, потому-что авторъ словесности—всегда народъ. Никто не знаетъ, кто сложилъ его простыя и наивныя пѣсни, въ которыхъ такъ безыскусственно и ярко отразилась внутренняя и внѣшняя жизнь юнаго народа или племени. Въ эпоху младенчества народъ и не заботится объ именахъ своихъ первыхъ поэтовъ, равно какъ и сами поэты не заботятся о сохраненіи ихъ имени въ потомствѣ. Въ эти времена поэзія—не заслуга, а инстинктивная потребность: человѣку поется—и онъ поетъ, совсѣмъ не подозрѣвая, что онъ—поэтъ. И переходитъ пѣсня изъ рода въ родъ, отъ поколѣнія къ поколѣнію, и измѣняется она со временемъ: то укоротятъ ее, то удлинятъ, то передѣлаютъ, то соединятъ ее съ другой пѣсней, то сложатъ другую пѣсню въ дополненіе къ ней: и вотъ изъ пѣсенъ выходятъ поэмы, которыхъ авторомъ можетъ назвать себя только народъ. Послѣ этого понятно, почему письменность, когда она удостоивала своего вниманія поэтическія произведенія, не передавала именъ ихъ творцовъ, и мы не знаемъ имени автора «Нибелунговъ» и другихъ поэмъ въ этомъ родѣ. Другое дѣло—литература: ея дѣятелемъ является уже не народъ, а отдѣльныя лица, выражающія своей умственной дѣятельностью различныя стороны народнаго духа. Въ литературѣ личность вступаетъ въ полное право свое, и литературныя эпохи всегда означаются именами лицъ. Литература образуетъ собой отдѣльную и самостоятельную область умственной дѣятельности, существованіе и права которой признаются всѣмъ обществомъ. Литература всегда опирается на публичность, получаетъ свое утвержденіе отъ общественнаго мнѣнія. Она существуетъ не при свѣтѣ только уединенной лампы отшельника или гонимаго ученаго, но при свѣтѣ солнца, открыто и явно. Она поддерживается не вниманіемъ только небольшого круга посвященныхъ, составляющихъ родъ тайнаго общества или избранныхъ любителей, но вниманіемъ всего народа, по крайней мѣрѣ въ лицѣ его избранныхъ классовъ. Литература есть достояніе всего общества, которое черезъ нее обратно получаетъ себѣ, въ сознательной и изящной формѣ, все то, чему источникомъ было его же собственное непосредственное бытіе. Общество находитъ въ литературѣ свою дѣйствительную жизнь, возведенную въ идеалъ, приведенную въ сознаніе. Поэтому въ моменты развитія литературы, обыкновенно называемыхъ литературными эпохами и періодами, отражаются моменты историческаго развитія народа,—и въ такомъ случаѣ литература точно также объясняетъ собой политическую исторію народа, какъ и исторія—литературу. Такъ, исторія Франціи XVIII вѣка вся заключается преимущественно въ ея литературѣ этого времени.

Digitized by Google

Если мы сказали, что понятіе о книгопечатаніи почти тождественно съ понятіемъ о литературѣ, — это потому, что книгопечатаніе есть великое и могущественное средство къ публичности, безъ которой слово «литература» есть звукъ безъ смысла, тѣло безъ души. Публичность такъ важна для литературы, что теперь во Франціи вошло въ употребленіе слово пресса (la presse — книгопечатаніе), какъ выражающее болѣе общее и обширное понятіе, нежели слово литература. Вся сфера современнаго общественнаго движенія теперь выражается словомъ пресса: это живой пульсъ общества, по біенію котораго вѣрнѣе, нежели по какому-нибудь другому признаку, можно судить о состояніи общества въ отношеніяхъ: политическомъ, административномъ, ученомъ, литературномъ, эстетическомъ, нравственномъ, въ отношеніи къ народному духу, богатству, промышленности, ремесламъ, и пр., и пр. Нѣтъ стороны въ обществѣ, которая бы теперь не выражалась прессой, не жила въ ней и ею. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы литература могла быть только у народа, знакомаго съ искусствомъ книгопечатанія; изъ этого слѣдуетъ только, что публичность, въ смыслѣ доступности литературныхъ произведеній вниманію общества, составляетъ одно изъ главнѣйшихъ условій существованія литературы. Книгопечатаніе есть только могущественнѣйшее, но не единственное средство къ публичности. Подъ литературой, въ точномъ и опредѣленномъ значеніи этого слова, должно разумѣть сознаніе народа, исторически выразившееся въ словесныхъ произведеніяхъ его ума и фантазіи,—а такъ какъ сознаніе есть высшее проявленіе жизни народа, то литература необходимо должна быть его общимъ достояніемъ, чѣмъ-то такимъ, что до всѣхъ равно касается, всѣхъ равно интересуетъ, всѣмъ равно доступно. Словомъ, литература должна быть, въ отношеніи къ народу, вмѣстѣ и сценой, и спектаклемъ, который на ней разыгрывается, а народъ, въ отношеніи къ литературѣ, долженъ быть публикой, которая не сводитъ глазъ со сцены, созерцая представляемое на ней зрѣлище. Лучшее для этого средство, повторяемъ, есть книгопечатаніе, — и однакожъ, несмотря на то, древняя греческая литература, со стороны публичности, едва-ли не болѣе подходитъ подъ наше опредѣленіе, нежели любая изъ новѣйшихъ литературъ, не исключая и французской, хотя греки и не знали искусства печатанія. Жизнь грековъ, политическая, государственная, общественная, религіозная, артистическая, ученая, была и безъ книгопечатанія въ высшей степени публична, такъ что книгопечатаніе, столь важное въ новомъ мірѣ, можетъ быть противорѣчило бы духу и характеру ихъ публичности. Хотя произведенія поэтовъ греческихъ существовали и письменно, тѣмъ не менѣе эллины предпочитали живое изустное слово мертвой буквѣ и лучше любили слушать, нежели читать. Оттого декламація была у нихъ отдѣльнымъ и самостоятельнымъ искусствомъ, которое требовало не только изученія, но и природнаго дарованія. Древніе читали стихи не такъ, какъ читаемъ ихъ мы, но нараспѣвъ; ихъ поэзія тѣсно была соединена съ музыкой, и пѣвучая декламація стиховъ ихъ сопровождалась аккомпаниментомъ на лирѣ. Отъ имени этого инструмента получила свое названіе лирическая поэзія; а отъ пѣвучей декламаціи стиховъ слова пѣть и воспѣвать получили значеніе слова сочинять, творить, что сохранилось, по преданію отъ грековъ, и притомъ не совсѣмъ основательно, и въ новѣйшей европейской поэзіи, въ которой весьма обыкновенны выраженія: «пою то-то или того-то», «я пѣлъ мою любовь, моя страданія» и т. п. Что греки не читали, а какъ-бы пѣли свои стихи, это имѣло у нихъ глубокое основаніе, ибо происходило не отъ произвола обыкновенія и привычки, а отъ свойственнаго и сроднаго ихъ національному духу созерцанія искусства. У насъ каждый самъ читаетъ для себя стихи и наслаждается ихъ изяществомъ такъ-же полно и при дурномъ чтеніи, какъ и при хорошемъ: для грека хорошо продекламировать стихи было то же, что для насъ разыграть музыкальную пьесу. Оттого у насъ хорошее чтеніе стиховъ есть не больше, какъ умѣнье, которое не даетъ ни славы, ни извѣстности; у грековъ хорошая декламація стиховъ была искусствомъ, для котораго требовался своего рода талантъ. Это было одной изъ причинъ, почему греческій театръ такъ же мало имѣлъ общаго съ нашимъ театромъ, какъ и наша драма мало имѣетъ общаго съ греческой. По понятію грековъ, искусство было представленіемъ, въ грандіозныхъ образахъ, явленій идеальной жизни—родъ религіозно-государственнаго представленія, героемъ котораго была національная жизнь. Поэтому ихъ трагедія могла сосредоточивать свой паѳосъ и свою главную идею на полубогахъ, герояхъ *), царяхъ и народѣ (который, въ видѣ хора, изъявлялъ свое мнѣніе о созерцаемомъ имъ зрѣлищѣ); изъ

*) Отчего и произошло, по преданію отъ грековъ, слово *герой*, въ смыслѣ главнаго дѣйствующаго лица въ поэмѣ, драмѣ, романѣ, повѣсти, даже комедіи.

Digitized by Google

жизни же своихъ божественныхъ и царственныхъ героевъ трагедія греческая могла брать только идеальные, высокіе моменты. Поэтому актеры играли на котурнѣ и въ маскѣ; въ ихъ рѣчи хотѣли слышать спокойно-возвышенный голосъ, исполненный достоинства и величія; котурнъ, возвышавшій ростъ актеровъ, отходя отъ натуры дѣйствительности, тѣмъ болѣе приближался къ натурѣ идеальности, дѣлая представляемыхъ ими героевъ какъ бы жителями другого, высшаго міра, для которыхъ были бы унизительны обыкновенные размѣры человѣческаго роста; маски, увеличивавшія собой лица актеровъ и носившія на себѣ общее идеальное выраженіе, также представляли глазамъ зрителей героевъ трагедіи въ особенномъ идеальномъ свѣтѣ. Къ тому же греческій народъ почелъ бы за профанацію увидѣть героя въ знакомомъ ему лицѣ актера. Современность тоже не могла давать содержанія для трагедіи: нужно было, чтобы колоссальные образы героевъ представлялись въ священномъ сумракѣ и таинственной дали вѣковъ и преданія. Изо всего этого видно, что какъ трагедія, такъ и театръ греческій были чисто и с к у с с т в е н н ы. Здѣсь слово «искусственный» должно понимать въ смыслѣ «художественнаго», «артистическаго», противоположнаго пошлой, повседневной дѣйствительности, презрѣнной прозѣ житейскаго, а не въ смыслѣ противоположнаго натурѣ и естественности, поддѣльнаго и ложнаго, какъ понимаемъ мы слово «искусственный». Французы XVII и XVIII столѣтій, проникнувшіе отчасти въ таинства греческой буквы, но не проникнувшіе въ таинства греческаго духа, не понявши, что у всякаго вѣка и всякаго народа свои идеи, а слѣдовательно и свои, соотвѣтственныя имъ, формы,—создали у себя искусство на манеръ древнихъ, тѣмъ болѣе не похожее на него, чѣмъ болѣе рабски было оно копировано съ его непонятыхъ ими формъ и внѣшностей. Французы рѣшились не пускать въ трагедію никого, кромѣ царей и ихъ наперсниковъ, а изъ простого народа допустили только вѣстниковъ, заставивъ ихъ рапортовать надутымъ слогомъ о томъ, что сдѣлалось за кулисами; они забыли, что въ новѣйшемъ обществѣ проза жизни получила полное свое право на поэтическое представленіе, и что драма новѣйшей жизни слагалась изъ лицъ всѣхъ сословій.

Этой же страсти грековъ къ живому изустному слову обязано было своимъ развитіемъ и процвѣтаніемъ ораторское искусство, кромѣ дара краснорѣчія, требовавшее еще и необыкновеннаго дара деклама-ціи. Кому не извѣстно, какихъ чрезвычайныхъ усилій стоило Демосѳену, отъ природы надѣленному огромнымъ даромъ краснорѣчія, выработать изъ себя настоящаго оратора? Но страсть грековъ къ живому изустному слову не ограничивалась только театромъ и ораторской каѳедрой: преданіе говоритъ, что древніе поэты — Гомеръ и Гезіодъ,—особенно первый и притомъ слѣпецъ и старецъ, ходя по Греціи, пѣли свои поэмы царямъ и народамъ. Пиндаръ состязался съ Коринной на олимпійскихъ играхъ. Оклеветанный въ безуміи неблагодарными дѣтьми, старецъ Софоклъ оправдался передъ народомъ, прочтя ему отрывки изъ своего «Эдипа». Отецъ исторіи, Геродотъ, читалъ передъ народомъ, на олимпійскихъ играхъ, свое повѣствованіе о славной борьбѣ Эллады съ персидскими царями; а юноша Ѳукидидъ, слушая его, всенародно плакалъ отъ умиленія, въ предчувствіи собственнаго торжества на томъ же поприщѣ... Самая наука у грековъ была публичнымъ дѣломъ, а не таинственной магіей, какъ въ новѣйшія времена. Сократъ преподавалъ свое живое ученіе на площадяхъ и улицахъ: толпами могли ходить аѳиняне въ сады академіи, чтобы внимать урокамъ высшей мудрости изъ устъ божественнаго Платона... Причиной такого въ высшей степени прекраснаго и человѣческаго зрѣлища, е д и н с т в е н н а г о, какое когда-либо представляла собой народная жизнь, былъ національный духъ древней Эллады — первобытной родины изящной гуманности. Если въ Аѳинахъ не было равенства состояній и даже равенства просвѣщенія и образованія, зато въ нихъ не было и ч е р н и, невѣжественной, грязной, покрытой лохмотьями, помышляющей только о матеріальномъ удовлетвореніи грубыхъ потребностей тѣла, чуждой всякаго чувства человѣческаго достоинства: масса аѳинскаго народонаселенія состояла не изъ черни, а изъ народа. Образованіе грековъ было общественное, а потому и всеобщее, народное, а не исключительное, въ пользу однихъ и невыгоду другихъ сословій. Аѳиняне столь важнымъ считали публичное воспитаніе дѣтей, что когда, при нашествіи Ксеркса, они принуждены были оставить свой городъ, и взрослые сѣли на суда, чтобы сражаться съ непріятелемъ, а дѣти, жены и старцы удалились въ Тризену,—то тризенцы, въ числѣ другихъ знаковъ своего радушія и участія къ бѣдственному положенію аѳинянъ, опредѣлили платить за ихъ дѣтей жалованье учителямъ. Удивительно ли послѣ этого, что Периклъ, собираясь говорить передъ аѳинскимъ народомъ, просилъ боговъ, чтобы никакое неприличное предмету или неблагозвучное слово не вырвалось изъ устъ его; удиви-

Digitized by Google

тельно ли, что старая зеленщица аѳинская по выговору могла признать въ ученомъ грекѣ не-аѳинскаго уроженца? Удивительно ли, что аѳиняне были не только народомъ войны и гражданственности, но и народомъ-артистомъ, народомъ-художникомъ, и что массы аѳинскаго народонаселенія могли быть судіями и страстными любителями изящнаго. Когда обвиняемый въ растратѣ общественной казны на зданія Периклъ погрозилъ заплатить свои деньги, но зато написать на зданіяхъ свое имя, то народныя толпы закричали единодушно, чтобы онъ не щадилъ казны на зданія. Причиной всего этого была публичность, составлявшая основу гражданственной жизни грековъ. Оттого жизнь ихъ отличается полнотой, многосторонностью и какой-то цѣлостностью, такъ-что религія была у нихъ искусствомъ, искусство — религіей, жречество было тѣсно слито съ администраціей; воинъ во время мира учился мудрости, и мудрецъ во время войны сражался за отечество; художникъ былъ гражданиномъ, а простолюдинъ не могъ жить безъ театра. Не такъ, какъ въ новомъ мірѣ, гдѣ ученый дичится свѣта и боится запаху пороха; военный, какъ достоинствомъ, хвалится безграмотностью и гордится невѣжествомъ, а художникъ поставляетъ себѣ за честь и обязанность жить внѣ современныхъ интересовъ общества и за облаками не видѣть земли, забывъ, что облака не другое что, какъ пустой туманъ, разсѣивающійся отъ лучей солнца! Да и какъ понятно послѣ этого, что греки себя считали людьми, а иностранцевъ считали варварами, и не хотѣли дѣлиться правами даже съ тѣми, у кого отецъ или мать не были чистой, безпримѣсной аѳинской крови.

Итакъ, литература грековъ, въ полномъ значеніи слова, была выраженіемъ ихъ сознанія, слѣдовательно всей ихъ жизни: религіозной, гражданственной, политической, умственной, нравственной, артистической, семейственной. Исторія греческой литературы тѣсно и неразрывно связана съ ихъ государственной или политической исторіей; тогда какъ исторія литературы новѣйшихъ народовъ есть только исторія одной стороны существованія каждаго изъ нихъ. Это оттого, что какъ въ древнемъ мірѣ всѣ стихіи общественной жизни были тѣсно и неразрывно связаны другъ съ другомъ и, взаимно проникая одна другую, образовывали собой прекрасное и живое единое цѣлое, такъ въ новомъ мірѣ всѣ общественныя стихіи дѣйствуютъ разъединенно и каждая самобытно и особно. Это распаденіе, представляющее собой столь печальное и грустное зрѣлище, особенно при сравненіи его съ свѣтлымъ и прекраснымъ міромъ греческой жизни, было однакожъ необходимо для того, чтобы стихіи общественности, развиваясь отдѣльно, тѣмъ полнѣе, глубже и совершеннѣе разработались, а потомъ бы уже снова слились и образовали новое, цѣлое и единое, которое будетъ тѣмъ выше міра греческой жизни, чѣмъ разъединеннѣе было въ новомъ мірѣ развитіе отдѣльныхъ стихій общественности. И начало этого новаго единенія мы видимъ уже и теперь: стѣна національности между народами постепенно падаетъ; дружественно и братски начинаютъ они дѣлиться духовными дарами своего національнаго историческаго развитія и постепенно сливаются въ единое семейство человѣчества; наука мирится съ жизнью, искусство проникается общественными интересами; ученый принимаетъ участіе въ дѣлахъ общественныхъ и миритъ кабинетную жизнь свою съ жизнью свѣтскаго салона; воинъ и купецъ не только ищутъ литературнаго образованія, но не чуждаются и интересовъ науки, хода идей. Конечно все это еще только начало, и все это преимущественно относится пока только къ Франціи, этой Элладѣ новаго міра, отечества всемогущей прессы; но за началомъ всегда слѣдуетъ конецъ, и скоро или еще и не скоро, но придетъ же время, когда въ новомъ человѣчествѣ воскреснетъ древняя Грецiя, лучше и прекраснѣе, чѣмъ была она: Грецiя, прошедшая черезъ христіанство, побѣдившая климаты, природу, пространство и время, вполнѣ покорившая духу своему царство матеріи.

Книгопечатаніе есть публичность новѣйшихъ народовъ, фокусъ, сосредоточивающій въ себѣ свѣтлые лучи народнаго сознанія. Но, какъ мы уже сказали выше, у новѣйшихъ народовъ, несмотря на усиливающіеся со дня на день успѣхи книгопечатанія, литература все еще остается только одной изъ многихъ сторонъ сознанія, а не полнымъ его выраженіемъ, какъ въ Греціи. Въ самыхъ образованнѣйшихъ государствахъ Европы книгопечатаніе все еще болѣе или менѣе остается чѣмъ-то вродѣ кабалистики, темныя таинства которой открыты только для одной, сравнительно съ массой цѣлаго народонаселенія, весьма малой части: большинство, нигдѣ не лишенное благодѣтельнаго вліянія цивилизаціи, тѣмъ не менѣе вездѣ коснѣетъ въ дикомъ невѣжествѣ, которое сильно заставляетъ сомнѣваться въ чрезвычайныхъ будто бы въ настоящее время успѣхахъ человѣчества. Сама литература у новѣйшихъ народовъ раздроблена на множество отраслей, такъ что знакомый съ одной почитаетъ себя вправѣ не знать другихъ. Впрочемъ это нисколько не отри-

Digitized by Google

цаетъ существованія литературъ, въ полномъ значеніи этого слова, у новѣйшихъ народовъ: ибо хотя большинство и массы не пользуются у нихъ, какъ это было въ древней Греціи, дарами національнаго духа, котораго они сами источникъ и почва, однако внимательный взоръ легко открываетъ въ литературахъ новѣйшихъ народовъ живое историческое развитіе духа тѣхъ самыхъ массъ, которыя въ своемъ невѣжествѣ и не подозрѣваютъ существованія литературы, выразившей сущность ихъ же собственнаго нравственнаго существованія. И потому литературы новѣйшихъ народовъ представляютъ собой картину исторически развившагося народнаго духа, гдѣ каждое отдѣльное явленіе вышло изъ предшествовавшаго и произвело въ свою очередь послѣдующее, гдѣ ничего не являлось случайно, особно, но все связано въ единый живой организмъ.

Мы сказали, что литература есть сознаніе народа, исторически выражающееся въ словесныхъ произведеніяхъ его ума и фантазіи. Исторію можетъ имѣть только то, что органически развивается, имѣя точкой отправленія зародышъ, зерно національнаго духа народа (субстанію), выходя изъ предыдущаго и производя послѣдующее. Развиваться же органически можетъ только то, что въ самомъ себѣ заключаетъ собственное свое содержаніе, подобно зерну, заключающему въ себѣ, какъ возможность, жизнь и форму будущаго растенія, а потому и одаренному жизненностью, которая, при выполненіи необходимыхъ условій—почвы, воздуха, свѣта, влажности,—тотчасъ же принимается за отправленіе своихъ функцій, превращая зерно въ стебель, стебель—въ стволъ съ вѣтвями и листьями, съ цвѣтомъ и плодомъ. Вслѣдствіе этого литературу могутъ имѣть только тѣ народы, въ національномъ развитіи которыхъ выразилось развитіе человѣчества, и которымъ слѣдовательно міродержавныя судьбы предоставили высокую роль представителей человѣчества въ великой драмѣ всемірной исторіи. И потому-то изъ древнихъ народовъ только у грековъ и римлянъ была своя литература, которой высокое значеніе не утратилось до сихъ поръ, но, какъ драгоцѣнное наслѣдіе, перешло къ новымъ народамъ и послужило къ развитію ихъ общественной, ученой и литературной жизни. Причиной этому—богатое содержаніемъ субстанціальное зерно духовной жизни грековъ: въ этомъ зернѣ заключалась плодородная идея, изъ которой развилась вся исторія, а слѣдовательно и литература этого народа. Идея эта была обще-человѣческая въ греческой формѣ, а потому и греческая литература, отслуживши грекамъ, не умерла вмѣстѣ съ ними, но перешла въ общее достояніе народовъ, въ лицѣ которыхъ, послѣ грековъ, стало выражаться человѣчество. Литература римлянъ не имѣетъ такого высокаго значенія въ сферѣ искусства, какъ литература греческая; лучшее и величайшее произведеніе римлянъ былъ кодексъ Юстиніана—плодъ историческаго развитія римской жизни. И однакожъ зерно національнаго духа римлянъ, развившееся въ «вѣчный городъ», оцивилизовавшее весь древній міръ и давшее новое направленіе цивилизаціи новѣйшаго міра, заключаетъ въ себѣ такое великое всемірно-историческое и обще-человѣческое значеніе, что ради его латинская литература, поэтическая и историческая, возросшая, такъ сказать, на могилѣ римской жизни, доселѣ уважается почти наравнѣ съ греческой. И чѣмъ обще-человѣчественнѣе оплодотворяющая жизнь народа субстанціальная идея, чѣмъ болѣе народъ выражаетъ своей жизнью человѣчество и чѣмъ болѣе имѣетъ вліянія на его судьбы,—тѣмъ болѣе литература такого народа подходитъ подъ значеніе литературы вообще, тѣмъ она выше и важнѣе. И наоборотъ, чѣмъ меньше источникъ духовной жизни народа, чѣмъ отдѣльнѣе судьба народа отъ судебъ человѣчества,—тѣмъ ограниченнѣе значеніе его литературы, тѣмъ менѣе—она литература. И потому-то гораздо болѣе такихъ народовъ, которыхъ литературы или незначительны, или у которыхъ вовсе нѣтъ литературы, чѣмъ народовъ, которыхъ литературы значительны или которые имѣютъ какую нибудь литературу.

Говоря о литературѣ, мы преимущественно разумѣемъ изящную литературу—кругъ произведеній поэтическихъ, художественныхъ. Сюда, для полноты слова «литература», могутъ относиться такія словесныя произведенія, которыя, принадлежа къ сферѣ ученой, какъ исторія, или, имѣя своимъ источникомъ опредѣленную практическую цѣль, какъ ораторскія рѣчи, тѣмъ не менѣе составляютъ собой предметъ живого общаго интереса и требуютъ для своего выраженія болѣе или менѣе художественной формы, а отъ людей, посвящающихъ себя такого рода дѣятельности, болѣе или менѣе художественнаго таланта. Такимъ образомъ творенія Геродота, Ѳукидида, Тацита, ученыя по своему содержанію, въ то же время суть и изящныя произведенія, по искусству ихъ концепціи и изложенія. О рѣчахъ Демосѳена и Цицерона нечего и говорить: хотя краснорѣчіе и не вполнѣ искусство, какъ поэзія, потому-что оно имѣетъ опредѣленную, чисто-практическую цѣль и опирается на діалек-

Digitized by Google

тику, а не на творчество, но все же оно—искусство, потому-что требуетъ отъ импровизаціи художественности въ выраженіи, а отъ оратора—таланта и вдохновенія.

Съ этой точки зрѣнія литература и словесность представляются въ новыхъ отношеніяхъ различія между собой. Поэзія, не возвысившаяся на степень искусства, художества, принадлежитъ къ области словесности, а не литературы. Такая поэзія называется народной. Она выражаетъ собой сознаніе народа, еще не вышедшее изъ пеленъ непосредственнаго, безсознательнаго созерцанія. Въ произведеніяхъ народной поэзіи еще нѣтъ мысли, а есть только темное стремленіе къ мысли, ея предощущеніе, предчувствіе. И потому произведенія народной поэзіи не могутъ возвыситься до художественной формы, въ которую можетъ воплощаться развившееся до идеи созерцаніе. Вслѣдствіе этого народная поэзія одного народа мало и не вполнѣ доступна другому: на ней лежитъ печать исключительной особности. Сфера народной поэзіи не обширна и не многосложна: пословица, поговорка, порабола, басня, пѣсня, сказка, легенда—эти первыя проявленія сознанія младенческихъ обществъ — вотъ все, что̀ заключаетъ въ себѣ поэзія, которую называютъ народной, естественной или непосредственной и которую еще можно назвать поэтической словесностью народа. Если субстанціальное зерно духовной жизни народа попадаетъ на историческую почву и получаетъ возможность развиться изъ самого себя,—тогда естественная поэзія народа перерождается въ художественную, его словесность—въ литературу, и первая остается преимущественно на долю низшихъ, необразованныхъ классовъ народа, никогда не умирая въ его устахъ, а вторая дѣлается исключительнымъ достояніемъ высшихъ, образованныхъ классовъ народа. Когда наступаетъ періодъ исторической и критической разработки литературы,—естественная или народная поэзія, т. е. словесность, становится предметомъ изученія для ученыхъ и литераторовъ, а черезъ нихъ дѣлается извѣстной и читающей публикѣ, и болѣе или менѣе интересуетъ ее своими наивными произведеніями. Художественная же поэзія только развѣ черезъ театръ бываетъ болѣе или менѣе доступна низшимъ классамъ народа. Если содержаніе жизни народа лишено обще-человѣческаго значенія, такъ что безъ искусственнаго и насильственнаго отрицанія своей національности и своего историческаго развитія, въ пользу цивилизаціи народовъ, представляющихъ въ лицѣ своемъ человѣчество, онъ не можетъ возвыситься до значенія всемірно-историческаго народа, то изъ естественной поэзіи такого народа не можетъ развиться художественная, а изъ его словесности литература. Тогда словесность такого народа остается исключительнымъ достояніемъ простонародья, а для образованныхъ классовъ создается подражательная литература, господствующая до тѣхъ поръ, пока чужеземные элементы не проникнутъ національныхъ и вслѣдствіе этого не возникнетъ наконецъ литература самобытная. Въ послѣднемъ случаѣ народная поэзія вновь обращаетъ на себя вниманіе образованныхъ классовъ и, по духу реакціи, дѣлается предметомъ подражанія даже со стороны истинныхъ художниковъ; но скоро узнаютъ, что изъ нея немного выжмешь, и отводятъ ей укромное мѣсто въ исторіи отечественнаго слова, отдѣльно и безъ связи съ исторіей собственно литературы. Такъ было, какъ увидимъ ниже, съ народной поэзіей въ Россіи.

Произведенія словесности, непосредственно выходя изъ духа народа, носятъ на себѣ общій отпечатокъ этого духа и въ содержаніи, и въ формѣ: этимъ однимъ и ограничиваются ихъ отношенія и связь между собой. Ни одно изъ нихъ не имѣетъ вліянія на другое, ни одно не бываетъ слѣдствіемъ другого; они являются отдѣльно, разрозненно, и для нихъ слѣдовательно нѣтъ исторіи. Память народа хранитъ ихъ также отрывочно, не зная ихъ числа, многія изъ нихъ измѣняя, другія забывая совсѣмъ. Изъ этого общаго правила должна быть исключена только греческая народная поэзія, въ первыхъ проявленіяхъ которой виденъ зародышъ, изъ котораго впослѣдствіи развилась вся греческая литература. Глубокія философскія идеи скрыты въ гимнахъ поэтовъ до-омировскаго времени, и эти гимны приписываются извѣстнымъ именамъ, а не безличному лицу народа. Оттого и самая форма первыхъ проблесковъ возникавшаго народнаго сознанія въ греческой поэзіи не чужда нѣкоторой художественности, хотя въ то же время ихъ содержаніе и исполнено символизма. И потому у грековъ почти не было ни народной поэзіи, ни словесности въ томъ смыслѣ, какъ мы понимаемъ эти слова; но была художественная поэзія и литература, Ихъ литература съ самаго начала ея, теряющагося во мракѣ временъ, была національной, а не народной, потому-что въ Греціи народъ никогда не составлялъ особеннаго государства въ государствѣ, никогда не былъ чернью, и творенія Омира и трагиковъ точно такъ же существовали и для него, какъ и для высшихъ сословій. Въ греческой литературѣ нѣтъ рѣзкой черты, которая бы отдѣляла ихъ

Digitized by Google

младенческую, естественную поэзію отъ художественной; напротивъ, въ ней все вытекаетъ одно изъ другого, подобно рѣкѣ, становясь въ своемъ теченіи все шире и шире... Хотя нѣкоторыя изъ новѣйшихъ литературъ тоже связаны съ своей естественной поэзіей и развились изъ нея, однакожъ эта связь въ нихъ далеко не такъ тѣсна, какъ въ греческой. Если пѣсня, романсъ и баллада—эти чисто-народныя произведенія Европы среднихъ вѣковъ—были началомъ и источникомъ художественной лирической поэзіи въ Европѣ,—то все же между какимъ нибудь Байрономъ, Гёте и Шиллеромъ едва-ли есть такъ много общаго съ менестрелями, трубадурами, труверами и бардами, какъ много общаго въ гимнахъ, приписываемыхъ Липу, Музею и Орфею, съ позднѣйшими гимнами Изіода и Омира, съ «Иліадой» и трагиками. Если испанская и англійская драмы развились изъ мистерій среднихъ вѣковъ, какъ греческая изъ вакхическихъ праздниковъ, то все же нѣтъ ничего общаго между этими мистеріями и драмами Шекспйра, и по крайней мѣрѣ очень немного общаго между этими мистеріями и драмами Лопеца де-Веги и Кальдерона, не говоря уже о французской трагедіи, которая вслѣдствіе ошибочнаго подражанія греческой пошла совершенно другой дорогой.

Письменность служитъ, хотя и не всегда, естественнымъ переходомъ отъ словесности къ литературѣ; ею иногда какъ бы оканчивается словесность и начинается литература. Письменность оказываетъ великую услугу словеснымъ произведеніямъ народа, освобождая ихъ отъ непосредственной принадлежности лицамъ и избавляя отъ опасности погибнуть навсегда съ лицами, вслѣдствіе разныхъ случайностей. Но эта услуга не полная, потому-что рукопись также въ свою очередь подвержена вліянію случайностей: можетъ сгорѣть, потонуть, сгнить, затеряться. «Слово о Полку Игоревѣ» дошло до насъ въ единственномъ спискѣ, и то искаженномъ мѣстами до безсмыслицы. А кто поручится, что древняя Русь не имѣла и другихъ поэмъ, вродѣ «Слова о Полку Игоревомъ», которыхъ не сохранила для насъ письменность? Сколько погибло памятниковъ древней литературы Греціи и Рима.

У народовъ, не игравшихъ всемірно-исторической роли, письменность мало или почти никакихъ услугъ не оказала поэзіи, какъ мы уже говорили объ этомъ выше. Такъ, до насъ дошли только тѣ изъ русскихъ пѣсенъ, которыя сохранились въ памяти народа, хотя и измѣненныя временемъ. Но совсѣмъ другую роль играла письменность у народовъ, которые своей жизнью выразили движеніе всемірно-историческаго духа. Такъ напримѣръ, когда монархія Александра Македонскаго рушилась, міръ греческой жизни уже отцвѣлъ, и свитокъ рукописи заглушилъ собой живое изустное слово: тогда явилась письменная литература, образовавшая нѣчто цѣлое и единое соединеніемъ въ себѣ произведеній такъ называемой «Александрійской» или «Неоплатонической школы». Такъ, впослѣдствіи творенія отцовъ церкви христіанской всегда образовывали собой, и на Востокѣ, и на Западѣ, отдѣльную литературу, которой развитіе совершилось въ связи и послѣдовательности, и которой исторія тѣсно связана съ исторіей человѣчества въ ту великую эпоху.

Существенное и главное различіе между «словесностью» и «литературой» состоитъ въ томъ, что въ «словесности» преобладающимъ интересомъ является языкъ, какъ матеріалъ всякаго словеснаго произведенія; а въ «литературѣ» самостоятельный интересъ языка исчезаетъ, подчиняясь другому, высшему интересу—содержанію, которое въ литературѣ является преобладающимъ и самостоятельнымъ интересомъ. И потому, если можетъ быть исторія словесности, такъ это въ смыслѣ исторіи развитія языка въ словесныхъ произведеніяхъ народа, безъ отношенія къ ихъ содержанію. А оттого «словесность» и принимается въ смыслѣ науки, и можно сказать: «учиться словесности». Въ этомъ отношеніи словесность соприкасается въ своемъ значеніи съ филологіей. Но литературѣ нельзя учиться, а можно только изучать литературу. Словесныя произведенія могутъ разсматриваться со стороны этимологіи, графики, лексикографіи, грамматики, стилистики. Словесныя произведенія народа могутъ раздѣляться по содержанію только внѣшнимъ образомъ, чтобы поэтическіе памятники не смѣшивать съ лѣтописями и памятниками духовной, юридической словесности; но главное и существенное ихъ раздѣленіе бываетъ по эпохамъ, въ которыхъ совершились измѣненія, испытанныя языкомъ въ его развитіи во времени. Когда же словесныя произведенія разсматриваются со стороны ихъ содержанія, мимо интереса языка, тогда они совершенно выходятъ изъ сферы словесности и поступаютъ въ вѣдѣніе той науки, къ которой относится ихъ содержаніе: такъ напримѣръ, произведенія духовнаго содержанія отходятъ тогда къ церковной исторіи, лѣтописи и хроники къ политической исторіи, памятники законодательства, судебные и т. п. къ исторіи права, и т. д. Вообще словесность не разборчива: она принимаетъ въ себя равно

Digitized by Google

и худое, и хорошее, и посредственное, и превосходное, лишь бы оно выразилось въ словѣ. Литература исключаетъ изъ себя все случайное и признаетъ своими произведеніями только то, въ чемъ положительно или отрицательно выразилось діалектическое движеніе развивающейся во времени идеи. Поэтому къ литературѣ относятся даже и такія произведенія, въ которыхъ видно уклоненіе отъ здраваго вкуса и основныхъ законовъ творчества, если только это уклоненіе было не случайное, но или выразило собой необходимо, вслѣдствіе глубокихъ историческихъ причинъ, родившееся заблужденіе общества или и цѣлаго человѣчества (какъ напримѣръ псевдо-классическая поэзія во Франціи XVII и XVIII вѣковъ и морально-романическая школа въ Англіи XVIII вѣка, школа Фильдинга и Ричардсона), или необходимый переходъ отъ стараго къ новому (какъ напримѣръ неистовыя произведенія новѣйшей романтической школы). Напротивъ того, литература исключаетъ изъ себя даже ознаменованныя большей или меньшей степенью таланта произведенія, если только они, не принадлежа къ высшимъ явленіямъ въ сферѣ искусства, въ то же время не выражаютъ собой духа времени, его господствующей идеи, а потому и лишены всякаго историческаго значенія. Въ область литературы входятъ только родовыя типическія явленія, которыя фактически осуществили собой моменты историческаго развитія. И потому всякая литература имѣетъ свою исторію, тогда какъ словесность можетъ имѣть только библіографію. Задача всякой исторіи состоитъ въ томъ, чтобы подвести многоразличіе частныхъ явленій подъ общее значеніе, открыть въ многоразличіи частныхъ явленій органическую связь, взаимнодѣйствіе и отношенія, и прослѣдить въ послѣдовательности многоразличныхъ явленій развитіе живой идеи, составляющей ихъ душу. Задача библіографіи состоитъ только въ томъ, чтобы описать каждое изъ данныхъ произведеній словесности по его содержанію, формѣ, особенностямъ. Библіографія говоритъ просто: такая-то рукопись или книга заключаетъ въ себѣ то-то и то-то, принадлежитъ она къ такому-то вѣку, писана на пергаментѣ или на бумагѣ уставомъ, столбцами или печатана такимъ-то шрифтомъ, въ такую-то долю листа и т. п. Если библіографія соблюдаетъ какой-нибудь порядокъ, то всегда внѣшній, для удобства употребленія, а не по требованію сущности предмета; она классифицируетъ рукописи и книги, какъ классифицируютъ ихъ каталоги и реестры. Поэтому произведенія словесности суть какъ бы тѣни, являющіяся на заклинанія магика; произведенія литературы—живыя, всѣмъ извѣстныя и для всѣхъ равно-доступныя лица, съ опредѣленными именами. Лабораторія словесности—келья монаха, уединеніе мудреца, зала пиршества, темный лѣсъ, зеленыя дубравы и широкія поля; оттуда выходили всѣ произведенія ея—хроники, лѣтописи, поученія, легенды, пѣсни, сказки и т. п. Лабораторія литературы—общество съ его интересами и жизнью. Словесность лишена арены: она можетъ интересовать только любознательныхъ ученыхъ, тружениковъ науки, книжниковъ, литераторовъ, которые одни только и могутъ ею заниматься. Литература имѣетъ опредѣленную арену въ книгѣ, журналѣ, театрѣ, трибунѣ; она сама есть родъ сцены, на которой разыгрывается драма передъ лицомъ многочисленнаго собранія, изъявляющаго рукоплесканіями и кликами свое участіе и восторгъ.

Письменность есть средство равно и для словесности, и для литературы, сохраняя произведенія первой и выражая собой движеніе послѣдней. Если въ письменности выражается духъ эпохи и она принимаетъ характеръ не только догматическій, но и полемическій, тогда она бываетъ литературой или по крайней мѣрѣ служитъ переходомъ отъ словесности къ литературѣ. Разумѣется, это бываетъ только у народовъ, стоящихъ во главѣ человѣчества, и притомъ въ самыя жизненныя эпохи своего историческаго существованія. Такъ было, какъ сказали мы выше, въ первые вѣка христіанской церкви, во время расколовъ и соборовъ; такъ было въ западной Европѣ среднихъ вѣковъ, гдѣ изъ богословской полемики образовались діалектика, логика и метафизика. Но письменность во всякомъ случаѣ представляетъ для развитія литературы слишкомъ тощую почву и ограниченную сферу, и безъ книгопечатанія новѣйшая литература навсегда бы могла остаться слабымъ растеніемъ, поддерживающимся искусственными средствами. Съ другой стороны не должно забывать, что у народа, лишеннаго духа всемірно-исторической жизни, и книгопечатаніе не родитъ литературы: будутъ книги и, пожалуй, въ огромномъ количествѣ, но литературы все-таки не будетъ.

Выше сказали мы, что «литература есть выраженіе умственнаго существованія (сознанія) народа въ его словесныхъ произведеніяхъ». Каждый народъ живетъ своей жизнью, а какъ жить не значитъ только родиться, ѣсть, пить и умирать, но и мыслить, знать,—то слѣдовательно каждый народъ живетъ и своимъ сознаніемъ, которое есть не что иное, какъ одна изъ

Digitized by Google

многихъ сторонъ сознающаго себя общечеловѣческаго духа. Особенность сознанія, принадлежащаго одному народу и отличающаго его отъ всѣхъ другихъ народовъ, состоитъ въ его міросозерцаніи, въ томъ инстинктивномъ внутреннемъ взглядѣ на міръ, съ которымъ онъ, такъ сказать, родится, какъ съ непосредственнымъ и только одному ему присущнымъ откровеніемъ истины, и который есть его самодвижительная сила, жизнь и значеніе. Міросозерцаніе народа—это та умственная призма, съ однимъ или нѣсколькими первосущими цвѣтами радуги, сквозь которую онъ созерцаетъ тайну бытія всего сущаго. Народъ есть идеальная личность, у которой, подобно каждому отдѣльному человѣку, своя особенная натура, свой темпераментъ, свой характеръ, словомъ, своя субстанція (слово, котораго значеніе далеко не вполнѣ можетъ быть выражено словомъ сущность). Почему у того или у другого народа именно такая, а не этакая субстанція,—этого такъ же невозможно объяснить, какъ и того, почему одинъ человѣкъ родится съ способностью къ живописи, а не къ музыкѣ, другой—къ математикѣ, а не къ военному искусству, и т. д. Правда, на образованіе субстанціи народа имѣютъ большее или меньшее вліяніе географическія, климатическія и историческія обстоятельства; но тѣмъ не менѣе очевидно, что первая и главная причина субстанціи всякаго народа, какъ и всякаго человѣка, есть физіологическая, составляющая непроницаемую тайну непосредственно-творящей природы. Субстанція въ свою очередь есть прямой и непосредственный источникъ міросозерцанія народа. Изъ міросозерцанія народа возникаетъ животворная идея; развитіе этой идеи въ живой практической дѣятельности составляетъ историческую жизнь народа. Движительнымъ развитіемъ этой идеи народъ живетъ; ею онъ и силенъ, и крѣпокъ, и могущъ, такъ что, когда эта идея совершитъ полный кругъ своего развитія,—животворный источникъ народной жизни изсякнетъ, народъ теряетъ свою энергію и начинаетъ существовать только внѣшнимъ образомъ, пока какой-нибудь внѣшній же толчокъ не прекратитъ его призрачнаго существованія. Такъ кончилось существованіе Греціи и Рима, когда первая изжила всю свою религіозно-миѳическую и эстетически-гражданственную жизнь, а второй утратилъ энтузіазмъ республиканской доблести. Міросозерцаніе, а слѣдовательно и субстанціальная идея народа проявляется въ его религіи, въ его гражданственности, въ его искусствѣ и знаніи. Уловить міросозерцаніе какого бы то ни было народа въ краткое и удовлетворительное опредѣленіе—чрезвычайно трудно; довольно указать на его присутствіе въ многоразличныхъ проявленіяхъ народнаго сознанія. Въ Индіи напр. издревле до нашихъ временъ царствуетъ пантеистическое міросозерцаніе, и Богъ понятъ, какъ вѣчно-производящая и вѣчноразрушающая сила природы. Для индійца каждое явленіе природы есть воплощеніе Брамы, и потому для него все въ природѣ выше человѣка, и онъ набожно хранитъ жизнь всякаго животнаго, хотя бы то было насѣкомое, и небрежетъ о своей собственной и своихъ ближнихъ. Погружаться въ созерцаніе совершенствъ Брамы, исчезать въ восторженномъ блаженствѣ этого піэтическаго созерцанія и духомъ, и плотью—цѣль жизни индійца. И потому-то въ Индіи въ такомъ употребленіи добровольно терзать свою плоть физическими муками, бросаться подъ колеса гигантскаго истукана, сожигаться на кострахъ, и т. п. Это міросозерцаніе отразилось въ искусствѣ индійскомъ. Неопредѣленное божество, подавляющее бѣднаго человѣка своимъ всесокрушающимъ величіемъ, не могло выразиться иначе, какъ въ храмахъ колоссальныхъ, подобно горамъ, въ гигантскихъ и уродливыхъ истуканахъ. То же явленіе повторилось и въ литературѣ: «Махабгарата» и «Рамаяна», по ихъ внѣшней формѣ, огромны, нестройны, завалены эпизодами; по содержанію, исполнены присутствіемъ божества, производящаго и разрушающаго, и человѣкъ въ нихъ съ безусловнымъ самоотверженіемъ поглощается въ деспотической волѣ этого страшнаго божества, изъ-подъ безчисленныхъ образовъ котораго всегда выглядываетъ обоготворенная матерія вселенной. Въ Персіи это пантеистическое божество отрѣшилось отъ всякой образности, изъ царства видимой природы перешло въ царство духовъ (самодѣйствующихъ и первосущныхъ силъ природы) и распалось на двойственное и враждебное себѣ самому понятіе добра и зла. Въ племенахъ семитическихъ божество, отрѣшившись отъ всякой образности, явилось безплотной и отвлеченной идеей всесущности — безличной индивидуальностью. Это міросозерцаніе перешло впослѣдствіи и въ магометанство. Но, несмотря на свою духовность, оно есть тотъ же индійскій пантеизмъ, только на высшей степени своего развитія. Въ Египтѣ видна борьба природы съ человѣкомъ: египетское ваяніе коснулось и человѣка, но этотъ человѣкъ лишенъ жизни, связанъ и блещетъ только мертвой правильностью чертъ лица. Часто онъ является тамъ неотдѣленнымъ отъ животнаго, и въ сфинксѣ выразилось торжество египетской фантазіи, не могшей

Digitized by Google

ни оторваться отъ животнаго, ни возвыситься до человѣка. Въ Греціи, въ лицѣ миѳическаго Эдипа, человѣкъ побѣдилъ сфинкса, разгадавъ его загадку, смыслъ которой былъ «человѣкъ», и въ разгадкѣ которой выразилось самосознаніе человѣка: сфинксъ отъ стыда и досады бросился въ море, а человѣкъ остался царемъ на землѣ. И потому если грекъ очеловѣчилъ божество, выражавшееся на Востокѣ только въ животныхъ образахъ, то и обожествилъ человѣка—и это не въ одномъ изяществѣ благородныхъ формъ его тѣла, но и въ духовномъ стремленіи его къ истинному, прекрасному, доблестному, которое, по понятію грека, было божественнымъ, хотя въ немъ и отразилась его же собственная человѣческая сущность. И такъ, по созерцанію эллина, божественное внѣшняго человѣка состояло въ красотѣ, а божественное внутренняго человѣка состояло въ героизмѣ, въ смыслѣ борьбы долга съ рокомъ,—и тамъ, гдѣ побѣда оставалась за человѣкомъ, человѣкъ дѣлался выразителемъ и представителемъ божественнаго, а гдѣ человѣческая личность побѣждалась страстью и эгоизмомъ, тамъ божественное являлось торжествующимъ въ трагической катастрофѣ падшей нравственно личности. Во всемъ, и въ природѣ, и въ духѣ человѣка, и въ религіи, и въ гражданственности, и въ искусствѣ, грекъ искалъ и находилъ божественное и упивался имъ въ блаженномъ созерцаніи. Цѣль жизни для грека было наслажденіе, заключавшееся въ одномъ божественномъ. И потому у грека самая чувственность была обожествлена чувствомъ красоты и изящества, которыя тѣсно были соединены въ его созерцаніи съ чувствомъ нравственнаго. Жрецъ ли, воинъ ли, администраторъ ли, мудрецъ ли, художникъ ли, гость ли на пиру: грекъ вездѣ священнодѣйствовалъ, вездѣ былъ актеромъ, который беретъ себѣ роль, чтобы, слившись съ страданіемъ и блаженствомъ героя драмы, насладиться и своимъ съ нимъ единствомъ, и своей отъ него особностью въ одно и то же время. Вотъ это-то міросозерцаніе и лежитъ въ основѣ каждаго художественнаго произведенія греческаго, а слѣдовательно и въ греческой литературѣ, лежитъ въ ихъ основѣ, какъ мысль затаенная, но тѣмъ не менѣе ясная и ощутительная, какъ національный мотивъ, по которому узнаютъ музыку того или другого народа во всѣхъ его пѣсняхъ. И это-то міросозерцаніе и составляетъ то вѣчное и непреходящее, то божественное греческой литературы, которое и сдѣлало ее общимъ достояніемъ человѣчества, несмотря на измѣненіе нравовъ и понятій втеченіе тысячелѣтій, которое пережило эмпирическое существованіе грековъ и умретъ только съ человѣчествомъ, если человѣчество можетъ умереть. Въ греческомъ міросозерцаніи мы видимъ торжество развитія древняго міра, видимъ въ ней цвѣтомъ то, что въ Индіи было корнемъ, въ Египтѣ—стеблемъ и листьями. По этому самому даже искусство и литература индійцевъ имѣютъ всемірно-историческое значеніе, какъ выраженіе ступени всемірно-историческаго развитія. Египтяне оставили памятники своего интеллектуальнаго существованія преимущественно въ зодчествѣ и ваяніи, въ громадной нескладности и животныхъ типахъ которыхъ выразилось окончательное обожествленіе природы и порываніе къ идеѣ человѣка. И потому египетское искусство тоже имѣетъ всемірно-историческое значеніе. Но несравненно выше ихъ всемірно-историческое значеніе греческаго искусства и греческой литературы, въ которыхъ все, что въ другихъ древнихъ народахъ проявлялось неопредѣленно, разрозненно, чудовищно, явилось опредѣленно, полно и изящно.

Пантеистическое міросозерцаніе, отправившееся отъ Индіи, черезъ Персію, къ семитическимъ племенамъ и принявшее отвлеченно духовный характеръ, миновало Грецію и перешло въ Европу среднихъ вѣковъ, преображенное христіанствомъ; а въ Азіи преобразовалось въ магометанство. Нѣтъ нужды доказывать, что священная литература евреевъ имѣетъ всемірно-историческое значеніе; но должно сказать, что поэзія восточныхъ народовъ, какъ до исламизма, такъ и во время его владычества, имѣетъ свое всемірно-историческое значеніе въ той мѣрѣ, въ какой выражается въ ней пантеистическое міросозерцаніе. Въ Европѣ новыхъ временъ, по исходѣ среднихъ вѣковъ, геній Востока, развивавшійся мимо Греціи, снова встрѣтился съ древне-европейскимъ міромъ, чрезъ знакомство съ литературами Греціи и Рима.

У римлянъ, какъ у народа по-преимуществу практически-дѣятельнаго, не могло развиться ни самостоятельной поэзіи, ни самобытной литературы: литература ихъ есть подражаніе греческой, и явилась у нихъ при крутомъ поворотѣ римской жизни къ упадку и гніенію. Латинская литература преимущественно заключается въ рѣчахъ ораторовъ и въ историческихъ твореніяхъ, которыхъ характеръ болѣе риторическій, какъ оно и должно было быть у народа общественнаго, гдѣ краснорѣчіе имѣло характеръ судебный и политическій. Истинная латинская литература, т. е. національная и самобытная латинская литература, заключается въ Тацитѣ и сатирикахъ, изъ которыхъ

Digitized by Google

главнѣйшій — Ювеналъ. Эта литература, явившаяся въ эпоху крайняго разложенія стихій общественной жизни римлянъ, имѣетъ высокое значеніе высшаго нравственнаго суда надъ сгнившимъ въ развратѣ обществомъ, что и даетъ ей по-преимуществу всемірно-историческое, а слѣдовательно и никогда не умирающее значеніе. Литература же великаго и цвѣтущаго Рима преимущественно заключается въ его законодательствѣ.

На позорищѣ новаго міра три націи представляютъ въ своемъ лицѣ современное намъ человѣчество—Франція, Германія и Англія. Прежде нихъ вышедшая на поприще всемірно-исторической дѣятельности, Италія уже какъ бы умерла въ настоящее время и въ летаргическомъ усыпленіи, съ тоской, тщетно ожидаетъ своего возрожденія для будущаго. Мы говоримъ не о политическомъ, а о нравственномъ, духовномъ существованіи народовъ. Италія, по разрушеніи Рима варварами, никогда не играла сколько нибудь значительной роли въ политическомъ мірѣ и только хитростью отдѣлывалась отъ многочисленныхъ враговъ, и съ сѣвера, и съ юга безпрестанно наводнявшихъ собой ея прекрасную почву. Германія и теперь не одно государство, не одинъ народъ, а множество государствъ и народовъ, и въ политическомъ мірѣ не Германія, а Пруссія и Австрія играютъ теперь первостепенныя роли. Но предметъ нашего изслѣдованія—не Пруссія, и еще менѣе Австрія, а Германія или, лучше сказать, духъ германскаго племени, его нравственное, а не политическое владычество въ современномъ мірѣ. И вотъ въ этомъ-то отношеніи Италія—страна мертвая въ наше время. А какую блестящую роль играла она еще въ то время, когда вся остальная Европа была погружена во мракѣ варварства! Еще тогда въ ней была уже цивилизація—отблескъ наслѣдованной ею классической цивилизаціи, утонченность нравовъ, наука и искусство. Въ XIII и XIV столѣтіяхъ, какъ мы уже говорили объ этомъ выше, Италія имѣла уже Данта, Петрарку и Боккаціо; въ XVI — Аріоста и Тасса; но не этимъ только ограничивалось владычество Италіи въ сферѣ искусства: Италія — отечество зодчества, живописи, скульптуры, музыки. Нѣтъ никакой нужды приводить здѣсь имена ея великихъ художниковъ: они такъ извѣстны всѣмъ. Итальянецъ, это—или артистъ, или диллетантъ уже по самой натурѣ своей; онъ родится или артистомъ, или диллетантомъ. Гондольеръ въ Италіи поетъ октавы Тасса, народъ апплодируетъ при появленіи на улицѣ какого-нибудь знаменитаго маэстро. Путешественники всѣхъ странъ не могутъ не удивляться правильной и благородной красотѣ римскаго простонародья, искусству римскаго крестьянина драпироваться своимъ бѣднымъ плащемъ и принимать живописныя позы во всѣхъ его положеніяхъ. Земля священныхъ развалинъ, почва, усѣянная памятниками и обломками древняго искусства, царство благодатной и роскошной природы, вся прелесть, вся наслажденіе, вся восторгъ и вдохновеніе,—поэтическая, живописная и пѣвучая Италія, въ артистическомъ отношеніи, была наслѣдницей древней Греціи. Она царила въ области изящнаго, въ области вкуса. Что было этому причиной, если не субстанція народа? Скажутъ: это направленіе произвели обстоятельства, видъ памятниковъ древняго искусства, непосредственное наслѣдіе древней цивилизаціи. Но почему же римляне, ограбившіе Грецію произведеніями ея искусства, почему они, не смотря на то, попрежнему остались народомъ безъ эстетическаго вкуса, безъ всякой способности къ творчеству? потому-что всѣ, даже позднѣйшія произведенія древняго рѣзца, уже ознаменованныя признаками упадка искусства, были дѣломъ рукъ грековъ, пріѣзжавшихъ или переселявшихся въ Римъ. Чтобы Италія сдѣлалась отчизной искусствъ, римской крови нужно было возродиться черезъ смѣшеніе съ кровью готѳовъ и лонгобардовъ...

Другая роль въ человѣчествѣ суждена французамъ, нѣмцамъ и англичанамъ—этимъ тремъ національностямъ, идущимъ теперь во главѣ человѣчества. Германія и Франція представляютъ собой два противоположные полюса, двѣ противоположныя крайнія стороны духа человѣческаго; первая: вся—мысль, вся — созерцаніе, вся—знаніе, вся—мышленіе; вторая: вся—страсть, вся — движеніе, вся — дѣятельность, вся—жизнь. Германія понимаетъ (созерцаетъ) природу и человѣка, — словомъ, дѣйствительность, понимаетъ ее не иначе, какъ предметъ для сознанія,—и отсюда мыслительно-созерцательный, субъективно-идеальный, восторженно-аскетическій, отвлеченно-ученый характеръ ея искусства и науки. Оттого и само искусство ея не что иное, какъ параллель философіи, какъ особенная форма созерцательнаго мышленія, и оттого же и всемірно-историческій характеръ произведеній ея литературы—и науки, и поэзіи. Отсюда же проистекаетъ и яркая противоположность между высокимъ, всемірно-историческимъ значеніемъ нѣмцевъ въ наукѣ и искусствѣ, и ихъ пошлостью въ гражданскомъ и семейственномъ быту. Франція, напротивъ, понимаетъ жизнь какъ жизнь, а мысль, какъ дѣятельность, какъ развитіе общественности, какъ приложеніе

Digitized by Google

къ обществу всѣхъ успѣховъ науки и искусства. Для нѣмца наука и искусство—сами себѣ цѣль, самостоятельная и священная сфера, которую значило бы профанировать, внося въ нее что-нибудь отъ міра или требуя отъ нея вмѣшательства въ дѣла жизни; для француза наука и искусство—средства для общественнаго развитія, для отрѣшенія личности человѣческой отъ тяготящихъ и унижающихъ ее оковъ преданія и временныхъ (а не вѣчныхъ) общественныхъ отношеній. И вотъ причина, почему литература французская имѣетъ такое огромное вліяніе на всѣ образованные и даже полуобразованные народы міра; вотъ почему даже ея летучія, эфемерныя произведенія пользуются такой всеобщностью, такой повсюдной извѣстностью. Нѣмецъ бьется только изъ того, чтобы понять истину, а поймутъ ли его самого,—объ этомъ онъ мало заботится; онъ пишетъ для тружениковъ истины, готовыхъ добиваться ея въ потѣ лица, для ученыхъ: людей просто, общества онъ и знать не хочетъ. Отсюда туманность, неуклюжесть и часто педантизмъ нѣмецкаго способа писать и выражаться. Французъ, по-преимуществу человѣкъ общительный и общественный, исполненный симпатіи къ людямъ и обществу, прежде всего заботится о томъ, чтобы его поняли всѣ, и скорѣе рѣшится пожертвовать глубокостью мысли, лишь бы только быть понятымъ, нежели заслужить упрекъ въ темнотѣ изложенія, оставаясь глубокомысленнымъ. Оттого нѣмцы изъ самыхъ популярныхъ предметовъ умѣютъ сдѣлать родъ элевзинскихъ таинствъ; а французы изъ самыхъ отвлеченныхъ и сухихъ предметовъ умѣютъ сдѣлать общедоступный и увлекательный предметъ знанія. Положите нѣмца въ тиски,—ему и въ нихъ будетъ хорошо, если онъ пойметъ ихъ механизмъ и переведетъ ихъ значеніе на языкъ науки; французу всегда тѣсно и на просторѣ, потому-что для него жить—значитъ безпрестанно расширять горизонтъ жизни. Нѣмецъ сознаетъ дѣйствительность; французъ творитъ ее. Нѣмецъ любитъ знаніе о человѣкѣ; французъ любитъ человѣка. Особенность каждаго изъ народовъ рѣзко выражается въ ихъ литературѣ, и эта-то особенность и даетъ литературѣ каждаго изъ нихъ всемірно-историческое значеніе. Примиреніе и взаимное проникновеніе нѣмецкаго и французскаго элементовъ, если оно произойдетъ, какъ и должно ожидать этого, никогда не изгладитъ ни особенности, ни самостоятельности той и другой литературы, но придастъ имъ еще бо́льшее всемірно-историческое значеніе и будетъ истиннымъ торжествомъ для человѣчества.

Гораздо труднѣе характеризовать и опредѣлить всемірно-историческое значеніе англійской націи и ея литературы. Англійская національность доселѣ представляетъ собой зрѣлище самыхъ поразительныхъ противоположностей. Всегда живя и дѣйствуя внѣ человѣчества, погруженная въ свой національный эгоизмъ, Англія тѣмъ не менѣе служитъ человѣчеству, заботясь только о собственныхъ выгодахъ на чужой счетъ. Распространяя свою всемірную торговлю, а для этого распространяя свои завоеванія на всемъ земномъ шарѣ, она по всему лицу его разноситъ сѣмена европейской цивилизаціи. Опередивши всю Европу въ общественныхъ учрежденіяхъ, на совершенно новыхъ основаніяхъ, Англія въ то же время упорно держится феодальныхъ формъ и чтитъ букву закона, потерявшаго смыслъ и давно замѣненнаго другимъ. Политическое и религіозное ханжество англичане считаютъ своей обязанностью, своей добродѣтелью, потому-что оно имъ полезно, какъ опора ихъ statu quo. Нигдѣ индивидуальная, личная свобода не доведена до такихъ безграничныхъ размѣровъ, и нигдѣ такъ не сжата, такъ не стѣснена общественная свобода, какъ въ Англіи. Нигдѣ нѣтъ ни такого чудовищнаго богатства, ни такой чудовищной нищеты, какъ въ Англіи. Нигдѣ такъ не прочны общественныя основы, какъ въ Англіи, и нигдѣ, какъ въ ней же, не находятся онѣ въ такой опасности ежеминутно разрушиться, подобно черезчуръ крѣпко натянутымъ струнамъ инструмента, ежеминутно готовымъ лопнуть. Народъ по-преимуществу практическій, промышленный, торговый, мануфактурный, словомъ, утилитарный, англичане сильны въ положительныхъ наукахъ, особенно въ ихъ примѣненіи къ практикѣ; философія же и вообще всѣ умозрительныя знанія находятся въ Англіи въ самомъ жалкомъ положеніи. Но плохіе и ничтожные мыслители, англичане обладаютъ такой художественной литературой, которую скорѣе можно поставить выше, нежели ниже, всякой другой европейской литературы. Что же, какая же сторона англійской національности преимущественно отразилась въ англійской литературѣ? Трудно сказать это. Читая Шекспира и Вальтеръ-Скотта, видишь, что такіе поэты могли явиться только въ странѣ, которая развилась подъ вліяніемъ страшныхъ политическихъ бурь, и еще болѣе внутреннихъ, чѣмъ внѣшнихъ, въ странѣ общественной и практической, чуждой всякаго фантастическаго и созерцательнаго направленія, діаметрально-противоположной восторженно-идеальной Германіи, и въ то же время родственной ей по глубинѣ сво-

Digitized by Google

его духа. Читая Байрона, видишь въ немъ поэта глубоко-лирическаго, глубоко-субъективнаго, а въ его поэзіи энергическое отрицаніе англійской дѣйствительности, и въ то же время въ Байронѣ все-таки нельзя не видѣть англичанина, и притомъ лорда, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ и демократа. Страна всеобщаго тартюфства, Англія имѣла историка Гиббона. Сколько противорѣчій! Но изъ этихъ-то противорѣчій и вышелъ тотъ мрачный титаническій юморъ, который составляетъ характеристическую черту англійской литературы, рѣзко отличающую ее отъ всѣхъ другихъ литературъ, Англія—отечество юмора, который теперь болѣе или менѣе привился ко всѣмъ европейскимъ литературамъ и который составляетъ могущественнѣйшее орудіе духа отрицанія, разрушающаго старое и приготовляющаго новое. Англійскій юморъ есть искупленіе національной англійской ограниченности въ настоящемъ и залогъ ея будущаго выхода изъ ограниченности.

Впрочемъ всемірно-историческое значеніе литературы есть только высшая степень ея достоинства, но не есть необходимая принадлежность. Могутъ быть литературы и безъ всемірно-историческаго значенія, но органически развившіяся и имѣющія свою исторію. Только важность подобной литературы гораздо значительнѣе для того народа, которому она принадлежитъ, нежели для другихъ народовъ. Всемірно-историческое значеніе литературы даетъ ей интересъ общій, дѣлаетъ ее извѣстной всѣмъ народамъ; тогда какъ кругъ вліянія и очевидность важности литературы, не имѣющей всемірно-историческаго значенія, ограничивается предѣлами выражаемой ею національности. Таковы литературы: шведская, голландская, польская, богемская. Онѣ могутъ блестѣть именами знаменитыхъ талантовъ, но интересны онѣ болѣе или менѣе только именно произведеніями этихъ талантовъ, а не совокупностью всѣхъ своихъ произведеній. Такъ извѣстны въ Европѣ имена Эленшлегера, Тегнера, Мицкевича; сочиненія ихъ даже переводятся на иностранные языки; но зато, кромѣ этихъ писателей, болѣе никто не извѣстенъ за предѣлами своего отечества. Итакъ, по одному знаменитому имени на каждую литературу! А между-тѣмъ въ каждой изъ этихъ литературъ есть много писателей даровитыхъ и замѣчательныхъ,хотя не столь знаменитыхъ, какъ тѣ, которыхъ мы назвали; но вліяніе и значительность этихъ талантовъ важны только у себя дома. Они оказали услуги, можетъ-быть весьма большія, своему языку, своей литературѣ, своему отечеству, но не человѣчеству, и потому ихъ знаетъ и чествуетъ только ихъ отечество; человѣчество же не хочетъ и не можетъ ихъ знать.

Но чтобы литература и для своего народа была выраженіемъ его сознанія, его интеллектуальной жизни,—необходимо, чтобъ она была въ тѣсной связи съ его исторіей и могла служить объясненіемъ ей, необходимо, чтобы она развилась органически и имѣла свою исторію. Безъ этихъ условій, каково бы ни было количество книгъ на языкѣ того или другого народа,—оно доказываетъ только то, что у этого народа существуетъ книгопечатаніе и процвѣтаютъ типографіи, но совсѣмъ не то, чтобы у него была литература. Большее или меньшее число писателей, даже съ замѣчательными дарованіями, также доказываетъ только то, что у народа есть люди, которые нашли свои причины и побужденія составлять и издавать въ свѣтъ книги; но опять-таки совсѣмъ не то, чтобы у него была литература. Еще менѣе можетъ служить доказательствомъ существованія литературы книжная торговля: она доказываетъ только существованіе въ народѣ болѣе или менѣе значительнаго числа грамотныхъ людей, которымъ надобно же что-нибудь читать, хотя отъ скуки и для разсѣянія, или по незнанію иностранныхъ языковъ, или по особенной симпатіи ко всему родному, отечественному. Подобными чисто-внѣшними доводами нельзя доказать существованія литературы у того или другого народа. Правда, безъ книгъ, безъ писателей и безъ читателей невозможна никакая литература, какъ невозможенъ театръ безъ сцены, безъ репертуара, безъ актеровъ и публики; но только одни книги, писатели и читатели еще не составляютъ собой литературы: ее производитъ духъ народа, выражающійся въ его исторіи, и потому литературу можетъ имѣть народъ, существующій не эмпирически только, но и нравственно, духовно, развивающій своей жизнью какую-нибудь сторону обще-человѣческаго духа, словомъ,—народъ, который существуетъ по праву, необходимо, а не случайно.

Было время, когда мы, русскіе, имѣли огромную литературу, которая не только не уступала ни одной изъ извѣстныхъ литературъ древняго и новаго міра, но и далеко превосходила и каждую изъ нихъ порознь и всѣ вмѣстѣ. Тредьяковскій «полезными своими трудами пріобрѣлъ себѣ безсмертную славу». Ломоносовъ былъ «Малербъ нашихъ странъ и Пиндару подобенъ», кромѣ того

Что въ Римѣ Цицеронъ и что Виргилій былъ,
То онъ одинъ въ своемъ понятіи вмѣстилъ.

Сумароковъ «различныхъ родовъ стихо-

Digitized by Google

творными и прозаическими сочиненіями пріобрѣлъ себѣ великую и безсмертную славу не только отъ россіянъ, но и отъ чужестранныхъ академій и славнѣйшихъ европейскихъ писателей, и хотя первый онъ изъ россіянъ началъ писать трагедію по всѣмъ правиламъ театральнаго искусства, но столько успѣлъ въ оныхъ, что заслужилъ названіе сѣвернаго Расина; его еклоги равняются знающими людьми съ виргиліевыми и поднесь еще остались неподражаемы; а притчи его почитаются сокровищемъ россійскаго парнаса; и въ семъ родѣ стихотворенія далеко превосходитъ онъ Федра и де-ла-Фонтена, славнѣйшихъ въ семъ родѣ». Петровъ побѣдилъ въ своихъ одахъ Пиндара. Хераскову не нанесутъ вреда зоилы: Владиміръ и Іоаннъ покроютъ его щитомъ и проведутъ въ храмъ безсмертія.

Херасковъ нашъ Гомеръ, воспѣвшій древни Россіи торжество, паденіе Казани. [брани,

Державинъ—сѣверный Пиндаръ, Горацій и Анакреонъ, далеко превзошедшій южныхъ—Пиндара, Горація и Анакреона. Богдановичъ въ своей «Душенькѣ» побѣдилъ Лафонтена. Но мы бы долго не кончили, еслибы стали исчислять всѣхъ русскихъ поэтовъ и писателей, которые превзошли и побѣдили поэтовъ и писателей всего міра. Такъ дѣтски тѣшили свое самолюбіе неразвившійся вкусъ и неопытная критика. Подобное направленіе общественнаго мнѣнія въ пользу русской литературы впрочемъ было болѣе полезно, нежели вредно, потому-что это невинное самообольщеніе рождало въ пишущихъ людяхъ охоту къ литературнымъ трудамъ, а въ публикѣ—охоту читать ихъ литературные труды. Въ свое время это самообольщеніе начало проходить, потому-что стали являться вольнодумцы, которые вооружились противъ незаслуженныхъ или преувеличенныхъ авторитетовъ. Въ своемъ мѣстѣ мы покажемъ заслуги этихъ смѣльчаковъ. Но рѣшительная потребность сознанія значенія и важности русской литературы, истинной оцѣнки заслугъ русскихъ писателей обнаружилась не болѣе какъ лѣтъ десять тому назадъ. Вдругъ, къ изумленію однихъ, къ оскорбленію другихъ, раздался смѣло предложенный вопросъ: «есть ли русская литература? существуетъ ли русская литература?» Разумѣется, тотъ, кто первый предложилъ этотъ вопросъ, тогда же рѣшилъ его отрицательно, невольно увлекшись сомнѣніемъ, которое имъ первымъ было высказано. И хотя отрицательное рѣшеніе этого вопроса было ошибочно, однако оно принесло большую пользу, возбудивши споры за и противъ и заставивши всѣхъ, не шутя, подумать о томъ, о чемъ они такъ утвердительно говорили по привычкѣ, и безпристрастнѣе разсмотрѣть слишкомъ восторженно признанныя заслуги писателей. Результатомъ этихъ споровъ и изслѣдованій было сознательное признаніе существованія русской литературы, но только въ ея дѣйствительныхъ размѣрахъ, въ ея дѣйствительной важности. Но доселѣ такое признаніе существовало только какъ журнальное мнѣніе, отрывочно и по временамъ высказывавшееся по разнымъ случайнымъ поводамъ, и болѣе или менѣе отзывавшееся въ публикѣ; но еще не было предметомъ отдѣльнаго сочиненія, въ которомъ идеи были бы оправданы исторически-критическимъ изложеніемъ фактовъ литературы, а въ фактахъ была бы прослѣжена оживляющая ихъ идея. Вотъ задача, рѣшеніе которой составляетъ содержаніе книги, которая подъ именемъ «Критической исторіи русской литературы» предлагается теперь благосклонному вниманію читателя.

Несмотря на подражательность и ея неизбѣжный результатъ — риторизмъ русской литературы, отъ Ломоносова до Пушкина, несмотря на то, что и отъ Пушкина до настоящей минуты содержаніе русской литературы довольно скудно и большей частью состоитъ изъ идей, возникшихъ и развившихся не на туземной почвѣ; несмотря на то, что сумма произведеній русской литературы, ознаменованныхъ печатью сильнаго самобытнаго таланта и блистающихъ не относительными, а безусловными достоинствами, очень не велика; несмотря на то, что масса читающей русской публики ничтожна въ сравненіи съ массой не читающей публики, что даже эта небольшая читающая публика раздѣляется и подраздѣляется на множество различныхъ и дробныхъ сторонъ, почти ничѣмъ не связанныхъ одна съ другой, и что самая высшая литературная публика у насъ до сихъ поръ состоитъ преимущественно изъ самихъ же литераторовъ, которые въ свою очередь, несмотря на ихъ малочисленность, тоже раздѣляются на множество почти ничѣмъ не связанныхъ между собою котерій, — несмотря на все это, существованіе русской литературы есть фактъ, неподверженный никакому сомнѣнію. Но дѣйствительность этого факта очевидна только тогда, когда на русскую литературу будутъ смотрѣть какъ на міръ, хотя не большой, но существующій по своимъ собственнымъ законамъ и развивающійся своимъ собственнымъ путемъ. Оттого и могло родиться сомнѣніе въ существованіи русской литературы, что на нее хотѣли смотрѣть, какъ напр. на древне-греческую и латинскую и новѣйшую французскую литературы, сравнивали ее съ ними, требовали

Digitized by Google

отъ нея непремѣнно тѣхъ же явленій, какими были ознаменованы эти литературы; и потому нашихъ поэтовъ называли русскими Гомерами, Виргиліями, Пиндарами, Горапіями, Анакреонами, Федрами, Лафонтенами, Расинами, потомъ—Шиллерами, Байронами и т. д. Начало и развитіе русской литературы совершенно особенное, не имѣющее себѣ примѣра ни въ одной литературѣ міра, такъ же, какъ и развитіе русскаго народа. И вотъ здѣсь-то является во всей своей очевидности та истина, что литература есть выраженіе жизни своего народа, и что исторія литературы тѣсно слита съ исторіей народа. Всемірно-историческаго значенія русская литература никогда не имѣла и теперь имѣть не можетъ. Россійская имперія, созданная Петромъ Великимъ, имѣетъ теперь всемірно-историческое значеніе въ политическомъ смыслѣ, занимая почетное мѣсто между первостепенными державами Европы и оказывая могущественное вліяніе на весь политическій міръ. Но Россія, но народъ русскій находятся еще въ одномъ изъ первыхъ моментовъ процесса своего только что начинающагося развитія; они не успѣли еще установиться и опредѣлиться, вырости до самихъ себя,—и потому не могутъ претендовать на умственное всемірно-историческое значеніе въ современномъ человѣчествѣ. Что Россіи готовится великое будущее, что русское племя носитъ въ себѣ плодотворное зерно субстанціальной жизни, которое нѣкогда должно развиться въ величественное, широколиственное дерево,—такое предположеніе и теперь не чуждо достовѣрности; но въ чемъ будетъ состоять это великое будущее, какое міросозерцаніе разовьется изъ субстанціи русскаго народа, даже въ чемъ именно состоитъ субстанція его духовной природы,—этого теперь опредѣлить нельзя, а фантазировать объ этомъ и безплодно, и нелѣпо. Русскій народъ въ этомъ отношеніи похожъ на геніальнаго ребенка: его физіономія уже значительна и обѣщаетъ много въ будущемъ, но дѣтскимъ чертамъ его лица еще недостаетъ опредѣлительности, и по нимъ еще нельзя сказать, по какой дорогѣ и какъ именно пойдетъ это геніальное дитя, когда сдѣлается взрослымъ человѣкомъ. И потому намъ должно пока отказаться отъ всякихъ притязаній сравнивать и равнять русскую литературу съ французской, нѣмецкой или англійской;—хотя въ то же время нельзя сказать, чтобы мы вовсе лишены были права сравнивать, равнять (и даже иногда ставить выше) иныя отдѣльныя произведенія нашей литературы тоже съ отдѣльными произведеніями другихъ литературъ, но въ отношеніи чисто-художественномъ, а не философско-историческомъ. Наша литература исполнена большого интереса, но только для насъ, русскихъ, потому-что въ ней выразилось наше собственное развитіе, общественное и человѣчественное. Другими словами: наша литература имѣетъ для насъ великое значеніе не въ одномъ эстетическомъ, но еще болѣе въ историческомъ значеніи.

Русская литература тѣмъ отличается отъ всѣхъ другихъ литературъ, что она не возникла самобытно и непосредственно изъ почвы народной жизни, но была результатомъ крутой общественной формы, плодомъ искусственной пересадки. И потому она сперва была подражательной и риторической, бѣдной содержаніемъ, скудной жизнью. Еслибы она навсегда осталась такой, она была бы не литературой, а книжничествомъ, и не заслужила бы никакого вниманія. Но въ отношеніи къ нашей литературѣ, можетъ быть больше, нежели во всякомъ другомъ отношеніи, и обнаружилась вся плодовитость и жизненность искусственной реформы Петра Великаго. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоитъ только сравнить поэта Ломоносова съ поэтомъ Пушкинымъ, сатирика Фонвизина съ юмористическимъ поэтомъ Гоголемъ: какая безконечная разница! Кажется, между этими людьми легли цѣлые вѣка, тогда какъ ихъ едва раздѣляетъ одно столѣтіе! И это развитіе подражательной и риторической школьной и книжной поэзіи въ самобытную и художественную, живую и доступную обществу, совершилось постепенно, органически. Державинъ уже болѣе поэтъ, нежели Ломоносовъ; Озеровъ болѣе поэтъ, нежели Сумароковъ и Княжнинъ; за баснописцами даровитыми, но подражательными—Хемницеромъ и Дмитріевымъ—является геніальный и народный баснописецъ Крыловъ; Карамзинъ, преобразовавъ ломоносовскую прозу, приближаетъ ее къ естественной русской рѣчи и прививаетъ къ русской литературѣ элементы изящнаго французскаго публицизма, а Дмитріевъ роднитъ русскую поэзію съ духомъ и манерой изящной свѣтской поэзіи французовъ, и оба они далеко опереживаютъ своихъ предшественниковъ въ легкости языка и даже въ поэтическомъ выраженіи стиха; Жуковскій прививаетъ къ русской поэзіи романтическіе элементы германской и англійской поэзіи; Батюшковъ вноситъ въ русскую поэзію элементы пластически-художественнаго созерцанія жизни и ея выраженія, въ духѣ древне-классической поэзіи,—и оба они далеко опережаютъ Карамзина и Дмитріева въ фактурѣ стиха, не говоря уже о поэзіи выраженія. За ними наконецъ является Пушкинъ, поэтъ и художникъ по-преимуществу,

Digitized by Google

окончательно преобразовываетъ языкъ русской поэзіи, возведя его на высочайшую степень художественности, — и съ нимъ первымъ является въ русской литературѣ искусство, какъ искусство, поэзія—какъ художественное творчество. Въ Пушкинѣ вся предшествовавшая ему изящная литература русская; прежде, чѣмъ онъ сталъ самобытнымъ и національнымъ поэтомъ-мастеромъ, онъ былъ поклонникомъ и ученикомъ предшествовавшихъ ему поэтовъ, и все сдѣланное ими усвоилъ въ свою собственность, явивши красоты и достоинства, которыхъ они не являли, и не повторивши ихъ недостатковъ. И потому есть живая, органическая связь между Ломоносовымъ и Пушкинымъ, какъ между причиной и ея слѣдствіемъ. И вотъ эта-то живая, органическая послѣдовательность развитія русской литературы и даетъ ей столько же права называться «литературой», сколько и тѣ яркіе, даже великіе, хотя немногіе таланты, которыми она по справедливости можетъ гордиться, и больше всего удостовѣряетъ въ ея существенномъ достоинствѣ въ настоящее время и въ ея способности пріобрѣсти нѣкогда всемірно-историческое значеніе. Прежде русская литература подражала буквѣ иностранной, учась словесному выраженію; послѣ она стала усвоять себѣ элементы различныхъ національностей Европы, и это усвоеніе, долженствующее обогатить и сдѣлать ее многосторонней, еще и теперь продолжается и еще будетъ продолжаться. Къ особеннымъ свойствамъ русскаго народа принадлежитъ его способность, проистекающая изъ его положенія въ Европѣ, усвоять себѣ все чуждое, ничѣмъ не увлекаясь, ничему не покоряясь исключительно. Только въ недавнее время началось сближеніе между собой французской и германской національности, но и теперь еще такъ трудно для француза понять нѣмца, а для нѣмца—понять француза. Русскій легко понимаетъ обоихъ ихъ и легко понимаетъ, отчего такъ трудно имъ понять другъ друга; но самъ отъ этого не дѣлается ни французомъ, ни нѣмцемъ. Короче: русскій человѣкъ еще не живетъ, а только запасается средствами на жизнь, беря ихъ вездѣ и всюду, гдѣ ни встрѣтитъ, — и видно, богата должна быть жизнь его въ будущемъ, если для нея ему нуженъ такой огромный запасъ!

Очень понятно, отчего родился у насъ вопросъ: существуетъ ли русская литература! Его произвели съ одной стороны ребячество нашего литературнаго самообольщенія, которое во всякомъ русскомъ писателѣ хотѣло видѣть то Гомера, то Пиндара; съ другой стороны односторонняя точка зрѣнія на русскую литературу. Если смотрѣть только съ художественной точки зрѣнія на нашихъ старыхъ писателей, то не только какіе-нибудь Сумароковъ, Херасковъ и Петровъ, даже Ломоносовъ—мало того—самъ Державинъ лишится почти всего своего значенія и перестанетъ казаться не только великимъ, даже замѣчательнымъ явленіемъ въ области русской поэзіи. Но исключительно эстетическая точка зрѣнія, какъ всякая односторонность, всегда доводитъ до ложныхъ заключеній: и потому, при сужденіи о литературѣ, кромѣ эстетической точки зрѣнія, нужна еще и историческая. И вотъ съ этой послѣдней точки зрѣнія не только Державинъ — и Ломоносовъ получаетъ великое значеніе въ русской литературѣ, не только какъ писатель вообще, но и какъ поэтъ. Даже Сумароковъ, Херасковъ и Княжнинъ, которыхъ такъ легко совершенно уничтожить съ эстетической точки зрѣнія,—съ исторической, напротивъ, получаютъ полное оправданіе и являются въ русской литературѣ именами замѣчательными и почтенными. Эти трудолюбивые люди своей дѣятельностью, хотя и ошибочною, размножали на Руси книги, а черезъ книги—читателей, распространяли въ обществѣ охоту и страсть къ благороднымъ умственнымъ наслажденіямъ литературой и театромъ,—и такимъ образомъ мало по малу приготовили для Карамзина возможность образовать въ обществѣ публику для русской литературы. Несмотря на то, что эта публика еще и теперь слишкомъ немногочисленна въ сравненіи съ массой цѣлаго общества и тѣмъ болѣе съ массой всего народа, и что, при ея малочисленности, она поражаетъ взоръ наблюдателя разнохарактерностью, пестротой и противорѣчіемъ своихъ вкусовъ, понятій и требованій, — не подлежитъ никакому сомнѣнію, что у насъ есть уже публика, такъ же, какъ есть и литература. Это доказывается тѣмъ, что бездарность, мелочная талантливость и ложная оригинальность пользуются у насъ только мгновеннымъ, хотя иногда и сильнымъ успѣхомъ, тогда какъ истинный талантъ, истинная геніальность скоро оцѣниваются, оказываютъ на публику огромное вліяніе и пріобрѣтаютъ прочную извѣстность, прочную славу. Пушкинъ при своемъ появленіи былъ встрѣченъ и восторгомъ, и негодованіемъ, но первый скоро одержалъ верхъ, и скоро геніальность Пушкина безусловно была признана всѣмъ обществомъ. «Горе отъ Ума» Грибоѣдова еще въ рукописи было прочитано всей Россіей. Лермонтовъ, при первомъ своемъ появленіи на литературномъ поприщѣ, обратилъ на себя изумленные взоры всего общества и, несмотря на свою преждевременную кончину, остался во

Digitized by Google

мнѣніи публики великимъ поэтомъ. Но никто изъ русскихъ писателей не возбуждалъ такого общаго и такого энергическаго негодованія, и никто изъ нихъ съ такимъ блескомъ и торжествомъ не побѣдилъ его, какъ Гоголь. Встрѣченный съ энтузіазмомъ только немногими голосами, во всѣхъ остальныхъ возбудилъ онъ ропотъ оскорбленія и негодованія, очень естественный и понятный по духу сочиненій Гоголя и по отношенію ихъ къ обществу; но — удивительное дѣло!—съ равной жадностью былъ онъ читаемъ и перечитываемъ какъ своими почитателями, такъ и своими хулителями. Наконецъ истина взяла свое, и общественное мнѣніе торжественно признало Гоголя великимъ національнымъ поэтомъ. Такихъ примѣровъ, доказывающихъ, что все истинное, все живое скоро пріобрѣтаетъ симпатію и признаніе русской публики, очень много.

Написать исторію русской литературы—значитъ: показать, какимъ образомъ, какъ слѣдствіе общественной реформы, произведенной Петромъ Великимъ, началась она рабскимъ подражаніемъ иностраннымъ образцамъ, принявши чисто риторическій характеръ; какъ потомъ постепенно стремилась къ освобожденію изъ формальности и риторизма и пріобрѣтенію для себя жизненныхъ элементовъ и самостоятельности; и какъ наконецъ развилась до полной художественности и сдѣлалась выраженіемъ жизни своего общества, стала русской. Вмѣстѣ съ этимъ должно показать, что русская литература положила у насъ основаніе публичности и общественнаго мнѣнія, была проводникомъ въ общество всѣхъ человѣческихъ идей и постоянно, не безъ успѣха, боролась съ предразсудками и пороками, завѣщанными намъ невѣжественной, полуазіатской стариной.

Но прежде, нежели приступимъ мы къ изложенію исторіи русской литературы, считаемъ за нужное бросить взглядъ на нашу народную поэзію. Хотя художественная русская литература развилась не изъ народной поэзіи, однако первая при Пушкинѣ встрѣтилась съ послѣдней, и вопросъ о народной русской поэзіи и теперь принадлежитъ къ числу самыхъ интересныхъ вопросовъ современной русской литературы, потому-что онъ сливается въ вопросомъ о народности въ поэзіи. По разсмотрѣніи произведеній народной русской поэзіи, мы бросимъ бѣглый взглядъ на произведенія древней и старой русской словесности, которыя не принадлежатъ ни къ богословію, ни къ хроникамъ, такъ какъ ни то, ни другое не входитъ въ составъ нашей книги, предметъ которой—исключительно свѣтская изящная (беллетрическая) литература.

ОБЩІЙ ВЗГЛЯДЪ НА НАРОДНУЮ ПОЭЗІЮ И ЕЯ ЗНАЧЕНІЕ*).

Народность есть альфа и омега эстетики нашего времени, какъ «украшенное подражаніе природѣ» было основнымъ и главнымъ положеніемъ поэтическаго кодекса прошлаго вѣка. Высочайшая похвала, какой только можетъ удостоиться поэтъ нашего времени, самый громкій титулъ, какимъ только могутъ теперь почтить его современники или потомки, заключается въ волшебномъ эпитетѣ «народнаго». Выраженія: «народная поэма», «народное произведеніе» часто употребляются теперь вмѣсто словъ: «превосходное, великое, вѣковое произведеніе». Волшебное слово, таинственный символъ, священный іероглифъ какой-то глубоко-знаменательной, неизмѣримо-обширной идеи,—«народность» какъ будто замѣнила теперь собой и творчество, и вдохновеніе, и художественность, и классицизмъ, и романтизмъ, заключила въ одномъ себѣ и эстетику, и критику; сдѣлалась теперь высшимъ критеріумомъ, пробнымъ камнемъ достоинства всякаго поэтическаго произведенія и прочности всякой поэтической славы. Всѣ требуютъ отъ поэзіи прежде всего народности, а потомъ уже здраваго смысла, но многіе ли отдаютъ себѣ отчетъ въ томъ, что̀ такое эта народность, хотя это слово и кажется всѣмъ столь простымъ и понятнымъ? Но не все то бываетъ въ самомъ дѣлѣ тѣмъ, чѣмъ кажется. По крайней мѣрѣ слово «народность» такъ же точно требуетъ своего опредѣленія, какъ и всякое другое слово, которое заключаетъ въ себѣ какую-нибудь мысль. Слово же «народность» именно есть одно изъ тѣхъ словъ, которыя потому только и кажутся слишкомъ понятными, что лишены опредѣленнаго и точнаго значенія. По крайней мѣрѣ въ нашей литературѣ не замѣтно особенной опредѣленности въ понятіи о народности въ поэзіи.

Всякая поэзія только тогда истинна, когда она народна, т. е. когда она отражаетъ въ себѣ личность своего народа. Жизнь

*) Это позднѣйшая передѣлка начала разбора «Древнихъ россійскихъ стихотвореній, собр. Киршей Даниловымъ, и т. д.» Этотъ разборъ долженъ былъ составить вторую главу отдѣла «Критической исторіи русской литературы».

Digitized by Google

всего живущаго составляетъ идея: въ чемъ нѣтъ идеи, то не живетъ. Но сущность идеи, внѣ ея чувственнаго проявленія, заключается въ отвлеченной, безразличной всеобщности. И потому идея только тогда есть нѣчто живое и дѣйствительное, когда она переходитъ въ явленіе, а ея всеобщность является особностью, индивидуальностью и личностью. Такъ, природа есть идея, до сознанія которой человѣкъ дошелъ черезъ созерцаніе безконечно разнообразныхъ явленій видимаго міра. Въ словѣ природа человѣческій разумъ выразилъ свое понятіе о единствѣ безконечно разнообразныхъ явленій чувственной жизни. Человѣчество есть тоже идея, какъ выраженіе понятія о физическомъ и нравственномъ единствѣ безчисленнаго множества отдѣльныхъ существъ, называемыхъ людьми. Въ своемъ первоначальномъ значеніи природа есть самодѣятельная творящая сила, неисчерпаемая и неистощаемая жизненная субстанція, которая, изъ безразличнаго субстанціальнаго пребыванія въ самой себѣ, безпрестанно опредѣляется въ живыя отдѣльныя явленія,—другими словами: безпрестанно обособляется, индивидуализируется и персонифируется. Въ царствѣ ископаемомъ и растительномъ она обособляется, т. е. раскидывается на безконечное множество особныхъ явленій, изъ которыхъ каждое имѣетъ свою особенную форму. Въ царствѣ животномъ особность является еще и индивидуальностью (недѣлимостью). Камень есть предметъ особный, но не индивидуальный: расколите его на тысячи кусковъ, превратите въ пыль,—этимъ вы не лишите его жизни, а только изъ одного камня сдѣлаете множество камней безконечно меньшаго объема. Дерево живетъ высшей жизнью въ сравненіи съ камнемъ; но и оно представляетъ собой только высшее явленіе особности, но еще не представляетъ собой индивидуальности: нельзя ничѣмъ доказать, чтобы ему нужно было именно столько вѣтвей и листьевъ, сколько ихъ есть на немъ, и, обрубивши часть его вѣтвей или сорвавши часть его листьевъ, вы не лишите его этимъ ни его жизни, ни его особности. Дерево есть организмъ, но стоящій на низшей степени; оно увеличивается, какъ и животное, чрезъ ращеніе изнутри, но это ращеніе носитъ на себѣ характеръ случайности и внѣшности; вѣтвь удлиняется колѣнами, число которыхъ случайно: сломивши одно, вы этимъ ничего не лишаете дерево. Основаніе животнаго царства, кромѣ особности, заключается еще и въ индивидуальности; у животнаго опредѣленное число органовъ и членовъ. Отрѣзавши у собаки ногу, можно ее залѣчить и не допустить умереть, но тогда она изуродована, потому-что у нея отнятъ членъ, необходимый для полноты ея существованія. Въ человѣкѣ, какъ высшемъ существѣ животнаго царства, повторяется и особность, и индивидуальность, и сверхъ того является личность, какъ «чувственная форма разумнаго сознанія». Человѣкъ потому есть личность, что онъ сознаетъ свое *Я*, т. е. можетъ самого себя разсматривать и изслѣдовать, какъ будто-бы чуждое ему и внѣ его пребывающее существо. Царство природы раздѣляется на роды и виды; каждое явленіе природы отличается признаками и качествами, не ему самому, а его роду и виду свойственными: и потому каждый дубъ совершенно похожъ на всякій другой дубъ, за исключеніемъ чисто-случайныхъ различій величины; каждый быкъ совершенно похожъ на всякаго другого быка и отличается отъ него не выраженіемъ своей морды или своего рыла, а величиной, цвѣтомъ шерсти и другими чисто случайными, но не существенными признаками. Человѣкъ отъ человѣка существенно отличается лицомъ, физіономіей,—и какъ ни много людей на земномъ шарѣ, никогда одно и то же лицо не повторяется въ двухъ человѣкахъ. Это различіе лицъ имѣетъ глубокое значеніе: лицо выражаетъ собой личность, а личность есть выраженіе духовной сущности человѣка. Если каждый человѣкъ разнится отъ другого лицомъ,—значитъ, каждый человѣкъ разнится отъ другого и своей духовной личностью; значитъ, каждый человѣкъ есть особенный, въ самомъ себѣ замкнутый міръ. Отсюда различіе темпераментовъ, характеровъ, способностей и наклонностей; отсюда же и свойство каждаго человѣка видѣть и понимать предметы съ своей особенной, ему только свойственной точки зрѣнія. Все, что есть въ каждомъ человѣкѣ, все, чѣмъ владѣетъ каждая личность, все это принадлежитъ человѣчеству; но ни одинъ человѣкъ въ одномъ себѣ не можетъ вмѣстить всего человѣческаго, а получаетъ на свою долю нѣчто отъ обще-человѣческаго, но какъ собственность своей натуры. Какъ въ фортепіано каждая клавиша имѣетъ свой особенный тонъ, но всѣ клавиши, издавая свой звукъ, образуютъ гармонію,—такъ и различіе отдѣльныхъ личностей образуетъ жизнь племенъ и народовъ, а жизнь отдѣльныхъ племенъ и народовъ образуетъ жизнь человѣчества. Будь всѣ люди совершенно одинаковы въ своихъ нравственныхъ средствахъ и ихъ направленіи,—каждый человѣкъ пересталъ бы чувствовать нужду въ другомъ и не было бы между людьми узъ братства. Каждая личность есть опредѣленіе общаго,

Digitized by Google

и въ этомъ ея сила и ея слабость: сила потому, что идея безъ явленія, общее безъ обособленія индивидуальности и личности суть призраки; слабость потому, что всякое опредѣленіе есть ограниченіе, исключеніе изо всего въ одномъ. Философъ тѣмъ больше философъ, чѣмъ менѣе онъ поэтъ, и потому-то самому его больше всего интересуетъ поэтическая личность. Во всемъ и вездѣ личность одного пополняетъ собой личность другого и въ свою очередь пополняется личностью другого.

Человѣкъ былъ послѣднимъ и высшимъ усиліемъ природы въ ея стремленіи къ самосознанію. Организмъ человѣка явился личностью — орудіемъ разумнаго сознанія, потому что личность имѣетъ *Я*, которое она можетъ противопоставить всему внѣшнему ей міру, всему, что въ отношеніи къ ней составляетъ не *Я*. Создавши человѣка, природа повершила дѣло своего творчества и перестала быть творящей; приготовивши въ человѣкѣ личность въ возможности, природа предоставила дальнѣйшее развитіе этой личности уже другой, болѣе высшей, болѣе духовной сферѣ жизни: отселѣ человѣкъ долженъ былъ развиваться черезъ сообщество съ подобными себѣ. И потому испытующій умъ вездѣ находитъ людей, какъ общество, какъ племя, какъ народъ: человѣкъ не помнитъ своего разъединеннаго, до-общественнаго состоянія, какъ не помнитъ своего зарожденія и формированія во чревѣ своей матери, и какъ не помнитъ своего перваго возраста. Племя или народъ есть тоже личность, только идеальная, сознаваемая умомъ реальныхъ личностей, т. е. отдѣльныхъ людей. Какъ различіе реальныхъ личностей необходимо для того, чтобы онѣ могли сложиться въ общество (въ племя, въ народъ), такъ необходимы племенныя и народныя особенности и различія, чтобы племена и народы могли образовать собой другую высшую идеальную личность — человѣчество. Только различныя струны могутъ производить аккордъ, одинаковыя же звучатъ безсмысленно и дисгармонически. Какъ каждый человѣкъ выражаетъ собой преимущественно одну какую-нибудь сторону обще-человѣческой натуры и потому самому нуждается въ другихъ людяхъ, такъ и каждый народъ выражаетъ собой преимущественно одну какую-нибудь сторону всецѣлаго и единаго духа человѣческаго и потому нуждается въ соприкосновеніи съ другими народами, принимаетъ отъ нихъ въ себя то, чего ему недостаетъ, и даетъ имъ отъ себя то, чего имъ недостаетъ. Каждый народъ отличается отъ всякаго другого типомъ лица, — и потому, за немногими исключеніями, нетрудно узнать въ человѣкѣ по его лицу нѣмца, англичанина, француза, итальянца, русскаго. Кромѣ того у людей одной націи есть какое-то семейное сходство и въ манерахъ, и въ способѣ смотрѣть на вещи, и въ образѣ дѣйствованія, не говоря уже объ особенности языка — этого живого, чувственнаго проявленія народной логики. Между людьми есть личности характерныя, самостоятельныя, которыя на все, что̀ ни говорятъ и ни дѣлаютъ онѣ, кладутъ яркую печать свойственной имъ особенности; и есть между людьми личности безхарактерныя, безцвѣтныя, которыя не могутъ сопротивляться никакимъ внѣшнимъ вліяніямъ и, не имѣя въ себѣ ничего особеннаго и рѣзкаго, вѣчно играютъ при другихъ роль нулей. Такая же разница и между народами. Есть народы, которые существуютъ только внѣшнимъ образомъ, благодаря благопріятному для нихъ стеченію внѣшнихъ обстоятельствъ, которые, исчезая съ лица земли, не оставляютъ по себѣ никакихъ памятниковъ своего существованія. Обыкновенно они бываютъ добычей болѣе ихъ сильныхъ народовъ и, смѣшавшись съ своими завоевателями, теряютъ свой языкъ, вѣру и обычаи, не производя никакой перемѣны въ народѣ, который поглотилъ ихъ. Такихъ народовъ было множество, и исторія только упоминаетъ вскользь ихъ имена, для внѣшней связи событій. Нѣкоторые изъ этихъ народовъ играли даже значительную, хотя и чисто-внѣшнюю роль въ исторіи: движимые или вліяніемъ какихъ-нибудь внѣшнихъ обстоятельствъ, или какимъ-нибудь сильнымъ человѣкомъ, или оживляемые мгновеннымъ фанатизмомъ, они грозили гибелью цивилизаціи, рабствомъ всему міру,—и... скоро исчезли, какъ призраки, не оставивъ никакихъ слѣдовъ своего существованія. Таковы были гунны, монголы, явившіеся міру, какъ страшный метеоръ, и, подобно метеору, скоро исчезнувшіе; дольше ихъ существовали турки, благодаря силѣ своего религіознаго фанатизма и разъединенности европейскихъ государствъ,— а теперь мы видимъ только живой трупъ этого нѣкогда страшнаго народа. Есть народы, которымъ жизнь и развитіе даны были только на опредѣленный срокъ и до извѣстной степени, и которые, свершивъ свое назначеніе, остались какъ окаменѣлыми памятниками прошедшаго, живя въ старыхъ, потерявшихъ смыслъ формахъ, безъ движенія, безъ прогресса. Таковы индійцы, китайцы, японцы, — эти можетъ быть старѣйшіе народы въ человѣчествѣ. Однимъ народамъ суждена первостепенная

Digitized by Google

роль въ человѣчествѣ, — и это всемірно-историческіе народы; другимъ суждена просто историческая роль; третьимъ — и это народы ничтожные и случайные — не суждено никакой роли въ исторіи, кромѣ развѣ скоропреходящихъ и оставшихся безъ слѣдствій переворотовъ. Только такой народъ можетъ назваться историческимъ, который при жизни своей имѣлъ большее или меньшее вліяніе на судьбы человѣчества и оставилъ по себѣ неизгладимые слѣды своего существованія. Замѣчено, что замѣчательнѣйшіе въ исторіи народы большей частью составлялись изъ разныхъ племенъ: такъ, Грецію образовалась, по преданіямъ, кромѣ основного пелазгійскаго племени, изъ переселенцевъ финнкійскихъ, египетскихъ и другихъ. Но всегда въ основѣ такимъ образомъ сформировавшихся народовъ краеугольный камень составляетъ одно какое-нибудь племя. Какъ бываютъ безплодные браки, такъ бываютъ и безплодныя соединенія племенъ. Галлія, Испанія и Британія, завоеванныя римлянами, не организировались въ крѣпкіе и самостоятельные народы; но, покоренные тевтонскими племенами, смѣшавшіеся съ ними, они получили глубокое начало политической жизни, продолжающейся и теперь. Покоренная готами Италія не выродилась; пришли лонгобарды — и отъ готскаго владычества не осталось никакихъ слѣдовъ, а, смѣшавшись съ лонгобардами, остатки древнихъ римлянъ переродились въ совершенно новый народъ, и теперь существующій отдѣльными государствами, извѣстными подъ общимъ именемъ итальянскихъ. Въ Англіи туземное племя бриттовъ исчезло въ саксонскомъ и норманскомъ элементѣ; во Франціи галльское начало навсегда осталось преобладающимъ надъ франкскимъ: французы, въ общихъ чертахъ, и теперь еще такъ похожи своимъ національнымъ характеромъ на древнихъ галловъ, описанныхъ Юліемъ Цезаремъ. Изъ этого видно, что непосредственный источникъ сильной, рѣзко проявляющейся національности заключается въ самой крови племени, и что есть племена характерныя и племена безхарактерныя, какъ есть характерные и безхарактерные люди.

Теперь, если человѣкъ, личность котораго...

ТРУДЫ ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССІЙСКОЙ АКАДЕМІИ.

Ч. 1 и 2. Спб. 1840.

Ученыя общества, труды которыхъ преимущественно устремлены на языкъ и литературу отечественные, играютъ нынѣ совсѣмъ не ту роль, какую играли прежде и какая назначалась имъ при ихъ основаніи. Когда литература народа бываетъ дѣломъ книжнымъ, доступнымъ только избранному, слѣдовательно ограниченному числу посвященныхъ въ ея таинства, а не достояніемъ цѣлаго общества (разумѣя подъ этимъ словомъ публику), тогда учено-литературныя общества оказываютъ литературѣ и общественному образованію большія услуги. Обнародывая свои ученые труды по части теоріи языка и словесности вообще, и тѣмъ дѣлая для всѣхъ доступными истинныя понятія о томъ и другомъ, они обнародывали такіе же труды и частныхъ лицъ, которыя безъ того, не имѣя средствъ къ изданію, или оставляли бы ихъ въ своихъ портфёляхъ, или — что еще вѣроятнѣе — никогда не думали бы и заниматься ими. Въ этомъ отношеніи подобныя общества и теперь могутъ приносить въ Россіи большую пользу; ибо хотя у насъ и есть учено-литературные журналы, однако статьи извѣстнаго содержанія не всегда могутъ находить себѣ въ нихъ мѣсто, сколько по исключительности своего предмета и сухости изложенія, столько и потому, что для помѣщенія статьи въ журналѣ всегда нужна какая-нибудь придирка къ современности (à propos). Но учено-литературное общество, издавая труды свои періодически или не періодически, обращаетъ вниманіе только на то, чтобы они относились къ предмету его занятій и не выходили изъ ихъ круга. Повторяемъ: въ этомъ отношеніи были бы и теперь очень полезны даже труды Общества Любителей Россійской словесности при Московскомъ университетѣ, нѣкогда очевидно, а теперь (1840 г.) проблематически существующемъ. Но учено-словесныя общества, хлопоча объ утвержденіи и развитіи языка на его истинныхъ основаніяхъ, равно какъ о распространеніи истинныхъ понятій объ изящномъ въ словесныхъ произведеніяхъ, принимаютъ въ сферу своей дѣятельности и въ кругъ своихъ занятій произведенія поэзіи и легкой литературы, чтобы съ теоріей дать и образцы. Это можетъ приносить свою пользу только при началѣ литературы, когда (какъ это было еще недавно въ Россіи) публика, не имѣя потребности въ ум

Digitized by Google

ственной пищѣ, не можетъ поддерживать своимъ участіемъ словесныхъ произведеній и своимъ вниманіемъ ободрять и вознаграждать ихъ творцовъ. Такъ напримѣръ, Общество Любителей Россійской словесности при Московскомъ университетѣ очень хорошо дѣлало во время оно, помѣщая въ своихъ трудахъ повѣсти и стихотворенія, которыя безъ того можетъ-быть не могли бы быть изданными. Но теперь, когда произведенія поэзіи и легкой литературы, даже иногда и не ознаменованныя печатью таланта, но лишь способныя занимать и тѣшить праздное любопытство публики, находятъ себѣ обширный кругъ читателей, а ихъ авторы вѣрное вознагражденіе, — теперь въ «трудахъ» ученыхъ обществъ могутъ помѣщаться только такія произведенія въ этомъ родѣ, которыя, по отсутствію всякой внутренней цѣнности, не могутъ ни быть изданы отдѣльно, ни быть принятыми въ какое-нибудь періодическое изданіе, и которыя поэтому лучше совсѣмъ не печатать. И въ самомъ дѣлѣ, что за польза покровительствовать посредственность и бездарность за то только, что онѣ рядятся въ мантію педантизма, неуклонно слѣдуя забытымъ и никѣмъ, кромѣ педантовъ и невѣждъ, не признаваемымъ правиламъ?.. Но изданіе трудовъ, касающихся до языка и — если угодно — теоріи изящнаго, и теперь можетъ приносить большую пользу, равно какъ и соединенныя усилія многихъ лицъ, составляющихъ одно ученое общество. Вотъ почему мы не можемъ не преслѣдовать съ живѣйшимъ интересомъ дѣятельности Россійской академіи.

Ужъ одно то придаетъ ей важное значеніе и дѣлаетъ великую честь, что она, по примѣру всѣхъ или большей части подобныхъ ученыхъ обществъ даже въ Европѣ, не играетъ роли упорной защитницы добраго стараго времени и не силится дѣлать оппозицію, болѣе упрямую, чѣмъ твердую, болѣе забавную, чѣмъ дѣйствительную, всякому движенію впередъ, всякому успѣху. Давно ли французская академія, до-того покорившаяся духу времени, что приняла въ свои члены не только романтическаго Ламартина, но даже и водевилиста Скриба — давно ли, безсильная совершенно отрѣшиться отъ педантическихъ предубѣжденій умершей старины, отвергла главу поэтовъ своей земли и предпочла Виктору Гюго какого-то господина Флурана, ничѣмъ не доказавшаго, что онъ знаетъ хоть грамотѣ? Не такова наша академія: стоитъ только пересмотрѣть списокъ членовъ ея, чтобы убѣдиться въ томъ, что ни одно истинное дарованіе, соединенное съ ученостью или проявившее себя въ художественной дѣятельности, не миновало чести быть принятымъ въ число ея членовъ, и что ни одна безталанная, хотя бы и преученая, голова никогда не удостоивалась этой высокой чести. Б. М. Федоровъ (писатель во всѣхъ родахъ и для всѣхъ половъ и возрастовъ, но преимущественно для дѣтей) и Пушкинъ; М. А. Лобановъ (трагикъ) и Жуковскій; В. И. Панаевъ (идиллистъ) и Крыловъ; Муравьевъ (Николай Назарьевичъ и дѣйствит. стат. совѣтн.) и Карамзинъ; кн. Шихматовъ (поэтъ), Писаревъ (А. А., поэтъ) и Гнѣдичъ, кн. Вяземскій и другіе; далѣе—Линде, Добровскій, Арсеньевъ, Языковъ — и Прокоповичъ-Антонскій, Постоловъ, Загорскій, Ястребцовъ, Нечаевъ, Соловьевъ, Красовскій и проч., и проч. *Какія имена! сколько подвиговъ и славы, трудовъ и заслугъ русскому языку и русской литературѣ соединяется съ ними!* Тутъ всѣ роды поэзіи и учености, всѣ школы: Пушкинъ, Жуковскій и Б. М. Федоровъ — романтики; Крыловъ, Карамзинъ, Лобановъ и Панаевъ—классики. Но пусть само дѣло говоритъ за себя. Въ первой части «Трудовъ» Россійская академія имѣла снисхожденіе напомнить публикѣ о своемъ существованіи историческимъ очеркомъ совершенныхъ ею подвиговъ: изложимъ бѣгло содержаніе этого историческаго взгляда на достославное существованіе Россійской академіи. Статья, о которой мы говоримъ и изъ которой заимствуемъ, составлена секретаремъ академіи и называется: «Краткое извѣстіе о Россійской академіи, отъ основанія оной въ 21 день октября 1783 года по 1840 годъ».

Въ чемъ должна состоять исторія Академіи, какъ и всякаго ученаго общества? Разумѣется, это не должна быть исторія дома, въ смыслѣ зданія, или исторія его канцеляріи, его экономическихъ операцій, ни даже сборъ протоколовъ, заключающихъ въ себѣ описаніе церемоніаловъ принятія въ члены и комплименты членовъ другъ другу: сохрани Богъ! только въ Китаѣ понимаютъ такъ исторію ученыхъ обществъ и академій въ особенности. Нѣтъ, исторія академіи должна состоять въ изображеніи ея дѣйствій въ сферѣ того предмета, который есть причина и цѣль, но отнюдь не средство ея основанія и существованія.

Первоначальная мысль объ основаніи Академіи принадлежитъ, разумѣется, Петру Великому, какъ и первоначальная мысль всего, что посѣяло въ Россіи сѣмена очеловѣченія, облагороженія и одухотворенія. Екатерина Великая выполнила его мысль, какъ выполнила она и многія изъ его мыслей. Великая обращала особое вниманіе на успѣхи русскаго языка и русской литера-

Digitized by Google

туры,—и ея-то царственному вниманію обязаны они своимъ теперешнимъ состояніемъ. Безъ публики нѣтъ литературы, а Екатерина была единственной причиной того, что у насъ явилось нѣчто похожее на публику: воля великой императрицы подѣйствовала на ея дворъ, а примѣръ двора—и на полудикое, невѣжественное общество, которое, хотя и съ досадой, но принудило себя видѣть въ книгахъ нѣчто достойное не презрѣнія, а уваженія, узнавъ, что премудрая монархиня очень уважаетъ ихъ. Желая болѣе способствовать успѣхамъ отечественнаго языка, Екатерина II рѣшилась привести въ исполненіе мысль Петра I,—и княгинѣ Дашковой, бывшей директоромъ Академіи Наукъ, поручено было начертать планъ ученаго общества, имѣющаго предметомъ своихъ занятій русскій языкъ и русскую словесность. Сентября 30 1783 года этотъ планъ былъ утвержденъ высочайшимъ на имя княгини Дашковой рескриптомъ, а октября 21 того же года Академія была открыта. Число членовъ было опредѣлено шестьюдесятью, собранія назначены еженедѣльно по одному разу; по окончаніи засѣданія каждому присутствовавшему члену назначенъ жетонъ, что̀ нынѣ дарикъ; отличившихся трудами и пользою членовъ опредѣлено, по большинству голосовъ, награждать, по прошествіи года, въ торжественныхъ собраніяхъ золотой медалью въ 250 рублей.

Первой заботой Академіи было составленіе словаря отечественнаго языка, и какъ бы ни свершено было это дѣло, но оно было первымъ опытомъ, и потому уже было истиннымъ подвигомъ. Сама великая императрица приняла участіе въ этомъ дѣлѣ, сдѣлавъ собственноручныя замѣчанія къ пополненію словъ, начинающихся съ буквы А, и повелѣвъ: «избѣгать всевозможно чужеземныхъ словъ, а наипаче реченій, замѣняя ихъ словами или древними, или вновь составляемыми». Этотъ словарь былъ составленъ не азбучнымъ, а словопроизводнымъ порядкомъ, и напечатанъ въ шести томахъ, въ *шесть лѣтъ* (1789—1794). Какъ жаль, что неимовѣрно высокая цѣна дѣлаетъ его совершенно безполезнымъ! Кому онъ нуженъ?—ужъ конечно не свѣтскимъ людямъ, не любителямъ легкаго чтенія, а ученымъ и литераторамъ. Но спрашивается: много-ли есть ученыхъ и литераторовъ, которые въ состояніи заплатить за Словарь Академіи сто пятьдесятъ рублей ассигнаціями?... Это обстоятельство наводитъ на заключеніе, что, *кромѣ самой Академіи, едва ли кто воспользовался ея словаремъ.*

Потомъ Академія немедленно приступила къ составленію словаря по азбучному порядку; но *это дѣло совершилось уже въ семнадцать лѣтъ* (1806—1822), хотя и этотъ словарь былъ изданъ также въ шести частяхъ.

Періодъ существованія Академіи отъ 12 ноября 1796 по 29 мая 1801 года ознаменовался увольненіемъ княгини Дашковой отъ предсѣдательства въ обѣихъ Академіяхъ, прекращеніемъ ежегоднаго отпуска для Академіи 6,250 рублей и отдачей ея дома въ вѣдомство министерства удѣловъ и военно-сиротскаго дома; а въ замѣну его предоставленіемъ ей мѣста съ небольшимъ строеніемъ на В. О. у Тучкова моста.

Воцареніе Александра I было и для Академіи, какъ и для всего въ Россіи, восходомъ лучезарнаго живительнаго солнца. Ей возвращена была ея ежегодная сумма 6,250 рублей, и сверхъ того на изданіе полезныхъ сочиненій и на награды авторамъ и переводчикамъ опредѣлено ежегодно отпускать изъ Кабинета Е. И. В. 3,000 рублей; да на построеніе дома было выдано единовременно 25,000 р. Правительство дѣлало для Академіи болѣе, нежели сколько вправѣ была она ожидать отъ него; но что̀ же сдѣлала Академія?—Начиная съ 1805 г., *она ежегодно приглашала черезъ вѣдомости къ сочиненію:* 1) *похвальныхъ словъ: царямъ Іоанну Васильевичу и Алексѣю Михаиловичу, великому князю Владиміру Мономаху, Минину и Пожарскому, Румянцеву-Задунайскому и Суворову, Хераскову;* 2) разсужденія о началѣ, успѣхахъ и распространеніи словесныхъ наукъ въ Россіи; 3) *ироической пѣсни на побѣду великаго князя Димитрія Іоанновича Донскаго надъ Мамаемъ.* Конечно теперь страннымъ покажется одна мысль о похвальныхъ словахъ, какъ о родѣ сочиненій безъ всякой цѣли и смысла, какъ о риторической шумихѣ и трескотнѣ общихъ истасканныхъ мѣстъ; еще болѣе страннымъ покажется мысль о похвальномъ словѣ Хераскову,—бездарному стихотворцу; и еще страннѣе покажется теперь мысль о возможности управлять чьимъ бы то ни было вдохновеньемъ, задавая тему—и еще какую!—ироическую пѣснь на побѣду Донского надъ Мамаемъ;—но мы не должны забывать, что тогда было время псевдоклассицизма, похвальныя слова почитались законнымъ родомъ краснорѣчія, Херасковъ—не только поэтомъ, но и россійскимъ Гомеромъ, а поэмы и ироическія пѣсни обыкновенно писались на заказъ, и притомъ на такія темы, которыя теперь оставлены даже и въ уѣздныхъ училищахъ. Кромѣ этого *насъ можетъ утѣшить еще и то, что, несмотря на лестную надежду блестящей награды* (золотой медали въ 50 червонцевъ), *соискателей не оказалось,*—темы остались

Digitized by Google

безъ выполненія. Только одинъ членъ Академіи, Львовъ, написалъ похвальное слово царю Алексѣю Михаиловичу, вовсе неизвѣстное въ нашей литературѣ, за что̀ и получилъ золотую медаль.

Между тѣмъ объявленіе отъ Академіи задачъ подѣйствовало на нѣкоторыя частныя лица. Одинъ неизвѣстный прислалъ въ распоряженіе Академіи 500 руб. въ награду тому, кто̀ напишетъ трагедію въ пяти дѣйствіяхъ, которую Академія признаетъ лучшей. Эту премію получилъ Херасковъ (1807) за свою трагедію «Зореида и Ростиславъ». Но награда не застала этого сочинителя въ живыхъ, а жена его извѣстила Академію, что онъ отказался отъ награды въ пользу того, кто напишетъ лучшую трагедію или комедію, въ стихахъ, въ 5 дѣйствіяхъ. *Явно, что Грибоѣдовъ не могъ получить этой награды, потому-что его «Горе отъ Ума» было только въ четырехъ актахъ.* Въ 1831 году вышелъ «Борисъ Годуновъ» Пушкина; но онъ вовсе не былъ раздѣленъ на акты, да и притомъ написанъ не весь стихами, а съ небольшой примѣсью прозы. Въ 1835 году Лобановъ издалъ очень мало извѣстную въ нашей литературѣ классическую трагедію, и въ стихахъ, и въ 5-ти актахъ, подъ названіемъ «Борисъ Годуновъ», и получилъ за нее отъ Академіи херасковскіе 500 руб., которые, съ наросшими на нихъ процентами, составили 1,833 руб. 40 к. Вообще должно замѣтить, что *въ раздачѣ наградъ Академія всегда имѣла въ виду поощреніе такихъ сочиненій, которыя не могли имѣть какого-нибудь успѣха у публики или даже быть ей извѣстными.* Другой неизвѣстный предложилъ 100 червонныхъ за похвальное слово генералу Ермолкину, которую награду и получилъ бывшій членъ Академіи и секретарь ея впродолженіе почти тридцати-трехъ лѣтъ (съ 1802 по 1835 г.) Соколовъ. Третій неизвѣстный предложилъ медаль въ 30 червонныхъ за сочиненіе разсужденія: «Имѣетъ ли русскій языкъ нужду для обогащенія своего заимствовать, и до какой степени, оборотъ реченій изъ другихъ языковъ, кромѣ своего корня?» Но Академія не приняла этого предложенія потому, что русскій языкъ по своему изобилію и свойству не имѣетъ нужды заимствовать оборотовъ и выраженій изъ языковъ чужеземныхъ. *Глубоко-мудрая причина!*

Съ 1805 по 1813 годъ Академія издала семь частей «Сочиненій и Переводовъ россійской Академіи», въ которыхъ изъ прозаическихъ сочиненій примѣчательны нѣкоторыя статьи, относящіяся до русскаго языка и принадлежащія А. С. Шишкову. Въ этотъ же промежутокъ времени *Академія сочинила и издала «Грамматику россійскаго языка», которая была послѣ перепечатываема триразa,* въ 1809, 1819 и 1827, *а теперь уже совершенно забыта всѣми,* кромѣ тѣхъ, которые слишкомъ помнятъ ее, учась по ней въ дѣтствѣ. «Наука стихотворства» Рижскаго, «Лѣтопись Тацитова», перев. Румовскаго, «Демосѳеново надгробное слово аѳинянамъ, убитымъ при Херонеѣ», переводъ митрополита Евгенія, «Саллустія о войнѣ Катилины и о войнѣ Югурѳы», перев. Озерцковскаго, «Разсужденіе о сходствѣ между санскритскимъ и русскимъ языкомъ», переводъ съ француз. языка Никольскаго, сочиненія Леванды, тоже изданныя Академіей, «Ликей, или курсъ словесности Лагарпа»—суть такія изданія Академіи, которыя она почитала прямо относящимися къ предмету своихъ занятій,— Въ 1802 году Академія увѣнчала золотыми медалями труды слѣдующихъ своихъ членовъ: предсѣдателя своего А. Нартова (какъ за участіе въ составленіи словаря, такъ и *за ходатайство у монаршаго престола о благосостояніи Академіи*), Д. Трощинскаго *(за усердное ходатайство и предстательство предъ Государемъ Императоромъ о пользахъ Академіи);* въ 1804 г. А. С. Шишкова (за переложеніе на русскій языкъ «Слова о полку Игоревомъ», съ примѣчаніями и объясненіями).

Съ 1813 года вице-адмиралъ Шишковъ сдѣланъ президентомъ Академіи. Въ 1818 г. утвержденъ Государемъ Императоромъ новый уставъ Академіи, въ которомъ точнѣе и подробнѣе опредѣлился кругъ ея дѣятельности; вмѣсто одной медали для академическихъ наградъ положено имѣть три— въ 100, въ 50 и въ 25 червонныхъ; вмѣстѣ съ уставомъ Императоръ Александръ утвердилъ Академіи и новый штатъ, по которому она получаетъ въ годъ 60,000 руб.; повелѣлъ продолжать отпускъ изъ своего кабинета 3,000 р. въ годъ и наконецъ пожаловалъ 30,000 р. на заведеніе типографіи. *Боже мой! что̀ было можно сдѣлать съ такими огромными средствами!* И дѣйствительно, сдѣлано было весьма много, а именно:

Изданы были: «Извѣстія Россійской Академіи» 12 томовъ (1815—1828), въ которыхъ все касающееся до русскаго языка, и все, хоть сколько-нибудь примѣчательное, принадлежитъ А. С. Шишкову. Въ нихъ-же помѣщена «Пѣснь сотворшему вся» князя С. А. Шихматова (впослѣдствіи времени іеромонаха Аникиты). Это стихотвореніе (говоритъ «Краткое извѣстіе о Россійской Академіи») отличается и хорошимъ своимъ слогомъ, и выспренностью мыслей.—«Повременное изданіе Академіи» 4 т. (1829—1832).

Digitized by Google

Въ немъ болѣе или менѣе замѣчательны нѣкоторыя статьи самого президента, касающіяся русскаго языка. *Изъ множества стихотвореній, помѣщенныхъ тутъ, ни публикѣ, ни намъ рѣшительно ни одно не извѣстно.*—«Краткія Записки», 3 т. (1834—1835). Въ нихъ замѣчательны статьи противъ такъ-называемаго романтизма, впрочемъ не оригинальныя, а переведенныя съ французскаго, и статьи г. президента: «О разности между академикомъ и писателемъ» и «*Нѣчто о пересудѣ или разборѣ сочиненій, называемомъ критикой*»—«Разсужденіе о механическомъ составѣ языковъ и физическихъ началахъ этимологіи», соч. Бросса, переводъ съ франц. Никольскаго.—«Untersuchungen über die Sprache».—«Recherches sur les racines des idiomes slavons, comparées avec celles des langues étrangères». перев. Рейфа изъ соч. А. С. Шишкова.—«Квинтиліана риторическія наставленія», перев. съ латин. А. Никольскаго.—«Vergleichendes Wörterbuch».

Академія сверхъ того предположила издать: 1) Сочиненія Ломоносова, касающіяся до словесности. Это предположеніе выполнено въ нынѣшнемъ году.—2) Сочиненія Богдановича, съ рисунками графа Ѳ. П. Толстова, по изготовленіи которыхъ и будетъ приступлено къ этому изданію.—3) Избранныя сочиненія Сумарокова.—4) Басни Хемницера.

Въ 1836 году Академія приступила къ новому изданію русскаго словаря по азбучному порядку. По нынѣшній годъ обработано уже 48,896 словъ.

Такъ какъ въ кругъ занятій Академіи входитъ и отечественная исторія, то Академія сдѣлала по этой части слѣдующее:

Оказала пособіе изъ своихъ суммъ извѣстному художнику графу Ѳ. П. Толстому въ изданіи составленныхъ имъ рисунковъ медалямъ на достопамятныя событія 1812, 1813 и 1814 годовъ.—Въ 1830 г. отправила Ю. Н. Венелина въ путешествіе по Болгаріи, Валахіи и Молдавіи для отысканія и описанія оставшихся памятниковъ древняго языка этихъ странъ, и преимущественно болгарскаго, историческихъ и церковныхъ; положенія всѣхъ мѣстъ, о которыхъ упоминается въ исторіи, а особливо въ русскихъ лѣтописяхъ. На это путешествіе употреблено 6,000 р. и плодомъ его было собраніе валахо-болгарскихъ грамотъ и снимковъ съ нихъ и «Болгарская грамматика», *которая никогда издана не будетъ*.—Въ 1834 г. приступлено къ печатанію пятой части «Собранія государственныхъ грамотъ и договоровъ», изданію которыхъ положилъ начало графъ Н. П. Румянцевъ, но это изданіе остановилось на 4 части, по недостатку денежныхъ средствъ. Положено издать въ переводѣ на русскомъ языкѣ византійцевъ, по послѣднему изданію, сдѣланному въ Боннѣ, также всѣхъ западныхъ и сѣверныхъ временниковъ, не исключая даже исландскихъ сагъ. Приглашенные для этого переводчики приступили уже къ дѣлу, и оконченный однимъ изъ нихъ переводъ сочиненій Прокопія разсматривается въ особомъ комитетѣ Академіи.

Для дополненія характеристики духа россійской Академіи, необходимо показать ея распоряженія по части наградъ отличившимся въ занятіяхъ «россійской словесностью», или только ревностью къ оной, господъ сочинителей и переводчиковъ.

Золотыми медалями стараго вида (въ 250 р.) Академія наградила: 1) Президента своего, А. С. Шишкова. 2) Князя С. А. Шихматова (въ иночествѣ іеромонаха Аникита) за разныя его сочиненія и въ особенности за «Пѣснь сотворшему вся».

Новаго вида: большими во 100 червонныхъ: 1) Карамзина. Медаль поднесена ему въ торжественное собраніе Академіи 1820 г. янв. 8, въ которомъ онъ читалъ нѣкоторыя мѣста изъ IX т. своей исторіи, тогда еще не вышедшаго въ свѣтъ. — 2) Дмитріева (И. И.).—3) Крылова.—4) Жуковскаго.

Средней величины въ 50 червонныхъ: 1) Слѣпушкина, стихотворца-самоучку.—2) Ѳ. Ѳ. Аделунга за ученыя сочиненія на французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, касающіяся частью до филологіи, частью до русской исторіи.—3) Князя П. А. Ширинскаго-Шихматова за «Похвальное слово Императору Александру Благословенному».—4) Гросгейнриха за переводъ на нѣмецкій языкъ «Сравнительнаго словаря», составленнаго президентомъ Академіи.—5) Съ нимъ вмѣстѣ и Рейфа *за переводъ на французскій языкъ статьи изъ «Академическихъ Извѣстій»*.—6) Юнгмана, библіотекаря музеума въ богемской Прагѣ, за заслуги чешской словесности. — 7) Копытара, хранителя вѣнской императорской библіотеки *(за что—не сказано)*.—8) Ганку, библіотекаря парижскаго музеума *(за что—тоже не сказано)*. — 9) Шаффарика *(за что—тоже не сказано)*.—10) Коллара за стихотвореніе на чешскомъ языкѣ «Slawy dcera».—11) Полѣнова за ревностное участіе въ трудахъ академіи, особенно въ приготовляемомъ словарѣ.

Малой величины въ 25 червонныхъ: 1) Раковецкаго, ученаго поляка, за переводъ на польскій языкъ «Русской Правды».—2) Панаева, за изданіе идиллій. Награда тѣмъ болѣе справедливая,—что оныя идилліи не могли имѣть успѣха въ публикѣ.—

Digitized by Google

3) Ѳедора Павловича за труды въ пользу какой-то «словенской словесности».—4) Дѣвицу Ярцову, за неизвѣстное публикѣ сочиненіе «Полезное чтеніе для дѣтей».

Медалями серебряными: 1) Князя Цертелева за нѣкоторыя изданныя имъ о народныхъ пѣсняхъ разсужденія и замѣчанія.—2) Вука Стефановича за изд. Сербскаго словаря.—3) Кавалера Филистри за составленіе четырехъ таблицъ, изображающихъ вкратцѣ россійскую исторію.—4) К. Калайдовича за изд. памятниковъ русской словесности XII вѣка.—5) Г. Н. Полевого *за представленный отъ него новый способъ спряженій русскихъ глаголовъ.*—6) *М. Суханова, экономическаго крестьянина, за стихотворенія, и сверхъ медали ему же 1,000 руб. деньгами.*—7) *Егора Алипанова, тоже крестьянина и тоже за стихотворенія довольно посредственныя.*—8) Дундера, вѣнскаго книгопродавца, за его предпріятіе издавать общій Словенскій книжный лексиконъ.

Сверхъ почести медалями, Академія наградила труды слѣдующихъ сочинителей единовременнымъ денежнымъ даромъ: 1) А. Х. Востокову 500 р. за его стихотворенія и изслѣдованія отечественнаго языка.—2) Дѣвицѣ А. П. Буниной 1,000 р. за стихотворенія и переводы съ англійскаго языка соч. Блера.—3) С. Н. Глинкѣ 4,500 р. за многолѣтнія занятія его на поприщѣ отечественной словесности.—4) Д. И. Языкову 4,000 р. за труды по части словесности, исторіи и древностей русскихъ.—5) *Четырнадцати-лѣтней дѣвицѣ Шаховой 500 р. за ея опыты въ стихахъ.* Кромѣ того въ 1839 году Академія напечатала ея стихотворенія въ числѣ 800 экз. и предоставила ихъ всѣ въ ея пользу.—6) Протоіерею Меглицкому 1,100 р. за скорый переводъ на русскій языкъ Словенскихъ древностей Шафарика.—7) Вуку Стефановичу Караджичъ 1,080 р. въ пособіе на путешествіе по Словенскимъ землямъ для собранія народныхъ пѣсенъ, пословицъ, рукописей и проч.—8) Гавріилу Покацкому 650 р. за переложеніе стихами Псалтири и Канона Андрея Критскаго.—9) Кавалеру Филистри 400 р. за сочиненную имъ генеалогическую, хронологическую и синхронистическую таблицу Россійской исторіи.—10) *М. Е. Лобанову 5,000 р. на изданіе его стихотвореній* и двухъ трагедій.—11) В. А. Броневскому 1,250 р. на изданіе его «Записокъ морского офицера». Эти «Записки» были напечатаны Академіей вторично въ 1837 г.—12) Купцу Ершову 1,000 р. на изданіе «Исторіи Восточной Римской имперіи».—13) Момировичу 1,000 р. на изданіе «Краткой исторіи и географіи Сербіи».—14) *А. С. Норову 5,000 р., покупкой у него 200 экз. его «Путешествія ко святымъ мѣстамъ».*—15) *П. П. Свиньину 7,500 р., покупкой у него 250 экз. первой части его «Картины Россіи». Вся употребленная въ этотъ періодъ на этотъ предметъ сумма простирается до 42,000.*

Кромѣ этихъ, постановленныхъ уставомъ, наградъ, Академія дѣйствовала къ распространенію словесности еще и тѣмъ, что печатала, по надлежащемъ разсмотрѣніи, разныя сочиненія и переводы на свой счетъ и всѣ напечатанные экземпляры предоставляла въ пользу сочинителей и переводчиковъ. Такимъ образомъ изданы ею: 1) Собраніе всѣхъ *сочиненій ея президента, въ XVII частяхъ*, и сочиненія и переводы его *племянника.*—2) Переведенная Н. И. Гнѣдичемъ Омирова «Иліада».—3) Писанное на греческомъ языкѣ сочиненіе священника Константина Економоса «О ближайшемъ сродствѣ словено-россійскаго языка съ греческимъ».—4) Словарь россійскаго языка, въ 2-хъ ч., составленный Соколовымъ.—5) *Стихотворенія Н. П. Шатрова, въ 3-хъ частяхъ.*—6) Россійская грамматика А. Х. Востокова, два раза.—7) Сочиненіе кн. С. А. Шихматова (въ монаш. Аникита) подъ названіемъ: «Іисусъ въ ветхомъ и новомъ завѣтѣ, или ночь у креста».—8) *Похвальныя слова кн. П. А. Ширинскаго-Шихматова въ Бозѣ почившимъ Императору Александру Павловичу и Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ.*—9) Піитическіе опыты дѣвицы Кульманъ.—10) «Опытъ исторіи словесности», написанный Глаголевымъ и его же: «Записки русскаго путешественника».—11) «Краткій священный словарь», составленный протоіереемъ А. И. Маловымъ.—12) Дѣвицы Ишимовой «Исторія Россіи въ разсказахъ для дѣтей», въ 5 частяхъ.—13) Ключъ къ «Исторіи Россійскаго Государства», соч. Карамзина, составленный Строевымъ.—14) Сочиненія С. В. Руссова: a) «О кожаныхъ деньгахъ»; b) «О мнѣніяхъ касательно Руси»; c) «О Гостомыслѣ»; d) «О происхожденіи Рюрика»; e) «О Новѣгородѣ», и f) «Объ Алдейгаборгѣ».—15) А. И. Михайловскаго-Данилевскаго «Записки о походѣ 1813 года».—16) *Б. М. Ѳедорова сочиненіе «Кадетскіе бивуаки»* и переводъ «Симона Нантуанскаго».—17) В. М. Перевощикова «О Русскихъ лѣтописяхъ и лѣтописателяхъ по 1240 годъ».—18) Д. И. Языкова «Книга большему чертежу».—19) *Стихотворенія дѣвицы Онисимовой.*

Долговременные неутомимые труды и рвеніе члена и непремѣннаго секретаря Академіи, П. И. Соколова, она наградила единовременно выдачею ему 13,000 рублей.

Digitized by Google

Споспѣшествуя всякому обще-полезному заведенію, Академія принесла въ даръ библіотекамъ, открытымъ въ разныхъ городахъ, изданныя ею книги на 14,000 рублей, учебнымъ заведеніямъ, состоящимъ подъ вѣдомствомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, и духовнымъ пріобрѣтенныя ею 200 экз. «Путешествія Норова ко святымъ мѣстамъ» и 1,000 экз. «Книги большему чертежу»—цѣн. на 10,000; и въ 1839 г. снабдила училища вновь открытаго Варшавскаго учебнаго округа изданными ею книгами—цѣн. на 9,970 р.

Въ память оказанныхъ россійскому слову заслугъ нѣкоторыми членами Академіи она украсила залу своихъ собраній ихъ портретами. «*Хотя покойная дѣвица Бунина и не принадлежала къ числу членовъ, но отличныя ея стихотворныя дарованія дали и ея портрету мѣсто между прочими*». Въ 1835 году Академія приступила къ изданію литографическихъ портретовъ своихъ дѣйствительныхъ и почетныхъ членовъ, какъ умершихъ, такъ и здравствующихъ еще. Число налитографированныхъ портретовъ простирается по настоящее время до 54-хъ.

Зала академическихъ собраній украшена мраморными бюстами Ломоносова и Державина; сверхъ того, въ знакъ своей признательности, она положила присоединить къ нимъ еще мраморный же бюстъ своего президента.

Память нѣкоторыхъ изъ усопшихъ членовъ Академіи почтила она сооруженіемъ надгробныхъ имъ памятниковъ или совершенно на свой счетъ, или принявъ участіе въ расходахъ, и именно, въ первомъ случаѣ: 1) Дмитревскому 3,830 руб. и 2) П. И. Соколову 2,000 р.; во второмъ: 1) Державину 5,000 р., 2) Карамзину 5,000 р. и 1,000 р. на исправленіе памятника Ломоносову.

Вообще одобрительныя дѣйствія Россійской Академіи на трудящихся въ пользу русской словесности показываютъ *съ одной стороны строжайшій и безпристрастный выборъ, а съ другой — благочестивое стремленіе помогать бѣдности.* И потому, если медалями во 100 червонныхъ награждены Дмитріевъ, Карамзинъ, Крыловъ и Жуковскій, но не награжденъ Пушкинъ, такъ это вѣроятно по причинѣ преждевременной его смерти, не говоря уже о томъ, что въ этомъ случаѣ намъ не малымъ можетъ служить утѣшеніемъ, что зато увѣнчана этой наградой «Пѣснь сотворшему вся» князя Шихматова (въ иночествѣ Аникита). Что же касается до того, что награждены медалями стихотворцы-крестьяне Слѣпушкинъ, Сухановъ и Алипановъ и не награжденъ поэтъ-мѣщанинъ Кольцовъ, это вѣроятно потому, что послѣдняго можетъ наградить публика, тогда какъ первые никакъ не могутъ положиться на ея вниманіе. Вѣроятно эта же самая причина обратила вниманіе Академіи и на сочиненія дѣвицъ Буниной, Шаховой, Онисимовой, Покацкаго, Лобанова, Б. М. Ѳедорова и другихъ. Все это дѣлаетъ большую честь великодушію Академіи.

Теперь обратимся къ изданнымъ ею двумъ частямъ своихъ «Трудовъ».

Въ первой части находится въ высшей степени любопытная историческая статья Полѣнова: «Отправленіе Брауншвейгской фамиліи изъ Холмогоръ въ датскія владѣнія»; этотъ фактъ доселѣ былъ государственной тайной. Во второй части помѣщено сочиненіе академика Арсеньева: «Царствованіе Петра II», которое было издано въ прошломъ году особой книгой. Обѣ части «Трудовъ» украшены стихотвореніями Лобанова и Ѳедорова. Нынче такихъ стиховъ не пишутъ, потому что такихъ стиховъ никто ужъ не читаетъ, потому-то и должны они были помѣститься въ «Труды» *Академіи, имѣющей въ виду преимущественно вознагражденіе и одобреніе такихъ произведеній словесности, которыя не могутъ ожидать вознагражденія и одобренія публики.* Особенно хороши стихи Б. М. Ѳедорова,—вотъ нѣсколько изъ нихъ:

Корабль спасенія душъ чистыхъ,
Златымъ вѣнцомъ облечена;
Надъ сѣнію дубравъ тѣнистыхъ
Издалека она видна.
Пріютъ и странника, и сира,
Ущедренъ благостной рукой,
И призываетъ въ пристань мира,
Блистая горней красотой,

и прочая, все въ такомъ же паренія и такомъ же смыслѣ.

Очень также интересенъ отрывокъ, не то изъ повѣсти, не то изъ романа, разумѣется, исторической или историческаго, подъ титуломъ «Золотая Палата. Картина русскаго двора въ XVI вѣкѣ» Б. М. Ѳедорова: это рѣшительно одно изъ лучшихъ произведеній этого достойнаго сочинителя и академика.

Digitized by Google

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ 1841 ГОДУ.

Сокровища родного слова,
Замѣтятъ важные умы,
Для лепетанія чужого
Пренебрегли безумно мы.
Мы любимъ музъ чужихъ игрушки,
Чужихъ нарѣчій погремушки,
А не читаемъ книгъ своихъ.
Да гдѣ жъ онѣ? давайте ихъ!
Конечно: сѣверные звуки
Ласкаютъ мой привычный слухъ;
Ихъ любитъ мой славянскій духъ;
Ихъ музыкой сердечны муки
Усыплены; но дорожитъ
Одними-ль звуками піитъ?
И гдѣ-жъ мы первыя познанья?
И мысли первыя нашли?
Гдѣ повѣряемъ испытанья,
Гдѣ узнаёмъ судьбу земли?
Не въ переводахъ одичалыхъ,
Не въ сочиненьяхъ запоздалыхъ,
Гдѣ русскій умъ и русскій духъ
Зады твердитъ и лжетъ за двухъ.
. . . . . .
Поэты наши переводятъ
Или молчатъ; одинъ журналъ
Исполненъ приторныхъ похвалъ,
Тотъ брани плоской; всѣ наводятъ
Зѣвоту скуки, чуть не сонъ—
Хорошъ россійскій Геликонъ!

Въ этихъ стихахъ Пушкина заключается самая рѣзкая характеристика русской литературы. Правда, многіе не безъ основанія могутъ принять ихъ скорѣе за эпиграмму на русскую литературу, нежели за характеристику ея, потому что уже поэзія самого Пушкина не подходитъ подъ эту характеристику, а у насъ, кромѣ Пушкина, есть и еще нѣсколько явленій, достойныхъ болѣе или менѣе почетнаго упоминанія даже при его имени. Но если это не характеристика, то и не совсѣмъ эпиграмма. Эпиграмма есть плодъ презрѣнія или предубѣжденія къ предмету, на который она нападаетъ; а Пушкинъ, котораго поэзія—самый звучный и торжественный органъ русскаго духа и русскаго слова, не могъ презирать той литературы, которой посвятилъ всю жизнь свою. Впрочемъ, для оправданія великаго поэта въ подобномъ презрѣніи, довольно было бы и этихъ чудныхъ стиховъ, въ которыхъ съ такой задушевностью, съ такимъ умиленіемъ высказывается самое родственное, самое кровное чувство любви къ родному слову:

. . . . . Сѣверые звуки
Ласкаютъ мой привычный слухъ;
Ихъ любитъ мой славянскій духъ;
Ихъ музыкой сердечны муки
Усыплены...

Между тѣмъ любовь любовью, а истина прежде всего—даже прежде самой любви. Вамъ конечно не разъ случалось слышать отъ другихъ и самимъ предлагать вопросъ: «Что новаго у насъ въ литературѣ?» или «Нѣтъ ли чего-нибудь прочесть?» Скажите: какъ вы отвѣчали или какъ вамъ отвѣчали на этотъ вопросъ?.. Правда, у насъ выходитъ ежемѣсячно книгъ до тридцати: ими испещряются книгопродавческія объявленія, сужденіями о нихъ наполняются библіографическіе отдѣлы журналовъ; ихъ хвалятъ и бранятъ, о нихъ спорятъ и бранятся; а между тѣмъ все-таки—

Да гдѣ-жъ онѣ? Давайте ихъ!

Какъ хотите, а это презатруднительный вопросъ! Попытаемся однакожъ отвѣтить на него, только не прямо и не просто, и не отъ своего лица, а въ формѣ слѣдующаго разговора между двумя лицами—А. и Б.

А.—«Такъ гдѣ жъ онѣ? Давайте ихъ!»

Б.—Извольте. Только ихъ такъ много, что ни мнѣ не перечесть, ни вамъ не унести съ собой. Начнемъ сначала.

А.—Да, если вы вздумаете прочесть мнѣ весь каталогъ Смирдина, то конечно останетесь побѣдителемъ въ нашемъ спорѣ.

Б.—Нѣтъ, я буду говорить только о капитальныхъ явленіяхъ нашей литературы, которыхъ безсмертіе признано знаменитѣйшими авторитетами въ дѣлѣ эстетическаго вкуса и подтверждено «общимъ мнѣніемъ».

А.—Интересно; начинайте же именно съ начала русской литературы.

Б.—Ну, вотъ вамъ «Сатиры Кантемира»...

А.—Покорно благодарю: вѣдь я спрашивалъ васъ о книгахъ, которыя годятся не для одного украшенія библіотекъ, но и для чтенія...

Б.—Какъ! вы не признаете достоинства Кантемировыхъ сатиръ? Вспомните, какой славой пользовались онѣ въ свое время! Вспомните эту поэтическую надпись къ портрету знаменитаго сатирика:

Старинный слогъ его достоинствъ не умалитъ.
Порокъ! не подходи: сей взоръ тебя ужалитъ!

Вспомните, что́ такъ основательно высказано Жуковскимъ въ его превосходной статьѣ о «Сатирахъ Кантемира»...

Digitized by Google

А.—Какъ же, какъ же! читалъ я и ее: статья точно превосходная; но ваша первая попытка занять меня чтеніемъ все-таки не удалась: я уже читалъ Кантемира, а перечитывать—страшусь и подумать, потому что я читаю не изъ одного любопытства, но и для удовольствія.

Б. — Вотъ Ломоносовъ — поэтъ, лирикъ, трагикъ, ораторъ, риторъ, ученый мужъ...

А. — И прибавьте — великій характеръ, явленіе, дѣлающее честь человѣческой природѣ и русскому имени; только не поэтъ, не лирикъ, не трагикъ и не ораторъ, потому что риторика — въ чемъ бы она ни была, въ стихахъ, или въ прозѣ, въ одѣ, или въ похвальномъ словѣ,—не поэзія и не ораторство, а просто риторика, вещь, высоко чтимая въ школахъ, любезная педантамъ, но скучная и непріятная для людей съ умомъ, душой и вкусомъ.

Б.—Помилуйте!

Онъ нашихъ странъ Малербъ, онъ Пиндару подобенъ!

А.—Не спорю: можетъ быть онъ и Малербъ «нашихъ странъ», но отъ этого «нашимъ странамъ» отнюдь не легче, и это нисколько не мѣшаетъ «нашимъ странамъ» зѣвать отъ тяжелыхъ, прозаическихъ и риторическихъ стиховъ Ломоносова. Но между имъ и Пиндаромъ — такъ же мало общаго, какъ между олимпійскими играми и нашими иллюминаціями,—или олимпійскими ристаніями и нашими лебедянскими скачками; за это я постою и поспорю. Пиндаръ былъ поэтъ: вотъ уже и несходство съ Ломоносовымъ. Поэзія Пиндара выросла изъ почвы эллинскаго духа, изъ нѣдръ эллинской національности; такъ называемая поэзія Ломоносова выросла изъ варварскихъ схоластическихъ риторикъ духовныхъ училищъ XVII вѣка: вотъ и еще несходство...

Б.—Но Ломоносову удивлялся Державинъ, его превозносилъ Мерзляковъ, и нѣтъ ни одного сколько-нибудь извѣстнаго русскаго поэта, критика, литератора, который не видѣлъ бы въ Ломоносовѣ великаго лирика. Въ одной статьѣ «Вѣстника Европы» сказано: «Ломоносовъ—дивное и великое свѣтило, коего лучезарнымъ сіяніемъ не налюбоваться въ сытость и позднѣйшему потомству».

А.—Я въ сытость уважаю статью «Вѣстника Европы», равно какъ и Державина и Мерзлякова; но сужу о поэтахъ по своимъ, а не по чужимъ мнѣніямъ. Впрочемъ, если вамъ нужны авторитеты, — ссылаюсь на мнѣніе Пушкина, который говоритъ, что «въ Ломоносовѣ нѣтъ ни чувства, ни воображенія» и что «самъ, будучи первымъ нашимъ университетомъ, онъ былъ въ немъ, какъ и профессоръ поэзіи и элоквенціи, только исправнымъ чиновникомъ, а не поэтомъ, вдохновеннымъ свыше, не ораторомъ, мощно увлекающимъ». И если вы имѣете право раздѣлять мнѣніе о Ломоносовѣ Державина, Мерзлякова и «Вѣстника Европы», то почему же мнѣ не имѣть права раздѣлять мнѣніе Пушкина? Неправда ли?

Б.—Конечно; противъ этого не нашлись бы ничего сказать всѣ «ученые мужи». И такъ, вы не хотите считать сочиненій Ломоносова въ числѣ книгъ для чтенія?

А.—Я этого не говорю о всѣхъ сочиненіяхъ Ломоносова; но ужъ конечно не буду читать ни его риторики, ни похвальныхъ словъ, ни торжественныхъ одъ, ни трагедій, ни посланій о пользѣ стекла и другихъ предметахъ, полезныхъ для фабрикъ, но не для искусства; да, не буду, тѣмъ болѣе, что я уже читалъ ихъ... Но я всегда посовѣтую всякому молодому человѣку прочесть ихъ, чтобъ познакомиться съ интереснымъ историческимъ фактомъ литературы и языка русскаго. Что же касается до собственно ученыхъ сочиненій Ломоносова по части физики, химіи, навигаціи, русскаго стихосложенія, — они всегда будутъ имѣть свою историческую важность и цѣну въ глазахъ людей, занимающихся этими предметами, всегда будутъ капитальнымъ достояніемъ исторіи ученой русской литературы; но публикѣ литературной они всегда будутъ чужды, какъ поэзія и ораторскія рѣчи Ломоносова... Ломоносову воздвигнутъ памятникъ, и онъ вполнѣ достоинъ этого; онъ — великій характеръ, примѣчательнѣйшій человѣкъ; юноши съ особеннымъ вниманіемъ и особенной любовью должны изучать его жизнь, носить въ душѣ своей его величавый образъ, но, Бога ради, увольте ихъ отъ поэзіи и краснорѣчія Ломоносова... Прошлаго года, кажется, изданъ былъ однимъ «ученымъ» обществомъ выборъ изъ поэтическихъ и ораторскихъ сочиненій Ломоносова, въ двухъ томахъ in quarto, для употребленія въ учебныхъ заведеніяхъ, въ образецъ для школьныхъ опытовъ въ стихахъ и прозѣ. Что сказать объ этомъ? Я — человѣкъ простой, не изъ «ученыхъ»; — можетъ оно тамъ такъ и нужно—это не мое дѣло, какъ сказалъ городничій въ «Ревизорѣ» объ учителѣ уѣзднаго училища; но между публикой и школой такая же разница, какъ и между книгой и дѣйствительностью: что хорошо въ одной, то никуда не годится въ другой...

Б.—Я понимаю, что вы хотите сказать. И такъ, вотъ вамъ десять томовъ «Полнаго Собранія всѣхъ сочиненій въ стихахъ и прозѣ покойнаго дѣйствительнаго статскаго совѣтника, ордена св. Анны кавале-

Digitized by Google

ра и Лейпцигскаго Ученаго собранія члена, Александра Петровича Сумарокова. Собраны и изданы въ удовольствіе любителей россійской учености Николаемъ Новиковымъ», и пр. Я надѣюсь, что вы къ его стихамъ и прозѣ будете благосклоннѣе, чѣмъ къ стихамъ и прозѣ Ломоносова: поэзія Сумарокова менѣе школьна и болѣе жизненна, чѣмъ поэзія Ломоносова. Сумароковъ писалъ не однѣ оды и трагедіи, но и сатиры, комедіи, даже комическія статьи, въ которыхъ преслѣдовалъ невѣжество, дикость нравовъ, ябедничество, взяточничество, казнокрадство и прочіе смертные грѣхи полуазіатской общественности.

А.—И я согласенъ, что онъ принесъ своего рода пользу и сдѣлалъ частицу добра для общества; но не хочу кланяться грязному помелу, которымъ вымели улицу. Помело всегда помело, хотя оно и полезная вещь. Сатиры и комедіи Сумарокова — помело, въ полезности котораго я не сомнѣваюсь, но которому все-таки кланяться не стану. И суздальскія литографіи: «какъ мыши кота погребаютъ» и «какъ пришелъ Яковъ ерша смякалъ», тоже принесли свою пользу черному народу: безъ нихъ онъ не имѣлъ бы понятія о вещи, называемой «картиной»; но кто же будетъ говорить о суздальскихъ лубочныхъ литографіяхъ, какъ о произведеніяхъ искусства? Сумароковъ нападалъ на невѣжество—и самъ не больше другихъ зналъ, и бредилъ только своимъ «бѣднымъ рефмичествомъ», какъ выразился о немъ Ломоносовъ. Сумароковъ преслѣдовалъ дикость нравовъ, жаловался печатно, что въ Москвѣ «во время представленія «Семиры» грызутъ орѣхи, и когда представленіе въ пущемъ жарѣ своемъ, сѣкутъ поссорившихся между собой пьяныхъ кучеровъ, ко тревогѣ всего партера, ложъ и театра»,—тотъ самый Сумароковъ избилъ палкой купца, который, видя его въ халатѣ, не сказалъ ему «ваше превосходительство»! Главная причина негодованія Сумарокова на общественное невѣжество состояло въ томъ, что оно мѣшало обществу понимать его пресловутыя трагедіи; а подъячихъ преслѣдовалъ онъ сколько потому, что имѣлъ до нихъ дѣла, столько и для остраго словца. Истинное негодованіе на противорѣчія и пошлость общества есть недугъ глубокой и благородной души, которая стоитъ выше своего общества и носитъ въ себѣ идеалъ другой, лучшей общественности. Судя по одному поступку Сумарокова съ купцомъ, нельзя думать, чтобъ этотъ піитъ былъ выше своего общества; а въ сочиненіяхъ его незамѣтно и малѣйшихъ слѣдовъ лучшаго идеала общественности. Онъ не страдалъ болѣзнями современнаго ему общества; онъ только досадовалъ и злился, что общество, не понимая его геніальныхъ твореній, не отдавало ему за нихъ должнаго почтенія, и вѣрило больше московскому подъячему, чѣмъ господину Вольтеру и ему, господину Сумарокову... Если хотите видѣть страданіе высокой души человѣка, непонимаемаго современностью, — читайте письма Ломоносова къ Шувалову...

Б.—Но Сумароковъ былъ первымъ драматургомъ въ Россіи, и его трагедіямъ даже обожатели Ломоносова, какъ Мерзляковъ, отдаютъ преимущество?

А.—Я съ этимъ не согласенъ. Ломоносовъ и въ ошибкахъ своихъ поучительнѣе и выше этого бездарнаго писаки. Оба они риторы въ своихъ стихахъ; но вѣдь и риторика риторикѣ рознь. Риторика Корнеля, Расина и Вольтера всегда будетъ выше риторики Озерова, а риторика Ломоносова выше риторики Сумарокова. Ломоносовъ вездѣ уменъ, даже и въ риторическихъ стихахъ своихъ. Нѣтъ, по моему мнѣнію, Сумароковъ сдѣлалъ одно истинно важное дѣло, хотя и безъ всякаго особеннаго умысла: его піитическая тѣнь возникла передъ критическимъ окомъ С. Н. Глинки и вдохновила его «предъявить» преинтересную книгу: «Очерки жизни и сочиненія Александра Петровича Сумарокова», пресловутую книгу, которая, говоря языкомъ ея почтеннаго сочинителя, «огромила россійскій бытъ»... Вотъ за это спасибо Сумарокову: лучшаго онъ ничего не могъ сдѣлать.

Б.—Но что́ вы скажете о Княжнинѣ? Общее мнѣніе приписываетъ ему усовершенствованіе русскаго театра, рожденнаго Сумароковымъ.

А.—Да, общее мнѣніе всѣхъ «курсовъ и исторій русской литературы». Княжнинъ не напрасно занимаетъ въ нихъ свое мѣсто; только ему и не должно выходить изъ нихъ, благо онъ пригрѣлъ себѣ тепленькую коморку. Исторія литературы и сама литература—не всегда одно и то же. При возникновеніи литературы, начавшейся подражаніемъ, является множество маленькихъ героевъ, пріобрѣтающихъ себѣ безсмертіе, Грузинцевъ, авторъ пьесы «Петръ Великій». и Свѣчинъ, сочинитель «Александроиды», стоятъ Тредьяковскаго; но о нихъ уже забыли—они поздно родились, поздно явились; а Тредьяковскій никогда не будетъ забытъ, потому-что родился во-время. Я не спорю, что Сумароковъ—«отецъ россійскаго театра», и притомъ достойный отецъ достойнаго сына; но все-таки театръ нашъ не исключительно отъ него долженъ вести свою родословную: вспомните, что еще въ царствованіе Алексѣя Михаиловича у насъ было нѣчто похожее на придвор-

Digitized by Google

ный театръ, гдѣ разыгрывались мистеріи, вродѣ тѣхъ, которыми начались всѣ европейскіе театры. Что жъ? не прикажете ли и ихъ напечатать для пользы и удовольствія почтеннѣйшей публики? И французы въ исторіи своей литературы упоминаютъ о «мистеріяхъ», равно какъ и о драмахъ Гарнье и Гарди, предшественниковъ Корнеля; но они не разбираютъ ихъ, не излагаютъ ихъ содержанія, не разсуждаютъ о ихъ красотахъ или недостаткахъ, не рекомендуютъ ихъ вниманію публики, не включаютъ ихъ въ общій капиталъ своей литературы. Литературныя заслуги бываютъ внѣшнія и внутреннія: первыя важны для той минуты, въ которую появились; вторыя остаются навсегда. Иначе ничьей жизни не достало бы перечесть и изучить иную литературу. Такъ и Княжнинъ, лѣпившій свои риторическія трагедіи и комедіи изъ дурно-переведенныхъ имъ лоскутковъ ветхой и дырявой мантіи классической французской Мельпомены, оказалъ своего рода пользу и современному театру, и современной литературѣ. За это ему честь и слава; но требовать, чтобъ его читали и это чтеніе называли «занятіемъ литературой»,— просто нелѣпость. Даже и учащемуся юношеству нѣтъ никакой нужды давать читать такихъ писателей, какъ Сумароковъ и Княжнинъ, если это дѣлается не для предостереженія отъ покушенія или возможности писать такъ-же дурно, какъ писали эти піиты. Но это значило бы подражать спартанцамъ, которые, для внушенія своему юношеству отвращенія отъ пьянства, заставляли рабовъ напиваться...

Б.—Вижу, что о Херасковѣ и Петровѣ нечего и говорить съ вами...

А.—Тѣмъ болѣе, что о нихъ и педанты перестали говорить: это тяжба, на-чисто проигранная. Сюда же должно отнести и Богдановича съ его тяжелой и неуклюжей «Душенькой», которая считалась въ свое время образцомъ легкости и граціозности и возбуждала фуроръ.

Б.—А Хемницеръ, Капнистъ?

А.—Изъ нихъ можно кое-что помѣщать въ хрестоматіяхъ и другихъ подобныхъ сборникахъ, составляемыхъ для руководства при изученіи исторіи русской литературы. Первый написалъ пять-шесть порядочныхъ басенъ, изъ которыхъ «Метафизикъ» пользуется особеннымъ уваженіемъ и благоговѣніемъ людей, видящихъ въ подобныхъ произведеніяхъ что-то важное и говорящихъ «творецъ «Метафизика» точно такъ же, какъ другіе говорятъ «творецъ «Макбета». Капнистъ передѣлалъ довольно удачно, въ духѣ своего времени, одну или двѣ оды Горація; элегіи же его особенно важны для хрестоматій, какъ живое свидѣтельство сантиментальнаго духа русской литературы того времени. О «Ябедѣ» его довольно сказать, что это произведеніе было благороднымъ порывомъ негодованія противъ одной изъ возмутительнѣйшихъ сторонъ современной ему дѣйствительности, и что за это долго пользовалось оно огромной славой, несмотря на все свое поэтическое и даже литературное ничтожество. Замѣчательно, до чего простиралось незаслуженное удивленіе къ этому посредственному произведенію: Писаревъ, лучшій русскій водевилистъ и вообще человѣкъ замѣчательно даровитый въ сферѣ мелкой житейской литературы, сражался за «Ябеду» и въ стихахъ, и въ прозѣ; и въ одномъ изъ своихъ лучшихъ произведеній, нападая на одного журналиста, повершилъ свои тяжкія обвиненія слѣдующей наивной выходкой:

Онъ Грибоѣдова хвалилъ—
И разругалъ Капниста!...

Въ самомъ дѣлѣ, тяжелое обвиненіе! О, доброе старое время!

Б.—Но мы, кажется, забѣжали впередъ; воротимтесь. Думаю, вы будете не такъ исключительны и строги въ своемъ сужденіи о Державинѣ.

А.—Съ уваженіемъ отступаю при этомъ знаменитомъ имени, но не для того, чтобъ пасть передъ нимъ во прахъ и безсознательно воскурить ѳиміамъ громкихъ фразъ и возгласовъ, а для того, чтобъ лучше и полнѣе измѣрить глазами этотъ величавый образъ, и строже, и тверже произнести свое сужденіе о немъ—потому именно, что глубоко уважаю его... Державинъ — первое дѣйствительное появленіе русскаго духа въ сферѣ поэзіи, которой до него не было на Руси. Державинъ—это Илья Муромецъ нашей поэзіи. Тотъ тридцать лѣтъ сидѣлъ сиднемъ, не зная, что онъ богатырь; а этотъ сорокъ лѣтъ безмолвствовалъ, не зная, что онъ поэтъ; подобно Ильѣ Муромцу, Державинъ поздно ощутилъ свою силу, а ощутивъ, обнаружилъ ее въ исполинскихъ и безплодныхъ проявленіяхъ... Никого у насъ не хвалили такъ много и такъ безусловно, какъ Державина, и никто доселѣ не понятъ менѣе его. Невольно смиряясь предъ исполинскимъ именемъ, всѣ склонялись передъ нимъ, не замѣчая, что это только имя— не больше; поэтъ, а не поэзія... Его всѣ единодушно превозносятъ, всѣ оскорбляются малѣйшимъ сомнѣніемъ въ безукоризненности его поэтической славы, и между тѣмъ никто его не читаетъ, и всего менѣе тѣ, которые печатно кричатъ о немъ... По моему мнѣнію, эти люди, такъ безсознательно поступающіе, дѣйствуютъ очень разумно и

Digitized by Google

нисколько не противорѣчатъ самимъ себѣ. Я сравнилъ Державина съ древнимъ русскимъ богатыремъ, Ильей Муромцемъ, и, на основаніи этого сравненія, назвалъ поэзію Державина исполинскими, но безплодными проявленіями поэтической силы: для объясненія своей мысли я долженъ продолжать это сравненіе. Илья Муромецъ одинъ одинехонекъ побиваетъ цѣлую татарскую рать— и чѣмъ же?—не копьемъ, не мечемъ, не палицею тяжкою, а татариномъ, котораго онъ схватилъ за ноги, да и давай имъ помахивать на всѣ четыре стороны, сардонически приговаривая:

А и крѣпокъ татаринъ— не ломится,
А и жиловатъ, собака,—не изорвется.

Кто не согласится, что подобный подвигъ поражаетъ умъ удивленіемъ? Но и кто же не согласится, что возбуждаемое имъ удивленіе—чувство чисто внѣшнее, холодное, и что оно—только удивленіе, а не тотъ божественный восторгъ, который возбуждается въ духѣ чрезъ разумное проникновеніе въ глубокую сущность предмета? Но здѣсь не во что проникать: здѣсь только сила, лишенная всякаго содержанія, сила какъ сила—больше ничего. Совсѣмъ не такъ дѣйствуютъ на насъ миѳическія сказанія римскаго народа о Гораціяхъ-Коклесахъ, Муціяхъ-Сцеволахъ, или рыцарскія легенды о военномъ схимничествѣ за честь креста, гроба и имени Господня, о битвахъ за красоту, о неизмѣнности обѣтамъ, о безумномъ фанатическомъ обожаніи воображаемыхъ идеаловъ, какъ будто дѣйствительныхъ существъ: они возбуждаютъ въ насъ не одно удивленіе, но и любовь, и восторгъ, и сознаніе. Съ любовью преклоняемся мы передъ безконечностью духа человѣческаго, предъ несокрушимой твердостью воли, торжествующей надъ ограниченными условіями немощной плоти; въ нихъ мы обожаемъ божественную способность человѣка уничтожаться, какъ въ жертвенномъ огнѣ на алтарѣ Бога, въ паѳосѣ къ безплотной и безсмертной идеѣ... И это оттого, что онѣ полны общечеловѣческаго содержанія, что мы ощущаемъ, чувствуемъ и провидимъ въ нихъ все, чѣмъ человѣкъ есть человѣкъ—чувственное явленіе незримаго и вѣчнаго духа... И вотъ этого-то содержанія въ поэзіи Державина такъ же мало, какъ и въ подвигѣ Ильи Муромца. Откуда было взять ему содержаніе для своей поэзіи? Къ намъ долетали неопредѣленные слухи и толки объ XVIII вѣкѣ Франціи, мы даже сами ѣздили знакомиться съ ними въ Парижъ... У насъ читали Вольтера и повторяли его остроты; но на Руссо смотрѣли только какъ на чувствительнаго мечтателя; существованія же нѣмца Канта тогда никто и не подозрѣвалъ... Россія была на вѣки оторвана отъ своего прошедшаго, да и притомъ такъ уже свыклась съ реформой, что и не могла ничего найти въ немъ для себя; настоящее ея было невѣрнымъ и косвеннымъ отраженіемъ чужого: откуда же было возникнуть въ ней своеобразному созерцанію жизни, суммѣ тѣхъ общихъ для всѣхъ и каждаго понятій, посредствомъ которыхъ въ обществѣ сливаются воедино всѣ частности и личности, которыя составляютъ цвѣтъ, характеристику, душу общества, и какъ въ зеркалѣ, отражаются въ его поэзіи и литературѣ?.. Ихъ не было, и не могло быть. И вотъ отчего поэзія Державина такъ чужда всякаго содержанія. Что могъ видѣть и слышать онъ въ своемъ дѣтствѣ, у себя дома? чему могъ онъ выучиться въ школѣ? что могъ ему дать опытъ его жизни въ юношествѣ и въ лѣтахъ мужества? Можно ли дивиться, что, въ апогеѣ своей славы, пятидесятилѣтній Державинъ смотрѣлъ на поэзію какъ на отдыхъ и забаву, а на канцелярскія бумаги, какъ на дѣло, считалъ себя не поэтомъ, а чиновникомъ. Повторяю: тутъ нечего было и думать о содержаніи для поэзіи—и поэзія Державина осталась безъ всякаго содержанія. Возьмемъ ли мы его такъ называемыя «анакреонтическія стихотворенія»—сколько въ нихъ превосходныхъ частностей, удачныхъ стиховъ, поэтическихъ образовъ, сколько огня и яркости; но вмѣстѣ съ тѣмъ и какая во всемъ внѣшность: ни малѣйшаго признака, ни слабыхъ слѣдовъ мистики сердца, жизни чувства! Чувство любви онъ вездѣ беретъ въ его отвлеченной общности: оно всегда у него одно и то же, всегда неподвижно, оцѣпенѣло, никогда не переходитъ изъ мотива въ мотивъ, и потому лишено всего внутренняго, — блеститъ, но не грѣетъ... Возьмемъ ли его такъ называемыя философическія оды: онѣ иногда богаты сентенціями, вродѣ описанія признаковъ, долженствующихъ составлять истиннаго вельможу, и всегда бѣдны мыслями, лишены созерцанія. Только одно созерцаніе сообщаетъ нѣкоторымъ его одамъ поэтическій колоритъ: это мысль о преходящности всего, о паденіи героевъ, царствъ и народовъ, смываемыхъ съ лица земли волнами всепоглощающаго океана времени. Да, дума Державина объ этомъ предметѣ иногда грустна и полна величія и поэзіи, и нигдѣ не выразилъ онъ ее съ такой полнотой и силой, какъ въ прекрасной «Одѣ на смерть Мещерскаго»:

Ничто отъ роковыхъ когтей,
Никая тварь не убѣгаетъ:
Монархъ и узникъ— снѣдь червей,
Гробницы злость стихій снѣдаетъ;
Зіяетъ время славу сметь.

Digitized by Google

Какъ въ море льются быстры воды,
Такъ въ вѣчность льются дни и годы;
Глотаетъ царства алчна смерть.
Скользимъ мы бездны на краю,
Въ которую стремглавъ свалимся;
Пріемлемъ съ жизнью смерть свою,
На то, чтобъ умереть, родимся;
Безъ жалости все смерть разитъ:
И звѣзды ею сокрушатся,
И солнцы ею потушатся,
И всѣмъ мірамъ она грозитъ.

Тутъ есть поэзія, потому что есть мысль, не изъ головы выскочившая въ одно прекрасное утро, когда хозяинъ этой головы, сидя въ халатѣ, пилъ чай и курилъ трубку, но вышедшая изъ глубоко потрясенной натуры, въ страданіи рожденная изъ судорожно сжавшагося сердца... Особенно яркой характеристикой вѣка дышетъ этотъ куплетъ:

Сынъ роскоши, прохладъ и нѣгъ,
Куда, Мещерскій, ты сокрылся?
Оставилъ ты сей жизни брегъ;
Къ брегамъ ты мертвыхъ удалился:
Здѣсь персть твоя, и духа нѣтъ.
Гдѣ жъ онъ?—онъ тамъ.—Гдѣ тамъ?—не знаемъ.
Мы только плачемъ и взываемъ:
«О горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ!»

XVIII вѣкъ слишкомъ игралъ жизнью, слишкомъ легко смотрѣлъ на нее; роскошь, прохлады и нѣги были его стихіей: потому удивительно ли, что только смерть человѣка, а не причина и слѣдствія ея заставляли призадумываться этихъ вѣтреныхъ, легкомысленныхъ дѣтей XVIII вѣка? На пиру грянулъ громъ—веселые гости смутились; передъ ними бездыханный трупъ «сына роскоши, прохладъ и нѣгъ», слѣдовательно, по ихъ мнѣнію, человѣка, котораго смерть не должна бы посмѣть коснуться... Но и онъ мертвъ—кто же послѣ этого смѣетъ надѣяться на жизнь? эта мысль леденитъ кровь въ ихъ жилахъ, и изъ груди ихъ, сжатой страшнымъ призракомъ смерти, вырывается болѣзненный вопль: «О горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ!» Вотъ трагическая сторона XVIII вѣка, который больше всѣхъ золъ въ мірѣ боялся смерти,—и Державинъ безсознательно, но превосходно выразилъ эту мысль. Однакожъ она у него не вездѣ одинаково хорошо выражена, всегда вертится около самой себя, не двигаясь впередъ, подобно колесцу вентилятора, и оттого утомляетъ читателя однообразнымъ шумомъ своихъ оборотовъ. Кромѣ же этой мысли, я другихъ не знаю у Державина; а согласитесь, что странно представить себѣ поэзію, которая вся вращается на одной, и притомъ лишенной внутренняго движенія, мысли... Что же до его торжественныхъ одъ,—и въ нихъ есть смѣлые обороты, яркіе проблески Державинской поэзіи; но онѣ невообразимо длинны, а это очень невыгодное обстоятельство въ лирической и особенно—«торжественной» поэзіи; при длиннотѣ скука побѣдитъ всякую поэзію; потомъ онѣ преисполнены враждебнаго для поэзіи элемента—риторики, натянуты, неестественны, дурно концепированы, а главное—лишены и тѣни какого бы то ни было содержанія. Притомъ же и событія, подавшія поводъ къ сочиненію этихъ одъ, были особенно важны только для своего времени: наше время совершенно къ нимъ холодно, потому что его интересы стали и пошире, и поглубже, и почеловѣчнѣе. Два стихотворенія Пушкина: «Клеветникамъ Россіи» и «Бородинская годовщина» совершенно уничтожаютъ всѣ многочисленныя торжественныя оды Державина.

Сверхъ «Оды на смерть Мещерскаго» я высоко ставлю еще его «Водопадъ». Въ этой пьесѣ съ особенной выпуклостью и рѣзкостью проявились всѣ достоинства и недостатки поэзіи Державина. Въ ней особенно замѣтенъ этотъ полетъ, составляющій характеристическую черту Державинской поэзіи; глубокая и торжественная дума лежитъ въ ея основаніи; смѣлость и оригинальность образовъ и картинъ доходитъ въ ней часто до высокаго, въ ней—

Стукъ слышенъ млатовъ по вѣтрамъ,
Визгъ пилъ и стонъ мѣховъ подземныхъ
. . . . . .
Утесы и скалы дремали,
Волнистой облака грядой
Тихонько мимо пробѣгали,
Изъ коихъ трепетна, блѣдна,
Проглядывала внизъ луна.

Духъ читателя настроенъ фантастически и ожидаетъ чудесъ—

Внимаетъ завыванье псовъ,
Ревъ вѣтровъ, скрипъ деревъ дебелыхъ,
Стенанье филиновъ и совъ,
И вѣщій гласъ вдали животныхъ,
И тихій шорохъ вкругъ безплотныхъ.
Онъ слышитъ: сокрушилась ель,
Станица врановъ встрепетала,
Кремнистый холмъ далъ страшну щель,
Гора съ богатствами упала;
Грохочетъ эхо по горамъ,
Какъ громъ гремящій по громамъ.

Но особенно люблю я «Водопадъ» за героя, котораго дивная судьба при жизни и дивная смерть среди степи, подъ походнымъ плащомъ, вдохновила Державина. Много величавыхъ образовъ украшаетъ блестящій вѣкъ Екатерины Великой; но Потемкинъ всѣхъ ихъ заслоняетъ въ глазахъ потомства своей колоссальной фигурой. Его и теперь все такъ же не понимаютъ, какъ не понимали тогда: видятъ счастливаго временщика, сына случая, гордаго вельможу,—и не видятъ сына судьбы, великаго человѣка, умомъ завоевавшаго свое безмѣрное счастье, а геніемъ доказавшаго свои права на него. Потемкинъ—это одна изъ тѣхъ титанскихъ натуръ, которыхъ душа вѣч-

Digitized by Google

но пожирается ничѣмъ неудовлетворяемой жаждой дѣятельности,—для которыхъ перестать дѣйствовать—значитъ перестать жить,—которымъ, завоевавъ землю, надо дѣлать высадку на луну или умирать. Колоссальный образъ Потемкина съ ногъ до головы облитъ поэзіей; Державинъ понялъ это,—и «Водопадъ» самая высокая, самая поэтическая пѣснь его. Однакожъ смѣлая концепція этой пѣсни неудачна въ цѣломъ и блеститъ только частностями; все сочиненіе растянуто, лучшія мѣста прерываются риторикой; желаніе сказать какую-нибудь любимую мысль, которая не выходитъ изъ предыдущаго и не вяжется съ послѣдующимъ, привело множество лишнихъ стиховъ только для внѣшней связи; безпрестанно загорающееся огнемъ поэзіи чувство читателя безпрестанно охлаждается водою общихъ риторическихъ мѣстъ; прекрасные стихи смѣняются дурными, счастливые обороты—ничтожными выраженіями,—и въ цѣломъ эта поэма только истомитъ и измучитъ читателя, а не усладитъ его полнымъ, яснымъ восторгомъ...

Я особенно дорожу тѣми одами Державина, въ которыхъ выражена вельможная и барская жизнь на распашку—единственная, хотя и относительно поэтическая жизнь того времени. Поэзія всегда вѣрна исторіи, потому что исторія есть почва поэзіи. Я сказалъ, что вельможество было единственнымъ образованнымъ сословіемъ того времени,—и это не могло не отразиться въ поэзіи Державина, давъ ей хоть и бѣдное, и одностороннее содержаніе. Такія оды его, какъ «къ Первому Сосѣду», «къ Второму Сосѣду», «Гостю»—принадлежатъ къ числу лучшихъ его одъ. Но еще интереснѣе тѣ изъ нихъ, которыя блещутъ картинами русской природы. Его русская осень гораздо лучше весны, а зима весело блеститъ яркой бѣлизной снѣговъ и пушистаго инея... Сѣдая чародѣйка, она машетъ косматымъ рукавомъ, сыпля снѣгъ, морозъ и иней, претворяя воды въ льды; въ поляхъ воютъ голодные волки; олень уходитъ на мшистыя тундры, медвѣдь ложится въ свое логовище... А румяная осень?—

Уже стада толпятся птичьи,
Ковыль сребрится по степямъ,
Шумящи красно-желты листья
Разстлались всюду по тропамъ.
Въ опушкѣ заяцъ быстроногій,
Какъ колпикъ, посѣдѣвъ, лежитъ;
Ловецки раздаются роги,
И выжлятъ лай и гулъ гремитъ;
Запасшися крестьянинъ хлѣбомъ,
Ѣстъ добры щи и пиво пьетъ...

Да, Державинъ сочувствовалъ русской осенней и зимней природѣ,—и это сочувствіе, какъ наслѣдіе, перешло отъ него къ Пушкину. Но что у Пушкина является апоѳеозомъ, то у Державина есть только элементъ, начало чего-то, зерно, еще неразвившееся въ растеніе и цвѣтъ. Великую приноситъ Державину честь, что онъ въ одѣ, гдѣ говорится объ осадѣ Очакова и Потемкинѣ, дерзнулъ, вопреки всѣмъ понятіямъ того времени о благородной и украшенной природѣ въ искусствѣ, говорить о зайцахъ, о голодныхъ волкахъ, о медвѣдяхъ, о русскомъ мужикѣ и его добрыхъ щахъ и пивѣ, дерзнулъ назвать зиму сѣдой чародѣйкой, которая машетъ косматымъ рукавомъ: это показываетъ, что онъ одаренъ былъ сильными и самостоятельными элементами поэзіи, которымъ однакожъ нельзя было развиться во что-нибудь опредѣленное и суждено было остаться только элементами, по отсутствію содержанія, еще невыработаннаго общественной жизнью, по неимѣнію литературнаго, поэтическаго разговорнаго и всякаго языка, и по кривымъ понятіямъ объ искусствѣ—не только у насъ, но и въ самой Европѣ, гдѣ XVIII вѣкъ вообще былъ неблагопріятенъ поэзіи. Конечно во всемъ этомъ Державинъ нисколько не виноватъ, я и не виню его: говорю только, что ему можно удивляться, его должно изучать, но что нѣтъ никакой возможности читать его для наслажденія поэзіей, и что его произведенія, будучи важнымъ фактомъ для эстетики, теперь составляютъ въ сферѣ поэзіи совершенно мертвый капиталъ. Возьмемъ даже его оду «Осень во время осады Очакова», тѣ самыя прекрасныя картины осени и зимы, о которыхъ я сейчасъ говорилъ. Онѣ преисполнены самыхъ прозаическихъ обмолвокъ или блестокъ «облагороженной и украшенной природы»: послѣ щей и пива у него крестьянинъ, подобно какому-нибудь менестрелю, «поетъ блаженство своихъ дней»; отъ хладнаго дыханія зимы «цѣпенѣетъ взоръ природы, небесный Марсъ оставляетъ громы и ложится отдыхать въ туманы, сельскія Нимфы» (т. е. деревенскія дѣвки въ лаптяхъ, если не босикомъ) перестаютъ пѣть въ хороводахъ... Я ужъ не говорю о томъ, что въ этой одѣ нѣтъ ни единства мысли, ни единства ощущенія; что она не составляетъ ничего общаго, переполнена риторикой, богата дурными стихами, неточными выраженіями, на которыхъ безпрестанно спотыкается встревоженное чувство: эта общая и необходимая принадлежность, существенное качество каждаго стихотворенія Державина. И насъ хотятъ заставить читать его для услажденія себя поэзіей!.. Поэзія есть искусство, художество, изящная форма истинныхъ идей и вѣрныхъ (а не фальшивыхъ) ощущеній: поэтому часто одно слово, одно неточное выраженіе

Digitized by Google

портить все поэтическое произведеніе, разрушая цѣлость впечатлѣнія. Я въ дѣтствѣ зналъ Державина наизусть, и мнѣ трудно было изъ міра его напряженно-торжественной поэзіи, бѣдной содержаніемъ, лишенной всякой художественности, всякой виртуозности, перейти въ міръ поэзіи Пушкина; столь свѣтлой, ясной, прозрачной, опредѣленной, возвышенно-свободной, безъ напряженности, полной содержанія, и потому вызывающей изъ души читателя всѣ чувства, даже такія, которыхъ возможности онъ и не подозрѣвалъ въ себѣ, заставляющей вглядываться и вдумываться въ природу, въ жизнь и во внутреннее, тайное святилище собственной души,—наконецъ поэзіи столь гармонической и художественной. Для моего дѣтскаго воображенія, поставленнаго Державинской поэзіей на ходули, поэзія Пушкина казалась слишкомъ простой, слишкомъ кроткой и лишенной всякаго полета, всякой возвышенности... Переходъ отъ Державина къ Жуковскому для меня былъ очень легокъ: я тотчасъ же очаровался этимъ мистическимъ міромъ внутренней, задушевной поэзіи, любилъ ее исключительно; но Державинъ все-таки оставался, въ моемъ понятіи, идеаломъ истиннаго поэта. Только постепенное духовное развитіе въ лонѣ Пушкинской поэзіи могло оторвать меня отъ глубоко вкоренившихся впечатлѣній дѣтства и довести до сознанія тайны, сущности и значенія истинной поэзіи. И эта сила дѣтскихъ впечатлѣній имѣетъ свою причину въ богатствѣ и могуществѣ поэтическихъ элементовъ, какими одаренъ былъ отъ природы Державинъ. Родись этотъ человѣкъ въ благопріятное для поэзіи время, — можетъ-быть онъ былъ бы великимъ поэтомъ и вѣкамъ завѣщалъ бы свои могучія и полетистыя вдохновенія; но судьба велѣла ему быть первой ступенью рождающейся въ народѣ поэзіи,—и вотъ едва прошло двадцать пять лѣтъ послѣ его смерти, а его ужъ никто не читаетъ, и только безотчетно, на вѣру и по преданіямъ, восторгаются имъ... Повторяю: я поставилъ бы долгомъ и обязанностью всякому юношѣ не только прочесть — даже изучить Державина, какъ великій фактъ въ исторіи русской литературы, языка и эстетическаго образованія общества, но никому не возьмусь совѣтовать читать Державина для эстетическаго наслажденія: я знаю напередъ, что мой совѣтъ пропалъ бы втунѣ послѣ первой прочитанной оды или послѣ первыхъ стиховъ ея. Воля ваша, я также не умѣю представить женщину съ Державинымъ въ рукахъ, какъ Пушкинъ не умѣлъ ее представить себѣ съ «Благонамѣреннымъ» въ рукахъ. Знаю, что со мной многіе согласятся, но съ насмѣшливой улыбкой, которая будетъ не очень любезна въ отношеніи къ дамамъ; но, право, пора бы намъ оставить этотъ мусульманскій взглядъ на женщину, и въ справедливомъ смиреніи сознаться, что наши женщины едва ли не умнѣе нашихъ мужчинъ, хоть эти господа и превосходятъ ихъ въ учености. Кто первый, вопреки школьнымъ предразсудкамъ, живымъ, непосредственнымъ чувствомъ оцѣнилъ поэзію Жуковскаго?—женщины. Пока наши романтики подводили поэзію Пушкина подъ новую теорію и отстаивали ее отъ незаслуживавшихъ вниманія педантовъ-классиковъ,— женщины наши уже заучили наизусть стихи Пушкина. Мнѣніе, что женщина годна только рождать и нянчить дѣтей, варить мужу щи и кашу, или плясать и сплетничать, да почитывать легонькіе пустячки — это истинно киргизъ-кайсацкое мнѣніе! Женщина имѣетъ равныя права и равное участіе съ мужчиной въ дарахъ высшей духовной жизни — и если она во всѣхъ отношеніяхъ стоитъ ниже его на лѣстницѣ нравственнаго развитія, — этому причиной не ея натура, а злоупотребленіе грубой матеріальной силы мужчины, полуварварское, немного восточное устройство общества и сахарное, аркадское воспитаніе, которое дается женщинѣ... Но вѣкъ идетъ, идеи движутся, и варварство начинаетъ колебаться: женщина уже сознаетъ свои права человѣческія и блистательными подвигами доказываетъ гордому мужчинѣ, что и она такъ же дочь неба, какъ и онъ сынъ неба... Кому неизвѣстны имена Бетины и Рахели, которыхъ глубокія натуры отъ всякаго прикосновенія къ нимъ жизни издавали изъ себя электрическія искры откровенія тайнъ духа? Кому неизвѣстно имя геніальной Жоржъ Зандъ? Недавно въ Англіи вышла книга миссъ Джемсонъ—«Характеры Шекспировскихъ Женщинъ», изумившая ученую и философскую Германію силой и глубиной анализа сокровенной души женщины, вѣрнымъ и мощнымъ постиженіемъ величайшаго поэта въ мірѣ, вдохновеннымъ поэтическимъ и въ то же время полнымъ мысли и опредѣлительности изложеніемъ. Недавно вышла въ Германіи книга «Миѳологія грековъ и римлянъ» — плодъ глубочайшаго изученія древности, книга столь же глубоко философская, сколько и высоко поэтическая: авторъ этой книги—женщина, Тинетта Гомбергъ... У насъ еще такъ недавно начали появляться истинно ученые мужчины — слѣдовательно намъ еще рано думать о своихъ Джемсонъ и Гомбергъ; но и наша литература можетъ по справедливости гордиться многими женскими именами (если она ужъ гордится столь многими

Digitized by Google

мужскими), изъ которыхъ особенно замѣчательны: графиня Сара Толстая и неизвѣстная дама, авторъ многихъ превосходныхъ повѣстей, подписывающаяся Зенеидой Р—вой. Итакъ, если женщины понимаютъ глубоко Шекспира и Гомера, то я, право, не вижу, почему бы онѣ не могли понимать Державина... А между тѣмъ онѣ точно его не понимаютъ и никогда не будутъ читать, особенно видя, что и мужчины давно уже отказались отъ этого удовольствія...

Б.—Я понимаю вашъ взглядъ на Державина, и каковъ онъ бы ни былъ въ самомъ дѣлѣ, но я увѣренъ, что во многомъ не могутъ не согласиться съ вами самые ожесточенные поклонники старины. Но послѣ такого взгляда на Державина, я уже боюсь предложить вамъ Фонвизина.

А.—Напрасно: этому писателю я не только всегда дамъ почетное мѣсто на полкѣ моего небогатаго русскими книгами шкафа, но и не откажусь подчасъ и перелистовать и перечесть его, сколько для историческаго изученія, столько и для удовольствія. Вмѣстѣ съ Державинымъ Фонвизинъ есть полное выраженіе екатерининскаго времени. Смѣшно, когда хотятъ дѣлать изъ него поэта и комика; но, какъ писатель, онъ безцѣненъ. Что бы вы ни читали въ немъ, — комедіи ли его, забавное ли и злое посланіе его къ Шумилову, письма-ли изъ-за границы, исповѣдь-ли, вопросы-ли—вездѣ видите умнаго и остраго человѣка, тонкаго наблюдателя, живую исторію своего времени. Онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, которые, имѣя значеніе въ своей литературѣ, не совсѣмъ бы утратили его и въ переводѣ на иностранныхъ языкахъ. Что до его поэзіи, онъ невиненъ въ ней. Въ комедіяхъ его нѣтъ ничего идеальнаго, а слѣдовательно и творческаго: характеры дураковъ въ нихъ — вѣрные и ловкіе списки съ карикатуры тогдашней дѣйствительности; характеры умныхъ и добродѣтельныхъ—риторическія сентенціи, образы безъ лицъ; юморъ его комедій довольно легокъ и мелокъ: онъ ищетъ больше смѣшного и карикатурнаго, чѣмъ комическаго и характернаго. Но при всемъ томъ «Недоросль» и «Бригадиръ», уже согнанные съ театра, никогда не будутъ изгнаны ни изъ исторіи русской литературы, ни изъ библіотекъ порядочныхъ людей. Не будучи комедіями въ художественномъ значеніи, онѣ—прекрасныя произведенія беллетристической литературы, драгоцѣнныя лѣтописи общественности того времени. «Дворянскіе выборы» были сколкомъ съ комедій Фонвизина и въ достоинствахъ, и недостаткахъ, но скалывать и изобрѣтать—двѣ вещи разныя: притомъ же все хорошо въ свое время, — и честь, и слава уму и таланту Фонвизина, что онъ угадалъ, что̀ можно и что̀ нужно было въ его время...

Б.—Вотъ мы съ вами и переговорили о цѣломъ періодѣ русской литературы. Конечно надо согласиться, что немного потратимъ времени на прочтеніе всего, что̀ произвелъ этотъ періодъ.

А.—Слѣдующій будетъ несравненно богаче; только необходимо надо строго опредѣлять степень этого богатства, относительную или безусловную цѣнность частностей, изъ которыхъ состоитъ его цѣнность. А то— чего добраго! — вообразимъ себя такими богачами, что, положась конечно на большое и уже прожитое богатство, и не увидимъ, какъ придется по міру идти.

Б.—Интересно мнѣ, что̀ вы скажете о Карамзинѣ и Дмитріевѣ, начавшихъ собою второй періодъ нашей литературы. Вѣроятно ихъ еще можно читать и перечитывать?...

А.—Прежде всего надо замѣтить, что Карамзинъ не ровня Дмитріеву. Дмитріевъ написалъ очень небольшую книгу стиховъ, и надо, чтобъ въ стихахъ такой книги было слишкомъ много поэзіи, чтобъ ее читали въ нашѣ время... Но ея не читаютъ уже лѣтъ двадцать, а въ наше время немногіе даже знакомы съ нею, и то не лично, а по слухамъ, по рекомендаціи учителей словесности и по литературнымъ адресъ-календарямъ, извѣстнымъ подъ названіемъ «исторіи русской литературы»... И Дмитріевъ въ самомъ дѣлѣ — примѣчательное лицо въ исторіи русской литературы. Я очень любилъ его въ дѣтствѣ, и отъ души благодаренъ ему за пользу и удовольствіе, которыя принесли мнѣ его стихотворенія въ мои дѣтскіе годы. Впрочемъ басни и сказки Дмитріева и теперь еще могутъ доставлять дѣтямъ пользу и удовольствіе; если же будутъ для нихъ вредны, то развѣ со стороны своей негармонической и непоэтической версификаціи; но его оды и пѣсни теперь не годятся ни для дѣтей, ни для стариковъ — ихъ время давно прошло! А въ свое время онѣ были прекрасны, распространяли въ обществѣ охоту къ чтенію, пріучали публику къ благороднымъ наслажденіямъ ума, доставляли ей возвышенное удовольствіе. Но это все-таки не мѣшало Дмитріеву не быть поэтомъ, не имѣть ни фантазіи, ни чувства: онѣ замѣнялись у него умомъ и ловкостью. Русская версификація въ стихахъ Дмитріева сдѣлала значительный шагъ впередъ: въ свое время они считались чрезвычайно гладкими и гармоническими. Вообще стихи Дмитріева гораздо лучше стиховъ Карамзина. Дмитріева можно назвать со-

Digitized by Google

трудникомъ и помощникомъ Карамзина въ дѣлѣ преобразованія русскаго языка и русской литературы: что Карамзинъ дѣлалъ въ отношеніи къ прозѣ, то Дмитріевъ дѣлалъ въ отношеніи къ стихотворству. Но проза тогда была важнѣе стиховъ, и потому заслуги Карамзина уничтожаютъ собой заслугу Дмитріева: между ними нѣтъ ни сравненія, ни параллели въ этомъ отношеніи. Карамзинъ первый родилъ въ обществѣ потребность чтенія, размножилъ читателей во всѣхъ классахъ общества, создалъ русскую публику; съ него перваго должно полагать начало русской литературы не какъ школьнаго, «ученаго» занятія, но какъ предмета живого интереса со стороны общества. Правда, этотъ живой интересъ былъ еще довольно апатиченъ, а ограниченное число читателей не могло назваться публикой; но что же и теперь у насъ за публика? а между тѣмъ теперешняя публика и огромна, и образована въ сравненіи съ той публикой; безъ той публики не было бы и теперешней. Поэтому дѣло Карамзина—великій подвигъ, вполнѣ достойный того, чтобъ наше время обезсмертило его монументомъ. Карамзинъ явился преобразователемъ языка и стилистики. Въ обществѣ бродили уже новыя идеи, для выраженія которыхъ не доставало въ русскомъ языкѣ ни словъ, ни оборотовъ. Карамзинъ узегитимировалъ своимъ талантомъ употребленіе вошедшихъ и входившихъ въ русскій языкъ словъ и ввелъ совершенно новыя не только иностранныя, но и русскія слова, какъ напримѣръ «промышленность». Карамзина обвиняютъ въ растлѣніи чужестранными словами и оборотами, преимущественно галлицизмами, дѣвственности русскаго языка. Но эти люди забываютъ, что тогда не было никакого русскаго языка, и что латиносла вянская проза Ломоносова и Хераскова гораздо меньше была русскимъ языкомъ, чѣмъ проза не только Карамзина, но и самыхъ неловкихъ его подражателей, отчаянныхъ галломановъ. Карамзинъ началъ писать языкомъ общества, тѣмъ самымъ, которымъ всѣ говорили; но, разумѣется, идеализировавъ его, потому что письменный языкъ—искусственный, какъ бы ни былъ онъ естественъ, простъ, живъ и свободенъ. Карамзинъ явился въ самое время съ своей реформой: тогда всѣ чувствовали ея необходимость, — большинство безсознательно, избранники сознательно: доказательствомъ перваго служитъ общій восторгъ, съ какимъ были приняты первые опыты Карамзина; а доказательствомъ второго можетъ служить Макаровъ, современникъ Карамзина, талантливый литераторъ, въ одно время съ Карамзинымъ и совершенно независимо отъ него писавшій такой же прекрасной прозой. Не смотря на то, что духъ времени былъ за Карамзина, знаменитому реформатору нужна была большая сила характера или большая разсчетливость, чтобъ не смущаться толками и воплями литературныхъ старовѣровъ. Въ самомъ дѣлѣ, потребна была большая рѣшимость, чтобъ изъ міра натянутой эпопеи, вродѣ «Кадма и Гармоніи», ниспуститься въ міръ любви и горестей какой-нибудь «Бѣдной Лизы», которая не имѣла чести быть даже простой дворянкой. Въ лицѣ Карамзина русская литература въ первый разъ сошла на землю съ ходуль, на которыя поставилъ ее Ломоносовъ. Конечно въ «Бѣдной Лизѣ» и другихъ чувствительныхъ повѣстяхъ не было ни слѣда, ни признака обще-человѣческихъ интересовъ; но въ нихъ есть интересы просто человѣческіе—интересы сердца и души. Въ повѣстяхъ Карамзина русская публика въ первый разъ увидѣла на русскомъ языкѣ имена любви, дружбы, радости, разлуки, и пр. не какъ пустыя, отвлеченныя понятія и риторическія фигуры, но какъ слова, находящія себѣ отзывъ въ душѣ читателя. Такъ какъ это было въ первый разъ, всѣ эти чувства, нѣжныя до слабости, умѣренныя до блѣдной безцвѣтности, сладкія до приторности, были приняты за глубокое проникновеніе въ духовную натуру человѣка. Карамзинъ засталъ XVIII вѣкъ на его исходѣ, и взялъ отъ него только пастушескую сладость чувствъ, мадригальную силу страстей. И хорошо, что это случилось такъ, а не иначе: еслибы его сочиненія были выраженіемъ болѣе глубокаго содержанія или хоть какого-нибудь содержанія—они плодотворно дѣйствовали бы на немногія благодатныя натуры; масса не замѣтила бы ихъ, и Карамзинъ не создалъ бы публики, не приготовилъ бы возможность существованія русской литературы. Чувство и чувствительность—не одно и то же: можно быть чувствительнымъ, не имѣя чувства; но нельзя не быть чувствительнымъ, будучи человѣкомъ съ чувствомъ. Чувствительность ниже чувства, потому что она болѣе зависитъ отъ организаціи, тогда какъ чувство болѣе относится къ духу. Чувствительность раздражительная, нѣжная, слезливая, приторная есть признакъ или слабой и мелкой, или разсѣянной натуры: такая чувствительность очень хорошо выражается словомъ «сантиментальность». Однакожъ, будучи не совсѣмъ завиднымъ качествомъ, и сантиментальность лучше одеревенѣлаго состоянія въ грубой корѣ животной естественности,—и потому въ массѣ тогдашняго общества прежде всего должно было пробудить сантимен-

Digitized by Google

тальность, какъ первый выходъ изъ одеревенѣлости. Европейская сантиментальность, составлявшая одну изъ заднихъ сторонъ XVIII вѣка и привитая Карамзинымъ къ русской литературѣ, была снягчающимъ средствомъ для современнаго ему общества, мало знакомаго съ грамотой. Многіе нападаютъ на жидкость содержанія въ «Письмахъ Русскаго Путешественника»: я такъ не вижу въ нихъ ровно никакого содержанія, и по тому самому уважаю ихъ. Еслибы Карамзинъ сдѣлалъ изъ нихъ вѣрную картину нравственнаго состоянія Европы въ то время, а не знакомилъ бы съ однѣми внѣшностями европейской цивилизаціи и дорожными случайностями,—его путешествіе почти ни на кого не подѣйствовало бы. Карамзинъ въ своихъ письмахъ вездѣ обнаруживаетъ симпатію къ реформѣ Петра и антипатію къ длиннобородой старинѣ: чувство вѣрное, но мотивы его не довольно глубоки. Для Карамзина европеизмъ состоялъ въ однихъ удобствахъ образованной жизни; больше онъ ничего не предвидѣлъ въ этомъ величайшемъ вопросѣ, въ которомъ заключается вся судьба человѣчества. Но потому-то путешествіе Карамзина и было такъ понятно для публики, такъ восхитило ее и произвело такое сильное и такое благодѣтельное вліяніе на образъ мыслей тогдашняго общества. Вотъ, по моему мнѣнію, какъ должно смотрѣть на Карамзина. Едва ли кто больше его принесъ пользы русской литературѣ (замѣтьте: не поэзіи, не искусству, не наукѣ,—а литературѣ) и едва ли кто менѣе можетъ быть читаемъ въ наше время, какъ онъ. Державина нельзя читать, но—должно изучать: о сочиненіяхъ Карамзина нельзя сказать и этого. Чуждыя всякаго содержанія, они не могутъ быть переведены ни на какой европейскій языкъ: что бы нашла въ нихъ Европа, изъ чего бы поняла она въ нихъ, что онъ—великій писатель?.. Чуждыя нашему времени по формѣ, т. е. по самому языку своему, составляющему торжество классной стилистики,—кѣмъ они будутъ читаться въ наше время, если не людьми, для которыхъ «Бѣдная Лиза» можетъ быть первой прочитанной ими повѣстью? Между тѣмъ безъ Карамзина исторія нашей литературы не имѣетъ смысла; имя его велико, заслуги безсмертны, но творенія его, какъ важныя и необходимыя только для современной ему эпохи, дошедъ до своей апогеи, обвитыя лаврами побѣды, безмолвно и безтревожно покоятся теперь въ своей лучезарной славѣ...

Б.—Но вы говорите только о мелкихъ трудахъ Карамзина; а вѣдь онъ написалъ «Исторію Государства Россійскаго»...

А.—Не написалъ, а только хотѣлъ написать, но не успѣлъ кончить и предисловія. Государство Россійское началось съ творца его Петра Великаго, до появленія котораго оно было младенецъ, хотя и младенецъ-Алкидъ, душившій змѣя въ колыбели; но кто же пишетъ исторію младенца! О младенчествѣ великаго человѣка упоминается, и то мимоходомъ, только въ предисловіи или введеніи въ его исторію. Содержаніе исторіи составляетъ таинственная психея народа, дающая чувствовать свое животворное присутствіе во внѣшнихъ событіяхъ; но событія сами по себѣ еще не составляютъ исторіи, какъ бы красно ни были они разсказаны. Педанты нападали на Карамзина за промахи противъ лѣтописей, за мелочныя ошибки въ фактахъ: нелѣпое обвиненіе! Умъ цѣпенѣетъ передъ огромностью подвига, совершеннаго Карамзинымъ: онъ писалъ исторію, онъ же и разрабатывалъ рѣшительно-нетронутые матеріалы для нея. Что было сдѣлано до него по части исторической критики документовъ?—Ничего. Шлецеръ и другіе были заняты преимущественно вопросомъ о происхожденіи Руси, который и теперь еще не рѣшенъ. Даже текстъ Нестора и теперь еще не возстановленъ и не очищенъ; что сдѣлалъ для него Шлецеръ, тѣмъ и теперь еще пробавляются наши «ученые». Итакъ, Карамзинъ работалъ за десятерыхъ,—и его примѣчанія къ «Исторіи Государства Россійскаго» едва ли еще не драгоцѣннѣе самаго текста... И при такомъ трудѣ нападать на мелкія фактическія ошибки! Не въ нихъ, а въ идеѣ все дѣло; и вотъ съ этой-то стороны еще никто и не взглянулъ на великое твореніе Карамзина. Правда, нѣкоторые очень основательно упрекали Карамзина, что онъ былъ незнакомъ съ идеями Гизо, Тьерри, Баранта и другихъ, послѣ него явившихся, историковъ; но я, право, не вижу никакого отношенія русской исторіи къ исторіи образованія европейскихъ государствъ. У насъ даже написано по этимъ идеямъ начало «Исторіи Русскаго Народа»; но уже самое заглавіе этой исторіи или заглавіе начала этой исторіи показываетъ ея внутреннее достоинство, равно какъ и то, какъ далеко обогнала она въ идеяхъ исторію Карамзина: тамъ государство, которое только готовилось быть, но котораго еще не было; а тутъ народъ, который не сознавалъ еще своего существованія. Изъ баснословнаго періода Руси Карамзинъ сдѣлалъ эпическую поэму въ духѣ XVIII вѣка, и то, чего не достало бы на десять страничекъ, растянулъ на томы. Уставши отъ безплоднаго описанія періода междоусобій и ужасовъ татарщины, онъ думалъ отдохнуть, принимаясь за 6-й томъ. «От-

Digitized by Google

селѣ—говоритъ онъ—исторія наша пріемлетъ достоинство истинно государственной»; но кому, даже и прежде Карамзина, не только послѣ него, не было извѣстно, что слова «патріархальность» и «государственность» не одно и то же? Что же касается до насъ, живущихъ послѣ Карамзина,—мы читали на этотъ счетъ превосходное политическое сочиненіе подъячаго XVII вѣка, Кошихина, и потому уже не можемъ довольствоваться понятіемъ Карамзина о «государственности». Нечего уже говорить о томъ, что Карамзинъ невѣрно смотрѣлъ на Грознаго и на другія историческія лица. Но если наше время все это можетъ понимать вѣрнѣе Карамзина, этимъ оно обязано все-таки Карамзину же, потому что безъ его исторіи мы не имѣли бы никакихъ данныхъ для сужденій. До сихъ поръ ни одна попытка написать исторію Россіи не только не помрачила великаго творенія Карамзина, но даже и не заслужила чести быть упоминаемой при немъ... И мы до тѣхъ поръ не будемъ имѣть настоящей исторіи Россіи, пока исторія Карамзина не перестанетъ быть читаемой, а ее еще долго-долго будутъ читать... Что же касается до меня собственно,—я прочелъ уже ее, и даже не одинъ разъ: и потому теперь она не можетъ увеличить моей «библіотеки для чтенія» (не для справокъ), т. е. того, что я называю литературой и отвѣтомъ на вопросъ: «Да гдѣ же онѣ? давайте ихъ?»

Б.—Я вамъ упомянулъ бы о Крыловѣ; но вѣдь вы и его читали...

А.—И никогда не перестану читать. Собраніе его басенъ есть капитальная книга русской литературы. Это нашъ единственный баснописецъ: по крайней мѣрѣ другихъ я не знаю, да и знать не хочу, что́ бы мнѣ ни говорили о Хемницерѣ и Дмитріевѣ... Достоинство басенъ Крылова безусловно и не зависитъ ни отъ времени, ни отъ моды. Число читателей на Руси прогрессивно умножается и будетъ умножаться годъ отъ году, въ безконечность. Мѣсто, которое онъ долженъ занимать между другими нашими поэтами, должно быть опредѣлено вопросомъ: какое мѣсто занимаетъ басня въ кругу прочихъ родовъ поэзіи? Рѣшеніе этого вопроса очень не трудно въ наше время...

Б.—Озеровъ...

А.—Очень примѣчательное лицо въ исторіи русской литературы. Я люблю его особенно за то, что онъ своими трагедіями такъ ясно и опредѣлительно рѣшилъ вопросъ о псевдо-классической драмѣ... Благодаря ему, теперь нечего и спорить объ этомъ предметѣ: не дѣлайте возраженій, а только попросите прочесть или посмотрѣть на театрѣ «Эдипа въ Аѳинахъ», «Фингала» или «Поликсену» (о «Донскомъ» уже никто не будетъ говорить—все равно, какъ о «Хоревѣ»)... Родъ драмы, въ которомъ упражнялся Озеровъ, уже самъ по себѣ есть отрицаніе всякой поэзіи, натянутость, неестественность и скука... Но если трагедіи Озерова будете разсматривать и относительно,—то и тогда увидите въ нихъ конечно большой успѣхъ, но только успѣхъ вкуса и языка, а не поэзіи, не искусства, и притомъ успѣхъ только сравнительно съ трагедіями Сумарокова и Княжнина. Въ трегедіяхъ Озерова нѣтъ глубокаго чувства, и вообще въ нихъ больше чувствительности, чѣмъ какого-нибудь чувства, а паѳосъ замѣненъ или раздражительностью, или высокопарностью. Озеровъ по преимуществу принадлежитъ къ Карамзинской школѣ: онъ усвоилъ себѣ всѣ ея элементы—и расплывающуюся, слезливую раздражительность чувствительности, и искусственную красоту стилистики. Къ этому должно присовокупить еще риторическую восторженность, занятую имъ у его французскихъ образцовъ. Впрочемъ Карамзинская школа, въ лицѣ Озерова, сдѣлала большой шагъ впередъ: въ чувствительности Озерова больше силы, упругости и жизни; это что-то среднее между чувствительностью и чувствомъ, какъ бы переходъ отъ чувствительности къ чувству. Вообще громкая слава и восторгъ современниковъ были справедливой, вполнѣ заслуженной данью дарованіямъ Озерова, и исторія русской литературы всегда дастъ ему почетное мѣсто на своихъ страницахъ, хоть его никто уже и не читаетъ, и не будетъ читать, кромѣ людей, исторически изучающихъ литературу: для нихъ Озеровъ всегда останется интереснымъ явленіемъ.

Б.—Ваше мнѣніе объ Озеровѣ ново и оригинально,—и я думаю...

А.—Напротивъ, мое мнѣніе объ Озеровѣ и не ново, и не оригинально: всѣ такъ думаютъ о немъ, но не всѣ такъ говорятъ. Въ нашей критикѣ, и особенно въ нашихъ учебникахъ, замѣтно владычество общихъ мѣстъ, литературное низкопоклонство живымъ и мертвымъ, лицемѣрство въ сужденіяхъ. Думаютъ и знаютъ одно,—а говорятъ другое. Иной господинъ ни разу не прочелъ напримѣръ Ломоносова и помнитъ изъ него развѣ знаменитую строфу: «науки юношей питаютъ», которую невольно заучилъ въ дѣтствѣ, а начнетъ писать о Ломоносовѣ—такъ и посыплются у него слова: «русскій Пиндаръ, высокое парѳніе, торжественность, сила» и пр., и пр. Такъ повторяются у насъ до сихъ поръ пустыя фразы и о Державинѣ: «потокомъ Ба-

Digitized by Google

грима, сѣверный бардъ, пѣвецъ Фелицы, алмазы, яхонты, сапфиры» и т. п. Впрочемъ, если наша публика, вмѣсто критики, часто читаетъ или похвальныя слова, или плоскую брань,—въ этомъ отчасти она сама виновата: скажите хоть слово противъ «знаменитаго» писателя, котораго впрочемъ вы сами высоко цѣните, — тотчасъ: «Ахъ, какое неуваженіе! помилуйте; оно, конечно, правда, но какъ это можно, и къ чему это?...» У насъ ужъ такъ привыкли смотрѣть на критику: коли хвалить, такъ хвали; коли бранить, такъ только держись! Тутъ, поневолѣ, иной разъ припомнишь стихъ Крылова: «Да, спрашивай ты толку у звѣрей»... Главная причина этому — дѣтскость образованія; никто не хочетъ мыслить, а всѣ только хотятъ читать. Требуютъ, чтобъ критикъ не опредѣлилъ достоинство писателя, а расхвалилъ или разбранилъ его, и если статья состоитъ не изъ однѣхъ похвалъ, если авторъ не превозносится въ ней безусловно, говорятъ: «разругали»... Многимъ вы никакъ не растолкуете, что отъ противоположности сужденій объ авторѣ авторъ не дѣлается другимъ, все остается тѣмъ же, чѣмъ есть на самомъ дѣлѣ; но что только изъ противоположности сужденій возможенъ выводъ правильнаго и истиннаго сужденія объ авторѣ. Современники смотрятъ на автора такъ—потомки иначе: это еще не всегда значитъ, чтобъ они противорѣчили другъ другу; но часто значитъ только, что современники видѣли и цѣнили въ авторѣ одну сторону, исключительно удовлетворявшую требованіямъ ихъ времени; а потомки, преисполненные новыхъ потребностей, сообразно съ духомъ ихъ времени, холодны и равнодушны къ сторонѣ автора, восхищавшей его современниковъ. Но эта холодность, это равнодушіе нисколько не уничтожаютъ заслугъ автора и его историческаго достоинства: его не будутъ читать, но всегда будутъ чествовать его имя, какъ представителя эпохи, какъ лицо историческое. На что-жъ тутъ сердиться и чѣмъ обижаться? Дѣтство и дѣтство—больше ничего! А право, пора бы уже перестать играть въ литературу, пора бы смотрѣть на нее посерьезнѣе... Конечно тогда многіе «безсмертные» совсѣмъ умрутъ, великіе сдѣлаются только знаменитыми или замѣчательными, знаменитые—ничтожными: много сокровищъ обратится въ хламъ; но зато истинно прекрасное вступитъ въ свои права, а пересыпанье изъ пустого въ порожнее риторическими фразами и общими мѣстами — занятіе конечно безвредное и невинное, но пустое и пошлое—замѣнится сужденіемъ и мышленіемъ... Но для этого необходима терпимость къ мнѣніямъ, необходимъ просторъ для убѣжденій. Всякій судитъ, какъ можетъ и какъ умѣетъ; ошибка—не преступленіе, и несправедливое мнѣніе—не обида автору. Дѣло въ томъ, чтобъ мнѣніе было искренно и независимо отъ внѣшнихъ разсчетовъ, касалось не лицъ, а только ихъ сочиненій. Грустно подумать, что все, мною теперь сказанное, старо только въ книгахъ, а на дѣлѣ очень и очень ново, такъ что долго еще будетъ повторяться съ разными варьяціями. Правда, у насъ всѣ, и говорящіе, и пишущіе, потворяютъ это, но какъ общія мѣста, неимѣющія никакого отношенія къ дѣлу,—и только коснитесь авторитета умершаго автора—шумъ и толки: «да что! да какъ! да помилуйте!»; а о живомъ и не заикайтесь... Можетъ быть онъ и самъ не увидитъ ничего оскорбительнаго для себя въ нашемъ отзывѣ; но у него есть толпа почитателей, а толпа—всегда толпа: она не говоритъ, а кричитъ, не доказываетъ, а вопіетъ...

Б.—Все это правда; но я думаю, что тутъ надо винить не публику, а критиковъ, которые или не могутъ, или не смѣютъ «свое сужденіе имѣть» и отдѣлываются повтореніемъ фразъ, уже около ста лѣтъ всѣмъ надоѣдающихъ... Но вѣдь мы съ вами говоримъ, а не пишемъ, такъ почему же вамъ не сказать, а мнѣ не послушать искренняго и—каково бы оно ни было — своего, а не чужого мнѣнія напримѣръ о Жуковскомъ и Батюшковѣ?...

А.—Вы не напрасно соединили эти два имени. Почти въ одно время явились они, какъ двѣ яркія звѣзды, на горизонтѣ нашей литературы, и дружно совершали по немъ свое, полное тихаго свѣта, шествіе, пока горестная судьба не остановила одну изъ нихъ на полу-дорогѣ и не велѣла другой продолжать уже одинокій путь по новымъ и чуждымъ для него пространствамъ, при ослѣпительномъ свѣтѣ вновь взошедшаго солнца... Жуковскій и Батюшковъ—оба поэта и оба прозаики: оба они двинули впередъ и версификацію, и прозу русскую. Проза ихъ богаче содержаніемъ прозы Карамзина, а оттого кажется лучше и по формѣ своей, которая въ сущности не болѣе, какъ усовершенствованная стилистика Карамзина, чуждая своеобразнаго, національнаго колорита, и больше искусственная и щеголеватая, чѣмъ живая и сросшаяся съ своимъ содержаніемъ, какъ напримѣръ проза Пушкина и другихъ даровитыхъ писателей послѣдняго времени. Ученики побѣдили учителя: проза Жуковскаго и Батюшкова единодушно была признана «образцовой», и всѣ силились подражать ей... Въ наше время уже никому не придетъ въ голову потратить столько тру-

Digitized by Google

да, хлопотъ, времени, искусства и прекрасной прозы на повѣсть вродѣ «Марьиной Рощи», или «Предславы и Добрыни», и еслибы кто написалъ ихъ въ наше время, никто бы не сталъ читать... Это оттого, что въ наше время не дорожатъ однимъ языкомъ, а требуютъ «слога», разумѣя подъ этимъ словомъ живую, органическую соотвѣтственность формы съ содержаніемъ, и наоборотъ, умѣнье выразить мысль тѣмъ словомъ, тѣмъ оборотомъ, какіе требуются сущностью самой мысли, для которой всякое другое слово и другой оборотъ были бы неопредѣленны и неясны. Тогда «стилистика» годилась не для однихъ этюдовъ, но считалась искусствомъ, а этюды были не исключительнымъ упражненіемъ учениковъ, но и дѣломъ мастеровъ... Это очень естественно: чтобъ выучиться писать, надо сперва овладѣть формой; грамматика всегда предшествуетъ логикѣ. Наша литература была до Пушкина ученицей, особенно въ прозѣ: вотъ причина исключительнаго владычества стилистики, убитой Пушкинымъ и уступившей свое мѣсто «слогу». Со стороны поэзіи заслуги Жуковскаго и Батюшкова были несравненно выше и дѣйствительнѣе, чѣмъ со стороны прозы. Но здѣсь оба поэта совершенно расходятся и въ направленіи, и въ сущности, и въ результатахъ своей поэтической дѣятельности: Жуковскаго нельзя назвать «поэтомъ» въ смыслѣ свободной, творческой натуры, которая въ разнообразныхъ и роскошныхъ художественныхъ созданіяхъ исчерпываетъ самобытную, ей собственно сродную и принадлежащую сферу міросозерцанія. Оригинальныхъ произведеній Жуковскаго немного, да и тѣ нейдутъ ни въ какое сравненіе съ его же собственными переводами изъ нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ. Между его оригинальными произведеніями есть небольшія (величина въ лирическихъ произведеніяхъ часто есть признакъ отсутствія поэзіи и присутствія риторики, отсутствія мысли и присутствія разсужденій), проникнутыя чувствомъ, плѣняющія мелодіей звуковъ, красивостью стиховъ, звучностью и яркостью языка, но чуждыя художественной формы. Самое чувство ихъ однообразно-уныло и нерѣдко походитъ на чувствительность. Что же касается до его большихъ лирическихъ произведеній, какъ-то: многочисленныхъ посланій, «Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ», «Пѣвца на Кремлѣ», «Пѣсни Барда надъ гробомъ славянъ-побѣдителей», «Отчета о лунѣ», «Двѣнадцати спящихъ дѣвъ», «Вадима» и пр.,—ихъ можно считать образцами изящной риторики и стихотворнаго краснорѣчія... Въ нихъ чувство пробуждается рѣдко—именно, когда поэтъ изъ чуждой ему сферы торжественной поэзіи входитъ въ свой элементъ и сладкими стихами говоритъ о красѣ-дѣвицѣ, тоскующей надъ гробомъ милаго, гдѣ для нея и зелень ярче, и цвѣты ароматнѣе, и небо свѣтлѣе... Еслибъ я достовѣрно зналъ, что «Эолова Арфа», «Ахиллъ» и «Теонъ и Эсхинъ»—не переводы, а оригинальныя произведенія, я сказалъ бы, что у Жуковскаго есть три превосходныя оригинальныя пьесы; но все-таки не назвалъ бы ихъ произведеніями поэта въ томъ значеніи, о которомъ сейчасъ говорилъ, потому что три пьесы, каковы бы онѣ ни были, еще не могутъ составить собою значительнаго цикла поэтической дѣятельности. Оригинальныя произведенія Жуковскаго представляютъ собой великій фактъ и въ исторіи нашей литературы, и въ исторіи эстетическаго и нравственнаго развитія нашего общества; ихъ вліяніе на литературу и публику было безмѣрно велико и безмѣрно благодѣтельно. Въ нихъ, еще въ первый разъ, русскіе стихи явились не только благозвучными и поэтическими по отдѣлкѣ, но и съ содержаніемъ. Они шли изъ сердца и къ сердцу: они говорили не о яркомъ блескѣ иллюминацій, не о громѣ побѣдъ, а о таинствахъ сердца, о таинствахъ внутренняго міра души... Они исполнены были тихой грусти, кроткой меланхоліи,—а это элементы, безъ которыхъ нѣтъ поэзіи. Правда, въ стихахъ Жуковскаго то, что́ бы должно оставаться только элементомъ, было, напротивъ, и альфой, и омегой его поэзіи, но таково было требованіе времени, таковъ былъ ходъ историческаго развитія нашей литературы: Жуковскій, въ этомъ случаѣ, думая служить искусству, служилъ обществу, развивая его эстетическое и нравственное чувство и приготовляя его къ пріятію истинной поэзіи. Державина тогда превозносили; но стихотворенія его не были настольной книгой у молодого человѣка и не прятались подъ изголовье красавицы. Стихи Карамзина и Дмитріева удовлетворяли не всѣхъ, и ими восхищались только записные любители литературы, а прочіе превозносили ихъ болѣе изъ приличія. Отъ торжественныхъ одъ у публики уже заложило уши, и она сдѣлалась глуха для нихъ. Всѣ ждали чего-то новаго, а между тѣмъ къ воспріятію истинной поэзіи, въ смыслѣ искусства, еще далеко нѣ были готовы. Тогда явился Жуковскій съ своими унылыми и задушевными стихотвореніями, которыя всѣ сдѣлали свое дѣло, принесли свою пользу. Кто теперь будетъ читать или, читая, восхищаться такими пьесами, какъ «Надъ прозрачными во-

Digitized by Google

*

дами» или «Мой другъ, хранитель ангелъ мой»? А тогда!.. Да, я еще самъ помню, что̀ такое были они для меня, послѣ стиховъ Державина и его подражателей... Здѣсь я долженъ сдѣлать оговорку, чтобъ вы меня не поняли ложно и не приняли моихъ словъ за униженіе Державина въ пользу Жуковскаго. По элементамъ поэзіи и національности, Державинъ—колоссъ передъ оригинальными произведеніями Жуковскаго, а между тѣмъ дѣйствіе произведеній Жуковскаго на душу читателя всегда, а въ то время особенно, было сильнѣе, дѣйствительнѣе и благотворнѣе. Причина не въ томъ, что стихи Жуковскаго, какъ стихи, гораздо лучше стиховъ Державина: это преимущество времени, не таланта; нѣтъ, перевѣсъ на сторонѣ стиховъ Жуковскаго заключается въ ихъ содержаніи. Въ самомъ дѣлѣ, одна какая-нибудь картина Вадима, сидящаго съ кіевской княжной въ пещерѣ, во время бури, стóитъ тысячи торжественныхъ одъ вродѣ «На взятіе Измаила»... Въ поэзіи Державина нерѣдко просвѣчиваютъ чисто русскіе, чисто національные элементы: одно уже это ставитъ его, какъ поэта, несравненно выше Жуковскаго, я и стараюсь особенно указать вамъ не на безусловное, не на художественное, а болѣе на историческое достоинство оригинальныхъ стихотвореній Жуковскаго, какъ на главную причину важнаго и сильнаго вліянія даже тѣхъ изъ нихъ, которыя слабы въ поэтическомъ отношеніи и теперь совсѣмъ забыты...

Б.—Но вѣдь вы же сами приписываете нѣкоторымъ изъ нихъ, какъ наприм. «Эоловой Арфѣ», «Ахиллу», «Теону и Эсхину», безотносительное поэтическое достоинство?..

А.—И однакожъ все-таки не почитаю ихъ оригинальными пьесами, но отношу къ разряду переводныхъ, точно такъ же, какъ у Пушкина и переводныя пьесы отношу къ оригинальнымъ... Въ этомъ-то и достоинство, и важность, и великая заслуга Жуковскаго. До него наша поэзія лишена была всякаго содержанія, потому что наша юная, только-что зарождавшаяся гражданственность не могла собственной самодѣятельностью національнаго духа выработать какое-либо обще-человѣческое содержаніе для поэзіи: элементы нашей поэзіи мы должны были взять въ Европѣ и передать ихъ на свою почву. Этотъ великій подвигъ совершенъ Жуковскимъ. Въ его натурѣ есть какая-то родственность съ музами Германіи и Альбіона,—и ему, при такомъ высокомъ талантѣ, легко было въ превосходныхъ переводахъ усвоить намъ многія изъ нихъ прекраснѣйшихъ пѣсенъ. Мы еще въ дѣтствѣ, не имѣя опредѣленнаго понятія о томъ, что̀ переводъ, что̀ оригинальное произведеніе, заучиваемъ ихъ, какъ сочиненія Жуковскаго. Это сродняетъ насъ съ нѣмецкой и англійской поэзіей, и мы потомъ входимъ въ ихъ святилище уже не какъ профаны, но какъ уже рожденные посвященными... Оттого-то въ Россіи такъ рано сдѣлались возможными и переводы съ этихъ языковъ, и изученіе этихъ литературъ въ ихъ собственныхъ звукахъ; тогда-какъ напримѣръ для французовъ и теперь еще закрыто печатью тайны святилище особенно германской поэзіи. Черезъ это же мы пришли въ состояніе усвоить себѣ германское созерцаніе искусства, германскую критику, германское мышленіе. И все это сдѣлалъ Жуковскій одними своими переводами! Онъ ввелъ къ намъ романтизмъ, безъ элементовъ котораго въ наше время невозможна никакая поэзія. Пушкинъ при первомъ своемъ появленіи былъ оглашенъ романтикомъ. Поборники новизны называли его такъ въ похвалу, старовѣры—въ порицаніе; но ни тѣ, ни другіе не подозрѣвали въ Жуковскомъ представителя истиннаго романтизма. Причина очевидна: романтизмъ полагали въ формѣ, а не въ содержаніи. Правда, романтическое содержаніе не можетъ укладываться въ опредѣленныя по самому объему и соразмѣрныя формы древней поэзіи; оно требуетъ простора и часто, такъ сказать, нарушаетъ въ свою пользу права формы. Но не въ этомъ сущность романтизма. Романтизмъ—это міръ внутренняго человѣка, міръ души и сердца, міръ ощущеній и вѣрованій, міръ порываній къ безконечному, міръ таинственныхъ видѣній и созерцаній, міръ небесныхъ идеаловъ... Почва романтизма не исторія, не жизнь дѣйствительная, не природа и не внѣшній міръ, а таинственная лабораторія груди человѣческой, гдѣ незримо начинаются и зрѣютъ всѣ ощущенія и чувства, гдѣ неумолкаемо раздаются вопросы о мірѣ вѣчности, о смерти и безсмертіи, о судьбѣ личнаго человѣка, о таинствахъ любви, блаженства и страданія... Обаятеленъ этотъ фантастическій, запертый въ самомъ себѣ міръ; средніе вѣка жили въ немъ безвыходно; наше время, выступившее изъ него же, не отрѣшилось отъ него, но расширило его новыми элементами и уравновѣсило ихъ; помирило его и съ исторіей, и съ практической дѣятельностью. Горе тому, кто, соблазненный обаяніемъ этого внутренняго міра души, закроетъ глаза на внѣшній міръ и уйдетъ туда, въ глубь себя, чтобъ питаться блаженствомъ страданія, лелѣять и поддерживать пламя, которое должно пожрать его!.. Люди съ сильными натурами, погружаясь въ эту пучину внутренняго со-

Digitized by Google

зерцанія, могутъ дѣлаться мистическими сомнамбулами, вдохновенными безумцами, живыми тѣнями въ чуждомъ и страшномъ для нихъ мірѣ дѣйствительности. Люди недалекіе и не глубокіе дѣлаются піэтистами, мистиками и моралистами; они толкуютъ и понимаютъ себя и все внѣ ихъ находящееся задомъ напередъ и вверхъ ногами. Но горе и тому, кто, увлеченный одной внѣшностью, дѣлается и самъ внѣшнимъ человѣкомъ; нѣтъ ему вѣрнаго убѣжища въ самомъ себѣ отъ бурь жизни; нѣтъ въ немъ ни глубокихъ нравственныхъ началъ, ни вѣрнаго взгляда на дѣйствительность; внутри его и холодно, и сухо, и жестко; онъ не можетъ любить; онъ гражданинъ, онъ воинъ, онъ купецъ, онъ все, что хотите, но онъ никогда—«не человѣкъ», и вы никогда ему не ввѣритесь, не будете его другомъ, не откроете ему никакого внутренняго человѣческаго чувства, боясь опрофанировать это чувство... Итакъ, оба эти міра, внутренній и внѣшній,—крайности; равно опасно предаваться одной изъ нихъ исключительно; но оба эти міра равно нуждаются одинъ въ другомъ, и въ возможномъ проникновеніи одного другимъ заключается дѣйствительное совершенство человѣка. Міръ внѣшній встрѣчаетъ насъ при самомъ рожденіи нашемъ и уловляетъ насъ; чтобъ избавиться отъ его ложныхъ и нечистыхъ обаяній, прежде всего нужно развить въ себѣ романтическіе элементы. Пусть они возобладаютъ надъ нашимъ духомъ, возбудятъ въ насъ восторженность и фанатизмъ: въ сильной натурѣ, одаренной тактомъ дѣйствительности, они уравновѣсятся въ свое время съ другой стороной нашего духа, зовущей ихъ въ міръ исторіи и дѣйствительности; что же до натуръ односторонихъ, исключительныхъ или слабыхъ—имъ вездѣ грозитъ равная опасность — и во внутреннемъ, и во внѣшнемъ мірѣ. Итакъ, развитіе романтическихъ элементовъ есть первое условіе нашей человѣчности. И вотъ великая заслуга Жуковскаго! Трепетъ объемлетъ душу при мысли о томъ, изъ какого ограниченнаго и пустого міра поэзіи въ какой безконечный и полный міръ ввелъ онъ нашу литературу; какимъ содержаніемъ обогатилъ и оплодотворилъ онъ ее посредствомъ своихъ переводовъ!... Трагедіи Озерова—и «Орлеанская Дѣва» Шиллера; анакреонтическія стихотворенія Державина, чувствительныя пѣсни и романсы Карамзина, Дмитріева, Капниста, Нелединскаго-Мелецкаго—и «Пѣсня Миньоны», «Голосъ съ того свѣта», «Утѣшенія въ слезахъ», «Горная дорога», «Мечты», «Элизіумъ», «Элегія на кончину королевы виртембергской», «Сельское кладбище», «Три путника», «Теонъ и Эсхинъ», «Старый рыцарь» и проч.; торжественныя оды—и такія баллады, какъ «Рыцарь Тогенбургъ», «Ивиковы журавли», «Лѣсной царь», «Кассандра», «Графъ Габсбургскій», «Узникъ», «Эолова арфа», «Ахиллъ», «Торжество побѣдителей», «Жалобы Цереры», «Кубокъ», «Замокъ Смальгольмъ»!... А тамъ еще остаются переводы: «Шильонскій Узникъ», «Пери и Ангелъ», сельскія стихотворенія. «Ундина»—эта благоуханная, мелодическая и фантастическая повѣсть сердца, это оригинально-переводное твореніе Жуковскаго, лучше всего поясняетъ, почему его не хотятъ называть переводчикомъ, а смотрятъ на него, какъ на самостоятельнаго поэта. Дѣйствительно, Жуковскаго нельзя назвать собственно переводчикомъ: въ выборѣ пьесъ для перевода онъ руководствовался не однимъ безотчетнымъ влеченіемъ, но какъ-будто началомъ; онъ вездѣ искалъ своего и, находя, переводилъ; всѣ переводы его носятъ на себѣ какой-то общій отпечатокъ, всѣ они образуютъ собой какой-то особенный міръ поэзіи—поэзіи Жуковскаго. Самыя оригинальныя произведенія какъ-будто переводы, а переводы — какъ-будто оригинальныя произведенія. Онъ не случайно перевелъ «Орлеанскую Дѣву», а не «Донъ Карлоса», не «Валленштейна», не «Вильгельма Телля»: историческая сфера— не его сфера; ему родственнѣе этотъ міръ чудесъ внутренняго духа, ему болѣе по душѣ вдохновенная таинственнымъ дубомъ героиня... Да, велика, неизмѣримо велика заслуга Жуковскаго русской литературѣ, русскому обществу! Это не временная, не относительная заслуга: многіе или, лучше сказать, большая часть его переводовъ будутъ вѣчными памятниками его огромнаго таланта, неувядаемыми цвѣтами русской литературы. Поколѣніе отъ поколѣнія будетъ воспитываться ими на служеніе духу жизни... Я не умѣю ничего лучше представить себѣ его переводовъ: «Торжество побѣдителей» и «Жалобы Цереры»; еслибъ Жуковскій перевелъ только ихъ—и тогда бы онъ составилъ себѣ имя въ нашей литературѣ. Если между его переводами есть слабые—причина въ неудачномъ выборѣ, а не въ недостаткѣ таланта. Таковы: «Королева Урака», «Долина», отрывки изъ «Камоэнса» и т. п. Но и его неудачныя пьесы, какъ оригинальныя, такъ и переводныя, однѣ уже сдѣлали свое дѣло, другія еще будутъ его дѣлать: ихъ содержаніе для неразвитаго еще эстетическаго вкуса всегда будетъ замѣнять недостатокъ формы. Объ образцовыхъ переводахъ его я уже все сказалъ, что хотѣлъ сказать; о полномъ же циклѣ его поэзіи заключаю свое сужденіе стихами Пушкина:

Digitized by Google

Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль;
И, внемля имъ, вздохнетъ о славѣ младость,
Утѣшится безмолвная печаль
И рѣзвая задумается радость.

Б.—Я, право, не вижу, почему бы ваше сужденіе о Жуковскомъ могло кому-нибудь показаться рѣзкимъ или оскорбительно несправедливымъ... Развѣ потому, что оно нисколько не похоже на то, что̀ толковали о Жуковскомъ наши аристархи, особенно «ученые»... Мнѣ теперь особенно интересно услышать ваше мнѣніе о Батюшковѣ...

А.—Батюшковъ болѣе поэтъ, чѣмъ Жуковскій; Батюшковъ былъ одаренъ отъ природы художественными силами. Въ стихѣ его есть упругость и пластика; о гармоніи нечего и говорить: до Пушкина у насъ не было поэта съ стихомъ столь гармоническимъ. Батюшковъ сочувствовалъ древнему міру; въ натурѣ его были элементы эллинскаго духа, и между тѣмъ онъ прошелъ почти незамѣченнымъ явленіемъ, тогда какъ Жуковскаго знала наизусть вся Россія: причина—недостатокъ, если не отсутствіе содержанія въ поэзіи Батюшкова. Родиной его музы должна была быть Эллада, а посредникомъ между его музой и геніемъ Эллады—Германія; и между тѣмъ талантъ Батюшкова развился на безплодной для искусства почвѣ французской литературы XVIII вѣка: онъ не почиталъ для себя униженіемъ переводить и подражать даже какому-нибудь сладенькому Парни. Итальянская поэзія тоже не могла быть ему особенно полезной, и скорѣй была вредна. Одно изъ лучшихъ его произведеній—«Элегія на развалинахъ замка въ Швеціи» — внушено ему дикимъ геніемъ мрачнаго сѣвера; антологическія стихотворенія—эти драгоцѣнные бриллянты въ его поэтическомъ вѣнцѣ, подарены ему геніемъ родной ему Эллады. Все прочее занимаетъ у него середину между скандинавской элегіей и антологическими стихотвореніями, и потому все это какъ-то нерѣшительно, болѣе сверкаетъ превосходными частностями, красотой пластически-художественной формы, но не цѣлымъ, которое, по недостатку содержанія, не могло являться въ художественной замкнутости и оконченности.

Батюшковъ явился въ такое время нашей литературы, когда ни у кого не было и предчувствія о томъ, что̀ такое искусство со стороны формы. Поэтому онъ заботился больше о гладкости и правильности того, что̀ называли тогда «слогомъ», и мало заботился о виртуозности своего художественнаго рѣзца, такъ что его пластическіе стихи были безсознательнымъ результатомъ его художнической натуры, — и вотъ почему въ его стихотвореніяхъ такъ много неточныхъ выраженій, прозаическихъ стиховъ, а иногда онъ не чуждъ и растянутости и риторики. Батюшковъ самъ чувствовалъ недостатокъ въ содержаніи для своей поэзіи, и потому переходилъ изъ крайности въ крайность: отъ свѣтлаго, поэтическаго эпикуреизма къ какому-то строгому и прозаическому мистицизму. Поэзія его всегда нерѣшительна, всегда что-то хочетъ сказать и какъ-будто не находитъ словъ. Впрочемъ, чтобъ сдѣлать вѣрную и полную оцѣнку Батюшкову, надо много говорить, надо безпрестанно цитировать его стихи. Батюшковъ не принадлежитъ къ числу геніальныхъ творческихъ натуръ; но талантъ его до того великъ, что, не будь его поэзія лишена почти всего содержанія, родись онъ не передъ Пушкинымъ, а послѣ него,—онъ былъ бы однимъ изъ замѣчательныхъ поэтовъ, котораго имя было бы извѣстно не въ одной Россіи.

Б.—Да что̀ же вы разумѣете подъ словомъ «содержаніе», которое служитъ основаніемъ всѣхъ вашихъ сужденій о поэзіи и поэтахъ?

А.—Я не берусь вамъ опредѣлить философски, что̀ такое «содержаніе» въ жизни, въ исторіи, въ искусствѣ, въ наукѣ; но охарактеризую его вамъ общими признаками и объясню примѣрами, взятыми изъ сферы искусства. Содержаніе въ искусствѣ не всегда то, что̀ можно съ перваго взгляда выговорить и опредѣлить; оно не есть воззрѣніе или опредѣленный взглядъ на жизнь, не начало или система какихъ-либо вѣрованій и убѣжденій, родъ философской школы или политической котеріи; содержаніе есть нѣчто высшее, изъ чего вытекаютъ всѣ вѣрованія, убѣжденія и начала; содержаніе есть міросозерцаніе поэта, его личное ощущеніе собственнаго пребыванія въ лонѣ міра и присутствіе міра во внутреннемъ святилищѣ его духа. Когда вы читаете поэта безъ содержанія, но обладающаго большимъ талантомъ, вы чувствуете, что васъ что-то растревожило, возбудило въ васъ стремленіе къ чему-то, повергло васъ въ какое-то неопредѣленное состояніе, но не удовлетворило, не наполнило ничѣмъ; здѣсь самое наслажденіе — только раздраженіе, а не удовлетвореніе. Напротивъ, когда вы читаете поэтическія произведенія, проникнутыя глубокимъ содержаніемъ, вы чувствуете, что стремитесь къ чему-нибудь опредѣленному, наслаждаетесь чѣмъ-нибудь положительнымъ, что вы пріяли въ себя новую силу, что вашего существованія прибавилось, что вы чѣмъ-то преисполнились. Тогда вы страдаете страданіемъ вашего поэта, блаженствуете его блаженствомъ,

Digitized by Google

потому что въ его страданіи или его блаженствѣ узнаете обще-человѣческую скорбь или радость, душу вѣка, интересъ времени. Вашъ поэтъ покоряетъ васъ, заставляетъ видѣть все въ томъ колоритѣ, въ какомъ самъ все видитъ. Такое вліяніе производятъ на душу читателя великіе поэты, каковы напр. Байронъ, Шиллеръ, Гёте. Ихъ нельзя читать всѣхъ вдругъ, но каждый изъ нихъ поочередно овладѣваетъ цѣлой частью вашей жизни и дѣлаетъ васъ на то время байронистомъ, шиллеристомъ, гётистомъ. У насъ вообще содержаніе понимаютъ только внѣшнимъ образомъ, какъ «сюжетъ» сочиненія, не подозрѣвая, что содержаніе есть душа, жизнь и сюжетъ этого сюжета. И потому, если дѣло идетъ особенно о романѣ или повѣсти, то смотрятъ только на полноту происшествій, на сложность завязки и искусство развязки. Съ этой точки зрѣнія «Эвелина де-Вальероль» Кукольника конечно будетъ романомъ съ содержаніемъ, потому что и въ цѣлый день не перескажешь всѣхъ «приключеній», обрѣтающихся въ этой сказкѣ; а «Старосвѣтскіе Помѣщики» Гоголя, гдѣ очень просто разсказано, какъ жилъ старикъ со старушкой, какъ сперва умерла старушка, а потомъ умеръ старикъ съ тоски по ней, и гдѣ нѣтъ ни происшествій, ни завязки, ни развязки,—будетъ повѣстью безъ всякаго содержанія...

Б.—А! теперь я понимаю, отчего вы мало находите содержанія у такихъ изъ нашихъ писателей, которые общимъ мнѣніемъ признаны великими... Кстати: эпоха литературы, на которой мы остановились, была ознаменована союзами знаменитостей, поэтическими и литературными тріумвиратами.

А.—Которые теперь, за давностью, забыты, такъ что историкамъ нашего времени надо дѣлать новые... И я первый попытаюсь на это, присоединивъ къ именамъ Жуковскаго и Батюшкова имя Гнѣдича. Этотъ человѣкъ у насъ доселѣ не понятъ и не оцѣненъ, по недостатку въ нашемъ обществѣ ученаго образованія. Переводъ «Иліады»—эпоха въ нашей литературѣ, и придетъ время, когда «Иліада» Гнѣдича будетъ настольной книгой всякаго образованнаго человѣка. Это время недалеко, потому что, благодаря просвѣщенному, истинно европейскому стремленію нынѣшняго Министерства Народнаго Просвѣщенія, поставившаго изученіе древнихъ языковъ непреложнымъ условіемъ гимназическаго и университетскаго курса, — образованность и невѣжество скоро перестанутъ быть синонимами, и истинная ученость сдѣлается основой истинной образованности... Безъ историческаго созерцанія жизни древнихъ нельзя понимать и ихъ искусства; вотъ почему «Иліада» никогда не можетъ быть доступна толпѣ. Безъ созерцанія греческаго искусства, никакого искусства нельзя понимать,—и потому нечего распространяться о томъ, какъ великъ подвигъ Гнѣдича, какое безконечное вліяніе имѣетъ и будетъ имѣть онъ на русскую литературу. Духъ Гнѣдича былъ родственъ съ геніемъ эллинской поэзіи; самъ собой, вопреки своему развитію и духу времени, онъ прозрѣлъ въ глубокую сущность греческаго искусства. Переводъ «Иліады», если сравнить съ подлинникомъ, есть не болѣе, какъ

. . . разъигранный «Фрейшицъ»
Перстами робкихъ ученицъ,—

но все же «Фрейшицъ», а не собственная фантазія, выдаваемая за «Фрейшица»:—а это великое дѣло! Никакое колоссальное твореніе искусства не можетъ быть переведено на другой языкъ такъ, чтобъ, читая переводъ,—вы не имѣли нужды читать подлинникъ; напротивъ, не читавъ творенія въ подлинникѣ, нельзя имѣть точнаго о немъ понятія, какъ бы ни былъ превосходенъ переводъ. Къ «Иліадѣ» особенно относится эта горькая истина: только греческій языкъ могъ выразить такое греческое содержаніе, и на всѣхъ другихъ языкахъ «Иліада»— засушенное тропическое растеніе, хоть и сохранившее по возможности и блескъ своихъ красокъ, и ароматическій запахъ. Нашъ Гнѣдичъ умѣлъ схватить въ своемъ переводѣ отраженіе красокъ и аромата подлинника, умѣлъ уловить колоритъ греческаго созерцанія и сдѣлать его фономъ картины своего перевода. Переводъ Гнѣдича—копія съ древней статуи, сдѣланная даровитымъ художникомъ нашего времени, А это великій подвигъ, безсмертная заслуга! Русскій языкъ одинъ изъ счастливѣйшихъ языковъ, по своей способности передавать произведенія древности. Невѣжды смѣются надъ славянскими словами и оборотами въ переводѣ Гнѣдича; но это именно и составляетъ одно изъ его существеннѣйшихъ достоинствъ. Всякій коренной, самобытный языкъ въ періодъ младенчества народа, въ созерцаніи котораго жизнь еще не распалась на поэзію и прозу, но и самая проза жизни опоэтизирована,—такой языкъ въ своемъ началѣ бываетъ полонъ словъ и оборотовъ, дышущихъ какой то младенческой простотой и высокой поэзіей; современемъ эти слова и обороты замѣняются другими, болѣе прозаическими, а старыя остаются богатымъ сокровищемъ для разумнаго употребленія, и наоборотъ, если ихъ некстати употребляютъ. Такъ, у насъ остались древнія поэтическія слова: «лани-

Digitized by Google

ты, очи, уста, перси, рамена, храмъ, храмина, прагъ» и т. п., замѣнившіяся прозаическими словами: «щеки, глаза, губы, груди, плечи, хоромы, порогъ». Конечно нѣтъ ничего смѣшнѣе, пошлѣе и надутѣе, какъ употребленіе педантами и безвкусными риѳмотворцами старинныхъ словъ тамъ, гдѣ это не требуется сущностью дѣла, напримѣръ въ переводѣ Тассова «Освобожденнаго Іерусалима» и т. п. Но въ переводѣ «Иліады» эти слова, подъ перомъ вдохновеннаго переводчика, исполненнаго поэтическаго такта,—истинное и безцѣнное сокровище! Замѣните выраженія: «ему покорилась лилейно-раменная Гера Богиня» и «осклабился Зевсъ-громовержецъ» выраженіями: «его послушалась жена»; «разсмѣялся Зевсъ»,—тогда изъ высокой поэзіи выйдетъ пошлая проза...

Б.—Однако мы уже такъ далеко зашли съ вами, что, кажется, и не доберемся до Пушкина...

А.—Напротивъ, мы уже добрались до него...

Б.—Какъ? Такъ неужели Карамзинъ, Дмитріевъ, Крыловъ, Озеровъ, Жуковскій, Батюшковъ, Гнѣдичъ—и всѣ тутъ?

А.—А кто же еще, думали бы вы? Неужели Николевъ, Бобровъ, Долгорукій, Хвостовъ, Остолоповъ, Подшиваловъ, Никольскій, Глинка, Шаховской, Воейковъ, Измайловъ, Шаликовъ, Пушкинъ (В.), Катенинъ, Пнинъ, Буринскій, Шатровъ, Горчаковъ, Бунина, Крюковской, Лобановъ (Ѳ.), Федоровъ (Б. М.), Кокошкинъ, Ильинъ, Ивановъ, и пр.?... Пора бы уже и перестать безпокоить ихъ почтенныя и заслуженныя имена нашимъ журнальнымъ критикамъ и обозрѣвателямъ, какъ оставила въ покоѣ забывшая о нихъ публика... Сверхъ того не все, что̀ касается до литературы, входитъ въ исторію литературы: многое поступаетъ въ вѣдомство статистики литературы, которая занимается всѣми книгами и всѣми писателями безъ изъятія, подводя ихъ подъ числа и итоги, иногда очень интересные и поучительные... Первый опытъ такой статистики русской литературы составилъ Гречъ, подъ названіемъ: «Опыта Краткой Исторіи Русской Литературы», впрочемъ довольно плохой даже и для статистики...

Б.—Но нѣкоторые изъ нихъ...

А.—Были люди съ дарованіемъ, хотите вы сказать? Правда; но ихъ дарованія такъ сильны, что не могли не быть замѣчены въ свое время, и такъ слабы, что забылись еще прежде, чѣмъ кончили они свое поприще. Такія дарованія—случайности, а не дѣйствительныя явленія. Дѣйствительно только то, что̀ родится изъ важныхъ причинъ и производитъ важныя слѣдствія. Если изучать всѣ случайности, помнить ихъ и говорить о нихъ—не станетъ вѣку человѣческаго, некогда будетъ заняться чѣмъ-нибудь дѣльнымъ. Сверхъ того написать мимоходомъ, между службой и картами, двѣ-три пѣсни, журнальную статейку, какую-нибудь сказку, которыя бы обратили на автора минутное вниманіе толпы, еще не значитъ быть поэтомъ или даже литераторомъ...

Б.—Итакъ, перейдемъ къ Пушкину.

А.—И поговоримъ о немъ какъ можно меньше, потому что сказать о немъ всего не успѣешь и въ цѣлую жизнь. Пушкинъ принадлежитъ къ вѣчно живущимъ и движущимся явленіямъ, неостанавливающимся на той точкѣ, на которой застала ихъ смерть, но продолжающимъ развиваться въ сознаніи общества. Каждая эпоха произноситъ о нихъ свое сужденіе, и какъ бы ни вѣрно поняла она ихъ, но всегда оставитъ слѣдующей за нею эпохѣ сказать что-нибудь новое и болѣе вѣрное, и ни одна и никогда не выскажетъ всего...

Батюшковъ уже свершилъ свое поприще, несчастно прерванное; Жуковскій хоть еще и далеко не свершилъ своего поприща, но результаты его поэтической дѣятельности уже пустили глубоко свои корни въ почву воспріимчиваго и плодовитаго русскаго духа,—когда ребенокъ Пушкинъ начиналъ знакомиться съ русской литературой. Жадно читалъ онъ все, что̀ засталъ тогда написаннымъ, отъ Ломоносова до Жуковскаго и Батюшкова включительно. И вотъ онъ дѣлается усерднымъ и, надо сказать, часто неловкимъ ученикомъ предшествовавшихъ ему корифеевъ нашей литературы и плохимъ ихъ подражателемъ. Стихъ его не былъ лучше даже стиха его дяди, В. Пушкина; онъ пишетъ посланіе «къ красавицѣ, нюхающей табакъ», и жалѣетъ въ немъ, зачѣмъ онъ не табакъ... Усердно печатаетъ онъ дѣтскія фантазіи въ «Россійскомъ Музеумѣ», издававшемся въ 1815 году. Прочтите лицейскія стихотворенія Пушкина—и въ лучшихъ изъ нихъ вы увидите только хорошаго подражателя. Въ первомъ томѣ изданныхъ имъ самимъ стихотвореній вы уже не находите ничего дурного, напротивъ, видите много хорошаго, но въ пьесахъ: «Лицинію», «Пѣвецъ», «Амуръ и Гименей», «Ш***ву», «Торжество Вакха», «Разлука», «Дельвигу», «Жуковскому», «Русалка», «Стансы Т***му», «В***му», «Война», «Къ Овидію», писанныхъ отъ 1815 до 1822, вы еще видите не Пушкина, еще не самостоятельнаго поэта, а только даровитаго ученика достойныхъ учителей. Всѣ исчисленныя мною стихотворенія перемѣшаны съ такими, въ которыхъ Пушкинъ является уже

Digitized by Google

Пушкинымъ, въ которыхъ мы видимъ поэзію, не имѣющую ничего общаго съ прежней, бывшей до Пушкина,—поэзію, явившуюся вдругъ, безъ всякихъ предварительныхъ проявленій, подобно Аѳинѣ-Палладѣ, вдругъ и во всеоружіи родившейся изъ головы Зевса... Въ отдѣлѣ стихотвореній, означенныхъ 1823 годомъ, вы уже не встрѣчаете ничего не-Пушкинскаго, ничего навѣяннаго Пушкину его учителями. Правда, въ поэмахъ его—«Русланъ и Людмила», «Кавказскій Плѣнникъ», видно сильное вліяніе, но уже другихъ учителей:—Пушкинъ навсегда расквитался съ русской литературой и сталъ ея учителемъ... Трудно охарактеризовать общими чертами великость реформы, произведенной Пушкинымъ въ поэзіи, литературѣ, версификаціи и языкѣ русскомъ. Между стихомъ Пушкина и стихомъ Батюшкова больше разстоянія, чѣмъ между стихомъ Батюшкова и стихомъ Державина. Достоинство Пушкинскаго стиха состоитъ не въ одной легкости—легкость одно изъ второстепенныхъ качествъ его; нѣтъ, достоинство этого стиха заключается въ его художественности, въ этой органической живой соотвѣтственности между содержаніемъ и формой, и наоборотъ. Въ этомъ отношеніи стихъ Пушкина можно сравнить съ красотой человѣческихъ глазъ, оживленныхъ чувствомъ и мыслью: отнимите у нихъ оживляющее ихъ чувство и мысль—они останутся только красивыми, но ужъ не божественно-прекрасными глазами. Теперь многіе пишутъ стихи и гладкіе, и гармоническіе, и легкіе; но Пушкинскій стихъ напомнила намъ только муза Лермонтова... Поэзія Пушкина полна, насквозь проникнута содержаніемъ, какъ граненый хрусталь лучомъ солнечнымъ: у Пушкина нѣтъ ни одного стихотворенія, которое не вышло бы изъ жизни и было написано вслѣдствіе желанія такъ что-нибудь написать, въ чаяніи, что авось-де это будетъ недурно... Это обстоятельство рѣзкой чертой отдѣляетъ Пушкина отъ всѣхъ поэтовъ предшествовавшихъ періодовъ. Художническая добросовѣстность Пушкина была до него безпримѣрнымъ явленіемъ въ нашей литературѣ: онъ высылалъ изъ міра души своей только выношенныя, вызрѣвшія поэтическія фантазіи, которыя сами рвались наружу. Этимъ онъ совершенно избѣжалъ риторики, декламаціи и общихъ мѣстъ: ихъ слѣды замѣтны только развѣ въ его ученическихъ произведеніяхъ, о которыхъ я говорилъ. Слѣдствіемъ глубоко истиннаго содержанія, всегда скрывающагося въ произведеніяхъ Пушкина, была ихъ строго-художественная форма. Каждое его стихотвореніе есть отдѣльный міръ, замкнутый въ самомъ себѣ, полный собственныхъ силъ, чуждый всякихъ несвойственныхъ ему элементовъ, всего посторонняго и лишняго, свободно движущійся въ своей сферѣ. Какъ вѣрна у Пушкина всякая мысль, всякое чувство, всякое ощущеніе, такъ вѣренъ у него и всякій образъ, каждая фраза, каждое слово. Все на своемъ мѣстѣ, все полно, ничего недоконченнаго, темнаго, неточнаго, неопредѣленнаго. Опредѣленность есть свойство великихъ поэтовъ, и Пушкинъ вполнѣ обладалъ этимъ свойствомъ. Ограниченные люди ставили его поэзіи въ вину, что она все оземленяетъ и овеществляетъ,—обвиненіе, которое обнаруживаетъ рѣшительное отсутствіе эстетическаго чувства, самое грубое недоразумѣніе поэзіи! Поэтъ—соперникъ творящей природѣ; подобно ей, онъ стремится безплотныхъ духовъ жизни, рѣющихъ въ безпредѣльныхъ пространствахъ, уловить въ прекрасные и полные органически-идеальной жизни образы, воплотить небесное въ земное и земное просвѣтлить небеснымъ... Поэтъ не терпитъ отвлеченныхъ представленій; творя, онъ мыслитъ образами, а всякій образъ только тогда и прекрасенъ, когда опредѣленъ и вполнѣ доступенъ созерцанію.

Изъ русскаго языка Пушкинъ сдѣлалъ чудо. Справедливо сказалъ Гоголь, что «въ Пушкинѣ, какъ будто въ лексиконѣ, заключилось все богатство, гибкость и сила нашего языка». Онъ ввелъ въ употребленіе новыя слова, старымъ далъ новую жизнь; его эпитетъ столько же смѣлъ, оригиналенъ, какъ и рѣзко точенъ, математически опредѣленъ. Многообъемлемость и многосторонность также принадлежатъ къ числу качествъ, которыя с р о с л и с ь съ поэзіей Пушкина. Грусть у него смѣняется шуткой, эпиграммой, тяжелая скорбь неожиданно разрѣшается освѣжающимъ душу юморомъ. Его нельзя назвать ни поэтомъ грусти, ни поэтомъ веселья, ни трагикомъ, ни комикомъ исключительно: онъ все... Самое простое ощущеніе звучитъ у него всѣми струнами своими и потому чуждо монотонности; это всегда полный аккордъ... Всего чаще ощущеніе у Пушкина—диссонансъ, разрѣшающійся въ гармонію, и всего рѣже — простая мелодія... Трудно было бы опредѣлить общее направленіе поэзіи Пушкина; но можно сказать утвердительно, что имя романтика навязано на него не совсѣмъ впопадъ, такъ же какъ невпопадъ отнято оно у Жуковскаго. Характеръ чисто романтической поэзіи всегда болѣе или менѣе односторонній и исключительный. Поэзія Пушкина — самый разнообразный міръ, гдѣ примирены самые разнообразные и противорѣчащіе элементы, гдѣ простая и вмѣстѣ

Digitized by Google

роскошная форма спокойно и равновѣсно овладѣла своимъ многосложнымъ содержаніемъ... Наконецъ, Пушкинъ — вполнѣ національный поэтъ, заключившій въ духѣ своемъ всѣ національные элементы. Это видно не только изъ тѣхъ произведеній, гдѣ чисто русское содержаніе выражалъ онъ въ чисто народной формѣ, и гдѣ не имѣлъ онъ себѣ соперника; но еще болѣе изъ тѣхъ произведеній, которыя ни по содержанію, ни по формѣ, кажется, не могутъ имѣть ничего русскаго. Я не знаю лучшей и опредѣленнѣйшей характеристики національности въ поэзіи, какъ ту, которую сдѣлалъ Гоголь въ этихъ короткихъ словахъ, врѣзавшихся въ моей памяти: «Истинная національность состоитъ не въ описаніи сарафана, а въ самомъ духѣ народа. Поэтъ даже можетъ быть и тогда національнъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядитъ на него глазами своей національной стихіи, глазами своего народа; когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствуютъ и говорятъ они сами». Мнѣ кажется, что кромѣ грусти, какъ основного мотива Пушкинской поэзіи, и бодраго, мощнаго выхода изъ нея не въ какое-нибудь тепленькое утѣшеньице, а въ ощущеніе собственной силы, какъ самой характеристической черты ея,—національность ея состоитъ еще во внѣшнемъ спокойствіи, при внутренней движимости, въ отсутствіи одолѣвающей страстности. У Пушкина диссонансъ и драма всегда внутри, а снаружи все спокойно, какъ будто ничего не случилось, такъ что грубая, невоспріимчивая или неразвитая натура не можетъ тутъ видѣть ни силы, ни борьбы, ни величія... Замѣтьте, что герои Пушкина никогда не лишаютъ себя жизни, по силѣ трагической развязки, не остаются жить... Пушкинъ въ этой чертѣ бываетъ страшно великъ... Не бывало еще на Руси такой колоссальной творческой силы, и такъ національно, такъ русски проявившейся... Ни одинъ поэтъ не имѣлъ на русскую литературу такого многосторонняго, сильнаго и плодотворнаго вліянія. Пушкинъ убилъ на Руси незаконное владычество французскаго псевдо-классицизма, расширилъ источники нашей поэзіи, обратилъ ее къ національнымъ элементамъ жизни, показалъ безчисленныя новыя формы, сдружилъ ее впервые съ русской жизнью и русской современностью, обогатилъ идеями, пересоздалъ языкъ до такой степени, что и безграмотные не могли уже не писать хорошими стихами, если хотѣли писать.

Б.—Но что вы скажете о Пушкинѣ въ сравненіи съ европейскими поэтами?

А.—Онъ относится къ нимъ, какъ Россія къ Европѣ, а европейскіе поэты къ нему—какъ Европа къ Россіи. Пушкинъ обладалъ міровой творческой силой; по формѣ онъ—соперникъ всякому поэту въ мірѣ; но по содержанію, разумѣется, не сравнится ни съ однимъ изъ міровыхъ поэтовъ, выразившихъ собой моментъ всемірно-историческаго развитія человѣчества. И это нисколько не идетъ къ униженію великаго генія Пушкина; повторяю, что поэту принадлежитъ форма, а содержаніе — исторіи и дѣйствительности его народа. Россія доселѣ жила внѣшней силой; національное сознаніе пробудилось въ ней не дальше, какъ съ великаго 1812 года... Какому-нибудь Байрону довольно было исторіи своего отечества, чтобъ имѣть готовое содержаніе для своей поэзіи; а Пушкину еще оставалась цѣлая Европа, т. е. цѣлое человѣчество. Слова: папа, католицизмъ, феодализмъ, вассалъ, реформація, религіозная война, всемірная торговля, и пр., и пр.—не могли въ слухѣ Пушкина раздаваться такъ же, какъ въ слухѣ Байрона: что для одного было предметомъ любознательности, то для другого было личнымъ интересомъ, возбуждавшимъ всѣ его страсти, всѣ чувства... Самое образованіе европейскихъ поэтовъ съ дѣтства питаетъ ихъ «поэтическимъ содержаніемъ»: чего не зналъ Гёте, какой ученостью обладалъ Шиллеръ! Байронъ въ подлинникѣ читалъ греческихъ и латинскихъ писателей! Въ Европѣ все такъ чудно устроено,—одно не мѣшаетъ другому, напр. свѣтъ — наукѣ, а наука—свѣту; у насъ же объ этомъ свѣтѣ Пушкинъ говорилъ съ такимъ отчаяніемъ:

И даже глупости смѣшной
Въ тебѣ не встрѣтишь, свѣтъ пустой!...

Но здѣсь не должно упускать изъ виду важнаго обстоятельства: смерть застигла Пушкина въ порѣ полнаго развитія необъятныхъ силъ его творческаго духа, въ ту самую минуту, когда онъ ужъ начиналъ уходить отъ волнующей юную и пылкую натуру внѣшности и погружаться въ бездонную глубь своего внутренняго *я*, когда онъ только что начиналъ писать настоящимъ образомъ...

Б.—Однако нашъ разговоръ грозитъ быть страшно длиннымъ, если вы хотите говорить о поэтахъ пушкинской школы...

А.—Если только поэтому, а не почему-нибудь другому, то онъ будетъ очень коротокъ. Время—великій критикъ: его крылья провѣваютъ всѣ дѣла человѣческія, оставляя на току немного зеренъ и разсѣвая по воздуху много шелухи... У насъ же, надо замѣтить, время особенно быстро ле-

Digitized by Google

тить: мы, люди новаго поколѣнія, едва перешедшіе за роковую черту 30-ти лѣтъ, отдѣляющую юность отъ мужества, мы, заучившіе наизусть первые стихи Пушкина, мы, едва успѣвшіе слѣдовать, такъ сказать, по пятамъ за его быстрымъ поэтическимъ бѣгомъ,—мы давно ужъ оплакали его безвременную кончину, а на школу его смотримъ уже какъ на «дѣла давно минувшихъ дней, преданья старины глубокой», любимъ ее только по отношенію къ собственному нашему развитію, только по воспоминанію о прекрасномъ времени нашей жизни, когда всякій новый журналъ, всякая новая книжка журнала, альманахъ, какой-нибудь сборъ «мечтаній и звуковъ» были для насъ праздникомъ, тотчасъ врѣзывались въ памяти, возбуждали живые восторги, шумные споры... И, если хотите, понятно, что мы въ то блаженное время давали Пушкину сподвижниковъ и товарищей, строили тріумвираты и цѣлыя школы; но понятно также и то, что теперь, при имени Пушкина, мы не знаемъ, кого вспомнить, кого назвать...

Б.—Какъ! столько именъ, столько славъ...

А.—Но вѣдь въ то время и Олинъ, авторъ «Корсара» и многихъ романтическихъ элегій, издатель безчисленнаго множества программъ несостоявшихся журналовъ и газетъ, и М. Дмитріевъ, сочинитель цѣлой книги стиховъ, и Раичъ, авторъ десятка плаксивыхъ стихотвореній, и Трилунный, переводчикъ и подражатель Байрона, и Ѳ. Н. Глинка, изобрѣтатель благоухающей нравственностью поэзіи, и много еще другихъ—все это были имена и славы, да еще какія!..

Б.—Но я разумѣю не ихъ, а Баратынскаго, Козлова, Давыдова (Дениса), Дельвига, Подолинскаго, Языкова. Помните, бывало, говаривали: Пушкинъ, Баратынскій, Языковъ?

А.—Да, т. е. тріумвиратъ... И точно, названные вами писатели недаромъ считались даровитыми. Въ нихъ выразился характеръ эпохи, теперь уже миновавшей; они завоевали себѣ мѣсто въ исторіи русской литературы. Я не люблю поэмъ Баратынскаго: въ нихъ больше ума, чѣмъ фантазіи; но между его лирическими произведеніями есть очень замѣчательныя. Мнѣ особенно нравится въ нихъ этотъ характеръ вдумчивости въ жизнь, который свидѣтельствуетъ о присутствіи мысли. Элегія Баратынскаго «На смерть Гёте»—превосходна. Козловъ замѣчателенъ особенно удачными переводами изъ Мура; но переводы его изъ Байрона всѣ слабы. Есть нѣсколько замѣчательныхъ пьесъ и между его собственными. У него много души; жаль только, что чувство его часто походитъ на чувствительность. Поэмы его вообще слабы; изъ нихъ «Чернецъ» замѣчателенъ по эффекту, который онъ произвелъ на публику и который напомнилъ объ эффектѣ «Бѣдной Лизы» Карамзина. Элегіи Давыдова часто дышутъ истинной поэзіей, и ихъ всегда можно перечесть съ удовольствіемъ, несмотря на ихъ однообразность. Вообще въ поэзіи Давыдова есть какая-то достолюбезная оригинальность, свой собственный характеръ. Имя Дельвига мнѣ любезно, какъ друга дѣтства Пушкина. Русскія пѣсни Дельвига очень хороши для фортепьяно и пѣнія въ комнатѣ, гдѣ онѣ удобно могутъ быть приняты за народно-русскія пѣсни. Въ подражаніяхъ Дельвига древнимъ много внѣшней истины, но незамѣтно главнаго—греческаго созерцанія жизни. Подолинскій былъ человѣкъ съ замѣчательнымъ дарованіемъ: въ его мелкихъ стихотвореніяхъ и въ поэмахъ много чувства и поэтическихъ мѣстъ; но у него никогда не бывало цѣлаго, особенно въ поэмахъ, которыя бѣдны содержаніемъ, слабы по концепціи, блѣдны по выполненію... Стихи Языкова блестятъ всею роскошью внѣшней поэзіи,—и если есть внѣшняя поэзія, то Языковъ— необыкновенно даровитый поэтъ. Онъ много сдѣлалъ для развитія эстетическаго чувства въ обществѣ: его поэзія была самымъ сильнымъ противодѣіемъ пошлому морализму и приторной элегической слезливости. Смѣлыми и рѣзкими словами и оборотами своими Языковъ много способствовалъ расторженію пуританскихъ оковъ, лежавшихъ на языкѣ и фразеологіи. Правда, его новыя слова и фразы почти всегда изысканы, неточны, а нерѣдко и грѣшатъ противъ вкуса; но они всѣмъ понравились, а потому и сдѣлали свое дѣло... Стихъ Языкова громокъ, звученъ, ярокъ; но въ немъ это—чисто внѣшнія достоинства, безъ всякаго отношенія къ содержанію. Да и что́ составляетъ содержаніе его поэзіи? или, лучше сказать, есть ли въ ней какое-нибудь содержаніе? Поэзія, полная содержаніемъ, всегда развивается, идетъ впередъ; поэзія, чуждая всякаго содержанія, всегда стоитъ на одномъ мѣстѣ, поетъ одно и то же, однимъ и тѣмъ же голосомъ. Вначалѣ она можетъ возбуждать фуроръ; но когда къ ней привыкнутъ, ея уже не читаютъ, а только безусловно хвалятъ... Проходитъ пылъ, остается дымъ и чадъ; поэтъ начинаетъ писать вялые, холодные и вообще плохіе стихи, которыхъ уже никто не почитаетъ стоящими даже порицаній... А мнѣ странно, что вы не упомянули о Хомяковѣ: хотя онъ по таланту и гораздо ниже Языкова, но послѣ Языкова какъ-то невольно вспоминаешь Хомякова. Это

Digitized by Google

не безъ причины: между ними много общаго, именно — внѣшняя красота стиха, независящая отъ смысла пьесы, и однообразіе въ манерѣ и предметахъ пѣснопѣній. Въ самомъ дѣлѣ, Языковъ все пѣлъ студентскіе пиры и студентскую удаль; Хомяковъ символически поетъ все о чемъ-то высокомъ и прекрасномъ; содержаніе пѣсенъ Языкова неподвижно; содержаніе пѣсенъ Хомякова также неподвижно, потому что это всегда одна и та же отвлеченная мысль, одни и тѣ же громкія слова; оба поэта часто обращаются въ своихъ стихахъ къ Россіи, — и ни у того, ни у другого не сорвалось съ пера ни одного русскаго слова, ни одного русскаго выраженія, на которое отозвалась бы русская душа или въ которомъ отозвалась бы русская душа. Не правда-ли, все это очень сходно? Но между тѣмъ тутъ есть и несходство: Языковъ кончаетъ не такъ, какъ началъ, — онъ утратилъ даже свой бойкій, звонкій и разгульный стихъ; Хомяковъ неизмѣненъ: онъ попрежнему владѣетъ стихомъ своимъ... Причина этой разности та, что для стиховъ Языкова — каковы бы ни были они — нуженъ былъ хоть пылъ молодости, если не вдохновеніе; для стиховъ же Хомякова этого не было нужно...

Б.—Но я не понимаю, что же вы разумѣете подъ школой Пушкина...

А.—Собственно ея и не было. Пушкинъ только развязалъ руки тогдашней молодежи на гладкій, бойкій стихъ, настроилъ ее на элегическій тонъ, вмѣсто торжественнаго, да ввелъ въ моду поэмы, вмѣсто балладъ; тайна же его поэзіи и по содержанію, и по формѣ для всѣхъ оставалась тайной. Въ его поэзіи всѣ видѣли одну внѣшнюю, поверхностную сторону, а во внутрь ея и не заглядывали...

Б.—Но въ чемъ же великое вліяніе Пушкина на русскую литературу, если школа, имъ созданная, такъ скоро исчезла, не оставивъ по себѣ слѣда?..

А.—Въ томъ именно, что, благодаря Пушкину, мы скоро оцѣнили эту школу по достоинству... Вліяніе Пушкина было не на одну минуту; оно окончится только развѣ со смертью русскаго языка. Сверхъ того странно было бы измѣрять достоинство поэта рожденной имъ школой. Мы не знаемъ, да и знать не хотимъ, создалъ-ли какую школу напримѣръ Байронъ: мы хотимъ знать только Байрона и судить о немъ по немъ самомъ, а не по его школѣ, еслибъ она и была. Не Пушкинъ виноватъ, что вмѣстѣ съ нимъ не явилось сильныхъ талантовъ. Притомъ же вліяніе великаго поэта замѣтно на другихъ поэтахъ не въ томъ, что его поэзія отражается въ нихъ, а въ томъ, что она возбуждаетъ въ нихъ собственныя ихъ силы: такъ, солнечный лучъ, озаривъ землю, не сообщаетъ ей своей силы, а только возбуждаетъ заключенную въ ней силу... У кого есть талантъ, и кто способенъ понять поэзію Пушкина, принять въ себя ея содержаніе,—тотъ конечно будетъ писать несравненно лучше, нежели какъ бы онъ писалъ, не зная Пушкина. А многіе-ли понимаютъ Пушкина?.. Повѣрьте мнѣ, надо быть выбрану изъ десяти тысячъ, чтобъ понимать Пушкина! Вѣдь это талантъ своего рода, и талантъ большой! Вотъ напримѣръ Веневитиновъ: хоть и нельзя указать явнаго вліянія Пушкина на его поэзію, но нѣтъ сомнѣнія, что онъ Пушкину обязанъ больше, чѣмъ кто-нибудь. Веневитиновъ самъ собой составилъ бы школу, еслибъ судьба не пресѣкла безвременно его прекрасной жизни, обѣщавшей такое богатое развитіе. Въ его стихахъ просвѣчивается дѣйствительно-идеальное, а не мечтательно-идеальное направленіе; въ нихъ видно содержаніе, которое заключало въ себѣ самодѣятельную силу развитія; но форма его поэтическихъ произведеній, даже самый характеръ ихъ, не обѣщали въ Веневитиновѣ поэта, — и я увѣренъ, что онъ скоро оставилъ бы поэзію для философскихъ созерцаній. На этомъ поприщѣ многаго можно было ожидать отъ него. Онъ возбудилъ къ себѣ сильное участіе, даже энтузіазмъ молодыхъ людей обоего пола своими произведеніями и въ стихахъ, и въ прозѣ: это участіе, этотъ энтузіазмъ были пророческіе... Говоря о поэтахъ того времени, нельзя не упомянуть о Полежаевѣ, какъ поучительномъ примѣрѣ необузданной силы безъ содержанія, — таланта безъ образованія,— вдохновенія безъ вкуса. Эта дикая натура пала жертвой собственной силы, разъ не такъ направленной, — пала жертвой собственнаго огня, не нашедшаго для себя настоящей пищи..

Б.—А Грибоѣдовъ?

А.—Онъ самъ по себѣ; онъ самъ цѣлая школа. Написавъ нѣсколько посредственныхъ опытовъ въ драматическомъ родѣ по французской мѣркѣ, онъ вдругъ является съ комедіей, для которой едва ли гдѣ могъ быть образецъ, не говоря уже о русской литературѣ. Языкъ, стихъ, слогъ— все оригинально въ «Горѣ отъ Ума». Содержаніе этой комедіи взято изъ русской жизни; пафосъ ея—негодованіе на дѣйствительность, запечатлѣнную печатью старины. Вѣрность характеровъ въ ней часто побѣждается сатирическимъ элементомъ. Полнотѣ ея художественности помѣшала неопредѣленность идеи, еще невполнѣ созрѣвшей въ сознаніи автора: справедливо во-

Digitized by Google

оружаясь противъ безсмысленнаго обезьянства въ подражаніи всему иностранному, онъ зоветъ общество къ другой крайности—къ «китайскому незнанью иноземцевъ». Не понявъ, что пустота и ничтожество изображеннаго имъ общества происходятъ отъ отсутствія въ немъ всякихъ убѣжденій, всякаго разумнаго содержанія, онъ слагаетъ всю вину на смѣшные бритые подбородки, на фраки съ хвостомъ назади, съ выемкой впереди, и съ восторгомъ говоритъ о величавой одеждѣ долгополой старины... Но это показываетъ только незрѣлость, молодость таланта Грибоѣдова: «Горе отъ Ума», несмотря на всѣ свои недостатки, кипитъ геніальными силами вдохновенія и творчества. Грибоѣдовъ еще не былъ въ состояніи спокойно владѣть такими исполинскими силами. Еслибы онъ успѣлъ написать другую комедію, она далеко оставила бы за собой «Горя отъ Ума». Это видно изъ самаго «Горе отъ Ума»: въ немъ такъ много ручательствъ за огромное поэтическое развитіе... Какая убійственная сила сарказма, какая ѣдкость іроніи, какой паѳосъ въ лирическихъ изліяніяхъ раздраженнаго чувства; сколько сторонъ, такъ тонко подмѣченныхъ въ обществѣ; какіе типическіе характеры; какой языкъ, какой стихъ — энергическій, сжатый, молніеносный, чисто русскій! Удивительно ли, что стихи Грибоѣдова обратились въ поговорки и пословицы и разнеслись между образованными людьми по всѣмъ концамъ земли русской! Удивительно ли, что «Горе отъ Ума» еще въ рукописи было выучено наизусть цѣлой Россіей!.. Грибоѣдовъ наводитъ мнѣ на душу грустную мысль о трагической судьбѣ русскихъ поэтовъ... Батюшковъ въ цвѣтѣ лѣтъ и полнотѣ поэтической дѣятельности... хуже, чѣмъ умеръ; Грибоѣдовъ, Пушкинъ, Лермонтовъ погибли безвременно...

....иль вся наша
И жизнь не что, какъ сонъ пустой,
Насмѣшка рока надъ землей?...

Б.—Прерываю ваше поэтическое раздумье прозаическимъ вопросомъ: говоря о поэтахъ до-Пушкинской эпохи, вы забыли Мерзлякова, котораго русскія пѣсни впрочемъ принадлежатъ къ позднѣйшему времени.

А.—Да много ли его русскихъ пѣсенъ-то? «Среди долины ровныя» — не народная, и даже не простонародная, а развѣ сантиментально-мѣщанская пѣсня. «Чернобровый, черноглазый» и «Не липочка кудрявая»—прекрасныя и выдержанныя пѣсни; всѣ другія—съ проблесками національности, но и съ «чувствительными» противъ нея обмолвками. Въ поэзіи Мерзлякова есть чувство, но нѣтъ мысли. Теорія его—французско-классическая; слѣдовательно объ ней можно и не говорить. Переводы его изъ древнихъ не изящны: въ нихъ не вѣетъ жизнью эллинскаго духа. Мерзляковъ смотрѣлъ на древнихъ сквозь Лагарповскія очки. Онъ переводилъ идилліи г-жи Дезульеръ и ужасными виршами пересказалъ на книжномъ русскомъ языкѣ временъ Хераскова «Освобожденный Іерусалимъ» Тасса.

Б.—Къ кому же мы теперь перейдемъ отъ Пушкина и Грибоѣдова?

А.—Къ повѣсти и роману. Пресытившись стихами, мы захотѣли прозы; а примѣръ Вальтеръ-Скотта былъ очень соблазнителенъ... Марлинскій первый началъ писать русскія повѣсти. Онѣ были для своего времени то же, что̀ повѣсти Карамзина для той эпохи; разница между ними только та, что однѣ романтическія, другія классическія, въ простомъ смыслѣ этихъ словъ. «Юрій Милославскій» былъ первымъ русскимъ историческимъ романомъ. Онъ явился очень во̀-время, когда всѣ требовали русскаго и русскаго. Вотъ причина его необыкновеннаго успѣха. Теперь онъ—пріятное и полезное чтеніе для дѣтей отъ 7 до 12 лѣтъ включительно и для простого народа. Жаль, что онъ не изданъ въ числѣ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ экземпляровъ и не продается копѣекъ по 20 серебромъ; онъ много бы могъ принести пользы. Я не буду исчислять всѣхъ повѣстей и романовъ, всѣхъ нувеллистовъ и романистовъ: это былъ бы безполезный трудъ и скучный разговоръ. Романистовъ было много, а романовъ мало, и между романистами совершенно забытъ ихъ родоначальникъ—Нарѣжный. Въ 1804 году издалъ онъ отчаянную романтическую трагедію «Дмитрій Самозванецъ», которая была сколкомъ съ «Разбойниковъ» Шиллера; потомъ печаталъ повѣсти и романы—блѣдные, безцвѣтные, манерные, во вкусѣ Жанлисъ. Въ 1824 г. онъ издалъ «Бурсака», а въ 1825 — «Два Ивана», романы, запечатлѣнные талантомъ, оригинальностью, комизмомъ, вѣрностью дѣйствительности. Ихъ обвиняли тогда въ грубой простонародности, но главный ихъ недостатокъ состоялъ въ бѣдности внутренняго содержанія. Онъ еще написалъ что-то вродѣ «русскаго Жилблаза», который былъ почище всѣхъ Выжигиныхъ, хотя и имѣлъ несчастье подать поводъ къ появленію этихъ литературныхъ бродягъ и выродковъ... Лучшій романистъ Пушкинскаго періода литературы нашей, безъ сомнѣнія,—Лажечниковъ. «Новикъ» его слишкомъ полонъ, такъ сказать, обремененъ внутреннимъ обиліемъ: видно, что онъ—первое произведеніе автора; но въ немъ много теплоты, одушевленія, много прекрасныхъ частностей. «Ледяной домъ» есть лучшее произведеніе Лажеч-

Digitized by Google

никова по содержанію, по одушевленію, которымъ онъ спокойно проникнутъ, по характерамъ лицъ, по превосходнымъ частностямъ и полнотѣ цѣлаго. Въ «Басурманѣ» Лажечниковъ перенесся въ чуждую ему сферу жизни, которая всѣхъ менѣе можетъ дать содержаніе для романа. Несмотря на то, недостаточный въ цѣломъ, «Басурманъ» не чуждъ превосходныхъ отдѣльныхъ мѣстъ; къ лучшимъ изъ нихъ принадлежатъ тѣ, гдѣ является грозное лицо Іоанна III, дѣда настоящаго Грознаго; также сцена трагической смерти нѣмца-лекаря, замученнаго татарами... Жаль, что Лажечниковъ мало пишетъ: онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, которыхъ вліяніе особенно сильно на эстетическое и нравственное развитіе современнаго имъ общества. Что касается до повѣсти—она со времени появленія Марлинскаго до Гоголя играла роль ученицы, и только въ отрывкѣ изъ романа Пушкина «Арапъ Петра Великаго» на минуту явилась мастеромъ, въ смыслѣ нѣмецкаго мейстера или итальянскаго маэстро. Съ Гоголя начался русскій романъ и русская повѣсть, какъ съ Пушкина началась истинно-русская поэзія... Гоголь внесъ въ нашу литературу новые элементы, породилъ множество подражателей, навелъ общество на истинное созерцаніе романа, какимъ онъ долженъ быть: съ Гоголя начинается новый періодъ русской литературы, русской поэзіи.

Б.—Воля ваша, а мнѣ кажется, что вы увлекаетесь и видите въ Гоголѣ далеко больше того, что̀ въ немъ есть. Что̀ говорить—талантъ, и талантъ замѣчательный, удивительное искусство вѣрно списывать съ натуры; но — согласитесь сами — вѣдь дѣйствительная и высокая сторона въ искусствѣ есть идеалы, а что̀ за идеальныя лица—какой-нибудь взяточникъ городничій, мѣщанка Пошлепкина, какой нибудь Иванъ Ивановичъ или Иванъ Никифоровичъ?...

А.—Вы очень вѣрно выразили мнѣніе толпы о Гоголѣ, и, по моему мнѣнію, толпа совершенно права съ своей точки зрѣнія...

Б.—Какъ хотите, но я охотно готовъ быть представителемъ толпы въ этомъ случаѣ. Смѣяться и смѣяться, смѣшить и смѣшить—это, право, совсѣмъ не то, что умилять сердца, возвышать душу...

А.—Совершенная правда. Смѣшить—дѣло весельчаковъ и забавниковъ, а смѣяться —дѣло толпы. Чѣмъ грубѣе и необразованнѣе человѣкъ, тѣмъ онъ болѣе расположенъ смѣяться всякой плоскости, хохотать всякому вздору. Ничего нѣтъ легче, какъ разсмѣшить его. Онъ не понимаетъ, что можно плакать и рыдать, когда сердце хочетъ выскочить изъ груди отъ полноты блаженства и радости, и что можно хохотать до безумія, когда сердце сдавлено тоской или разрывается отчаяніемъ. Ступайте въ русскій театръ, когда тамъ даютъ «Гамлета»,—и вы услышите вверху (а иногда и внизу) самый веселый, самый добродушный смѣхъ, когда Гамлетъ, заколовъ Полонія, на вопросъ матери: «кого ты убилъ?» отвѣчаетъ «мышь!»... Помните ли вы еще разговоръ Гамлета съ Полоніемъ, съ актерами и съ Офеліей: мнѣ становилось страшно отъ этихъ сценъ ужасной иронія, глубоко оскорбленной и тяжко страдающей души датскаго принца; а другіе если не дремали, то смѣялись... Я хочу сказать этимъ совсѣмъ не то, что Шекспиръ и Гоголь—одно и то-же, или что «Гамлетъ» Шекспира и «Миргородъ» Гоголя—одно и то же,—нѣтъ, я говорю только, что смѣхъ смѣху —рознь... Еслибы изъ «Тараса Бульбы» сдѣлать драму,—я увѣренъ, что въ страшной сценѣ казни, когда старый казакъ на вопль сына: «слышишь ли, батьку?» отвѣчаетъ: «Слышу, сынку!» многіе отъ души расхохотались бы... И въ самомъ дѣлѣ, не смѣшно ли иному благовоспитанному, милому и образованному чиновнику, который привыкъ называть отца уже не то, чтобы «тятенькой», но даже «папенькой», не смѣшно ли ему слышать это грубое, хохлацкое «батьку» и «сынку»!... Надо сказать правду: у насъ вообще смѣяться не умѣютъ и всего менѣе понимаютъ «комическое». Его обыкновенно полагаютъ въ фарсѣ, въ карикатурѣ, въ преувеличеніи, въ изображеніи низкихъ и пошлыхъ сторонъ жизни. Я говорю это не въ осужденіе нашему обществу. Постиженіе комическаго—вершина эстетическаго образованія. Шиллеръ, великій Шиллеръ признается, что въ первой порѣ своей юности, при началѣ знакомства съ Шекспиромъ, его возмущала эта холодность, безстрастіе, дозволявшія Шекспиру шутить въ самыхъ высокихъ, патетическихъ мѣстахъ и разрушать явленіемъ шутовъ впечатлѣнія самыхъ трогательныхъ сценъ въ «Гамлетѣ», «Лирѣ», «Макбетѣ» и т. д., останавливать ощущеніе тамъ, гдѣ оно желало бы безостановочно стремиться впередъ, или хладнокровно отрывать его отъ тѣхъ мѣстъ, на которыхъ бы оно такъ охотно остановилось и успокоилось *). Идеальное трагическое открывается юному чувству непосредственно и сразу; идеальное комическое дается только развитому и образованному чувству человѣка, знающаго жизнь не по однимъ восторженнымъ мечтаніямъ и не по наслышкѣ. На такого человѣка комическое часто про-

*) См. его «Abhandlung über naive und sentimentalische Richtung».

Digitized by Google

изводитъ обратное дѣйствіе: возбуждаетъ въ немъ не веселый смѣхъ, а одно скорбное чувство. Онъ улыбается, но въ его улыбкѣ столько меланхоліи...

Комизмъ еще не составляетъ основного элемента всѣхъ сочиненій Гоголя. Онъ разлитъ преимущественно въ «Вечерахъ на Хуторѣ близъ Диканьки». Это комизмъ веселый, улыбка юноши, привѣтствующаго прекрасный Божій міръ. Тутъ все свѣтло, все блеститъ радостью и счастьемъ; мрачные духи жизни не смущаютъ тяжелыми предчувствіями юнаго сердца, трепещущаго полнотой жизни. Здѣсь поэтъ какъ бы самъ любуется созданными имъ оригиналами. Однакожъ эти оригиналы не его выдумка, они смѣшны не по его прихоти; поэтъ строго вѣренъ въ нихъ дѣйствительности. И потому всякое лицо говоритъ и дѣйствуетъ у него въ сферѣ своего быта, своего характера и того обстоятельства, подъ вліяніемъ котораго оно находится. И ни одно изъ нихъ не проговаривается: поэтъ математически вѣренъ дѣйствительности и часто рисуетъ комическія черты, безъ всякой претензіи смѣшить, но только покоряясь своему инстинкту, своему такту дѣйствительности. Смѣхъ толпы для него бываетъ оскорбителенъ въ такихъ случаяхъ; онъ смѣется тамъ, гдѣ надо удивляться тонкой чертѣ дѣйствительности, вѣрно и зорко подмѣченной, удачно схваченной. Въ повѣстяхъ, помѣщенныхъ въ «Арабескахъ», Гоголь отъ веселаго комизма переходитъ къ «юмору», который у него состоитъ въ противоположности созерцанія истинной жизни, въ противоположности идеала жизни — съ дѣйствительностью жизни. И потому его юморъ смѣшитъ ужъ только простяковъ или дѣтей; люди, заглянувшіе въ глубь жизни, смотрятъ на его картины съ грустнымъ раздумьемъ, съ тяжкой тоской.... Изъ за этихъ чудовищныхъ и безобразныхъ лицъ, имъ видятся другіе, благообразные лики; эта грязная дѣйствительность наводитъ ихъ на созерцаніе идеальной дѣйствительности, и то, что̀ есть, яснѣе представляетъ имъ то, что̀ бы должно быть... Въ «Миргородѣ» этотъ юморъ особенно проникаетъ собой насквозь дивную повѣсть о ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ; оканчивая ее, вы отъ души восклицаете съ авторомъ: «Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!» точно, какъ-будто выходя изъ дома умалишенныхъ, гдѣ съ горькой улыбкой смотрѣли вы на глупости несчастныхъ больныхъ... Въ этомъ смыслѣ комедія Гоголя «Ревизоръ» стоитъ всякой трагедіи. Что же касается до искусства Гоголя вѣрно списывать съ натуры — это изъ тѣхъ безсмысленно-пошлыхъ выраженій, которыя оскорбляютъ своей нелѣпостью здравый смыслъ. Подобная похвала — оскорбленіе. Гоголь творитъ вѣрно природѣ; списываютъ съ природы не живописцы, а маляры, и ихъ списки—чѣмъ вѣрнѣе, тѣмъ безжизненнѣе для всякаго, кому неизвѣстенъ подлинникъ. Вѣрность натурѣ въ твореніяхъ Гоголя вытекаетъ изъ его великой творческой силы, знаменуетъ въ немъ глубокое проникновеніе въ сущность жизни, вѣрный тактъ, всеобъемлющее чувство дѣйствительности. И это ужъ многіе чувствуютъ, хотя еще и слишкомъ немногіе сознаютъ. Теперь всѣ стараются писать вѣрно натурѣ, всѣ сдѣлались юмористами: таково всегда вліяніе геніальнаго человѣка! Новый Колумбъ, онъ открываетъ неизвѣстную часть міра, и открываетъ ее для удовлетворенія своего безпокойно рвущагося въ безконечность духа; а ловкіе антрепренеры стремятся по слѣдамъ его толпой, въ надеждѣ разбогатѣть чужимъ добромъ!...

Б.—И вотъ мы приблизились къ самому интересному для насъ предмету—къ современной намъ литературѣ. О настоящемъ всегда говорится больше, чѣмъ объ отдаленномъ: малѣйшія подробности имѣютъ интересъ; самое маленькое дарованіе имѣетъ цѣну...

А.—И однакожъ я всего менѣе намѣренъ распространяться о современной литературѣ, во-первыхъ, для того, чтобъ не наговорить много о пустякахъ, а во-вторыхъ, чтобъ не раздразнить гусей... Правда, у насъ и теперь не безъ дарованій, болѣе или менѣе замѣчательныхъ; скажу болѣе: въ нашей грустной эпохѣ много утѣшительнаго. Пора дѣтскихъ очарованій теперь миновалась безъ возврата, и если теперь огромные авторитеты составляются иногда въ одинъ день, зато они часто и пропадаютъ безъ вѣсти на слѣдующій же день. Теперь очень трудно стало прослыть за человѣка съ дарованіемъ: такъ много писано во всѣхъ родахъ, столько было опытовъ и попытокъ, удачныхъ и неудачныхъ, во всѣхъ родахъ, что дѣйствительно надо что-нибудь получить отъ природы, чтобъ обратить на себя общее вниманіе.,. Пушкинъ и Гоголь дали намъ такіе критеріумы для сужденія объ изящномъ, съ которыми трудно отъ чего-нибудь разъѣхаться,.. Хорошую сторону современной литературы составляетъ и обращеніе ея къ жизни, къ дѣйствительности: теперь ужъ всякое, даже посредственное, дарованіе силится изображать и описывать не то, что̀ приснится ему во снѣ, а то, что̀ есть или бываетъ въ обществѣ, въ дѣйствительности. Такое направленіе много обѣщаетъ въ будущемъ. Но современная литература много теряетъ отъ то-

Digitized by Google

го, что у ней нѣтъ головы; даже яркіе таланты поставлены въ какое-то неловкое положеніе: ни одинъ изъ нихъ не можетъ стать первымъ и по необходимости теряется въ числѣ, каково бы оно ни было. Гоголь давно ничего не печатаетъ; Лермонтова уже нѣтъ,—

Не расцвѣлъ и отцвѣлъ
Въ утрѣ пасмурныхъ дней,
Что любилъ, въ томъ нашелъ
Гибель жизни своей...

А какое пышное развитіе обѣщалъ этотъ богатый дарами природы, этотъ мощный и глубокій духъ!.. Публика встрѣтила его, какъ представителя новаго періода литературы, хотя и видѣла еще одни опыты его... Предчувствія общества не обманчивы: гласъ Божій—гласъ народа!..

Б.—А вѣдь результатъ нашего разговора рѣшительно въ мою пользу. Вы спрашивали меня съ насмѣшкой: «Да гдѣ жъ онѣ? давайте ихъ!» — и сами не только насчитали множество именъ знаменитыхъ и великихъ, но и нашли въ нашей литературѣ внутреннюю жизнь, историческое движеніе, гдѣ послѣдующее выходитъ изъ предыдущаго...

А.—Въ самомъ дѣлѣ? Посмотримте-ка, сколько знаменитыхъ и великихъ именъ насчитали мы... Ломоносовъ — какъ великій характеръ (качество, не обогащающее нашей литературы!), какъ авторъ нѣсколькихъ ученыхъ сочиненій, имѣющихъ теперь историческое достоинство; Фонвизинъ, какъ умный писатель, котораго небольшая книга имѣетъ для насъ значеніе «мемуаровъ», передавшихъ намъ духъ и характеръ русскаго XVIII вѣка; Державинъ, Карамзинъ, Дмитріевъ, Озеровъ, какъ лица, имѣющія большее или меньшее значеніе въ исторіи русской литературы, русскаго общественнаго образованія,—авторитеты, съ которыми мы должны знакомиться въ школѣ, и которыхъ ужъ не можетъ читать, вышедши изъ школы въ свѣтъ; — авторы, которыхъ имена для насъ священны, но которыхъ значеніе — наша семейная тайна, неразрѣшимая для иностранцевъ, хотя бы иностранцы и могли прочесть ихъ на своихъ языкахъ... Итакъ, вотъ уже шесть именъ... Далѣе: Крыловъ, геніальный писатель національныхъ басенъ—этой поэзіи здраваго разсудка... Жуковскій, внесшій въ нашу литературу и въ нашу жизнь романтическіе элементы и усвоившій намъ нѣсколько превосходныхъ произведеній нѣмецкой и англійской словесности, которыя тамъ читаются въ подлинникѣ... Батюшковъ—замѣчательный талантъ, неопредѣленно и блѣдно развившійся по недостатку содержанія; поэзія его поэтому не можетъ быть перенесена на почву чуждаго слова, не подвергаясь опасности завянуть и выдохнуться... Гнѣдичъ, превосходный переводчикъ «Иліады»,—совершитель подвига, важнаго и великаго только для насъ... Пушкинъ и Гоголь,—вотъ поэты, о которыхъ нельзя сказать: «я ужъ читалъ!», но которыхъ чѣмъ больше читаешь, тѣмъ больше пріобрѣтаешь; вотъ истинное, капитальное сокровище нашей литературы... Если Пушкинъ найдетъ достойныхъ переводчиковъ, то не можетъ не обратить на себя изумленнаго вниманія Европы; но все-таки онъ и не можетъ быть тамъ оцѣненъ по достоинству; этому всегда помѣшаетъ объемъ и глубина содержанія его поэзіи, далеко не могущія состязаться съ объемомъ и глубиной содержанія, какимъ проникнута поэзія великихъ представителей европейскаго искусства... Иностранецъ, коротко ознакомившійся съ Россіей и ея языкомъ, не можетъ не признать въ Пушкинѣ, какъ въ художникѣ, міровой творческой силы, которой нечего бояться чьего бы то ни было соперничества; многія лирическія стихотворенія, выражающія субъективность Пушкина, еще болѣе утвердятъ его въ этомъ убѣжденіи; но тѣ творенія Пушкина, въ которыхъ онъ выходилъ на историческую почву жизни, и которыхъ величіе и колоссальность необходимо зависитъ отъ содержанія, покажутъ ему, что Пушкинъ, слишкомъ рано родившись для Россіи, слишкомъ рано и умеръ для нея... Общественные интересы современной Европы развились изъ почвы тысячелѣтняго всемірно-историческаго развитія и могутъ возбуждаться только такимъ поэтическимъ содержаніемъ, которое оплодотворяетъ собою вѣкъ, творитъ новую исторію, и какимъ проникнуты творенія Шекспира, Байрона, Шиллера и Гёте... Сказанное о Пушкинѣ можно примѣнить и къ Гоголю... Теперь кто же остается? — Грибоѣдовъ, написавшій одну комедію, да Лермонтовъ, написавшій одинъ романъ въ прозѣ, небольшую книжку стихотвореній. Изъ прежней школы—Жуковскій, Батюшковъ, Крыловъ — вотъ и всѣ... Вы говорите, что я нашелъ въ нашей литературѣ даже внутреннюю историческую послѣдовательность: правда, но все это еще не составляетъ литературы въ полномъ смыслѣ слова. Литература есть народное сознаніе, выраженіе внутреннихъ, духовныхъ интересовъ общества, которыми мы пока еще очень небогаты. Нѣсколько человѣкъ еще не составляютъ общества, а нѣсколько идей, пріобрѣтенныхъ знакомствомъ съ Европою, еще менѣе можетъ назваться національнымъ сознаніемъ. Наша публика безъ литературы: потому что въ годъ пять-шесть хорошихъ сочиненій на нѣсколько сотенъ дурныхъ—еще не лите-

Digitized by Google

ратура; наша литература безъ публики, потому что наша публика что-то загадочное: одинъ читалъ Пушкина, другой въ восторгѣ отъ Бенедиктова, а третій былъ безъ ума отъ мистерій Тимофеева; одинъ понимаетъ Гоголя, другой еще въ полномъ удовольствіи отъ Марлинскаго, а третій не знаетъ ничего лучше романовъ Зотова и Воскресенскаго... Театральные судьи равно хлопаютъ и «Гамлету», и водевилямъ Коровкина, и «Парашѣ» Полевого... И не думайте, чтобъ это были люди разныхъ сферъ и классовъ общества,—нѣтъ, они всѣ перемѣшаны и перетасованы, какъ колода картъ... Историческій ходъ свой наша литература совершила въ самой же себѣ: ея настоящей публикой былъ самъ пишущій классъ, и только самыя великія явленія въ литературѣ находили болѣе или менѣе разумный отзывъ во всей массѣ грамотнаго общества... Но будемъ смотрѣть на литературу просто, какъ на постоянный предметъ занятія публики, слѣдовательно какъ на безпрерывный рядъ литературныхъ новостей; что жъ это за литература! Да занимайте вы десять должностей, утопайте въ практической дѣятельности, а на чтеніе посвятите время между обѣдомъ и кофе,—и тогда не на одинъ день останетесь вы безъ чтенія. Въ журналахъ все — переводы, а оригинальнаго развѣ три-четыре порядочныя повѣсти въ годъ, да нѣсколько стихотвореній, да книгъ съ полдюжины, включая сюда и ученыя—вотъ и все. Тогда, читая въ журналахъ статьи о процвѣтаніи русской литературы, поневолѣ восклицаете, протяжно зѣвая: «Да гдѣ жъ онѣ?—давайте ихъ!»... Любопытно было бы сдѣлать хоть одинъ перечень литературныхъ явленій за цѣлый годъ...

Но это мы сдѣлаемъ уже сами, тѣмъ болѣе, что это такъ не трудно сдѣлать: Библіографическая Хроника «Отечественныхъ Записокъ», не пропускающая ни одной новой книги, изданной въ Россіи, даетъ намъ всѣ нужные для такого дѣла матеріалы. Если прерванный нами разговоръ сколько-нибудь заинтересовалъ васъ, читатели, то и наша приписка къ нему не должна миновать вашего вниманія: можетъ-быть въ этомъ годичномъ обзорѣ найдете вы кое-какія поясненія и дополненія къ длинному разговору; по крайней мѣрѣ встрѣтите имена, не упомянутыя тамъ, но извѣстныя давно или недавно и играющія первыя роли въ современной русской литературѣ...

Начнемъ съ журналовъ. Въ журналахъ теперь сосредоточилась наша литература, и оригинальная, и переводная. Въ нихъ помѣщаются теперь повѣсти, которыя недавно издавались особо, частяхъ въ двухъ, въ трехъ и четырехъ; въ нихъ цѣликомъ печатаются романы, которыхъ каждая глава стоитъ иной повѣсти недавняго времени; въ нихъ печатаются драмы, историческія книги, и т. д. Ко всему этому надо прибавить, что наши журналы изъ всѣхъ силъ стремятся къ многосторонности и всеобъемлемости — не во взглядѣ, о которомъ, правду сказать, немногіе изъ нихъ думаютъ,—а въ разнообразіи входящихъ въ ихъ составъ предметовъ: тутъ и политика, и исторія, и философія и критика, и библіографія, и сельское хозяйство, и изящная словесность — чего хочешь, того просишь. Многіе не видятъ во всемъ этомъ добра и толкуютъ обо всемъ этомъ вкось и вкривь,— а ларчикъ просто открывался! Человѣкъ съ дарованіемъ переводитъ драму Шекспира; напечатать ему свой переводъ не на что, наудачу пуститься нельзя, потому что, каковъ бы ни былъ переводъ, все-таки нельзя надѣяться, чтобъ его разошлось болѣе двухъ десятковъ экземпляровъ, и то развѣ года въ два... Что жъ тутъ остается дѣлать? — Напечатать въ журналѣ. Это и прекрасно: тѣ, которые могутъ судить о Шекспирѣ и оцѣнить переводъ, прочтутъ можетъ быть еще нечитанную ими драму великаго творца; а тѣ, которые никакихъ другихъ драматическихъ красотъ, кромѣ «репертуарныхъ», не смыслятъ,—тѣ будутъ вознаграждены какой-нибудь большой сказкой, въ той-же книжкѣ журнала напечатанной... Въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года было помѣщено цѣлое большое историческое сочиненіе «Альбигойцы», которое было всѣми прочтено съ жадностью и произвело общій восторгъ; будь же оно издано отдѣльно, его никто бы не прочелъ, о немъ никто бы не узналъ, переводчикъ напрасно потратилъ бы трудъ и время, а издатель деньги... Этихъ примѣровъ слишкомъ достаточно для объясненія, почему журналистика поглотила всю литературу. Это не прихоть, не произволъ, даже не разсчетъ со стороны журналистовъ: причина дѣла въ необходимости, въ самой дѣйствительности... Что журналистъ хочетъ обнять своимъ журналомъ всѣ области литературы и науки, удовлетворить всѣмъ потребностямъ общества — отъ стиховъ до статей о свекловичномъ сахарѣ и удобреніи полей разными средствами, — здѣсь тоже очень простая причина: онъ хочетъ, чтобъ его журналъ читала публика... У насъ еще не можетъ быть спеціальныхъ журналовъ, намъ пожалуйте всего за однѣ и тѣ-же деньги; мы хотимъ не мнѣнія, не руководительнаго начала, не предмета для ученія или размышленія,—мы хотимъ чтенія, какъ средства

Digitized by Google

отъ скуки, потому что однѣ карты да карты, сплетни да сплетни,—оно конечно хорошо, да вѣдь прискучитъ же... Семейство выписываетъ журналъ,—журналистъ долженъ угодить всѣмъ членамъ этого семейства; отецъ-старикъ читаетъ напримѣръ перечень событій въ отечествѣ и статьи по части сельскаго хозяйства; мать—повѣсти и модныя извѣстія; сынъ—критику и разборы книгъ; дочь—стихи, повѣсти и модныя извѣстія; смѣсь—всѣ. Не угодите одному, останутся недовольны всѣ! За-границей сущность журнала состоитъ въ его мнѣніи, и потому тамъ журналисту нечего бояться соперничества, не къ чему хвататься за множество такихъ предметовъ: у него есть мнѣніе—есть и подписчики, потому что, кто раздѣляетъ его доктрину, тотъ будетъ читать его журналъ, слѣдовательно ему не помѣшаютъ, его не заслонятъ, не задавятъ другіе журналы, хотя бы у нихъ были десятки тысячъ подписчиковъ. Тамъ гибнетъ только безцвѣтность, безхарактерность, безсиліе и бездарность. Толстота нашихъ журналовъ тоже не разсчетъ, а необходимость. И въ городѣ скучно жить—о деревнѣ нечего и говорить: вы получаете книжку журнала столь полновѣсную, что предвидите цѣлую недѣлю чтенія—не счастье ли, не блаженство ли это?.. Иные же слабы глазами или не привыкли читать скоро—имъ на цѣлый мѣсяцъ, занятіе; шутка ли это?.... Тощіе содержаніемъ и талантомъ журналы истощаютъ послѣднее свое остроуміе на насмѣшки надъ толстыми журналами, а толстые журналы рѣдко даже замѣчаютъ тощихъ... Все это въ порядкѣ вещей, и все это русская литература!..

Приступая къ журналамъ, начнемъ со старѣйшаго изъ нихъ—съ «Сына Отечества». Онъ кончился нынѣшній годъ сорокъ третьимъ нумеромъ, вмѣсто пятидесяти-втораго... Въ этой 43 книжкѣ особенно примѣчательна статья о первомъ томѣ «Русской Бесѣды»: разсказывается строкахъ въ трехъ содержаніе каждой пьесы, потомъ дѣлается большая выписка изъ пьесы, а изъ всего этого выводится подразумѣваемое слѣдствіе, что пьеса очень хороша... Какой наивный способъ критиковать книги и наполнять журналъ... Странное дѣло! мы всѣми силами старались слѣдить за «Сыномъ Отечества»: получимъ, бывало, отсталую книжку—тотчасъ же читать—и ничего не прочтемъ... Публика въ отношеніи къ «Сыну Отечества» была за одно съ нами, съ той только разницей, что даже и не разрѣзывала его... А кажется, чего въ немъ нѣтъ—и политика, и сокращенные романы, и экстракты изъ повѣстей, а въ смѣси всегда бездна остроумія—ничто не помогло! Съ будущаго года «Сынъ Отечества» снова возрождается, юнѣетъ... Бѣдный старецъ! найдетъ ли онъ наконецъ для своихъ изсохшихъ, желтѣющихъ костей мертвую и живую воду — не знаемъ; но обыкновенной, прѣсной воды въ немъ много... Не далѣе, какъ передъ началомъ прошлаго года, грозная афиша возвѣстила, что баронъ Брамбеусъ, по врожденному его великодушію, не помня зла, рѣшается протянуть свою высокородную руку падшему врагу, чтобъ поднять его. И дѣйствительно, баронъ руку-то протянулъ, но врага-то не поднялъ—у старика, видно, отнялись ноги или можетъ-быть у барона ослабли руки?.. Оставимъ же ихъ, пожелавъ имъ добраго здравія и укрѣпленія силъ, и обратимся къ «Библіотекѣ для Чтенія», которая должна непосредственно слѣдовать за «Сыномъ Отечества».

«Библіотека для Чтенія» съ 1839 года какъ будто пошатнулась — начала опаздывать, чего съ ней прежде не бывало; начала печатать статьи объ искусствѣ, которыхъ смыслъ остается доселѣ тайной для публики и здраваго смысла. Въ девяти книжкахъ тянулся романъ Кукольника «Эвелина де Вальероль»; получая слѣдующую книжку, публика забывала, что́ прочла въ предшествовавшей: это было очень удобно придумано для доставленія публикѣ пріятнаго и занимательнаго чтенія. Въ пятой книжкѣ вдругъ явился экстрактъ изъ романа Тика «Витторія Аккоромбона», вполнѣ переведеннаго и напечатаннаго въ третьей и четвертой книжкахъ «Отечественныхъ Записокъ»... Отдѣлы «Литературной Лѣтописи» и «Смѣси» въ «Библіотекѣ для Чтенія» были—особенно первое—по два, по три листочка, увеличиваясь только въ послѣднихъ книжкахъ стараго и первыхъ книжкахъ новаго года, какъ это воспослѣдовало и теперь. Но умный человѣкъ и на одной страничкѣ найдется, что́ сказать! «Библіотека для Чтенія»... была очень находчива въ этомъ отношеніи... Четвертая книжка ея вдругъ, ни съ того, ни съ сего, пустилась разсуждать о Гомерѣ, гекзаметрѣ, о томъ, какъ должно переводить Гомера.. Не довольствуясь разсужденіями, она — такая добрая! — не оставила поучить, — разумѣется тѣхъ, кто захочетъ учиться у ней,—самымъ дѣломъ и представила или, какъ выражается С. Н. Глинка, «предъявила» образчики своихъ трудовъ по части сочиненія настоящихъ, самыхъ лучшихъ гекзаметровъ; но приступила къ этому очень тонко и ловко: она объявила, что критика— вздоръ, шарлатанство, ибо-де критика есть не что иное, какъ личное мнѣніе, «ничтожная, безпослѣдственная, част-

Digitized by Google

ная болтовня»... Avis aux lecteurs! Что касается до насъ,—мы очень рады этому «извѣстію»: оно объяснило намъ, что̀ такое критика въ «Библіотекѣ для Чтенія». Изъ снисхожденія къ требованіямъ педантовъ, вдругъ пускается она въ ученую критику, говоря: «Я объявляю, что напрягу всѣ силы, чтобы, елико возможно, быть важнымъ и не смѣяться. Скучайте! Мнѣ до этого дѣла нѣтъ». И что же! Не возможно лучше и честнѣе сдержать даннаго слова: статья вышла скучная, прескучная... «Библіотека для Чтенія» пустилась разсуждать объ отношеніи музыки къ гекзаметру и гекзаметра къ музыкѣ, и обнаружила по обоимъ этимъ предметамъ столько природнаго знанія, что, читая статью ея, такъ и приговариваешь къ каждому слову: «Справедливо, все справедливо, Петръ Ивановичъ; замѣчанія такія... видно, что наукамъ учился». Результатомъ всѣхъ этихъ тоническихъ и метрическихъ разглагольствованій на восемнадцати страницахъ былъ знаменитый стихъ: «По берегу Невы Маша ходила бѣлой босой ногой, собирая ягоды, и отморозила себѣ носъ...» Послѣ этого стиха о «Библіотекѣ для Чтенія» скорѣе можно сказать, что она не выдумаетъ пороху, нежели, что она не сочинитъ стиху...

За диссертаціей слѣдуетъ разборъ дрянного опыта перевода «Одиссеи», а въ разборѣ развитіе слѣдующихъ двухъ великихъ идей: № 1. «Бѣдный Гнѣдичъ убилъ всю жизнь свою на усердное коверканье «Иліады» во всѣхъ возможныхъ отношеніяхъ, на составленіе самой уродливой карикатуры ея размѣру, ея гармоніи, цвѣту, физіономіи, духу, и умеръ въ томъ блаженномъ убѣжденіи, что онъ познакомилъ русскихъ съ формой и содержаніемъ чудеснѣйшаго произведенія древности». № 2. «Древніе подъ простотой (simplicitas) разумѣли просто народность, и Гомеръ объясняется, какъ кумъ Емельянъ у казака Луганскаго»... Въ смѣси XI книжки помѣщены неоспоримыя доказательства, что древніе раскрашивали красками свои статуи, и что классическіе города были—изящный Китай! Подлинно, мандаринскій взглядъ на искусство...

Впрочемъ можетъ-быть все это и шутка: «Библіотека для Чтенія» большая охотница шутить,—это всѣмъ извѣстно. Прочтите напр. въ третьей книжкѣ ея похвалы графинѣ Растопчиной, Зенеидѣ Р... и Кукольнику, и отгадайте, что̀ это — похвала или насмѣшка... Но, говоря о трехъ послѣднихъ частяхъ сочиненій Пушкина,—мы въ этомъ увѣрены—«Библіотека для Чтенія» не шутитъ: по ея мнѣнію, Пушкинъ — писатель старой школы: онъ употреблялъ сей и оный... Впрочемъ это дѣло личнаго вкуса и личнаго самолюбія, полагающаго войну противъ сихъ и оныхъ великимъ подвигомъ; но въ XII книжкѣ, на 55 страницѣ «Лит. Лѣтописи», находится превосходный образчикъ учености «Библіотеки для Чтенія», гдѣ доказывается, что все на свѣтѣ дымъ, въ томъ числѣ и всемірный законъ постепенности... Впрочемъ направленіе и духъ «Библіотеки для Чтенія» такъ извѣстны всѣмъ и каждому, что о нихъ новаго ничего нельзя сказать, кромѣ того развѣ, что одно и то же надоѣдаетъ, мысли безъ содержанія становятся пусты, старыя шутки приторны... Справедливость требуетъ замѣтить, что прошлогодняя «Библіотека для Чтенія» не чужда и хорошихъ статей, особенно переводныхъ; жаль только, что къ нимъ нельзя имѣть вѣры, не зная, за что̀ ихъ должно принимать—за дѣло или за шутку. Къ числу шутокъ, и довольно плоскихъ, принадлежитъ статья о Франклинѣ. —Критика въ «Библіотекѣ для Чтенія» всегда пуста, всегда наполнена выписками изъ сухихъ сочиненій, преимущественно подвергающихся ея разсмотрѣнію. Но критика на книгу отца Іакинѳа о Китаѣ представляетъ собой блестящее исключеніе изъ общаго правила этого журнала: статья живая, энергическая, умная, хотя и не чуждая парадоксовъ. Странный журналъ эта «Библіотека для Чтенія»: о Китаѣ судитъ по европейски, а о европейскомъ искусствѣ—по китайски! Подлинно, кому на что̀ дастъ Богъ дарованіе!...

Къ отдѣлу русской и иностранной поэзіи въ «Библіотекѣ для Чтенія» мы будемъ обращаться ниже, говоря вообще о произведеніяхъ беллетристики въ прошломъ году; а теперь перейдемъ къ другимъ журналамъ.

«Современникъ» прошлаго года попрежнему былъ вѣренъ своему плану и направленію, и попрежнему былъ богатъ хорошими оригинальными статьями и хорошими переводами произведеній скандинавской поэзіи. Особенно интересна и важна въ немъ неоконченная статья «Нибелунги». Окончаніе этой превосходной статьи будетъ помѣщено вѣроятно въ «Современникѣ» нынѣшняго 1842 года.

Въ «Москвитянинѣ» было нѣсколько превосходныхъ оригинальныхъ статей въ стихахъ и въ прозѣ, которыя намъ особенно пріятно исчислить здѣсь всѣ: «Споръ», стихотвореніе Лермонтова; «Послѣдніе стихи лорда Байрона» К. Павловой; «Сцены къ Ревизору» и «Письмо о первомъ представленіи «Ревизора» Гоголя; «Обозрѣніе Гегелевой логики» Рѣдкина; «Нѣсколько словъ о римской исторіи» Лунина; «О трагическомъ

Digitized by Google

характерѣ исторіи Тацита» Крюкова; «Нѣсколько словъ о сценическомъ художествѣ» Крюкова; разборъ «Чтеній о русскомъ языкѣ Греча» Шевырева. Интересны нѣкоторые матеріалы для исторіи русской литературы, напримѣръ «Знакомство Дмитріева съ Карамзинымъ» (изъ записокъ Дмитріева) и пр.; нѣкоторые матеріалы для исторіи Россіи, какъ напримѣръ «Послѣдній претендентъ мѣстничества, князь Козловскій», «Письмо Н. И. Панина о поимкѣ Пугачева», и пр. Замѣчательныхъ повѣстей, оригинальныхъ и переводныхъ, въ «Москвитянинѣ» не было.

«Русскій Вѣстникъ» хотя и новый журналъ, однако новаго ничего не сказалъ и не сдѣлалъ, кромѣ развѣ того, что опаздывалъ выходомъ книжекъ, и, вмѣсто обѣщанныхъ двѣнадцати книжекъ, появился въ прошломъ году только въ числѣ десяти, что̀ конечно для него ново, потому что онъ дѣлаетъ это еще въ первый разъ. Наполнялся же онъ статьями спеціальнаго содержанія, сухими и не журнальными. Пускался «Русскій Вѣстникъ» и въ философію,—правда, не часто, всего, кажется, только одинъ разъ, но за то съ большимъ успѣхомъ. Любопытные сами могутъ справиться объ этомъ въ курьезной статьѣ: «Европа, Россія и Петръ Великій»; въ особенности рекомендуемъ мѣсто отъ 104 до 107 страницы, гдѣ очень ясно и ново разсуждается о паденіи человѣка, о фетишизмѣ, о философской (?!...) религіи китайцевъ, о буддизмѣ, браминизмѣ, магахъ, египтянахъ, скандинавахъ, кельтахъ, магометанахъ и другихъ предметахъ, не менѣе близкихъ къ Россіи и исторіи Петра Великаго. Эту интересную статью можно раздѣлить на три части: первую занимаетъ философія—взглядъ и нѣчто—двадцать двѣ страницы (95—116); вторая посвящена собственно Россіи и занимаетъ восемь страницъ (125—133); третья посвящена Петру Великому и занимаетъ собой меньше одной страницы (134). Въ своемъ мѣстѣ мы скажемъ, что̀ было хорошаго въ «Русскомъ Вѣстникѣ» по части изящной словесности; а теперь укажемъ только на ученыя и критическія статьи, больше или меньше интересныя; ихъ очень немного: оригинальная статья «Завоеваніе Азова въ 1696 году» Н. Полевого, переводная статья «Любопытныя и новыя извѣстія о Московіи 1689 г.» (Де ла Нёвилля); разборъ Н. Полевого первой тетради «Исторіи Петра Великаго» соч. Ламбина; разборъ «Ластовки», «Исповѣди доктора Ястребцова». Этого довольно на десять книгъ--чего же больше!.. Ко всему этому надо прибавить, что въ «Русскомъ Вѣстникѣ» не замѣтно ничьего преимущественнаго вліянія, которое могло бы дать этому изданію характеръ, направленіе, образъ мыслей: имена Полевого, Кукольника и Греча украсили только его программу, а не листы; впрочемъ два первые сдѣлали хоть что-нибудь въ качествѣ сотрудниковъ, если не редакторовъ; но третій ничего не сдѣлалъ и въ этомъ качествѣ, ибо одна или двѣ безцвѣтныя статьи ничего не значатъ въ годовомъ изданіи журнала. Какъ тутъ не вспомнить геніальнаго выраженія одной статьи въ Пушкинскомъ «Современникѣ» 1836 года объ участіи Греча въ «Библіотекѣ для Чтенія»: «Имя Греча было выставлено только для формы; по крайней мѣрѣ никакого дѣйствія не было замѣтно съ его стороны. Гречъ давно уже сдѣлался почетнымъ и необходимымъ редакторомъ всякаго предпринимаемаго періодическаго изданія: такъ обыкновенно почтеннаго пожилого человѣка приглашаютъ въ посаженые отцы на всѣ свадьбы»... («Современникъ» т. 1, стр. 195.)

За исключеніемъ «Отечественныхъ Записокъ», хвалить или осуждать которыя—не наше дѣло, вотъ и всѣ наши журналы. Газетъ у насъ еще меньше—всего двѣ, т. е. газетъ, издаваемыхъ не отъ правительства и посвященныхъ преимущественно литературѣ: «Сѣверная Пчела» и «Литературная Газета».

«Сѣверная Пчела» издается и Богъ знаетъ сколько лѣтъ, что-то очень давно: но странное дѣло!—она такъ всегда вѣрна себѣ, такъ неизмѣнчива ни къ лучшему, ни къ худшему, что первый нумеръ перваго года ея существованія и послѣдній нумеръ только-что кончившагося вчера 1841 года—такъ похожи одинъ на другой и по содержанію, и по тону, и по взгляду, или по отсутствію всякаго взгляда на предметы, что можно подумать, будто оба эти листка напечатаны въ одинъ и тотъ же день. Поэтому мы безошибочно можемъ привести о ней сужденіе изъ упомянутой выше статьи «О движеніи журнальной литературы», которую Пушкинъ напечаталъ въ первой книжкѣ своего «Современника» на 1836 годъ, и съ которой слѣдственно онъ былъ совершенно согласенъ. Вотъ что сказалъ Пушкинъ или его «Современникъ»: «Сѣверная Пчела» заключала въ себѣ оффиціальныя извѣстія, и въ этомъ отношеніи выполняла свое дѣло. Она помѣщала извѣстія политическія, заграничныя и отечественныя новости. Редакторъ, Гречъ, довелъ ее до строгой исправности: она всегда выходила въ положенное время; но въ литературномъ смыслѣ она не имѣла никакого опредѣленнаго тона и не выказывала никакой сильной руки, двигавшей ея мнѣнія. Она была какая-то корзина, въ которую сбрасывалъ всякій все, что̀ ему

Digitized by Google

хотѣлось. Разборы книгъ, всегда почти благосклонные, писались пріятелями, а иногда самими авторами. Въ «Сѣверной Пчелѣ» пробовали остроту пера разные незнакомые, скрывавшіеся подъ разными буквами, безъ сомнѣнія люди молодые, потому что въ статьяхъ выказывалось довольно удальства. Они нападали развѣ на самаго уже беззащитнаго и круглаго сироту. Насчетъ неопрятныхъ изданій являлись остроумныя колкости, нѣсколько похожія одна на другую. Сущность рецензій состояла въ томъ, чтобы расхвалить книгу и при концѣ сложить съ себя грѣхъ такой оговоркой: «впрочемъ желательно, чтобы почтенный авторъ исправилъ небольшія погрѣшности относительно языка и слога», или: «хорошая книга требуетъ хорошаго изданія», и тому подобное, за что авторъ разбираемой книги иногда обижался и жаловался на пристрастіе рецензента. Книги часто были разбираемы тѣми же самыми рецензентами, которые писали извѣстія о новыхъ табачныхъ фабрикахъ, открывавшихся въ столицѣ, о помадѣ и пр. Впрочемъ отъ «Сѣверной Пчелы» больше требовать было нечего: она была всегда исправная ежедневная афиша; ея дѣло было пригласить публику, а судить она предоставляла самой публикѣ» (стр.—202—204)... Для полноты вѣрной характеристики «Сѣверной Пчелы» мы должны прибавить, что ея участіе въ литературѣ болѣе и болѣе принимаетъ характеръ статистическій, особенно въ концѣ стараго и началѣ новаго года: она судитъ исключительно только о числѣ подписчиковъ на журналы, о цѣнахъ журналовъ, о томъ, шибко ли идетъ книга, или залежалась... Что же касается до политическихъ извѣстій—эта самая неинтересная часть «Сѣверной Пчелы», потому что политическія извѣстія всегда новѣе, свѣжѣе, полнѣе и интереснѣе въ «Санктпетербургскихъ Вѣдомостяхъ» и «Русскомъ Инвалидѣ», которые постоянно днемъ или двумя днями раньше «Сѣверной Пчелы» сообщаютъ политическія новости, такъ что «Сѣверной Пчелѣ» остается лишь весьма легкій и пріятный трудъ—перепечатывать эти новости въ столбцы свои... Кстати: есть поводъ надѣяться, что въ нынѣшнемъ году «Русскій Инвалидъ» значительно расширитъ свои предѣлы и дастъ обширное мѣсто статьямъ литературнымъ, фельетону, библіографіи; самый форматъ его увеличится можетъ быть въ первую, можетъ-быть во вторую половину года.

«Литературная Газета» была вѣрна своей литературной политикѣ: объ этомъ знаетъ «Сѣверная Пчела», т. е. ея ученые издатели и добросовѣстные, даровитые сотрудники. Особенно замѣчательны были въ прошломъ году фельетонные разборы «Литературной Газеты» оперъ «Аскольдовой Могилы» и «Тоски по родинѣ», нѣкоторыя рецензіи и другія газетныя статьи; съ нынѣшняго года «Литературная Газета» значительно усилитъ свой интересъ для публики, болѣе держась чисто газетной сферы; выходя же въ недѣлю только одинъ разъ, не листкомъ, а тетрадью, она, нисколько не теряя въ свѣжести извѣстій, пріобрѣтаетъ возможность представлять своимъ читателямъ довольно большія повѣсти, разсказы, даже водевили и небольшія драмы.

Теперь сдѣлаемъ краткое обозрѣніе всего, сколько-нибудь примѣчательнаго, что появилось впродолженіе прошлаго года по части изящной литературы, какъ оригинальнаго, такъ и переводнаго, какъ отдѣльно изданнаго, такъ и помѣщеннаго въ періодическихъ изданіяхъ. Разумѣется, здѣсь первое мѣсто занимаютъ три тома посмертныхъ сочиненій Пушкина, между которыми много такихъ, которыя публика прочла въ первый разъ. Въ этихъ же трехъ томахъ помѣщено нѣсколько стихотвореній, пропущенныхъ въ первыхъ восьми томахъ и нѣсколько собранныхъ, по смерти Пушкина, журналами, преимущественно «Отечественными Записками». Особенной благодарности издатели заслуживаютъ за помѣщеніе лицейскихъ стихотвореній Пушкина: это важный фактъ для русской литературы и исторіи развитія поэтической дѣятельности Пушкина. Иные говорятъ, что не должно было печатать того, чего не хотѣлъ печать самъ Пушкинъ при жизни своей:—странное мнѣніе! Пушкинъ не могъ и не долженъ былъ печатать всего: не его дѣло было выставлять себя геніемъ и великимъ человѣкомъ, котораго каждая строка интересна и важна для современниковъ и потомства; это было дѣло другихъ, когда смерть измѣнила отношенія поэта къ публикѣ и публики къ поэту, а это дѣло выполнили издатели его сочиненій. Небольшое число стихотвореній, не вошедшее въ послѣдніе три тома, и семь пропущенныхъ прозаическихъ статей издатели хотятъ собрать въ особой книжкѣ и безденежно выдать купившимъ три послѣдніе тома сочиненій Пушкина.—Въ «Отечественныхъ Запискахъ» было напечатано девять стихотвореній Лермонтова: «Есть рѣчи», «Завѣщаніе», «Оправданіе», «Родина», «Послѣднее Новоселье», «Кинжалъ», «Плѣнный Рыцарь», «Парусъ» и «Желанье»; одно («Споръ») помѣщено въ «Москвитянинѣ», два—во второмъ томѣ «Русской Бесѣды». Въ «Отечественныхъ Запискахъ» напеча-

Digitized by Google

тано нѣсколько пьесъ Кольцова, изъ которыхъ «Что ты спишь, мужичокъ», «Разсчетъ съ жизнью», «Много есть у меня» и въ особенности «Ночь» принадлежатъ къ капитальнымъ произведеніямъ русской поэзіи. Какъ жаль, что стихотворенія Кольцова (разумѣется, строго избранныя) до сихъ поръ не изданы! Поэтическое дарованіе Кольцова признано всѣми безусловно; многіе изъ талантливыхъ нашихъ музыкантовъ кладутъ его пѣсни на музыку; и такъ, его читаютъ и поютъ, его хвалятъ, но не многіе знаютъ степень и важность его дарованія, какъ капитальнаго, а не временнаго, которое занимаетъ современность и умираетъ вмѣстѣ съ лицомъ... Кольцовъ принадлежитъ къ числу такихъ художниковъ, которые не могутъ претендовать на всеобъемлемость и многосторонность выражаемой ихъ творчествомъ жизни, но которые, избравъ себѣ одну сторону жизни, исчерпываютъ ее глубоко и мощно, какъ напримѣръ Орасъ Вернѣ въ изображеніи военныхъ сценъ. Еслибы стихотворенія Кольцова были изданы—въ этомъ всѣ убѣдились бы и скоро, и единодушно. Теперь же нѣтъ общаго впечатлѣнія въ пользу его поэзіи, потому что какъ можно требовать, чтобъ каждый помнилъ, гдѣ и когда было помѣщено то или другое стихотвореніе?— Вѣроятно читатели «Отечественныхъ Записокъ» обратили вниманіе на стихотворенія Огарева, отличающіяся особенной внутренней меланхолической музыкальностью; всѣ эти пьесы почерпнуты изъ столь глубокаго, хотя и тихаго чувства, что часто, не обнаруживая въ себѣ прямой и опредѣленной мысли, онѣ погружаютъ душу именно въ невыразимое ощущеніе того чувства, котораго сами онѣ только какъ бы невольные отзывы, выброшенные переполнившимся волненіемъ. Прошлый годъ былъ ознаменованъ появленіемъ новаго дарованія, подающаго въ будущемъ большія надежды: мы говоримъ о Майковѣ, котораго стихотворенія являлись, впрочемъ рѣдко означенныя полнымъ именемъ автора, въ «Библіотекѣ для Чтенія».—Изъ напечатанныхъ въ этомъ журналѣ особенно замѣчательны: «Пустынникъ», «Сомнѣніе» (№ 2); въ «Отечественныхъ Запискахъ»—«Вакханка» и «Искусство» (№№ 10 и 11). Лучшія стихотворенія Майкова—въ антологическомъ родѣ. Въ нихъ столько эллинскаго и пластическаго въ содержаніи и формѣ, столько полноты и жизни, что нельзя въ авторѣ не признать положительно поэтическаго таланта. Конечно не всѣ его стихотворенія равнаго достоинства; есть между ними и не совсѣмъ удачныя, но зато иныя не оставляютъ ничего желать; лучшее изъ нихъ «Сонъ», напечатанный въ «Одесскомъ Альманахѣ» на 1840 годъ, и цитованное въ статьѣ «Отечественныхъ Записокъ» о «Римскихъ Элегіяхъ Гёте». Стихотворенія Майкова не-антологическія большей частью отличаются прекрасными стихами и поэтическими частностями, но ихъ содержаніе почти всегда неопредѣленно и отзывается какой-то юношеской незрѣлостью. Въ нынѣшнемъ году Майковъ издаетъ свои стихотворенія; мы поговоримъ о нихъ, когда они выйдутъ въ свѣтъ.—Въ прошломъ году вышла первая часть стихотвореній графини Растопчиной, уже извѣстныхъ публикѣ и оцѣненныхъ ею по достоинству. Стихотворенія Козлова напечатаны третьимъ изданіемъ. «Піитическіе Опыты» Елизаветы Кульманъ вышли вторымъ изданіемъ. Третье изданіе «Сказаній Русскаго Народа» и первая часть русскихъ народныхъ сказокъ, изданныхъ Сахаровымъ, дополняютъ собой общій итогъ прошлогодней поэзіи. Изъ капитальныхъ произведеній русской поэзіи появились вторымъ изданіемъ: «Ревизоръ» (съ новыми сценами и письмомъ автора о первомъ представленіи его комедіи) и «Герой Нашего Времени». Новаго по части романа и драмы ничего не являлось. Впрочемъ къ романамъ сколько-нибудь замѣчательнымъ принадлежатъ: «Эвелина де-Вальероль», помѣщенный въ девяти книжкахъ «Библіотеки для Чтенія», да «Византійскія Легенды» и вышедшій вторымъ изданіемъ «Аббаддонна». «Эвелина де-Вальероль» Кукольника читается легко и весело, потому-что въ ней много внѣшняго интереса, бездна эффектовъ, толпа лицъ, изъ которыхъ лицо Гаръ-Піона даже похоже на характеръ. Героя въ романѣ нѣтъ ни одного, а героевъ много; виденъ умъ и изученіе, но мало фантазіи. Однимъ словомъ, «Эвелина де-Вальероль» примѣчательный tour de force таланта, который не такъ слабъ, чтобъ ограничиваться бездѣлками, доставляющими фельетонную извѣстность, и не такъ силенъ, чтобъ создать что-нибудь выходящее за черту посредственности. Сколько ни написалъ Кукольникъ драмъ, и русскихъ, и итальянскихъ, всѣ онѣ не что иное, какъ «этюды», которые могутъ имѣть свои относительныя достоинства, но которые читать очень скучно. Повѣстями наша литература была гораздо богаче. Лучшая повѣсть прошлаго года безъ всякаго сомнѣнія—«Аптекарша» графа В. А. Соллогуба, напечатанная во второмъ томѣ «Русской Бесѣды». И немудрено: графъ Соллогубъ—писатель съ замѣчательнымъ дарованіемъ, а «Аптекарша» рѣшительно выше всего, что онъ написалъ. Давно уже мы не читали по-русски ничего столь прекраснаго по глубоко-гуманному со-

Digitized by Google

держанію, тонкому чувству такта, по мастерству формы, простирающемуся до какой-то художественной полноты. Это третье прекрасное произведеніе графа Соллогуба, послѣ «Исторіи двухъ калошъ» и отрывка изъ «Тарантаса», и мы видимъ особенное доказательство таланта автора въ большей зрѣлости его, которая такъ очевидна въ послѣднемъ его произведеніи. Содержаніе «Аптекарши» очень просто, такъ что для людей безъ эстетическаго чувства она можетъ показаться повѣстью, лишенной высокаго содержанія, простымъ разсказомъ о простомъ случаѣ; но въ этомъ-то все и достоинство ея. Прочитавъ повѣсть, вы чувствуете, что внутри ея совершалась трагедія, тогда какъ снаружи все было спокойно. Курляндскій юноша, баронъ Фирензеймъ,—«природа котораго была благородная, часто возвышенная, но всегда нравственно-аристократическая», какъ выражается авторъ, —живя въ Дерптѣ, на квартирѣ профессора, заинтересовался слегка его хорошенькой дочкой, которая съ своей стороны глубоко полюбила его. Превосходно изображена авторомъ борьба въ душѣ барона между пріятнымъ впечатлѣніемъ, которое производила на него милая дѣвушка, и оскорбительнымъ впечатлѣніемъ, которое производила на него проза окружающей ее дѣйствительности. Это понятно: розовое личико пятнадцати-лѣтней дѣвочки, съ большими темносиними глазами, длинными шелковистыми рѣсницами, дѣтской задумчивой головкой — не совсѣмъ вяжется съ кухонными хлопотами, сальными свѣчами и изношеннымъ салопомъ. Только навсегда уѣзжая изъ Дерпта, баронъ понялъ, какъ любила его бѣдная Шарлотта. Долго не видались они. Баронъ началъ хлопотать о служебной карьерѣ и, говоря словами самого автора, — «Аннѣ съ короной онъ кланялся съ развязной улыбкой, а Андрею Первозванному—съ чувствомъ глубокаго почтенія»... Потомъ онъ встрѣчаетъ ее въ дрянномъ уѣздномъ городишкѣ женой бѣднаго нѣмца-аптекаря, старается соблазнить ее; но ему не удается и, пристыженный благородствомъ аптекаря, безкорыстной любовью его и чистымъ уваженіемъ къ женѣ, уѣзжаетъ изъ городка. Пріѣхавъ опять, черезъ годъ времени, въ городишко, онъ узнаетъ, что Шарлотта умерла отъ чахотки... Не знаемъ, долго ли онъ грустилъ, или скоро-ли опять утѣшился: знаемъ только, что повѣсть графа Соллогуба оставляетъ въ душѣ глубоко-грустное впечатлѣніе... О разсказѣ нечего и говорить: это само мастерство; характеры всѣ до одного прекрасно очерчены, вѣрно выдержаны. Герой—одно изъ тѣхъ типическихъ и часто встрѣчающихся лицъ, которымъ природа не отказала въ чувствѣ и способности понимать многое, но которыхъ она въ то же время надѣлила большимъ избыткомъ ничтожности и пустоты въ характерѣ. Отецъ Шарлотты—типъ нѣмецкаго г е л е р т а, и какъ хорошъ онъ, когда выкатываетъ студенческой ватагѣ весь скудный свой погребъ и съ сверкающими отъ восторга глазами смотритъ на ихъ ученый разгулъ, или когда онъ отъ души восхищается мастерской раной, отъ которой могъ умереть его любимецъ. Но въ повѣсти есть еще лицо, о которомъ мы не говорили: это уѣздный франтъ, въ венгеркѣ съ кистями,—лицо въ высшей степени типическое, мастерски очерченное...

Панаевъ напечаталъ въ прошломъ году двѣ повѣсти: «Онагръ» («Отеч. Зап.» № 5) и «Барыня» (въ первомъ томѣ «Русской Бесѣды), принадлежащія къ замѣчательнѣйшимъ явленіямъ прошлогодней литературы. «Барыня» особенно хороша: въ ней столько характеристическаго, вѣрнаго, ловко и цѣпко схваченнаго. Впрочемъ каждая новая повѣсть Панаева бываетъ лучше предшествовавшей, въ чемъ читатели наши особенно могутъ убѣдиться по «Актеону». Это добрый знакъ: развитіе и движеніе впередъ есть несомнѣнное доказательство истиннаго дарованія...

Въ «Отечественныхъ Запискахъ» обратили на себя вниманіе избраннѣйшей части публики двѣ повѣсти А. Н. (псевдонимъ): «Звѣзда» (№ 3) и «Цвѣтокъ» (№ 9). Онѣ отличаются особеннымъ, самостоятельнымъ характеромъ и обнаруживаютъ въ авторѣ даръ творчества, который, при условіи развитія, можетъ обѣщать много въ будущемъ. «Звѣзда» особенно хороша по какому-то грустному и зловѣщему колориту, разлитому по фону картины. Къ особенностямъ обѣихъ повѣстей принадлежитъ какая-то вкрадчивая, завлекающая вниманіе читателя вѣрность въ малѣйшихъ подробностяхъ изображаемой дѣйствительности и необыкновенное умѣнье завязать цѣлую драму на самыхъ повидимому обыкновенныхъ, вседневныхъ случайностяхъ. Разсказъ столько же простой, сколько увлекающій и поэтическій. А. Н. написалъ уже не одну прекрасную повѣсть; въ «Телескопѣ» 1836 г. были напечатаны его «Катенька Пылаева» и «Антонина»; въ «Московскомъ Наблюдателѣ» 1838 и 1839 гг.—«Однѣ сутки изъ жизни холостяка» и «Флейта»; въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1840 г.—«Недоумѣніе». Общій недостатокъ почти всѣхъ его повѣстей состоитъ въ томъ, что женскіе характеры изображаются въ нихъ типически, искусно, вѣрно, а мужскіе большей частью—блѣдно и безцвѣтно.

Digitized by Google

Въ «Библіотекѣ для Чтенія» была только одна оригинальная повѣсть, но зато прекрасная: мы говоримъ о «Теофаніи Аббіаджіо» (№№ 1 и 2), г-жи Ганъ, обыкновенно подписывающейся Зенеидою Р-вою. Ганъ принадлежитъ къ примѣчательнѣйшимъ талантамъ современной литературы. Въ ея повѣстяхъ замѣтенъ недостатокъ такта дѣйствительности, умѣнья схватывать и изображать съ ощутительной точностью и опредѣленностью самыя обыкновенныя явленія ежедневности. Но этотъ недостатокъ вознаграждается внутреннимъ содержаніемъ, присутствіемъ живыхъ, общественныхъ интересовъ, идеальнымъ взглядомъ на достоинство жизни, человѣка и женщины въ особенности, полнотой чувства, электрически сообщающагося душѣ читателя. Поэтому часто въ повѣстяхъ Ганъ внѣшнее содержаніе, завязка и развязка бываютъ несовсѣмъ правдоподобны и естественны, какъ напримѣръ въ повѣсти «Идеалъ», гдѣ женщина, одаренная глубокимъ чувствомъ, увлекается поэтомъ, который оказывается негодяемъ, и потомъ удивляется, какъ можно быть такимъ «небеснымъ» въ своихъ сочиненіяхъ и «земнымъ» въ своей жизни: тутъ что-нибудь да не такъ—или героиня повѣсти не довольно имѣла эстетическаго такта, чтобъ не очароваться пустыми фразами, или поэтъ не былъ негодяй. Очевидно, что сюжетъ для Ганъ имѣетъ значеніе опернаго либретто, на которое она потомъ пишетъ музыку своихъ ощущеній и мыслей. И въ самомъ дѣлѣ, э и ощущенія у ней иногда возвышаются до паѳоса. «Теофанія Аббіаджіо»—лучшая изъ повѣстей Ганъ...

Кукольникъ въ прошломъ году написалъ много повѣстей, о которыхъ нельзя судить вѣрно, не раздѣливъ ихъ на три разряда: на повѣсти, содержаніе которыхъ взято изъ русской жизни временъ Петра Великаго;—на повѣсти, которыхъ содержаніе заимствовано изъ другихъ эпохъ русской жизни, и нанецъ,—на повѣсти, которыхъ содержаніемъ служитъ жизнь чуждыхъ намъ странъ, особенно Италіи. Первыя всѣ очень интересны; вторыя—посредственны; третьи—изъ рукъ вонъ плохи... И потому поговоримъ о первыхъ. Это собственно не повѣсти, а разсказы о старинѣ, въ основаніе которыхъ Кукольникъ всегда беретъ какой-нибудь извѣстный историческій анекдотъ. Но надо знать, что онъ умѣетъ сдѣлать изъ этого анекдота, съ какимъ искусствомъ онъ разскажетъ его, свяжетъ частный бытъ съ исторіей, а исторію—съ частнымъ бытомъ; сколько у него тутъ комическаго, а иногда и истинно высокаго, особенно въ тѣхъ сценахъ, гдѣ является у него Петръ Великій; сколько оригинальныхъ характеровъ и какая яркая картина борьбы нововведеній съ старинной дикостью нравовъ! Не думайте, чтобъ Кукольникъ дѣлалъ изъ приверженцевъ старины карикатуры и чудища: нѣтъ, это иногда вѣрные слуги великаго царя, люди честные и благородные; но не думайте, чтобъ Кукольникъ изображалъ ихъ на манеръ героевъ нашихъ патріотическихъ драмъ, т. е. людьми, которые говорятъ нравственными сентенціями и дѣйствуютъ какъ машины: нѣтъ, это лица дѣйствительныя, исполненныя комизма и въ то же время трогающія своимъ благородствомъ въ грубыхъ формахъ. Таковъ напримѣръ Иванъ Михайловичъ, олонецкій прокуроръ... Жаль, что Кукольникъ не издастъ своихъ разсказовъ отдѣльно: ихъ не мало, и книжка вышла бы преинтересная. Вотъ перечень этихъ разсказовъ: «Новый Годъ» и «Авдотья Петровна Лихончиха», «Прокуроръ», «Сказаніе о синемъ и зеленомъ сукнѣ», «Иванъ Ивановичъ»—лучшая въ этомъ родѣ повѣсть Кукольника, занимающая собой первый выпускъ «Сказки за сказкою». Кстати замѣтимъ, что и «Капустинъ», помѣщенный въ «Утренней Зарѣ» на нынѣшній годъ, принадлежитъ къ числу такихъ же разсказовъ Кукольника.

Но мы заговорились,—и потому спѣшимъ въ общемъ перечнѣ поименовать другія, заслуживающія бо́льшаго или меньшаго вниманія, повѣсти, разсѣянныя въ періодическихъ изданіяхъ. «Еще изъ записокъ одного молодого человѣка» Искандера («Отеч. Зап.» № 8); первый отрывокъ изъ этихъ записокъ, полныхъ ума, чувства, оригинальности и остроумія и заинтересовавшихъ общее вниманіе, былъ помѣщенъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1840 года (№ 12); о второмъ можно сказать, что онъ еще лучше перваго; «Куликъ», повѣсть Гребенки, въ «Утренней Зарѣ» на 1841 г., и его же «Записки Студента» въ «Отечественныхъ Запискахъ» (№ 2); «Южный Берегъ Финляндіи» повѣсть князя Одоевскаго, въ «Утреней Зарѣ»; «Левъ», разсказъ графа Соллогуба, въ «Отечественныхъ Запискахъ» (№ 4); «Институтка», романъ въ письмахъ. С. А. Закревской—новой талантливой писательницы, вышедшей на литературное поприще («Отеч. Зап.» № 12); «Мичманъ Попѣлуевъ» В. И. Даля, во второмъ томѣ «Русской Бесѣды».—Баронъ Брамбеусъ въ послѣдней книжкѣ «Библіотеки для Чтенія» вдругъ разразился, послѣ долгаго молчанія, началомъ большой повѣсти «Идеальная Красавица, или Дѣва чудная». Въ этомъ началѣ нѣтъ никакого содержанія, а есть одни разсужденія о томъ, о семъ, а чаще ни о чемъ,—разсужденія мѣстами умныя, но большей частью скучныя, прескучныя...

Digitized by Google

Отдѣльно вышли уже извѣстныя публикѣ повѣсти графа Соллогуба, подъ названіемъ «На Сонъ Грядущій»,—заглавіе, совершенно не соотвѣтствующее эффекту интереснаго сборника...

Теперь — о переводахъ. Можно сказать утвердительно, что у насъ въ настоящее время больше всего переводятъ Шекспира, хоть и нельзя сказать, чтобъ его больше всего читали. Здѣсь первое мѣсто должно занимать смѣлое и благородное предпріятіе Кетчера—перевести прозой всего Шекспира. Кетчеръ напечаталъ пять пьесъ, другія послѣдуютъ безостановочно. Журналы уже отдали полную справедливость важности предпріятія Кетчера и достоинству его перевода; а возможность продолжать предпріятіе доказываетъ, что на Руси есть люди, которые читаютъ не однѣ сказки и умѣютъ понимать не однѣ «репертуарныя» пьесы... Въ № «Отечественныхъ Записокъ» помѣщенъ превосходный переводъ «Двѣнадцатой ночи» Кронеберга; въ «Пантеонѣ Русскаго и всѣхъ Европейскихъ Театровъ»— замѣчательный по своему поэтическому достоинству переводъ Каткова «Ромео и Юліи»; въ «Библіотекѣ для Чтенія»—«Сонъ въ Ивановскую Ночь», какъ-то странно переведенный; въ «Репертуарѣ Русскаго Театра»— «Коріоланъ»—въ четырехъ (?) дѣйствіяхъ, прозой (№ 4), и «Отелло», переведенный весьма посредственно и вяло, стихами (№ 9). Лучшіе переводные романы тоже въ журналахъ: «Викторія Аккоромбона» Лудвига Тика, въ «Отечественныхъ Записках» (№№ 3 и 4); экстрактъ изъ того же романа въ «Библіотекѣ для Чтенія» (№ 5); «Оливеръ Твистъ», романъ Диккенса, въ «Отечественныхъ Записках» (№№ 9 и 10); «Олленъ Камеронъ», въ «Библіотекѣ для Чтенія» (№№ 8, 9 и 10). Этотъ романъ приписывается Вальтеръ-Скотту. Герой его—Карлъ II, представленный здѣсь совершенно наоборотъ тому, какъ представленъ онъ въ романѣ Вальтеръ-Скотта «Вудстокъ». Впрочемъ романъ, чей бы онъ ни былъ, читается легко и съ удовольствіемъ. Отдѣльно вышедшіе переводы: напечатанный въ «Отечественныхъ Записках» 1840 года переводъ превосходнаго романа Купера «Путеводитель въ Пустынѣ или Озеро-Море»; прекрасный переводъ съ подлинника, стихами, поэмы Тегнера «Фритіофъ» Грота, это былъ истинный подарокъ русской литературѣ; переводъ «Клавиго» драмы Гёте, Струговщикова.

Вотъ вся наша изящная и беллетристическая литература: мы не пропустили ничего сколько-нибудь примѣчательнаго, и забыли только о вещахъ, которыя не стóятъ того, чтобъ ихъ помнить.. Самое утѣшительное и отрадное явленіе послѣдняго времени есть безъ сомнѣнія движеніе въ ученой и учебной литературѣ Россіи. Вотъ перечень всего примѣчательнаго по этой части. «Описаніе Финляндской войны 1808 и 1809 годовъ» Михайловскаго-Данилевскаго; «О Россіи въ царствованіе Алексѣя Михаиловича», современное сочиненіе Григорія Кошихина; «Энциклопедія Законовѣдѣнія» профессора Неволина; «Основанія Уголóвнаго Судопроизводства» профессора Баршева; «Уральскій Хребетъ въ физическо-географическомъ, геогностическомъ и минералогическомъ отношеніяхъ» профессора Щуровскаго; «Китай, его жители, нравы и проч.» отца Іакинфа; «Картинная Галлерея», изданная А. Плюшаромъ; «Путешествіе по Сѣвернымъ Берегамъ Сибири и по Ледовитому Морю» и прибавленіе къ этому путешествію фонъ Врангеля; «О большихъ военныхъ дѣйствіяхъ» генерала Окунева; «Лекціи Статистики» Рославскаго; «Исторія смутнаго времени въ Россіи въ началѣ XVIII вѣка» (вторая часть) Бутурлина; «Руководство къ Познанію Средней Исторіи» Смарагдова; «Древняя Исторія» профессора Лоренца; первый томъ ученаго альманаха «Юридическія Записки», издаваемаго профессоромъ Рѣдкинымъ.

Всѣхъ книгъ на русскомъ языкѣ, кромѣ періодическихъ изданій, брошюръ и отдѣльно отпечатанныхъ журнальныхъ статей, вышло въ прошломъ году около четырехъ сотъ; изъ нихъ по части изящной литературы, оригинальныхъ и переводныхъ новыхъ и вновь изданныхъ, выше насчитали мы всего шестнадцать; все остальное въ журналахъ; — ученыхъ сочиненій тоже шестнадцать; итого всего тридцать двѣ... Что же такое остальныя 368 книгъ?—«Цынъ Кіу-Тонгъ», романъ Зотова; «Деньги», комическая поэма; «Разгулье купеческихъ сынковъ; «Мечтатель», романъ Воскресенскаго; «Веселый порошокъ», Васильева; «Дочь разбойника»; «Сорокъ лѣтъ пьяной жизни»; «Жизнь Вильяма Шекспира», соч. Славина; «Козелъ бунтовщикъ»; «Гулянье подъ Новинскимъ» и проч., и проч. Право, тутъ спросишь невольно: «Да гдѣ-жъ онѣ?—Давайте ихъ!..»

> Повѣрьте мнѣ: судьбою несть
> Даны намъ тяжкія вериги.
> Скажите, каково прочесть
> Весь этотъ вздоръ, всѣ эти книги,
> И все зачѣмъ?—чтобъ вамъ сказать,
> Что ихъ не надобно читать!...

Однако-жъ есть и своя утѣшительная сторона въ прозаическомъ и повѣствовательномъ направленіи нашей литературы: значитъ, оно сближается съ обществомъ, съ дѣйствительностью, хочетъ быть сознаніемъ

Digitized by Google

общества, его выраженіемъ. Замѣтьте, что теперь безъ хорошихъ оригинальныхъ повѣстей журналъ погибъ въ понятіи публики, которая хочетъ видѣть себя, свою дѣйствительность въ литературѣ, и потому холоднѣе принимаетъ произведенія, въ которыхъ изображается чуждый ей міръ. Стихотворенія теперь читаются меньше, и потому общее вниманіе могутъ обращать на себя только замѣчательные таланты: это тоже добрый знакъ! Вообще много хорошихъ элементовъ, много добрыхъ признаковъ; только все это какъ-то нерѣшительно, безцвѣтно, въ какомъ-то хаосѣ. На аренѣ литературы еще слышны старые голоса, поющіе старыя пѣсни и имѣющіе своихъ слушателей: вмѣстѣ съ новыми голосами они образуютъ довольно нескладный и дикій концертъ. Особенно любопытное зрѣлище представляетъ наша ученая литература: съ одной стороны, нѣкоторые журналы вопіютъ противъ просвѣщенія и Европы, съ другой выходятъ книги Неволина, Баршева, Рѣдкина, Лоренца...

Мы видимъ, что русская земля богата талантами: какова бы ни была наша литература, но она—огромное явленіе для какихъ нибудь ста лѣтъ; въ ней есть имена, озаренныя ореоломъ генія, въ ней есть яркіе таланты; но первыя не стали вровень съ самими собой, а вторые часто, обнаруживъ много силъ, мало сдѣлали. Съ другой стороны въ публикѣ, безъ которой никогда не можетъ быть истинной, дѣйствительной литературы,—въ публикѣ господствуетъ хаосъ мнѣній, пестрота вкуса, способность обольщаться возгласами спекулянтовъ и ничтожными явленіями. Какая всему этому причина?—Отвѣчать не трудно: съ одной стороны недостатокъ внутреннихъ интересовъ въ обществѣ, съ другой—недостатокъ солиднаго, прочнаго, основаннаго на наукѣ образованія. Посмотрите, что иногда проповѣдуютъ наши журналы: если повѣрить имъ, то нужно только выучиться грамотѣ, чтобъ все понимать и обо всемъ судить, особенно о поэзіи. Удивительно ли послѣ этого, что у насъ всякій судитъ легко и важно о Шекспирѣ, котораго онъ не читалъ даже въ переводахъ, а видѣлъ только на русской сценѣ,—о Байронѣ, Гёте, Шиллерѣ, даже Гомерѣ. У насъ какъ-будто никто и не понимаетъ, что безъ ученія, глубокаго и напряженнаго, безъ наукообразнаго развитія эстетическаго чувства нельзя понимать поэзіи; что непосредственное чувство безъ размышленія и вниканія ни къ чему не ведетъ, кромѣ личныхъ предубѣжденій въ пользу или не въ пользу того или другого поэта, того или другого поэтическаго произведенія. Какъ у насъ читаютъ? Взялъ драму Шекспира — прочелъ, зѣвая, десятокъ страницъ, — не нравится, и бросилъ; но это бы еще ничего, а худо то, что вотъ уже готово и мнѣніе вродѣ слѣдующаго: «эта драма плоха, слѣдственно о Шекспирѣ у насъ только кричатъ, а толку-то въ немъ мало». Конечно нѣтъ ничего легче и даже пріятнѣе, какъ оправдать свою ограниченность, невѣжество и необразованность тѣмъ, что Шекспиръ никуда не годится... У насъ хотятъ читать только глазами, а не умомъ; чтеніе, требующее усилія мыслительной способности, почитается пустымъ, губящимъ золотое время, занятіемъ. У насъ играютъ въ поэзію, въ литературу и науку, какъ въ мячикъ. У насъ думаютъ, что и философія можетъ быть такимъ же легкимъ и пріятнымъ препровожденіемъ времени, какъ чтеніе газетнаго фельетона: прочелъ и понялъ все, а не понялъ—темно и глупо написано... Богъ судья людямъ, разсѣевающимъ въ обществѣ такія невѣжественныя понятія!.. Посмотрите, что и какъ у насъ пишутъ о Гегелѣ люди, неимѣющіе о немъ никакого понятія... Переведутъ глупую, невѣжественную статью какого-нибудь презираемаго въ Германіи за свое невѣжество и недобросовѣстность мистика, и рѣшатъ, что Гегель—чудовище! А добродушная безграмотность, видя въ восхищеніи, что ей тутъ все по плечу, все понятно, восклицаетъ: «вонъ каковъ этотъ Гегель, а у насъ его прославляютъ!»... Причитавшись къ такимъ мнѣніямъ, прислушавшись къ такимъ толкамъ, всякій порядочный человѣкъ позволяетъ себѣ не знать, что пишется въ нашихъ журналахъ и книгахъ, — что дѣлается въ нашей литературѣ...

Вся надежда на будущее. Наука у насъ видимо принимается; публичное образованіе развивается на твердыхъ началахъ, и незамѣтно, невидимо подрастаетъ новая публика, съ просвѣщеннымъ мнѣніемъ, съ образованнымъ вкусомъ, съ разумными требованіями. Что-то тогда будутъ дѣлать многіе наши «заслуженные и опытные литераторы», когда эта вдругъ выросшая публика скажетъ имъ: «подите прочь съ своими смѣшными притязаніями; я не знаю васъ!»—«Да мы написали... мы издали... наши сочиненія разошлись... наши книги шли бойко»...—«Да гдѣ жъ онѣ?—Давайте ихъ!»...

Digitized by Google

СТИХОТВОРЕНІЯ АПОЛЛОНА МАЙКОВА.

Санктпетербургъ, 1841 г.

Даровита земля русская: почва ея не оскудѣваетъ талантами... Лишь только ожесточенное тяжкими утратами или оскорбленное несбывшимися надеждами сердце ваше готово увлечься порывомъ отчаянія,—какъ вдругъ новое явленіе привлекаетъ къ себѣ ваше вниманіе, возбуждаетъ въ васъ робкую и трепетную надежду... Замѣнитъ-ли оно то, утрата чего была для васъ утратой какъ-будто части вашего бытія, вашего сердца, вашего счастья—это другой вопросъ, и только будущее можетъ рѣшить его: настоящее можетъ лишь гадать о томъ на основаніи уже даннаго факта. И такой именно фактъ даетъ намъ изящно напечатанная книга, заглавіе которой стоитъ въ началѣ этой статьи. Отстраняя всѣ гаданія, которыя могутъ быть произвольны или односторонни, и предоставляя времени рѣшеніе вопроса о степени поэтическаго таланта Майкова,—мы скажемъ пока только, что многія изъ его стихотвореній обличаютъ дарованіе неподдѣльное, замѣчательное и нѣчто обѣщающее въ будущемъ. Говоря такъ, мы думаемъ, что много сказали въ пользу молодого поэта: можно быть человѣкомъ съ дарованіемъ и не обѣщать развитія; только сильныя дарованія въ первыхъ произведеніяхъ своихъ даютъ залогъ будущаго развитія... Явленіе подобнаго таланта особенно отрадно теперь, въ эту печальную эпоху литературы, осиротѣлой и покрытой трауромъ,—теперь, когда лишь изрѣдка слышится свѣжій голосъ искренняго чувства, болѣе или менѣе звучный отголосокъ внутренней думы;—теперь, когда въ опустѣвшемъ храмѣ искусства, вмѣсто важныхъ и торжественныхъ жертвоприношеній жрецовъ, видны однѣ гримасы штукмейстеровъ, потѣшающихъ тупую чернь; вмѣсто гимновъ и молитвъ, слышны или непристойные вопли самолюбивой посредственности, или неприличныя клятвы торгашей и спекулянтовъ...

Наша литература, не смотря на свою молодость и незрѣлость, уже свершила нѣсколько фазовъ развитія, уже дала не одинъ фактъ для опытности ума мыслящаго и наблюдательнаго. Изъ числа ея великихъ дѣйствователей нѣтъ почти ни одного, свободно и до конца развившаго свои творческія силы... Но сколько было у насъ талантовъ, такъ много обѣщавшихъ, и такъ мало выполнившихъ, такъ великими казавшихся еще недавно, и такъ незначительныхъ теперь!.. И все то благо, все добро! Благодаря этому обстоятельству, теперь только развѣ низшіе слои публики, полуграмотная чернь, можетъ принимать за поэзію дикія, изысканныя и вычурныя фразы, и приходить въ неистовый восторгъ отъ тривіальнаго сравненія голубыхъ глазъ съ небомъ, а черныхъ—съ адомъ... Точно также теперь только развѣ необразованная, невоспитанная посредственность рѣшится «призывать вдохновеніе на высь чела, вѣнчаннаго звѣздой»; выдумать «грудь, которая высоко взметалась безпредметной любовью», или отпускать другія подобныя стихотворныя вычуры. А прежде—и еще очень недавно, все это могло и даже должно было нравиться всѣмъ, за исключеніемъ только немногихъ избранныхъ поклонниковъ искусства. Честь и слава Марлинскому, Языкову, Хомякову, Шевыреву и Бенедиктову! Они навсегда обратили русскую литературу къ благородной простотѣ и навсегда избавили нашу публику отъ наклонности къ изысканной дичи въ мысляхъ и выраженіи! Ихъ образъ дѣйствованія и усилія для этой цѣли были совершенно обратные и отрицательные; но зато результаты вышли теперь и прямые, и положительные. Въ этомъ случаѣ намъ мало нужды даже до намѣреній и мотивовъ; результатъ все выкупаетъ, хотя бы онъ былъ и совершенно неожиданъ для самихъ дѣйствователей... Здѣсь нельзя не упомянуть съ благодарностью имени Полевого, который стремился къ той же цѣли, и притомъ еще двумя, совершенно различными путями: безсознательно—философско-историческими статьями, критиками и повѣстями; и сознательно—превосходными пародіями на стихи нѣкоторыхъ дикихъ поэтовъ, которыя помѣщалъ онъ въ своемъ «Новомъ Живописцѣ Общества и Литературы»,—этомъ лучшемъ произведеніи всей его литературной дѣятельности... Да, заслуги этихъ людей, вольныя и невольныя, сознательныя и безсознательныя, поставили, такъ сказать, на ноги нашу юную литературу и нашъ

Digitized by Google

младенчествующій вкусъ. Это произвело важныя и благодѣтельныя слѣдствія. Маленькое дарованіе теперь не попадетъ въ геніи. Посредственность и бездарность можетъ теперь сколько ей угодно пѣть стихами и скрипѣть прозой, не подвергаясь опасности быть замѣченной со стороны публики: она теперь обращаетъ на себя вниманіе только журналовъ, и только въ тѣхъ, которые сродни ей, встрѣчаетъ себѣ похвалы. Чѣмъ труднѣе теперь обратить на себя общее вниманіе, тѣмъ легче истинному таланту быть тотчасъ же замѣченнымъ. Въ прозѣ еще до сихъ поръ и маленькое дарованіе можетъ быть замѣчено; но стихами, которые не то, чтобы худы, да и не то, чтобъ очень хороши, ужъ невозможно пріобрѣсти ни малѣйшей извѣстности. Время риѳмованныхъ побрякушекъ прошло невозвратно; ощущеньица и чувствованьица ставятся ни во что: на мѣсто того или другого требуются глубокія чувства и идеи, выраженныя въ художественной формѣ, съ риѳмами или безъ риѳмъ—все равно. Для успѣха въ поэзіи теперь мало одного таланта—нужно еще и развитіе въ духѣ времени. Поэтъ уже не можетъ жить въ мечтательномъ мірѣ: онъ уже гражданинъ царства современной ему дѣйствительности; все прошедшее должно жить въ немъ. Общество хочетъ въ немъ видѣть уже не потѣшника, но представителя своей духовной жизни;—оракула, дающаго отвѣты на самые мудреные вопросы;—врача, въ самомъ себѣ, прежде другихъ, открывающаго общія боли и скорби, и поэтическимъ воспроизведеніемъ исцѣляющаго ихъ...

Если такой взглядъ на важность поэзіи, высокое значеніе поэта не помѣшалъ намъ посвятить цѣлую критическую статью разбору первыхъ опытовъ Майкова,—значитъ, мы много видимъ въ дарованіи новаго поэта. Но это обстоятельство и требуетъ отъ насъ возможно-критической строгости, которую молодой поэтъ долженъ принять только за доказательство нашего уваженія къ его таланту.

Стихотворенія Майкова хоть и расположены безъ всякой системы, безъ всякаго раздѣленія, тѣмъ не менѣе они сами собой раздѣляются, въ глазахъ читателя, на два разряда, неимѣющіе между собой ничего общаго, кромѣ развѣ хорошаго стиха, почти вездѣ составляющаго неотъемлемую принадлежность музы молодого поэта. Къ первому разряду должно отнести стихотворенія въ древнемъ духѣ и антологическомъ родѣ. Это перлъ поэзіи Майкова, торжество таланта его, поводъ къ надеждѣ на будущее его развитіе. Второй разрядъ составляютъ стихотворенія, въ которыхъ авторъ думаетъ быть современнымъ поэтомъ, и которыхъ лучшая сторона—хорошій стихъ. Но объ этихъ послѣ; сперва поговоримъ о стихотвореніяхъ перваго разряда.

Читателямъ «Отечественныхъ Записокъ» должно быть извѣстно наше понятіе о сущности и важности такъ называемой антологической поэзіи, и потому мы, не желая повторять себя, будемъ говорить только о поэзіи Майкова; тѣхъ же изъ читателей, которые не знаютъ нашего понятія объ антологической поэзіи, попросимъ заглянуть въ статью о «Римскихъ Элегіяхъ Гёте». Теорія антологической поэзіи имѣетъ такое близкое отношеніе къ нѣкоторымъ изъ стихотвореній Майкова, что мы въ помянутой статьѣ выписали, какъ превосходнѣйшій образецъ въ антологическомъ родѣ, его дивно-поэтическую, роскошно-художественную пьесу «Сонъ» (Когда ложится тѣнь прозрачными клубами), не зная, кому она принадлежитъ, и написалъ ли авторъ ея еще что-нибудь. Эта пьеса была напечатана первоначально въ «Одесскомъ Альманахѣ» на 1840 годъ,—и мы, при разборѣ этого «Альманаха», еще задолго до статьи о «Римскихъ Элегіяхъ», выписали въ нашемъ журналѣ это стихотвореніе, скромно подписанное буквой *М*. И безъ подписи знаменитаго или по крайней мѣрѣ знакомаго имени оно поразило насъ до того, что мы перенесли его на страницы своего журнала при громкой похвалѣ, и потомъ, съ неослабѣвшимъ энтузіазмомъ, припомнили его черезъ четырнадцать мѣсяцевъ.

Это именно одно изъ тѣхъ произведеній искусства, которыхъ кроткая, цѣломудренная, замкнутая въ самой себѣ красота совершенно нѣма и незамѣтна для толпы, и тѣмъ болѣе краснорѣчива, ярко блистательна для посвященныхъ въ таинства изящнаго творчества. Какая мягкая, нѣжная кисть, какой виртуозный рѣзецъ, обличающіе руку твердую и искушенную въ художествѣ! Какое поэтическое содержаніе и какіе пластическіе, благоуханные, граціозные образы! Одного такого стихотворенія вполнѣ достаточно, чтобы признать въ авторѣ замѣчательное, выходящее за черту обыкновенности, дарованіе. У самого Пушкина это стихотвореніе было бы изъ лучшихъ его антологическихъ пьесъ. Въ немъ искусство является истиннымъ искусствомъ, гдѣ пластическая форма прозрачно дышетъ живой идеей.

Чтобъ опредѣлить значеніе и достоинство антологической поэзіи Майкова, мы должны указать на ея мотивы, найти въ ней художническое profession de foi автора. Въ слѣдующихъ стихотвореніяхъ мы находимъ все это, ясно и ярко выраженное.

Digitized by Google

Сомнѣніе.

Пусть говорятъ—поэзія мечта,
Горячки сердца бредъ ничтожный,
Что міръ ея есть міръ пустой и ложный,
И блѣдный вымыслъ—красота!
Пусть нѣтъ для мореходцевъ дальнихъ
Сиренъ опасныхъ, нѣтъ дріадъ
Въ лѣсахъ густыхъ, въ ручьяхъ кристальныхъ
Золотовласыхъ нѣтъ наядъ;
Пусть Зевсъ изъ длани не низводитъ
Разящій молніи потокъ,
И на ночь Геліосъ не сходитъ
Къ Ѳетидѣ въ пурпурный чертогъ:
Пусть такъ! но въ полдень листьевъ шопотъ
Такъ полонъ тайны; шумъ ручья
Такъ сладкозвученъ; моря ропотъ
Глубокомысленъ; солнце дня
Съ такой любовію пріемлетъ
Пучина моря; лунный ликъ
Такъ сокровенъ,—что сердце внемлетъ
Во всемъ таинственный языкъ;
И ты невольно симъ явленьямъ
Даруешь жизни красоты,
И этимъ милымъ заблужденьямъ
И вѣришь, и не вѣришь ты!

Остановимся на этомъ стихотвореніи и взглянемъ на него прежде, чѣмъ перейдемъ къ другимъ. По содержанію—это превосходная пьеса; но форма не вездѣ соотвѣтствуетъ своему содержанію, и изъ-за поэтическаго, полнаго жизни и опредѣленности языка мѣстами слышится несвязный лепетъ неповинующейся слову мысли... Стихъ: «Что міръ ея есть міръ пустой и ложный»—прозаиченъ; «и блѣдный вымыслъ — красота»—неопредѣленъ и блѣденъ; выраженіе о Зевсѣ, «низводящимъ изъ длани потокъ разящей молніи» невѣрно и въ отношеніи къ языку, и въ отношеніи къ поэзіи; «Лунный ликъ такъ сокровенъ» ничего не говоритъ ни уму, ни фантазіи читателя, по причинѣ неточности эпитета; «И ты невольно симъ явленьямъ даруешь жизни красоты»—выражено слабо и неопредѣленно. Послѣдніе два стиха въ пьесѣ прекрасны, но не вполнѣ удовлетворительны по мысли: въ нихъ слишкомъ много сдѣлано уступки, вмѣсто которой читатель самой пьесой настроенъ ожидать, что поэтъ опредѣлитъ и объяснитъ, почему неодушевленныя явленія природы производятъ на него впечатлѣнія живыхъ индивидуальныхъ существъ, и въ яркомъ образѣ, замыкающемъ стихотвореніе, примиритъ чисто поэтическое созерцаніе древнихъ съ нашимъ, на опытѣ и наукѣ основаннымъ, и все-таки поэтическимъ созерцаніемъ природы. Но тогда бы эта пьеска была превосходнымъ произведеніемъ искусства: такъ много въ ней взмаху и отважнаго намѣренія, такъ много высказано стихами, которые мы оставили безъ замѣчаній. Но все это мы говоримъ мимоходомъ; главное въ этомъ стихотвореніи для насъ, по намѣренію нашей статьи, есть то, что исходный пунктъ поэзіи Майкова — природа съ ея живыми впечатлѣніями, такъ сильными, таинственными и обаятельными для юной души, еще неизвѣдавшей другой сферы жизни...

Октава.

Гармоніи стиха божественныя тайны
Не думай разгадать по книгамъ мудрецовъ:
У брега сонныхъ водъ, одинъ бродя случайно,
Прислушайся душой къ шептанью тростниковъ,
Дубравы говору; ихъ звукъ необычайный
Прочувствуй и пойми... Въ созвучіи стиховъ
Невольно съ устъ твоихъ размѣрныя октавы
Польются, звучныя, какъ музыка дубравы.

Искусство.

Срѣзалъ я себѣ тростникъ у прибрежья шумнаго моря.
Нѣмъ, онъ забытый лежалъ въ моей хижинѣ бѣдной.
Разъ увидалъ его старецъ прохожій, къ ночлегу
Въ хижину къ намъ завернувшій. (Онъ былъ непопятенъ,
Чуденъ на нашей глухой сторонѣ). Онъ обрѣзалъ
Стволъ и отверстій надѣлалъ, къ устамъ приложилъ ихъ,—
И оживленный тростникъ вдругъ исполнился звукомъ
Чуднымъ, какимъ оживлялся порою у моря,
Если внезапно Зефиръ, зарябивъ его воды,
Трости коснется и звукомъ наполнитъ поморье.

Этихъ двухъ стихотвореній уже никакъ нельзя сравнить съ первымъ; все недосказанное или неопредѣленно высказанное въ немъ явилось въ нихъ такъ полно, такъ опредѣленно; прекрасное содержаніе выразилось въ нихъ въ прекрасныхъ формахъ, отличающихся виртуозностью отдѣлки. Что же до содержанія—оно здѣсь представляетъ собой основное положеніе, основное начало эстетики автора, что природа есть наставница и вдохновительница поэта; что у ней онъ прежде всего началъ брать уроки въ искусствѣ слагать сладкія пѣсни; что есть соотношеніе, есть родственность между звучной октавой, гармоническимъ гекзаметромъ — и шептаньемъ тростниковъ, говоромъ дубравъ... Глубоко-жизненное, поэтически-вѣрное начало! Поэзія принадлежитъ къ числу такихъ предметовъ, уразумѣніе которыхъ должно начинаться съ ощущенія, а не съ рефлексіи: послѣдняя должна быть результатомъ перваго, при нормальномъ развитіи. Симпатія къ природѣ есть первый моментъ духа, начинающаго развиваться. Каждый человѣкъ начинаетъ съ того, что непосредственно поражаетъ его умъ формой, краской, звукомъ; а природа полна формъ, красокъ и звуковъ. Поэтъ—существо, которое наиболѣе испытываетъ на себя непосредственное вліяніе явленій природы: онъ по преимуществу ея сынъ, ея любимецъ, наперсникъ тайнъ ея.

Digitized by Google

Говоря объ этомъ, нельзя не вспомнить чудныхъ стиховъ Пушкина:

Все волновало нѣжный умъ:
Цвѣтущій лугъ, луны блистанье,
Въ часовнѣ ветхой бури шумъ,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демонъ обладалъ
Моими играми, досугомъ;
За мной повсюду онъ леталъ,
Мнѣ звуки дивные шепталъ,
И тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ
Была полна моя глава:
Въ ней грезы чудныя рождались;
Въ размѣры стройные стекались
Мои послушныя слова
И звонкой риѳмой замыкались.
Въ гармоніи соперникъ мой
Былъ шумъ лѣсовъ, иль вихорь буйный,
Иль иволги напѣвъ живой,
Иль ночью моря гулъ глухой,
Иль шопотъ рѣчки тихострунной.

Да, естественно, что поэтъ видитъ поэзію прежде всего въ природѣ, и что природа прежде всего пробуждаетъ поэтическія силы въ юномъ талантѣ. Въ этомъ отношеніи пьесы Майкова «Октава» и «Искусство» составляютъ главу эстетики,—и эстетикъ не усомнится перенести ихъ въ свою книгу, для яснѣйшаго подтвержденія доказательства своихъ понятій объ искусствѣ, если только его понятія объ этомъ предметѣ вѣрны. Но природа бываетъ колыбелью поэзіи не только для отдѣльныхъ лицъ: въ лицѣ древнихъ эллиновъ природа была паѳосомъ поэзіи цѣлаго человѣчества. И въ этомъ отношеніи муза Майкова родственна, по своему происхожденію, древле-эллинской музѣ: подобно этой музѣ, она изъ природы почерпаетъ свои кроткія, тихія, дѣвственныя и глубокія вдохновенія; подобно ей, въ движеніяхъ и чувствахъ еще младенчески ясной души, еще въ лонѣ природы непосредственно ощущающаго себя сердца, находитъ она неисчерпаемое содержаніе для своихъ благоуханно гармоническихъ и безыскусственно изящныхъ пѣсенъ. Разумѣется, эта родственность могла бы остаться только въ возможности, еслибъ знакомство съ древними классическими языками не пробудило ее: обстоятельство, много обѣщающее въ будущемъ для развитія прекраснаго дарованія молодого поэта! Еще въ той порѣ возраста, съ которой самъ Пушкинъ только что началъ писать *не*-лицейскія стихотворенія, и въ которую жизнь едва-ли еще можетъ дать содержаніе какому угодно таланту, — Майковъ изученіемъ изящной древне-классической поэзіи завоевалъ плодоносную почву для своихъ вдохновеній. И зато—посмотрите, сколько эллинскаго и антологическаго въ его стихотвореніяхъ: любое изъ нихъ можно принять за превосходный переводъ съ греческаго; любое изъ нихъ можно перевести съ русскаго на чужой языкъ, какъ греческое, и только бы переводъ былъ изящень и художественъ, никто не будетъ спорить о греческомъ происхожденіи пьесы... Эллинское созерцаніе составляетъ основной элементъ таланта Майкова: онъ смотритъ на жизнь глазами грека, и—какъ мы увидимъ ниже—иначе и не умѣетъ еще смотрѣть на нее. Если взять въ разсчетъ его молодость (а ея въ этомъ случаѣ нельзя не брать въ разсчетъ), то мы увидимъ въ этомъ начало съ самаго начала, а не съ середины или конца, увидимъ нормальное, художественное развитіе.

На мысѣ семъ дикомъ, увѣнчанномъ бѣдной осокой,
Покрытомъ кустарникомъ ветхимъ и зеленью сосенъ,
Печальный Менискъ, престарѣлый рыбакъ, схоронилъ
Погибшаго сына. Его валелѣяло море,
Оно же его и пріяло въ широкое лоно,
И на берегъ бережно вынесло мертвое тѣло.
Оплакавши сына, отецъ подъ развѣсистой ивой
Могилу ему ископалъ и, накрывъ ея камнемъ,
Плетеную вершу изъ ивы надъ нею повѣсилъ—
Угрюмой ихъ бѣдности памятникъ скудный!

Вчитайтесь въ эту пьесу, вчитайтесь въ ея простой, повидимому чуждый всякаго убранства, всякой красоты и всякаго содержанія языкъ,—вы ощутите душой и безконечную красоту, и глубокое содержаніе. Кажется, тутъ нѣтъ ни начала, ни конца, ни цѣлаго, нѣтъ ни намѣренія, ни цѣли, ни мысли; но оставьте пьесу и вникните, вдумайтесь въ собственное ощущеніе, возбужденное въ васъ ею, и вы въ этомъ ощущеніи уловите цѣлое и уразумѣете намѣреніе, цѣль и мысль... Если же духу вашему и не чуждо древнее міросозерцаніе,—вы не можете не признать, что или это стихотвореніе переведено съ греческаго, или что и человѣкъ нашего времени въ эллинской эпохѣ своей жизни можетъ становиться грекомъ, такъ что самый взыскательный аѳинянинъ, современникъ Алкивіада, не назвалъ бы его объэллинившимся варваромъ, а призналъ бы своимъ соотечественникомъ, кореннымъ жителемъ Аттики и гражданиномъ города Паллады... Но муза Майкова не всегда бываетъ тиха и кротка, какъ въ этой скромной идиллiи: нерѣдко блистаетъ и жжетъ она упоительной роскошью красокъ и образовъ, не переставая ни на минуту быть спокойной, самообладающей и цѣломудренной, въ качествѣ благородной эллинской музы, какъ въ «Вакханкѣ». Въ примѣръ такихъ стихотвореній можно привести и—

Digitized by Google

Доридѣ.

Дорида милая! къ чему уборъ блестящій,
Гирлянды свѣжія, алмазъ, огнемъ горящій,
И ткани пышныя, и поясъ золотой,
Упругій твой корсетъ, сжимающій собой
Такъ жадно, пламенно твои красы младыя,
Твой стройный, гибкій станъ и перси наливныя?...
Нѣтъ, милая! оставь, оставь уловку ты
Насъ разомъ поражать и блескомъ красоты,
И блескомъ пышныхъ ризъ. Явись мнѣ не богиней:
Благоговѣніе такъ хладно предъ святыней!
Я не его ищу. Явися дѣвой мнѣ,
Земною дѣвою. Со мной наединѣ
Ты косу отрѣши изъ-подъ кольца златого.
Сорви съ своей груди рукой своей перловой
Ты розу блѣдную, желанный дай просторъ
Горящимъ персямъ. Пусть непринужденный взоръ
Забудетъ всѣ любви приманки!.. Другъ мой нѣжный!
Пусть сердце юное волнуется мятежно,
Пускай спадетъ во прахъ и злато, и жемчугъ
Съ твоихъ роскошныхъ плечъ, съ полупрозрачныхъ рукъ...
Ахъ, Боже мой! какъ ты мила, какъ милъ и сладокъ
Одежды и рѣчей волшебный безпорядокъ!

Знаемъ, что лицемѣрнымъ моралистомъ эта пьеса не только не понравится, но и возбудитъ все негодованіе ихъ; но потому-то она и прекрасна. Есть люди, которые отрицательно и навыворотъ безошибочны въ своихъ сужденіяхъ и приговорахъ: на что̀ напали они съ остервенѣніемъ,—знайте, что это превосходно; что̀ восхвалили они съ неистовствомъ—знайте, что это пошло или мертво. Лицемѣрные моралисты въ высшей степени обладаютъ этой выворотной вѣрностью сужденія... Что же до ихъ строгости — она понятна: Шиллеръ въ одной изъ своихъ ксеній сказалъ, что для этихъ господъ особенно важна власть закона: не будь въ нихъ страха наказанія, они обокрали бы свою невѣсту, обнимая ее... Кто имѣетъ счастье быть не моралистомъ, а человѣкомъ, и понимать все человѣческое,— для тѣхъ стихотвореніе «Доридѣ», при всей шаловливой вольности своего содержанія, будетъ образцомъ дѣвственной граціозности выраженія, подобно лукавой улыбкѣ на невинномъ лицѣ юной красавицы.

Жалѣемъ, что мѣсто и время, а главное— право собственности не позволяютъ намъ выписать изъ книги Майкова всѣхъ антологическихъ стихотвореній—особенно «Гезіода» и «Вакха», тѣмъ болѣе, что мы не можемъ не выписать еще двухъ пьесъ, довольно большихъ, и болѣе, нежели прочія, характеристическихъ. Вотъ образецъ граціозной наивности древней музы:

Муза, богиня Олимпа, вручила двѣ звучныя флейты
Рощъ покровителю Пану и свѣтлому Фебу.
Фебъ прикоснулся къ божественной флейтѣ,—и чудный
Звукъ полился изъ бездушнаго ствола. Внимали
Вкругъ присмирѣвшія воды, не смѣя журчаньемъ
Пѣсни тревожить, и вѣтеръ заснулъ между листьевъ
Древнихъ дубовъ, и заплакали, тронуты звукомъ,
Травы, цвѣты и деревья; стыдливыя нимфы
Слушали, робко толпясь межъ сильвановъ и фавновъ.
Кончилъ пѣвецъ и помчался на огненныхъ коняхъ,
Въ пурпурѣ алой зари, на златой колесницѣ.
Бѣдный лѣсовъ покровитель напрасно старался припомнить
Чудные звуки, и ихъ воскресить своей флейтой;
Грустный, онъ трели выводитъ, но трели земныя...
Горькій безумецъ! Ты думаешь, небо не трудно
Здѣсь воскресить на землѣ? *Посмотри: улыбаясь,*
Съ взглядомъ насмѣшливымъ слушаютъ нимфы и фавны.

Слѣдующее стихотвореніе покажетъ, какъ умѣетъ нашъ поэтъ быть разнообразнымъ, не выходя изъ тона антологической поэзіи:

Дитя мое, ужъ нѣтъ благословенныхъ дней,
Поры душистыхъ липъ, сирени и лилей;
Не свищутъ соловьи и иволги не слышно...
Ужъ полно! не плести тебѣ гирлянды пышной
И незабудками головки не вѣнчать;
По утренней росѣ авроры не встрѣчать,
И поздно вечеромъ уже не любоваться,
Какъ теплые пары надъ озеромъ клубятся,
И звѣзды смотрятся сквозь нихъ въ его стеклѣ;
Не плющъ и не цвѣты вiются по скалѣ,
А мохъ въ разсѣлинахъ пушится раннимъ снѣгомъ.
А ты, мой другъ, все та-жъ: рѣзва, мила... Люблю,
Какъ разгорѣвшися и утомившись бѣгомъ,
Ты, вѣя холодомъ, врываешься въ мою
Глухую хижину, стряхаешь кудри снѣжны,
Хохочешь и меня цѣлуешь звонко, нѣжно!

Здѣсь уже другая картина, другое небо, другой климатъ, но тонъ поэзіи, но созерцаніе, составляющее ея фонъ, все тѣ же, дышущіе сладостью и нѣгой свѣтлаго неба Эллады!...

Однакожъ тотъ не понялъ бы насъ, кто захотѣлъ бы видѣть въ антологическихъ стихотвореніяхъ Майкова полное выраженіе древней поэзіи или полное выраженіе элементовъ жизни древнихъ, классическаго духа. Гармоническое единство съ природой, проникнутое разумностью и изяществомъ, еще далеко не составляетъ исключительнаго элемента древняго міросозерцанія. Жизнь древнихъ выражается не въ одной идилліи или застольной пѣснѣ, но и въ трагедіи, которая составляла одинъ изъ основныхъ элементовъ ихъ жизни. И если со стороны идилліи и пѣсни жизнь грековъ была

Digitized by Google

наивно-прелестна, очаровательно-граціозна, мила и любезна, то со стороны трагедіи она была благородна, доблестна и возвышенна. Первая сторона жизни заставляетъ любить жизнь; вторая сторона — заставляетъ уважать ее и гордиться ею. Греки это понимали,—и трагедія была послѣднимъ, самымъ пышнымъ, самымъ благоуханнымъ цвѣтомъ ихъ поэзіи. Трагическій элементъ преобладаетъ уже и въ самой «Иліадѣ»,— этой прародительницѣ всѣхъ трагедій греческихъ, впослѣдствіи явившихся. Что же разумѣлъ грекъ подъ «трагическимъ»?— Не печальную судьбу человѣка, вслѣдствіе противорѣчащихъ условій жизни или вслѣдствіе случайности. Человѣкъ, попавшійся на встрѣчу дикому звѣрю и растерзанный имъ, не могъ быть героемъ греческой трагедіи. Трагическое грековъ заключалось или въ борьбѣ долга съ влеченіемъ сердца, воли со страстями, или въ борьбѣ разумнаго, двигательнаго начала съ общественнымъ мнѣніемъ; результатомъ борьбы всегда была гибель героя, которой онъ въ случаѣ побѣды запечатлѣвалъ торжество божественной идеи надъ массами и которой, въ случаѣ паденія героя, божественная истина запечатлѣвала свое торжество надъ ограниченностью человѣческой личности. Въ обоихъ случаяхъ источникъ борьбы былъ внутренній и заключался въ духовной натурѣ героя трагедіи, которымъ могъ быть только великій человѣкъ, созданный дѣйствовать на аренѣ исторіи, предназначенный осуществить собой какое-либо нравственное начало, быть представителемъ какой-либо идеи. Такъ, въ «Антигонѣ» Софокла героями являются: Антигона, какъ поборница закона родственности, вѣдущно жертвующая своей жизнью для выполненія того, что она считала своимъ долгомъ, и невыполненіе чего унизило бы ее въ собственныхъ глазахъ и было бы ей горше смерти,—и Креонъ, какъ представитель непреложной власти закона въ гражданскомъ обществѣ. И потому вся трагедія эта есть не что иное, какъ трагическая ошибка двухъ равно разумныхъ и великихъ, но на этотъ разъ враждебныхъ началъ. Люди погибли, подобно воинамъ, храбро сражавшимся за правое дѣло: сердце наше скорбитъ о ихъ гибели; но, благословляя падшихъ, мы уже не клянемъ судьбы, ибо видимъ въ гибели героевъ не случайность, но добровольное самопожертвованіе. Антигона могла бы легко спастись отъ гибели, оставивъ свое великодушное намѣреніе похоронить убитаго брата; но тогда она не была бы великой женщиной, не была бы героиней, и не было бы трагедіи. Вотъ почему трагедія есть высшій родъ поэзіи; вотъ почему такъ возвышаетъ нашу душу ея окровавленный кинжалъ, ея устланный трупами благороднѣйшихъ жертвъ помостъ... Герой есть высочайшее и благороднѣйшее явленіе духа міровой жизни; его личность есть апоѳеоза человѣчества, которое воздвигаетъ ему вѣковѣчные памятники изъ мрамора и мѣди, какъ-бы поклоняясь себѣ въ этихъ гигантскихъ образахъ; герой возбуждаетъ все удивленіе, весь восторгъ, всю любовь человѣчествѣ; образъ его поддерживаетъ въ человѣчествѣ возвышенную вѣру въ великое, истинное и доблестное жизни, во мракѣ ежедневности и случайности поддерживаетъ вѣчный свѣтъ разума... Но почему же герой есть герой? что дѣлаетъ человѣка героемъ?—Неизмѣнная возможность трагической гибели, этотъ паѳосъ къ идеѣ, простирающійся до веледушной готовности смертью запечатлѣть ея торжество, принести ей въ жертву то, что дается на землѣ только разъ и никогда не возвращается, и чего слѣдовательно нѣтъ драгоцѣннѣе — жизнь, и иногда жизнь во цвѣтѣ, въ порѣ надеждъ, въ виду милаго, ласкающаго призрака счастья... Итакъ, возможность трагическаго заключается въ условіяхъ ограниченности нашей личности, которой бытіе отдѣляется отъ небытія едва замѣтной и слабой нитью, волосомъ, готовымъ порваться отъ дуновенія вѣтра, и порваться невозвратно... Насъ огорчаетъ и ужасаетъ эта невозвратность однажды утраченнаго счастья, однажды полученной жизни, однажды пріобрѣтеннаго друга или милой сердца; но уничтожьте эту возможность въ одну минуту потерять данное цѣлой жизнью — и гдѣ-же величіе и святость жизни, гдѣ доблесть души, гдѣ истина и правда?.. О, безъ трагедіи жизнь была бы водевилемъ, мишурной игрой мелкихъ страстей и страстишекъ, ничтожныхъ интересовъ, грошовыхъ и копѣечныхъ помысловъ... Трагическое, это—Божья гроза, освѣжающая сферу жизни послѣ зноя и удушья продолжительной засухи... Грекъ понималъ его своей высокой душой—и, умѣя наслаждаться жизнью, умѣлъ и быть достойнымъ ея наслажденій. Безпечно веселиться на пиру и твердо умирать, гдѣ и когда велитъ судьба,—вотъ что было для грека идеаломъ разумной жизни.

Все великое, земное
Разлетается, какъ дымъ:
Нынѣ жребій выпалъ Троѣ,
Завтра выпадетъ другимъ...
Смертный, силѣ, насъ гнетущей,
Покоряйся и терпи!
Спящій въ гробѣ—мирно спи!
Жизнью пользуйся—живущій!

Въ этихъ стихахъ заключается весь кодексъ нравственности грека.

Digitized by Google

Шиллеръ особенно глубоко постигнулъ своей великой душой трагическую сторону жизни, въ противности съ свѣтлой ея стороной,—и глубоко, мощно, со всей роскошью пластической художественности, выразилъ свое созерцаніе древней жизни въ дивномъ, великомъ созданіи своемъ—«Торжество Побѣдителей», такъ прекрасно переданномъ по-русски Жуковскимъ.

Сколькихъ добрыхъ жизнь поблекла!
Сколькихъ низкихъ рокъ щадитъ!...
Нѣтъ великаго Патрокла,
Живъ презрительный Терситъ.
Смертный, вѣчный Дій Фортунѣ
Своенравной предалъ насъ:
Уловляй же быстрый часъ,
Не тревожа сердца втунѣ!

Какіе переходы отъ высокихъ созерцаній трагической судьбы всего великаго къ веселому взгляду на жизнь!...Вспоминая Аякса, убившаго себя въ гнѣвѣ за коварное похищеніе Одиссеемъ выигранныхъ имъ доспѣховъ Ахилла, братъ его, Оилидъ, говоритъ:

Миръ тебѣ во тьмѣ Эрева!
Жизнь твою не врагъ пожалъ:
Ты своею силой палъ,
Жертвой гибельнаго гнѣва!

Какое величіе, какой паѳосъ въ этой догматикѣ героизма, въ этихъ стихахъ:

О, Ахиллъ! о, мой родитель!
(Возгласилъ Неоптолемъ)
Быстрый міра посѣтитель,
Жребій лучшій взялъ ты въ немъ.
Жить съ людьми племенъ дѣлами—
Благо первое земли;
Будемъ вѣчны именами
И сокрытые въ пыли!
Слава дней твоихъ нетлѣнна;
Въ пѣсняхъ будетъ цвѣсть она:
Жизнь живущихъ невѣрна,
Жизнь отжившихъ неизмѣнна!

Смерть велитъ умолкнуть злобѣ:
(Діомедъ провозгласилъ)
Слава Гектору во гробѣ!
Онъ краса Пергама былъ;
Онъ за край, гдѣ жили дѣды,
Веледушно пролилъ кровь;
Побѣдившимъ—честь побѣды!
Охранявшему—любовь!
Кто, на судъ явясь кровавый,
Славно палъ за отчій домъ:
Тотъ, почтенный и врагомъ,
Будетъ жить въ преданьяхъ славы.

Но нисколько не менѣе эллинизма и въ слѣдующей рѣчи Нестора къ Гекубѣ, хоть ея содержаніе повидимому и совершенно противоположно выписаннымъ стихамъ выше:

Несторъ, жизнью убѣленный,
Нацѣдилъ вина фіалъ,
И Гекубѣ сокрушенной
Дружелюбно выпить далъ.
Пей страданій утоленье;
Добрый Вакховъ даръ вино:
И веселость, и забвенье
Проливаетъ въ насъ оно.
Пей, страдалица! печали
Услаждаются виномъ:
Боги жалостные въ немъ
Подкрѣпленье сердцу дали.
Вспомни матерь Ніобею:
Что̀ извѣдала она!
Сколь ужасная надъ нею
Казнь была совершена!
Но и съ нею, безотрадной,
Добрый Вакхъ не даромъ былъ:
Онъ струею виноградной
Вмигъ тоску въ ней усыпилъ.
Если грудь виномъ согрѣта,
И въ устахъ вино кипитъ:
Скорби наши быстро мчитъ
Ихъ смывающая Лета.

Нельзя спрашивать поэта, зачѣмъ у него есть то, а нѣтъ этого; но долгъ критики замѣтить, что̀ у него есть и чего нѣтъ. Вотъ почему мы распространились здѣсь о сущности и значеніи элемента «трагическаго» въ древнемъ искусствѣ, и вотъ почему почитаемъ себя вправѣ замѣтить, что Майковъ и не коснулся этого элемента. Думаемъ, что причина этого заключается не столько въ характерѣ его таланта, сколько въ его молодости, еще переживающей моментъ гармоническаго единства съ природой, въ духѣ древнихъ. Но придетъ время—и можетъ быть въ духѣ поэта совершится движеніе: прекрасная природа не будетъ болѣе заслонять отъ его глазъ явленій высшаго міра—міра нравственнаго, міра судебъ человѣка, народовъ и человѣчества... И мы почли бы себя счастливыми, еслибъ эти строки могли послужить хоть косвенной причиной къ ускоренію этого времени... Майковъ вполнѣ владѣетъ орудіемъ искусства—стихомъ, который у него напоминаетъ стихъ первыхъ мастеровъ русской поэзіи; а это—великій и подающій самыя лестныя надежды признакъ! Стихъ въ поэзіи — то же, что̀ слогъ въ прозѣ, а слогъ—это самъ талантъ, и талантъ необыкновенный... Но мѣрка великаго таланта состоитъ не въ одномъ стихѣ, хотя бы и поэтическомъ и художественномъ, но еще и въ движеніи, въ развитіи содержанія поэзіи, источникъ котораго есть движеніе и развитіе духа самого поэта, а движеніе и развитіе состоитъ въ безпрерывномъ отрицаніи низшихъ моментовъ въ пользу высшихъ. Я никогда не назову великимъ поэта, котораго стихотворенія можно печатать по родамъ пьесъ, а не въ хронологической послѣдовательности. Батюшковъ—поэтъ съ замѣчательнымъ талантомъ; но нѣтъ никакой нужды видѣть подъ его пьесами годъ и число, означающіе время ихъ сочиненія...

Но мы отдалились отъ своего предмета. Возвращаясь къ нему, должны повторить, что какъ родственъ и присущъ духу нашего поэта элементъ «наивнаго» и «природнаго», такъ чуждъ элементъ «трагическаго» въ

Digitized by Google

древней поэзіи. Разъ Майковъ былъ близокъ къ нему по содержанію, избранному имъ для самой большой своей пьесы; но онъ и не коснулся трагическаго, хоть можетъ-быть и думалъ вполнѣ его выразить... Мы говоримъ о его драматической поэмѣ «Олинеъ и Эсеирь» (римскія сцены временъ пятаго вѣка христіанства). Мысль поэмы — контрастъ и взаимныя отношенія умирающаго языческаго и торжествующаго христіанскаго міра. Поэма занимаетъ шестьдесятъ страницъ, которыя въ чтеніи легко могутъ показаться шестьюстами страницами: такъ все неглубоко, блѣдно, слабо, поверхностно и растянуто въ этомъ произведеніи! Чѣмъ выше намѣреніе поэта, тѣмъ выше должно быть и исполненіе; но Майковъ явно взялся за дѣло не по вдохновенію, а изъ рефлексіи, и къ понравившейся ему мысли придѣлалъ сюжетъ и какіе-то образы безъ лицъ, вмѣсто того чтобъ слѣдовать безотчетному желанію дать жизнь преслѣдующимъ его образамъ, еще не зная, какую мысль выразятъ они... А между тѣмъ сколько элементовъ «трагическаго» съ обѣихъ сторонъ могло-бъ и должно-бъ было быть! Римская литература не представляетъ ни одной хорошей трагедіи; но зато римская исторія есть безпрерывная трагедія,—зрѣлище, достойное народовъ и человѣчества, неистощимый источникъ для трагическаго вдохновенія. Въ этомъ отношеніи едва ли есть другой народъ, котораго исторія могла бы соперничать съ исторіей римлянъ. Страстное самозабвеніе въ идеѣ государственности, въ идеѣ политическаго величія своего отечества, паѳосъ къ гражданской свободѣ, къ ненарушимости и неприкосновенности правъ сословій и каждаго гражданина отдѣльно, гражданская доблесть въ цвѣтущія времена великой республики и гордая, стоистическая борьба съ рокомъ, увлекавшимъ къ паденію великую отчизну великихъ гражданъ, и уступчивость судьбѣ вслѣдствіе геніальнаго предвидѣнія будущаго, уступчивость, роковая для начавшихъ и счастливая для менѣе великихъ, но болѣе во́-время явившихся—вотъ гдѣ элементы «трагическаго» въ исторіи Рима, великой отчизны Коріолановъ, Фабіевъ, Гракховъ, Сципіоновъ, Маріевъ, Лукулловъ, Помпеевъ, Цезарей и Антоніевъ—этихъ колоссальныхъ ликовъ, сіяющихъ блескомъ героическаго величія, нестерпимаго для слабонервныхъ глазъ выродившихся людей нашего времени!... Правда, поэтъ избралъ эпоху уже выродившагося, умирающаго Рима; но, въ противоположность христіанству, онъ бы долженъ былъ избрать послѣдняго римлянина, который, независимо отъ всего окружающаго его, въ своемъ личномъ характерѣ выразилъ бы—сколько стоистической жизнью и трагической смертью, столько же и тоской по цвѣтущимъ временамъ своего отечества, все субстанціальное, все, чѣмъ великъ былъ республиканскій Римъ. Но Олинеъ Майкова только эпикуреецъ и больше ничего; собственно, онъ—образъ безъ лица. Другая сторона поэмы—христіанская, тоже полна трагическаго величія, ибо ея альфа и омега—мученичество и смерть за истину; но и она такъ же слаба и блѣдна у нашего поэта, какъ и языческая. Впрочемъ вся поэма отличается хорошими, звучными, а иногда и поэтическими стихами, какъ напр. пиршественная пѣсня римлянъ-язычниковъ.

Вообще, когда Майковъ выходитъ изъ сферы антологической поэзіи, его талантъ какъ будто слабѣетъ. Доказательствомъ этого можетъ служить маленькая поэмка его «Венера Медицейская», содержаніе которой, какъ можно видѣть изъ самаго ея заглавія, относится къ сферѣ классической поэзіи. Существуетъ преданіе, что знаменитая статуя, извѣстная подъ именемъ Венеры Медицейской, есть изображеніе одной римской императрицы. Поэтъ заставляетъ ее, выходя изъ волны, восхищаться собственной красотой—

И вотъ красавицы надменной
Мечта сбылась: перенесло
Волшебство кисти вдохновенной
На мрамора обломокъ бренный
И это гордое чело,
Вѣнчанное красой Изиды (?!),
И стройный станъ, и шелкъ кудрей:
И Римъ нарекъ ее Кипридой!
И Римъ молился передъ ней!

Мысль, какъ видите, мало поэтическая, слишкомъ незрѣлая и какъ-будто изысканная, не говоря уже объ унижающей достоинство искусства мысли—видѣть простую копію, портретъ въ вдохновенномъ созданіи свободнаго творчества. Самые стихи этой поэмы только красивы и ловки, но не художественны; есть между ними даже оскорбляющіе тонкій эстетическій вкусъ, любящій благородную простоту и точность выраженій, какъ напримѣръ:

На грудь высокую пустите
Змѣистый локоновъ разливъ.

Что́ такое: «пустить на грудь змѣистый разливъ локоновъ»? Это было бы хорошо развѣ въ стихотвореніи Бенедиктова, но очень дурно въ стихотвореніи Майкова. Или:

Прошли вѣка. Ихъ молотъ твердый
Величья храмы раздробилъ.

Что́ такое «молотъ вѣковъ, раздробляющій храмы величья»? Неужели это поэзія, не риторика?...

Digitized by Google

Не безъ достоинствъ слѣдующія стихотворенія съ болѣе или менѣе антологическимъ оттѣнкомъ: «Радость», «Измѣна», «XXXIII», «Жизнь», «Прощаніе съ деревней», «Заря», «Горы», «Мраморный Фавнъ». Что до послѣдняго стихотворенія, — оно было бы лучше, еслибъ не было растянуто приставкой и кончилось 25-мъ стихомъ, или—можетъ быть и еще лучше — 13-мъ стихомъ.

Теперь мы переходимъ ко второму разряду стихотвореній Майкова и съ сожалѣніемъ предупреждаемъ нашихъ читателей, что здѣсь намъ больше должно будетъ порицать, чѣмъ хвалить... Въ этихъ стихотвореніяхъ мы желали-бъ найти поэта современнаго и по идеямъ, и по формамъ, и по чувствамъ, по симпатіи и антипатіи, по скорбямъ и радостямъ, надеждамъ и желаніямъ, но — увы!— мы не нашли въ нихъ, за исключеніемъ слишкомъ немногихъ, даже и просто поэта... Тамъ хорошіе стихи при сбивчивости идеи, а иногда и при пустотѣ содержанія; тутъ неопредѣленность и вычурность выраженія, при усиліи сказать что-то такое, чего у автора не было ни въ представленіи, ни въ фантазіи; между всѣмъ этимъ иногда удачный стихъ, прекрасный образъ, а все остальное—риторика: вотъ общій характеръ этихъ стихотвореній. Пересмотримъ ихъ.

Въ «Чудномъ Вѣкѣ» поэтъ воспѣваетъ эпоху Петра Великаго, которая возсіяла—

> ... въ странѣ, загроможденной
> Цѣпями горъ; въ странѣ, гдѣ вьется лѣсъ
> Средь блатъ и тундръ; *въ той храминѣ священной,*
> *Гдѣ льды горятъ какъ въ храминѣ чудесъ...*

Не риторика ли это?... Въ концѣ пьесы авторъ заставляетъ Петра «выливать вѣнецъ на голову Россіи, саардамскимъ златомъ скрѣплять ея оковы и выковывать ей булаву (?) и мечъ», а громовымъ топоромъ (?) сбивать оковы съ широкихъ вратъ въ Европу», забывъ, что тогда воротъ (ни широкихъ, ни узкихъ) въ Европу не было, и что въ томъ-то и состоитъ великій подвигъ Петра, что онъ, по выраженію Альгаротти, создалъ Петербургъ, qui est la fenêtre par laquelle la Russie regarde en Europe, а слѣдовательно первый сдѣлалъ и ворота... Стихотвореніе, означенное N. V., превосходно по стихамъ, но мысль — приписать скалѣ глубокое участіе къ страданію человѣка — изысканна... Прекрасны послѣдніе шесть стиховъ стихотворенія «Воспоминаніе»; но ихъ-то едва ли кто и прочтетъ послѣ первыхъ восьми стиховъ и особенно этого начала:

> Когда ты *въ пучины былого*
> *Окунешься думой...*

«Еврейская Пѣснь» отличается прекрасными звучными стихами и библейскимъ колоритомъ въ выраженіи. Пьеса «Монастырь», откровенно названа авторомъ «введеніемъ къ ненаписанной поэмѣ». Она начинается непоэтическими стихами:

> Во дни кровавые, когда Тевтонъ суровый
> *Эстонцевъ уловлялъ въ желѣзныя оковы...*

Затѣмъ слѣдуетъ риторика, изрѣдка прерываемая стихами, вродѣ слѣдующихъ:

> Колонны гордыя, какъ бы утомлены
> На мощныхъ раменахъ держать обломки сводовъ,
> Пригнулися къ землѣ...

Обращаемся къ эстетическому чувству и художественному такту автора и спрашиваемъ его: можно ли, не говоримъ — печатать, но читать безъ напряженія и утомленія подобные стихи?—

> Все тлѣніе и прахъ!
> Здѣсь, за оградою, въ окованныхъ стѣнахъ,
> Гулъ міра умолкалъ передъ образомъ Распятья.
> Гласъ вѣры укрощалъ безумныя проклятья;
> Усталые пловцы здѣсь пристань обрѣли,
> И въ мірной келіи, отъ суеты вдали,
> Прахъ міра отряхнувъ, какъ саванъ надѣвали
> Одежду мертвую и къ небу воспаряли...
> Но вѣренъ ли онъ былъ, монашескій покровъ?
> Всегда ль, въ полуночномъ молчаніи дубровъ,
> Въ часы весенніе мечтательныхъ безсонницъ,
> Когда, ниспавъ между готическихъ оконницъ,
> Лучъ блѣдный мѣсяца ложился на нѣмомъ
> Чугунномъ помостѣ блистательнымъ ковромъ,
> Всегда ль, о ложѣ сна холодномъ забывая,
> Склонившися къ окну отшельница младая,
> Смотря на небеса, летѣла въ горній міръ,
> На лоно вѣчности, въ подоблачный эеиръ,
> Гдѣ ангелы поютъ божественные гимны,
> Откуда бѣдную зовутъ гостепріимно?

Каковъ періодъ: не угодно ли прочесть вамъ его, не переводя духа или не скрывъ смысла?... И что за неточность въ эпитетахъ? Что такое «окованныя стѣны», «одежда мертвая» (авторъ хотѣлъ вѣроятно сказать — «одежда мертвыхъ», да мѣра стиха не позволила), «вѣренъ ли монашескій обѣтъ» (кому и чему вѣренъ?)? Что такое «весенніе часы и мечтательныя безсонницы»?...

Теперь обращаемся ко всѣмъ людямъ съ эстетическимъ вкусомъ и художественнымъ тактомъ: можно ли безъ наслажденія и восторга читать послѣдніе, окончательные стихи этой пьесы, столь пламенные и вдохновенные?—

> Не правда ль, часто взоръ, какъ небо, голубой,
> На небѣ обрѣталъ прекрасный ликъ земной,
> И уху робкому мечтались не молитвы,
> А цитры тихій звонъ, иль кликъ опасной битвы,
> И грудь вздымалася, и грѣшная слеза,
> Туманя ясные красавицы глаза,
> По блѣдному лицу жемчужиной блистала,
> И юная глава въ волненьи упадала

Digitized by Google

На руки бѣлыя, и прядь златыхъ кудрей
Волною падала по мрамору грудей,
И мѣсяцъ осыпалъ ихъ блѣдными лучами
И трепетно игралъ змѣистыми тѣнями?..

Пьеса, означенная № XIV, принадлежитъ не къ числу худшихъ, особенно по окончанію. Въ пьесахъ: «Воробьевы Горы», «Два Гроба», «Истинное Благо», «Мститель» (скандинавская баллада), и «Кладбище»—мы рѣшительно не узнаемъ Майкова,—и подпишите подъ ними: Щетининъ, Кропоткинъ, Гогніевъ, Романовичъ—никто бы не удивился... «Воробьевы Горы» написаны точно какъ будто Бенедиктовымъ; въ нихъ есть: «кровель море разливное» (жаль, что не разливанное!), въ нихъ есть стихи: «И до-полюсныя воды у моихъ восплещутъ пятъ», въ нихъ «крадется пламени змѣя»; но въ нихъ нѣтъ ни мысли, ни поэзіи, ни даже хорошихъ стиховъ. Въ «Двухъ Гробахъ» собственно нѣтъ ни одного гроба: рѣчь идетъ о носилкахъ Карла XII и о вѣнцѣ Наполеона, будто-бы забытомъ имъ въ Москвѣ. Исполненіе совершенно соотвѣтствуетъ этой изысканной и натянутой мысли, какъ можете судить даже по этихъ двумъ съ половиной стихамъ:

Взманивъ къ себѣ на грудь увѣнчаннаго
змія (?),
Въ объятіяхъ его замучила Россія,
И гробомъ стала...

Вы ли это, Майковъ?...

Въ «Двухъ Моряхъ» воспѣты Средиземное и Мертвое (въ Сиріи) моря: идеи нѣтъ, но стихи не дурны, хотя между ними есть и вотъ какіе: «Въ вѣнцѣ береговъ, на яблокѣ земли»(?), «По немъ (по морю), воздѣвъ шеломъ среброкосматый, станица волнъ не ратуетъ во вѣкъ»(?). — Стихотвореніе «В. А. С.....у» замѣчательно, по хорошимъ стихамъ, какъ этюдъ. — Въ маленькой поэмѣ «Іафетъ» много ума, есть недурные стихи, но нисколько нѣтъ поэзіи. Впрочемъ мы, безошибочно высчитавъ, чего нѣтъ въ этомъ «рефлектированномъ» произведеніи, не все высчитали, что̀ есть въ немъ: въ немъ есть изысканныя выраженія: «міръ, обновленный въ купели моря; Кавказскія Горы—гордыя врата Европы».—«Молитва Бедуина» была бы очень хороша, еслибъ въ ней нѣкоторые стихи не были такъ тяжелы.—«Горный Ключъ» принадлежалъ бы къ лучшимъ пьесамъ Майкова, еслибъ въ немъ ручьи не были названы «рѣзвыми нитями земли». Очень недурна пьеска «Кто онъ?»—Къ хорошимъ можно причислить еще: «Призывъ», «Безвѣтріе», «Мысль поэта», «Пѣвцу», «Жизнь», «Мысль», «Заря» и «Е. П. М.».

Да, много, много превосходнаго, много хорошаго; но есть и такое, что̀ непріятно встрѣтить въ печати и что̀ бываетъ интересно и поучительно развѣ въ полныхъ собраніяхъ твореній великихъ поэтовъ, по смерти ихъ изданныхъ... Явно, что пьесы, вродѣ «Воробьевыхъ Горъ» и «Кладбища», написаны Майковымъ давно уже, и милы ему можетъ быть потому именно, что были первыми пробными звуками его музы; но мы судимъ о нихъ, какъ чужіе и посторонніе имъ... Но болѣе всего совѣтуемъ молодому поэту—и да приметъ онъ нашъ совѣтъ съ тѣмъ же радушіемъ и той любовью, съ какими мы даемъ его!—совѣтуемъ беречься изысканности въ идеяхъ и образахъ, совѣтуемъ слѣдовать больше своему непосредственному чувству и художественному такту, чѣмъ вкусу толпы... О, берегитесь этой толпы, молодой поэтъ! Она измѣнчива въ своей благосклонности и постоянно уважаетъ только тѣхъ, кого боится, а боится только тѣхъ, кто не за ней идетъ, а за собой ведетъ ее, не оглядываясь назадъ... Ей ничего не стоитъ низвергнуть истуканъ, ею же самой слѣпленный (обыкновенно изъ весенняго снѣгу — это любимый ея матеріалъ); но она всегда проходитъ съ потупленными очами и на цыпочкахъ мимо не ею созданнаго кумира... Вспомните, что у насъ есть теперь великіе поэты, которыхъ слава продолжалась не дольше трехъ лѣтъ... по крайней мѣрѣ я слышалъ объ одномъ, который такъ могъ угодить толпѣ мишурнымъ блескомъ и изысканными выраженіями, что она, толпа, въ нѣсколько мѣсяцевъ раскупила первую часть его стихотвореній; но вторая часть ихъ была издана только разъ, третья давно готова... въ рукописи, да дѣло стало за тѣмъ, что никто не берется издать.... Странное дѣло! въ антологическихъ стихотвореніяхъ Майкова стихъ — просто Пушкинскій, нѣтъ неточныхъ эпитетовъ, лишнихъ словъ, натянутыхъ или изысканныхъ выраженій, нѣтъ полутона фальшиваго: въ нихъ онъ—истинный, глубокій и притомъ опытный, искушенный художникъ, въ рукѣ котораго не дрожитъ рѣзецъ и не даетъ произвольныхъ штриховъ; но въ не-антологическихъ стихотвореніяхъ, по крайней мѣрѣ въ большей части ихъ, есть и неточные эпитеты, и неопредѣленность въ идеѣ, и изысканныя фразы, и чуждыя всякаго внутренняго значенія слова...

Однакожъ и между послѣдними есть, какъ мы уже видѣли, хорошія; мы нарочно ничего не говорили до сихъ поръ о четырехъ пьесахъ не-антологическаго содержанія, но превосходныхъ: указаніемъ на нихъ мы достойно заключимъ статью свою.

Пьесы эти особенно примѣчательны, какъ свидѣтельство духовной движимости поэта:

Digitized by Google

въ нихъ видно зерно и зародышъ новой для него эпохи творчества, новыхъ созданій въ будущемъ... Такова пьеса LV, которой не выписываемъ, потому что и безъ того много уже выписано; такова эта маленькая пьеска:

Жизнь безъ тревогъ—прекрасный свѣтлый
Тревожная — весны младыя грозы, [день;
Тамъ—солнца лучъ, и въ зной оливы сѣнь;
А здѣсь и громъ, и молнія, и слезы...
О! дайте мнѣ весь блескъ весеннихъ грозъ
И горечь слезъ, и сладость слезъ!

На эту пьесу не нужно комментаріевъ; кто жаждетъ такъ же и горечи, какъ и сладости грозъ, тотъ будетъ—«царства дивнаго всесильный властелинъ»... Но перлы неантологическихъ стихотвореній Майкова это—«Ангелъ и Демонъ» и «Раздумье». Вотъ первое:

Подъемлютъ споръ за человѣка
Два духа мощные: одинъ—
Эдемской двери властелинъ
И вѣрный стражъ ея отъ вѣка;
Другой—во всемъ величьи зла,
Владыка сумрачнаго міра:
Надъ огненной его порфирой
Горятъ два огненныхъ крыла.
Но торжество кому жъ уступить
Въ пыли рожденный человѣкъ:
Вѣнецъ ли вѣчныхъ пальмъ онъ купитъ,
Иль чашу временную нѣгъ?
Господень ангелъ тихъ и ясенъ:
Его живитъ смиренья лучъ;
Но *пышный* (!) демонъ такъ прекрасенъ,
Такъ лучезаренъ и могучъ!

Какая глубокая идея! Но форма—надо сказать правду—не совсѣмъ охватила и выразила это необъятное содержаніе: чего-то не достаетъ, что-то не договорено; эпитетъ «пышный» неудовлетворителенъ—мы думаемъ, что даже «гордый» больше бы шелъ къ внутреннему смыслу пьесы. Зато «Раздумье»—верхъ совершенства во всѣхъ отношеніяхъ: въ антологической, роскошно-художественной формѣ оно поражаетъ содержаніемъ изъ другой сферы...

Блаженъ, кто подъ крыломъ своихъ домашнихъ ларъ
Ведетъ спокойно вѣкъ! Ему обильный даръ
Прольютъ всѣ боги: лугъ еще заблещетъ, нивы
Церера озлатитъ; акаціи, оливы
Вѣтвями домъ его обнимутъ; надъ прудомъ
Пирамидальные, стоящіе вѣнцомъ,
Густые тополи взойдутъ и засребрятся,
И лозы каждый годъ подъ осень отягчатся
Кистями сочными: ихъ Вакхъ благословитъ!..
Не грозенъ для него свѣтильникъ эвменидъ,
Везъ страха будетъ ждать онъ ужасовъ Эреба,
А здѣсь рука его на жертвенникѣ неба
Повергнетъ не дрожа плоды, янтарный медъ,
Ихъ розъ гирляндами и миртой обовьетъ. .
Но я бы не желалъ сей жизни безъ волненья,
Мнѣ тягостно ея размѣрное теченье.
Я втайнѣ бы страдалъ и жаждалъ бы порой
И бури, и тревогъ, и вольности святой,
Чтобъ духъ мой крѣпнуть могъ въ бореніи мятежномъ
И, крылья распустивъ, орломъ широкобѣжнымъ
При общемъ ужасѣ надъ льдами горъ витать,
На бездну упадать и въ небѣ утопать.

Да, позволительно и можно многаго надѣяться въ будущемъ отъ духа, способнаго отрываться отъ участи, столь полной обаятельнаго счастья, и питать въ молодой груди желанія, отъ которыхъ не у всѣхъ и не у каждаго не поблѣднѣютъ ланиты отъ ужаса, но запылаютъ яркимъ румянцемъ могучаго рѣшенія, а очи заблещутъ гордымъ сознаніемъ собственной силы и упоеніемъ безконечнаго блаженства.

КУЗЬМА ПЕТРОВИЧЪ МИРОШЕВЪ.

Русская быль временъ Екатерины II.

Сочиненіе М. Н. Загоскина. Четыре части. Москва. 1842.

Загоскинъ пишетъ очень мало, но, сравнительно съ другими, онъ у насъ самый плодовитый романистъ. Въ десять лѣтъ слишкомъ—вотъ уже шестой романъ, да въ промежуткахъ повѣстей съ пятокъ; по нашему, по-русски, это много, очень много. Самъ Булгаринъ написалъ всего на-все только пять романовъ и ужъ больше—можно поручиться—не напишетъ ни одного; такъ ему посчастливилось въ этомъ дѣлѣ. Важный фактъ въ исторіи русскаго романа, потому что въ ней Булгаринъ играетъ гораздо бо́льшую и важнѣйшую роль, нежели какъ думаютъ и враги, и почитатели его несравненнаго таланта! Такъ какъ мы принадлежимъ къ числу послѣднихъ, т. е. почитателей, то и почитаемъ долгомъ объяснить значеніе Булгарина въ плачевной исторіи русскаго романа,—тѣмъ болѣе, что безъ этого мы никакъ не въ состояніи сдѣлать настоящей оцѣнки послѣднему роману Загоскина.

Всѣ русскіе романы можно раздѣлить на два разряда. Первый разрядъ ихъ начался «Бурсакомъ» и «Двумя Иванами» Нарѣжнаго, а окончился тремя попытками даровитаго И. И. Лажечникова—«Послѣднимъ Новикомъ», «Ледянымъ Домомъ» и «Басур-

Digitized by Google

маномъ». Здѣсь не мѣсто сравнивать между собой таланты обоихъ романистовъ; довольно сказать, что это таланты яркіе, замѣчательные, и что ничего общаго, никакой исторической связи между ними нѣтъ. Нарѣжный явился слишкомъ рано, не издавалъ ни журнала, ни газеты, гдѣ бы могъ ежедневно хвалить самого себя,—и прошелъ незамѣченнымъ, остался безъ подражателей. Романы Лажечникова были, напротивъ, оцѣнены публикой по достоинству безъ всякихъ на этотъ счетъ стараній съ его стороны или со стороны его друзей, издающихъ газеты и журналы. Романы Лажечникова были фактами эстетическаго и нравственнаго образованія русскаго общества, и навсегда будутъ достойны почетнаго упоминовенія въ исторіи русской литературы. Къ этому же разряду надо причислить и «Юрія Милославскаго» Загоскина; но о немъ рѣчь послѣ.

Второй разрядъ романовъ ведетъ свое начало издалека.

У насъ образовался особый родъ романа, который сперва назывался нравоописательнымъ, нравственно-сатирическимъ, а теперь ужъ никакъ не называется, хотя бы и долженъ былъ называться моральнымъ. Блистательный талантъ Булгарина былъ творцомъ этого рода романовъ; не менѣе блистательный талантъ Загоскина былъ его утвердителемъ и распространителемъ. Зотовъ и Воскресенскій принадлежатъ къ числу самыхъ счастливыхъ и даровитыхъ подражателей этихъ двухъ сочинителей. Проницательный читатель и безъ насъ угадаетъ имена прочихъ многочисленныхъ романистовъ этой категоріи. Но сверхъ морально-сатирическаго романа есть еще два разряда романовъ, которые впрочемъ составляютъ одинъ разрядъ съ нимъ. Мы говоримъ о романѣ восторженномъ, патетическомъ, живописующемъ растрепанные волосы, всклокоченныя чувства и кипящія страсти. Основателемъ этого рода романа былъ даровитый Марлинскій, у котораго есть тоже свои счастливые подражатели. Третій родъ романа—идеально-сантиментальный: его началъ Полевой своими сладенькими повѣстями, онъ же и кончилъ его въ переслащенномъ романѣ своемъ «Аббадонна»; — подражателей у Полевого не имѣется. Всѣ эти три рода романа образуютъ собой одинъ разрядъ. Разсмотримъ его.

До Вальтеръ-Скотта не было истиннаго романа. Великое твореніе Сервантеса «Донъ-Кихотъ» составляло исключеніе изъ общаго правила, а знаменитый «Жилблазъ де-Сантилана» француза Лесажа прославленъ не въ мѣру и не по достоинству. Это не больше, какъ довольно недурное произведеніе, которое однако было бы лучше, еслибъ не было такъ растянуто или еслибъ его сократить на половину, т. е. изъ восьми частей сдѣлать только четыре. Романы восемнадцатаго вѣка: Радклифъ, Дюкре-дю-Мениля, Жанлисъ, Коттенъ, Шписа, Клаурена и другихъ—только до Вальтеръ-Скотта могли считаться романами: они изображали не общество, не людей, не дѣйствительность, а призраки больного или праздnаго воображенія. Знаменитые англійскіе Памелы, Клариссы, Грандиссоны и Ловеласы держались ближе общества и дѣйствительности; но дидактическая цѣль убила въ нихъ поэзію. Вальтеръ-Скоттъ первый показалъ, чѣмъ долженъ быть романъ. До него думали, что «пѣсня—быль, а сказка—ложь»,—какъ говоритъ русская поговорка, и что поэтому чѣмъ больше нелѣпицъ въ романѣ, тѣмъ онъ лучше. Желая придать ему какую-нибудь цѣну въ глазахъ людей солидныхъ и разсудительныхъ, навязали ему полезную цѣль—исправлять нравы, осмѣивая порокъ и хваля добродѣтель. Такимъ образомъ роману было приказано быть органомъ ходячихъ моральныхъ истинъ своего времени. Да, своего времени, ибо ходячая мораль такъ же измѣнчива, какъ и курсъ голландскаго червонца: въ прошломъ вѣкѣ мораль предписывала бѣдному и незначительному человѣку имѣть патрона-благодѣтеля, низко ему кланяться, почитать за честь быть допущеннымъ къ его столу или къ его ручкѣ: теперь все это считается униженіемъ человѣческаго достоинства. И такъ, что теперь называется подличаньемъ, тогда называлось умѣньемъ жить; что теперь называется подлостью—тогда называлось скромностью и смиреніемъ; что теперь называется благородствомъ души—тогда называлось гордостью, она же есть смертный грѣхъ... Такимъ образомъ сочинители давали человѣческія имена и фамиліи своимъ жалкимъ, а нерѣдко и подленькимъ моральнымъ понятьицамъ, выдавая свое резонерство за «нравственность», да еще «чистѣйшую», а свою картофельную сантиментальность—за «любовь». Эти ограниченныя понятьица и сладенькія чувствованьица означались нумерами на особыхъ ярлычкахъ, а ярлычки наклеивались на лбахъ безобразныхъ фигуръ, грубо вырѣзанныхъ изъ картонной бумаги: весьма остроумно придуманное удобство для читателей романа! благодаря ему, читатель уже не могъ запутаться во множествѣ именъ и одинаковыхъ фигуръ, потому что на лбу каждый читалъ: «добродѣтельный № 1», «злодѣй № 2» и т. д. Тогда все были или добродѣтельные, или злодѣи; не было необходимѣйшихъ и многочисленныхъ членовъ общества—глуп-

Digitized by Google

цовъ и безцвѣтныхъ характеровъ, которые ни добры, ни злы, и т. п. Романъ всегда оканчивался благополучно, и зѣвающій читатель оставлялъ книгу не прежде, какъ послѣ расправы, т. е. брака гонимой четы, награды добрымъ и наказанія злымъ. Всѣ говорили одинакимъ языкомъ: о колоритѣ мѣстности, различіи сословій никто и не спрашивалъ.

Мы не безъ умысла распространились о старинномъ романѣ и высказали о немъ читателю истины, нѣсколько уже старыя и давно всѣмъ извѣстныя: намъ это было нужно для того, чтобъ показать, какъ новѣйшій романъ нѣкоторыхъ знаменитыхъ сочинителей далеко ушелъ отъ романа добраго стараго времени, чѣмъ отъ него разнится и чѣмъ на него похожъ. «Но вѣдь вы обѣщали намъ разобрать новый романъ Загоскина, а говорите о романахъ, которые были за сто и дальше лѣтъ до Загоскина?»— Я о немъ-то и говорю, какъ увидите ниже.

Вальтеръ Скоттъ не изобрѣлъ, не выдумалъ романа, но открылъ его, точно такъ же, какъ Колумбъ не изобрѣлъ и не выдумалъ Америки, а только открылъ ее. Сервантесъ задолго до Вальтеръ Скотта написалъ истинный историческій романъ. Правда, онъ явно имѣлъ сатирическую цѣль—осмѣять запоздалое и противное духу времени рыцарствованіе въ мечтахъ и дурныхъ романахъ,—и этою цѣлью великій человѣкъ заплатилъ дань своему вѣку; но творческій художественный элементъ его духа былъ такъ силенъ, что побѣдилъ разсудочное направленіе, и Сервантесъ, стремясь къ нравоисправительной цѣли, достигъ совсѣмъ другой цѣли—именно художественной, а черезъ нее и нравоисправительной. Его донъ-Кихотъ есть не карикатура, а характеръ, полный истины и чуждый всякаго преувеличенія, не отвлеченный, но живой и дѣйствительный. Идея донъ-Кихота не принадлежитъ времени Сервантеса: она—общечеловѣческая, вѣчная идея, какъ всякая «идея»; донъ-Кихоты были возможны съ тѣхъ поръ, какъ явились человѣческія общества, и будутъ возможны, пока люди не разбѣгутся по лѣсамъ. Донъ-Кихотъ—благородный и умный человѣкъ, который весь, со всѣмъ жаромъ энергической души, предался любимой идеѣ: комическая же сторона въ характерѣ донъ-Кихота состоитъ въ противоположности его любимой идеи съ требованіемъ времени, съ тѣмъ, что она не можетъ быть осуществлена въ дѣйствіи, приложена къ дѣлу. Донъ-Кихотъ глубоко понимаетъ требованія истиннаго рыцарства, разсуждаетъ о немъ справедливо и поэтически, а дѣйствуетъ, въ качествѣ рыцаря, нелѣпо и глупо; когда же разсуждаетъ о предметахъ внѣ рыцарства, то является истиннымъ мудрецомъ. И вотъ почему есть что-то грустное и трагическое въ судьбѣ этого комическаго лица, а его сознаніе заблужденій своей жизни на смертномъ одрѣ возбуждаетъ въ душѣ глубокое умиленіе и невольно наводитъ васъ на созерцаніе печальной судьбы человѣчества. Каждый человѣкъ есть немножко донъ-Кихотъ; но болѣе всего бываютъ донъ-Кихотами люди съ пламеннымъ воображеніемъ, любящей душою, благороднымъ сердцемъ, даже съ сильной волей и съ умомъ, но безъ разсудка и такта дѣйствительности. Вотъ почему въ нихъ столько комическаго, а комическое ихъ такъ грустно, что возбуждаетъ смѣхъ сквозь слезы; еслибъ это были люди ничтожные—они не были бы даже и слишкомъ смѣшны: истинныхъ донъ-Кихотовъ можно найти только между недюжинными людьми. Но главное: они всегда были, есть и будутъ. Это типъ вѣчный, это единая идея, всегда воплощающаяся въ тысячѣ разныхъ видовъ и формъ, сообразно съ духомъ и характеромъ вѣка, страны, сословія и другими отношеніями, необходимыми и случайными. Такъ и теперь сколько есть донъ-Кихотовъ напр. въ одной литературѣ! Человѣкъ, который искренно убѣжденъ въ томъ, чему уже никто не вѣритъ, и который жертвуетъ трудомъ, достояніемъ, спокойствіемъ и здоровьемъ для убѣжденія другихъ въ своемъ убѣжденіи,—развѣ онъ не донъ-Кихотъ? Сколько умнаго, истиннаго въ томъ, что́ говоритъ онъ, а цѣлое все-таки—ложь, возбуждающая уже не негодованіе, а смѣхъ, вызывающая не возраженія, а насмѣшки...

Итакъ, достоинство Сервантесова романа—въ идеѣ: идея сдѣлала его вѣчнымъ, никогда неумирающимъ и никогда не старѣющимся поэтическимъ произведеніемъ. Въ идеѣ заключается причина того, что, несмотря на испанскія имена, мѣстность, обычаи, частности,—люди всѣхъ націй и всѣхъ вѣковъ читаютъ и будутъ читать «Донъ-Кихота». Что же касается до испанскаго колорита и событій, характеровъ и лицъ—этотъ колоритъ свидѣтельствуетъ, что идея «Донъ-Кихота»—живая, воплотившаяся и обособившаяся, а не отвлеченно-общая и отвлеченная идея.

Вотъ это-то жизненно-органическое сліяніе общаго (идеи) съ особнымъ (вѣкъ, страна, индивидуальные характеры) составляетъ сущность и достоинство романовъ Вальтеръ Скотта. Этотъ великій поэтъ былъ человѣкъ, британецъ и баронетъ вдобавокъ; у него были свои личныя понятія и понятьица, свои личныя чувства и чувствованьица, національныя вражды и ненависти,

Digitized by Google

народные предразсудки, что́ все, вмѣстѣ взятое, и сгубило его «Исторію Наполеона». Но онъ ничего этого не вносилъ въ свою творческую дѣятельность и, входя въ созерцаніе судебъ человѣчества и человѣка, откладывалъ въ сторону свою личность и свое баронетство: онъ хотѣлъ только приковать къ бумагѣ видѣнія и образы, возникавшіе передъ его внутреннимъ окомъ, а судить, резонерствовать о нихъ предоставлялъ другимъ. И хорошо сдѣлалъ: онъ вообще не мастеръ былъ судить; но въ творчествѣ былъ великій мастеръ. Потому-то романы его были зеркаломъ дѣйствительности, въ которомъ она походила сама на себя больше, нежели тогда, когда оставалась бы просто дѣйствительностью. Въ его романахъ вы видите и злодѣевъ, но понимаете, почему они—злодѣи, и иногда интересуетесь ихъ судьбой. Большей же частью въ романахъ его вы встрѣчаете мелкихъ плутовъ, отъ которыхъ происходятъ всѣ бѣды въ романахъ, какъ это бываетъ и въ самой жизни. Герои добра и зла очень рѣдки въ жизни; настоящіе хозяева въ ней—люди середины, ни то, ни сё. Вальтеръ Скоттъ былъ натуры глубокой, но спокойной и тихой, пользовался отличнымъ здоровьемъ и не зналъ нищеты и бѣдности. Оттого взглядъ его на жизнь веселъ и ясенъ, а романы большей частью оканчиваются счастливо; но, какъ человѣкъ геніальный, а слѣдовательно и уважавшій свято объективную истину изображаемаго имъ міра, онъ написалъ нѣсколько романовъ, которые очень похожи на ужасныя трагедіи, какъ напримѣръ «Ламмермурская Невѣста», «Сенъ-Ронанскія воды», «Айвенго, или Ivanhoe» (со стороны судьбы Ревекки), «Морской Разбойникъ» (Бренда)... Да, романы Вальтеръ Скотта потому великія произведенія искусства, что они не прикрашенное и не разсиропленное, а дѣйствительное, хотя и идеальное, изображеніе жизни, какъ она есть. Только жалкіе писаки подбѣливаютъ и подрумяниваютъ жизнь, стараясь скрывать ея темныя стороны и выставляя только утѣшительныя. Но романы этихъ господъ-сочинителей похожи на грошевые пряники, которые услаждаютъ вкусъ одной черни, подонковъ и осадковъ человѣчества. Истина выше всего, и какъ ни закрывайте глаза отъ зла,—зло отъ этого не меньше существуетъ таки. Недавно было въ модѣ нападать на современныхъ французскихъ романистовъ за исключительно мрачный взглядъ ихъ на жизнь; но теперь порядочные люди уже не нападаютъ на нихъ за это, сколько потому, что эти нападки уже старая пѣсня, столько и вслѣдствіе умной, хотя и поздней догадки, что никто не можетъ видѣть вещи иначе, какъ онѣ представляются ему, и что кто не любитъ мрачныхъ картинъ, тотъ не смотри на нихъ, а писать ихъ все-таки не мѣшай. Теперь эти нападки сдѣлались достояніемъ меньшей литературной братіи,—и Боже мой! какія тонкія остроты, какія грозныя анаѳемы бросаетъ она на бѣдную французскую литературу, втайнѣ удивляясь ей и вьявь питаясь убогими крохами съ ея богатаго стола... Смѣшно и жалко!...

Какъ великій геній, Вальтеръ Скоттъ не могъ не имѣть сильнаго вліянія на свой вѣкъ и даже на людей, съ которыми у него и у которыхъ съ нимъ не было ничего общаго. Всѣ бросились писать историческіе романы, не зная исторіи, будучи чужды всякаго историческаго созерцанія и взгляда на жизнь, и думая, въ простотѣ сердца, что романы великаго шотландца оттого такъ удались, что въ нихъ исторія слита съ частнымъ бытомъ, и что имъ стоитъ только перелистовать какой-нибудь томъ исторіи Карамзина, да придумать любовь, разлуку, препятствіе и благополучный бракъ—такъ и они будутъ Вальтеръ Скоттами—и разбогатѣютъ, и прославятся. Нѣкоторымъ въ самомъ дѣлѣ удалось это въ карикатурѣ и миньятюрѣ. Впрочемъ не должно думать, чтобъ таковы были результаты движенія, произведеннаго Вальтеръ Скоттомъ: они были безконечно важны во всѣхъ отношеніяхъ и для всѣхъ литературъ, слѣдственно и для нашей. Мы уже упоминали о прекрасныхъ попыткахъ Лажечникова, и могли бы сдѣлать еще важнѣйшія указанія,—но это не относится собственно къ роману. Любопытно бы было взглянуть, какъ подѣйствовалъ Вальтеръ Скоттъ на большую, по числу, часть своихъ подражателей; но это когда-нибудь, а теперь обратимся къ романамъ Загоскина и къ другимъ одной съ нимъ категоріи.

«Юрій Милославскій» былъ первымъ историческимъ романомъ на русскомъ языкѣ. Историческаго въ немъ было—надо сказать правду—очень мало, если исключить собственныя имена, числа и внѣшнія событія. Русскіе люди первой половины XVII вѣка у него очень похожи на мужичковъ и бородатыхъ торговцевъ нашего времени. Герой—образъ безъ лица, не человѣкъ и не тѣнь: его ни руками схватить, ни глазами увидѣть; но что всего забавнѣе, этому безтѣлесному существу авторъ навязалъ понятія, чувства и деликатность сантиментальныхъ героевъ прошлаго вѣка. Замашка—основать русскій романъ XVII вѣка на любви показываетъ, что авторъ не вникъ въ бытъ старой Руси и увлекался подражаніемъ Вальтеръ Скотту. Всѣ лица романа—осуществленіе личныхъ понятій автора; всѣ

Digitized by Google

они чувствуютъ его чувствами, понимаютъ его умомъ. Нѣкоторыя изъ этихъ лицъ нравятся въ чтеніи, потому что авторъ умѣлъ придать имъ какой-то призракъ дѣйствительности, и это умѣнье обличало въ немъ прежняго драматическаго писателя. Особенно же нравятся эти лица тѣмъ достолюбезнымъ добродушіемъ, которое умѣлъ придать имъ авторъ. Познакомившись съ такимъ лицомъ на одной страницѣ романа, вы знаете, что̀ онъ будетъ говорить и дѣлать на другой, третьей — и такъ до послѣдней, а все-таки съ удовольствіемъ слѣдите за нимъ. Но герои добра и зла ужасно неудачны: мы говорили уже о самомъ Милославскомъ, а теперь скажемъ, что и таинственный незнакомецъ, открывающійся потомъ Мининымъ, не лучше его; боярин Кручина и другъ его сбиваются на мелодраматическихъ злодѣевъ... И однакожъ романъ произвелъ въ публикѣ фуроръ: онъ былъ первая попытка на русскій историческій романъ; сверхъ того въ немъ много теплоты и добродушія, которыя сдѣлали его живымъ и одушевленнымъ; разсказъ легкій, льющійся, увлекательный: ничему не вѣрите, а читаете, словно «Тысячу и Одну Ночь». Его и теперь можно перелистовать съ удовольствіемъ, какъ вѣроятно вы перелистываете иногда «Робинзона Крузое», который въ дѣтствѣ доставлялъ вамъ столько чистѣйшаго и упоительнѣйшаго наслажденія. — За «Юріемъ Милославскимъ» послѣдовалъ другой русскій историческій романъ Загоскина «Рославлевъ». Онъ былъ повтореніемъ «Юрія Милославскаго»: тѣ-же лица, тѣ-же характеры, тѣ же начала, тѣ же достоинства и недостатки, исключая одной героини, которая сдѣлалась виновата передъ судомъ автора въ томъ, что, какъ женщина, полюбила мужчину, не спрашивая, какой онъ націи. И за это авторъ старался всѣми силами выставить ее въ самомъ неблагопріятномъ свѣтѣ, а героя тѣмъ паче возвеличить; но какъ этотъ великій мужъ былъ роднымъ братомъ боярина Юрія Милославскаго, то романъ и палъ, несмотря на возгласы пріятелей. Не будемъ и мы тревожить его праха. — «Аскольдова Могила» была могилой славы автора, какъ историческаго романиста; онъ самъ это увидѣлъ и утѣшился тѣмъ, что изъ плохого романа сдѣлалъ плохое либретто для хорошей оперы. Тогда онъ обратился къ простымъ, не историческимъ романамъ, въ которыхъ талантъ его явно попалъ въ свою настоящую сферу, хоть и повыбился изъ силъ, напрягая ихъ въ чуждой ему сферѣ, куда приманила его подражательность. Подлинно, справедливо сказано:

Гони природу въ дверь — она влетитъ въ окно!...

Оставимъ пока романы Загоскина и обратимся къ историческому обозрѣнію романической дѣятельности другого знаменитаго таланта: такъ требуетъ внутренняя связь нашей статьи.

Первымъ романомъ Булгарина былъ знаменитый въ русской литературѣ «Иванъ Выжигинъ», — это извѣстно всей просвѣщенной Европѣ. Сатира и мораль составляютъ душу этого превосходнаго произведенія; сатира отличается такимъ желчнымъ остроуміемъ, а мораль — такой убѣдительностью, что тотчасъ же по выходѣ «Ивана Выжигина» въ Россіи уже нельзя было увидѣть ни одного изъ пороковъ и недостатковъ, осмѣянныхъ Булгаринымъ. И не удивительно: въ сатирѣ ему служилъ образцомъ Сумароковъ, «гонитель злыхъ пороковъ»... Вторымъ романомъ Булгарина былъ «Димитрій Самозванецъ», который впрочемъ показалъ, что историческая почва нисколько не родственна таланту Булгарина, столь сильному и поэтическому на моральной почвѣ. Романъ палъ, и только чрезвычайный успѣхъ «Выжигина» помогъ разойтись единственному изданію «Самозванца». Въ немъ были всѣ недостатки «Юрія Милославскаго», но не было ни тѣни теплоты и добродушія, составляющихъ неотъемлемое достоинство произведенія Загоскина. Впрочемъ Булгаринъ умѣлъ съ другой стороны сдѣлать свой историческій романъ если не интереснымъ, то заслуживающимъ неоспоримое уваженіе: именно съ моральной стороны, съ которой онъ такъ замѣчателенъ. Вотъ что̀ сказалъ о немъ Пушкинъ, прикинувшійся разъ Ѳеофилактомъ Косичкинымъ: «Что̀ можетъ быть нравственнѣе сочиненій Булгарина? Изъ нихъ мы ясно узнаемъ: сколь непохвально лгать, красть, предаваться пьянству, картежной игрѣ и т. п. Булгаринъ наказуетъ лица разными затѣйливыми именами: убійца названъ у него Ножовымъ, взяточникъ —Взяткинымъ, дуракъ — Глаздуринымъ, и проч. Историческая точность одна не дозволила ему назвать Бориса Годунова—Хлопоухинымъ, Димитрія Самозванца—Каторжниковымъ, а Марину Мнишекъ — княжной Шлюхиной: зато и лица сіи представлены нѣсколько блѣдно» (см. «Телескопъ» 1831 года, ч. IV). Третьимъ романическимъ подвигомъ Булгарина былъ «Петръ Ивановичъ Выжигинъ» — опять историческій романъ, гдѣ Наполеонъ былъ представленъ въ контрастѣ съ Петромъ Ивановичемъ, и гдѣ Петръ Ивановичъ совершенно заслонилъ Наполеона—что̀ и доказало неспособность Булгарина живописать историческія лич-

Digitized by Google

ности, особенно такія великія, какъ Наполеонъ. Загоскинъ въ то же время и такъ же неудачно изображалъ Наполеона въ своемъ «Рославлевѣ»: чудное сходство въ направленіи романической дѣятельности обоихъ этихъ писателей.... Тогда Булгаринъ съ горя отъ неудачи впалъ въ новую неудачу—написалъ третій и послѣдній историческій романъ свой — «Мазепу». Дружба всѣми силами старалась поддержать это произведеніе, но и сама рушилась подъ тяжестью такого подвига: читатели можетъ быть вспомнятъ ловкую статью о «Мазепѣ» въ «Библіотекѣ для Чтенія». Тогда Булгаринъ написалъ «Записки Чухина», гдѣ снова, и уже навсегда, вошелъ въ родственную его таланту сферу.

Теперь намъ остается разсмотрѣть, что̀ такое моральный романъ, т. е., какъ онъ пишется и къ чему онъ годенъ. О восторженномъ родѣ романовъ новаго сказать нечего; что же до идеально-сантиментальныхъ, то здѣсь не мѣсто и не время распространяться о нихъ; мы предоставляемъ себѣ воспользоваться этимъ удовольствіемъ при появленіи перваго романа въ такомъ родѣ или — чего лучше! — при выходѣ послѣднихъ двухъ частей «Аббадонны» Полевого: извѣстно, что первыя четыре части были изданы два раза безъ хвоста, о которомъ мы имѣемъ понятіе по двумъ большимъ отрывкамъ, напечатаннымъ въ «Сынѣ Отечества» 1840 года. Итакъ, приступаемъ прямо къ разбору «Кузьмы Петровича Мирошева», какъ типическаго представителя цѣлаго рода романовъ, который должно назвать морально-сатирическимъ.

Всѣ главы въ новомъ романѣ Загоскина означены разными затѣйливыми заглавіями, которыя вошли въ моду въ нашей литературѣ съ появленія въ свѣтъ «Повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ». Первая глава «Кузьмы Петровича Мирошева» гласитъ «О томъ, гдѣ и когда случилось то, о чемъ разсказывается въ этой истинной повѣсти». Начинается она возраженіемъ противъ несправедливо пріобрѣтенной рѣкой Сурой извѣстности въ народѣ (вѣроятно народѣ Пензенской губерніи, гдѣ она только и извѣстна): авторъ справедливо замѣчаетъ, что покрытые сосновыми лѣсами берега Суры очень мрачны, и что Сура течетъ на сѣверъ. Вы ожидаете, читатель, встрѣтить на берегу этой несправедливо прославленной (что̀ неопровержимо доказано Загоскинымъ почти на двухъ страницахъ) рѣки городъ или деревню, гдѣ родился герой или гдѣ началось дѣйствіе романа: ничего нѐ бывало! Сура не имѣетъ никакого отношенія къ роману, точно такъ же, какъ и Гангесъ или Нилъ; на берегу Хопра начался и кончился романъ... Вы можетъ-быть думаете, что авторъ распространился ни съ того, ни съ сего о Сурѣ только для того, чтобъ къ его роману, тощему содержаніемъ, прибавилось полторы лишнія странички: ошибаетесь, читатель! Нѣтъ, это просто подражаніе русскимъ пѣснямъ: кто не знаетъ, что почти всѣ наши народныя пѣсни начинаются не съ того, съ чего начинаются, а именно съ того, съ чего не начинаются, напримѣръ:

Ужъ не лебедь ходитъ бѣлая
По зеленой травкѣ шолковой,
Ходитъ красна дѣвица душа
Во кручинѣ, въ мысляхъ горестныхъ, и пр.

Или:

Не былинушка въ чистомъ полѣ зашаталася,
Зашаталася безпріютная головушка,
Безпріютная головушка молодецкая, и пр.

Продолжаю. Хопру посвящено только нѣсколько строкъ; затѣмъ на тринадцати страницахъ слѣдуетъ описаніе деревни, принадлежащей герою романа. Деревня—какъ всѣ русскія деревни—ничего особеннаго! Въ число этихъ тринадцати страницъ должно включить легенду объ источникѣ или родникѣ въ деревнѣ Мирошева. Вотъ ужъ этого не понимаемъ: зачѣмъ сюда зашла эта легенда, если не для забавы читателей? ибо тѣ добрые люди, которые могли бы прійти отъ нея въ умиленіе, за безграмотностью, не прочтутъ романа Загоскина. Изъ второй главы узнаемъ, «Откуда происходитъ родъ Мирошевыхъ, и отчего у прадѣда Кузьмы Петровича было двѣ тысячи душъ, а ему досталось только пятьдесятъ». Авторъ начинаетъ родъ Мирошевыхъ не съ яицъ Леды, а только лѣтъ за сто съ небольшимъ до царя Ѳеодора Іоанновича; и потому надо прочесть по крайней мѣрѣ три страницы прежде, чѣмъ дойдешь до отца героя романа, Кузьмы Петровича. Отецъ его тянулся изъ всѣхъ силъ имѣть псарню—не меньше, чѣмъ у князя Ромодановскаго, и протянулъ тысячу шестьсотъ душъ, а сыну оставилъ съ небольшимъ четыреста. Петръ Кузьмичъ женился на модницѣ, которая разорила его въ разоръ и терпѣть не могла своего сына (онъ-то и герой романа) за его кучерское имя—что̀ и заставило Петра Кузьмича отвезти малолѣтняго Кузьму Петровича въ Петербургъ и отдать въ кадетскій корпусъ. Черезъ пять лѣтъ родители Кузьмы Петровича умерли, и ему отъ четырехъ сотъ душъ крестьянъ осталось только триста рублей денегъ.

Теперь мы будемъ слѣдовать за романомъ не по главамъ, а постараемся разсказать содержаніе всей книги покороче. У Кузьмы Петровича былъ дядька, Прохоръ Кондрать-

Digitized by Google

евичъ — маленькое и не совсѣмъ удачное подражаніе Савельичу въ «Капитанской Дочкѣ». Здѣсь особенно интересно мнѣніе автора о слугахъ такого рода; представляемъ его на судъ читателей:

«Куда дѣвалось это поколѣніе вѣрныхъ слугъ боярскихъ? Оно исчезло вмѣстѣ съ патріархальными нравами нашихъ предковъ. Теперь такая безкорыстная любовь къ чужому ребенку можетъ показаться невѣроятной, а въ старину это бывало сплошь. Обыкновенно *барское дитя* переходило отъ кормилицы къ нянюшкѣ, отъ няни мальчикъ поступалъ подъ надзоръ дядьки, и всѣ эти хожатые: кормилица, нянюшка и дядька сохраняли до самой смерти неизмѣнную привязанность къ ребенку, который впослѣдствіи становился ихъ барином. *Разумѣется*, эта любовь была всегда самая слѣпая и безотчетная; обыкновенно каждая нянюшка и каждый дядька не сомнѣвались, что ихъ дитя и умнѣе, и лучше своихъ братьевъ и сестеръ. Это бы еще ничего: но они также были увѣрены, что оно не могло быть никогда и ни въ чемъ виноватымъ. Отъ этого происходили иногда споры, которые не всегда оканчивались миролюбиво: бывало два братца подерутся между собой, а тамъ — глядишь, и нянюшки таскаютъ другъ друга за волосы» (ч. I, стр. 52).»

Получивъ наслѣдство (300 руб.), Мирошевъ былъ выпущенъ изъ корпуса офицеромъ и заказалъ себѣ нѣмцу-портному полную форменную экипировку; а Прохоръ выторговалъ у нѣмца 30 рублей изъ ста, расплакавшись передъ нимъ о бѣдности барина. Затѣмъ Мирошевъ пошелъ въ прусскую кампанію. По увѣренію почтеннаго и даровитаго автора, «всѣ товарищи полюбили его за кроткій нравъ, примѣрное добродушіе и веселый обычай, который однакожъ не помѣшалъ ему быть самымъ разсудительнымъ и степеннымъ прапорщикомъ во всей арміи; служивые говорили о немъ, какъ о самомъ отличномъ и исправномъ фронтовомъ офицерѣ, а вся молодежь называла его дядюшкой.. Лицо, какъ видите, идеальное, вполнѣ заслуживающее чести быть героемъ такого прекраснаго романа, какъ «Кузьма Петровичъ Мирошевъ». Прохоръ тоже попалъ въ большую честь за свою услужливость и честность, а главное—за умѣнье объясняться съ нѣмцами. Одинъ русскій офицеръ попросилъ у нѣмца молока, а тотъ подалъ ему колбасу—офицеръ-было и по зубамъ нѣмца; но позвали Прохора, и тотъ сталъ на четвереньки, заревѣлъ теленкомъ (?!). Нѣмецъ догадался—и дѣло кончилось миролюбиво. Въ полку былъ поручикъ Фурсиковъ—забіяка въ мирѣ и трусъ на войнѣ. Мирошевъ былъ свидѣтелемъ его трусости (повтореніе слово въ слово исторіи съ княземъ Блёсткинымъ въ «Рославлевѣ»). Когда кончилась война, и Мирошевъ воротился съ полкомъ въ Россію, Фурсиковъ былъ эскадроннымъ командиромъ и такъ распекалъ при всякомъ случаѣ нашего Мирошева, что тотъ подалъ въ отставку и поѣхалъ въ Москву искать своихъ сослуживцевъ—не помогутъ ли они найти ему штатское мѣстечко. Имѣнія съ нимъ было—пара крестьянскихъ лошадей, телѣга, да пять цѣлковыхъ въ карманѣ. Жалѣлъ о немъ болѣе всѣхъ гуляка и рубака, добрый малый, Костоломовъ... Да! я и забылъ сказать, что у Мирошева была родная тетка, старая дѣвица, у которой было 50 душъ крестьянъ, и съ которой мать его, а ея сестра, была во враждѣ. На дорогѣ къ Москвѣ Мирошевъ разговорился съ Прохоромъ о томъ, о семъ, и Прохоръ, между прочими умными вещами, которыя онъ такой мастеръ говорить, сказалъ, что не худо бы Кузьмѣ Петровичу имѣть душъ тысячи двѣ крестьянъ. «Э!—отвѣчалъ Мирошевъ: хорошо было-бы, еслибъ хоть вотъ и этакую деревеньку,—вотъ, что стоитъ на лѣво-то!» Тутъ баринъ и деньщикъ пустились въ запуски хвалить деревеньку,—и у Мирошева ни съ того, ни съ сего загорѣлось остановиться въ ней кормить лошадей, хотъ они еще и мало отъѣхали. Слуга-было заспорилъ, но скоро согласился: вѣдь противъ судьбы не пойдешь... Да, судьбы, читатель, судьбы: радостное біеніе вашего сердца и тонкая проницательность вашего ума давно уже сказали вамъ, къ чему ведутъ всѣ эти подробности... Путешественники остановились въ крайней избѣ у старосты Парѳена. Прохоръ предлагаетъ барину обѣдъ, но баринъ хочетъ гулять. Оно такъ и должно: всѣ истинные герои романовъ любятъ гулять и мечтать, хоть бы они родились и жили въ такое время, когда по-пусту шататься не любили и всякому гулянью предпочитали—поплотнѣе набивши желудокъ, хорошенько всхрапнуть. Но Мирошевъ былъ изъ грамотныхъ и вѣроятно уже прочелъ «Приключенія Никанора, несчастнаго Дворянина»,—похожденія знаменитаго «Георга, Милорда Англинскаго» тогда едва-ли еще были изданы. Вотъ Мирошевъ и спрашиваетъ у одного мужичка, можно-ли погулять въ рощѣ—«Сколько душѣ угодно, не то, что въ рощѣ, да и въ саду».—«Стало-быть господъ нѣтъ дома?»—«Была барыня, да и та умерла».—(Понимаете?..)—«Такъ и домъ посмотрѣть можно?»—«Вѣстимо». Пока ключница пошла за ключами, Мирошевъ глядь въ дверь одной комнаты, да и остолбенѣлъ. Тамъ—видите—сидѣла, облокотясь на столъ и читая книжку, прелестная молодая дѣвица съ печальнымъ лицомъ. Описаніе ея красоты пропускаемъ: оно превосходно, но нѣсколько сбивается на общій тонъ чувствительныхъ романовъ. Вдругъ у дѣвицы выступили на глазахъ слезы, а у Мирошева облилось сердце кровью. «Боже мой! — подумалъ

Digitized by Google

онъ:—и это небесное созданіе, этотъ ангелъ несчастливъ!» Краснѣя, онъ разспросилъ ключницу потомъ объ этой дѣвицѣ, и узналъ, что она—«дочь бѣдныхъ, но благородныхъ родителей», сирота, призрѣнная покойной владѣтельницей деревеньки. Яркими красками описала Мирошеву ключница Ѳедосья добродѣтели этой дѣвицы, и какъ она, Ѳедосья, видѣла во снѣ свою умершую дочь и прочее, все такое... Гуляя, Мирошевъ расплакался,—изъ этого ясно видно, что онъ «полюбилъ сильно, глубоко и вѣчно, а не той чувственной любовью, что̀ вспыхнетъ да пройдетъ». Наплакавшись и нагулявшись, онъ воротился въ деревню—глядь, въ ней движеніе: мужики и бабы въ праздничныхъ платьяхъ, и лишь кто увидитъ его, бухъ ему въ ноги...—Что̀ такое? спрашиваетъ изумленный Мирошевъ.—Такъ-съ, ничего-съ! отвѣчаетъ ему таинственнымъ голосомъ Прохоръ. Короче, читатель: помѣщица села Хопровки, недавно умершая, была вышереченная тетка Мирошева, и Кузьмѣ Петровичу не даромъ захотѣлось кормить лошадей въ этой деревенькѣ... Впрочемъ вы давно уже ожидали такого чуда. Но вотъ бѣда: тетенька-то хотѣла отказать имѣніе своей питомицѣ; Кузьма Петровичъ даже нашелъ написанную вчернѣ духовную, которую не успѣли перебѣлить за смертью помѣщицы. Какъ истинный герой романа, чувствительный и великодушный, онъ почитаетъ себя не вправѣ воспользоваться наслѣдствомъ, не ему отказаннымъ, и, къ величайшему огорченію Прохора, отдаетъ деревню Марьѣ Дмитріевнѣ, которая жила въ людской, въ семействѣ добродѣтельнаго лакея Лаврентія,—а самъ хочетъ уѣхать въ Москву. Героиня наша и не прочь было, да какъ узнала отъ Прохора, что у его барина-то имѣнія всего на все, и съ лошадьми, рублей на 50,—то и не хотѣла уступить герою въ великодушіи, и печатнымъ, т. е. книжнымъ, слогомъ плохихъ романовъ второй четверти текущаго столѣтія начисто отказалась отъ деревни: иду-де, говоритъ, въ монастырь. Затѣмъ слѣдуетъ въ высшей степени патетическая сцена: Мирошевъ, собравшись съ духомъ, предлагаетъ ей владѣть деревней вмѣстѣ, а то—говоритъ—я уѣду на край свѣта, и сойду съ ума, и умру съ тоски. Все это очень хорошо, весьма трогательно, только во всемъ этомъ не видно нисколько людей того времени, а слѣдовательно и никакихъ людей. Но передъ вѣнцомъ оба они явились вдругъ людьми того времени: не говоря ужъ о невѣстѣ, самъ женихъ страшно затосковалъ о томъ, что ихъ некому проводить къ вѣнцу, и не будь Ѳедосьи и Прохора, я думаю, что бракъ не состоялся бы, а романъ кончился бы во-время... Изъ церкви Мирошевъ, по предложенію новобрачной, пошелъ на могилу тетки; тамъ Марья Дмитріевна посадила кустъ розановъ, который сначала-было сталъ расти, а потомъ завялъ, листья облетѣли. Приходятъ, и—о, диво дивное и чудо чудное!—кустъ разросся, раззеленѣлся, расцвѣлъ. «О, матушка, матушка!—вскричала Марья Дмитріевна, упавъ на могилу своей благодѣтельницы:—я понимаю тебя: ты благословляешь дитя свое, ты радуешься его счастью!» Послѣ этого трогательнаго воззванія по такому чувствительному поводу молодые упали на колѣни на могилѣ. Замѣтивъ эффектъ, произведенный надъ мужемъ своею рѣчью, Марья Дмитріевна проговорила другую—еще лучше, обнявъ своего нѣжнаго супруга: «О, мой другъ! теперь нѣтъ сомнѣнья! мы будемъ счастливы! Она благословляетъ нашъ союзъ. Вчера этотъ кустъ походилъ на мертвый трупъ, а сегодня... Посмотри, какъ пышны эти розаны, какъ свѣжа эта зелень! Видишь ли, какъ блестятъ на листочкахъ эти алмазныя капли росы?... О, нѣтъ, нѣтъ! Это не роса: это радостныя слезы моей второй матери!»... Милое, доброе созданіе эта Марья Дмитріевна: и говоритъ, какъ пишетъ или словно по печатному читаетъ; во всякомъ случаѣ говоритъ, какъ не говорятъ и теперь, и какъ еще менѣе могли говорить въ тѣ времена, когда, вслѣдствіе родительской предосторожности насчетъ нравственности дочерей, дѣвушекъ не учили ни читать, ни писать... Зачѣмъ же она такъ говоритъ, какъ нигдѣ не говорятъ, кромѣ плохихъ романовъ? Затѣмъ, милостивые государи, чтобъ плѣнить воображеніе, тронуть сердце и убѣдить умъ читателя, какъ это предписывается въ любой риторикѣ... Вы думаете, что тутъ и все? что наши герои зажили благополучно и—и роману конецъ?.. Какъ бы не такъ! Это еще только первая часть, только вступленіе, за которымъ слѣдуютъ три части, это только присказка, а сказка-то впереди.. Доскажемъ же ее какъ-нибудь.

Между первой и второй частью проходитъ 18 лѣтъ. Марья Дмитріевна уже превратилась въ барыню толстую, плотную и румяную — простонародный идеалъ русской красоты! (Замѣчательно, что у Загоскина въ этомъ романѣ дѣйствующія лица большей частью плотныя, толстыя, а мужчины почти всѣ лысые...) Она ужъ объясняется просто, иногда даже черезчуръ просто, какъ всѣ русскія помѣщицы того времени, т. е. 1750 года. Кузьма Петровичъ мало перемѣнился, да и не отъчего: вѣдь онъ это время только ѣлъ, пилъ да спалъ, человѣкъ онъ былъ добрый—мухи не обидитъ, на слугу не осердится; итакъ, не удивительно, что онъ

Digitized by Google

только постарѣлъ немного. У нихъ есть дочь Варинька—вотъ ужъ милочка-то! глаза голубые (счетомъ два), носикъ... ну, да вы и такъ ее знаете наизусть. Авторъ очень жалѣетъ, что принужденъ былъ сравнить ея станъ съ аравійской пальмой, а не съ русской сосной,—и мы вполнѣ раздѣляемъ его горе.

«Пылкое сердце и какая-то наклонность къ мечтательности составляли отличительную черту ея характера: въ этомъ она вовсе не похожа на своихъ родителей, которые не давали волю *(и)* своему воображенію *(и не мудрено: у нихъ его вовсе не было!)*, не залетали въ *туманную даль*, а жили по просту, какъ Богъ велѣлъ,—и вѣрно въ нашъ романтическій вѣкъ показались бы людьми весьма обыкновенными, прозаическими и даже пошлыми *(вотъ что правда, то правда!)*. Бѣдняжки! они не знали, что разгульная и буйная жизнь имѣетъ свою поэзію *(но неужели же животной жизни противополагается только разгульная и буйная: есть еще разумно-человѣческая, которая выше той и другой)*; что жизнь спокойная, не волнуемая страстями, вовсе не жизнь, а прозябаніе; что мы, хотя живемъ на сѣверѣ, а должны смотрѣть на западъ, и такъ же, какъ тамъ, думать объ одномъ только земномъ просвѣщеніи, т. е. что мы можемъ забыть о земной нашей родинѣ, но зато должны передъ наукой благоговѣть, какъ предъ святыней, и художеству поклоняться, какъ божеству»».

А! Вотъ что! понимаемъ... Но возьмите немного терпѣнія—то ли еще поймете: для того-то мы и пересказываемъ вамъ содержаніе этого романа. Недалеко отъ Мирошевыхъ деревня Кирсанова, богатаго помѣщика, у котораго есть сынъ. Разумѣется, онъ влюбленъ въ нее, а она начала «обожать» его. Къ Мирошевымъ ѣздятъ сосѣди: Вертлюгины, мужъ—дуракъ, а жена—кокетка, модница, сплетница и все, что угодно: авторъ изобразилъ ее со всей ѣдкостью своей неподражаемой ироніи; потомъ бѣдный помѣщикъ, Зарубкинъ, сплетникъ, пьяница, побируха и шутъ. Мы и не упомянули бы о немъ, да съ нимъ былъ анекдотъ, который вѣрно характеризуетъ то прекрасное время, когда люди «передъ наукой не благоговѣли, какъ передъ святыней, и художеству не поклонялись, какъ божеству». Послушайте разсказъ самого Зарубкина о томъ, что сдѣлалъ съ нимъ Аѳонька, шутъ Кирсанова.

«Да, сударь! привязался ко мнѣ, проклятый! Научили что-ль его—не знаю. Научили такія непригожія рѣчи говорить, всячески меня порочить; я сначала все въ шутку поворачивалъ, да онъ ужъ больно сталъ нахальничать: натянулъ палецъ, да и щолкъ меня по носу; я его отпихнулъ—а онъ и ну драться. А Иванъ Никифоровичъ, чѣмъ бы дурака-то унять, кричитъ, «Не поддавайся, Аѳонька!»—а тотъ и пуще! Гляжу: ахти! дуракъ-то ужъ и до рожи добирается!... Я и руками, и ногами, кричу: «батюшки, бьетъ! батюшки, бьетъ!» а *его высокородіе* такъ и умираетъ со смѣху. Да ужъ сынокъ-то его, Владиміръ Ивановичъ, дай Богъ ему здоровье, такой добрый! схватилъ Аѳоньку за воротъ и оттащилъ прочь; а все этотъ шальной раза два съѣздилъ меня по уху. Что будешь дѣлать!» *(Часть II, стр. 20—21.)*

Да, можно повѣрить, что Зарубкинъ «не благоговѣлъ передъ наукой, какъ передъ святыней, и художеству не поклонялся, какъ божеству»: такое самоуниженіе и животное незнанье своего человѣческаго достоинства никогда не соединяется съ благородной любовью къ наукѣ и возвышенной страстью къ искусству. И что идетъ къ Зарубкину, то же можно сказать и о вѣкѣ «Зарубкиныхъ»...

Въ сосѣдствѣ деревни Мирошевыхъ было имѣніе одного богача-графа, который, поручивъ его управленію холопа своего Курочкина, не хотѣлъ и знать о немъ: въ немъ было всего только 400 душъ! Курочкинъ этотъ былъ знаменитый, въ духѣ того времени, законовѣдецъ: чуть кто ему не понравится—тяжбу, да и оттягаетъ, именемъ графа, сколько захочетъ десятинъ земли или лѣсу. У Курочкина былъ сынъ—офицеръ... Я и забылъ сказать, что въ семействѣ Мирошевыхъ есть дѣвушка Дуняша—родъ подруги и горничной Вариньки, дочь того Лаврентія, что нѣкогда призрѣлъ было Марью Дмитріевну. Курочкинъ началъ намекать Мирошеву о сватовствѣ, а тотъ, думая, что дѣло идетъ о Дуняшѣ, и радехонекъ; но когда недоразумѣніе разрѣшилось—въ Мирошевѣ проснулась дворянская гордость. Прохоръ чуть не избилъ сваху; Марья Дмитріевна—та, что говорила по печатному на могилѣ—не уступила въ ревности Прохору: насилу отстоялъ отъ нихъ Мирошевъ бѣдную сваху. Впрочемъ этой свахѣ досталось и отъ автора: онъ такое принялъ горячее участіе въ оскорбленіи Мирошева, что изобразилъ ее хуже чорта и такъ смѣшно, что еслибъ прочелъ Прохоръ, то сказалъ бы: «батюшки свѣты, животики надорвешь—умора да и только»... Такъ же саркастически изображенъ и сынъ Курочкина: самъ Митрофанъ Фонвизина—умница передъ нимъ. Оно такъ и надо; чѣмъ солонѣе севрюжина, тѣмъ вкуснѣе для извѣстнаго разряда гастрономовъ. Между тѣмъ наши голубки вздыхаютъ, воркуютъ, и разъ такъ разворковались, что и кольцами помѣнялись. Владиміръ Ивановичъ Кирсановъ—второе изданіе Кузьмы Петровича, только съ корректурными поправками въ правописаніи; онъ надѣленъ всѣми возможными добродѣтелями, и не имѣетъ только лица и характера, но похожъ на вырѣзанную изъ картузной бумаги фигурку, у которой изъ-подъ головы тотчасъ же начинаются ноги и на лбу ярлычекъ съ нумеромъ.—«Я—говоритъ онъ—противъ воли отца на тебѣ не женюсь, а любить буду до гроба и умру твоимъ суженымъ».

Digitized by Google

онъ:—и это небесное созданіе, этотъ ангелъ несчастливъ!» Краснѣя, онъ разспросилъ ключницу потомъ объ этой дѣвицѣ, и узналъ, что она—«дочь бѣдныхъ, но благородныхъ родителей», сирота, призрѣнная покойной владѣтельницей деревеньки. Яркими красками описала Мирошеву ключница Ѳедосья добродѣтели этой дѣвицы, и какъ она, Ѳедосья, видѣла во снѣ свою умершую дочь и прочее, все такое... Гуляя, Мирошевъ расплакался,—изъ этого ясно видно, что онъ «полюбилъ сильно, глубоко и вѣчно, а не той чувственной любовью, что̀ вспыхнетъ да пройдетъ». Наплакавшись и нагулявшись, онъ воротился въ деревню—глядь, въ ней движеніе: мужики и бабы въ праздничныхъ платьяхъ, и лишь кто увидитъ его, бухъ ему въ ноги...—Что́ такое? спрашиваетъ изумленный Мирошевъ.—Такъ-съ, ничего-съ! отвѣчаетъ ему таинственнымъ голосомъ Прохоръ. Короче, читатель: помѣщица села Хопровки, недавно умершая, была вышереченная тетка Мирошева, и Кузьмѣ Петровичу не даромъ захотѣлось кормить лошадей въ этой деревенькѣ... Впрочемъ вы давно уже ожидали такого чуда. Но вотъ бѣда: тетенька-то хотѣла отказать имѣніе своей питомицѣ; Кузьма Петровичъ даже нашелъ написанную вчернѣ духовную, которую не успѣли перебѣлить за смертью помѣщицы. Какъ истинный герой романа, чувствительный и великодушный, онъ почитаетъ себя не вправѣ воспользоваться наслѣдствомъ, не ему отказаннымъ, и, къ величайшему огорченію Прохора, отдаетъ деревню Марьѣ Дмитріевнѣ, которая жила въ людской, въ семействѣ добродѣтельнаго лакея Лаврентія,—а самъ хочетъ уѣхать въ Москву. Героиня наша и не прочь было, да какъ узнала отъ Прохора, что у его барина-то имѣнія всего на все, и съ лошадьми, рублей на 50,—то и не хотѣла уступить герою въ великодушіи, и печатнымъ, т. е. книжнымъ, слогомъ плохихъ романовъ второй четверти текущаго столѣтія начисто отказалась отъ деревни: иду-де, говоритъ, въ монастырь. Затѣмъ слѣдуетъ въ высшей степени патетическая сцена: Мирошевъ, собравшись съ духомъ, предлагаетъ ей владѣть деревней вмѣстѣ, а то—говоритъ—я уѣду на край свѣта, и сойду съ ума, и умру съ тоски. Все это очень хорошо, весьма трогательно, только во всемъ этомъ не видно нисколько людей того времени, а слѣдовательно и никакихъ людей. Но передъ вѣнцомъ оба они явились вдругъ людьми того времени: не говоря ужъ о невѣстѣ, самъ женихъ страшно затосковалъ о томъ, что ихъ некому проводить къ вѣнцу, и не будь Ѳедосьи и Прохора, я думаю, что бракъ не состоялся бы, а романъ кончился бы во-время... Изъ церкви Мирошевъ, по предложенію новобрачной, пошелъ на могилу тетки; тамъ Марья Дмитріевна посадила кустъ розановъ, который сначала-было сталъ расти, а потомъ завялъ, листья облетѣли. Приходятъ, и—о, диво дивное и чудо чудное!—кустъ разросся, раззеленѣлся, расцвѣлъ. «О, матушка, матушка!—вскричала Марья Дмитріевна, упавъ на могилу своей благодѣтельницы:—я понимаю тебя: ты благословляешь дитя свое, ты радуешься его счастью!» Послѣ этого трогательнаго воззванія по такому чувствительному поводу молодые упали на колѣни на могилѣ. Замѣтивъ эффектъ, произведенный надъ мужемъ своею рѣчью, Марья Дмитріевна проговорила другую—еще лучше, обнявъ своего нѣжнаго супруга: «О, мой другъ! теперь нѣтъ сомнѣнья! мы будемъ счастливы! Она благословляетъ нашъ союзъ. Вчера этотъ кустъ походилъ на мертвый трупъ, а сегодня... Посмотри, какъ пышны эти розаны, какъ свѣжа эта зелень! Видишь ли, какъ блестятъ на листочкахъ эти алмазныя капли росы?... О, нѣтъ, нѣтъ! Это не роса: это радостныя слезы моей второй матери!»... Милое, доброе созданіе эта Марья Дмитріевна: и говоритъ, какъ пишетъ или словно по печатному читаетъ; во всякомъ случаѣ говоритъ, какъ не говорятъ и теперь, и какъ еще менѣе могли говорить въ тѣ времена, когда, вслѣдствіе родительской предосторожности насчетъ нравственности дочерей, дѣвушекъ не учили ни читать, ни писать... Зачѣмъ же она такъ говоритъ, какъ нигдѣ не говорятъ, кромѣ плохихъ романовъ? Затѣмъ, милостивые государи, чтобъ плѣнить воображеніе, тронуть сердце и убѣдить умъ читателя, какъ это предписывается въ любой риторикѣ... Вы думаете, что тутъ и все? что наши герои зажили благополучно и—и роману конецъ?.. Какъ бы не такъ! Это еще только первая часть, только вступленіе, за которымъ слѣдуютъ три части, это только присказка, а сказка-то впереди.. Доскажемъ же ее какъ-нибудь.

Между первой и второй частью проходитъ 18 лѣтъ. Марья Дмитріевна уже превратилась въ барыню толстую, плотную и румяную — простонародный идеалъ русской красоты! (Замѣчательно, что у Загоскина въ этомъ романѣ дѣйствующія лица большей частью плотныя, толстыя, а мужчины почти всѣ лысые...) Она ужъ объясняется просто, иногда даже черезчуръ просто, какъ всѣ русскія помѣщицы того времени, т. е. 1750 года. Кузьма Петровичъ мало перемѣнился, да и не отъчего: вѣдь онъ это время только ѣлъ, пилъ да спалъ, человѣкъ онъ былъ добрый—мухи не обидитъ, на слугу не осердится; итакъ, не удивительно, что онъ

Digitized by Google

только постарѣлъ немного. У нихъ есть дочь Варинька—вотъ ужъ милочка-то! глаза голубые (счетомъ два), носикъ... ну, да вы и такъ ее знаете наизусть. Авторъ очень жалѣетъ, что принужденъ былъ сравнить ея станъ съ аравійской пальмой, а не съ русской сосной,—и мы вполнѣ раздѣляемъ его горе.

«Пылкое сердце и какая-то наклонность къ мечтательности составляли отличительную черту ея характера: въ этомъ она вовсе не похожа на своихъ родителей, которые не давали волю *(и)* своему воображенію *(и не мудрено: у нихъ его вовсе не было!)*, не залетали въ *туманную даль*, а жили по просту, какъ Богъ велѣлъ,—и вѣрно въ нашъ романтическій вѣкъ показались бы людьми весьма обыкновенными, прозаическими и даже пошлыми *(вотъ что правда, то правда!)*. Бѣдняжки! они не знали, что разгульная и буйная жизнь имѣетъ свою поэзію *(но неужели же животной жизни противополагается только разгульная и буйная: есть еще разумно-человѣческая, которая выше той и другой)*; что жизнь спокойная, не волнуемая страстями, вовсе не жизнь, а прозябаніе; что мы, хотя живемъ на сѣверѣ, а должны смотрѣть на западъ, и такъ же, какъ тамъ, думать объ одномъ только земномъ просвѣщеніи, т. е. что мы можемъ забыть о земной нашей родинѣ, но зато должны передъ наукой благоговѣть, какъ предъ святыней, и художеству поклоняться, какъ божеству»».

А! Вотъ что! понимаемъ... Но возьмите немного терпѣнія—то ли еще поймете: для того-то мы и пересказываемъ вамъ содержаніе этого романа. Недалеко отъ Мирошевыхъ деревня Кирсанова, богатаго помѣщика, у котораго есть сынъ. Разумѣется, онъ влюбленъ въ нее, а она начала «обожать» его. Къ Мирошевымъ ѣздятъ сосѣди: Вертлюгины, мужъ—дуракъ, а жена—кокетка, модница, сплетница и все, что угодно: авторъ изобразилъ ее со всей ѣдкостью своей неподражаемой иронiи; потомъ бѣдный помѣщикъ, Зарубкинъ, сплетникъ, пьяница, побируха и шутъ. Мы и не упомянули бы о немъ, да съ нимъ былъ анекдотъ, который вѣрно характеризуетъ то прекрасное время, когда люди «передъ наукой не благоговѣли, какъ передъ святыней, и художеству не поклонялись, какъ божеству». Послушайте разсказъ самого Зарубкина о томъ, что сдѣлалъ съ нимъ Аѳонька, шутъ Кирсанова.

«Да, сударь! привязался ко мнѣ, проклятый! Научили что-ль его—не знаю. Научили такія непригожія рѣчи говорить, всячески меня порочить; я сначала все въ шутку поворачивалъ, да онъ ужъ больно сталъ нахальничать: натянулъ палецъ, да и щолкъ меня по носу; я его отпихнулъ—а онъ и ну драться. А Иванъ Никифоровичъ, чѣмъ бы дурака-то унять, кричитъ, «Не поддавайся, Аѳонька!»—а тотъ и пуще! Гляжу: ахти! дуракъ-то ужъ и до рожи добирается!... Я и руками, и ногами, кричу: «батюшки, бьетъ! батюшки, бьетъ!» а *его высокородіе* такъ и умираетъ со смѣху. Да ужъ сынокъ-то его, Владиміръ Ивановичъ, дай Богъ ему здоровье, такой добрый! схватилъ Аѳоньку за воротъ и оттащилъ прочь; а все этотъ шальной раза два съѣздилъ меня по уху. Что будешь дѣлать!» *(Часть II, стр. 20—21.)*

Да, можно повѣрить, что Зарубкинъ «не благоговѣлъ передъ наукой, какъ передъ святыней, и художеству не поклонялся, какъ божеству»: такое самоуниженіе и животное незнанье своего человѣческаго достоинства никогда не соединяется съ благородной любовью къ наукѣ и возвышенной страстью къ искусству. И что идетъ къ Зарубкину, то же можно сказать и о вѣкѣ «Зарубкиныхъ»...

Въ сосѣдствѣ деревни Мирошевыхъ было имѣніе одного богача-графа, который, поручивъ его управленію холопа своего Курочкина, не хотѣлъ и знать о немъ: въ немъ было всего только 400 душъ! Курочкинъ этотъ былъ знаменитый, въ духѣ того времени, законовѣдецъ: чуть кто ему не понравится—тяжбу, да и оттягаетъ, именемъ графа, сколько захочетъ десятинъ земли или лѣсу. У Курочкина былъ сынъ—офицеръ... Я и забылъ сказать, что въ семействѣ Мирошевыхъ есть дѣвушка Дуняша—родъ подруги и горничной Вариньки, дочь того Лаврентія, что нѣкогда призрѣлъ было Марью Дмитріевну. Курочкинъ началъ намекать Мирошеву о сватовствѣ, а тотъ, думая, что дѣло идетъ о Дуняшѣ, и радехонекъ; но когда недоразумѣніе разрѣшилось—въ Мирошевѣ проснулась дворянская гордость. Прохоръ чуть не избилъ сваху; Марья Дмитріевна—та, что говорила по печатному на могилѣ—не уступила въ ревности Прохору: насилу отстоялъ отъ нихъ Мирошевъ бѣдную сваху. Впрочемъ этой свахѣ досталось и отъ автора: онъ такое принялъ горячее участіе въ оскорбленіи Мирошева, что изобразилъ ее хуже чорта и такъ смѣшно, что еслибъ прочелъ Прохоръ, то сказалъ бы: «батюшки свѣты, животики надорвешь—умора да и только»... Такъ же саркастически изображенъ и сынъ Курочкина: самъ Митрофанъ Фонвизина—умница передъ нимъ. Оно такъ и надо; чѣмъ солонѣе севрюжина, тѣмъ вкуснѣе для извѣстнаго разряда гастрономовъ. Между тѣмъ наши голубки вздыхаютъ, воркуютъ, и разъ такъ разворковались, что и кольцами помѣнялись. Владиміръ Ивановичъ Кирсановъ—второе изданіе Кузьмы Петровича, только съ корректурными поправками въ правописаніи; онъ надѣленъ всѣми возможными добродѣтелями, и не имѣетъ только лица и характера, но похожъ на вырѣзанную изъ картузной бумаги фигурку, у которой изъ-подъ головы тотчасъ же начинаются ноги и на лбу ярлычекъ съ нумеромъ.—«Я—говоритъ онъ—противъ воли отца на тебѣ не женюсь, а любить буду до гроба и умру твоимъ суженымъ».

Digitized by Google

«О! какое неизъяснимое блаженство изобразилось въ глазахъ Варинькн!—Моимъ суженымъ! повторила она.—Да чего еще я могу просить у Бога? Ты станешь вѣчно любить меня—да! вѣчно!.. *Здѣсь* ты будешь женихомъ моимъ, а *тамъ*—Господь назоветъ насъ супругами! Онъ услышитъ мою молитву: твоя невѣста умретъ прежде тебя... О! какъ она будетъ тебя дожидаться!... Владиміръ!—продолжала Варинька, снимая съ пальца золотое колечко,—можетъ-быть въ церкви Божіей намъ не удастся никогда обмѣняться кольцами: надѣнь его и дай мнѣ свое. Если ты самъ не снимешь его съ моего пальца, то, будь увѣренъ, я лягу съ нимъ въ могилу...

— Теперь мы съ тобою обручены! — сказалъ Владиміръ, глядя *съ неизъяснимою любовью* на Варинькy—О,мой ангелъ невинности и доброты!—продолжалъ онъ, *цѣлуя ея руки*,—какая женщина въ мірѣ можетъ равняться съ тобой!... О, повѣрь, мой другъ, еслибъ любовь моя не была такъ же чиста, какъ эти ясныя небеса... еще чище—какъ душа твоя! я не смѣлъ бы тогда прикоснуться къ тебѣ, не смѣлъ бы взять тебя за руку!... Какъ я люблю тебя *здѣсь*, такъ можно будетъ мнѣ любить тебя и *тамъ*, гдѣ нѣтъ ничего земного. Ты правду сказала, Варинька: если не въ здѣшнемъ, такъ въ будущемъ мірѣ Господь благословитъ нашъ союзъ» *(ч. II, стр. 240—241)*.

Каково?—Попробуйте найти такую сцену любви у Шекспира, Байрона, Вальтеръ-Скотта, Купера, Шиллера, Гёте, Руссо, Пушкина: увѣряю васъ, что не найдете, лучше и не трудитесь, не ищите напрасно... Вотъ перо, такъ перо!.. Господи, подумаешь, какіе есть сочинители на свѣтѣ: начнешь читать—такъ невольно плачешь и смѣешься, смѣешься и плачешь...

Эта трогательная сцена любви была подслушана Вертлюгиной, которая нагло навязывалась на Кирсанова и ревновала его къ Варинькѣ. Вслѣдствіе этого старикъ Кирсановъ увезъ своего сына въ Воронежъ, чтобъ насильно женить его тамъ на дочери своего богатаго пріятеля; отъ этого Варинька, на 94 стр. III части, упала въ обморокъ, и съ той же минуты, какъ истинная героиня романа, сдѣлалась больна; а Курочкинъ между тѣмъ затѣялъ дѣло, вслѣдствіе котораго Мирошевъ увидѣлъ себя въ необходимости ѣхать въ Москву. Варинька исхудала—узнать нельзя; къ большему несчастью ее чуть не залѣчилъ нѣмецъ лѣкарь. Игнатьевна (которую мы доселѣ звали подъ именемъ Ѳедосьи) ворожитъ и колдуетъ, несмотря на свою набожность.

«Несмотря на это грубое невѣжество, на эту странную смѣсь вѣры съ суевѣріемъ, въ старину едва ли ужъ не тверже вѣрили, и ужъ конечно лучше нашего умѣли любить.»

И спору нѣтъ: въ романѣ Загоскина столько представлено неоспоримыхъ доказательствъ этой истины, что невольно жалѣешь о своемъ отчаянномъ безвѣріи въ гаданія, нашептыванія, вспрыскиванія и о своей рѣшительной неспособности объясняться въ любви на манеръ Мирошевыхъ и Кирсановыхъ...

Дуняша давно уже играетъ не послѣднюю роль въ романѣ, а ея грудь все еще высоко взметывается безпредметной любовью, говоря высокимъ слогомъ. Но не безпокойтесь: такая достойная дѣвица не останется безъ «предмета»; авторъ неусыпно бдитъ за героями и героинями своего романа; онъ любитъ пары, и когда понадобится, у него голубокъ какъ съ неба свалится. На святкахъ Дуняша пошла ворожить въ баню, которая стояла въ полѣ за околицей. Вдругъ звонъ колокольчика—оглянулась; за ней косматое чудовище—ахъ!.. и въ обморокъ. Очнувшись, увидѣла она не чудовище, а его... Онъ сбился съ дороги (въ тотъ вечеръ была страшная метель) и пришелъ на огонекъ... Оказалось, что это русскій лѣкарь изъ Воронежа. Онъ вмигъ вылѣчилъ Вариньку, сказавъ ей наединѣ, разумѣется, что Владиміръ вѣренъ, а въ вящшее доказательство вручилъ ей и письмо. Словно рукой сняло болѣзнь—отецъ и мать въ восторгѣ; они увѣрены, что лѣкарство подѣйствовало. Уѣзжая, «лѣкарь поглядѣлъ на Дуняшу такъ чудно, что она вся вспыхнула». Понимаете?.. Вотъ вамъ и еще пара голубковъ. Они же и ровня: лѣкарь тоже сынъ крѣпостного человѣка... Надо сознаться, что подъ чудотворнымъ перомъ Загоскина все такъ хорошо улаживается, что лучше желать нельзя. Онъ повертываетъ законами дѣйствительности подобно тому герою русской сказки, который только скажетъ: «по моему прошенію, по щучьему велѣнью»—и какъ тутъ было...

Мирошевъ отправился съ Прохоромъ въ Москву и на дорогѣ (очень кстати) встрѣтился съ Костоломовымъ, который тоже ѣдетъ въ Москву искать себѣ мѣста городничаго въ какомъ-нибудь городишкѣ. Онъ—видите—любилъ несчастно и, по великодушію, рѣшился подарить отцу своей возлюбленной любимаго полнопѣгаго борзого кобеля, Буяна, чтобъ тотъ согласился отдать свою дочь за того, кого она любила (ч. III, стр. 263—276). Въ Москвѣ пріятели остановились на подворьѣ и тотчасъ же были свидѣтелями, какъ сыщикъ Ванька Каинъ поймалъ разбойника, обманувъ его прежней пріязнью. Хлопоты Мирошева о дѣлѣ кончились тѣмъ, что подъячій Тетерькинъ, которому онъ, по простотѣ своей, несмотря на всѣ предостереженія Прохора, ввѣрился,—разорилъ его въ конецъ. Нашелся идеальночестный человѣкъ, который взялъ на себя трудъ объяснить простаку, что его стряпчій сидитъ въ тюрьмѣ, откуда пойдетъ на каторгу, а его дѣло едва ли когда кончится. Домой! Но не на чемъ; ѣсть тоже нечего.

Digitized by Google

Одна надежда на Костоломова, а тотъ самъ идетъ къ Мирошеву попросить взаймы. Узнавъ о положеніи пріятеля, Костоломовъ тащитъ его обѣдать къ какому-то графу.

«У нѣкоторыхъ изъ вельможъ, жившихъ въ Москвѣ на покоѣ, почти ежедневно были такъ называемые *открытые столы*. Каждый опрятно одѣтый человѣкъ, хотя бы онъ былъ вовсе незнакомъ хозяину, могъ смѣло приходить обѣдать за этотъ столъ; его не спрашивали, кто онъ такой. Дождавшись въ столовой хозяина и *отвѣсивъ ему низкій поклонъ*, онъ садился за общую трапезу и кушалъ на здоровье во славу Божію и въ честь гостепріимнаго хозяина, которому и кушанье показалось бы не вкуснымъ, еслибъ за его столомъ сидѣло менѣе ста человѣкъ гостей. Этотъ обычай извѣстенъ намъ по одному преданію. Мы не дошли еще до просвѣщенной разсчетливости нашихъ западныхъ сосѣдей, у которыхъ отдѣленный сынъ не придетъ нѣзваный обѣдать къ отцу; но, несмотря на это, съ трудомъ уже вѣримъ, что русское хлѣбосольство могло когда-нибудь существовать въ такомъ обширномъ размѣрѣ,—и вотъ почему я нашелъ необходимымъ предварить своихъ читателей, что этотъ обычай дѣйствительно существовалъ на Руси, и что были у насъ такіе бояре, которые находили удовольствіе угощать однимъ и тѣмъ же столомъ и бѣдныхъ, и богатыхъ, и друзей, и незнакомыхъ; однимъ словомъ, дѣлиться со всѣми богатствомъ, которымъ наградилъ Господь — и проживать свои доходы дома, а не копить деньги для того, чтобъ проматывать ихъ на чужой сторонѣ, ради *пріобрѣтенія себѣ* европейскаго имени (*ч. IV, стр. 122—123*).

Теперь мы понимаемъ, въ чемъ дѣло...

Какъ ни допытывался Мирошевъ у Костоломова имени графа — тотъ не хотѣлъ его сказать до обѣда. Сѣли. Мирошеву досталось сидѣть подлѣ какого-то отставного драгунскаго офицера, который очень странно велъ себя и походилъ на помѣшаннаго. Надо замѣтить, что и Мирошевъ служилъ въ драгунахъ и былъ въ отставномъ драгунскомъ мундирѣ. Послѣ обѣда, узнавъ отъ Костоломова, что они обѣдали у того самаго графа, съ которымъ у него процессъ, Мирошевъ, отъ простоты своей, перепугался — и бѣжать, а съ испугу едва могъ проговорить свою фамилію спрашивавшему его о ней дворецкому. На другой день вечеромъ Прохоръ, къ несказанной своей радости, получилъ на имя своего барина одиннадцать серебряныхъ ложекъ. Черезъ нѣсколько часовъ Мирошевъ узналъ, черезъ разговоры незнакомыхъ ему людей въ гостинницѣ, что отставной поручикъ Мирошевъ, обѣдая у графа такого-то, укралъ серебряную ложку, а графъ, когда ему донесли, велѣлъ отдать ему и остальныя одиннадцать, говоря, что можетъ быть бѣдный человѣкъ нуждается — такъ пусть уже у него будетъ цѣлая дюжина... Мирошевъ съ отчаянія о потери честнаго имени наговорилъ короба три великолѣпныхъ фразъ и совсѣмъ бы зарѣзался, еслибъ Костоломовъ не напомнилъ ему о женѣ и дочери.

Здѣсь я прерву повѣствованіе (которое впрочемъ скоро кончится), чтобъ замѣтить, какой великій мастеръ Загоскинъ завязать и развязать узелъ романа. Процессъ Мирошева явно долженъ былъ быть проигранъ; Мирошевъ—нищій, безъ земли съ 50-ю душами; ему не на что и домой воротиться—бѣда да и только! Чѣмъ кончиться роману? гдѣ быть свадьбѣ и богатству, которыми оканчивается всякій порядочный романъ въ трогательномъ родѣ? Но геній тамъ-то и найдется, гдѣ обыкновенный умъ потеряется: авторъ самымъ естественнымъ образомъ свелъ Мирошева съ графомъ въ ту самую минуту, когда уже самъ читатель видитъ, что безъ участія графа роману не распутаться. Встрѣча съ графомъ была несчастна для Мирошева: она лишила его еще и чести, когда уже онъ былъ лишенъ куска хлѣба,—не безпокойтесь, это не что другое, какъ «игра трудностями» со стороны автора. Вы ближе къ развязкѣ, чѣмъ думаете. Костоломовъ, идя отъ Мирошева домой, увидѣлъ, что на какого-то одѣтаго по-нѣмецки человѣка напали три мужика: Костоломовъ разогналъ ихъ, а въ томъ, котораго спасъ отъ нихъ, узналъ сыщика Ваньку Каина. Счастливая встрѣча, не правда ли?... — Отецъ родной, услуга за услугу: помоги отыскать вора, что, нарядившись въ драгунскій мундиръ, укралъ у графа серебряную ложку! — Изволь, сударь! — Стучатся молодцы въ избушку. Отворить имъ замѣшкались: замѣтно было, что кого-то прятали. Вошли, а подъ лавкой лежатъ казакинъ, картузъ и драгунская шапка. Гостей встрѣтила баба, торговка всякимъ товаромъ, какой Богъ пошлетъ. — Нѣтъ ли чего купить, Матренушка?—спросилъ Каинъ. — Вынесла разное платье.—Нѣтъ ли серебреца? — Какъ не быть!—да и тащитъ ларецъ; открыла, а ложка-то тутъ: вотъ и графскій гербъ на ней...—Гдѣ взяла?—Мѣщанинъ продалъ.—Вотъ не этотъ ли, что̀ ходитъ въ этомъ?—сказалъ Каинъ, вытаскивая изъ-подъ лавки казакинъ, картузъ и саблю. Свистнулъ Каинъ—налетѣла его команда и скрутили молодца, что̀ былъ за перегородкой... Видите ли, какъ все счастливо случилось, удалось и уладилось? Видите ли, что невинность всегда оправдывается, а преступленіе всегда откроется?... Поутру Каинъ представилъ молодца съ ложкой къ графу. Мирошевъ, извѣщенный Костоломовымъ обо всемъ, тотчасъ же началъ каяться въ грѣхѣ отчаянія... Развязку не мудрено понять: графъ проситъ у Мирошева извиненія, увѣряетъ его, что процессъ кончился въ его пользу, даетъ ему денегъ на дорогу и пакетъ, который проситъ его велѣть Курочкину про-

Digitized by Google

честь при себѣ вслухъ. Мирошевъ униженно благодаритъ графа и проситъ его походатайствовать о мѣстѣ городничаго въ Новохоперскѣ для Костоломова. — Извольте: намъ это ни-почемъ.—Наконецъ блаженный Мирошевъ упалъ въ объятія дородной супруги и чувствительной дочери, а Прохоръ побѣжалъ звать Курочкина. Между тѣмъ, въ отсутствіе Мирошева, у Кирсанова съ отцомъ была горячая сцена: молодецъ такъ расплакался и такъ «трогательно» говорилъ, что старикъ махнулъ рукой—«только, говоритъ, самъ не поѣду сватать, а письмо напишу». Мирошевъ вслѣдствіе правилъ, Богъ знаетъ почему навязанныхъ на него авторомъ, не соглашается на этотъ вынужденный и неровный бракъ и говоритъ женѣ, книжнымъ нашего времени языкомъ, слѣдующую рацею: «Эхъ, Марья Дмитріевна! тѣми ли мы смотримъ на нее (т. е. на дочь) глазами, какими будетъ смотрѣть Иванъ Никифоровичъ? Она единственное дитя наше, наша радость, наше утѣшеніе; а что она для него? Деревенская барышня, дочь нечиновнаго дворянина, безъ всякаго свѣтскаго образованія, помѣха всѣмъ честолюбивымъ его видамъ, и вдобавокъ ко всему этому — бѣдная дѣвушка, которая, по смерти отца и матери, получитъ пятьдесятъ душъ!... О, мой другъ»! и пр. (ч. IV, стр. 258—299).—«Вотъ какъ бы за ней было душъ хоть двѣсти»—прибавилъ онъ... Тутъ явился Курочкинъ съ поклонами и трепетомъ, чуя бѣду; распечаталъ конвертъ—тамъ купчая на село Воздвиженское, состоящее изъ четырехъ сотъ тридцати семи душъ, со включеніемъ въ ихъ число и Курочкина; купчая на имя Мирошева... О, великодушный графъ!... И какъ все это кстати!... Добродѣтельный Мирошевъ простилъ Курочкина и, несмотря на сопротивленіе Прохора, отпустилъ его на волю даромъ. Тутъ какъ нарочно и старый Кирсановъ раскаялся въ своей гордости и—шасть на дворъ... Боже мой, какъ все это кстати!... Говорите послѣ этого, что на землѣ нѣтъ счастья!...

Вы думаете—конецъ? нѣтъ еще! Авторъ понялъ, какъ больно читателю будетъ разстаться скоро съ такими прекрасными и нравственными людьми, каковы герои его несравненнаго романа: онъ показываетъ намъ ихъ всѣхъ ровно черезъ пятнадцать лѣтъ послѣ знаменитаго дня чтенія купчей. Бывшая Варинька Мирошева, а теперь Варвара Кузминишна Кирсанова, стала женщиной прекрасной, но дородной... Удивительное счастье для героинь романовъ Загоскина — чуть перестанутъ сантиментальничать и выражаться «высокимъ слогомъ»— тотчасъ и разжирѣютъ: видимая благодать Божья!... Марья Дмитріевна уже очень поустарѣла, а Кузьма былъ еще довольно свѣжъ. У дородной Варвары Кузьминишны было двѣ дочери и сынъ. Авторъ показываетъ намъ всѣхъ ихъ за чаемъ, подъ липкой: умилительная картина семейственнаго счастья!... Тутъ сидитъ и старикъ Кирсановъ, и Новохоперскій городничій Костоломовъ, и Новохоперскій уѣздный врачъ Логиновъ, супругъ Дуняши. Изъ ихъ разговоровъ узнаемъ, что Алексѣй Панкратьичъ Курочкинъ, сынъ бывшаго приказчика, теперь уѣздный засѣдатель,—тотъ, что было лѣзъ въ женихи Варинькѣ—попалъ въ уголовную. Вертлюгина по духовной покойнаго мужа владѣла его имѣніемъ; племянникъ его вступился и доказалъ, что духовная фальшивая, и что Вертлюгина вложила перо въ руку уже умершаго своего сожителя и подписала такимъ образомъ духовную, а дуралей Курочкинъ подписался свидѣтелемъ... Боже мой! какія гнусныя дѣла творились въ тѣ блаженныя времена, когда «не благоговѣли передъ наукой, какъ передъ святыней, и не поклонялись искусству, какъ божеству, когда тверже вѣрили и пламеннѣе любили, чѣмъ теперь»!...

Далѣе изъ разговоровъ собесѣдниковъ узнаемъ, что Прохоръ Кондратьевичъ лежитъ при смерти, и не мудрено: ему уже за девяносто. Вдругъ докладываютъ, что умеръ и велѣлъ барину отдать какой-то ларецъ: въ немъ былъ образокъ, 10 цѣлковыхъ, двѣ игрушки и истертые дѣтскіе башмачки Мирошева....

Изъ этого длиннаго изложенія содержанія длиннаго романа Загоскина можете видѣть, читатель, какъ легко писать такіе романы для всякаго, кто только захочетъ писать: стоитъ разъ осмѣлиться, а тамъ уже не трудно набить руку. О талантѣ, идеяхъ и тому подобныхъ вещахъ нечего и говорить, когда рѣчь идетъ о такихъ романахъ. Спрашиваемъ прямо и не шутя: неужели сколько-нибудь образованный и начитанный человѣкъ увидитъ въ Мирошевѣ и Кирсановѣ героевъ романа, лица и характеры типическіе?... Скажите, чѣмъ они отличаются одинъ отъ другого, и не похожи ли одинъ на другого, какъ двѣ капли воды, взятыя изъ одного и того же пруда?... Умные люди говорятъ, что въ Божіемъ мірѣ нельзя сыскать двухъ листочковъ, совершенно сходныхъ между собой; а тутъ вдругъ два героя въ одномъ романѣ, которыхъ нечѣмъ отличить другъ отъ друга! Образъ мыслей ихъ одинъ и тотъ же, языкъ и фразы—тѣ же, притомъ въ нихъ нѣтъ ничего принадлежащаго къ ихъ времени. Неужели трудно выдумать, за одинъ присѣстъ, сто такихъ героевъ, какъ двѣ капли воды похожихъ

Digitized by Google

другъ на друга, и въ то же время ни на кого, ни на что, даже на самихъ себя не похожихъ? И это искусство, литература, романъ!.. Но далѣе... Но что говорить далѣе? Вѣдь героини такъ же хороши, какъ герои. По крайней мѣрѣ онѣ хоть жирѣютъ съ годами, слѣдовательно, измѣняются хоть физически... А сахарныя сцены любви, пряничныя фразы приторныхъ чувствованьицъ и водяныхъ ощущеньицъ?... И это мы читаемъ въ 1842 году, и это будутъ хвалить пріятельскіе журналы и покупать довѣрчивые покупатели! А что за содержаніе романа? Человѣкъ получилъ чудеснымъ (т. е. несбыточнымъ) образомъ наслѣдство, и таковымъ же образомъ влюбился и женился, за неумѣніемъ и неспособностью сдѣлать что-нибудь болѣе необыкновенное. Этимъ бы слѣдовало кончить; кажется, и самъ авторъ такъ думалъ, но, дописавъ послѣднюю страницу, вѣрно рѣшился продолжать на авось, довѣрившись не фантазіи, а рукѣ и перу... Во второй части являются новые уже герои: зачѣмъ же романъ названъ Кузьмой Петровичемъ Мирошевымъ? И опять—что за содержаніе?—Путаница несбыточно-счастливыхъ событій, страшныя хлопоты судьбы, нарушившей законы дѣйствительности,—и все это для того только, чтобъ оставить за Мирошевымъ его 50 душъ и наклеить носъ Курочкину!.. Даже не для того, чтобъ соединить «законнымъ бракомъ» два безличныя, но добродѣтельныя существа: ибо старикъ Кирсановъ рѣшился переломить свою гордость и пріѣхать къ Мирошевымъ, ничего не зная объ окончаніи процесса. Слѣдовательно процессъ, наполняющій собой двѣ съ половиной части романа, не имѣетъ никакого отношенія къ судьбѣ «злополучныхъ любовниковъ». Итакъ, къ чему же все это и зачѣмъ все это? Какой смыслъ, какая цѣль, какое намѣреніе?—И однакожъ въ романѣ есть все это: и смыслъ, и цѣль, и намѣреніе, только плохо выраженные, безталантно выполненные. Но о нихъ сейчасъ.

Мы видѣли, что всѣ герои и героини романа Загоскина раздѣляются на три разряда: № 1—добродѣтельные, № 2—злодѣи, № 3—лица комическія. Каковы первые—мы уже говорили. Вторые—каррикатуры, въ которыхъ однакожъ есть призракъ дѣйствительности, какъ напримѣръ въ негодяѣ Курочкинѣ. Третьи всѣхъ удачнѣе въ лицѣ Ѳедосьи и Прохора. Это не личности, не характеры, но искусственныя олицетворенія сословія. Все это, разумѣется, лучше безцвѣтныхъ героевъ. Они по крайней мѣрѣ говорятъ человѣческимъ языкомъ—слѣдствіе вліянія Вальтеръ-Скотта даже на «сочинителей» романовъ. Этотъ языкъ грубо и неизящно вѣренъ природѣ. Въ Прохорѣ заключена вся мысль романа; на немъ сосредоточено все вдохновеніе, весь пафосъ концепціи; онъ истинный и единый герой романа, Ахиллъ этой вывороченной на изнанку «Иліады». Авторъ любитъ его, удивляется ему; онъ искренно жалѣетъ, что ужъ нѣтъ болѣе такихъ слугъ. Прохоръ является на первыхъ страницахъ романа и сходитъ съ него—на послѣдней. Въ немъ основная мысль, въ немъ смыслъ, цѣль и намѣреніе романа. Мысль эта—превосходство нравовъ старины передъ современными, разумность того времени, когда «не благоговѣли передъ наукой, какъ передъ святыней, и не поклонялись искусству, какъ божеству»... Странная ненависть къ наукѣ и искусству, удивительная вражда къ просвѣщенію!...

Героиня романа—Ѳедосья. Въ ней мы видимъ неоспоримый документъ (запыленный, заплесневѣлый и подгнившій отъ времени), доказывающій, что только во времена суевѣрія «умѣютъ и твердо вѣрить, и горячо любить». Напрасно даровитый сочинитель не сдѣлалъ изъ Прохора и Ѳедосьи злополучныхъ любовниковъ, въ концѣ романа преодолѣвающихъ всѣ препятствія и вступающихъ въ «законный бракъ». Тогда бы юное поколѣніе нашего времени знало, у кого учиться любить.

Но довольно, читатели! Если мы заняли ваше вниманіе разборомъ «Кузьмы Петровича Мирошева»—это потому, что романъ Загоскина есть типъ моральныхъ и сатирическихъ русскихъ романовъ нашего времени, глава всѣхъ ихъ. Скоро о подобныхъ явленіяхъ ужъ не будутъ ни говорить, ни писать, какъ уже не говорятъ и не пишутъ больше о Выжигиныхъ, и цѣль нашей статьи—ускорить по возможности это вожделѣнное время, которое будетъ свидѣтельствомъ, что наша литература и общественный вкусъ сдѣлали еще шагъ впередъ...

Digitized by Google

ПОЭЗІЯ ПОЛЕЖАЕВА.

Часы выздоровленія (,) стихотворенія А. Полежаева. М. 1842. **Стихотворенія А. Полежаева**. М. 1832. **Кальянъ**. Стихотворенія А. Полежаева. М. 1838. **Арфа**. Стихотворенія А. Полежаева. М 1838.

И я жилъ, но я жилъ
На погибель свою...
Буйной жизнью убилъ
Я надежду мою...
Не расцвѣлъ и отцвѣлъ
Въ утрѣ пасмурныхъ дней;
Что любилъ, въ томъ нашелъ
Гибель жизни моей.
Духъ унылъ, въ сердцѣ кровь
Отъ тоски замерла,
Миръ души погребла
Къ шумной волѣ любовь...
Не воскреснетъ она!...

А. Полежаевъ.

Первая изъ книгъ, заглавіе которыхъ выставлено въ началѣ этой статьи, заключаетъ въ себѣ оборышъ стихотвореній талантливаго Полежаева и не заслуживаетъ никакого вниманія. Это явно или спекуляція на имя, или слѣдствіе необдуманнаго дружескаго усердія къ покойному автору. Тѣмъ не менѣе мы рады появленію этой книжки, потому что она даетъ намъ удобный случай поговорить о Полежаевѣ, какъ о поэтѣ вообще, и сдѣлать критическую оцѣнку всей его поэтической дѣятельности.

Слава дается людямъ геніемъ и не зависитъ ни отъ какихъ случайныхъ отношеній. Противъ нея безсильны предубѣжденія, зависть и злоба. Они даже служатъ ей, стараясь уничтожить ее,—и если имъ удается иногда помрачить ея лучезарный блескъ, то не болѣе, какъ на минуту, и для того только, чтобъ она явилась еще лучезарнѣе: такъ солнце является въ большемъ блескѣ, когда пройдутъ мимо застилавшія его облака, а они не могутъ же не проходить мимо его! Время всегда на сторонѣ «славы», и, опираясь на него, она торжествуетъ даже надъ самымъ временемъ. Но слава дается однимъ геніямъ,—и какъ между геніемъ и обыкновеннымъ человѣкомъ есть множество посредствующихъ ступеней и звеньевъ, называемыхъ «талантами» и дарованіями, такъ и между «славой» и «неизвѣстностью» есть посредствующія величины славы, называемыя большей или меньшей «извѣстностью». Вотъ эти-то таланты и дарованія, эти-то извѣстности болѣе или менѣе и испытываютъ на себѣ вліяніе случайныхъ отношеній и временныхъ обстоятельствъ, ничтожныхъ и безсильныхъ для генія и славы. Нельзя провести рѣзкой черты, отдѣляющей геній отъ таланта, ибо есть таланты близкіе къ генію, и вообще подобное разграниченіе окончательно совершается временемъ и вѣками. Въ этомъ вопросѣ для насъ важно только то, что чѣмъ выше, сильнѣе, многостороннѣе, глубже, словомъ, огромнѣе талантъ—тѣмъ больше его извѣстность приближается къ славѣ, тѣмъ менѣе могутъ вредить ему случайныя отношенія; и наоборотъ: чѣмъ меньше и одностороннѣе талантъ или низшая его степень—дарованіе, тѣмъ больше зависитъ оно не отъ самого себя, а отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, вліяніе которыхъ особенно сильно обнаруживается на него въ самое его возникновеніе и развитіе. Часто случается, что совершенно пустое и ничтожное дарованіе пользуется въ свое время громкой извѣстностью, похожей на славу, а истинный и замѣчательный талантъ проходитъ незамѣченный толпой при жизни, забытый ею по смерти. И когда потокъ времени поглотитъ всѣ случайныя извѣстности и эфемерныя славы, тщетно сталъ бы кто-нибудь воскрешать непризнанную славу вотще промелькнувшаго таланта: его вновь заслоняютъ возникшія извѣстности, его слава, его творенія принадлежатъ исключительно его времени, которое прошло для него и безплодно, и безвозвратно. Потомство согласится, что онъ былъ выше тѣхъ, которые заслоняли его, но и на немъ не захочетъ остановить своего вниманія такъ же, какъ и на нихъ. Впрочемъ нельзя сдѣлать общаго правила изъ такого случая, потому именно, что онъ—случай. Часто бываетъ и наоборотъ: часто пальма первенства достойно дается современниками первому по достоинству; но въ томъ-то и состоитъ зависимость таланта отъ случайности, что онъ также можетъ быть признанъ современниками, какъ и не признанъ ими. Только міровые геніи поставлены внѣ закона этой случайности, ибо

Digitized by Google

не могутъ быть ни непризнанными, ни забытыми.

Конечно не стоитъ и хлопотать о талантѣ, который умеръ, не живя, и котораго имени нельзя воззвать къ жизни. Но этому могутъ противорѣчить два обстоятельства. Во-первыхъ, истина и справедливость сами себѣ цѣль; для нихъ иногда можетъ быть важенъ предметъ болѣе по отношенію къ нимъ самимъ, чѣмъ къ себѣ самому. Во-вторыхъ, если дѣло идетъ о такомъ талантѣ, который, будучи не признанъ при жизни, не можетъ возвратить должнаго себѣ послѣ своей смерти, не столько по недостатку въ силѣ, сколько по неразвитости, ложному направленію или по причинамъ, скрывавшимся въ самой эпохѣ, въ которую онъ явился; тогда критикѣ стóитъ и очень стòитъ заняться имъ, какъ предметомъ замѣчательнымъ и поучительнымъ. Къ такимъ-то талантамъ принадлежитъ Полежаевъ. Теперь много именъ въ нашей литературѣ, пользующихся только прошедшей своей извѣстностью, и на этомъ зыбкомъ основаніи тщетно требующихъ себѣ вниманія равнодушной къ нимъ современности: и однакожъ всѣ они нѣкогда заслоняли собой Полежаева, котораго и теперь не видно изъ-за ихъ поблекшей извѣстности. И какъ имъ было не заслонить его? ихъ стихотворенія печатались въ Петербургѣ, издавались такъ красиво, сами они писали другъ къ другу посланія, участвовали въ пріятельскихъ журналахъ, и нѣкоторыхъ изъ нихъ самъ Пушкинъ печатно величалъ своими сподвижниками... Стихи Полежаева ходили по рукамъ въ тетрадкахъ, журналисты печатали ихъ безъ спросу у автора, который былъ далеко; наконецъ они и издавались, или за его отсутствіемъ, или безъ его вѣдома, на плохой бумагѣ, неопрятно и грубо, безъ разбора и безъ выбора — хорошее вмѣстѣ съ посредственнымъ, прекрасное съ дурнымъ...

Часто случается встрѣтить въ критикахъ и рецензіяхъ мнѣніе, что такой-то поэтъ могъ бы пріобрѣсти себѣ прочную славу, но погубилъ свое дарованіе, увлекшись звономъ риѳмы, вычурностью въ выраженіяхъ, и т. п. Справедливо-ли такое мнѣніе? — Можетъ быть и справедливо, только крайне односторонне, по нашему мнѣнію. Почему Шиллеръ великій поэтъ?—Потому что получилъ отъ природы великій геній. А почему Шиллеръ не погубилъ своего великаго генія, почему онъ не увлекся звономъ риѳмы, вычурностью выраженія? Потому что онъ получилъ отъ природы великую душу, которая презирала мелочами и стремилась къ одному истинному, великому и вѣчному. Видите-ли: здѣсь причина прежде всего въ натурѣ поэта, которая, уже по самой сущности своей, не допустила бы его сбиться съ пути. Но, скажутъ намъ, поэзія Шиллера велика не одной силой художническаго генія, не однимъ пламенемъ любви къ человѣчеству и къ истинѣ, но и мірообъемлющимъ, вѣчно-юнымъ и вѣчно-развивающимся содержаніемъ, котораго только возможность лежала въ его натурѣ, но которое усвоено, развито и обогащено было имъ посредствомъ ученія и неослабнаго стремленія за современными интересами. Такъ; но опять-таки начало всего—въ натурѣ поэта, душа котораго вѣчно сгорала жаждой знанія, и сердце котораго вѣчно билось только для идеи. Потомъ, здѣсь причина еще и въ духѣ, жизни и развитіи, словомъ,—исторіи народа, среди котораго родился поэтъ, и наконецъ въ историческомъ моментѣ, въ которомъ засталъ поэтъ современное ему человѣчество. Это ужъ не его заслуга—это дѣло судьбы, велѣвшей ему родиться германцемъ, а не китайцемъ. Природа—вездѣ природа, человѣкъ—вездѣ человѣкъ, и въ Китаѣ можетъ родиться поэтъ съ организаціей и духомъ Шиллера, но Шиллеромъ никогда не будетъ, останется китайцемъ: онъ выразитъ своими твореніями бѣдное содержаніе китайской жизни и въ уродливыхъ китайскихъ формахъ; китайцы будутъ имъ восхищаться, но европеецъ не пойметъ его ни въ подлинникѣ, ни въ лучшемъ переводѣ. Таково вліяніе національности на духъ и достоинство твореній поэта: она, эта національность, дѣлаетъ его и великимъ, и ничтожнымъ. Но если бы этотъ предположенный нами китайскій Шиллеръ и выдвинулся изъ своего народа, усвоивъ себѣ европейскую образованность и европейское знаніе, и тогда бы въ своихъ твореніяхъ былъ онъ только любопытнымъ фактомъ фоменологіи духа человѣческаго, а не великимъ явленіемъ въ сферѣ творчества, ибо великій поэтъ можетъ возникнуть только на національной почвѣ. Содержаніе для поэзіи даетъ поэту жизнь, а не наука: наука только обогащаетъ и развиваетъ это содержаніе. Не изъ книгъ почерпнулъ Шиллеръ свою ненависть къ униженному человѣческому достоинству въ современномъ ему обществѣ: онъ самъ, еще дитятей и юношей, перестрадалъ болѣзнями общества и перенесъ на себѣ тяжкое вліяніе его устарѣлыхъ формъ; наука только познакомила его съ причинами настоящаго, скрывавшимися въ вѣкахъ, уяснила вопросъ и дала сознательное направленіе энергической дѣятельности его могучаго духа. Равнымъ образомъ не наукой постигъ онъ все великое и истинное въ среднихъ вѣкахъ: наука только уяснила ему этотъ вопросъ, а самый вопросъ возбудила въ немъ жизнь, ибо современная ему цивилизація была результатомъ среднихъ вѣ-

Digitized by Google

ковъ, съ ихъ добромъ и зломъ. Болѣе ощутительно вліяніе науки на Шиллера въ его сочувствіи съ древнимъ міромъ; но и тутъ корень этого сочувствія скрывался въ исторіи его отечества, связанной съ исторіей Рима, а черезъ нее и съ исторіей Греціи. Предполагаемый нами китайскій геній могъ бы усвоить себѣ только извнѣ европейскую образованность и просвѣщеніе: выростая безъ почвы, она не принесла бы и плодовъ; не понятый соотечественниками, онъ не былъ бы оцѣненъ и европейцами. Другое дѣло, еслибъ, родившись въ Европѣ или перевезенный туда младенцемъ, онъ выросъ и развился въ духѣ и жизни той страны; но тогда бы онъ могъ быть только поэтомъ этой страны, а отнюдь не китайскимъ поэтомъ. Итакъ, два обстоятельства творятъ великихъ поэтовъ — натура и исторія.

Вслѣдствіе этого и величайшій по своей натурѣ и поэтическимъ силамъ поэтъ не можетъ достигнуть въ искусствѣ назначенной ему высоты, если онъ родился среди народа, котораго національность или лишена мірового значенія, или еще не развилась до него; въ такомъ случаѣ онъ можетъ быть ниже не только равныхъ ему, но и низшей натуры и меньшими творческими силами одаренныхъ поэтовъ, которыхъ геній воспитался на почвѣ національности, имѣющей мірового значеніе. При оцѣнкѣ степени достоинства того или другого поэта, нельзя не брать въ соображеніе этого обстоятельства, если хотите быть справедливыми и многосторонними въ своемъ приговорѣ.

Все сказанное нами относится только къ тѣмъ великимъ поэтамъ, которые столько же принадлежатъ человѣчеству, сколько и своему отечеству, и къ которымъ поэтому такъ идетъ эпитетъ «міровыхъ». Нельзя не быть великимъ поэтомъ, будучи міровымъ поэтомъ; но можно быть великимъ поэтомъ, не будучи міровымъ поэтомъ: эта разница не въ натурѣ поэта, а въ историческомъ значеніи его отечества. Но гдѣ жизнь, тамъ и поэзія, а слѣдовательно и содержаніе для поэзіи. Только содержаніе можетъ быть истиннымъ мѣриломъ всякаго поэта,—и геніальнаго, и просто даровитаго. Слѣдовательно прежде, чѣмъ говорить: «такой-то поэтъ могъ бы быть великимъ, но погубилъ свое дарованіе», должно, на основаніи содержанія его поэзіи, показать сперва: дѣйствительно ли его талантъ былъ великъ, а потомъ: столько ли онъ былъ великъ, чтобы, опираясь на своей силѣ, не могъ сбиться съ настоящаго пути и утратить свою силу. А то говорятъ: «г. NN обѣщалъ много, но увлекся звономъ риѳмы—и изъ него не вышло ничего!». Но, милостивые государи! на чемъ же вы основываете, что онъ много обѣщалъ, если такіе пустяки, какъ звонъ риѳмы или вычурность въ выраженіи, могли сбить его съ толку? Не все ли это равно, что сказать: «такой-то господинъ подавалъ блестящія надежды быть великимъ полководцемъ; но, къ сожалѣнію, увлекшись врожденной трусостью, оставилъ военное поприще и рѣшился опредѣлиться въ становые приставы»? Еслибы въ васъ было больше эстетическаго такта, то, увѣряемъ васъ, вы въ первыхъ же произведеніяхъ вашей мнимо-великой будущей надежды увидѣли бы только звонъ риѳмы и поняли бы, что больше звонаря изъ него ничего никогда не выйдетъ! Странно было бы назвать Лермонтова великимъ поэтомъ за двѣ написанныя имъ книжки; но о немъ всѣ говорятъ какъ о великомъ поэтѣ, ибо въ этихъ двухъ книжкахъ онъ далъ залогъ своего будущаго великаго развитія,—и никому, кромѣ людей, которые въ искусствѣ ничего не смыслятъ, — никому не придетъ въ голову сказать, что Лермонтовъ могъ бы современемъ погубить свой талантъ, увлекшись звономъ риѳмы или вычурностью фразы. Такіе таланты обезсиливаютъ себя не подобными пустяками, а развѣ тѣмъ, что, отрываясь отъ современныхъ интересовъ, предаются созерцательному отчужденію отъ живой дѣйствительности и засыпаютъ въ поэтическомъ аскетизмѣ, или живутъ жизнью прошедшаго, холодные къ современному, которое, въ свою очередь, равнодушно къ ихъ запоздалымъ интересамъ.

Какъ бы то ни было, но если и для великихъ талантовъ возможно свое паденіе, тѣмъ болѣе возможно оно для дарованій второстепенныхъ. Но и въ отношеніи къ нимъ мы все-таки разумѣемъ не «риѳменный звонъ» и не «вычурную фразу», которыми способны увлекаться только дарованія внѣшнія, лишенныя внутренней самостоятельной силы, чуждыя всякаго содержанія. Гладкій и звучный стихъ, внѣ содержанія, обнаруживаетъ только способность къ формѣ поэтической; въ отношеніи къ истинной поэзіи онъ то же самое, что риторика въ отношеніи къ истинному краснорѣчію. Чтобъ стихъ былъ поэтическій, не только мало гладкости и звучности, но не достаточно и одного чувства: нужна мысль, которая и составляетъ истинное содержаніе всякой поэзіи. Эта мысль даетъ себя чувствовать въ поэзіи, какъ извѣстный взглядъ на извѣстную сторону жизни, какъ начало (principe), которымъ вдохновляются и живутъ творенія поэта. Каждый вѣкъ и каждое время питаетъ свою думу о жизни, стремится къ своимъ цѣлямъ, и источникомъ всѣхъ своихъ побужденій

Digitized by Google

имѣетъ единое начало; и чѣмъ поэтъ выше, тѣмъ болѣе выражается въ немъ эта дума его времени. Всякое истинное содержаніе отличается жизненностью, вслѣдствіе которой оно движется впередъ, развивается, а не стоитъ, оцѣпенѣлое, на одномъ мѣстѣ или, подобно попугаю, не повторяетъ вѣчно одного и того же, и притомъ одними и тѣми же словами. Вотъ почему истинные поэты постепенно, съ теченіемъ времени, становятся глубже и совершеннѣе въ своихъ твореніяхъ; и вотъ почему творенія истинныхъ поэтовъ располагаются умными издателями не по родамъ, а въ хронологическомъ порядкѣ, сообразно съ временемъ появленія на свѣтъ каждаго изъ нихъ. А откуда же возьмется это движеніе, эта постепенность совершенствованія, если поэтъ барабанитъ своими гладкими и звучными стихами вѣчно одно и то-же,—напримѣръ: студентскія попойки, звонъ рюмокъ, хлопанье пробокъ, дѣву-красоту, у которой перси всегда полны, а сердце пусто? Тутъ можетъ быть услуга только языку и версификаціи, а отнюдь не поэзіи. И не диво, если такой стихотворецъ, ошибочно провозглашенный поэтомъ, скоро выпишется, всѣмъ надоѣстъ старыми погудками на новый ладъ, или новыми погудками на старый ладъ, утратитъ даже свой бойкій, звонкій и гладкій стихъ и, мертвый для всякихъ современныхъ, живыхъ интересовъ, по привычкѣ будетъ отъ времени до времени плохими стихами воспѣвать, въ пріятельскихъ журналахъ, то рейнвейнъ, который нѣжитъ, такъ сказать, глубокомысленно, то малагу, которую пьютъ, когда уже ничего другого желудокъ не выноситъ!... Важное дѣло—знать намъ, какое вино пьетъ господинъ стихотворецъ... Послѣ такой фамильярности съ доброй публикой, ему остается только увѣдомлять ее, разумѣется, въ стихахъ, въ какомъ погребѣ беретъ онъ свое вино. Оно бы и лучше: тогда стихи его имѣли бы цѣну и достоинство хоть прейсъ-курантовъ, и потому хоть на что-нибудь годились бы... И послѣ этого еще говорятъ, что онъ много обѣщалъ, но жаль-де, что, увлекшись звономъ риѳмы, погубилъ свой талантъ! Да въ риѳменномъ-то звонѣ и заключался весь его талантъ, почтенные господа-аристархи!..

Но не лучше его и тѣ риѳмотворцы, у которыхъ, кажется, что ни слово, то мысль, а какъ вглядишься — такъ что ни слово, то риторическая завитушка или дикое сближеніе несближаемыхъ предметовъ. Одинъ изъ такихъ господъ, пожалуй, такъ опишетъ вамъ дружбу: «у меня, скажетъ онъ, —есть въ сердцѣ рана: она вѣчно истекаетъ кровью; ее нанесъ мнѣ другъ нѣжной рукой, и сквозь ту рану онъ смотритъ въ мое сердце», и тому подобное. Другой, пожалуй, пропищитъ: «что въ морѣ купаться, то-де читать Данта; его стихи упруги и полны, какъ моря упругія волны». Третій чудакъ, пожалуй, соблазнясь этимъ образцовымъ примѣромъ, затянетъ: «что макароны ѣсть съ пармезаномъ — то Петрарку читать; стихи его гладко скользятъ въ душу, какъ эти обмасленныя, круглыя и длинныя, бѣлыя нити скользятъ въ горло». Четвертый посовѣтуетъ юношамъ не «призывать вдохновенія на высь чела, вѣнчаннаго звѣздой», или станетъ воспѣвать грудь, которая «высоко взметалась безпредметной любовью»; любовь, которая «гнѣздится въ ущельяхъ сердецъ»; дѣву, которой станъ «поэтъ вносилъ въ вихрь круженія на огненной ладони»; струи времени, «возрастившія мохъ забвенія на развалинахъ любви»; гибкій станъ, въ которомъ «поэтъ утопляетъ горящую ладонь»; искру души, которая «прихотливо подлетѣла къ парѣ черненькихъ глазъ и умильно посмотрѣла въ окна своей храмины»; дѣву, которая, «сидя на жеребцѣ, гордится усѣстомъ»,—и тому подобную дикую галиматью, которую иногда и на самомъ дѣлѣ выдаютъ намъ за полную мыслей поэзію, и которую основательная критика должна преслѣдовать огнемъ и мечомъ, какъ преступленіе противъ здраваго смысла, языка, литературы и искусства... Нѣтъ, не такова поэзія, полная мысли: она проста, естественна, неизысканна, какъ творенія природы, выразившія собой мысль Творца... О такихъ риѳмачахъ, если только бываютъ на свѣтѣ такіе риѳмачи, нельзя говорить: «они много обѣщали, а мало сдѣлали»; но должно говорить: «они ничего не обѣщали хорошаго и много написали вздорнаго».

Есть поэты, въ которыхъ нельзя не признать ни чувства, ни вдохновенія, ни поэтической формы, но о которыхъ, по первымъ же ихъ произведеніямъ, можно безошибочно сказать, что они не далеко пойдутъ и скоро выпишутся. Это тѣ одностороннія дарованія, которыя пробуждаются отъ какой-нибудь случайности—несчастія, утраты, и, открывъ въ душѣ своей затаенный родникъ грустной поэзіи, скоро исчерпываютъ его весь, настроивъ свою лиру на одинъ тонъ; а потомъ, когда неглубокій родникъ истощится и пересохнетъ, уже по привычкѣ къ риѳмамъ продолжаютъ вяло и бездушно выговаривать то, что нѣкогда пѣлось у нихъ по крайней мѣрѣ искренно и тепло... Потомъ, это тѣ эфемерныя души, которыя бываютъ юны только во время юности; переживъ юность, онѣ тотчасъ же отцвѣтаютъ и скоро мирятся съ прозой жизни. И слава имъ, если они, изъ поэтовъ сдѣ-

Digitized by Google

лавшись агрономами, чиновниками, спекулянтами, совсѣмъ забываютъ свою лиру для счетовъ, аршина или дѣловыхъ бумагъ; и позоръ имъ, если они вздумаютъ обманывать и себя, и другихъ риѳмованной стукотней безчувственныхъ чувствъ и безсмысленныхъ мыслей!.. Юность дается человѣку только разъ въ жизни, и въ юности каждый изъ насъ доступнѣе, чѣмъ въ другомъ возрастѣ, всему высокому и прекрасному. Благо тому, кто сохранитъ юность до старости, не давъ душѣ своей остыть, ожесточиться, окаменѣть.

Въ мертвящемъ упоеньи свѣта,
Среди бездушныхъ гордецовъ,
Среди блистательныхъ глупцовъ,
Среди лукавыхъ, малодушныхъ,
Шальныхъ, балованныхъ дѣтей,
Злодѣевъ и смѣшныхъ, и скучныхъ,
Тупыхъ, привязчивыхъ судей,
Среди кокетокъ богомольныхъ,
Среди холопьевъ добровольныхъ,
Среди вседневныхъ, модныхъ сценъ,
Учтивыхъ, маленькихъ измѣнъ,
Среди холодныхъ приговоровъ
Жестокосердой суеты,
Среди досадной пустоты
Разсчетовъ, думъ и разговоровъ,
Въ семъ омутѣ, гдѣ съ вами я
Купаюсь, милые друзья.

Да, возможное совершенство каждаго человѣка то, къ чему долженъ и можетъ стремиться каждый человѣкъ, состоитъ именно въ томъ, чтобъ, и доживши до сѣдыхъ волосъ, даже у края могилы, не пережить своей юности... Но—увы!—сколь немногіе достигаютъ этого, и сколь многіе старѣются, когда еще не миновалась и юность ихъ! Эта разница происходитъ при многихъ причинахъ, прежде всего отъ разницы въ натурахъ, съ которыми родятся люди. Это же и главная причина, отчего одинъ поэтъ всю жизнь сохраняетъ свое вдохновеніе, а другой теряетъ его послѣ десятка хорошихъ впрочемъ стихотвореній. И напрасно о такихъ поэтахъ говорятъ: «какъ много обѣщалъ онъ и какъ мало выполнилъ!» О такихъ, напротивъ, чаще можно говорить: «онъ обѣщалъ еще меньше, нежели сколько выполнилъ»... «Но, говорятъ, еслибы онъ писалъ такъ, а не этакъ, воспѣвалъ то, а не это—онъ сохранилъ бы свой талантъ». Нѣтъ, милостивые государи, тому нѣтъ спасенія, кто въ самомъ себѣ, въ слабости своей натуры носитъ своего врага... «Но еслибы онъ слушался критики?» —Поэтовъ творитъ природа и жизнь, а не критика, и для нихъ поучительнѣе критика на чужія сочиненія, чѣмъ на ихъ собственныя... «Однакожъ отъ чего же нибудь онъ сбился же?» — Для такихъ талантовъ на каждомъ шагу жизни стоятъ силки, и отъ чего бы то ни было, но имъ надо сбиться... Въ отношеніи къ нимъ даже не интересно и изслѣдовать причины паденія.

Гораздо поучительнѣе паденіе такихъ поэтовъ, которые не такъ сильны, чтобъ не бояться паденія, и не такъ слабы, чтобъ выдохнуться незамѣтно и испариться въ болотной атмосферѣ житейской повседневности; но которые или достигаютъ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, той степени развитія, что ихъ творенія дѣлаются капитальнымъ, хотя и второстепеннымъ сокровищемъ отечественной литературы, или, при неблагопріятствѣ судьбы, пролетаютъ по пути жизни блудящей кометой, являя своей жизнью и своими произведеніями зрѣлище печальное и поучительное. Таковъ былъ талантъ Полежаева...

Стихотворенія Полежаева начали являться въ печати съ 1826 года, но они были знакомы Москвѣ еще прежде, равно какъ и имя ихъ автора. Извѣстность Полежаева была двоякая, и въ обоихъ случаяхъ печальная: поэзія его тѣсно связана съ его жизнью, а жизнь его представляла грустное зрѣлище сильной натуры, побѣжденной дикой необузданностью страстей, которая, совративъ его талантъ съ истиннаго направленія, не дала ему ни развиться, ни созрѣть. И потому къ своей поэтической извѣстности, не для всѣхъ основательной, онъ присовокупилъ другую извѣстность, которая была проклятіемъ всей его жизни, причиной ранней утраты таланта и преждевременной смерти... Это была жизнь буйнаго безумія, способнаго возбудить къ себѣ и ужасъ, и состраданіе. Полежаевъ не былъ жертвой судьбы и, кромѣ самого себя, никого не имѣлъ права обвинять въ своей гибели. Полежаева уже нѣтъ, и потому о немъ можно говорить прямо и открыто: подобная откровенность никого не оскорбитъ, но многимъ будетъ поучительна. Онъ былъ явленіемъ общественнымъ, историческимъ, —и, говоря о немъ, мы говоримъ не о частномъ человѣкѣ. Къ тому же въ нашемъ сужденіи о Полежаевѣ мы будетъ основываться не на какихъ-нибудь посторонникъ и сомнительныхъ свидѣтельствахъ, а на его собственныхъ поэтическихъ признаніяхъ: ибо всѣ лучшія его произведенія суть не иное что, какъ поэтическая исповѣдь его безумной, страдальческой жизни. Мы пишемъ не для того, чтобъ осуждать, а для того, чтобъ поучать и поучаться изъ такого разительнаго примѣра: могила миритъ все, и надъ нею должны раздаваться не проклятія и осужденія, а слова примиренія и благословенія.

Слишкомъ рано понявъ безотчетнымъ чувствомъ, что толпа жила и держалась

Digitized by Google

правилами, которыхъ смысла сама не понимала, но къ которымъ равнодушно привыкла, Полежаевъ, подобно многимъ людямъ того времени, не подумалъ, что онъ могъ и долженъ былъ уволить себя только отъ понятій и нравственности толпы, а не отъ всякихъ понятій и всякой нравственности. Освобожденіе отъ предразсудковъ онъ счелъ освобожденіемъ отъ всякой разумности, и началъ обожать эту буйную свободу. Свобода была его любимымъ словомъ, его любимой риѳмой, — и только въ минуты душевной муки понималъ онъ, что то была не свобода, а своеволіе, и что наиболѣе свободный человѣкъ есть въ то же время и наиболѣе подчиненный человѣкъ. Избытокъ силъ пламенной натуры заставилъ его обожать другого, еще болѣе страшнаго идола—чувственность. Для человѣка необходимъ періодъ идеальныхъ, восторженныхъ стремленій: перешедъ черезъ него, онъ можетъ отрѣшиться отъ всего мечтательнаго и фантастическаго, но уже не можетъ остаться животнымъ даже въ своихъ чувственныхъ увлеченіяхъ, которыя у него будутъ смягчены и облагорожены чувствомъ красоты и примутъ характеръ эстетическій. И Полежаевъ пережилъ этотъ періодъ идеальнаго чувства, но уже слишкомъ не во́-время, какъ мы увидимъ. Сначала онъ, который не имѣлъ права сказать о себѣ, что не зналъ мятежнаго волненія страстей,—онъ имѣлъ право сказать:

Какъ минутный
Прахъ въ эѳирѣ,
Безпріютный
Странникъ въ мірѣ,
Одинокъ,
Какъ челнокъ,
Узъ любови
Я не зналъ,
Жаждой крови
Не сгоралъ!

Онъ имѣлъ право, не клевеща на самого себя для краснаго словца, сказать красавицѣ, не сводившей съ него задумчивыхъ очей и припадавшей къ нему на грудь въ порывахъ забвенія:

Ты ничего въ меня вдохнуть
Не можешь, кромѣ сожалѣнья!
Меня не въ силахъ воскресить
Твои горячія лобзанья,
Я не могу тебя любить,
Не для меня очарованья!
. . . . . .
Я рано сорвалъ жизни цвѣтъ;
. . . . . .
И прежнихъ чувствъ, и прежнихъ лѣтъ
Не возвратитъ ничто земное!
Еще мнѣ милы — красота
И дѣвы пламенные взоры;
Но сердце мучитъ пустота,
А совѣсть—мрачные укоры!
Люби другого: быть твоимъ
Я не могу, о, другъ мой милый!...
Ахъ, какъ ужасно быть живымъ,
Полуразрушась надъ могилой!

И потому не удивительно, если не во́-время и не въ пору явившееся мгновеніе было для поэта не вѣстникомъ радости и блаженства, а вѣстникомъ гибели всѣхъ надеждъ на радость и блаженство, и исторгнуло у его вдохновенія не гимнъ торжества, а вотъ эту страшную, похоронную пѣснь самому себѣ:

О грустно мнѣ! Вся жизнь моя—гроза!
Наскучилъ я обителью земною!
Зачѣмъ же вы горите предо мною,
Какъ райскіе лучи предъ сатаною,
Вы—черные, волшебные глаза!
Увы! давно печаленъ, равнодушенъ,
Я привыкалъ къ лихой моей судьбѣ:
Неистовый, безжалостный къ себѣ,
Презрѣлъ ее въ отчаянной борьбѣ,
И гордо былъ несчастію непослушенъ!
Старинный рабъ мучительныхъ страстей,
Я испыталъ ихъ бремя роковое—
И буйный духъ, и сердце огневое
Давно смирилъ въ обманчивомъ покоѣ,
Какъ лютый врагъ покоя и людей!
Въ моей тоскѣ, въ неволѣ безотрадной,
Я не страдалъ, какъ робкая жена;
Меня несла противная волна,
Несла на смерть—и гибель не страшна
Казалась мнѣ въ пучинѣ бозпощадной.
И мракъ небесъ, и громъ, и черный валъ
Любилъ встрѣчать я думою суровой,
И свисту бурь, подъ молніей багровой,
Внимать, какъ мужъ, отважный и готовый
Испить до дна губительный фіалъ...
И погрузясь въ преступныя сомнѣнья
. . . . о цѣли бытія,
Я трепеталъ, чтобъ истина меня,
Какъ яркій лучъ, внезапно осѣня,
Не извлекла изъ тьмы ожесточенья.
Мнѣ страшенъ былъ великій переходъ
Отъ дерзкихъ думъ до свѣта провидѣнья;
Я избѣгалъ невиннаго творенья,
Которое бъ могло, изъ сожалѣнья,
Моей душѣ дать выспренній полетъ—
И вдругъ оно, какъ ангелъ благодатный...
О, нѣтъ!—какъ духъ карающій и злой,
Свѣтлѣе дня явилось предо мной,
Съ улыбкой розъ, пылающихъ весной
На муравѣ долины ароматной!...
Явилось... все исчезло для меня:
Я позабылъ, въ мучительной невзгодѣ,
Мою любовь и ненависть къ природѣ,
Безумный пылъ къ утраченной свободѣ,
И все, чѣмъ жилъ, дышалъ доселѣ я...
Въ ея очахъ, алмазныхъ и привѣтныхъ,
Увидѣлъ я съ невольнымъ торжествомъ
Земной эдемъ!... Какъ-будто существомъ
Другихъ міровъ—какъ-будто божествомъ
Исполненъ былъ въ мечтаніяхъ завѣтныхъ.
И дѣва-рай, и дѣва-красота
Лила мнѣ въ грудь невыразимымъ взоромъ
Невинную любовь съ таинственнымъ
укоромъ,
И пѣла въ ней душа небеснымъ хоромъ:
«Люби меня!—И въ очи, и въ уста
Лобзай меня, пѣвецъ осиротѣлый,
Какъ мотылекъ лилею по утру!
Люби меня, какъ милую сестру,
И снова я и къ небу, и къ добру
Направлю твой разсудокъ омертвѣлый!»...

И что же? Совершилось ли возрожденіе—

Digitized by Google

этотъ великій актъ любви? и святая власть женственнаго существа побѣдила ли ожесточенную мужскую твердость?—Нѣтъ! поэтъ не воскресъ, а только пошевелился въ гробѣ своего отчаянія: солнечный лучъ поздно упалъ на поблекшій цвѣтъ его души... Остальная половина этого стихотворенія или, лучше сказать, этой поэтической исповѣди отличается той хаотической неопредѣленностью, въ какую погрузило душу поэта его полувозрожденіе: и какъ ничего положительнаго не могло выйти изъ новаго состоянія души поэта, такъ ничего не вышло и изъ стихотворенія, въ которомъ онъ силился его выразить. Эта неопредѣленность отразилась и на стихахъ: стихъ, доселѣ поэтическій, даже крѣпкій и сжатый, становится прозаическимъ, вялымъ и растянутымъ и только мѣстами сверкаетъ прежнимъ огнемъ, какъ угасающій вулканъ; цѣлые куплеты ничего не заключаютъ въ себѣ, кромѣ словъ, въ которыхъ видно одно тщетное усиліе что-то сказать. Можно догадываться изъ этихъ стиховъ, что душа поэта пережила его тѣло, и, живой трупъ, онъ умиралъ медленной смертью, томимый уже безплодными желаніями... Страшное состояніе! И какъ же понятны послѣ этого стихи Полежаева:

Ахъ, какъ ужасно быть живымъ,
Полуразрушась надъ могилой!..

Эти «черные глаза» очевидно были важнымъ, хотя ужъ и безвреднымъ фактомъ въ жизни Полежаева; скорбному воспоминанію о нихъ посвящена еще цѣлая, и притомъ прекрасная пьеса—«Грусть».

Но это только мгновеніе въ жизни поэта; другая любовь неотступно жила съ нимъ и погубила его—это та, о которой онъ самъ сказалъ:

Въ сердцѣ кровь
Отъ тоски замерла,
Миръ души погребла
Къ шумной волѣ любовь!
Не воскреснетъ она!

Эта-то любовь, извлекшая столько грязныхъ пѣсенъ, извлекала иногда и поэтическіе звуки изъ души поэта, какъ въ прекрасной пѣснѣ его—«Цыганка». Но апоѳеозу идола, спалившаго цвѣтъ жизни поэта, представляетъ его пьеса «Гаремъ». Въ этомъ диѳирамбѣ выражено объясненіе ранней гибели его таланта... Онъ извѣстенъ былъ подъ названіемъ «Ренегата» и, по множеству мѣстъ, цинически безстыдныхъ и безумно вдохновенныхъ, не могъ быть напечатанъ вполнѣ. Азія—колыбель младенческаго человѣчества и, какъ элементъ, не могла не войти и въ жизнь возмужавшаго и одухотворившагося европейца, но какъ элементъ—не больше; исключительное же ея обожаніе—смерть души и тѣла, позоръ и гибель при жизни и за могилой... Полежаевъ жилъ въ Азіи, а Европа только на мгновеніе шевелила его душой; удивительно ли, что онъ

Не расцвѣлъ и отцвѣлъ
Въ утрѣ пасмурныхъ дней;
Что любилъ, въ томъ нашелъ
Гибель жизни своей?

Отличительный характеръ поэзіи Полежаева—необыкновенная сила чувства. Явившись въ другое время, при болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ, при наукѣ и нравственномъ развитіи, талантъ Полежаева принесъ бы богатые плоды, оставилъ бы послѣ себя замѣчательныя произведенія и занялъ бы видное мѣсто въ исторіи русской литературы. Мысль для поэзіи то же, что масло для лампы: съ нимъ она горитъ пламенемъ ровнымъ и чистымъ, безъ него вспыхиваетъ по временамъ, издаетъ искры, дымится чадомъ и постепенно гаснетъ. Мысль всегда движется, идетъ впередъ, развивается. И потому творенія замѣчательныхъ поэтовъ (не говоря ужъ о великихъ) постепенно становятся глубже содержаніемъ, совершеннѣе формой. Полежаевъ остановился на одномъ чувствѣ, которое всегда безъотчетно и всегда заперто въ самомъ себѣ, всегда вертится около самого себя, не двигаясь впередъ, всегда монотонно, всегда выражается въ однообразныхъ формахъ.

Въ пьесѣ «Ночь на Кубани» вопль отчаянія смягченъ какой-то грустью и совпадаетъ съ единственно-возможной надеждой на прощеніе отъ подобнаго себѣ несчастливца, собственнымъ опытомъ познавшаго, что такое несчастье:

Лишь онъ одинъ постигнуть можетъ,
Лишь онъ одинъ пойметъ того,
Чье сердце червь могильный гложетъ!
Какъ пальма въ зеркалѣ ручья,
Какъ тѣнь налетная въ лазури,
Въ немъ отразится послѣ бури
Душа унылая моя!

Естественно, что Полежаевъ въ свѣтлую минуту душевнаго умиленія обрѣлъ столько еще тихаго и глубокаго вдохновенія, чтобы такъ прекрасно выразить одно изъ величайшихъ преданій Евангелія въ пьесѣ «Грѣшница». Можетъ быть послѣ этого намъ будетъ легче и поучительнѣе внимать страшнымъ признаніямъ поэта... Тяжесть паденія его была бы не вполнѣ обнята нами безъ двухъ пьесъ его—«Живой мертвецъ» и «Цѣпи». «Вечерняя заря», одна изъ лучшихъ пьесъ Полежаева, есть та же погребальная пѣсня всей жизни поэта; но въ ней отчаяніе растворено тихой грустью, кото-

Digitized by Google

рая особенно поразительна при сжатости и могучей энергіи выраженія — обыкновенныхъ качествъ его поэзіи. Но Полежаевъ зналъ не одну муку паденія; онъ зналъ также и торжество возстанія, хотя и мгновеннаго; съ энергической и мощной лиры его слетали не одни диссонансы, проклятія и вопли, но и гармонія благословеній.... Такъ въ пьесѣ:

Я погибалъ;
Мой злобный геній
Торжествовалъ!

Въ другое время сорвались съ его лиры звуки торжества и возстанія, но уже слишкомъ поздняго, и уже не столь сильные и громкіе: посмотрите, какая нескладица въ большой половинѣ пьесы «Раскаяніе», какъ хорошіе стихи мѣшаются въ ней съ плохими до безсмыслицы, и какъ торжественно окончаніе ея; оно можетъ служить образцомъ того, что̀ называется въ эстетикѣ «высокимъ».

Полежаевъ никогда бы не былъ однимъ изъ тѣхъ поэтовъ, которыхъ главное достоинство—пластическая художественность и виртуозность формъ; которыхъ значеніе бываетъ такъ велико въ сферѣ собственно искусства и такъ не велико въ сферѣ общей, объемлющей собой не одно искусство, но и всю область духа; въ которыхъ такая бездна поэзіи и такъ мало современныхъ вопросовъ, такъ мало общихъ интересовъ... Талантъ Полежаева могъ бы сдѣлаться безсмертнымъ, еслибы воспитался на плодородной почвѣ историческаго міросозерцанія. Въ его поэзіи мало содержанія; но изъ нея же видно, что она, по своему духу, должна была бы развиться преимущественно въ поэзію содержанія. Отселѣ эта крѣпость и мощь стиха, сжатость и рѣзкость выраженія. Но къ этому не достаетъ отдѣлки, точности въ словахъ и выраженіяхъ; причиной этого было сколько то, что онъ небрежно занимался поэзіей и никогда не отдѣлывалъ окончательно своихъ стихотвореній, замѣняя неточныя выраженія опредѣленными, слабые стихи—сильными, растянутыя мѣста—сжатыми; столько и то, что, оставшись при одномъ непосредственномъ чувствѣ, онъ не развилъ и не возвысилъ его наукой и размышленіемъ до вкуса. Другой важный недостатокъ его поэзіи, тѣсно связанный съ первымъ, состоитъ въ неумѣньи овладѣть собственной мыслью и выразить ее полно и цѣлостно, не примѣшивая къ ней ничего посторонняго и лишняго. Причина этого опять въ неразвитости и происходящей изъ нея неясности и неопредѣленности созерцанія. Поучительнымъ для молодыхъ поэтовъ примѣромъ подобной невыдержанности могутъ служить двѣ прекрасныя, но испорченныя пьесы Полежаева, въ совершенно различныхъ родахъ. Первая называется «Море», а вторая—«Баю-баюшки-баю». Какая грубая смѣсь прекраснаго съ низкимъ и безобразнымъ, граціознаго съ безвкуснымъ! Окончаніе послѣдней пьесы, въ которомъ заключена вся мысль ея, стоило, чтобъ для нея выписать всю пьесу. Истинное эстетическое чувство и истинный критическій тактъ состоятъ не въ томъ, чтобъ, замѣтивъ несовершенство или дурныя мѣста въ произведеніи, отбросить его отъ себя съ презрѣніемъ, но чтобъ не пропустить немногаго хорошаго, и во многомъ дурномъ оцѣнить его и насладиться имъ. Впрочемъ съ лиры Полежаева сорвалось нѣсколько произведеній, безукоризненно прекрасныхъ. Такова его дивная «Пѣснь плѣннаго Ирокезца» — этотъ высокій образецъ благородной силы въ чувствѣ и выраженіи, такова его прекрасная по мысли, хотя и не безусловно непогрѣшительная по выраженію, пьеса «Божій Судъ»; таковъ его переводъ пьесы Байрона «Вальтасаръ», который нѣкогда былъ неправо присвоенъ себѣ однимъ стихотворцемъ и напечатанъ въ «Московскомъ Телеграфѣ»,—что̀ и произвело большіе споры между этимъ журналомъ и «Галатеей», гдѣ спорная пьеса была получена изъ настоящаго источника.— Есть у Полежаева нѣсколько пьесъ въ народномъ тонѣ; тонъ ихъ не вездѣ выдержанъ, но онѣ вообще показываютъ въ нашемъ поэтѣ большую способность къ произведеніямъ этого рода. Таковы: «У меня-ль молодца», «Окно», «Долго-ль будетъ вамъ безъ умолку идти», «Тамъ на небѣ высоко» и «Узникъ». Послѣдняя особенно невыдержана и, несмотря на то, особенно прекрасна. Доказательствомъ же, что въ натурѣ Полежаева лежало много человѣческихъ элементовъ, можетъ служить его стихотвореніе на погребеніе дѣвушки.

Полежаевъ свободно владѣлъ и языкомъ, и стихомъ: изысканность въ выраженіяхъ происходила у него отъ небрежности въ трудѣ и отъ недостатка въ развитіи. Онъ часто какъ-будто игралъ стихами, выбирая трудные по короткости стиховъ размѣры, гдѣ одна риѳма могла бы стать непреоборимымъ препятствіемъ. Можно ли выказать больше одушевленія, чувства, и въ такихъ прекрасныхъ стихахъ, какъ въ пьесѣ «Пѣснь погибающаго пловца», писанной двухстопными хореями съ риѳмами. «Вальтасаръ» можетъ служить доказательствомъ необыкновенной способности Полежаева переводить стихами. Только ему надо было переводить что-нибудь, гармонировавшее съ его духомъ, и преимущественно лирическія произведенія, по причинѣ субъективной на-

Digitized by Google

строенности его натуры. Но неразвитость его была причиной неудачнаго выбора пьесъ для перевода. Полежаевъ съ жадностью переводилъ водяныя «медитаціи» Ламартина, которыя всего вѣрнѣе можно назвать «риторическими разглагольствованіями». Онъ перевелъ ихъ съ полдюжину, и притомъ самыхъ длинныхъ. Переводы его прекрасны, и если чрезвычайно скучны, то это ужъ вина Ламартина, а не Полежаева.

Мы выше сказали, что натура Полежаева была чисто субъективная. Поэтому настоящимъ его призваніемъ была лирическая поэзія, и всѣ попытки его на поэмы были весьма неудачны. Поэма его «Коріоланъ» отличается риторическимъ характеромъ; звучныхъ стиховъ въ ней много, но поэтическихъ весьма мало. Этому причиной и неразвитость его: онъ не понималъ ни духа римскаго народа, ни историческаго значенія избраннаго имъ героя. И потому содержаніе его «Коріолана»—общія риторическія мѣста. То же можно сказать, не боясь ошибиться, и о другой его поэмѣ—«Видѣніе Брута». Даже и лирическія его произведенія, отличающіяся длинностой, относятся къ такимъ же неудачнымъ попыткамъ, какъ напримѣръ пьеса «Гременчугское кладбище». Впрочемъ длинныя лирическія произведенія и у какого угодно поэта рѣдко бываютъ хорошими произведеніями. Полежаевъ много писалъ въ сатирическомъ родѣ—и это самыя неудачныя, самыя жалкія его попытки. Таковы: «Иванъ Козелъ», «День въ Москвѣ», «Кредиторы», «Чудакъ», «Авторъ и читатель» и разныя мелочи. Всѣ онѣ отзываются дурнымъ тономъ харчевенъ и простонародныхъ ресторацій, и могутъ восхищать своимъ остроуміемъ развѣ ту почтенную публику, которая съ господскими шубами на рукахъ присутствуетъ въ корридорахъ театровъ и въ прихожихъ домовъ. Это происходило не отъ недостатка у поэта въ природномъ остроуміи, а отъ того круга общества, въ которомъ онъ погубилъ свой талантъ, свое счастье и свою жизнь. Пьеска «Тарки» показываетъ, что онъ не чуждъ былъ юмористической веселости, но что ему не доставало лишь тонкаго эстетическаго такта приличія.

Нельзя не пожелать, чтобы люди, имѣющіе право на собственность сочиненій Полежаева и такъ дурно издающіе ихъ,—издали бы ихъ опрятно, на хорошей бумагѣ, безъ искаженія стиховъ, безъ грамматическихъ ошибокъ, безъ опечатокъ, а главное—съ разборомъ и съ толкомъ, исключивъ нелѣпыя сатирическія пьесы, о которыхъ мы говорили, и плоскія эпиграммы («Картина», «Напрасное подозрѣніе»), надутыя и пустозвонныя торжественныя оды («Въ память благотвореній», «Геній») и всѣ слабыя изъ мелкихъ лирическихъ пьесъ. Безъ этого хлама книжка выйдетъ небольшая, зато прекрасная по содержанію и необходимая для каждаго любителя отечественной литературы. Можно, если угодно, включить въ нее и «Оскара Альѳскаго», и всѣ переводы изъ Ламартина и Делавиня, для почитателей этихъ поэтовъ и для образца способности Полежаева къ переводамъ; но въ такомъ случаѣ всѣхъ ихъ должно соединить въ одномъ отдѣлѣ, въ концѣ книги, не мѣшая съ мелкими пьесами. Можно включить въ нее и эпическіе опыты—«Коріолана» и «Видѣніе Брута», какъ фактъ ложнаго развитія сильнаго дарованія; но опять съ условіемъ, чтобы они были помѣщены въ особомъ отдѣлѣ. Вотъ перечень мелкихъ пьесъ, которыя могутъ войти въ дѣльное изданіе сочиненій Полежаева: «Посвященіе другу его А. П. Л—му»; «Морни и тѣнь Кормала» (изъ «Оссіана»); «Вальтасаръ»; «Море»; «Водопадъ»; «Живой Мертвецъ»; «Ожесточенный»; «Провидѣніе»; «Цѣпи»; «Погребеніе»; «Вечерняя Заря»; «Пѣснь плѣннаго Ирокезца»; «Пѣснь погибающаго пловца»; «Любовь»; «Звѣзда»; «Зачѣмъ задумчивыхъ очей»; «У меня ль молодца»; «Тамъ на небѣ высоко»; «Пышно льется свѣтлый Терекъ»; «Черкесскій романсъ»; «Ночь на Кубани»; «Черная Коса»; «Мертвая голова»; «Гаремъ»; «Табакъ»; «Тарки»; Цыганка»; «Раскаяніе»; «Лунный свѣтъ» (изъ В. Гюго); «Ахалукъ»; «Признаніе»; «Окно»; «Отрывокъ изъ Посланія къ А. П. Л—му»; «Черные глаза»; «Божій Судъ»; «Негодованіе»; «Грѣшница»; «Грусть»; «Долго ль будетъ вамъ безъ умолку идти»; «Прощаніе»; «Узникъ»; «Баю-баюшки-баю». Сверхъ того, въ одномъ московскомъ журналѣ, чуть ли не въ «Галатеѣ» 1830 года, былъ напечатанъ замѣчательный по своему поэтическому достоинству отрывокъ изъ какого-то большого стихотворенія Полежаева; мы не помнимъ его названія, но помнимъ стихи, которыми онъ начинается:

. . . . . И я въ тюрьмѣ...
Передо мной едва горитъ
Фитиль въ разбитомъ черепкѣ.
Съ ружьемъ въ ослабленной рукѣ
У двери дремлетъ часовой...

Вотъ все, что можетъ и должно войти въ порядочное изданіе стихотвореній Полежаева...

Отличительную черту характера и особенности поэзіи Полежаева составляетъ необыкновенная сила чувства, свидѣтельствующая о необыкновенной силѣ его натуры и духа, и необыкновенная сила сжатаго выраженія,

Digitized by Google

свидѣтельствующая о необыкновенной силѣ его таланта. Правда, одна сила еще не все составляетъ: важны подвиги, въ которыхъ бы она проявилась; Раппо одаренъ чрезвычайной силой, но играть чугунными шарами, какъ мячиками, еще не значитъ быть героемъ. Такъ; но вѣдь все же не Раппо ходитъ смотрѣть на людей и дивиться имъ, а толпы людей ходятъ смотрѣть на него и дивиться ему. И въ сферѣ своихъ подвиговъ не выше-ли онъ тѣхъ людей, которые почитаютъ себя силачами и, кряхтя подъ тяжестью не по силамъ, надрываясь отъ натуги, думаютъ удивлять людей силой... Мы не видимъ въ Полежаевѣ великаго поэта, котораго творенія должны перейти въ потомство: мы безпристрастно высказали, что онъ погубилъ себя и свой талантъ избыткомъ силы, неуправляемой бразды разума; но въ то же время мы хотѣли показать, что Полежаевъ и въ паденіи замѣчательнѣе тысячи людей, которые никогда не спотыкались и не падали, выше многихъ поэтовъ, которые превознесены ослѣпленіемъ толпы, и что его паденіе и поэзія глубоко поучительны; мы хотѣли показать, что источникъ всякой поэзіи есть жизнь, что судьба всякаго могучаго таланта—быть представителемъ извѣстнаго момента общественнаго развитія, и что наконецъ могутъ падать только сильные, замѣчательные таланты... При другихъ условіяхъ поэзія Полежаева могла бы развиться, расцвѣсть пышнымъ цвѣтомъ и дать плодъ сторицей: возможность этого видна и въ томъ, что̀ имъ написано при ложномъ его направленіи, при неестественномъ развитіи. Мы не обинуясь скажемъ, что изъ всѣхъ поэтовъ, явившихся въ первое время Пушкина, исключая геніальнаго Грибоѣдова, который образуетъ въ нашей литературѣ особую школу,—несравненно выше всѣхъ другихъ и достойнѣе вниманія и памяти—Полежаевъ и Веневитиновъ... Къ буйной и страдающей музѣ Полежаева можно примѣнить эти стихи Пушкина:

И мимо всѣхъ условій свѣта
Стремится до утраты силъ,
Какъ беззаконная комета
Въ кругу разчисленномъ свѣтилъ.

Комета — явленіе безобразное, если хотите, но ея страшная красота для каждаго интереснѣе мгновеннаго блеска падучей звѣзды, случайно возникающей и безъ слѣда исчезающей на горизонтѣ ночного неба.

РѢЧЬ О КРИТИКѢ.

Произнесенная въ собраніи С.-Петербургскаго Университета, 25-го марта 1842 года, экстра-ординарнымъ профессоромъ А. Никитенко. Спб. 1842.

I.

Духъ анализа и изслѣдованія—духъ нашего времени. Теперь все подлежитъ критикѣ, даже сама критика. Наше время ничего не принимаетъ безусловно, не вѣритъ авторитетамъ, отвергаетъ преданіе; но оно дѣйствуетъ такъ не въ смыслѣ и въ духѣ прошедшаго вѣка, который, почти до конца своего, умѣлъ только разрушать, не умѣя созидать; напротивъ, наше время алчетъ убѣжденій, томится голодомъ истины. Оно готово принять всякую живую мысль, преклониться передъ всякимъ живымъ явленіемъ; но оно не спѣшитъ имъ на встрѣчу, а спокойно ожидаетъ ихъ къ себѣ безъ страсти и увлеченія. Боясь разочарованія, оно боится и очаровываться на-скоро. Какъ будто враждебно смотритъ нашъ, закаленный въ буряхъ ученій и событій, вѣкъ на все новое, которое претендуетъ замѣнить ему неудовлетворяющее его старое; но эта враждебность есть въ сущности только благоразумная осторожность, плодъ тяжелыхъ опытовъ. Нашъ вѣкъ и восхищается какъ будто холодно; но эта холодность у него не въ сердцѣ, а только въ манерѣ; она—признакъ не старости, а возмужалости. Скажемъ болѣе: эта холодность есть сосредоточенность внутренняго восторга, плодъ самообладанія, умѣющаго видѣть всему настоящее мѣсто и настоящія границы, равно презирающаго и искусственную, на живую нитку смѣтанную золотую середину—этого идола посредственности, и фанатическое увлеченіе крайностями, этой болѣзни односторонніхъ умовъ. И это покажется намъ очень естественнымъ, когда вспомнимъ, что послѣдняя половина прошедшаго и еще не кончившаяся половина настоящаго вѣка могутъ многіе изъ своихъ дней назвать вѣками: такъ много впродолженіе ихъ было испытано и пережито человѣчествомъ. Юноша на все бросается горячо и опрометчиво: ему ничего не стоитъ пасть на колѣни, воздѣть руки горѣ и обоготворить то, къ чему черезъ минуту онъ будетъ или холоденъ, или враждебенъ. Мужъ, искушенный опытомъ, не скоро поддается увлеченію: онъ сперва хо-

Digitized by Google

четъ изслѣдовать и повѣрить, онъ начинаетъ съ сомнѣнія, и если что выдержитъ его строгое, холодное изслѣдованіе, то уже не на-мигъ овладѣетъ его любовью и уваженіемъ. Возмужалый человѣкъ доволенъ чувствомъ, и не хлопочетъ, чтобъ это чувство замѣчали другіе; онъ дорожитъ имъ для него самого, и скорѣе постарается скрыть его, чѣмъ обнаружить. Юноша все любитъ для восторга, и восторгъ давитъ и рветъ грудь ему, если онъ не сообщитъ его другимъ. На нашъ вѣкъ много нападокъ, и весьма справедливыхъ. Дѣйствительно, это вѣкъ какой-то нерѣшимости, разъединенія, индивидуальности, вѣкъ личныхъ страстей и личныхъ интересовъ (даже умственныхъ), вѣкъ перехода, вѣкъ, котораго одна нога уже переступила за порогъ невѣдомаго будущаго, а другая осталась на сторонѣ отжившаго прошедшаго, и который оборачивается то назадъ, то впередъ, не зная, куда двинуться. Все это правда; но въ то-же время правда и то, что этотъ вѣкъ уже такъ опытенъ, такъ уменъ, такъ много помнитъ и знаетъ, что не можетъ рѣшиться играть роль паладина среднихъ вѣковъ, жить мечтами и ломать копья за невѣдомую красоту, или, подобно донъ-Кихоту, увѣрить себя въ несравненной красотѣ какой-нибудь безобразной Дульцинеи, за неимѣніемъ въ наличности красоты, дѣйствительно существующей.

Да, прошли безвозвратно блаженныя времена той фантастической эпохи человѣчества, когда чувство и фантазія давали ему отвѣты на всѣ его вопросы, и когда отвлеченная идеальность составляла блаженство его жизни. Міръ возмужалъ: ему нуженъ не пестрый калейдоскопъ воображенія, а микроскопъ и телескопъ разума, сближающій его съ отдаленнымъ, дѣлающій для него видимымъ невидимое. Дѣйствительность—вотъ лозунгъ и послѣднее слово современнаго міра! Дѣйствительность въ фактахъ, въ знаніи, въ убѣжденіяхъ чувства, въ заключеніяхъ ума, — во всемъ и вездѣ дѣйствительность есть первое и послѣднее слово нашего вѣка. Онъ знаетъ, что лучше на картѣ Африки оставить пустое мѣсто, чѣмъ заставить вытекать Нигеръ изъ облаковъ или изъ радуги. И сколько отважныхъ путешественниковъ жертвуютъ жизнью изъ географическаго факта, лишь бы доказать его дѣйствительность! Для нашего вѣка открыть песчаную пустыню, дѣйствительно существующую, болѣе важное пріобрѣтеніе, чѣмъ вѣрить существованію Эльдорадо, котораго не видали ничьи смертныя очи. Онъ знаетъ, что въ песчаной степи, дѣйствительно-существующей, болѣе видно всемогущество Творца и величіе природы, чѣмъ во всѣхъ Эльдорадо, существующихъ только въ праздномъ воображеніи мечтателей. Нашему вѣку не нужно шутовскихъ бубенчиковъ, пріятныхъ заблужденій, ребяческихъ погремушекъ, отрадныхъ, утѣшительныхъ лжей. Еслибы ложь предстала передъ нимъ въ видѣ юной и прекрасной женщины и съ улыбкой манила его въ свои роскошныя объятья, а истина—въ видѣ страшнаго остова смерти, летящаго на гигантскомъ конѣ съ косой въ рукахъ — онъ отвергся бы, съ презрѣніемъ и ненавистью, отъ обольстительнаго призрака, и бросился бы въ мертвящія объятья остова... Ему лучше ощутить себя въ дѣйствительныхъ объятьяхъ страшной смерти духа, чѣмъ схватить въ свои руки призракъ, долженствующій исчезнуть при первомъ къ нему прикосновеніи... И это совсѣмъ не скептицизмъ; это, напротивъ, обожествленіе истины, которая можетъ быть страшна только для ограниченности индивидуальнаго человѣка, а сама въ себѣ есть вѣчная красота и вѣчное блаженство. Скептицизмъ отчаявается въ истинѣ и не ищетъ ея; нашъ вѣкъ—весь вопросъ, весь стремленіе, весь исканіе и тоска по истинѣ... Онъ не боится, что его обманетъ истина, но боится лжи, которую человѣческая ограниченность часто принимаетъ за истину.

И однакожъ человѣкъ всегда стремился къ познанію истины, слѣдовательно всегда мыслилъ, изслѣдовалъ, повѣрялъ. Такъ; но его изслѣдованіе не было свободно: оно всегда находилось подъ вліяніемъ его непосредственнаго созерцанія или зависѣло отъ авторитета чувства и заранѣе принятыхъ началъ. Если же когда-нибудь изслѣдованіе освобождалось отъ авторитета и преданія, то враждебно разрушало полноту непосредственной жизни, не замѣняя ея полнотой новой жизни. Такъ въ Греціи сначала всѣ явленія дѣйствительности, фантастически представлявшіяся людямъ, и объясняемы были фантастическими же. Умъ явно находился подъ преобладающимъ вліяніемъ фантазіи и чувства. И эта фантастическая дѣйствительность не выдержала разлагающей философіи Сократа: она пошатнулась, рухнула и погребла философа подъ своими развалинами. Въ фантастическіе средніе вѣка философія была чѣмъ-то вродѣ кабалистики, химія—алхиміей, астрономія—астрологіей, исторія—романомъ, географія—волшебной сказкой. Въ XVI и XVII вѣкахъ умъ началъ вступать въ права свои, постепенно завоевывая у чувства и фантазіи принадлежавшія ему области. Въ XVIII вѣкѣ онъ одержалъ надъ ними рѣшительную побѣду, нанесъ имъ послѣдній ударъ. Но эта побѣда и показала ему, что одинъ и самъ по себѣ онъ

Digitized by Google

долженъ страшиться собственной силы, которая увлекла бы его къ исключительности и односторонности. И потому въ XIX вѣкѣ разумъ обнаружилъ стремленіе къ примиренію съ чувствомъ и фантазіей; онъ призналъ ихъ права, но какъ подчиненныхъ ему союзниковъ, которые должны дѣйствовать подъ его преобладающимъ вліяніемъ. И теперь разумъ во всемъ ищетъ самого себя и только то признаетъ дѣйствительнымъ, въ чемъ находитъ самого себя. Этимъ наше время рѣзко отличилось отъ всѣхъ прежнихъ историческихъ эпохъ. Разумъ все покорилъ себѣ, надъ всѣмъ воспреобладалъ: для него уже ничто не есть болѣе само себѣ цѣль, но все должно отъ него получать утвержденіе своей самостоятельности и дѣйствительности. Сомнѣніе и скептицизмъ уже болѣе не враги ему, приводящіе его въ отчаяніе на пути сознанія истины, но его орудія, средства, помогающія ему въ сознаніи истины.

Мы сказали, что разумъ тогда только признаетъ извѣстную истину, ученіе или явленіе дѣйствительными, когда находитъ въ нихъ себя, какъ содержаніе въ формѣ. Для этого ему только одинъ путь и одно средство — разъединеніе идеи отъ формы, разложеніе элементовъ, образующихъ собой данную истину или данное явленіе. И это дѣйствіе разума отнюдь не отвратительный анатомическій процессъ, разрушающій прекрасное явленіе для того, чтобъ опредѣлить его значеніе. Разумъ разрушаетъ явленіе для того, чтобы оживить его для себя въ новой красотѣ и новой жизни, если онъ найдетъ себя въ немъ. Отъ процесса разлагающаго разума умираютъ только такія явленія, въ которыхъ разумъ не находитъ ничего своего и объявляетъ ихъ только эмпирически существующими, но не дѣйствительными. Этотъ процессъ и называется «критикой». Многіе подъ критикой разумѣютъ или охужденіе разсматриваемаго явленія, или отдѣленіе въ немъ хорошаго отъ худого:—самое пошлое понятіе о критикѣ! Нельзя ничего ни утверждать, ни отрицать на основаніи личнаго произвола, непосредственнаго чувства или индивидуальнаго убѣжденія: судъ принадлежитъ разуму, а не лицамъ, и лица должны судить во имя обще-человѣческаго разума, а не во имя своей особы. Выраженія: «мнѣ нравится, мнѣ не нравится» могутъ имѣть свой вѣсъ, когда дѣло идетъ о кушаньѣ, винахъ, рысакахъ, гончихъ собакахъ и т. п.; тутъ могутъ быть даже свои авторитеты. Но когда дѣло идетъ о вліяніяхъ исторіи, науки, искусства, нравственности,—тамъ всякое *я*, которое судитъ самовольно и бездоказательно, основываясь только на своемъ чувствѣ или мнѣніи, напоминаетъ собой несчастнаго въ домѣ умалишенныхъ, который съ бумажной короной на головѣ величаво и благоуспѣшно правитъ своимъ воображаемымъ народомъ, казнитъ и милуетъ, объявляетъ войну и заключаетъ миръ, благо никто ему не мѣшаетъ въ этомъ невинномъ занятіи. Критиковать—значитъ искать и открывать въ частномъ явленіи общіе законы разума, по которымъ и чрезъ которые оно могло быть, и опредѣлять степень живого, органическаго соотношенія частнаго явленія съ его идеаломъ. А такъ какъ бываютъ явленія, вполнѣ выражающія общее въ частномъ, идеалъ—въ конечномъ, и бываютъ явленія, только въ извѣстной степени выражающія это единство частнаго съ общимъ, и бываютъ явленія, только претендующія на это единство, въ самомъ же дѣлѣ совершенно чуждыя его; слѣдовательно и критика не только безусловно хулитъ или только похваливаетъ и побраниваетъ, но иногда ограничивается одной похвалой. У насъ, на Руси, особенно критика получила въ глазахъ массы превратное понятіе: критиковать—для многихъ значитъ ругать, а критика одно и то же съ ругательной статьей. Мало того: критикой называютъ и сатиру, и пасквиль, а въ провинціи, въ среднихъ кругахъ общества, критикой называютъ пересуды, сплетни и злоязычіе. Понимать такимъ образомъ критику—все равно, что правосудіе смѣшивать только съ обвиненіемъ и карой, забывая объ оправданіи. Равнымъ образомъ критика не ограничивается однимъ искусствомъ, хотя ея имя и употребляется больше только въ отношеніи къ искусству. Критика происходитъ отъ греческаго слова, означающаго «судить»; слѣдовательно, въ обширномъ значеніи, критика есть то же, что̀ «сужденіе». Поэтому есть критика не только для произведеній искусства и литературы, но и критика предметовъ наукъ, исторіи, нравственности, и пр. Лютеръ напримѣръ былъ критикомъ папизма, какъ Боссюэтъ былъ критикомъ исторіи, а Вольтеръ—критикомъ феодальной Европы.

Критика всегда соотвѣтственна тѣмъ явленіямъ, о которыхъ судитъ: поэтому она есть сознаніе дѣйствительности. Такъ напримѣръ, что̀ такое Буало, Баттё, Лагарпъ? Отчетливое сознаніе того, что̀ непосредственно (какъ явленіе, какъ дѣйствительность) выразилось въ произведеніяхъ Корнеля, Расина, Мольера, Лафонтена. Здѣсь не искусство создало критику, и не критика создала искусство; но то и другое вышло изъ одного общаго духа времени. То и другое—равно сознаніе эпохи; но критика есть сознаніе философское, а искусство—созна-

Digitized by Google

ніе непосредственное. Содержаніе того и другого—одно и то же; разница только въ формѣ. Въ этомъ-то обстоятельствѣ и заключается важность критики, особенно для нашего времени, которое по преимуществу мыслящее и судящее, слѣдовательно критикующее время. Въ критикѣ нашего времени болѣе, чѣмъ въ чемъ-нибудь другомъ, выразился духъ времени. Что̀ такое само искусство нашего времени?—Сужденіе, анализъ общества, слѣдовательно критика. Мыслительный элементъ теперь слился даже съ художественнымъ,—и для нашего времени мертво художественное произведеніе, если оно изображаетъ жизнь для того только, чтобъ изображать жизнь, безъ всякаго могучаго субъективнаго побужденія, имѣющаго свое начало въ преобладающей думѣ эпохи, если оно не есть вопль страданія или диѳирамбъ восторга, если оно не есть вопросъ или отвѣтъ на вопросъ. Удивляться ли послѣ этого, что критика есть самовластная царица современнаго умственнаго міра? Теперь вопросъ о томъ, что̀ скажутъ о великомъ произведеніи, не менѣе важенъ самаго великаго произведенія. Что́ бы и какъ бы ни сказали о немъ,—повѣрьте, это прочтется прежде всего, возбудитъ страсти, умы, толки. Иначе и быть не можетъ: намъ мало наслаждаться—мы хотимъ знать; безъ знанія для насъ нѣтъ наслажденія. Тотъ обманулся бы, кто сказалъ бы, что такое-то произведеніе наполнило его восторгомъ, если онъ не отдалъ себѣ отчета въ этомъ наслажденіи, не изслѣдовалъ его причинъ. Восторгъ отъ непонятаго произведенія искусства—мучительный восторгъ. Это теперь выражается не только въ отдѣльныхъ лицахъ, но и въ массахъ.

Въ Россіи пока еще существуетъ только критика искусства и литературы. Это обстоятельство придаетъ ей еще большій интересъ и бо̀льшую важность. Литературныя мнѣнія разносятся у насъ скоро и быстро, и каждое находитъ себѣ послѣдователей. Можно сказать безъ преувеличенія, что пока еще только въ искусствѣ и литературѣ, а слѣдовательно въ эстетической и литературной критикѣ, выражается интеллектуальное сознаніе нашего общества. Поэтому нисколько не должно казаться страннымъ, что почтенный профессоръ, оффиціально избранный быть органомъ годичнаго торжества ученаго заведенія, избралъ предметомъ своей рѣчи критику. Нельзя было избрать лучшаго предмета, вопроса болѣе современнаго и болѣе близкаго къ жизни. И нѣтъ пріятнѣе зрѣлища, какъ то, что у насъ наука сближается съ жизнью и обществомъ, перестаетъ быть чѣмъ-то вродѣ элевзинскихъ таинствъ, отправляемыхъ вдобавокъ на латинскомъ языкѣ, понятномъ лишь оратору да еще десяти человѣкамъ изъ нѣсколькихъ сотъ, присутствующихъ на торжественномъ собраніи. Не менѣе пріятно и то, когда органами ученаго сословія и ученаго общества бываютъ люди, умѣющіе соединить интересъ предмета и основательность, глубокость взглядовъ съ живымъ, краснорѣчивымъ изложеніемъ. Этимъ умѣньемъ вполнѣ обладаетъ авторъ рѣчи, подавшей намъ поводъ къ этой статьѣ. Рѣчи Никитенко, какъ и все, что́ ни выходитъ изъ-подъ его пера, полны мыслей и отличаются особенной красотой выраженія. Каждый имѣетъ свое убѣжденіе, и потому не каждый безусловно согласится съ Никитенко во всемъ, что̀ составляетъ основаніе или частности его идей; но каждый, даже и не соглашаясь съ ними вполнѣ, прочтетъ ихъ съ тѣмъ вниманіемъ и уваженіемъ, которыя могутъ возбуждаться только мыслями, вызывающими на размышленіе, поражающими умъ. Парадоксъ или явная ложь не могутъ возбудить критическаго спора (ибо критика есть сужденіе, сравненіе явленія съ его идеаломъ), но могутъ возбудить опроверженіе; критическіе споры могутъ возбуждаться только мыслями. Опровергаютъ то, что̀ считаютъ ложью; спорятъ о томъ, что̀ обѣ стороны, несмотря на ихъ противорѣчіе, уважаютъ. Опровергающій мнѣніе считаетъ себя безусловно правымъ; спорящій старается быть правымъ, но почитаетъ побѣду столько же возможной и для противной стороны, какъ и для самого себя. Судъ побѣды предоставляется обществу и времени.

У насъ такъ мало является по части критики (сужденія) достойнаго даже опроверженій, не только спора, что мы вдвойнѣ обрадовались рѣчи Никитенко: какъ прекрасному произведенію мысли и краснорѣчія, которое обратило бы на себя вниманіе во всякой литературѣ,—и какъ случаю поговорить о дѣлѣ. Сверхъ того предметъ рѣчи профессора такъ близокъ нашему сердцу, что для насъ поговорить о немъ, по такому достойному поводу,—истинное наслажденіе.

Съ первыхъ же строкъ «Рѣчи» поражаютъ читателя и блескъ ея изложенія, и ея живые мотивы, такъ сказать, животрепещущіе интересомъ современности. Ораторъ разсматриваетъ критику только въ отношеніи къ искусству и опредѣляетъ ее «судомъ разума надъ творчествомъ».

«Но (говоритъ онъ) какъ же разумъ осмѣливается присвоить себѣ право суда и приговора надъ августѣйшей, первоначальной властью міра, совершительницей жизни и судебъ ея? Что̀ значатъ блѣдныя, безкровныя и безплотныя понятія

Digitized by Google

предъ яркимъ и звучнымъ могуществомъ событій! То, что родитъ только тѣни, дерзаетъ состязаться съ силой, воздвигающей вещи?... И какъ заглянуть въ нѣдра вулкана или въ лицо солнцу, чтобъ спросить у нихъ: «Зачѣмъ эти непріязненныя тревоги веществъ, обуздываемыхъ закономъ тяготѣнія, зачѣмъ это сіяніе?» или сказать имъ: «вотъ этому быть бы такъ, а тому иначе». Суетны слова тамъ, гдѣ нѣтъ имъ другого отзыва, кромѣ жизни или смерти.

«И точно, есть творчество, неподвластное суду и приговору разума человѣческаго! это творчество природы. У нея нѣтъ разнорѣчащаго смысла въ требованіи и рѣшеніи; нѣтъ ни теорій, ни идеаловъ недостижимыхъ; что есть, то и должно быть, и должно быть такъ, какъ есть. Каждая степень развита, каждый моментъ въ явленіяхъ природы содержитъ въ себѣ безъ недостатка все свое, все имъ подобающее; ничѣмъ другимъ и ничѣмъ большимъ они уже не могутъ быть. Цвѣтокъ раскинулся во всемъ блескѣ роскошной красоты или неожиданно поникъ юношескимъ вѣнцомъ своимъ предъ хладнымъ дыханіемъ сѣвера—законъ природы одинаково и окончательно выполненъ, тамъ въ законномъ развитіи отдѣльнаго организма, здѣсь въ законныхъ послѣдствіяхъ превозмогающей силы—и нѣтъ другого приговора событію, какъ «оно свершилось».

Съ этимъ нельзя вполнѣ согласиться, и вотъ на какомъ основаніи: духъ или разумъ, произведшій природу, выше природы, слѣдовательно можетъ судить ее. Сужденіе не всегда состоитъ въ томъ, чтобы произнести приговоръ судимому предмету, рѣшивъ: «вотъ этому быть бы такъ, а тому иначе», но часто состоитъ въ оправданіи предмета такъ, какъ онъ есть, въ признаніи, что онъ хорошъ только такъ, какъ есть, и другимъ быть не можетъ. «Что̀ значатъ блѣдныя, безкровныя и безплотныя понятія предъ яркимъ и звучнымъ могуществомъ событій? То, что̀ родитъ только тѣни, дерзаетъ состязаться съ силой, воздвигающей вещи?..» Такъ говоритъ ораторъ, но сама природа—что̀ же она такое, если не самыя эти блѣдныя, безкровныя и безплотныя понятія, воплотившіяся въ живые образы,—изъ міра возможности и идеаловъ перешедшія въ міръ дѣйствительности?.. Понятія родятъ не тѣни—тѣни родитъ только ложь; весь міръ, вся жизнь есть явленный образъ этихъ понятій. И какъ же разуму не дерзать состязаться съ силой, имъ же самимъ рожденной? Какъ духу уступать первенство имъ живущей и имъ дышащей матеріи? Еслибъ разумъ, судя о природѣ, т. е. приводя для себя въ сознаніе его же собственные законы, ею выраженные, сталъ доходить до заключеній, что вотъ это не такъ, а то могло-бъ быть иначе,—онъ этимъ пришелъ бы въ противорѣчіе съ самимъ собой, отрекся бы отъ самого себя и изрекъ бы страшный приговоръ надъ самимъ собой. Природа есть нѣчто мертвое, несуществующее само для себя: только духъ человѣческій знаетъ, что она есть, что она полна жизни и красоты, что въ ней скрыта глубокая мудрость; только духъ человѣческій знаетъ все это и блаженствуетъ въ своемъ знаніи. Зеркало отражаетъ въ себѣ стоящіе противъ него предметы, но не видитъ ихъ, и для него все равно отражать ихъ, или нѣтъ; важность и неважность такого вопроса существуетъ только для человѣка. Умри на землѣ человѣчество—и земли больше не будетъ, хотя бы она и осталась такой или еще и лучшей, чѣмъ была при человѣчествѣ: ея не будетъ, потому что некому будетъ знать, что она есть. Даже нельзя безусловно думать, чтобъ духъ, или разумъ, только видѣлъ себя въ природѣ, а не дѣйствовалъ на нее. Разумъ не скажетъ: зачѣмъ листья растеній зелены? имъ слѣдовало-бъ быть голубыми; зачѣмъ дубъ высокъ, а розанъ низокъ? и т. п. Онъ знаетъ, что такъ должно быть, что дѣйствующія силы природы неизмѣнны; онъ не претендуетъ измѣнять ихъ; но, сообразуясь съ ними и дѣйствуя черезъ нихъ же, онъ измѣняетъ климаты, осушаетъ болота и тундры, утучняетъ песчаныя степи, и на тѣ и другія призываетъ богатство и роскошь растительной природы, велитъ течь водѣ тамъ, гдѣ ея не было, и каналами соединяетъ разъединенныя природой моря, озера и рѣки; цвѣтокъ, взлелѣянный имъ, лучше, красивѣе и благоуханнѣе цвѣтка дико-растущаго; вода и вѣтеръ покорно работаютъ на его машинахъ, мелятъ и пилятъ; пары съ быстротой молніи носятъ его по сушѣ и по морю; обезоруженные громы минуютъ его жилища и зданія; онъ побѣдилъ и время, и пространство; онъ—царь природы, повелѣвающій ею въ неизмѣнномъ и предвѣчномъ духѣ собственныхъ законовъ. Совсѣмъ иное видитъ ораторъ въ искусствѣ, чѣмъ въ природѣ. Съ этимъ опять нельзя безусловно согласиться. Впрочемъ дѣло можетъ быть понято и такъ, и иначе, смотря по тому, съ какой стороны на него взглянешь. Дѣйствительно, каждое произведеніе природы, на какой бы ступени ея ни стояло оно, совершенно въ отношеніи къ самому себѣ, тогда какъ произведенія искусства, часто самыя совершеннѣйшія, заключаютъ въ себѣ какую-то примѣсь временнаго и случайнаго, что̀ теряетъ свое достоинство въ глазахъ потомства. Но это означаетъ скорѣе превосходство, чѣмъ низшую степень искусства въ отношеніи къ природѣ: это значитъ, что искусство развивается свободно, а природа неподвижно заключена въ математическіе законы своего существованія. Свободное можетъ ошибаться, несвободное никогда не ошибается; и потому животныя чужды заблужденій, ошибокъ и пороковъ, которымъ подверженъ человѣкъ. Притомъ же преходящее въ созда-

Digitized by Google

ніяхъ искусства есть ошибка не творящаго духа художника, а времени, въ которое онъ дѣйствовалъ. То, что мы отвергаемъ въ такихъ произведеніяхъ, отвергаемъ не какъ ошибку искусства, но какъ утратившее свою силу началo, бывшее нѣкогда истиннымъ; слѣдовательно отвергаемъ форму не за форму, а за ея содержаніе. Сознательное творчество не можетъ не быть выше безсознательнаго. И если въ природѣ явилась мудрость Божія, то развѣ не она же является и въ дѣйствіяхъ разумной воли человѣка, и развѣ человѣкъ творитъ великое отъ себя и собой, а не Богомъ и черезъ Бога?.. Только въ неразумныхъ дѣйствіяхъ своей воли личность человѣческая является самостоятельной и отпавшей отъ божественнаго источника, въ которомъ ея жизнь и сила; но тогда-то она и является ничтожной, случайной, безсильной и униженной.

«Творчество человѣческое есть только безпрерывно повторяемое покушеніе осуществить безконечную идею изящества—идею полноты и совершенства жизни», говоритъ ораторъ. Опредѣленіе справедливое, но, смѣемъ думать, не совсѣмъ полное и удовлетворительное. Во-первыхъ, идеи «полноты и совершенства жизни» не должны быть смѣшиваемы съ идеей «изящества» и «красоты», особенно если эта «полнота и совершенство жизни» не опредѣлены ничѣмъ, даже эпитетомъ. Во-вторыхъ, изящество и красота еще не все въ искусствѣ. Мы сами были нѣкогда жаркими послѣдователями идеи красоты, какъ не только единаго и самостоятельнаго элемента, но и единой цѣли искусства. Съ этого всегда начинается процессъ постиженія искусства, и красота для красоты, самоцѣльность искусства, бываетъ всегда первымъ моментомъ этого процесса. Миновать этотъ моментъ—значитъ никогда не понять искусства. Остаться при этомъ моментѣ — значитъ односторонне понять искусство. Все живое движется и развивается; понятіе объ искусствѣ не алгебраическая формула, всегда мертво-неподвижная. Заключая въ себѣ много сторонъ, оно требуетъ развитія во времени каждой изъ нихъ прежде, чѣмъ дастся въ своей полнотѣ и цѣлостности. Подвинуться впередъ въ сознаніи, отъ низшей его ступени перейти къ высшей, не значитъ измѣнить своимъ убѣжденіямъ. Убѣжденіе должно быть дорого потому только, что оно истинно, а совсѣмъ не потому, что оно наше. Какъ скоро убѣжденіе человѣка перестало быть въ его разумѣніи истиннымъ, онъ уже не долженъ называть его своимъ: иначе онъ принесетъ истину въ жертву пустому, ничтожному самолюбію и будетъ называть «своимъ» ложь. Людей послѣдняго разряда довольно на бѣломъ свѣтѣ; они заставляютъ себя насильно вѣрить тому, чему вѣрили прежде свободно, и чему теперь уже имъ не вѣрится. Они думаютъ унизиться, отказавшись отъ одного убѣжденія въ пользу другого, забывая, что это другое есть истина, и что истина выше человѣка. Другое дѣло переходить отъ убѣжденія къ убѣжденію вслѣдствіе внѣшнихъ разсчетовъ, эгоистическихъ побужденій: это низко и подло...

Что красота есть необходимое условіе искусства, что безъ красоты нѣтъ и не можетъ быть искусства—это аксіома. Но съ одной красотой искусство еще не далеко уйдетъ, особенно въ наше время. Красота есть необходимое условіе всякаго чувственнаго проявленія идеи. Это мы видимъ въ природѣ, въ которой все прекрасно, исключая только тѣ уродливыя явленія, которыя сама природа оставила недоконченными и спрятала ихъ во мракѣ земли и воды (моллюски, черви, инфузоріи, и т. п.). Но намъ мало красоты эмпирической дѣйствительности: любуясь ею, мы все-таки требуемъ другой красоты и отказываемъ въ названіи искусства самому точному копированію природы, самой удачной поддѣлкѣ подъ ея произведенія. Мы называемъ это ремесломъ. Какая же та красота, которой жаждетъ нашъ духъ, неудовлетворяющійся красотою природы, и которой мы требуемъ отъ искусства? Красота міра идеальнаго, міра безплотнаго, міра разума, гдѣ отъ вѣка заключены всѣ прототипы живыхъ образовъ, откуда исходитъ все реально-существенное. Слѣдовательно красота есть дщерь разума, какъ Афродита—дщерь Зевеса. Но у грековъ, несмотря на это подчиненіе красоты разуму, красота болѣе, чѣмъ у какого нибудь другого народа, имѣла самостоятельное, абсолютное значеніе. Они все созерцали подъ преобладающимъ вліяніемъ красоты, и у нихъ было искусство, по преимуществу имѣвшее цѣлью красоту—ваяніе. Впрочемъ и сами греки отдѣляли красоту отъ другихъ сторонъ бытія и обожествили ее только въ идеальномъ образѣ Афродиты. Красота Зевеса есть красота царственнаго величія міродержавнаго разума; красота другихъ боговъ также выражаетъ и еще какую-нибудь идею, кромѣ красоты. Что же касается до ихъ поэзіи, въ ея прекрасныхъ образахъ выражалось цѣлое содержаніе эллинской жизни, куда входила и религія, и нравственность, и наука, и мудрость, и исторія, и политика, и общественность. Красота безусловная, абсолютная, красота какъ красота, выражалась только въ Афродитѣ, которую вполнѣ могло выражать только ваяніе. Слѣдовательно даже и о греческомъ искусствѣ

Digitized by Google

нельзя сказать безусловно, чтобъ цѣлью его было одно воплощеніе изящества. Содержаніе каждой греческой трагедіи есть нравственный вопросъ, эстетически рѣшаемый.

Христіанство нанесло рѣшительный ударъ безусловному обожанію красоты, какъ красоты. Красота мадонны есть красота нравственнаго міра, красота дѣвственной чистоты и материнской любви; ее могла выразить только живопись, но ужъ никакимъ образомъ не могла выразить бѣдная скульптура. Конечно, какое нравственное выраженіе ни придайте дурному лицу, оно отъ этого все-таки не будетъ прекраснымъ лицомъ, и потому красота греческая вошла и въ новое искусство, но уже какъ элементъ, подчиненный другому высшему началу, слѣдовательно она стала уже скорѣе средствомъ, чѣмъ цѣлью искусства. Только здѣсь слово «средство» не должно понимать, какъ что-то внѣшнее искусству, но какъ единую, ему присущую форму проявленія, безъ которой искусство невозможно. Съ другой стороны, искусство безъ разумнаго содержанія, имѣющаго историческій смыслъ, какъ выраженіе современнаго сознанія, можетъ удовлетворять развѣ только записныхъ любителей художественности по старому преданію. Нашъ вѣкъ особенно враждебенъ такому направленію искусства. Онъ рѣшительно отрицаетъ искусство для искусства, красоту для красоты. И тотъ бы жестоко обманулся, кто думалъ бы видѣть въ представителяхъ новѣйшаго искусства какую-то отдѣльную касту артистовъ, основавшихъ себѣ свой собственный фантастическій міръ среди современной имъ дѣйствительности. Вальтеръ - Скоттъ своими романами рѣшилъ задачу связи исторической жизни съ частной. Онъ—живописецъ среднихъ вѣковъ, равно какъ и всѣхъ эпохъ, которыя онъ изображалъ; онъ вводитъ насъ въ тайники ихъ семейной, домашней жизни. Онъ столько же романистъ и поэтъ, сколько и историкъ. Поэтому неудивительно, что историческій критикъ, Гизо, ненаписавшій не только ни одного романа—даже ни одной повѣсти, съ признательностью ученика называетъ Вальтеръ-Скотта своимъ учителемъ. Дать историческое направленіе искусству XIX вѣка—значило геніально угадать тайну современной жизни. Байронъ, Шиллеръ и Гёте—это философы и критики въ поэтической формѣ. О нихъ всего менѣе можно сказать, что они поэты, и больше ничего. Правда, Гёте, вслѣдствіе своей уже слишкомъ нѣмецкой натуры и аскетическаго образа воззрѣнія на міръ, Гёте еще могъ бы подходить подъ идеалъ поэта, который поетъ, какъ птица, для себя: не требуя ничьего вниманія (лишь печатаетъ свои пѣснопѣнія для людей); но и онъ не могъ не заплатить дани духу времени: его «Вертеръ» есть не что иное, какъ вопль эпохи; въ его «Фаустѣ» заключены всѣ нравственные вопросы, какіе только могутъ возникнуть въ груди внутренняго человѣка нашего времени; его «Прометей» дышитъ преобладающимъ духомъ вѣка; многія изъ его мелкихъ лирическихъ пьесъ суть не что иное, какъ выраженіе философскихъ идей. Изъ великихъ поэтовъ современности, Куперъ болѣе другихъ держится въ чисто-художественной сферѣ, потому только, что гражданственность его юнаго отечества еще не выработала изъ себя элементовъ для современной поэзіи. Впрочемъ, какъ живой человѣкъ, а не птица, поющая для себя, Куперъ взялъ возможно полную дань съ жизни Сѣверо - Американскихъ Штатовъ: содержаніе «Шпіона» составляетъ борьба его отечества за независимость; въ «Американскихъ Пуританахъ», въ «Эвѣ Эффингемъ» и другихъ романахъ онъ касается разныхъ сторонъ невыформировавшейся гражданственности страны будущаго.

Духъ нашего времени таковъ, что величайшая творческая сила можетъ только изумить на время, если она ограничится «птичьимъ пѣніемъ», создастъ себѣ свой міръ, неимѣющій ничего общаго съ исторической и философической дѣйствительностью современности, если она вообразитъ, что земля недостойна ея, что ея мѣсто на облакахъ, что мірскія страданія и надежды не должны смущать ея таинственныхъ ясновидѣній и поэтическихъ созерцаній. Произведенія такой творческой силы, какъ бы ни громадна была она, не войдутъ въ жизнь, не возбудятъ восторга и сочувствія ни въ современникахъ, ни въ потомствѣ. Возьмемъ, для подтвержденія этой истины, современную французскую литературу. Викторъ Гюго, Бальзакъ, Дюма, Жаненъ, Сю, де-Виньи—конечно не громадные таланты, особенно пятеро послѣднихъ; но все же это люди замѣчательно-даровитые. И что же?—они не успѣли еще и состарѣться, какъ ихъ слава, занимавшая всю читающую Европу, умерла уже. Первый еще пользуется старинной славой, не прибавляя къ ея увядающимъ лаврамъ ни одного свѣжаго лепестка; а другіе стали во Франціи то же самое, что у насъ теперь иные нравоописательные и нравственно-сатирическіе сочинители:—горе-богатыри, модели для карикатуръ, мишень для насмѣшекъ критики. Отчего же эти французскіе литераторы такъ скоро выписались? — Оттого, что съ однимъ естественнымъ талантомъ недалеко уйдешь: талантъ имѣетъ нужду въ разумномъ содержаніи, какъ огонь въ маслѣ, для того чтобъ не погаснуть. А

Digitized by Google

эти люди или сами не знали, что́ пѣли и изъ чего хлопотали, за отсутствіемъ всякихъ живыхъ интересовъ, или съ добродушной искренностью—результатомъ безсознательности и мелкости ихъ натуръ—выдавали пороки современнаго общества за добродѣтели, заблужденія—за мудрость, и гордились тѣмъ, что это прекрасное общество нашло въ нихъ достойныхъ выразителей. Послѣ нихъ явились другіе даровитые люди—Сульé, Бернаръ и пр. Но что́ же?—читая повѣсть, написанную тѣмъ или другимъ изъ этихъ новыхъ геніевъ, вы удивляетесь необыкновенному таланту разсказа, мастерской рисовкѣ характеровъ, живости изложенія; читаете ее съ наслажденіемъ, и—забываете завтра же, какъ кушанье, о которомъ помнятъ только тогда, когда ѣдятъ его.—Отчего это?—Оттого, что у этихъ людей нѣтъ ни взгляда на жизнь, ни кровныхъ убѣжденій, составляющихъ вѣрованіе души и сердца, ни доктрины, ни началъ; оттого, что они пишутъ для того только, чтобъ писать, какъ птицы поютъ для того, чтобъ только пѣть. Въ нихъ нѣтъ ни любви, ни ненависти, ни сочувствія, ни вражды къ обществу, съ которымъ они связаны только внѣшними узами, а не духовнымъ родствомъ, основаннымъ на паѳосѣ къ идеѣ вѣка и общества. Общество въ свою очередь смотритъ на нихъ, какъ на своихъ потѣшниковъ и забавниковъ, не любя, не ненавидя, не уважая и не презирая ихъ; оно кричитъ о нихъ, пока они для него новы, и тотчасъ же забываетъ, какъ скоро они наскучатъ ему и какъ скоро явятся другіе потѣшники и забавники съ новыми выдумками и фокусъ-покусами. Не такое зрѣлище представляетъ собой геніальная женщина, извѣстная подъ именемъ Жоржъ-Занда. Это, безспорно, первая поэтическая слава современнаго міра. Каковы бы ни были ея начала, съ ними можно не соглашаться, ихъ можно не раздѣлять, ихъ можно находить ложными; но ея самой нельзя не уважать, какъ человѣка, для котораго убѣжденіе есть вѣрованіе души и сердца. Оттого многія изъ ея произведеній глубоко западаютъ въ душу и никогда не изглаживаются изъ ума и памяти. Оттого талантъ ея не слабѣетъ ни въ силѣ, ни въ дѣятельности, но крѣпнетъ и растетъ. И—что́ еще болѣе доказываетъ истину нашего убѣжденія — всѣ такіе таланты замѣчательны еще и какъ характеры нравственные, энергическіе, которыхъ жизнь такъ же безукоризненна, какъ глубоки и свѣтлы ихъ созданія, трепещущія симпатіей къ человѣчеству, любовью къ истинѣ. И это очень естественно: только птица поетъ оттого, что ей поется, не сочувствуя ни горю, ни радости своего птичьяго племени...И какъ горько думать, что и между людьми, при рожденіи помазанными свыше елеемъ вдохновенія, есть «птицы»: они счастливы, если имъ поется; они выше человѣчества, выше своихъ страждущихъ братій, тщетно обращающихъ къ нимъ полныя мольбы и ожиданія очи; они живутъ въ себѣ, они въ душѣ своей умѣютъ находить радости и утѣшенія, и этотъ опоэтизированный эгоизмъ называютъ жизнью въ непреходящемъ и вѣчномъ, чуждомъ мелкой современности... Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что искусство подчинено, какъ и все живое и абсолютное, процессу историческаго развитія, и что искусство нашего времени есть выраженіе, осуществленіе въ изящныхъ образахъ современнаго сознанія, современной думы о значеніи и цѣли жизни, о путяхъ человѣчества, о вѣчныхъ истинахъ бытія...

Переходя собственно къ критикѣ, какъ къ главному предмету рѣчи, краснорѣчивый ораторъ дѣлитъ критику на три разряда: на личную, аналитическую и философскую или по преимуществу художественную.

Намъ кажется, что личная критика, судя по тому значенію, какое ей даетъ авторъ, есть не родъ и не видъ, а злоупотребленіе критики. Личную критику можно раздѣлить на два рода—искреннюю и пристрастную. Первая иногда заслуживаетъ вниманія. Она принадлежитъ тѣмъ критикамъ, которые, не зная ни о современномъ состояніи теоріи изящнаго, ни объ отношеніи искусства къ обществу, все выводятъ изъ себя, опираясь на собственныхъ воззрѣніяхъ и собственномъ, непосредственномъ чувствѣ и вкусѣ. Это критика добродушнаго невѣжества, которое думаетъ, что съ него начался міръ, и что прежде него ничего не было. Если такой критикъ человѣкъ съ природнымъ, хотя и неразвитымъ умомъ, съ чувствомъ и душой,—въ его критикахъ могутъ встрѣчаться проблески здравыхъ мыслей, горячаго чувства, но смѣшанные со множествомъ парадоксовъ, давно остывшихъ основаній, давно забытыхъ заблужденій (ибо человѣкъ, все выводящій изъ себя, не можетъ сказать и новаго заблужденія); все у него неопредѣленно и сбивчиво. Такіе критики иногда встрѣчаются между плодовитымъ и мелкимъ народомъ фельетонистовъ; они возбуждаютъ искреннее сожалѣніе къ своимъ парализированнымъ чрезъ невѣдѣніе дарованіямъ. Если же критикъ, основывающійся на личныхъ убѣжденіяхъ, при невѣжествѣ своемъ, еще и человѣкъ ограниченный,—то берите его скорѣе въ фельетонисты газеты, гдѣ великіе писатели судятся со стороны грамматики и опечатокъ, и, ради всего святого, упражняйте ихъ больше въ объявленіяхъ о табачныхъ и кондитерскихъ

Digitized by Google

лавочкахъ, о ножевщикахъ и водоочистительныхъ машинахъ. Это литературная тля, о которой не стоитъ и говорить... Разсуждая о личной критикѣ, ораторъ разумѣетъ исключительно лично-пристрастную критику, которую онъ характеризуетъ сильно, энергически, живописно, но слишкомъ общими чертами, —чему причиной, разумѣется, оффиціальный характеръ торжества, подавшаго поводъ въ рѣчи, который не долженъ былъ допустить ничего такого, что могло бы послужить поводомъ къ намеку или примѣненію. Если рыцарей добродушной, искренней личной критики, отличающейся вдругъ и невѣжествомъ, и ограниченностью, мы назвали тлею, то витязей пристрастно-личной критики можно назвать саранчой литературной. Здѣсь чѣмъ умнѣе такой критикъ, тѣмъ вреднѣе онъ для вкуса неустановившагося общества: его литературному безстыдству и наглости нѣтъ никакихъ преградъ, и онъ безнаказанно можетъ издѣваться надъ публикой, увѣряя ее, что умъ «надуваетъ» человѣчество; что добродѣтель есть полезный предразсудокъ; что Сократъ былъ тонкій плутъ, «надувшій» грековъ своимъ мнимымъ демономъ; прославляя имъ посредственность и наглой ложью унижая истинные таланты, или говоря о своихъ талантахъ и своихъ добродѣтеляхъ, о невѣжествѣ, злобѣ и глупости своихъ враговъ и т. п. Впрочемъ такимъ критикамъ и такой критикѣ, вѣрно, будутъ не по сердцу многія строки въ энергической филиппикѣ Никитенко.

Теперь, безъ сомнѣнія, интересно будетъ для читателя узнать, какъ понимаетъ ораторъ истинную критику, которую онъ дѣлитъ на аналитическую и философскую, или по преимуществу художественную.

«Не такова, мм. гг., истинная критика, органъ блюстительнаго разума, приводящаго въ гармонію человѣческое свободное творчество со всеобщимъ и необходимымъ порядкомъ вещей, представительница вѣчныхъ законовъ искусства, мысль, произносящая судъ торжественный и всенародный надъ дѣломъ, предвозвѣстница приговора потомства, драгоцѣнная награда дарованія, кара нелицепріятная бездарности, стражъ народнаго вкуса. Принявъ на себя характеръ аналитическій, она изслѣдуетъ стихіи, изъ которыхъ слагается красота въ готовыхъ произведеніяхъ таланта, и условія ея развитія. Она разсматриваетъ писателя со стороны его генія, направленія, взгляда на вещи; рисуетъ картину общества, отношеніе къ нему писателя, степень принимаемаго имъ участія въ движеніяхъ современной мысли и жизни. Обращаясь къ самому произведенію, аналитическая критика разсматриваетъ его содержаніе, разлагаетъ образы на ихъ элементы, обнажаетъ пружины, которыми авторъ дѣйствуетъ для достиженія своей цѣли, и изъясняетъ, какъ зрѣла, чѣмъ питалась основная, завѣтная мысль его созданія, что принадлежитъ въ ней его свободному художническому воззрѣнію на вещи и что принадлежитъ набѣгу случайныхъ обстоятельствъ, волновавшихъ его душу. Мудрая аналитическая критика знаетъ, какія изъ этихъ понятій могутъ осуществиться только въ разсматриваніи произведеній, сдѣлавшихся уже достояніемъ исторіи, и какія должно прилагать къ искусству современному. Здѣсь вы читаете, такъ сказать, отчетъ самой природы о томъ, какъ она поступаетъ въ важнѣйшей части своей экономіи— въ творчествѣ умственномъ...

«Аналитическая критика однакожъ не удовлетворяетъ еще цѣли искусства. Мы знаемъ, какъ образовалось твореніе, но не знаемъ, что такое самое твореніе. «Вы, возразятъ мнѣ, видите его предъ собой раскрытымъ со всѣхъ сторонъ, объясненнымъ—чего-жъ болѣе?»—Такъ! Но у каждаго изящнаго произведенія, кромѣ отношеній къ художнику, эпохѣ, народу и проч., есть еще одно отношеніе, очень важное—это отношеніе къ идеѣ красоты. Вѣдь оно для нея и существуетъ; всѣ творческія операціи, которыя аналитической критикой такъ хорошо намъ раскрыты, именно для нея и предприняты. Прекрасно ли и почему прекрасно то, что произвело искусство? Этихъ вопросовъ она не рѣшитъ.

«Всѣ начинанія человѣческаго творчества подлежатъ двумъ законамъ: закону частныхъ соотношеній съ вещами и закону идей. То, чему назначено занять мѣсто между первыми, войти въ дружескій союзъ съ ними, участвовать въ исторіи, то должно и дѣйствовать въ духѣ ихъ судьбы и потребностей. Но высокое дѣло разума и воли не было-бъ разумнымъ и свободнымъ, еслибы оно не соединялось также узами съ тѣмъ, что выше вещей—съ основнымъ ихъ началомъ, съ родовой своей идеей. И отъ кого же, какъ не отъ нея дѣло получаетъ опредѣленный характеръ, неизгладимую физіономію? Одно становится заслугой въ наукѣ, потому что его направляетъ идея истины, другое пріобрѣтаетъ значеніе въ искусствѣ, потому что его оживотворила идея красоты. Критика, руководимая идеей истины по пути анализа, возвышается наконецъ къ идеѣ изящнаго и становится вполнѣ художественной... Критика—наперсница искусства, посвященная въ глубочайшія его тайны; въ то же время она органъ общества, которымъ она принимаетъ прекрасные дары искусства и несетъ ихъ къ своему сердцу. Высоко и достославно ея назначеніе! Двѣ могущественнѣйшія силы—искусство и духъ общественный, — опираются на ея мудрость и правоту: одно ввѣряетъ ей драгоцѣннѣйшее свое достояніе—славу, другой—честь и достоинство своихъ чувствованій.»

Нельзя не согласиться въ сущности со всѣмъ этимъ. Дѣйствительно, критика аналитическая, какъ называетъ ее ораторъ, или историческая, какъ называютъ ее во Франціи и Германіи, необходима. Миновать ее, особенно теперь, когда вѣкъ принялъ рѣшительно историческое направленіе, значило бы убить искусство или, еще скорѣе, опошлить критику. Каждое произведеніе искусства непремѣнно должно разсматриваться въ отношеніи къ эпохѣ, къ исторической современности и въ отношеніяхъ художника къ обществу; разсмотрѣніе его жизни, характера и т. п. также могутъ служить часто къ уясненію его созданія. Съ другой стороны, невозможно упускать изъ виду и собственно эстетическихъ требованій искусства. Скажемъ болѣе: опредѣленіе

Digitized by Google

степени эстетическаго достоинства произведенія должно быть первымъ дѣломъ критики. Когда произведеніе не выдержитъ эстетическаго разбора, оно уже не стоитъ исторической критики; ибо, если произведеніе искусства чуждо животрепещущаго историческаго содержанія, если въ немъ искусство было само себѣ цѣлью,—оно все еще можетъ имѣть хотя одностороннее, относительное достоинство; но если, при живыхъ современныхъ интересахъ, оно не ознаменовано печатью творчества и свободнаго вдохновенія, то ни въ какомъ отношеніи не можетъ имѣть никакой цѣнности, и самая жизненность его интересовъ, будучи выражена насильственно въ чуждой имъ формѣ, будетъ безсмысленна и нелѣпа. Изъ этого прямо выходитъ, что не для чего и раздѣлять критику на разные роды, а лучше, признавъ одну критику, отдать въ ея завѣдываніе всѣ элементы и стороны, изъ которыхъ слагается дѣйствительность, выражающаяся въ искусствѣ. Критика историческая безъ эстетической, и наоборотъ, эстетическая безъ исторической, будетъ односторонняя, а слѣдовательно и ложна. Критика должна быть одна, и разносторонность взглядовъ должна выходить у ней изъ одного общаго источника, изъ одной системы, изъ одного созерцанія искусства. Это и будетъ критикой нашего времени, въ которомъ многосложность элементовъ ведетъ не къ дробности и частности, какъ прежде, а къ единству и общности. Что же касается до слова «аналитическій»,—оно происходитъ отъ слова «анализъ», означающаго разборъ, разложеніе, которые составляютъ свойство всякой критики, какая бы ни была она, историческая или художественная.

Насъ спросятъ: какимъ образомъ въ одной и той же критикѣ могутъ органически слиться два различныя воззрѣнія, историческое и художественное? или: какъ можно требовать отъ поэта, чтобы онъ въ одно и то же время свободно слѣдовалъ своему вдохновенію и служилъ духу современности, не смѣя выйти изъ ея заколдованнаго круга? Этотъ вопросъ весьма легко рѣшить и теоретически, и исторически. Каждый человѣкъ, а слѣдовательно и поэтъ, испытываетъ на себѣ неизбѣжное вліяніе времени и мѣстности. Съ молокомъ матери всасываетъ онъ въ себя тѣ начала, ту сумму понятій, которой живетъ окружающее его общество. Отъ этого онъ дѣлается французомъ, нѣмцемъ, русскимъ, и т. д.; отъ этого онъ, родившись напримѣръ въ XII вѣкѣ, благочестиво убѣжденъ, что самое святое дѣло—жечь на кострахъ людей, думающихъ такъ, какъ не всѣ думаютъ, а родившись въ XIX вѣкѣ, онъ религіозно убѣжденъ, что никого не должно жечь и рѣзать, что дѣло общества не мстить наказаніемъ за проступокъ, а исправить наказаніемъ преступника, чрезъ что удовлетворится и оскорбленное общество, и выполнится святой законъ христіанской любви и христіанскаго братства. Но человѣчество не вдругъ же перескочило отъ XII вѣка къ XIX-му: оно должно было прожить цѣлые шесть вѣковъ, впродолженіе которыхъ развивалось въ своихъ моментахъ его понятіе объ истинномъ, и въ каждомъ изъ этихъ шести вѣковъ это понятіе принимало особенную форму. Вотъ эту-то форму философія и называетъ моментомъ развитія обще-человѣческой истины; а этотъ-то моментъ и долженъ быть пульсомъ созданій поэта, ихъ преобладающей страстью (паѳосомъ), ихъ главнымъ мотивомъ, основнымъ аккордомъ ихъ гармоніи. Нельзя жить въ прошедшемъ и прошедшимъ, закрывъ глаза на настоящее: въ этомъ было бы что-то неестественное, ложное и мертвое. Отчего европейскіе живописцы среднихъ вѣковъ писали все мадоннъ да святыхъ?—Оттого, что религіозность христіанская была преобладающимъ элементомъ жизни Европы того времени. Послѣ Лютера всѣ попытки къ возстановленію религіозной живописи въ Европѣ были бы тщетны. «Но,—скажутъ намъ:—если нельзя выйти изъ своего времени, то не можетъ быть и поэтовъ не въ духѣ своего времени, а слѣдовательно нечего и вооружаться противъ того, чего быть не можетъ».—Нѣтъ, отвѣчаемъ мы: это не только можетъ быть, но и есть, особенно въ наше время. Причина такого явленія—въ обществахъ, которыхъ понятія діаметрально противоположны ихъ дѣйствительности, которыя учатъ въ школахъ дѣтей своихъ такой нравственности, за которую надъ ними же теперь смѣются, когда тѣ выйдутъ изъ школы. Это есть состояніе безрелигіозности, распаденія, разъединенія, индивидуальности и—ея необходимаго слѣдствія—эгоизма: къ несчастью, слишкомъ рѣзкія черты нашего вѣка! При такомъ состояніи обществъ, живущихъ старыми преданіями, которымъ болѣе не вѣрятъ, и которыя противоположны новымъ истинамъ, открытымъ наукой, выработавшимся изъ историческихъ движеній,—при такомъ состояніи обществъ иногда самыя даровитыя личности чувствуютъ себя отдѣленными отъ общества, одинокими, и тѣ изъ нихъ, которыя послабѣе характеромъ, добродушно дѣлаются жрецами и проповѣдниками эгоизма и всѣхъ пороковъ общества, думая, что такъ, видно, должно быть, что иначе быть не можетъ, что не нами-де началось, не нами и кончится; другія—и это, увы! часто лучшія—

Digitized by Google

убѣгаютъ во внутрь себя, съ отчаяніемъ махнувъ рукой на эту оскорбляющую чувство и разумъ дѣйствительность. Но это средство къ спасенію ложное и эгоистическое: когда на улицѣ пожаръ, должно бѣжать не отъ него, а къ нему, чтобъ вмѣстѣ съ другими искать средствъ и трудиться братски для потушенія его. Но многіе, напротивъ, изъ этого эгоистическаго и малодушнаго чувства сдѣлали себѣ начало, доктрину, правило жизни, наконецъ догматъ высокой мудрости. Они имъ горды, они съ презрѣніемъ смотрятъ на міръ, который, извольте видѣть, не стоитъ ихъ страданій и ихъ радостей; засѣвъ въ разубранномъ теремѣ своего фантастическаго замка и смотря изъ него сквозь расцвѣченныя стекла, они поютъ какъ птицы... Боже мой! человѣкъ дѣлается птицей! Какое истинно-овидіевское превращеніе! Къ этому еще присоединилась обаятельная сила нѣмецкихъ воззрѣній на искусство, въ которыхъ дѣйствительно много глубокости, истины и свѣта, но въ которыхъ также много и нѣмецкаго, филистерскаго, аскетическаго, анти-общественнаго. Что же изъ этого должно было выйти?—Гибель талантовъ, которые, при другомъ направленіи, оставили бы по себѣ въ обществѣ яркіе слѣды своего существованія, могли бы развиваться, идти впередъ, мужать въ силахъ. Отсюда происходитъ это размноженіе микроскопическихъ геніевъ, маленькихъ великихъ людей, которые дѣйствительно обнаруживаютъ много таланта и силы, но пошумятъ, пошумятъ, да и замолкнутъ, скончавшись вмалѣ еще прежде своей смерти, часто во цвѣтѣ лѣтъ, въ настоящей порѣ силы и дѣятельности. Свобода творчества легко согласуется съ служеніемъ современности: для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насиловать фантазію; для этого нужно только быть гражданиномъ, сыномъ своего общества и своей эпохи, усвоить себѣ его интересы, слить свои стремленія съ его стремленіями; для этого нужна симпатія, любовь, здоровое практическое чувство истины, которое не отдѣляетъ убѣжденія отъ дѣла, сочиненія отъ жизни. Что вошло, глубоко запало въ душу, то само собой проявится во внѣ. Когда человѣкъ сильно потрясенъ страстью, исключительно занятъ одной мыслью,—все, о чемъ онъ думаетъ днемъ, повторяется у него въ снахъ. Пусть же творчество будетъ прекраснымъ сномъ, въ роскошныхъ видѣніяхъ своихъ повторяющимъ святыя думы и благородныя симпатіи художника! Въ наше время талантъ, въ чемъ бы ни проявлялся—въ практической ли общественной дѣятельности, или въ наукѣ и искусствѣ, долженъ быть добродѣтелью или гибнуть въ себѣ самомъ и черезъ себя самого. Человѣчество дошло наконецъ до такихъ убѣжденій, которыхъ нечистые люди, уже изъ собственныхъ видовъ, чтобъ не осудить себя, не рѣшатся произнести и выговорить. Они знаютъ, что общество имъ не повѣрило бы, ибо въ нихъ самихъ увидѣло бы лучшее опроверженіе ихъ идей...

Высказавъ наше воззрѣніе на искусство и критику и разсмотрѣвъ «Рѣчь», подавшую поводъ къ этой статьѣ,—сдѣлаемъ историческое обозрѣніе русской критики отъ начала ея до нашего времени.

II.

Обозрѣть историческій ходъ и развитіе русской критики—значитъ обозрѣть, въ общихъ чертахъ, исторію русской литературы, ибо, какъ мы уже сказали въ первой статьѣ, содержаніе критики, какъ сужденія, есть то же самое, что и содержаніе литературы, какъ судимаго; вся разница въ формѣ. Художникъ и литераторъ выражаютъ свое понятіе объ искусствѣ и литературѣ непосредственно, самыми твореніями своими; критикъ выражаетъ свое понятіе объ искусствѣ и литературѣ чрезъ посредство мысли, сознательно. Въ этомъ случаѣ искусство и литература идутъ объ руку съ критикой и оказываютъ взаимное дѣйствіе другъ на друга. Если новый геній открываетъ міру новую сферу въ искусствѣ и оставляетъ за собой господствующую критику, нанося ей тѣмъ смертельный ударъ: то, въ свою очередь, и движеніе мысли, совершающееся въ критикѣ, приготовляетъ новое искусство, опереживая и убивая старое. Такое явленіе было въ Германіи, гдѣ литературный переворотъ совершился не чрезъ великаго поэта, а чрезъ умнаго, энергическаго критика—Лессинга. Такъ называемая романтическая школа или юная литература Франціи водрузила свои побѣдоносныя знамена на завоеванной ею у псевдоклассицизма почвѣ едва ли не болѣе при помощи критики, чѣмъ собственными усиліями. Жаненъ, нѣкогда столь даровитый, а теперь столь пустой фельетонный крикунъ, горячо сражался противъ мертвой литературы имперіи еще прежде, чѣмъ написалъ свой романъ «Мертвый оселъ и гильойтинированная женщина». И этотъ союзъ искусства съ критикой со дня на день становится тѣснѣе и неразрывнѣе. Оттого теперь искусство становится мышленіемъ въ образахъ, а критика—искусствомъ.

Русская литература была не плодомъ развитія національнаго духа, а плодомъ реформы. Хотя Петръ Великій ничего не пи-

Digitized by Google

салъ и не издавалъ, подобно Екатеринѣ II, но тѣмъ не менѣе онъ такъ же творецъ русской литературы, какъ и творецъ русской цивилизаціи, русскаго просвѣщенія, русскаго величія и славы—словомъ, творецъ новой Россіи. Написать исторію русской литературы, не сказавъ ни слова о Петрѣ Великомъ,—это все равно, что написать о происхожденіи міра, не сказавъ ни слова о Творцѣ міра. Русь до Петра кипѣла дикими и нестройными силами: его всемощное «да будетъ!» водворило порядокъ и гармонію въ этомъ хаосѣ, дало боровшимся въ немъ элементамъ опредѣленную форму и указало имъ цѣль. Уже болѣе вѣка прошло послѣ смерти Великаго; но Русь все еще движется отъ него, слѣдовательно и черезъ него. Русь уже давно не та; Петръ не узналъ бы ея, еслибъ могъ взглянуть на нее изъ своего гроба. Русь уже не та, но и не другая. Такъ широколиственный дубъ совсѣмъ не то, что жолудь, изъ котораго онъ вышелъ; но онъ все же дубъ, а не береза и не другое дерево; все же онъ вышелъ изъ жолудя и безъ жолудя не могъ бы быть.

Реформа Петра вообще была искусственная, ибо совершилась не въ сферѣ русской жизни и не ея собственными средствами, а постороннимъ посредствомъ чуждой ей жизни. Однакожъ это можетъ не нравиться только раскольникамъ и старовѣрамъ; въ глазахъ же людей, умѣющихъ проникать въ глубь явленій, это-то самое и свидѣтельствуетъ о колоссальности генія творца новой Россіи. Правда, можно много остраго и забавнаго наговорить напримѣръ о русскихъ мужикахъ, вдругъ, экспромптомъ, превращенныхъ въ подобіе цесарскихъ и прусскихъ солдатъ, съ выбритыми бородами, съ пучками на затылкахъ, въ смѣшныхъ мундирахъ XVII вѣка,—объ этихъ солдатахъ, которые съ трудомъ заучивали на память нѣмецкую военную терминологію, мудреные нѣмецкіе чины и званія; сверхъ того нарвская битва могла служить прекраснымъ фактомъ противъ преобразованій, но зато битва подъ Лѣснымъ заставляетъ разумниковъ призадуматься, смѣшаться, прикусить язычокъ, какъ выразительно говорится по-русски; а полтавская битва лучше всякихъ доказательствъ, теоретическихъ и философскихъ, доказываетъ, что у генія своя логика, свой здравый смыслъ, свое ясновидѣніе дѣйствительности, которые чѣмъ менѣе подходятъ подъ сужденія толпы, тѣмъ истиннѣе и дѣйствительнѣе. Реформа повидимому чисто внѣшняя, повидимому состоявшая только въ формахъ, могла казаться странной не только для русскихъ, бывшихъ ея жертвой, но и для тогдашней Европы; теорія и практика, умозрѣніе и опытъ—все повидимому было противъ нея. Несчастное нарвское дѣло походило на порывъ урагана, сдувшій со стола карточный домикъ; оно всѣхъ убѣдило въ невозможности улучшеній,—всѣхъ, кромѣ самого реформатора. Но подъ Лѣснымъ обстоятельства перемѣняются, и для непріятеля настаетъ прологъ трагедіи, а при Полтавѣ разыгралась и самая трагедія.

Такимъ же точно образомъ много умнаго и остроумнаго можно наговорить о новыхъ гражданскихъ литерахъ, которымъ нечего было выражать собой; о заведенныхъ имъ типографіяхъ, которымъ нечего было печатать; о высшихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ, когда еще негдѣ было учиться грамотѣ; о проектѣ Академіи Наукъ, когда еще не было приходскихъ и уѣздныхъ училищъ; словомъ, обо всемъ этомъ неестественномъ развитіи сверху внизъ, не снизу вверхъ, съ крыши къ фундаменту, не съ фундамента къ крышѣ. А между тѣмъ это-то и положило прочное основаніе русскому просвѣщенію, ибо прежде всего дало учителей, безъ которыхъ ученики не могутъ учиться. Каково бы ни было наше просвѣщеніе, на какой бы ступени ни стояло оно и теперь, но надо быть слѣпымъ, чтобъ не видѣть, что оно все развивается, все идетъ впередъ. Иначе, какъ бы могли у насъ являться и полководцы, и моряки, и инженеры, и врачи, и математики? Давно ли было время, когда безъ иностранцевъ мы не въ состояніи были сдѣлать шагу? А теперь мы нуждаемся въ Европѣ, но уже не въ иностранцахъ; намъ надо слѣдить за успѣхами въ Европѣ наукъ, искусствъ и промышленности, но не выписывать оттуда людей для заведенія того и другого и третьяго, какъ было прежде. Если же мы и теперь иногда нуждаемся въ иностранцахъ и приглашаемъ ихъ къ себѣ, то такіе случаи уже кажутся теперь исключеніями изъ общаго правила.

Не менѣе дѣльнаго, умнаго и остраго можно наговорить (да и было уже довольно наговорено) о русской литературѣ, возникшей не изъ потребностей общества, а изъ слѣпого подражанія иностраннымъ литературамъ. И чего бы въ самомъ дѣлѣ можно было ожидать отъ этого сколка, списка, отъ этой копіи съ чужихъ образцовъ, отъ этого мертваго, бездушнаго, слѣпого подражанія и передразниванія чужихъ мыслей и чужихъ формъ? А между тѣмъ мы гордимся именами (конечно еще не многими) національныхъ и самостоятельныхъ поэтовъ—Крылова, Пушкина, Грибоѣдова, Гоголя, Лермонтова... А между тѣмъ наша литература имѣла на общество великое и благодѣтельное вліяніе, какъ живой источ-

Digitized by Google

никъ гуманическаго, человѣчественнаго образованія...

Странное дѣло! какъ же такія живыя слѣдствія могли выйти изъ такой мертвой, чисто внѣшней, отвлеченно-формальной реформы? Здѣсь въ томъ-то и дѣло, что только близорукіе, ограниченные люди, да развѣ еще раскольники и старовѣры, поборники ложно-понимаемой народности и дикаго невѣжества, могутъ видѣть въ реформѣ Петра одно внѣшнее и формальное. Люди мыслящіе, способные проникать взоромъ своего разума въ сокровенную глубь вещей, очень хорошо видятъ, что Петръ старался не объ одномъ внѣшнемъ европеизмѣ, что онъ былъ столько же духовнымъ, сколько и матеріальнымъ реформаторомъ. Его великій, зиждительный духъ былъ источникомъ его преобразовательной дѣятельности,—онъ началъ реформу прежде всего съ себя самого. Неумолимый къ другимъ, онъ былъ еще безпощаднѣе къ самому себѣ. Поставивъ идею правосудія выше личнаго произвола, онъ готовъ былъ бы самого себя отдать подъ уголовный судъ, еслибъ могъ умышленно поступить неправо въ дѣлѣ государственной правды. Поставивъ идею государства выше личнаго значенія, онъ бодро и неуклонно прошелъ длинную и тяжкую лѣствицу чиноначалія, былъ солдатомъ, юнгой, и съ такой страстью подчинялся повиновенію, съ какой въ его возрастъ предаются обаянію властвованія. Счастью Россіи, ея будущности принесъ онъ въ жертву своего сына, говоря, что лучше чужой да достойный, чѣмъ свой недостойный... Онъ искушалъ своихъ сановниковъ, прося у нихъ себѣ мѣсто, слѣдовавшее достойнѣйшему его по службѣ, и сказалъ, что благо имъ, отказавшимъ ему въ просьбѣ... Говоря о Петрѣ, многіе видятъ въ немъ больше реформатора и забываютъ колоссально-нравственный и религіозный духъ, котораго вся жизнь была страстнымъ служеніемъ идеѣ. А паѳосъ къ идеѣ есть живой источникъ, изъ котораго не могутъ не вытекать живые результаты. Если Петръ былъ только необыкновенно умный человѣкъ, только политическій, а не религіозно-нравственный дѣйствователь, его реформа не имѣла бы такихъ великихъ слѣдствій. Глубокое религіозно-нравственное начало, составлявшее основу его духа, въ соединеніи съ исполинской геніальностью,—вотъ что оплодотворило и оживило реформу Петра, дало ей силу, прочность и жизненность... Но объ этомъ можно было бы написать цѣлую книгу; здѣсь мы говоримъ только вскользь, какъ о предметѣ, который имѣетъ отношеніе къ главной мысли нашей статьи и не составляетъ ея прямого содержанія. Обращаемся къ русской литературѣ, чтобъ отъ нея перейти къ русской критикѣ.

Русская литература началась такъ-же, какъ и русская цивилизація—подражаніемъ, слѣпымъ усвоеніемъ формъ. Подобно цивилизаціи, ея движеніе и развитіе состояли въ стремленіи къ самобытности и національности, и каждый успѣхъ ея былъ шагомъ къ этой цѣли. Русская поэзія сперва проблеснула въ басняхъ Крылова, которыхъ форма была заимствованная и подражательная, но въ которыхъ, несмотря на то, русскій языкъ и русскій практическій умъ нашли средство развернуться широко, свободно и непринужденно. Но басня есть только родъ поэзіи, и притомъ созданный XVIII вѣкомъ, а не самая поэзія. Русская поэзія началась собственно съ Пушкина. Утверждая это, мы нисколько не думаемъ унижать блестящіе таланты, предшествовавшіе нашему поэтическому Протею. Безъ нихъ не было бы и его, или по крайней мѣрѣ онъ былъ бы далеко не тѣмъ, чѣмъ былъ. Каждый изъ этихъ талантовъ былъ для нашей литературы шагомъ впередъ; и неполнота ихъ успѣха заключалась не въ слабости дарованія, а въ незрѣлости общества, еще не могшаго выработать никакого содержанія для самобытной поэзіи. Пушкинъ былъ первый русскій поэтъ въ смыслѣ художника. Природная поэтическая сила Державина выше поэтической силы напримѣръ Батюшкова; но, какъ художникъ, Батюшковъ несравненно выше Державина. Державинъ, этотъ богатырь русской поэзіи, былъ связанъ духомъ своего времени, которое понимало поэзію не иначе, какъ торжественной одой на какой бы то ни было случай—на побѣду или просто на иллюминацію, и которое было увѣрено, что поэзія «сладостна и пріятна, какъ лѣтомъ вкусный лимонадъ». Оно требовало отъ поэзіи высокопарности—и больше ничего; оно исключало изъ нея это внутреннее, субъективное начало, которое впослѣдствіи господствовало въ русской поэзіи подъ неопредѣленнымъ именемъ элегическаго тона, и безъ котораго нѣтъ истинной поэзіи. Душа Державина была поэтическая и уже по этому самому не чуждая этого внутренняго, субъективнаго, задушевнаго и сердечнаго начала; и оно у него часто проторгалось, но какъ бы противъ его воли, ибо, по духу своего времени, онъ не давалъ ему воли и простора, стараясь постоянно держаться въ напряженной торжественности. Прибавьте къ этому, что въ его время языкъ русскій былъ крайне необработанъ, вращался въ тяжелыхъ славяно-латинскихъ формахъ, въ которыя заковалъ его Ломоносовъ; о гармоніи и пластикѣ, словомъ, виртуозно-

Digitized by Google

сти стиха никто тогда не имѣлъ и малѣйшаго понятія; усѣченія прилагательныхъ, коверканіе словъ, какофонія реченій были узаконены самой піитикой того времени подъ именемъ «піитическихъ вольностей». И вотъ почему Державинъ, будучи столь великимъ явленіемъ въ исторіи русской поэзіи и литературы, мертвъ для современнаго общества; поэзія же его стала теперь предметомъ изученія записныхъ литераторовъ, а не предметомъ наслажденія для общества, которое какъ бы едва знаетъ о Державинѣ, и то изъ піитикъ, по которымъ когда-то училось въ лѣта своего дѣтства. Есть люди, которые, даже не читая Державина, почитаютъ такой взглядъ на него оскорбленіемъ его имени и чести русской литературы. Но неужели и въ самомъ дѣлѣ значитъ унижать Державина, говоря, что его огромный талантъ явился въ неблагопріятное для развитія время? Не думаемъ! И неужели можно унизить великаго человѣка, поставивъ его въ историческую зависимость отъ времени, отъ которой не освобождался ни одинъ геній съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ міръ? Едва ли!... Державинъ—великій талантъ для всякаго времени; но великій поэтъ онъ — только для своего времени; а для нашего — едва ли онъ какой-нибудь поэтъ, потому что для насъ мертвы и идеальные мотивы, и самая форма его поэзіи. Это уже не наша вина, да и не его конечно. И мы не винимъ его, а только судимъ о немъ; пусть же судятъ и насъ, а не дѣлаютъ безъ вины виноватыми.—Жуковскій внесъ въ русскую поэзію именно тотъ самый элементъ, котораго недоставало поэзіи Державина: мечтательная грусть, унылая мелодія, задушевность и сердечность, фантастическая настроенность духа, безвыходно погруженнаго въ самомъ себѣ,—вотъ преобладающій характеръ поэзіи Жуковскаго, составляющій и ея непобѣдимую прелесть, и ея недостатокъ, какъ всякой неполноты и всякой односторонности. Жуковскій діаметрально противоположенъ Державину,—и хотя содержаніе и тонъ поэзіи Жуковскаго суть экзотическія растенія въ отношеніи къ русской поэзіи, переселенцы съ чуждой почвы, изъ-подъ чуждаго неба, однако, вопреки толкамъ и крикамъ поборниковъ народности въ поэзіи, Жуковскій—поэтъ не одной своей эпохи: его стихотворенія всегда будутъ находить отзывъ въ юныхъ поколѣніяхъ, приготовляющихся къ жизни и еще только мечтающихъ о жизни, но не знающихъ ея. Не можемъ сказать, способствовало ли какое-нибудь внѣшнее обстоятельство къ обращенію юнаго Жуковскаго, еще ученика въ Благородномъ Пансіонѣ при Московскомъ университетѣ, къ нѣмецкой и англійской поэзіи; но во всякомъ случаѣ духъ времени былъ главной причиной этого обращенія. Псевдо-классическая поэзія Франціи XVII и XVIII вѣковъ уже не могла безусловно нравиться юному поколѣнію XIX вѣка, и оно должно было искать другихъ источниковъ эстетическаго наслажденіе. Нѣмецкая литература тогда уже дѣлалась извѣстной самой Франціи; въ Россіи она могла плѣнять только немногихъ юношей, знакомыхъ съ ея языкомъ. Не знаемъ, къ сожалѣнію, когда написана Державинымъ его передѣлка одной Шиллеровой пьесы (вѣроятно съ французскаго перевода или подражанія), названная имъ «Арфой»; не знаемъ также и времени передѣлки извѣстной пьесы Гёте Дмитріевымъ (тоже, должно быть, съ французскаго перевода или подражанія), названной имъ «Размышленіемъ по случаю грома»,—знакъ, что темные слухи о Шиллерѣ и Гёте доходили еще и до патріарховъ нашей поэзіи, и что въ лицѣ Жуковскаго, съ малолѣтства знакомаго съ нѣмецкимъ языкомъ, наша литература сдѣлала естественный шагъ впередъ, обратившись къ новому и болѣе жизненному источнику питанія — къ нѣмецкой поэзіи. Что же касается до англійской литературы, съ нею наша была знакома еще до Жуковскаго; самъ Карамзинъ писалъ о ней въ своемъ путешествіи, даже перевелъ монологъ Лира во время бури и отрывокъ изъ «Оссіана»; но о Шекспирѣ, несмотря на то, знали черезъ французовъ, какъ о варварѣ, и почетными именами англійской литературы считались Попъ, Аддиссонъ, Драйденъ, Томсонъ, Грей, Юнгъ, Мильтонъ, Фильдингъ, Ричардсонъ, Стернъ. Жуковскій первый перевелъ своимъ крѣпкимъ и звучнымъ стихомъ нѣсколько (впрочемъ очень мало) англійскихъ балладъ и написалъ въ ихъ духѣ свою «Эоловую арфу», чѣмъ вѣрно передалъ романтическій характеръ англійской поэзіи. Когда уже англійская поэзія сдѣлалась знакома русской публикѣ и черезъ журнальные толки и прозаическіе переводы,—Жуковскій далъ бо́льшую прочность и дѣйствительность этому знакомству своими переводами изъ Вальтеръ-Скотта, Байрона, Мура, Соути и пр. Это оригинальное (уже по одному тому, что новое) направленіе, эта обаятельная сила и богатство содержанія, заимствованныя Жуковскимъ у его нѣмецкихъ и англійскихъ образцовъ, поставили его на высокую чреду между русскими поэтами, какъ самобытнаго поэта, а не переводчика. Прибавьте къ этому неизмѣримое пространство, раздѣляющее языкъ и стихъ Жуковскаго отъ языка и стиха Державина. Причина этого явленія заключается

Digitized by Google

не въ одной силѣ превосходнаго таланта пѣвца Минваны, но и въ историческомъ развитіи русской литературы: между Державинымъ и Жуковскимъ стоятъ Карамзинъ и Дмитріевъ, которымъ такъ много обязанъ русскій языкъ и русская версификація. Батюшковъ внесъ въ русскую поэзію совершенно новый для нея элементъ: античную художественность, которой, кромѣ его, были чужды всѣ наши поэты—до Пушкина. Душа Батюшкова была по преимуществу артистическая. Онъ сочувствовалъ древнимъ, превосходно перевелъ нѣсколько антологическихъ пьесъ, любилъ образовательныя искусства, съ страстью писалъ о живописи. Преобладающій паѳосъ его поэзіи — артистическая жажда наслажденія прекраснымъ, идеальный эпикуреизмъ: но эта жажда часто растворяется у него кроткой меланхоліей, легкой и свѣтлой грустью. И потому мечтательность у него замѣняется задумчивостью, фантазмъ — радужными образами фантазіи; читая его, вы чувствуете себя на почвѣ дѣйствительности и въ сферѣ дѣйствительности. Кажется, какъ-будто въ граціозныхъ созданіяхъ Батюшкова русская поэзія хотѣла явить первый результатъ своего развитія примиреніемъ дѣйствительнаго, но односторонняго направленія Державина съ односторонне-мечтательнымъ направленіемъ Жуковскаго. Этотъ рѣзультатъ не былъ удовлетворителенъ, потому ли, что талантъ Батюшкова не былъ для этого довольно могучъ, глубокъ и многостороненъ, или потому, что онъ слишкомъ увлекался вліяніемъ французской литературы XVIII вѣка и болѣе любилъ и зналъ итальянскую, чѣмъ нѣмецкую и англійскую словесность, хорошо былъ знакомъ съ латинской и, кажется, не зналъ греческой поэзіи. По той или другой причинѣ или по обѣимъ вмѣстѣ, но въ Батюшковѣ есть что-то неполное, недоконченное; идеи его не глубоки, содержаніе его поэзіи вообще бѣдно; самый языкъ обилуетъ усѣченіями и вольностями, а художественность часто борется съ риторикой. Батюшкову дѣйствительно не доставало геніальности, чтобъ освободиться изъподъ вліянія своей эпохи. Несчастная болѣзнь парализировала его талантъ и дѣятельность именно передъ тѣмъ временемъ, когда на небосклонѣ русской поэзіи взошло ея великое свѣтило, которое не могло бы не имѣть на него сильнаго и благодѣтельнаго вліянія... Мы говоримъ о Пушкинѣ, поэзія котораго была повершеніемъ всѣхъ усилій, достиженіемъ всѣхъ стремленій, плодомъ и результатомъ всего искусственнаго развитія русской поэзіи. Да, Пушкинъ—первый, даже и по времени, поэтъ русскій: ибо все, что въ предшествовавшихъ ему поэтахъ было или отдѣльными силами, или односторонними элементами, или только усиліемъ, или стремленіемъ,—въ немъ явилось какъ разрѣшенная загадка, какъ уже обрѣтенное слово, какъ исполненіе, какъ единство, полнота и цѣлость разнообразнаго и многосторонняго. Въ Державинѣ часто проблескиваетъ русская натура, русская душа: Пушкинъ вездѣ и во всемъ національно-русскій поэтъ. Паренiе, возвышенность, сила,—все, что у Державина вспыхиваетъ по временамъ, часто заливаемое тотчасъ же прѣсной водой риторики, у Пушкина горитъ свѣтлымъ, чистымъ и ровнымъ пламенемъ безъ треска, дыма и чада. Грусть составляетъ одинъ изъ основныхъ звуковъ въ аккордѣ поэзіи Пушкина, и потому она придаетъ ей задушевность, сердечность, мягкость, влажность (если можно такъ выразиться, говоря о противоположномъ сухости качествѣ), а не преобладаетъ надъ ней: это грусть души великой, знающей свою силу; въ ней нѣтъ ничего общаго съ унынiемъ—болѣзнію слабыхъ душъ. Кромѣ того, въ грусти Пушкина такъ много русскаго, того самаго, что такъ сильно овладѣваетъ душой въ протяжной и разгульной русской пѣсни. И такъ какъ эта грусть составляетъ только одинъ звукъ въ аккордѣ поэзіи Пушкина, а не цѣлый аккордъ,—то поэзія Пушкина и чужда всякой монотонности, всякой односторонности. Фантастическое иногда является и въ поэзіи Пушкина, но оно у него естественно, такъ какъ бываетъ въ самой дѣйствительности: вспомните сонъ Татьяны, балладу «Женихъ». Что же касается до фантазма, его нѣтъ и признаковъ въ поэзіи Пушкина: душа Пушкина была такъ крѣпка и здорова, что не могла подчиниться этому болѣзненному направленію. А между тѣмъ хотя и трудно показать слѣды вліянія Жуковскаго на Пушкина (ибо почва и сфера поэзіи послѣдняго слишкомъ дѣйствительны и чужды всего отвлеченнаго, туманнаго и неопредѣленнаго), однакожъ нельзя отрицать, чтобъ Жуковскій не имѣлъ вліянія на Пушкина, когда онъ самъ называетъ его «наставникомъ, пѣстуномъ и хранителемъ своей вѣтреной музы». Не менѣе, если еще не болѣе, любилъ Пушкинъ сладостные стихи Батюшкова: вліяніе этой любви ярко замѣтно на первыхъ произведеніяхъ Пушкина. И не могло быть иначе: Пушкинъ былъ по преимуществу артистическая натура; слѣдовательно Батюшковъ былъ ему родственнѣе всѣхъ другихъ русскихъ поэтовъ. Но что такое стихъ Батюшкова, пластика и виртуозность его поэзіи передъ стихомъ, пластикой и виртуозностью поэзіи Пушкина! Какъ поэзія Батюшкова, поэзія Пушкина вся основана

Digitized by Google

на дѣйствительности; но какая же безконечная разница въ объемѣ, глубокости и значеніи той и другой поэзіи! Ужъ нечего и говорить о томъ, что поэзія Батюшкова чужда національности, тогда какъ поэзія Пушкина по преимуществу русская. Все, что̀ прежніе поэты имѣли каждый порознь, все это Пушкинъ имѣлъ одинъ, имѣя еще много и своего, чего ни одинъ изъ нихъ не имѣлъ; всѣмъ, что̀ обладало прежними поэтами,—всѣмъ этимъ спокойно владѣлъ Пушкинъ. Вотъ почему мы отъ него ведемъ русскую поэзію и называемъ его первымъ русскимъ поэтомъ. Это совсѣмъ не значитъ, чтобъ до него не было поэтовъ, и притомъ еще достойныхъ вниманія, уваженія, любви, извѣстности и славы; но значитъ только, что въ нихъ выразились постепенныя усилія русской поэзіи, начиная отъ Кантемира и Ломоносова,—изъ искусственной и подражательной сдѣлаться естественной и самобытной, стремленіе изъ книжной сдѣлаться живой, общественной, сблизиться съ жизнью и обществомъ; а въ Пушкинѣ выразились торжество и побѣда этихъ усилій и стремленій. Пушкинъ—художникъ въ полномъ значеніи этого слова; это его преобладающее значеніе, его высочайшее достоинство и можетъ быть его недостатокъ, вслѣдствіе котораго онъ чѣмъ болѣе становился художникомъ, тѣмъ болѣе отклонялся отъ современной жизни и ея интересовъ и принималъ аскетическое направленіе, наконецъ охолодившее къ нему общество, которое дотолѣ безусловно обожало его. Кажется, въ этой натурѣ не было капли прозаической крови, но все былъ чистый огонь поэзіи. Къ чему ни прикасался онъ—всему давалъ поэтическіе образы, полные жизни и очарованія, всему, даже самымъ уже по существу своему прозаическимъ предметамъ. Его стихъ —это скульптура, живопись и музыка вмѣстѣ. Къ нему безусловно можно приложить его же собственные стихи объ Овидіи:

Имѣлъ онъ пѣсенъ дивный дáръ
И голосъ, шуму водъ подобный...

Никто такъ не былъ связанъ исторически съ преданіями русской литературы, какъ Пушкинъ. Онъ изучилъ старинныхъ писателей, которыхъ теперь никто не читаетъ; онъ бралъ эпиграфы изъ Хераскова и Княжнина. Изъ лицейскихъ его стихотвореній (за напечатаніе которыхъ нельзя довольно возблагодарить издателей трехъ послѣднихъ томовъ его сочиненій) видно, что онъ былъ ученикъ не только Державина, Дмитріева, Жуковскаго и Батюшкова, но и дяди своего В. Пушкина,—и первые дѣтскіе опыты его являютъ въ немъ стихотворца первыхъ го́довъ текущаго столѣтія, хотя онъ родился только въ послѣдній годъ прошлаго. Особенно любопытны и поучительны тѣ изъ его лицейскихъ пьесъ, которыя онъ потомъ передѣлалъ: какое искусство иногда однимъ словомъ, однимъ эпитетомъ передѣлать стихъ такъ, что его не узнаешь. Какой тонкій художественный тактъ въ знаніи того, что̀ можно оставить безъ перемѣны, что̀ надо переправить и изъ чего нельзя ничего сдѣлать! Удивительно ли, что этотъ человѣкъ какъ-будто перестроилъ вновь и языкъ, и версификацію, съ такимъ успѣхомъ уже перестроенные Карамзинымъ и Дмитріевымъ, Жуковскимъ и Батюшковымъ! Стихъ Пушкина — это вѣковѣчный образецъ, неумирающій типъ русскаго стиха: не было и не будетъ лучшаго. Искусство какъ искусство, поэзія какъ поэзія на Руси—это дѣло Пушкина. Безъ него не было бы у насъ поэзіи; и это потому, что онъ былъ слишкомъ поэтъ, слишкомъ художникъ, можетъ быть въ ущербъ своей великости въ другихъ значеніяхъ. И вотъ почему—повторяемъ—отъ него ведемъ мы русскую поэзію и называемъ его первымъ, даже по времени, русскимъ поэтомъ...

Такъ думаемъ мы о развитіи русской поэзіи и русской литературы: ея исторія, по нашему мнѣнію, есть исторія ея усилій отъ искусственности и подражательности перейти къ естественности и самобытности, изъ книжной сдѣлаться живой и общественной. Это продолжается и теперь, но уже въ другой сферѣ—въ сферѣ «возведенія въ перлъ сознанія прозы жизни». И скоро наступитъ время, когда совсѣмъ рѣшится эта задача и кончится эта работа. Уже и теперь замѣтно новое требованіе отъ искусства,—требованіе разумнаго содержанія, которое соотвѣтствовало бы историческому духу современности. И уже явился было на Руси новый великій поэтъ, въ первыхъ, еще юныхъ и незрѣлыхъ произведеніяхъ котораго проглядывали полнота и богатство глубокаго содержанія, при художественности формы, достойной преемника Пушкина; но преждевременная смерть внезапно рушила надежды, которымъ не было конца и мѣры...

Прекрасное погибло въ пышномъ цвѣтѣ:
Таковъ удѣлъ прекраснаго на свѣтѣ!

Таковъ въ особенности, прибавимъ мы, удѣлъ замѣчательнѣйшихъ русскихъ талантовъ...

Повторяемъ: такъ думаемъ мы о развитіи русской поэзіи и литературы, и такъ многіе могутъ теперь думать объ этомъ предметѣ. Въ этомъ случаѣ мы дали нашимъ читателямъ фактъ объ одной сторонѣ современной рус-

Digitized by Google

ской критики. Дай Богъ, чтобъ это была сторона свѣтлая! Что же до темной, — ея грустной картиной мы заключимъ нашу статью... Теперь же перескажемъ, какъ думали современники о фазисахъ русской литературы, которые мы слегка означили. Это будетъ исторіей русской критики.

Исторія русской критики та же, что́ и исторія русской поэзіи и литературы: постепенное стремленіе изъ эха господствующихъ въ Европѣ мнѣній перейти въ самобытный взглядъ на искусство. Поэтому русская критика также носитъ въ себѣ элементы всевозможныхъ чужихъ національностей, какъ и русская поэзія. Прежде, а отчасти и теперь, это съ одной стороны можно ставить ей въ недостатокъ; но со временемъ изъ этого недостатка выйдутъ великія слѣдствія. Мы уже и теперь не можемъ удовлетворяться ни одной изъ европейскихъ критикъ, замѣчая въ каждой изъ нихъ какую-то односторонность и исключительность. И мы уже имѣемъ нѣкоторое право думать, что въ нашей сольются и примирятся всѣ эти односторонности въ многостороннее, органическое (а не пошлое эклектическое) единство. Можетъ быть и назначеніе нашего отечества, нашей великой Руси состоитъ въ томъ, чтобъ слить въ себѣ всѣ элементы всемірно-историческаго развитія, доселѣ исключительно являвшагося только въ западной Европѣ. На этомъ условіи, на обѣщаніи этой великой будущности наша скромная роль учениковъ, подражателей и перенимателей не должна казаться ни слишкомъ смиренной, ни слишкомъ незавидной... На томъ же основаніи не будемъ отчаяваться и за нашу критику, видя, что она часто бросается изъ крайности въ крайность и является то чопорнымъ аббатомъ XVIII вѣка, то нѣмецкимъ буршемъ съ длинными растрепанными волосами на плечахъ, съ трубкою во рту и дубиной въ рукѣ, то неистовый вакханкой юной французской литературы, съ восторженной рѣчью, блуждающими взорами, бѣшеными движеніями; не будемъ отчаяваться, видя ее въ разноцвѣтной мантіи, сшитой изъ разныхъ лоскутковъ... Лучше порадуемся, что въ ней есть жизнь и движеніе, что она кипитъ и пѣнится... Дайте время, она отстоится... Пока не установилось еще искусство, критика не можетъ быть готова: нашей въ особенности много еще нужно фактовъ, много опытности, чтобъ возмужать, окрѣпнуть и получить собственную, оригинальную физіономію...

Сначала у насъ самовластно царила критика французская. Украшенное подражаніе природѣ: вотъ начало, прежде всего усвоенное отъ французовъ XVIII вѣка нашей критикой; отъ себя прибавила она къ нему своего собственнаго—искаженный языкъ, тяжелый и шероховатый стихъ и «піитическія вольности». Все это дѣлалось во имя господина Буало, который весьма бы удивился, еслибъ могъ узнать, какъ у насъ проказили во имя его. Впрочемъ и у насъ были люди, болѣе или менѣе понявшіе глубоко французскую теорію искусства, какова бы она ни была. Изъ нихъ всѣхъ примѣчательнѣе Мерзляковъ; но о немъ мы еще будемъ говорить въ своемъ мѣстѣ, а теперь начнемъ съ начала.

Первый свѣтскій поэтъ на Руси былъ Кантемиръ — сатирикъ. Какъ литература искусственная и подражательная, русская литература не могла начаться съ другого какого-либо рода поэзіи, кромѣ сатиры. Причина этого сверхъ того заключалась и въ историческомъ положеніи русскаго общества. Борьба внѣшняго, формально принимаемаго европеизма съ роднымъ, вѣками взлелѣяннымъ, азіатскимъ варварствомъ не могла не вызвать сатиры. Вслѣдствіе этого сатирическое направленіе Кантемира не было ни случайно, ни вредно, но было необходимо и чрезвычайно полезно. Оттого оно и укоренилось въ нашей литературѣ. Отсюда же можно объяснить, почему Сумароковъ въ массѣ общества имѣлъ гораздо большій успѣхъ, чѣмъ Ломоносовъ—человѣкъ неизмѣримо высшій Сумарокова. Направленіе перваго было болѣе ученое и книжное, а второго—болѣе жизненное и общественное. Сумароковъ, желая быть «россійскимъ господиномъ Вольтеромъ», писалъ во всѣхъ родахъ; онъ же былъ и первымъ русскимъ критикомъ, ибо первый, такъ или сякъ, выражалъ печатно свои понятія объ искусствѣ и литературѣ. Это онъ сдѣлалъ въ предисловіи къ своему «Димитрію Самозванцу» и въ отдѣльныхъ журнальныхъ статьяхъ, ибо Сумароковъ былъ и журналистомъ —издавалъ «Трудолюбивую Пчелу»... О чемъ не писало, т. е. о чемъ не высказывало своего мнѣнія живое, раздражительное, безпокойное самолюбіе этого человѣка! Перелистывать, отъ нечего дѣлать, его прозаическія статьи—истинное наслажденіе: столько въ нихъ добродушнаго, наивнаго, вѣющаго духомъ того давно прошедшаго для насъ времени, давно умершаго общества! Прозаическія статьи Сумарокова столь же интересны и забавны, сколько скучны и тяжелы его вздорныя трагедіи. Самую интересную сторону литературной дѣятельности Сумарокова составляетъ ея полемическое направленіе, источникомъ котораго былъ его раздражительно - самолюбивый характеръ, все относившій къ себѣ и все выводившій изъ себя. Это самое и заставляло его хва-

Digitized by Google

таться за все. Онъ рѣшительно почиталъ себя «россійскимъ господиномъ Вольтеромъ», и кромѣ себя и господина Вольтера никого не хотѣлъ знать, ничьего не признавалъ авторитета. Онъ писалъ къ нему о разныхъ литературныхъ предметахъ и, получая лестные отвѣты со стороны фернейскаго оракула XVIII вѣка, еще болѣе увѣрялся въ своемъ геніи и своей всеобъемлемости.

Годы и здравый смыслъ давно уже произнесли свой судъ надъ поэтическими произведеніями Сумарокова: ихъ теперь невозможно читать, несмотря на то, что современники ими восхищались. Однакожъ никакъ нельзя презирать и судомъ современниковъ, обязаннымъ сочиненіямъ Сумарокова своей грамотностью и—что̀ особенно важно—своей наклонностью къ благородному наслажденію чтеніемъ и театромъ. Слѣдовательно поэтическія сочиненія Сумарокова, и не будучи читаемы, должны остаться навсегда фактомъ исторіи русской литературы и образованія русскаго общества. Что же касается до собственно литературныхъ статей Сумарокова, онѣ чрезвычайно интересны и для нашего времени, какъ живой отголосокъ давно прошедшей для насъ эпохи, одной изъ интереснѣйшихъ эпохъ русскаго общества. Сумароковъ обо всемъ судилъ, обо всемъ высказывалъ свое мнѣніе, которое было мнѣніемъ образованнѣйшихъ и умнѣйшихъ людей того времени. Плохой поэтъ, но порядочный по своему времени стихотворецъ, характеръ мелкій, завистливый, хвастливый, задорный и раздражительный, — Сумароковъ все - таки былъ человѣкъ умный и притомъ высокообразованный въ духѣ того времени. И потому въ его прозаическихъ статьяхъ много фактовъ о состояніи общества и духѣ его эпохи. Въ нихъ онъ является критикомъ въ многостороннемъ значеніи этого слова, какъ судья не только искусства и литературы, но и мнѣній и нравовъ современнаго ему общества. Поэтому, говоря о русской критикѣ, мы никакъ не могли обойти перваго (по времени) ея представителя—Сумарокова. Мы должны взглянуть, хотя мимоходомъ, на тѣ изъ его сочиненій, гдѣ онъ является критикомъ и полемическимъ мыслителемъ. И мы увѣрены, что послѣ нашихъ указаній многіе захотятъ покороче познакомиться съ прозаическими сочиненіями Сумарокова и пожалѣютъ, что они изданы Новиковымъ безъ толку, безъ плана, съ страшными опечатками и искаженіями смысла, безъ примѣчаній, и что теперь некому издать всѣхъ сочиненій Сумарокова какъ слѣдуетъ, а главное—съ необходимыми поясненіями и примѣчаніями. Вообще надо замѣтить, что компактныя дешевыя изданія старинныхъ русскихъ писателей, игравшихъ въ глазахъ своихъ современниковъ болѣе или менѣе важную роль, были бы очень полезны для литераторовъ, которымъ необходимо знать основательно исторію отечественной литературы и роднаго языка. Въ царствованіе Екатерины было много пишущаго народа, и однако немногіе пользовались огромной извѣстностью,—знакъ, что въ нихъ было нѣчто соотвѣтствовавшее ихъ эпохѣ и удовлетворявшее ея требованіямъ. Пусть вкусъ эпохи бываетъ иногда ложенъ, но эпоха всегда важнѣе человѣка, и самыя заблужденія ея всегда представляютъ любопытный и поучительный фактъ для мыслителя. Смѣшно и жалко видѣть безплодныя усилія старичковъ прошлаго вѣка возстановить славу корифеевъ ихъ юности на-счетъ славы новыхъ талантовъ; смѣшно и жалко видѣть, какъ они силятся соблазнить новое поколѣніе умершей поэзіей прошедшаго; но въ то же время можно уважать имена тружениковъ, которые своими сочиненіями, каковы бы они ни были, размножали въ обществѣ число грамотныхъ людей, возбуждали въ немъ любовь къ благороднымъ наслажденіямъ и способствовали къ произведенію того, что̀ называется «публикой», и безъ чего невозможна никакая литература. Такимъ образомъ желательно было бы видѣть изданіе въ одинаковомъ форматѣ, компактное и дешевое, не только Ломоносова (старинныя и неопрятныя, притомъ и не совсѣмъ полныя изданія котораго составляютъ теперь библіографическую рѣдкость) или Державина (Смирдинское изданіе котораго такъ неудачно и такъ безполезно, ибо въ немъ пьесы расположены по родамъ, а не по времени ихъ явленія), или Фонвизина (который изданъ Салаевымъ довольно толковито, но безъ переводовъ этого писателя), или Озерова (котораго всѣ изданія уже устарѣли); но и Кантемира, и Тредьяковскаго, Поповскаго, Сумарокова, Хераскова, Муравьева, Петрова, Богдановича, Княжнина, Кострова, Плавильщикова, Ильина, Иванова, Макарова и другихъ; еще желательнѣе, чтобъ все это было издано съ примѣчаніями и поясненіями, какъ издаютъ своихъ старинныхъ писателей французы.

Мы обратимъ вниманіе только на тѣ статьи Сумарокова, въ которыхъ видны понятія того времени объ искусствѣ, или которыя при полемическомъ тонѣ характеризуютъ общество его времени. Первое мѣсто между такими статьями Сумарокова должно занимать его предисловіе къ «Димитрію Самозванцу». Тонъ этого предисловія самый полемическій и устремленъ противъ такъ называвшейся у насъ встарину «слезной комедіи», что̀ называлась въ Евро-

Digitized by Google

пѣ мелодрамой. Извѣстно, что мелодрамы были въ страшномъ гоненіи въ XVIII вѣкѣ, и тогдашніе судьи и теоретики искусства столько же не терпѣли ихъ, сколько любила ихъ та часть публики, которая цѣнила литературныя произведенія по мѣрѣ доставляемаго ими наслажденія, а не по піитикѣ Буало. Сумароковъ въ свою очередь не могъ не ненавидѣть ихъ, и одна изъ нихъ «Евгенія», переведенная какимъ-то московскимъ чиновникомъ, имѣла значительный успѣхъ на сценѣ, что́ еще болѣе возстановило противъ нея ревниваго ко всякому чужому успѣху Сумарокова. Въ его филиппикѣ противъ этой драмы высказывается и понятіе объ искусствѣ знатоковъ того времени, и нравы общества, и характеръ самого Сумарокова. Похвастившись письмомъ Вольтера, Сумароковъ оканчиваетъ свою филиппику слѣдующимъ разсмотрѣніемъ содержанія «Евгеніи»:

«Содержаніе сей слезной комедіи есть слѣдующее. Молодой, худо воспитанный и нечистосердечный графъ внѣ Лондона распалился красотой дочери нѣкоего небогатаго дворянина и велѣлъ своему слугѣ себя съ ней обвѣнчать; она обрюхатѣла, а онъ возвратился въ Лондонъ и, помолвивъ жениться на какой-то знатной дѣвицѣ, собирается на это сочетаніе; перьвая его супруга пріѣхала въ его домъ: свѣдала, что сожитель ея съ другой бракомъ сочетавается: бѣгаетъ растрепавъ волосы: она плачетъ, отецъ сердится: въ домѣ иной плачетъ, иной хохочетъ: наконецъ сожитель ея сей повѣса и обманщикъ достойный висѣлицы за поруганіе религіи и дворянской дочери, которую онъ плутовски обманулъ, обманываетъ другую невѣсту, знатную дѣвицу: входитъ изъ бездѣльства въ бездѣльство: отказываетъ невѣстѣ и, вдругъ перемѣнивъ свою систему, опять женится вторично на перьвой своей женѣ; но кто за такова гнуснаго человѣка поручится, что онъ на завтрѣ еще на комъ-нибудь не женится, ежели правительство и духовенство его не истребятъ. Сей мерзкой повѣса не слабости и заблужденію подверженъ, но безсовѣстности и злодѣянію.»

Изъ самаго этого изложенія видно, что пьеса «Евгенія» самая моральная: повѣса раскаявается и бракомъ заглаживаетъ свой проступокъ; но нашъ критикъ никакъ не хочетъ простить ему рукоплесканій московской публики и упорствуетъ видѣть въ немъ злодѣя.

Онъ даже ругнулъ порядкомъ и актрису за то, что она слишкомъ хорошо играла роль Евгеніи. Такіе критики не рѣдкость и въ наше время...

Выраженія: «Неужели Москва больше повѣритъ подъячему, нежели Вольтеру и мнѣ» и «А ежели ни Вольтеру, ни мнѣ кто въ этомъ повѣрить не захочетъ» и пр. показываютъ достаточно, какъ думалъ Сумароковъ о самомъ себѣ. Въ выходкахъ его самолюбія есть какая-то наивность и достолюбезность: это не столько наглое самохвальство, сколько теплая вѣра въ свою великость. Въ этомъ отношеніи особенно забавна его статья «Отвѣтъ на критику», которая начинается такъ: «Не надлежало бы мнѣ отвѣтствовать на сочиненную противъ меня г. Т. критику; ибо я въ ней кромѣ брани ничего не нашелъ; однако надо его потѣшить и что-нибудь на то написать, чтобъ онъ не подумалъ, что я его такъ много уничтожаю, что ужъ и отвѣчать не хочу». Вотъ нѣсколько возраженій Сумарокова на эту критику, хорошо характеризующихъ вообще критику того времени.

«Не дивлюсь, говоритъ онъ (авторъ критики), что поступка нашего автора безмѣрно сходствуетъ съ цвѣтомъ его волосовъ, съ движеніемъ очей, съ обращеніемъ языка и съ біеніемъ сердца». О какомъ онъ говоритъ біеніи сердца, того я не понимаю, въ протчемъ сія новомодная критика очень преславна!

«Не думаетъ ли онъ,—говоритъ онъ обо мнѣ, чего онъ самъ стоитъ, и что и каковъ тотъ, противъ котораго онъ какъ съ цѣпи спустилъ своевольную въ лихости свою музу?»—Думаю..!

«И хотя оды свойство, говоритъ онъ, по мнѣнію авторову, что она

Взлетаетъ къ небесамъ, свергается во адъ,
И мчася въ быстротѣ во всѣ края вселенны,
Врата и путь вездѣ имѣетъ отворенны.
(Вторая изъ двухъ моихъ епистолъ.)

Однако *де* сіе не значитъ, чтобъ ей соваться во всѣ стороны, какъ угорѣлой кошкѣ». Я какъ угорѣлая кошка не суюсь, а подлому изъясненію, *какъ угорѣлой кошкѣ*, кромѣ его сочиненій ни въ какой критикѣ мѣста не нахожу.

Говоритъ онъ о мнѣ моими стихами:

Нѣтъ тайны никакой безумственно писать.
Искусство, чтобъ свой слогъ неправно предлагать,
Чтобъ мнѣніе творца воображалось ясно
И рѣчи бы текли свободно и согласно
(Изъ второй изъ двухъ моихъ епистолъ.)

Я не знаю, къ кому сіи стихи, ко мнѣ или къ нему, больше приличествуютъ. Пѣсенка:

Поютъ птички
Со синички,
Хвостомъ машутъ и лисички.
Плюнь на скуку,
Морску суку,
Держись черней и знай штуку,

кажется мнѣ не лутче моихъ сочиненій.»

Изъ послѣдняго возраженія ясно видно, что? г. Т., написавшій на Сумарокова такую грозную критику, есть не кто иной, какъ профессоръ элоквенціи, а паче всего хитростей піитическихъ, безсмертный Василій Кирилловичъ Тредіаковскій.

«*Этотъ, эта, это,* вмѣсто *сей, сія, сіе*, почитаю я за вольность, что въ одѣ положить нельзя, а въ трагедіяхъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ полагать можно, ибо они слова не чужестранныя и непростонародныя: да я жъ кладу (употребляю) ихъ очень рѣдко.

Братіевъ, вмѣсто *братій*, есть вольность же, такъ же *слѣдствіевъ*, и протчее: а братіевъ есть и весьма вольность малая; ибо хотя *братій* и правильняе, нежели *братіевъ*; однако вмѣсто *бра-*

Digitized by Google

тіевъ сокращенно *братьевъ* еще употребительняе, нежели *братій: зѣло, зѣло братьевъ я здѣсь въ угодность его положилъ много.* А я употребленію съ такимъ же слѣдую раченіемъ, какъ и правиламъ: правильныя слова дѣлаютъ чистоту, а употребительныя слова изъ склада грубость выгоняютъ, напримѣръ: Я люблю сего, а ты любишь другова—есть правильно, но грубо. Я люблю этова, а ты другова.—Отъ употребленія и изгнанія трехъ слоговъ *го* и *таго* слышится пріятняе. Вотъ для чего я это дѣлаю, а не отъ незнанія, какъ гнѣваясь на меня г. Т. говоритъ изволитъ.

Кладетъ въ порокъ, что я пишу *опять* за *паки;* но приличнó ли положить въ ротъ дѣвицѣ семьнадцати лѣтъ, когда она въ крайней съ любовникомъ разговариваетъ страсти, между нѣжныхъ словъ *паки,* а *опять* слово совершенно употребительное, и ежели не писать *опять* за *паки,* такъ и *который, которая, которое* надобно отставить и вмѣсто того употреблять къ превеликому себѣ посмѣшеству не употребительныя нынѣ слова *иже, яже, еже,* которыя хорошо слышатся въ церковныхъ нашихъ книгахъ, и очень будутъ дурны не только въ любовныхъ, но и въ геройскихъ разговорахъ.»

Особенно замѣчательны въ этой антикритикѣ Сумарокова слѣдующія слова объ авторѣ критики, т. е. Тредіаковскомъ: «Меня онъ пуще всѣхъ не любитъ за нѣкоторые въ одной моей епистолѣ стихи и за комедію, которые онъ беретъ на свой счетъ. Пускай его беретъ, а я въ томъ, что не къ нему это сдѣлано, клясться причины не имѣю. Я то писалъ такъ, какъ вездѣ писать позволено, хотя бъ то и о немъ было; однако я не говорю, что то о немъ писалъ, можетъ-быть о немъ, а можетъ быть и не о немъ». Здѣсь дѣло идетъ о комедіи «Тресотиніусъ», въ которой подъ именемъ педанта Тресотиніуса дѣйствительно выведенъ Тредіаковскій и въ которой, какъ во всѣхъ комедіяхъ Сумарокова, нѣтъ ни нравовъ времени, ни характеровъ, ни комизма, ни остроумія, ни правдоподобія, ни здраваго смысла. Естественно, что Тредіаковскій особенно напалъ на комедію, въ которой увидѣлъ пасквиль на себя.

«Жестоко злобясь и браня меня, говоритъ онъ, что *Тресотиніусъ* мой изъ Гольберга. Какимъ же образомъ подъ именемъ Тресотиніуса находитъ онъ себя, ежели сія комедія взята изъ Гольберга; или онъ думаетъ, что у нихъ такой же русской незнающій педантъ былъ, какой подъ именемъ Тресотиніуса у меня представленъ. А капитанъ Брамарбасъ по характеру своему взятъ изъ Терентьева «Евнуха», который комикъ не только греческихъ комиковъ былъ подражателемъ, но почти переводчикомъ. Чтожъ имя Брамарбаса взято изъ Гольберга, и въ томъ онъ ошибается; ибо Гольберговъ офицеръ въ нѣмецкомъ переводѣ симъ названъ именемъ, а въ дацкомъ подлинникѣ онъ не Брамарбасомъ называется.

Хоревъ, говоритъ онъ, взятъ весь изъ Корнелія, Расина и Вольтера, а наипаче изъ Расиновой «Федры». Это неправда; а что есть въ ней подражанія, а стиховъ пять-шесть есть и переводныхъ, что я и укрывать не имѣлъ намѣренія; для того, что то ни мало не стыдно. Самъ Расинъ, сей великій стихотворецъ и преславный трагикъ, въ лутчія свои трагедіи взялъ подражаніемъ и переводомъ изъ Еврипида въ *Ифигенію*... стиховъ, *въ Федру*... стиховъ, чего ему никто не поставитъ въ слабость, да и ставить невозможно.

«Гамлетъ» мой, говоритъ онъ, не знаю отъ кого услышавъ, переведенъ съ французской прозы Аглинской Шекспировой Трагедіи, въ чемъ онъ очень ошибся. Гамлетъ мой, кромѣ монолога въ окончаніи третьяго дѣйствія и Клавдіева на колѣни паданія, на Шекспирову трагедію едва, едва походитъ.»

Кромѣ языка и тона, тутъ и весь кодексъ искусства и литературы того времени: взять цѣликомъ идею, сюжетъ чужого сочиненія, перевести цѣлыя мѣста изъ него,—это не считалось похищеніемъ и не умаляло цѣны произведенія. И такъ дѣлалось не у однихъ у насъ: французы нещадно обворовывали грековъ, римлянъ, англичанъ и испанцевъ, и изъ этого воровства не думали дѣлать тайны. Поэзія была сборомъ общихъ мѣстъ; ей можно было и учиться, и выучиваться; собственно талантъ, какъ даръ природы, составляло стихотворство, а не поэзія. Чтобъ писать стихи, особенно съ риѳмами, нужно, если не таланта, то способности по крайней мѣрѣ; чтобъ выдумать сюжетъ поэмы или драмы, нужно было только знать въ подлинникѣ или переводѣ произведенія иностранныхъ поэтовъ: бери цѣликомъ и копируй—это значило: «сочинять». Даже подражать рабски отечественнымъ писателямъ значило быть поэтомъ наравнѣ съ тѣми, которые въ состояніи были сами изобрѣтать. И въ смыслѣ поэзіи, какъ сбора общихъ мѣстъ, Сумароковъ былъ совсѣмъ не плохой поэтъ для своего времени, на которое поэтому онъ и не могъ не имѣть сильнаго вліянія. Онъ зналъ хорошо французскій и нѣмецкій языки, былъ хорошо воспитанъ и образованъ въ духѣ своего времени; и будь у него немного побольше вкуса, немного поменьше самолюбія, да владѣй онъ русскимъ языкомъ хоть такъ хорошо, какъ владѣлъ имъ Ломоносовъ,—то, при своемъ жизненномъ и общественномъ направленіи, онъ рѣшительно затмилъ бы всѣхъ писателей своего времени и былъ бы въ отношеніи къ этому времени дѣйствительно необыкновеннымъ и достойнымъ серьезнаго изученія явленіемъ. Въ статьѣ Сумарокова «О пребываніи въ Москвѣ Монбрана» есть пренаивно выраженное мнѣніе о «заимствованіяхъ». Кто этотъ Монбранъ—не знаемъ; дѣло только въ томъ, что онъ, какъ образованный французъ, хорошо былъ принятъ въ лучшихъ московскихъ домахъ и скоро обратилъ на себя общее вниманіе своей болтовней о томъ, что въ Россіи нельзя достать хорошаго бургонскаго вина, что честныхъ людей нѣтъ и быть не можетъ на свѣтѣ. Но больше всего взбѣсилъ онъ Сумарокова

Digitized by Google

разговорами «о бездѣльствахъ Вольтера и маркиза Даржинса и о невѣжествѣ послѣдняго».

«А разговаривалъ онъ больше всѣхъ со мною (говоритъ Сумароковъ), думая искоренить мое къ Вольтеру и къ Даржинсу почтеніе. А не сбивъ меня съ своей дороги, солгалъ на меня, будто я говорилъ, что Вольтеръ окрадываетъ стихотворцевъ, чего онъ отъ меня никогда не слыхалъ. А подражаніе ни которому стихотворцу безславія не приноситъ. Я и самъ изъ сочиненій Вольтера, Расина и Корнелія не таясь заимствовалъ, что изъ одной моей трагедіи, которая на французской переведена языкъ, всѣмъ довольно видно, а говорилъ я только то, что одна изъ новыхъ Вольтера трагедій съ одной моей трагедіей очень сходна. Изъ сего не слѣдуетъ, что я возвышалъ себя и поносилъ Вольтера, котораго трагедіи по достоинству ихъ похвалу себѣ у всей Европы заслужили.»

«Мнѣніе о сновидѣніи о французскихъ трагедіяхъ» есть настоящая критическая статья, кажется, писанная, по догадкѣ Новикова, къ Вольтеру. Форма критики затѣйлива въ духѣ того времени, какъ то показываетъ и ея заглавіе къ ней:

«Разныя обстоятельства отвратили меня вѣчно отъ театра. Легче было мнѣ разстаться съ Таліею, нежели съ прелюбезною моею Мельпоменою; но я нынѣ и о ней рѣдко думаю: не для того, что она мнѣ противна, но что она мила: а о той любовницѣ, которая мила, паче жизни, по разлученіи вспоминати мучительно. Но кто отъ мучительнаго сновидѣнія спастися можетъ? Востревожилъ меня сонъ, и извлекъ изъ очей моихъ, во время своего продолженія, слезы. Былъ я сновидѣніемъ на театральныхъ представленіяхъ парижскихъ, и видѣлъ нѣкоторыя трагедіи такъ живо, какъ на яву.»

Затѣмъ Сумароковъ начинаетъ съ «Цинны» Корнеля, излагая, какія онъ, во время представленія, имѣлъ чувствія и разсужденія. Потомъ слѣдуютъ замѣтки, что такой-то де стихъ «преславенъ», а такой-то «скареденъ», что такой-то монологъ хорошъ, только дологъ, такой-то мѣсто «преизящно», а такое-то «гнусно и подло». Сумароковъ, какъ русскій человѣкъ, сильно выражался! Но почему онъ одно находитъ хорошимъ, а другое дурнымъ,— этого въ наше время никто не пойметъ: такъ перемѣнчивы времена! Хваля особенно четыре стиха изъ «Федры» Расина, нашъ критикъ восклицаетъ: «Едино сіе явленіе сплело бы вѣчныя Расину лавры, еслибъ онъ и ничего болѣе не писалъ!» Разбирая Вольтерова «Брута», критикъ говоритъ: «Первое явленіе прекрасно. Во второмъ явленіи сіи стихи вкусъ вашъ назначали (слѣдуетъ выписка семи стиховъ). Брутъ перервалъ Аратову рѣчь по Вольтерски. Все явленіе достойно Вольтера и Музъ самихъ. Сіе явленіе не одну забаву приноситъ и не одни цвѣты, но пользу и плоды. Франція, Европа и Парижъ должны много Вольтеру за нововведенный вкусъ, и къ удовольствію сердца и разума нашего. Остатокъ дѣйствія весь хорошъ. Первое явленіе второго дѣйствія вы отъ жара любовнаго нѣсколько отдерживаете, родъ искусства авторскаго, дабы любопытство смотрителей умножено, и сердце послѣ сильно поражено было». Далѣе онъ нашелъ такія красоты въ «Брутѣ», что говоритъ: «Восхищеніе и пораженіе симъ явленіемъ моего сердца препятствуетъ устамъ моимъ изобразити чувствіе души моей, и жертвовати похвалою французскому Софоклу, Расинову, Метастазіеву и можетъ-быть и моему совмѣстнику, которому я еще больше долженъ, нежели Расину». Мнѣніе о «Заирѣ» Вольтера такъ добродушно оригинально или можетъ быть такъ ловко и хитро выражено, что его нельзя не выписать вполнѣ:

«Первое явленіе прекрасно, вкуса щегольскова. Второе прекрасно. Остатокъ дѣйствія хорошъ. Второго дѣйствія первое явленіе хорошо, а паче многократно христіянамъ. Второе явленіе хорошо. Третіе явленіе писано весьма хорошо и христіянамъ крайне жалостно. Не плакали во время явленія одни только невѣжи и деисты: одни по причинѣ, а другіе по другой, хотя послѣдніе были и тронуты свиданіемъ и разительными обстоятельствами отца и дочери. Сія трагедія весьма хороша, но я по нещастію окруженъ былъ безаконниками, которые во все время кощунствовали, и ради того вступающія въ очи мои слезы не вытекали на лицо мое. Видно, что сію сочиняя драму, авторъ о томъ имѣлъ попеченіе, дабы христіянскій законъ утвердити въ сердцахъ нашихъ, и отвлечи беззаконниковъ, сихъ заблужденныхъ людей, отъ естественнаго богопочитанія, которые не пріемлютъ Священнаго Писанія. И ежели сія драма съ прямымъ успѣхомъ передъ деистами представлена будетъ, такъ и драма «Магометъ» въ Константинополѣ понравится. Брутъ когда-нибудь можетъ войти больше въ моду въ Парижѣ; ибо изъ монархіи республики дѣлаются. А «Заира» никогда изъ моды не выдетъ; христіянскій законъ не исчезнетъ никогда, по словамъ вочеловѣчившагося Бога. Вы здѣлали великое по общему христіянскому мнѣнію дѣло, проповѣдывая и утверждая христіянство; хотя и думаютъ безбожники, что вы сею прекрасною трагедіею отвлекаете людей отъ истиннаго богопочитанія и уже зараженныхъ людей еще заражаете. Ежели бы вы были деистъ, такъ бы я въ вѣчномъ остался невѣденіи, ради чего вы сію трагедію сочинили. А зная, что вы христіянинъ, вѣдаю и то, что вы ее сочинили, умножая нашу по христіянству вѣрность.»

Послѣ одного стиха въ «Альзирѣ» критикъ нашъ былъ восторженъ, а восторженный партеръ восплескалъ громко и троекратно. Въ IV актѣ, сочиненномъ самой Мельпоменой, критику не понравилось то, что Альзира, въ предыдущихъ дѣйствіяхъ «ругавшаяся европейскому о чести разсудку», тутъ говоритъ о томъ въ другомъ совсѣмъ духѣ. «Я хвалю васъ безстрастно, такъ безстраст-

Digitized by Google

но говорю, что мнѣ это крайне не нравится; а рѣчи и Альзиры, и Замора божественны». Критика заключается разборомъ «Меропы», и послѣднія строки его могутъ служить и resumè, и характеристикой всей критики:

«Нечего отличати: все прекрасно въ сей трагедіи, по сіе время: придемъ къ четвертому явленію третьяго дѣйствія: Музы его писали. Чего оно достойно, я чувствую, но словами изобразити не могу. Остатокъ дѣйствія прекрасенъ. Четвертое дѣйствіе все весьма прекрасно. Второе явленіе несравненно. Четвертое явленіе пятаго дѣйствія несравненно, и все дѣйствіе прекрасно. Альзира, Цинна и Аталія кажется мнѣ должны уступить первенство Меропѣ и Федрѣ. Сіи двѣ трагедіи будутъ вѣчною честію своимъ авторамъ и Мельпоменѣ, и вѣчною славою Франціи, Европѣ и всему роду человѣческому.»

Точно подписи учителя на тетрадкахъ школьниковъ: не дурно, порядочно, изрядно, хорошо, очень хорошо, отлично хорошо, прекрасно, превосходно!... Но это-то и называлось тогда критикой, и, право, Сумароковъ ни чѣмъ не хуже многихъ знаменитыхъ критиковъ въ Европѣ того времени...

«Переводъ съ французскаго языка изъ чужестраннаго журнала мѣсяца апрѣля 1755 года, стран. 114 и слѣд., напечатаннаго въ Парижѣ. «Синавъ и Труворъ» Россійскаго трагедія, сочиненная, стихами господиномъ Сумароковымъ» — есть не что иное, какъ разборъ «Синава и Трувора», напечатанный въ Парижскомъ журналѣ, переведенный самимъ же Сумароковымъ и можетъ быть имъ же и написанный.

Критики Сумарокова на Ломоносова составляютъ самую забавную сторону авторства Сумарокова. Замѣтивъ въ одѣ погрѣшность (не всегда истинную), Сумароковъ иногда очень ясно даетъ знать, что онъ такихъ погрѣшностей избѣгать старается, напримѣръ: «Межь льдистыми горами!» межь льдистыми дѣлаетъ выговору великую трудность, что (чего) я весьма обѣгать стараюсь». Замѣчаніе его на два первые стиха одной оды Ломоносова можетъ дать понятіе о цѣлой критикѣ:

«Возлюбленная тишина,
Блаженство селъ, градовъ ограда.

Градовъ ограда сказать не можно. Можно молвить селенія ограда, а не ограда града; градъ отъ того и имя свое имѣетъ, что онъ огражденъ! Я не знаю сверхъ того, что за ограда града тишина. Я думаю, что ограда града войско и оружіе, а не тишина. Городъ имѣетъ въ родительномъ падежѣ множественнаго числа городовъ а градъ грàдовъ, а не градòвъ; для того, что въ именительномъ падежѣ многожественнаго числа городъ имѣетъ званіе городà, а градъ—грàды, а не градà и не грады.»

Все это отчасти и справедливо, но самъ Сумароковъ въ своихъ стихахъ даетъ еще болѣе чудовищные факты подобнаго терзанія и коверканія языка и смысла.

Особенно оригинальна статья Сумарокова «Разсмотрѣніе одъ Ломоносова». Въ ней нѣтъ никакихъ разсужденій, даже никакого приступа: все дѣло въ ней рѣшается цифрами, такимъ образомъ: «Строфы прекраснѣйшія: (слѣдуютъ римскія цифры для означенія одъ и обыкновенныя цифры для означенія строфъ); строфы прекрасныя: (цифры); строфы весьма хорошія: (цифры); строфы хорошія: (цифры); строфы изрядныя: (цифры); строфы, по моему мнѣнію, требующія большова исправленія: (цифры); строфы, о которыхъ я ничего не говорю: (цифры)».

Но этимъ не оканчивается смѣшное въ соперничествѣ Сумарокова съ Ломоносовымъ: есть у Сумарокова отдѣльная статья подъ названіемъ «нѣкоторыя строфы»; она вся состоитъ изъ 12-ти строфъ, изъ которыхъ, попеременно, надъ одной стоитъ «его», а надъ другой — «моя». Слѣдующее же предисловіе объясняетъ эту странную загадку:

«Мнѣ уже прискучило слышати всегдашнія о Ломоносовѣ и о себѣ (т. е. обо мнѣ) разсужденія. Слово громкая ода къ чести автора служитъ не можетъ; да сіе же объясненіе значитъ галиматію, а не великолѣпіе. Мнѣ приписываютъ нѣжность и сіе изъясненіе трагическому автору чести не приноситъ. Можетъ ли лирическій авторъ составити честь имени своему громомъ! и можетъ ли представленный въ драмѣ Геркулесъ быти нѣжною Сильвіею и Амариллою, воздыхающими у Тасса и Гваринія! Во стихахъ Ломоносова многое для почерпанія лирическимъ авторамъ сыщется: а я имъ совѣтую взирати на его лирическія красоты и отдѣляти хорошее отъ худова. Ломоносовъ со мною нѣсколько лѣтъ имѣлъ хорошее знакомство и ежедневное обхожденіе, и нерѣдко слыхалъ я отъ него, что онъ самъ часто гнушался, что нѣкоторые его громкимъ называли. Ево достоинство въ одахъ не громкость. А что жъ? объ етомъ долго говорить, и я прилагаю здѣсь предисловіе, и нѣкоторые къ чести ево строфы, для сравненія съ моими, а не толкованія! О преимуществѣ себѣ я публику не прошу; ибо похвалы выпрошенныя гадки; а есть-ли и Ломоносову дастся и въ одахъ преимущество, я объ етомъ тужить не стану: желалъ бы я только того, чтобы разборъ и похвалы были основательны. Въ протчемъ я свои строфы распоряжалъ, какъ распоряжали Мальгербъ и Руссо (Жанъ Батистъ) и всѣ нынѣшніе лирики; а Ломоносовъ етово не наблюдалъ; ибо наблюденіе сего, какъ чистота языка, гармонія стопосложенія, изобильныя рифмы, разношеніе негласныхъ литеръ, не привыкшимъ писателямъ толикаго стоятъ затрудненія, коликую приносятъ они сладость. Наконецъ: во надгробной надписи Ломоносова изображено, что онъ учитель поэзіи и краснорѣчія, а онъ никого не училъ и никого не выучилъ; ибо Ломоносова честь не въ риторикѣ его состоитъ, но въ одахъ. Потомки и ево и мои стихи увидятъ и судить насъ будутъ, или паче письма наши; но потомки могутъ или должны будутъ подумати, что и я по сей ему надгробной надписи былъ ево ученикъ; а я стихи писалъ еще тогда, когда Ломоносова

Digitized by Google

и имена не слыхала публика. Онъ же въ Германіи писати зачалъ, а я въ Россіи, не имѣя отъ него не только наставленія, но ниже зная его по слуху. Ломоносовъ меня нѣсколькими лѣтами былъ по старѣе, но изъ того не слѣдуетъ сіе, что я ево ученикъ, о чемъ я, не трогая ни мало чести сево стихотворца, предувѣдомляю потомковъ, которые и Ломоносова и меня не скоро увидятъ: а особливо ради того, что и языкъ нашъ и поэзія наша исчезаютъ: а зараза піитичества весь россійскій Парнасъ невѣжественно охватила: а я истребленія оному предвидѣти не могу, жалѣя, что прекрасный нашъ языкъ гибнетъ. А что впрочемъ до Ломоносова надлежитъ, такъ я, похваляя ево, думаю только о живности его духа, виднаго во строфахъ его. *Великій былъ бы онъ мужъ во стихотворствѣ, ежели бы онъ могъ вычищати оды свои, а во протчія поэзіи не вдавался.*»

Вотъ какъ! Сумароковъ не любилъ шутить тамъ, гдѣ чья-нибудь слава могла бросать тѣнь на его славу. Въ длинной статьѣ своей «О правописаніи» онъ безпрестанно придирается къ Ломоносову съ профессорскимъ тономъ какого-то неоспоримаго преимущества передъ нимъ. Нападая на употребленіе буквы *е* вмѣсто *і*, достоенъ вмѣсто достоинъ, бывшей, вмѣсто бывшій, Сумароковъ не безъ основательности замѣчаетъ, что «сіе нововведенное правило не имѣетъ основанія ни на свойствѣ языка, ни на древнихъ книгахъ, ни на употребленіи, а единственно на произволеніи Ломоносова и на почтеніи къ нему его послѣдователей, или паче сказать на семъ правилѣ, что Ломоносовъ былъ академикъ; такъ полагаютъ основаніе на академіи, хотя онъ не составлялъ академіи, но былъ ея членъ; и ни академія, ни Россія того не утвердила, да и утверждати того академіи не можно: ибо она въ наукахъ, а не въ словесныхъ наукахъ упражняется». Далѣе Сумароковъ жалуется, что Ломоносовъ ввелъ въ нѣкоторыхъ словахъ провинціальное произношеніе, какъ напримѣръ лѣта, вмѣсто лѣта; градовъ, вмѣсто градовъ, и что «многіе, не размышляя, таковыя его ошибки приняли украшеніемъ піитическимъ и употребляютъ оныя къ безобразію нашего языка, что Ломоносову яко провинціальному уроженцу простительно, какъ рожденному еще и не въ городѣ, и отъ поселянъ; но протчимъ, которые рождены не въ провинціяхъ и не отъ поселянъ, сіе извинено быть не можетъ».—«Но (прибавляетъ онъ), дабы не подумали, что я о происхожденіи Ломоносова въ ругательство ему вспоминаю; такъ насъ не благородство, но Музы на Парнасъ возводятъ, ибо благородство есть послѣднее качество нашева достоинства, и тѣ только много о немъ думаютъ, которые другова достоинства не имѣютъ».—Изъ отвѣта Ломоносова Сумарокову о причинѣ замѣненія буквы *е* буквой *ф* видно, что Ломоносовъ не находилъ нужнымъ вступать съ нимъ въ серьезныя объясненія: «Эта-де литера стоитъ подпершися, слѣдовательно бодряе». — «Отвѣтъ издѣвоченъ, но не важенъ», замѣчаетъ Сумароковъ. Говоря о томъ, что въ предлогѣ *при*, употребляемомъ слитно съ глаголами, должно сохранять букву *и*, не перемѣняя ее на *і*, Сумароковъ прибавляетъ: «Ломоносовъ годъ цѣлый мнѣ въ семъ противурѣчилъ, и признавься по разъисканію точныя обстоятельности, мое мнѣніе съ великимъ утверждалъ жаромъ, но не успѣлъ письменно со мной въ ономъ согласиться, или по частнымъ со мною не до краснорѣчія и не до языка касающимся распрямъ, не хотѣлъ согласиться до времени: какъ онъ покритиковалъ у меня, не знаю за что, нарѣчіе д н е с ь, и не нашедъ другова къ тому реченія, зачалъ употребляти вмѣсто н ы н ѣ, н ы н ь, но н ы н ѣ не знаменуетъ той краткой точности, а нынь не можно вмѣсто н ы н ѣ писать; ибо *т* претворяти въ *ь* писатели вольности не имѣютъ, хотя они и стихотворцы, ибо и имъ дозволяется нѣчто, а не все, да и то что рѣчи нимало не обезображиваетъ. Да и на что н ы н ь; ибо нынь ево то же изображаетъ, какъ и нынѣ: а краткость одного слога не стоитъ труда искуснаго риѳмотворца».—Дѣйствительно, Ломоносова н ы н ь, вмѣсто н ы н ѣ, такъ же нелѣпо, какъ и Сумарокова *мя* и *тя*, вмѣсто м е н я и т е б я. Вообще, говоря о другихъ, Сумароковъ нерѣдко бываетъ и основателенъ, и справедливъ: такъ напримѣръ, жалуясь на постепенную порчу языка, онъ приводитъ разительные примѣры этой порчи, какъ-то употребленіе «февраль» вмѣсто «февраръ», «пролубь» вмѣсто «прорубь». Но зато видитъ иногда гибель тамъ, гдѣ нѣтъ даже и опасности, и часто противорѣчитъ самому себѣ; такъ напримѣръ, съ одной стороны требуя, чтобы, для сохраненія коренного происхожденія словъ, писась *пріятный* вмѣсто *пріятный*, съ другой стороны не хочетъ, чтобъ предлогъ *возъ*, соединяясь съ глаголами, сохранялъ коренную свою букву *з*, и вооружается противъ этого со всѣмъ комизмомъ своей запальчивости. «Но бывало ли отъ начала міра въ какомъ-нибудь народѣ такое въ писаніи скаредство, каково мы нынѣ дожили! Возтокъ, источникъ, п р е в о з х о д и т е л ь с т в о! Конечно паденіе нашего языка скоро будетъ, когда такая нелѣпица могла быть воспріята!»

Замѣчательно, какъ фактъ того времени, что Сумароковъ за искаженіе русскаго языка жалуется на малороссіянъ, и не только писателей, но и на пѣвчихъ, которые, вмѣсто «во вѣки вѣковъ» писали и пѣли «во вики виковъ», вмѣсто «Тебѣ Господи»,—

Digitized by Google

«Теби Госпо́ды», и т. п. «Не подумаетъ ли кто (прибавляетъ Сумароковъ), что я вооружаюся противъ ученыхъ Малороссіянъ; нѣтъ: дай Боже, чтобъ не только мы, но хотя наши потомки изъ Малороссіи другаго Ѳеофана имѣли! Есть нѣчто во краснорѣчіи худова, но сколько напротивъ того и славы его имени, и славы нашихъ временъ!»

Замѣчательна выходка Сумарокова противъ перевода Тредіаковскаго Ролленевой Исторіи: «Вотъ (говоритъ онъ) ожидаемая польза отъ умноженія сочиненій и переводовъ, которыми насъ невѣжи обогащаютъ! Вредно ободряли вралей похвалами, чтобъ они больше врали; ибо де не писавъ худо, нельзя писать и хорошо; но враки должно ли издавать на свѣтъ? Древняя исторія неоцѣненнаго Роллина, въ переводѣ нашемъ, подаетъ читателю, не знающему чужихъ языковъ, нѣкоторое ему познаніе, къ малому просвѣщенію безъ другихъ знаній, и ко прогнанію скуки; а языкъ нашъ какъ моровая заражаетъ язва».

Вообще эта статья такъ и дышетъ своей современностью и личностью Сумарокова: въ ней онъ и его время какъ бы олицетворились и лично бесѣдуютъ съ нами. Кому тутъ не достается, кто не задѣвается! И писатели, и женщины, и подъячіе!.. «Женщины наши (говоритъ критикъ) по большей части никакова правописанія не соблюдаютъ, и пишутъ какъ ни попало, напримѣръ: матушка мая галубушка пажалуй атпишика мне душа мая гдѣ ты купила вчерашнай градитуръ, а иногда и гарнитулъ».— Противъ безграмотности подъячихъ, по длинноте филиппики, и выписать нельзя: когда Сумароковъ заговаривалъ объ этомъ «крапивномъ зельи», объ этомъ «хамовомъ поколѣніи»(какъ онъ называлъ подъячихъ), его сатирическое негодованіе всегда лилось рѣкой, затоплявшей берега свои.

Статья «О стопосложеніи» изобилуетъ комически смѣшными выходками Сумарокова противъ Ломоносова.

Статья «О истребленіи чужихъ словъ изъ русскаго языка» можетъ быть отнесена къ любопытнѣйшимъ фактамъ исторіи русской литературы: она доказываетъ, что вторженіе въ нашъ языкъ французскихъ словъ и оборотовъ отнюдь не было слѣдствіемъ реформы Карамзина, ибо еще до него было въ самомъ сильномъ разливѣ. Сумароковъ смѣется надъ словами: «фрукты, сервизъ, антишамбера, камера, сюртукъ, супъ, гувернанта, аманта, дама, валетъ, атутъ (козырь), роа (король), мокерoваться, эложъ (похвала), принцъ, бурса, тоалетъ, пансивъ (задумчивъ), корреспонденція, кухмистръ, томъ, эдиція, жени (т. е. геній; подъ жени Сумароковъ понималъ остроуміе), бонсанъ (здравый смыслъ; Сумароковъ переводитъ разсужденіе), эдюкація, манификъ, деликатно, пассія». Однакожъ если многія изъ этихъ словъ вывелись изъ употребленія, зато многія и остались; геній языка умнѣе писателей и знаетъ, что̀ принять и что̀ исключить. Вѣроятно были употребительны и такія фразы, если Сумароковъ надъ ними смѣется: «Я въ дикстракціи и дезеспере; аманта моя сдѣлала мнѣ инфиделите; а я а́ку сюръ противъ риваля моего буду реванжироваться».

Какъ о чертѣ смѣшного и добродушнонаглаго самохвальства Сумарокова, нельзя не упомянуть о его вызовѣ проѣздить заграницей два года и потомъ описать свое путешествіе. «Каково мое перо (говоритъ онъ), о томъ и по худымъ переводамъ всѣ ученѣйшіе въ Европѣ знаютъ и ту мнѣ похвалу сплетаютъ, которая превосходитъ желаніе авторовъ и тѣхъ народовъ, въ которыхъ науки созрѣли и утвердилися. И что я Россіи сдѣлалъ честь моими сочиненіями, въ томъ я всѣхъ ученѣйшихъ людей во всей Европѣ свидѣтелями имѣю». За два года и четыре мѣсяца онъ просилъ у правительства, кромѣ своего жалованья, 12,000 рублей, «которыя деньги по изданіи моего путешествія возвратятся въ казну съ излишкомъ; ибо 6,000 экземпляровъ, продаваяся по три рубля, 18,000 рублевъ, а потомъ оная во всегдашнее время продаваться будетъ, и такъ казнѣ убытка не будетъ».—«Еслибъ такимъ перомъ, каково мое, описана была вся Европа; не дорого бы стало Россіи, ежели бы она и 300,000 на это безвозвратно употребила. Я прошу о семъ не для себя, но для пользы моего отечества, а мой собственный прибытокъ изъ того только одна честь имени моему».

Эклоги Сумарокова таковы, что ихъ теперь странно видѣть въ печати. Всѣ онѣ оканчиваются одинаково, вродѣ этого:

О, лютый Періандръ!.. невинность исчезаетъ:
Вручаюся тебѣ... Пастухъ на все дерзаетъ.
Не споритъ Туллія, гоня упрямство прочь.
И въ изступленіи препровождаетъ ночь,
Въ веселіи пробывъ со пастухомъ безъ спора,
Доколѣ не взошла на паствѣ къ нимъ аврора...

И, несмотря на это, Сумароковъ и не думалъ быть соблазнительнымъ или неприличнымъ; а, напротивъ, онъ хлопоталъ о нравственности, и былъ увѣренъ, что эклога такой ужъ родъ поэзіи, который, по сущности своей, требовалъ такихъ сюжетовъ и съ такими развязками. Онъ посвящаетъ свои эклоги «прекрасному россійскаго народа женскому полу», и въ этомъ посвященіи такъ излагаетъ теорію эклоги, какъ рода поэзіи:

«Я вамъ, прекрасныя, сей мой трудъ посвящаю: а ежели кому изъ васъ подумается, что мои эк-

Digitized by Google

логи наполнены излишно любовію, такъ должно знати, что недостаточная (не полная) любовь не была бы матеріею поэзіи: сверхъ того должно и то вообразити, что въ дни златаго вѣка не было ни бракосочетанія, ни обрядовъ, къ оному принадлежащихъ: едина нѣжность только препровождаема жаромъ и вѣрностью была основаніемъ любовнаго блаженства. Говорятъ о воровствѣ, о убійствѣ, о грабежѣ, о ябедничествѣ беззазорно во всякихъ бесѣдахъ; неужели такіе разговоры благородняе рѣчей любовныхъ? А особливо когда не о скотской и не о постоянной говорится любви. Въ еклогахъ моихъ возвѣщается нѣжность и вѣрность, а не злопристойное сластолюбіе, и нѣтъ таковыхъ рѣчей, кои бы слуху были противны. Презрѣнна любовь, имущая едино стастолюбіе во основаніи: презрѣнны любовники, устремляющіеся обманывати слабыхъ женщинъ; подвержены пѣкоторому поношенію и женщины, въ обманъ давшіяся: презрѣнно неблагородное сластолюбіе; но любовныя нѣжность и вѣрность отъ начала міра были почтенны и до скончанія міра почтенны будутъ. Любовь источникъ и основаніе всякаго дыханія: а въ добавокъ сему источникъ и основаніе поэзіи; такъ можно ли сочиняти эклоги, естьли піитъ ужаснется глупыхъ предвареній и невкусныхъ кривотолкованій. А вы, прекрасныя, помните только то, что неблагопристойная любовь и непостоянство стыдны, несносны, вредны и пагубны, а не любовь, и что любовію наполненныя еклоги и основанныя на нѣжности, подпертой честностію и вѣрностію, читательницамъ соблазна, точною чертою, принести не могутъ; хотя и нѣтъ никакова блага, изъ котораго бы не могло быти злоупотребленія. Что почтенняе правосудія; но колико изъ него происходитъ ябедъ и крючкотвореній, а слѣдовательно утѣсненій и погибели роду человѣческому? И что почтенняе, еклоги ли составлять, наполненныя любовнымъ жаромъ и пишемыя хорошимъ складомъ, или тяжебныя ябедниковъ письма, наполненныя плутовствомъ и складомъ писанныя скареднымъ?»

Оставьте въ сторонѣ старинный языкъ и вникните въ мысль этого предисловія: она была мыслью вѣка. Дезульеры, Геснеры и Флоріаны писали свои эклоги и идилліи именно по этой теоріи. Они изображали дѣйствительность, которой никогда и нигдѣ не бывало. Они воображали, что точно былъ золотой вѣкъ невинности, не понимая того, что состояніе невинности есть то же, что̀ состояніе животности, какъ то доказываютъ всѣ дикія племена Африки, Америки и Австраліи. Этимъ-то мнимо-невиннымъ людямъ придавали они сладенькія чувствованьица своего времени, и были вполнѣ увѣрены, что изображаютъ пасторальную жизнь, и что ихъ Дафнисы, Меналки, Титиры, Коридоны, Аглаи, Хлои, Амарилы и Галатеи суть лица живыя и невинныя, тогда какъ это просто общія риторическія мѣста, какъ и вся поэзія (а не литература въ обширномъ смыслѣ) XVIII вѣка. У Сумарокова вполнѣ достало ума и способности понять это искусство общихъ мѣстъ и воспользоваться имъ для своего времени.

Истинный критикъ своего времени, Сумароковъ судитъ обо всемъ — о добродѣтели, о философіи, о грамматикѣ, о поэзіи, о стѣснительной системѣ запретительной торговли, о большихъ бесѣдахъ, чтеніи романовъ, и проч., и проч. Часто у него попадаются мысли хотя не глубокія, но здравыя и тѣмъ болѣе полезныя для общества его времени. Можно написать цѣлую статью о его войнѣ противъ подъячихъ: Боже мой, гдѣ и какъ ни пятналъ, ни позорилъ ихъ этотъ неутомимый боецъ! Говоря о подъячихъ, Сумароковъ становится и желченъ, и остеръ, и вдохновененъ! Ненависть къ этому гнусному отродью (говоря его выраженіемъ) была живой струной его души; и кто же не согласится, что источникъ этой ненависти былъ благороденъ, а ея проявленіе не могло не принести пользы обществу: дидактическое направленіе въ поэзіи самобытной есть признакъ антипоэтическаго характера народа; но въ поэзіи подражательной, бывшей плодомъ реформы, нововведеніемъ, какова была въ своемъ началѣ поэзія русская, дидактическое направленіе есть признакъ жизненности, соціальности, и полезно какъ для общества, такъ и для самаго искусства: ибо общество потому только и принялось за нее, что увидѣло въ ней поученіе, дѣйствительно полезное для него. Когда дидактическая поэзія истощила все свое содержаніе и не могла идти далѣе, противъ нея явилась реакція, заговорили о поэзіи, какъ о творчествѣ, какъ о цѣли самой себѣ, а между тѣмъ привычка къ чтенію, къ занятію поэзіей, благодаря ея дидактическому направленію, была уже сдѣлана. Послѣ этого не трудно было отвергнуть дидактическую поэзію, какъ ложную и враждебную истинному искусству. Но это, какъ мы покажемъ въ слѣдующей статьѣ, сдѣлалось не вдругъ, а постепенно. Сперва позволили поэзіи воспѣвать геройскіе подвиги и побѣды, не увольняя ея отъ обязанности поучать; потомъ стали позволять ей между прочимъ быть выразительницей прихотей фантазіи и, наконецъ, ради граціи и обаятельности формъ, воспѣвать и шалости чувства, и пѣнистое вино, и веселыя пирушки, и сладостную лѣнь. Ужъ послѣ этого провозгласили, къ крайнему соблазну литературныхъ старовѣровъ, что искусство есть само себѣ цѣль, что поэзія внѣ себя цѣли не имѣетъ и не должна имѣть. Такъ какъ въ этой мысли заключается значительная часть истины, и такъ какъ, не перейдя черезъ нее, нельзя было понять идеи искусства, какъ особной и самостоятельной сферы сознанія, то эта мысль и овладѣла свѣжими умами до того, что ее довели до односторонности и исключительности, а слѣдовательно и до нелѣпости. Теперь критикѣ предстоитъ новая задача—примирить сво-

Digitized by Google

боду творчества съ служеніемъ историческому духу времени, служеніемъ истинѣ.

Итакъ, дидактическое направленіе Сумарокова было полезно для современнаго ему общества. Въ этомъ отношеніи его эпистолы и сатиры имѣютъ свою относительную цѣнность. Несмотря на грубый языкъ, цинизмъ выраженій, для многихъ было весьма полезно и поучительно въ тотъ зараженный спѣсью барства вѣкъ читать напримѣръ такіе стихи:

Сію сатиру вамъ, дворяня, приношу,
Ко членамъ первымъ я отечества пишу.
Дворяня безъ меня свой долгъ довольно знаютъ,
Но многіе одно дворянство вспоминаютъ,
Не помня, что отъ бабъ рожденныхъ и отъ дамъ
Безъ исключенія всѣмъ праотецъ Адамъ.
На то ль дворяня мы, чтобъ люди работали,
А мы бы ихъ труды по знатности глотали?
Какое барина различье съ мужикомъ?
И тотъ, и тотъ земли одушевленный комъ.
И если не ясняй умъ барскій мужикова,
Такъ и различія не вижу никакова.
Мужикъ и пьетъ и ѣстъ, родился и умретъ,
Господскій такъ же сынъ, хотя и слаще жретъ,
И благородіе свое не рѣдко славитъ,
Что цѣлый полкъ людей на карту онъ поставитъ.
Ахъ, должно ли людьми скотинѣ обладать?
Не жалко ль? можетъ быкъ людей быку продать?

Въ числѣ эпистолъ мы находимъ и слѣдующія: «Любовь къ отечеству есть первая добродѣтель», «Къ неправеднымъ судіямъ», «О русскомъ языкѣ», «О стихотворствѣ» (передѣлка «L'Art Poétique» Буало) и «Наставленіе хотящимъ быти писателями». Во всемъ этомъ виденъ или критикъ искусства и литературы, или критикъ нравовъ. Въ томъ и другомъ Сумароковъ особенно примѣчателенъ, какъ представитель своего времени. Не изучивъ его, нельзя понимать и его эпохи. Еслибъ кто вздумалъ написать историческій романъ или историческую повѣсть изъ тѣхъ временъ,—изученіе Сумарокова дало бы ему богатые факты объ обществѣ того времени; а что̀ такое историческій романъ, какъ не исторія общества въ извѣстную эпоху? Да; предметъ исторіи—человѣчество или народъ; предметъ историческаго романа—общество. Постепенность развитія идей въ обществѣ представляетъ собой картину въ высшей степени интересную. На само искусство нельзя смотрѣть только въ сферѣ самаго искусства, безъ отношенія къ жизни: такой взглядъ можетъ быть иногда вѣренъ, но онъ всегда одностороненъ, особенно въ отношеніи къ искусству въ Россіи. Повторяемъ: наша поэзія, наша литература — плодъ реформы Петра Великаго, какъ наша цивилизація. Начавшись формами безъ жизни, они постепенно стремились къ жизни и самобытности, и достигли наконецъ того и другого чрезъ историческій процессъ. Сумароковъ былъ однимъ изъ замѣчательныхъ фактовъ этого процесса,—что̀ и заставило насъ говорить о немъ подробнѣе.

III.

Статья наша о «Критикѣ» должна оставить принятый ею историческій путь и снова возвратиться къ настоящему, характеристикой котораго и заключится она. Мы и не хотѣли давать ей характеръ историческій; иначе должны были бы написать много статей прежде, нежели добрались бы до настоящаго періода русской литературы. Въ предыдущей статьѣ мы желали только намекнуть на то, какъ, по нашему мнѣнію, должно было бы слѣдить русскую критику въ ея историческомъ развитіи,—заранѣе отказываясь написать полную ея исторію въ этомъ отдѣлѣ нашего журнала. Доселѣ еще не только не было никакой попытки—начертать исторію русской литературы со стороны ея вліянія на мнѣніе общества, т. е. со стороны критики, въ обширномъ значеніи этого слова, но даже не было и попытокъ сдѣлать хоть какія-нибудь указанія на матеріалы, необходимые для подобнаго труда. А между тѣмъ этотъ трудъ только слегка можетъ казаться легкимъ, въ сущности же онъ весьма сложенъ, кропотливъ и тяжелъ. Нужно не только перечесть вполнѣ нѣкоторыхъ писателей, но и рыться въ старыхъ и новыхъ журналахъ. Притомъ же мы задали бы себѣ слишкомъ обширный вопросъ, еслибъ взяли критику въ ея общемъ значеніи. Для насъ важны не только тѣ русскіе писатели, которые посвящали свои труды или теоріи изящнаго, или собственно—критикѣ изящныхъ произведеній, или отрывочно, тамъ и сямъ, въ своихъ твореніяхъ выговаривали свои понятія объ изящномъ и о критикѣ; но и тѣ писатели, которые своими нравственными мнѣніями выражали духъ времени или давали ему новое направленіе. Въ этомъ отношеніи какъ важенъ для насъ напримѣръ Фонвизинъ съ его «Недорослемъ» и «Бригадиромъ», въ которыхъ въ лицѣ глупцовъ и чудаковъ высказано понятіе того времени объ отрицательной сторонѣ современнаго общества, а въ лицѣ резонеровъ и добродѣтельныхъ людей высказанъ, такъ сказать, идеалъ, къ которому должно было стремиться общество, высказаны начала, на основаніи которыхъ мыслили и дѣйствовали лучшіе люди той эпохи! А исповѣдь Фонвизина, его мелкія сатирическія статьи, его вопросы, и проч.? Оцѣнка всего этого была бы полной оцѣнкой всего Фонвизина, который замѣчателенъ совсѣмъ не какъ поэтъ (ибо поэтомъ онъ не былъ), а какъ умный, мыслящій человѣкъ

Digitized by Google

своего времени, даровитый писатель съ критическимъ направленіемъ. «Словарь Россійскихъ Писателей» Новикова—богатый фактъ собственно-литературной критики того времени: его тоже нельзя миновать въ историческомъ обзорѣ русской критики. Тутъ же долженъ занять свое мѣсто и Макаровъ—одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ писателей и критиковъ того времени. Съ именемъ Карамзина соединяется понятіе о цѣломъ періодѣ русской литературы, стало-быть, отъ девятидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія до двадцатыхъ настоящаго. Тридцать пять лѣтъ такой блестящей литературной дѣятельности и около сорока лѣтъ такого сильнаго вліянія на русскую литературу, а черезъ нее и на русское общество! И вліяніе не только литературное, но и, можно сказать, всяческое! Все это должно вновь перечитать, пересмотрѣть, а на все это нужно время и время. Критическая дѣятельность Мерзлякова, князя Вяземскаго, Каченовскаго и другихъ, характеристика многихъ журналовъ, изъ которыхъ иныхъ теперь и имена не извѣстны публикѣ,—также должны войти въ этотъ обзоръ и слѣдственно также должны быть пересмотрѣны. Война карамзинистовъ съ шишковистами; прологъ къ войнѣ романтизма съ классицизмомъ, заключающій въ себѣ пренія, возбужденныя нѣмецкими, англійскими балладами Жуковскаго; далѣе война поборниковъ классицизма и вмѣстѣ народности съ поборниками классицизма чисто подражательнаго и чуждаго всякой народности (въ этой войнѣ замѣчательны имена Катенина, Жандра и отчасти Грибоѣдова); наконецъ, война классицизма и романтизма—сколько для всего этого нужно пересмотрѣть книгъ, особенно журналовъ! Появленіе каждаго генія бываетъ чѣмъ то нарушающимъ обыкновенный порядокъ вещей, съ непривычки кажется чѣмъ-то незаконнымъ и возбуждаетъ вражду и оппозицію со стороны людей, проникнутыхъ духомъ господствующаго порядка вещей. Въ пользу генія возстаетъ юное поколѣніе, и завязывается битва, концомъ которой всегда бываетъ торжество генія. И вотъ окончена битва,—и видъ дѣла измѣняется: геній признанъ величайшимъ и непогрѣшительнымъ авторитетомъ; противъ него враждуютъ развѣ только хриплые голоса немногихъ уцѣлѣвшихъ развалинъ стараго времени. Но время идетъ, новыя идеи вторгаются, и такъ какъ не было и никогда не будетъ генія, который бы все сказалъ, все рѣшилъ, на все далъ отвѣтъ, исчерпалъ бы всѣ стороны бытія, такъ что уничтожилъ бы возможность явленія другихъ геніевъ, а слѣдственно и возможность дальнѣйшаго развитія народа или человѣчества: то и геній, послѣ столькихъ усилій и битвъ сдѣлавшійся властителемъ думъ своего времени, является наконецъ представителемъ уже минувшей эпохи, не удовлетворяющимъ новаго времени. Противъ него воздвигается оппозиція, часто несправедливая и ослѣпленная въ своей крайности; за него стоитъ все, что̀ не двинулось послѣ него впередъ—и опять битва! Но проходятъ годы, новое беретъ свое, мирно царитъ надъ настоящимъ и воздаетъ должное прошедшему. Все это было и въ русской литературѣ, хотя она существуетъ еще только сто лѣтъ, если началомъ ея взять 1739 годъ, когда Ломоносовъ написалъ первую свою оду—«На взятіе Хотина» (сатиры Кантемира были въ первый разъ изданы въ 1762 году). Такъ литературная дѣятельность Карамзина, явившаяся оппозиціей схоластическому направленію русской литературы, данному Ломоносовымъ, возстановила противъ себя славянофиловъ и пуристовъ русскаго языка. Время и разумъ рѣшили дѣло въ пользу реформы Карамзина, и Карамзинъ сдѣлался патріархомъ русской литературы; подъ страхомъ анаѳемы и отлученія отъ литературнаго православія, не позволялось усомниться ни въ одной строкѣ, ни въ одной буквѣ его сочиненій. Но оппозиція шишковистовъ была ничто въ сравненіи съ той, которая ожидала Карамзина уже по смерти его. Такъ называемый романтизмъ развязалъ умы, вывелъ ихъ изъ узкой и избитой колеи преданія, авторитета и общихъ риторическихъ мѣстъ, изъ которыхъ прежде сплетались вѣнки славы прославленнымъ писателямъ; новыя идеи вторгались отвсюду; литературные и умственные перевороты въ Европѣ, начавшей, по низверженіи Наполеона, новую жизнь, отозвались и въ нашей литературѣ. Тогда-то возстали противъ Карамзина... Но прошло и это время: теперь всѣ понимаютъ, что не Карамзинъ виноватъ, если его поклонники приписали ему больше, чѣмъ онъ сдѣлалъ, видѣли къ немъ что-то большее, нежели то, чѣмъ онъ былъ въ самомъ дѣлѣ, что вопросъ не въ томъ, чего не сдѣлалъ Карамзинъ, а въ томъ, что̀ онъ сдѣлалъ, и что не его была вина, если онъ рано родился и образовался подъ вліяніемъ литературныхъ идей прошлаго вѣка; теперь у Карамзина нѣтъ ни ослѣпленныхъ друзей, ни ожесточенныхъ враговъ—теперь для него настало потомство, безпристрастное, спокойное, уважающее славное имя, цѣнящее его заслуги, давшее ему почетное мѣсто въ исторіи литературы и общественности. Явился Пушкинъ,—и встрѣча, сдѣланная ему, была уже совсѣмъ не то, что̀ встрѣча Карамзину: восторгъ и негодованіе, любовь и ненависть были тутъ значительно глубже и сильнѣе.

Digitized by Google

Одни только что не клялись именемъ Пушкина; другіе, слыша его, только что не зажимали съ благочестивымъ ужасомъ ушей своихъ. Битвы были ожесточенныя и упорныя, а вопросъ еще и теперь не рѣшенъ! Уже нѣсколько поколѣній произнесли судъ свой надъ Пушкинымъ, а потомство для Пушкина все еще не настало... Элементы нашей эпохи такъ многосложны и спутаны, вопросы такъ глубоко жизненны, что много надо пережить, перечувствовать и перемыслить, чтобы рѣшать ихъ: это дѣло времени и жизни — безъ нихъ люди ничего не сдѣлаютъ. Еще не рѣшился вопросъ о Пушкинѣ, и уже сколько новыхъ вопросовъ возникло, и возникло не изъ книгъ, какъ они возникали прежде, а изъ живыхъ явленій!.. И развѣ эти безпрерывные толки и споры въ обществѣ о «Мертвыхъ Душахъ», эти восторженныя похвалы и ожесточенныя брани въ журналахъ, возбуждаемыя новымъ твореніемъ Гоголя,—развѣ это не живое явленіе, и развѣ это не вопросъ, столько же литературный, сколько и общественный?.. Мало того: развѣ весь этотъ шумъ и всѣ эти крики—не результатъ столкновенія старыхъ началъ съ новыми; развѣ они — не битва двухъ эпохъ?.. Все, что̀ является и успѣваетъ съ перваго разу, встрѣчаемое и провожаемое безусловной похвалой, все это не можетъ быть важнымъ и великимъ фактомъ: важно и велико только то, что раздѣляетъ мнѣнія и голоса людей, что̀ мужаетъ и растетъ въ борьбѣ, что утверждается живой побѣдой надъ живымъ сопротивленіемъ. Полагать причиной этого сопротивленія одну зависть къ успѣху и къ генію—значило бы слишкомъ ограниченно смотрѣть на дѣло: то ошибка духовъ времени, то борьба старыхъ началъ съ новыми! Человѣкъ только до извѣстнаго возраста своей жизни обладаетъ способностью умственнаго движенія впередъ; разъ утвердившись въ извѣстномъ образѣ мыслей, по достиженіи извѣстнаго возраста онъ дѣлается слѣпъ и глухъ для всякой новой истины и видитъ въ ней ложь и нечестье. Только сильные духомъ могутъ отрываться отъ ученій, въ которыхъ возросли и укрѣпились; но и для нихъ это движеніе сопряжено бываетъ съ тяжелымъ трудомъ, съ потрясеніемъ всего нравственнаго существованія ихъ. Цѣлое общество видѣло высочайшій идеалъ поэзіи въ трагедіяхъ Корнеля и Расина, съ малолѣтства заучивало наизусть стихи ихъ, восторгъ свой къ этимъ поэтамъ довело до обожанія, уваженіе—до піэтическаго благоговѣнія,—и вдругъ этому-то обществу говорятъ, что ихъ поэты—не поэты, а только изящные риторы, что въ образцовыхъ ихъ трагедіяхъ нѣтъ ни характеровъ, ни образовъ, ни людей, ни игры страстей и чувствъ, ни глубокихъ идей, словомъ, никакой дѣйствительности, и что наконецъ идеалъ великаго драматурга осуществился въ Шекспирѣ, котораго оно, это общество, привыкло считать пьянымъ дикаремъ, вдохновеннымъ невѣждой!.. Повѣрить на слово общество не могло, понять—еще менѣе; слѣдовательно оставалось сознаться, что или оно всю жизнь свою обманывалось, или что оно не въ силахъ понять то, въ чемъ его увѣряютъ. Но это выше природы человѣческой; большей части людей легче понять непонятное ему, чѣмъ сознаться въ своей неспособности понимать. Однакожъ между молодыми людьми, которыхъ духъ новой жизни засталъ еще свѣжими, свободными и способными къ его принятію, являются смѣлые поборники новыхъ идей. И вотъ завязывается борьба; время идетъ, старые ратники выбываютъ изъ рядовъ, молодые прибываютъ, и лѣвая сторона является правой, а въ центрѣ остается двусмысленная изгарь двухъ мнѣній, люди полумѣръ, люди ни то, ни се... И потомъ опять такая же исторія, — и изъ этихъ то исторій составляется исторія развитія человѣчества, народовъ и обществъ.

Такую задачу въ отношеніи къ русской литературѣ со стороны критики мы хотѣли было предположить себѣ, начавъ писать статью о критикѣ; но такая статья могла бы слишкомъ далеко завлечь насъ. Однакожъ мы рѣшились приготовить на этотъ предметъ особую статью и перенести ее изъ отдѣла критики въ отдѣлъ наукъ. Тутъ будетъ цѣлая исторія русской литературы, обозрѣнная съ новой ея стороны, на которую еще никто не обращалъ вниманія—со стороны развитія литературныхъ, нравственныхъ и общественныхъ началъ. Статья эта будетъ помѣщена въ одной изъ первыхъ книжекъ «Отечественныхъ Записокъ» на 1843 годъ. Мы не будемъ въ ней повторять уже сказаннаго въ статьяхъ о «Критикѣ», и начнемъ прямо съ того, что̀ непосредственно должно слѣдовать за Сумароковымъ, взглядомъ на котораго мы кончили нашу вторую статью о критикѣ. Теперь же возвратимся на предметъ болѣе близкій къ содержанію рѣчи Никитенко, подавшей поводъ къ этимъ тремъ статьямъ. Въ первой статьѣ мы говорили, что̀ такое критика вообще, и чѣмъ она должна быть въ наше время. Здѣсь поговоримъ о томъ, какова бываетъ иногда критика. Не знаемъ, увидятъ ли читатели въ нашихъ словахъ характеристику современной русской критики; но во всякомъ случаѣ мы никого не назовемъ, ни на кого не укажемъ: пусть дѣло говоритъ само за себя, пусть другіе ищутъ въ нашихъ словахъ, кому кого угодно, а мы

Digitized by Google

будемъ говорить вообще, ни къ кому не относя, ни къ кому не примѣняя... Предметомъ нашихъ разсужденій будетъ уклоненіе критики отъ идеала критики...

Читатели «Отечественныхъ Записокъ» не могли не замѣтить, что критика этого журнала рѣзко отличается отъ критики всѣхъ другихъ журналовъ — своими началами, и своимъ характеромъ, и даже самымъ языкомъ. Враги «Отечественныхъ Записокъ» ставили и ставятъ имъ это въ величайшій недостатокъ; другіе же находятъ это большимъ достоинствомъ. Намъ скажутъ: никто въ собственномъ дѣлѣ судьей быть не можетъ, и только публика имѣетъ право приговора въ пользу достоинства критики журнала... Согласны; но развѣ мы хвалимъ собственную критику?—Отнюдь нѣтъ; мы только говоримъ, что она—особенная критика въ современной русской литературѣ, что она не имѣетъ ничего общаго съ критикой другихъ современныхъ журналовъ. А это такъ же можно почесть порицаніемъ, какъ и похвалой. Гдѣ жъ тутъ самохвальство? Тутъ только фактъ, въ вѣрности котораго согласны и друзья, и враги наши.

Критика можетъ раздѣляться на разные роды, по ея отношеніямъ къ самой себѣ; но не то теперь въ виду у насъ. По отношенію же критики къ лицамъ, занимающимся ею, прежде всего должно раздѣлить ее на критику искреннюю, добросовѣстную, критику по убѣжденію, по началу, и на критику по разсчету, критику торговую. Послѣдняя всегда ложна, потому что еслибъ она иногда и находила для себя выгоднымъ обмолвиться истиной, — эта истина все-таки не относилась бы къ высокимъ предметамъ человѣческаго сознанія, а ограничивалась бы только, и то не всегда, умнымъ взглядомъ на нѣкоторыя стороны практическихъ предметовъ, въ то же время парализируя себя всякими неправдами, всякой ложью и всяческими противорѣчіями. Въ злохудожную душу не внидетъ премудрость! Что̀ касается до критики искренней, критики по убѣжденію,— ее не всегда можно принимать за одно съ критикой истинной: убѣжденіе и истина — не одно и то же: это два отдѣльныя и самобытныя начала, которыя могутъ быть сильны только во взаимномъ проникновеніи, но которыя часто являются каждое самимъ по себѣ, и потому каждое безсильнымъ и безплоднымъ. Хотя въ наше время примѣры религіознаго фанатизма и рѣдки, однако и въ наше время могутъ существовать люди, которые отъ души убѣждены, что аутодафэ—вещь необходимая для спасенія душъ. Такое убѣжденіе можетъ быть и сильно, и глубоко, и безкорыстно; но тѣмъ не менѣе оно ложно. Притомъ же въ дѣлѣ убѣжденій должно обращать вниманіе на источникъ убѣжденія. Иногда случается такъ: какой-нибудь господинъ найдетъ и безопаснымъ, и выгоднымъ для себя поддерживать извѣстную мысль, которая притомъ ни для кого не новость. И вотъ онъ начинаетъ съ того, что выдаетъ эту мысль за великое открытіе, за неслыханную новость; подводитъ подъ нее всѣ факты, и которые нейдутъ подъ нее,—онъ ихъ гнетъ, колотитъ, уродуетъ; вырабатываетъ себѣ странный и дикій языкъ, вопитъ о своемъ безкорыстіи, патріотизмѣ, о своей пламенной любви къ народности. Надъ нимъ начинаютъ смѣяться, доказываютъ ему, что мысль его и не нова, и одностороння, что гораздо прежде его было много охотниковъ выѣзжать на ней; что языкъ его, вмѣсто народности, отзывается цинизмомъ, тономъ извозчиковъ и замашками Кутейкина (дѣйствующее лицо въ «Недорослѣ» Фонвизина); что патріотизмъ его пока еще одно хвастовство, ибо патріотизмъ, чей бы то ни былъ, доказывается не словами, а дѣлами, что титло патріота дается гражданину народомъ и исторіей, а не самозванствомъ; что народность его—не таинственная психея народной жизни, а грязь съ торговой площади... Все это, разумѣется, раздражаетъ господина сочинителя; самолюбіе его оскорбляется, желаніе оправдаться возбуждаетъ въ немъ потребность самому убѣдиться въ собственныхъ убѣжденіяхъ. Эту потребность, возбужденную жаждой вещественныхъ выгодъ и оскорбленнымъ самолюбіемъ, онъ принимаетъ въ себѣ за убѣжденіе и оканчиваетъ тѣмъ, что дѣйствительно дѣлается фанатическимъ послѣдователемъ наудачу и по разсчету выбраннаго ученія, и на немъ оправдывается французская пословица: á force de forger on devient forgeron. И вотъ онъ глубже и глубже тонетъ въ тинѣ своихъ дикихъ убѣжденій; неудача раздражаетъ его энергію, энергія его переходитъ въ фанатизмъ;—и горе было бы людямъ, еслибъ онъ имѣлъ возможность проявлять свое убѣжденіе не однимъ гусинымъ перомъ... Но перо его не страшно; сначала оно можетъ озадачить толпу, которая всегда отступаетъ передъ силой какой бы то ни было—силой убѣжденія или фанатизма—все равно. Но это не надолго: толпа не всегда чутка на ложь и истину съ перваго раза; когда же пройдетъ ея первое изумленіе, она, иногда молча и безсознательно, рѣшитъ дѣло лучше всякаго ученаго и философа. Дѣло тутъ въ томъ, что̀ надъ обществомъ имѣютъ прочную власть только идеи, а не слова; свойство же и существенное отличіе идеи отъ всего, что не есть идея, состоитъ въ томъ, что̀ она движется, идетъ впередъ, — словомъ, разви-

Digitized by Google

вается; а нашъ «патріотъ» твердитъ все одно и то же, одними и тѣми же словами; высказавшись весь въ первой статьѣ своей, онъ въ тысячѣ слѣдующихъ за ней только повторяетъ собственные зады свои... Сверхъ того, не имѣя никакого внутренняго созерцанія, изъ котораго выходила бы его система, ничего не зная основательно, не опираясь на современную науку, лишенный всякаго инстинкта истины и всякаго такта выраженія, — онъ впадаетъ въ нелѣпости, до которыхъ впрочемъ доходитъ послѣдовательно, логически, ибо онѣ лежатъ въ самомъ основаніи его нелѣпаго ученія. Онъ утверждаетъ напримѣръ, что образованность высшихъ и среднихъ классовъ общества—мишура, что національная мудрость хранится въ черни, что дѣти даже людей высшаго общества должны учиться отечественному языку въ избахъ мужиковъ, у ростовскихъ огородниковъ и рыбныхъ торговокъ... Съ публикой онъ объясняется языкомъ гостиннодворскихъ сидѣльцевъ, почитая это и оригинальнымъ, и національнымъ... Онъ набираетъ себѣ извѣстное число прозелитовъ—бездарныхъ людей, которые, за рѣшительной неспособностью выдумать что-нибудь свое, готовы повѣрить на слово всякому, у кого горло широко, и которыхъ между тѣмъ мучитъ демонъ кропанья стиховъ и прозы. Сюда же присоединяются старые писаки, которые и въ свое время только смѣшили публику своимъ авторствомъ, своими мадригалами, трагедіями, романами, дѣтскими нравоучительными книжонками и азбуками. «Патріотъ» радъ ихъ даровымъ статьямъ, ихъ бездарному досужеству, ихъ готовности вторить его голосу: онъ одобряетъ ихъ, хвалитъ, ссылается на ихъ дикія и неслыханныя имена въ статьяхъ своихъ: какъ такой-то (имя рекъ) сказалъ, этакой-то выразился, см. стр. такую-то... Бѣдняки, рыцари печальнаго образа, радѣхоньки, что имъ есть куда сбрасывать все, чѣмъ удастся имъ разрѣшиться,—пишутъ съ плеча статью за статьей, хвалятъ старину и другъ друга, бранятъ все новое и даровитое, геній называютъ злодѣйствомъ, талантъ—развратомъ, а выбранныя изъ дѣтскихъ прописей сентенціи—чистѣйшей нравственностью. Тутъ являются свои геніи, свои таланты по преимуществу, обыкновенно человѣкъ пятокъ: эти всегда впереди, остальные за ними... Но, увы! ничто не поможетъ нашему «критику»: надъ его журналомъ и его статьями уже не смѣются даже, вовсе забывая о ихъ существованіи... «Критикъ» прибѣгаетъ къ послѣднему средству: прежде онъ только и дѣлалъ, что стрѣлялъ холостыми зарядами по журналу, котораго мнѣнія и успѣхъ въ публикѣ не давали ему спокойно заснуть и изъ котораго онъ сдѣлалъ себѣ какую-то мишень, не догадываясь въ своей слѣпотѣ и ограниченности, что онъ этимъ еще болѣе возвышаетъ чужой журналъ; теперь онъ самъ пишетъ огромныя письма къ самому себѣ (разумѣется, подъ вымышленнымъ именемъ), разбираетъ въ нихъ собственный журналъ и собственныя статьи, удивляется собственному краснорѣчію, глубокости своихъ идей, благоговѣетъ передъ своимъ геніемъ, своей ученостью и торжествуетъ мнимыя побѣды надъ враждебными журналами и враждебными мнѣніями... Но, увы!—и это не помогаетъ: письма остаются не разрѣзанными и не прочитанными, а о самомъ журналѣ пропадаетъ и слухъ... Туда ему и дорога!...

Есть еще одного рода убѣжденіе, сходное съ тѣмъ, которое мы описали, но разнящееся отъ него какой-то наивной добросовѣстностью: это убѣжденіе посредственности, убѣжденіе въ томъ, что она—талантъ, и что ей только по зависти не отдаютъ должной справедливости. Чтобъ доказать міру несправедливость враговъ своихъ, наивная посредственность рѣшается иногда—издавать журналъ. Это особенно часто бываетъ въ Германіи, гдѣ такъ много филистеровъ и такъ много пишущихъ гофратовъ. Въ одной нѣмецкой газетѣ мы недавно прочли объ одномъ изъ такихъ господъ слѣдующее. Добрякъ принялся издавать журналъ. «Меня, говорилъ онъ своимъ знакомымъ, ругали—теперь я буду ругать». А его совсѣмъ и не ругали; просто о немъ молчали—это-то было ему всего досаднѣе. Правда, когда-то было кой-гдѣ замѣчено, что его поэмы и романы плохи; но какъ вся эта дрянь была имъ написана давно, то о немъ уже и забыли. Впрочемъ онъ вкусилъ и сладость печатной похвалы: филистерскіе журналы объявили его пріятнымъ и моральнымъ писателемъ и особенно остались довольны его слогомъ, дѣйствительно столь же гладкимъ, сколь и безсмысленнымъ; только одинъ изъ рьяныхъ молодыхъ критиковъ, съ юношеской опрометчивостью, напалъ и на филистерскіе журналы, и на сочинителя. Съ тѣхъ поръ столько прошло времени, что рьяный крикунъ забылъ и сочинителя-гофрата, и многія изъ собственныхъ журнальныхъ статей. Каково же было его удивленіе, когда въ новомъ журналѣ онъ увидѣлъ выписки изъ своихъ старыхъ статей, выписки съ разными примѣчаніями, которыя еще были сдобрены солидными остротами! Онъ прочелъ и выписки изъ своихъ статей, и остроумныя противъ нихъ выходки — и добродушно посмѣялся надъ тѣми и другими... А изда-

Digitized by Google

тель неугомонно продолжалъ ратовать противъ всего талантливаго, хваля посредственность и самого себя, пока не угомонилъ своего журнала (ибо самъ былъ едва ли не единственнымъ своимъ подписчикомъ и читателемъ)... Въ Германіи такое явленіе—не диковинка, а потому надъ нимъ даже и не смѣялись; оно прошло само собой, подобно мыльному пузырю, лопнувшему на воздухѣ. Но можно поручиться, что этимъ не кончатся затѣи добряка; самолюбіе посредственныхъ писакъ неугомонно: лопнулъ свой журналъ, а чужіе не примутъ его статей,—тогда остаются брошюры. И такъ—до могилы! А все отъ наивнаго убѣжденія въ своемъ талантѣ и въ зависти къ нему враговъ...

Вообще объ ограниченныхъ людяхъ съ убѣжденіями можно составить цѣлую книгу, которая была бы интереснымъ психологическимъ сочиненіемъ. Главное различіе между даровитыми и умными людьми съ убѣжденіями и между посредственностями съ убѣжденіями состоитъ въ томъ, что убѣжденія первыхъ выходятъ изъ истины, а убѣжденія вторыхъ—изъ мелкаго и раздражительнаго самолюбія. Человѣкъ съ умомъ всегда подверженъ сомнѣніямъ, которыя часто охлаждаютъ и ослабляютъ жаръ и энергію его убѣжденій; люди посредственные свято вѣруютъ во всякій вздоръ, потому только, что этотъ вздоръ вышелъ изъ ихъ головы. Чудаки эти часто не подозрѣваютъ, что и вздоръ-то, поддерживаемый ими, не ихъ, а навѣянъ на нихъ другими, которые имѣютъ свои виды на вздоръ извѣстнаго рода и на добродушное усердіе простаковъ, готовыхъ отъ души ратовать за чужое мнѣніе, за которое ловко умѣли заставить ихъ ущѣпиться, какъ будто за ихъ собственное. Такъ иной патріотъ, нажившій въ тихомолку разными «патріотическими» средствами «индѣекъ малую толику», приберетъ себѣ журнальнаго работника, да изъ-за его дюжаго въ работѣ плеча обдѣлываетъ помаленьку свои дѣлишки, взявъ на себя только трудъ говорить отъ времени до времени, что онъ готовъ умереть за свое родное, и что онъ съ головы до ногъ—«патріотъ». А простакъ работаетъ, какъ волъ, изъ одного безкорыстнаго стремленія обобщить свои идеи о томъ, что гдѣ много просвѣщенія, тамъ все гніетъ, и что нравы праотцевъ лучше всякой заморской мудрости. Однакожъ этотъ простакъ бываетъ иногда не очень добръ и часто обнаруживаетъ придирчивую взыскательность,—это съ нимъ случается всякій разъ, когда задѣнутъ его авторское самолюбіе или его педантическій догматизмъ. Во всемъ остальномъ это добрѣйшій человѣкъ; похвалите его, согласитесь съ нимъ въ его мнѣніяхъ,—онъ произведетъ васъ въ геніи. Это ему такъ легко, ибо у него нѣтъ никакихъ началъ: его мыслью управляютъ слова, а не мысли словами. Слова же его—это образецъ пухлаго безсмыслія, изысканныхъ фразъ. Если онъ давно пишетъ (особенно, если еще чему-нибудь учился, знаетъ языки и много читалъ), онъ набиваетъ руку и пріобрѣтаетъ способность много и скоро писать обо всемъ, и притомъ такъ, что въ его писаніи есть какая-то оригинальность, какой то блескъ выраженія. Но это оригинальность искусственная, это блескъ фольги. Прочтете—и не помните, что́ и о чемъ вы прочли. Особенно поражаетъ васъ въ его слогѣ искусство перефразированія: одна и та же мысль, и притомъ простая и пустая, какъ напр. то, что деревянные столы дѣлаются изъ дерева, одна и та же мысль тянется у него длинной вереницей предложеній, періодовъ, троповъ, фигуръ; онъ переворачиваетъ ее съ боку на бокъ, плодитъ ее на цѣлыхъ страницахъ и пересыпаетъ многоточіями. Все у него такъ кудряво, во всемъ такое изобиліе эпитетовъ, амплификацій, что неопытный читатель дивится этой живописности, этой рельефности, этимъ разноцвѣтнымъ и блестящимъ переливамъ слога,—и его очарованіе только тогда исчезнетъ, когда онъ задастъ себѣ вопросъ о содержаніи бойко и затѣйливо написанной статьи: ибо вмѣсто всякаго содержанія онъ замѣчаетъ, къ удивленію своему, только одно пухлое самолюбіе и однѣ пухлыя слова и фразы. Это особенно часто является на Западѣ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ Западъ началъ гнить; у насъ, на Руси, гдѣ еще писательство не обратилось въ привычку, такія явленія пока еще едва ли возможны.

Вообще убѣжденія людей посредственныхъ, невѣжественныхъ и ограниченныхъ представляютъ собой картину столько же смѣшную, сколько и жалкую. Они почти всегда оканчиваютъ рѣшительнымъ неуспѣхомъ и совершеннымъ отчаяніемъ. Не такое зрѣлище представляютъ собой люди ловкіе, но безъ всякихъ убѣжденій, критики не по призванію, а по нуждѣ или по разсчету. Этимъ большей частью хорошо везетъ, особенно, если они умѣютъ во-время остановиться, кстати замолчать. Но здѣсь-то они обыкновенно и попадаются въ сѣти своего чернаго демона. Привычка управлять мнѣніемъ довѣряющей имъ части публики такъ вкореняется въ нихъ, что дѣлается равносильной страстью жаждѣ пріобрѣтенія. Это ихъ заставляетъ всю жизнь повторять одно и то же, т. е. кричать о своихъ заслугахъ, о своей народности, о зависти, невѣжествѣ, злобѣ

Digitized by Google

и безталантности своихъ враговъ, о своей готовности умереть за истину (на бумагѣ), о томъ, что кто не писалъ самъ романа, тотъ не имѣетъ права судить о чужихъ романахъ... Какъ это не надоѣстъ имъ самимъ! Тактика ихъ очень проста и (до поры до времени) очень вѣрна; они льстятъ публикѣ, величая ее «почтеннѣйшей и милостивой государыней» (въ харчевняхъ такая галантерейность обращенія, говорятъ, въ большомъ ходу), и главное—хвалятъ себя безъ стыда и совѣсти. Одну и ту же книгу они и разбранятъ и расхвалятъ, и потомъ опять разбранятъ и расхвалятъ, смотря по тому, что найдутъ въ книгѣ... Если ихъ уличатъ въ противорѣчіи, они ссылаются или на сотрудника, котораго, будто-бы, не считаютъ себя вправѣ стѣснять въ убѣжденіяхъ, или говорятъ, что ихъ листокъ даетъ мѣсто всѣмъ мнѣніямъ, не отвѣчая ни за одно. Притомъ же они очень хорошо знаютъ, что журнальные листы живутъ одинъ день и завтра забываются: такъ гдѣ же публикѣ помнить всѣ противорѣчія и всѣ продѣлки его издателей! До убѣжденій, до началъ имъ нѣтъ дѣла: они знаютъ—будетъ день, будетъ и хлѣбъ: И потому у нихъ что день, то новыя убѣжденія. Въ одномъ только вѣрны они себѣ—во враждѣ ко всякому успѣху, въ которомъ они не участники—и къ матеріальному, и къ умственному. Талантовъ они не любятъ по инстинкту, ибо сами богаты только звонкими ходячими талантами. Все это опять обыкновенное явленіе на Западѣ, гдѣ ежедневная журналистика сосредоточила въ себѣ всѣ интересы современной жизни. Тамъ даже бываютъ такіе газетёры, которые, прочтя въ другомъ журналѣ что-нибудь о литературныхъ плутняхъ, сейчасъ же пишутъ возраженія и нападаютъ на дурной обычай употреблять личности. Успѣхъ книги они обыкновенно измѣряютъ ея расходомъ; нападая на другой журналъ, всегда считаютъ по пальцамъ его подписчиковъ. Если имъ нѣкогда удалось поддѣть публику какими-нибудь шарлатанскими сочиненіями, то они такъ и колятъ глаза людямъ, которые ничего не издали отдѣльно, лишая ихъ за это права писать въ журналахъ. Имъ нужды нѣтъ, что ихъ книги давно уже забыты: они тѣмъ громче кричатъ о своихъ заслугахъ, зная, что не всякій читатель захочетъ справляться насчетъ достоинства ихъ писаній. Но какъ же, спросятъ насъ, они такъ долго могутъ держаться? Очень просто: люди смѣтливые, они во-время затѣяли изданіе, въ которомъ была нужда; прежде, чѣмъ публика ихъ разгадала, изданіе ихъ получило ходъ, а соперниковъ не являлось, потому что за границей основаніе новаго изданія очень трудно, въ денежномъ отношеніи.

Это промышленники мелкіе. Ихъ критика—фельетонная, мелочная; она состоитъ больше въ объявленіи о новыхъ книгахъ съ приличными возгласами. Но бываютъ промышленники en grand, промышленники оптовые. Этимъ для успѣха нужна не одна ловкость и изворотливость, но и умъ и способности, если не талантъ. Мелкая изворотливость имъ нужна только для зазыва публики въ ихъ олимпійскій циркъ съ великолѣпными представленіями на лошадяхъ и съ фейерверками; но тутъ имъ можетъ помочь какая-нибудь пріятельская газета, которая закричитъ: «кто не подпишется, тотъ не любитъ отечественной литературы». Но вотъ великое дѣло совершено съ успѣхомъ: тысячи подписчиковъ жаждутъ читать новый журналъ—неслыханное чудо, невиданное диво въ мірѣ журналистики. Любопытно знать, какъ и чѣмъ оправдаетъ новый журналъ возбужденныя имъ безмѣрныя ожиданія въ публикѣ, какъ и чѣмъ упрочитъ онъ свое существованіе на будущее время. Разумѣется, критикой, которая есть душа всякаго журнала. Въ чемъ же будетъ состоять направленіе новой критики, какой будетъ ея отличительный характеръ?—Нашъ журналистъ человѣкъ умный: онъ знаетъ, что надо блеснуть новизной, надо быть оригинальнымъ, надо озадачить. И вотъ онъ полагаетъ въ основу своей критики скептицизмъ и насмѣшку. На что же устремлены его скептицизмъ и насмѣшка?—На все, о чемъ ни говоритъ онъ, на все, чѣмъ ни великъ міръ науки, мысли, искусства. Онъ понимаетъ, что скептицизмъ — самая лучшая удочка для уловленія толпы. Простодушная, она обыкновенно удивляется тому, кто, много зная (т. е. обо многомъ говоря съ увѣренностью), ничему не вѣритъ и все считаетъ за вздоръ. Насмѣшка ее забавляетъ, не давая ей труда мыслить и вникать въ сущность дѣла. Толпа притомъ самолюбива; она низко кланяется генію, таланту, всякому роду нравственнаго превосходства; но отъ этихъ поклоновъ втайнѣ страждетъ ея самолюбіе; ей непріятно думать, что надъ ней такъ высоко стоятъ нѣсколько выскочекъ, что эти выскочки высшей натуры, что они—аристократы человѣчества, а она, бѣдная толпа, представляетъ собой простой народъ, plebs. Надо подслужиться ей, надо польстить ея тайной думѣ, которой она не смѣетъ высказать, надо говорить ей, что все хорошо только издали, что славны бубны за горами, что все великое велико только условно И вотъ — въ новомъ журналѣ является біографія за біографіей, но совсѣмъ не

Digitized by Google

вродѣ Плутарховыхъ «жизнеописаній великихъ мужей». Простодушный и возвышенный грекъ видѣлъ въ своихъ великихъ мужахъ проявленіе на землѣ божественнаго начала, торжество и славу человѣческаго духа, красу и утѣшеніе человѣчества. Онъ не скрывалъ отъ читателя темныхъ сторонъ своихъ героевъ, ибо зналъ, что безъ этихъ сторонъ они были бы не людьми, а призраками; онъ отыскивалъ силу въ слабости, разумъ—въ ограниченности, добродѣтель—въ борьбѣ со страстями,—такъ, какъ все это является въ самой дѣйствительности и какъ слѣдственно иначе являться не можетъ. Нашъ біографъ отправился отъ противоположной точки воззрѣнія: онъ отыскивалъ эгоизмъ въ самопожертвованіи, заблужденіе —въ истинѣ, глупость и тщеславіе—въ добродѣтели. Великіе люди у него явились и завистниками, и интриганами, и пролазами, и эгоистами, и невѣждами, и негодяями; онъ искусно умѣлъ оттѣнить ихъ этими качествами такъ, что изъ-за этихъ качествъ не видно стало великихъ людей. Когда же сами факты слишкомъ противорѣчили его уже черезчуръ субъективнымъ воззрѣніямъ на великое въ мірѣ, онъ—смѣло ломалъ дѣйствительность фактовъ, выворачивалъ ихъ наизнанку или, опираясь на свою мнимую ученость, выдумывалъ небывалые факты или отрицалъ дѣйствительность извѣстныхъ и доказанныхъ, ссылаясь на какія-нибудь небывалыя новыя сочиненія. И вотъ толпа обрадовалась, что ей все по плечу, что она нисколько не хуже, нисколько не ниже своихъ бывшихъ идоловъ, которые велики, только благодаря прихоти ваятелей, давшихъ имъ колоссальные размѣры. Славный журналъ! толпа читаетъ и не нахвалится!... Но не однимъ этимъ ее тѣшатъ. Ей доказываютъ, что наука—вздоръ, изобрѣтеніе педантовъ, что разумъ, которымъ гордится человѣчество, есть не что иное, какъ обманщикъ человѣчества, который водитъ его за носъ; что система выдумана школярами, чтобы затемнить истину, что можно все знать, ничему не учась и только читая журналъ, въ которомъ проповѣдуются такія удобоприложимыя къ жизни начала; что философы — шарлатаны, что самъ Сократъ былъ тонкій плутъ, морочившій аѳинянъ своимъ демономъ, и пр. «Эге, ге!—говорила толпа, лукаво посвистывая,—такъ вотъ оно какъ! ай-да молодецъ! славно, ну!». Но толпа не можетъ жить безъ геніевъ: отсутствіе геніевъ такъ же оскорбляетъ ея самолюбіе, какъ и ихъ превосходство передъ ней. Ловкій критикъ-скептикъ понимаетъ это. И вотъ онъ дѣлаетъ своихъ геніевъ, выдавая патенты на геніальность своимъ клевретамъ, разной посредственности. Это ему и легко, и весело: онъ ихъ и жалуетъ, и разжалываетъ по своей волѣ, а они его трепещутъ, пишутъ по его заказамъ, работаютъ съ плеча, — и романамъ, повѣстямъ, драмамъ конца нѣтъ... Толпѣ любы эти геніи, съ которыми она можетъ обходиться за панибрата, которые велики, знамениты, славны, и въ то же время скромны и никого не могутъ оскорбить своимъ превосходствомъ; которые сочиняютъ славно, а зазнаться не смѣютъ, вѣдая, что съ ними церемониться не будутъ, какъ съ тѣми деревянными божками, которымъ буряты кланяются и приносятъ жертвы во время ведра, и которыхъ они же нещадно сѣкутъ во время ненастья. Все истинно великое, истинно даровитое критикъ хвалитъ только по отношеніямъ, когда отъ этого есть польза его журналу; но и тутъ онъ хвалитъ такъ двусмысленно, что не разберешь, шутитъ онъ или говоритъ серьезно, бранитъ или хвалитъ. Тѣ же таланты, которые гордо презираютъ и его бранью, и его лестью, онъ неослабно преслѣдуетъ и намеками, и явной бранью. Ему это такъ легко, онъ такъ смѣлъ и рѣшителенъ... Разбирая книгу, онъ выдастъ собственное сочиненіе за выписку изъ разбираемой книги и скажетъ: «смотрите, какъ глупо!» Онъ же къ этому мастеръ смѣшить толпу, — а кто хохочетъ, тотъ побѣжденъ; тому некогда ни подумать, ни навести справки. Все это для критика-скептика очень хорошо: журналъ его цвѣтетъ, имя его пользуется извѣстностью, благосостояніе утверждено. Но высшая точка успѣха часто бываетъ опасна; кому нельзя идти выше, тотъ часто летитъ внизъ... Толпа—предатель, толпа не умираетъ, какъ человѣкъ; ея выбылые ряды безпрестанно замѣняются новыми, свѣжими лицами, которыя требуютъ новаго и находятъ пошлымъ повтореніе стараго. Нашъ же журналистъ-скептикъ по неволѣ долженъ ограничиться повтореніемъ одного и того же, ибо только одна истина неистощима въ своемъ развитіи и, пребывая самой собой, одной и той же, всегда является въ своемъ развитіи новой и оригинальной. И благо скептическому критику, если онъ съумѣетъ остановиться во время, и будетъ забытъ, не напоминая о себѣ! изъ всѣхъ родовъ забвенія самый унизительный для человѣка тотъ, когда онъ еще твердитъ о себѣ, а о немъ уже забыли. Не помогутъ тогда ему никакіе фокусы-покусы, и его журналъ падетъ, какъ ни вспрыскивай его мертвой и живой водой позднихъ преобразованій и улучшеній, какъ ни призывай себѣ на помощь и на поддержку неопытныхъ спекулянтовъ...

Скептицизмъ—слово великое и слово пошлое, смотря по тому, какъ его понимаютъ.

Digitized by Google

Скептицизмъ никогда не бываетъ самъ себѣ цѣлью, и не въ немъ удовлетвореніе стремленій и порываній духа, жаждущаго знанія! Глупцы и люди ограниченные всему вѣрятъ, потому что не могутъ ничего изслѣдовать. Люди глубокіе—скептики по натурѣ; но скептицизмъ такихъ людей есть признакъ души, жаждущей знанія, а не холоднаго отрицанія. Чѣмъ больше любитъ человѣкъ истину, тѣмъ внимательнѣе ее изслѣдуетъ, тѣмъ осторожнѣе ее принимаетъ. Онъ вѣритъ въ достоинство истины, вѣритъ въ непреложность ея существованія; но онъ не вѣритъ на слово людямъ, занимавшимся изслѣдованіемъ истины, ибо знаетъ, что человѣкъ и истина—не одно и то же; но онъ не вѣритъ безусловно и самому себѣ, ибо знаетъ, что его, какъ человѣка, можетъ обманывать и привычка, и непосредственность, и чувство, и его собственный умъ. Скептицизмъ такихъ людей не отрицаетъ истины, а отрицаетъ только то, что можетъ быть примѣшано людьми къ истинѣ ложнаго и ограниченнаго. Во времена переходныя, во времена гніенія и разложенія устарѣвшихъ стихій общества, когда для людей бываетъ одно прошедшее, уже отжившее свою жизнь, и еще не наставшее будущее, а настоящаго нѣтъ, — въ такія времена скептицизмъ овладѣваетъ всѣми умами, дѣлается болѣзнью эпохи. Истинный скептицизмъ есть неудовлетворяемое стремленіе къ истинѣ, а слѣдовательно—болѣзнь, какъ голодъ и жажда, ненормальное состояніе, средство, а не цѣль. Только умы мелкіе, души ничтожныя щеголяютъ скептицизмомъ, какъ модным платьемъ, хвалятся имъ, какъ заслугой. Только маленькіе великіе люди, фокусники и потѣшники праздной толпы, только они сомнѣваются во всемъ легко и весело, забавляясь, а не страдая... И что за заслуга—надъ всѣмъ смѣяться и все бранить—и науку, и разумъ, и искусство? Это значитъ не быть умнымъ и великимъ.

Обращаясь отъ этихъ общихъ понятій снова къ русской критикѣ, мы вмѣстѣ съ краснорѣчивымъ профессоромъ, подавшимъ намъ своей прекрасной рѣчью поводъ ко всѣмъ этимъ разсужденіямъ, желаемъ ей, т. е. русской критикѣ, «больше любви къ искусству и больше уваженія къ самой себѣ!».

Digitized by Google

II. БИБЛІОГРАФІЯ.

Очерки русской литературы. *Соч. Н. Полевого. Спб. 1839. Двѣ части.*

Полевой—не поэтъ и не ученый, но писатель и литераторъ, и притомъ замѣчательный въ полномъ значеніи этого слова. Слишкомъ двадцать лѣтъ дѣйствовалъ онъ на литературномъ поприщѣ, и участіе его въ литературѣ было чувствуемо, видимо и даже богато результатами, которые имѣютъ видъ большей или меньшей заслуги. Теперь поприще его почти кончено: онъ самъ говоритъ это въ предисловіи къ своимъ «Очеркамъ». Продолжая дѣйствовать вновь, и часто новымъ и особеннымъ противъ прежняго образомъ, онъ однако отсталъ отъ новаго поколѣнія. Слѣдовательно для него настало время суда и оцѣнки, словомъ—сознанія.

Ничего нѣтъ труднѣе, какъ судить о произведеніяхъ писателя, разбросанныхъ по журналамъ или появлявшихся въ разъединенныхъ изданіяхъ, по-штучно: только полное собраніе ихъ даетъ возможность обозрѣть дѣятельность писателя въ ея общности и совокупности и произнести ей сужденіе, подъ вліяніемъ полнаго и цѣлостнаго впечатлѣнія. Самъ Полевой понялъ это,—и, сознавая конецъ своего поприща, предпринялъ изданіе своихъ критическихъ статей, разсѣянныхъ по «Телеграфу», «Библіотекѣ для Чтенія» и «Сыну Отечества». Его предупредительность въ этомъ отношеніи такъ велика, что онъ даже озаботился познакомить публику съ своей частной жизнью, произнести себѣ полную оцѣнку. «Въ романѣ, въ драмѣ, въ исторіи, критикѣ я всегда былъ одинъ и тотъ же (говоритъ онъ въ предисловіи). Мечтатель въ повѣсти, безпристрастный изслѣдователь въ исторіи, иногда строгій критикъ чужого произведенія, я ошибался и думалъ можетъ-быть невѣрно, но никогда не измѣнялъ добру, и никогда не подымалась рука моя сорвать вѣнокъ съ заслугъ, никогда голосъ мой не возвышался противъ дарованія истиннаго». Всѣму этому мы охотно вѣримъ—и какъ не вѣрить, когда насъ увѣряетъ въ этомъ самъ Полевой, который себя знаетъ лучше другихъ?—Но мы въ то же время думаемъ, что судъ о насъ принадлежитъ другимъ, а не намъ самимъ, и что подобныя увѣренія очень похожи на оправданія въ винѣ, въ которой насъ никто не уличалъ. Особенно интересны и умилительны увѣренія Полевого въ чистотѣ его души и незлобіи сердца,—въ томъ, что ему всегда были чужды низкія чувства, каковы зависть, противорѣчіе съ своимъ убѣжденіемъ; что это подтвердятъ втайнѣ самые враги его; что многіе изъ бывшихъ его врагами, узнавъ его покороче, крѣпко жали ему руку и дѣлались его искренними друзьями, и пр., и пр. И этому всему мы охотно вѣримъ—изъ вѣжливости, но все это пріятнѣе было бы намъ услышать о Полевомъ отъ кого-нибудь другого, чѣмъ отъ него самого. Не говоря о томъ, что судъ о самомъ себѣ не всегда бываетъ чуждъ пристрастія,—законы приличія запрещаютъ занимать публичное вниманіе своей особой, а тѣмъ болѣе похвалами ей... Въ одномъ мѣстѣ предисловія откровенность Полевого дошла до того, что онъ признался ей по секрету, что, простивъ всѣмъ своимъ врагамъ, никакъ не могъ простить *четверыхъ*... Что̀ сказать обо всемъ этомъ? Гёте безъ зазрѣнія совѣсти говорилъ о себѣ, какъ о геніи,—и всѣ вѣрили ему, слушали его съ благоговѣніемъ. Та же исторія была и съ Суворовымъ... Позволѣте, позвольте!.. Вспоминаемъ... Въ VI № «Сына Отечества» за прошедшій годъ было напечатано умилительное и дружеское посланіе Полевого къ Булгарину, въ которомъ Полевой говоритъ о себѣ между прочимъ слѣдующее: «Великій Гёте говорилъ, помнится, Эккерману, что надобно дѣлать, что̀ можно, и никогда не разсчитывать на великое и огромное, ибо великое и огромное явится само-собой, если только Богъ далъ намъ для него способность. Великій Суворовъ отвѣчалъ кому-то, кто спрашивалъ (его?), какъ онъ могъ одержать столько побѣдъ и сдѣлаться столь великимъ полководцемъ: «Помилуй Богъ, просто: я всегда воображалъ себѣ, что я прапорщикъ и несу голову за первый крестикъ; другіе осторожны, помилуй Богъ—ретирады, деплояды—а оттого они хорошіе полководцы, а я великій полководецъ!» Я всегда былъ увѣренъ въ истинѣ словъ Гёте и Суворова, и потому бросался страху прямо въ глаза, увѣренный, что если Богъ далъ мнѣ средства на великое, великое явится само-собой». Не забудьте, что Полевой, уноминая о Гётѣ и Суворовѣ, говоритъ о своихъ драматическихъ пьесахъ... Что-жъ тутъ удивительнаго? — Сознаніе собственнаго величія свойственно всякому великому человѣку... Это еще довольно скромно, а—вотъ былъ на святой Руси человѣкъ, который печатно сказалъ о себѣ: «я знаю Русь, и Русь меня знаетъ». Кто бы, вы думали, былъ этотъ великій человѣкъ?.. Конечно Петръ Великій, который мощной рукой вдвинулъ Россію во всемірную исторію, указалъ ей въ будущемъ все-

Digitized by Google

Еще менѣе удовлетворительна статья о Жуковскомъ. Вообще критикъ не благоволитъ къ Жуковскому, но потому, что этотъ поэтъ не соотвѣтствуетъ его личнымъ убѣжденіямъ объ искусствѣ, а не по какому-нибудь чувству личности, ибо тонъ всей статьи самый благородный, а во многихъ мѣстахъ видна горячая любовь къ поэту, которой критикъ какъ-бы невольно, вопреки своимъ воззрѣніямъ, увлекается. И какъ не любить горячо этого поэта, котораго каждый изъ насъ съ благодарностью признаетъ своимъ воспитателемъ, развившимъ въ его душѣ всѣ благородныя сѣмена высшей жизни, все святое и завѣтное бытія? Это безпрерывное стремленіе куда-то, это томительное порываніе въ какую-то туманную даль, за которой тускло мерцаетъ заря лучшей жизни; эта вѣчная грусть по какомъ-то недостижимомъ идеалѣ блаженства, тоскливое воспоминаніе о миломъ «прежде», въ которомъ жизнь была такъ прекрасна, такъ полна надеждъ и удовлетворенія; это всегдашнее недовольство настоящимъ, которое богато только утратами и страданіемъ; эта благородная покорность волѣ Провидѣнія; эта гордая и твердая вѣра въ вѣчность любви и жизни—непреходящность того, что̀ выражается въ преходящихъ явленіяхъ міра; это грустное наслажденіе роскошью прекрасной природы, это всегдашнее прощаніе съ обаятельными радостями земного и перенесеніе всѣхъ упованій по ту сторону жизни, туда, гдѣ совершеніе всѣхъ обѣтованій души и мистическихъ предчувствій полнаго любви и страданія сердца, гдѣ вѣчная весна, неувядающіе цвѣты радости, гдѣ нѣтъ разлуки съ милымъ:—что̀ это такое, какъ не первое пробужденіе духа, сознавшаго себя духомъ?.. И въ какихъ дивныхъ образахъ, прозрачно сотканныхъ изъ волнующихся тумановъ, вечерняго сумрака и алой зари, въ какихъ мелодическихъ звукахъ,—похожихъ то на звуки эоловой арфы, пробуждаемые дуновеніемъ зефира, то на ропотъ гремучаго ручья,—передалъ намъ ихъ нашъ унылый пѣвецъ?.. Есть въ жизни человѣка моментъ, когда онъ вырывается изъ объятій матери-природы, отвергается ея упоительныхъ наслажденій—и душа его груститъ, безъ всякой причины къ горю, сердце сжимается страданіемъ, безъ всякой внѣшней причины,—и сладка ему грусть его, и любитъ онъ свое страданіе, и лелѣетъ его, и жаль ему разстаться съ нимъ... Юному человѣку скучно и тѣсно на землѣ, и крыльевъ бы, крыльевъ ему—онъ полетѣлъ бы за ея таинственный занавѣсъ, облетѣлъ бы всѣ эти лучезарныя звѣзды, такъ привѣтливо, такъ родственно манящія его къ себѣ своимъ алмазнымъ блескомъ!.. Можетъ-быть тамъ онъ увидѣлся бы съ какой-нибудь родной ему душой, съ милымъ сердцу, утраченнымъ на землѣ.. Что̀ же такое эта кроткая грусть, что̀ же такое это сладкое страданіе? что же такое эта унылая мечта о тихомъ снѣ въ хладныхъ нѣдрахъ земли,—когда же? въ порѣ кипящей надеждами и силами юности, въ порѣ веселія и наслажденія? что̀ же такое это недовольство землей, это томительное, безконечное стремленіе въ ту сторону, которой нѣтъ имени, нѣтъ предѣловъ? Это пробужденіе юнаго духа, переставшаго быть тѣломъ; это порывъ къ безконечному, это стремленіе къ тому, что̀ скрывается за дѣйствительностью?.. Но развѣ оно, это таинственное искомое, развѣ оно не въ дѣйствительности, если скрывается внутри ея же явленій? зачѣмъ же эта ссора съ дѣйствительностью; это добровольное отрываніе себя отъ полноты ея прекрасныхъ и полныхъ жизни явленій?.. Увы! горе тому, кто не перешелъ черезъ эту добровольную ссору, кто не испыталъ этой тихой грусти, не извѣдалъ этого сладкаго страданія и не зналъ этого тоскливаго, страстнаго порыванія туда, туда, выше и дальше отъ земли!... Горе тому, кому не мила была мысль о смерти, кто не любилъ для того, чтобы только любить, чья любовь къ женщинѣ не была только грустью, только молитвой, робкая, стыдливая, дѣвственная, безмолвная, чуждая всякаго желанія, смущающаяся отъ встрѣчи съ милымъ взоромъ, отъ тихаго пожатія руки! Да, горе ему: онъ никогда не будетъ человѣкомъ, онъ никогда не узнаетъ дѣйствительности, какъ откровенія таинства жизни, какъ ощущенія безконечнаго блаженства: его дѣйствительность будетъ грубая, матеріальная, практическая, полезная, понятная какъ $2\times2=4$, сухая и пошлая, какъ эта аксіома!... Дѣйствительность не постигается вдругъ и вполнѣ: она открываетъ сначала только свои стороны, какъ крайности и противоположности,—и юный человѣкъ сперва отвлекаетъ отъ нея ея же собственныя стороны, переживаетъ полной жизнью въ ихъ отвлеченныхъ крайностяхъ, а потомъ уже, въ порѣ мужества, мощными объятіями созрѣвшаго разума охватываетъ ее во всей ея слитной полнотѣ и единствѣ. И въ жизни человѣчества былъ такой же моментъ, который длился двѣнадцать столѣтій:—мы говоримъ о среднихъ вѣкахъ, о романтической юности человѣческаго рода, когда запасался онъ романтическими элементами на будущую богатую жизнь. Жизнь есть великое таинство, начиная отъ рожденія и смерти человѣка, отъ сферы его чувствъ и понятія до явленій природы, до развитія изъ зерна малѣйшей былинки. Для юнаго человѣка вся природа жива, всѣ ея явленія олицетворены и то благосклонны, то враждебны ему, и онъ то любитъ, то страшится ихъ. Съ ними слиты для него и таинственныя силы, управляющія его судьбами. Онъ олицетворяетъ и природу, и собственныя страсти, и чувства, онъ олицетворяетъ и самыя случайности своей жизни,—и милая, прекрасная дѣвушка, найденное дитя, воспитанное среди дикой природы, въ отчужденіи отъ міра и людей, является ему Ундиной, сердитый потокъ—ея дядей Струемъ... Отсюда выходитъ все фантастическое царство таинственныхъ силъ, мрачныхъ привидѣній и выходцевъ изъ гроба, которыхъ такъ любитъ муза Жуковскаго, часто мѣняющая свѣтлые и прозрачные образы на мрачные и страшные, тихіе, мелодическіе звуки тоскующей любви—на скрипъ флюгера на башнѣ замка, на полуночное завываніе совы, свистъ вѣтра и борьбу стихій,

Digitized by Google

предрекающую недоброе... Фантастическое есть тоже одинъ изъ романтическихъ элементовъ духа, который долженъ быть развитъ въ человѣкѣ, чтобъ онъ былъ человѣкомъ. — Все это или почти все это находитъ Полевой отличительнымъ характеромъ поэзіи Жуковскаго, и все это восхищаетъ его въ ней; но все это у него только фактъ, мысль котораго непонятна для него. И потому онъ не можетъ простить Жуковскому отсутствія народности... Забавное обвиненіе!.. Жуковскій не народный поэтъ, и немногія попытки его на народность были неудачны—правда; но это совсѣмъ не недостатокъ, а скорѣе честь и слава его. Онъ призванъ былъ на другое великое дѣло: осуществить, черезъ поэзію, въ своемъ отечествѣ необходимый моментъ въ развитіи духа, — моментъ, выраженный въ жизни Европы средними вѣками, одухотворить отечественную поэзію и литературу романтическими элементами. Жуковскій по преимуществу романтикъ такъ, какъ Державинъ по преимуществу классикъ, во внутреннемъ значеніи этихъ словъ. Какъ сѣверное сіяніе, роскошны и великолѣпны картины природы у Державина, но такъ же и внѣшни, и холодны, какъ сѣверное сіяніе. Жуковскій вводитъ васъ во внутреннее святилище природы, дѣлаетъ для васъ слышнымъ біеніе ея сердца, ощутительнымъ теплое ея дыханіе... Въ изображеніяхъ природы у Державина вы не услышите прозябанія дольней лозы; Жуковскій вводитъ васъ въ сокровенную лабораторію силъ природы,— и у него природа говоритъ съ вами дружнымъ языкомъ, повѣряетъ вамъ свои тайны, дѣлитъ съ вами горе и радость, утѣшаетъ васъ... Жуковскій выразилъ собой столько же необходимый, сколько и великій моментъ въ развитіи духа цѣлаго народа, — и онъ навсегда останется воспитателемъ юныхъ душъ, полныхъ стремленія во всему благому, прекрасному, возвышенному, ко всему святому и завѣтному жизни, ко всему таинственному, духовному и небесному земного бытія. Недаромъ Пушкинъ называлъ Жуковскаго своимъ учителемъ въ поэзіи, наперсникомъ, пѣстуномъ и хранителемъ своей вѣтреной музы: безъ Жуковскаго Пушкинъ былъ бы невозможенъ и не былъ бы понятъ. Въ Жуковскомъ, какъ и въ Державинѣ, нѣтъ Пушкина, но весь Жуковскій, какъ и весь Державинъ въ Пушкинѣ, и первый едва ли не важнѣе былъ для его духовнаго образованія. О Жуковскомъ говорятъ, что у него мало своего, но почти все переводное: ошибочное мнѣніе!—Жуковскій поэтъ, а не переводчикъ: онъ возсоздаетъ, а не переводитъ, онъ беретъ у нѣмцевъ и англичанъ только свое, оставляя въ подлинникахъ неприкосновеннымъ ихъ собственное, и потому его такъ называемые переводы очень несовершенны, какъ переводы, но превосходны, какъ его собственныя созданія. Почему же онъ одинъ изъ всѣхъ русскихъ поэтовъ заимствуетъ у нѣмцевъ и англичанъ?—Потому, отвѣчаемъ, что тамъ, а не у насъ дома, были средніе вѣка человѣчества, и ихъ, а не наша и не другая какая, поэзія возникла изъ романтическаго искусства. Полевой ставитъ Жуковскому въ вину, что въ его переводахъ изъ Шиллера, изъ Байрона и Гёте одинъ и тотъ же колоритъ: мы видимъ въ этомъ только, что Жуковскій вездѣ былъ вѣренъ самому себѣ, своей великой идеѣ, своему великому призванію, и ставимъ ему это въ великую заслугу. Отъ всѣхъ поэтовъ онъ отвлекалъ свое или на ихъ темы разыгрывалъ собственныя мелодіи, бралъ у нихъ содержаніе и, переводя его черезъ свой духъ, претворялъ въ свою собственность. Полевой ставитъ Жуковскому въ вину, что онъ не понимаетъ Гамлета, почитая это великое произведеніе чудовищнымъ и уродливымъ. Опять фактъ, необъясненный мыслью! Жуковскій не понимаетъ Гамлета и не долженъ — не по недостатку чувства изящнаго, не по недостатку образованія, а по особенному свойству и направленію своего духа: любя Шекспира, онъ отказался бы отъ среднихъ вѣковъ, отъ романтизма, слѣдовательно отказался бы отъ самого себя. Кто изъ кипящихъ юношей въ романтическую пору своей жизни, въ эпоху гордыхъ и высокихъ идеаловъ не предпочтетъ Шиллера Шекспиру, не поставитъ Шиллера высоко надъ Шекспиромъ? Мало этого: кто изъ юношей не увидитъ въ Шиллерѣ величайшаго художника, и кто изъ нихъ что-нибудь увидитъ въ Шекспирѣ? Почему это? Потому что Шиллеръ поэтъ романтическій по преимуществу, слѣд. поэтъ юности; а что для Германіи Шиллеръ, то для Россіи Жуковскій. И какъ самъ Шиллеръ понималъ Шекспира, если рѣшился перевести его «Макбета» съ нѣкоторыми перемѣнами. Шекспиръ—поэтъ новаго времени, новаго искусства — поэтъ не идеаловъ, а дѣйствительности, и потому его понимаетъ только духъ многосторонній, и не юноши, а мужи. Есть люди, которые на всю жизнь остаются дѣтьми, и есть люди, которые на всю жизнь остаются юношами, не въ пошломъ, а въ высокомъ значеніи этихъ словъ: Гомеръ въ своей «Иліадѣ» — младенецъ; нашъ Крыловъ въ своихъ басняхъ—младенецъ; Шиллеръ умеръ юношей, хотя по лѣтамъ и давно уже былъ мужъ; Жуковскій и въ глубокой старости останется тѣмъ же юношей, какъ явился на поприщѣ литературы. Жуковскій односторонненъ—это правда, но онъ односторонненъ не въ ограниченномъ, а въ глубокомъ и обширномъ значеніи этого слова, какъ были односторонни всѣ великіе художники среднихъ вѣковъ и какъ односторонни новѣйшіе поэты—Шиллеръ, Жанъ-Поль Рихтеръ, Байронъ, которыхъ величіе заключается въ ихъ односторонности, какъ величіе Шекспира и Гёте заключается въ ихъ всеобъемлющей многосторонности. Когда единая и отвлеченная сторона духа есть выраженіе необходимаго момента въ жизни человѣка и человѣчества, — она велика и безконечна: односторонній Жуковскій явился органомъ великаго момента духа—романтизма и идеализма въ искусствѣ и въ жизни.

Итакъ, Полевой нашелъ въ поэзіи Жуковскаго недовольство земнымъ, стремленіе къ небесному, юношескую мечтательность, идеальную любовь и

Digitized by Google

пр., и пр., что̀ и другіе, больше или меньше, лучше или хуже, находили въ ней; но онъ не сказалъ, что̀ такое это найденное имъ, и оно осталось для него искомымъ. Такъ какъ объясненія найденнаго и расхваленнаго имъ въ поэзіи Жуковскаго онъ искалъ не въ философской мысли, а въ своихъ личныхъ мнѣніяхъ,—то это найденное и расхваленное и явилось чѣмъ-то случайнымъ и, слѣдовательно, безсмысленнымъ. Удивительно ли послѣ этого, что поэзія Жуковскаго стала у Полевого кругомъ виновата за то именно, чѣмъ онъ въ ней восхищается, слѣдовательно безъ вины виновата?.. Это ли критика? это ли оцѣнка поэта? Задача истинной критики—отыскать въ созданіяхъ поэта общее, а не частное; человѣческое, а не людское; вѣчное, а не временное; необходимое, а не случайное,—и опредѣлить, на основаніи общаго, т. е. идеи, цѣну, достоинство, мѣсто и важность поэта. А то-ли сдѣлалъ Полевой, такъ много наговоривъ о Жуковскомъ?...

Статью о Державинѣ назвали мы лучшей, о Жуковскомъ — одной изъ лучшихъ; но о статьѣ о Пушкинѣ рѣшительно не знаемъ, что̀ и сказать. Въ первой если не видно единой идеи, изъ себя развивающейся, зато видна общность взгляда, производящая въ читателѣ общность впечатлѣнія; во второй можно догадаться, о чемъ и почему именно такъ говоритъ критикъ, и въ ея изложеніи много увлекательности и жизни; но въ третьей ничего не поймете и не встрѣтите ни одного живого мѣста, ни одного сильнаго выраженія. Это какой-то хаосъ крутящихся понятій, которыя сталкиваются другъ съ другомъ и дерутся, и сквозь нихъ промелькиваютъ такіе іероглифы, которыхъ объясненія должно искать въ журнальныхъ ошибкахъ того времени. Критикъ ни въ чемъ не отдаетъ отчета, судитъ по Шемякински, хотя и началъ, по своему обыкновенію, съ вѣчнаго классицизма и романтизма, о которыхъ толки обратились у него въ общія мѣста и сдѣлались такъ же скучны и истерты, какъ и вѣчныя выраженія покойнаго «Московскаго Телеграфа»: идти въ рядъ съ вѣкомъ и отстать отъ вѣка. Чего не найдете вы въ этой статьѣ! И о XIX вѣкѣ, такъ хорошо знакомомъ критику, и о Байронѣ, и о Викторѣ Гюго! Въ ней даже прочтете вы удивительно глубокій, необыкновенно удовлетворительный, хотя и очень краткій и мимоходомъ набросанный разборъ одного изъ величайшихъ созданій Шекспира — «Короля Ричарда II». И потому мы не будемъ распутывать этой путаницы словъ и фразъ, написанныхъ явно въ безпокойномъ духѣ,— а ограничимся выставкой на видъ только нѣсколькихъ перловъ, съ бѣглыми на нихъ замѣтками. Во-первыхъ, мы узнаемъ изъ этой глубоко-философской статьи, что Пушкинъ есть представитель XIX вѣка въ русской поэзіи, но именно русской — и не болѣе, но что Пушкинъ — поэтъ, обладающій дарованіемъ обширнымъ, душой глубоко-раздражительной, восторженной, даромъ слова удивительнымъ; что карамзинизмъ повредилъ даже совершеннѣйшему изъ его созданій — «Борису Годунову»; что первая глава «Онѣгина» пестра, безъ тѣней, насмѣшлива, почти лишена поэзіи, вторая — впадаетъ въ мелкую сатиру, въ шестой поэтъ снова впадаетъ въ прежній тонъ насмѣшки, эпиграмму, и то же слѣдуетъ въ седьмой; но что поединокъ Ленскаго съ Онѣгинымъ выкупаетъ все; что руссизмъ «Руслана и Людмилы» была та несчастная, щеголеватая народность, Флоріановскій манеръ, по которому Карамзинъ написалъ «Илью Муромца», «Наталью боярскую дочь» и «Марѳу Посадницу», Нарѣжный — «Славянскіе вечера», а Жуковскій обрусилъ «Ленору», «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ» и сочинилъ свою «Марьину рощу»; что его «Кавказскій Плѣнникъ» блѣденъ и ничтоженъ, «Бахчисарайскій Фонтанъ» и «Цыганы» нерѣшительны, «Евгеній Онѣгинъ» легокъ. Полевой совѣтуетъ Пушкину (статья была написана въ 1833 году) выкинуть изъ собранія своихъ сочиненій «Дорожныя жалобы» и «Къ Вельможѣ», какъ пьесы, недостойныя его... Какъ жаль, что Пушкинъ не послушался господина Полевого и не отрекся отъ «Дорожныхъ жалобъ» — этой пьесы, проникнутой грустной ироніей, этой геніальной шуткой,—и отъ «Вельможи», произведенія, въ которомъ такой мощной и широкой кистью, съ такой полнотой, глубокостью и вѣрностью изобразилъ нашъ поэтъ характеръ, духъ и поэзію, словомъ, творчески воспроизвелъ идею русскаго XVIII вѣка, полнаго славы и величія, пировъ и роскоши, сомнѣній ума и жажды наслажденій!.. Да, вообще Пушкину много повредило то, что онъ не слушался совѣтовъ и наставленій Полевого... Нѣтъ силъ выписывать его мнѣнія о мелкихъ стихотвореніяхъ Пушкина: не знаешь—смѣяться или сердиться! Повѣрите ли, въ «Андреѣ Шеньѣ» и «Наполеонѣ» Полевой видитъ лучшія лирическія созданія Пушкина и ставитъ ихъ несравненно выше «Подражаній древнимъ», «Подражаній Корану» и такихъ пьесъ, какъ «Предчувствіе», «Кавказъ», «Трудъ», «Узникъ», «Анчаръ» и даже «Бѣсы»!.. Что̀ сказать объ этомъ? Видите-ли, въ чемъ дѣло: когда Полевой началъ читать, Державинъ былъ уже весь изданъ, и его могучіе звуки первые поразили впечатлѣніями поэзіи душу нашего критика, и статья Полевого о Державинѣ—лучшая его статья; Жуковскаго онъ уже изучалъ, потому что, для пониманія его, долженъ былъ сдѣлать себѣ усиліе, отрѣшаться отъ многихъ уже врѣзавшихся въ него односторонніхъ убѣжденій,—и онъ оцѣнилъ его уже менѣе впопадъ; но Пушкинъ явился уже совсѣмъ не во-время: онъ опоздалъ для Полевого, или Полевой уже опоздалъ для него,—и потому, пока Пушкинъ былъ еще только авторомъ «Руслана и Людмилы» и «Кавказскаго Плѣнника», пока еще онъ написалъ только «Андрея Шенье», «Къ Овидію», «Къ Ч—у», «Наполеона», Полевой удивлялся ему, провозглашалъ его «сѣвернымъ Байрономъ, представителемъ современнаго человѣчества»; а когда геній Пушкина началъ мужать и возмужалъ, Полевой поспѣшилъ взять назадъ свои критическіе приговоры. Пока «Онѣ-

Digitized by Google

гинъ» былъ еще недоконченной повѣстью, слѣдственно не имѣлъ полноты и цѣлости, а основная идея его была еще тайной,—Полевой не скупился на похвалы; когда же «Онѣгинъ» явился полнымъ, оконченнымъ, замкнутымъ въ себѣ художественнымъ созданіемъ, въ дивныхъ образахъ выразившимъ глубокую идею, — Полевой такъ оцѣнилъ его: «Вотъ послѣдняя глава, конецъ «Онѣгина»! Чѣмъ же кончилась эта исторія, сказка или романъ—спросятъ читатели. Чѣмъ?.. Да чѣмъ обыкновенно кончится все въ мірѣ? И Богъ знаетъ! Иной живетъ лѣтъ восемьдесятъ, а жизни его было всего лѣтъ тридцать. Такъ и «Евгеній Онѣгинъ»: его не убили, и самъ онъ еще здравствовалъ, когда поэтъ задернулъ занавѣсъ на судьбу своего героя». За этой замысловатой и насмѣшливой оговоркой слѣдуетъ выписка нѣсколькихъ строкъ съ приличной похвалой имъ!.. А не угодно ли полюбоваться, какъ оцѣнилъ Полевой третью часть мелкихъ сочиненій Пушкина, которая вышла въ 1832 году, и которая столько же выше первыхъ двухъ, сколько возмужавшій геній выше еще невозмужавшаго? Слушайте—и дивитесь:

«Теперь спросимъ у самихъ себя: того-ли Пушкина видимъ мы въ *третьей* части его стихотвореній, того-ли поэта, котораго полюбила публика наша и которымъ восхищалась она, читая первыя двѣ части его стиховъ? Повторяемъ, что *въ наружной отдѣлкѣ* онъ все тотъ же: *сладкозвученъ, плѣнителенъ, игривъ*; но это не творецъ посланія «Къ Ч—ву», «Андрея Шенье», «Наполеона», «Къ морю», и пр., и пр. Направленіе его, *взглядъ*, самое одушевленіе—совершенно измѣнились. Это не прежній задумчивый и грозный, сильный и пламенный выразитель думъ и мечтаній своихъ ровесниковъ; *это нарядный, блестящій и умный свѣтскій человѣкъ, обладающій необыкновеннымъ даромъ стихотворенія.*» («Телеграфъ». 1832, LXIII, стр. 570.)

Очень-съ хорошо! Это говорится о той третьей части, въ которой помѣщены: «Кавказъ», «Обвалъ», «Монастырь на Казбекѣ», «Делибашъ», «На холмахъ Грузіи лежитъ ночная мгла», «Не плѣняйся бранной славой», «Донъ», «Олеговъ Щитъ», «Поѣдемъ, я готовъ», «Когда твои младыя лѣта», «Я васъ любилъ», «Зима», «Что дѣлать намъ въ деревнѣ», «Зимнее утро», «Дорожныя жалобы», «Калмычкѣ», «Что въ имени тебѣ моемъ», «Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ», «Въ часы забавъ, иль праздной скуки», «Къ вельможѣ», «Поэту», «Отвѣтъ анониму», «Пью за здравіе Мери», «Пиръ во время чумы», «Бѣсы», «Труды», «Моцартъ и Сальери», «Цыганы», «Мадонна», «Эхо», «Клеветникамъ Россіи», «Бородинская Годовщина», «Узникъ», «Зимній вечеръ», «Даръ напрасный», «Анчаръ», «Подъѣзжая подъ Ижоры», «Примѣты» и наконецъ «Собраніе насѣкомыхъ» — стихотвореніе, которое особенно не нравится тонкому и чуткому вкусу нашего критика, но очень примѣчательное и важное, если подумаешь, какіе есть на свѣтѣ критики!...

Мы передали публикѣ фактъ о критикѣ Полевого; судить и доказывать не будемъ: есть факты, которые сами за себя громко говорятъ. И что же?— Мы очень далеки отъ того, чтобы подозрѣвать Полевого въ пристрастіи къ Пушкину: есть большая разница между ошибкой вслѣдствіе личной враждебности и ошибкой вслѣдствіе простодушнаго невѣдѣнія или бѣдности эстетическаго вкуса.

Статья о Пушкинѣ въ изданныхъ нынѣ «Очеркахъ» есть разборъ «Бориса Годунова». Какъ же оцѣнилъ Полевой это великое созданіе Пушкина?— А вотъ посмотрите: «Прочитавъ посвященіе, знаемъ напередъ, что мы увидимъ Карамзинскаго Годунова: этимъ словомъ рѣшена участь драмы Пушкина. Ему не пособятъ уже ни его великое дарованіе, ни сила языка, какой онъ обладаетъ». Теперь ясно и понятно ли, что̀ это за оцѣнка?... Вотъ, еслибы Пушкинъ изобразилъ намъ Годунова съ голоса знаменитой, но недоконченной «Исторіи Русскаго народа»—тогда его «Борисъ Годуновъ» былъ бы хоть куда и даже удостоился бы очень лестныхъ похвалъ со стороны «Московскаго Телеграфа»... Вообще Полевой очень не благоволитъ къ Карамзину. Ему даже не нравится слогъ «Исторіи Россійскаго Государства»—эта дивная рѣзьба на мѣди и мраморѣ, которой не сгложетъ ни время, ни зависть, и подобную которой можно видѣть только въ историческомъ опытѣ Пушкина: «Исторія Пугачевскаго Бунта». Уже только похвалить Карамзина—значитъ попасть подъ опалу Полевого. За что̀ такое неблаговоленіе?—За то, что Карамзинъ своими идеями принадлежалъ къ тому времени, въ которое родился и воспитался, а не къ тому, въ которое умеръ; забавное обвиненіе! Не знаемъ, потому ли, что мы не доросли до «высшихъ взглядовъ» Полевого, или потому, что переросли ихъ, но только мы видимъ въ Карамзинѣ писателя, оказавшаго великія и безсмертныя услуги своему отечеству,—писателя, который выразилъ духъ своего времени, но не заднимъ числомъ, а показавъ его своимъ современникамъ какъ новое для нихъ время; а въ Полевомъ видимъ дѣятельнаго писателя, обладаемаго больше тревогой, чѣмъ вдохновеніемъ, за все бравшагося и ничего неокончившаго, разрушившаго многія старыя предубѣжденія и не сказавшаго ничего новаго, оказавшаго большія заслуги отрицательно и никакихъ положительно, наконецъ критика, который, думая идти наравнѣ съ вѣкомъ, шелъ только наравнѣ съ толпой: толпа хвалила Пушкина—и онъ хвалилъ его; толпа охладѣла къ Пушкину—и онъ охладѣлъ къ нему; смерть Пушкина поразила общее вниманіе— и Полевой явился въ «Библіотекѣ для Чтенія» съ статьей о Пушкинѣ, въ которой много наговорилъ общихъ риторическихъ мѣстъ о поэтѣ и человѣкѣ, а ровно ничего не сказалъ о Пушкинѣ...

Да, Полевой опоздалъ для Пушкина: удивительно ли, что Гоголь для него—темна вода въ облацѣхъ?... Всему свое время и своя чреда,—и счастливъ тотъ, кто, во-время начавъ, умѣлъ и во-время кончить!...

Пропускаемъ статьи, не относящіяся къ искусству, и укажемъ на послѣднюю въ I-й части «Очер-

Digitized by Google

*

ковъ»—разборъ «Двумужницы» кн. Шаховского. Кто помнитъ этотъ разборъ, тотъ знаетъ, что Полевой судилъ заслуженнаго нашего драматурга за «Двумужницу», какъ за уголовное преступленіе противъ искусства, что онъ даже передразнилъ его, тутъ же написавъ злую пародію на его пьесу. Конечно пьеса кн. Шаховского—произведеніе не художественное, не превосходное, но и не безъ достоинствъ, а главное—она рѣшительно выше всѣхъ опытовъ Полевого въ драматической поэзіи, начиная отъ его Дюсисовской передѣлки Шекспирова «Гамлета» и оригинальной трагедіи «Уголино» до «Ужаснаго Незнакомца», не имѣвшаго никакого успѣха на сценѣ. Какъ помирить это противорѣчіе?... Мы жалѣемъ, что Полевой за критикой «Двумужницы» не помѣстилъ тотчасъ своего письма къ Булгарину («Сынъ Отечества», 1839, № IV), въ которомъ онъ высказалъ свои понятія о драматической поэзіи и о своихъ трудахъ по этой части. Не знаемъ, какъ сообразить и согласить взглядъ его на произведеніе князя Шаховского и на его собственныя созданія въ драматическомъ родѣ!... Взглянемъ на это письмо, чтобы поправить упущеніе Полевого, не напечатавшаго его рядомъ съ критикой «Двумужницы». Это тѣмъ болѣе необходимо для насъ, что можетъ быть окончательной оцѣнкой Полевого, какъ критика, и окончательнымъ разборомъ его критическихъ основаній.

Поводомъ къ этому письму Полевого къ Булгарину былъ разборъ какого-то драматическаго отрывка Полевого, написанный Булгаринымъ, который между прочимъ очень дѣльно, основательно и безпристрастно опредѣляетъ литературную дѣятельность Полевого слѣдующимъ образомъ:

«Почтенный Н. А. Полевой пишетъ, какъ говорятъ, полосами. О чемъ рѣчь въ публикѣ, за то принимается почтенный Н. А. Полевой. Была эпоха журналовъ—Н. А. издавалъ журналъ; была мода на Шеллингову философію и политическую экономію—онъ писалъ о философіи и политической экономіи. Настала мода на романы—онъ сталъ писать романы. Альманахи ввели въ моду оригинальныя повѣсти—Н. А. Полевой сталъ писать повѣсти. Заговорили объ исторіи—вотъ есть и исторія; наконецъ вкусъ высшаго сословія и публики явно обратился къ театру, и Н. А. Полевой пишетъ трагедіи, драмы, драматическія представленія, драматическія были и водевили. Пишетъ онъ такъ много, что мы не можемъ постигнуть, когда онъ выбираетъ время, чтобы читать и учиться: Н. А. Полевой—человѣкъ умный и *удивительно смышленый*. Онъ не можетъ написать ничего рѣшительно дурного, а между тѣмъ написалъ онъ много хорошаго. Что онъ ни напишетъ, во всемъ пробивается то талантъ, то смѣтливость, то ловкое подражаніе, *и все приноровлено къ понятіямъ* большинства.»

Эта безпристрастная и вѣрная оцѣнка, съ которой мы вполнѣ согласны, какъ-будто бы она была произнесена самими нами, заключается такъ:

«Невозможно быть безпристрастнѣе насъ къ Н. А. Полевому, и, *не взирая на прошедшее*, мы всегда отдаемъ справедливость его таланту, уму, трудолюбію, а болѣе всего *его смѣтливости, въ которой онъ не имѣетъ равнаго въ нашей литературѣ*.»

Не будемъ разбирать всѣхъ возраженій Полевого, написанныхъ въ отвѣтъ на это безпристрастное и вѣрное мнѣніе о немъ Булгарина, но обратимъ вниманіе только на два, въ которыхъ самымъ рѣзкимъ образомъ выразились понятія Полевого о наукѣ и искусствѣ. Полевой, доказывая, что онъ шелъ не за другими, а впереди другихъ, такъ говоритъ о своихъ отношеніяхъ къ философіи и политической экономіи: «Я усердно споспѣшествовалъ той и другой наукѣ, ознакомившись съ ними при самомъ началѣ моего литературнаго поприща, и не только не отвергаюсь ихъ теперь, но увѣренъ, что для прочнаго образованія, какого угодно, обѣ науки должны быть положены краеугольнымъ камнемъ въ основаніи: одна—какъ зерно всѣхъ идей человѣческихъ, другая—какъ важнѣйшее дополненіе исторіи, какъ необходимое знаніе въ практической жизни, которымъ разрѣшаются важнѣйшіе вопросы общественные». Какая поверхностность и сколько сбивчивости, противорѣчій и ложности въ этихъ немногихъ строкахъ! Когда и чѣмъ споспѣшествовалъ Полевой успѣхамъ философіи? и какъ онъ могъ споспѣшествовать ей, не зная ея, но повторяя о ней фразы, взятыя на выдержку изъ французскихъ журналовъ! Онъ говоритъ, что ознакомился съ ней при самомъ началѣ своего литературнаго поприща: это, вѣрно, передъ изданіемъ «Московскаго Телеграфа»! Вотъ что̀ значитъ заблаговременно запастись нужнымъ матеріаломъ! Но мы этому рѣшительно не вѣримъ, потому что философіей нельзя заниматься только въ извѣстное время и къ извѣстному сроку; должно посвятить ей всю жизнь свою или совсѣмъ за нее не браться; философію можно изучать, но нельзя ее выучить, ибо философія есть не только зерно, какъ говоритъ Полевой, но и развитіе идей, какъ разумно-необходимой возможности всего сущаго, ставшаго явленіемъ въ природѣ и въ исторіи; сознаніе той сферы сверхъ-чувственнаго и сверхъ-опытнаго, гдѣ бытіе равно небытію, возможность равна явленію... Кто началъ изучать философію, тотъ никогда не остановится въ этомъ изученіи: иначе никогда не сниметъ съ дѣйствительности таинственнаго покрывала Изиды. Поэтому ничего нѣтъ забавнѣе тѣхъ господъ, которые, вмѣсто: «я изучилъ Шеллинга», говорятъ: «я прочелъ Шеллинга», или которые говорятъ: «я знаю философію и могу говорить о ней, потому что тогда-то учился ей». Первые изъ этихъ господъ, т.-е. тѣ, которые не изучаютъ, а перелистываютъ Шеллинга, похожи на дѣтей, для которыхъ сѣсть верхомъ на палочку и скакать на лошади—все равно, и которыя, сѣвъ верхомъ на палочку, легко могутъ увѣрить себя, что они стремглавъ несутся на рьяномъ конѣ. Вторые изъ этихъ господъ похожи на какого-нибудь Кутейкина, который, вспомнивъ оное блаженное время, когда онъ, убоясь бездны премудрости, возвратился вспять, говоритъ съ полнымъ

Digitized by Google

убѣжденіемъ: «я твердо выучилъ философію—инда и теперь помню». Потомъ, скажите, Бога ради, какимъ образомъ политическая экономія стала объ-руку съ философіей—наукой наукъ,—какъ равное ей знаніе? Если политическая экономія есть наука, а не опытное знаніе, то она должна только основываться на философіи, занимая свое мѣсто въ энциклопедіи философіи, но отнюдь не тягаться въ равенствѣ съ ней. Кто листъ противопоставляетъ дереву, окошку или печную трубу—зданію, особенно, если это дерево—кедръ и это зданіе—храмъ?.. А что такое значитъ фраза Полевого, что «политическая экономія есть важнѣйшее дополненіе исторіи»? Теорія развитія народнаго богатства, безъ сомнѣнія, должна занимать и интересовать историка, какъ одна изъ многихъ сторонъ его предмета, но чтобы политическая экономія была какимъ-то дополненіемъ исторіи—это такъ непонятно, что, для уразумѣнія подобной загадки, надо перелистовать Шеллинга и выучить философію... Изъ этого можно видѣть, что Полевой не только глубоко знаетъ философію и политическую экономію, но и дѣйствительно много споспѣшествовалъ ихъ успѣхамъ въ нашемъ отечествѣ...

Теперь бросимъ взглядъ на понятіе Полевого о драматической поэзіи.

«Въ то-же грустное время жизни, когда я сочинялъ «Аббадонну», Шекспиръ, *старый другъ мой, соблазнилъ меня* переводить «Гамлета» и привесть притомъ въ исполненіе мысль мою о сценической передачѣ его твореній. Публика лучше журналистовъ и теоретиковъ поняла дѣло, и это рѣшило меня на драматическій опытъ еще, а потомъ на другой и на третій опытъ.»

Эти немногія строки многимъ радуютъ душу читателя—и тѣмъ, что Шекспиръ—другъ Полевому, и тѣмъ, что Полевой хочетъ передать на русскій языкъ всѣ произведенія своего друга; но гдѣ же доказательства того, что публика поняла дѣло? неужели въ томъ, что она вызвала переводчика, какъ она вызываетъ всѣхъ передѣлывателей французскихъ водевилей? или въ томъ, что, восхищенная игрой Мочалова и Каратыгина, часто смотрѣла на нихъ въ роли Гамлета, несмотря на искаженный и облизанный переводъ, крайне-дурную постановку и выполненіе пьесы?.. Потомъ, какое отношеніе имѣютъ къ переводу драмы Шекспира и собственныя театральныя издѣлія Полевого? Неужели и то, и другое—драматическій опытъ? Какъ? «Гамлетъ» Шекспира—и «Уголино» и «Ужасный Незнакомецъ» Полевого—драматическіе опыты?.. Какъ?.. Но... Извините, мы и забыли, что Полевой съ Шекспиромъ за-просто—свои люди, сочтутся сами; а наше дѣло—сторона...

«Не буду пересказывать здѣсь исторію *драмы и сцены*, и думаю, вы согласитесь безъ дальнѣйшихъ доказательствъ, что нашъ вѣкъ не сыскалъ еще современной ему драмы...»

Каково предложеніе? Согласиться, безъ дальнѣйшихъ доказательствъ, что нашъ вѣкъ не сыскалъ еще современной драмы и перебивается чужой? Не все ли это равно, что попросить когонибудь согласиться, что дважды два—пять, а не четыре?.. Въ XIX вѣкѣ знаменитѣйшія драмы—Шиллера и Гёте. Дѣло ясно: если эти драмы художественны, то зачѣмъ же ему, нашему вѣку, мимо драмъ, которыя у него есть, искать драмъ, которыхъ у него нѣтъ? Отъ добра добра не ищутъ, говоритъ мудрая русская поговорка. Если же драмы Шиллера и Гёте не художественны, а другихъ художественныхъ не является,—значитъ, ихъ нѣтъ, а «на нѣтъ и суда нѣтъ», говоритъ другая мудрая русская поговорка. Не смѣшно ли искать того, чего нѣтъ?..

«... а русская словесность и сцена еще менѣе сыскала ее. Какая должна быть *современная* драма? Какая должна быть драма у каждаго народа? И даже должна-ли быть отдѣльная драма русская, французская, нѣмецкая?»

Что за глубокіе вопросы! на днѣ ихъ и свѣта не видно!.. Русская сцена пашла современную драму-комедію отчасти въ «Горѣ отъ ума» Грибоѣдова и вполнѣ въ «Ревизорѣ» Гоголя. Конечно это еще одна сторона сцены, и этого еще немного; но вопросъ не въ количествѣ, а въ сущности, въ первообразѣ предмета. Русская же словесность нашла свою современную драму отчасти въ «Горѣ отъ Ума» Грибоѣдова и вполнѣ въ «Борисѣ Годуновѣ», въ «Сальери и Моцартѣ», «Скупомъ Рыцарѣ», въ «Русалкѣ», въ «Каменномъ Гостѣ» Пушкина и въ «Ревизорѣ» Гоголя. «Какая должна быть современная драма?» спрашиваетъ Полевой: вотъ предостолюбезный вопросъ! Право, подобные вопросы напоминаютъ нѣжныхъ супруговъ, которые до слезъ спорятъ—одинъ, что у нихъ родится сынъ, а другая, что у нихъ родится дочь... Такія вещи не выводятся a priori, и стремленіе выводить ихъ, равно какъ и историческіе факты въ будущемъ,—не философія, а философическое пересыпаніе изъ пустого въ порожнее. У отца есть сынъ—и онъ можетъ сказать, каковы наружность и характеръ его сына; но если этотъ сынъ его ожидается, то всѣ вопросы о его наружности и характерѣ будутъ походить на вопросъ: «какова должна быть русская драма?». Если поименованныя нами драматическія произведенія Грибоѣдова, Пушкина, Гоголя Полевой почитаетъ художественными, то онъ уже долженъ знать, какова должна быть русская драма; если же онъ не признаетъ ихъ художественными, то всѣ его усилія рѣшить этотъ вопросъ будутъ походить на усилія человѣка, который желаетъ разгадать, что будетъ находиться черезъ пять тысячъ лѣтъ на томъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ его домъ. Въ мышленіи немаловажная задача опредѣлить—что можетъ и что не можетъ быть мыслимо. Что же касается до вопроса, должна ли быть отдѣльная драма, русская, французская, нѣмецкая,—мы можемъ утвердительно отвѣчать Полевому на этотъ важный и глубокій вопросъ: должна, непремѣнно должна... еще разъ, тысячу, милліонъ разъ—должна, но должна съ условіемъ, чтобы прежде, нежели быть русской, фран-

Digitized by Google

цузской или нѣмецкой драмой,—быть художественной драмой. Послѣднее условіе гораздо важнѣе перваго: если соблюдено это послѣднее, то первое, безъ всякихъ условій и хлопотъ со стороны поэта, исполняется само собой. Если «Борисъ Годуновъ» Пушкина не художественная драма, то она и не русская, и никакая драма; а если художественная, то необходимо и русская, потому что написана русскимъ поэтомъ, на русскомъ языкѣ, да и самое содержаніе ея взято изъ русской исторіи.

«Я увѣренъ, что современная намъ драма не осуществлена ни французскими классиками и романтиками, ни германской драмой Гёте, Шиллера, Вернера, Грильпарцера, Мюльнера, и что Шекспиръ *цѣликомъ* такъ же не современная наша драма, какъ *цѣликомъ* Кальдеронъ, Софоклъ и Корнель. Далѣе идетъ другой рядъ вопросовъ о соглашеніи *нашей драмы*, сообразной нравамъ, понятіямъ, образованію, съ идеей *современной драмы вообще*. Наконецъ, третій рядъ вопросовъ о примиреніи *сцены съ драмой* или *теоріи съ практикой*.»

Превосходно! Во-первыхъ, что за чудное смѣшеніе именъ: Гёте и Шекспиръ перемѣшаны съ Грильпарцерами, Вернерами и Мюльнерами; Кальдеронъ и Софоклъ—съ Корнелемъ; о французскихъ классикахъ и романтикахъ говорится вмѣстѣ съ Гёте, Шекспиромъ и Софокломъ! Далѣе, каковы понятія объ органической цѣлости и художественной замкнутости изящныхъ произведеній: Шекспиръ и Софоклъ *цѣликомъ* не годятся, а ихъ надо облизывать и уродовать или по крайней мѣрѣ передѣлывать, какъ напр. передѣланъ «Гамлетъ» Дюсисомъ и Сумароковымъ, Висковатовымъ и Полевымъ!.. Второго и третьяго рода вопросовъ мы совершенно не понимаемъ, какъ будто бы они были изложены на китайскомъ языкѣ. «Все это вопросы важные, и можетъ-быть, да и кажется навѣрное, мы умремъ, не рѣшивши ихъ»—заключаетъ Полевой. Жаль, очень жаль! А вопросы дѣйствительно важные — право-съ! Бога ради, рѣшайте ихъ поскорѣе, г. Полевой! Вѣдь вы ихъ сочинили, вы ихъ и рѣшайте, а наше дѣло—сторона.

И Полевой рѣшаетъ:

«Но что же намъ дѣлать: сложить руки и сидѣть? Нѣтъ, надобно начать рѣшеніе, положить отъ себя нѣсколько данныхъ, къ которымъ потомъ приложить еще. Начать рѣшеніе должно *думая теоретически и дѣлая практически...*»

Видите-ли: ларчикъ просто открывался! У насъ нѣтъ драмы, такъ сдѣлаемъ драму, вмѣсто того чтобы сидѣть сложа руки. Положимъ, что теперь зима, и на дворѣ свирѣпствуютъ морозы, а намъ нужно, чтобы у насъ цвѣли розы. Но розы въ это время не цвѣтутъ; что-жъ! еще не большое горе: вмѣсто того чтобы сидѣть сложа руки, мы пошлемъ въ магазинъ, гдѣ дѣлаютъ изъ тканей какіе угодно цвѣты и розы; вотъ мы и съ розами, да еще съ такими, которыя никогда не увядаютъ, а развѣ только рвутся и пачкаются. Каковы понятія о творящей силѣ природы! нѣтъ ароматической красавицы, пышной царицы садовъ—сдѣлаемъ ее изъ тряпокъ!.. Каковы понятія о творящей силѣ художественнаго духа: у насъ нѣтъ драмъ Шекспира,—такъ есть драмы друга его, Полевого!..

«Примемся за опыты: одна теорія недостаточна нигдѣ—въ этомъ я увѣренъ, а одной практики также мало. Думать о драмѣ и сценѣ имѣлъ я время, принимаясь за ихъ практику на *сороковомъ* году отъ рожденія, изучивъ предварительно исторію ихъ у всѣхъ народовъ.»

Ну, господа, давайте, примемся всѣ за работу, а чтобы она шла успѣшнѣе, раздѣлимся на двѣ половины: одна будетъ дѣлать теорію лучшаго сорта... другая—самыя отличнѣйшія драмы, то есть практику-съ. Хорошо; но вотъ условіе sine qua non: кто не имѣлъ счастья дожить до полныхъ сорока лѣтъ, того мы не примемъ въ члены нашей драматической фабрики. Пусть это будетъ напоминать злую сатирическую статейку Полевого «Общество беззубыхъ Литераторовъ»; но что до этого! Конечно оно будетъ немножко смѣшно, но зато очень полезно: у насъ будетъ теорія и практика... Не пугайтесь также необходимости предварительнаго изученія драмы у всѣхъ народовъ: дѣло не такъ страшно, какъ кажется. Можетъ быть вы слишкомъ добросовѣстны, и вамъ кажется недостаточнымъ всей жизни для свершенія подобнаго подвига: увѣряю васъ, что это излишняя робость. Научитесь изъ примѣра Полевого, что подобный подвигъ можно совершить между другими гораздо важнѣйшими дѣлами, какъ-то: изученіемъ философіи Шеллинга, политической экономіи, изученіемъ всѣхъ литературъ въ мірѣ, изданіемъ журнала, сочиненіемъ разныхъ исторій въ нѣсколькихъ томахъ, сочиненіемъ нѣсколькихъ романовъ, множества повѣстей, безчисленнаго множества журнальныхъ статей. Для этого даже не нужно ни глубокаго эстетическаго чувства, ни глубокихъ познаній, ни даже какихъ-нибудь понятій объ искусствѣ: гораздо нужнѣе всего этого отвага и самоувѣренность...

«И все, что до сихъ поръ отдано мною на сцену, я *не* считаю ни чѣмъ другимъ, какъ только *добросовѣстными* опытами, игрой va banque на мою литературную извѣстность. Не мнѣ судить себя, но, признаюсь, не могу не порадоваться нѣкоторымъ успѣхамъ моихъ опытовъ, хотя приписываю ихъ снисхожденію публики только за *искренность* трудовъ моихъ, которую она вполнѣ оцѣняетъ и которая можетъ многое замѣнить въ писателѣ (умѣренность и аккуратность!). Опыты мои были разнообразны: въ «Уголино» мнѣ *хотѣлось испытать на сценѣ* идею судьбы, ожививъ ее религіознымъ духомъ; въ «Дѣдушкѣ Русскаго флота» — очеркъ исторической картины и русское народное чувство; въ «Иголкинѣ»—простое изображеніе фанатическаго чувства любви къ отечеству, безъ всякихъ декорацій сценическихъ; въ «Смерти или Чести»—нѣмецкую Trauerspiel и предѣлъ перехода изъ повѣсти въ драму(?!!!.): въ «Русскомъ Человѣкѣ»—сцену, сведенную на самыя простыя событія и чувства ежедневныя, въ которыхъ многіе не находятъ предмета для художника. Такъ, въ одномъ изъ новыхъ приготовляемыхъ мною для сцены опытовъ моихъ, подъ названіемъ «Ода Премудрой Царевнѣ Фелицѣ», мнѣ хотѣлось бы показать *поэтическую сторону прозаической жизни Державина*; въ другомъ,

Digitized by Google

«Еленѣ Глинской», испытать быть русской старины въ идеалѣ художника (?); въ третьемъ, «Стрѣшневѣ» — простое изображеніе русскаго быта и опытъ на сценѣ языка нашихъ предковъ; въ «Эспаньолетто» *попытаться на съверъ на изображеніе итальянскихъ страстей*; въ «Прасковьѣ Ляпуновой» *опять* (?) коснуться простого изображенія любви дѣтской, которая привела простую дѣвушку изъ снѣговъ Сибири къ Царскому престолу, для испрошенія милости виновному отцу ея.»

Читаешь—и глазамъ не вѣришь! Точь въ точь, какъ будто читаешь сводъ предисловій Виктора Гюго къ его драмамъ: тутъ я хотѣлъ высказать такую мысль; здѣсь я задалъ себѣ для разрѣшенія такую-то задачу; тамъ хотѣлъ доказать неоспоримость такого-то положенія,—какъ будто поэзія все равно, что математика! какъ будто поэтъ можетъ повелѣвать своимъ вдохновеніемъ!.. Только предисловія Виктора Гюго изложены покрасивѣе въ отношеніи къ языку, если и отличаются такой же мыслительностью... Жаль только, что при этой вѣрной оказіи Полевой не повторилъ, что онъ предпринялъ столько полезныхъ трудовъ изъ глубокаго убѣжденія, что драмы Шиллера и Гёте, ни самого Шекспира цѣликомъ не годятся для нашего времени, и изъ великодушнаго желанія помочь вѣку въ его горѣ...

И вотъ вамъ сводъ литературныхъ убѣжденій Полевого и его понятія объ искусствѣ... Удивительно ли, что онъ такъ вѣрно оцѣнилъ Пушкина и такъ хорошо понялъ Гоголя?.. Больше мы ничего не скажемъ и не будемъ выводить заключенія изъ нашей рецензіи, которая, противъ нашей воли, и безъ того вышла слишкомъ длинна. Пусть по тому, что̀ сказали мы, судятъ о томъ, что̀ хотѣли мы сказать; а кому этого мало, то—до слѣдующихъ двухъ томовъ «Очерковъ» еще будетъ о чемъ поговорить и что̀ сказать, а сказанное пусть примется только за предисловіе.

Секретарь въ сундукѣ(,) или ошибся въ разсчетахъ. *Водевиль-фарсъ въ двухъ дѣйствіяхъ. М. Р. Спб. 1839.*

Три оригинальные водевиля: I. Новички въ любви. II. Его превосходительство, или средство нравиться. III. Такъ, да не такъ. *Соч. Н. А. Коровкина. Спб. 1840.*

Водевиль не принадлежитъ къ сферѣ высшей поэзіи, высшаго искусства. Онъ не можетъ быть художественнымъ произведеніемъ, но онъ можетъ быть поэтическимъ произведеніемъ, какъ арабескъ, какъ виньетка Тонни Жоано къ «Донъ-Кихоту». Еслибы великій художникъ низошелъ, спустился до водевиля, его водевиль былъ бы шалостью генія, граціозной улыбкой прекрасной женщины. Предметъ водевиля—страстишки и слабости, смѣшныя предубѣжденія, забавно-оригинальные характеры, анекдотическіе случаи частной и домашней жизни общества. Словомъ, когда водевиль не выходитъ изъ своихъ предѣловъ и не заходитъ въ чуждыя ему сферы, когда онъ забавенъ, легокъ, остроуменъ, живъ, онъ можетъ доставлять очень пріятное, хотя и минутное удовольствіе и въ чтеніи, и на сценѣ. Таковъ водевиль французскій, этотъ едва-ли не самый вкусный и ароматическій плодъ французской поэзіи, французскаго ума, французской фантазіи и французской жизни послѣ пѣсни, которой представитель—Беранже. Если же къ этому присовокупить французское умѣніе и французскій талантъ владѣть сценой и дѣлать ее живымъ зеркаломъ дѣйствительной жизни, то̀ исключительное владычество водевиля на всѣхъ сценахъ Европы будетъ очень понятно.

Однако же водевиль хорошъ только на французскомъ языкѣ и на французской сценѣ, хотя онъ и овладѣлъ всѣми языками и всѣми сценами. Это очень естественно.—Чтобы усвоить себѣ французскую кухню, достаточно выписать изъ Парижа повара француза и отдать ему на выучку нѣмецкихъ или русскихъ поварятъ; но, чтобы усвоить себѣ французскій водевиль, надо сперва усвоить себѣ французскую національность, а это такъ же невозможно, какъ заставить курицу плавать съ цыплятами по свѣтлому пруду, а утку съ ея утятами—рыться въ кучахъ сора. Не знаемъ, право, каковы англійскіе и нѣмецкіе водевили, но знаемъ, что русскіе рѣшительно ни на что не похожи. Это какіе-то космополиты, безъ отечества и языка, какія-то тѣни безъ образа, клѣтушки и сарайчики (замками грѣшно ихъ назвать), построенные изъ ничего на воздухѣ. Въ нихъ рѣдко встрѣтите какое-нибудь подобіе здраваго смысла; объ остротѣ и игрѣ ума и словъ лучше и не говорить. Мѣсто дѣйствія всегда въ Россіи, дѣйствующія лица помѣчены русскими именами; но ни русской жизни, ни русскаго общества, ни русскихъ людей вы тутъ не узнаете и не увидите. Въ этихъ водевиляхъ, большей частью передѣлкахъ и сколкахъ съ французскихъ водевилей, Россія такъ же похожа на самое себя, какъ русскіе нравы похожи на то, что̀ разсказывали въ русскихъ «нравоописательныхъ романахъ». Вотъ напр. въ «Секретарѣ въ Сундукѣ» есть лицо подъячаго, которое говоритъ подъяческимъ языкомъ временъ «Ябеды» Капниста, котораго вы теперь нигдѣ не найдете, и которое явно взято цѣликомъ изъ общихъ мѣстъ рыночнаго драматическаго искусства. Въ «Новичкахъ въ Любви» представлены двѣ дѣвушки-невѣсты, одна 16, другая 17 лѣтъ, которыя такъ невинны, что упрашиваютъ взаимно уступить другъ другу жениха: она предлагаетъ за это коробочку съ облатками, за исключеніемъ впрочемъ одной облатки съ корабликомъ, а другая—какую-то печатку или другую игрушку. Женихъ же ихъ—будто бы кандидатъ философіи какого-то университета, въ самомъ-то дѣлѣ неудачный сколокъ съ Кутейкина въ «Недорослѣ» Фонвизина. Гдѣ видѣли «творцы» сихъ и оныхъ водевилей подобныя лица въ современномъ русскомъ обществѣ?

Впрочемъ справедливость требуетъ исключить изъ числа подобныхъ драматурговъ Полевого и Коровкина, людей съ истиннымъ дарованіемъ.

Digitized by Google

Жаль только, что послѣдній упрямо держится, на зло своему дарованію, водевиля, тогда какъ первый давно уже понялъ, что намъ нуженъ не водевиль, а русская драма. И удивительно, что убѣжденія въ этой истинѣ Полевому достаточно было для того, чтобъ упасть на сценѣ только съ однимъ плохимъ водевилемъ,— кажется, «Черезполосныя Владѣнія»,—тогда какъ Коровкинъ еще не можетъ удовольствоваться такимъ огромнымъ числомъ водевилей. Право, жаль!.. Оставь Коровкинъ водевиль и возьмись за трагедію, драму и комедію, онъ явился бы достойнымъ соперникомъ Полевого не по одной многоплодной дѣятельности, но и по таланту, а русская литература гордилась бы не однимъ «Уголино» и не однимъ «Ужаснымъ Незнакомцемъ», но цѣлыми дюжинами такихъ прекрасныхъ произведеній въ драматическомъ родѣ.

Призваніе женщины. *Съ англійск. Спб. 1840.*

Всякая истина можетъ доказываться двоякимъ образомъ: мыслительно и непосредственно. Первый способъ требуетъ діалектическаго развитія идеи изъ самой себя, изложенія живого, одушевленнаго, но и строго логическаго, послѣдовательнаго и яснаго. Второй способъ требуетъ пламеннаго, увлекающаго краснорѣчія, возвышающагося до поэзіи, облекающаго самыя отвлеченныя понятія въ живые образы или по крайней мѣрѣ выражающаго ихъ въ предметной и чувственной очевидности. Первый способъ даетъ читателю разумное и отчетливое сознаніе доказываемой истины; второй непосредственно наполняетъ его внутреннимъ созерцаніемъ той же истины. Первый способъ требуетъ отъ писателя ума, развитаго въ школѣ мышленія, какъ науки, ума строго-систематическаго, обнимающаго цѣлое чрезъ углубленіе даже въ малѣйшія части его организаціи; второй способъ требуетъ отъ писателя живой, полной и поэтической натуры, хотя и совсѣмъ не художественнаго дара. Отсутствіе показанныхъ нами условій при обоихъ этихъ способахъ развитія истины дѣлаетъ изъ нея или рядъ парадоксовъ, противорѣчій, путаницы безсильнаго ума, или сухое, скучное и пошлое резонёрство.

Въ поименованой книгѣ разсматривается назначеніе женщины въ обществѣ, и разсматривается первымъ способомъ—*мыслительно*. Авторъ смотритъ на свой предметъ съ истинной точки зрѣнія, признавая великое вліяніе женщины на общество, въ качествѣ супруги и матери, и порицая глупыя бредни сенсимонистовъ, требующихъ непосредственнаго вліянія женщины на общество, какъ гражданина, исправляющаго общественныя обязанности наравнѣ съ мужчиной. Вообще въ этой книжкѣ много правды, много истиннаго и умнаго, но со всѣмъ тѣмъ видно, что автору неизвѣстно, что такое мысль, діалектически изъ себя развивающаяся, въ самой себѣ заключающая все свое содержаніе, свою причину, свои результаты и свое оправданіе,— и потому его разсужденія легки, поверхностны, исполнены повтореній и резонёрства. Такъ какъ онъ не обладаетъ и силой убѣжденія, истекающей изъ глубокаго и горячаго чувства,—то его языкъ и лишенъ увлекающей силы живого, политическаго изложенія. Впрочемъ, при настоящемъ запустѣніи нашей литературы и особенной бѣдности книгъ догматическихъ, «Назначеніе женщины» многимъ можетъ принести большую пользу, а инымъ даже и наслажденіе, потому что, повторяемъ, въ немъ много высказано истинъ. Кромѣ того книжка эта прекрасно переведена и изящно издана.

Репертуаръ русскаго театра. *Издав. И. Песоцкимъ. Спб. 1840. Книжка 1 и 2.*
Пантеонъ русскаго и всѣхъ европейскихъ театровъ. *Часть 1. Спб. 1840.* (*Отрывокъ.*)

Хотя «Репертуаръ» и «Пантеонъ» принадлежатъ къ повременнымъ и срочнымъ изданіямъ, но ихъ нельзя отнести къ числу журналовъ, потому что они составляются изъ цѣлыхъ пьесъ одного рода, а не изъ разныхъ статей, невыходящихъ изъ извѣстнаго объема, допускаемаго журналомъ, и не изъ отрывковъ отъ большихъ сочиненій. Театральная хроника, театральные анекдоты, біографіи артистовъ составляютъ не капитальныя статьи этихъ изданій, а изрѣдка роскошь, чаще же—балластъ; драматическія сочиненія, цѣликомъ печатаемыя,—вотъ ихъ капитальныя статьи. Поэтому оба эти изданія отнюдь не журналы, а развѣ *драматическіе альманахи*, срочно и по подпискѣ издаваемые. Вслѣдствіе этого они и могутъ занимать свое мѣсто въ библіографической хроникѣ «Отечественныхъ Записокъ», въ составъ которой не входитъ и никогда не войдетъ обозрѣніе журналовъ, *современныхъ* «Отечественнымъ Запискамъ»...

О «Репертуарѣ» много говорить нечего, во-первыхъ, потому, что онъ успѣлъ уже вполнѣ обозначиться втеченіе прошлаго года, выполняя, какъ слѣдуетъ, свои обязанности передъ публикой; во-вторыхъ, потому, что содержаніе его составляютъ большей частью водевили домашней работы, т. е. передѣлки изъ французскихъ водевилей,—передѣлки, похожія на кушанья, которыя, при переноскѣ изъ чужой кухни, гдѣ готовились, простыли и разогрѣваются въ своей другими поварами. Новаго объ этихъ передѣлкахъ сказать ничего нельзя—о нихъ давно уже все сказано. Конечно въ «Репертуарѣ» помѣщаются и оригинальныя произведенія; но много-ли ихъ и чьи они?.. Здѣсь опять новаго ничего не скажешь. Поставщики или—и это будетъ вѣрнѣе—поставщикъ все тотъ же и отличается все тѣми же красотами, которыми всегда отличаются великіе люди на малыя дѣла, и которыя можно впередъ угадать. Итакъ, о водевиляхъ изрѣдка, когда-нибудь, а теперь—ни слова. «Репертуаръ» издается, слѣдовательно есть охотники до чтенія этого рода про-

Digitized by Google

изведеній,—и мы не будемъ имъ мѣшать: пусть себѣ тѣшутся. Да оно и хорошо: что бы ни читать, все лучше, чѣмъ ничего не дѣлать или играть въ карты, что гораздо хуже, чѣмъ ничего не дѣлать. А объ оригинальныхъ... Кстати: во второй книжкѣ «Репертуара» напечатана «Параша Сибирячка» Полевого, имѣвшая такой блестящій успѣхъ на Александринскомъ театрѣ. Очень хорошая пьеска; но какъ много перемѣнилась она въ печати, лишенная помощи Каратыгиныхъ, Асенковой и прекрасныхъ декорацій! Право, съ трудомъ узнаете ее! Это обыкновенная участь многихъ театральныхъ пьесъ, даже имѣвшихъ на сценѣ большой успѣхъ: водевили наши особенно подвержены этой горькой участи. Посмотрите напримѣръ, какъ хороша въ представленіи сцена борьбы дочерней любви, колеблющейся между желаніемъ спасти отца и страхомъ разстаться съ нимъ, — та самая сцена, гдѣ, подъ чувствительные звуки мелодраматической музыки Болле, Каратыгинъ влечетъ Асенкову къ себѣ, а Сосницкій—къ себѣ. Но, увы! въ печати нѣтъ эффектной музыки Болле, а трогательное мелодраматическое дѣйствіе обозначено въ прописи, и потому не производитъ никакого эффекта. Далѣе, все, что ни слышите вы, со сцены, изъ устъ Каратыгина, кажется вамъ такъ сильно, ново, блестяще, а перечитываете—видите что-то очень похожее на обыкновенныя общія мѣста во всѣхъ старинныхъ мелодрамахъ. Но во всякомъ случаѣ «Параша Сибирячка» есть лучшая пьеса Полевого, съ которой нейдетъ ни въ какое сравненіе ни его «Уголино», ни «Ужасный Незнакомецъ». Она переложена на сцены изъ такого анекдота, который и самъ по себѣ громко говоритъ душѣ и сердцу,—и въ ней уже одна прекрасная цѣль— тронуть публику зрѣлищемъ торжества дочерней любви — заслуживаетъ уваженіе и благодарность и искупляетъ недостатки.

. . . . . .

Чуть было мы не проглядѣли въ «Пантеонѣ» очень интересной статьи Булгарина «Театральныя воспоминанія моей юности», изъ которой мы сперва узнаемъ нѣсколько подробностей о прежнихъ артистахъ петербургскаго театра, потомъ видимъ, что «Дидло былъ Байронъ балета»; что теперь народъ какъ-то мельчаетъ: не видно ни гигантовъ временъ Екатерининскихъ, ни женщинъ съ формами и ростомъ Аѳродиты-каллипиги; что въ то время никто не стыдился, какъ нынѣ, приносить жертву Бахусу, что въ Красномъ Кабачкѣ, въ Жолтенькомъ, въ Екатерингофѣ, на Крестовскомъ Острову происходили настоящія оргіи; что въ трактирахъ шампанскаго спрашивали не бутылками, какъ нынѣ, а цѣлыми корзинами; вмѣсто чая молодцы пили пуншъ мертвой чашей; что это имѣло вредное вліяніе на нравы, но что они понимали свое дѣло и къ нимъ шли стихи Крылова:

По мнѣ, такъ лучше пей,
Да дѣло разумѣй!

Кромѣ того изъ статьи Булгарина узнаёмъ, что Воробьевъ былъ большой острякъ, хотя изъ приложенныхъ остротъ никакой остроты не видно: вѣрно, причина этому та, что есть остроты, которыя въ печати теряются и дѣлаются тупыми. Далѣе узнаёмъ, что Шекспиръ долженъ быть для нашего вѣка не образцомъ, а только историческимъ памятникомъ; что еслибы явился новый Коцебу, то онъ, Булгаринъ, первый преклонилъ бы передъ нимъ чело; что Гоголь «Ревизоромъ» доказалъ, что онъ имѣетъ комическій талантъ (и мы то же думаемъ!), и что еслибы Пушкинъ подчинилъ своего «Бориса Годунова» условіямъ сцены, то могъ бы стать на ряду съ Шиллеромъ (конечно!); что наконецъ Полевой (первый въ драматическомъ тріумвиратѣ, состоящемъ изъ него, Полевого, Пушкина и Гоголя) обезоруживаетъ умную критику тѣмъ, что, изъ любви къ литературѣ и жалости къ безплодію драматической почвы, оживляетъ русскую сцену оригинальными произведеніями.

«Театральныя воспоминанія моей юности» Булгарина возбудили «Мои воспоминанія о русскомъ театрѣ и русской драматургіи», Полевого—и онъ по обыкновенію изложилъ ихъ въ «Письмѣ къ Ѳ. В. Булгарину», напечатанномъ въ «Репертуарѣ». По обыкновенію, говоримъ мы, ибо съ нѣкотораго времени всѣ мнѣнія и воспоминанія Полевого излагаются не иначе, какъ въ письмахъ къ Булгарину. Читатели «Отечественныхъ Записокъ» знаютъ уже о письмѣ Полевого къ Булгарину, напечатанномъ въ IV № «Сына Отечества» за прошлый 1839 годъ. Въ этомъ достопримѣчательномъ письмѣ Полевой прямо называетъ Булгарина единственнымъ русскимъ литераторомъ, съ которымъ ему, Полевому, еще можно имѣть дѣло...

Утѣшительное явленіе! Тѣмъ болѣе утѣшительное, что нашу литературу, особенно журнальную, упрекаютъ въ духѣ партіальности и вражды! Письма Полевого къ Булгарину, отличающіяся духомъ миролюбія, непамятозлобія и пріязненности, суть важный фактъ противъ несправедливости подобнаго обвиненія. Сколько было чернильныхъ войнъ между этими двумя атлетами нашей литературы,—но миръ, благодатный миръ восторжествовалъ! Невозможно не подивиться, отъ умиленной души и умиленнаго сердца, всякой умилительной гармоніи душъ, которая, говоря философскимъ языкомъ, проистекаетъ изъ родственности субстанцій. Да, что соединила природа, того не расторгнутъ ни враждебные люди, ни враждебныя обстоятельства; симпатія, основанная на тождествѣ стремленій и цѣлей,—такая симпатія не только выдерживаетъ всевозможныя отрицанія, но еще и болѣе укрѣпляется отъ нихъ. Люди, такимъ образомъ настроенные, могутъ ссориться, но эти ссоры служатъ только къ бо́льшему укрѣпленію прекраснаго союза. За примѣрами ходить недалеко: оставляя въ покоѣ Орестовъ и Пиладовъ и всю древность, заглянемъ въ исторію нашихъ журнальныхъ переворотовъ, которая всегда такъ интересна и назидательна, и которую изучать мы поставили себѣ въ обязанность. Вспомнимъ недавнія эпохи ея, вспомнимъ - напри

Digitized by Google

мѣръ о томъ, сколько литературныхъ неудовольствій, распрей, ссоръ, войнъ, примиреній и разрывовъ, разрывовъ и примиреній было хоть бы между Полевымъ и Булгаринымъ, и какъ прекрасны теперешнія ихъ отношенія. Въ то время для неопытнаго, поверхностнаго и особливо для молодого взгляда могло показаться, что Полевой и Булгаринъ враждебно противоположны; но взоръ опытный въ каждой размолвкѣ могъ разсмотрѣть благодатныя и плодотворныя (для обѣихъ сторонъ) сѣмена будущей дружбы,—и всѣ эти несогласія для него были не что иное, какъ усилія къ упроченію вѣчнаго союза, такъ точно, какъ болѣзни молодого тѣла суть не что иное, какъ стремленіе и усилія къ его полному и здоровому сформированію. При самомъ началѣ «Московскаго Телеграфа» можно было провидѣть будущій союзъ; но скоро возгорѣлась кровопролитная брань. Не говоря о многихъ важныхъ нападкахъ и обвиненіяхъ, устремленныхъ Полевымъ на Булгарина, не говоря о многихъ сильныхъ пораженіяхъ, претерпѣнныхъ Булгаринымъ отъ Полевого,—укажемъ только на одинъ фактъ: кто не помнитъ, что ученый, хотя и враждующій противъ учености Булгаринъ издалъ Горація съ своими примѣчаніями, и кто не помнитъ, что Полевой по этому случаю печатно указалъ Булгарину, что онъ присвоилъ себѣ чужую собственность—комментаріи Ежовскаго, и доказалъ, что изданіе Горація Булгарина была перепечатка книги Ежовскаго? Боже мой! что за кровопролитная брань началась! Сколько остроумія, ума, силы, а главное—правды было потрачено съ обѣихъ сторонъ. Но Полевой готовился издавать свою «Исторію Русскаго Народа», а Булгаринъ—своего «Ивана Выжигина»: единовременное появленіе этихъ двухъ великихъ твореній, изъ которыхъ одно начало собой живую эру исторіи, а другое—романа въ русской литературѣ, само собой показали разумную необходимость согласія. Помирились, и въ чистой радости примиренія осыпали другъ друга всевозможными похвалами и превозносили другъ друга до седьмого неба. Полевой уже бросилъ исторію, не кончивъ ея, потому что его цѣль была—не написать исторію, а только показать, какъ должно писать исторію, и доказать, что великій и безсмертный трудъ Карамзина—неудовлетворителенъ; но изданія съ обѣихъ сторонъ не прекращались—похвалы и комплименты также, слѣдовательно миръ процвѣталъ. Но вдругъ на горизонтѣ нашей литературы явилось новое великое свѣтило, достойное быть солнцемъ прекрасной планетной системы, которую образовывала собой литературная связь Полевого съ Булгаринымъ: я говорю объ авторѣ «Фантастическихъ Путешествій». Булгаринъ не замедлилъ обнаружить симпатію къ новому солнцу и войти въ его сферу. Что же касается до Полевого—если не могло быть недостатка симпатіи къ солнцу съ его стороны, зато «высшій взглядъ» на себя рѣшительно воспрепятствовалъ ему войти въ его систему въ качествѣ планеты. Слѣдствіемъ такого дисгармоническаго положенія дѣлъ была война. Полевой послѣ долговременнаго мира вдругъ объявилъ во всеуслышаніе, что Булгаринъ весь вылился въ «ничто»... Это было самымъ злымъ каламбуромъ, потому что здѣсь Полевой ловко воспользовался замысловатымъ и совершенно выражающимъ свою идею названіемъ юмористической статейки Булгарина — «Ничто». Булгаринъ, разумѣется, не устрашился—и множество остротъ, намековъ, частью непонятыхъ, а частью незамѣченныхъ публикой, испестрило листки «Пчелы». Вдругъ Полевой дѣлается главнымъ сотрудникомъ «Сына Отечества», рѣшившагося на попытку къ возрожденію и оживленію; тогда снова начинается самое крѣпкое согласіе, которое, къ изумленію всего читающаго міра, было прервано браннымъ возгласомъ Булгарина противъ Полевого, приплетеннымъ къ оберткѣ «Библіотеки для Чтенія»,—возгласомъ, въ которомъ Булгаринъ доказывалъ, что Полевой, играя съ нимъ на бильярдѣ, «сдѣлалъ на себя двѣнадцать очковъ, т. е. положилъ на себя желтый шаръ въ среднюю лузу...» Но это было слабымъ и уже послѣднимъ затменіемъ согласія, такъ гармонически настроеннаго. Полевой не возражалъ и, какъ это бывало прежде, за несправедливость Булгарина не заплатилъ несправедливостью, лишивъ его всѣхъ достоинствъ, имъ же самимъ ему приданныхъ, но скромно признался, что Булгаринъ побѣдилъ его. Вскорѣ послѣ того Булгаринъ такъ вѣрно и истинно оцѣнилъ всего Полевого, а Полевой такъ скромно и такъ безобидно для себя и для Булгарина возразилъ ему, что согласіе, кажется, уже утверждено на вѣчныхъ и незыблемыхъ основаніяхъ... Теперь не ясно ли, что неразрывна та дружба, которой основа прочна и истинна? А это и слѣдовало доказать.

Изъ второго письма Полевого къ Булгарину, напечатаннаго въ «Репертуарѣ», можно ясно видѣть, какъ крѣпко то согласіе, о которомъ мы говоримъ: Полевой называетъ Булгарина просто по имени и отчеству, иногда любезнѣйшимъ Ѳ. В., а иногда сердитымъ и строгимъ Ѳ. В.,—названія и эпитеты, на которые право даетъ одна дружба. Кромѣ этого изъ письма Полевого къ Булгарину мы узнаемъ нѣсколько дѣйствительно интересныхъ подробностей о московскомъ театрѣ съ двѣнадцатаго до двадцатыхъ годовъ настоящаго столѣтія; но болѣе всего узнаемъ мы интересныхъ подробностей о дѣтствѣ и юности самого автора. Потомъ слышимъ тутъ же, что Полевой приближается къ старости, но что ему еще не хочется назвать себя вполнѣ старикомъ; что онъ писалъ свои замѣтки для лѣтописи минувшаго; что у него нѣтъ такого таланта разсказывать, какъ у Булгарина; что громъ рукоплесканій, слезы или смѣхъ зрителей суть нѣчто такое, къ чему никогда не сдѣлаешься равнодушнымъ, но что свистъ и шиканье страшнѣе всякой критики, и что чѣмъ выше наслажденіе, тѣмъ тяжелѣе за него расплата, ибо уже такъ ведется на бѣломъ свѣтѣ; что драма есть у всѣхъ народовъ—у чухонъ и малайцевъ; что «Ревизоръ» Гоголя—фарсъ, а совсѣмъ не то, что̀ драмы его, Полевого

Digitized by Google

(съ послѣднимъ нельзя не согласиться); что для нашей литературы нуженъ высшій взглядъ. Замѣчательнѣе всего въ этомъ письмѣ защита Коцебу, котораго, говоритъ Полевой, «теперь сбили въ грязь и сбросили съ высокаго пьедестала, на которомъ онъ стоялъ; надъ нимъ смѣются, и *кто* еще смѣется?....» Замѣтьте, что *кто* напечатано курсивомъ. Кто же этотъ таинственный *кто?* Не знаемъ, право, но очень хорошо помнимъ, что первый началъ нападать на Коцебу Полевой въ своемъ «Телеграфѣ», въ которомъ онъ преслѣдовалъ всякій драматическій опытъ—отъ пьесъ кн. Шаховского до пьесъ Кукольника.

Основная мысль письма Полевого къ Булгарину есть та, что Гоголь въ повѣстяхъ своихъ ж а р т у е т ъ, а въ комедіи фарсёрствуетъ; но что онъ, Полевой, самой природой созданъ быть драматическимъ писателемъ. Вѣримъ! И почему не вѣрить, когда самъ авторъ увѣряетъ? Впрочемъ онъ же увѣрялъ, что рожденъ быть и историкомъ...

Повѣсти Марьи Жуковой. *Спб. 1840. Двѣ части.* (*Отрывокъ.*)

Книги, какъ и хлѣбъ, зависятъ отъ урожая. Для нихъ бываютъ счастливые годы и мѣсяцы. Это хорошо знаютъ издатели ежемѣсячныхъ журналовъ: отъ урожая или неурожая книгъ въ томъ или другомъ мѣсяцѣ зависятъ плодовитость и сочность или скудость и сухость библіографическаго отдѣла въ книжкѣ ихъ журнала. Первые полтора мѣсяца новаго 1840 года были очень неблагопріятны въ этомъ отношеніи для «Отечественныхъ Записокъ»: книжный неурожай былъ такъ великъ, что почти не о чемъ и нечего было имъ поговорить съ своими читателями; но конецъ февраля и начало марта оказались (разумѣется, сравнительно) необыкновенно плодородными.

Однимъ изъ лучшихъ литературныхъ явленій новаго года по справедливости должно назвать повѣсти Жуковой. Ни одна изъ повѣстей Жуковой не представляетъ собой драмы, гдѣ каждое слово, каждая черта является необходимо, какъ результатъ причины, является сама по себѣ и для самой себя. Нѣтъ, это скорѣе какія-то оперныя либретто, гдѣ драма нужна не для самой себя, а для положеній; а положенія нужны опять не для самихъ себя, а для музыки, и гдѣ драма не въ драмѣ, а въ музыкѣ, но гдѣ музыка была бы непонятна безъ драмы. Процессъ явленія такихъ литературныхъ повѣстей очень простъ. У автора много души, много чувства, которыхъ обременительная полнота ищетъ выразиться въ чемъ нибудь во внѣ; а если къ этому авторъ одаренъ живымъ и пылкимъ воображеніемъ, душой, которая легко воспламеняется и раздражается; если онъ много въ жизни перечувствовалъ, переиспыталъ самъ, много видѣлъ и зналъ чужихъ опытовъ, къ которымъ не могъ быть равнодушенъ, на которые отзывалась его душа,—онъ имѣетъ все, чтобы писать прекрасныя повѣсти, которыя, не относясь къ искусству, относятся къ изящной литературѣ, или къ тому, что̀ французы называютъ belles-lettres. И вотъ онъ придумываетъ какое-нибудь либретто для мелодій своего чувства, составляетъ его изъ лицъ и положеній, которыя дали бы возможность высказать и то, и другое, что̀ таится въ его душѣ и безпокойной волной рвется наружу. Что же это за лица?—Да такъ, мечты и фантазіи, идеалы, въ которыхъ есть своя дѣйствительность, своя личность, но которыхъ вы не видите передъ собой, а только представляете себѣ по описаніямъ автора. Обыкновенно эти лица—любимыя и задушевныя мечты автора, носящія извѣстныя имена и признаки физіономій,—и чѣмъ любимѣе, задушевнѣе, чѣмъ ближе къ сердцу автора эти мечты, тѣмъ лица, играющія ихъ роль, лучше обрисованы, живѣе представлены, словомъ,—интереснѣе и удачнѣе. Но вотъ готовы и лица, и положенія, придумана завязка и развязка: остается разсказывать — и вотъ тутъ-то разсказъ получаетъ свое полное значеніе, всю свою важность. Какъ въ живописи, тутъ важное дѣло—перспектива и симметрія, разстановка обстоятельствъ такъ, чтобы важнѣйшее обстоятельство было выставлено яснѣе и виднѣе, менѣе важное—въ тѣни. Съ этой точки зрѣнія искусство разсказа есть талантъ, который не многимъ дается. Что̀ хорошаго напримѣръ въ повѣстяхъ Цшокке или въ повѣстяхъ модныхъ французскихъ нувеллистовъ? Разсказъ; ему, одному ему обязаны онѣ тѣмъ, что завлекаютъ и приковываютъ къ себѣ вниманіе читателя. Но въ повѣстяхъ не все оканчивается разсказомъ: въ нихъ важны выборъ содержанія и способность оживить его. То и другое зависитъ отъ настроенности души и чувства автора. Поль-де-Кокъ выбираетъ предметы забавные, Клауренъ—чувствительные, французскіе нувеллисты неистовой школы—сатанинскіе, кровавые, изступленные. Что касается до Жуковой, еслибы мы захотѣли характеризовать предметы, избираемые ею для изображенія въ повѣстяхъ, мы назвали бы ихъ человѣческими, чему доказательствомъ могутъ служить самыя названія ея повѣстей, каковы: «Судъ Сердца», «Самопожертвованіе». Съ этой стороны нельзя не отдать полной справедливости Жуковой: содержаніе каждой ея повѣсти обнаруживаетъ въ авторѣ чистое сердце и возвышенную душу.

Говорятъ, что Жукова прекрасно изображаетъ женщинъ; это правда — ея женщины умнѣе и любящѣе, и истиннѣе ея мужчинъ. Но къ этому прибавляютъ, что будто бы только женщина и можетъ вѣрно и истинно изображать женское сердце, которое ей знакомо по своему собственному: это и неправда, и правда. Если говорить о произведеніяхъ творчества, о созданіяхъ художественныхъ, то неправда: Шекспиръ и Пушкинъ были, какъ извѣстно всему образованному и даже необразованному міру, мужчины, а между тѣмъ никакая въ мірѣ женщина не въ состояніи создать такихъ

Digitized by Google

дивно-вѣрныхъ, непостижимо-истинныхъ женскихъ характеровъ, каковы напримѣръ Дездемона, Юлія, Офелія, Татьяна, Лаура, донна-Анна. Это оттого, что мужчина по природѣ своей всеобъемлющѣе женщины и одаренъ способностью выходить изъ своей индивидуальной личности и переноситься во всевозможныя положенія, какихъ онъ не только никогда не испытывалъ, но и не можетъ испытывать; тогда какъ женщина заперта въ самой себѣ, въ своей женской и женственной сферѣ, и если выйдетъ изъ нея, то сдѣлается какимъ-то двусмысленнымъ существомъ. Потому-то женщина и не можетъ быть великимъ поэтомъ. Но когда дѣло идетъ о литературныхъ произведеніяхъ, не чуждыхъ поэзіи, но чуждыхъ художественности, женщина лучше, нежели мужчина, можетъ изображать женскіе характеры, и ея женское зрѣніе всегда подмѣтитъ и схватитъ такія тонкія черты, такіе невидимые оттѣнки въ характерѣ или положеніи женщины, которые всего рѣзче выражаютъ то и другое, и которыхъ мужчина никогда не подмѣтитъ. Но точно также и женщина должна далеко уступить мужчинѣ въ изображеніи мужскихъ характеровъ и положеній. И это очень понятно: въ произведеніяхъ такого рода дѣйствительность не изображается такой, какова она есть, безъ отношенія къ личности изображающагося, но списывается со взгляда автора, и чѣмъ изображаемые имъ предметы относительнѣе, ближе, родственнѣе къ личности автора, тѣмъ изображенія его вѣрнѣе и истиннѣе, и наоборотъ. Опытность и опытъ, неимѣющіе никакого вліянія въ творчествѣ, тутъ играютъ первую роль, и потому-то въ такихъ произведеніяхъ лицо, хорошо и ясно представляющееся автору, не узнается читателями, и положеніе, съ особенной любовью нарисованное авторомъ, не интересуетъ читателей: часто то и другое списано или передѣлано съ извѣстнаго лица или съ извѣстнаго обстоятельства.

Итакъ, полнота горячаго чувства, вѣрность многихъ положеній, истина въ изображеніи многихъ чертъ и оттѣнковъ женскихъ характеровъ, искусный, увлекательный разсказъ и, прибавимъ къ этому, прекрасный слогъ, которымъ и мужчины рѣдко владѣютъ у насъ,—вотъ достоинства повѣстей Жуковой. Что касается до ихъ недостатковъ, которыхъ онѣ не совсѣмъ чужды, главнѣйшій изъ нихъ—излишняя плодовитость, чтобы не сказать растянутость. Каждая изъ нихъ могла бы быть по крайней мѣрѣ цѣлой третью меньше,—и была бы, безъ всякаго сомнѣнія, лучше. Хотя Жукова и менѣе другихъ повѣствователей увлекается Бальзаковской манерой разсуждать тамъ, гдѣ надо разсказывать, но она всетаки не чужда этого недостатка. Тамъ, гдѣ говоритъ ея чувство, вы невольно увлекаетесь; но гдѣ она разсуждаетъ — скучаете немного. Женщина всего менѣе способна разсуждать: она, по своей природѣ, вѣрно понимаетъ и схватываетъ все прямо, въ полнотѣ и цѣлости, чувствомъ, а не умомъ; начиная же разсуждать, невольно вдается въ резонёрство. Вѣрно изображая событіе (фактъ), она иногда ложно понимаетъ его, когда вздумаетъ объяснять его значеніе. Такъ напримѣръ, въ повѣсти «Судъ Сердца» молодая женщина, страстно любившая своего мужа и благодѣтеля, человѣка благороднаго, но годившагося ей въ отцы по своимъ лѣтамъ, вдругъ любитъ другого и готова ему отдаться. Авторъ объ этомъ странномъ явленіи разсуждаетъ такъ и сякъ, а «ларчикъ просто открывался»: благодарность и уваженіе совсѣмъ не то, что любовь, и, при неравенствѣ лѣтъ, привязать къ себѣ женщину молодую, жаждущую любви и сочувствія молодого же сердца, привязать ее къ себѣ одной благодарностью и удивленіемъ къ себѣ—самое плохое и ненадежное средство.

Повѣсть есть самый благодарный родъ для литературныхъ, беллетрическихъ талантовъ. Не-художественный романъ, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, только мѣстами можетъ увлекать, но цѣлымъ будетъ производить впечатлѣніе скуки и усталости. Что касается до драмы, то пора бы уже сознать, что не-художественныя драмы могутъ имѣть даже великія относительныя достоинства на сценѣ, но въ печати рѣшительно никуда не годятся. Умный человѣкъ, даже съ большимъ литературнымъ талантомъ, можетъ трудиться для театра и наконецъ выписаться, т. е. сдѣлаться хорошимъ драматическимъ писателемъ, но печататься не станетъ,—развѣ пошалитъ разъ, да и будетъ. Драма не допускаетъ ни разсужденія, ни изліянія чувствъ по поводу того или другого положенія: въ драмѣ авторъ долженъ быть невидимъ; лица, положенія, части и цѣлое—все должно въ ней говорить само за себя. Но повѣсть допускаетъ личное участіе автора и можетъ быть прекраснымъ либретто для музыки его чувства, а часто и ума, если только умъ и музыка имѣютъ между собой какое нибудь отношеніе, хоть для того, чтобы хоть съ натяжкой подать намъ поводъ къ сравненію, которое намъ кажется очень годнымъ для выраженія нашей мысли. Вотъ почему бываютъ такъ прекрасны и не-художественныя повѣсти; вотъ почему такъ прекрасны и повѣсти Жуковой. Но вездѣ важное дѣло — знать предѣлы и сферу своего дарованія. Мы не скажемъ, чтобы повѣсти Жуковой, герои которыхъ не русскіе, а мѣсто дѣйствія не Россія, были не только нехороши, но и непрекрасны; однакожъ намъ больше нравятся тѣ изъ повѣстей Жуковой, герои которыхъ русскіе, а мѣсто дѣйствія Россія: въ нихъ ея талантъ свободнѣе, больше у себя дома.

Изъ четырехъ новыхъ повѣстей Жуковой мы положительно недовольны послѣдней — «Мои Курскіе Знакомцы». Въ ея разсказѣ много Бальзаковской манеры, т. е. разсужденій, а по нашему—резонёрства. Основная мысль ея прекрасна: доказать, что для женщины и внѣ брака есть высокая жизнь — въ жизни для другихъ: для отца, матери, братьевъ, сестеръ и пр. Такая мысль требовала бы и выполненія, достойнаго себя, а повѣсть Жуковой слаба и безцвѣтна. Сверхъ

Digitized by Google

того есть противорѣчіе между разсужденіемъ сочинительницы и самой повѣстью. Въ разсужденіяхъ она споритъ противъ мужчинъ, ограничивающихъ сферу женщины исключительно семейственной жизнью, а въ повѣсти показываетъ, что и внѣ брака сфера женщины все-таки въ семейственности. Назначеніе женщины—быть счастливой, дѣлая счастье другого, отказываясь отъ себя для другого. Такъ; но есть же вѣдь разница—отказаться отъ себя для милаго сердцу человѣка, словомъ—для мужа, или посвятить себя, всю жизнь свою отцу, матери или другому родственнику?... Если человѣкъ по какому-нибудь несчастному случаю лишился употребленія рукъ и ногъ, да къ этому потерялъ еще и зрѣніе,—для него все-таки существуетъ и молитва къ Богу, и мысль, и чувство, и минуты умиленія, и радость, словомъ—для него все еще остается жизнь, и онъ все еще человѣкъ; но кто же скажетъ, что все равно: быть съ руками, ногами и глазами, или быть безъ нихъ?... Такъ точно нельзя сказать: все равно для женщины, что выйти замужъ, что навѣкъ остаться дѣвушкой. Равнымъ образомъ нельзя слишкомъ нападать и на общество, которое особенными глазами смотритъ на дѣвушку-Минерву и съ особенной улыбкой говоритъ: дѣвушка въ сорокъ или пятьдесятъ лѣтъ! Все, невыполнившее своего назначенія, кажется чѣмъ-то страннымъ. Физіологи—невѣжливый и грубый народъ! — даже утверждаютъ (но мы первые не вѣримъ этому!), что будто у засидѣвшихся дѣвицъ притупляется отъ лѣтъ воспріемлемость впечатлѣній и слабѣютъ другія способности души. Должно быть, что это клевета педантовъ во имя науки; достовѣрно только то, что все, не выполнившее своего назначенія, какъ-то странно и двусмысленно. Впрочемъ женщина, которая, отказавшись отъ надежды на замужество (особенно если потому, что не хотѣла отдаться по разсчету немилому сердцу, а милаго, почему бы то ни было, не нашла), принялась не за сплетни и злословіе, а обратила жаръ своего любящаго сердца на своихъ родныхъ или своего родного, и имъ или ему безкорыстно посвятила всю жизнь свою,—есть явленіе прекрасное, святое, достойное высокаго уваженія. Только намъ кажется, что въ «Самопожертвованіи», когда мы видимъ Лизу учительницей маленькаго женскаго училища, Жукова, можетъ быть сама того не подозрѣвая, удачнѣе изобразила такую женщину, нежели въ повѣсти «Мои Курскіе Знакомцы».

Мечты и звуки. Н. Н. *Спб. 1840.*

Точно такъ же, какъ повѣсть, въ сравненіи съ другими родами поэзіи, есть самый благодарный родъ для людей неодаренныхъ художнической фантазіей, но одаренныхъ воображеніемъ, чувствомъ и способностью владѣть языкомъ,—точно такъ же проза вообще благодарнѣе для нихъ, чѣмъ стихи. Если въ прозѣ нѣтъ даже и чувства, и воображенія, то можетъ быть умъ, остроуміе, наблюдательность или хоть гладкій языкъ; но если въ стихахъ не видно положительнаго художническаго дарованія, нѣтъ поэзіи,—то уже нѣтъ ровно ничего, даже гладкость и звучность стиха въ нихъ не достоинство, а скорѣе порокъ, ибо возбуждаетъ въ читателѣ не удовольствіе, а досаду. Стихи рѣшительно не терпятъ посредственности. Конечно и въ лишенныхъ поэтической жизни стихотвореніяхъ тотчасъ можно отличить въ авторѣ человѣка-фразёра, наклепывающаго на себя разныя ощущенія, чувства и мысли, которыхъ въ немъ и не было, и нѣтъ, и не будетъ, отъ человѣка съ душой, но обманывающагося въ своемъ призваніи. Однако въ томъ и другомъ случаѣ итогъ для поэзіи и для славы автора одинъ и тотъ же—нуль. Вы видите по его стихотвореніямъ, что въ немъ есть и душа, и чувство, но въ то же время видите, что они и остались въ авторѣ, а въ стихи перешли только отвлеченныя мысли, общія мѣста, правильность, гладкость и—скука. Душа и чувство есть необходимое условіе поэзіи, но не ими все оканчивается: нужна еще творческая фантазія, способность внѣ себя осуществлять внутренній міръ своихъ ощущеній и идей и выводить во внѣ внутреннія видѣнія своего духа. Но если этой способности въ насъ нѣтъ, то сколько вы ни пишите, и какъ красиво ни издавайте вашихъ стихотвореній, вы не дождетесь отъ читателей ни восторга, ни сочувствія, и много-много если иной, закрывъ вашу книгу, чтобы уже не открывать ея больше, скажетъ, зѣвая и потягиваясь, какъ бы послѣ тяжелой работы: «должно-быть, авторъ—прекрасный человѣкъ!» Если стихи пишетъ человѣкъ, лишенный отъ природы всякаго чувства, чуждый всякой мысли, не умѣющій владѣть стихомъ и риѳмой,—онъ подъ веселый часъ еще можетъ позабавить читателя своей бездарностью и ограниченностью: всякая крайность имѣетъ свою цѣну, и потому Василій Кириловичъ Тредьяковскій, «профессоръ элоквенціи, а паче хитростей піитическихъ»,—есть безсмертный поэтъ; но прочесть цѣлую книгу стиховъ, встрѣчать въ нихъ все знакомыя и истертыя чувствованьица, общія мѣста, гладкіе стишки, и много-много если наткнуться иногда на стихъ, вышедшій изъ души, въ кучѣ риѳмованныхъ строчекъ,—воля ваша, это чтеніе или, лучше сказать, работа для рецензентовъ, а не для публики, для которой довольно прочесть о нихъ въ журналѣ извѣстіе вродѣ «выѣхалъ въ Ростовъ». Посредственность въ стихахъ нестерпима. Вотъ мысли, на которыя навели насъ «Мечты и звуки» Н. Н.

Басни Ивана Крылова. *Въ восьми книгахъ. Сороковая тысяча. Спб. 1840.*

Баснѣ особенно посчастливилось на святой Руси. Отецъ русской литературы, самъ Ломоносовъ, низошелъ съ своего лирико-эпико-драматическаго

Digitized by Google

котурна(прозаически называемаго теперь ходулями), чтобы написать басенку «Волкъ въ пастушьей одеждѣ». Плодовитая и досужая бездарность Сумарокова наводнила современную ему литературу уродливыми «притчами». Наконецъ явился талантливый Хемницеръ и написалъ своего превосходнаго «Метафизика», который и донынѣ, и всегда будетъ превосходенъ, какъ ловко написанная эпиграмма; но мы не знаемъ, можно ли одной эпиграммой, хотя бы и отличной, составить себѣ безсмертіе. Кромѣ «Метафизика», Хемницеръ написалъ еще басни двѣ или три, отличающіяся хорошимъ, по тогдашнему, языкомъ и какой-то наивной игривостью ума; потомъ сочинилъ еще басни двѣ или три, примѣчательныя тѣми же достоинствами, но уже съ грѣхомъ пополамъ; потомъ еще десятка два или три басенъ, въ которыхъ, кромѣ дурного языка и отсутствія таланта, ничего не имѣется. Недавно Хемницеръ какъ-то попалъ въ моду; его стали издавать въ Москвѣ и Петербургѣ. Разумѣется, порядочныхъ изданій было по одному въ обѣихъ столицахъ, и потомъ вышло еще нѣсколько площадныхъ, на оберточной бумагѣ, съ лубочными картинками, изъ типографій Кузнецова и Кирилова. Не помнимъ, къ которому изъ нихъ, впрочемъ кажется къ обоимъ, старые и почтенные литераторы приписали по предисловію, гдѣ изложили кстати біографію Хемницера и вообще разсуждали о немъ съ приличной важностью, словно о какомъ-нибудь Гомерѣ или Шекспирѣ. То же самое учинилъ другой кто-то въ одномъ отставшемъ и мнѣніями, и книжками журналѣ, помѣстивъ цѣлую статью о Хемницерѣ, которую, для пущей важности, назвалъ «критикой». Что дѣлать? у всякаго свой герой: Гомеръ пѣлъ героя Ахиллеса, а Виргилій—ханжу Энея. Но какъ бы то ни было, а Хемницеръ все-таки удержится въ исторіи нашей литературы, и дѣти никогда не перестанутъ смѣяться отъ его «Метафизика». Ужъ за одно то большая ему честь, что съ него началась русская басня. Басни Дмитріева—искусственные цвѣты въ нашей литературѣ. Эти растенія явно пересажены съ родной почвы на чужую и взрощены въ теплицѣ. Въ нихъ блистаетъ салонный умъ XVIII вѣка; въ нихъ языкъ нашъ сдѣлалъ значительный шагъ впередъ. Конечно мы ужъ не можемъ восхищаться баснями Дмитріева и даже никогда не чувствуемъ охоты перечесть ихъ; но съ ними связаны самыя сладостныя воспоминанія о золотой порѣ нашего дѣтства, и наши дѣти, пока будутъ дѣтьми, не перестанутъ ими восхищаться. Нѣкоторые забавники и теперь еще сказки Дмитріева ставятъ выше «Онѣгина» Пушкина, и мы увѣрены, что многіе старики отъ души соглашаются съ этими забавниками. Suum cuique!... Однакожъ басня все-таки многимъ обязана Дмитріеву.—Потомъ писали басни В. Л. Пушкинъ, В. Измайловъ, и нѣкоторыя изъ ихъ басенъ не уступаютъ въ достоинствѣ баснямъ Дмитріева. Но выше ихъ обоихъ Александръ Измайловъ, который заслуживаетъ особенное вниманіе по своей оригинальности. Тогда какъ первые подражали Хемницеру и Дмитріеву, онъ создалъ себѣ особый родъ басенъ, герои которыхъ: отставные квартальные, пьяные мужики и бабы, ерофеичъ, сивуха, пиво, паюсная икра, лукъ, соленая севрюжина; мѣсто дѣйствія—изба, кабакъ и харчевня. Хотя многія изъ его басенъ возмущаютъ эстетическое чувство своей тривіальностью, зато нѣкоторыя отличаются истиннымъ талантомъ и плѣняютъ какой-то мужиковатой оригинальностью. Таковы напримѣръ: «Священникъ и крестьянинъ», «Пьянюшкинъ, отставной квартальный», и пр. Но лучшее его произведеніе, доставившее ему особенную славу, есть «Павлушка мѣдный-лобъ». Графъ Хвостовъ и Маздорфъ написали множество басенъ и съ равнымъ успѣхомъ. Послѣдній печаталъ свои басни въ «Вѣстникѣ Европы», а особо не издалъ. Много можно бы начесть и еще баснописцевъ, но мы забыли ихъ имена, а справляться некогда, да и не нужно: и безъ того видно, что басня была нѣкогда любимымъ родомъ поэзіи и процвѣтала на Руси преимущественно передъ всѣми родами поэзіи.

Но истиннымъ своимъ торжествомъ на святой Руси басня обязана Крылову. Онъ одинъ у насъ истинный и великій баснописецъ: всѣ другіе, даже самые талантливые, относятся къ нему, какъ беллетристы къ художнику. Кстати: можетъ-быть многіе спросятъ насъ, что мы понимаемъ подъ словомъ «беллетристика»? Здѣсь не мѣсто объяснять это, и мы поневолѣ должны отложить объясненія по этому предмету до другого времени, а пока замѣтимъ только, что беллетристика относится къ искусству, какъ статуйки для украшенія каминовъ, столовъ, этажерокъ и оконъ, бюстики Шиллера, Гёте, Пушкина, Вольтера, Жанъ-Жака Руссо, Франклина, Тальйони, Фанни Эльслеръ и проч. относятся къ Аполлону Бельведерскому, Венерѣ Медичейской и другимъ памятникамъ древняго рѣзца,—и какъ эстампы относятся къ оригинальнымъ картинамъ великихъ мастеровъ.

Басня есть поэзія разсудка. Она требуетъ не глубокаго вдохновенія, которое производится внезапнымъ проникновеніемъ въ таинство абсолютной мысли; она требуетъ того одушевленія, которое такъ свойственно людямъ съ тихой и спокойной натурой, съ безпечнымъ и въ то же время наблюдательнымъ характеромъ, и которое бываетъ плодомъ природной веселости духа. Содержаніе басни составляетъ житейская, обиходная мудрость, уроки повседневной опытности въ сферѣ семейнаго и общественнаго быта. Иногда басня прямо высказываетъ свою цѣль, но не холоднымъ резонёрствомъ, не бездушными моральными сентенціями, а игривымъ оборотомъ, который обращается въ пословицу, поговорку. Басня не есть аллегорія и не должна быть ею, если она хорошая, поэтическая басня; но она должна быть маленькой повѣстью, драмой, съ лицами и характерами, поэтически очеркнутыми. Самыя олицетворенія въ баснѣ должны быть живыми, поэтическими образами. Такъ, у Крылова всякое животное имѣетъ свой индиви-

Digitized by Google

дуальный характеръ,— и проказница мартышка, участвуетъ ли она въ квартетѣ, ворочаетъ ли изъ трудолюбія чурбанъ, или примѣриваетъ очки, чтобы умѣть читать книги; и лисица, у него вездѣ хитрая, уклончивая, безсовѣстная и больше похожая на человѣка, чѣмъ на лисицу «съ пушкомъ на рыльцѣ»; и косолапый мишка вездѣ—добродушно-честный, неповоротливо-сильный, левъ — грозно-могучій, величественно-страшный. Столкновеніе этихъ существъ у Крылова всегда образуетъ маленькую драму, гдѣ каждое лицо существуетъ само по себѣ и само для себя, а всѣ вмѣстѣ образуютъ собой одно общее и цѣлое. Это еще съ большей характерностью, болѣе типически и художественно совершается въ тѣхъ басняхъ, гдѣ героями — толстый откупщикъ, который не знаетъ, куда ему дѣваться отъ скуки съ своими деньгами, и бѣдный, но довольный своей участью сапожникъ; поваръ-резонёръ; недоученый философъ, оставшійся безъ огурцовъ отъ излишней учености; мужики-политики, и пр. Тутъ уже настоящая комедія! А между тѣмъ во всемъ явное преобладаніе разсудка и практическаго ума, котораго поэзія въ томъ и состоитъ, чтобы разсыпаться лучами остроумія, сверкать фейерверочнымъ огнемъ шутки и насмѣшки. И, разумѣется, во всемъ этомъ есть своя поэзія, какъ и во всякомъ непосредственномъ, образномъ передаваніи какой-бы то ни было истины, хотя бы и практической. Самыя поговорки и пословицы народныя въ этомъ смыслѣ суть поэзія или, лучше сказать,—начало, первый исходный пунктъ поэзіи; а басня въ отношеніи къ поговоркамъ и пословицамъ есть высшій родъ, высшая поэзія или поэзія народныхъ поговорокъ и пословицъ, дошедшая до крайняго своего развитія, дальше котораго она идти не можетъ.

Во времена псевдо-классицизма басню почитали однимъ изъ важнѣйшихъ родовъ поэзіи, и Лафонтена ставили ничуть не ниже Гомера. Изъ басенъ брали въ риторикахъ и піитикахъ образцы низкаго, средняго и высокаго слога, — брали вѣроятно потому, что тогда вѣрили существованію низкаго, средняго и высокаго слога. Теперь другое время. Однакожъ и теперь никто не сомнѣвается, что басня есть поэтическое произведеніе, а баснописецъ—поэтъ, который мѣстами даже можетъ, такъ сказать, выходить изъ ограниченнаго характера басни и впадать въ высшую поэзію, смотря по предметамъ своихъ изображеній. Такъ напримѣръ, сколько идиллической поэзіи въ описаніи пѣсни соловья или въ описаніи бури, которымъ такъ поэтически замыкается басня «Дубъ и Трость», и которое наши классики съ такой гордостью выставляли въ образецъ высокаго слога. Въ басняхъ Крылова можно найти еще и лучшіе примѣры поэтической силы и образности въ выраженіяхъ.

Но басни Крылова, кромѣ поэзіи, имѣютъ еще другое достоинство, которое вмѣстѣ съ первымъ заставляетъ забыть, что онѣ — басни, и дѣлаетъ его великимъ русскимъ поэтомъ: мы говоримъ о народности его басенъ. Онъ вполнѣ исчерпалъ въ нихъ и вполнѣ выразилъ ими цѣлую сторону русскаго національнаго духа: въ его басняхъ, какъ въ чистомъ, полированномъ зеркалѣ, отражается русскій практическій умъ, съ его кажущейся неповоротливостью, но и съ острыми зубами, которые больно кусаются; съ его смѣтливостью, остротой и добродушно-саркастической насмѣшливостью; съ его природной вѣрностью взгляда на предметы и способностью коротко, ясно и вмѣстѣ кудряво выражаться. Въ нихъ вся житейская мудрость, плодъ практической опытности, и своей собственной, и завѣщанной отцами изъ рода въ родъ. И все это выражено въ такихъ оригинально-русскихъ, непередаваемыхъ ни на какой языкъ въ мірѣ образахъ и оборотахъ, все это представляетъ собой такое неисчерпаемое богатство идіомовъ, руссизмовъ, составляющихъ народную физіономію языка, его оригинальныя средства и самобытное, самородное богатство,—что самъ Пушкинъ не полонъ безъ Крылова въ этомъ отношеніи. О естественности, простотѣ и разговорной легкости его языка нечего и говорить. Языкъ басенъ Крылова есть прототипъ языка «Горе отъ Ума» Грибоѣдова, — и можно думать, что еслибы Крыловъ явился въ наше время, онъ былъ бы творцомъ русской комедіи и по количеству не меньше, а по качеству больше Скриба обогатилъ бы литературу превосходными произведеніями вродѣ легкой комедіи. Хотя онъ и бралъ содержаніе нѣкоторыхъ своихъ басенъ изъ Лафонтена, но переводчикомъ его назвать нельзя: его исключительно русская натура все перерабатывала въ русскія формы и все проводила черезъ русскій духъ. Честь, слава и гордость нашей литературы, онъ имѣетъ право сказать: «Я знаю Русь и Русь меня знаетъ», хотя никогда не говорилъ и не говоритъ этого. Въ его духѣ выразилась сторона духа цѣлаго народа; въ его жизни выразилась сторона жизни милліоновъ. И вотъ почему еще при жизни его выходитъ сороковая тысяча экземпляровъ его басенъ, и вотъ за что со временемъ каждое изъ многочисленныхъ изданій его басенъ будетъ состоять изъ десятковъ тысячъ экземпляровъ. Вотъ и причина, почему всѣ другіе баснописцы, вначалѣ пользовавшіеся не меньшей извѣстностью, теперь забыты, а нѣкоторые даже пережили свою славу. Слава же Крылова все будетъ расти и пышнѣе расцвѣтать до тѣхъ поръ, пока не умолкнетъ звучный и богатый языкъ въ устахъ великаго и могучаго народа русскаго. Нѣтъ нужды говорить о великой важности басенъ Крылова для воспитанія дѣтей; дѣти безсознательно и непосредственно напитываются изъ нихъ русскимъ духомъ, овладѣваютъ русскимъ языкомъ и обогащаются прекрасными впечатлѣніями почти единственно доступной для нихъ поэзіи. Но Крыловъ—поэтъ не для однихъ дѣтей: съ книгой его басенъ невольно забудется и взрослый и снова перечтетъ ужъ читанное имъ тысячу разъ.

Теперь объ изданіи сороковой тысячи. Оно опрятно и украшено портретомъ автора, виньеткой,

Digitized by Google

прекрасно сдѣланными, и двадцатью-четырьмя превосходными политипажами. Можетъ-быть многимъ странно покажется, что изъ трехъ-сотъ-семи басенъ только къ двадцати-четыремъ приложены политипажи. Эти картинки взяты съ великолѣпнаго парижскаго изданія: оттого и лица на нихъ, и костюмы явно иностранные, а на нѣкоторыхъ замѣтите вы французскія надписи, которыя издатель не догадался стереть. Разумѣется, что политипажи приложены только къ тѣмъ баснямъ, которыхъ содержаніе или взято изъ басенъ Лафонтена, или сходно съ ними; но какъ-то дико видѣть при русскихъ, при Крыловскихъ басняхъ эти нѣмецкіе лица и костюмы. А политипажи при басняхъ Лафонтена превосходны; не говоря уже о чудесной работѣ, какая прекрасная мысль — одѣть животныхъ въ платья и сдѣлать въ нихъ что-то среднее между мордой животнаго и лицомъ человѣческимъ. Вотъ хоть этотъ толстый господинъ въ сюртукѣ, съ бычьей физіономіей и рогами, который такъ гордо смотритъ на низенькаго франта во фракѣ съ лягушечьей мордой, брюхомъ и тоненькими ножками; франтъ, закинувъ голову, надувается, чтобы сравняться въ ростѣ и въ дородности съ толстымъ господиномъ-быкомъ! Въ изобрѣтеніяхъ такого рода французскій геній торжествуетъ: никто лучше француза не сочинитъ карикатуры, виньетки, гротеска какого-нибудь; никто лучше француза не придастъ этой бездѣлкѣ столько ума, граціи, жизни. У насъ есть и свои художники съ дарованіемъ—и при этомъ мы невольно вспомнили объ очеркахъ Сапожникова къ извѣстному изданію басенъ Крылова in-quarto: сколько въ этихъ очеркахъ таланта, оригинальности, жизни! какой русскій колоритъ въ каждой чертѣ! И что же?— Нашимъ художникамъ пока еще нечего дѣлать: во-первыхъ, у насъ нѣтъ хорошихъ гравировщиковъ, и мы по необходимости посылаемъ въ Лондонъ собственные рисунки, а во-вторыхъ, наша публика мало читаетъ русскія книги и еще меньше покупаетъ ихъ. Къ этому присоединяется излишняя довѣрчивость ко всему иностранному, излишняя недовѣрчивость ко всему русскому—и, надо сказать, то и другое не всегда бываетъ безъ основанія. У насъ вообще никто еще не пріучился хорошо дѣлать и при средствахъ. Напримѣръ, какія огромныя средства даны были для изданія Пушкина, и что же? Пушкинъ дурно напечатанъ, на оберточной бумагѣ, съ страшными опечатками, съ выпускомъ важныхъ пьесъ (напримѣръ «Демона», «Къ Морѳею»), съ ложнымъ размѣщеніемъ по родамъ; пущенъ по неимовѣрно-высокой и нисколько не соотвѣтственной съ безобразіемъ изданія цѣнѣ, и притомъ безъ цѣлой трети сочиненій Пушкина, за которыя надо платить новыя деньги, и которыхъ, Богъ знаетъ, когда дождется наша публика! Вотъ и еще новый, и притомъ самый свѣжій примѣръ сказаннаго нами—сороковая тысяча басенъ Крылова: бумага хорошая, печать тоже; портретъ автора, виньетка, политипажи, хоть и чужіе, но цѣна умѣренная (5 р. асс.): видно, что у издателя были средства, и онъ не щадилъ ихъ; но что за безвкусіе!—поля узенькія, шрифтъ черезчуръ крупенъ; и что за аккуратность!—просмотрите басню «Скупой», и вы прочтете въ концѣ 256 страницы слѣдующіе четыре стиха:

Такъ на прощанье, въ знакъ пріязни,
Мои сокровища принять не откажись!
Такъ на прощанье, въ знакъ пріязни,
Мои сокровища принять не откажись!

Два стиха повторены! Боже мой! кому поручаютъ издатели смотрѣніе за своими изданіями!...

«Новые досуги» Федора Слѣпушкина. *Спб. 1840.*

Поэзія есть даръ природы; чтобъ быть поэтомъ, надо родиться поэтомъ; но научиться или выучиться быть поэтомъ—невозможно. Это старая истина, которая давно уже всѣмъ извѣстна; но, кажется, еще не всѣмъ извѣстно, что писать риѳмованной и размѣренной по правиламъ стихосложенія прозой и быть поэтомъ — совсѣмъ не одно и то же. Странное дѣло! Вѣдь и эта истина старая, которую очень бойко выскажутъ вамъ даже тѣ самые люди, которые на дѣлѣ грѣшатъ противъ нея. Но вотъ здѣсь-то и видно различіе между отвлеченной мыслью и истиннымъ знаніемъ: первая есть, какъ сказалъ Шекспировъ Гамлетъ, «слова, слова, слова», а второе — мысль, осуществляющаяся въ дѣлѣ. Многіе говорятъ о поэзіи словно по книгѣ—такъ и видно, что твердо заучили наизусть не одну піитику: а спросите, какихъ поэтовъ и какія именно сочиненія они любятъ или не любятъ,—и вы увидите, что такое «слова, слова, слова»! Такъ напримѣръ, у насъ были люди, которые громкопрегромко разсуждали объ искусствѣ по «высшимъ взглядамъ»; судя по ихъ смѣлости и по звучности ихъ фразъ, вы могли подумать, что они и въ самомъ дѣлѣ знаютъ искусство, какъ свои пять пальцевъ. Къ довершенію очарованія, вы узнаёте, что они и сами поэты, т. е. пишутъ повѣсти, романы, драмы; читаете ихъ,—и видите, что всѣ ихъ высшіе взгляды на искусство—«слова, слова, слова», потому что только грубое неразумѣніе, а вслѣдствіе его и грубое неуваженіе къ искусству и жалкая посредственность могли породить такихъ чудищъ...

Что поэзія есть не плодъ науки, а счастливый даръ природы,—этому лучшимъ доказательствомъ Кольцовъ, и по сю пору прѣсолъ, и по сю пору незнающій русской орѳографіи. Что дѣлать? русской, какъ и всякой орѳографіи можно выучиться и не выучиться, смотря по обстоятельствамъ и условіямъ внѣшней жизни человѣка, такъ же, какъ и быть или не быть прѣсоломъ; но нельзя не имѣть глубокаго духа, непосредственно обнимающаго все, что отъ духа, пламеннаго сердца, на все родственно отзывающагося, и роскошной фантазіи, превращающей въ живые поэтическіе образы всякую живую, поэтическую мысль, нельзя ихъ не имѣть, если при-

Digitized by Google

рода дала ихъ вамъ, точно такъ же, какъ нельзя ихъ пріобрѣсть ни трудомъ, ни ученіемъ, ни деньгами, если природа отказала вамъ въ нихъ. И посмотрите, какой глубокой художественной жизнью вѣетъ отъ дѣвственныхъ простодушныхъ вдохновеній поэта-пра̀сола! Задумывается ли онъ надъ явленіями природы и, тщетно ища въ себѣ отвѣта на внутренніе вопросы, восклицаетъ:

О гори, лампада,
Ярче предъ Распятіемъ!
Тяжелы мнѣ думы—
Сладостна молитва!

или въ пламенной молитвѣ у неба проситъ разрѣшенія замогильной тайны бытія,—или когда уединенная могила среди безбрежной степи вызываетъ его поэтическія мечты,—вездѣ какая полнота чувства, какое ощутительное присутствіе мысли, какіе поэтическіе образы, какая энергія и мощь и вмѣстѣ простота въ выраженіи, и со всѣмъ тѣмъ какая народность—этотъ отпечатокъ ума глубокаго и сильнаго, но неразвитаго образованіемъ и заключеннаго въ магическомъ кругѣ своей непосредственности и дѣвственной простотѣ! И какіе вопросы тревожатъ этотъ заключенный въ самомъ себѣ духъ!.. Боже мой! да много ли на свѣтѣ профессоровъ и докторовъ исторіи, правъ, которые бы хоть подозрѣвали и возможность подобныхъ вопросовъ!.. А когда онъ передаетъ вамъ поэзію простого быта, жизнь вашихъ меньшихъ братій, съ ихъ страстями и мечтами, горемъ и радостью, какъ глубоко онъ истиненъ въ каждомъ чувствѣ, въ каждой картинѣ, въ каждой чертѣ! Какая простота, сжатость, молніеносная сила въ его изображеніяхъ! Какое русское разгулье, какая могучая удаль, какъ все широко и необъятно! Какіе чисто-русскіе образы, какая чисто-русская рѣчь! Вотъ крестьянинъ, который, отъ измѣны своей суженой,

Пошелъ къ людямъ за помочью—
Люди съ смѣхомъ отвернулися;
На могилу къ отцу, къ матери—
Не встаютъ они на голосъ мой!

Души сильныя сильно и страдаютъ: а можно ли вѣрнѣе этого выразить страданіе души сильной—

Пала грусть-тоска глубокая
На кручинную головушку,
Мучитъ душу мука страшная;
Вонъ изъ тѣла душа просится!

Но души сильныя могучи и въ самомъ отчаяніи, и какъ бы въ немъ же самомъ находятъ и выходъ свой изъ него:

Въ ночь подъ бурей я коня сѣдлалъ,
Безъ дороги въ путь отправился—
Горе мыкать, жизнью тѣшиться,
Съ злою долей перевѣдаться!

Перечтите его «Деревенскую Бѣду», «Лѣсъ»—и подивитесь этой богатырской силѣ могучаго духа! И какое разнообразіе даже въ самомъ однообразіи его поэзіи! Вотъ нѣжная, грустная жалоба дѣвушки, насильно отданной за немилаго—

Поздно, рòдныя,
Обвинять судьбу,
Ворожить, гадать,
Сулить радости!
Пусть изъ-за моря
Корабли плывутъ,

Пущай золото
На полъ сыплется:
Не расти травѣ
Послѣ осени,
Не цвѣсти цвѣтамъ
Зимой по снѣгу!

Крестьянину отецъ его милой отказалъ въ ея рукѣ, и онъ дивится своей безталанности...

У меня ль плечо
Шире дѣдова,
Грудь высокая
Моей матушки;
На лицѣ моемъ
Кровь отцовская
Въ молокѣ зажгла
Зорю красную;

Кудри черныя
Лежатъ скобкою;
Что̀ работаю—
Все мнѣ спорится...
Да въ несчастный день,
Въ безталанный часъ,
Безъ сорочки я
Родился на свѣтъ!..

Онъ говоритъ, что его манитъ не богатство ея отца:

Пускай домъ его—
Чаша полная:
Я ее хочу,
Я по ней грущу.
Лицо бѣлое,

Заря алая—
Щеки полныя,
Глаза темные—
Свели молодца
Съ ума-разума!

Онъ хочетъ отточить косу и идти въ дальнюю сторону, чтобы заработать деньгу:

Ты прости, село,
Прости, староста:
Въ края дальніе
Пойдетъ молодецъ,
Что внизъ по̀ Дону
По набережью.
Хороши стоятъ
Тамъ слободушки,
Степь широкая
Далеко вокругъ,

Широко лежитъ,
И ковыль-травой
Разстилается.
Ахъ ты, степь моя,
Степь привольная!
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
Къ морю Черному
Понадвинулась!

Какая безконечность, смѣлость, широкость, какое русское разгулье и какая поэтическая красота въ этихъ образахъ! Вотъ она, простодушная, дѣвственная и могучая народная поэзія. Вотъ она, задушевная пѣснь великаго таланта, замкнутаго въ естественной непосредственности, невышедшаго изъ себя развитіемъ, неподозрѣвающаго своей богатырской мощи! Найдите хоть одно ложное чувство, хоть одно выраженіе, котораго бы не могъ сказать крестьянинъ!..

Совсѣмъ не то представляютъ собой стихотворенія Слѣпушкина. Онъ уже теперь держится своей сферы, описываетъ намъ крестьянъ; но эти крестьяне какъ-то похожи на пастушковъ и пастушекъ Флоріана и Панаева, или на тѣхъ крестьянъ и крестьянокъ, которые пляшутъ въ дивертисментахъ на сценѣ театра. Слѣпушкинъ явился въ то время, когда умѣнье подбирать риѳмы считалось талантомъ и доставляло извѣстность даже и образованнымъ людямъ: тѣмъ бо̀льшій интересъ возбудилъ крестьянинъ-самоучка. Но и тогда нашлись люди, которые не видѣли въ его стихахъ существеннаго—поэзіи, а теперь... Въ стихахъ Слѣпушкина виденъ умный, благородно-мыслящій и образованный не по-крестьянски человѣкъ, котораго нельзя не уважать,—но не поэтъ. Ничего и похожаго на поэзію нѣтъ въ его стихахъ: ни одного поэти-

Digitized by Google

ческаго образа, хотя мѣра стиховъ вездѣ соблюдена вѣрно, а риѳмы подобраны правильно. Очевидно, что его поэзія — не даръ природы, а плодъ образованности выше его состоянія. Если барство еще не даетъ права на талантъ, то и крестьянство не даетъ его. Понять правила стихосложенія, читать поэтовъ, любить поэзію и даже быть человѣкомъ съ поэтической душой, съ чувствомъ, съ умомъ—все это еще не значитъ быть самому поэтомъ. Вотъ, кажется, гдѣ ошибка Слѣпушкина. Такъ ошибались въ своемъ призваніи многіе, даже имѣвшіе еще большее право подозрѣвать въ себѣ талантъ...

Мы выписывали изъ Кольцова,—выпишемъ и изъ Слѣпушкина; пусть сравнятъ и посудятъ. Вотъ начало первой пьесы:

День свѣтлый, солнце золотое
Въ лучахъ плыветъ по высотѣ;
Яснѣетъ небо голубое!
Шумитъ садъ Лѣтній въ красотѣ,
Петромъ Великимъ насажденный!
Тамъ липы вѣковыя, клены
Лелѣетъ вѣтеръ *полдневной;*
Надъ царственной рѣкой Невой
Петровскій шпиль горитъ звѣздой,
Высоко голубокъ летаетъ,
А на гранитномъ берегу
Любовь семейная гуляетъ.

Какое вялое, холодное и водяное описаніе! Не есть ли это довольно плохая проза съ полубогатыми риѳмами? Но вотъ вамъ поэзія деревенскаго быта, вотъ завѣщаніе умирающаго крестьянина внуку:

Случилось подъ вечеръ зимой,
Федотъ почуялъ, знать, разлуку,
Съ тяжелымъ вздохомъ и слезой
Онъ говорилъ заботно внуку:
«Ты выросъ на моихъ рукахъ,
Взлелѣянъ, какъ цвѣтокъ садовый,
Со мной на нивахъ и лугахъ
Гулялъ (?) весной, – *и медъ сотовый*
Тебя, какъ гостя, услаждалъ!» и т. д.

Не подумайте, что мы выбирали худшее; право, въ стихотвореніяхъ Слѣпушкина нѣтъ ни лучшаго, ни худшаго — все ровно: грамматическій смыслъ вездѣ соблюденъ, мѣра стиха правильна, риѳма хоть не звучна, но всегда имѣется; поэзіи нигдѣ нѣтъ.

Повѣсти и преданія народовъ славянскаго племени. (*)*изданныя И. Боричевскимъ. Спб. 1840.*

Отъ прозаической поэзіи Слѣпушкина перейдемъ къ поэтической прозѣ, изданной Боричевскимъ. Боричевскому пришла благая мысль—передать на русскій языкъ поэтическія преданія и народные разсказы сербскіе, мазовецкіе, галицкіе, польскіе, украинскіе, чешскіе, подольскіе и прочихъ сплеменныхъ намъ народовъ. Первая книжка очень любопытна. Нѣкоторыя изъ пьесъ имѣютъ высокій поэтическій интересъ, какъ напримѣръ «Краль Сербскій Троянъ»; другія любопытны, какъ вѣрная характеристика духа того или другого племени, какъ напримѣръ «Договоръ съ Бѣсомъ».—Переводъ очень хорошъ. Къ книжкѣ приложены примѣчанія, свидѣтельствующія объ учености и начитанности переводчика. Въ предисловіи переводчикъ жалуется на невниманіе нашихъ литераторовъ къ произведеніямъ народной поэзіи славянскихъ племенъ и на предпочтеніе, оказываемое ими иностраннымъ литературамъ; упрекъ неосновательный! Намъ должно сперва заняться своей народной поэзіей и спасти отъ забвенія ея разсѣянныя сокровища, а потомъ уже обратить вниманіе и на народную поэзію родственныхъ намъ племенъ. Но кто имѣетъ охоту и средства дѣлать это теперь же—доброе дѣло! Только иностранныя литературы должны остаться и всегда останутся предметомъ предпочтительнаго вниманія, потому что обще-мірovое всегда будетъ выше частнаго, а художественная поэзія выше естественной или такъ называемой народной. Высокое эстетическое наслажденіе доставляютъ поэтическіе разсказы, собранные Киршей Даниловымъ—объ этомъ нѣтъ спора; но что это наслажденіе передъ тѣмъ, которое доставляютъ созданія Пушкина?—Неужели безсвязный лепетъ младенца и разумная рѣчь мужа—одно и то же? Неужели однообразные народные эпосы, монотонныя пѣсни—все то же, что̀ «Иліада» Гомера, драмы Шекспира или созданія Гёте?—Всему свое мѣсто, и все хорошо на своемъ мѣстѣ. Очевидно, что Боричевскій увлекся мыслью Максимовича, которую и взялъ эпиграфомъ: «Наступило, кажется, то время, когда познаютъ истинную цѣну народности». Эта мысль справедлива, но заднимъ числомъ: теперь не познаютъ, а давно ужъ познали и опредѣлили цѣну народной поэзіи. Прошло то время, когда, разставаясь съ мертвымъ псевдо-классицизмомъ, бросились въ другую крайность и думали, что народная пѣсня выше художественнаго произведенія какого угодно поэта. Кажется, излишнее пристрастіе къ народнымъ произведеніямъ славянской фантазіи заставило Боричевскаго отыскивать сходство въ народныхъ славянскихъ повѣрьяхъ и преданіяхъ съ скандинавскими; но приведенные имъ примѣры только доказываютъ ихъ несходство. Если хотите, тутъ есть что-то похожее на сходство; но все близкое къ своему источнику болѣе или менѣе сходно, и потому славянскія преданія и повѣрья сходны не только съ скандинавскими, но и съ индійскими, и съ египетскими, и съ какими угодно. Всѣ дѣти сходны между собой, но въ общемъ, въ духѣ, а не въ формахъ, которыми духъ выражается. Вотъ этого сходства въ формѣ нѣтъ и тѣни между славянскими и скандинавскими преданіями и повѣрьями, что̀ всего лучше доказываютъ приведенные Боричевскимъ примѣры.

Digitized by Google

Пантеонъ русскаго и всѣхъ иностранныхъ театровъ. №. 3. *Спб. 1840.*

Третья книжка «Пантеона» начинается «Бурей» Шекспира, о которой нельзя сказать, что это одно изъ лучшихъ произведеній великаго британца, потому что рѣшительно всѣ произведенія его—лучшія: каждое лучше другого, и ни одно не хуже другого. «Буря» и «Сонъ въ Лѣтнюю ночь» представляютъ собой совершенно другой міръ творчества Шекспира, нежели его прочія драматическія произведенія—міръ фантастическій. Словно какія тѣни, въ прозрачномъ сумракѣ ночи, изъ-за розоваго занавѣса зари, на разноцвѣтныхъ облакахъ, сотканныхъ изъ ароматовъ цвѣтовъ, носятся передъ вами лица «Бури», начиная отъ безобразнаго чудовища Калибана до свѣтлаго духа Аріеля,—отъ суроваго волшебника Проспера до плѣнительной Миранды. Словомъ, «Буря» Шекспира—очаровательная опера, въ которой только нѣтъ музыки, но фантастическая форма которой производитъ на васъ самое музыкальное впечатлѣніе. Однако фантастическое Шекспира совсѣмъ не то, что фантастическое нѣмецкое, фантастическое Гофмана: при всей своей волшебной обаятельности оно не улетучивается въ какую-то форму безъ содержанія или въ какое-то содержаніе безъ формы, а является въ рѣзко-очерченныхъ, въ строго-опредѣленныхъ формахъ и образахъ. Такое тѣсное и живое сліяніе (конкреція) подобныхъ противуположностей, каковы—фантастическая неопредѣленность содержанія и художественная опредѣленность формы, возможны только для великихъ художниковъ, для тѣхъ единственно и исключительно истинныхъ жрецовъ искусства, которые, по своей глубоко-художественной натурѣ, никогда не выходятъ изъ сферы творчества и не допускаютъ въ нее чуждаго элемента—отвлеченнаго мышленія (рефлексіи). Недавно въ одномъ русскомъ журналѣ было замѣчено, что Пушкинъ не идеаленъ, что его поэзія чужда неопредѣленной выспренности и крѣпко держится земли и опредѣленныхъ образовъ, и что вслѣдствіе этого Пушкинъ—поэтъ не міровой, не великій, хотя и съ примѣчательнымъ талантомъ. По такому опредѣленію можно и съ Шекспира снять титулъ великаго и мірового поэта: какъ и Пушкинъ, онъ крѣпко держится земли и, въ отношеніи къ мечтательности и идеальной выспренности, составляетъ совершенную противоположность съ Шиллеромъ и еще больше съ Жанъ-Полемъ Рихтеромъ. Но потому-то онъ и неизмѣримо выше обоихъ ихъ, такъ выше, что сравнивать его съ ними невозможно, какъ невозможно Шиллера и Жанъ-Поля Рихтера сравнивать съ какимъ-нибудь талантливымъ русскимъ поэтомъ, который въ туманныхъ элегіяхъ высказывалъ свои туманныя чувства. Шекспиръ—поэтъ дѣйствительности, а не идеальности. Пушкинъ—тоже. Въ сущности, Шекспиръ—болѣе идеальный поэтъ, нежели Шиллеръ; но Шекспиръ, возносясь въ превыспреннюю сферу вѣчныхъ идеаловъ, низводилъ ихъ на землю и общее обособлялъ въ индивидуальныя, опредѣленныя и замкнутыя въ самихъ себѣ явленія. Правда, Шекспиръ крѣпко держался земли, но вѣроятно потому, что сама земля или такъ называемый міръ земной есть вѣчная идея, изъ надзвѣздныхъ областей идеальной возможности ставшая особнымъ, въ самомъ себѣ замкнутымъ. явленіемъ. Идея земного міра не написана на немъ, вродѣ апоѳегмы или какой-нибудь нравственной сентенціи, но онъ весь проникнутъ насквозь своей идеей, какъ кристаллъ лучемъ солнечнымъ, и составляетъ съ ней единое и нераздѣльное; почему и трудно усмотрѣть его идею, особенно тѣмъ, у кого нѣтъ внутреннихъ очей, внутренняго ясновидѣнія. По тому же самому нѣтъ ничего труднѣе, какъ отличить идею отъ формы въ художественномъ произведеніи: то и другое слито во-едино, и небесное является земнымъ, безконечное—конечнымъ, невыговариваемое—опредѣленнымъ. Оставляя въ сторонѣ вопросъ о превосходствѣ (котораго мы и не думаемъ отрицать или оспаривать) Шекспира передъ Пушкинымъ, можно смѣло сказать, что только слѣпые могутъ не видѣть, что оба эти великія явленія творческой силы принадлежатъ къ одному разряду, суть явленія родственныя. Но потому-то и недоступны они для большинства. Идея, не органически связанная съ формой, идея, которая не сквозитъ черезъ форму, какъ лучъ солнечный черезъ граненый хрусталь, а виднѣется черезъ трещины и щели формы,—такая идея доступнѣе для большинства, такъ же точно, какъ «идеальные» поэты доступнѣе для него, чѣмъ дѣйствительные художники.

Предѣлы журнальной рецензіи не позволяютъ намъ критически разсматривать «Бурю» Шекспира, и потому мы по необходимости должны ограничиться легкими замѣчаніями. Оригинальность и вѣрность характеровъ, ихъ рѣзкая очерченность и опредѣленность, художественная соотвѣтственность содержанія съ формой, полнота, оконченность—все это неотъемлемыя качества каждаго произведенія Шекспира,—качества, о которыхъ или должно говорить все, или ничего не говорить. Къ особенностямъ «Бури» принадлежитъ этотъ полусумрачный, таинственный колоритъ, который происходитъ отъ элемента фантастическаго. Прочтете,—и словно проснетесь отъ какого-то тревожнаго, но волшебно-сладкаго сна. И какъ дивно-обаятельно, какъ безконечно-прекрасно фантастическое Шекспира! Послушайте пѣсню духа Аріеля: какая роскошная фантазія! Она раскрываетъ таинственныя убѣжища замкнутыхъ въ явленія духовъ жизни, даетъ имъ причудливо обольстительные образы и населяетъ ими и небо, и землю, и воды, и лѣса... Вотъ истинный міръ фантастическаго!... Но въ «Бурѣ» много и другихъ элементовъ: тутъ и высокая драма, и смѣшная комедія, и волшебная сказка. И все это такъ слито, такъ проникнуто одно другимъ и составляетъ такое чудное цѣлое!... «Буря»—прекрасный сюжетъ для оперная либретто, еслибы искусная рука взялась за него. А характеры?... Одна Миранда представляетъ собой

Digitized by Google

цѣлый міръ поэтической красоты. Дѣвушка, съ младенчества не видавшая никого, кромѣ своего отца, да чудовища Калибана, не имѣющая никакого представленія о мужчинѣ, встрѣчается съ прекраснымъ молодымъ человѣкомъ,—и только кисть Шекспира могла нарисовать такую дивно-вѣрную картину развивающагося чувства любви въ дѣвственномъ сердцѣ юнаго, прекраснаго, младенчески простодушнаго существа!...

Желаемъ, чтобъ кто-нибудь изъ людей съ талантомъ переволъ «Бурю» не прозой, а стихами. «Буря» больше, чѣмъ какая-нибудь другая пьеса Шекспира, теряетъ въ прозаическомъ переводѣ. Впрочемъ «Пантеонъ» все-таки оказалъ русской публикѣ неоцѣнимую услугу напечатаніемъ этого перевода, который конечно не безъ недостатковъ, но вообще очень хорошъ...

Введеніе въ философію. *Сочиненіе профессора С. П. Д. А. Карпова. Спб. 1840.*

Наша литература, не вышедши еще изъ состоянія ребячества, успѣла уже подвергнуться всѣмъ недугамъ старчества; въ ней мало возникаетъ энергическихъ свѣтлыхъ стремленій, въ ней мало живой бодрости и отваги, зато въ ней много болѣзненныхъ признаковъ: тщедушность, мелочность, апатія, равнодушіе, безстыдное невѣжество, хвастающее собой, какой-то безсильный, чахоточный скептицизмъ. Это ребенокъ въ англійской болѣзни! Пѣвуны изъ всѣхъ силъ увѣряютъ себя и другихъ, что они—люди разочарованные и отчаянные, что ихъ ничто не манитъ въ жизни; такъ называемые ученые смотрятъ на все, въ чемъ замѣтно присутствіе мысли, на все, что должно возбуждать въ человѣкѣ святое сознаніе своего высшаго назначенія,—или съ коварной улыбкой Мефистофеля, или съ озабоченнымъ видомъ людей, которымъ некогда заниматься пустяками. Особенно на философію направляютъ они удары своего пошлаго скептицизма, хотя, какъ они сами признаются, не только никогда не удостоивали заняться ею, но даже не смыслятъ самыхъ обыкновенныхъ ея терминовъ, которыхъ знаніе въ Европѣ предполагается во всякомъ образованномъ и благовоспитанномъ человѣкѣ. Давно ли журнальные крикуны подняли тревогу на весь народъ, встрѣтивъ въ нашемъ журналѣ нѣсколько словъ, обыкновенныхъ и понятныхъ для всякаго, кто хоть сколько-нибудь знакомъ съ наукой въ современномъ ея видѣ, и не устыдились публично признаться въ своемъ невѣжествѣ? Право, за нихъ стыдно! И какое понятіе о русскомъ образованіи получилъ бы просвѣщенный европеецъ, еслибъ услыхалъ эти крики!.. Тѣ, которые поумнѣе, своими насмѣшками, иногда сбивавшимися на гаерство, и увѣреніями, что философія—наука безполезная и не хлѣбная, успѣвали добыть себѣ кусокъ хлѣба, и потомъ вѣроятно изъ благодарности (ибо все же философіи, хоть и отрицательно, были они обязаны своими пріобрѣтеніями) умолкали мало-по-малу; другіе же (и большая часть), лишенные даже способности забавно гаерствовать, представляли и представляютъ невольныя карикатуры древнихъ титановъ, жаждавшихъ Олимпа и забрасывавшихъ самихъ себя той грязью, которая назначалась ими для предметовъ, недоступныхъ ихъ разумѣнію.

Понятно, что при такомъ состояніи нашей литературы отрадно встрѣтить всякое литературное произведеніе добросовѣстное и серьезное, точно такъ же, какъ въ балаганной публикѣ встрѣтить человѣка, благопристойно одѣтаго и по крайней мѣрѣ не оскорбляющаго васъ своими манерами. Еще отраднѣе, если такое добросовѣстное произведеніе относится, положимъ, не сущностью, а однимъ именемъ, къ области той великой науки, которая нашла себѣ у насъ такихъ комическихъ антагонистовъ.—Вотъ почему намъ пріятно было развернуть книгу Карпова для того, чтобы извѣстить о ней нашихъ читателей. Намъ еще рано думать о наукѣ въ собственномъ и строгомъ смыслѣ, еще менѣе о философіи, которая можетъ только приняться на почвѣ сильной, хорошо разработанной. Не знаемъ, въ какой степени имѣютъ удобрительныя качества теперешніе продукты нашей литературы, но еще не скоро, судя по всѣмъ признакамъ, придетъ то время, когда можно будетъ разсуждать съ ученой строгостью о сочиненіяхъ, объявляющихъ себя «ученными». Еслибы у насъ и явилось теперь, благодаря какому-нибудь случаю, ученое произведеніе, удовлетворяющее современнымъ требованіямъ науки, то оно походило бы на цвѣтокъ, грустно и одиноко распустившійся среди негодной травы, почти безъ надежды порадовать чей-нибудь взоръ и освѣжить кого-нибудь своимъ дыханіемъ. Перенести его на другую, болѣе благодарную почву, открыть его для чуждыхъ, но способныхъ оцѣнить и признательныхъ взоровъ, вотъ все, что можно было бы для него сдѣлать. Самая критика о дѣльномъ, ученомъ сочиненіи, которая по необходимости должна говорить его языкомъ и ставить читателя на его точку зрѣнія, навлекла бы на себя гаерскіе возгласы...

Философскія системы, увѣнчавшись въ своемъ развитіи системой нашего времени, черезъ то самое такъ теперь опредѣлились и обособились, что опытный взоръ въ одно мгновеніе отличитъ, къ какой изъ нихъ принадлежитъ вновь вышедшее сочиненіе. Такъ по крайней мѣрѣ въ Германіи. Но и въ Германіи есть однако такого рода философы, которые подбираютъ разный хламъ, разбросанный разными системами по пути ихъ развитія, и изъ него составляютъ свои собственныя, дивно-уродливыя системы. Въ Германіи оставляютъ въ покоѣ такихъ философовъ и отсылаютъ ихъ на задній дворъ литературы, гдѣ есть свое устройство, свои журналы, свой духъ и даже свои книгопродавцы. У насъ, нисколько не участвовавшихъ въ философскомъ развитіи, очень естественно являются философскія книги, въ которыхъ авторы философствуютъ на просторѣ, какъ душѣ угодно, и изъ

Digitized by Google

различныхъ мнѣній, изъ различныхъ обрывковъ понятій составляютъ первый калейдоскопъ, вертятъ его и тѣшатся новыми комбинаціями. Тутъ ужъ никакая опытность не можетъ опредѣлить, откуда и какъ составилось сочиненіе.

«Введеніе въ философію» Карпова представляетъ утѣшительное явленіе по тому уже одному, что авторъ, какъ видно изъ цѣлой книги, занимается своимъ предметомъ съ уваженіемъ, что для него философія не игрушка, какъ у большей части нашихъ доморощенныхъ философовъ, и что онъ не шутя старается опредѣлить, въ чемъ она заключается. Удались ли его старанія,—это другой вопросъ.

Что такое «Введеніе въ философію» и въ чемъ должно состоять его назначеніе?—Введеніе, какъ извѣстно, не есть самая наука: это должно быть только переходомъ къ ея точкѣ зрѣнія отъ обыкновеннаго сознанія. Философія не имѣетъ предварительныхъ понятій, какъ другія науки, излагающія ихъ въ введеніяхъ. Все, что можно сказать о ней,—вполнѣ истинно можно сказать только въ ней самой. Цѣль «Введенія въ философію»—только приготовить неофита, очистить, сколько возможно, его представленія, пробить кору ежедневности, въ которую облечено обыкновенное житейское сознаніе, внушить уваженіе къ великому предмету, къ святому таинству знанія, поселить въ готовящейся душѣ мужественную вѣру въ могущество абсолютнаго духа, который долженъ безраздѣльно властвовать въ философіи. Слѣдовательно, польза введенія чисто субъективная по отношенію къ приступающему; въ отношеніи же къ философіи это область совершенно внѣшняя, экзотерическая, и не можетъ имѣть никакого вліянія на ея ходъ. Карповъ думаетъ объ этомъ нѣсколько иначе: для него введеніе имѣетъ гораздо больше важности. Философіи—думаетъ онъ—грозятъ двѣ противоположныя опасности: потеряться въ раздробленіи взглядовъ и, вмѣсто всякаго результата, дойти до скептицизма и невѣрія, или заключиться въ догматъ, цѣпенящій умъ, убивающій его силы, мертвящій его дѣятельность. Между этими крайностями безконечнаго дробленія и строгаго догматизма философіи,—говоритъ онъ, — всего лучше золотая средина — введеніе. Это очень темно и странно. Не знаемъ, вслѣдствіе ли этого самаго соображенія, или какихъ-нибудь другихъ, не изложенныхъ здѣсь,—авторъ возлагаетъ на введеніе обязанность говорить о слѣдующихъ предметахъ: 1) о предметѣ философіи; 2) о ея методѣ; 3) о ея началѣ; потомъ 4) этими элементами (?) оно должно опредѣлить свою науку; 5) указать на цѣль; 6) пользу, и наконецъ 7) изложить чертежъ системы философскихъ наукъ. Смѣемъ думать, что всѣ эти предметы лежатъ внутри самой философіи; внѣ же философіи можно о нихъ толковать сколько угодно, разсуждать вдоль и поперекъ, и никакъ нельзя зацѣпить самаго дѣла; и ужъ напередъ надобно отказаться отъ всякой *наукословности* (терминъ, составленный самимъ авторомъ, для означенія нѣмецкаго Wissenschaftlichkeit). Существованіе философіи доказываетъ недостаточность всѣхъ нефилософскихъ точекъ зрѣнія въ познаваніи, и если къ ней должно обращаться за послѣднимъ рѣшеніемъ всѣхъ вопросовъ, то тѣмъ не менѣе всѣ вопросы о ней самой могутъ быть разсматриваемы съ точки зрѣнія нефилософской; философская же точка зрѣнія можетъ быть найдена только тогда, когда найдено начало философіи, и если философія начинается во введеніи, то введеніе перестаетъ быть введеніемъ и входитъ внутрь науки. Притомъ самый смыслъ вопросовъ можетъ быть опредѣленъ только въ философіи, внѣ которой слова: *цѣль, предметъ, метода* и проч. всячески могутъ быть опредѣляемы сознаніемъ; только свободное развитіе абсолютнаго философскаго начала въ силахъ дать имъ истинное и непреложное содержаніе.

Вотъ причина, почему, несмотря на добросовѣстныя намѣренія автора разрѣшить заданные вопросы, введеніе оставляетъ ихъ смыслъ въ прежней неопредѣленности. Какъ, напримѣръ, опредѣлилъ онъ предметъ философіи?—«Самопознаніе и изслѣдованіе всего въ цѣломъ, какъ одного бытія, полнаго разнообразной жизни и дѣятельности, т. е. изслѣдованіе міра метафизическаго, поколику является онъ сверхчувственнымъ и мыслимымъ». Все это очень хорошо, но поясняетъ ли хоть сколько-нибудь дѣло? Что такое самопознаніе? бытіе? міръ метафизическій? И доказательство того, какъ трудно говорить о такихъ предметахъ внѣ философіи, заключается въ томъ, что самъ авторъ этому общему опредѣленію, справедливому въ своей отвлеченной общности, даетъ слишкомъ скудное содержаніе, и вслѣдствіе этого онъ такъ несправедливо понялъ философію, такъ стѣснилъ ея предѣлы, что, вмѣсто живого духа ея, получилъ мертвую психологію. Въ самомъ дѣлѣ такъ: не взвѣсивъ того, что содержится въ понятіи самопознанія, онъ понялъ его совершенно антифилософски, какъ познаніе души. Психологія есть для него самая существенная философская наука, а разсужденіе объ умѣ, волѣ и сердцѣ—главное ея содержаніе. Всѣ области духа, по его мнѣнію, должны быть изучаемы съ психологической точки зрѣнія; такъ напримѣръ, искусство должно идти не отъ понятія, не отъ существа своего, а отъ человѣческаго сердца.—Метафизическое, по мнѣнію автора, есть нѣчто среднее между духовнымъ и физическимъ,—а духовное, единственно-истинное содержаніе философіи, объявляется для нея недоступнымъ: это что-то неизмѣнное, безформенное (странно!), ни предметъ, ни феноменъ. Метафизическое, по автору, выше физическаго и ниже духовнаго, но входитъ въ область человѣческаго бытія со стороны обоихъ началъ, и воспроизведенное въ новый рядъ существъ является сверхчувственнымъ и отражаетъ въ себѣ тѣ самыя начала, изъ которыхъ оно развилось. Метафизическое (въ смыслѣ автора) снова приводитъ насъ къ психологіи и снова разлучаетъ насъ съ истинной философіей.

Но, не соглашаясь рѣшительно съ авторомъ въ

Digitized by Google

основаніи, мы обязаны отдать ему справедливость: онъ искусно владѣетъ своей мыслью и обличаетъ въ себѣ зрѣлаго наставника; въ книгѣ его разсѣяно много отдѣльныхъ мыслей, прекрасныхъ и истинныхъ; на всемъ лежитъ печать возмужалой обдуманности. Языкъ его правиленъ, слогъ чистъ, литературенъ и читается съ удовольствіемъ; философскіе термины употребляются имъ вездѣ отчетливо и съ знаніемъ дѣла, и мы приглашаемъ ожесточенныхъ ругателей нашего журнала заглянуть въ книгу Карпова, чтобы убѣдиться въ томъ, что напугавшія ихъ слова не нашего изобрѣтенія, а принадлежатъ наукѣ, и что только ихъ собственное наивное невѣжество виновато въ томъ, что эти утвержденные въ философскомъ языкѣ термины показались имъ непонятными и странными.

Стихотворенія М. Лермонтова. *Спб. 1840.*

Эта небольшая красивая книжка съ такимъ простымъ и короткимъ заглавіемъ должна быть самымъ пріятнымъ подаркомъ для избранной, то есть образованнѣйшей части русской публики. Хотя большая половина стихотвореній Лермонтова и была уже напечатана въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду» (1838) и особенно въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1839 и 1840 годовъ, но,—не говоря уже о томъ, что цѣлая треть книжки состоитъ изъ пьесъ, нигдѣ ненапечатанныхъ и совершенно неизвѣстныхъ публикѣ,—кому не пріятно имѣть всѣ стихотворенія даровитаго поэта собранными въ одну книжку и этимъ избавиться отъ труда искать ихъ то въ томъ, то въ другомъ нумерѣ журнала или газеты? Несмотря на то, что Лермонтовъ началъ свое поэтическое поприще еще такъ недавно, не дальше, какъ съ 1837 года, имя его уже громко огласилось на святой Руси, и его юный, могучій талантъ нашелъ не только ревностныхъ почитателей и жаркихъ поборниковъ, но и ожесточенныхъ враговъ,—честь, которая бываетъ удѣломъ только истиннаго достоинства и несомнѣннаго дарованія. Что талантъ Лермонтова такъ скоро пріобрѣлъ себѣ много пламенныхъ поклонниковъ, это нисколько не удивительно: огнистый Сиріусъ замѣтенъ и на усѣянномъ звѣздами небѣ, а яркая звѣзда таланта Лермонтова блистаетъ почти на пустынномъ небосклонѣ, безъ соперниковъ по величинѣ и блеску, даже безъ этихъ звѣздочекъ, которыя безчисленностью выкупаютъ свою микроскопическую малость и своимъ множествомъ умѣряютъ лучезарное сіянье главнаго свѣтила. Правда, талантъ Лермонтова не совсѣмъ одинокъ: подлѣ него блеститъ въ могучей красотѣ самородный талантъ Кольцова, свѣтится и играетъ переливными цвѣтами граціозно-поэтическое дарованіе Красова... Послѣ нихъ можно было бы указать и еще на два, на три имени: у того много чувства, у этого попадаются хорошіе стихи, а вонъ тотъ подавалъ когда-то хорошія надежды; но тотъ одностороненъ и нерѣдко страненъ, этотъ написалъ всего два-три стихотворенія, а о многихъ, недавно еще шумѣвшихъ, уже не слышно, какъ будто-бы ихъ и совсѣмъ не было... Въ результатѣ все-таки остается одно: небосклонъ пустыненъ!.. Здѣсь мы должны сдѣлать оговорку, имѣя въ виду людей, которые пробиваются вѣкъ свой чужими недомолвками, какъ насущнымъ хлѣбомъ: говоря о Лермонтовѣ, мы разумѣемъ современную русскую литературу, отъ смерти Пушкина до настоящей минуты, и, не находя въ ней соперниковъ таланту Лермонтова, разумѣемъ собственно стихотворцевъ-поэтовъ, а не прозаиковъ-поэтовъ, между которыми Лермонтовъ опять-таки какъ Сиріусъ между звѣздами, потому только, что первый и великій прозаикъ-поэтъ русской литературы, съ которымъ Лермонтовъ не пріобрѣлъ еще правъ и быть сравниваемымъ, ничего не печатаетъ со времени смерти Пушкина: читатели поймутъ, о комъ мы говоримъ...

Относительно же того, что талантъ Лермонтова въ такое короткое время успѣлъ нажить себѣ ожесточенныхъ и непримиримыхъ враговъ, это также понятно. Разумѣется, эти враги составляютъ ту часть публики, которая должна называться собственно «толпой»; ненависть этихъ господъ очень понятна: поэзія Лермонтова для нихъ — плодъ слишкомъ нѣжный и деликатный, такъ что не можетъ льстить ихъ грубому вкусу, на который дѣйствуетъ только слишкомъ сладкое, какъ медъ, слишкомъ кислое, какъ огуречный разсолъ, и слишкомъ соленое, какъ севрюжина. Эти господа чувствуютъ непреодолимую антипатію даже и къ тѣмъ людямъ, которые восхищаются талантомъ Лермонтова, и они бранятъ ихъ, какъ служители своихъ господъ, которые устрицъ предпочитаютъ трактирной селянкѣ съ перцомъ. Изъ всѣхъ страстей человѣческихъ сильнѣйшая—самолюбіе, которое, будучи оскорблено, никогда не прощаетъ. Но чѣмъ же скорѣе всего можетъ быть оскорблено самолюбіе ограниченнаго человѣка, какъ не сознаніемъ своего безсилія понять недоступное его разумѣнію? Что̀ можетъ быть досаднѣе и тяжеле, какъ не сознаніе своего невѣжества или своей ограниченности?... Здѣсь мы очень кстати можемъ замѣтить мимоходомъ, что по этой же самой причинѣ и «Отечественныя Записки» имѣютъ такъ много и такихъ ожесточенныхъ враговъ даже между людьми, которые, браня ихъ, все-таки каждую книжку ихъ прочитываютъ отъ доски до доски. Особенное неблаговоленіе этихъ господъ навлекаетъ на себя критика «Отечественныхъ Записокъ» и непонятныя слова, встрѣчающіяся въ ней... право такъ, мы не шутимъ. Но хотя многія изъ этихъ словъ не были новыми и дикими ни въ «Мнемозинѣ», ни въ «Московскомъ Вѣстникѣ», ни въ «Телеграфѣ», ни даже въ «Вѣстникѣ Европы»,—журналахъ, какъ извѣстно, издававшихся въ Москвѣ, однако здѣсь, въ Петербургѣ, они приводятъ въ ужасъ и становятъ втупикъ не только обыкновенныхъ читателей, но даже и записныхъ словесниковъ, теоретиковъ изящнаго и особенно сочинителей риторикъ... Обратимся къ Лермонтову.

Digitized by Google

Кромѣ читателей того разряда, о которомъ мы сейчасъ говорили, его талантъ еще больше имѣетъ враговъ между литераторами, и это еще понятнѣе: этотъ устарѣлъ и, плохо понимавъ стихотворенія, писанныя до 1834 года, уже совсѣмъ не понимаетъ ничего писаннаго послѣ этого года; тотъ родился совсѣмъ безъ органа эстетическаго чувства, не понимаетъ поэзіи и думаетъ, что она годится только «для сбыта пустыхъ и вздорныхъ мыслей»; тѣ больше занимаются барышничествомъ, чѣмъ изящнымъ; а всѣ вмѣстѣ—оскорблены тѣмъ, что стихотворенія Лермонтова не встрѣчаются на листахъ, выходящихъ подъ фирмой ихъ именъ... О господахъ же сочинителяхъ стишковъ для журналовъ и даже большихъ и пребольшущихъ штукъ—изъ которыхъ иные, по извѣщенію одной знаменитой афиши, боролись съ исполинами иностранныхъ литературъ и побѣдили ихъ, — объ этихъ господахъ нечего и говорить: имъ становится дурно отъ стиховъ Лермонтова по слишкомъ законной причинѣ. Вмѣсто рецепта, совѣтуемъ имъ почаще читать вотъ эти стишки:

Вотъ Кутузовъ: онъ зубами
Бюстъ грызетъ Карамзина;
Пѣна съ устъ валитъ клубами,
Кровью грудь обагрена.
Но напрасно мраморъ гложетъ,—
Только время тратитъ въ томъ:
Онъ вредить ему не можетъ
Ни зубами, ни перомъ.

Но дѣло таланта Лермонтова не ограничилось ни друзьями, ни врагами: оно пошло дальше,—и теперь уже явились ложные друзья, которые спекулируютъ на имя Лермонтова, чтобы мнимымъ безпристрастіемъ (похожимъ на *купленное* пристрастіе) поправить въ глазахъ толпы свою незавидную репутацію. Такъ напримѣръ, недавно одна газета—которая впрочемъ больше занимается успѣхами мелкой промышленности, чѣмъ литературой, и знаетъ больше толка въ качествѣ сигаръ и достоинствѣ водочистительныхъ машинъ, чѣмъ въ созданіяхъ искусства,—провозгласила «Героя нашего времени» геніальнымъ и великимъ созданіемъ, упрекая въ то же время какіе-то «субъективно-объективные» журналы въ пристрастіи и «неумѣренныхъ похвалахъ» этому дѣйствительно превосходному произведенію Лермонтова. Къ довершенію комедіи, пустившись судить о частностяхъ романа Лермонтова, эта газета выбрала нѣсколько мыслей изъ критики «Отечественныхъ Записокъ», разумѣется, исказивъ ихъ по своему, и нашпиговала свою статейку тупыми остротами на счетъ обобранной же ей критики... О безпристрастіе!...

Кстати о безпристрастіи: мы неоднократно читали обращенные къ намъ упреки въ излишнемъ будто бы пристрастіи къ лицамъ, произведенія которыхъ часто встрѣчаются на страницахъ «Отечественныхъ Записокъ». Такъ напримѣръ, однажды сказано было въ одномъ журналѣ, что «Отечественныя Записки» называютъ великимъ поэтомъ подписывающагося подъ своими стихотвореніями —о—.Странное обвиненіе! Какъ будто печатать въ своемъ журналѣ чьи-нибудь стихотворенія не для журнальнаго балласта, а по сознанію, что эти стихотворенія достойны вниманія публики, открыто признавать въ большей части ихъ искренность и неподдѣльную теплоту, а иногда и полноту чувства, въ нѣкоторыхъ же вмѣстѣ съ этимъ въ извѣстной степени гармонію и красоту стиха, и наконецъ, говорить о нихъ, что они гораздо лучше случайно прославленныхъ стихотвореній того или другого сомнительнаго таланта, хотя и пользуются меньшей въ сравненіи съ ними извѣстностью,—какъ будто все это то же самое, что назвать ихъ автора великимъ поэтомъ?... Что же касается до другихъ, какъ напримѣръ до Кольцова и Красова,—ихъ талантъ, особенно перваго, давно уже признанъ публикой,—и если «Отечественныя Записки» превозносятъ ихъ, то совсѣмъ не потому, что стихотворенія ихъ печатаются въ этомъ журналѣ, но потому, что могутъ быть имъ громко хвалимы. Это похоже на то, какъ часто случается слышать въ свѣтѣ: «Вы потому его хвалите, что онъ вашъ другъ!»—Странные люди! напротивъ, онъ потому и другъ мнѣ, что я могу хвалить его:—вольно же вамъ принимать слѣдствіе за причину!... Такъ точно и «Отечественныя Записки» удивляются Лермонтову, потому что его талантъ поражаетъ невольнымъ удивленіемъ всякаго, у кого есть эстетическій вкусъ,—и еслибъ Лермонтовъ печатался хоть въ другомъ повременномъ изданіи, между новостями и извѣстіями о вновь пріѣзжающихъ изъ Парижа портныхъ,—«Отечественныя Записки» и тогда точно такъ же стали бы хвалить Лермонтова. И почему же бы не такъ? Неужели же «Отечественнымъ Запискамъ» для этого ждать, что скажетъ о Лермонтовѣ тотъ или другой журналъ? О, нѣтъ! «Отечественныя Записки» не пріучены къ такой китайской скромности: напротивъ, онѣ въ другихъ журналахъ привыкли находить повтореніе своихъ мнѣній и словъ, которыя тѣми же журналами и съ такимъ ожесточеніемъ преслѣдуются... Не подождать ли имъ было приговора публики?—Напротивъ: «Отечественныя Записки» для того и издаются, чтобъ публика въ нихъ находила норму для своихъ приговоровъ; если же есть много читателей, которыхъ вкусъ сходится со вкусомъ «Отечественныхъ Записокъ», безъ предварительнаго сличенія, соглашенія или повѣрки,—то тѣмъ лучше для обѣихъ сторонъ, и тѣмъ больше выигрышъ со стороны истины. Вообще упреки «Отечественнымъ Запискамъ» въ пристрастіи за ихъ рѣзкія и—главное—новыя и оригинальныя сужденія выходятъ изъ слѣдующаго источника: сужденія пишутся для общества, а общество состоитъ изъ публики и толпы. Публика есть собраніе извѣстнаго числа (по большей части очень ограниченнаго) образованныхъ и самостоятельно мыслящихъ людей; толпа есть собраніе людей, живущихъ по преданію и разсуждающихъ по авторитету, другими словами,—изъ людей, которые

Не могутъ смѣть
Свое сужденіе имѣть.

Digitized by Google

Такіе люди въ Германіи называются филистерами, и пока не русскомъ языкѣ не пріищется для нихъ учтиваго выраженія, будемъ называть ихъ этимъ именемъ. Для публики великій писатель тотъ, кто великъ своими созданіями, а не долговременнымъ писательствомъ; публика иногда провозглашаетъ великимъ талантомъ молодого человѣка, который не больше трехъ дней какъ началъ писать, и имени котораго до той минуты никто не слыхалъ,—и та же публика съ упрямымъ презрѣніемъ иногда не хочетъ и слышать о человѣкѣ, котораго имя лѣтъ тридцать печатается и тамъ, и сямъ, который успѣлъ написать цѣлую гору вздорныхъ книгъ, и котораго толпа давно признала чуть-чуть не геніемъ. Но толпа,—о, это совсѣмъ другое дѣло! Толпа ничего не видитъ въ книгѣ, кромѣ бумаги и буквъ, кромѣ заглавія, имени и рисунковъ. Выходитъ новый романъ,—она его не читаетъ, ожидая, что скажутъ ея оракулы, такой-то журналъ, такая-то газета. Толпа неповоротлива по натурѣ своей, и ничто такъ не трудно для членовъ ея, какъ перейти отъ одного портного къ другому, перемѣнить одну кондитерскую на другую или замѣнить старый авторитетъ, старую славу новымъ авторитетомъ и новой славой. Новое литературное имя, новая слава—бичъ для толпы, ибо это имя, эта слава переворачиваютъ вверхъ ногами бѣдный запасъ ея бѣдныхъ мнѣньицъ. Толпа готова признавать примѣчательный талантъ даже въ Пушкинѣ, котораго не любитъ по филистерскому инстинкту, и признавать не за его геніальность, которую узкіе лбы не въ состояніи постигнуть, но потому, что толпа, волей или неволей, прислушалась къ нему впродолженіе по крайней мѣрѣ двадцати-двухъ лѣтъ. Какъ же требовать отъ толпы, чтобы она не хмурилась и сердито не махала своими бумажными колпаками, когда ей вдругъ говорятъ, что, напримѣръ, Гоголь—великій писатель, что его «Ревизоръ»—геніальное созданіе, что Лермонтовъ—талантъ необыкновенный, обѣщающій въ будущемъ нѣчто геніальное, великое? Каково же этимъ господамъ, которые въ своей апатической дремотѣ, почитаемой ими за жизнь, привыкли смотрѣть на Выбойкина, Тряпичкина и Пройдохина, какъ на величайшихъ романистовъ, драматистовъ, грамматѣевъ и критиковъ, потому только, что они ужъ давно торгуютъ литературой и сами ежедневно величаютъ себя геніями? Каково имъ слышать, что Выбойкины, Тряпичкины и Пройдохины—просто безграмотные пачкуны, накричавшіе сами о себѣ, будто имъ и Пушкинъ ни почемъ, и Вальтеръ Скоттъ свой братъ, будто они всѣхъ умнѣе, и талантливѣе, и благонамѣреннѣе, и будто въ головахъ всѣхъ русскихъ литераторовъ, вмѣстѣ взятыхъ, меньше ума, чѣмъ въ «мизинчикѣ» каждаго изъ нихъ?... Чтобъ докончить характеристику толпы, мы должны сказать, что филистеры и китайцы, не будучи однимъ и тѣмъ же, похожи другъ на друга и родственны другъ другу; впрочемъ о ихъ сходствѣ и сродствѣ мы поговоримъ еще въ другое время. «Филистеры» есть вездѣ, и всегда въ большемъ противу членовъ публики количествѣ. Но въ другихъ мѣстахъ они сноснѣе, потому что не такъ замѣтны, будучи подчинены невольному вліянію публики. Оттого-то въ тѣхъ мѣстахъ есть самостоятельность въ воззрѣніяхъ; авторитеты возникаютъ и падаютъ не случайно, но разумно; все талантливое тотчасъ оцѣнивается какимъ-то инстинктомъ, а незаконные и устарѣлые авторитеты исчезаютъ, какъ дымъ, сами собой.

«Отечественныя Записки» всегда будутъ имѣть въ виду не толпу, а публику. Увѣренныя, что истина всегда возьметъ свое, онѣ въ сужденіяхъ своихъ не будутъ согласоваться ни съ заплесневѣлыми литературными адресъ-календарями, ни съ говоромъ полуграмотной толпы, а съ собственнымъ чувствомъ и разумѣніемъ, на основаніи самаго судимаго предмета. И потому «Отечественныя Записки», при этой вѣрной оказіи, еще громче, чѣмъ прежде, объявляютъ во всеуслышаніе глубокое свое убѣжденіе, что первые опыты Лермонтова пророчатъ въ будущемъ нѣчто колоссально-великое. Не говоря напримѣръ о его поэмѣ «Мцыри», какъ о цѣломъ созданіи, обратимъ вниманіе читателей на алмазную крѣпость и блескъ стиховъ, на дивную вѣрность и неисчерпаемую роскошь поэтическихъ картинъ. Такой стихъ—булатный мечъ; и кто, едва взявшись за него, вертитъ имъ, какъ тросточкой,—тотъ богатырь... Да! кромѣ Пушкина, никто еще не начиналъ у насъ такими стихами своего поэтическаго поприща и такъ хорошо не олицетворялъ миѳическаго преданія объ Ираклѣ, котораго еще въ колыбели, будучи дитятей, душилъ змѣй зависти... Впрочемъ пока довольно: въ отдѣлѣ «Критики» мы поговоримъ о стихотвореніяхъ Лермонтова подробнѣе; все же сказанное здѣсь просимъ принять за простое библіографическое извѣстіе, конечно, длинноватое,—но подобныя литературныя явленія дѣлаютъ невольно говорливымъ...

Собраніе сочиненій Михаила Васильевича Ломоносова. *Спб. 1840. Три части.*

Общее мнѣніе о Ломоносовѣ, какъ поэтѣ, ученомъ и писателѣ вообще, уже начинаетъ устаканиваться. Оно не отнимаетъ у него искръ поэзіи, но не оставляетъ за нимъ и имени поэта; оно удивляется ему, какъ ученому, и еще больше, какъ въ высшей степени интересной и поэтической личности, какъ великому человѣку. Въ самомъ дѣлѣ, въ трудахъ и жизни Ломоносова гораздо больше поэзіи, чѣмъ въ его вдохновеніяхъ, принявшихъ на себя форму тяжелыхъ стиховъ. Обо всемъ этомъ «Отечественныя Записки» не замедлятъ поговорить съ своими читателями въ особой статьѣ: есть предметы, о которыхъ должно говорить все, а не что-нибудь и какъ-нибудь,—къ такимъ предметамъ принадлежитъ и Ломоносовъ. Но пока можно (да и должно) сказать что-нибудь объ этомъ академическомъ изданіи сочиненій Ломоносова.

Digitized by Google

Творенія Ломоносова имѣютъ больше историческое, чѣмъ какое-нибудь другое достоинство: вотъ точка зрѣнія, сообразно съ которой должно издавать ихъ. Ломоносовъ не нуженъ публикѣ: она не читаетъ не только его, но даже и Державина, который въ тысячу разъ больше его имѣетъ правъ на титло поэта: Ломоносовъ нуженъ ученымъ и вообще людямъ, изучающимъ исторію русской литературы, нуженъ и школамъ. Вслѣдствіе этого вотъ, по нашему мнѣнію, необходимыя условія изданія его сочиненій: во-первыхъ, они должны быть непремѣнно всѣ, безъ выбора и исключеній, и расположены, хотя и по родамъ (т. е. стихотворенія особо; сочиненія, касающіяся до теоріи словесности,—особо; ученыя сочиненія по части физики, химіи, навигаціи — особо; похвальныя слова и опытъ исторіи Россіи—особо), но въ томъ порядкѣ, въ какомъ они вышли другъ за другомъ изъ-подъ пера автора; во-вторыхъ, чѣмъ они лучше изданы будутъ, тѣмъ лучше, но опрятность и даже изящество изданія отнюдь не должно препятствовать его дешевизнѣ, ибо эта книга не для удовольствія, а для пользы, и не для богатыхъ людей, а для занимающихся серьезно отечественной литературой. При дешевизнѣ не должно быть упущено изъ вида и удобство: изданіе должно быть сжатое (компактное), въ двѣ колонны, не мелкимъ, но убористымъ и четкимъ шрифтомъ, и все оно должно состоять въ одной книгѣ. Извѣстіе о жизни автора и критическая оцѣнка его ученой и литературной дѣятельности, равно какъ и разныя необходимыя примѣчанія, объясняющія текстъ, не могутъ быть излишними при такомъ изданіи. Портретъ и факсимиле Ломоносова, виньеты и другія украшенія составятъ роскошь изданія и увеличатъ его достоинство, если не возвысятъ матеріальной цѣны книги. Разумѣется, подобное изданіе былобы тѣмъ драгоцѣннѣе, что можетъ быть сдѣлано только Академіей, владѣющей большими матеріальными средствами и имѣющей въ виду не прибыль, но пользу литературы и просвѣщенія,—а не какимъ-нибудь книгопродавцемъ, который рисковалъбы потерпѣть отъ него убытокъ. Вообще при изданіи Ломоносова не должно забывать, что онъ ни въ чемъ уже не можетъ быть образцомъ для нашего времени, и что его значеніе хотя и велико, но чисто-историческое—не больше и не меньше.

Нынѣ вышедшее изданіе сочиненій Ломоносова сдѣлано Россійской Академіей по особенному плану. Во-первыхъ, оно въ трехъ книжкахъ, in quarto, тонкихъ, широкихъ и длинныхъ, совершенно квадратныхъ. Потомъ оно состоитъ только изъ стихотворныхъ трудовъ Ломоносова, похвальныхъ словъ, Риторики и Слова о пользѣ химіи. Вмѣсто біографическаго очерка или критическаго взгляда на творенія Ломоносова, оно снабжено слѣдующимъ предисловіемъ:

«Жизнь Ломоносова описана во многихъ и различныхъ книгахъ и повременныхъ изданіяхъ; его таланты и сочиненія оцѣнены и глубокими знатоками словесности и просвѣщенной публикой. Онъ былъ мужъ высокаго ума и обширныхъ свѣдѣній, и содѣйствовалъ много къ водворенію наукъ въ нашемъ отечествѣ и къ образованію, утвержденію и усовершенствованію языка россійскаго (русскаго?). Всѣ въ томъ согласны. Посему излишне было бы говорить здѣсь какъ о самомъ Ломоносовѣ, такъ и о его твореніяхъ. Императорская Россійская Академія, издавая снова въ сихъ трехъ томахъ всѣ стихотворенія, избранныя рѣчи и риторику Ломоносова, желаетъ и надѣется доставить и юношеству, и всѣмъ любителямъ россійской (русской?) словесности *образцы и правила поэзіи и витійства, и тѣмъ способствовать къ распространенію истиннаго вкуса и просвѣщенія*. Да исполнятся ея желанія и надежды!»

Отдавая должную справедливость этимъ благонамѣреннымъ желаніямъ и надеждамъ, мы осмѣливались бы спросить: ужели, послѣ стиховъ и прозы Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова и Пушкина—стихи и похвальныя слова Ломоносова съ ихъ тяжелымъ латинскимъ складомъ могутъ служить образцами и къ распространенію истиннаго вкуса и просвѣщенія?

Путеводительвъ пустынѣ, или озеро-море. *Романъ Фенимора Купера. Переводъ съ англійскаго. Спб. 1841. Двѣ части.*

Такъ какъ Фениморъ Куперъ началъ писать романы уже послѣ Вальтеръ Скотта, то и почитается его подражателемъ или по крайней мѣрѣ замѣчательнымъ даже и послѣ Вальтеръ Скотта романистомъ. Но это грубое заблужденіе—мнѣніе толпы, которая дѣлаетъ свои заключенія не изъ сущности самаго дѣла, а изъ внѣшнихъ обстоятельствъ, т. е. не изъ того, когда онъ началъ писать, какъ расходятся его романы, кто ихъ хвалитъ или кто бранитъ. Куперъ нисколько не ниже Вальтеръ Скотта; уступая ему въ обиліи и многосложности содержанія, въ яркости красокъ, онъ превосходитъ его въ сосредоточенности чувства, которое мощно охватываетъ душу читателя, прежде чѣмъ онъ это замѣтитъ; Куперъ превосходитъ Вальтеръ Скотта тѣмъ, что повидимому изъ ничего создаетъ громадныя, величественныя зданія и поражаетъ васъ видимой простотой матеріаловъ и бѣдностью средствъ, изъ которыхъ творитъ великое и необъятное. Яркая пестрота и многосложность дѣятельной, кипучей европейской жизни—сами подавали Вальтеръ Скотту готовые и богатые матеріалы, но Куперъ на тѣсномъ пространствѣ палубы умѣетъ завязать самую многосложную и въ то же время самую простую драму, которой корни иногда скрываются въ почвѣ материка, а величавыя вѣтви осѣняютъ дѣвственную землю Америки. Эта драма невольно изумляетъ васъ своей силой, глубиной, энергіей, граціозностью, а между тѣмъ въ ней все такъ повидимому спокойно, неподвижно, мелко и обыкновенно!—Вспомните его «Лоциана» и «Краснаго Корсара». Говоря ближе къ истинѣ, Вальтеръ Скотта не должно и сравнивать съ Куперомъ, такъ же какъ Купера съ Вальтеръ Скоттомъ: каждый

Digitized by Google

ческаго образа, хотя мѣра стиховъ вездѣ соблюдена вѣрно, а риѳмы подобраны правильно. Очевидно, что его поэзія — не даръ природы, а плодъ образованности выше его состоянія. Если барство еще не даетъ права на талантъ, то и крестьянство не даетъ его. Понять правила стихосложенія, читать поэтовъ, любить поэзію и даже быть человѣкомъ съ поэтической душой, съ чувствомъ, съ умомъ—все это еще не значитъ быть самому поэтомъ. Вотъ, кажется, гдѣ ошибка Слѣпушкина. Такъ ошибались въ своемъ призваніи многіе, даже имѣвшіе еще большее право подозрѣвать въ себѣ талантъ...

Мы выписывали изъ Кольцова,—выпишемъ и изъ Слѣпушкина; пусть сравнятъ и посудятъ. Вотъ начало первой пьесы:

День свѣтлый, солнце золотое
Въ лучахъ плыветъ по высотѣ;
Яснѣетъ небо голубое!
Шумитъ садъ Лѣтній въ красотѣ,
Петромъ Великимъ насажденный!
Тамъ липы вѣковыя, клены
Лелѣетъ вѣтеръ *полдневной*;
Надъ царственной рѣкой Невой
Петровскій шпиль горитъ звѣздой,
Высоко голубокъ летаетъ,
А на гранитномъ берегу
Любовь семейная гуляетъ.

Какое вялое, холодное и водяное описаніе! Не есть ли это довольно плохая проза съ полубогатыми риѳмами? Но вотъ вамъ поэзія деревенскаго быта, вотъ завѣщаніе умирающаго крестьянина внуку:

Случилось подъ вечеръ зимой,
Федотъ почуялъ, знать, разлуку,
Съ тяжелымъ вздохомъ и слезой
Онъ говорилъ заботно внуку:
«Ты выросъ на моихъ рукахъ,
Взлелѣянъ, какъ цвѣтокъ садовый,
Со мной на нивахъ и лугахъ
Гулялъ (?) весной, – *и медъ сотовый*
Тебя, какъ гостя, услаждалъ!» и т. д.

Не подумайте, что мы выбирали худшее; право, въ стихотвореніяхъ Слѣпушкина нѣтъ ни лучшаго, ни худшаго — все ровно: грамматическій смыслъ вездѣ соблюденъ, мѣра стиха правильна, риѳма хоть не звучна, но всегда имѣется; поэзіи нигдѣ нѣтъ.

Повѣсти и преданія народовъ славянскаго племени. (,)*изданныя И. Боричевскимъ. Спб. 1840.*

Отъ прозаической поэзіи Слѣпушкина перейдемъ къ поэтической прозѣ, изданной Боричевскимъ. Боричевскому пришла благая мысль—передать на русскій языкъ поэтическія преданія и народные разсказы сербскіе, мазовецкіе, галицкіе, польскіе, украинскіе, чешскіе, подольскіе и прочихъ сплеменныхъ намъ народовъ. Первая книжка очень любопытна. Нѣкоторыя изъ пьесъ имѣютъ высокій поэтическій интересъ, какъ напримѣръ «Краль Сербскій Троянъ»; другія любопытны, какъ вѣрная характеристика духа того или другого племени, какъ напримѣръ «Договоръ съ Бѣсомъ».—Переводъ очень хорошъ. Къ книжкѣ приложены примѣчанія, свидѣтельствующія объ учености и начитанности переводчика. Въ предисловіи переводчикъ жалуется на невниманіе нашихъ литераторовъ къ произведеніямъ народной поэзіи славянскихъ племенъ и на предпочтеніе, оказываемое ими иностраннымъ литературамъ; упрекъ неосновательный! Намъ должно сперва заняться своей народной поэзіей и спасти отъ забвенія ея разсѣянныя сокровища, а потомъ уже обратить вниманіе и на народную поэзію родственныхъ намъ племенъ. Но кто имѣетъ охоту и средства дѣлать это теперь же—доброе дѣло! Только иностранныя литературы должны остаться и всегда останутся предметомъ предпочтительнаго вниманія, потому что обще-міровое всегда будетъ выше частнаго, а художественная поэзія выше естественной или такъ называемой народной. Высокое эстетическое наслажденіе доставляютъ поэтическіе разсказы, собранные Киршей Даниловымъ—объ этомъ нѣтъ спора; но что это наслажденіе передъ тѣмъ, которое доставляютъ созданія Пушкина?—Неужели безсвязный лепетъ младенца и разумная рѣчь мужа—одно и то же? Неужели однообразные народные эпосы, монотонныя пѣсни—все то же, что̀ «Иліада» Гомера, драмы Шекспира или созданія Гёте?—Всему свое мѣсто, и все хорошо на своемъ мѣстѣ. Очевидно, что Боричевскій увлекся мыслью Максимовича, которую и взялъ эпиграфомъ: «Наступило, кажется, то время, когда познаютъ истинную цѣну народности». Эта мысль справедлива, но заднимъ числомъ: теперь не познаютъ, а давно ужъ познали и опредѣлили цѣну народной поэзіи. Прошло то время, когда, разставаясь съ мертвымъ псевдо-классицизмомъ, бросились въ другую крайность и думали, что народная пѣсня выше художественнаго произведенія какого угодно поэта. Кажется, излишнее пристрастіе къ народнымъ произведеніямъ славянской фантазіи заставило Боричевскаго отыскивать сходство въ народныхъ славянскихъ повѣрьяхъ и преданіяхъ съ скандинавскими; но приведенные имъ примѣры только доказываютъ ихъ несходство. Если хотите, тутъ есть что-то похожее на сходство; но все близкое къ своему источнику болѣе или менѣе сходно, и потому славянскія преданія и повѣрья сходны не только съ скандинавскими, но и съ индійскими, и съ египетскими, и съ какими угодно. Всѣ дѣти сходны между собой, но въ общемъ, въ духѣ, а не въ формахъ, которыми духъ выражается. Вотъ этого сходства въ формѣ нѣтъ и тѣни между славянскими и скандинавскими преданіями и повѣрьями, что̀ всего лучше доказываютъ приведенные Боричевскимъ примѣры.

Digitized by Google

Пантеонъ русскаго и всѣхъ иностранныхъ театровъ. №. 3. *Спб. 1840.*

Третья книжка «Пантеона» начинается «Бурей» Шекспира, о которой нельзя сказать, что это одно изъ лучшихъ произведеній великаго британца, потому что рѣшительно всѣ произведенія его—лучшія: каждое лучше другого, и ни одно не хуже другого. «Буря» и «Сонъ въ Лѣтнюю ночь» представляютъ собой совершенно другой міръ творчества Шекспира, нежели его прочія драматическія произведенія—міръ фантастическій. Словно какія тѣни, въ прозрачномъ сумракѣ ночи, изъ-за розоваго занавѣса зари, на разноцвѣтныхъ облакахъ, сотканныхъ изъ ароматовъ цвѣтовъ, носятся передъ вами лица «Бури», начиная отъ безобразнаго чудовища Калибана до свѣтлаго духа Аріеля,—отъ суроваго волшебника Проспера до плѣнительной Миранды. Словомъ, «Буря» Шекспира—очаровательная опера, въ которой только нѣтъ музыки, но фантастическая форма которой производитъ на васъ самое музыкальное впечатлѣніе. Однако фантастическое Шекспира совсѣмъ не то, что фантастическое нѣмецкое, фантастическое Гофмана: при всей своей волшебной обаятельности оно не улетучивается въ какую-то форму безъ содержанія или въ какое-то содержаніе безъ формы, а является въ рѣзко-очерченныхъ, въ строго-опредѣленныхъ формахъ и образахъ. Такое тѣсное и живое сліяніе (конкреція) подобныхъ противуположностей, каковы—фантастическая неопредѣленность содержанія и художественная опредѣленность формы, возможны только для великихъ художниковъ, для тѣхъ единственно и исключительно истинныхъ жрецовъ искусства, которые, по своей глубоко-художественной натурѣ, никогда не выходятъ изъ сферы творчества и не допускаютъ въ нее чуждаго элемента—отвлеченнаго мышленія (рефлексіи). Недавно въ одномъ русскомъ журналѣ было замѣчено, что Пушкинъ не идеаленъ, что его поэзія чужда неопредѣленной выспренности и крѣпко держится земли и опредѣленныхъ образовъ, и что вслѣдствіе этого Пушкинъ—поэтъ не міровой, не великій, хотя и съ примѣчательнымъ талантомъ. По такому опредѣленію можно и съ Шекспира снять титулъ великаго и мірового поэта: какъ и Пушкинъ, онъ крѣпко держится земли и, въ отношеніи къ мечтательности и идеальной выспренности, составляетъ совершенную противоположность съ Шиллеромъ и еще больше съ Жанъ-Полемъ Рихтеромъ. Но потому-то онъ и неизмѣримо выше обоихъ ихъ, такъ выше, что сравнивать его съ ними невозможно, какъ невозможно Шиллера и Жанъ-Поля Рихтера сравнивать съ какимъ-нибудь талантливымъ русскимъ поэтомъ, который въ туманныхъ элегіяхъ высказывалъ свои туманныя чувства. Шекспиръ—поэтъ дѣйствительности, а не идеальности. Пушкинъ—тоже. Въ сущности, Шекспиръ—болѣе идеальный поэтъ, нежели Шиллеръ; но Шекспиръ, возносясь въ превыспреннюю сферу вѣчныхъ идеаловъ, низводилъ ихъ на землю и общее обособлялъ въ индивидуальныя, опредѣленныя и замкнутыя въ самихъ себѣ явленія. Правда, Шекспиръ крѣпко держался земли, но вѣроятно потому, что сама земля или такъ называемый міръ земной есть вѣчная идея, изъ надзвѣздныхъ областей идеальной возможности ставшая особнымъ, въ самомъ себѣ замкнутымъ. явленіемъ. Идея земного міра не написана на немъ, вродѣ апоѳегмы или какой-нибудь нравственной сентенціи, но онъ весь проникнутъ насквозь своей идеей, какъ кристаллъ лучемъ солнечнымъ, и составляетъ съ ней единое и нераздѣльное; почему и трудно усмотрѣть его идею, особенно тѣмъ, у кого нѣтъ внутреннихъ очей, внутренняго ясновидѣнія. По тому же самому нѣтъ ничего труднѣе, какъ отличить идею отъ формы въ художественномъ произведеніи: то и другое слито во-едино, и небесное является земнымъ, безконечное—конечнымъ, невыговариваемое—опредѣленнымъ. Оставляя въ сторонѣ вопросъ о превосходствѣ (котораго мы и не думаемъ отрицать или оспаривать) Шекспира передъ Пушкинымъ, можно смѣло сказать, что только слѣпые могутъ не видѣть, что оба эти великія явленія творческой силы принадлежатъ къ одному разряду, суть явленія родственныя. Но потому-то и недоступны они для большинства. Идея, не органически связанная съ формой, идея, которая не сквозитъ черезъ форму, какъ лучъ солнечный черезъ граненый хрусталь, а виднѣется черезъ трещины и щели формы,—такая идея доступнѣе для большинства, такъ же точно, какъ «идеальные» поэты доступнѣе для него, чѣмъ дѣйствительные художники.

Предѣлы журнальной рецензіи не позволяютъ намъ критически разсматривать «Бурю» Шекспира, и потому мы по необходимости должны ограничиться легкими замѣчаніями. Оригинальность и вѣрность характеровъ, ихъ рѣзкая очерченность и опредѣленность, художественная соотвѣтственность содержанія съ формой, полнота, оконченность—все это неотъемлемыя качества каждаго произведенія Шекспира,—качества, о которыхъ или должно говорить все, или ничего не говорить. Къ особенностямъ «Бури» принадлежитъ этотъ полусумрачный, таинственный колоритъ, который происходитъ отъ элемента фантастическаго. Прочтете,—и словно проснетесь отъ какого-то тревожнаго, но волшебно-сладкаго сна. И какъ дивно-обаятельно, какъ безконечно-прекрасно фантастическое Шекспира! Послушайте пѣсню духа Аріеля: какая роскошная фантазія! Она раскрываетъ таинственныя убѣжища замкнутыхъ въ явленія духовъ жизни, даетъ имъ причудливо обольстительные образы и населяетъ ими и небо, и землю, и воды, и лѣса... Вотъ истинный міръ фантастическаго!... Но въ «Бурѣ» много и другихъ элементовъ: тутъ и высокая драма, и смѣшная комедія, и волшебная сказка. И все это такъ слито, такъ проникнуто одно другимъ и составляетъ такое чудное цѣлое!... «Буря»—прекрасный сюжетъ для оперная либретто, еслибы искусная рука взялась за него. А характеры?... Одна Миранда представляетъ собой

Digitized by Google

Въ «Безумной» даже нѣтъ никакой истины: героиня—нѣмка въ овчинномъ тулупѣ, а не русская деревенская дѣвка. Кромѣ того обѣ эти поэмы, несмотря на разность содержанія ихъ, суть не что иное, какъ повтореніе «Чернеца»; слова другія, но мотивъ тотъ же,—а одно и то же утомляетъ вниманіе, перестаетъ возбуждать участіе. Вотъ почему двѣ послѣднія поэмы не имѣли никакого успѣха, тогда какъ успѣхъ «Чернеца» былъ чрезвычайный. Какъ цѣлое, эта поэма уже нѣма для нашего времени; но многія частности и теперь еще прочтутся съ наслажденіемъ.

Первая часть этого третьяго изданія сочиненій Козлова заключаетъ въ себѣ три его поэмы, о которыхъ мы сейчасъ говорили: извѣстное его посланіе «Къ другу В. А. Ж.», интересное, какъ поэтическая исповѣдь слѣпца-поэта; балладу «Венгерскій Лѣсъ», Байронову «Абидосскую невѣсту», «Крымскіе Сонеты Адама Мицкевича» и «Сельскій Субботній Вечеръ въ Шотландіи». Что до баллады—кромѣ хорошихъ стиховъ, она не имѣетъ никакого значенія, ибо принадлежитъ къ тому ложному роду поэзіи, который изобрѣтаетъ небывалую дѣйствительность, выдумываетъ Веледъ, Извѣдовъ, Остановъ, Свѣжановъ, никогда не существовавшихъ, и изъ славянскаго міра создаетъ нѣмецкую фантастическую балладу. Переводъ «Абидосской Невѣсты»—весьма замѣчательная попытка; но сжатости, энергіи молніеносныхъ очерковъ оригинала въ немъ нѣтъ и тѣни. Также замѣчателенъ переводъ и «Крымскихъ Сонетовъ» Мицкевича; но отношеніе его къ оригиналу точно такое-же, какъ и перевода «Абидосской Невѣсты» къ ея подлиннику. Одно уже то, что иногда 16-ю, 18-ю и 20 стихами переводитъ Козловъ 14 стиховъ Мицкевича, показываетъ, что борьба была неравная.—«Сельскій Субботній Вечеръ въ Шотландіи» есть не переводъ изъ Борнса, а вольное подражаніе этому поэту. Жаль! потому что эту превосходную пьесу Козловъ могъ-бы перевести превосходно; а какъ подражаніе—она представляетъ собой что-то странное. Не понимаемъ, къ чему послѣ прекраснаго обращенія шотландскаго поэта къ своей родинѣ переводчикъ (въ XIX строфѣ) вдругъ обратился къ Россіи. Положимъ, что его обращеніе полно патріотическаго жара; но умѣстно-ли оно—вотъ вопросъ! Не смѣшно-ли было-бы, еслибъ въ переводѣ «Иліады» Гнѣдичъ послѣ Гомеровскаго обращенія къ музѣ вдругъ обратился отъ себя съ воззваніемъ напримѣръ къ Хераскову? А жизнь шотландская, представляемая Борнсомъ въ его прекрасной идилліи, столько же похожа на жизнь нашихъ мужиковъ, бабъ, ребятъ, парней и дѣвокъ, сколько муза Калліопа на Хераскова.

Съ большимъ удовольствіемъ обращаемся ко второй части стихотвореній Козлова. Она вся состоитъ изъ мелкихъ лирическихъ пьесъ и изъ отрывочныхъ переводовъ; но въ нихъ-то поэтическій талантъ Козлова и является съ своей истинной стороны и въ болѣе блестящемъ видѣ. Конечно не всѣ лирическія стихотворенія Козлова равно хороши: на половину наберется посредственныхъ, есть и совершенно неудачныя; даже бо́льшая часть лучшихъ—переводы, а не оригинальныя произведенія; наконецъ и изъ самыхъ лучшихъ многія не выдержаны въ цѣломъ и отличаются только поэтическими частностями; но тѣмъ не менѣе самобытность замѣчательнаго таланта Козлова не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Его нельзя отнести къ числу художниковъ: онъ—поэтъ въ душѣ, и его талантъ былъ выраженіемъ его души. Поэтому талантъ его тѣсно былъ связанъ съ его жизнью. Лучшимъ доказательствомъ этому служитъ то, что безъ потери зрѣнія Козловъ прожилъ бы весь вѣкъ, не подозрѣвая въ себѣ поэта. Ужасное несчастіе заставило его познакомиться съ самимъ собой, заглянуть въ таинственное святилище души своей и открыть тамъ самородный ключъ поэтическаго вдохновенія. Несчастіе дало ему и содержаніе, и форму, и колоритъ для пѣсенъ, почему всѣ его произведенія однообразны, всѣ на одинъ тонъ. Таинство страданія, покорность волѣ Провидѣнія, надежда на лучшую жизнь за гробомъ, вѣра въ любовь, тихое уныніе, кроткая грусть—вотъ обычное содержаніе и колоритъ его вдохновеній. Присовокупите къ этому прекрасный, мелодическій стихъ—и муза Козлова охарактеризована вполнѣ, такъ что больше о немъ нечего сказать. Впрочемъ его музѣ не чужды и звуки радости, и роскошныя картины жизни, наслаждающейся самой собой.

Ночь весенняя дышала
Свѣтло-южною красой;
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной;
Отраженъ волной огнистой
Блескъ прозрачныхъ облаковъ,
И восходитъ паръ душистый
Отъ зеленыхъ береговъ.
Сводъ лазурный, томный ропотъ
Чуть дробимыя волны,
Померанцевъ, миртовъ шопотъ
И любовный свѣтъ луны,
Упоенья аромата
И цвѣтовъ, и свѣжихъ травъ,
И вдали напѣвъ Торквата
Гармоническихъ октавъ.
Все вливаетъ тайно радость,
Чувствамъ снится дивный міръ;
Сердце бьется; мчится младость
На любви весенній пиръ.
По водамъ скользятъ гондолы;
Искры брыжжутъ подъ весломъ;
Звуки нѣжной баркаролы
Вѣютъ легкимъ вѣтеркомъ.
. . . . . .
Но густѣе тѣнь ночная;
И красотъ цвѣтущихъ рой,
Въ негѣ страстной утопая,
Покидаетъ пиръ ночной.
Стихли пышныя забавы;
Все спокойно на рѣкѣ;
Лишь Торкватовы октавы
Раздаются вдалекѣ.

Какая роскошная фантазія! какіе гармоническіе стихи! что за чудный колоритъ—полупрозрачный, фантастическій! И какъ прекрасно сливается эта

Digitized by Google

выписанная нами часть стихотворенія съ другой—унылой и грустной, и какое поэтическое цѣлое составляютъ онѣ обѣ!...

Многіе удивлялись въ Козловѣ вѣрности его картинъ природы, яркости ихъ красокъ,—ничего нѣтъ удивительнаго: воспоминаніе прошедшаго сильнѣе въ насъ при лишеніи настоящаго; чего страстно желаемъ мы, то живо и представляемъ себѣ, а чего сильнѣе желаетъ слѣпецъ, какъ не созерцанія картинъ и формъ жизни?

. . . . . .
Италія, Торкватова земля,
Ты не была, не будешь мною зрима,
Но какъ ты мной, прекрасная, любима!
Мнѣ видятся полуденныя розы,
Душистые лимонные лѣса,
Зеленый миртъ и виноградны лозы,
И синія, какъ яхонтъ, небеса.
Я вижу ихъ, и тихо льются слезы...
Италія, мила твоя краса,
Какъ первое любви младой мечтанье,
Какъ чистое младенчества дыханье.
Съ высотъ летятъ сіяющія воды,
Жемчужныя—надъ безднами горятъ;
Таинственныхъ видѣній хороводы,
Прозрачные—вкругъ горъ твоихъ кипятъ;
Твои моря, не зная непогоды,
Зеленыя—струятся и шумятъ;
Воздушный миръ—твой вечеръ благодатный
Съ прохладою и нѣгой ароматной.
Луна взошла, а небосклонъ пылаетъ
Послѣднею багряною зарей;
Высокій сводъ безоблачно сіяетъ,
Весь радужной подернутъ пеленой,
И яркій лучъ, сверкая, разсыпаетъ
Блескъ розовый надъ сонною волной,
Но гаснетъ онъ подъ ризою ночною;
Заливъ горитъ, осеребренъ луною.

Прекрасно высказана Козловымъ тайна этихъ видѣній незрящими очами:

Такъ узникъ въ мрачной тишинѣ
Мечтаетъ о красахъ природы,
О солнцѣ яркомъ, о лунѣ,
О томъ, что видѣлъ въ дни свободы.
Уснетъ ли онъ— въ его очахъ
Лѣса, поля, рѣка въ цвѣтахъ,
И пробудясь вадыхаетъ онъ,
Благословляя свѣтлый сонъ.

Козловъ—поэтъ чувства, точно такъ же, какъ Баратынскій—поэтъ мысли (т. е. поэтическаго раздумья, а не разсудочнаго резонёрства). Поэтому не ищите у Козлова художественныхъ созданій, глубокихъ и міробъемлющихъ созерцаній; ищите въ немъ одного чувства,—и вы найдете въ его двухъ книжкахъ много прекраснаго, едва ли не на половину съ посредственнымъ. Отъ этого всѣ переводы его отличаются однимъ колоритомъ—тѣмъ же самымъ, какъ и его оригинальныя произведенія. Укажемъ здѣсь на лучшія изъ тѣхъ и изъ другихъ: «На погребеніе аиглійскаго генерала сэра Джона Мура», «Венеціанская Ночь», «Плачъ Ярославны», «Къ Италіи», «Португальская Пѣсня», «Къ Радости», «Добрая Ночь», «На отъѣздъ», «Обвороженіе», «Къ Тирзѣ», «Романсъ» (Есть тихая роща у быстрыхъ ключей), «Еврейская Мелодія», «Вечерній Звонъ», «Къ Полевой Маргариткѣ», «Къ тѣни Дездемоны», «Изъ Байронова «Донъ-Жуана» (О, любо намъ), «Новые Стансы», «Романсъ Дездемоны», «Насъ Семеро», «Подражаніе сонету Мицкевича» (Увы! несчастливъ тотъ), «Стансы» (Настала тѣнь), «Стансы» (Подражаніе Петраркѣ), «Къ Ней», «Ночь» (элегія), «Молитва» (послѣдняя предсмертная пьеса Козлова) и нѣсколько пьесъ, переведенныхъ изъ Андрея Шенье.

Кстати о переводахъ: «Добрая Ночь», «Обвороженіе» и нѣкоторые другіе напоминаютъ своимъ достоинствомъ образцовые переводы Жуковскаго и показываютъ, что онъ могъ усвоивать русской литературѣ драгоцѣннѣйшіе перлы иностранныхъ литературъ.

Не понимаемъ, почему Козловъ никогда не включалъ въ собраніе своихъ сочиненій своей поэмы «Байронъ», посвященной Пушкину и напечатанной въ «Новостяхъ Литературы», издававшихся покойнымъ Воейковымъ, 1824 (книжка десятая, стр. 85). Эта поэма есть апоѳеоза всей жизни Байрона; въ цѣломъ она не выдержана, но отличается поэтическими частностями.

Это стихотвореніе не помѣщено и въ новомъ, посмертномъ, изданіи сочиненій Козлова. Не понимаемъ также, почему ни въ общемъ оглавленіи пьесъ, ни при заглавіи каждой пьесы отдѣльно не выставлено, откуда она переведена или заимствована. Кажется, стихотвореніе «Къ Морю», которымъ начинается вторая часть, переведено Козловымъ изъ Байрона; но вотъ странность: первый куплетъ этой пьесы есть не что иное, какъ извѣстная элегія Батюшкова. Сличите сами.

Вотъ элегія Батюшкова:

Есть наслажденіе и въ дикости лѣсовъ,
Есть радость на приморскомъ брегѣ
И есть гармонія въ семъ говорѣ валовъ,
Дробящихся въ пустынномъ бѣгѣ.
Я ближняго люблю—но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
Съ тобой, владычица, привыкъ я забывать
И то, чѣмъ былъ, какъ былъ моложе,
И то, чѣмъ нынѣ сталъ подъ холодомъ годовъ;
Тобою въ чувствахъ оживаю;
Ихъ выразить душа не знаетъ стройныхъ словъ,
И какъ молчать объ нихъ, не знаю.

А вотъ первая строфа стихотворенія «Къ Морю».

Отрада есть во тьмѣ лѣсовъ дремучихъ,
Восторгъ живетъ на дикихъ берегахъ,
Гармонія слышна въ волнахъ кипучихъ,
И съ моремъ есть бесѣда на скалахъ.
Мнѣ ближній милъ, но тамъ, въ моихъ мечтахъ,
Что я теперь, что былъ—позабываю,
Природу я душою обнимаю,
Она милѣй; постичь стремлюся я
Все то, чему нѣтъ словъ, но что таить нельзя.

Не одно ли это и то же?...

Аббаддонна. *Соч. Николая Полевого. Изданіе второе. Спб. 1840. Четыре части.*

Ба! старые знакомые! Добро пожаловать! Давно ли, подумаешь, а ужъ сколько воды утекло, сколь-

Digitized by Google

ко событій смѣнилось! Знакомые — а смотрятъ другъ на друга дико; друзья—а не знаютъ, какъ и о чемъ говорить другъ съ другомъ. Знаете ли, на кого похожъ въ отношеніи къ публикѣ романъ Полевого, явившійся вторымъ изданіемъ чрезъ пять лѣтъ послѣ перваго появленія на свѣтъ?— На добраго, простодушнаго помѣщика, который, проживъ въ деревнѣ лѣтъ тридцать, народивъ кучу дѣтей и посѣдѣвъ въ капитанскомъ чинѣ, вдругъ пріѣзжаетъ по дѣламъ въ столицу и идетъ навѣстить своихъ прежнихъ товарищей по воспитанію и службѣ; но, увы! куда ни придетъ онъ съ распростертыми дланями, съ радушной улыбкой,— вездѣ принимаютъ его холодно, съ удивленіемъ и, провожая, громко наказываютъ человѣку говорить «дома нѣтъ». Добрякъ въ отчаяніи, не понимая того, что бывшіе его друзья уже успѣли нажить себѣ новыхъ друзей, и изъ повѣсъ и шалуновъ успѣли сдѣлаться людьми разсудительными, солидными, людьми comme il faut. Пять лѣтъ въ русской литературѣ—да это все равно, что пятьдесятъ въ жизни иного человѣка! Самымъ разительнымъ доказательствомъ этой грустной истины можетъ служить почтенный авторъ «Аббаддонны». Въ 1835 году издалъ онъ этотъ романъ, т. е. черезъ два или три года послѣ «Клятвы при Гробѣ Господнемъ», и такимъ образомъ двумя романами изъ записного историка явился записнымъ романистомъ, хотя и тутъ не измѣнилъ своей натурѣ— оставлять дѣло безъ конца, ибо «Аббаддонна» до сихъ поръ еще не кончена, такъ же, какъ и знаменитая «Исторія Русскаго Народа» и «Русская Исторія для Дѣтей». И такъ, въ 1835 году Полевой былъ уже не историкъ, а романистъ. Но вотъ проходитъ еще пять лѣтъ, — онъ уже не романистъ, а передѣлыватель Шекспира, трагикъ, комикъ, водевилистъ... Мимоходомъ въ это время онъ успѣлъ покончить журналъ и приняться за другой... И потому, повторяемъ: должно ли удивляться, что та же самая публика, которая очень радушно приняла «Аббаддонну» въ 1835 году, теперь велитъ ей говорить «дома нѣтъ»?...

Полевой хотѣлъ выразить въ своемъ романѣ идею противорѣчія поэзіи съ прозой жизни. Для этого онъ представилъ молодого поэта въ борьбѣ съ сухимъ, эгоистическимъ и прозаическимъ обществомъ:—мысль, которая никогда не состарѣется, если только будетъ являться въ новыхъ формахъ. Но формы Полевого восходятъ гораздо за 1835 г. Во-первыхъ, его поэтъ, этотъ Рейхенбахъ, есть то, что нѣмцы называютъ прекрасной душой (schöne-Seele). У насъ пытались нѣкогда ввести это понятіе подъ иностраннымъ словомъ «прекраснодушіе», которое только насмѣшило всѣхъ. Здѣсь мы пользуемся случаемъ объяснить значеніе нѣмецкаго Schönseeligkeit,—тѣмъ болѣе, что романъ Полевого дастъ намъ для этого всѣ средства. Слова «прекрасная душа» имѣли у нѣмцевъ, какъ и у всѣхъ добрыхъ людей, то благородное и похвальное значеніе, которое имѣютъ до сихъ поръ у насъ; но теперь они у нѣмцевъ употребляются какъ выраженіе чего-то комическаго, смѣшного. Такъ точно у насъ еще недавно слова «чувствительность» и «чувствительный» употреблялись для отличія людей съ чувствомъ и душой отъ людей грубыхъ, животныхъ, лишенныхъ души и чувства; слѣдовательно они употреблялись въ благородномъ и похвальномъ значеніи; а теперь эти слова употребляются у насъ для выраженія слабаго, расплывающагося и приторнаго чувства. Выраженіе «прекрасная душа» чрезъ діалектическое развитіе во времени получило теперь у нѣмцевъ значеніе чего-то добраго, теплаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ дѣтскаго, безсильнаго, фразёрскаго и смѣшного.

Рейхенбахъ Полевого есть полный представитель такой «прекрасной души», и онъ тѣмъ смѣшнѣе, что почтенный сочинитель нисколько не думалъ издѣваться надъ нимъ, но отъ чистаго сердца убѣжденъ, что представилъ намъ въ своемъ Рейхенбахѣ истиннаго поэта, душу глубокую, пламенную, могучую. И потому его Рейхенбахъ есть что-то уродливое, смѣшное, не образъ и не фигура, а какая-то каракулька, начерченная на сѣрой и толстой бумагѣ дурно очиненнымъ перомъ. Въ немъ нѣтъ ничего поэтическаго; онъ просто добрый и весьма недалекій малый,—а между тѣмъ авторъ поставилъ его на высокія ходули. Люди оскорбляютъ его не истинными своими недостатками, а тѣмъ, что не мечтаютъ, когда надо работать, и не восхищаются вечерней зарей, когда надо ужинать. Авторъ даже и не намекнулъ на истинныя противорѣчія поэзіи съ прозой жизни, поэта съ толпой.

Рейхенбахъ любитъ Генріетту, простую дѣвушку безъ образованія, безъ эстетическаго чувства, но хорошенькую, добренькую и молоденькую. Кто не былъ мальчикомъ и не влюблялся такимъ образомъ и въ кузину, и въ сосѣдку, и въ подругу по дѣтскимъ играмъ? Но у кого же такая любовь и продолжалась за ту эпоху, когда воротнички à l'enfant мѣняются на галстукъ? Рейхенбахъ думаетъ объ этомъ иначе и, во что бы ни стало, хочетъ обожать Генріетту до гробовой доски. Она тоже не прочь отъ этого. Но въ ихъ отношеніяхъ нѣтъ ничего поэтическаго, невыговариваемаго авторомъ, но понятнаго для читателя. Вся любовь ихъ испаряется въ словахъ, въ дерзкихъ поцѣлуяхъ со стороны поэта, и въ «ахъ, что вы это!» со стороны хорошенькой мѣщаночки. Вдругъ Рейхенбаху предстаетъ Леонора. Это актриса— femme émancipée нашего времени, жрица искусства и любви. Любовница министра, дряхлаго, развратнаго старичишки, она томится жаждой любви глубокой и возвышенной. Въ Рейхенбахѣ находитъ она свой идеалъ. И вотъ вы думаете, что она перерождается, какъ баядера Гёте,— ничего не бывало! Она только говоритъ фразы о перерожденіи, о возстаніи, о пламени любви своей. Вы думаете, что Рейхенбахъ оставляетъ для этой сильной, пламенной и страстной души, столь обаятельной для юношей, оставляетъ для нея свою

Digitized by Google

ребяческую любовишку къ добренькой кухарочкѣ,— ничего не бывало! Онъ только колеблется между той и другой, и въ этомъ колебаніи выказывается вся слабость его слабенькой натуры. Наконецъ Генріетта рѣшительно побѣждаетъ, особенно потому, что Леонора впадаетъ въ бѣшенство и неистовствуетъ, какъ пьяная гетера, вмѣсто того чтобъ представлять изъ себя плачущую слезами любви и раскаянія падшую Пери. И чѣмъ же оканчивается любовь нашего великаго поэта?— А вотъ чѣмъ, послушайте: «Генріетта ни за что не хотѣла соглашаться съ Вильгельмомъ, который увѣрялъ, что съ этихъ поръ онъ перестанетъ писать стихи. На усиленныя требованія Генріетты не оставлять стиховъ, онъ отвѣчалъ, смѣясь, что готовъ писать, но — только колыбельныя пѣсни для своихъ дѣтей. Тутъ нескромному Вильгельму зажали ротъ маленькой ручкой, краснѣли и не знали, куда дѣваться, пока другіе собесѣдники смѣялись громко»... О, честное компанство добрыхъ мѣщанъ! О, великій поэтъ, вышедшій изъ маленькой фантазіи! Видите ли, какъ ложная, натянутая идеальность сходится наконецъ съ пошлой прозой жизни, мирится съ нею на конфектныхъ страстишкахъ, картофельныхъ нѣжностяхъ и плоскихъ шуткахъ?... Это не то, что на человѣческомъ языкѣ называется «любить», а—то, что на мѣщанскомъ языкѣ называется «амуриться»...

Но въ «Аббаддоннѣ» есть другая сторона, и сторона очень хорошая.

Если идеальныя лица, герои этого романа, смѣшны и приторны до пошлости, натянуты до неестественности, то прозаическія лица очерчены очень удачно. Баронъ Калькопфъ, директоръ театра, баронъ Хилей, мать Генріетты, пріятельница ея совѣтница и другія лица не даютъ вамъ бросить романа и заставляютъ дочитать до конца: такъ много въ нихъ истины и дѣйствительности. Равнымъ образомъ, если сцены любви и вообще высокихъ страстей и трагическихъ положеній въ «Аббаддоннѣ» смѣшны до послѣдней крайности, зато сцены прозаической жизни чрезвычайно живы и увлекательны, и впечатлѣніе, производимое ими, нѣредко бываетъ тяжело и грустно—именно оттого, что въ нихъ есть истина... Къ такимъ сценамъ можно причислить: плачевное шествіе Рейхенбаха въ каретѣ съ восемнадцатью душами добрыхъ мѣщанъ, расположившихся помѣститься въ одной ложѣ; сцены въ пріемной залѣ Калькопфа, представленіе Вильгельма этому покровителю талантовъ; далѣе, литературно-музыкальный вечеръ владѣтельнаго князя, и проч. Въ «Аббаддоннѣ» даже и несовсѣмъ безъ поэтическихъ мѣстъ; таково напримѣръ описаніе вечера въ загородномъ домѣ Элеоноры, гдѣ довольно удачно очерчена пирушка людей разныхъ состояній, уравненныхъ любовью къ искусству и умѣющихъ весело проводить время внѣ стѣснительныхъ условій приличія.

Въ романѣ Полевого не безъ резонерства, не безъ устарѣлыхъ мнѣній, которыя были стары уже и въ 1835 году, но зато много есть мыслей умныхъ, вѣрныхъ и высказанныхъ живо, увлекательно. Но самое поэтическое мѣсто въ романѣ— это разговоръ Лалаги съ Элеонорой или, лучше сказать, характеристика поэта съ африканской точки зрѣнія, которая господствуетъ впрочемъ во всемъ мірѣ, только подъ разными формами.

Вообще многое въ романѣ Полевого можетъ быть прочтено не безъ удовольствія, а иное и съ удовольствіемъ, но цѣлое его странно: теперь оно развѣ усыпитъ сладко и ужъ никого не увлечетъ. Когда, рисуя смѣшное, авторъ знаетъ, что онъ рисуетъ смѣшное—картина можетъ быть великимъ созданіемъ; но когда авторъ изображаетъ намъ Донъ-Кихота, думая изображать Александра Македонскаго или Юлія Цезаря,—картина выйдетъ суздальская, лубочная литографія съ изображеніемъ райской птицы и наивной надписью:

Райская птица Сиренъ,
Гласъ ея въ пѣніи зело силенъ:
Когда Господа воспѣваетъ,
Сама себя позабываетъ.

Главный недостатокъ «Аббаддонны», какъ хорошаго беллетристическаго произведенія (о художественности тутъ и слова быть не можетъ), состоитъ въ отсутствіи созерцанія, которое служило бы, такъ сказать, фономъ для его картинъ. Поэзія, поэтъ, любовь, женщина, жизнь, ихъ взаимныя отношенія,— все это въ «Аббаддоннѣ» похоже на цвѣты, сдѣланные изъ старыхъ тряпокъ. Можетъ быть всѣ эти предметы и позволительно было понимать такъ до 1835 года; но теперь такое разумѣніе ихъ смѣшно для всякаго.

Но понимаемъ, почему авторъ «Аббаддонны» выдалъ свой романъ безъ конца. Статьи, которыя онъ называетъ эпилогомъ къ нему и обѣщаетъ издать особо, суть не что иное, какъ пятая часть романа, въ которой Элеонора умираетъ отъ яда, не возбуждая къ себѣ нашего состраданія, а Вильгельмъ женится на Генріеттѣ и мирится истинно по-нѣмецки съ пошлой прозой кухонной жизни... Вотъ вамъ и великій поэтъ! Вотъ вамъ и идеальность, которая не хочетъ и слышать о землѣ и ни о чемъ земномъ!...

На сонъ грядущій. *Отрывки изъ вседневной жизни. Соч. графа В. А. Соллогуба. Спб. 1841.*

Какъ отрадно посреди различнаго хлама, описаніемъ и взвѣшиваніемъ котораго поневолѣ должна заниматься наша Библіографическая Хроника, встрѣтить книгу, не принадлежащую ни къ журнальнымъ, ни къ книгопродавческимъ спекуляціямъ,—книгу, которой авторъ не собиралъ денегъ на подписку за 18 неизданныхъ томовъ, не объявлялъ своихъ претензій на званіе дворецкаго въ русской литературѣ, не писалъ похвалъ самому себѣ на татарско-

Digitized by Google

бѣлорусскомъ нарѣчіи,—но въ которой находите просто умъ, талантъ и изящество!

Душа отдыхаетъ при взглядѣ на одну наружную форму этой книги: здѣсь вы встрѣтите имена людей, всѣми уважаемыхъ; вы видите себя въ кругу хорошаго общества; вы увѣрены, что ни что не оскорбитъ чувства приличія, что не встрѣтите дальновидныхъ разсчетовъ на легковѣріе публики, ни горячаго заступничества за товарищей; вы спокойны,—эту книгу можно читать безъ перчатокъ.

Начавъ читать ее, вы увлекаетесь занимательностью содержанія, живостью красокъ, изяществомъ разсказа. Вы замѣчаете въ этомъ ряду повѣстей не вялое, безжизненное повтореніе одного и того же, которымъ промышляютъ писаки, по обстоятельствамъ сдѣлавшіеся сочинителями романовъ, трагедій, исторій, чего угодно, только было бы не въ убытокъ,—нѣтъ, вы видите въ этой книгѣ то, что всегда почитается признакомъ истиннаго дарованія,—видите, что каждая повѣсть молодого писателя новый шагъ впередъ, и что съ каждымъ шагомъ его дарованіе мужаетъ и укрѣпляется.

Первая повѣсть «Три Жениха» отличается въ особенности живымъ изображеніемъ провинціальнаго быта. Содержаніе ея не запутано; нѣсколько смѣшныхъ портретовъ счастливо очерчено; вы дочитываете до конца и жалѣете, зачѣмъ въ такой тѣсной рамѣ сжата эта картина.—Вторая повѣсть представляетъ картину нѣмецкаго городка и разгульный студенческій бытъ. Та же наблюдательность, тѣ же небрежные, но счастливые очерки; однако здѣсь уже не одна смѣшная сторона жизни, здѣсь мимоходомъ прорывается и глубокое чувство.—«Сережа» переноситъ васъ въ кругъ свѣтскаго общества. Здѣсь почти одно дѣйствующее лицо, петербургскій молодой человѣкъ, который не знаетъ, куда дѣвать свое время и сердце; но въ изобрѣтеніи этого характера болѣе глубины, нежели съ перваго взгляда кажется по шутливому, небрежному тону, которымъ написана повѣсть; характеръ этотъ былъ бы достоинъ болѣе подробнаго развитія; въ немъ схвачены на лету основныя черты физіономіи молодыхъ людей новаго поколѣнія, которые—уже не Онѣгинъ, не графъ Нулинъ... Графъ Соллогубъ первый перенесъ въ литературный міръ эту новую породу романическихъ характеровъ и, какъ ботанистъ, открывшій новое растеніе, можетъ смѣло поставить при имени «Сережи»: mihi. Неожиданность развязки этой повѣсти показываетъ въ авторѣ уже большую опытность въ расположеніи частей разсказа.

Приступаемъ къ другимъ повѣстямъ, которыя относятся, какъ кажется, ко второму періоду литературной жизни автора. Всѣмъ памятно впечатлѣніе, произведенное на читателей «Исторіей двухъ Калошъ», когда эта повѣсть въ первый разъ была напечатана въ 1-й книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» 1839 года. По нашему мнѣнію, она принадлежитъ къ лучшимъ повѣстямъ, когда либо написаннымъ на русскомъ языкѣ. Естественность и вмѣстѣ оригинальность завязки, искусно протянутая нить разсказа, все болѣе и болѣе раздражающая любопытство читателя, вѣрность въ изобрѣтеніи и изображеніи характеровъ, наконецъ изящество слога, все это вмѣстѣ оправдываетъ наше мнѣніе. Въ «Исторіи двухъ Калошъ» уже незамѣтно прежней небрежности; но болѣе тщательная обработка подробностей нисколько не повредила живости и естественности слога. Здѣсь нѣтъ ни одного лишняго характера, ни одного не нужнаго для повѣсти описанія. Сапожныхъ дѣлъ мастеръ Іоганнъ-Петеръ-Августъ-Марія Мюллеръ, надворный совѣтникъ Ѳедоренко, органистъ Шульцъ, княгиня, покровительница музыканта, даже настройщикъ, — всѣ эти лица изображены мастерски, каждое имѣетъ только тѣ мысли, которыя оно можетъ имѣть, каждое говоритъ тѣмъ языкомъ, которымъ должно говорить. Эта тайна извѣстна немногимъ изъ нашихъ романистовъ и драматистовъ. Въ большей части произведеній этихъ господъ, которые вытягиваются нелитературными журналами въ длину и ширину, можно перемѣшать рѣчи всѣхъ дѣйствующихъ лицъ, вынимать любую на угадъ—и выйдетъ одно и то же.

Въ «Исторіи двухъ Калошъ» замѣчательно искусство, съ которымъ авторъ умѣлъ говорить о предметѣ не совсѣмъ, такъ сказать, литературномъ, какова калоша,—говорить съ непринужденностью, съ приличной шуткой. Можно поручиться, что такой предметъ былъ бы камнемъ преткновенія для «калоши», какъ говоритъ графъ Соллогубъ, «сардонической, наблюдающей всѣ нравы безъ исключенія, даже нравы тѣхъ гостиныхъ, куда ея не пускаютъ». Кстати замѣтимъ, что критикъ «Сѣверной Пчелы» очень серьезно доказывалъ, что непремѣнно надобно писать галоши, а не калоши. Поздравляемъ съ находкой! Еслибъ эти господа ограничивались только такого рода замѣчаніями и наблюденіями, мы не такъ горевали бы объ участи нашей журналистики; но не будемъ мѣшать похожденіямъ этихъ господъ по русской азбукѣ: можетъ быть они когда-нибудь въ ней чему и научатся; подождемъ, потерпимъ...

«Большой Свѣтъ, повѣсть въ двухъ танцахъ», хотя менѣе предыдущей оригинальна по своей завязкѣ, но весьма занимательна по тщательной, окончательной обдѣлкѣ характера. Впрочемъ характеръ Сафьева, замѣчательный и новый по изобрѣтенію, намъ кажется, слишкомъ преувеличенъ. Его постоянное мщеніе графинѣ, мы думаемъ, продолжается слишкомъ долго. Сверхъ того напрасно скрыта отъ читателя другая половина этого характера: любопытно было бы изобразить, что мыслитъ и чувствуетъ этотъ загадочный человѣкъ, когда онъ не играетъ комедіи. Его поступки измѣняютъ той промышленной и эгоистической маскѣ, которую онъ на себя надѣваетъ; любопытно было бы знать, какимъ образомъ эта маска, носимая съ такимъ постоянствомъ, дѣйствуетъ на внутреннее состояніе его души; любопытно было бы знать печали и страданія, которыя испытываетъ чело-

Digitized by Google

вѣкъ, обрекшій себя на такое душевное одиночество, который старается себя убѣдить, что онъ не вѣритъ сочувствію съ другими людьми, не вѣритъ собственной возвышенности духа. Характеру Сафьева тѣсно въ повѣсти; онъ можетъ быть предметомъ весьма занимательнаго и большого романа. Мы весьма желали бы, чтобъ авторъ «Большого Свѣта» подарилъ насъ такимъ произведеніемъ: въ немъ удобно и кстати могутъ быть изслѣдованы всѣ стихіи нашего вѣка, этого чуднаго боренія вольтеровской насмѣшки и англійскаго матеріализма съ идеальными, возвышенными порывами поэтовъ и мыслителей.

Но да не примутъ читатели нашей искренней похвалы за пристрастіе къ сотруднику; напротивъ, мы будемъ строги къ молодому автору... Оставляемъ въ сторонѣ опечатки на поживу людей, которые безъ того не имѣли бы насущнаго хлѣба (имъ будетъ чѣмъ поживиться, ибо на эти опечатки не поскупился корректоръ до такой степени, что на 408 страницѣ, вмѣсто слова, которое вѣроятно должно быть: *два противника*, напечатано *два избранные*, отъ чего фраза потеряла смыслъ); но замѣтимъ опечатки другого рода, въ которыхъ виноватъ уже не корректоръ. Напримѣръ стр. 64: «часто сходился я *съ* людьми *съ* душой благородной, *съ* свѣтлымъ умомъ»; въ этой фразѣ странная двусмысленность, которой можно было избѣжать, употребивъ прекрасный, лишь русскому языку свойственный оборотъ: «души благородной, ума свѣтлаго», какъ напримѣръ «мужъ совѣта» у Пушкина. На стр. 89 слово *помнила* употреблено вмѣсто «помнила» или «вспомнила». На стр. 103 употреблены два глагола въ разныхъ временахъ: «подпирала — устремились». На стр. 354 вмѣсто: «по мнѣнію свѣта», точнѣе, по смыслу фразы, было бы сказать: «въ мнѣніи свѣта». На стр. 368: «такъ, какъ говорилъ я, прошло два года», не хорошо! На стр. 375: «опять заблужденіе одно отъ него отлетѣло»—неправильная разстановка словъ; впрочемъ можетъ быть здѣсь и опечатка... Мы могли бы набрать съ десятокъ такихъ обмолвокъ: правда, онѣ бездѣлица, но зачѣмъ при такомъ умѣньи владѣть языкомъ, при такой естественной гибкости слога, зачѣмъ, повторяемъ, даря публику прекраснымъ подаркомъ, не уничтожить этихъ небрежностей и давать поводъ незваннымъ гостямъ въ нашей литературѣ цѣпляться за эти небрежности и питать ими свое корректурное тщеславіе, которое этимъ господамъ замѣняетъ всѣ возможныя таланты и свѣдѣнія?... Мы увѣрены, что авторъ отдѣлается отъ этихъ небрежностей при второмъ изданіи своей книги, въ необходимости котораго невозможно сомнѣваться.

Объемъ библіографической статьи не позволяетъ намъ ни разсказать содержанія повѣстей, ни обратить вниманіе на многія и многія страницы, блестящія неподдѣльнымъ, непринужденнымъ остроуміемъ, къ которому не пріучили насъ наши романисты,—на другія страницы, отличающіяся истиннымъ высокимъ краснорѣчіемъ, — на цѣлыя сцены, одушевленныя глубокимъ чувствомъ и вѣрной наблюдательностью. Прочтите напримѣръ сцену бала (193 по 200 стр.); сцену концерта (213 по 217); сцену похоронъ княгини (242 по 248); сцену въ церкви (157 по 161), или послѣднія главы «Большого Свѣта» (стр. 410 по 428). Прочтите небольшое письмо любовника, этотъ камень преткновенія для обыкновенныхъ романистовъ (стр. 224). Это письмо въ нѣсколько строкъ, но оно требовало больше таланта и знанія человѣческаго сердца, нежели составленіе цѣлой повѣсти. Хотите ли сцену въ другомъ родѣ (стр. 372 и 373):

«Всѣхъ болѣе надоѣлъ ему маленькій франтикъ съ мужицкой прической, съ цѣпочкой, съ лорнетомъ, который не давалъ ему покоя.

— A! bonjour, очень радъ васъ здѣсь встрѣтить. Мы въ театрѣ очень часто видимся. Кто вамъ больше нравится: Allan или Taglioni? Вообразите, я видѣлъ пятнадцать разъ сряду «Гитану». Я всегда во французскомъ театрѣ. Что дѣлать?... Люблю Allan; насъ въ театрѣ нѣсколько человѣкъ всегда вмѣстѣ.—Петруша, Ваня... Вы знаете Петрушу, графа Петра В., и Ваню, князя Ивана? Славные ребята! Я съ ними неразлученъ. Обѣдаемъ каждый день почти вмѣстѣ у Кулона или у Legrand. Какъ по вашему, кто лучше, Legrand или Coulon? Хорошъ Legrand! Дорогъ, нечего сказать, а мастеръ своего дѣла!—Вы много ѣздите въ свѣтъ, слышалъ я.—Скажите, пожалуйста, етъ ву каню авекъ ле Чуфыринъ э ле Курмицынъ?—«Нѣтъ!»—Жалко! Очень у нихъ весело! Ужъ не такіе вечера,—продолжалъ онъ, наклоняясь на ухо Леонина и улыбаясь лукаво,— ужъ не такіе вечера, какъ здѣсь; почище, гораздо почище. Въ комнатахъ освѣщено прекрасно, а за ужиномъ не подаютъ чортъ знаетъ что. Курмицыны долго были за-границей и живутъ совершенно на иностранный genre. Славные вечера! Я очень хорошъ въ домѣ. Хотите, я васъ представлю? Я съ ними очень друженъ...»

Не правда ли, что вы встрѣчали этого франтика? непремѣнно встрѣчали! Онъ живой передъ вами. Увѣряемъ автора, что его господинъ «етъ ву каню» войдетъ въ пословицу и останется вѣчнымъ... какъ бишь это называется, типомъ что ли? — въ исторіи нашихъ нравовъ.

Не желая предупреждать любопытства читателей, мы выписали здѣсь небольшія отдѣльныя строки; но повѣсти графа Соллогуба производятъ наибольшее впечатлѣніе въ своей цѣлости, а остроумная его наблюдательность усыпала ихъ такими неожиданными и тонкими подробностями, которыя непереносимы въ критику. Нельзя не подивиться, какъ хорошо извѣстны молодому писателю всѣ классы нашего общества: и большой свѣтъ, и бытъ поселянъ, и средній классъ, и жизнь нѣмцевъ, и студенческій бытъ, и провинціальные обычаи,—и, что всего важнѣе, всѣ разсказы его согрѣты теплымъ чувствомъ любви и проникнуты благородствомъ мыслей; здѣсь тайна того сочувствія съ читателями, котораго никогда не постигнутъ люди, думающіе, что можно писать безъ вдохновенія, даже безъ убѣжденія, и что въ

Digitized by Google

искусствѣ, какъ въ ремеслѣ: стоитъ только набить руку, чтобъ попасть въ литераторы.

Оканчивая статью, мы не можемъ не принести жертвы промышленному духу нашего времени. Вспоминая хорошія повѣсти, у насъ существующія, мы нашли, что русская литература нашего времени не совсѣмъ бѣдна ими, — и потому думаемъ, что тотъ затѣялъ бы хорошее дѣло, кто собралъ бы въ одну книгу всѣ повѣсти, донынѣ изданныя особо или разсѣянныя по журналамъ: Пушкина, Гоголя, Лермонтова, князя Одоевскаго, графа Соллогуба, Даля, Павлова, псевдонима А. Н., Панаева, Гребенки и другихъ. Такое собраніе необходимо имѣло бы успѣхъ въ Россіи и послужило бы пособіемъ для иностранцевъ, которые съ недавняго времени такъ прилежно занимаются русской литературой и которые, будучи обмануты пышными объявленіями литературныхъ спекулянтовъ, принимаются за переводы издѣлій, нисколько не достойныхъ этой чести и только поселяющихъ весьма странное мнѣніе о нашей литературѣ на чужой сторонѣ, гдѣ не могутъ быть извѣстны всѣ домашнія сдѣлки нашихъ чернильныхъ витязей.

Душенька, *древняя повѣсть, И. Богдановича. Спб. 1841 г.*

«Душенька» имѣла въ свое время успѣхъ чрезвычайный, едва ли еще не высшій, чѣмъ трагедіи Сумарокова, комедіи Фонвизина, оды Державина, «Россіада» Хераскова. Пастушеская свирѣль Богдановича очаровала слухъ современниковъ сильнѣе трубъ и литавръ эпическихъ поэмъ и торжественныхъ одъ: миртовый вѣнокъ его былъ обольстительнѣе лавровыхъ вѣнковъ нашихъ Гомеровъ и Пиндаровъ того времени. До появленія въ свѣтъ «Руслана и Людмилы» наша литература не представляетъ ничего похожаго на такой блестящій тріумфъ, если исключить успѣхъ «Бѣдной Лизы» Карамзина. Всѣ поэтическія знаменитости пустились писать надписи къ портрету счастливаго пѣвца «Душеньки», а когда онъ умеръ,— эпитафіи на гробѣ.

Одинъ Дмитріевъ, въ свое время поэтическая знаменитость первой величины, написалъ три такія эпитафіи. Батюшковъ воспѣлъ Богдановича въ своемъ прекрасномъ посланіи къ Жуковскому «Мои Пенаты», вмѣстѣ съ другими знаменитостями русской литературы. Карамзинъ написалъ разборъ «Душеньки», въ которомъ силился доказать, что Богдановичъ побѣдилъ Лафонтена, забывъ, что сказка Лафонтена если писана и прозой, то прозой изящной, на языкѣ уже установившемся, безъ усѣченій, безъ насильственныхъ удареній, что у Лафонтена есть и наивность, и остроуміе, и грація, столь сродственныя французскому генію.

Что же такое въ самомъ-то дѣлѣ эта препрославленная, это пресловутая «Душенька»?

Да ничего, ровно ничего: сказка, написанная тяжелыми стихами, съ усѣченными прилагательными, натянутыми удареніями, часто съ полубогатыми и бѣдными риѳмами,—сказка, лишенная всякой поэзіи, совершенно чуждая игривости, граціи, остроумія. Правда, авторъ ея претендовалъ на поэзію, и на грацію, и на остроумную наивность или наивное остроуміе; но все это у него поддѣльно, тяжело, грубо, часто безвкусно и плоско. Выпишемъ для примѣра хоть то мѣсто, гдѣ Душенька, съ свѣтильникомъ въ рукѣ и съ мечомъ подъ полой, увидѣла спящаго Амура:

Увидя Душенька *прекрасно* божество,
На мѣсто аспида, котораго боялась,
Видѣніе сіе почла за колдовство,
Иль сонъ, или *призракъ*, и долго изумлялась,
И видя наконецъ, какъ каждый видѣть могъ,
Что былъ супругъ ея прекрасный самый богъ,
Едва не кинула лампады и кинжала.
И, позабывъ тогда свою *приличну стать*,
Едва не бросилась супруга обнимать,
Какъ будто бъ никогда его не обнимала.
Но удовольствіемъ *жаждающихъ* очей
Остановлялась тутъ стремительность *любовна*,
И Душенька тогда, недвижна и *безсловна*,
Считала ночь сію пріятнѣй всѣхъ ночей.
Она не *разъ* себя въ семъ дивѣ обвиняла,
Смотря со всѣхъ сторонъ, что только зрѣть могла,
Почто къ нему давно съ лампадой не пришла,
Почто его красотъ *заранѣ* не видала,
Почто о богѣ семъ въ незнаніи была,
И дерзостно его за змѣя почитала.
Впослѣдокъ царска дочь,
Въ сію пріятну ночь
Дая свободу взгляду,
Приближилась, потомъ приближила лампаду.
Потомъ нечаянной бѣдой,
При семъ движеніи, и робкомъ, и несмѣломъ,
Держа огонь надъ самымъ тѣломъ,
Трепещущей рукой
Небрежно надъ бедромъ лампаду наклонила,
И, *масла часть* проливъ *оттоль*,
Ожогою бедра Амура разбудила.
Почувствовавъ *жестоку* боль,
Онъ вдругъ вздрогнулъ, вскричалъ, проснулся,
И, боль свою забывъ, *отъ свѣта ужаснулся*;
Увидѣлъ Душеньку, увидѣлъ также мечъ,
Который *изъ-подъ плечъ*
Къ ногамъ тогда *скользнулся*;
Увидѣлъ онъ вины,
Или *признаки* винъ *зломышленной жены*;
И тщетно тутъ желала
Сказать несчастья всъ сначала,
Какія *въ выправку* сказать ему могла.
Слова въ устахъ остановлялись:
И свѣтъ, и мечъ *въ винахъ* уликою являлись.
И Душенька тогда, *упадши*, обмерла.

Сирѣчь «сомлѣла»,—и по дѣломъ ей! Мы нарочно не поскупились на выписку: пусть читатели сами судятъ по этому отрывку, какого труда и поту стоитъ прочесть поэму, писанную такими милыми стишками и преисполненную такой легкой, очаровательной и граціозной поэзіи...

«Душенька» Богдановича ведетъ свое начало отъ высокаго эллинскаго миѳа о сочетаніи души съ любовью, т. е. о проникновеніи духовнымъ началомъ естественнаго влеченія половъ: на этотъ разъ изъ чистаго и глубокаго источника

Digitized by Google

вытекала мутная лужица воробью по колѣно. Конечно, нельзя винить Богдановича за то, что ему не могла и въ голову войти подобная мысль: объ этихъ премудростяхъ и въ самой Германіи очень не задолго до его времени начали догадываться; не винимъ его также за отсутствіе художественнаго такта, пластичности и наивной граціозности древнихъ: онъ не былъ ни художникомъ, ни поэтомъ, ни даже особенно талантливымъ стихотворцемъ, да въ его время о художественности и пластицизмѣ древнихъ и сами нѣмцы только-что начинали догадываться, а вся остальная Европа жила въ идеѣ остроумія; но вѣдь остроуміе должно же быть остроумно, а не плоско; шалость должна же быть игрива, граціозна, чтобъ не оскорблять эстетическаго вкуса...

Почему же «Душенька» Богдановича имѣла такой блестящій успѣхъ?—Мы первые согласны въ томъ, что всякій блестящій успѣхъ всегда основывается если не на достоинствѣ, то на какой-нибудь основательной причинѣ; и мы убѣждены, что успѣхъ «Душеньки» былъ вполнѣ заслуженный, такъ же, какъ и успѣхъ «Бѣдной Лизы». Это очень легко объяснить. Громкія оды и тяжелыя поэмы всѣхъ оглушали и удивляли, но никого не услаждали,—и потому всѣ мечтали о какой-то «легкой поэзіи», вѣроятно разумѣя подъ ней салонную французскую беллетристику. И вотъ является человѣкъ, который для своего времени пишетъ просто и легко, даже забавно и игриво, силится ввести въ поэзію комическій элементъ, высокое смѣшать съ смѣшнымъ, какъ это есть въ самой дѣйствительности, риторику поддѣльнаго эмфаза замѣнить риторикой поддѣльной наивности и остроумія, какимъ наградила его скупая природа. Естественно, что все приходитъ въ восторгъ отъ такой невидали и небывальщины: должно было приглядѣться къ ней (а для этого нужно было время и время), чтобы увидѣть ея незначительность и пустоту. И приглядѣлись; но тогда еще наши литературные авторитеты сокрушались медленно: ихъ и не читали, а все-таки хвалили по преданію и лѣнивой привычкѣ. И вотъ Батюшковъ, поэтъ съ большимъ дарованіемъ и съ художественнымъ тактомъ, безсознательно преклоняясь передъ всемогущей тогда силой преданія, воспѣлъ Богдановича, какъ любимца музъ и грацій, съ которыми у пѣвца «Душеньки» не было ничего общаго. Вѣдь Дмитріевъ говорилъ же о Херасковѣ:

Пускай отъ зависти сердца зоиловъ ноютъ,
Хераскову они вреда не нанесутъ:
Владиміръ, Іоаннъ щитомъ его покроютъ
И въ храмъ безсмертья проведутъ.

Воейковъ (во время оно тоже литературная и поэтическая знаменитость) провозглашалъ:

Херасковъ—*нашъ Гомеръ*, воспѣвшій древни
Россіи торжество, паденіе Казани... [брани,

А теперь?—Увы!—Sic transit gloria mundi!... Успѣху «Душеньки» много способствовалъ и ея вольный, шаловливый тонъ, столь противоположный чопорности литературныхъ приличій того времени. Этому же обстоятельству много обязаны были своимъ успѣхомъ и сказки Дмитріева «Причудница» и «Модная Жена», которыя впрочемъ по литературному достоинству гораздо выше «Душеньки». Однакожъ поэма Богдановича—все-таки замѣчательное произведеніе, какъ фактъ исторіи русской литературы: она была шагомъ впередъ и для литературы, и для литературнаго образованія нашего общества. Кто занимается русской литературой, какъ предметомъ изученія, а не одного удовольствія, тому—еще болѣе записному литератору—стыдно не прочесть «Душеньки» Богдановича. Но безотносительныхъ достоинствъ она не имѣетъ никакихъ, и въ наше время нѣтъ ни малѣйшей возможности читать ее для удовольствія.

А между тѣмъ «Душенька» до сихъ поръ все печатается новыми изданіями; мелкіе книжные торговцы сдѣлали ее постояннымъ средствомъ для своихъ спекуляцій. И это очень понятно. У насъ есть особый классъ читателей: это люди, только что начинающіе читать, вмѣстѣ съ перемѣной національнаго сермяжнаго кафтана на что-то среднее между купеческимъ длинополымъ сюртукомъ и фризовой шинелью. Обыкновенно они начинаютъ съ «Милорда Англинскаго» и «Потерянаго Рая» (неистовымъ образомъ переведеннаго прозой съ какого-то риторическаго французскаго перевода), «Письмовника» Курганова, «Душеньки» и басенъ Хемницера,—этими же книгами и оканчиваютъ, всю жизнь перечитывая усладительные для ихъ грубаго и необразованнаго вкуса творенія. Потому-то эти книги и издаются почти ежегодно нашими смѣтливыми книжными торговцами.

Новое изданіе «Душеньки» очень скромно и ужасно безвкусно. Корректура неисправна. Приложеній нѣтъ никакихъ.

Бернардъ Мопратъ (,) *или* **Перевоспитанный дикарь** (,) *соч. Жоржъ Зандъ* (*г-жи Дюдеванъ*). *Часть первая. Спб. 1841.*

«Мопра» есть одно изъ лучшихъ созданій Жоржъ Занда. Въ основѣ этой повѣсти лежитъ мысль глубокая и поэтическая: молодой человѣкъ, воспитанный въ шайкѣ феодальныхъ воровъ и разбойниковъ, влюбляется со всей силой дикой и дѣвственной натуры въ дѣвушку съ душой возвышенной, характеромъ сильнымъ, и тѣмъ не менѣе прекрасную, граціозную. Дѣйствіемъ непосредственнаго вліянія своей красоты и женственности она обуздываетъ животные и звѣрскіе порывы его страсти, постепенно изъ дикаго звѣря дѣлаетъ ручного звѣря, а потомъ и человѣка, научивъ его любить кротко, почтительно, благоговѣйно и беззавѣтно, всего ожидать отъ любви, а не отъ правъ своихъ, и свято уважать личную свободу любимой женщины. Прекрасная мысль эта

Digitized by Google

развита въ высшей степени поэтическимъ образомъ. Разсказъ Жоржъ Занда—это сама простота, сама красота, сама жизнь, самъ умъ, сама поэзія. Сколько глубокихъ, практическихъ идей о личномъ человѣкѣ, сколько свѣтлыхъ откровеній благородной, нѣжной, женственной души! И какая человѣчность дышетъ въ каждой строкѣ, въ каждомъ словѣ этой геніальной женщины! Это не то, что *де*-Бальзакъ, передъ которымъ такъ благоговѣйно преклоняются наши добрые гонители всего европейскаго во славу всего китайскаго! Это не *де*-Бальзакъ съ своими герцогами, герцогинями, графами, графинями и маркизами, которые столько же похожи на истинныхъ, сколько самъ де-Бальзакъ похожъ на великаго писателя или геніальнаго человѣка. У Жоржъ Занда нѣтъ ни любви, ни ненависти къ привилегированнымъ сословіямъ, нѣтъ ни благоговѣнія, ни презрѣнія къ низшимъ слоямъ общества; для нея не существуютъ ни аристократы, ни плебеи,—для нея существуетъ только человѣкъ,—и она находитъ человѣка во всѣхъ сословіяхъ, во всѣхъ слояхъ общества, любитъ его, сострадаетъ ему, гордится имъ и плачетъ о немъ. Но женщина и ея отношенія къ обществу, столь мало оправдываемыя разумомъ, столь много основывающіяся на преданіи, предразсудкахъ, эгоизмѣ мужчинъ,—эта женщина наиболѣе вдохновляетъ поэтическую фантазію Жоржъ Занда и возвышаетъ до пафоса благородную энергію ея негодованія къ легитимированной насиліемъ невѣжества лжи, ея живую симпатію къ угнетенной предразсудками истинѣ. Жоржъ Зандъ есть адвокатъ женщины, какъ Шиллеръ—адвокатъ человѣчества. Мудрено ли послѣ этого, что д'Юдеванъ ославлена слѣпой чернью, дикой и невѣжественной толпой, какъ писательница безнравственная?.. Кто открываетъ людямъ новыя истины, тому люди не дадутъ спокойно кончить вѣка; зато, когда сведутъ въ раннюю могилу,—то непремѣнно воздвигнутъ великолѣпный памятникъ, и какъ на святотатца будутъ смотрѣть на того, кто бы дерзнулъ сказать хоть одно слово противъ предмета ихъ прежней остервенѣлой ненависти... Вѣдь и Шиллеръ при жизни своей слылъ писателемъ безнравственнымъ и развратнымъ...

Ластовка. *Сочиненія на малороссійскомъ языкѣ Л. Боровиковскаго, Е. Гребенки, Грицька Основьяненка, В. Забѣлы, И. Котляревскаго, Кореницкаго, П. Кулеша, Мартовицкаго, П. Писаревскаго, А. Чужбинскаго, Т. Шевченка, С. Шеперери и другихъ. Повѣсти и разсказы, нѣкоторыя народныя малороссійскія пѣсни, поговорки, пословицы, стихотворенія и сказки. Собралъ Е. Гребенка. Спб. 1841.*

Сватанье. *Малороссійская опера въ трехъ дѣйствіяхъ. Соч. Основьяненка. Изданіе второе. Харьковъ. 1840.*

Несмотря на разность этихъ двухъ книжекъ, изъ которыхъ одна—альманахъ, а другая—водевиль, несправедливо названный оперой,—мы соединяемъ ихъ въ одну статью, находя между ними то общее, о которомъ особенно хочется намъ поговорить: обѣ онѣ писаны на малороссійскомъ нарѣчіи. Предстоитъ важный вопросъ: есть ли на свѣтѣ малороссійскій языкъ, или это только областное нарѣчіе? Изъ рѣшенія этого вопроса вытекаетъ другой: можетъ ли существовать малороссійская литература, и должны ли наши литераторы изъ малороссіянъ писать по-малороссійски?

Что до перваго вопроса, на него можно отвѣчать и *да*, и *нѣтъ*. Малороссійскій языкъ дѣйствительно существовалъ во времена самобытности Малороссіи и существуютъ теперь—въ памятникахъ народной поэзіи тѣхъ славныхъ временъ. Но это еще не значитъ, чтобъ у малороссіянъ была литература: народная поэзія еще не составляетъ литературы. Тѣмъ не менѣе памятники народной поэзіи драгоцѣнны, и сохраненіе ихъ похвально. Малороссія—страна поэтическая и оригинальная въ высшей степени. Малороссіяне одарены неподражаемымъ юморомъ: въ жизни ихъ простого народа такъ много человѣческаго, благороднаго. Тутъ имѣютъ мѣсто всѣ чувства, которыми высока натура человѣческая. Любовь составляетъ основную стихію жизни. Прибавьте къ этому азіатское рыцарство, извѣстное подъ именемъ удалого казачества; вспомните тревожную жизнь Малороссіи, ея борьбу съ католической Польшей и басурманскимъ Крымомъ и Турціей,—и вы согласитесь, что трудно найти болѣе обильнаго источника поэзіи, какъ малороссійская жизнь. Но не должно забывать, что Малороссія начала выходить изъ своего непосредственнаго состоянія вмѣстѣ съ Великороссіей со временъ Петра Великаго; что до тѣхъ поръ какой-нибудь вельможный гетманъ отличался отъ простого казака не идеями, не образованіемъ, но только старостью, опытностью, а иногда только богатымъ платьемъ, большими хоромами и обильной трапезой. Языкъ былъ общій, потому что идеи послѣдняго казака были въ уровень съ идеями пышнаго гетмана. Но съ Петра Великаго началось раздѣленіе сословій. Дворянство, по ходу исторической необходимости, приняло русскій языкъ и русско-европейскіе обычаи въ образѣ жизни. Языкъ самого народа началъ портиться, и теперь чистый малороссійскій языкъ находится преимущественно въ однѣхъ книгахъ. Слѣдовательно, мы имѣемъ полное право сказать, что теперь уже нѣтъ малороссійскаго языка, а есть областное малороссійское нарѣчіе, какъ есть бѣлорусское, сибирское и другія, подобныя имъ, областныя нарѣчія.

Теперь очень легко рѣшается и второй вопросъ: должно ли и можно ли писать по-малороссійски? Обыкновенно пишутъ для публики, а подъ «публикой» разумѣется классъ общества, для котораго чтеніе есть родъ постояннаго занятія, есть нѣкотораго рода необходимость. Поэтому въ составъ публики можетъ войти и гостинодворскій сидѣлецъ, даже съ бородкой, и—если хотите—

Digitized by Google

деревенскій мужичокъ; но все таки это будетъ исключеніемъ: собственно публика состоитъ изъ высшихъ образованнѣйшихъ слоевъ общества. Поэзія есть идеализированіе дѣйствительной жизни: чью же жизнь будутъ идеализировать наши малороссійскіе поэты?—Высшаго общества Малороссіи? Но жизнь этого общества переросла малороссійскій языкъ, оставшійся въ устахъ одного простого народа, — и это общество выражаетъ свои чувства и понятія не на малороссійскомъ, а на русскомъ и даже на французскомъ языкахъ. И какая разница въ этомъ случаѣ между малороссійскимъ нарѣчіемъ и русскимъ языкомъ! Русскій романистъ можетъ вывести въ своемъ романѣ людей всѣхъ сословій и каждаго заставить говорить своимъ языкомъ: образованнаго человѣка—языкомъ образованныхъ людей, купца—по купечески, солдата—по солдатски, мужика—по-мужицки. А малороссійское нарѣчіе одно и то же для всѣхъ сословій—крестьянское. Поэтому наши малороссійскіе литераторы и поэты пишутъ повѣсти всегда изъ простого быта и знакомятъ насъ только съ Марусями, Одарками, Прокипами, Кандзюбами, Стецьками и тому подобными особами. Гдѣ жизнь, тамъ и поэзія: слѣдовательно и въ простомъ быту есть поэзія? Правда; но для этой поэзіи нужны слишкомъ огромные таланты. Мужицкая жизнь сама по себѣ не интересна для образованнаго человѣка: слѣдственно нужно много таланта, чтобъ идеализировать ее до поэзіи. Это дѣло какого-нибудь Гоголя, который въ малороссійскомъ бытѣ умѣлъ найти общее и человѣческое, въ простомъ быту умѣлъ подстеречь и уловить играніе солнечнаго луча поэзіи; въ ограниченномъ кругу умѣлъ подсмотрѣть разнообразіе страстей, положеній, характеровъ. Но это потому, что для творческаго таланта Гоголя существуютъ не одни парубки и дывчата, не одни Аѳанасіи Ивановичи съ Пульхеріями Ивановнами, но и Тарасъ Бульба съ своими могучими сынами; не одни малороссы, но и русскіе, и не одни русскіе, но человѣкъ и человѣчество. Геній есть полный властелинъ жизни и беретъ съ нея полную дань, когда бы и гдѣ бы ни захотѣлъ. Какая глубокая мысль въ этомъ фактѣ, что Гоголь, страстно любя Малороссію, все-таки сталъ писать по-русски, а не по-малороссійски!

Но Гоголь не всѣмъ можетъ быть примѣромъ. Тѣмъ не менѣе жалко видѣть, когда и маленькое дарованіе попусту тратитъ свои силы, пиша по-малороссійски—для малороссійскихъ крестьянъ. Въ самомъ дѣлѣ, содержаніе такихъ повѣстей всегда однообразно, всегда одно и то же, а главный интересъ ихъ—мужицкая наивность и наивная прелесть мужицкаго разговора. Все это нѣсколько прискучило. У кого напримѣръ станетъ терпѣнія прочесть цѣлую книжку, составленную изъ прозаическихъ статей, писанныхъ *такимъ* языкомъ, съ *такой* манерой и *такимъ* тономъ:

«Нема на свити ничого луччого и Богу мылшого, якъ сердце матери до своихъ диточокъ!—Скилки бъ ихъ у неи ни было, чы дисяткомъ Богъ благословывъ, чы тилки однимъ—одно; для неи ривни, жодного любить, усихъ ривно пестуе, за усякимъ равно вбывается. Девять здоровеньки край неи, потишаютъ ии, а одно морщытця, кысне, не дуже; вже вона за нимъ вбываетця, тужыть, вже и боитця, що бъ ще дужче не занедужало, або щобъ—нехай Богъ боронить—що бъ ще и не вмерло! Вона ихъ обмывà, обпатрюе, обшывà, зодягà—и николы жъ то не втомытця, николы ни поскуча зъ ными, и усяка работа на дитичокъ ій не важна!» и пр.

Или вотъ еще:

«Уже я такъ думаю що немай на свити кращого мисця якъ Полтавська губернія. Господы Боже мій милостывый що за губернія! И степы, и лисы, и сады, и байракы, и шукы, и караси, и вышни, и черешни, и усяки напытки, и волы, и добри кони, и добри люде, усе е, усего—богацько»! и проч.

Хороша литература, которая только и дышитъ, что простоватостью крестьянскаго языка и дубоватостью крестьянскаго ума!

Но вотъ, что интересно: въ «Ластовкѣ» есть повѣсть или что-то вродѣ повѣсти, подъ которой стоитъ имя Основьяненко, и надъ которой есть посвященіе такого содержанія: «Любій моій жинци Анни Григоріевни Квитка». Изъ этого видно, что Основьяненко и Квитка — одно и то же лицо, ибо жинка или жинца по-малороссійски значитъ жена. И такъ, всѣ эти повѣсти и романы, которые печатались подъ именемъ Основьяненка, принадлежатъ Квиткѣ, принявшему только въ видѣ псевдонима имя Основьяненка...

Что касается до «Сватанья» Основьяненка или Квитки,—это водевилъ изъ крестьянскаго быта, —водевиль, впрочемъ довольно растянутый, но мѣстами не безъ занимательности.

Фритіофъ, скандинавскій богатырь.

Поэма Тегнѣра въ русскомъ (?) переводѣ Я. Грота. Гельсингфорсъ. 1841.

Мы виноваты передъ скандинавскимъ рыцаремъ, которому съ чего-то вздумалось назваться «богатыремъ»: еще въ прошлой книжкѣ слѣдовало бы намъ отдать о немъ отчетъ публикѣ; но срочность журнальной работы часто отвлекаетъ отъ хорошей книги, именно потому, что она хороша и требуетъ отзыва болѣе обдуманнаго, и обращаетъ перо рецензента къ кучѣ вздоровъ, отъ которыхъ можно скоро отдѣлаться, только слегка заглянувъ въ нихъ. Тѣмъ съ большимъ удовольствіемъ обращаемся теперь къ «Фритіофу».

«Фритіофъ»—поэма шведскаго поэта Тегнѣра, созданная имъ изъ народныхъ сказокъ и преданій, слѣдовательно по преимуществу произведеніе народное, которое должно быть мало доступно и мало интересно для всякой другой публики, кромѣ шведской. Но «Фритіофъ», несмотря на свою народность, общедоступенъ, понятенъ и въ высшей степени интересенъ для всякой публики и на

Digitized by Google

всякомъ языкѣ, если переданъ хоть такъ хорошо, какъ передалъ его на русскій языкъ Гротъ. Причина этому—обще-человѣческое содержаніе и самый характеръ скандинавской народности. Чтобъ эта мысль была для всѣхъ ясна, мы должны въ краткомъ очеркѣ изложить содержаніе «Фритіофа».

Фритіофъ, сынъ Торстена Викингсона, бонда (владѣльца земли, вассала) и брата по оружію конунга (вождя, государя) Бела, воспитывается у Гильдинга, стараго бонда, вмѣстѣ съ Ингеборгой, дочерью конунга Бела. Оба они любятъ другъ друга съ самой нѣжной юности.

Стоитъ ли День на небосводѣ—
Сей златовласый царь земли—
И жизнь кипитъ въ обычномъ ходѣ,
Другъ другомъ заняты они.
Стоитъ ли Ночь на небосводѣ—
Мать темновласая земли—
И все молчитъ при звѣздномъ ходѣ,
Другъ другомъ заняты они.
—«Земля! цвѣтами молодыми
Свое чело ты убрала;
Отдай мнѣ лучшіе, чтобъ ими
Я увѣнчать его могла.»
—«Ты, Море, перлами обило
Свой влажный, сумрачный чертогъ:
Отдай мнѣ лучшіе, чтобъ милой
Я ожерелье сдѣлать могъ.»
—«Златое Солнце, міра око,
Звѣзда съ Одинова чела!
Будь ты моимъ,—твой кругъ широкой
Ему бъ на щитъ я отдала!»
—«О Мѣсяцъ, Мѣсяцъ серебристый,
Свѣча Одиновыхъ палатъ!
Будь ты моимъ,—твой обликъ чистый
Я бъ милой отдалъ на нарядъ.»

Гильдингъ говоритъ сыну, что Ингеборга ему неровня, и что потому онъ долженъ забыть свою любовь. Фритіофъ отвѣчаетъ:

Нѣтъ, вольный мужъ не уступаетъ;
Ему весь міръ въ наслѣдье данъ:
Судьба неровное равняетъ;
Вѣнцомъ надежды я вѣнчанъ.
Знатна могущества порода:
Живъ Торъ среди своихъ палатъ;
Онъ хочетъ доблести—не рода;
Товарищъ мечъ—вѣрнѣйшій сватъ.
Я бъ за невѣсту, не блѣднѣя,
И противъ бога грома сталъ.
Цвѣти, цвѣти, моя лилея,
А кто разроснитъ насъ—пропалъ!

Конунгъ Белъ созываетъ дѣтей.

Къ закату—началъ конунгъ—мой день пришелъ;
Мнѣ медъ уже не вкусенъ, мнѣ шлемъ тяжелъ.
Во взорахъ мракъ скрываетъ юдоль земную,
Валгалла ярче блещетъ; то смерть я чую.

Белъ, по обычаю скандинавскому, запрещающему героямъ умирать естественной смертью на постели, вмѣстѣ съ другомъ и сподвижникомъ своимъ, Торстеномъ Викингсономъ, рѣшается умереть отъ меча. Его завѣщаніе дѣтямъ дышитъ исполинскимъ величіемъ скандинавской поэзіи и миѳологіи. По смерти конунга Бела владѣніе его наслѣдуютъ сыновья его, Гелгъ и Гальфданъ; Фритіофъ одинъ наслѣдуетъ владѣнія своего отца.

На три мили въ три стороны земли его простирались,
Долы, холмы и горы; четвертой касалося море.
Холмы увѣнчаны были березовымъ лѣсомъ; на скатахъ
Стлались ячмень золотой и рожь въ вышину человѣка.
Тамъ зеркалами лежали озера межъ горъ и межъ рощей,
Гдѣ круторогіе лоси гуляли царственнымъ шагомъ
И изъ несчетныхъ токовъ студеную черпали воду.
Въ долахъ обширныхъ паслись на злакѣ стада, и лоснилась
Шерсть у нихъ, и ждали сосцы вожделѣнныхъ сосудовъ.

Фритіофъ сватается за Ингеборгу. Его объясненіе съ Ингеборгой—верхъ поэзіи. Гелгъ, братъ Ингеборги, съ презрѣніемъ отказываетъ Фритіофу въ рукѣ сестры своей. Рингъ, престарѣлый владѣтель Нордландіи (Норвегіи), хочетъ жениться на Ингеборгѣ:

Она молода еще: знаю, что ей
Угоднѣе были бы розы;
А я ужъ отцвѣлъ: надъ главою моей
Межъ рѣдкихъ кудрей
Ужъ снѣгъ разсыпаютъ морозы.
Но ежели можетъ она полюбить
Меня, старика съ сѣдиною,
И матерью сирымъ готова служить:
То тронъ раздѣлить
Угрюмая Осень желаетъ съ Весною.

Гелгъ отказываетъ Рингу, и Рингъ идетъ на него войной. Братья просятъ помощи Фритіофа—онъ отказываетъ. Ингеборга заключена въ храмѣ Бальдера; Фритіофъ тайно видится съ нею тамъ. Невозможно дать понятія о полнотѣ лиризма, о возвышенной прелести поэзіи, съ которыми изображены эти свиданія. Пѣснь VIII поэмы, содержащая въ себѣ прощаніе Фритіофа съ Ингеборгой—торжество поэзіи. Гелгъ, узнавъ о тайныхъ свиданіяхъ, народнымъ судомъ изгоняетъ Фритіофа изъ отечества. Фритіофъ, объявляя это Ингеборгѣ, преклоняетъ ее бѣжать съ нимъ. Она отвергаетъ его предложеніе и говоритъ ему:

Мой другъ, будь мудръ! уступимъ грознымъ Норнамъ:
Все отдадимъ, но честь свою спасемъ;
Мы счастія уже спасти не можемъ,
Должны разстаться.

Фритіофъ. Почему жъ должны?
Не потому ль, что ты безсонной ночью
Разстроена?

Ингеборга Нѣтъ, потому что должно
Намъ сохранить достоинство свое.

Фритіофъ. Вамъ, женщинамъ, достоинство
Лишь нашей любовью. [дается

Ингеборга Не прочна
И самая любовь безъ уваженья. [его.

Фритіофъ. Упрямствомъ трудно заслужить

Ингеборга. Любить свой долгъ—похвальное упрямство.

Фритіофъ. Вчера былъ долгъ въ ладу съ любовью нашей.

Digitized by Google

Ингеборга. И нынче, но бѣжать онъ запрещаетъ.
Фритіофъ. Необходимость намъ велитъ бѣжать.
Ингеборга. Лишь благородное необходимо.
Фритіофъ. Ужъ солнце высоко, проходитъ время.
Ингеборга. Увы! оно прошло ужъ невозвратно.
Фритіофъ. И такъ, рѣшенья ты не перемѣнишь?
Подумай...
Ингеборга. Все обдумано давно.
Фритіофъ. Прости же, Гелгова сестра, прости!

Наконецъ эта твердость героическаго рѣшенія Ингеборги уступаетъ мѣсто нѣжному изліянію любящаго женственнаго сердца,—накипѣвшее чувство изливается тихимъ, но быстрымъ потокомъ страдающей любви. Фритіофъ говоритъ ей: «ты побѣдила!», оставляетъ ей на память золотое запястье и уходитъ. Затѣмъ слѣдуетъ отдѣлъ IX—«Плачъ Ингеборги», полный невыразимой поэзіи.

Фритіофъ не совсѣмъ изгнанъ изъ отчизны, но на него только возложенъ подвигъ — взять дань съ ярла Ангантира, владѣтеля Оркадскихъ острововъ, который всегда платилъ дань Белу, но по смерти его пересталъ. Коварный Гелгъ вызываетъ изъ моря злыхъ духовъ—море волнуется, но Фритіофъ восклицаетъ:

Весело мнѣ, братья, Ингеборгѣ стыдно бъ
Съ бурею бороться: Стало, еслибъ въ пристань,
Бурѣ и норману Полетѣлъ отъ вѣтра
На морѣ житье. Вѣрный ей орелъ.

Онъ побѣждаетъ чудищъ и бурю, пристаетъ къ берегу и переноситъ на него своихъ товарищей, выбившихся изъ силъ. У Ангантира пиръ. Одинъ изъ его воиновъ, берсеркъ, бьется съ Фритіофомъ; выбивъ у берсерка мечъ, Фритіофъ бросаетъ свой, желая сражаться равнымъ оружіемъ. Они сплетаются руками—и Фритіофъ наступилъ колѣномъ на грудь врага, говоря, что еслибъ съ нимъ былъ мечъ, онъ закололъ бы его. «Возьми свой мечъ,—отвѣчаетъ ему берсеркъ:—а я буду лежать и ждать». Пораженный такой доблестью врага, Фритіофъ мирится съ нимъ. Слѣдуетъ описаніе пира у Ангантира. Ангантиръ, изъ уваженія къ Фритіофу, обѣщаетъ платить дань, велитъ своей прекрасной дочери потчивать гостя виномъ и приглашаетъ его прогостить у нихъ до лѣта. Наконецъ Фритіофъ возвращается на родину и узнаетъ, что Ингеборга — жена Ринга, который добылъ ее огнемъ и мечомъ... Между прочимъ старый Гильдингъ разсказываетъ Фритіофу, что Гелгъ, увидѣвъ на рукѣ сестры своей его запястье, снялъ и надѣлъ на кумиръ бога Бальдера. Фритіофъ преисполняется дикимъ негодованіемъ и сжигаетъ храмъ бога Бальдера. Фритіофъ — снова изгнанникъ и мчится на югъ по волнамъ моря... Пѣснь XV заключаетъ въ себѣ морской уставъ *викинга* (такъ назывались младшіе сыновья конунговъ, долженствовавшіе орудіемъ снискивать себѣ счастье); въ этомъ уставѣ—символъ вѣры и политическій кодексъ нормана:

Ни шатровъ на судахъ, ни ночлега въ домахъ:
супостатъ за дверьми стережетъ;
Спитъ на ратномъ щитѣ, мечъ булатный въ рукѣ, а шатромъ—голубой небосводъ.
Какъ у Фрея, лишь въ локоть будь мечъ у тебя; малъ у Тора громящаго млатъ;
Есть отвага въ груди—ко врагу подойти,—
и не будетъ коротокъ булатъ.
Какъ взыграетъ гроза, подыми паруса: подъ грозою душѣ веселѣй.
Пусть гремитъ, пусть ревetъ; трусъ—кто парусъ совьетъ: чѣмъ быть трусомъ, погибни скорѣй.
Чти на сушѣ миръ дѣвъ, на судахъ нѣтъ имъ мѣстъ: будь то Фрея, бѣги отъ красы.
Ямки розовыхъ щекъ всѣхъ обманчивѣй рвовъ, и какъ сѣти—шелковы власы.
Самъ Одинъ пьетъ вино, и похмѣлье не зло: лишь храни надъ собою ты власть.
Надъ землею упавъ, ты подымешься здравъ; здѣсь же къ Ранѣ страшися упасть.
Ты купца, на пути повстрѣчавъ, защити, но возьми съ него должную дань.
Ты владыка морей; онъ же прибыли рабъ; благороднѣйшій промыселъ—брань.
Ты по жребью добро на помостѣ дѣли, и на жребій не жалуйся свой;
Самъ же конунгъ морской не вступаетъ въ дѣлежъ: онъ доволенъ и честью одной.
Но вотъ викингъ плыветъ: нападай и рубись; подъ щитами потѣха бойцамъ.
Кто отстанетъ на шагъ, тотъ не нашъ: вотъ законъ, поступай, какъ ты вѣдаешь самъ.
Побѣдивъ, укротись: кто о мирѣ просилъ, тотъ не врагъ уже болѣ тебѣ.
Дочь Валгаллы мольба; ты дрожащей внимай; тотъ презрѣнъ, кто откажетъ мольбѣ.
Рана - прибыль твоя: на груди, на челѣ—то прямая украса мужамъ:
Ты чрезъ сутки, не прежде, ее повяжи, если хочешь собратомъ быть намъ.

Наконецъ Фритіофъ рѣшается ѣхать къ Рингу—но не врагомъ, а мирнымъ гостемъ, чтобъ проститься съ Ингеборгой. У Ринга былъ пиръ, когда вошелъ въ чертогъ человѣкъ, покрытый съ темени до ногъ медвѣжьей шкурой, и который, какъ ни изгибался надъ нищенской клюкой, но все былъ выше всѣхъ другихъ. Онъ сѣлъ у дверей; одинъ изъ придворныхъ вздумалъ надъ нимъ посмѣяться, и пришлецъ могучей рукой поставилъ его вверхъ ногами. Конунгъ, довольный его смѣлымъ отвѣтомъ, проситъ сбросить личину—врага веселія: тогда явился глазамъ всѣмъ богато одѣтый юноша. Рингъ восклицаетъ: «хоть и страшенъ Фритіофъ, но одержу надъ нимъ верхъ, при помощи Фреи, Тора и Одина». Отвѣтъ Фритіофа—громъ и молнія. Онъ называетъ себя другомъ дѣтства Фритіофа и клянется быть его защитникомъ.

Тогда съ улыбкой конунгъ сказалъ: «Твой смѣлъ языкъ;
Но рѣчь вольна въ чертогахъ у сѣверныхъ владыкъ;
Жена, попотчуй гостя вку снѣйшимъ ты виномъ;
Надѣюсь, съ незнакомцемъ мы зиму проведемъ.»

Весна. Рингъ собрался на охоту.

Вотъ сама царица лова! Бѣдный Фритіофъ, не гляди!

Digitized by Google

Какъ звѣзда, она сіяетъ на богатой лошади—
Это Фрея, это Рота, но еще прекраснѣй ихъ;
На главѣ уборъ пурпурный съ вязкой перьевъ голубыхъ.
Не гляди на свѣтлы очи, не смотри на блескъ кудрей!
Дальше! станъ ея такъ строенъ, перси такъ полны у ней!
Не любуйся на лилеи и на розы этихъ щекъ,
Не лови ты звуковъ сладкихъ, будто вешній вѣтерокъ!

Фритіофа мучитъ грустное раздумье; онъ уже раскаявается, что увидѣлъ Ингеборгу. Между тѣмъ вмѣстѣ съ Рингомъ онъ отстаетъ отъ охотниковъ, и усталый Рингъ хочетъ отдохнуть; Фритіофъ стелетъ на травѣ плащъ, и Рингъ преклоняется головой къ его колѣнамъ. Демонъ искушенія, въ видѣ черной птицы, преклоняетъ Фритіофа убить спящаго Ринга; пѣсня бѣлой птицы прогоняетъ искушеніе—Фритіофъ далеко отъ себя бросаетъ мечъ свой. Тогда Рингъ признается ему, что его сонъ былъ притворный; онъ зналъ, что его гость не кто иной, какъ «ужасъ народовъ и боговъ»—Фритіофъ.

Сѣдъ я, видишь; скоро подъ курганомъ буду я;
Ты тогда возьми и край мой, и жену: она—твоя.
Будь дотолѣ нашимъ гостемъ: я—второй тебѣ отецъ:
Безъ меча ты—мой защитникъ; нашей давней прѣ конецъ.

Фритіофъ отъ всего отказывается и хочетъ ѣхать въ море, на борьбу съ бурями, на битвы, которыя однѣ могутъ заглушить мученія его совѣсти за сожженіе храма Бальдера и утишить волненіе его страсти. Это сама поэзія,—мрачная, гордая, могучая поэзія сѣвера.

Рингъ умираетъ, и народъ, избирая Фритіофа опекуномъ его сына и правителемъ страны, требуетъ, чтобъ онъ женился на Ингеборгѣ; но Фритіофъ возвращается на родину, воздвигаетъ новый, великолѣпный храмъ Бальдеру, узнаетъ о смерти Гелга и, подходя къ Гальфдану для примиренія—

«Въ сей распрѣ—съ кротостью сказалъ онъ—будетъ тотъ
Великодушнѣй, кто сперва предложитъ миръ.»
Тутъ Гальфданъ, покраснѣвъ, совлекъ съ руки своей
Желѣзную перчатку, и опять сплелись
Давно разрозненныя длани: какъ скала,
Надежно, крѣпко было рукожатье то!
Старикъ тогда сложилъ проклятіе съ главы
Изгнанника, — того, кто «Волкомъ Храма» слылъ.
И въ тотъ же мигъ явилась Ингеборга къ нимъ,
Въ нарядѣ брачномъ, въ горностаевомъ плащѣ,
И дѣвы шли за ней, какъ звѣзды за луной.
Въ слезахъ она въ объятья Гальфдана спѣшитъ,
А онъ, растроганный, прекрасную сестру
Склоняетъ къ Фритіофу на грудь. И вотъ она
Предъ жертвенникомъ руку предаетъ тому,
Кого отъ сердца любитъ, кто ей съ дѣтства милъ.

Вотъ содержаніе поэмы лауреата Швеціи. Какіе элементы жизни, и какъ было такому даровитому поэту не создать изъ нихъ такой превосходной поэмы! Великодушное геройство, неукротимая, рьяная любовь, стремленіе къ славѣ и великимъ дѣламъ, ненасытимая жажда мести за оскорбленную честь и достоинство—и готовность прощать: бурное, гордое вольнолюбіе—и благоговѣйное уваженіе къ законамъ нравственности и истины; любовь къ женщинѣ могучая, безпредѣльная, страстная и вмѣстѣ кроткая, нѣжная, покорная, дѣвственная, чистая:—вотъ они, эти романтическіе элементы, это зерно будущаго рыцарства! А между тѣмъ нравы дики, воинственность отзывается звѣрствомъ, право сильнаго торжествуетъ, кровь льется безпрестанно! Да, народная поэзія такого племени доступна всѣмъ народамъ и всѣмъ вѣкамъ: изъ нея смѣло могутъ черпать поэты новѣйшаго времени и изъ ея элементовъ созидать произведенія міровыя и вѣчныя. Все дѣло въ идеѣ; чѣмъ общѣе идея, тѣмъ родственнѣе духу человѣческому форма, выразившая ее. А какая же идея общѣе, человѣчнѣе, родственнѣе всѣмъ вѣкамъ и народамъ, какъ не идея мужества, доблести, правды, любви и всего, чѣмъ гордится человѣчество, въ чемъ люди сознаютъ свое братство, свое единокровное родство въ Богѣ?...

Не зная подлинника, не можемъ утвердительно судить о достоинствѣ поэмы Тегнѣра; можемъ сказать только, что чѣмъ болѣе нравился намъ переводъ Грота, тѣмъ несравненно выше представлялся нашей фантазіи подлинникъ... Какіе грандіозные образы, какая сила, энергія въ чувствѣ, какая свѣжесть красокъ, какой дивно поэтическій колоритъ! Это совершенно новый, оригинальный міръ, полный безконечности, величавый и сумрачный, какъ даль океана, какъ вѣчно суровое небо сѣвера, опирающееся на исполинскія сосны... Отъ всей души благодаримъ Грота за его прекрасный подарокъ русской публикѣ...

Что касается до достоинства перевода,—нельзя не отдать полной справедливости таланту Грота, какъ переводчика. Онъ умѣлъ сохранить колоритъ скандинавской поэзіи подлинника, и потому въ его переводѣ есть жизнь,—а это уже великая заслуга въ дѣлѣ такого рода! Жаль только, что между прекрасными стихами у него нерѣдко попадаются стихи прозаическіе, неточность въ выраженіи, а оттого и темнота. Можетъ быть это происходило и отъ желанія быть какъ можно вѣрнѣе смыслу подлинника: въ такомъ случаѣ мы самые недостатки готовы принять за достоинство, тѣмъ болѣе, что со временемъ Гроту легко будетъ исправить ихъ. Впрочемъ нѣкоторыя пѣсни переведены прекрасно, особенно XIX-я. Намъ очень нравится, что Гротъ каждую пѣсню переводилъ размѣромъ подлинника. Такъ какъ форма всегда соотвѣтствуетъ идеѣ, то размѣръ отнюдь не есть случайное дѣло, и измѣнить его въ переводѣ—значитъ поступить произвольно. Можетъ быть такой переводъ будетъ и выше самаго подлинника, но тогда онъ—уже передѣлка, а не переводъ...

Digitized by Google

Герой Нашего Времени. *Соч. М. Лермонтова. Изданіе второе. Спб. 1841. Двѣ части.*

Давно ли привѣтствовали мы первое изданіе «Героя Нашего Времени» большой критической статьей и, полные гордыхъ, величавыхъ и сладостныхъ надеждъ, со всѣмъ жаромъ убѣжденія, основаннаго на сознаніи, указывали русской публикѣ на Лермонтова, какъ на великаго поэта въ будущемъ, смотрѣли на него, какъ на преемника Пушкина въ настоящемъ!... И вотъ проходитъ не болѣе года,—мы встрѣчаемъ новое изданіе «Героя Нашего Времени» горькими слезами о невозвратимой утратѣ, которую понесла осиротѣлая русская литература въ лицѣ Лермонтова!... Несмотря на общее, единодушное вниманіе, съ какимъ приняты были его первые опыты, несмотря на какое-то безусловное ожиданіе отъ него чего-то великаго,—наши восторженныя похвалы и радостные привѣты новому свѣтилу поэзіи для многихъ благоразумныхъ людей казались преувеличенными. Слава ихъ благоразумію, такъ много теперь выигравшему, и горе намъ, такъ много утратившимъ!... Въ сознаніи великой, невознаградимой утраты, въ полнотѣ ѣдкаго, грустнаго чувства, отравляющаго сердце, мы готовы великодушно увеличить торжество осторожнаго въ своихъ приговорахъ сомнѣнія, и охотно сознаться, что, говоря такъ много о Лермонтовѣ, мы видѣли болѣе будущаго, нежели настоящаго Лермонтова,—видѣли Алкида, въ колыбели удушающаго змѣй зависти, но еще не Алкида, сражающаго ужасной палицей лернейскую гидру... Да, все написанное Лермонтовымъ, еще недостаточно для упроченія колоссальной славы, и болѣе значительно какъ предвѣстіе будущаго, а не какъ что-нибудь положительно и безотносительно великое, хотя и само по себѣ все это составляетъ важный и примѣчательный фактъ, рѣшительно выходящій изъ круга обыкновеннаго. Первыя лирическія пьесы «Русланъ и Людмила» и «Кавказскій Плѣнникъ» еще не могли составить славы Пушкина, какъ великаго мірового поэта; но въ нихъ уже видѣлся будущій создатель «Цыганъ», «Онѣгина», «Бориса Годунова», «Моцарта и Сальери», «Скупого Рыцаря», «Русалки», «Каменнаго Гостя» и другихъ великихъ поэмъ... Толпа судитъ и дѣлаетъ свои приговоры заднимъ числомъ; она говоритъ, когда уже не боится проговориться. Толпа идетъ ощупью и о твердости встрѣченнаго ею предмета судитъ по силѣ толчка, съ которымъ наткнулась на него. Оставляя за толпой право видѣть вещи не иначе, какъ оборачиваясь назадъ, не будемъ отнимать права у людей заглядывать впередъ и—по настоящему предсказывать о будущемъ... Всякому свое: толпѣ кричать, людямъ мыслить... Пусть же кричитъ она, а мы снова повторимъ: новая великая утрата осиротила бѣдную русскую литературу!...

Самыя первыя произведенія Лермонтова были ознаменованы печатію какой-то особенности; они не походили ни на что, являвшееся до Пушкина и послѣ Пушкина. Трудно было выразить словомъ, что въ нихъ было особеннаго, отличавшаго ихъ даже отъ явленій, которыя носили на себѣ отблескъ истиннаго и замѣчательнаго таланта. Тутъ было все — и самобытная, живая мысль, одушевлявшая обаятельно прекрасную форму, какъ теплая кровь одушевляетъ молодой организмъ и яркимъ, свѣжимъ румянцемъ проступаетъ на ланитахъ юной красоты; тутъ была и какая-то мощь, горделиво владѣвшая собой и свободно подчинявшая идеѣ своенравные порывы свои; тутъ была и эта оригинальность, которая, въ простотѣ и естественности, открываетъ собой новые, дотолѣ невиданные міры, и которая есть достояніе однихъ геніевъ; тутъ было много чего-то столь индивидуальнаго, столь тѣсно соединеннаго съ личностью творца,—много такого, что мы не можемъ иначе охарактеризовать, какъ назвавши «Лермонтовскимъ элементомъ»... Какой избытокъ силы, какое разнообразіе идей и образовъ, чувствъ и картинъ! Какое сильное сліяніе энергіи и граціи, глубины и легкости, возвышенности и простоты! Читая всякую строку, вышедшую изъ подъ пера Лермонтова, будто слушаешь музыкальные аккорды и въ то же время слѣдишь взоромъ за потрясенными струнами, съ которыхъ сорваны они рукой невидимой... Тутъ, кажется, соприсутствуешь духомъ таинству мысли, рождающейся изъ ощущенія, какъ рождается бабочка изъ некрасивой личинки... Тутъ нѣтъ лишняго слова, не только лишней страницы; все на мѣстѣ, все необходимо, потому что все перечувствовано прежде, чѣмъ сказано, все видѣно прежде, чѣмъ положено на картину... Нѣтъ ложныхъ чувствъ, ошибочныхъ образовъ, натянутаго восторга: все свободно, безъ усилія, то бурнымъ потокомъ, то свѣтлымъ ручьемъ, излилось на бумагу... Быстрота и разнообразіе ощущеній покорены единству мысли; волненіе и борьба противоположныхъ элементовъ послушно сливаются въ одну гармонію, какъ разнообразіе музыкальныхъ инструментовъ въ оркестрѣ, послушныхъ волшебному жезлу капельмейстера... Но главное—все это блещетъ своими, незаимствованными красками, все дышитъ самобытной и творческой мыслью, все образуетъ новый, дотолѣ невиданный міръ... Только дикіе невѣжды, черствые педанты, которые за буквой не видятъ мысли и случайную внѣшность всегда принимаютъ за внутреннее сходство, только эти честные и добрые витязи букварей и фоліантовъ могли бы находить въ самобытныхъ вдохновеніяхъ Лермонтова подражанія не только Пушкину или Жуковскому, но и Бенедиктову или Якубовичу.

Повторяемъ: небольшая книжка стихотвореній Лермонтова конечно не есть колоссальный монументъ поэтической славы; но она есть живое, говорящее проpицаніе великой поэтической славы. Это еще не симфонія, а только пробные аккорды, но аккорды, взятые рукой юнаго Бетховена... Просвѣщенный иностранецъ, знакомый съ русскимъ языкомъ, прочитавъ стихотворенія Лермонтова, не увидѣлъ бы въ ихъ малочисленности богатства

Digitized by Google

русской литературы, но изумился бы силѣ русской фантазіи, даровитости русской натуры... Нѣкоторыя изъ нихъ законно могли бы явиться въ свѣтъ съ подписью имени Пушкина и другихъ величайшихъ мастеровъ поэзіи... «Герой Нашего Времени» обнаружилъ въ Лермонтовѣ такого же великаго поэта въ прозѣ, какъ и въ стихахъ. Этотъ романъ былъ книгой, вполнѣ оправдывавшей свое названіе! Въ ней авторъ является рѣшителемъ важныхъ современныхъ вопросовъ. Его Печоринъ— какъ современное лицо — Онѣгинъ нашего времени. Обыкновенно наши поэты жалуются — можетъ быть и не безъ основанія — на скудость поэтическихъ элементовъ въ жизни русскаго общества; но Лермонтовъ въ своемъ «Героѣ» умѣлъ и изъ этой безплодной почвы извлечь богатую поэтическую жатву. Не составляя цѣлаго, въ строгомъ художественномъ смыслѣ, почти всѣ эпизоды его романа образуютъ собою очаровательные поэтическіе міры. «Бэла» и «Тамань» въ особенности могутъ считаться однѣми изъ драгоцѣннѣйшихъ жемчужинъ русской поэзіи, а въ нихъ еще остается сколько дивныхъ подробностей и картинъ, въ которыхъ съ такой отчетливостью обрисовано типическое лицо Максима Максимовича! «Княжна Мери» менѣе удовлетворяетъ въ смыслѣ объективной художественности. Рѣшая слишкомъ близкіе сердцу своему вопросы, авторъ не совсѣмъ успѣлъ освободиться отъ нихъ и, такъ-сказать, нерѣдко въ нихъ путался: но это даетъ повѣсти новый интересъ и новую прелесть, какъ самый животрепещущій вопросъ современности, для удовлетворительнаго рѣшенія котораго нуженъ былъ великій переломъ въ жизни автора... Но, увы! этой жизни суждено было проблеснуть блестящимъ метеоромъ, оставить послѣ себя длинную струю свѣта и благоуханія и—исчезнуть во всей красѣ своей...

Прекрасное погибло въ пышномъ цвѣтѣ...
Таковъ удѣлъ прекраснаго на свѣтѣ!
Губителемъ неслышнымъ и незримымъ,
Во всѣхъ путяхъ бѣда насъ сторожитъ,
Пріюта нѣтъ главамъ, равно грозимымъ;
Гдѣ не была, тамъ будетъ и сразитъ.
Вотще дерзать въ борьбу съ необходимымъ:
Житейскаго никто не побѣдитъ.
Гнетомы всѣ единой грозной силой,
Намъ всѣмъ сказать о здѣшнемъ счастьѣ:
«было!»

Какъ всѣ великіе таланты, Лермонтовъ въ высшей степени обладалъ тѣмъ, что̀ называется «слогомъ». Слогъ отнюдь не есть простое умѣнье писать грамматически правильно, гладко и складно,—умѣнье, которое часто дается и безталантности. Подъ «слогомъ» мы разумѣемъ непосредственное, данное природой умѣнье писателя употреблять слова въ ихъ настоящемъ значеніи, выражаясь сжато, высказывать много, быть краткимъ въ многословіи и плодовитымъ въ краткости, тѣсно сливать идею съ формой и на все налагать оригинальную, самобытную печать своей личности, своего духа. Предисловіе Лермонтова ко второму изданію «Героя Нашего Времени» можетъ служить лучшимъ примѣромъ того, что̀ значитъ «имѣть слогъ». Какая точность и опредѣленность въ каждомъ словѣ; какъ на мѣстѣ и какъ незамѣнимо другимъ каждое слово! Какая сжатость, краткость и вмѣстѣ съ тѣмъ многозначительность! Читая строки, читаешь и между строками; понимая ясно все сказанное авторомъ, понимаешь еще и то, чего онъ не хотѣлъ говорить, опасаясь быть многорѣчивымъ. Какъ образны и оригинальны его фразы: каждая изъ нихъ годится быть эпиграфомъ къ большому сочиненію. Конечно, это «слогъ», или мы не знаемъ, что̀ такое «слогъ»...

Немного стихотвореній осталось послѣ Лермонтова. Найдется пьесъ десятокъ первыхъ его опытовъ, кромѣ большой его поэмы — «Демонъ»; пьесъ пять новыхъ, которыя подарилъ онъ редактору «Отечественныхъ Записокъ» передъ отъѣздомъ своимъ на Кавказъ... Наслѣдіе не огромное, но драгоцѣнное! «Отечественныя Записки» почтутъ священнымъ долгомъ скоро подѣлиться ими съ своими читателями. Лермонтовъ немного написалъ—безконечно меньше того, сколько позволялъ ему его громадный талантъ. Безпечный характеръ, пылкая молодость, жадная впечатлѣній бытія, самый родъ жизни — отвлекали его отъ мирныхъ кабинетныхъ занятій, отъ уединенной думы, столь любезной музамъ; но уже кипучая натура его начала устраиваться, въ душѣ пробуждалась жажда труда и дѣятельности, а орлиный взоръ спокойнѣе сталъ вглядываться въ глубь жизни. Уже затѣвалъ онъ въ умѣ, утомленномъ суетой жизни, созданія зрѣлыя; онъ самъ говорилъ намъ, что замыслилъ написать романтическую трилогію, три романа изъ трехъ эпохъ жизни русскаго общества (вѣка Екатерины II, Александра I и настоящаго времени), имѣющіе между собой связь и нѣкоторое единство, по примѣру Куперовской тетралогіи, начинающейся «Послѣднимъ изъ Могиканъ», продолжающейся «Путеводителемъ въ Пустынѣ» и «Піонерами» и оканчивающейся «Степями»... какъ вдругъ—

Младой пѣвецъ
Нашелъ безвременный конецъ!
Дохнула буря, цвѣтъ прекрасный
Увялъ на утренней зарѣ!
Потухъ огонь на алтарѣ!

Нельзя безъ печальнаго содроганія сердца читать этихъ строкъ, которыми оканчивается, въ 63 № «Одесскаго Вѣстника», статья Андреевскаго «Пятигорскъ»: «15 іюля, около 5-ти часовъ вечера, разразилась ужасная буря съ молніей и громомъ: въ это самое время между горами Машукой и Бештау скончался лѣчившійся въ Пятигорскѣ М. Ю. Лермонтовъ. Съ сокрушеніемъ смотрѣлъ я на привезенное сюда бездыханное тѣло поэта»...

Друзья мои, вамъ жаль поэта:
Во цвѣтѣ радостныхъ надеждъ,
Ихъ не свершивъ еще для свѣта,
Чуть изъ младенческихъ одеждъ—
Увялъ! Гдѣ жаркое волненье,
Гдѣ благородное стремленье

Digitized by Google

И чувствъ, и мыслей молодыхъ,
Высокихъ, нѣжныхъ, удалыхъ?
Гдѣ бурныя любви желанья,
И жажда знаній и труда,
И вы. завѣтныя мечтанья,
Вы, призракъ жизни неземной,
Вы, сны поэзіи святой?
Быть можетъ, онъ для блага міра
Иль хоть для славы былъ рожденъ;
Его умолкнувшая лира
Гремучій непрерывный звонъ
Въ вѣкахъ поднять могла. Поэта,
Быть-можетъ, на ступеняхъ свѣта
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тѣнь,
Быть можетъ, унесла съ собою
Святую тайну, и для насъ
Погибъ животворящій гласъ,
И за могильною чертою
Къ ней не домчится гласъ временъ—
Благословенія племенъ!

Стихотворенія графини Е. Растопчиной. *Часть I. Спб. 1841.*

Съ 1835 года, если не ошибаемся, почти во всѣхъ періодическихъ изданіяхъ начали появляться стихотворенія, отмѣчаемыя таинственной подписью *Гр-ня Е. Р-на.* Само собой разумѣется, что причина подобнаго способа давать о себѣ знать заключалась въ нежеланіи автора быть извѣстнымъ подъ собственнымъ своимъ именемъ—по скромности ли то было, или по не слишкомъ высокому понятію о литературной аренѣ, или по какимъ-нибудь другимъ уваженіямъ. Но поэтическое «инкогнито» не долго оставалось тайной, и всѣ читатели выговаривали таинственныя буквы опредѣленными и ясными словами: *графиня Е. Растопчина.* Истинный талантъ какъ-то не уживается съ «инкогнито»; къ тому же люди странныя созданія (подлинно—*порожденія крокодиловы*!): иногда они потому именно не знаютъ вашего имени, что вы поторопились сказать его, и добиваются знать и узнаютъ потому только, что вы его скрываете или дѣлаете видъ, что скрываете... Повторяемъ, главная причина того, что литературное инкогнито графини Растопчиной скоро было разгадано, — заключалось въ поэтической прелести и высокомъ талантѣ, которыми запечатлѣны ея прекрасныя стихотворенія. Намъ тѣмъ легче отдать въ нихъ отчетъ публикѣ, что всѣ они извѣстны каждому образованному и неутомимому читателю русскихъ періодическихъ изданій. Поэтому мы почитаемъ себя вправѣ не прибѣгать къ выпискамъ и чаще ограничиваться только указаніемъ на ту или другую пьесу, для подтвержденія нашего мнѣнія. Постараемся высказать это мнѣніе прямо и откровенно, чуждаясь и безусловнаго удивленія, и преступнаго равнодушія.

Отличительныя черты музы графини Растопчиной—наклонность къ разсужденіямъ и свѣтскость: это муза разсуждающая и свѣтская. Перечтите пьесы: «Страдальцу», «Полузнакомой», «Равнодушной», «Зачѣмъ? отвѣтъ на Что», «Отринутому поэту», «На Дону», «На памятникъ Сусанину» и нѣкоторыя другія,—во всѣхъ ихъ встрѣтите вы множество вопросовъ, вродѣ слѣдующихъ: «зачѣмъ? уже ль? ты ль это? тебя ль?» и т. п. «Зачѣмъ» особенно часто повторяется въ стихотвореніяхъ графини Растопчиной. Даже тѣ пьесы, въ которыхъ нѣтъ прямого вопрошенія, большей частью не иное что, какъ разсужденія въ прекрасныхъ, а иногда и поэтическихъ стихахъ. Несмотря на все уваженіе къ таланту графини Растопчиной, нельзя не замѣтить, что разсужденіе охлаждаетъ даже мужескую и мужественную поэзію и придаетъ ей какой-то однообразный, прозаическій колоритъ. Правда, этого нельзя безусловно отнести къ прекраснымъ медитаціямъ разсматриваемаго нами автора; но все-таки нельзя не сказать, что стихотворенія выиграли бы гораздо больше въ поэзіи, еслибъ захотѣли оставаться поэтическими откровеніями міра женственной души, мелодіями мистики женственнаго сердца: тогда они были бы и любопытнѣе для остальной половины человѣческаго рода, Богъ знаетъ почему присвоившей себѣ право суда и награды. Сохрани насъ Богъ отъ вандальской мысли ограничить поэтическую дѣятельность женщины только той сферой, которая оставлена ей варварствомъ мужчины, однакожъ мы думаемъ, что, вступая въ сферы, насильственно присвоенныя себѣ мужчиной, женщинѣ должно имѣть и мужскія силы при женской граціи, подобно геніальной д'Юдеванъ...

Исключительное служеніе «богу салоновъ» также не совсѣмъ выгодно. Наши салоны — слишкомъ сухая и безплодная почва для поэзіи. Правда, они даже и зимой дышатъ ароматомъ или, какъ говоритъ муза графини Растопчиной, «сыплятъ ароматъ», но этотъ ароматъ искусственный, возросшій на почвѣ оранжерейной, а не на раздольи плодотворной земли, улыбающейся ясному небу. Балъ, составляющій источникъ вдохновеній нашего автора, конечно образуетъ собой обстоятельный міръ даже и у насъ,—не только тамъ, гдѣ царитъ образецъ, съ котораго онъ довольно точно скопированъ; но балъ у насъ—заморское растеніе, много пострадавшее при перевозкѣ, помятое, вялое, блѣдное. Поэзія — женщина: она не любитъ показываться каждый день въ одномъ уборѣ; напротивъ, ей нравятся каждый часъ являться новой; всегда быть разнообразной — это жизнь ея: а всѣ балы наши такъ похожи одинъ на другой, что поэзія не пошлетъ туда даже и своей ассистентки, не только сама не пойдетъ. Между тѣмъ поэзія графини Растопчиной, такъ сказать, прикована къ балу: даже встрѣча и знакомство съ Пушкинымъ, какъ совершившіяся на балѣ, суть собственно описаніе бала, которое болѣе бы шло къ письму или статьѣ въ прозѣ, чѣмъ съ риѳмами.

Муза графини Растопчиной не чужда поэтическихъ вдохновеній, дышащихъ не однимъ умомъ, но и глубокимъ чувствомъ. Правда, это чувство ни въ одномъ стихотвореніи не высказалось полно,

Digitized by Google

но сверкаетъ болѣе въ отрывкахъ и частностяхъ, зато эти отрывки и частности ознаменованы печатью истинной поэзіи. Сколько напримѣръ души въ стихахъ:

Но вы, разрозненные рокомъ,
Любимцы блеклые мои,
На лоно матери-земли
Вы принесенные оброкомъ
Съ родимыхъ вѣтвей и вершинъ,
Какъ много думъ и откровеній,
Какъ много горестныхъ видѣній
И занимательныхъ *судьбинъ* (?)
Я вижу въ низкой вашей долѣ!...
Немного будущности въ васъ,
Но все на жизненной юдоли
Переживете вы не разъ
И рано скошенную младость,
И сонъ любви, и красоту,
И сердца пламеннаго радость,
И вдохновенную мечту.

Еще болѣе глубокимъ чувствомъ запечатлѣно стихотвореніе «Послѣдній цвѣтокъ»; это, по нашему мнѣнію, лучшее стихотвореніе въ книжкѣ.

Даже и въ разсуждающихъ стихотвореніяхъ графини Растопчиной встрѣчаются мѣста, ознаменованныя думой и чувствомъ, — и мы поступили бы неучтиво противъ ея музы, еслибы не выписали этихъ стиховъ изъ пьесы «Равнодушной»:

Мой другъ... мнѣ жаль тебя!... ты молода, прекрасна,
Съ душой чувствительной ты дышишь для любви,
Тебѣ ль, во цвѣтѣ лѣтъ, ошибкою ужасной
Безжалостно, на вѣкъ, убить права свои,
Проститься съ счастіемъ... погибнуть для земли?...
Нѣтъ... вѣрь, Богъ милости, Богъ пламенныхъ моленій
Не принялъ робкаго отвѣта твоего!
Вѣрь, жертва слезъ твоихъ, постовъ и треволненій
Противна благости вселюбящей Его!...
Не Онъ ли создалъ насъ, чтобъ съ кротостью, съ терпѣньемъ
Посланье Ангеловъ въ быту земномъ свершить?...
Не Онъ ли намъ велѣлъ быть міру утѣшеньемъ,
Мужчинѣ гордому путь трудный облегчить,
И отъ житейскихъ смутъ въ немъ сердце охранить?
Не Онъ ли одарилъ насъ пламенной душою,
Намъ сердце, чувство далъ, явилъ въ насъ благодать,
И въ умъ нашъ даръ вложилъ, какъ вѣрой и мольбою
Отступниковъ ума съ святыней примирять?...
Такъ!... мы посредницы межъ Божествомъ и свѣтомъ,
Намъ цѣль—творить добро, намъ весело *любить*,
И женщина, любовь отвергнувши обѣтомъ,
Не въ правѣ болѣе сестрою нашей быть!
Ей темный монастырь! Ей жребій заклейменный!...
Ей гробъ... но съ думами, съ тревогою, съ тоской!...
И горе, горе ей, коль образъ чародѣйный
Подъ чернымъ клобукомъ сдруженъ съ ея мечтой,
Подъ черной мантіей волнуетъ умъ младой!...

Да, такія думы и чувства доказываютъ, что талантъ графини Растопчиной могъ бы найти болѣе обширную и болѣе достойную себя сферу, чѣмъ салонъ, и что стихи, подобные слѣдующимъ, выражаютъ только мнѣніе, кажется, несправедливое въ отношеніи къ высокому назначенію женщины вообще:

А я, я женщина во всемъ значеньи слова,
Всѣмъ женскимъ склонностямъ покорна я вполнѣ;
Я только женщина... гордиться тѣмъ готова..
Я балъ люблю!... отдайте балы мнѣ!...

Русская исторія для первоначальнаго чтенія. *Соч. Николая Полевого. Часть четвертая. Спб. 1841.*

Эта книжка—продолженіе прекраснаго труда, которому давно была бы пора кончиться... Можетъ быть нѣкоторымъ изъ читателей, особенно «не нашего прихода», покажется страннымъ, что «Отечественныя Записки» хвалятъ книгу, написанную Полевымъ. «При сей вѣрной оказіи» просимъ этихъ господъ замѣтить однажды навсегда, что «Отечественныя Записки» чужды низкой вражды къ лицу, мимо его произведеній, что онѣ всегда преслѣдовали и всегда будутъ преслѣдовать произведенія тѣхъ людей, отъ которыхъ, по ихъ природной бездарности, соединенной съ ограниченностью понятій, нельзя ожидать ничего хорошаго, по той самой простой причинѣ,—что въ наше время чудесъ не бываетъ, и ворона никогда не запоетъ соловьемъ. Правда, и подобнымъ головамъ случается иногда обмолвиться умнымъ словцомъ; правда, и Тредьяковскому какъ-то разъ удалось написать эти прекрасные стихи:

Воньми, о небо! и реку
Земля да слышитъ устъ глаголы,
Какъ дождь я словомъ потеку,
И снидутъ, какъ роса къ цвѣтку,
Мои вѣщанія на долы.

Но въ продолженіи и въ окончаніи этихъ стиховъ, достойныхъ Державина, опять-таки сказался почтенный профессоръ элоквенціи, а паче всего хитростей піитическихъ, Василій Кирилловичъ Тредьяковскій, изобрѣтатель гекзаметра, который можетъ соперничать только развѣ съ октавами одного позднѣйшаго изобрѣтателя въ томъ же родѣ. Умныя обмолвки «профессоровъ элоквенціи, а паче всего хитростей піитическихъ», напоминаютъ прекрасную эпиграмму Баратынскаго:

Глупцы не чужды вдохновенья;
Имъ также пылкія мгновенья
Оно, какъ геніямъ, даритъ:
Слетая съ неба, всѣ растенья
Равно весна животворитъ.
Что жъ это сходство знаменуетъ?
Что имъ глупецъ пріобрѣтетъ?
Его капустою раздуетъ,
А лавромъ онъ не расцвѣтетъ.

И потому есть имена, которыя никогда не встрѣтятъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» похвалы своимъ произведеніямъ.

Но не къ такимъ именамъ принадлежитъ имя

Digitized by Google

Полевого. Мы поставляемъ себѣ за особенное удовольствіе и за честь признавать въ Полевомъ человѣка необыкновенно умнаго и даровитаго, литератора дѣятельнаго, оказавшаго, въ качествѣ журналиста, важныя услуги русской литературѣ и русскому образованію. Мы только не видимъ въ немъ генія, какимъ ему иногда угодно было признавать себя въ порывахъ свойственнаго человѣческой слабости самолюбія. Уважая многія изъ его произведеній, какъ имѣющія неоспоримое достоинство для своего времени, мы не видимъ въ нихъ твореній не только вѣчныхъ, но даже и долговѣчныхъ. И что жъ тутъ унизительнаго или обиднаго для Полевого? Всякому свое: одинъ творитъ для вѣковъ и человѣчества, но, доступный только немногимъ избраннымъ, не служитъ сильнымъ рычагомъ для движенія общества; другой пишетъ для эпохи и сливаетъ свое имя съ исторіей этой эпохи. Послѣдній еще скорѣе получаетъ свою награду, чѣмъ первый: часто, теряя въ потомствѣ первобытное свое значеніе, онъ тѣмъ выше въ глазахъ современниковъ. Развѣ это не лестно и не славно? Развѣ для этого не должно, какъ говоритъ Гамлетъ, «быть избраннымъ изъ десяти тысячъ»?... Но, повторяемъ: отдавать должное—не значитъ приписывать излишнее, и заслуга не защищаетъ отъ порицаній въ ошибкахъ. Полевой оказалъ великую заслугу литературѣ своимъ «Телеграфомъ», и мы умѣемъ быть благодарны за нее, но не до такой же степени, чтобы не видѣть, что съ «Телеграфомъ» кончилось время его журнальной дѣятельности, и что если его имя воскресило на минуту «Сынъ Отечества», то его же редакція и снова уморила этотъ несчастный журналъ. Всему свое время: жизнь угасаетъ и въ народахъ, не только въ отдѣльныхъ людяхъ; съ лѣтами угасаетъ и геній, не только дарованіе, какъ бы оно ни было сильно: Шеллингъ—живой примѣръ. Въ свое время литературные и эстетическіе взгляды и мнѣнія Полевого были и новы, и вѣрны, давая литературѣ и жизнь, и направленіе; а теперь нисколько не удивительно, что онъ заднимъ числомъ судитъ о Пушкинѣ, Гоголѣ и Лермонтовѣ. И должно ли быть намъ равнодушными къ подобнымъ сужденіямъ, особенно, когда ихъ источникъ, кромѣ отсталости и устарѣлости, заключался еще и въ недовольствѣ собой, въ журнальныхъ разсчетахъ, въ раздражительности самолюбія? Полевой оказалъ важную услугу, поставивъ «Гамлета» на русскую сцену; но это все-таки не мѣшаетъ намъ видѣть въ его переводѣ довольно жалкую пародію на великое созданіе Шекспира, хотя можетъ быть этому-то обстоятельству и обязана пьеса своимъ успѣхомъ въ толпѣ. Поэтому мы убѣждены, что никто изъ людей умныхъ и благонамѣренныхъ не увидитъ пристрастія въ нашихъ постоянно одинаковыхъ отзывахъ о жалкомъ драматическомъ поприщѣ Полевого. Конечно многія изъ его драматическихъ пьесъ несравненно выше всѣхъ произведеній нашихъ доморощенныхъ водевилистовъ, отъ Ленскаго до Коровкина включительно; но что же изъ этого? Развѣ это слава—написать романъ, который будетъ выше всѣхъ романовъ Зотова и Воскресенскаго? Нѣтъ, если это и слава, то не для Полевого: мы цѣнимъ его выше, и отъ души совѣтуемъ ему перестать состязаться съ театральными писаками и побѣждать ихъ... Иное, удивляя безсмысленную чернь, недостойно вниманія порядочнаго человѣка; есть вѣнцы, унижающіе голову, на которую надѣты: вѣдь и вѣнокъ изъ калуфера и мяты тоже вѣнокъ, но какіе люди могутъ дорожить имъ и добиваться его?... Полевой можетъ еще и теперь сдѣлать много полезнаго и истинно прекраснаго; лучшее доказательство четвертый томъ его «Русской Исторіи для Первоначальнаго чтенія». Когда выйдетъ послѣдній томъ этой «Исторіи», мы поговоримъ о ней по-подробнѣе; теперь скажемъ только, что еще въ первый разъ читали по-русски такъ дѣльно, умно и съ такимъ талантомъ написанную русскую исторію для дѣтей—отъ смерти царя Алексѣя Михаиловича до восшествія на престолъ Екатерины Великой. Особенно хорошо изображено въ этой книжкѣ время отъ смерти Петра Великаго. Это не сборъ фактовъ, давно всѣмъ извѣстныхъ; это не фразы, изъ которыхъ читатель узнаетъ, что всегда и все было чудо какъ хорошо, и не понимаетъ, чѣмъ же Петръ Великій выше Анны Іоанновны, Екатерина Великая—Елисаветы Петровны, Потемкинъ—выше Бирона, а Державинъ—выше Сумарокова. У Полевого есть взглядъ, есть мысль, есть убѣжденія; оттого разсказъ его живъ, одушевленъ, увлекателенъ, а событія запечатлѣваются въ памяти читателя. Правда, съ иными взглядами Полевого можно и не согласиться, но самый ошибочный взглядъ лучше отсутствія всякаго взгляда. Намъ кажется, что онъ не совсѣмъ понялъ Миниха и былъ пристрастенъ не въ его пользу; кромѣ этого мы не замѣтили ничего такого, чѣмъ бы можно было упрекнуть книжку Полевого.

Упырь. *Соч. Красногорскаго. Спб. 1841.*

Эта небольшая, со вкусомъ, даже изящно изданная книжка носитъ на себѣ всѣ признаки еще слишкомъ молодого, но тѣмъ не менѣе замѣчательнаго дарованія, которое нѣчто обѣщаетъ въ будущемъ. Содержаніе ея многосложно и исполнено эффектовъ; но причина этого заключается не въ недостаткѣ фантазіи, а скорѣе въ ея пылкости, которая еще не успѣла умѣриться опытомъ жизни и уравновѣситься съ другими способностями души. Въ извѣстную эпоху жизни насъ плѣняетъ одно рѣзкое, преувеличенное: тогда мы ни въ чемъ не знаемъ середины, и если смотримъ на жизнь съ веселой точки, такъ видимъ въ ней рай, а если съ печальной, и самый адъ кажется намъ въ сравненіи съ ней мѣстомъ прохлады и нѣги. Это самое соблазнительное и самое неудобное время для авторства: тутъ нѣтъ конца дѣятельности; но зато всѣ произведенія этой плодовитой эпохи въ болѣе зрѣлый періодъ жизни предаются огню,

Digitized by Google

какъ очистительная жертва грѣховъ юности. И хорошо тому, кто въ эту пору жизни бралъ себѣ за законъ стихи Пушкина:

Блаженъ, кто про себя таилъ
Души высокія созданья,
И отъ людей, какъ отъ могилъ,
Не ждалъ за подвигъ воздаянья!

Исключеніе остается только за геніями, которые начинаютъ свое поприще съ «Геца», съ «Вертера», съ «Разбойниковъ», съ «Руслана и Людмилы» и «Кавказскаго Плѣнника»: этимъ людямъ не для чего жечь произведеній своей первой молодости: въ нихъ хоть иногда и дѣтски, но всегда выражается господствующая дума времени. Но и раннія произведенія геніевъ рѣзкой чертой отдѣляются отъ созданій болѣе зрѣлаго ихъ возраста; въ первыхъ если ужъ злодѣй,—такъ такой, что и самый отчаянный разбойникъ не годится ему въ ученики: вспомните Франца Моора... Вообще густота и яркость красокъ, напряженность фантазіи и чувства, односторонность идеи, избытокъ жара сердечнаго, тревога вдохновенія, порывъ и увлеченіе — признаки произведеній юности. Однакожъ всѣ эти недостатки могутъ искупаться идеей, если только идея, а не безотчетная страсть къ авторству была вдохновительницей юнаго произведенія.

«Упырь»—произведеніе фантастическое, но фантастическое внѣшнимъ образомъ: незамѣтно, чтобъ оно скрцвало въ себѣ какую-нибудь мысль, и потому не похоже на фантастическія созданія Гоффмана; однакожъ оно можетъ насытить прелестью ужаснаго всякое молодое воображеніе, которое, любуясь фейерверкомъ, не спрашиваетъ: что въ этомъ и къ чему это? Не будемъ излагать содержанія «Упыря», это было бы очень длинно, и притомъ читатели немного увидѣли бы изъ сухого изложенія. Скажемъ только, что, несмотря на внѣшность изобрѣтенія, уже самая многосложность и запутанность его обнаруживаютъ въ авторѣ силу фантазіи, а мастерское изложеніе, умѣнье сдѣлать изъ своихъ лицъ что-то вродѣ характеровъ, способность схватить духъ страны и времени, къ которымъ относится событіе, прекрасный языкъ, иногда похожій даже на «слогъ», словомъ—во всемъ отпечатокъ руки твердой, литературной— все это заставляетъ надѣяться въ будущемъ многаго отъ автора «Упыря». Въ комъ есть талантъ, въ томъ жизнь и наука сдѣлаютъ свое дѣло, а въ авторѣ «Упыря», повторяемъ, есть рѣшительное дарованіе.

Непостижимая. *Владиміра Филимонова. Спб. 1841. Пять частей.* (*Отрывки*).

Въ произведеніяхъ литературы идея является двояко. Въ однихъ она уходитъ внутрь формы и оттуда проступаетъ во всѣхъ оконечностяхъ формы, согрѣваетъ и просвѣтляетъ собой форму: эта идея жизненная, творческая, возникшая не черезъ разсудокъ, но непосредственно, — не сама собой, но вмѣстѣ съ формой; это созданія изящныя, художественныя. Другая идея родится въ головѣ автора независимо отъ формы—форма сочиняется имъ особо и потомъ прилаживается къ идеѣ. Изъ этого выходитъ, что сочиненіе, умное по идеѣ (т. е. по намѣренію автора), не заслуживаетъ никакого вниманія по формѣ. Причина очевидна: свѣтлый взглядъ на жизнь, глубокое чувство могутъ быть достояніемъ многихъ, но способность выражать въ поэтическихъ формахъ свои взгляды на жизнь, свое глубокое чувство—достояніе немногихъ избранныхъ. Можно быть поэтомъ въ душѣ, въ чувствѣ, въ жизни, даже въ политической и гражданской дѣятельности — и не быть поэтомъ въ искусствѣ и литературѣ. Кто понимаетъ поэзію, тотъ уже одаренъ поэтической душой; но этого еще мало, чтобъ самому быть поэтомъ: для этого нужно быть одареннымъ отъ природы творческой фантазіей, которая одна составляетъ исключительное достояніе поэта, отличающее его отъ не-поэтовъ.

Описаніе относится къ поэзіи точно такъ же, какъ морозъ къ жару или вода къ вину: поэзія не описываетъ предмета, а показываетъ его. Возьмите письма Вертера, читайте ихъ отъ перваго до послѣдняго,—и вы почувствуете, какъ съ каждымъ изъ нихъ ускоряется біеніе пульса у жертвы несчастной любви, какъ глубже и глубже входитъ страсть въ тайники его духовной жизни и овладѣваетъ ими. Вертеръ пишетъ къ своему другу не объ одной своей страсти, но и о своихъ занятіяхъ, о Гомерѣ, о своихъ воззрѣніяхъ на жизнь: ибо смѣшно было бы видѣть человѣка, который, отдавшись весь и исключительно своей страсти, только и думаетъ, только и пишетъ, что о ней; гораздо естественнѣе можно предполагать, что часто ему самому хочется забыть о ней, и что часто, какъ больному, ему самому не хочется слышать своихъ стоновъ и терзать ими другихъ. Но о чемъ бы ни говорилъ Вертеръ, хоть бы о ландшафтѣ, котораго видъ во время прогулки на минуту позабавилъ его,— вездѣ и во всемъ видите вы болѣзненное состояніе его духа вслѣдствіе несчастной страсти. Въ томъ-то и высочайшее искусство поэта, чтобъ, не говоря о предметѣ, говорить о немъ. Всего болѣе заслуживаютъ сожалѣнія люди, которые дѣлаютъ какое-то занятіе, какую-то работу изъ своего чувства, называютъ его по имени, носятъ на рукахъ и всѣмъ показываютъ, какъ мать показываетъ своего ребенка. «Я влюбленъ, я люблю,—ахъ!» и пр., восклицаетъ герой плохого романа и варіируетъ общими мѣстами на бѣдную тему, а читатель пусть себѣ зѣваетъ, сколько хочетъ,—автору и дѣла нѣтъ. Нѣтъ, читатель не хочетъ, чтобъ съ нимъ обращались какъ съ дитятей и все ему разбалтывали и объясняли: напротивъ, ему хочется самому все понять, все разгадать, все оцѣнить, а отъ автора требуетъ онъ только поэтическихъ фактовъ.

Digitized by Google

III. ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

Сѣверная Пчела и Навроцкій.

(Отрывокъ.)

Г. Навроцкому кажется нелѣпой мысль статьи «Отечественныхъ Записокъ», что «Онѣгинъ есть человѣкъ, чувствующій свое превосходство надъ толпой, рожденный съ большими силами души», и онъ возражаетъ на это такъ: «Онѣгинъ, герой Пушкинскаго романа,—русскій дворянинъ, который съ нетерпѣніемъ дожидался смерти своего дяди, ни за что убилъ своего друга Ленскаго, отвергнулъ и «чуть не разругалъ» невинную дѣвушку Татьяну, признавшуюся въ любви къ нему, потомъ сталъ волочиться за той же Татьяной, когда она стала замужней женщиной». Неужели и противъ этого писать возраженіе? Пожалуй, такъ, слегка: Онѣгинъ жаловался на скучную роль, которую ему предстояло играть у постели совершенно чуждаго ему человѣка, который оставлялъ ему послѣ себя наслѣдство, по праву родства, а не по праву любви,—слѣдственно нѣтъ ничего худого, что Онѣгинъ скучалъ отъ скучной роли и былъ холоденъ къ тому, съ кѣмъ не былъ связанъ любовью. Ленскаго онъ убилъ совсѣмъ не ни за что, какъ сочиняетъ нашъ кандидатъ въ геніи, а за то, что тотъ самъ хотѣлъ убить его совершенно ни за что, и первый вызвалъ его на дуэль. Татьяну Онѣгинъ и не думалъ ругать: его отвѣтъ на ея объясненіе — верхъ деликатности, утонченной свѣтскости, благороднаго тона. Если Навроцкій принялъ отвѣтъ Онѣгина за ругательство, то намъ дѣлать съ этимъ нечего: таковъ ужъ видно взглядъ на вещи у кандидатовъ въ геніи. Что Онѣгинъ на признаніе дѣвушки, къ которой ничего не чувствовалъ, отвѣчалъ искренно и прямо: это дѣлаетъ честь благородству его характера, и больше всего доказываетъ, что онъ былъ выше толпы и родился съ большими силами души. Только человѣкъ безъ чести сталъ бы увѣрять Татьяну, что и онъ ее любитъ... Что Онѣгинъ влюбился въ Татьяну, когда она сдѣлалась замужней женщиной, это было для него несчастіемъ, но не его виной: только одни кандидаты въ геніи сами могутъ располагать движеніями своего сердца и влюбляться, и разлюбляться по волѣ своей; а простые люди въ этомъ случаѣ невольники какой-то враждебной и неотразимой силы, внѣ ихъ находящейся...

Ѳ. Н. Глинка.

(Отрывокъ.)

Въ 16-мъ нумерѣ «Московскихъ Вѣдомостей» нынѣшняго года Ѳ. Н. Глинка напечаталъ статью подъ названіемъ «Москвитянинъ»; въ этой статьѣ онъ очень наивно восхищается мыслью, что будто-бы Западъ (Европа) похожъ на человѣка, который «носитъ въ себѣ заразительный недугъ, окруженъ атмосферой опаснаго дыханія», и что «мы цѣлуемся съ нимъ, дѣлимъ трапезу мысли, пьемъ чашу чувства и не замѣчаемъ скрытаго яда въ безпечномъ общеніи нашемъ, не чуемъ, въ потѣхѣ пира, будущаго трупа, которымъ онъ уже пахнетъ»; далѣе онъ же, Глинка, подтверждаетъ, что во Франціи все, что̀ выдумаетъ развращенное воображеніе какого нибудь писателя, переливается изъ міра фантазіи въ соки жизни, и наконецъ заключаетъ статью свою двумя весьма замѣчательными фразами, изъ которыхъ первая гласитъ такъ: «Можетъ ли на твердомъ основаніи существовать поэзія, когда у нея отнимаютъ лучшее изъ правъ ея—поучать?»— и вторая: «Едва ли не дожили мы уже до того, что мнѣніе, которое передавалось шопотомъ, произносится вслухъ. Смѣлѣе приподымая маску, уже начинаютъ проповѣдывать, что поэзія должна быть безъ нравоученія, философія—безъ вѣры! Посмотримъ, куда придемъ мы съ поэзіей безнравственной, съ философіей безвѣрной!»

Скажите, сдѣлайте милость, можно ли было безъ улыбки прочесть эти громкія фразы и вообще всю статью Глинки, составленную въ духѣ этихъ фразъ? Какъ въ самомъ дѣлѣ можно писать и печатать подобныя вещи въ 1841-мъ году отъ Р. Х.? Европа—изволите видѣть—окружена атмосферой опаснаго дыханія, полна скрытаго яда; она—будущій трупъ, которымъ уже и пахнетъ; въ ней развращено воображеніе, развращена мысль, испорчены соки?!... Помилуйте! Да вѣдь это хула на науку, на искусство, на все живое, человѣческое, на самый прогрессъ чело-

Digitized by Google

какъ очистительная жертва грѣховъ юности. И хорошо тому, кто въ эту пору жизни бралъ себѣ за законъ стихи Пушкина:

Блаженъ, кто про себя таилъ
Души высокія созданья,
И отъ людей, какъ отъ могилъ,
Не ждалъ за подвигъ воздаянья!

Исключеніе остается только за геніями, которые начинаютъ свое поприще съ «Геца», съ «Вертера», съ «Разбойниковъ», съ «Руслана и Людмилы» и «Кавказскаго Плѣнника»: этимъ людямъ не для чего жечь произведеній своей первой молодости: въ нихъ хоть иногда и дѣтски, но всегда выражается господствующая дума времени. Но и раннія произведенія геніевъ рѣзкой чертой отдѣляются отъ созданій болѣе зрѣлаго ихъ возраста; въ первыхъ если ужъ злодѣй,—такъ такой, что и самый отчаянный разбойникъ не годится ему въ ученики: вспомните Франца Моора... Вообще густота и яркость красокъ, напряженность фантазіи и чувства, односторонность идеи, избытокъ жара сердечнаго, тревога вдохновенія, порывъ и увлеченіе — признаки произведеній юности. Однакожъ всѣ эти недостатки могутъ искупаться идеей, если только идея, а не безотчетная страсть къ авторству была вдохновительницей юнаго произведенія.

«Упырь»—произведеніе фантастическое, но фантастическое внѣшнимъ образомъ: незамѣтно, чтобъ оно скрывало въ себѣ какую-нибудь мысль, и потому не похоже на фантастическія созданія Гофмана; однакожъ оно можетъ насытить прелестью ужаснаго всякое молодое воображеніе, которое, любуясь фейерверкомъ, не спрашиваетъ: что въ этомъ и къ чему это? Не будемъ излагать содержанія «Упыря», это было бы очень длинно, и притомъ читатели немного увидѣли бы изъ сухого изложенія. Скажемъ только, что, несмотря на внѣшность изобрѣтенія, уже самая многосложность и запутанность его обнаруживаютъ въ авторѣ силу фантазіи, а мастерское изложеніе, умѣнье сдѣлать изъ своихъ лицъ что-то вродѣ характеровъ, способность схватить духъ страны и времени, къ которымъ относится событіе, прекрасный языкъ, иногда похожій даже на «слогъ», словомъ—во всемъ отпечатокъ руки твердой, литературной— все это заставляетъ надѣяться въ будущемъ многаго отъ автора «Упыря». Въ комъ есть талантъ, въ томъ жизнь и наука сдѣлаютъ свое дѣло, а въ авторѣ «Упыря», повторяемъ, есть рѣшительное дарованіе.

Непостижимая. *Владиміра Филимонова. Спб. 1841. Пять частей.* (*Отрывки*).

Въ произведеніяхъ литературы идея является двояко. Въ однихъ она уходитъ внутрь формы и оттуда проступаетъ во всѣхъ оконечностяхъ формы, согрѣваетъ и просвѣтляетъ собой форму: эта идея жизненная, творческая, возникшая не черезъ разсудокъ, но непосредственно, — не сама собой, но вмѣстѣ съ формой; это созданія изящныя, художественныя. Другая идея родится въ головѣ автора независимо отъ формы—форма сочиняется имъ особо и потомъ прилаживается къ идеѣ. Изъ этого выходитъ, что сочиненіе, умное по идеѣ (т. е. по намѣренію автора), не заслуживаетъ никакого вниманія по формѣ. Причина очевидна: свѣтлый взглядъ на жизнь, глубокое чувство могутъ быть достояніемъ многихъ, но способность выражать въ поэтическихъ формахъ свои взгляды на жизнь, свое глубокое чувство—достояніе немногихъ избранныхъ. Можно быть поэтомъ въ душѣ, въ чувствѣ, въ жизни, даже въ политической и гражданской дѣятельности — и не быть поэтомъ въ искусствѣ и литературѣ. Кто понимаетъ поэзію, тотъ уже одаренъ поэтической душой; но этого еще мало, чтобъ самому быть поэтомъ: для этого нужно быть одареннымъ отъ природы творческой фантазіей, которая одна составляетъ исключительное достояніе поэта, отличающее его отъ не-поэтовъ.

Описаніе относится къ поэзіи точно такъ же, какъ морозъ къ жару или вода къ вину: поэзія не описываетъ предмета, а показываетъ его. Возьмите письма Вертера, читайте ихъ отъ перваго до послѣдняго,—и вы почувствуете, какъ съ каждымъ изъ нихъ ускоряется біеніе пульса у жертвы несчастной любви, какъ глубже и глубже входитъ страсть въ тайники его духовной жизни и овладѣваетъ ими. Вертеръ пишетъ къ своему другу не объ одной своей страсти, но и о своихъ занятіяхъ, о Гомерѣ, о своихъ воззрѣніяхъ на жизнь: ибо смѣшно было бы видѣть человѣка, который, отдавшись весь и исключительно своей страсти, только и думаетъ, только и пишетъ, что о ней; гораздо естественнѣе можно предполагать, что часто ему самому хочется забыть о ней, и что часто, какъ больному, ему самому не хочется слышать своихъ стоновъ и терзать ими другихъ. Но о чемъ бы ни говорилъ Вертеръ, хоть бы о ландшафтѣ, котораго видъ во время прогулки на минуту позабавилъ его,— вездѣ и во всемъ видите вы болѣзненное состояніе его духа вслѣдствіе несчастной страсти. Въ томъ-то и высочайшее искусство поэта, чтобъ, не говоря о предметѣ, говорить о немъ. Всего болѣе заслуживаютъ сожалѣнія люди, которые дѣлаютъ какое-то занятіе, какую-то работу изъ своего чувства, называютъ его по имени, носятъ на рукахъ и всѣмъ показываютъ, какъ мать показываетъ своего ребенка. «Я влюбленъ, я люблю,—ахъ!» и пр., восклицаетъ герой плохого романа, варіируетъ общими мѣстами на бѣдную [redacted] читатель пусть себѣ зѣваетъ, сколько [redacted] и дѣла нѣтъ. Нѣтъ, читатель не [redacted] обращались какъ съ дитятей [redacted] ли и объясняли: напротивъ, [redacted] понять, все разгадать, [redacted] ра требуетъ онъ только [redacted]

Digitized by Google

III. ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

Сѣверная Пчела и Навроцкій

(Отрывокъ.)

Г. Навроцкому кажется нелѣпой мысль статьи «Отечественныхъ Записокъ», что «Онѣгинъ есть человѣкъ, чувствующій свое превосходство надъ толпой, рожденный съ большими силами души», и онъ возражаетъ на это такъ: «Онѣгинъ, герой Пушкинскаго романа,—русскій дворянинъ, который съ нетерпѣніемъ дожидался смерти своего дяди, ни за что убилъ своего друга Ленскаго, отвергнулъ и «чуть не разругалъ» невинную дѣвушку Татьяну, признавшуюся въ любви къ нему, потомъ сталъ волочиться за той же Татьяной, когда она стала замужней женщиной». Неужели и противъ этого писать возраженіе? Пожалуй, такъ, слегка: Онѣгинъ жаловался на скучную роль, которую ему предстояло играть у постели совершенно чуждаго ему человѣка, который оставлялъ ему послѣ себя наслѣдство, по праву родства, а не по праву любви,—слѣдственно нѣтъ ничего худого, что Онѣгинъ скучалъ отъ скучной роли и былъ холоденъ къ тому, съ кѣмъ не былъ связанъ любовью. Ленскаго онъ убилъ совсѣмъ не ни за что, какъ сочиняетъ нашъ кандидатъ въ геніи, а за то, что тотъ самъ хотѣлъ убить его совершенно ни за что, и первый вызвалъ его на дуэль. Татьяну Онѣгинъ и не думалъ ругать: его отвѣтъ на ея объясненіе — верхъ деликатности, утонченной свѣтскости, благороднаго тона. Если Навроцкій принялъ отвѣтъ Онѣгина за ругательство, то намъ дѣлать съ этимъ нечего: таковъ ужъ видно взглядъ на вещи у кандидатовъ въ геніи. Что Онѣгинъ на признаніе дѣвушки, къ которой ничего не чувствовалъ, отвѣчалъ искренно и прямо: это дѣлаетъ честь благородству его характера, и больше всего доказываетъ, что [illegible] былъ выше толпы и родился съ большими [illegible] лами души. Только человѣкъ безъ чести [illegible] увѣрять Татьяну, что и онъ ее [illegible] Онѣгинъ влюбился въ Та[illegible]ну, [illegible] дась замужней женщ[illegible] счастіемъ, не[illegible] даты въ [illegible] пій[illegible]

ляться по волѣ своей; а простые люди въ этомъ случаѣ невольники какой-то враждебной и неотразимой силы, внѣ ихъ находящейся...

Ѳ. Н. Глинка.

(Отрывокъ.)

Въ 16-мъ нумерѣ «Московскихъ Вѣдомостей» нынѣшняго года Ѳ. Н. Глинка напечаталъ статью подъ названіемъ «Москвитянинъ»; въ этой статьѣ онъ очень наивно восхищается мыслью, что будто-бы Западъ (Европа) похожъ на человѣка, который «носитъ въ себѣ заразительный недугъ, окруженъ атмосферой опаснаго дыханія», и что «мы цѣлуемся съ нимъ, дѣлимъ трапезу мысли, пьемъ чашу чувства и не замѣчаемъ скрытаго яда въ безпечномъ общеніи нашемъ, не чуемъ, въ потѣхѣ пира, будущаго трупа, которымъ онъ уже пахнетъ»; далѣе онъ же, Глинка, подтверждаетъ, что во Франціи все, что̀ выдумаетъ развращенное воображеніе какого нибудь писателя, переливается изъ міра фантазіи въ соки жизни, и наконецъ заключаетъ статью свою двумя весьма замѣчательными фразами, изъ которыхъ первая гласитъ такъ: «Можетъ ли на твердомъ основаніи существовать поэзія, когда у нея отнимаютъ лучшее изъ правъ ея—поучать?»— и вторая: «Едва ли не дожили мы уже до [illegible] что мнѣніе, которое передавалось шопотомъ, [illegible] износится вслухъ. Смѣлѣе приподымая маску, [illegible] начинаютъ проповѣдывать, что поэзія [illegible] быть безъ нравоученія, философія—[illegible] Посмотримъ, куда придемъ мы съ [illegible] нравственной, съ философіей безъ[illegible]

Скажите, сдѣлайте милость, [illegible] безъ улыбки прочесть [illegible] вообще всю статью [illegible] [illegible] этихъ [illegible]

Digitized by Google

вѣчества!... И какъ судить по нѣсколькимъ французамъ о всей Франціи, по нѣсколькимъ нѣмцамъ— о всей Германіи, а по нимъ—и о цѣлой Европѣ? Неужели Европа была просвѣщеннѣе, нравственнѣе, религіознѣе во времена Атиллъ, гвельфовъ и гибеллиновъ, Борджіевъ, Равальяковъ, Кромвелей, г-жъ Ментенонъ, дю-Барри и т. п.? Пора бы, право, перестать «извергать такія клеветы» (говоря слогомъ г. N. N.) на Европу и на нашъ великій XIX вѣкъ... Господи Боже мой! Да неужели мы ѣздимъ въ Европу для того только, чтобъ заражаться ядовитымъ дыханіемъ этого «будущаго трупа»? Неужели юноши наши, безпрерывно отправляемые, на счетъ нашего мудраго и просвѣщеннаго правительства, за-границу, возвращаются оттуда никуда-негодными, и изъ нихъ не выходятъ Брюловы, Бруни, Басины,—или не превращаются они въ отличныхъ университетскихъ преподавателей, которые живымъ знаніемъ своимъ, въ этой же Европѣ пріобрѣтеннымъ, затмеваютъ другихъ, незнающихъ Европы, или если и глядѣвшихъ на нее, то видѣвшихъ все кверху ногами?... Но что̀ и говорить объ этомъ! Сужденіе Глинки есть только повтореніе того, что̀ еще въ шестидесятыхъ годахъ говорилось и что̀ во всѣ вѣка проповѣдывали люди стараго поколѣнія новому: такова ужъ, видно, судьба всего стараго и всего новаго!

Этимъ же можно объяснить и другое требованіе Глинки, именно, чтобъ въ поэзіи было непремѣнно нравоученіе, чтобъ поэзія поучала. «Отечественныя Записки» — читатели знаютъ это— при всякомъ удобномъ случаѣ, слѣдственно очень часто, говорили и говорятъ, что поэзія въ истинномъ, высшемъ значеніи своемъ не можетъ быть безнравственна, что она необходимо сама въ себѣ нравственна. Разверните любой томъ «Отечественныхъ Записокъ» — въ Критикѣ или Библіографической Хроникѣ ихъ вы непремѣнно встрѣтите эту мысль. Но мы всегда возставали противъ мнѣнія, что мораль есть поэзія, что нравственное тождественно съ поэтическимъ, — мы говорили, что поэтическое необходимо нравственно, но отвергали мысль, что все нравственное необходимо должно быть поэтическимъ, и всегда вооружались противъ этихъ пошлыхъ «нравоученій», противъ этой резонерской, холодной морали, которую нѣкоторые хотятъ навязать на поэзію, ища во всякомъ созданіи поэта чего-нибудь нравоучительнаго, какъ «moralité» въ баснѣ, или требуя отъ него поученій вродѣ «помогай бѣдному, ибо добро во вѣкъ не пропадетъ», «будь со всѣми вѣжливъ и учтивъ, ибо это пригодится», и пр., и пр. Мы всегда говорили, и теперь скажемъ, что истинный поэтъ всегда нравственъ въ высшемъ значеніи этого слова, а что пошлые нравоучители совсѣмъ не поэты... Объ этомъ предметѣ также нечего распространяться: о немъ много было сказано въ шестнадцати томахъ «Отечественныхъ Записокъ»; скажется можетъ-быть еще больше. Замѣчательнѣе же всего, что N. N., говоря: «высочайшая поэзія сама въ себѣ нравственна — и все безнравственное по цѣли тѣмъ уже само себя исключаетъ изъ міра поэтическаго», ясно, взялъ эту мысль изъ «Отечественныхъ Записокъ», а теперь намъ же предлагаетъ ее въ поученіе, какъ новость, имъ самимъ выдуманную, да еще разсказываетъ, что въ «Отечественныхъ Запискахъ» празднуется шабашъ поэзіи и нравственности... Помилуйте, господа! Гдѣ же литературная совѣсть? Гдѣ уваженіе къ истинѣ?...

— ——

ПЕДАНТЪ.

(Литературный типъ.)

Всѣмъ ученымъ и образованнымъ людямъ вѣдомо, что словесность, т. е. литература, должна имѣть цѣлью—поучать, услаждая. Покойный Мерзляковъ, великій знатокъ и учитель по части изящнаго, даже перевелъ (и прекрасно), кажется, изъ Тасса, чудесные стишки на этотъ счетъ:

Такъ врачъ болящаго младенца ко устамъ
Несетъ фіалъ, сластьми упитанъ по краямъ:
Счастливецъ обольщенъ, пьетъ горькое цѣленье;
Обманъ ему далъ жизнь, обманъ ему спасенье!

Другими словами: литература есть искусство «золотить пилюли». Мораль — дѣло хорошее, спору нѣтъ, но и скучное, горькое — противъ чего опять никто спорить не будетъ; слѣдовательно надо же ее подслащать, разсычать, чтобъ она достигала своей цѣли, т. е. исправляла нравы, дѣлала дурака умнымъ, пьяницу трезвымъ, взяточника и казнокрада—безкорыстнымъ, бездарнаго писаку отучала отъ пера, ябедника и клеветника отъ ложныхъ доносовъ...

Далѣе, всей просвѣщенной Европѣ извѣстно, что «идеалъ» есть не что иное, какъ собраніе въ одну фигуру разныхъ чертъ, разбросанныхъ въ природѣ и дѣйствительности — а отнюдь не сама дѣйствительность въ возможности. Творчества тутъ не нужно: хотите изобразить красавицу — приглядывайтесь ко всѣмъ красавицамъ, которыхъ имѣете случай видѣть: у одной срисуйте носъ, у другой глаза, у третьей губы и т. д.—такимъ образомъ вы нарисуете красавицу, лучше которой уже нельзя и вообразить.

Я нахожу оба эти опредѣленія—«литературы» и «идеала»—чрезвычайно основательными и вѣрю имъ безусловно. Особенно хороши они тѣмъ, что, во-первыхъ, избавляютъ автора отъ необходимости имѣть талантъ и фантазію, а во-вторыхъ, уничтожаютъ возможность писать такія изображенія, въ которыхъ всякій, кто-бъ ни былъ, могъ узнать себя и вслѣдствіе этого жаловаться на личности...

Само собой разумѣется, что этотъ взглядъ на «литературу» и «идеалы» особенно удобенъ для «типовъ» вродѣ тѣхъ, которые теперь извѣстны подъ именемъ «Нашихъ». Гоголь сказалъ вели-

Digitized by Google

кую правду, что «у насъ если скажешь объ одномъ коллежскомъ ассесорѣ, то все коллежскіе ассесоры, отъ Риги до Камчатки, непремѣнно примутъ на свой счетъ». Поэтому я нахожу гораздо приличнѣе и удобнѣе изображать такіе типы, которыхъ совсѣмъ нѣтъ въ дѣйствительности, но которые были бы очень смѣшны: чрезъ это авторъ достигнетъ двухъ цѣлей разомъ—доставитъ удовольствіе своимъ читателямъ и никого не обидитъ.

Вотъ причины, которыя заставили меня взяться за перо, которое давно уже было мной забыто, и попытаться сдѣлать очеркъ одного изъ такихъ педантовъ, которыхъ нѣтъ и быть не можетъ, но которые могутъ существовать въ праздномъ воображеніи человѣка, подобно мнѣ имѣющаго свободное время для бумагомаранія. Если мой педантъ не разсмѣшитъ васъ и не доставитъ вамъ удовольствія—это обнаружитъ только мое неумѣнье и безталантность. Я нарочно взялъ предметъ для типа изъ такой сферы, которая у насъ не представляетъ собой ни сословія, ни касты. Всѣ эти мои оговорки проистекаютъ изъ рокового предчувствія, что мой типъ, вмѣсто улыбки, возбудитъ въ васъ зѣвоту; вмѣсто того, чтобъ разсмѣшить, усыпитъ васъ; ибо, признаюсь вамъ, я не слишкомъ-то полагаюсь на свой талантъ по части типовъ... «Такъ зачѣмъ же беретесь?» скажете вы. Во-первыхъ, хочется попробовать; «авось-либо» — великое слово для русскаго человѣка, который многое дѣлаетъ на «авось»; потомъ, неотвязчивыя просьбы пріятелей: «вы-де знаете педантовъ и можете ихъ изобразить; теперь-де типы въ модѣ, «наши» въ ходу; да кто вамъ сказалъ, что вы не можете? вы—человѣкъ съ дарованіемъ»... Что будешь дѣлать! Вы не знаете, что это за народъ — мои пріятели! Какъ пристанутъ — непремѣнно уговорятъ; станутъ вамъ доказывать, что—вы человѣкъ съ дарованіемъ — право, сочините романъ, хотя бы всю жизнь занимались математикой или сельскимъ хозяйствомъ... Ну, что ни будетъ—начинаю и, для успокоенія крѣпко біющагося сердца, прошу васъ еще замѣтить, что это не типъ собственно, а скорѣе очеркъ или проектъ для типа...

Не воображайте себѣ моего педанта человѣкомъ старымъ, сѣдымъ, беззубымъ, добрымъ и глупымъ, обожателемъ Хераскова, поклонникомъ Сумарокова, послѣдователемъ философіи Баумейстера, піитики Аполлоса и риторики Толмачева: то педантъ добраго стараго времени, педантъ покойникъ,—миръ праху его! Нѣтъ, я хочу вырѣзать вамъ силуэтъ педанта новѣйшихъ временъ, педанта романтика, который такъ молодъ, что еще и не родился на свѣтъ; такъ вамъ знакомъ, что вы не повѣрите мнѣ, что его можно было найти и на лунѣ, не только на землѣ. Но если ужъ болтать, то надо болтать обстоятельно, дѣлая видъ, что говоришь правду: въ этомъ-то и все смѣшное моего типа... Мой педантъ—сынъ бѣдныхъ, но благородныхъ родителей. Не претендуя на богатство, онъ претендуетъ на знатность рода. Зовутъ моего педанта: Ліодоръ Ипполитовичъ Картофелинъ. Росту онъ весьма небольшого; въ молодости былъ сухощавъ и тщедушенъ, а теперь довольно осанистъ и имѣетъ брюшко, нѣсколько четвероугольное и похожее на фоліантъ. Еслибъ не досада на успѣхи другихъ и на свои собственныя неудачи увѣрить свѣтъ въ своей геніальности, мой педантъ былъ бы такъ толстъ, что, при малости роста, походилъ бы на огромное in-quarto. Глаза у него сѣрые, а волосы средніе между русыми и рыжеватыми; на правой щекѣ бородавка съ довольно длинной косичкой. Не помню, когда онъ родился; знаю, что въ двадцатыхъ годахъ текущаго столѣтія, когда всѣ журналы наши превратились въ толки о классицизмѣ и романтизмѣ, Картофелинъ воспитывался въ единственномъ пансіонѣ губернскаго города, въ которомъ родился. Пансіонъ содержался обрусѣвшимъ нѣмцемъ—назовемъ его хоть Гофратомъ (я слышалъ, что всѣ нѣмцы—гофраты). Картофелинъ обнаруживалъ блестящія способности и былъ первымъ ученикомъ по всѣмъ предметамъ, особенно по части россійской словесности. Прилежаніе его было примѣрно; поведеніе соотвѣтствовало прилежанію. На торжественныхъ актахъ онъ всегда говорилъ передъ публикой рѣчи и стихи, въ низшихъ классахъ—сочиненія своихъ учителей, а въ высшихъ—собственнаго издѣлія. Онъ первый подбилъ товарищей издавать журналъ, разумѣется, писанный, и каждую недѣлю по рукамъ мальчиковъ ходила чисто и аккуратно переписанная рукой Картофелина тетрадка, подъ названіемъ «Сѣверная Флора, № такой-то». Тетрадка почти вся состояла изъ сочиненій Картофелина, или Безбрежина, какъ онъ называлъ себя на романтическомъ языкѣ: тутъ были стихи, повѣсти, критика и смѣсь. Стихи и критика всегда были сочиненія Ліодора Безбрежина: онъ объявилъ себя монополистомъ этихъ двухъ отдѣловъ. Гофратъ чуть не плакалъ отъ умиленія при видѣ успѣховъ и всеобъемлющей дѣятельности свѣтила своего пансіона: послѣ каждаго новаго романтическаго стихотворенія онъ бралъ Картофелина за уши, слегка приподнималъ и нѣжно цѣловалъ въ голову. Всѣ ученики смотрѣли на него, какъ на генія; а учитель словесности, учившійся нѣкогда по Бургію и слѣдовательно классикъ по неволѣ, даже побаивался его. Обремененный лаврами, мой Картофелинъ, сей внукъ (увы, не послѣдній!) Василія Кирилловича Тредьяковскаго, пріѣхалъ въ одну изъ столицъ нашихъ, — положимъ, въ Москву. Не помню, что онъ дѣлалъ нѣсколько лѣтъ; но вотъ онъ является учителемъ «россійской словесности»... Да, я непремѣнно хочу сдѣлать моего педанта учителемъ словесности: знаменитый дѣдъ всѣхъ педантовъ, Василій Кирилловичъ Тредьяковскій, былъ «профессоръ элоквенціи, а паче всего хитростей піитическихъ»; одной этой причины уже слишкомъ достаточно, чтобъ я сдѣлалъ моего педанта учи-

Digitized by Google

телемъ «россійской словесности»; сверхъ того я убѣжденъ отъ всей души, что никакое званіе такъ не идетъ къ педанту, какъ званіе учителя «россійской словесности». Да, эта «россійская словесность» преимущественно сподручна для шарлатановъ и педантовъ: въ нее можно класть, что угодно, и оттуда можно вынимать какія угодно теоріи, безъ опасенія заплатить пошлину за болтовню. Я не хочу этимъ сказать, чтобъ всякій учитель словесности былъ педантъ—смѣшно и странно было бы питать такую исключительную и ложную мысль! Хорошіе и достойные люди есть вездѣ. Я хочу только сказать, что педантъ непремѣнно долженъ быть учителемъ россійской словесности.

Но мой педантъ не ограничился однимъ учительствомъ: онъ, какъ и слѣдовало ожидать, пустился въ литературу. Всѣ альманахи и журналы были наполнены его стихами. Стихи были гладки, но тяжелы; полны мыслей,—но эти мысли отзывались чѣмъ-то напряженнымъ, изысканнымъ и дикимъ, такъ что снутри походили на совершенную безсмыслицу—не только безсмыслицу, а снаружи казались чрезвычайно глубокими и возвышенными. Хотя толпа болѣе видитъ снаружи, чѣмъ снутри, однако она не читала стиховъ Картофелина, и осталась при одномъ уваженіи къ нимъ. Въ то время одинъ ловкій промышленникъ основалъ журналъ, который, по его плану, долженъ былъ отличаться добросовѣстностью, ученостью и безкорыстіемъ. Послѣдняя статья касалась исключительно однихъ сотрудниковъ; издатель же имѣлъ о ней свое понятіе, которое не почиталъ нужнымъ объяснять во всеуслышаніе. Хитрый антрепренеръ тотчасъ смекнулъ, что за птица Картофелинъ. Онъ понялъ, что этотъ чернильный витязь готовъ трудиться до кроваваго поту изъ одной «славы», изъ одного удовольствія каждый день пересчитывать, сколько новыхъ строкъ прибавилось у него къ числу уже написанныхъ: чистое и благородное удовольствіе всѣхъ педантовъ! О, педантъ похожъ въ этомъ отношеніи на скрягу, который, отходя ко сну, пересчитываетъ, сколько рублей и копѣекъ прибыло у него съ утра... Журналистъ не ошибся; Картофелинъ оказался для него золотымъ человѣкомъ: онъ взвалилъ на себя всю работу, а разживу предоставилъ хозяину, который впрочемъ почелъ нужнымъ, изъ приличія, увѣрить его, что небольшія выгоды отъ журнала онъ употребляетъ на изданіе полезныхъ книгъ и вспомоществованіе бѣднымъ людямъ, а самъ питается безкорыстной любовью къ наукѣ и высокими мыслями. Добродушный педантъ повѣрилъ: онъ былъ столько же безкорыстенъ, честенъ и довѣрчивъ, сколько и опрометчивъ... И это нисколько не удивительно: ограниченность такъ часто соединяется съ добродушной честностью — по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока не раздразнятъ, умышленно или неумышленно, ея мелкаго самолюбія...

Но вотъ что многимъ можетъ показаться невѣроятнымъ: прозаическими статьями своими Картофелинъ обратилъ на себя общее вниманіе, какъ человѣкъ со вкусомъ, умомъ и дарованіемъ,—и я долженъ сознаться, что такое мнѣніе о Картофелинѣ было только преувеличено, но въ основаніи не совсѣмъ несправедливо. Мой педантъ—изволите видѣть—дѣйствительно не безъ ума и не безъ способностей; онъ только ограниченъ, но не глупъ, только мелочно-самолюбивъ, но не бездаренъ; послѣднія достоинства онъ, въ качествѣ педанта, долженъ пріобрѣсти впослѣдствіи, когда мелкое самолюбіе его, въ союзѣ съ лѣтами, задавитъ въ немъ то немногое, что дала ему природа. Притомъ же обстоятельства времени много способствовали Картофелину прослыть даже геніемъ—по крайней мѣрѣ въ кругу своихъ пріятелей и товарищей по пансіону — сотрудниковъ рукописной «Сѣверной Флоры»: педанты прежнихъ временъ тащились по избитой колеѣ Баттё и Лагарповъ, а мой Картофелинъ принялся за нѣмечину. Малый онъ былъ работящій, прилежный; память у него была здоровая; нѣмецкому языку онъ былъ выученъ еще въ дѣтствѣ. Я увѣренъ, что, по инстинкту, онъ выбралъ бы своими героями Клопштока и Николаи, но слава Гёте и Шиллера тогда была уже во всемъ своемъ колоссальномъ величіи, а Шлегелей тогда еще считали великими людьми:—такъ ему, знаете, при готовыхъ понятіяхъ, чужимъ умомъ и при фразистомъ языкѣ не трудно было показаться не тѣмъ, что онъ есть... Притомъ же въ молодости всякій человѣкъ живѣе, а слѣдственно и умнѣе, чѣмъ въ старости, и по инстинкту отстаиваетъ новое противъ стараго... Впрочемъ и тогда уже многіе замѣчали въ слогѣ Картофелина что-то пухлое, дряблое, какую-то искусственную простоту и натянутую оригинальность, что-то отзывающееся солодковымъ корнемъ и сытой... И эти люди не ошиблись, какъ увидимъ ниже.

Вотъ поѣхалъ мой педантъ за границу — вы думаете въ Германію?—Я самъ то-же думалъ сперва, но моя фантазія велитъ мнѣ послать его въ страну филологовъ и комментаторовъ, гдѣ на каждый стихъ великаго поэта написано по сту тысячъ томовъ объясненій и примѣчаній. Не знаю, что онъ тамъ дѣлалъ цѣлыя семь лѣтъ, но знаю, что присылалъ оттуда предикія стихотворенія.

Наконецъ мой Картофелинъ возвращается въ любезное отечество... Боже мой, какъ онъ перемѣнился! Поѣхалъ молодымъ литераторомъ, котораго настоящую цѣну немногіе понимали, а воротился педантомъ, котораго значеніе уже всѣмъ ясно... Сѣмена принесли плоды, и натура сказалась... Начнемъ съ того, что онъ пріѣхалъ съ брюшкомъ,—доказательство, что онъ страдалъ о судьбѣ человѣчества въ своихъ стишонкахъ... Натянутая важность лица, при смѣшной фигурѣ и кругломъ брюшкѣ, сдѣлала его похожимъ на лягушку, которая, въ баснѣ Езопа, хочетъ раздуться въ вола. Самолюбіе его дѣйствительно раздулось, какъ прыщъ: страшно и гадко прикоснуться къ нему. Общество педантъ сталъ принимать за свое

Digitized by Google

училище, салонъ—за аудиторію, свѣтскихъ людей—за школьниковъ: говоритъ все свысока, словно лекцію читаетъ, и если кто не слушаетъ его съ благоговѣніемъ, на тѣхъ смотритъ онъ презрительно, и если кто заговоритъ, хотя бы на противоположномъ концѣ залы, онъ посмотритъ на того, какъ Юпитеръ олимпійскій—съ гнѣвомъ и помаваніемъ бровей... Любимый разсказъ его о томъ, какъ онъ ходилъ въ Парижѣ на поклоненіе къ великому романисту. Въ Германіи педантъ былъ проѣздомъ; но она ему не понравилась. «Нѣмцы—говорилъ онъ—раздружились въ своей отвлеченности съ жизнью; они презираютъ величайшую изъ наукъ — филологію; они предпочитаютъ ей философію, это буйное обожествленіе разума... Я былъ въ Берлинѣ, — и мой бѣдный черепъ трещалъ отъ мудрыхъ вещей, которыя слышалъ я въ тамошнемъ университетѣ... Нѣмцы забыли великаго Бахмана и предпочитаютъ ему сухого, отвлеченнаго, схоластическаго Гегеля, этого Андрамелеха новѣйшей философіи»... Педантъ мой говоритъ голосомъ важнымъ, протяжнымъ и тихимъ, нѣсколько переходящимъ въ фистулу, какъ-будто отъ изнурительной полноты ощущеній въ пустой груди, какъ будто бы отъ изнеможенія вслѣдствіе частой декламаціи ex-officio. Въ школу онъ приноситъ съ собой графинъ сахарной воды, которой запиваетъ почти каждую свою фразу... И вотъ, въ порывѣ моего «типическаго» вдохновенія, мнѣ кажется, что я вижу его на учительскомъ стулѣ, возсѣдающаго съ приличной важностью, слышу его чахоточный голосъ, безпрестанно прерывающійся отъ полноты педантическаго самодовольствія и хлебковъ сахарной воды: «Милостивые государи! я былъ тамъ и тамъ, а вы не были; но это ничего: послѣ того, что я разскажу вамъ о тѣхъ странахъ, — вамъ покажется, что вы сами тамъ были... Нѣмцы вздумали мирить философію съ жизнью — они воображаютъ, что можно эту цвѣтущую жизнь сдѣлать содержаніемъ бездушныхъ логическихъ формулъ... Нѣмцы не любятъ букву... а я, господа, я — признаюсь — люблю букву... Вотъ я было вздумалъ прочесть эстетику Гегеля, но принужденъ былъ бросить ее подъ столъ: помилуйте, господа, вѣдь книги пишутся для удовольствія, а не для ломанія головы»... Литературы педантъ конечно не оставилъ; но его дѣятельность уже измѣнилась: о нѣмцамъ и нѣмецкомъ онъ уже — ни слова... Слогъ его сталъ дикъ до послѣдней степени... Желая поднять до седьмого неба повѣсти своего пріятеля, онъ говоритъ, что его пріятель выдвинулъ всѣ ящики въ многосложномъ бюро человѣческаго сердца... Начиная восхищаться родиной, онъ дѣлаетъ вопросы вродѣ слѣдующихъ: «что, еслибы наша Волга, забравъ съ собой Оку и Каму, да соединившись съ Леной, Енисеемъ, Обью и Днѣпромъ, взлѣзла на Альпы, да оттуда—ууууу! на всѣ концы Европы; куда бы дѣвались всѣ эти французишки, нѣмчура?»... Не правда ли, подобные вопросы приличны только или педанту, или крестьянскому мальчику, который говоритъ: «а что, тятя, коли-бъ нашъ чалый меринъ-то сдѣлался бурой коровой—вѣдь мама молочка еще бы дала мнѣ?»... Вы смѣетесь, читатели? моя выходка вамъ кажется фарсомъ, плоской шуткой? Смѣйтесь, а я стою на томъ, что педантъ еще и не то въ состояніи написать. Вѣдь я васъ предупредилъ, что пишу выдумку, игру моей досужей фантазіи, а не списываю рабски съ дѣйствительности; такъ не мѣшайте же мнѣ выдумывать. И такъ, я увѣренъ, что мой педантъ слова не скажетъ въ простотѣ—все съ ужимкой: напримѣръ, вмѣсто того чтобъ сказать, что Петербургъ построенъ на ровномъ мѣстѣ, онъ скажетъ, что ровная гладь подкатилась подъ огромные дома града Петрова... и пр., и пр.

Воротившись изъ-за границы, мой педантъ перемѣнился и въ другомъ отношеніи: бывало, онъ вздыхалъ въ стишонкахъ о лунѣ и дѣвѣ, горевалъ о какой-то разрозненной съ нимъ волнѣ; а теперь очень прозаически, но зато выгодно и тепло пристроился и зажилъ филистеромъ. Ужъ не знаю, отъ этого ли, или отъ долговременнаго пребыванія за-границей, только мой педантъ, воротившись, сдѣлался ужаснымъ витяземъ желтыхъ перчатокъ и прекраснаго пола: въ каждой статьѣ своей онъ твердилъ по сту разъ, что онъ даже дома ходитъ въ желтыхъ перчаткахъ; при выходѣ всякой плохой книжки, но лишь бы написанной женской рукой, онъ, бывало, такъ и кричитъ: «place aux dames!» Съ особенной ревностью писалъ онъ статьи о балахъ и маскарадахъ; въ этихъ статьяхъ видно было утомленіе отъ танцевъ, ибо за каждой фразой слѣдовало по крайней мѣрѣ три точки... Это такъ понравилось педанту, что онъ безъ точекъ послѣ каждой своей фразы ужъ ничего не могъ писать.

Много прошло времени, многое измѣнилось съ тѣхъ поръ, а мой педантъ не долженъ измѣняться: любовь его къ буквѣ должна все больше и больше увеличиваться; ненависть и отвращеніе ко всему живому и разумному—также. Слова «идея» онъ не долженъ слышать безъ ужаса и безъ точекъ... По моему мнѣнію, онъ даже долженъ сдѣлаться лицемѣрнымъ моралистомъ и ханжей, потому что, всегда думая давать тонъ и направленіе времени, онъ всегда былъ и всегда долженъ быть рабомъ времени и выдавать за новость то, что уже давно сказано другими, болѣе его смѣтливыми людьми. Итакъ, мой педантъ принимаетъ подъ свое критическое покровительство все бездарное и ложноморальное и на-повалъ браниттъ все, въ чемъ есть жизнь, душа, талантъ... Онъ безпристрастенъ и, зажмуривъ глаза, колотитъ направо и налѣво, и чужихъ, и своихъ, если послѣдніе, будучи ему чужими по таланту, бываютъ своими по отношеніямъ... Да, онъ вѣренъ своему правилу...

Несмотря на то, что мой педантъ долженъ быть отъ природы довольно добрымъ и честнымъ человѣкомъ, — нѣтъ существа, болѣе его способнаго быть злымъ и низкимъ. Дѣло въ томъ, что онъ не

Digitized by Google

*

что иное, какъ раздутое самолюбіе: хвалите его маранье, дорожите его критическими отзывами,— онъ добръ, веселъ, любезенъ по своему, онъ готовъ сдѣлать вамъ все хорошее, что только въ его возможности; но бѣда ваша, если вы не съумѣете или не захотите скрыть отъ него, что вы и умнѣе, и талантливѣе его, что у него самолюбіе съѣло небольшую долю ума, вкуса и способности, данныхъ ему природой... О, тогда онъ готовъ на все злое и глупое—берегитесь его!... Рецензія его тогда превращается въ площадную брань, критика становится похожа на позывъ къ отвѣту за дѣланіе фальшивой монеты... Тогда вы у него—кондотьери, бандитъ... Да, педантъ все проститъ вамъ, кромѣ невыносимой для него обиды—быть умнѣе и талантливѣе его... Но во всякомъ случаѣ это существо болѣе смѣшное и забавное, чѣмъ опасное: ибо противъ его «позывовъ» есть правосудіе, а противъ тупыхъ зубовъ его есть литературные дантисты, которые, шутя, выдергиваютъ ихъ.

И, несмотря на все это, еще многое бы можно было поразсказать о педантѣ; но не все же вдругъ, надо что-нибудь поберечь и на будущее время. Притомъ же я еще не знаю, понравится ли вамъ, читатели, то, что я написалъ. Если же понравится, то ждите отъ меня типъ литературнаго циника: это чиловѣкъ, который, вѣкъ свой живя въ бочкѣ, нажилъ себѣ дома и деревни;—человѣкъ, который, вѣкъ свой занимаясь исключительно перекупкой и перепродажей мусора, битой посуды, стараго желѣза и кирпича, успѣлъ увѣрить всѣхъ, что онъ—и ученый, и литераторъ;—человѣкъ, который, вѣкъ свой будучи спекулянтомъ, увѣрилъ всѣхъ, что онъ—идеалъ честности, безкорыстія и добросовѣстности;—человѣкъ, который самъ ничего не сдѣлалъ, кромѣ неопрятныхъ изданій, дурныхъ переводовъ, а всѣмъ твердитъ съ цинической короткостью: «надо дѣлать, надо удовлетворять текущей потребности»; человѣкъ, который если и издалъ нѣсколько плохихъ книгъ, то чужими руками состряпанныхъ, а прославился дѣятельнымъ;—человѣкъ, который одолжитъ васъ при нуждѣ бездѣлкой, да заставитъ васъ перевести книгу, выгоду отъ которой честно раздѣлитъ съ вами такъ: вамъ—словесную благодарность, а себѣ—деньги... Да мало ли еще можно написать такихъ типовъ? А газетёры, журналисты, фельетонисты, романисты, нувеллисты, водевилисты и другіе «исты»?... Вотъ гдѣ заключаются неисчерпаемыя сокровища для «Нашихъ». *Петръ Бульдоговъ.*

Объясненіе на объясненіе

по поводу поэмы Гоголя „Мертвыя Души“.

Изъ множества статей, написанныхъ въ послѣднее время о «Мертвыхъ Душахъ» или по поводу «Мертвыхъ Душъ», особенно замѣчательны четыре. Ихъ нельзя не раздѣлить на двѣ половины, по-парно. Каждая изъ двухъ статей въ парѣ составляетъ рѣзкій контрастъ; на каждую можно смотрѣть, какъ на крайнюю противоположность другой парѣ. О первой изъ нихъ мы упоминали въ предыдущей книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ», какъ о единственной хорошей статьѣ изъ всѣхъ, написанныхъ по поводу поэмы Гоголя. Она напечатана въ третьей книжкѣ «Современника». Это статья умная и дѣльная сама по себѣ, безотносительно; но кто-то вѣроятно безъ всякаго умысла, а спроста и невинно, сдѣлалъ рѣзче ея достоинство и выше ея цѣну, написавъ къ ней нѣчто вродѣ антипода и назвавъ свое посильное писаніе критикой на «Мертвыя Души». Смыслъ этой «критики» находится въ обратномъ отношеніи къ смыслу статьи «Современника» Боже, мой, сколько курьезнаго въ этой «критикѣ»! Довольно сказать, что въ ней Селифанъ названъ представителемъ неиспорченной русской натуры, Ахилломъ новой «Иліады», на томъ основаніи, что онъ *а*) пріятельски разговариваетъ съ лошадьми и *б*) напивается мертвецки со всякимъ хорошимъ, т. е. всегда готовымъ мертвецки напиться, человѣкомъ... По этому можно судить и о прочемъ, чѣмъ такъ необыкновенно замѣчательна «критика», о которой мы говоримъ.

Другую пару рѣзкихъ противоположностей составляютъ: статья въ «Библіотекѣ для Чтенія» и московская брошюрка «Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя: «Похожденія Чичикова или Мертвыя Души». Статья «Библіотеки для Чтенія» была неудачнымъ усиліемъ втоптать въ грязь великое произведеніе натянутыми и умышленно-фальшивыми нападками на его, будто бы, безграмотность, грязность и эстетическое ничтожество. Всѣмъ извѣстно, что эта статья добилась совсѣмъ не тѣхъ результатовъ, о которыхъ хлопотала.

Брошюрка—антиподъ этой статьи—пошла отъ противоположной крайности: въ ней «Мертвыя Души» являются вторымъ твореніемъ послѣ «Иліады», а подлѣ Гоголя позволяется становиться только Гомеру и Шекспиру...

Но «Мертвыя Души» и безъ всякихъ претензій становиться на ряду съ «Иліадой» имѣютъ великое достоинство: оттого-то онѣ устояли не только противъ статьи «Библіотеки для Чтенія», но—что было гораздо труднѣе—и противъ московской брошюры... Къ поэмѣ Гоголя, стало быть, нельзя примѣнить этихъ стиховъ Пушкина:

Враговъ имѣетъ въ мірѣ всякъ;
Но отъ друзей спаси насъ, Боже!
Ужъ эти мнѣ друзья, друзья!
Объ нихъ не даромъ вспомнилъ я.

Мы раздѣлили эти четыре статьи на двѣ пары, основываясь на противоположности ихъ достоинствъ и исходныхъ пунктовъ; теперь раздѣлимъ ихъ по тождеству достоинства и взглядовъ ихъ. По послѣднему раздѣленію останутся только двѣ статьи, ибо статья «Современника» въ такомъ случаѣ будетъ безъ пары, какъ статья умная и дѣльная; статья «Библіотеки для Чтенія» тоже будетъ безъ пары, какъ протестація противъ огромнаго успѣха яваго таланта. Итакъ, остаются только двѣ статьи:

Digitized by Google

—та, въ которой Селифанъ торжественно признанъ представителемъ «неиспорченной русской натуры», и московская брошюрка; обѣ онѣ много имѣютъ между собой общаго и родственнаго. Но объ этомъ послѣ, а сперва замѣтимъ, мимоходомъ, что намъ много даютъ работы и бранныя, и хвалебныя статьи о «Мертвыхъ Душахъ». Такъ какъ эти хвалебныя статьи больше оскорбляютъ людей безпристрастныхъ и благомыслящихъ, то ихъ-то мы и поставляемъ себѣ за обязанность преслѣдовать преимущественно передъ бранными. Вслѣдствіе этого въ 8-й книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» была высказана, прямо и опредѣлительно, горькая истина московской брошюрѣ «Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя: «Похожденіе Чичикова или Мертвыя Души». Это крайне не понравилось автору ея, Константину Аксакову,—и вотъ онъ въ 9-мъ № «Москвитянина» напечаталъ противъ насъ возраженіе, въ которомъ силится доказать, что будто бы мы умышленно исказили смыслъ его брошюры и приписали ему такія мнѣнія, которыхъ онъ не можетъ признать своими. Стоитъ только перечесть или нашу рецензію, или брошюру Константина Аксакова, чтобъ убѣдиться, что мы нисколько не переиначивали дѣла, но представили его такимъ, какъ оно есть, и что оттого именно оно и приняло нѣсколько комическій характеръ. Возраженіе автора брошюры также можетъ служить нашимъ оправданіемъ, ибо въ немъ-то и переиначено дѣло: авторъ брошюры, замѣтивъ неловкость своего положенія, прибѣгнулъ къ обыкновенной, но неловкой литературной увертцѣ,—отперся отъ части своихъ мыслей и много наговорилъ о томъ, что, по его мнѣнію, могло служить ему оправданіемъ, умолчавъ о немногомъ, составляющемъ сущность его брошюры и придавшемъ ей такой комическій характеръ. Объясняемся не ради Константина Аксакова, котораго ни брошюра, ни возраженія не стоятъ большихъ хлопотъ; но ради важности предмета, подавшаго поводъ къ тому и другому. Впрочемъ если наше объясненіе будетъ полезно и для Константина Аксакова, мы будемъ этому очень рады, ибо не имѣемъ никакихъ причинъ не желать добра ни ему, ни кому другому.

Константинъ Аксаковъ начинаетъ свое «Объясненіе» тѣмъ, что брошюра (имя рекъ) принадлежитъ ему, и что въ концѣ ея выставлено его имя, которое, неизвѣстно почему, не упомянуто «Отечественными Записками». Признаемъ справедливость претензіи Константина Аксакова и, чтобъ загладить нашу вину передъ нимъ, касательно умолчанія его имени, будемъ въ этой статьѣ какъ можно чаще употреблять его. Впрочемъ, не желая оставлять Константина Аксакова въ неизвѣстности о причинѣ умолчанія его имени въ рецензіи, спѣшимъ объяснить, что мы не упомянули этого имени по чувству гуманной деликатности, будучи увѣрены, что имя человѣка и неудачная статья—не одно и то же, ибо и умный, порядочный человѣкъ можетъ написать (и даже напечатать) плохую брошюру. По тому же самому чувству гуманной деликатности мы не хотѣли (хотя бы и слѣдовало это сдѣлать по требованію истины) замѣтить въ нашей рецензіи, что брошюра Константина Аксакова вся состоитъ изъ сухихъ абстрактныхъ построеній, лишенныхъ всякой жизненности, чуждыхъ всякаго непосредственнаго созерцанія, и что поэтому въ ней нѣтъ ни одной яркой мысли, ни одного теплаго, задушевнаго слова, которыми ознаменовываются первыя и даже самыя неудачныя попытки талантливыхъ и пылкихъ молодыхъ людей, и что по тому же въ ея изложеніи видна какая-то вялость, расплывчивость, апатія, неопредѣленность и сбивчивость.

Главное обвиненіе Константина Аксакова противъ насъ состоитъ въ томъ, что будто бы мы заставили его называть «Мертвыя Души» «Иліадой», а Гоголя—Гомеромъ. Чтобъ отстранить отъ себя нашу улику, онъ ссылается на свою брошюру и дѣлаетъ изъ нея выписки; но все это нисколько не поможетъ горю. Константинъ Аксаковъ дѣйствительно не называлъ «Мертвыхъ Душъ «Иліадой», а Гоголя Гомеромъ: такихъ словъ нѣтъ въ его брошюрѣ; но онъ поставилъ «Мертвыя Души» на одну доску съ «Иліадой», а Гоголя—на одну доску съ Гомеромъ: вотъ что̀ правда, то правда! Ибо какъ же иначе, если не въ такомъ смыслѣ, можно понимать эти слова брошюры (о которыхъ Константинъ Аксаковъ какъ будто и забылъ, и надо согласиться, что въ этомъ случаѣ память очень кстати измѣнила ему):

«Такъ глубоко значеніе, являющееся намъ въ «Мертвыхъ Душахъ» Гоголя! Передъ нами возникаетъ новый характеръ созданія, *является оправданіе цѣлой сферы поэзіи*, сферы, давно унижаемой; *древній эпосъ возстаетъ передъ нами.*»

Это значитъ ни больше, ни меньше, какъ то, что давно унижаемый эпосъ Гомера вновь воскрешенъ Гоголемъ, и что «Мертвыя Души слѣдовательно вторая «Иліада»!...

Еще разъ спрашиваемъ: можно ли иначе понять эти слова Константина Аксакова? Онъ жалуется, что мы, по обыкновенію журналистовъ, имѣющихъ въ виду уронить непріятное имъ произведеніе, вырывали мѣстами по нѣсколько строкъ изъ его брошюры, прибавляя къ нимъ собственныя замѣчанія. Но неужели же мы должны были выписывать все? это значило бы украсить нашъ журналъ брошюрой Константина Аксакова, на что̀ мы не имѣли ни права, ни охоты. Итакъ, мы выписали изъ брошюры только тѣ строки, въ которыхъ заключались ея основныя положенія. Такъ сдѣлаемъ мы и теперь. Послѣ выписанныхъ строкъ намъ надо было бы перепечатать теперь нѣсколько страницъ; но это было бы скучно и для насъ, и для читателей, и потому мы только перескажемъ содержаніе этихъ нѣсколькихъ страницъ, непосредственно слѣдующихъ за выписанными нами строками. Сперва авторъ брошюры характеризуетъ древній эпосъ тѣмъ, что эпосъ этотъ «основанъ былъ на глубокомъ простомъ созерцаніи и обнималъ собой цѣ-

Digitized by Google

лый опредѣленный міръ во всей неразрывной связи ето явленій», что въ немъ все на своемъ мѣстѣ, всякій предметъ переносится въ него съ его правами, съ тайной его жизни, и т. п. Все это и не ново, и во всемъ этомъ нѣтъ никакой опредѣленности... Потомъ авторъ брошюры говоритъ, что этотъ эпосъ, перенесенный на Западъ, все мелѣлъ, мелѣлъ, «снизошелъ до романовъ и наконецъ до крайней степени своего униженія, до французской повѣсти».—«И вдругъ среди этого времени возникаетъ древній эпосъ съ своей глубиной и простымъ величіемъ—является поэма Гоголя. Тотъ же глубокопроникающій и все видящій эпическій взоръ, то же всеобъемлющее эпическое созерцаніе».—«Въ поэмѣ Гоголя является намъ тотъ древній, гомеровскій эпосъ; въ ней возникаетъ вновь его важный характеръ, его достоинство и широко-объемлющій размѣръ».

Теперь дѣло ясно: эпосъ есть что-то великое; онъ вполнѣ выразился въ созданіяхъ Гомера («Иліадѣ» и «Одиссеѣ»); но со временъ Гомера до Гоголя (до 1842 г. по Р. Х.) все мелѣлъ и искажался: Гоголь же вновь воскресилъ его во всей его первобытной красотѣ и свѣжести...

Неужели и теперь Константинъ Аксаковъ отопрется отъ своихъ словъ, явно написанныхъ имъ сгоряча и необдуманно (ибо въ спокойномъ состояніи духа такихъ вещей не говорятъ), и будетъ стараться дать имъ другое значеніе? Нѣтъ, улика на лицо, и тутъ не помогутъ никакія увертки...

Правда, древне-эллинскій эпосъ, перенесенный на Западъ, точно мелѣлъ и искажался; но въ чемъ?—въ такъ называемыхъ эпическихъ поэмахъ—въ «Энеидѣ», «Освобожденномъ Іерусалимѣ», «Потерянномъ Раѣ», «Мессіадѣ» и проч.*) Всѣ эти поэмы имѣютъ свои неотъемлемыя достоинства, но какъ частности и отдѣльныя мѣста, а не въ цѣломъ; ибо онѣ не самобытныя созданія, которымъ бы современное содержаніе дало и современную форму, а подражанія, явившіяся вслѣдствіе школьно-эстетическаго преданія объ «Иліадѣ»,—преданія, гдѣ «Иліада» была смѣшана и отождествлена съ родомъ поэзіи, къ которому она принадлежитъ. И этотъ древне-эллинскій эпосъ, перенесенный на Западъ, дошелъ до крайняго своего униженія въ «Генріадахъ», «Россіадахъ», «Петріадахъ», «Александроидахъ», и другихъ «идахъ», «адахъ» и «ядахъ»; сюда же должно отнести и такія уродливыя произведенія, какъ «Телемакъ» Фенелона, «Гонзальвъ Кордуанскій» Флоріана, «Кадмъ и Гармонія» и «Полидоръ, сынъ Кадма и Гармоніи» Хераскова и проч. Еслибъ Константинъ Аксаковъ это разумѣлъ подъ искаженіемъ на Западѣ древняго эпоса,—мы совершенно съ нимъ согласились бы, потому что это фактъ, историческій фактъ, противъ котораго нечего сказать. Но въ такомъ случаѣ онъ долженъ былъ принять за основаніе, что древне-эллинскій эпосъ и не могъ не исказиться, будучи перенесенъ на Западъ, особенно въ новѣйшія времена. Древне-эллинскій эпосъ могъ существовать только для древнихъ эллиновъ, какъ выраженіе ихъ жизни, ихъ содержанія въ ихъ формѣ. Для міра же новаго его нечего было и воскрешать, ибо у міра новаго есть своя жизнь, свое содержаніе и своя форма, слѣдовательно и свой эпосъ. И эпосъ новаго міра явился преимущественно въ романѣ, котораго главное отличіе отъ древне-эллинскаго эпоса, кромѣ христіанскихъ и другихъ элементовъ новѣйшаго міра, составляетъ еще и проза жизни, вошедшая въ его содержаніе и чуждая древне-эллинскому эпосу. И потому романъ отнюдь не есть искаженіе древняго эпоса, но есть эпосъ новѣйшаго міра, исторически возникнувшій и развившійся изъ самой жизни и сдѣлавшійся ея зеркаломъ, какъ «Иліада» и «Одиссея» были зеркаломъ древней жизни. Константинъ Аксаковъ умолчалъ о романѣ, сказавъ только, и то въ выноскѣ, что конечно и романъ, и повѣсть имѣютъ-де свое значеніе и свое мѣсто въ исторіи искусства поэзіи; но что предѣлы статьи его не позволяютъ ему распространиться о нихъ. Во-первыхъ, эта выноска явно противорѣчитъ съ текстомъ, гдѣ опредѣлительно сказано, что древній эпосъ, перенесенный на Западъ, все мелѣлъ, искажался, снизошелъ до романовъ и наконецъ до крайней степени своего униженія, до французской повѣсти; слѣдовательно, какое же свое значеніе, кромѣ искаженія древняго эпоса, могутъ имѣть романъ и повѣсть въ глазахъ Константина Аксакова? И притомъ, если говорить (особенно такія диковинки и такъ смѣло), то ужъ надо говорить все, и притомъ опредѣленнѣе, чтобъ не дать себя поймать на недоговоркахъ; или ничего не говорить; или, говоря, не противорѣчить себѣ ни въ текстѣ, ни въ выноскахъ; или наконецъ, проговорившись, умѣть смолчать. Въ противномъ случаѣ, это все равно, какъ еслибъ кто-нибудь, сказавъ такъ: «Байронъ плохой поэтъ», а въ выноскѣ замѣтивъ: «впрочемъ и Байронъ имѣетъ свое значеніе, но мнѣ теперь некогда о немъ распространяться»,—считалъ бы себя правымъ и подумалъ бы, что онъ все сказалъ, и сказалъ дѣло, а не пустяки. Константинъ Аксаковъ ни однимъ словомъ не упомянулъ въ своей брошюрѣ ни о Сервантесѣ, ни о Вальтеръ-Скоттѣ, ни о Куперѣ,—чѣмъ и далъ право думать, что онъ и въ нихъ видитъ исказителей эпоса, возстановленнаго Гоголемъ!!!... Въ нашей рецензіи мы это замѣтили Константину Аксакову, сказавъ при этомъ, что Вальтеръ-Скоттъ есть истинный представитель современнаго эпоса, т. е. историческаго романа, что Вальтеръ-Скоттъ могъ явиться (и явился) безъ Гоголя, но что Гоголя не было бы безъ Вальтеръ-Скотта; и наконецъ, если Гоголя можно сближать съ кѣмъ-нибудь, такъ ужъ конечно съ

*) Изъ этихъ поэмъ должно исключить «Divina Comedia» Данте, какъ твореніе самобытное, совершенно въ духѣ католической Европы среднихъ вѣковъ.

Digitized by Google

Вальтеръ-Скоттомъ, которому онъ, какъ и всѣ современные романисты, такъ много обязанъ, а не съ Гомеромъ, съ которымъ у него нѣтъ ничего общаго. Но Константинъ Аксаковъ въ своемъ «Объясненіи» промолчалъ объ этомъ:—изворотъ очень полезный для него, разумѣется, но по отношенію къ намъ не совсѣмъ добросовѣстный... И это-то самое заставляетъ насъ повторить, что Константинъ Аксаковъ считаетъ романъ униженіемъ эпоса (ибо у него эпосъ нисходитъ до романа), а Вальтеръ-Скотта просто ни за что не считаетъ (ибо не удостоиваетъ его и упоминаніемъ — вѣроятно изъ опасенія унизить Гоголя какимъ бы то ни было сближеніемъ съ такимъ незначущимъ писателемъ, какъ Вальтеръ-Скоттъ). Какъ называются такія умозрѣнія — предоставляемъ рѣшить читателямъ...

Итакъ, романъ совершенно уничтоженъ Константиномъ Аксаковымъ; но современный эпосъ проявился не въ одномъ романѣ исключительно: въ новѣйшей поэзіи есть особый родъ эпоса, который не допускаетъ прозы жизни, который схватываетъ только поэтическіе, идеальные моменты жизни, и содержаніе котораго составляютъ глубочайшія міросозерцанія и нравственные вопросы современнаго человѣчества. Этотъ родъ эпоса одинъ удержалъ за собой имя «поэмы». Таковы всѣ поэмы Байрона, нѣкоторыя поэмы Пушкина (въ особенности «Цыганы» и «Галубъ»), также Лермонтова «Демонъ», «Мцыри» и «Бояринъ Орша». Если для Константина Аксакова поэмы Пушкина и Лермонтова не составляютъ факта, то какъ же не упомянулъ онъ ни слова о Байронѣ? Положимъ, что Байронъ въ сравненіи съ Гоголемъ — ничто, а Чичиковы, Маниловы и Селифаны имѣютъ болѣе всемірно-историческое значеніе, чѣмъ титаническія, колоссальныя личности британскаго поэта; но, ничтожный въ сравненіи съ Гоголемъ, Байронъ все-таки долженъ же имѣть хоть какое-нибудь свое значеніе и свое мѣсто въ исторіи новѣйшаго искусства?... Почему же Константинъ Аксаковъ не удостоилъ упомянуть о Байронѣ, ну, хоть однимъ презрительнымъ словомъ, хоть для того, чтобъ уничтожить его во имя «Мертвыхъ Душъ»? Неужели же, спросятъ насъ, Константинъ Аксаковъ, не шутя, и въ Байронѣ видитъ искаженіе эпоса?—Должно быть, такъ: ибо настоящій, истинный эпосъ послѣ Гомера явился только въ «Мертвыхъ Душахъ»,—отвѣчаемъ мы... Да это (опять скажутъ намъ), это просто... нелѣпость, галиматія!... Помилуйте, какъ это можно (отвѣчаемъ мы): это умозрѣнія, спекулятивныя построенія, гегелевская философія—на замоскворѣцкій ладъ...

Что между Гоголемъ и Гомеромъ есть сходство—въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія; но какое сходство?—Такое, что тотъ и другой—поэты; другого нѣтъ и быть не можетъ. Но такое сходство не только между Гомеромъ и французскимъ пѣсенникомъ Беранжé, а даже между Шекспиромъ и русскимъ баснописцемъ Крыловымъ: всѣхъ ихъ дѣлаетъ сходными—творчество. Но думать, что въ наше время возможенъ древній эпосъ—это такъ же нелѣпо, какъ и думать, чтобъ въ наше время человѣчество могло вновь сдѣлаться изъ взрослаго человѣка ребенкомъ, а думать такъ—значитъ быть чуждымъ всякаго историческаго созерцанія, и пустыя фантазіи празднаго воображенія выдавать за философскія истины...

Итакъ, повторяемъ: Константинъ Аксаковъ не называлъ Гоголя Гомеромъ, а «Мертвыя Души»—«Иліадой»; онъ только сказалъ, что, во-первыхъ, «древній эпосъ былъ унижаемъ на Западѣ», а мы прибавили (и имѣли на это право) отъ себя—Сервантесомъ, Вальтеръ-Скоттомъ, Купером, Байрономъ;—и что, во-вторыхъ, «въ Мертвыхъ Душахъ» древній эпосъ возстаетъ передъ нами»; а мы прибавили отъ себя (и имѣли на это право):—его «Мертвыя Души» то же самое въ новомъ мірѣ, что «Иліада» въ древнемъ, а Гоголь то же самое въ исторіи новѣйшаго искусства, что Гомеръ въ исторіи древняго искусства.

Спрашиваемъ всѣхъ и каждаго: была ли какая-нибудь возможность вывести другое заключеніе изъ положеній Константина Аксакова? или: была ли какая нибудь возможность не вывести изъ положеній Константина Аксакова того заключенія, какое мы вывели?—И мы ли виноваты, что заключеніе это насмѣшило весь читающій по-русски міръ?

Правда, Константинъ Аксаковъ далѣе въ своей брошюрѣ замѣчаетъ, что «само содержаніе кладетъ разницу между «Иліадой» и «Мертвыми Душами»; однакожъ эта оговорка у него не только не поясняетъ дѣла, а еще болѣе затемняетъ его, какъ противорѣчіе. Константину Аксакову явно хотѣлось сказать что-то новое, неслыханное міромъ; и какъ у него не было ни силъ, ни призванія сказать новой великой истины, то онъ и разсудилъ сказать великій... какъ бы это выразить?—ну, хоть парадоксъ... Удивительно ли, что, развивая и доказывая этотъ парадоксъ, онъ наговорилъ много такого, въ чемъ онъ самъ запутался и надъ чѣмъ другіе только добродушно посмѣялись?... Въ своемъ «Объясненіи» онъ особенно намекаетъ на то, что «эпическое созерцаніе Гоголя—древнее, истинное, то же, какое и у Гомера», и что «только у одного Гоголя видимъ мы это созерцаніе». Хорошо; да гдѣ же доказательства этого? Да нигдѣ — доказательствъ никакихъ, кромѣ увѣреній Константина Аксакова:—бѣдное и ненадежное ручательство! «Поэма Гоголя (говоритъ онъ) представляетъ вамъ цѣлую форму жизни, цѣлый міръ, гдѣ, опять, какъ у Гомера, свободно шумятъ и блещутъ воды, восходитъ солнце, красуется вся природа и живетъ человѣкъ,—міръ, являющій намъ глубокое цѣлое, глубокое, внутри лежащее содержаніе общей жизни, связующій единымъ духомъ всѣ свои явленія». Вотъ всѣ доказательства близкой родственности Гомеровскаго эпоса съ Гоголевскимъ; но, во-первыхъ, это столько же характеристика Гоголевскаго эпоса, сколько и эпоса Вальтеръ-Скотта,

Digitized by Google

съ той только разницей, что эпосъ Вальтеръ-Скотта именно заключаетъ въ себѣ «содержаніе общей жизни», тогда какъ у Гоголя эта «общая жизнь» является только какъ намекъ, какъ задняя мысль, вызываемая совершеннымъ отсутствіемъ общечеловѣческаго въ изображаемой имъ жизни. Противъ этого нечего возразить: это ясно. Помилуйте: какая общая жизнь въ Чичиковыхъ, Селифанахъ, Маниловыхъ, Плюшкиныхъ, Собакевичахъ и во всемъ честномъ компанствѣ, занимающемъ своей пошлостью вниманіе читателя въ «Мертвыхъ Душахъ»? Гдѣ тутъ Гомеръ? Какой тутъ Гомеръ? Тутъ просто Гоголь—и больше никого.

Говоря, что у Гоголя эпическое созерцаніе чисто-древнее, истинно-Гомеровское, и что Гоголь все-таки совсѣмъ не Гомеръ, а «Мертвыя Души» нисколько не «Иліада», ибо-де само содержаніе уже кладетъ здѣсь разницу,—Константинъ Аксаковъ тотчасъ же прибавляетъ: «Кто знаетъ впрочемъ, какъ раскроется содержаніе «Мертвыхъ Душъ»?—Именно такъ: «кто знаетъ это?» повторяемъ и мы. Глубоко уважая великій талантъ Гоголя, страстно любя его геніальныя созданія, мы въ то же время отвѣчаемъ и ручаемся только за то, что̀ уже написано имъ, а на счетъ того, что онъ еще напишетъ, мы можемъ сказать только: кто знаетъ впрочемъ, какъ, и пр. Особенно часто повторяемъ мы про себя: кто знаетъ впрочемъ, какъ раскроется содержаніе «Мертвыхъ Душъ»? И на повтореніе этого вопроса наводятъ насъ слѣдующія слова въ поэмѣ Гоголя: «Можетъ-быть въ сей же самой повѣсти почуются иныя, еще доселѣ небранныя струны, предстанетъ несмѣтное богатство русскаго духа, пройдетъ мужъ, одаренный божественными доблестями, или русская дѣвица, какой не сыскать нигдѣ въ мірѣ, со всей дивной красотой женской души, вся изъ великодушнаго стремленія и самоотверженія. И мертвыми покажутся передъ ними всѣ добродѣтельные люди другихъ племенъ, какъ мертва книга предъ живымъ словомъ». Да, эти слова творца «Мертвыхъ Душъ» заставляли насъ часто и часто повторять въ тревожномъ раздумьѣ: «кто знаетъ впрочемъ, какъ раскроется содержаніе «Мертвыхъ Душъ»?...» Именно, кто знаетъ?... Много, слишкомъ много обѣщано, такъ много, что негдѣ и взять того, чѣмъ выполнить обѣщаніе, потому что того и нѣтъ еще на свѣтѣ; намъ какъ-то страшно, чтобъ первая часть, въ которой все комическое, не осталась истинной трагедіей, а остальныя двѣ, гдѣ должны проступить трагическіе элементы, не сдѣлались комическими—по крайней мѣрѣ въ патетическихъ мѣстахъ... Впрочемъ опять-таки—кто знаетъ. Но кто бы ни зналъ, вопросъ этотъ, заданный Константиномъ Аксаковымъ, явно показываетъ, что если онъ, Константинъ Аксаковъ, и видитъ въ первой части «Мертвыхъ Душъ» разницу съ «Иліадой», полагаемую уже самимъ содержаніемъ,—то все-таки крѣпко надѣется, что въ двухъ послѣднихъ частяхъ «Мертвыхъ Душъ» и эта разница сама собою уничтожится, и что, ergo, «Мертвыя Души»—«Иліада», а Гоголь—Гомеръ. Послѣдняго онъ не сказалъ, но мы въ правѣ опять вывести это комическое заключеніе...

Главное доказательство мнимой родственности Гоголевскаго эпоса съ Гомеровскимъ состоитъ у Константина Аксакова въ любви къ сравненіямъ, въ обиліи и сходствѣ этихъ сравненій у Гомера и у Гоголя. Странное и забавное доказательство! Объ этомъ сходствѣ упоминаетъ и еще другая критика,—та самая, въ которой мы видимъ гораздо больше родственности и тождества съ брошюркой Константина Аксакова, нежели сколько между Гомеромъ и Гоголемъ; но въ той критикѣ находятъ сходство Гоголя, по отношенію къ сравненіямъ, не съ однимъ Гомеромъ, но и съ Данте; а мы съ своей стороны беремся найти его съ добрымъ десяткомъ новѣйшихъ поэтовъ. Изъ одного Пушкина можно выписать тысячу сравненій, такъ же напоминающихъ собой сравненія Гомера, какъ напоминаютъ ихъ сравненія Гоголя. Но вотъ одно, которое побольше всѣхъ Гоголевскихъ сравненій напоминаетъ собой Гомеровскія:

Ни на челѣ высокомъ, ни во взорахъ
Нельзя прочесть его сокрытыхъ думъ;
Все тотъ же видъ, смиренный, величавый.
Такъ точно дьякъ, въ приказѣ посѣдѣлый,
Спокойно зритъ на правыхъ и виновныхъ,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не вѣдая ни жалости, ни гнѣва.

Здѣсь даже не одно внѣшнее (какъ у Гоголя), но и внутреннее сходство съ Гомеромъ, заключающееся въ наивной простотѣ, соединенной съ возвышенностью; однако изъ этого еще не выходитъ никакого тождества между Гомеромъ и Пушкинымъ. Правда, «Борисъ Годуновъ» въ тысячу разъ болѣе, чѣмъ «Мертвыя Души», напоминаетъ собой Гомера тономъ многихъ своихъ страницъ, тономъ наивно-простымъ и вмѣстѣ возвышеннымъ; но на это сходство Пушкинъ наведенъ былъ не особенностью его поэтической натуры или ея родственностью съ Гомеромъ, а сущностью избранной имъ для своей трагедіи эпохи, гдѣ самые высокіе умы и сильные характеры мыслили и говорили простодушно или простодушно и возвышенно вмѣстѣ. Тутъ есть еще и другая причина: несмотря на свою драматическую форму, «Борисъ Годуновъ» Пушкина есть въ сущности эпическое произведеніе, а эпосъ съ эпосомъ всегда имѣетъ большее или меньшее, ближайшее или отдаленнѣйшее сходство, какъ одинъ и тотъ же родъ поэзіи. Но это сходство уничтожается въ «Мертвыхъ Душахъ» уже тѣмъ, что онѣ проникнуты насквозь юморомъ. Если Гомеръ сравниваетъ тѣснимаго въ битвѣ троянами Аякса съ осломъ—онъ сравниваетъ его простодушно, безъ всякаго юмора, какъ сравнилъ бы его со львомъ. Для Гомера, какъ и для всѣхъ грековъ его времени, оселъ былъ животное почтенное и не возбуждалъ, какъ въ насъ, смѣха однимъ своимъ появленіемъ или однимъ своимъ именемъ. У Гоголя же, напротивъ, сравненіе напр. франтовъ, увивающихся около красавицъ, съ му-

Digitized by Google

хами, летящими на сахаръ, все насквозь проникнуто юморомъ. Слѣдовательно все сходство чисто внѣшнее, т. е. то, что и у Гомера есть сравненія, и у Гоголя есть сравненія; но этакъ между Гомеромъ и Гоголемъ и еще можно найти большое сходство, именно то, что Гомеръ слагалъ свои возвышенно-наивныя созданія на греческомъ языкѣ, а Гоголь пишетъ по-русски: извѣстно же всѣмъ, что греческій и русскій языкъ происходятъ отъ одного корня, кромѣ уже того, что всѣ языки въ мірѣ, несмотря на ихъ различіе, основаны на однихъ и тѣхъ же началахъ разума человѣческаго...

Не зная, какъ впрочемъ раскроется содержаніе «Мертвыхъ Душъ» въ двухъ послѣднихъ частяхъ, мы еще не понимаемъ ясно, почему Гоголь назвалъ «поэмой» свое произведеніе, и пока видимъ въ этомъ названіи тотъ же юморъ, какимъ растворено и проникнуто насквозь это произведеніе. Если же самъ поэтъ почитаетъ свое произведеніе «поэмой», содержаніе и герой которой есть субстанція русскаго народа,—то мы, не обинуясь, скажемъ, что поэтъ сдѣлалъ великую ошибку: ибо, хотя эта «субстанція» глубока и сильна и громадна (что уже ярко проблескиваетъ и въ комическомъ опредѣленіи общественности, въ которомъ она пока проявляется и которое Гоголь такъ геніально схватываетъ и воспроизводитъ въ «Мертвыхъ Душахъ»), однако субстанція народа можетъ быть предметомъ поэмы только въ своемъ разумномъ опредѣленіи, когда она есть нѣчто положительное и дѣйствительное, а не гадательное и предположительное, когда она есть уже прошедшее и настоящее, а не будущее только... Въ творчествѣ великая для художника задача—выбирать предметъ и содержаніе для произведенія; этотъ предметъ и это содержаніе всегда должны быть осязательно опредѣленны; иначе художественное произведеніе будетъ неполно, несовершенно,—то, что французы называютъ manqué. И потому великая ошибка для художника писать поэму, которая можетъ быть возможна въ будущемъ.

Итакъ, чѣмъ болѣе разсматриваемъ дѣло Константина Аксакова, тѣмъ болѣе сходство между Гомеромъ и Гоголемъ становится... какъ бы сказать?—забавнѣе и смѣшнѣе... Смыслъ, содержаніе и форма «Мертвыхъ Душъ» есть «созерцаніе данной сферы жизни сквозь видный міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы». Въ этомъ и заключается трагическое значеніе комическаго произведенія Гоголя; это и выводитъ его изъ ряда обыкновенныхъ сатирическихъ сочиненій, и этого-то не могутъ понять ограниченные люди, которые видятъ въ «Мертвыхъ Душахъ» много смѣшного, уморительнаго, говоря ихъ простонароднымъ жаргономъ, но ужъ мѣстами черезчуръ переутрированнаго. Всякое выстраданное произведеніе великаго таланта имѣетъ глубокое значеніе,—и мы первые признаёмъ «Мертвыя Души» Гоголя великимъ по самому себѣ произведеніемъ въ мірѣ искусства, для иностранцевъ лишеннымъ всякаго общаго содержанія, но для насъ тѣмъ болѣе важнымъ и драгоцѣннымъ. Еще не было доселѣ болѣе важнаго для русской общественности произведенія,—и только одинъ Гоголь можетъ дать намъ другое, болѣе важное произведеніе, а дастъ ли въ самомъ дѣлѣ—«кто впрочемъ знаетъ», судя по нѣкоторымъ основнымъ началамъ воззрѣнія, которыя довольно непріятно промелькиваютъ въ «Мертвыхъ Душахъ» и относятся къ нимъ, какъ крапинки и пятнышки къ картинѣ великаго мастера,—о чемъ мы поговоримъ въ свое время и подробнѣе, и отчетливѣе...

Такимъ образомъ, если Константинъ Аксаковъ хочетъ оправдаться, а не отдѣлаться только отъ неосторожно высказанныхъ имъ странностей,—онъ долженъ сказать и доказать: 1) Почему древній эпосъ с н и з о ш е л ъ (слѣдовательно унизился) до романовъ, и считаетъ ли онъ Сервантеса, Вальтеръ-Скотта, Купера, Байрона исказителями эпоса, возстановленнаго и спасеннаго Гоголемъ? Послѣдняя недомолвка очень подозрительна: изъ нея видно, что Константинъ Аксаковъ самъ испугался своихъ смѣлыхъ положеній.—2) Почему мы солгали на него, говоря, что изъ его положеній прямо выводится то слѣдствіе, что «Мертвыя Души»—«Иліада», а Гоголь—Гомеръ нашего времени?—3) Почему во французской повѣсти эпосъ дошелъ до своего крайняго униженія?

Но Константинъ Аксаковъ рѣшился ничего больше не говорить объ этомъ послѣ своего ничего необъяснившаго «Объясненія»: и хорошо сдѣлалъ—больше ему ничего и не остается; онъ высказалъ уже всю свою мудрость. Зато намъ еще много осталось кое-чего сказать.

Какъ, кромѣ частныхъ исторій отдѣльныхъ народовъ, есть еще исторія человѣчества,—точно такъ, кромѣ частныхъ исторій отдѣльныхъ литературъ (греческой, латинской, французской и пр.), есть еще исторія всемірной литературы, предметъ которой—развитіе человѣчества въ сферѣ искусства и литературы. Само собой разумѣется, что въ этой исторіи должна быть живая, внутренняя связь, что она должна предыдущимъ объяснять послѣдующее, ибо иначе она будетъ лѣтописью или перечнемъ фактовъ, а не исторіей. И потому напримѣръ романы шотландца XIX вѣка, Вальтеръ-Скотта, непремѣнно должны быть въ какой-нибудь связи съ поэмами Гомера. Эта связь именно состоитъ въ томъ, что романы В.-Скотта суть необходимый моментъ дальнѣйшаго развитія эпоса, котораго первымъ моментомъ развитія могутъ быть поэмы индійскія, а послѣдующимъ моментомъ—поэмы Гомера. Въ исторіи нѣтъ скачковъ. Слѣдовательно, греческій эпосъ не низошелъ до романовъ, какъ мудрствуетъ Константинъ Аксаковъ, а развился въ романъ: ибо нелѣпо было бы предполагать впродолженіе трехъ тысячъ лѣтъ пробѣлъ въ исторіи всемірной литературы, и отъ Гомера прыгнуть прямо къ Гоголю, который, еще вдобавокъ, и нисколько не принадлежитъ ко

Digitized by Google

всемірно-историческимъ поэтамъ... Вотъ почему мы основательно, а не наобумъ, исторически, а не фантасмагорически, думаемъ и убѣждены, что напримѣръ какой-нибудь Данте въ дѣлѣ эпоса побольше значитъ Гоголя, что тутъ имѣетъ свое значеніе и Аріостъ, и что не только Сервантесъ, Вальтеръ-Скоттъ, Куперъ, какъ художники по преимуществу, но и Свифтъ, Стернъ, Вольтеръ (философскіе романы и повѣсти), Руссо («Новая Элоиза») имѣютъ несравненно и неизмѣримо высшее значеніе во всемірно-исторической литературѣ, чѣмъ Гоголь, ибо въ нихъ совершилось развитіе эпоса и со стороны содержанія, и со стороны искусства, и со стороны содержанія и искусства вмѣстѣ. Говорить же, что Гоголь прямо вышелъ изъ Гомера или продолжалъ собой Гомера мимо всѣхъ прочихъ, и старинныхъ, и современныхъ поэтовъ Европы, значитъ, вмѣсто похвалы, оскорблять его, значитъ выключать его изъ историческаго развитія, выставлять человѣкомъ, чуждымъ современности, чуждымъ знанія всего, что было до него... Что же касается до мысли о какой-то родственности Гоголевскаго эпоса съ Гомеровскимъ,—мы уже доказали, что эта мысль больше, чѣмъ неосновательна. Притомъ же, еслибъ и такъ было, надобно бъ было объяснить, въ чемъ тутъ заслуга со стороны Гоголя, тѣмъ болѣе, что авторъ брошюры говоритъ объ этомъ такимъ торжествующимъ тономъ, какъ будто ставитъ это въ величайшую заслугу Гоголю.

Теперь о крайнемъ искаженіи эпоса во французской повѣсти: это еще что за исторія? Константинъ Аксаковъ видитъ во французской повѣсти—простой анекдотъ, родъ шарады, гдѣ все дѣло въ сюжетѣ, т. е. въ сплетеніи и расплетеніи событія (fable): да вольно же ему видѣть это, когда этого нѣтъ во французской повѣсти *), а есть совсѣмъ другое, именно: характеры, дивное, однимъ только французамъ сродное, искусство разсказа, соціальные и нравственные вопросы, вопли и страданія современности!... Если кто-нибудь зажмуритъ глаза и станетъ доказывать, что нѣтъ на свѣтѣ солнца и свѣта,—что ему на это скажутъ?—конечно не другое что, какъ «открой глаза»; но если онъ слѣпъ отъ природы,—тогда что ему скажутъ?—вотъ что: «ты правъ, для тебя точно нѣтъ на свѣтѣ ни солнца, ни свѣта»... А что можетъ-быть Константинъ Аксаковъ не любитъ французскихъ повѣстей—его воля, да только публикѣ-то что за дѣло, что любитъ и чего не любитъ Константинъ Аксаковъ? Французскія повѣсти читаются всѣмъ просвѣщеннымъ и образованнымъ міромъ во всѣхъ пяти частяхъ земного шара; французская повѣсть есть плодъ французской литературы, а французская литература имѣетъ всемірно-историческое значеніе. Въ одномъ мѣстѣ своего «Объясненія» Константинъ Аксаковъ замѣчаетъ, въ скобкахъ, мимоходомъ, что въ разрядъ великихъ писателей Жоржъ Зандъ не входитъ ни безусловно, ни условно,—и думаетъ, что этими словами онъ рѣшилъ дѣло и все сказалъ; тогда какъ онъ этимъ сказалъ только, что онъ или совсѣмъ не читалъ Жоржъ Занда, или читалъ, да не понялъ. Здѣсь не мѣсто распространяться о Жоржъ Зандѣ; скажемъ только, что Жоржъ Зандъ имѣетъ большое значеніе во всемірно-исторической литературѣ, не въ одной французской, тогда какъ Гоголь, при всей неотъемлемой великости его таланта, не имѣетъ рѣшительно никакого значенія во всемірно-исторической литературѣ и великъ только въ одной русской, что слѣдовательно имя Жоржъ Зандъ безусловно можетъ входить въ реестръ именъ европейскихъ поэтовъ, тогда какъ помѣщеніе рядомъ именъ Гоголя, Гомера и Шекспира оскорбляетъ и приличіе, и здравый смыслъ... Въ послѣднемъ, кромѣ Константина Аксакова, никто въ мірѣ не усомнится, а насчетъ перваго можно представить сильныя доказательства...

Вдобавокъ къ вопросу о повѣсти, какъ крайнемъ униженіи эпоса, скажемъ, что если ужъ видѣть это униженіе въ повѣсти, то конечно скорѣе въ нѣмецкой, чѣмъ во французской. Нѣмецкая повѣсть возникла и выросла на почвѣ отвлеченія, аскетизма, анти-общественности; она изображаетъ не общество, а отдѣльныя личности, которыхъ вся жизнь и вся повѣсть жизни состоитъ въ переливахъ внутреннихъ ощущеній, фантастическихъ и фантазерскихъ грезъ, и которыхъ все блаженство заключается не въ стремленіи къ идеалу дѣйствительной жизни и достиженіи его, а въ томъ, чтобъ любоваться собственной внутренней глубокостью и пустой праздной жизнью ощущенія, вмѣсто дѣйствія. Но и нѣмецкая повѣсть, какъ мы это замѣтили уже и въ рецензіи, даже какъ и уклоненіе отъ нормы, имѣетъ свое всемірно-историческое значеніе, объясняемое изъ національнаго духа нѣмцевъ.

Теперь о равенствѣ Гоголя съ Гомеромъ и Шекспиромъ. Константинъ Аксаковъ говоритъ, будто мы взвели на него небылицу, приписывая ему изобрѣтеніе равенства Гоголя съ Гомеромъ и Шекспиромъ. Онъ не отпирается отъ изобрѣтенія этого удивительнаго равенства, но ставитъ намъ въ вину, что мы не замѣтили, въ какомъ отношеніи разумѣетъ онъ это равенство; а разумѣетъ онъ его, извольте видѣть, въ отношеніи къ акту творчества. Подлинно есть за что обвинять насъ: понимать Константина Аксакова такъ трудно, тѣмъ болѣе, что онъ, кажется, самъ себя не совсѣмъ понимаетъ. Брошюра его—это такая смѣсь несвязныхъ между собой... не мыслей, а скорѣе недомысловъ, что трудно разобрать, что онъ разумѣетъ тутъ, и какъ его понимать! Онъ говоритъ, что Гоголь равенъ Гомеру и Шекспиру по акту творчества, и что въ отношеніи къ акту творчества только Гомеръ, Шекспиръ и Гоголь — величайшіе поэты; и въ то же время онъ съ какой-то на-

*) Исключая, разумѣется, плохихъ повѣстей, которыя есть у всѣхъ народовъ, а иногда бываютъ и у великихъ поэтовъ...

Digitized by Google

ивностью увѣряетъ, что этимъ онъ нисколько не унижаетъ великихъ европейскихъ поэтовъ, думая вѣроятно, что для Данте, Сервантеса, Вальтеръ-Скотта, Купера, Байрона, Шиллера, Гёте—большая честь стоять въ почтительномъ отдаленіи отъ Гоголя, пріятельски обнявшагося съ Гомеромъ и Шекспиромъ! Да, милостивый государь, съ чего вы взяли, что Гоголь и по акту творчества родной братъ Гомеру и Шекспиру и выше всѣхъ другихъ великихъ европейскихъ поэтовъ? Съ чего вы взяли, что вамъ стоило только выговорить эту, положимъ изъ вѣжливости, мысль, чтобъ ее всѣ, подобно вамъ, нашли непреложной и истинной? Гдѣ на это доказательства, гдѣ ваши доводы? Ваше убѣжденіе? — да публикѣ-то какое дѣло до вашихъ убѣжденій?... Употребивъ оговорку — «по отношенію къ акту творчества, а не содержанію», Константинъ Аксаковъ думаетъ, что онъ совершенно оправдался и сдѣлалъ насъ кругомъ виноватыми. Какая милая наивность, какая буколическая невинность!... Развивая свою мысль о равенствѣ Гоголя съ Гомеромъ и Шекспиромъ (по отношенію къ акту творчества), Константинъ Аксаковъ говоритъ: «Мы далеки отъ того, чтобъ унижать колоссальность другихъ поэтовъ, но въ отношеніи къ акту созданія они ниже Гоголя (sic!...). Развѣ не можетъ быть такъ напримѣръ: поэтъ, обладающій полнотой творчества, можетъ создать, положимъ, цвѣтокъ, другой создаетъ великаго человѣка; велико будетъ дѣло послѣдняго, но оно будетъ ниже въ отношеніи къ той полнотѣ и живости, какую даетъ поэтъ, обладающій тайной творчества». Хорошо; но зачѣмъ брать ложныя сравненія, если не затѣмъ, чтобъ оправдать натяжками ложныя мысли?—Не лучше ли было бы сказать такъ напримѣръ: «Поэтъ, обладающій полнотой творчества, можетъ создать, положимъ, цвѣтокъ; другой, обладающій такой же полнотой, создастъ великаго человѣка: ничтожно будетъ дѣло перваго передъ дѣломъ второго, какъ ничтоженъ, въ ряду явленій жизни, цвѣтокъ передъ великимъ человѣкомъ»? Какъ вы думаете объ этомъ, Константинъ Аксаковъ? Это не совсѣмъ выгодно для вашего идолопоклонства, зато ближе къ истинѣ— повѣрьте намъ въ этомъ случаѣ на-слово или спросите у здраваго смысла — онъ за насъ!... Но положимъ, что и такъ; положимъ, что вы ставите Гоголя выше колоссальныхъ европейскихъ поэтовъ только по акту творчества, а не по содержанію; но зачѣмъ же вы прибавляете эти слова: «Но Боже насъ сохрани, чтобъ миніатюрное сравненіе съ цвѣткомъ было въ нашихъ глазахъ мѣриломъ для великихъ созданій Гоголя!» Какой смыслъ этихъ словъ—не этотъ ли: по акту творчества Гоголь выше всѣхъ колоссальныхъ европейскихъ поэтовъ, кромѣ Гомера и Шекспира, съ которыми онъ равенъ, а по содержанію онъ не уступаетъ имъ, ergo съ Гомеромъ и Шекспиромъ онъ равенъ во всѣхъ отношеніяхъ, а съ другими европейскими поэтами онъ равенъ по содержанію и выше ихъ по акту творчества?... Какъ вамъ угодно, а выходитъ такъ! Нашъ выводъ изъ вашихъ словъ, или вашихъ противорѣчій — все равно, вѣренъ... Гдѣ жъ наши на васъ выдумки, лжи и клеветы?...

Актъ творчества дѣйствительно великая сила въ поэтѣ, какъ отвлеченная сообразительность въ математикѣ: противъ этого никто не споритъ и безъ ссылокъ на Ueber die aestetische Erziehung Шиллера, которое Константинъ Аксаковъ совѣтуетъ намъ прочесть хоть во французскомъ переводѣ, тонко намекая этимъ, что онъ знаетъ понѣмецки, какъ будто бы для всякаго другого это рѣшительная невозможность... Безъ акта творчества нѣтъ поэта—это аксіома; но въ наше время мѣриломъ величія поэтовъ принимается не актъ творчества, а идея, общее... Многія стихотворенія Гейне такъ хороши, что ихъ можно принять за Гётевскія, но Гейне, несмотря на то, все-таки пигмей передъ колоссальнымъ Гёте. Въ чемъ же ихъ разница?—въ идеѣ, въ содержаніи... «Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька и его тетушка» по отношенію акта творчества дѣйствительно не ниже Шекспировскаго «Гамлета», но, несмотря на то, въ сравненіи съ «Гамлетомъ» повѣсть Гоголя—абсолютное ничтожество, такъ, что даже есть что-то смѣшное въ какомъ бы то ни было сближеніи этихъ двухъ произведеній... Право такъ, Константинъ Аксаковъ!... Почти такъ же комически забавно и сближеніе «Мертвыхъ Душъ» съ «Иліадой»... Дѣйствительно, Гоголь обладаетъ удивительной полнотой въ актѣ творчества, и эта полнота дѣйствительно можетъ служить ручательствомъ, что Гоголь могъ бы произвести колоссальныя созданія и со стороны содержанія и, не смотря на то, все-таки могъ бы не сравняться ни съ Гомеромъ, ни съ Шекспиромъ, ни стать выше другихъ колоссальныхъ европейскихъ поэтовъ, еслибъ современная русская жизнь могла дать ему необходимое для такихъ созданій содержаніе... Мы именно въ томъ-то и видимъ великость и геніальность Гоголя, что онъ, своимъ артистическимъ инстинктомъ, вѣренъ дѣйствительности и лучше хочетъ ограничиться, впрочемъ великой, задачей — объектировать современную дѣйствительность, внеся свѣтъ въ мракъ ея, чѣмъ воспѣвать на досугѣ то, до чего никому, кромѣ художниковъ и диллетантовъ, нѣтъ никакого дѣла, или изображать русскую дѣйствительность такой, какой она никогда не бывала. «Впрочемъ, кто знаетъ, какъ еще раскроется содержаніе «Мертвыхъ Душъ»... Намъ обѣщаютъ мужей и дѣвъ неслыханныхъ, какихъ еще не было въ мірѣ и въ сравненіи съ которыми великіе нѣмецкіе люди (т. е. западные европейцы) окажутся пустѣйшими людьми... Да, кто знаетъ впрочемъ... можетъ-быть, судя по этимъ обѣщаньямъ, Константинъ Аксаковъ и дождется скоро оправданья нѣкоторыхъ изъ своихъ фантазій... Тогда мы низко ему поклонимся и отъ души поздравимъ его... Но до тѣхъ поръ—повторяемъ: въ томъ, что художническая дѣятельность Гоголя вѣрна дѣйствительности, мы видимъ черту геніальности.

Digitized by Google

Да, велика творческая сила фантазіи Гоголя—мы въ этомъ согласны съ Константиномъ Аксаковымъ. Но почему она выше творческой силы фантазіи великихъ европейскихъ поэтовъ—этого мы не понимаемъ. Мы даже имѣемъ дерзость думать, что непосредственность творчества у Гоголя имѣетъ свои границы и что она иногда измѣняетъ ему, особенно тамъ, гдѣ въ немъ поэтъ сталкивается съ мыслителемъ, т. е. гдѣ дѣло преимущественно касается идей... Кстати: вѣдь эти идеи, кромѣ огромнаго таланта или, пожалуй, и генія, кромѣ естественной силы непосредственнаго творчества требуютъ эрудиціи, интеллектуальнаго развитія, основаннаго на неослабномъ преслѣдованіи быстро несущейся умственной жизни современнаго міра—именно того, чѣмъ такъ сильны и велики наприм. Байронъ, Шиллеръ, Гёте, — эти идеи, заклятые враги безвыходно замкнутой внутри себя жизни, враги умственнаго аскетизма, который заставляетъ поэтовъ закрывать глаза на все въ мірѣ, кромѣ самихъ себя... Что непосредственность творчества, нерѣдко измѣняетъ Гоголю, или что Гоголь нерѣдко измѣняетъ непосредственности творчества, это ясно доказывается его повѣстями (еще въ «Вечерахъ на Хуторѣ»), «Вечеромъ наканунѣ Ивана Купала» и «Страшной Местью», изъ которыхъ ложное понятіе о народности въ искусствѣ сдѣлало какія-то уродливыя произведенія, за исключеніемъ нѣсколькихъ превосходныхъ частностей, касающихся до проникнутаго юморомъ изображенія дѣйствительности. Но особенно это ясно изъ вполнѣ неудачной повѣсти «Портретъ». Она была напечатана въ «Арабескахъ» еще въ 1835 году, но, должно быть, чувствуя ея недостатки, Гоголь недавно передѣлалъ ее совсѣмъ. И что же вышло изъ этой передѣлки? Первая часть повѣсти, за немногими исключеніями, стала несравненно лучше именно тамъ, гдѣ дѣло идетъ объ изображеніи дѣйствительности (одна сцена квартальнаго, разсуждающаго о картинахъ Чарткова, сама по себѣ, отдѣльно взятая, есть уже геніальный эскизъ); но вся остальная половина повѣсти невыносимо дурна и со стороны главной мысли, и со стороны подробностей. И что за мысль напримѣръ: благонамѣренный, умный и благородный вельможа, жаркій патріотъ, дѣятельный покровитель искусствъ и наукъ въ отечествѣ, вдругъ, ни съ того ни съ сего, дѣлается обскурантомъ, злодѣемъ, гонителемъ просвѣщенія,—отъ чего же? Оттого, что взялъ денегъ взаймы у страшнаго ростовщика, у таинственнаго грека!.. Дѣло какъ-будто бы въ томъ, что займи этотъ вельможа у другого кого-нибудь, только бы не у этого грека, онъ остался бы прежнимъ благороднымъ человѣкомъ... Итакъ, вотъ отъ какого фатализма зависитъ нравственность человѣка!... Да помилуйте, такія дѣтскія фантасмагоріи могли плѣнять и ужасать людей только въ невѣжественные средніе вѣка, а для насъ онѣ не занимательны и не страшны, просто—смѣшны и скучны... И потомъ, что за подробности: на аукціонѣ художникъ Б. нашелъ мѣсто и время разсказывать исторію страшнаго портрета, и его всѣ заслушались, а портретъ между тѣмъ пропалъ... Нѣтъ, такое исполненіе повѣсти не сдѣлало бы особенной чести самому незначительному дарованію. А мысль повѣсти была бы прекрасна, еслибъ поэтъ понялъ ее въ современномъ духѣ: въ Чартковѣ онъ хотѣлъ изобразить даровитаго художника, погубившаго свой талантъ, а слѣдовательно и самого себя, жадностью къ деньгамъ и обаяніемъ мелкой извѣстности. И выполненіе этой мысли должно было быть просто, безъ фантастическихъ затѣй, на почвѣ ежедневной дѣйствительности; тогда Гоголь съ своимъ талантомъ создалъ бы нѣчто великое. Не нужно было бы приплетать тутъ и страшнаго портрета съ страшно-смотрящими живыми глазами (въ которомъ поэтъ, кажется, хотѣлъ выразить гибельныя слѣдствія копированія съ натуры, вмѣсто творческаго воспроизведенія натуры, и выразилъ черезчуръ затѣйливо, холодно и сухоаллегорически); не нужно было бы ни ростовщика, ни аукціона, ни многаго, что поэтъ почелъ столь нужнымъ именно оттого, что отдалился отъ современнаго взгляда на жизнь и искусство. Это же доказываетъ и недавно напечатанная въ «Москвитянинѣ» статья «Римъ», въ которой есть удивительно яркія и вѣрныя картины дѣйствительности, но въ которой есть и косые взгляды на Парижъ и близорукіе взгляды на Римъ, и—что всего непостижимѣе въ Гоголѣ—есть фразы, напоминающія своей вычурной изысканностью языкъ Марлинскаго. Отчего это?—Думаемъ, оттого, что при богатствѣ современнаго содержанія и обыкновенный талантъ чѣмъ дальше, тѣмъ больше крѣпнетъ, а при одномъ актѣ творчества и геній наконецъ начинаетъ постепенно ниспускаться... Въ «Мертвыхъ Душахъ», гдѣ Гоголь снова очутился на русской, а не на европейской почвѣ, и въ дѣйствительной, а не въ фантастической сферѣ, въ «Мертвыхъ Душахъ» также есть по крайней мѣрѣ обмолвки противъ непосредственности творчества, и весьма важныя, хотя и весьма немногочисленныя: на стр. 261—266 поэтъ весьма неосновательно заставляетъ Чичикова расфантазироваться о бытѣ простого русскаго народа при разсматриваніи реестра скупленныхъ имъ мертвыхъ душъ. Правда, это «фантазированіе» есть одно изъ лучшихъ мѣстъ поэмы: оно исполнено глубины мысли и силы чувства, безконечной поэзіи и вмѣстѣ поразительной дѣйствительности; но тѣмъ менѣе идетъ оно къ Чичикову, человѣку геніальному въ смыслѣ плута-пріобрѣтателя, но совершенно пустому и ничтожному во всѣхъ другихъ отношеніяхъ. Здѣсь поэтъ явно отдалъ ему свои собственныя благороднѣйшія и чистѣйшія слезы, незримыя и невѣдомыя міру, свой глубокій, исполненный грустной любовью юморъ и заставилъ его высказать то, что долженъ былъ выговорить отъ своего лица. Равнымъ образомъ такъ-же мало идутъ къ Чичикову и его размышленія о Собакевичѣ, когда тотъ писалъ расписку: эти размышленія слишкомъ умны, благородны и гуманны; ихъ слѣ-

Digitized by Google

довало бы автору сказать отъ своего лица... Характеристика британца съ его сердцевѣдѣніемъ и мудростью, француза съ его недолговѣчнымъ словомъ и нѣмца съ его умно-худощавымъ словомъ также показываетъ только то, что авторъ не совсѣмъ хорошо знаетъ ни британцевъ, ни французовъ, ни нѣмцевъ, и что незнанію не поможетъ никакой актъ творчества. И между тѣмъ Гоголь все-таки обладаетъ удивительной силой непосредственнаго творчества въ смыслѣ способности воспроизводить каждый предметъ во всей полнотѣ его жизни, со всѣми его тончайшими особенностями; только эта сила у него имѣетъ свои границы и иногда измѣняетъ ему, чего такимъ образомъ, какъ у Гоголя, не случалось ни съ Гомеромъ, ни съ Шекспиромъ, ни съ Байрономъ, ни съ Шиллеромъ, ни даже съ Пушкинымъ, и что очень часто и еще хуже случалось съ Гёте вслѣдствіе аскетическаго и анти-общественнаго духа этого поэта, съ которымъ все-таки нельзя смѣть равнять Гоголя. Но эта удивительная сила непосредственнаго творчества, которая составляетъ пока еще главную силу, высочайшее достоинство Гоголя, и посредствомъ которой, подобно волшебнику—властелину царства духовъ, вызывающему послушныя на голосъ его заклинанія безплотныя тѣни,—онъ, неограниченный властелинъ царства призрачной дѣйствительности, самовластно вызываетъ передъ себя ея представителей, заставляя ихъ обнажать передъ нимъ такіе сокровенные изгибы ихъ натуръ, въ которыхъ они не сознались бы самимъ себѣ подъ страхомъ смертной казни,—эта-то, говоримъ мы, удивительная сила непосредственнаго творчества въ свою очередь много вредитъ Гоголю. Она, такъ сказать, отводитъ ему глаза отъ идей и нравственныхъ вопросовъ, которыми кипитъ современность, и заставляетъ его преимущественно устремлять вниманіе на факты и довольствоваться объективнымъ ихъ изображеніемъ. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» уже было замѣчено, что къ числу особенныхъ достоинствъ «Мертвыхъ Душъ» принадлежитъ болѣе ощутительное, чѣмъ въ прежнихъ сочиненіяхъ Гоголя, присутствіе субъективнаго начала, а слѣдовательно и рефлексіи. Надо желать, чтобъ это преобладаніе рефлексіи постепенно въ немъ усиливалось, хотя бы насчетъ акта творчества, изъ котораго такъ хлопочетъ Константинъ Аксаковъ. Гегель въ своей «Эстетикѣ» въ особенную заслугу поставляетъ Шиллеру преобладаніе въ его произведеніяхъ рефлектирующаго элемента, называя это преобладаніе выраженіемъ духа новѣйшаго времени. Совѣтуемъ Константину Аксакову прочесть это мѣсто въ подлинникѣ (мы вѣримъ его знанію нѣмецкаго языка) и поразмыслить о немъ. Безъ способности къ непосредственному творчеству нѣтъ и быть не можетъ поэта—кто жъ этого не знаетъ? но когда человѣка называютъ поэтомъ, то уже необходимо предполагаютъ въ немъ эту способность, даже не говоря о ней, и обращая вниманіе на идею, на содержаніе. Если же эта способность въ поэтѣ слишкомъ сильна, то о ней тогда только толкуютъ и кричатъ, когда не видятъ въ немъ глубокаго содержанія. Говоря о Шекспирѣ, было бы странно восторгаться его умѣніемъ все представлять съ поразительной вѣрностью и истиной, вмѣсто того чтобъ удивляться значенію и смыслу, которые его творческій разумъ даетъ образамъ его фантазіи. Въ живописцѣ конечно великое достоинство—умѣнье свободно владѣть кистью и повелѣвать красками, но это умѣнье еще не составляетъ великаго живописца. Идея, содержаніе, творческій разумъ—вотъ мѣрило для великихъ художниковъ.

Константинъ Аксаковъ ставитъ въ великую заслугу Гоголю, что у него юморъ, выставляя субъектъ, не уничтожаетъ дѣйствительности: да что же бы это былъ за юморъ, еслибъ онъ уничтожалъ дѣйствительность? стоило ли бы тогда и говорить о немъ? Константинъ Аксаковъ говоритъ еще, что такого юмора онъ не нашелъ ни у кого, кромѣ Гоголя: вольно же было не поискать—авось либо и можно было найти. Не говоря уже о Шекспирѣ, напримѣръ въ романѣ Сервантеса донъ-Кихотъ и Санчо-Пансо нисколько не искажены: это лица живыя, дѣйствительныя; но, Боже мой! сколько юмору, и веселаго, и грустнаго, и спокойнаго, и ѣдкаго, въ изображеніи этихъ лицъ! Такихъ примѣровъ можно найти довольно. Что у Гоголя свой юморъ, и что этотъ юморъ составляетъ главную стихію его таланта, — это другое дѣло; противъ этого нельзя спорить!

Константинъ Аксаковъ нашелъ въ своей брошюрѣ, что Чичиковъ сливается съ субстанціей русскаго народа въ любви къ скорой ѣздѣ: мы надъ этимъ посмѣялись въ нашей рецензіи, и вотъ онъ опять упрекаетъ насъ въ искаженіи словъ его: онъ, видите, разумѣлъ не просто «скорую ѣзду», но ѣзду на телѣгѣ и на тройкѣ лошадей. Виноваты—просмотрѣли, въ чемъ дѣло; но все-таки субстанціи русскаго народа не видимъ ни въ тройкѣ, ни въ телѣгѣ. Коляску четверней всѣ образованные русскіе лучше любятъ, чѣмъ трясскую телѣгу, на которой заставляетъ ѣздить только необходимость. Но желѣзную дорогу даже и необразованные русскіе, т. е. мужички православные, теперь рѣшительно предпочитаютъ завѣтной телѣгѣ и тройкѣ: доказательство можно каждый день видѣть на царскосельской дорогѣ. Иначе и быть не можетъ: свѣтъ побѣдитъ тьму, просвѣщеніе побѣдитъ невѣжество, образованность побѣдитъ дикость, а желѣзными дорогами будутъ побѣждены телѣги и тройки. Пожалуй, иной субстанцію русскаго народа запрячетъ въ горшокъ со щами и кашей или, вмѣсто бѣлужины, запечетъ ее въ кулебякѣ... Можно любить тяжелую, грубую, хотя и вкусную русскую кухню,—и однакожъ не въ ней ощущать себя въ лонѣ русской національности... Константинъ Аксаковъ отсылаетъ насъ къ страницамъ «Мертвыхъ Душъ», гдѣ дѣйствительно съ энтузіазмомъ описана тройка съ телѣгой: страницы эти мы читали не разъ; но онѣ намъ ничего не доказали, кромѣ ухорской, забу-

Digitized by Google

бенной удали и какой-то беззаботности простого русскаго народа въ дѣлѣ улучшеній... Ссылка на «Мертвыя Души» еще не доказательство; мы сами глубоко уважаемъ, горячо любимъ великій талантъ Гоголя, но идолопоклонничать ни передъ кѣмъ не хотимъ; въ наше время идолопоклонство есть ребячество, Константинъ Аксаковъ!

Мы съ вами не ребяты:
Зачѣмъ же мнѣнія чужія только святы!

Константинъ Аксаковъ опять доказываетъ, что въ Маниловѣ есть своя сторона жизни: да кто жъ въ этомъ сомнѣвался, равно какъ и въ томъ, что и въ свиньѣ, которая, роясь въ навозѣ на дворѣ Коробочки, съѣла мимоходомъ цыпленка, есть своя сторона жизни? Она ѣстъ и пьетъ—стало быть живетъ: такъ можно ли думать, что не живетъ Маниловъ, который не только ѣстъ и пьетъ, но еще и куритъ табакъ, и не только куритъ табакъ, но еще и фантазируетъ...

Вообще видно, что, сбившись съ прямого пути названіемъ «поэмы», которое Гоголь далъ своему произведенію, Константинъ Аксаковъ готовъ находить прекрасными людьми всѣхъ изображенныхъ въ ней героевъ... Это, по его мнѣнію, значитъ понимать юморъ Гоголя... Что бы онъ ни говорилъ, но изъ тона и изо всего въ его брошюрѣ видно, что онъ въ «Мертвыхъ Душахъ» видитъ русскую «Иліаду». Это значитъ понять поэму Гоголя совершенно навыворотъ. Всѣ эти Маниловы и подобные имъ забавны только въ книгѣ; въ дѣйствительности же избави Боже съ ними встрѣчаться,— а не встрѣчаться съ ними нельзя, потому что ихъ-таки довольно въ дѣйствительности, слѣдовательно они—представители нѣкоторой ея части. Хороша же «Иліада», героемъ которой дѣйствительность, имѣющая такихъ представителей!.. «Иліаду» можетъ напомнить собой только такая поэма, содержаніемъ которой служитъ субстанціальная стихія національной жизни, со всѣмъ богатствомъ ея внутренняго содержанія, въ которой эта жизнь полагается, а не отрицается... Истинная критика «Мертвыхъ Душъ» должна состоять не въ восторженныхъ крикахъ о Гомерѣ и Шекспирѣ, объ актѣ творчества, о достоинствахъ Манилова, о неиспорченной русской натурѣ Селифана, о тройкѣ и телѣгѣ: нѣтъ, истинная критика должна раскрыть паѳосъ поэмы, который состоитъ въ противорѣчіи общественныхъ формъ русской жизни съ ея глубокимъ субстанціальнымъ началомъ, доселѣ еще таинственнымъ, доселѣ еще не открывшимся собственному сознанію и неуловимымъ ни для какого опредѣленія. Потомъ критика должна войти въ основы и причины этихъ формъ, должна рѣшить множество, повидимому простыхъ, но въ сущности очень важныхъ вопросовъ, вродѣ слѣдующихъ: Отчего прекрасную блондинку разбранили до слезъ, когда она даже не понимала, за что ее бранятъ? Отчего весь губернскій городъ N. оказался и хорошо населенныимъ и людныимъ, когда сплетни насчетъ Чичикова получили свое начало отъ живого участія «пріятной во всѣхъ отношеніяхъ дамы» и «просто пріятной дамы»? Отчего наружность Чичикова показалась «благонамѣренной» губернатору и всѣмъ сановникамъ города N? Что значитъ слово «благонамѣренный» на чиновническомъ нарѣчіи? Отчего авторъ поэмы необходимой принадлежностью длинной и скучной дороги почитаетъ не только холода (которые бываютъ на всякихъ дорогахъ), но и слякость, грязь, починки, перебранки кузнецовъ и всякихъ дорожныхъ подлецовъ? Отчего Собакевичъ приписалъ Елизавету Воробья? Отчего прокурорскій кучеръ былъ малый опытный, потому что правилъ одной рукой, а другую засунувъ назадъ, придерживалъ ею барина? Отчего сольвычегодскіе угостили на пиру (а не въ лѣсу, при дорогѣ) устьсысольскихъ на смерть, а сами отъ нихъ понесли крѣпкую ссадку на бока, подъ микитки, и все это назвали «пошалить немного»?.. Много такихъ вопросовъ можно выставить. Знаемъ, что большинство почтетъ ихъ мелочными. Тѣмъ-то и велико созданіе «Мертвыя Души», что въ немъ вскрыта и разанатомирована жизнь до мелочей, и мелочамъ этимъ придано общее значеніе. Конечно, какой-нибудь Иванъ Антоновичъ, кувшинное рыло, очень смѣшонъ въ книгѣ Гоголя и очень мелкое явленіе въ жизни; но если у васъ случится до него дѣло, такъ вы и смѣяться надъ нимъ потеряете охоту, да и мелкимъ его не найдете... Почему онъ такъ можетъ показаться важнымъ для васъ въ жизни—вотъ вопросъ!.. Гоголь геніально (пустяками и мелочами) пояснилъ тайну, отчего изъ Чичикова вышелъ такого рода «пріобрѣтатель»; это-то и составляетъ его поэтическое величіе, а не мнимое сходство съ Гомерами и Шекспирами...

Журнальныя и литературныя замѣтки.

Исторія о ножичкѣ (*фактъ для будущаго историка русской литературы*).—Въ 63 № «Сѣверной Пчелы» нынѣшняго года помѣщено между прочимъ письмо Анифьева, Страхова и Вагина, мастеровъ села Павлова, къ какому-то Ивану Ильичу. Письмо это напечатано подъ названіемъ «Защита добрыхъ русскихъ мастеровъ» и заключаетъ въ себѣ возраженіе на статью о селѣ Павловѣ, напечатанную въ «Живописномъ Обозрѣніи». Оно оканчивается слѣдующими, равно любопытными и для современниковъ, и для потомства, строками:

«... Милостивый государь Иванъ Ильичъ, мы и рѣшились васъ покорнѣйше попросить этимъ письмомъ взять на себя трудъ увидѣться съ его высокоблагородіемъ Ѳаддеемъ Венедиктовичемъ Булгаринымъ, *какъ ревностнымъ защитникомъ и любителемъ всего отечественнаго*, и попросить его, не помѣститъ ли онъ хотя небольшой статейки, въ защиту нашихъ издѣлій противъ «Жи-

Digitized by Google

вописнаго Обозрѣнія», въ «Сѣверной Пчелѣ», *всегда вѣрной и безпристрастной вѣстницѣ о всѣхъ произведеніяхъ отечественныхъ, которую мы около десяти лѣтъ постоянно читаемъ и перечитываемъ, а въ особенности статьи* Булгарина, *всегда съ особеннымъ удовольствіемъ.*»

Присемъ Булгаринъ «предъявляетъ» въ выноскѣ слѣдующее:

«Литературные мой противники могутъ обвинить меня въ тщеславіи, самолюбіи *и въ чемъ угодно* (sic!) за то, что я не вычеркнулъ изъ письма лестныхъ для меня выраженій. Подвергаюсь охотно всѣмъ упрекамъ и насмѣшкамъ журналовъ, но эта похвала русскихъ грамотныхъ мастеровыхъ такъ для меня лестна, такъ радуетъ меня и утѣшаетъ, что я не промѣняю ея на цѣлые печатные листы журнальной похвалы, и на самые кудрявые французскіе или русскіе комплименты *(разумѣется, еслибы таковые имѣлись)!* Болѣе всего дорожу я мнѣніемъ русскихъ людей, смотрящихъ на вещи и дѣла безпристрастно! Наши судьи *они*, а не литературныя партіи!.. Справьтесь, любезные мои противники, есть ли одинъ русскій грамотный человѣкъ, заглядывающій въ *печатное*, который бы не зналъ: *Ѳ. Б.?*»

Выписавъ выноску или «предъявленіе» Булгарина, выпишемъ и конецъ письма грамотныхъ и безпристрастныхъ цѣнителей Булгарина, мастеровыхъ села Павлова:

«Мы препровождаемъ при семъ карманный ножичекъ*), сдѣланный на имя Булгарина однимъ изъ малоизвѣстныхъ еще мастеровъ нашихъ, Иваномъ Хотянинымъ; онъ теперь человѣкъ молодой, но обѣщаетъ въ себѣ, въ послѣдствіи, по издѣлію, многое. Этотъ ножичекъ и теперь, какъ по чистотѣ отдѣлки, такъ и по прочности въ закалкѣ стали, можетъ стать въ соперничество съ лучшими иностранными издѣліями этого рода, и вчетверо ихъ дешевле. Мы просимъ покорнѣйше господина Ѳаддея Венедиктовича принять его какъ доказательство, что у насъ, въ Павловѣ, фабрикація такихъ издѣлій не только не унижается, но по времени болѣе и болѣе совершенствуется и распространяется. Въ надѣяніи на васъ, имѣемъ честь быть, *и проч.*»

Изъ этого любопытнаго факта для будущаго историка русской литературы мы выводимъ много утѣшительныхъ и отрадныхъ слѣдствій. Исчислимъ нѣкоторыя изъ нихъ:

I. Самые лучшіе и безпристрастные цѣнители литературныхъ заслугъ суть грамотные мастеровые; они же и самые ревностные читатели «Сѣверной Пчелы», а въ особенности статьи Булгарина всегда съ особеннымъ удовольствіемъ они читаютъ и перечитываютъ.

II. Вниманіемъ грамотныхъ мастеровыхъ Булгаринъ дорожитъ больше, чѣмъ литературными отзывами, вѣроятно потому, что отъ послѣднихъ ему уже нечего ожидать, тогда какъ отъ первыхъ, по новости для нихъ этого дѣла, онъ можетъ еще кое-чего надѣяться.

III. Всѣ грамотные люди, заглядывающіе въ печатное, знаютъ, что̀ такое Ѳ. Б.

IV. Ножичекъ подаренъ Булгарину не тремя, или четырьмя мастеровыми села Павлова, какъ значится изъ письма, а цѣлымъ міромъ села Павлова, какъ увѣряетъ Булгаринъ своихъ читателей и цѣнителей (т. е. грамотныхъ мастеровыхъ), и что̀ поэтому онъ, Булгаринъ, будетъ хранить этотъ ножичекъ, какъ вещь драгоцѣнную, хоть онъ и стоитъ всего какихъ-нибудь пять рублей.

V. Мы увѣрены, что черезъ какихъ-нибудь много, много сто лѣтъ «драгоцѣнный ножичекъ» будетъ продаваться дороже пера, которымъ Наполеонъ подписалъ въ Фонтенбло свое отреченіе отъ престола.

*) «Ножичекъ этотъ получилъ я съ благодарностью и берегу, какъ вещь драгоцѣнную, потому что онъ подаренъ мнѣ *цѣлымъ міромъ* села Павлова! отказать я даже не смѣлъ, и сознаюсь, что этотъ пяти-рублевый подарокъ дороже мнѣ весьма многаго драгоцѣннаго! *Ѳ. Б.*».

Литература и ея успѣхи тѣсно связаны съ книжной торговлей и ея успѣхами. Иногда литература можетъ находиться въ состояніи бездѣйствія и апатіи именно потому, что литераторамъ негдѣ помѣщать свои произведенія и нѣтъ средствъ издавать ихъ отдѣльно. Чтобъ посвятить всего себя литературѣ, необходимо въ своей же литературной дѣятельности найти и средства къ своему существованію. Исключеніе остается только за людьми богатыми, которыхъ богатство не зависитъ ни отъ службы, ни отъ торговли, ни отъ другого постояннаго занятія, отнимающаго время и силы, необходимыя для работъ литературныхъ. Въ наше время эта мысль — аксіома; слѣдственно нѣтъ никакой нужды ни развивать, ни доказывать ее. Торговля не унижаетъ и не можетъ унижать таланта, потому что въ обществѣ все торговля, т. е. обмѣнъ труда на деньги, представляющія собой цѣнность вещей. Назадъ тому лѣтъ десять съ небольшимъ понятіе о платѣ за литературный трудъ заключало въ себѣ что-то соблазнительное, неприличное и унизительное, такъ что, когда основалась «Библіотека для Чтенія», одинъ литераторъ написалъ статью «Литература и Торговля», или что-то въ этомъ родѣ. А въ старыя добрыя времена нашей литературы (до самого Пушкина) журналы наши издавались даромъ, и всѣ расходы издателей ограничивались только платой за типографскую работу и бумагу. Писатели были народъ бѣдный, а книгопродавцы наживались. Это происходило отъ дурно понятаго барства, которое боится труда, какъ униженія, а платы за трудъ, какъ позора. Литераторы занимались литературой, какъ благороднымъ, пріятнымъ и даже полезнымъ развлеченіемъ, и въ этомъ выразилось совершенно дѣтское понятіе о литературѣ. Наше время называютъ, въ похвальное отличіе отъ этого добраго стараго времени, торговымъ: мы думаемъ, что его слѣдовало бы въ этомъ отношеніи называть умнымъ. Бывало, какой-нибудь смѣтливый книгопродавецъ наберетъ томовъ пять или, пожалуй, и десятокъ чужихъ сочиненій, хорошихъ и дурныхъ, да и

Digitized by Google

выдастъ ихъ подъ громкимъ и заманчивымъ титуломъ «образцовыхъ сочиненій». Что же? Тѣ, чьи сочиненія попали въ сборникъ, не могли нарадоваться чести, которой ихъ удостоили; а тѣ, которые не попали въ образцовые, считали себя обиженными. Въ журналистикѣ было то же самое: только печатай журналистъ, а статей и переводныхъ, и оригинальныхъ нанесутъ ему множество! И все это «изъ славы», ибо не только подъ всякой стихотворной дребеденью (шарадой, мадригаломъ, рондо, и т. п.) подписывалось имя, но и подъ всякимъ переводомъ, хоть бы въ страничку величиной, чётко и ясно печаталось: «перевелъ такой-то». Видѣть свое имя въ печати— Боже мой! эта такая радость, такая честь, такая слава, что о трудѣ и потерянномъ времени хлопотать не стоитъ! Да и много ли тогда нужно было труда и времени: переведите съ французскаго статейку, скропайте мадригалъ или рондо,— вотъ и извѣстность, и слава, по крайней мѣрѣ на десять лѣтъ, потому что и статейку, и рондо забывали, а литераторомъ, писателемъ, да еще образцовымъ и первокласснымъ величать не переставали. Теперь не то: теперь только развѣ школьники, безбородые отроки готовы забыть и ученье, и службу, и все на свѣтѣ, ради чести видѣть въ печати свое имя; да и тѣ уже, гоняясь за славой, стороной все-таки заводятъ рѣчь о томъ, «по скольку съ листа». Кто же успѣлъ раза два пройтись бритвой по своему юному подбородку, тотъ уже о славѣ и не упоминаетъ, а прямо начинаетъ — съ денегъ. Онъ знаетъ, что теперь зашибить славу довольно трудненько, и что для рѣдкихъ она является благоухающимъ ѳиміамомъ, для большей части бываетъ дымомъ, который выѣдаетъ глаза и производитъ тошноту, особенно въ пустомъ желудкѣ. Что въ наше время много людей, которые пишутъ для однихъ денегъ, безъ познаній, безъ таланта, безъ призванія,—это правда; но что жъ до этого? Если тутъ и зло, то зло необходимое. Развѣ можно требовать уничтоженія вина, потому что на свѣтѣ много пьяницъ?... Истинный талантъ и въ наше время не станетъ писать для денегъ и не захочетъ отдавать своего труда другимъ. Истинный талантъ не скажетъ себѣ: «денегъ нѣтъ, дай-ка что нибудь напишу»; нѣтъ, онъ продастъ уже сдѣланное, написанное не для денегъ. Нужда въ деньгахъ можетъ заставить его только не терять времени на написаніе того, что свободно возникло и развилось въ фантазіи или умѣ его и что осталось ему только положить на бумагу. Да и тутъ желаніе сдѣлать получше часто бываетъ причиной продолженія стѣсненнаго положенія...

Никто не сомнѣвается, что цвѣтущее состояніе книжной торговли, какъ средство обезпеченія трудовъ писателей, много значитъ и для цвѣтущаго состоянія литературы; но едва ли кто, кромѣ «Сѣверной Пчелы», рѣшится утверждать, что капиталистъ-книгопродавецъ можетъ создать литературу своими деньгами! Если цвѣтущее состояніе книжной торговли помогаетъ процвѣтанію литературы, то и цвѣтущее состояніе литературы помогаетъ процвѣтанію книжной торговли: это круговая порука; тутъ все дѣло во взаимодѣйствіи. Деньги поддерживаютъ литературу, но не создаютъ ея: иначе литература была бы слишкомъ пошлымъ явленіемъ въ жизни. Источникъ литературы — духъ, геній, разумъ, историческое положеніе общества...

Digitized by Google

IV. ТЕАТРЪ.

Русскій театръ въ Петербургѣ.

1.

У насъ мало вообще драматическихъ новостей; сценическія же—большая рѣдкость. Обыкновенно бываетъ такъ: приближается время бенефисовъ, и всѣ ждутъ новыхъ пьесъ. Каждый бенефиціантъ даетъ одну, двѣ, иногда и три новыя пьесы; а какъ число бенефисовъ на театрахъ обѣихъ столицъ нашихъ довольно значительно впродолженіе каждаго года, то и число новыхъ пьесъ очень значительно. Но, къ сожалѣнію, отъ этого никто не въ выигрышѣ—ни публика, ни драматическая литература, ни сцена, ни артисты, которые желаютъ для себя ролей, достойныхъ своего таланта. Обыкновенно эти новости—водевили, переведенные съ французскаго или «передѣланные изъ французскихъ», какъ пишется въ театральныхъ афишкахъ и въ «Репертуарѣ» Песоцкаго; на самомъ же дѣлѣ это не переведенные и не передѣланные, а развѣ насильно перетащенные съ французской сцены на русскую. Мудрено ли послѣ этого, что они являются передъ русской публикой растрепанные, изорванные, съ тупыми остротами, плоскими шутками, плохими куплетами? Надѣньте на француза смурый кафтанъ, подпояшьте его кушакомъ, обуйте въ онучи и лапти, подвяжите ему густую, окладистую бороду и заставьте его даже браниться по-русски,—онъ все не будетъ русскимъ мужикомъ, а на зло себѣ и вамъ останется французомъ въ костюмѣ русскаго мужика, слѣдовательно, ни французомъ, ни русскимъ, а карикатурой того и другого, образомъ безъ лица. Вотъ таковато характеристика и нашихъ переводныхъ и передѣлочныхъ водевилей! Въ чтеніи они не имѣютъ смысла, а на сценѣ вялы и безжизненны.

Но изъ множества бенефисныхъ пьесъ въ пяти усыпительныхъ актахъ и пьесокъ не длиннѣе воробьинаго носа, изъ всей этой груды тотчасъ забываемаго хлама почти каждый годъ получаетъ большой успѣхъ одна пьеса—и на просторѣ, за неимѣніемъ даже неопасныхъ соперниковъ, шумитъ себѣ до слѣдующаго театральнаго года, пока новая пьеса такого же рода не столкнетъ ее въ Лету. Такъ, въ прошломъ году шумѣли «Дѣдушка Русскаго Флота», «Параша Сибирячка»; такъ недавно шумѣлъ «Синичкинъ» Ленскаго; такъ теперь шумятъ «Петербургскія Квартиры» Кони. Это обыкновенные водевили, взятые прямо изъ русской жизни. Даже самый плохой актеръ, играя роль въ такой пьесѣ, чувствуетъ себя въ своей тарелкѣ и играетъ не только со смысломъ, но и съ жизнью; о талантливыхъ артистахъ нечего и говорить. Въ ходѣ пьесы всегда больше или меньше замѣтна общность. Публика живо заинтересована, потому что каждый изъ зрителей видитъ знакомое себѣ, совершенно понятное, видитъ тѣ лица, которыхъ сейчасъ только оставилъ, изъ которыхъ одни ему друзья, другіе—враги, однимъ онъ готовъ поклониться изъ своихъ креселъ, на другихъ хохотомъ вымѣщаетъ онъ свою досаду. Такого рода пьесы нельзя и не должно слишкомъ строго судить. Каковы бы ни были ихъ недостатки и какъ бы ни незначительно было ихъ поэтическое и даже просто литературное достоинство, на нихъ слѣдуетъ смотрѣть сквозь пальцы и, улыбаясь, похваливать. Что наша публика цѣнитъ ихъ слишкомъ высоко, что за какую-нибудь удачную (сравнительно съ другими) пьесу она готова вызвать автора хоть десять разъ съ ряду, на это тоже не слѣдуетъ смотрѣть слишкомъ строго. Всякое сильное возстаніе противъ этого можетъ показаться донкихотскимъ ратованіемъ противъ вѣтреныхъ мельницъ. И въ самомъ дѣлѣ, не смѣшно ли стараться увѣрить кого-нибудь, что «Мирошка и Филатка»—глупость, а иная «мѣщанская» или «слезная комедія»—пошлость, если этотъ кто-нибудь отъ души восхищается «Филаткой и Мирошкой» и почитаетъ великимъ созданіемъ «слезно-мѣщанскую комедію съ пантомимными танцами»?... Всякому свое—лишь бы восхищались чѣмъ-нибудь! А частые вызовы «сочинителей» и актеровъ? Что жъ вамъ до нихъ? Кто любитъ покричать—во здравіе! Притомъ же большая часть кричитъ съ самымъ невиннымъ намѣреніемъ, чтобы дать замѣтить свое присутствіе и показать тонкость своего эстетическаго вкуса. Кромѣ этихъ дѣйствительно почтенныхъ господъ, есть и такіе, которые думаютъ, что если ужъ тратить деньги, такъ не даромъ, а для того, чтобы досмотрѣть все до конца и вдоволь накричаться. Если же вамъ это рѣшительно не нравится, ходите въ Михайловскій театръ, публика котораго гармонируетъ со сценой.

2.

Театръ! театръ! какимъ магическимъ словомъ былъ ты для меня во время оно! какимъ невыразимымъ очарованіемъ потрясалъ ты тогда всѣ стру-

Digitized by Google

ны души моей, и какіе дивные аккорды срывалъ ты съ нихъ!... Въ тебѣ я видѣлъ весь міръ, всю вселенную, со всѣмъ ихъ разнообразіемъ и великолѣпіемъ, со всей ихъ заманчивой таинственностью! Что̀ передъ тобой былъ для меня и вѣчноголубой куполъ неба, съ своимъ свѣтозарнымъ солнцемъ, блѣдноликой луной и міріадами томноблестящихъ звѣздъ,—и угрюмо-безмолвные лѣса, и зеленыя рощи, и веселыя поля; и даже само море, съ своей тяжко-дышащей грудью, съ своимъ немолчнымъ говоромъ валовъ и грустнымъ ропотомъ волнъ, разбивающихся о неприступный берегъ?... Твои тряпичныя облака, масляное солнце, луна и звѣзды, твои холстинныя деревья, твои деревянныя моря и рѣки больше пророчили жадному чувству моему, больше говорили томящейся ожиданьемъ чудесъ душѣ моей!... Такъ сильно было твое на меня вліяніе, что даже и теперь, когда ты такъ обманулъ, такъ жестоко разочаровалъ меня, даже и теперь этотъ еще пустой, но уже ярко-освѣщенный амфитеатръ, и медленно собирающаяся въ него толпа, эти нескладные звуки настраиваемыхъ инструментовъ,—даже и теперь все это заставляетъ трепетать мое сердце какъ-бы отъ предчувствія какого-то великаго таинства, какъ-бы отъ ожиданія какого-то великаго чуда, сейчасъ готоваго совершиться передъ моими глазами... А тогда!.. Вотъ съ послѣднимъ ударомъ смычка быстро взвилась таинственная занавѣсь, сквозь которую тщетно рвался нетерпѣливый взоръ мой, чтобъ скорѣе увидѣть скрывающійся за нею волшебный міръ, гдѣ люди такъ не похожи на обыкновенныхъ людей, гдѣ они или такъ невыразимо добры, или такіе ужасные злодѣи, и гдѣ женщины такъ обаятельно, такъ неотразимо хороши, что, казалось, за одинъ взглядъ каждой изъ нихъ отдалъ бы тысячу жизней!.. Сердце бьется рѣдко и глухо, дыханіе замерло на устахъ,—и на волшебной сценѣ все такъ чудесно, такъ полно очарованія; молодое, неискушенное чувство такъ всѣмъ довольно, и, Боже мой! съ какой полнотой въ душѣ выходишь, бывало, изъ театра, сколько впечатлѣній выносишь изъ него!... Но духъ движется, растетъ и мужаетъ, фантазія опережаетъ дѣйствительность: чувство горделиво оставляетъ за собой и опытъ, и разсудокъ, и возможность; въ душѣ возникаютъ неясные идеалы, и духи лучшаго міра незримо, но слышимо летаютъ вокругъ васъ и манятъ за собою въ лучшую сторону, въ лучшій міръ... Такъ и мнѣ на театрѣ сталъ мечтаться другой театръ, на сценѣ—другая сцена, а изъ-за лицъ, къ которымъ уже приглядѣлись глаза мои, стали мерещиться другія лица, съ такимъ чуднымъ выраженіемъ, такъ непохожія на жильцовъ здѣшняго, дольнаго міра... Декорація какого-нибудь совершенно невиннаго въ здравомъ смыслѣ водевиля, представлявшаго комнату помѣщика или чиновника, превращалась въ глазахъ моихъ въ длинную галлерею, на концѣ которой рисовался въ полусумракѣ образъ какой-то страшной женщины съ прекраснымъ лицомъ, распущенными волосами и открытой грудью. Дико вращала она вокругъ себя расширенные внутреннимъ ужасомъ зрачки свои и, потирая обнаженной рукою другую руку, оледеняющимъ голосомъ шептала: «Прочь, проклятое пятно! прочь, говорю я! одно, два! однакожъ кто могъ думать, что въ старикѣ такъ много крови!»... То была леди Макбетъ... За нею вдали высился колоссальный образъ мужчины: въ рукѣ его былъ окровавленный кинжалъ, глаза его дико блуждали, а блѣдныя, посинѣлыя уста невнятно лепетали: «Макбетъ зарѣзалъ сонъ, и впредь отнынѣ ужъ не спать Макбету!»... Въ пищаніи какой-нибудь водевильной примадонны, пѣвшей куплетъ съ плоскими остротами и несовсѣмъ благопристойными экивоками, слышался мнѣ умоляющій голосъ Дездемоны, ея глухія рыданія, ея предсмертные вопли... Въ пошломъ объясненіи какого-нибудь мелодраматическаго любовника съ плѣнившей его чиновническое сердце «барышней» представлялась мнѣ ночная сцена въ саду Ромео съ Юліей, слышались ихъ гармоническія слова любви, столь полныя такого небеснаго значенія, и я самъ боялся весь улетучиться во вздохъ блаженствующей любви... То вдругъ и неожиданно являлся царственный старецъ и съ ревомъ бури, съ грохотомъ грома соединялъ страшныя слова отцовскаго проклятья неблагодарнымъ и жестокосердымъ дочерямъ... Чудесный міръ! въ немъ было мнѣ такъ хорошо, такъ привольно: сердце билось такимъ двойнымъ бытіемъ; внутреннему взору видѣлись вереницы такихъ свѣтлыхъ духовъ любви и блаженства, и мнѣ недоставало только другой груди, другой души—нѣжной и любящей, которой передалъ бы я мои дивныя видѣнія, и я живѣе чувствовалъ тоску одиночества, сильнѣе томился жаждой любви и сочувствія... На сценѣ говорили, ходили, пѣли; публика зѣвала и хлопала, смѣялась и шикала,—а я, не глядя, глядѣлъ вдаль, окруженный своими магнетическими ясновидѣніями, и выходилъ изъ театра, не помня, что̀ въ немъ дѣлалось, но довольный своими мечтами, своимъ тоскливымъ порываніемъ... Душа ждала совершенія чуда и дождалась... О, ежели жизнь моя продолжится еще на десять разъ во столько, сколько я уже прожилъ,—и тогда, даже въ минуту вѣчной разлуки съ нею, не забуду я этого невысокаго, блѣднаго человѣка съ такимъ благороднымъ и прекраснымъ лицомъ, осѣненнымъ черными кудрями*), котораго голосъ то лился прозрачными волнами сладостной мелодіи, воспоминая о своемъ великомъ отцѣ, то превращался въ львиное рыканіе, когда обвинялъ себя въ позорной слабости воли, то, подобясь бурѣ, гремѣлъ громами небесными (глаза, дотолѣ столь кроткіе и меланхолическіе, бросали изъ себя молніи), когда по открытіи ужасной тайны братоубійства онъ потрясалъ огромный амфитеатръ своимъ нечеловѣческимъ хохотомъ, а зрители сливались въ одну душу, и — то съ испуганнымъ взоромъ,

*) Мочалова въ роли Гамлета.

Digitized by Google

затаивъ дыханіе, смотрѣли на страшнаго художника, то единодушными воплями тысячей восторженныхъ голосовъ, единодушнымъ плескомъ тысячей рукъ въ свою очередь заставляли дрожать своды зданія!... Увидѣлъ я и его—того чернаго мавра, того великаго ребенка, который, полюбивши, не умѣлъ назначить границъ своей любви, а, предавшись подозрѣнію, шелъ, не останавливаясь, до тѣхъ поръ, пока не палъ его жертвой, истребивъ проклятой рукой лучшій, благоуханнѣйшій цвѣтокъ, какой когда-либо цвѣлъ подъ небомъ... О, и теперь еще возмущаютъ сонъ мой эти ужасныя, тихо сказанныя слова: «Что ты сдѣлала, безстыдная женщина! что ты сдѣлала?...» Какъ и тогда, вижу передъ собой этотъ гордый, низверженный грозой дубъ, когда колеблющимися шагами, съ блуждающимъ взоромъ то подходилъ онъ къ своей уже безотвѣтной жертвѣ, то бросался къ двери, за которой стучался страшный свидѣтель невинности его жертвы... Все это я видѣлъ на сценѣ того великаго города, въ нѣдрахъ котораго бьется пульсъ русской жизни, гдѣ люди живутъ для жизни, и если, пробудившись отъ дремоты повседневнаго быта, предаются наслажденію, то предаются ему широко и вольно, со всей полнотой самозабвенія,—на сценѣ того маститаго, царственнаго города, гдѣ все великое находитъ свой отзывъ въ душахъ и гдѣ самая толпа полна таинственной думы, какъ лѣсъ или море...

Я уже начиналъ было думать, что увидѣлъ въ театрѣ все, что можетъ театръ показать и чего можно отъ театра требовать; но всякому очарованію бываетъ конецъ,—моему былъ тоже... Я началъ замѣчать, что всегда вижу одно только лицо Шекспировской драмы, но ни другихъ лицъ, ни самой драмы не вижу, и что когда сходитъ со сцены главное лицо, то все темнѣетъ, умираетъ и томится, становится такъ пошло, теряетъ всякій смыслъ.. Скоро я увѣрился, что хотя бы силы главнаго актера равнялись силамъ древняго Атланта, все же ему одному не поддержать на своихъ плечахъ громаднаго зданія Шекспировской драмы, да и въ своихъ роляхъ не можетъ онъ быть одинаково вдохновенъ и одинаково хорошъ... Мнѣ стало и досадно, и больно...

Но вотъ пришло время, почтенный читатель, когда я уже не досадую, кромѣ развѣ тѣхъ случаевъ, когда, увидѣвъ въ длинной афишѣ нѣсколько новыхъ пьесъ и надъ ними роковую надпись: *въ первый разъ*—иду себѣ, какъ присяжный рецензентъ, въ храмъ искусства драматическаго, который для меня давно уже пересталъ быть храмомъ... Боже мой! какъ я перемѣнился!... Но эта метаморфоза—общій удѣлъ всѣхъ людей: и вы, мой благосклонный читатель, измѣнитесь, если еще не измѣнились... Итакъ... Но прежде, чѣмъ кончите мою элегію въ прозѣ, я хочу попросить васъ объ одномъ: вы можете меня читать или не читать—какъ вамъ угодно, но Бога ради, не смотрите съ ненавистью, какъ на человѣка злого и недоброжелательнаго, на того, кто въ лѣта суроваго опыта, обнажившаго передъ нимъ дѣйствительность, протирая глазъ отъ ѣдкаго дыма лопающихся, подобно шутихамъ, фантазій,—на все смотритъ мрачно, всему придаетъ какую-то важность и обо всемъ судитъ съ желчной злостью: можетъ-быть это происходитъ оттого, что нѣкогда его сердце билось однимъ безконечнымъ, а въ душѣ жили высокіе идеалы, а теперь его сердце полно одного безконечнаго страданія, а идеалы разлетѣлись при грозномъ свѣточѣ опыта, и онъ своимъ докучливымъ ворчаньемъ мститъ дѣйствительности за то, что она такъ жестого обманула его...

3.

Театральная лѣтопись наша,—такъ уже пришлось, не наша вина—начинается на новый годъ шумно, размашисто,—начинается удивительной вещью, которая значится на афишѣ такъ:

Александръ Македонскій.

Историческое представленіе въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ, съ хорами и военными маршами, соч. М. М.

Дѣйствующихъ лицъ въ этомъ историческомъ представленіи—*тридцать четыре*, не считая хора жрецовъ вѣчнаго огня, амазонокъ, оруженосцевъ, свиты Александра, двора Дарія, жителей Вавилона, войскъ обоихъ царей,—что въ совокупности можетъ составить милліона два по крайней мѣрѣ, ибо извѣстно по исторіи, Вавилонъ былъ городъ многолюдный, войска Дарія-Кодомана безчисленны, такъ что тридцати-тысячное войско Александра казалось передъ ними не болѣе, какъ вахтъ-парадомъ.

Подлинно, великолѣпное «историческое представленіе»: и хоры, и марши, и пожаръ на сценѣ, и амазонки, и войска, и жрецы, и цѣлое народонаселеніе Вавилона... Не достаетъ только цыганъ; а будь они,—и мы поздравили бы публику Александринскаго театра съ великимъ пріобрѣтеніемъ, какого она не имѣла еще...

Съ именемъ Александра Македонскаго возникаетъ въ душѣ созерцаніе чего-то безконечно колоссальнаго—одна изъ тѣхъ исполинскихъ фигуръ, которыя, подобно древнему Атланту, въ состояніи поддерживать на раменахъ своихъ зданіе вселенной. Александръ былъ послѣднимъ цвѣтомъ греческой жизни,—и какимъ роскошнымъ, пышнымъ, благоуханнымъ цвѣтомъ! Огонь вспыхиваетъ ярче, готовясь угаснуть въ лампѣ: Александръ Македонскій былъ послѣдней и самой яркой вспышкой лучезарнаго огня греческой жизни, уже потухавшаго въ самой Элладѣ—своемъ прекрасномъ отечествѣ, и тѣмъ сильнѣе отразившемся на полудикомъ сѣверѣ, у полудикихъ македонянъ. Есть у всякаго народа свои представители, въ характеристическихъ чертахъ которыхъ отпечатлѣвается весь народъ, вся особность его духа, вся особность его

Digitized by Google

формы. Много было такихъ представителей у грековъ; но я не знаю образовъ болѣе типическихъ, фигуръ болѣе колоссальныхъ, какъ эти, словно изваянныя изъ мрамора, лица: Гомеръ, Платонъ и Алкивіадъ,—первый, какъ представитель греческой поэзіи; второй, какъ представитель греческой философіи; третій, какъ представитель грековъ въ политической и частной ихъ жизни. Надобно было, чтобъ подлѣ этихъ трехъ сталъ четвертый образъ, четвертое лицо, которое, усвоивъ себѣ всю жизнь трехъ предшествовавшихъ, заслонило ихъ собою въ глазахъ человѣчества, облекшись въ миѳическое величіе и, подъ именемъ Искандера, наполнило собой даже невѣжественный мухамеданскій востокъ нашего времени. Сынъ знаменитаго царя, воспитанникъ великаго Аристотеля—ученика «божественнаго Платона» (ученика Сократова), отрокъ Александръ знаетъ наизусть «Иліаду» и жалуется, что побѣды отца его Филиппа похищаютъ у него средства къ будущей громадной славѣ. Двадцати двухъ-лѣтній государь, онъ снова усмиряетъ возставшіе при извѣстіи о смерти отца его народы; въ это время его первыхъ побѣдъ распространяется слухъ о его будто бы внезапной смерти, и возставшая Греція силится осуществить мечту о былой свободѣ; Александръ снова завоевываетъ Грецію, и завоевываетъ ее столько же силой меча, сколько и силой своего благороднаго духа, своего великаго генія. Онъ является въ Греціи не варваромъ-побѣдителемъ, но истиннымъ аѳинянином. Разрушивъ до основанія Ѳивы, онъ щадитъ домъ поэта Пиндара; въ мщеніи аѳинянамъ довольствуется только изгнаніемъ нѣсколькихъ лицъ, особенно возставшихъ на него; идетъ къ цинику Діогену, позволяетъ ему просить какихъ угодно милостей; переправившись съ войскомъ въ Малую Азію, приноситъ жертву на гробѣ Ахилла, громко ревнуя этому герою баснословной древности, что онъ имѣлъ другомъ Патрокла и пѣвцомъ Гомера. Разбивъ персіянъ при Граникѣ и разрубивъ въ Гордіи знаменитый гордіевъ узелъ, Александръ жестоко занемогаетъ; его предостерегаютъ безыменнымъ письмомъ противъ врача его, будто бы подкупленнаго Даріемъ отравить его: Александръ подаетъ врачу письмо и въ ту же минуту выпиваетъ лѣкарство. Не видно ли здѣсь того, что̀ составляетъ сущность европейскаго духа и отличіе Европы отъ Азіи,—того, что̀ нѣкогда явилось въ Европѣ среднихъ вѣковъ рыцарствомъ?... Извѣстно, какъ благородно, какъ человѣчески, какъ европейски поступилъ онъ съ плѣненнымъ семействомъ Дарія послѣ битвы при Иссѣ! Разбивъ Дарія во второй разъ, онъ оставляетъ Персію, будто не заботясь о покореніи ея, какъ о дѣлѣ уже рѣшенномъ, завоевываетъ восточный берегъ Средиземнаго моря (Сирію, Палестину), освобождаетъ отъ персидскаго ига Египетъ, основываетъ городъ Александрію—столицу всемірной торговли и всемірнаго просвѣщенія, завѣщаннаго ей умирающей Греціей; оттуда переходитъ ливійскія степи, чтобъ чрезъ прорицалище Юпитера Аммона удостовѣрить міръ въ своемъ божескомъ происхожденіи. Какая ненасытимая жажда дѣятельности! Для этой необъятной души тѣсенъ былъ міръ! Герой и представитель древняго міра, Александръ не могъ насытиться созерцаніемъ своего величія и, можетъ быть покоряясь невольно духу греческаго язычества, не могъ искренно не усомниться въ своемъ человѣческомъ происхожденіи и не увидѣть въ себѣ новаго Иракла-полубога, сына Олимпіи, жены Филиппа, и Зевса-громовержца, отца боговъ и человѣковъ!... И было отчего загордиться этому человѣку: въ немъ жили міры, народы и вѣка; его думы не принадлежали какой-нибудь странѣ, но всей извѣстной тогда части земного шара,—не принадлежали какому-нибудь народу, но всему человѣчеству; его власть признана была вселенной не посредствомъ грубой матеріальной силы, но авторитетомъ генія, который, порабощая, освобождалъ, который, собирая дани и клятвы въ вѣрности, давалъ греческое просвѣщеніе и законы... Александръ сдѣлался царемъ народовъ и царей, властелиномъ міра—онъ, начальникъ тридцатипяти тысячнаго войска! Но это войско было македонская фаланга. Видите ли: могущество Александра зависѣло отъ того, что въ его личности отразился геній Европы... Одержавъ послѣднюю рѣшительную побѣду надъ Даріемъ при Арбеллахъ и покоривъ Вавилонъ и Сузу, Александръ съ торжествомъ входитъ въ Персеполь. Упоенный своей славой, онъ предается наслажденію со всей силой великой души, которая ни въ чемъ не знаетъ мѣры. Въ угоду своей любовницы онъ сожигаетъ Персеполь; но, устыдясь этого поступка, снова предается войнѣ и преслѣдуетъ Дарія. Увидѣвъ Дарія, умирающаго отъ ранъ, нанесенныхъ ему измѣнникомъ сатрапомъ, Александръ заливается слезами и велитъ предать землѣ тѣло царственнаго врага своего со всѣми почестями, приличными его сану и сообразными съ обычаями страны. И вотъ онъ объявляетъ себя царемъ Азіи, покоряетъ Гирканію, Бактріану, проходитъ Кавказскія горы и первый изъ грековъ узнаетъ о существованіи Каспійскаго моря. Возвратясь въ Бактріану, онъ убиваетъ на пиру друга и спасителя жизни своей. Жалкое заблужденіе, горестный проступокъ! Но и тутъ Александръ былъ Александромъ: въ то время какъ персидскіе деспоты хладнокровно отдавали палачамъ ближнихъ своихъ, друзей и родственниковъ, и заставляли трепетать рабскимъ страхомъ даже отцовъ и матерей, женъ и дѣтей своихъ,—Александръ убиваетъ друга на пиршествѣ собственной рукой въ припадкѣ гнѣва, усиленнаго неумѣреннымъ употребленіемъ вина: проступокъ человѣка, но не возмутительное дѣйствіе азіатскаго деспота! И какъ горько оплакалъ Александръ свой проступокъ! Онъ лежалъ нѣсколько дней на полу, не принимая пищи, испуская вопли и терзая волосы на головѣ своей! Онъ говорилъ: «какъ увижу я, какъ буду смотрѣть я въ глаза престарѣлой матери Клита, когда она спроситъ меня о своемъ сынѣ!» Видите ли: царь почти всего свѣта боялся бѣдной старухи, участь которой зависѣла отъ од-

Digitized by Google

ного движенія его пальца! Это Европа—страна мысли, разума, свободы, человѣчности! По возвращеніи изъ Индіи онъ лишается любимца своего Эфестіона, и эта потеря повергаетъ его въ безпредѣльную горесть: какая высокая душа, какое любящее сердце!... Смерть пресѣкаетъ гигантскіе планы, начертанные имъ для судебъ покорнаго ему міра: онъ умираетъ въ Вавилонѣ тридцати двухъ лѣтъ отъ роду.

Какое великое поприще! сколько великихъ дѣлъ —въ тридцать два года! Понятно, что этотъ геній сдѣлался легендой міра, миѳомъ исторіи. Египтяне и другіе народы воздавали божескія почести его бреннымъ останкамъ; фантазія народовъ придала ему баснословныя дѣйствія, заставивъ его летать на грифахъ для обозрѣнія земного шара, спускаться на дно морское подъ стекляннымъ колоколомъ, странствовать по мрачной области для отысканія живой воды, встрѣчаться съ ужасными людьми-звѣрями и разными чудовищами, выслушивать пророчество о своей смерти отъ двухъ деревъ въ Индіи, высокихъ почти до неба и изъ которыхъ одно называлось деревомъ солнца, а другое—деревомъ луны, и пр., и пр.

И вотъ какое дивное историческое лицо избралъ героемъ своей драмы какой-то неизвѣстный сочинитель М. М., вѣроятно надѣявшійся замѣнить талантъ безпримѣрной отвагой! Можетъ ли цѣлая жизнь Александра Македонскаго быть содержаніемъ одной драмы? Гдѣ та живая мысль, которая стянула бы въ двухчасовой промежутокъ времени этотъ роскошный, многосложный эпосъ, который въ своей магической дѣйствительности не блѣднѣетъ, а горитъ лучезарнымъ солицемъ и при самой «Иліадѣ»? Но—виноваты, мы забыли, что при нѣкоторыхъ оригинальныхъ россійскихъ драмахъ неумѣстны всѣ вопросы, задаваемые философіей, исторіей и искусствомъ; мы забыли даже, что намъ не слѣдовало бы упоминать объ историческомъ Александрѣ, говоря объ «Александрѣ Македонскомъ». Ну, да ужъ такъ и быть: что̀ написано, то написано,— пусть такъ и остается!

«Александръ Македонскій» М. М. есть одно изъ тѣхъ бѣдныхъ произведеній, которыя даже не возбуждаютъ смѣха, какъ ни смѣшны они противорѣчіемъ между ихъ претензіями и выполненіемъ. Разсказывать содержаніе этой драмы нѣтъ никакой возможности, потому что въ ней нѣтъ никакого содержанія, а есть вмѣсто его какая-то путаница, составленная изъ пажей Александра Македонскаго и турецкихъ барабановъ въ оркестрѣ его македонской фаланги, изъ хоровъ, танцевъ, маршей, громкихъ фразъ, множества лицъ, которыя Богъ знаетъ для чего толкутся на сценѣ, ищутъ другъ друга какъ въ жмуркахъ, говорятъ другъ другу какіе-то монологи и думаютъ, что они дѣло дѣлаютъ. Между дѣйствующими лицами всѣхъ забавнѣе самъ Александръ Македонскій: онъ показывается передъ публикой и спящимъ, и декламирующимъ стихи изъ «Иліады», и пьянствующимъ, и со свѣчкой въ рукахъ зажигающимъ Персеполь; но публика никакъ не понимаетъ, зачѣмъ онъ передъ ней является, и чего отъ нея хочетъ. Изъ Тамы, любовницы Александра, М. М. сдѣлалъ жену какого-то грека, влюбленную въ Дарія-Кодомана и мстящую его семейству. Александра онъ заставилъ влюбиться въ жену Дарія-Кодомана, а въ Александра заставилъ влюбиться какую-то Ѳалестрису —изволите видѣть — царицу амазонокъ, которая вмѣстѣ съ Тамой отравляетъ Статиру, жену Дарія. Лучшее въ пьесѣ — пажи, турецкій барабанъ и амазонки: въ нихъ (особенно въ турецкомъ барабанѣ) видно самобытное творчество сочинителя, творенію котораго, кажется, пропѣта уже вѣчная память...

Братья-враги, или Мессинская невѣста.

Трагедія въ трехъ дѣйствіяхъ, соч. Шиллера.

Не «Братья-Враги», а просто «Мессинская Невѣста» Шиллера, и притомъ въ переводѣ Ротчева, нарочно для представленія сокращеннымъ. Эта лирическая трагедія есть попытка Шиллера воскресить древнюю греческую трагедію: вотъ для чего онъ основалъ свою «Мессинскую Невѣсту» на идеѣ предопредѣленія и неизбѣжнаго рока, и ввелъ въ нее хоръ. Хотя идея предопредѣленія и производитъ на душу непріятное, анти-поэтическое впечатлѣніе, какъ ржавая и скрипучая пружина,— однако трагедія Шиллера есть высокое произведеніе въ своемъ родѣ: пламенное, бурное, порывистое одушевленіе. Шиллеровскій паѳосъ, раздирающія душу трагическія положенія, превосходные стихи, волны лиризма, разливающагося широкимъ потокомъ—вотъ отличительныя качества «Мессинской Невѣсты». Мы никакъ не думали, чтобъ лирическая трагедія могла быть поставлена на сцену и производить съ нея какой-либо эффектъ; но теперь вполнѣ убѣдились, что еслибъ, даже только при умной, отчетливой, но не одушевленной, не проникнутой страстью игрѣ главныхъ лицъ, вся пьеса въ цѣломъ хорошо выполнялась,—то производила бы на зрителей еще болѣе сильное и потрясающее дѣйствіе, чѣмъ другія трагедіи Шиллера.

Князь Даніилъ Дмитріевичъ Холмскій.

Драма въ пяти актахъ, въ стихахъ и въ прозѣ, сочиненіе Н. В. Кукольника.

Репертуаръ русской сцены необыкновенно бѣденъ. Причина очевидна: у насъ нѣтъ драматической литературы. Правда, русская литература можетъ хвалиться нѣсколькими драматическими произведеніями, которыя сдѣлали бы честь всякой европейской литературѣ; но для русскаго театра это скорѣе вредно, чѣмъ полезно. Геніальныя со-

Digitized by Google

зданія русской литературы въ трагическомъ родѣ написаны не для сцены: «Борисъ Годуновъ» едва ли бы произвелъ на сценѣ то, что̀ называется эффектомъ и безъ чего пьеса падаетъ, а между тѣмъ онъ потребовалъ бы такого выполненія, какого отъ нашего театра и ждать невозможно. «Борисъ Годуновъ» писанъ для чтенія. Мелкія драматическія поэмы Пушкина, каковы: «Моцартъ и Сальери», «Пиръ во время Чумы», «Русалка», «Скупой Рыцарь», «Рыцарскія Сцены», «Каменный Гость»,—неудобны для сцены по двумъ причинамъ: онѣ слишкомъ еще мудрены и высоки для нашей театральной публики, и требовали бы геніальнаго выполненія, о которомъ намъ и мечтать не слѣдуетъ. Что̀ же касается до комедіи, у насъ всего двѣ комедіи — «Горе отъ ума» и «Ревизоръ»; онѣ могли бы, особливо послѣдняя, не говоримъ—украсить, но обогатить любую европейскую литературу. Обѣ онѣ выполняются на русской сценѣ лучше, нежели что-нибудь другое; обѣ онѣ имѣли неслыханный успѣхъ, выдержали множество представленій и никогда не перестанутъ доставлять публикѣ величайшее наслажденіе. Но это-то обстоятельство, будучи съ одной стороны чрезвычайно благодѣтельно для русскаго театра, въ то же время и вредно для него. Съ одной стороны, несправедливо было бы требовать отъ публики, чтобъ она круглый годъ смотрѣла только «Горе отъ ума» да «Ревизора» и не желала видѣть что-нибудь новое, нѣтъ—новость и разнообразіе необходимы для существованія театра: всѣ новыя произведенія національной литературы должны составлять капитальныя суммы его богатства, которыми однѣми можетъ держаться его кредитъ; такія пьесы должны даваться не вседневно, идти не заурядъ,—напротивъ, ихъ представленія должны быть праздникомъ, торжествомъ искусства; вседневной же пищей сцены должны быть произведенія низшія, бедлетрическія, полныя живыхъ интересовъ современности, раздражающія любопытство публики: безъ богатства и обилія въ такихъ произведеніяхъ театръ походитъ на призракъ, а не на что-нибудь дѣйствительно существующее. Съ другой стороны, что̀ же прикажете намъ смотрѣть на русской сценѣ послѣ «Горя отъ Ума» и «Ревизора»? Вотъ это-то и почитаемъ мы вредомъ, который эти пьесы нанесли нашему театру, объяснивъ намъ живымъ образомъ—фактомъ, а не теоріей—тайну комедіи, представивъ намъ собою ея высочайшій идеалъ. Есть-ли у насъ что-нибудь такое, что̀ бы сколько-нибудь, хотя относительно,—не говоримъ, подходило подъ эти пьесы, но—не оскорбляло послѣ нихъ эстетическаго чувства и здраваго смысла? Правда, иная пьеса еще и можетъ понравиться, но не больше, какъ одинъ разъ,—и надо слишкомъ много самоотверженія и храбрости, чтобъ рѣшиться видѣть ее во второй разъ. Да и все достоинство такихъ пьесъ состоитъ въ томъ только, что онѣ не лишаютъ актеровъ возможности выказать свои таланты, а совсѣмъ не въ томъ, чтобъ онѣ давали актерамъ средства развернуть свои дарованія. Вообще по крайней мѣрѣ половина нашихъ актеровъ чувствуютъ себя выше пьесъ, въ которыхъ играютъ,—и они въ этомъ совершенно справедливы. Отсюда происходитъ гибель нашего сценическаго искусства, гибель нашихъ сценическихъ дарованій (на скудость которыхъ мы не можемъ пожаловаться): нашему артисту нѣтъ ролей, которыя требовали бы съ его стороны строгаго и глубокаго изученія, съ которыми надобно бы ему было побороться, помѣриться, словомъ — до которыхъ бы ему должно было постараться возвысить свой талантъ; нѣтъ, онъ имѣетъ дѣло съ ролями ничтожными, пустыми, безъ мысли, безъ характера,—съ ролями, которыя ему нужно натягивать и растягивать до себя. Привыкши къ такимъ ролямъ, артистъ привыкаетъ торжествовать на сценѣ своимъ личнымъ комизмомъ, безъ всякаго отношенія къ роли, привыкаетъ къ фарсамъ, привыкаетъ смотрѣть на свое искусство какъ на ремесло, и много-много если заботится о томъ, чтобъ протвердить роль: объ изученіи же ея не можетъ быть и слова. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ такое наши драматическія пьесы? Разсмотримъ ихъ.

Мы пока исключимъ изъ нашего разсмотрѣнія трагедію — о ней рѣчь впереди, — а поговоримъ только о тѣхъ пьесахъ, которыя не принадлежатъ ни къ трагедіи, ни къ комедіи собственно, хотя и обнаруживаютъ претензіи быть и тѣмъ, и другимъ вмѣстѣ,—пьесы смѣшанныя, мелкія, трагедіи съ тупоумными куплетами, комедіи съ усыпительными патетическими сценами, словомъ,—этотъ винегретъ бенефисовъ, предметъ нашей Театральной Лѣтописи.

Онѣ раздѣляются на три рода: 1) пьесы, переведенныя съ французскаго, 2) пьесы, передѣланныя съ французскаго, 3) пьесы оригинальныя. О первыхъ прежде всего должно сказать, что онѣ большей частью неудачно переводятся, особенно водевили. Водевиль есть любимое дитя французской національности, французской жизни, фантазіи, французскаго юмора и остроумія. Онъ непереводимъ, какъ русская народная пѣсня, какъ басня Крылова. Наши переводчики французскихъ водевилей переводятъ слова, оставляя въ подлинникѣ жизнь, остроумію и грацію. Остроты ихъ тяжелы, каламбуры вытянуты за уши, шутки и намеки отзываются духомъ чиновниковъ пятнадцатаго класса. Сверхъ того для сцены эти переводы еще и потому не находка, что наши актеры, играя французовъ, на зло себѣ остаются русскими,—точно такъ же, какъ французскіе актеры, играя «Ревизора», на зло себѣ остались бы французами. Вообще водевиль—прекрасная вещь только на французскомъ языкѣ, на французской сценѣ, при игрѣ французскихъ актеровъ. Подражать ему такъ же нельзя, какъ и переводить его. Водевиль русскій, нѣмецкій, англійскій—всегда останется пародіей на французскій водевиль. Недавно въ какой-то русской газетѣ было извѣщено, что пока-де нашъ водевиль подражалъ французскому, онъ никуда не годился; а какъ-де скоро сталъ на собственныя ноги, то вы-

Digitized by Google

шелъ изъ него молодецъ хоть куда—почище и французскаго. Можетъ быть это и такъ, только признаемся, если намъ случалось видѣть русскій водевиль, который ходилъ на собственныхъ ногахъ, то онъ всегда ходилъ на кривыхъ ногахъ, и, глядя на него, мы невольно вспоминали эти стихи изъ русской народной пѣсни:

Ахъ, ножища-то—что вилища!
Ручища-то—что граблища!
Головища—что пивной котелъ!
Глазища-то—что ямища!
Губища-то—что палчища!

Русскія передѣлки съ французскаго нынче въ большомъ ходу: большая часть современнаго репертуара состоитъ изъ нихъ. Причина ихъ размноженія очевидна: публика равнодушна къ переводнымъ пьесамъ; она требуетъ оригинальныхъ, требуетъ на сценѣ русской жизни, быта русскаго общества. Наши доморощенные драматурги на выдумки бѣдненьки, на сюжетцы неизобрѣтательны: что жъ тутъ остается дѣлать? Разумѣется, взять французскую пьесу, перевести ее слово въ слово, дѣйствіе (которое по своей сущности могло случиться только во Франціи) перенести въ Саратовскую губернію или въ Петербургъ, французскія имена дѣйствующихъ лицъ перемѣнить на русскія, изъ префекта сдѣлать начальника отдѣленія, изъ аббата—семинариста, изъ блестящей свѣтской дамы—барыню, изъ гризетки—горничную, и т. д. Объ оригинальныхъ пьесахъ нечего и говорить. Въ передѣлкахъ по крайней мѣрѣ бываетъ содержаніе — завязка, узелъ и развязка; оригинальныя пьесы хорошо обходятся и безъ этой излишней принадлежности драматическаго сочиненія. Какъ тѣ, такъ и другія и знать не хотятъ, что драма—какая бы она ни была, а тѣмъ болѣе драма изъ жизни современнаго общества, — прежде всего и больше всего должна быть вѣрнымъ зеркаломъ современной жизни, современнаго общества. Когда нашъ драматургъ хочетъ выстрѣлить въ васъ — становитесь именно на то мѣсто, куда онъ цѣлитъ: непремѣнно дастъ промахъ, а въ противномъ случаѣ—чего добраго, пожалуй, и зацѣпитъ. Общество, изображаемое нашими драмами, такъ же похоже на русское общество, какъ и на арабское. Какого бы рода и содержанія ни была пьеса, какое бы общество ни рисовала она—высшаго круга, помѣщичье, чиновничье, купеческое, мужицкое, что бы ни было мѣстомъ ея дѣйствія—салонъ, харчевня, площадь, шкуна, — содержаніе ея всегда одно и то же: у дураковъ-родителей есть милая, образованная дочка, она влюблена въ прелестнаго молодого человѣка, но бѣднаго — обыкновенно въ офицера, изрѣдка (для разнообразія) въ чиновника; а ее хотятъ выдать за кого-нибудь дурака, чудака, подлеца или за все это вмѣстѣ. Или наоборотъ, у честолюбивыхъ родителей есть сынъ—идеалъ молодого человѣка (т. е. лицо безцвѣтное, безхарактерное), онъ влюбленъ въ дочь бѣдныхъ, но благородныхъ родителей, идеалъ всѣхъ добродѣтелей, какія только могутъ умѣститься въ водевилѣ, образецъ всякаго совершенства, которое бываетъ вездѣ, кромѣ дѣйствительности; а его хотятъ выдать замужъ—то-есть женить на той, которой онъ не любитъ. Но къ концу добродѣтель награждается, порокъ наказывается: влюбленные женятся, дражайшіе родители ихъ благословляютъ, разлучникъ съ носомъ — и раёкъ надъ нимъ смѣется. Дѣйствіе развивается всегда такъ: дѣвица одна—съ книжкой въ рукѣ, жалуется на родителей и читаетъ сентенціи о томъ, что «сердце любитъ, не спросясь людей чужихъ». Вдругъ: «Ахъ! это вы, Дмитрій Ивановичъ или Николай Ивановичъ!»—Ахъ! это я, Любовь Петровна или Ивановна, или иначе какъ-нибудь... Какъ я радъ, что засталъ васъ о д н ѣ х ъ!—Проговоривши таковы слова, нѣжный любовникъ цѣлуетъ ручку своей возлюбленной. Замѣтьте, непремѣнно цѣлуетъ—иначе онъ и не любовникъ, и не женихъ, иначе почемъ бы и узнать публикѣ, что этотъ храбрый офицеръ или добродѣтельный чиновникъ—любовникъ или женихъ? Мы всегда удивлялись этому неподражаемому искусству нашихъ драматурговъ такъ тонко и ловко намекать на отношеніе персонажей въ своихъ драматическихъ издѣліяхъ... Далѣе: она проситъ его уйти, чтобъ не увидѣли папенька или маменька; онъ продолжаетъ цѣловать ея ручку и говоритъ, что какъ онъ несчастливъ, что онъ умретъ съ отчаянья, но что впрочемъ онъ употребитъ всѣ средства; наконецъ онъ въ послѣдній разъ цѣлуетъ ея ручку и уходитъ. Входитъ «разлучникъ» и тотчасъ цѣлуетъ ручку разъ, и два, и три, и болѣе, смотря по надобности; барышня надуваетъ губки и сыплетъ сентенціями; маменька или папенька бранитъ ее и грозитъ ей; наконецъ—къ любовнику является на помощь богатый дядя, или разлучникъ оказывается негодяемъ: дражайшіе соединяютъ руки влюбленной четы—любовникъ нѣжно ухмыляется и, чтобъ не стоять на сценѣ по пустякамъ, принимается цѣловать ручку; барышня жеманно и умильно улыбается и будто нехотя позволяетъ цѣловать свою ручку... Глядя на все это, по неволѣ воскликнешь:

Съ кого они портреты пишутъ,
Гдѣ разговоры эти слышутъ?
А если и случалось имъ—
Такъ мы ихъ слышать не хотимъ.

Если вѣрить нашимъ драмамъ, то можно подумать, что у насъ на святой Руси все только и дѣлаютъ, что влюбляются и замужъ выходятъ за тѣхъ, кого любятъ; а пока не женятся, все ручки цѣлуютъ у своихъ возлюбленныхъ... И это зеркало жизни, дѣйствительности, общества!.. Милостивые государи, поймите наконецъ, что вы стрѣляете холостыми зарядами на воздухъ, сражаетесь съ мельницами и баранами, а не съ богатырями! Поймите наконецъ, что вы изображаете тряпичныхъ куколъ, а не живыхъ людей, рисуете міръ нравоучительныхъ сказочекъ, способный забавлять семилѣтнихъ дѣтей, а не современное общество, котораго вы не знаете и которое васъ не желаетъ знать! Поймите наконецъ, что влюбленные (если они хоть

Digitized by Google

сколько-нибудь люди съ душой), встрѣчаясь другъ съ другомъ, всего рѣже говорятъ о своей любви и всего чаще о совершенно постороннихъ и притомъ незначительныхъ предметахъ. Они понимаютъ другъ друга молча—а въ томъ-то и состоитъ искусство автора, чтобъ заставить ихъ высказать передъ публикой свою любовь, ни слова не говоря о ней. Конечно они могутъ и говорить о любви, но не пошлыя, истертыя фразы, а слова, полныя души и значенія,—слова, которыя вырываются невольно и рѣдко...

Обыкновенно «любовники» и «любовницы»—самыя безцвѣтныя, а потому и самыя скучныя лица въ нашихъ драмахъ. Это просто куклы, приводимыя въ движеніе посредствомъ бѣлыхъ нитокъ руками автора. И очень понятно: онѣ тутъ не сами для себя, онѣ служатъ только внѣшней завязкой для пьесы. И потому мнѣ всегда жалко видѣть артистовъ, осужденныхъ злой судьбой на роли любовниковъ и любовницъ. Для нихъ уже большая честь, если они съумѣютъ не украсить, а только сдѣлать свою роль сколько возможно меньше пошлой... Для чего же выводятся нашими драматургами эти злополучные любовники и любовницы? Для того, что безъ нихъ они не въ состояніи изобрѣсти никакого содержанія; изобрѣсти же не могутъ, потому что не знаютъ ни жизни, ни людей, ни общества, не знаютъ, *что* и *какъ* дѣлается въ дѣйствительности. Сверхъ того имъ хочется посмѣшить публику какими-нибудь чудаками и оригиналами. Для этого они создаютъ характеры, какихъ нигдѣ нельзя отыскать, нападаютъ на пороки, въ которыхъ нѣтъ ничего порочнаго, осмѣиваютъ нравы, которыхъ не знаютъ, зацѣпляютъ общество, въ которое не имѣютъ доступа. Это обыкновенно насмѣшки надъ кущомъ, который сбрилъ бороду; надъ молодымъ человѣкомъ, который изъ-за границы воротился съ бородой; надъ молодой особой, которая ѣздитъ верхомъ на лошадяхъ, любитъ кавалькады; словомъ—надъ покроемъ платья, надъ прической, надъ французскимъ языкомъ, надъ лорнеткой, надъ желтыми перчатками и надъ всѣмъ, что любятъ осмѣивать люди въ своихъ господахъ, ожидая ихъ у подъѣзда съ шубами на рукахъ... А какіе идеалы добродѣтелей рисуютъ они—Боже упаси! Съ этой стороны наша комедія нисколько не измѣнилась со временъ Фонвизина: глупые въ ней иногда бываютъ забавны, хоть въ смыслѣ карикатуры, а умные всегда и скучны, и глупы...

Что касается до нашей трагедіи—она представляетъ такое же плачевное зрѣлище. Трагики нашего времени представляютъ изъ себя такое-же зрѣлище, какъ и комики: они изображаютъ русскую жизнь съ такой же вѣрностью и еще съ меньшимъ успѣхомъ, потому что изображаютъ историческую русскую жизнь въ ея высшемъ значеніи. Оставляя въ сторонѣ ихъ дарованія, скажемъ только, что главная причина ихъ неуспѣха—въ ошибочномъ взглядѣ на русскую исторію. Гоняясь за народностью, они все еще смотрятъ на русскую исторію съ западной точки зрѣнія. Иначе они и не стали бы въ Россіи до временъ Петра Великаго искать драмы. Историческая драма возможна только при условіи борьбы разнородныхъ элементовъ государственной жизни. Не даромъ только у однихъ англичанъ драма достигла своего высшаго развитія; не случайно Шекспиръ явился въ Англіи, а не въ другомъ какомъ государствѣ: нигдѣ элементы государственной жизни не были въ такомъ противорѣчіи, въ такой борьбѣ между собой, какъ въ Англіи. Первая и главная причина этого—тройное завоеваніе: сперва туземцевъ римлянами, потомъ англо-саксами, наконецъ норманами далѣе; борьба съ датчанами, вѣковыя войны съ Франціей, религіозная реформа, или борьба протестантизма съ католицизмомъ. Въ русской исторіи не было внутренней борьбы элементовъ, и потому ея характеръ скорѣе эпическій, чѣмъ драматическій. Разнообразіе страстей, столкновеніе внутреннихъ интересовъ и пестрота общества—необходимыя условія драмы: а ничего этого не было въ Россіи. Пушкина «Борисъ Годуновъ» потому и не имѣлъ успѣха, что былъ глубоко національнымъ произведеніемъ. По той же причинѣ «Борисъ Годуновъ»—нисколько не драма, а развѣ поэма въ драматической формѣ. И съ этой точки зрѣнія «Борисъ Годуновъ» Пушкина—великое произведеніе, глубоко исчерпавшее сокровищницу національнаго духа. Прочіе же драматическіе наши поэты думали увидѣть національный духъ въ охабняхъ и горлатныхъ шапкахъ, да и въ рѣчи на простонародный ладъ, и вслѣдствіе этой чисто внѣшней народности стали рядить нѣмцевъ въ русскій костюмъ и влагать имъ въ уста русскія поговорки. Поэтому наша трагедія явилась въ обратномъ отношеніи къ французской псевдо-классической трагедіи: французскіе поэты въ своихъ трагедіяхъ рядили французовъ въ римскія тоги и заставляли ихъ выражаться пародіями на древнюю рѣчь; а наши какихъ-то нѣмцевъ и французовъ рядятъ въ русскій костюмъ и навязываютъ имъ подобіе и призракъ русской рѣчи. Одежда и слова русскія, а чувства, побужденія и образъ мыслей нѣмецкіе или французскіе... Мы не станемъ говорить о вульгарно-народныхъ, безвкусныхъ, бездарныхъ и не эстетическихъ издѣліяхъ: подобныя чудища вездѣ нерѣдки и вездѣ составляютъ необходимый соръ и дрязгъ на заднемъ дворѣ литературъ. Но что такое «Ермакъ» и «Дмитрій Самозванецъ» Хомякова, какъ не псевдо-классическія трагедіи въ духѣ и въ родѣ трагедій Корнеля, Расина, Вольтера, Кребильона и Дюсиса? А ихъ дѣйствующія лица что такое, какъ не нѣмцы и французы въ маскарадѣ, съ накладными бородами и въ длинныхъ кафтанахъ? Ермакъ—нѣмецкій буршъ; казаки, его товарищи—нѣмецкіе школьники; а возлюбленная Ермака—пародія на Амалію въ «Разбойникахъ» Шиллера. Дмитрій Самозванецъ и Басмановъ—люди, которыхъ какъ ни назовите: Генрихами, Адольфами, Альфонсами—все будетъ равно, и сущность дѣла отъ этого нисколько не измѣнится. Впрочемъ основателемъ

Digitized by Google

этого рода псевдо-классической и мнимо-русской трагедіи должно почитать Нарѣжнаго, написавшаго (впрочемъ безъ всякаго злого умысла) пародію на «Разбойниковъ» Шиллера, подъ названіемъ «Дмитрій Самозванецъ» (трагедія въ пяти дѣйствіяхъ. Москва. 1800. Въ типографіи Бекетова). Послѣ Хомякова надъ русской трагедіей много трудился баронъ Розенъ,—и его трудолюбіе заслуживаетъ полной похвалы. Съ большимъ противъ обоихъ ихъ успѣхомъ подвизался и подвизается на этомъ поприщѣ Кукольникъ. Мы готовы всегда отдать должную справедливость способностямъ Кукольника въ поэзіи,—и хотя не читали его «Паткуля» вполнѣ, но, судя по напечатанному изъ этой драмы прологу, думаемъ, что и вся драма можетъ быть не безъ значительныхъ достоинствъ. Что же касается другихъ его драмъ, которыхъ содержаніе взято изъ русской жизни,—о нихъ мы уже все сказали, говоря о «Борисѣ Годуновѣ» Пушкина и трагедіяхъ Хомякова. Въ нихъ русскія имена, русскіе костюмы, русская рѣчь; но русскаго духа слыхомъ не слыхать, видомъ не видать. Въ нихъ русская жизнь взята на прокатъ для нѣсколькихъ представленій драмы: публика имъ отхлопала и забыла о нихъ, а заключающіеся въ нихъ элементы русской жизни снова возвратились въ прежнее свое хранилище—въ «Исторію Государства Россійскаго». Никакой драмы не было во взятыхъ Кукольникомъ изъ «Исторіи» Карамзина событіяхъ: никакой драмы не вышло и изъ драмъ Кукольника. Какъ умный и образованный человѣкъ, Кукольникъ самъ чувствовалъ это, хоть можетъ быть безсознательно,—и рѣшился на новую попытку: свести русскую жизнь лицомъ къ лицу съ жизнью ливонскихъ рыцарей и выжать изъ этого столкновенія драму. Вотъ что породило «Князя Данила Дмитріевича Холмскаго», новую его драму. Мы не будемъ излагать подробно содержаніе трагедіи Кукольника: этотъ трудъ былъ бы выше нашихъ силъ и терпѣнія читателей, ибо содержаніе «Холмскаго» запутано, перепутано, загромождено множествомъ лицъ, неимѣющихъ никакого характера, множествомъ событій чисто внѣшнихъ, мелодраматическихъ, придуманныхъ для эффекта и чуждыхъ сущности пьесы. Это, какъ справедливо замѣчено въ одной критикѣ, «не драма и не комедія, и не опера, и не водевиль, и не балетъ; но здѣсь есть всего понемножку, кромѣ драмы, словомъ,—это «дивертисментъ».

Вотъ вкратцѣ содержаніе «Князя Холмскаго»: баронесса Адельгейда фонъ-Шлуммермаусъ любитъ псковскаго купца Александра Михайловича Княжича, и, чтобъ соединиться съ нимъ, позволяетъ отряду московскаго войска, присланнаго великимъ княземъ Іоанномъ подъ предводительствомъ Холмскаго раздѣлаться съ ливонскимъ орденомъ, взять себя въ плѣнъ. Надо сказать, что она—амазонка: ломаетъ копья и завоевываетъ острова. Холмскій влюбляется въ нее на-смерть; сперва кокетство, а потомъ козни брата ея, барона фонъ-Шлуммермауса, заставляютъ ее подать Холмскому надежду на взаимность съ ея стороны. Послѣ долгой борьбы съ самимъ собой Холмскій, поджигаемый коварнымъ бароном и соумышленникомъ его, тайнымъ жидомъ Озноблинымъ, ни съ того, ни съ чего доходитъ до нелѣпаго убѣжденія, что звѣзды велятъ ему отложиться отъ отечества, образовать новое государство изъ Ганзы, Ливоніи и Пскова. Когда онъ объявилъ «волю звѣздъ» на псковскомъ вѣчѣ, его берутъ подъ стражу; великій князь прощаетъ его какъ-бы изъ снисхожденія къ его безумію и наказываетъ одного барона фонъ-Шлуммермауса. Къ довершенію комическаго положенія забавнаго героя—Холмскаго, онъ узнаетъ, что амазонка-баронесса интриговала съ нимъ и выходитъ за-мужъ за своего бородатаго любовника, торговца Княжича. Онъ хочетъ зарѣзать ихъ, но его не допускаетъ шутъ Середа, его пѣстунъ, лицо нелѣпое, безъ смысла, смѣшная пародія на русскихъ юродивыхъ, сто первый незаконнорожденный потомокъ Юродиваго въ «Юріи Милославскомъ». Драма тянулась, тянулась; въ ней и ходили, и выходили, и говорили, и пѣли, и плясали; декорація безпрестанно мѣнялась, а публика зѣвала, зѣвала, зѣвала... Драма *заснула*, говоря рыболовнымъ терминомъ, а публика проснулась и начала разъѣзжаться. Только одно лицо барона фонъ-Кульмгаусборденау оживляло немного апатическій спектакль, и то благодаря умной и ловкой игрѣ Каратыгина 2-го.

Очевидно, что Холмскій Кукольника есть русскій Валленштейнъ: тотъ и другой вѣрятъ въ звѣзды и хотятъ основать для себя независимое отъ своего отечества государство. Разница только въ томъ, что Валленштейнъ вѣритъ въ звѣзды вслѣдствіе фантастической настроенности своего великаго духа, гармонировавшаго съ духомъ вѣка, а стремится къ похищенію власти вслѣдствіе ненасытнаго честолюбія, жажды мщенія за оскорбленіе и безпокойной дѣятельности своего великаго генія; Холмскій же вѣритъ въ звѣзды по слабоумію, а стремится къ похищенію власти по любви къ женщинѣ, которая обманываетъ его, и по ничтожности своей маленькой душонки.—Хорошъ герой для трагедіи!... Валленштейна останавливаютъ на пути предательство и смерть; Холмскаго останавливаютъ на пути самая нелѣпость его предпріятія, какъ розга останавливаетъ забаловавшагося школьника. «Князь Данилъ Дмитріевичъ Холмскій» можетъ почесться довольно забавной, хотя и весьма длинной и еще больше скучной пародіей на великое созданіе Шиллера—«Валленштейнъ». Оставляя въ сторонѣ частные недостатки, спросимъ читателей: есть-ли въ изобрѣтеніи (концепціи) драмы Кукольника что-нибудь русское, принадлежащее русской субстанціи, русскому духу, русской національности? Есть-ли въ нашей исторіи примѣры—хоть одинъ примѣръ того, чтобъ русскій бояринъ съ ввѣреннымъ ему отъ царя войскомъ вздумалъ отложиться отъ отечества и основать себѣ новое государство?... Правда, Ермакъ съ горстью казаковъ завоевалъ жезлъ властительства надъ Сибирью, но съ тѣмъ,

Digitized by Google

чтобъ повергнуть его къ ногамъ своего царя. Не правы ли мы, говоря, что наши драматурги, цѣлясь въ русскую жизнь, бьютъ по воздуху и попадаютъ развѣ въ воронъ, созданныхъ ихъ чудотворной фантазіей?... Замыселъ Холмскаго, его любовь, его вѣра въ астрологію, все это—вороны...

4.

Театральная литература наконецъ надоѣла намъ до-нельзя! А между тѣмъ «Театральная Хроника» необходима въ журналѣ, какъ дополненіе къ «Библіографической Хроникѣ». Что тутъ дѣлать?—Мы рѣшились говорить только о пьесахъ, примѣчательныхъ по эффекту, произведенному ими на публику Александринскаго театра; о другихъ или умалчивать, или говорить коротко, безъ изложенія содержанія. Въ самомъ дѣлѣ, легкое дѣло—разсказывать содержаніе того, въ чемъ не только содержанія—смысла не бываетъ!...

Съ чего же начать?—Впродолженіе трехъ послѣднихъ мѣсяцевъ надѣлали много шуму слѣдующія пьесы, о которыхъ мы не говорили, и изъ которыхъ едва дышутъ только послѣднія, а первыя уже умерли.

Елена Глинская,

драматическое представленіе въ пяти дѣйствіяхъ. Соч. Николая Полевого.

Быть всѣмъ во всемъ и быть во всемъ первымъ—кажется девизъ литературной дѣятельности Полевого. Слава Кузена заставила его быть философомъ (о существованіи Гегеля Полевой узналъ недавно, и слѣдственно поздно, когда уже не въ состояніи былъ соперничать съ нимъ); слава Гизо и Тьерри заставила его написать шесть томовъ «Исторіи русскаго народа»; опыты Баранта разсказывать исторію простодушнымъ языкомъ лѣтописи заставили Полевого написать «Клятву при Гробѣ Господнемъ»; слава Шлегелей, барона Экштейна и статьи французскаго журнала «Globe» сдѣлали Полевого критикомъ и возбудили въ немъ любовь и удивленіе къ Шекспиру, превратившіяся теперь въ соревнованіе; слава Сея заставила Полевого сдѣлаться политико-экономомъ и произнести въ Московской Коммерческой Академіи превосходную рѣчь «О невещественномъ капиталѣ»; ну, словомъ, статистика, политическая экономія, исторія, философія, критика, филологія, грамматика, этика, журналистика, лирическая поэзія, повѣсть, романъ,—все это поприще одного Полевого, одного, безъ соперниковъ, безъ помощниковъ... Вольтеръ и Гёте нашего времени, Полевой принялся наконецъ за драматическую поэзію... Мелкія пьесы ему ни по чемъ: онъ пишетъ, не считая, печатаетъ, не гордясь, ставитъ на сцену, не гоняясь за рукоплесканіями, хотя—изъ вѣжливости—и выходитъ на вызовы публики Александринскаго театра... Что ему маленькія пьесы! Онѣ такъ же не могутъ ничего ни убавить, ни прибавить къ его славѣ, какъ и листки калуфера или мяты не могутъ украсить собой лавроваго вѣнца... Но и не въ патріотическихъ пьесахъ поставляетъ Полевой свою заслугу: онъ хочетъ состязаться съ Шекспиромъ, и если не побѣдить его, то не уступить ему—знай-де нашихъ!... Для этого онъ сперва поправилъ, т. е. передѣлалъ «Гамлета», и безъ всякаго разсчета и умысла, совершенно безсознательно достигъ прекрасной цѣли: представивъ это вѣковое, колоссальное произведеніе въ миніатюрныхъ размѣрахъ, онъ тѣмъ самымъ приблизилъ его къ смыслу толпы и при помощи дарованія актеровъ сдѣлалъ на Руси народнымъ это слабое подобіе Шекспирова созданія, отразившаго въ себѣ свой оригиналъ, какъ капля воды отражаетъ въ себѣ солнце. Вызовъ послѣ перваго представленія и вообще чрезвычайный успѣхъ передѣлки «Гамлета» открыли Полевому тайну его призванія и его генія—онъ сѣлъ да и написалъ—пародію на «Ромео и Юлію», которую назвалъ «Уголино». Намъ скажутъ, что въ содержаніи «Уголино» нѣтъ ничего общаго съ драмой Шекспира: да, во внѣшнемъ содержаніи, т. е. въ «сюжетѣ», точно мало общаго, но мысль, но пафосъ пьесы рождены рѣшительно драмой Шекспира. Въ наше время никто не будетъ такъ простъ, чтобъ подражать формѣ извѣстнаго произведенія; тѣмъ менѣе можно ожидать подобныхъ подражаній отъ того, кто первый на Руси возсталъ противъ пошлой подражательности псевдоклассическихъ временъ. Вся постройка «Уголино» лежитъ на любви Нино къ Вероникѣ, и всѣ сцены любви того и другого суть не что иное, какъ самая жалкая пародія на сцены любви въ «Ромео и Юліи». Что у Шекспира глубоко и мощно, будучи въ то же время и граціозно,—то у нашего самороднаго драматурга — слабо, мелко, приторно, фразисто, сладенько, прянично. Нино и Вероника—это аркадскіе пастушки, взятые изъ идиллій г-жи Дезульеръ; это разрумяненные герои Флоріановскихъ и Геснеровскихъ поэмъ. Но Полевому показалось, что послѣ «Уголино» ему остается только не останавливаться и продолжать идти. Слѣдствіемъ этого убѣжденія была новая пародія на Шекспира—«Елена Глинская». Въ «Уголино» онъ пародировалъ «Ромео и Юлію»; въ «Еленѣ Глинской» онъ пародируетъ—легко сказать—«Макбета». Взглянемъ на содержаніе этой новой пародіи.

Теперь ввелось въ моду каждому дѣйствію драмы давать особое какое-нибудь эффектное и заманчивое названіе: этого требуетъ вѣроятно искусство сочиненія афишъ, отъ котораго часто зависитъ успѣхъ драмы. Полевой—пламенный поборникъ этого прекраснаго нововведенія, бодро состязается въ немъ съ прочими корифеями современной драматической литературы—Ободовскимъ, Марковымъ, Бахтуринымъ и прочими. Подобная поддержка умнаго нововведенія тѣмъ умилительнѣе со стороны Полевого, что онъ давно уже не любитъ никакихъ нововведеній даже въ орѳографіи, и преслѣдуетъ ихъ всей важностью своего—впрочемъ уже нѣсколько запоздалаго—авторитета. И

Digitized by Google

потому первое дѣйствіе его новой драмы называется «Боярскій Совѣтъ», второе—«Грановитая Палата», третье—«Литовскій лѣсъ», четвертое—«Кремлевскій теремъ», пятое—вѣроятно для бо́льшаго эффекта, какой всегда производитъ таинственность, никакъ не названо. Вся пьеса титулуется «драматическимъ представленіемъ», вѣроятно для доказательства ея близкаго родства съ созданіями Шекспира. Итакъ, первое дѣйствіе — «Боярскій Совѣтъ». Дѣйствіе происходитъ въ залѣ кремлевскихъ теремовъ, но совѣта мы не видимъ; сперва являются дьякъ и окольничій, и первый сообщаетъ второму, что бояре шумятъ. Затѣмъ слѣдуетъ длинная, скучная и ничего въ себѣ незаключающая сцена между двумя этими безличными лицами. Но вотъ явленіе второе: оно поживѣе. Бояре являются на лицо и «шумятъ», ругая Оболенскаго, заклинаясь не уступать ему. Хитрый интриганъ Василій Шуйскій подтруниваетъ надъ ними себѣ подъ носъ. Является Оболенскій и велитъ имъ идти по домамъ, такъ какъ-де княгиня уже распустила совѣтъ.—Нейдемъ!—А почему? — И пошла потѣха! Главная причина спора — осужденіе на смерть князя Андрея, второго сына Іоанна III, произнесенное княгиней Еленой, матерью Грознаго. Отъ споровъ и брани дошло было и до рѣзни; но вотъ является новый герой—лицо, сдѣлавшееся необходимой принадлежностью всякаго русскаго романа и русской драмы—шутъ Пахомко. Его шутки образумливаютъ бояръ—они становятся тише, и уже только рычатъ другъ на друга, но не кусаются. Входитъ Елена: Василій Шуйскій уже успѣлъ ей «донести». Она велитъ боярамъ просить прощенія у Оболенскаго, но тѣ рѣшительно отказываются, а Оболенскій говоритъ, что презираетъ равно и ихъ вражду, и ихъ дружбу. Иванъ Бѣльскій умоляетъ княгиню отмѣнить приговоръ князю Андрею, а Пахомко трунитъ надъ В. Шуйскимъ, поетъ, ломается—пріятная смѣсь высокаго съ комическимъ!.. Наконецъ Елена остается на сценѣ только съ Оболенскимъ, Пахомкой и Запольской (наперсницей). Она говоритъ Оболенскому, что смиритъ буйство бояръ, осмѣливающихся не уважать его, опору престола и защитника царства. Оболенскій проситъ ее дать ему случай на полѣ брани доказать ей, что онъ готовъ нести ей жизнь на жертву.

Елена *(съ жаромъ)*.
Нѣтъ, жизнь твоя мнѣ дорога—щади ее!
Оболенскій *(изумляясь)*.
Княгиня!
(Безмолвіе).
Я иду готовить войско
На встрѣчу польскаго посла и Шихъ-Алея.

Чудная сцена! какъ ловко умѣлъ нашъ драматургъ приподнять для зрителей и читателей край завѣсы, скрывающей его драму, и одной фразой обнаружить любовь Елены къ Оболенскому!... Правда, это при Запольской и Пахомкѣ; но вѣдь сильныя чувства не замѣчаютъ свидѣтелей, а къ тому же Запольская—наперсница Елены, Пахомко—шутъ, дуракъ—не поймутъ: такъ чего же ей было церемониться?...

Во второмъ актѣ Марія воркуетъ печально объ отсутствіи голубка ея—Оболенскаго, и жалуется на его охлажденіе. Входитъ Пахомко. Они, видно, знакомы; по крайней мѣрѣ Пахомко называетъ себя слугой Маріи. Онъ проситъ ее спасти отъ смерти «важнаго человѣка».—Да какъ же это?—Попроси мужа.—А кто мой мужъ?—Будто ты не знаешь?—Изъ этого узнаемъ мы, что Оболенскій женатъ на Маріи инкогнито,—что́ было очень въ духѣ того времени. Она даже не знаетъ, кто ея родители. Слышенъ стукъ—Пахомко уходитъ, Оболенскій входитъ — слѣдуетъ нѣжная сцена, гдѣ Марія говоритъ, что она «состарилась сердцемъ». Онъ проситъ у ней чару романеи, чтобы развеселиться. Марія говоритъ про себя: «Не поцѣлуй Маріи, а чара романеи развеселитъ его!...» Какъ все это въ духѣ того времени! Конечно теперь вѣдь не пьютъ романеи!... Оболенскій одинъ; въ длинномъ монологѣ онъ жалѣетъ Марію, раскаивается, что «мятежную судьбу свою и огненныя страсти соединилъ съ ея невиннымъ сердцемъ»—«горе (продолжаетъ онъ), когда не чистая любовь, святая сердце связала, а корысть» (именно языкъ того времени!...) Далѣе онъ вспоминаетъ время, когда думалъ только о мечѣ, смѣясь надъ боярскими смутами... «Будто огненные змѣи, теперь они облапили меня», заключаетъ онъ. Какое выразительное слово «облапили»! Однако оно приводитъ меня въ невольное раздумье: если авторъ надѣялся здѣсь придать этому слову польское значеніе, то оно не имѣетъ тутъ никакого смысла; если же понимать въ настоящемъ, а не переносномъ значеніи, то надо придать змѣямъ лапы, которыхъ эти пресмыкающіяся такъ же лишены, какъ медвѣди жала. А все-таки же хорошо это «облапить»—и смѣло, и живописно, и ново!..

Слѣдствіемъ просьбы Маріи было то, что Оболенскій догадался о ея тайныхъ сношеніяхъ съ кѣмъ-то, разсвирѣпѣлъ, какъ огненный змѣй съ лапами, и хотѣлъ «облапить»—старую няню Маріи, но разсудилъ отложить это интересное дѣло до другого болѣе удобнаго времени, и ушелъ. Дѣйствіе переносится опять въ кремлевскія палаты. Елена принимаетъ посла крымскаго хана, который говоритъ заносчиво; Оболенскій ему не уступаетъ,—война объявлена. Затѣмъ представляется Шихъ-Алей. Далѣе польскій посолъ требуетъ въ оскорбительныхъ выраженіяхъ выдачи Глинскихъ, родственниковъ Елены; надѣясь на Оболенскаго, Елена и польскому послу объявляетъ войну.

Въ литовскомъ лѣсу совершаетъ свои чары колдунъ съ вайделотами. Онъ зоветъ чертей и толкуетъ о Гедеминахъ и Ольгердахъ. Является Симеонъ Бѣльскій. Онъ передался на сторону литовцевъ и въ борьбѣ съ Оболенскимъ смертельно раненъ. Колдунъ осердился и пуще прежняго сталъ звать чертей; но, испугавшись самъ какофоніи и безсмыслицы стиховъ, проваливается подъ полъ при ударѣ грома. Бѣгутъ поляки, преслѣдуемые русскими. Оболенскій вступаетъ, отъ нечего дѣлать, въ разговоры съ умирающимъ Бѣль-

Digitized by Google

скимъ, который оттого только и не торопится умереть, что ему нужно побраниться съ Оболенскимъ. За этимъ онъ умираетъ. Оболенскій, опершись на мечъ, читаетъ надъ тѣломъ Бѣльскаго длинную рацею. Приходитъ колдунъ и вызывается открыть ему будущее, становитъ его въ кругъ и не велитъ призывать имени Божьяго. Оболенскій труситъ. Гремитъ громъ. Черти поютъ:

Сѣйте громъ — Для людей!
Рѣшетомъ! — Поспѣшите, поспѣшите,
Жарьте змѣй — Духи тьмы!

Оболенскій со страстей не замѣчаетъ, что черти его надуваютъ, и что въ ихъ пѣсни нѣтъ смыслу. Является котелъ съ тяжущимися (о чемъ тяжба — не сказано) привидѣніями. Черти опять затянули стихотворную дичь. Является женщина подъ покрываломъ, съ вѣнцомъ въ одной рукѣ, съ кинжаломъ въ другой.—Кто ты, привидѣніе?—спрашиваетъ Оболенскій.—Я Елена.—А вѣнецъ чей?—Мономаховъ.—А кому его?—Тебѣ.—А сынъ Елены?—Привидѣніе грозитъ кинжаломъ... Оболенскій ругаетъ привидѣніе, выбѣгаетъ за черту,—и все исчезаетъ. Странно, читатели, не правда ли? Но не пугайтесь—вѣдь это только пародія, и притомъ очень неловкая, на сцену вѣдьмъ въ «Макбетѣ»... Можетъ быть это насмѣшка надъ Шекспиромъ, допустившимъ участіе нечистой силы въ драму, полную во всемъ остальномъ истины и дѣйствительности?.. Но, г. Полевой, вѣдь «Макбетъ» не историческая драма, у ней нѣтъ ничего общаго съ драматическими хрониками Шекспира; слѣдовательно Шекспиръ имѣлъ полное право на страшно-поэтическое олицетвореніе страстей Макбета въ образѣ вѣдьмъ, существованію которыхъ въ его время еще вѣрили; а ваше «драматическое представленіе»—вѣдь историческая эпоха, изображаемая имъ, относится не къ миѳическому періоду русской исторіи, а къ самому историческому?..

Выбѣжавъ изъ круга, въ которомъ его морочили дрянными, безсмысленными виршами и пошлыми фокусъ-покусами, Оболенскій зацѣпляется за трупъ Бѣльскаго: многознаменательная случайность! Громко грозитъ онъ сжечь колдуна, а тихонько спрашиваетъ его: «Мой ли будетъ вѣнецъ, и не погибну ли я?» Колдунъ отвѣчаетъ плохими стихами:

Нѣтъ, долголѣтенъ, славенъ
Ты будешь, но страшись: настанетъ часъ [твой,
Когда двѣ свидятся сестры
Во мракѣ, средь ночной поры,
При свѣтѣ мѣсяца *младого!*
Кольца страшися *золотого*,
И зелья берегись *лихого!! (Насмѣшливо).*
Привѣтствую тебя, великій князь московскій!

Затѣмъ громъ; колдунъ опять проваливается подъ полъ; слышны трубы: бѣгутъ воеводы; одинъ кричитъ: «здравствуй, танъ Гламиса!»—нѣтъ, извините: «намѣстникъ смоленскій!»—Другой кричитъ: «здравствуй, танъ Кавдора!»—опять нѣтъ: «намѣстникъ казанскій! сейчасъ-де прискакалъ гонецъ отъ Елены!» Какова пародія, читатели?—Право, что передъ нею «Энеида», вывороченная наизнанку!..

Скучно разсказывать содержаніе того, въ чемъ нѣтъ никакого содержанія, въ чемъ есть только—«слова, слова, слова», какъ говоритъ Гамлетъ; скучно развивать дѣйствіе драмы, въ которой нѣтъ никакого дѣйствія, есть только разговоры,—и потому сократимъ остальные два акта въ нѣсколько строкъ и скажемъ, во-первыхъ, что самое смѣшное, плоско-эффектное мѣсто въ IV актѣ есть сцена Пахомки съ Трунилой, изъ-подъ надзора котораго шутъ уводитъ Марію, а въ V актѣ явленіе тѣни предка Глинскихъ въ длинномъ саванѣ; далѣе то, что Марія сходится въ кельѣ съ сестрой своей, Соломоніей, разведенной супругой Василія Іоанновича; что Елена даетъ кольцо Оболенскому; что В. Шуйскій, неся ядъ Еленѣ, хвалитъ Оболенскому съ злобной улыбкой доброе, заморское винцо, исцѣляющее отъ всѣхъ недуговъ, а Оболенскій, какъ дуракъ, ничего не видитъ, ничего не понимаетъ, обнимается и воркуетъ съ Маріей... Мелодрама заключается пряничною, сычоною сценой:

В. Шуйскій.
Воины! Возьмите Оболенскаго!
Марія *(схватывая его).*
Нѣтъ! я не отдамъ его—онъ мой! *(Падаетъ въ его объятія.)*
Оболенскій.
Прочь, презрѣнные услужники! благоговѣйте передъ судьбою, постигнувшею преступное величіе—благоговѣйте передъ кончиною праведницы! *(Становится передъ Маріею на колѣни.)*
Марія.
Мой милый! есть за гробомъ жизнь. *(Умираетъ.)*
Оболенскій.
Жизнь за гробомъ! Да, я знаю, вѣрю, что есть она, и страшусь помыслить о ней?—Я вижу, кровожадные, вижу жребій мой въ злобныхъ взорахъ вашихъ!—Неспостижимый жребій, куда ты довелъ меня? Казнь очиститъ преступленіе мое... *Она* будетъ за меня молиться!

О, риторика! о, наборъ словъ, взятыхъ и сведенныхъ на удачу изъ словаря! О, герой безъ образа и лица, безъ характера и силы, безъ величія и смысла! О, драма, въ которой всѣ говорятъ—говорятъ много, длинно, водяно, сантиментально, растянуто, вяло, плохой рубленой прозой, и никто ничего не дѣлаетъ! О, драма, въ которой нѣтъ ни характеровъ, ни дѣйствія, ни народности, ни стиховъ, ни языка, ни правдоподобія; но въ которой много русскихъ словъ, ошибокъ противъ грамматики и языка, въ которой бездна скуки, скуки, скуки!.. О, жалкая и оскорбляющая чувство пародія на великое созданіе великаго генія...

Помните ли вы, читатели, какой грозный разборъ написалъ нѣкогда издатель «Московскаго Телеграфа» на мелодраму князя Шаховского «Двумужница»? Этотъ разборъ Полевой перепечаталъ потомъ, слово въ слово, въ своихъ «Очеркахъ русской литературы», изданныхъ имъ въ Петербургѣ въ 1839 году... Если вы совсѣмъ не знаете этой статьи или забыли ее,—мы напомнимъ вамъ кое-что изъ нея. Статья эта написана въ формѣ разговора, будто подслушаннаго Полевымъ въ кофейной Петровскаго театра: одинъ изъ разговаривающихъ, молодой человѣкъ, защи-

Digitized by Google

щаетъ «Двумужницу»; другой, старикъ, нападаетъ на нее.

«Молодой человѣкъ. Если вамъ мало похвалы, которая напечатана въ «Сѣверной Пчелѣ», такъ довольно ли будетъ того, что въ Петербургѣ зрители рыдали, не просто плакали отъ нея; дамы были въ истерикѣ и обморокахъ; мужчины кричали, что у нихъ *русскій духъ въ-очью проявляется*; что эта свѣтлая звѣзда народности литературной, національности драматической, пѣснь лебедя поэтическаго. А вы согласитесь, что Петербургъ всегда перещеголяетъ Москву вкусомъ.

Старикъ. Едва ли въ драматическомъ искусствѣ. Гдѣ донынѣ Филатка пляшетъ въ митавскомъ маскарадѣ, гдѣ донынѣ уродливыя бенефисныя пьесы безобразятъ сцену, тамъ едва ли можно положиться на вкусъ публики. Вы видѣли «Двумужницу» здѣсь?

М. Ч. Нѣтъ, не видалъ. Но это чудо, это прелесть...

Ст. А судя по прежнему?—

М. Ч. Что же: *по прежнему?*

Ст. То, что А. А. Шаховской донынѣ испыталъ всѣ роды драматическихъ сочиненій: писалъ трагедіи, комедіи, оперы, водевили, мелодрамы, въ стихахъ и прозѣ; бралъ предметы изъ Библіи,—вспомните «Деббору»,—изъ исторіи, изъ сказокъ; передѣлывалъ въ драму романы В. Скотта, М. Н. Загоскина, поэмы Пушкина, обошелъ весь міръ, ища предметовъ для драмы, былъ и въ древней Греціи и новой Франціи—такое безпокойство показываетъ, безъ сомнѣнія, или многообразное величіе генія, или рѣшительную неудачу, которая встрѣчаетъ писателя на всѣхъ тропинкахъ Парнаса, такъ что ему *не остается ничего дѣлать*, какъ...

М. Ч. Ну, что жъ—докончите.

Ст. Какъ перестать писать или сознаться подобно Репетилову:

И я въ чины бы лѣзъ, да неудачи встрѣтилъ.»

Не знаю, какъ вамъ, читатели, а мнѣ такъ кажется, что все это можно примѣнить къ Полевому по поводу его «Елены Глинской»... Да, въ статьѣ о «Двумужницѣ» я вижу горькую насмѣшку судьмы, издѣвающейся надъ человѣческой личностью... Статья эта была рѣзка, но справедлива и основательна: между тѣмъ все-таки «Двумужница» князя Шаховского въ тысячу разъ лучше и «Елены», и всѣхъ патріотическихъ, и народныхъ, и чужестранныхъ драматическихъ представленій Полевого... Отъ чего же Полевой напалъ съ такой энергіей и такимъ жаромъ на пьесу князя Шаховского?.. Оттого, читатели, что въ жизни человѣка есть періодъ, когда всякое посредственное или фальшивое явленіе въ сферѣ искусства кажется святотатственнымъ оскорбленіемъ священнѣйшихъ вѣрованій души... Мы по тому же самому напали и на «Елену Глинскую»... Не дивитесь, что Полевой нѣкогда такъ хорошо понималъ достоинство драматическихъ произведеній, на поприщѣ которыхъ теперь самъ подвизается съ такимъ усердіемъ и такимъ успѣхомъ: тогда и теперь—между этими словами—увы!—много разницы...

5.

Вслѣдъ за литературными комарами знаменитаго «сочинителя» Булгарина прилетѣли, почуявъ весну, и настоящіе комары, а за ними, по тому же закону родства, появились и бенефисные комары—множество драмъ, водевилей и прочаго вздору; шумятъ, жужжатъ, пищатъ; посѣтители Александринскаго театра хлопаютъ, вызываютъ; любители изящнаго, попавшіеся въ театръ по случаю или по неволѣ, зѣваютъ, дремлютъ, проклинаютъ досужую фантазію драматическихъ бумагомарателей, трутней сценическаго улья... Боже мой, сколько мелкихъ водевильныхъ страстей волнуется, сколько крошечныхъ авторскихъ самолюбій напряжено, надуто, раздуто—истинная буря въ стаканѣ воды!.. Тутъ свой міръ, свои нравы и обычаи, свои извѣстности и славы... Подлинно, премудро устроенъ Божій міръ: естествоиспытатель, посредствомъ микроскопа, открываетъ цѣлую вселенную въ каплѣ болотной воды; театральный рецензентъ посредствомъ простой зрительной трубки или лорнета открываетъ въ каплѣ русской литературы отдѣльную литературу—литературу сценическую или драматическую... И въ этой пародіи на драматическую поэзію, и въ этомъ крохотномъ, микроскопическомъ уголкѣ словеснаго міра есть свои авторитеты и авторитетики, свои геніи и таланты, словомъ, свои аристократы и плебеи... Чудотворная сила солнца живительнымъ лучомъ весеннимъ воззываетъ къ жизни міріады инфузорій въ каплѣ болотной воды и десятки драмъ и водевилей въ бенефисной литературѣ русской!.. Начнемъ же съ геніевъ и кончимъ талантами.

Христина, королева шведская.

Драма въ трехъ дѣйствіяхъ, передѣланная съ нѣмецкаго П. Г. Ободовскимъ.

Царь Василій Іоанновичъ Шуйскій, или семейная ненависть.

Драматическое представленіе въ пяти дѣйствіяхъ, съ прологомъ въ стихахъ, соч. П. Г. Ободовскаго.

Ободовскій перевелъ, передѣлалъ и сочинилъ драмъ около сотни. Разумѣется, на это потребно было не мало времени; но Ободовскій и подвизается на этомъ поприщѣ уже не малое время, лѣтъ десятка полтора по крайней мѣрѣ, сколько мы помнимъ. Несмотря на то, онъ началъ входить въ сильную извѣстность между бенефиціантами, записной публикой Александринскаго театра и подписчиками «Репертуара» Песоцкаго очень недавно, года два, не больше. Но это сдѣлалось не случайно. Чего добраго! можетъ быть скоро Ободовскій попадетъ въ число корифеевъ русской драматической литературы... Помните ли вы въ «Горѣ отъ Ума» простодушный отвѣтъ Скалозуба Фамусову, на похвалу послѣдняго за его хорошую службу?

Довольно счастливъ я въ товарищахъ мо-[ихъ.
Ваканціи какъ разъ открыты:
То старшихъ выключатъ иныхъ,
Другіе, смотришь, перебиты.

Раннія и неожиданныя горестныя утраты, которыя недавно понесла осиротѣлая русская лите-

Digitized by Google

ратура въ лицѣ своихъ истинныхъ представителей, апатическое молчаніе, которое упорно хранятъ или слишкомъ рѣдко, какъ бы нехотя, прерываютъ оставшіеся даровитые люди,—все это выдвинуло впередъ такихъ сочинителей, которымъ безъ того вѣкъ бы свой пришлось ограничиться извѣстностью только между своими пріятелями. Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, даже плодовитый сочинитель Булгаринъ принужденъ ограничиться только комарьимъ жужжаньемъ про свою прошлую «сочинительскую» славу; по толикихъ почтенныхъ и похвальныхъ трудахъ онъ, нашъ Несторъ-романистъ, тщетно хватился было за драму: коварная «Шкуна» потопила его,—и, сидя за плитой своего «Эконома»,

Онъ никнетъ въ тишинѣ
Главой лавровою...

Sic transit... и пр. Но утѣшимся: былъ бы прудъ, рыба будетъ... Теперь на первомъ планѣ рисуется всеобъемлющій Кукольникъ; за нимъ, на почтительной дистанціи, блистаетъ вѣчно юный талантъ, Полевой; за нимъ, на третьемъ планѣ, съ приличной истинному таланту скромностью, раскланивается публикѣ за снисходительные вызовы — приложное и усердное дарованіе Ободовскаго... Вообще талантъ Ободовскаго удивительно приличенъ, удобенъ и соотвѣтственъ настоящему положенію русской литературы: онъ не можетъ оскорбить своимъ превосходствомъ ничьего самолюбія, хотя и дѣйствительно превосходитъ многихъ драматистовъ нашихъ... Драмы Ободовскаго, и переводныя, и передѣланныя, и оригинальныя, отличаются той общей имъ характеристической чертой, что онѣ не то, чтобъ хороши, да и не то, чтобъ слишкомъ дурны (ибо на Александринскомъ театрѣ играютъ еще и худшія, а сочинители ихъ тѣмъ не менѣе награждаются вызовами), такъ себѣ—серёдка на половинѣ... Счастливый талантъ! Враговъ нѣтъ, а славы много, и славы безъ терній безъ огорченій...

Хотя «Христина» и передѣланная, а «Царь Василій Іоанновичъ Шуйскій» оригинальная драма Ободовскаго, но обѣ онѣ носятъ на себѣ отпечатокъ кровной родственности, и обѣ кажутся оригинальными произведеніями одного и того же сочинителя... Посмотримъ на нихъ поближе, и начнемъ съ первой, т. е. «Христины». Дѣло давно уже извѣстное, что Ободовскій не совсѣмъ счастливъ въ выборѣ иностранныхъ пьесъ для своихъ переводовъ и передѣлокъ: и въ «Христинѣ» онъ не избѣжалъ этого несчастья, такъ давно и такъ постоянно его преслѣдующаго. Это пьеса вялая и сонная по дѣйствію, но тѣмъ усладительнѣйшая для нѣмецкихъ бюргеровъ, которыхъ жизнь прозябаетъ подъ девизомъ: «bete und arbeite», тѣмъ эффектнѣйшая для чувствительныхъ добрыхъ нѣмецкихъ филистеровъ, которые и въ драмѣ любятъ созерцать безжизненность и вялость своего домашняго существованія. Видя эту драму на сценѣ, безъ помощи афиши даже и въ третьемъ актѣ не привыкнешь отличать одно лицо отъ другого,—чему, кромѣ отчаянной безхарактерности и безличности героевъ, много способствуетъ магнетическое и сонливое дѣйствіе, производимое драмой на зрителя.

Вотъ содержаніе новой передѣлки нашего неутомимаго передѣлывателя. Молодой графъ Штейнбергъ, шведъ и племянникъ шведскаго патріота, воспитанный въ Германіи и влюбившійся тамъ въ молодую графиню Спарре, теперь наперсницу королевы Христины, возвращается на родину къ старому дядѣ; какимъ-то счастливымъ случаемъ онъ спасаетъ отъ потопленія королеву, которая, узнавъ своего избавителя, жалуетъ его въ камеръ-юнкеры своего двора, и хочетъ пожаловать еще и въ свои любовники. Первое званіе молодой человѣкъ принялъ, другого не принимаетъ ни подъ какимъ видомъ: онъ, дескать, мечтаетъ о той, которой имя во дворцѣ и произнесть не смѣетъ. Христина при каждомъ удобномъ случаѣ открыто вѣшается ему на шею, клянется погубить «милую воровку его покоя», и—о, Боже!—узнаетъ въ соперницѣ свою любимицу. Но, давъ слово погубить, она хочетъ сдержать его и готова отослать чету голубковъ въ рудники. Между тѣмъ у королевы былъ любовникъ, графъ де ла-Гарди, былъ и другой, возвышенный первымъ и погубившій его клеветой, маркизъ Сантино, хитрецъ, клеветникъ и поэтъ, чѣмъ особенно и плѣнилъ «покровительницу наукъ и искусствъ». Первый любовникъ свергнутъ съ своего величія, второй также, потому что оказался обманщикомъ; молодой графъ не хочетъ быть даже мужемъ королевы, которая готова бы, пожалуй, и на это,—благо онъ, видите, происходитъ отъ старинной королевской крови. Что дѣлать? Христина вызываетъ цвейбрюккенскаго принца, за котораго хотѣла было выйти замужъ, да расчувствовалась о величіи своей роли въ Европѣ и Швеціи и объявила его просто наслѣдникомъ. Чувствовать — такъ ужъ чувствовать! Любовники прощены и обняты королевой. Сантиментально-величественныя фразы въ бюргерскомъ вкусѣ—и драма кончается, не уступая въ заключеніи любой добродѣтельной драмѣ слезогонителя нѣмецкаго, Коцебу. Ни Христина драмы, ни Христина сцены, разумѣется, не носятъ и тѣни сходства съ исторической Христиной.

«Царь Василій Іоанновичъ Шуйскій» есть явное подражаніе «Скопину Шуйскому» Кукольника. Подлинно, вещи познаются и оцѣняются по сравненію: «Скопинъ Шуйскій» самъ по себѣ есть не больше, какъ довольно сносное произведеніе человѣка не безъ дарованія; но въ сравненіи съ «Царемъ Васильемъ Іоанновичемъ Шуйскимъ» это просто — Шекспировское произведеніе. Зато, съ своей стороны, «Царь Василій Іоанновичъ Шуйскій» есть довольно несносное произведеніе человѣка работящаго; но въ сравненіи напримѣръ съ «Александромъ Македонскимъ» Маркова—это великое, колоссальное произведеніе... Вездѣ безконечная лѣствица твореній—и въ русской литературѣ!... Пять дѣйствій и еще прологъ—страшно!

Digitized by Google

Словно тяжелый сонъ послѣ сытнаго ужина представляются намъ эти пять дѣйствій и одинъ прологъ, да еще два водевиля послѣ нихъ... И врагу лютому нельзя пожелать такого сна... Снилось намъ, будто какой-то молодой человѣкъ, въ военномъ костюмѣ древней Руси, говорилъ что-то свысока, размахивалъ руками и потомъ подписалъ сдачу Кексгольма. «Это прологъ кончился», сказали намъ, когда мы проснулись отъ рукоплесканій восторженной публики. И вотъ снова тяжелый сонъ смежилъ своими «свинцовыми перстами» усталыя наши вѣжды, и снилось намъ, что царемъ Василіемъ Іоанновичемъ Шуйскимъ овладѣлъ братъ его, Димитрій, которымъ владѣетъ жена его, Екатерина, урожденная Малюта Скуратова; что Василій Іоанновичъ изъ историческаго Шуйскаго, хитраго, пронырливаго интригана, превратился въ слабаго, добраго старика, который все охаетъ, говоря, что людямъ вѣрить нельзя. Димитрій дѣйствуетъ изъ-за жены, которая чуть не бьетъ его на сценѣ при публикѣ Александринскаго театра; однако онъ ловко, вопреки природной тупости, единственно изъ угожденія сочинителю, успѣшно поселяетъ недовѣрчивость къ Скопину въ душѣ безхарактернаго Василія. Скопинъ въ опалѣ. Василій съ горя идетъ бесѣдовать съ тѣнями предковъ на гробахъ; Скопинъ, по тому же побужденію, очутился тамъ прежде (то-то молодыя-то ноги!) и засталъ тамъ бояръ, которыхъ Прокопій Ляпуновъ уговариваетъ, свергнувъ Василія, объявить царемъ Скопина Шуйскаго... Скопинъ, слышалось намъ сквозь сонъ, понесъ такую заоблачную рацею, что Ляпуновъ, не зная, что и дѣлать, заткнулъ себѣ уши; вдругъ входитъ царь, обнимаетъ Скопина за вѣрность, стращаетъ бояръ, но изъ презрѣнія къ нимъ не хочетъ ихъ ни казнить, ни вѣшать; а Ляпунова называетъ только горячей головой, которая изъ любви къ родинѣ готова напроказить и Богъ знаетъ что... Какой добрый этотъ Василій Іоанновичъ Шуйскій! Какъ жаль, что онъ таковъ не въ исторіи, а только во снѣ... или въ драмѣ Ободовскаго!... Потомъ или прежде этого, не помнимъ хорошенько, — снилось намъ, что за кулисами шумъ и крики, что Екатерина на сценѣ съ 14-ти-лѣтнимъ сыномъ своимъ Георгіемъ, который очень любитъ Скопина и котораго Скопинъ тоже любитъ. Входитъ какой-то нѣмецъ; Екатерина даетъ ему денегъ и велитъ мѣтить въ «черное сердце»; нѣмецъ выбѣжалъ; за кулисами выстрѣлъ; затѣмъ вбѣгаетъ на сцену мужиковъ пять-шесть съ длинными ножами и ружьями—хотятъ убить отродье Малюты Скуратова, Екатерину съ сыномъ, но не подходятъ къ ней близко: они знаютъ, что сейчасъ долженъ войти царь и спасти ихъ жертвы, вотъ они издалека машутъ ножами и руками, а Екатерина кричитъ (прикинулась, что и вправду боится); входитъ Василій, мужики попадали наземь; Екатерина съ сыномъ—къ ногамъ царя; занавѣсъ опускается, публика хлопаетъ...

Потомъ снилось намъ, что у Димитрія Шуйскаго пиръ, на которомъ онъ напился до того, что еле на ногахъ держался. Входитъ Скопинъ; Екатерина подноситъ ему кубокъ вина съ ядомъ; «въ винѣ ядъ», говоритъ Скопинъ въ видѣ моральной сентенціи, а Екатерина испугалась, что онъ угадалъ ея злое намѣреніе: эффектъ! Скопинъ отпиваетъ половину, а Екатерина уходитъ, какъ ни въ чемъ не бывало, не заглянувши въ кубокъ. Входитъ Георгій; Скопинъ проситъ выпить его за свое здоровье; Георгій пьетъ. Гости разошлись; эффектная сцена смерти Георгія, кривлянія и завыванія Екатерины; занавѣсъ опускается—мы опять проснулись отъ рукоплесканій...

Когда мы снова погрузились въ нашъ магнетическій сонъ, то думали увидѣть на сценѣ трупъ Скопина, выставленный для вящшаго эффекта, какъ вдругъ ничего не бывало—покойникъ идетъ себѣ здоровехонекъ на площадь, а на площади Василій и народъ, т. е. человѣкъ съ десятокъ мужиковъ и бабъ. Царь назначаетъ Скопина воеводой надъ войскомъ противъ Сигизмунда и называетъ Скопина «Отцомъ Отечества»: видно, это римское обыкновеніе было также и въ русскихъ нравахъ... Еще прежде этого снилось намъ, что одинъ боярин, укоряя другого въ злоязычіи, сказалъ два послѣднія стиха сатирика Милонова:

Для остраго словца
Готовъ онъ уязвить и матерь, и отца.

Не шутите Милоновымъ: хоть онъ родился въ 1792, а умеръ въ 1821 году, но его стихи знали наизусть еще при царѣ Василіи Іоанновичѣ Шуйскомъ... Вотъ когда царь и Скопинъ все переговорили, послѣдній, видя, что больше уже нечего дѣлать, началъ кончаться. Для большаго эффекта вбѣжала Екатерина и въ риторическомъ бреду мелодраматическаго отчаянія разболтала тайну своего преступленія. Василій бросаетъ скицетръ и самъ упадаетъ на полъ... Когда мы проснулись отъ рукоплесканій и вызывовъ публики, восторженной этимъ изящнымъ произведеніемъ, занавѣсъ былъ уже опущенъ...

Святославъ.

Драматическое представленіе въ четырехъ картинахъ, въ стихахъ.

Эта драма составляетъ переходъ отъ драмъ Ободовскаго къ «Александру Македонскому» Маркова: она значительно похуже первыхъ и значительно получше послѣдней. Имени автора не выставлено, но видно, что это или очень молодой, или весьма старый человѣкъ, ибо только въ этихъ двухъ крайностяхъ человѣческаго возраста можно выбрать героемъ драмы такое полуисторическое, а потому и не драматическое лицо. Подобныя драмы въ наше время то же самое, что нѣкогда были эпическія поэмы и классическія трагедіи: о содержаніи не хлопотали, гнались только за «сюжетомъ» и смѣло навязывали каждому лицу одни и тѣ же чувства, страсти, слова и рѣчи, хотя бы это лицо было—

Digitized by Google

хазарскій, печенѣжскій, калмыцкій князь, или византійскій императоръ, или рыцарь среднихъ вѣковъ. Да оно вѣдь и легче: не требуетъ ни знанія людей и жизни, ни историческаго изученія, ни таланта творчества. Всѣ посредственности нашего времени строго слѣдуютъ этому преданію псевдоклассической старины: это романтики только въ мужицкихъ поговоркахъ. Истинная драма нашего времени угадана только французами: это драма современнаго общества, образчиками которой могутъ служить пьесы вродѣ: «La famille de Riquebourg», «Une Faute», «La Lectrice», «Une Chaine» и т. п. Драма историческая требуетъ огромнаго творческаго таланта и должна быть достояніемъ только геніальныхъ поэтовъ. Къ тому же она совсѣмъ не для сцены, ибо для такой драмы нѣтъ театровъ не только у насъ, даже въ Европѣ; чтобъ разыгрывать подобныя драмы, необходима труппа по крайней мѣрѣ изъ 500 человѣкъ, изъ которыхъ каждый имѣлъ бы талантъ, развитый эстетически, знакомый съ исторіей. Въ числѣ этой огромной труппы должны быть и такіе артисты, изъ которыхъ каждый годится только для одной роли, и хотя бы ему случалось только разъ въ годъ сыграть, но онъ долженъ получать хорошій окладъ. Тогда можно-бъ было ставить на сцену даже и Шекспировскія драмы, которыя только тогда и доставляли бы публикѣ глубочайшее и возвышеннѣйшее нравственное (не говоримъ: только эстетическое) наслажденіе; а до тѣхъ поръ драмы Шекспира будутъ только усыплять насъ въ театрѣ и оскорблять наше чувство уродливымъ и безсмысленнымъ выполненіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, что́ за радость видѣть одну или двѣ роли не только порядочно и со смысломъ, но даже и превосходно выполненныя, а на всѣхъ остальныхъ дѣйствующихъ лицъ смотрѣть какъ на маріонетокъ, приводимыхъ въ движеніе нитками и пальцами... Французская драма современнаго общества, о которой мы говорили выше, не требуетъ, по своей многосложности, ни большихъ труппъ, ни особеннаго множества превосходныхъ талантовъ: напротивъ, есть два-три замѣчательные таланта— и довольно; остальные артисты могутъ быть только людьми способными, умными, привыкшими къ сценѣ. Каждому легче прикинуться на сценѣ бариномъ, купцомъ, чиновникомъ, артистомъ, крестьяниномъ, образцы которыхъ онъ безпрестанно видитъ вокругъ себя въ дѣйствительности, нежели грекомъ, римляниномъ, вандаломъ, германцемъ историческихъ временъ, идеалы которыхъ онъ долженъ самъ создавать своимъ воображеніемъ. Отчего же наши доморощенные драматурги все лѣзутъ въ Шекспировскую драму, а не хотятъ заняться драмой современнаго общества? Мы думаемъ оттого, что не нужно для первой, какъ они ее понимаютъ, того, что́ нужно для второй—ума, знанія общества, людей, человѣческаго сердца, вдохновенія и таланта... Вѣдь такіе люди, какъ какой-нибудь Скрибъ, не десятками родятся, а, что́ всего грустнѣе, родятся только во Франціи,—странѣ общественности и соціальности, слѣдовательно,—въ странѣ, уже по духу своему драматической.

«Святославъ» можетъ служить образчикомъ мнимо-романтическихъ и псевдо-классическихъ трагедій на ходуляхъ. Герой—ритеръ и говоритъ, вопреки своему историческому характеру, многословно и напыщенно; ничего не дѣлаетъ и только говоритъ. Завязка—верхъ нелѣпости: Святослава любитъ печенѣжская княжна, которая, переодѣвшись въ мужское платье, служитъ Святославу оруженосцемъ. Потомъ въ Святослава влюбляется болгарская царевна,—и галиматья кончается тѣмъ, что печенѣжская княжна зарѣзываетъ и болгарскую царевну, и Святослава, и нелѣпую драму, о которой ничего нельзя сказать, но по поводу которой можно вспомнить эти два стиха сатирика Кантемира:

Уме недозрѣлый, плодъ недолгой науки!
Покойся, не понуждай къ перу мои руки!

6.

Производительный геній нашихъ доморощенныхъ драматурговъ наконецъ совсѣмъ истощился. Даже публика Александринскаго театра—эта самая довольная и невзыскательная изъ всѣхъ публикъ въ мірѣ—наконецъ начинаетъ понимать, что «на своихъ не далеко уѣдешь». Что́ жъ тутъ дѣлать, особенно бѣднымъ бенефиціантамъ?—Съ горя они рѣшились на поступокъ отчаянный: ставить на сцену старыя пьесы, снова тормошить ветхія кости покойника-классицизма. Публика Александринскаго театра тоже съ горя рѣшилась смотрѣть эти пьесы, которыя впрочемъ для нея совершенная новость и которыя скоро ей наскучатъ не хуже самодѣльныхъ и передѣльныхъ водевилей, какъ скоро она къ нимъ попримотрится... Боже мой! какъ быстро все идетъ на Руси! Давно ли, кажется, владычествовалъ въ нашей литературѣ и на нашей сценѣ французскій псевдо-классицизмъ! Давно ли кончились ожесточенные бои за романтизмъ противъ классицизма и за классицизмъ противъ романтизма! И вотъ уже на пьесы Расина и Мольера смотрятъ въ театрѣ, какъ на пьесы новыя, о которыхъ только журналисты и литераторы знаютъ, что онѣ старыя. Впрочемъ причиной этого не одинъ быстрый ходъ потока мнѣній, но и невинное незнаніе всего, что́ дѣлалось вчера и чего уже не дѣлается нынѣ. Публика Александринскаго театра—особая публика, подобной которой не найти ни въ древнемъ, ни въ новомъ мірѣ. Это публика безъ преданій, безъ корня и почвы: она составляется или изъ того временно набѣгающаго на Петербургъ народонаселенія, которое сегодня здѣсь, а завтра Богъ знаетъ гдѣ, или изъ того дѣльнаго люда, который ходитъ въ театръ отдохнуть отъ протоколовъ и отношеній, и которому, послѣ канцелярскаго слога, лучше всего на свѣтѣ слогъ «Сѣверной Пчелы», юморъ «Библіотеки для Чтенія» и тонкая игра водевильнаго

Digitized by Google

остроумія. Гдѣ жъ всѣмъ этимъ людямъ помнить, что было назадъ тому лѣтъ двадцать? Итакъ, давайте имъ не только Расина и Мольера, но даже и «Волшебный Носъ» Писарева: пока для нашего дѣлового люда это будетъ ново, онъ останется всѣмъ этимъ очень доволенъ и будетъ съ важностью разсуждать, отчего «Ифигенія въ Авлидѣ» такъ хороша, а между тѣмъ клонитъ ко сну...

Итакъ, пересмотримъ сперва старыя «возобновленныя» пьесы, а отъ нихъ обратимся къ новой самодѣльщинѣ, передѣльщинѣ и переводамъ съ французскаго.

Ифигенія въ Авлидѣ.

Трагедія въ пяти дѣйствіяхъ, соч. Расина, переводъ М. Лобанова.

Какая знаменитая трагедія—эта «Ифигенія»! Какое великое имя—этотъ Расинъ! Герои, цари, жрецы, полководцы, наперсники, наперсницы, вѣстники, александрійскіе стихи, важная выступка, пѣвучая декламація—все это чудо, прелесть, очарованіе! И если мы во всемъ этомъ не видимъ натуры, смысла, толка, страстей, чувствъ, мысли, поэзіи—виноватъ не Расинъ, а нашъ современный вкусъ, развращенный, сбитый съ истиннаго пути поэтами новаго времени, которые увидѣли высочайшій идеалъ искусства въ пьяномъ дикарѣ Шекспирѣ. И Буало былъ правъ, говоря Расину: «пиши—я ручаюсь за потомство!» Почему же Буало могъ знать, что вкусъ потомства такъ исказится, сдѣлается до того нелѣпымъ, что потребуетъ отъ поэзіи истины, вдохновенія, чувства, идеи, дѣйствительности? Почему же могъ знать Расинъ, что Буало ошибется, думая, что «потомство» вѣчно будетъ ходить въ пудреныхъ парикахъ, въ фижмахъ, въ шитыхъ кафтанахъ, въ чулкахъ и башмакахъ съ пряжками!—Мы, съ своей стороны, тоже не виноваты, что вѣкъ маркизовъ-меценатовъ давно прошелъ, и что, не губя своей репутаціи честнаго человѣка, нельзя уже надѣть ничьей ливреи, чтобы сподобиться блаженства сѣсть на нижнемъ концѣ стола знатнаго барина, и за это писать его женѣ мадригалы, а ему поздравительные стихи въ высокоторжественный день именинъ его.—Итакъ, всѣ правы—и Расинъ, который писалъ такія прекрасныя трагедіи, и Буало, который такъ громко хвалилъ ихъ, и Лобановъ, который такъ мило переводилъ ихъ, и мы, которые такъ протяжно зѣваемъ отъ нихъ и такъ крѣпко спимъ послѣ нихъ.

Въ предыдущей книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» мы, по поводу изданной Поляковымъ «Физіологіи Влюбленнаго», удивлялись похвальному самолюбію русскаго человѣка, который ни въ чемъ не хочетъ уступить ни нѣмцу, ни французу, и который сейчасъ же, съ топоромъ и скобелью, не только сдѣлаетъ то же, что другіе дѣлаютъ посредствомъ машинъ, но еще и норовитъ выдать свое издѣліе за нѣмецкое или французское. Одинъ изъ бенефиціантовъ Александринскаго театра, узнавъ (изъ «Репертуара» Песоцкаго), что на французскомъ театрѣ Расинъ снова въ страшномъ ходу, не задумался нисколько воскресить на сценѣ Александринскаго театра изящные переводы Лобанова и поставилъ въ свой бенефисъ «Ифигенію въ Авлидѣ». Онъ даже пріискалъ для этого и свою, доморощенную mademoiselle Rachel, которая къ парижской относится такъ-же, какъ переводные стихи Лобанова къ оригинальнымъ стихамъ Расина,—стихамъ звучнымъ, плавнымъ, гармоническимъ, писаннымъ языкомъ свѣтскимъ, безъ усѣченій, безъ «піитическихъ вольностей», безъ «сихъ» и «оныхъ», безъ «токовъ слезныхъ» и безъ стиховъ, вродѣ слѣдующихъ:

Куда, родитель мой, стремительно спѣшишь?
Ужель отрадныхъ дочь объятій ты лишишь?

Вообще постановка или возстановка подобныхъ допотопныхъ рѣдкостей очень забавна, заставляя однихъ хвалить ихъ зѣвая, другихъ—принимать ихъ за водевили и за оперы, гдѣ все сплошь поютъ; но жаль, что она положительно вредна, даже губительна для молодыхъ сценическихъ артистовъ, ибо портитъ ихъ дикцію и жестикуляцію, пріучая ихъ и говорить, и двигаться не по-человѣчески. Отъ классическихъ пьесъ пострадало уже на Руси не одно замѣчательное дарованіе, и только немногіе могучіе таланты, воспитанные на классическихъ трагедіяхъ, могли освободиться, и то не безъ утраты силъ, отъ манерности и бездушной однообразности въ игрѣ. Впрочемъ это нисколько не относится къ превосходному таланту Александринскаго театра—Толченову 1-му, который, въ роли Агамемнона, былъ, по своему обыкновенію, неподражаемо хорошъ. Будь у насъ такихъ талантовъ съ дюжину—и Расинъ, Корнель, Вольтеръ воскресли бы на Руси еще лучше, чѣмъ въ Парижѣ!

Школа женщинъ.

Комедія въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ, соч. Мольера, переводъ П. И. Хмѣльницкаго.

Критика на «Школу женщинъ».

Комедія въ одномъ дѣйствіи, соч. Мольера, перев. съ французскаго Г. Н. П.

Вотъ что касается до возобновленія Мольера на тощей сценѣ русскаго театра,—это другое дѣло! Ужъ конечно смотрѣть комедію Мольера—болѣе умное и благородное занятіе, нежели отхлопывать себѣ руки и кричать безъ умолку при грубыхъ двусмысленностяхъ самодѣльныхъ, передѣльныхъ и переводныхъ водевилей, или при патетическихъ сценахъ топорной работы самодѣльныхъ и передѣльныхъ драмъ... Правда, Мольеръ, какъ сатирическій живописецъ нравовъ чуждаго намъ общества и далекой отъ насъ эпохи, можетъ существовать для насъ только какъ фактъ исторіи новоевропейской литературы, на сценѣ же не имѣетъ для насъ никакого значенія, никакого смысла; но, повторяемъ, лучше же что-нибудь дѣльное въ какомъ бы то ни было отношеніи, чѣмъ рѣшительно бездѣльное во всѣхъ возможныхъ отношеніяхъ. Мольеръ былъ человѣкъ съ огромнымъ талантомъ; но, при сужденіи о немъ, надо знать, въ чемъ заключался этотъ талантъ, въ чемъ его значеніе, и гдѣ его границы и мѣсто. Французы безъ дальнихъ околичностей говорятъ и пишутъ: «Шекспиръ

и Мольеръ! Мольеръ и Шекспиръ!», какъ будто это два родные брата, тогда какъ въ самомъ-то дѣлѣ ихъ родство самое дальнее. Мольеръ не былъ то, что называется «художникомъ»; его комедіи—не произведенія строгаго искусства; въ нихъ нѣтъ никакихъ неумирающихъ, вѣчныхъ красотъ; но имя Мольера тѣмъ не менѣе велико и почтенно, а его комедіи любезны и дороги для патріотическаго чувства французовъ. И если французы не правы въ томъ, что не по достоинству превозносятъ Мольера и дерзаютъ, въ слѣпотѣ національной гордости и эстетической ограниченности, ставить его наравнѣ съ тѣмъ, кто такъ же не имѣетъ себѣ равнаго между поэтами, какъ нашъ Петръ между царями—съ Шекспиромъ, то все-таки французы правы въ своей любви, въ своей признательной памяти къ Мольеру, неохлажденныхъ ни общественнымъ измѣненіемъ, ни успѣхами новой своей литературы. Да, они правы, забывъ Корнеля и Расина, и помня Мольера. Мольеръ былъ воспитателемъ французскаго общества въ самый интересный моментъ его развитія, когда оно, при Людовикѣ XIV, окончательно разставшись съ грубыми формами среднихъ вѣковъ, начало новую жизнь—жизнь ума, анализа, критики. Комедіи Мольера—сатиры въ драматической формѣ,—сатиры, въ которыхъ рѣзкое, остроумное перо его предавало на публичный позоръ невѣжество, глупость и подлость. И потому въ его комедіяхъ нечего искать творческой концепціи, глубокозадуманныхъ характеровъ; потому въ нихъ мало дѣйствія, ходъ неестественъ, а развязка похожа на обыкновенные coups de théâtre; потому же въ нихъ являются такъ однообразно и благородные отцы, и резонёры, и любовники, вездѣ и всегда какъ двѣ капли воды похожіе одинъ на другого. Дѣйствующія лица комедій Мольера—олицетворенные пороки и добродѣтели, а самыя комедіи—варіаціи на извѣстныя нравственныя темы. Но въ чемъ посредственность бываетъ просто отвратительна, въ томъ самомъ геній часто находитъ для себя удобныя средства для выполненія благихъ цѣлей: комедіи Мольера, несмотря на недостатки, обусловливаемые самой сущностью ихъ, какъ драматическихъ сатиръ, не суть холодныя аллегоріи, но живыя беллетристическія произведенія, нерѣдко блещущія искрами поэтическаго вдохновенія. Онѣ имѣли сильное вліяніе на современниковъ, слѣдовательно имѣютъ историческое значеніе. Человѣкъ, который могъ страшно поразить передъ лицомъ лицемѣрнаго общества ядовитую гидру ханжества,—великій человѣкъ! Творецъ «Тартюфа» не можетъ быть забытъ! Прибавьте къ этому поэтическое богатство разговорнаго французскаго языка, которымъ преисполнены комедіи Мольера; вспомните, что многіе выраженія и стихи изъ комедій Мольера обратились въ пословицы,—и вы поймете признательный энтузіазмъ французовъ къ Мольеру. Присовокупите къ этому еще его поэтическую судьбу, его благородный характеръ. Но опять-таки вѣчныхъ, безотносительныхъ и безусловныхъ красотъ въ комедіяхъ Мольера нѣтъ. Его поэзія принадлежитъ не къ чистохудожественной сферѣ; онъ былъ поэтъ соціальный въ духѣ своего времени,—а его время, надо сказать, было крайне неблагопріятно для поэзіи, которая, помня свое божественное происхожденіе, не любитъ ливреи. Комедіи Мольера если еще и могутъ даваться теперь, то не иначе, какъ для публики самой образованной, которая приходила бы въ театръ смотрѣть не просто комедію, но историческую комедію, приходила бы видѣть воскресшимъ передъ своими глазами давно умершее общество, съ его вѣрованіями, нравственными началами, съ его пороками и добродѣтелями, словомъ,—со всѣми особенностями его существованія—отъ образа мыслей до костюма. Но у насъ, что прикажете у насъ дѣлать Мольеру? Развѣ смѣшить праздную толпу?...

Что мы сказали вообще о недостаткахъ рода комедій Мольера, то особенно выразилось въ «Школѣ Женщинъ». Вся завязка основана на томъ, что одинъ человѣкъ носитъ два имени, и потому невольно дѣлается повѣреннымъ юноши, который знаетъ его только подъ однимъ именемъ и который влюбленъ въ его невѣсту. Дѣйствіе происходитъ на улицѣ, и притомъ ночью. Развязка дѣлается чрезъ то, что называлось у древнихъ deus ex machina. Гдѣ жъ тутъ комедія, гдѣ тутъ характеры? И, несмотря на то, тутъ много комическаго, много вѣрнаго въ положеніяхъ дѣйствующихъ лицъ. Цѣль комедіи самая человѣческая—доказать, что сердца женщины нельзя привязать къ себѣ тиранствомъ, и что любовь—лучшій учитель женщины. Какое благородное вліяніе должны были имѣть на общество такія комедіи, если ихъ писалъ такой человѣкъ, какъ Мольеръ!... О вы, обожаемые мною самородные и доморощенные русскіе драматурги! читая Мольера, потрудитесь отдѣлить въ немъ отъ всего прочаго его общее, идеальное значеніе и, оставя безъ вниманія все, принадлежащее странѣ и времени, постарайтесь подражать ему въ томъ, что равно присущно всѣмъ странамъ и всякому времени!... Тогда можетъ быть вы перестанете ставить на сцену такія пьесы, въ которыхъ нѣтъ никакой страны, никакого времени, никакой цѣли и никакого... смысла; въ которыхъ изображается не то, что есть или что можетъ быть, но то, чего и нѣтъ, и не было, и никогда быть не можетъ!...

«Критика на «Школу Женщинъ» есть не что иное, какъ литературный споръ о «Школѣ Женщинъ», завязавшійся въ салонѣ. Это—пьеса, явно написанная на случай,—пьеса, которая въ свое время могла имѣть важное значеніе, но теперь, кромѣ книжнаго и историческаго, никакого значенія имѣть не можетъ, особенно на сценѣ. Богъ знаетъ, для чего ее дали! Въ этомъ разговорѣ особенно замѣчательно, что за-живо задѣтое самолюбіе завистниковъ, глупцовъ, невѣждъ и негодяевъ особенно нападало на комедію Мольера за дурной тонъ и неприличныя слова и выраженія... Люди всегда одни и тѣ же!...

Конецъ второго тома.

Digitized by Google

Digitized by Google

STANFORD LIBRARIES
To avoid fine, this book should be returned on
or before the date last stamped below
SM-1-84-76771

Digitized by Google

Hoover Institution Library
3 6105 071 568 567
PG 3321
.B43 A1
ed. 2 a
v 2
30759
Digitized by Google